

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Д.Н. СВЕРБЕЕВ



Мои записки

Издание подготовили:
М.В. БАТШЕВ, Б.П. КРАЕВСКИЙ,
Т.В. МЕДВЕДЕВА



МОСКВА НАУКА 2014

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2 Рос=Рус)
С24

Ответственный редактор:

С.О. ШМИДТ

Серия основана академиком
С.И. ВАВИЛОВЫМ

ISBN 978-5-02-039563-8



[Д.А. Хомяков]

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДМИТРИИ НИКОЛАЕВИЧЕ СВЕРБЕЕВЕ

Один из друзей Д.Н. Свербеева, искренно ценивший его и как человека, и как гражданина, А.С. Хомяков[1], дает нам, кажется, верную точку зрения для уразумения того, чем был в жизни своей автор печатаемых в этой книге произведений. Хотя они достаточно говорят сами за себя, тем не менее несомненно, что ознакомление с личностью автора всегда много прибавляет к значению его творений, как бы они ни были занимательны и значительны по своим собственным достоинствам. Недаром ко всем изданиям сочинений прилагают биографии авторов: биографии удовлетворяют не простому любопытству читателей, но действительной потребности иметь, по возможности, живое представление о том лице, с которым собираемся мысленно беседовать. В некоторых случаях значение писаний человека почти неотделимо от его личного значения, и это, кажется, по преимуществу верно в тех случаях, когда посмертно обнародываются сочинения, не предназначавшиеся для печати*, как в настоящем случае: в предлагаемой книге только очень немногое перепечатано их журналов; главная же ее часть – «автобиографические записки» – назначалась только для семьи. Но так как интерес этих записок, охватывающих собою все царствование Александра Павловича[2], явно не исключительно семейного свойства, то должно было наступить время (и оно наступило), когда им надлежало из достояния семейного обратиться в достояние общее.

Личность Дмитрия Николаевича Свербеева придает его писаниям сугубый вес.

До сих пор многие московские старожилы помнят его как человека не только высокообразованного, – это явление у нас, к счастию, не особенно редкое, но еще гораздо более как человека, живо принимавшего к сердцу все явления жизни умственной и гражданственной его времени, как в России, так и на Западе; а его время заключает в себе самую важную часть XIX столетия, начиная от бурных годов Наполеоновской эпохи и кончая еще более существенными для нас годами великих и мирных преобразований[3] Александра Николаевича**. Но особенно выдавался он тем, что все свои способности,

* Пишущий для печати постепенно знакомит с собою читателей, тогда как автор посмертных сочинений не имеет этой возможности и является сразу «таинственным незнакомцем, загадкой для читателей» (*примеч. Д.А. Хомякова*).

** Д.Н. Свербеев скончался в 1874 г. 13 февраля (*примеч. Д.А. Хомякова*).

все свое широкое образование употреблял на то, чтобы быть живым участником в деле умственного, духовного и гражданского преуспеяния среды, в которой он жил. Благодаря образованию, способностям и редкой, выдающейся общительности он сделался одним из средоточий культурной жизни этой среды, соединяя у себя все, что было живого и мыслящего, везде, где бы он даже временно ни находился, по преимуществу же в Москве, обычном своем местопребывании. Его, доселе почти не известного как писателя, можно и должно приобщить к числу видных деятелей умственной жизни Москвы нашего века; а этот век особенно важен в летописях Москвы, так как в первой его половине в ней возродилась и развилась та духовно-просветительная сила, которая возвратила ей вполне временно утраченное, вследствие неблагоприятных исторических условий, значение настоящего культурного центра ею же и в политическом отношении созданной России.

Поселившись после женитьбы окончательно в Москве, которая была для него и родиной, Д.Н. занял в ней соответствующее своему положению и семейным связям место, и скоро его дом, наряду с значением в свете, сделался приютом и всего, что было тогда живого и мыслящего.

Начиная с 40-ых годов московская умственная жизнь принимает все более и более характер некоего «Возрождения» (Renaissance), и в нем дом Свербеевский, наряду с домом Елагиных[4] и другими (напр., Сенявиных[5]), сделался одним из очагов той умственной жизни, которая началась единением в общей любви к просвещению всех молодых сил и кончилась тем спасительным для русской мысли раздвоением[6], благодаря которому чисто русское направление созрело в борьбе с такими представителями космополитизма, каковыми были Герцен, Грановский, Белинский, Чаадаев[7] и иные. Живое участие, которое принимал во всем умственном движении Д.Н., и его полное беспристрастие к лицам и убеждениям делали то, что именно у него так охотно собирались люди мысли и науки.

Но он сам не замыкал себя исключительно в их круге, а оставался в постоянном общении с людьми дела и людьми официального мира, служа как бы живым звеном между миром мысли и миром внешней деятельности. Особенно дорожил он близостью к всеотрезвляющей среде простой крестьянской жизни, в которую он так охотно погружался, живя летом подолгу в своих деревнях и входя в непосредственное общение с народом, – в то действительное общение, которое так редко давалось даже «народолюбивым» помещикам доброго старого времени. Таким образом, не занимая никакого официального положения, деля свое время между Москвою, Европою и деревней и всегда везде внимательно прислушиваясь ко всему и в свою очередь подавая на все свой голос, он успел составить себе положение, которое давало ему вес и значение, с которым считались современники и которое, когда Д.Н-ча узнают ближе наши современники, будет за ним признано и ими.

Он был, как из сказанного заключат читатели, «человеком общественным», чтобы не сказать – общественным деятелем. Этим последним словом не хотелось бы его назвать потому, что ходячее представление об общественном деятеле, сложившееся у нас за последние десятилетия, несколько окрашено духом отрицательным, а у Д.Н. не было и тени этой именно окраски. Общественный деятель на языке современном есть какое-то противоположение деятелям государственным, правительственным; он сам себя почитает противовесом сим последним, людям, стоящим на почве чисто внешнего формализма, тогда как он мнит себя выразителем запросов живой действительности – тех запросов, которые коренятся в глубинах, ему одному доступных и совершенно неведомых и непонятных официальным людям, которые вследствие этого самого непонимания игнорируют и подавляют даже все живое. Общественный деятель непременно противоборствует; он постоянно в антагонизме. Ничего подобного не было в Д.Н. Он себя никому и ничему не противопологал. Его единственное желание было – приносить себя, свои знания, свою опытность, свою, пожалуй, житейскую мудрость, на восполнение того, что вокруг него могло нуждаться в восполнении, указывая при случае правительственным лицам их недосмотры, направляя простой народ, поскольку это от него зависело как от помещика (но с совершенным и сознательным уважением к его бытовому и духовному строю), к достижению лучших порядков домостроительства частного и общественного; разъясняя, наконец, в дружественных спорах людям своей среды то, что, по его мнению, они наклонны были либо не в меру идеализировать, либо, наоборот, не в меру же порицать. Он был человек общественный, в лучшем смысле этого слова, – в том смысле, в котором так определительно охарактеризовал самое «общество» А.С. Хомяков. Вот почему мы сказали вначале, что для уяснения того, чем был Д.Н., всего удобнее воспользоваться той точкой зрения на явление социальной жизни, которую мы находим именно у Хомякова. «Деление права, – говорит он в одной из своих речей в Обществе Любителей Российской Словесности*, – соответствует делению самих жизненных отправлений – трем областям деятельности: частной, общественной, государственной. Между первой и последней лежала бы бездна, если бы эта бездна не была наполнена общественною деятельностью. В целом мире сфера деятельности частной одинакова и одинаково бесцветна: для нее совершенно все равно, какое государство ее охраняет и обеспечивает, только бы охраняло и обеспечивало. Не такова деятельность общественная. Выходя из жизни частной, она выражает все оттенки, все особенности земли и народа и обусловливает государство, делает его таким, а не иным; она дает ему право, она налагает на него обязанность быть самостоятельным, выделиться из других государств. С ее уничтожением, если бы такое уничтожение было возможно, государство теряет всю свою силу; оно падает и не может не падать… В своей частной деятельности человек есть лицо только

---

* Соч. Т. I, стр. 746 (*примеч. Д.А. Хомякова*) (см. с. 700, примеч. 8).

опекаемое или оберегаемое; в жизни же общественной он зиждитель и творец исторических судеб» [8].

Одним из представителей нашей общественности, понятой именно в смысле вышеприведенных слов, был Дмитрий Николаевич Свербеев, и если таковым его знали и понимали его современники, то небезынтересно будет и нашим современникам узнать из его письменных произведений – сначала как вырабатывался усматриваемый нами в нем характер: это мы узнаем из записок, захватывающих годы юности автора до его женитьбы; затем как мыслил он в эпоху уже зрелого возраста – это можно извлечь из его напечатанных статей, несмотря на то, что они все биографического содержания; и, наконец, если когда-нибудь обнародована будет его обширная переписка, мы узнаем в подробности его политико-социальную программу, основанную несомненно на близком знакомстве с жизнью во всех ее проявлениях.

Конечно, нельзя сказать, что общественная деятельность Д.Н. выразилась в каких-либо конкретных фактах как результате оной; но не в этом практическом смысле мы почитаем его образцом человека общественного: такого рода «практичности» можно скорее ожидать и требовать от «общественного деятеля» в упомянутом выше смысле; человеку же общественному достаточно вполне того, что он живет общественными интересами, способствует по возможности их разъяснению и поддерживает в себе и в других – это главное – живую отзывчивость ко всем явлениям человеческого понимания (entendement)* во всем, по возможности, разнообразии его. Этим последним свойством отдельных лиц, своих членов, вырабатывается и укрепляется само общество, значение которого так велико в судьбах человечества. Более чем где-либо – у нас люди общественные ценны и необходимы: лишь через них может вырабатываться общественное мнение, столь еще у нас хилое, и не только вырабатываться умозрительно, но и получать права истинного гражданства, основанного не только на достоинстве выражаемой мысли, но и на личных качествах гражданской неподкупности и нравственной силе ее выразителей. Помимо этого этического фактора, общественная мысль не может никогда получить настоящего созидательного значения**. Таких представителей общества нам нужно теперь не менее чем когда-либо; и это тоже одна из причин, почему умственный и нравственный образ Д.Н. Свербеева особенно отрадно воскресить через издание всего им писанного с дополнением его биографии, как завершения напечатанной в настоящем томе автобиографии его юности.

---

* способность мыслить (*фр.*).

** Сознание такого этического начала в пройденной жизни было, вероятно, побудительной причиной к написанию для семьи своей автобиографии у Д.Н.: plerique suam ipsi vitam narrare fiduciam potius morum, quam adrogantiam arbitrati sunt. Tac. Agr. (*примеч. Д.А. Хомякова*). (Цит. из «Жизнеописания Юлия Агриколы» Тацита: «...многие [из предков] сочли, что собственноличный рассказ о прожитой ими жизни скорее свидетельствует об их уверенности в своей нравственной правоте, чем об их самомнении…» (I, 3) (пер. А.С. Бобовича)).

Литературную, историческую и бытописательную сторону этого труда будут ценить, конечно, различно; но едва ли кто, взявшись за чтение записок Д.Н., положит книгу, не дочитав ее до конца. Может быть, интерес их объясняется повествовательным талантом автора; но нам думается, что он заключается еще и в другом, а именно – в личности автора и его личных свойствах, столь ярко выступающих в этих записках. Природа щедро одарила Д.Н. тем, что составляет «conditio sine qua non»* для человека общественного – живостью ума и впечатлительностью в высочайшей степени; а эти качества вызывают в душе человека, ими обладающего, то, что называется отзывчивостью. Живость ума и впечатлительность вместе с необычною на все, до мелочей, отзывчивостью, отличавшие автора их при жизни, дают, кажется нам, «запискам его» такой необыкновенно живой характер, что в них как бы слышишь то, что называют англичане the throb of life, – пульсацию жизни. Когда эти качества вообще развиты в обществе, бывает жива и сильна общественная жизнь, и неудивительно, что лицо, этими качествами обладающее, заняло такое видное общественное положение, вовсе не ища никакого «положения» и не заявляя желания быть признаваемым общественным представителем en titre**.

Выставляя таким образом Д.Н. Свербеева как высокообразованного представителя общественного самосознания, нельзя, конечно, обойти вопрос, какого, однако, направления держался он – своего ли самостоятельного или одного из тех, которые слагались на его глазах и при ближайшем его участии?

Определяя свое направление, он любил применять к себе стих:

In moderation placing all my glory…
While Tories call me Whig, and Whigs a Tory (Pope)***.

Но этим стихом едва ли он действительно выражал положительную сторону своих воззрений. Это было скорее выражение отрицательное, указывающее лишь на его нерасположение к каким-либо крайностям. Славянофильские друзья почитали его сильно склонным к западничеству; но, зная, как горячо любил Д.Н. русский народ и как хорошо он его понимал в его быте, верованиях и истории, они его, конечно, к западникам настоящим не решались причислять. Западники же его сильно заподóзривали в скрытой наклонности к славянофильству, во-первых, потому, что между людьми, для которых они придумали это неподходящее название, у него было много истинных друзей, а главное потому, что его твердая приверженность к русской церковности была слишком в глазах их подозрительна, хотя сам Д.Н. нередко, со свойственною ему наклонностью к тонкому и безобидному юмору, подшучивал над тем, что в са-

* «необходимое условие» (*лат.*).

** официально (*фр.*).

*** «Вся моя слава в чувстве меры: виги называют меня торием, а тори – вигом» (Поуп) (*англ.*). Цит. из «Подражания первому посланию из второй книги Горация» английского поэта Александра Поупа (1688–1744)).

мой православной ревности казалось ему заслуживающим шутки. Известные его стихи на А.С. Хомякова и его отношения к Пальмеру[9] и его оксфордским единомышленникам: «Не обратил ты Альбиона! Увы, ревнитель Аарона, не миро с твоея брады* сошло на счастие зады» и т.д., восклицает в них по адресу Хомякова Д.Н., считавший, вероятно, что недостаточно идеального представления о православной церкви для привлечения западных людей к этой церкви и примирения их с ее историческим у нас или у греков проявлением.

Таким образом, если Свербеев не является вождем определенного направления, отличного от существовавших около него направлений, и вместе с тем, если он не был последователем «вполне» ни одного из них, а также не был представителем умственного компромисса между различными направлениями, – что особенно не идет к его живой, внимательной природе, – то как же понять внутренний строй его воззрений и убеждений, систематического изложения, коих он нам не оставил (разве, может быть, мы найдем оное в его еще не обнародованной переписке)? Не оставил он такового, конечно, только потому, что не был систематиком вообще, а был человеком жизни и дела; человеком же пера он был лишь постольку, поскольку его живая мысль переливалась (débordait) за предел слова и дела. С помощью одних его писаний можно лишь гадательно дойти до уяснения себе того мировоззрения, которым он руководился неуклонно и которое было, по-видимому, более прирожденное, чем надуманное. Недаром он избрал себе девизом фразу «Mûr en naissant»**. Ясно, что это не было похвальбою самому себе: он вовсе не был наклонен к самохвалению: «mûr en naissant» было только выражением того факта его умственной жизни, который составлял отличительную ее черту, – факта прирожденности его направления, а не логической надуманности ее. Умозрительные направления, лишь соприкасающиеся с жизнью в большей или меньшей степени, не находили в Д.Н. своего представителя или последователя: он был живой представитель самого «синтеза» русской жизни, не расшатанного полуторавековым блужданием нашего т.н. высшего общества в погоне за просвещением, предписанным ему извне. Этим объясняется вполне, почему Д.Н-ча лично так ценили те, которые угадывали в нем под внешним обликом европейца вполне русского человека, ни в чем не изменявшего русским традициям; а равно любили и те, которые, отрицая русское направление и не понимая его, все-таки внутренне ценили истинно русское, поскольку оно вместе с тем выражало собою общечеловеческое.

Русские никогда не чуждались общения с западными народами. Русские же люди семнадцатого века в лице своих лучших представителей вполне

---

* Намек на гонимую в то время бороду, сохранению которой как символа свойственной русскому человеку естественности придавали большое значение Хомяков и Аксаков (*примеч. Д.А. Хомякова*). Конец этой стихотворной цитаты приведен неточно – полностью стихотворение см. в примеч. 1 (с. 699).

** «Зрелый от рождения» (*фр.*).

сознавали необходимость восполнять заимствованием многие пробелы во внешнем культурном строе своего отечества, особенно же в области научного и прикладного знания. К такому убеждению приходили люди того времени, нисколько не изменяя своему чисто русскому духу; напротив того, они желали способствовать его вящему развитию и просветлению, поставив русское просвещение на путь разумного общения с другими народами. Очень вероятно, что такое направление возобладало бы и без властного и насильственного, хотя во многом вполне законного, вмешательства Петра[10]. Но те богатырские приемы, которые пустил в ход преобразователь для привития западной цивилизации, до такой степени оглушили наше подвергнутое просвещению общество, что в нем утратилась живая связь с исконной русской жизнью; и только через 150 лет могло опять пробудиться истинно русское сознание, облекшись, по необходимости, в форму полемическую, а следовательно, и отрицательную по адресу того западничанья, которым мы так глубоко, до самозабвения, заразились. К этому же времени созрела и потребность в известной части нашей умственной среды – в логической, сознательной апологии и в систематическом оправдании самого западничанья, которое до этого времени позволяло себе лишь практически… Но для тех, которые по тем же или другим, не всегда объяснимым, причинам не утратили живой связи с преданием древнерусским, а вместе с тем приняли все хорошее от Запада без неумеренного увлечения, – для тех явно не было нужды ни восстановлять в себе того, чего они не утрачивали, ни умирять в себе влияние иноземное, которое никогда их не доводило до отрицания своего родного. Те, которые принадлежали к этому, к сожалению, немногочисленному, разряду, составляли из себя бытовое направление, стоявшее не между другими, а рядом с ними. Когда же оно, это бытовое русское направление, выражалось людьми высокообразованными и живыми, то в их лице оно легко дружилось с представителями направлений умозрительно полемических и даже, может быть, благотворно на них воздействовало не доводами или рассуждениями, а живым осуществлением такого культурного типа, который был симпатичен и тем, и другим и который одинаково ценили самые ожесточенные между собой противники.

К такому именно типу образованных русских людей принадлежал, думается нам, покойный Дмитрий Николаевич Свербеев, и этим объясняется его роль в умственной жизни Москвы, а через нее в общекультурной жизни всего нашего общества.

Сказанное в этих строках окажется, надеемся, не лишним для правильной оценки или, по крайней мере, для правильного оттенения личности Д.Н. Свербеева. Но, конечно, прочитав самую книгу, читатели сумеют оценить в авторе не только человека, но и писателя и, конечно, пожалеют о том, что ему не суждено было довести до конца того ценного труда, к которому он приступил на склоне дней своих.

С. Богучарово, Д.Х.[11]
1899 г. сентября 12

[С.Д. Свербеева]

[ПРЕДИСЛОВИЕ]

Записки моего отца писались не для печати и потому не имеют характера литературного труда. Их диктовал мне отец в последние годы своей жизни как рассказ о своей молодости для семьи. Так и относилась я к этим запискам в течение 25 лет и не думала их печатать. Желание сохранить для третьего уже поколения нашей семьи нравственный облик прадеда и его времени изменило мой взгляд; в этом смысле перечитывая внимательно нашу семейную хронику, я увидала, что время дало ей цену бытового очерка, и я себе сказала: отчего не предложить не одним внукам, но и всему новому поколению, вступающему в XX век, правдивую бытовую картину первой четверти XIX?

В заключение, как наследство внукам, передаю эпиграф старого портфеля, который вручил мне отец, когда начал диктовать свои «Записки»:

In moderation placing all my glory
While Tories call me Whig and Whigs a Tory.

(*Pope.*)

(Вся моя слава в чувстве меры:
виги называют меня торием, а тори – вигом).

Издательница
Софья Свербеева[12]

25-го февраля
1899 г.



Мои записки



[ОТ АВТОРА]

Старики, говоря вообще, живут воспоминаниями, редко бывают довольны настоящим и почти всегда боятся будущего, которого на их долю остается так немного. Несмотря на то, что я, благодаря судьбе, не совсем подхожу под это общее правило – не недоволен судьбою и более с пытливым любопытством, чем со страхом, смотрю на будущее, что голова моя способна еще мыслить, память довольно тверда, а физические силы не совсем ослабли, – несмотря на все это, ступив на днях в восьмое десятилетие жизни, за которым и даже, по всей вероятности, в течение которого, при самых благоприятных обстоятельствах, следует уже, как было сказано ветхозаветным царем и поэтом, «труд и болезнь»[1], я нашел благоразумным покончить все мои расчеты с деятельною жизнью, устроить будущность моих детей, передать мои дела одному из сыновей[2], оставив за собой один внимательный надзор за их ходом, и, усталый от тяготивших меня, особенно в последние десять лет, забот, отдыхаю теперь от ежедневных сует и мирских попечений. Затем предстоит мне другая задача жизни – как употребить этот излишек свободного времени, чтобы он, в свою очередь, не стал тяготеть надо мной. Избави Бог предаться одной материальной жизни, этому своего рода самоубийству. Давно уже задумал я писать «Записки» для моей семьи, которая меня об этом просила; то же советовали мне и немногие мои приятели, особливо из позднейшего поколения, которое в наше время стало так любознательно до всего, что ему сообщают отжившие и отживающие. Самому мне и любопытно, и не бесполезно будет проверить таким образом всю мою жизнь и посмотреть на себя в этом зеркале; особенно для детей моих эти «Записки» могут быть занимательны: в них они узнают своего отца и ознакомятся с главными событиями его времени. Тут, кстати, меньшая моя дочь[3] вызывается писать под моей диктовкой и понукать меня ежедневно к этому труду. Пусть же и владеет она всем, что будет писано, как неотъемлемо ей принадлежащим правом и даже как законною литературною собственностью, если, сверх ожиданий, кое-какие оттуда отрывки могут сделаться занимательными для нашей читающей публики[4]. И вот пишется первая строка этой

длинной повести под благотворным небом, на берегу прелестного озера, в стране, которую люблю я, как вторую мою родину, там, где я жил долго-долго в первой юности до зрелого почти возраста и куда не раз возвращался я из отчизны, чтобы отдохнуть, подышать посвободнее и запастись новыми силами.

Искренно желаю себе всевозможного успеха, а читателям моим, если они когда-нибудь найдутся, терпения.

Веве, Женевское озеро
20 сентября 1869 г.





ТОМ I

Γνῶθι σαυτόν*.

От безделья и то рукоделье.

(Русская пословица)

Говоря мне о своих предках[5], батюшка[6], бывало, прибавлял, что хотя все они считали себя новгородцами и этим гордились, но, по семейным преданиям, признавали себя переселенцами в этот северный край из южной Руси. В приобретении родового свербеевского имущества помогла моему деду[7], уже старому и слепому, жена его из рода Нечаевых, которая управляла и мужем, и детьми, и всем имением. Заботливость ее о сохранении и увеличении недвижимого имения была чрезмерная. Я не слыхал, кто бы из помещиков тогдашнего времени умел в самых мелких подробностях, с такою точностью воспользоваться Генеральным межеванием земель, начатым Екатериной II в 1764 году[8]. Не прошло после того двух лет, как она успела добыть себе все межевые планы и книги, которые и до сих пор у меня хранятся; в числе их выданы были ей три плана и три межевые книги на такие мелкие владения в пустошах, что я нигде ни у кого подобных не видывал, – на две, на одну и даже на полдесятины. Твердо знала она русскую грамоту и, хотя крупным почерком и с самыми грубыми ошибками, писала бойко и толковито, но знания своего, кажется, не передала ни одной из своих дочерей: две мои родные тетки, которые жили долго и умерли в сороковых годах уже нашего столетия, свободно читали одну церковную печать[9]. Отец мой, Николай Яковлевич Свербеев, был единственный ее сын, и на нем сосредоточилось все ее попечение; дочерей же было у нее шесть, с именами далеко не аристократическими. Старшая, Матрена, была замужем за Батюшковым, вторая, Пелагея, – за Головачевым, меньшая, Евфимия, – за малороссийским дворянином Слоновским, а три последние: Настасья, Анна и Елена – умерли девицами. Все они помогали своей матери во всех хозяйственных работах и были при ней до замужества или до ее смерти помощницами ее по хозяйству, часто своими руками работали в поле и для таких подвигов надевали сарафаны[10]. Зато старалась моя бабушка всячески вывести из крайней нужды в люди своего любимца – ее сына, а моего отца. Еще мальчиком записала она его, в царствование Елизаветы Петровны, в учрежденную тогда при московском Сенате юнкерскую школу, в которую поступали дворянские дети пре-

---

* Познай самого себя (*греч.*).

имущественно для изучения приказного порядка или гражданской службы. Подробности воспитания моего отца до меня не дошли, кроме того, что в этой юнкерской школе учился он вместе с Петром Ивановичем Новосильцевым[11], впоследствии известным и чиновным, который оставался во всю жизнь его другом и крестовым братом. Они, по тогдашнему обычаю, побратались крестами; такого рода крестовое братство, говорят, сохраняется и до сих пор у каких-то славян. Эта дружба замечательна для семьи еще тем, что о ней упомянул в записках своих Державин[12]. Единственный рассказ отца о юнкерской своей школе, который я запомнил, был следующий: в одно время с этим училищем существовал и основанный Елизаветою же университет, и отец сказывал, что он лет 14 ходил со своими товарищами на Неглинную (где теперь Александровский сад)[13] на кулачный бой со студентами Московского университета и Московской славяно-греко-латинской академии[14], и что их и университетских зачастую, и чуть ли не всегда, побивали дюжие, здоровенные кутейники[15], которые были вдвое их старше.

Отец мой родился в 1740 г., умер он в октябре 1814 г., и я остался после него четырнадцати лет единственным сыном; братьев и сестер у меня не было. После него жил я с родною моею теткой[16], которая хозяйничала и была очень умна, но совсем неразвита и, следовательно, ничего не умела сообщить мне интересного о жизни своего брата, а о матери моей[17] просил я ее мне не говорить, так как она жила с нею не в ладу. То немногое, что я от отца и от его современников о нем слышал, передаю здесь с благоговейным вниманием к его памяти. Он был человек замечательный: добрый, умный и даже образованный, насколько мог быть образован человек его времени одним русским языком. Вероятно, в ранней еще молодости вышел он из своего училища, но вступил не в статскую, как бы следовало по месту воспитания, а в военную службу, по каким-либо обстоятельствам или потому, что в то время, и даже до первой четверти нашего века, все дворяне, не исключая и самых мелких, гнушались гражданской службой, называли ее подьяческою, крапивным семенем, а те, которые почему-либо не поступали в военную службу, вступали в Министерство иностранных дел. Службу свою начал отец в Ширванском пехотном полку, которым командовал тогда известный Степан Матвеевич Ржевский, в бригаде или дивизии храброго генерала Вейсмана[18], и продолжал ее в первую, а потом и во вторую турецкую войну[19], и по заключении Кучук-Кайнарджисского мира[20] был отправлен главнокомандующим Румянцевым-Задунайским[21] в качестве пристава[22] с депутатами княжеств Молдавии и Валахии к Высочайшему двору. Вероятно, в это время успел он сделать некоторые связи в Петербурге и сделаться известным великому князю Тавриды[23]. Перед началом Пугачевского бунта отец мой назначен был управлять разведением шелковичных червей и шелковичных деревьев в Саратовской губернии, на берегах Ахтубы, близ возникавшей тогда немецкой колонии Сарепты[24]. Этот

край находился под главным управлением астраханского губернатора, Никиты Афанасьевича Бекетова[25], бывшего некоторое время любимцем Елизаветы. О нем в недавнее время много писали, и племянник его И.И. Дмитриев[26] рассказывал мне, что он хотя и не знал отца моего лично, но много слышал о нем хорошего от этого своего дяди. По недавно напечатанным в журналах отрывкам о Пугачевском бунте и по «Запискам» Державина видно, что мой отец, будучи уже капитаном в отставке, находился при осаде города Царицына и под командой полковника Цыплятьева[27] с весьма немногими сподвижниками отражал осаду этой крепости Пугачевым, который, не взяв ее, бежал. С этой неудачной осады началось окончательное поражение Пугачева Михельсоном[28]; злодей, взятый в плен, отправлен был графом Паниным[29] в Москву и там казнен. Помнится мне из рассказов отца своим приятелям, что он был послан курьером к императрице, только не знаю, с известием ли о поражении Пугачева при Царицыне или о самой поимке. Из записок о Пугачеве хотя смутно, но видно, что были какие-то пререкания между властями об отправлении какого-то курьера начальниками, не имевшими на то права. Как бы то ни было, но я твердо помню, что отец мой был тогда лично представлен императрице и получил от нее в подарок табакерку, наполненную червонцами; в это-то, полагаю, время князь Потемкин взял его к себе и назначил первым директором экономии новоприобретенного Крымского полуострова[30], т.е. вице-губернатором, в руках которого сосредоточивалось все финансовое и хозяйственное управление края. В самый день учреждения Екатериной ордена Св. равноапостольного князя Владимира[31] получил он Владимирский крест 4-й степени в чине надворного советника, что тогда было весьма для него лестно и по милостивым выражениям рескрипта и поздравительного письма к нему Потемкина являлось важною наградою. Князь представлял его к 3-й степени, но этого нельзя было сделать, потому что тогдашнему губернатору был дан крест этой же степени. Постоянное пребывание моего отца было, кажется, в Перекопе, когда императрица Екатерина замышляла совершить славное свое путешествие через Киев, по Днепру, в страну, ею приобретенную и уже принадлежавшую России по последним трактатам; отцу приказано было принять в Перекопе ее величество и сопутствовавшего ей римского императора Иосифа II[32], путешествовавшего с нею инкогнито, под именем графа Фалькенштейна. В свите императрицы находились еще, кроме русских, австрийский посол граф Кобенцель и французский – граф Сегюр[33]; князь Потемкин, разумеется, был вожатаем. Поместить в голой степи разоренного войною Крыма государыню, ее царственного сопутника и всю эту пышную многочисленную свиту была задача довольно трудная. К счастью, в Перекопе была какая-то крепость и какой-то замок, построенный еще владевшими некогда Крымом генуэзцами; на издержках останавливаться было нечего, главное – не терять времени, которого назначено было не более шести недель.

Отец мой удачно воспользовался всеми потемкинскими, т.е. громаднейшими средствами: замок, или часть его, был разрушен, и огромные камни пошли на выстройку небольшого дворца, мебель и уборка выписаны морем из Вены (Одесса тогда еще не существовала)[34]. Императрица провела там одну или две ночи, изволила остаться очень довольна строителем, пожаловала ему драгоценный перстень и, боюсь сказать, чтобы не преувеличить, огромное, в несколько тысяч десятин количество земли на полуострове по выбору.

Я и сам не мог ожидать, чтобы эти довольно крупные подробности жизни моего отца так еще живо сохранились в моей памяти, тем более, что рассказывались они им не мне, мальчику, а другим, его близким и знакомым, мне же удавалось слышать их урывками. Все, что остается сказать мне о моем отце, припоминается мне с менее отчетливою последовательностью. Помню, что в Петербурге были у него влиятельные приятели; что он был знаком с племянником Потемкина, графом Самойловым[35], впоследствии генерал-прокурором; короток с всесильным правителем дел у князя Таврического, Василием Степановичем Поповым[36]; нередко видал знаменитого великого Суворова[37]; лично был известен в роду Потемкиных, Румянцеву-Задунайскому и, когда бывал в Петербурге, находился в дружеских отношениях с близкой к Екатерине камер-фрау, Марьей Саввишной Перекусихиной[38]; свойственница последней, Тарсукова[39], была замужем за другом и соучеником его, Новосильцевым. Часто катались они к ней из Петербурга в Царское Село, где жила летом императрица, и один раз вместо того, чтобы привезти Перекусихиной из Петербурга заказанную ею сотню апельсинов, сами дорогой их уничтожили. В наказание за обман заставила она их ночевать в Царском Селе и на другой день везти ее в Петербург за апельсинами. Во время своей службы женился отец в первый раз на красавице Варваре Григорьевне Паскевич[40]; такою слыла она и была в самом деле, иначе императрица, проезжая через Полтаву, не пожелала бы иметь ее портрета. Когда фельдмаршал граф Эриванский, князь Паскевич-Варшавский[41] стал быстро возвышаться и перегонять сверстников своих по службе, между аристократами царствования императора Николая слышались часто намеки на его будто бы темное происхождение; иные поговаривали, что он выходец и едва ли дворянин. Я могу сделать на это неоспоримое опровержение. Дед фельдмаршала[42], тесть по первой жене моего отца, имел довольно значительное (конечно, среднее) недвижимое имение в Могилевекой и Полтавской губерниях; фамилия Паскевичей была не новая в Малороссийском крае. Вторая дочь его была в замужестве за Нежинским богатым греком Кромида[43], который имел огромное состояние в капиталах. Другое верное доказательство, что Паскевичи были дворяне, есть то, что фельдмаршал был пажем; у нас помнили наши старые слуги, что он в коронацию Павла[44] жил, будучи камер-пажем, у отца в нашем московском доме[45]. Много лет после отыскал меня в Неаполе как родственника брат князя Варшавского, живший

там за ранами постоянно, полковник Федор Паскевич, а несколькими годами прежде другой его брат, Степан Паскевич[46], в Харькове. У меня сохраняется рядная запись, данная дедом князя Варшавского дочери его, Варваре, при выходе ее в замужество за моего отца. Она любопытна подробным вычислением икон, немногих брильянтов, жемчугов и золотых вещей, серебра, числа волов и лошадей, – одним словом, всего имущества, которое было дано ей в приданое. Она жила с отцом моим недолго, имела дочь, которая умерла в младенчестве; но когда и где они скончались и погребены, мне неизвестно. Второй женой моего отца была девица Алена, а по-нынешнему, пожалуй, Елена Александровна Раевская[47], близкая родственница известному в 1812 г. генералу Раевскому[48]. В злой чахотке вышла она замуж; ее при совершении обряда умирающую обносили кругом налоя на креслах; отец мой не хотел изменить данному слову, а она, как влюбленная до безумия женщина, не хотела возвращать его и прожила замужем всего полгода. Впоследствии я узнал коротко ближайшую ее родственницу Прасковью Михайловну Раевскую, которая в глубокой своей старости и в крайней моей молодости меня особенно любила. Она была мать Черевиной, бабка княгини Горчаковой и прабабка нашей милой и красивой Безобразовой[49], которая еще теперь цветет и украшает сердце России. Прасковья Михайловна Раевская очень была дружна с моим отцом и по просьбе его и законной доверенности заочно, по собственному своему выбору и на свои деньги в конце 70 годов купила ему наше подмосковное имение, сельцо Солнышково и село Чудиново за 32 000 р. ассигнациями. Продала его отцу дочь стольника времен Петра Великого, девица Анна Петровна Милославская. Там, в селе Чудинове, были древние небольшие каменные барские палаты и при них еще более древняя домовая каменная церковь, сохранившаяся доселе. В усадьбе, весьма невзрачной по местоположению, была березовая роща, окаймленная доселе целыми липами. Отец мой, осмотрев после заочной покупки в первый раз это имение, тотчас решил перенести усадьбу в Солнышково[50], наше подмосковное местопребывание на реке Лопасне, довольно замечательное своим красивым местоположением в виду Курской железной дороги. В моих глазах такое перенесение усадьбы отцом может служить лучшим доказательством его эстетического вкуса, столь редкого в тогдашнее время, тем более, что оно было не без пожертвования чувствами строгой русской набожности[51].

Как видно, отец мой два раза тщетно искал семейной жизни и тяготился одиночеством; в служебных занятиях не могло быть у него недостатка в крае, тогда и не безлюдном, как теперь, потому что во время приобретения нами Крыма считалось в нем до полумиллиона татарского населения, но соотечественников, кроме служащих, почти совсем не было. Постоянное местопребывание его было в Перекопе, степном и до сих пор нездоровом городе; прелестями южного берега Крыма он не мог пользоваться: в то время, не

было там ни Алупки Воронцова, ни царской Ливадии, ни хорошенького приморского города Ялты, а была разве одна Балаклава или Феодосия[52], с населением из греков[53]. С одной стороны – скука и удаление от родины, с другой – трудность службы, представлявшаяся ему на каждом шагу его деятельности, и всего более благоразумное опасение подвергнуться строгой, но справедливой ответственности за деспотические действия князя Таврического, волю которого, конечно, вынужден был исполнять без прекословия, – все это заставляло его думать о переходе в другую службу или о выходе в отставку. В последние годы его тамошней службы ему уже было за 50 лет; государыня, любившая издали Крым как свое приобретение и как первую станцию на замышленном ею пути в Константинополь[54], была десятью годами его старше, князь Потемкин тоже был старше его несколькими годами, – обстоятельства могли внезапно измениться, а служебные его отношения были таковы, что он нередко бывал вынужден без всякого контроля, без всяких формальных расписок, по ордерам князя и даже по предписаниям от его имени за подписью правителя его дел, Попова, писанных часто на клочках, без номера, высылать немедленно десятки тысяч. Долго терпел он подобный беспорядок, который немыслим в наше время, и мысль о падении или смерти Потемкина и о могущей последовать кончине государыни его мучила, и действительно он не ошибся: внезапная кончина Потемкина в молдавской степи, когда он, совершенно здоровый, ехал в карете с племянницей своей, графиней Браницкой[55], немногими годами предупредила внезапную кончину императрицы. К счастью моего отца, он, следуя своим предчувствиям, вышел в отставку незадолго до кончины князя, употребив все усилия, чтобы получить перед выходом из службы законную квитанцию в отпуске значительных сумм по приказаниям светлейшего. Возвратясь в Россию, купил он у Мансурова в Тульской губернии новосильское свое имение, село Михайловское, в котором тогда было от 500 до 600 душ и 6500 десятин лучшей черноземной земли. За это имение заплатил он 105 000 р. асс. и, не имея наличных денег, заложил его для этой покупки в московской сохранной казне[56]. Покуда он был вдовым, одиноким и бездетным, его считали богачом, а по месту служения своего в новоприобретенном крае – передовым человеком, и за ним ухаживали. Друг его Новосильцев имел уже тогда довольно большую семью, и бойкая его супруга рассчитывала на наследство после смерти моего отца. Вся семья Новосильцевых окружала его всевозможными любезностями до того, что второй сын Новосильцевых был в честь его назван Николаем. В эту самую минуту, когда я это пишу, дочь этого Николая Новосильцева, замужем за Эммануилом Нарышкиным[57], в двух шагах от нас умирает и не может умереть на берегу Женевского озера; но для потомков этой семьи, как и для моей, предания описанной мною старины не существуют, они не дошли до них[58].

В царствование императора Павла отец мой начал устраивать свое новое имение и, как один из богатых помещиков в крае, находившийся в отставке в уважительном в провинции чине статского советника, был выбран новосильским уездным предводителем. Прямой, ретивый к делу и довольно раздражительный, он имел многие стычки и неприятности как с дворянством, так и с местной администрацией, но это не помешало ему выдержать трехгодичный срок дворянской службы. Ежегодно по нескольку раз проезжая через жалкий уездный наш город Новосиль, где за семьдесят тому лет служил мой отец по выборам, вспоминаю я его острое словцо об этом городе. Главным начальником, наместником Тульской губернии, как и двух с нею соседних губерний – Калужской и Рязанской, был тогда Михаил Никитич Кречетников[59]; в это звание, установленное Екатериной II-й в одно время с учреждением губерний, назначались лица лично ей известные, а самое название наместника выражало, что он представляет лицо самодержавного монарха. При объезде ими городов, им подведомственных, встречали их со всевозможными почестями, поэтому и отец мой должен был встречать наместника лично. Обозрев поверхностно присутственные места, Кречетников спросил у предводителя: «Где же у вас больница и богадельня?» – «Все, что ваше высокопревосходительство изволите видеть, – отвечал мой отец, – все это и больница и богадельня». Екатерининские наместники до того иногда зазнавались, что этот же самый Кречетников жаловался императрице – косвенно или прямо, не знаю, – на епископа калужского Платона[60], впоследствии митрополита Московского, что этот архиерей не дозволяет звонить во все колокола при его наместнических въездах в назначенную ему резиденцию. «Согласен, – отвечал преосвященный, – буде если превосходительный боярин начальник прикажет стрелять из пушек при моих таковых же на мою кафедру». Кто знает теперешний Новосиль, найдет ответ нелестным, но совершенно справедливым. В нем и теперь всего две грязных улицы с лачужками, покрытыми соломой; с тех пор прибавилось всего разве одна церковь и два-три каменные домика, а между тем он древний город, старше Москвы, имел когда-то своих удельных князей[61], княживших на самом рубеже Святой Руси, на передовой ее страже от набегов Литвы и Крыма. В настоящее время этот городишко обречен окончательно ничтожеству, и новая железная дорога отошла от него на 10 верст. Вероятно, во время этой дворянской своей службы отец мой по должности иногда посещал губернский свой город Тулу в грозное царствование Павла, и в это самое время стоял там Шевичев гусарский полк. При Павле полки назывались именами своих шефов. Храбрый и буйный генерал Шевич[62] был родом серб, из числа вызванных оттуда при Елизавете. В этом полку служил вторым полковником Николай Васильевич Обресков[63] и жил в Туле со своею матерью и тремя сестрами[64]; отец мой с ним сблизился, посватался за старшую сестру, Екатерину, и на ней женился 57 лет, а жене его было 35 лет.

Теперь следует рассказать все, что я знаю о роде моей матери. Фамилия Обресковых едва ли знаменитее фамилии Свербеевых[65]. Обресковы владели, и теперь еще какие-то из них владеют, поместьями в Ярославской губернии. Как бы то ни было, о них до Екатерины II-й не было и помину, в ее царствование сделался известным как дипломат, и дипломат замечательный, Алексей Михайлович Обресков[66], прославивший себя, будучи посланником в Константинополе, и просидевший там семь лет в Эдикульской башне. Его не выпустили турки перед начатием войны и заточили в ней на все время ее продолжения, как равно поступили и с Булгаковым[67]. Тяжкая неволя у турок не могла не обратить на Обрескова особенного внимания императрицы, и она великодушно вознаградила не только его и его семью, но и всех его родственников. Он умер в чине действительного тайного советника и оставил своим сыновьям от первой жены, гречанки, значительное недвижимое имение, пожалованное ему государыней за его долговременную и многотрудную службу. После него осталось от первой жены, гречанки, трое сыновей и одна дочь[68], а от второй, урожденной Фаминциной, – один сын, умерший чахоткой в молодости[69]. Старший и лучший из первых трех был Петр Алексеевич[70], бывший секретарем князя Безбородки, впоследствии сенатор и директор межевой канцелярии, умный и честный. Он был женат на вечно юной красавице Волчковой[71]. Этот Обресков умер в конце 1813 года, а вдова его в 1819, уже 50 лет от роду, но все еще красавица, вышла за 35-тилетнего красивого и храброго генерала, князя Хилкова[72], и прожила до глубокой старости, сохраняя все привычки, кокетство и претензии на туалет молодой женщины[73]. В Обрескову был долго влюблен Ю.А. Нелединский-Мелецкий[74] и воспевал ее звучными стихами. Второй, Михайло Алексеевич[75], известный тем, что он был любезник до глубокой старости[76], управлял всеми таможнями и был директором департамента внешней торговли. Третий сын, Иван[77], отличался вечным движением с места на место[78]; все были от него без ума и все его любили. Я теперь еще помню, какую веселость вносил он в наш невеселый дом во время моего детства, хотя появление его никогда более часа не продолжалось. Он с необыкновенной быстротой рыскал по городу в ямской карете, заложенной по обычаю четверкой, и всегда говаривал, что лошади везут его стремглав оттого, что надеются от него убежать. Этот Обресков умер в 1813 г. холостым в чине генерал-майора во время похода. Дочь дипломата Екатерина Алексеевна[79] замечательна разве тем, что умерла в наше время предпоследней фрейлиной времен Екатерины II. Она была 1-го выпуска из Смольного монастыря[80] вместе с родной моей теткой, Марьей Васильевной, о которой упомяну после. Здесь же припомню только одно, что я видал этих двух монастырок в начале 40-вых годов и что обе старушки пренаивно называли друг дружку Машенькой и Катенькой.

Не слишком ли долго занялся я перебором всей этой семьи? Но она была главной опорой родственной семьи моей матери. Родной мой дед по матери, Василий Иванович Обресков[81], был двоюродным братом дипломата-узника и, вероятно, по его покровительству служил, хотя и недолго, в гвардии. Сколько мне известно, он, подобно деду моему по отцу, находился под башмаком у своей супруги, моей бабушки[82]. Обе они, мои бабушки, были барыни самостоятельные. Бабка по матери была урожденная Ермолова, дочь весьма богатого помещика Симбирской губернии, Федора Ивановича[83], жившего еще при Петре Великом и скрывавшегося от службы в *нетех*, на которую по закону призывались volens nolens* все дворяне, так что он до глубокой старости каким-то непонятным случаем прожил в *нетех*, а по нашему в недорослях из дворян. Екатерина II даровала права и вольности дворянству[84], т.е. позволила ему *служить* и *не служить*, итак, при ней он очутился правым, но положение его все-таки было неловкое, и потому, когда императрица изволила шествовать в Казань и проезжала мимо его значительного имения, села Чернавского, в Симбирской губернии, то приятели старика-недоросля или губернское начальство нарочно назначили его дом на большой дороге местом отдохновения императрицы. Хозяин пал перед ней на колени, она пожаловала ему ручку, и дети его пошли служить без страха и упрека. Я теперь, чтобы не спутаться, займусь Ермоловыми, а от них перейду к Обресковым. О прадедушке моем, Федоре Ивановиче, рассказывала, бывало, тетка моя, а его внучка, Марья Васильевна, что он, несмотря на все свое великое богатство, ходил летом в китайчатом зипуне, а зимой в нагольном тулупе, сам выдавал счетом сальные свечи, и то вонючие и желтые, а бесчисленным своим внукам и внучкам в день их именин и рожденья выдавал по медному пятаку; когда же внучки его долго по вечерам засиживались, то приходилось им освещать свои вечера лучинками. У него было два сына, Александр и Нил[85]; первый, прослужив где-то недолго, за свое богатство, простоту и доброту был выбран в симбирские губернские предводители и чуть ли не 5 трехлетий пробыл в этом звании[86], отличаясь широким и неприхотливым хлебосольством и великим искусством удить рыбу. Я его как теперь вижу и маленькую бойкую его супругу, урожденную Янову[87], которая и в 1818 году не терпела чепцов, а повязывалась, как наши купчихи и попадьи, платочком. Брата его Нила Федоровича помню я только потому, что он носил какой-то рыжий парик и все рассказывал о своей курьезной куда-то поездке. Кроме моей родной бабки, Обресковой, была у них еще одна сестра, Марья Федоровна Кикина, мать статс-секретаря, первого моего начальника по службе[88]. Многочисленное потомство обоих братьев Ермоловых населило всю Симбирскую губернию; от их вышедших в замужство дочерей пошли там и Топорнины, и Чемадуро-

---

* волей-неволей (*лат.*).

вы, и Тепляковы, и Филатьевы, и, наконец, Языковы[89], на имени которых с удовольствием можно остановиться. Поэт Языков, его старший брат Петр, замечательный минералог, а также глубокий мыслитель про себя, мой приятель Александр Языков и сестра их[90], жена поэта-богослова Хомякова, суть лучшие представители этого колена Ермоловых. Над всем же этим родом гигантом высится родственный им всем, а поэтому и мне, великий боец Бородина и Кульма, по преимуществу хитроумный Алексей Петрович[91]. (Совсем было забыл я сказать, что прямой потомок моих Ермоловых есть теперешний губернский симбирский предводитель, Александр Иванович Ермолов[92].)

Покончив с многочисленным племенем Ермоловых, я должен теперь рассказать о семье моей матери. Бабушка моя, Анна Федоровна, жила в Москве в большом почете и уважении и, хотя имела весьма ограниченное состояние, проживая всего 3000 р. в год ассигнациями, однако, принимала весь город и лиц самых почетных, для которых за карточным столом исключительно подавались восковые свечи, для всех прочих ставили на стол сальные. Старшего моего дядю, ее сына, Александра Васильевича Обрескова[93], удалось мне видеть раза два-три в моем детстве. Всю свою жизнь провел он в переездах с одного места на другое в военной службе; то был инспектором кавалерии, то начальником Черноморской линии и потом военным губернатором в Выборге, умер в конце 1811 г. генералом от кавалерии в Александровской ленте[94], и, – что довольно удивительно, – служа с ранней молодости в продолжение трех царствований, не был ни в одном сражении. Другой брат его, Николай Васильевич, был камер-пажем при Екатерине, в ранней молодости осчастливлен был любовью одной фрейлины, кажется, Пассек[95]. Государыня приказала ему на ней жениться, но он из послушания к матери уклонился и за то удален был из гвардии. Николай Васильевич отличался ловкостью, красивостью, необыкновенным остроумием и ухаживаньем за прекрасным полом. Находясь в отставке в Москве, вел большую игру. Было время, что в этом городе люди весьма порядочные, пользующиеся уважением общества, явно составляли компанию игроков, и так как они всегда имели большие деньги и держали банк сообща, то эта их компания находилась постоянно в выигрыше, и – странное дело – такое поведение никем не почиталось безнравственным. После Тильзитского мира и неудачного для нас Аустерлицкого сражения[96] Россия с величайшими усилиями начала готовиться к новой войне с Наполеоном, и в 1807 г. был объявлен манифест о вооружении чрезвычайной милиции. Я помню, еще ребенком, какое-то необыкновенное по этому случаю волнение даже в нашем доме. Для милиции надобно было еще открывать дворянские выборы, и поэтому составилась большая партия, чтобы свергнуть бывшего тогда губернским предводителем дворянства князя Дашкова[97], который почему-то многим, и особенно людям пожилым, был неугоден. Князь Дашков, судя по тому времени, казался, вероятно, слишком молод для такого поста; зато он

получил необыкновенное образование под руководством матери, способствовавшей Екатерине II взойти на престол. Княгиня Дашкова[98] была не только сама писательница, но и президент академии, а упомянутый ее сын довершил образование в Англии и получил степень доктора от Эдинбургского университета, но московская партия русских патриотов его свергла, вероятно, как новатора и прогрессиста, и он после такого поражения с горя тотчас занемог и умер. На место Дашкова выбрали Николая Васильевича Обрескова, и мой отец, несмотря на мучившую его подагру, по родству с Обресковым, желая его поддержать, согласился пойти в уездные предводители в Серпухов. Во время этих выборов меня в первый раз поразила одна замечательная личность так, что она и теперь сохранилась в моей памяти: то был не раз приезжавший к отцу для каких-то совещаний адмирал Николай Семенович Мордвинов[99], который был тогда выбран в губернские начальники милиции и долго-долго, до половины царствования императора Николая, отличался ярым патриотизмом и резкою правдивостью. Смелые мнения его в государственном совете долго ходили по рукам и теперь печатаются. По смерти его прошел слух, что ему известны были замыслы декабристов и что он стоял у них за ширмами наготове, но об этом после. Обресков во время своего предводительства умел понравиться пребывавшей в Твери великой княгине Екатерине Павловне[100] и часто туда к ней из Москвы ездил. Вероятно, по ее влиянию назначен был в 1809 г. московским гражданским губернатором. Ему выпал жребий прослужить в этом звании весь 1812 г. и в 1813 восстановлять порядок в губернии. Об этом также буду говорить подробно в свое время, когда дойду до грозного нашествия.

Я решительно ничего не могу сказать о моей матери, которая прожила всего 4 года замужем за отцом моим и оставила меня полутора года. Она умерла родами в 1801 году, в феврале месяце, вторым сыном, Яковом, которого вместе с нею похоронили, я же родился 8 сентября 1799 года в московском нашем доме на Арбате, где теперь военный окружной суд.

Отец мой так был обрадован появлением на свет сына в дни своей старости, что тотчас после родов жены ночью пошел пешком в церковь Симеона Столпника на Поварской[101] и, разбудив священника, упросил его отслужить молебен патрону моему Дмитрию Ростовскому[102]. (В этой церкви сохраняется современный портрет ученого святителя, чтимый ныне как освященный образ.) Это тем более для меня памятно, что вообще служение молебнов, всенощен и пр. не было в привычках моего отца.

Отсутствие всякого ханжества, а может быть, и некоторое равнодушие к менее важным обрядам нашей церкви может, я опасаюсь, послужить укором его памяти в глазах теперешнего поколения, более приверженного православию во всех его проявлениях, и потому я должен здесь войти в некоторое объяснение. Мне неизвестно, почему и когда именно отец мой стал масоном, или

мартинистом[103]; о том, что он принадлежал к этому ордену, узнал я только после его кончины, и только тогда, узнав об этом от его товарищей по ордену и из его переписки с ними, начал я объяснять себе всю нравственную сторону его жизни. Он был неуклонно строго честен во всех своих отношениях, и – что всего удивительнее, судя по тому времени, к какому он принадлежал, той среде, из которой он вышел, по весьма недостаточному образованию, которое он получил, по бедности, в которой он родился, по его службе в армии, где, конечно, не окружали его примеры уважения к человеческому достоинству, – несмотря на все это, он был примерно хорошим помещиком.

В его управлении имениями не было почти никакого произвола и решительно никакого излишнего отягощения крестьян. Оброчные его крестьяне платили ему самый умеренный оброк, и не было никаких других поборов, как то бывало тогда почти везде, и баранами, и грибами, и ягодами, и холстами, – с них ничего такого не взыскивалось. Когда же случалось взять у оброчных крестьян подводу, то им платились прогоны. В новосильском имении, которое, по самой своей местности, не могло быть иначе как на барщине, отец мой хотел устроить навсегда самый безобидный порядок. Он разделил всю пашенную землю на три поля, как для себя, так и для крестьян; каждому тягловому работнику назначен был 3-х десятинный участок в каждом поле в постоянное владение, и каждому этому тягловому отделялся особенный участок в полторы десятины в каждом поле с обязанностью обрабатывать его на барщину, т.е. пахать, сеять и убирать. Таким образом, каждый тягловый крестьянин обрабатывал на барщину половину той земли, которую получал за себя. Число обозов для продажи хлеба было также определено навсегда и никогда далее 80 верст, т.е. города Мценска. Раз или два на моей памяти случалось возить хлеб в Москву, где он был сравнительно дороже, и тогда крестьянам доплачивалось по расчету. К сожалению, участковый порядок обрабатывания земли на барщину не мог долго сохраниться; невозможно было довести крестьян до того, чтобы каждый из них обрабатывал своими силами один и тот же назначенный участок. Круговая обработка сделалась неизбежною, пришлось следовать везде установленному обычаю; но земляной надел крестьянам на каждого работника и обязанность обрабатывать половину на помещика сохранялись до эмансипации[104]. Не забудьте, что отец мой был человек весьма раздражительный и способный предаваться самому сильному гневу, если бы он себя постоянно не сдерживал, – так передали мне наши домашние, и два или три раза заметил это я сам, но я не помню, чтобы он дрался с людьми из собственных рук, и у нас не было тех тяжких истязаний и тех орудий казни над крестьянами, которые мне случалось встречать даже в сороковых годах и у лучших соседних помещиков. У нас и в заводе не было, чтобы тяжко провинившимся брили половину головы и половину бороды и не позволяли им отращивать волосы до помилования; у нас не существовали

в конторах колодки, к которым приковывались виноватые, и не надевали на них ошейников. Без розог дело не могло, конечно, обходиться, но это были обыкновенные занятия управляющего с конторою. Отец мой не следовал обычаю многих – продавать людей другим помещикам, или в рекруты, ни вдов, ни девок в замужество, и только один раз, купив Михайловское, по теперешним моим понятиям, изменил своему гуманному направлению в том, что, отобрав из всего имения сотню крестьян самого дурного поведения, выселил их на принадлежавшую ему землю под Кременчугом и впоследствии продал с землею тамошнему помещику. Это доказывает одну святую истину, что и лучшие помещики не могли не злоупотреблять крепостным правом. Таких доказательств много будет в моих «Записках». Чем же объяснить его такое поведение с людьми, от него вполне зависевшими? Он не мог осуждать и не осуждал, конечно, крепостного права в его принципе, и в двух сохранившихся после него бумагах называл крепостных своих так: «Богом и государем данные мне подданные», но в каждом человеке он уважал образ и подобие Божие гораздо более, чем в образах писаных и обложенных окладами и драгоценными каменьями. Такое высокое христианское понятие об обязанностях человека к человеку и о правах человека над человеком выработало для него учение масонов, или мартинистов. Он, как и лучшие из членов этих сект, признавал святость внутренней церкви и поклонялся Божеству не в горех Иерусалимских, но духом и истиною. Масонство было благотворным и самым деятельным орудием нашего просвещения с половины XVIII столетия и до самого его уничтожения[105]. Об этом ордене были напечатаны многими самые любопытные сведения, и мне нет нужды распространяться в моих «Записках» о его значении, да и сведения мои об этом предмете весьма скудны, так как я никогда не был масоном. Все акты ордена, найденные после смерти отца, все недозволенные цензурою книги, тайно напечатанные в масонской типографии, все рукописи и знаки масонского ордена взяты были у меня по его смерти и по его завещанию другом и врачом его, также масоном, Матвеем Яковлевичем Мудровым[106], которого московские старожилы еще помнят. Этот любимый и оригинальный доктор открыл мне в то время всю масонскую деятельность моего отца. По кончине Екатерины, преследовавшей братьев ордена, при Павле масонство опять возникло. Орден этот для распространения своего учения и преимущественно для гражданской цивилизации всех слоев общества рассылал по губерниям деятельных своих сочленов и возлагал на них обязанность открывать масонские ложи в губернских городах. Основатели носили звание «великого мастера ложи»; такими были: в соседнем с нашим имением городе Орле мой отец, Петр Петрович Тургенев[107] в Симбирске, Захар Яковлевич Корнеев[108] в Харькове, Гамалея[109] в Туле и т.д. Коротко ли, долго ли управлял своею ложею мой отец, решительно не знаю, но дом, в котором была орловская масонская ложа, перенесен был после

смерти моей матери в наше Михайловское, и дом этот живет там еще и теперь, ветшает, но служит мне ежегодным летним приютом. Ломать его мне не хочется, переживать – грустно, хотя все окружающее ежедневно напоминает мне о необходимости построить жилище новое; тут же, как нарочно, на полугоре, за широким прудом, образовавшимся из запруженной реки Любовши, улеглась железная дорога, с которой виден этот старый чернеющийся дом, как темное пятно среди густо окружающей его зелени дубовых лесов, липовых аллей и березовых рощ. Великий соблазн – выстроить на показ для других и для удобства себе и семье что-нибудь покрасивее или хотя поприличнее нашему времени, а все не хочется. Из всех товарищей по масонству моего отца помню я троих: сенатора Ивана Владимировича Лопухина[110], жестоко гонимого Екатериной II и орудием ее преследования в Москве – главнокомандующим князем Прозоровским[111]. Деятельность Лопухина теперь всем известна, и потому я говорить о ней не стану, скажу только одно, – что он известен был беспримерным нищелюбием: имея обычай ежедневно гулять пешком по городу, он обыкновенно брал на раздачу нищим несколько рублей и часто за недостачей отдавал свои носовые платки. У него никакого не было порядка в доме; состояние его было расстроено; холостой и бездетный, чтобы жить сколько-нибудь порядочно, прибегал он к частым займам у своих братьев масонов и никогда не отдавал[112]. Вторым товарищем по ордену был Петр Илларионович Сафонов[113], пышный степной барин, служивший при Екатерине полковником гвардии, при Павле – губернским орловским предводителем, женившийся для поправления своих расстроенных дел на[114] Анне Герасимовне Савиной[115], невестке ныне благополучно председательствующей над московскими детскими приютами Татьяны Александровны Савиной. В этом Сафонове, назначенном ко мне опекуном, не сохранилось, кажется, и следов благотворного в некотором отношении масонского учения. Он был весь проникнут и пропитан своим полубарским достоинством, имел своих живописцев, музыкантов, певчих; лакеям у него не было числа; сад у него был стриженый; стаи борзых и гончих и полуголодные и полуодетые ловчие и доезжачие выбивали озимые зелени помещичьи, крестьянские и однодворческие без разбора; зато говорил он всегда пышно, красно, а при случае, для приезжего издалека гостя, сколько-нибудь грамотного, не позабывал прочитывать какую-то оду на Благовещение, когда-то им сочиненную по образцу Хераскова[116]. Третьим братом по масонству моего отца был тоже сосед по Михайловскому Василий Васильевич Артемьев[117], отец которого был не из дворян, а из каких-то приказных. Этот, как видно, был человек поживее; бросив в первом офицерском чине военную службу, он весь погрузился в химию, но как масону такой науки ему было мало, и он стал изучать Феофраста Парацельса[118] и предался алхимии, завел у себя лабораторию, добиваясь, подобно другим, открыть философский камень и составлять золото. Помимо тай-

ных своих занятий, он занимался и медициной и у многих по соседству славился своим врачеванием; другие же уверяли, что он морил своих пациентов, как мух. В старости он спился с кругу, но и в таком положении пользовался особенным уважением людей, которые впоследствии сделались государственными сановниками, так, напр., граф Сергей Степанович Ланской (отец Перфильевой, брат княгини Одоевской)[119] часто навещал его деревенское уединение. Артемьев также был назначен ко мне опекуном, но, подобно Сафонову, поленился заняться моими делами, а я с первого же года, т.е. с 15-тилетнего моего возраста, позаботился и совсем отделаться от своих опекунов. Кстати об опекунах, упомяну и о моем третьем, богатом, рязанском помещике Петре Николаевиче Дубовицком[120]. Он служил в Крыму под начальством моего отца; это был человек своего рода замечательный и совершенно противоположный двум упомянутым прежде личностям; природный ум его отличался беспощадной логикой, и потому он был человек практичный до мелочи, и по тому же самому был беспощадный, отъявленный враг масонов и всегда разделял их на два сорта: на братьев-братиков, которые брали и никогда не отдавали, – таких он называл умными, и братьев-датиков, которые всегда давали, – и этих называл дураками; хозяин-помещик строгости и точности неумолимой, но всегда справедливый; деревни его около Рязани отличались редким порядком и устройством, а крестьяне по своему богатству чуть ли не были первыми во всей губернии; ни один из них (а у него их было до 2000, если не более) не смел и подумать выпить когда-нибудь водки: «пей пива сколько хочешь, – говаривал он им, – выпьешь водки – иди в рекруты, негоден – отправляйся на поселение». Он, бывало, в Москве у меня после отца останавливался, и я как теперь вижу его каждый вечер выкладывающим из портфеля ассигнации, а из кошелька серебро и медь для поверки издержек и записки их в расходную книгу, а ему было тогда за 70 лет. Вот что случилось однажды у меня на глазах. Обещал он одному молодому человеку дать взаймы 5000 руб. и назначил день, чтобы отдать ему деньги, а от него взять заемное письмо. Молодой человек, очень порядочный (имя его не припомню), приехал при мне и тотчас же вручил совершенное им формальное заемное письмо, а Дубовицкий отдал ему 5 пачек в каждой по 1000 р. Юноша не считая кладет их в карман и благодарит. «Не угодно ли счесть?» – «Помилуйте! Отчего же?» – «Пожалуйста, сочтите». – «Как я смею!» – «Ну, так, батюшка, позвольте, пожалуйте мне их назад и извините. Я не даю денег таким господам, которые их не считают». Юноша сконфузился и наконец рассердился. «Помилуйте, ведь я написал заемное письмо, хлопотал, и оно чего-нибудь стоит». – «Вот это другое дело; что правда, то правда. Пошлин вышло у вас на него 5 р. 50 к., за написание заплатили вы – ну – рубль, да на извозчика проездили тоже рублик, так ли-с? Вот вам, батюшка, за ваши расходы 7 р. 50 к., а заемное письмо я разорву. Прощайте!» «Вот, милый мой

Митя, – сказал Дубовицкий, обращаясь ко мне, – все это проделал я тебе в науку, а с молодцом этим мы сочтемся». Недаром, впрочем, старик Дубовицкий был озлоблен против масонов, или мартинистов, и так строго судил их: они погубили ему единственного сына[121]. Подчинившись влиянию самых ревностных деятелей этой секты и в особенности знаменитого Лабзина[122], он весь предался какой-то странной религиозной мании и еще при отце одичал совершенно и жил не столько в обществе людей, сколько с духами. Чтобы как-нибудь развлечь сына, отец женил его поневоле, уже довольно взрослого,чуть ли не под 30 лет, на молодой, красивой девушке из хорошего семейства Озеровых, сестре бывшего впоследствии члена Государственного совета Петра Ивановича и родной тетке теперешнего министра нашего в Баварии и другого, недавно бывшего в Швейцарии; но это его не спасло: бедная женщина прожила недолго, оставив ему сына и двух дочерей[123]. Мистик Дубовицкий дал им самое оригинальное воспитание; дочери, хорошо образованные, хотя и отдаленные от всякого общества, начали изучать медицину и особенно повивальное искусство; для усовершенствования своих познаний сего рода долго жили они в Париже и никогда не были ни в одном театре. Дальнейшая их судьба мне неизвестна. Сын пошел также по медицинской части, получил докторство и долго был президентом Медико-хирургической академии и очень недавно умер. Как ни странно такое направление, данное детям при весьма хорошем состоянии, но в нем, конечно, нет еще ничего предосудительного. Зато сам Дубовицкий кончил жизнь весьма дурно: он удалился в елецкое свое имение и начал созывать к себе своих и соседних крестьян на какие-то молитвенные беседования, им проповедывал и давал обеды, называя их трапезами любви, или агапами. Об этом узнали власти, духовная и гражданская, и донесли правительству; после долгих и безуспешных увещаний обратиться от своих мистических заблуждений на истинный, правильный, общий путь его заточили, невзирая на сильные протекции, в Соловецкий монастырь; там, кажется, он и умер.

* * *

Но пора мне представить налицо будущим моим читателям главного и единственного героя этих «Записок», т.е. самого себя, так как я, каков ни на есть, буду средоточием всего этого повествования. Родился я в конце XVIII столетия, в грозное царствование Павла, наименован был Дмитрием не в честь какого-либо родственника, а во имя святителя Ростовского; по всему видно, что отец мой из особенного уважения к памяти еще в том же столетии прославленного святого дал мне его имя. Совершенное неведение мое о моей матери имело, вероятно, весьма сильное влияние на все мое развитие. Отец мой никогда не говорил о ней. Хотя он любил меня страстно, но в обращении

со мной он был необыкновенно сдержан, а я боялся его более, нежели любил. После кончины матери жила с нами родная моя тетка Елена Яковлевна, одна из меньших сестер отца. Здесь следует сказать кстати, что по смерти своих родителей четырем первым своим сестрам уступил отец мой все свое отцовское и материнское имение в Тверской губернии, а так как при всем этом части их были весьма невелики, то взял на свои руки меньших сестер и дал им обеим вместе село Чудиново с пустошами. Выдав, как сказано выше, меньшую из них за Слоновского, сестру Елену он поместил у себя. После моей матери она сделалась полною хозяйкой всего нашего дома и, несмотря на то, что была решительно без всякого образования, полновластно управляла всею ежедневною жизнью; от этого вышло то, что к нам редко являлись люди развитые, потому что для них женского элемента, сколько-нибудь привлекательного, у нас не было; дамы высшего или хорошего общества, которого сам мой отец никогда не оставлял, также к нам не езжали: им не о чем было говорить с моей тетушкой, хотя доброй и весьма умной в практическом смысле. Между братом и сестрой также не могло быть интересного разговора, и мне не к чему было прислушиваться. Такую родственную любовь к своим сестрам и постоянную о всех них заботливость, несмотря на все умственное и нравственное расстояние между ними и братом, объяснить я могу себе одним только святым исполнением долга, и это чувство было в моем отце так сильно, что один раз, гораздо прежде, навлекло на него самого гнев его матери. Я забыл было и совсем записать эту черту его жизни, показывающую, как в старые годы дети уважали своих родителей. Уже вдовцом, после первой своей женитьбы возвращался он из Петербурга в Крым и заехал навестить мать; она стала говорить ему о необходимости поправить приходскую церковь и просила сына помочь ей перекрыть крышу. «Матушка, – отвечал он ей, показывая на сестер, – сколько у вас непокрытых». Матушка разгневалась, сочла кощунством над святынею такое сопоставление людей с храмом Божиим, и чтобы ее успокоить и с нею помириться, вдовый, 40-летний мой отец долго с переломленной ногой стоял перед ней на коленях, испрашивая прощения.

Постараюсь, начиная отсюда, избегать отступлений подобного рода, которые так мешают труду, мной предпринятому. Как я рос ребенком, не помню. Ко мне, 5-тилетнему, приставили в дядьки нашего крепостного человека, бывшего прежде, как он сам о себе всегда говаривал, плохим приказчиком, Афанасия Варфоломеевича Пивоварова[124], который долго был моим единственным воспитателем. По настояниям моей тетки Обресковой, родной сестры матери, той знаменитой Марьи Васильевны, которая воспитывалась в Смольном монастыре пансионеркой князя Орлова у г-жи Lafond[125], довольно бойко говорила по-французски, господствовала в своей семье и называлась в ней стрелой-барышней, долго жила в Москве и славилась своей резкой правдивостью, взяли ко мне, 7-летнему мальчику, какого-то француза эмигранта,

monsieur Pavillon, но, не зная ни слова по-русски, он не мог ужиться у нас долго, едва ли более 2-х месяцев; он лично совершенно вышел из моей памяти. Помню только одно, что жил он у нас в большом арбатском доме, который отец мой, видно, найдя его слишком обширным, продал, и мы перешли в небольшой очень домик, выстроенный на обширном дворе назади большого в Кривом переулке, в приходе церкви Николы в Плотниках[126]. Рядом же с нами, на части земли, отделенной от того же дома, поселился главный поверенный моего отца (по-тогдашнему назывались они стряпчими) московский 3-й гильдии купец Ефрем Никифорович Барышов; прежде он был крепостным какого-то господина, куплен у него моим отцом и им выпущен на волю. Этот отпущенник занимался и по смерти моего отца всеми моими делами по присутственным местам и был в конце своей жизни мне предан за оказанные ему благодеяния. В маленьком домике, кроме моей тетки, жила еще очень молоденькая девушка, воспитанница моего отца[127], Катерина Николаевна, которая через несколько лет выдана была замуж – и, кажется, против желания – за мелкопоместного серпуховского дворянина Николая Сергеевича Тарасова, который впоследствии, во время долгого моего пребывания за границей, управлял моим имением. Ни старый мой отец, умный, бывалый, образованный, ни моя тетка, весьма пожилая девушка, умная, но безграмотная, управлявшая, однако, всем, не имели на мое детство такого влияния, какое имел на мое первоначальное воспитание мой дядька Варфоломеевич, и потому я по справедливости должен посвятить ему целую страницу моих «Записок», как такому оригиналу, о котором и теперь еще напоминают мне видавшие его со мной старушки, мои современницы. Я многим ему обязан и воспоминаю о нем с благодарностью, хотя и не без примеси другого, совершенно противного, чувства, потому что постоянное его при мне присутствие не раз оскорбляло глубоко мое детское самолюбие.

Дядька мой, Варфоломеевич, как его тогда все называли, приставлен был ко мне, когда ему было лет под шестьдесят, мне же было лет 5 или 6. Он гордился своим происхождением от дворовых же людей какого-то, по его убеждению, знатного дворянского дома Хрущевых. Подобная гордость между дворовыми людьми не была редкостью, она продолжалась до самой эмансипации. Дворовые, хотя и крепостные, всегда ставили себя несравненно выше всякого помещичьего крестьянина, хотя бы даже последний самостоятельно торговал на свой капитал, иногда довольно значительный. Крестьяне сами смиренно сознавали превосходство над собою дворовых, точь-в-точь как почтенный по роду провинциальный дворянин смотрит, или по крайней мере смотрел, на камергера, а тем паче на какого-нибудь гофмаршала, хотя и отставного, потому только, что последний был близок ко двору. Мне бы не хотелось, чтобы мои замечания перетолковывали совершенно в противную сторону, чтобы меня принимали за защитника идей нового времени. Я принадлежу прошло-

му, которое уважало всякую власть, и свое уважение основывало столько же на законах гражданских, как на законах божественных. Христианский закон повелевал подданному повиноваться государям даже языческим, рабу – даже господину жестокому и исполнять сие повеление не из одного страха, а по совести, т.е. как долг. Отсюда понятно, что люди, стоящие в отдалении от власти, какая бы она ни была, питают уважение к тем, которые ее окружают. Всякое чувство может, конечно, быть доведено до излишества, но то чувство, которое теперь называется предрассудком и даже подлым унижением, в своем источнике основано на непреложной истине.

Итак, мой Варфоломеевич, происходивший от рода дворовых, служивший знатному дворянскому дому в своей молодости, был приставлен камердинером к молодому своему барину, офицеру гвардии, и отправился с ним в Первую Крымскую войну[128] в Молдавию. Долго сопутствовал он ему в этом походе, изучив, будучи довольно грамотным по-своему, и географию, и нравы, и отчасти самый язык этой страны; но барин его был убит в каком-то сражении, и золотое время путешествия Варфоломеевича кончилось невольным возвращением на родину. Там ожидала его судьба менее благоприятная: от убитого старшего брата перешел он к меньшому, который, промотав все свое состояние, продал Варфоломеевича г. Якоби[129], впоследствии известному сибирскому генерал-губернатору екатерининских времен. Отец мой встретился с г. Якоби около Сарепты; он в то время заводился домом и, не имея собственных дворовых людей, покупал их целыми семьями; тут был куплен и Варфоломеевич вместе с мальчишкой-поваренком[130] и двумя калмыками, уроженцами Приволжского края, которых я еще застал в живых. Всю эту дворню отец мой взял с собою в Крым, и после, купив имение в Новосильском уезде, назначил Варфоломеевича туда приказчиком. Он, вероятно, оказался плохим на самом деле, потому что пробыл там недолго; наконец приставили его ко мне дядькой.

Отличительной чертой этого первого и главного моего наставника была не только набожность и усердие к церкви, но и вместе изумительная начитанность божественных книг. Он, кажется, знал наизусть не одну Псалтирь, что еще часто встречалось, а и все Евангелие. Как выучил он меня грамоте, церковной и гражданской, я сам не знаю. Шести лет от роду читал я отчетливо и бойко и ту, и другую. Каждое утро молились мы с Варфоломеевичем по строго заведенному им порядку. После чтения утренних молитв вычитывал я одну кафизму, а потом Апостол и Евангелие дня; затем после чая следовал сидячий урок чтения, весь состоявший из упражнения в нем по божественным книгам. Варфоломеевич имел сердце необыкновенно чувствительное, ему ниспослан был тот дар слез, который так высоко ценится всеми мистиками и аскетами; поэтому он для меня избирал предметом чтения жития св. мучеников, а из Евангелия всего чаще читали мы беседу Спасителя с учени-

ками пред Его страданием и самые страсти, и я вместе с моим дядькой обливался слезами от искреннего сердечного умиления и, без сомнения, вполне сохранил бы за собой тот дар слезливости, каким он отличался, если бы себя не сдерживал, опасаясь казаться смешным. Не бесследно прошли для меня такие уроки чтения; от частого повторения до того усвоил я практическое знание церковного нашего языка, что удивлял этим познанием многих пожилых приятелей моего отца и в особенности набожных барынь и всяких старух-приятельниц и приживалок моей тетки. Этого мало; мне случалось лет 40 или 50 после озадачивать моим таким знанием великих славянских учителей позднейших времен и в спорах, вертящихся на одних текстах, иногда поражать их. Но, видно, всякое добро может быть источником какого-нибудь зла; в глазах дядьки я стал каким-то чудом, им созданным; прельщение моими высокими достоинствами, к сожалению, коснулось и моего отца, и вот напоказ свету начали меня развозить по гостям и вместе со мной брать моего дядьку, который, разодетый во французский кафтан, или бархатный, или тончайшего синего сукна, с большими перламутровыми, либо светлыми стальными пуговицами, в штанах, в шелковых чулках, в башмаках с пряжками, с прической à la vergette* и с завитыми в два ряда буклями и косой следовал за мной всюду, как тень, имея в кармане на всякий случай и Евангелие, и Псалтирь. Таким образом часто отправлялись мы втроем в разные дома и большею частью в дома людей знатных. Возили меня к графу Пушкину, знаменитому собирателю русских древностей, открывшему в 1812 году «Слово о полку Игореве»[131] и приготовившему последнее к изданию, и к этому – прямо к обедне, несмотря на огромное расстояние между Кривым Арбатским переулком и Разгуляем. Там задавалось мне чтение псалма при конце обедни, что не мешало, однако, чтению после службы какого-нибудь отрывка из Псалтири или Евангелия. Возили меня еще к графу Орлову[132], к слепой старушке Нарышкиной и мало ли еще к кому из перезабытых мною, но никогда не возили меня к моему родному дяде и тетке Обресковым; последняя очень негодовала на все эти развозы мальчика, из которого делали какого-то актера набожности. Сначала это мне почти нравилось, но потом сделалось просто моим несчастием. У графа Пушкина были почти моих лет сыновья и дочери[133], воспитываемые совсем иначе; они, казалось мне, смотрели на меня с каким-то презрением; у графа Орлова тоже были тогда внуки, молодые графы Панины[134]. Всего сквернее чувствовал я себя, когда случалось мне с отцом быть на один или два дня в Отраде; тут и пышный мой дядька делался мокрой курицей, и мы были предметами насмешек хозяев юного поколения, их иноземных гувернеров и гувернанток, а вероятно, и слуг. Никак не могу объяснить себе, почему так поступал со мной мой отец и какую он мог видеть

---

* прическа в виде хохолка на лбу (*фр.*).

в этом пользу. Мне такие визиты и даже самый мой дядька с его чопорным костюмом французского маркиза XVIII столетия стали решительно ненавистны, а напоминание о моем дядьке и всех тогдашних невольных проделках долго заставляло меня краснеть до ушей всякий раз, когда кто-нибудь из моих современников об этом со мной заговаривал.

Наконец как-то и когда-то заметили, что великолепного и слезливого дядьки недостаточно для моего образования и что мальчику моих лет, кроме бойкого чтения русской и славянской грамоты, нужно знать что-нибудь побольше. У Варфоломеевича, кроме сказанного чтения, выучился я пению с голоса божественных и народных песен, затвердил пословицы, которые он вмешивал в свою речь, говоря всегда виршами или притчами, но не мог выучиться, да, впрочем, он меня этому и не учил, вязать тончайшие нитяные чулки; я не любил также его будничных буклей, завернутых всегда в эти дни в бумажки. Кроме всех этих особенностей, в характере Варфоломеевича заметно преобладала охота водить голубей. Он получил в свое владение половину чердака нашего дома, где обитали эти его птицы. У него было по нескольку пар и трубчатых турманов, – они как-то кувыркались в воздушном пространстве, спускаясь на землю, – были и так называемые чистые, на которых любовались, смотря на отражение их в воде какого-нибудь сосуда, нарочно для того поставленного, когда они по несколько минут держались на одном месте в воздухе, и красивые козырные, и хохотавшие вместо воркованья египетские голуби. Варфоломеевича знали и в Охотном ряду. Он менял и продавал своих птиц иногда по 60 руб. за пару. Но и эта охота не привилась ко мне.

Арифметике начал меня учить другой наш крепостной человек, Илья Михайлович Шилов, изворотливый конторщик при отце, впоследствии его секретарь, ходатай по делам и, наконец, наш управляющий в Михайловском. Он был действительно человек редко даровитый, и у него вызубрил я всю арифметику и первую часть геометрии. Катехизису по какой-то рукописи обучал меня студент московской Славяно-греко-латинско-российской академии Лебедев[135], искавший места диакона при нашей приходской церкви, Николы в Плотниках, что на Арбате; впоследствии он занял тут же место священника и был моим духовником до 1860 г. Катехизис этот, сколько припомню, был замысловатый и мистический; кажется, он писан был учеником масонов, священником церкви Иоанна Воина, что за Москвой-рекой, Матвеем Десницким, знаменитым в свое время проповедником, потом черниговским архиепископом и, наконец, Михаилом, митрополитом с.-петербургским[136]. Богословские его сочинения во многих томах известны. Память моя сохранила некоторые любопытные подробности преподававшегося мне катехизиса. Не могу утвердительно сказать, весь ли принадлежал он этому знаменитому архиерею или составлен из его сочинений, но вот что из него я запомнил: там упоминалось с большими подробностями о восстании отпадших ангелов

под предводительством Люцифера и поражении их архангелом Михаилом, архистратигом небесного верного воинства; далее в нем пространно объяснялось, что начаток грехопадения Адама был уже в зародыше, когда праотец наш, обозревая всех животных, сотворенных попарно еще до его появления в раю, усмотрел, что только он из всего сотворенного единичен, а между тем ему обетовано было размножение человеческого рода; такое сомнение Адама автор Катехизиса вменял ему в первое грехопадение. Затем поражало мой детский ум глубокомысленное сравнение солнца с Триипостасным Божеством: самое светило уподоблялось Богу Отцу, лучезарное сияние его – Богу Сыну, а теплота, животворящая вселенную, – Богу Святому Духу.

* * *

Со дня Аустерлицкого сражения в 1805 году все современные обстоятельства, тяготевшие на всех слоях русского общества, издали приготовляли Россию к грозному 1812 году. Бедственный Тильзитский мир, уничтоживший Пруссию и почти всю северную Германию и заставивший нас, как говорилось тогда, выплачивать огромную контрибуцию Бонапарту по силе секретной статьи этого трактата, кроме того, ввел и у нас стеснительную для торговли континентальную систему. В настоящее время все эти невзгоды и их причины стали известны. Общее дело отражалось на частном всех и каждого, а потому и на дальнейшем ходе моего неудачного воспитания. Выше было сказано, как французский эмигрант г. Павильон убежал из нашего дома, вероятно, считая нас дикими варварами. Такая неудача во французе при всеобщей к ним ненависти, равно и к их языку, уничтожила в моем отце всякое желание взять для меня гувернером другого какого-нибудь француза, тем более, что французские эмигранты, набожные католики и преданные прежней монархии, становились редки и были слишком для наших средств дороги, а ходячие, дешевенькие французы считались в то время безбожниками и шпионами, и от них бегали как от огня. Истые патриоты, особенно не знающие французского языка, решались отказываться от него для своих детей; они косились и на тех своих соотчичей, которые усвоили себе обычай говорить между собою преимущественно не по-русски. Мне часто приходилось слышать урывками беседы моего отца в Москве с умным, строгологическим Дубовицким, в деревне – с пышным, мистическим Сафоновым о тягостях переживаемых этими стариками дней. Они сравнивали их с золотым веком Екатерины, а некоторые из стариков предпочитали даже Екатерининскому царствованию времена Елисаветы. Императора Александра, еще юного, благодушного, привлекавшего сердца всех своею наружностью и в полном смысле, по тогдашнему выражению, прекраснодушного, искренно все любили, но многие о нем скорбели как о человеке, предавшемся свободолюбивым нововведениям на принципах свободы, равенства и братства,

которыми началась революция 1789 г. Его упрекали подобострастием к Наполеону[137], вышедшему из консулов в императоры, и во всем видели враждебные козни на Россию французского посла Коленкура[138], отличаемого государем. Канцлера графа Румянцева считали другом Бонапарта, а Сперанского открыто называли изменником[139]. Последний мне и теперь представляется врагом русского дворянства; оно и не могло быть иначе: он вышел из семинарии, попал в учителя к детям вельможи князя Куракина[140], взят был к нему секретарем, и, несмотря на все свои дарования и то истинное образование, которым он превосходил своих аристократических сверстников, несмотря на благосклонность к нему его патрона, ему приятнее было трапезовать с княжим дворецким и его лакеями, нежели сесть за куракинский обед. Высший круг общества возненавидел Сперанского за то, что он добился у государя уничтожения преимуществ придворных должностей[141], а превосходительных камергеров и высокородных камер-юнкеров лишал присвоенных званиям этим чинов, принуждая на будущее время начинать службу наряду со всеми с четырнадцатого класса вместо пятого, задерживая производство в 8 и 5 классы экзаменами, установленными для получения этих чинов, или требованием аттестатов, или свидетельств от университета об окончании студенческого курса; не представившие последних должны были оставаться в чине титулярного советника. Все остальное дворянство, которому двор не мог быть доступен, озлилось на него за то, что он ввел в Россию incometax, т.е. плату десятой части в казну доходов за вычетом одних только казенных долгов. Я помню, к какой бессовестной хитрости наше дворянство тогда прибегало. Отец мой хотел было объявить настоящие свои доходы и заплатить в казну с 20 000 – 2000, что было бы очень стеснительно, но всеми уважаемый граф Владимир Григорьевич Орлов убедил его своим примером и советом подобно всем прочим обмануть правительство. Владелец с лишком 45 000 душ, Орлов заявил *по совести*, чего тогда только и требовалось, доход свой в 40 000, а мой отец по сравнению объявил в 4000. К такой мере обмана прибегали неизбежно. Жизнь была барская, широкая; в важных и частых случаях с визитами к московской знати и к ним на обеды отец мой выезжал не иначе как в золотой английской двуместной карете, заложенной цугом, т.е. шестерней красивых датских лошадей, с кучером и двумя форейторами, по праву своего чина, да еще с двумя ливрейными лакеями, трясущимися, как в лихорадке, стоя на безрессорных запятках экипажа. Вот уже 5 человек необходимой дворни, прибавьте двух неизбежных поваров, готовивших понедельно, камердинера с его помощником, дворецкого, собственного парикмахера, двух портных, мужского и женского, разных горничных при тетке, штук пять прачек и т.д. Все это дворовое население, размножавшееся в других барских домах, но не у нас, одевалось плохо, ело впроголодь и воровало страшно, а доходы были скудные: в хороший и очень

хороший год с 2000 получалось от 15 000 до 20 000[142]; предметы же самого неприхотливого довольства доходили до дороговизны, дотоле неслыханной. Сахар в доме у нас ценился чуть-чуть не наравне с золотом, рассчетливая тетушка как бы отвешивала каждый кусочек, запирала его за тремя замками, и в ее отсутствие, а иногда и при ней бывало немыслимо достать себе кусочек этого обыкновенного лакомства, которого через несколько лет после у меня на заводе с грязного пола сушильни сметались рабочими метлами целые кучи. Но тетушка не совсем была виновата, что дрожала над сахаром и заменяла его медом, раздавая почетным дворовым чай. Однажды целую неделю у нас толковали о том, как бы подешевле купить домашнюю провизию сахару; приятели нашего дома сговорились купить его целую бочку и разделить между собою; сахар обошелся по 90 руб. за пуд. В Женеве, тогда принадлежавшей Франции, платили по 6 фр[анков] за фунт.

Я забегаю несколькими годами вперед, чтобы тут же кстати рассказать пример дороговизны, очень неудачно мною испытанной над самим собою на 15-м году. За успех в студенческом экзамене отец разрешил мне надеть фрак и приказал непременно самому и одному купить на всю фрачную пару английского сукна, за которое платил он сам для себя по 60 р. за аршин. У домашнего портного Семена спрошено было, сколько надобно аршин на пару платья, и по его расчету отец выдал мне все деньги. Я хотел идти за покупкой в английский магазин, к братьям Леви, приятелям моего отца, но расчетливая тетушка меня соблазнила: «Ступай-ка ты, голубчик, в город в суконный ряд, там дешевле. Может, выгадаешь рублей 5, а пожалуй, 10 на аршин, лишние у тебя же останутся, да еше отец тебя похвалит, что считать умеешь». Вот я и отправился, купил 5 аршин сукна вместо 60 по 50 руб., коричневого модного цвета и радостный привез покупку домой. Сошлись все, и мужская прислуга, и девушки, развернули, и что же? сукно оказалось какого-то бурого цвета, да еще с пятнами. Оно, видно, было залежалое и, верно, по тому самому так долго в этой темной лавке и отыскивалось. Я просто взвыл от горя и тотчас же отправился в лавку менять; меня оттуда прогнали, сказав, что я никогда у них ничего не покупал. Но история моего первого фрака тем не окончилась; я льстил себя надеждою, что мне позволят заказать эту пару платья лучшему тогдашнему портному Флорье, а мой батюшка, посмеявшись вдоволь над моей неудачей, приказал мне, не без совета тетки, отдать его нашему Семену, который, как нарочно, сшил все как нельзя хуже, почему и возненавидел я этого Семена и долго дразнил прозвищем Семенье; прозвище перешло в дворню, с ним он и умер.

С 9 лет моего возраста, когда я, одинокий совершенно мальчик, не имевший в доме ни одного товарища моему детству и не находивший их для себя вне дома, рос так противоестественно между стариками, одним слабеньким своим умом, отец мой стал мало-помалу сближать меня с собою, а дядька

Варфоломеевич незаметно от меня отставать. Реже становились выезды мои по гостям и мои публичные чтения и приводившее меня всегда в отчаяние на чужих обедах стояние за моим стулом, в виде расфранченного маркиза, моего дядьки. Ежедневно после утренних молитв с ним я, по приказанию батюшки, читал ему вслух уже не церковные книги, а отрывки из какой-нибудь летописи, из русской истории князя Щербатова, из «Ядра Российской истории» князя Хилкова, либо стихи Ломоносова, Хераскова, Кантемира, Сумарокова, Державина[143], а потом, проведя часа полтора в подобном чтении, брал уроки у приходивших ко мне по билетам учителей немецкого, французского и русской грамматики, до того ничтожных, что как физиономии, так и имена их совсем вышли из моей памяти. Так было со мною в Москве; в зимние месяцы по городским улицам гулял я пешком и катался в санях, никуда не заезжая, то с дядькой, то с теткой, а остальное время проводил постоянно одиноко в чтении без выбора. У отца моего была большая библиотека, разумеется, русская, в которой, кроме божественных книг, было все, относящееся к русской истории, все наши тогдашние классики, журналы и начинавшие тогда входить в моду сочинения Карамзина, его «Письма русского путешественника», его «Московский журнал» и «И мои безделки» Дмитриева[144]. Карамзин и его друг Дмитриев первые заговорили у нас чистым человеческим языком без пафоса; их сочинения не выходили у меня из рук; Крылов[145] со своими, по временам появлявшимися, баснями был тоже моим любимым автором. В книжных шкафах моего отца было много и мистических книг, дозволенных цензурою; не дозволенные, издаваемые масонами, были под замком; я и в них заглядывал, перелистывал сочинения Иакова Бёма, Иоанна Масона, Экартсгаузена и «Сионский вестник» Лабзина[146]; ими я не зачитывался, но сильно интересовало меня сочинение Юнга Шиллинга под замысловатым названием «Угроз Световостоков»[147], в которых он рассказывал свои беседы с разными духами и с помощью их предсказывал кончину мира и второе пришествие. Между тем со всех сторон отыскивали мне гувернера и браковали беспрестанно приходивших в дом немцев с разными рекомендациями, но все они годились бы разве в дядьки, в котором у нас недостатка не было: усерднее и заботливее Варфоломеевича найти было трудно; в деревне он, бывало, по целым часам езжал со мной верхом, несмотря на то, что ему было 60 лет и что он был довольно тучен. Кажется, в исходе 1809 года гувернера, наконец, отыскали; его имя было Николай Иванович Бартоли; отец его был итальянцем родом из Болони и когда-то содержал в Москве мужской пансион. Сын родился в России, учился, по-видимому, весьма немногому, служил в Москве в межевой канцелярии, давал уроки сыновьям одного из своих начальников, и этим приятелем моего отца, Аполлоном Степановичем Ушаковым, был рекомендован ко мне в учителя. С ним начал я твердить французский и немецкий синтаксисы, которые мой учитель знал очень плохо; иностранными языками владел он хуже,

нежели русским; говорил по-французски со мною бегло, но правильно или нет – об этом у нас судить было некому. Кончив со мною дневные занятия, он охотнее, чем за урок, садился за карточный стол и играл с отцом и ежедневными нашего дома посетителями вчетвером в бостон. Когда мне минуло лет 10, и я занялся тем же – и с успехом. Г. Бартоли вскоре хотелось выставить напоказ успехи мои во французском языке, и все свое внимание обратил он на переводы с французского на русский. Удивительно странен был его выбор: он дал мне два тома Мармонтелеевых сочинений[148] под названием «Contes moraux»*. В них ровно ничего не было нравственного, кроме заглавия. Это были повести, в которых главную роль играла одна любовь, выражаемая не всегда сдержанно. Будь я мальчик поживее и более склонный к преждевременному развитию разных страстей, короткое знакомство с этими сказками могло бы развратить мое воображение. Менее неблагопристойная из этих сказок была выбрана нами для перевода; она называлась «Осада и взятие Иерихона», но и в ней главную роль играла Раав, легкое поведение которой извинялось разве только целью, ею достигнутой; над переводом этой повести довольно большого объема я трудился с старанием; переписанная мною набело на лучшей бумаге и красиво переплетенная, поднесена она была батюшке, как сюрприз, в какой-то праздник. Лет через десять попалась мне в руки эта тетрадка: и содержание, и перевод показались мне нелепыми, и я поспешил ее уничтожить. В свое время была она представлена мною, по приказанию отца, нищелюбивому его другу И.В. Лопухину, который в поощрение меня к литературным занятиям подарил мне только что вышедшие тогда «Образцовые сочинения в стихах и прозе»[149] – первый наш литературный сборник или пространная хрестоматия.

Рассказывая все эти мелкие подробности моего детства, я не могу с точностью определить, к каким годам они именно относятся, но если память моя мне не изменила, если мой гувернер поступил к нам в 1809 году, то в этот именно год Москва была обрадована первым посещением императора Александра, через 8 лет после его коронации. В прежнее время государи редко посещали первопрестольную свою столицу; сам ли я видел этот въезд государя или только о нем слышал, но великое это событие поразило мое воображение восторженною встречею государя от всего московского народонаселения. Верхом на белой лошади, тихим шагом двигался он в продолжение двух часов от Петровского загородного дворца до Кремлевского собора; окружавшие его толпы на всем пути задерживали его шествие, народ бросался целовать его ноги, и не один платок, вынимаемый им из кармана, разрывался в клочки, и, вероятно, как драгоценность, сохранялись они счастливцами.

---

* «Нравоучительные рассказы» (*фр.*).

Белокур, голубоок,
Молод и лицом прекрасен,
Ростом строен и высок,
Тих, приветлив и приятен
Взору, сердцу и уму*.

За ним следовала в золотой карете любимая его сестра, великая княгиня Екатерина Павловна, жившая тогда с супругом, принцем Ольденбургским, в Твери и по смерти его вышедшая за короля Виртембергского[150]. Не лишнее будет рассказать тут кстати о том, как прежние наши государи дорожили такими встречами от народа, и чтобы частыми своими появлениями среди него не ослаблять желанных для них впечатлений, воздерживали себя от таких торжественных выездов. Вот что при мне рассказывала наперсница Екатерины[151], Мария Саввишна Перекусихина, жаль только, что не помню, по какому случаю. «Раз как-то вошла я в комнату к матушке, – так всегда называла она государыню, – и нашла ее одну, сидящую, пригорюнившись, у своего стола; она держала голову, опершись на локоть; входа моего не заметила; я подошла поближе, к самому столу – молчит! "Матушка, что с вами? Или вы нездоровы?" – "Голова болит сильно". – "Вы бы изволили прокатиться, погода такая славная". – "Да я уже и так два дня сряду каталась по городу". – "Так что же?" – "Эх, Марья Саввишна, какая ты неразумная! Нам не годится слишком часто показываться народу, пожалуй, и заговорят, что у нас и дела никакого нет"»[152].

Оттого ли, что в нашем доме прибавился жилец, гувернер Бартоли, и потребовались две особенные комнаты для него и классная, и чуть ли не была дана особенная комната для меня (прежде я спал вместе с отцом), или по каким-нибудь другим обстоятельствам, но небольшой наш дом в Кривом переулке был продан и куплен другой близ Молчановки, в том самом приходе, в котором живу я с семьею теперь. В 1812 г. он сгорел со всем нашим имуществом, и мы с нашим Гаврилой дворником, еще здравствующим, тогда же бывшим форейтором, напрасно искали места, где он стоял. Годы сменяются, все изменяется.

Видно, очень плохо шли мои учебные занятия, потому что отца моего не покидала мысль о моем дальнейшем воспитании, и мне помнится, что я нисколько не шел вперед и только от постоянной скуки читал, что мне ни попадалось под руку. Кажется, в конце 1811 года начались переговоры отдать меня на выучку всем возможным наукам какому-то многоученому немцу Wegelin'у, сделавшемуся известным по своим сочинениям о русской истории на немецком языке[153]. Wegelin был гувернером очень богатого мальчика, единственного, как я у своего отца, сына; отец его Домогацкий был славный

---

*Стихотвор[ение] «Гений». Сочинение Державина (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

того времени конный заводчик, человек очень умный и крупный игрок; по игре он был короткий приятель с дядей моим Обресковым, а по остроте ума и злословию в обществе был дружен и с теткой моей Марьей Васильевной Обресковой, ей-то я и приписываю новый план моего воспитания, но и это продолжалось недолго, не более трех или четырех месяцев.

В начале 1812 года батюшка повез меня к директору Благородного университетского пансиона Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому[154], воспитавшему в своем заведении Дашкова, братьев Тургеневых, Блудова, Жуковского и, наконец, Одоевского, Шевырева и Титова[155]. Антонский продержал меня у себя долго, и едва ли не повторялись мои к нему визиты. Он щупал меня на все лады, и решено было отдать меня на полупансион после летних вакаций, а к этому времени кой в чем подготовить. С Бартоли распростились. На его место, по весьма счастливому для меня случаю, взяли студента московской Славяно-греко-латинской академии, никогда не забвенного мною Василия Афанасьевича Никольского[156], и тогда только начал я учиться основательно. Никольский обратил все свое внимание на правильное обучение меня латинскому и русскому языкам; последний знал я достаточно от постоянного упражнения в чтении и моей практике в церковном языке. Вместе с латинским языком начал я изучать всеобщую и отечественную историю и прочие приготовительные науки для вступления в средний класс университетского пансиона.

Учебные пособия того времени были ограничены. При моем обучении взяты были в руководство следующие книги: вместо довольно темного Катехизиса, который приписывал выше я масону Десницкому, Никольский читал мне Катехизис и краткое богословие митрополита Платона, дополняя его пространным богословием славного Феофана Прокоповича[157], написанным по-латыни; римскую историю изучал я в переводе Тредьяковского, Роллена; русскую – по истории Щербатова со ссылками на летописи; латинскую грамматику Лебедева – с помощью лексикона Розанова; риторику – Рижского с дополнением к ней латинской Бургия; логику по-латыни – Баумейстера; математику – Войцеховского[158]. Новейшие языки, т.е. французский и немецкий, очень плохо преподавал я себе сам, потому что Никольский не знал ни того, ни другого. Надо отдать ему справедливость, что он скоро приохотил меня к серьезному труду, недолго задерживая на грамматических трудностях латинского языка, читал со мной Евтропия, потом хрестоматию, и вскоре начал я переводить Корнелия Непота[159]. Судя по тому, с каким отвращением учится по-латыни новое поколение, я сравнительно с ним учился и усерднее, и быстрее; оттого ли, что метод Никольского был практичнее, или потому, что я, не имея никаких домашних рассеяний и скучая излишеством свободного моего времени, ухватился прилежно за новый труд – решить этого теперь не могу, но в два года моих занятий латынью я ознакомился с нею и понимал ее

гораздо лучше тех аристократических отроков, которые сидят над нею лет по пяти и более.

Надобно мне, однако, теперь упомянуть, какие перемены последовали в эти годы в нашем состоянии. Село Чудиново возле Солнышкова, переданное тетушкам, продано было ими воспитаннице моего отца, вышедшей за Тарасова. Новый помещик тотчас же посадил крестьян на барщину; им это не понравилось, и по неотступным их просьбам отец мой снова приобрел это имение от Тарасова. Вскоре по покупке московского нового дома куплено было батюшкой на имя тетки Елены Яковлевны и теперь еще состоящее за мною имение в Богородском уезде Тульской губернии, в 345 душ, с 1200 десятинами земли ценою за 72 000 асс.; в настоящее время там копают каменный уголь и ожидают оттуда несметные богатства. Увидим. Материнское мое имение в лесном и песчаном Макарьевском уезде Нижегородской губернии, в 170 душ, из которых теперь выросло 330, при огромном количестве земли в неотмежеванной даче, находилось до 1825 года в управлении тетки моей Марьи Васильевны Обресковой; отец мой от нее получал оброк с тамошних крестьян, сколько она ему давала, не входя ни в какие с нею счеты. Покупку же на имя своей родной сестры, а моей тетки, богородицкого имения сделал он в намерении предупредить для меня всякую возможность разориться, чему так много было примеров с молодыми, неопытными наследниками. В этом смысле написано было им и духовное завещание, в котором он назначал полновластною, безотчетною надо мною попечительницею ту же тетку мою Елену Яковлевну, прибавив ей в помощь опекунами Дубовицкого, Сафонова и Артемьева[160]. Опека эта надо мной была изъята от всякого правительственного контроля, и никаких отчетов по ней не подавалось, что было противозаконным исключением.

Все это сказано здесь мной для того, чтобы припомнить себе, как велико было влияние на моего отца этой моей тетки. Она сажала и сменяла у нас главных управляющих, сама, конечно, не понимая ничего в большом хозяйстве. В 1811 г., летом, она уговорила батюшку не ездить в Михайловское для смены управляющего, а пустить ее, что и было сделано, и слава Богу, что это было сделано, потому что этот управляющий, г. Шелихов, отец агронома-писателя 30-х годов[161], судился потом и был сослан за делание фальшивых ассигнаций в чужом имении, которым он управлял после нашего.

В конце этого года или в начале 1812 купил отец у разорившегося г. Евлашова целый квартет музыкантов, скрипача и в то же время капельмейстера Петра Бухвостова, виолончелиста Сидора, кларнетиста Александра Крылова и флейту Михайлу Соболева. Куплены они были без всякой нужды, потому только, что валялись в ногах, желая поступить в нашу дворню, и уговорили тетушку за них заступиться, а денег по тогдашнему заплачено за них довольно – 4000 р. У отца лишних денег быть не могло; для двух прежних покупок

дома и имения сделаны были уже долги. Этих 4-х музыкантов было недостаточно, набрали из дворни мальчиков и отдали им в ученье, тут уже завелись и вторая скрипка, и контрабас, и две валторны. Добро бы кто-нибудь у нас любил эту музыку, да и можно ли было любить ее? Вначале она была просто доморощенная, а спустя полгода или год сделалась пьяная; из них вышли у нас и певчие. Впрочем, музыка эта недолго у нас оставалась. Я должен, однако, благодарить моего отца за то, что он, по обычаю тогдашних достаточных помещиков, не держал у себя псовой охоты, забавы для них самой разорительной, и за то, что в нашем доме не было никогда ни карликов, ни шутов, ни дур, которыми обыкновенно потешались русские баре, даже принадлежавшие самому высшему обществу. Об этой гадости, об этой заразе я еще поговорю в свое время.

Всю зиму, начавшуюся в конце 1811 и окончившуюся в начале 1812 года, провел я в усиленных занятиях. В начале весны поехали мы, и с нами Никольский, в Михайловское. Лето было чудное. Казалось, что нас ничто бы не могло тревожить, но отец мой был постоянно сумрачен и часто долго засиживался в кабинете с приятелем своим Сафоновым. Наша капелла все реже и реже играла. Я этого не понимал, учился прилежно и в сопровождении Варфоломеевича подолгу езжал верхом. В одно утро, в конце июня или в начале июля, заговорили, что явился из Москвы к батюшке нарочный от дяди моего Обрескова – вещь никогда не бывалая. Испуганный чем-то В.А. Никольский позвал меня к отцу в кабинет и сам вошел со мной. Отец молча дал мне в руки рескрипт императора Александра к президенту государственного совета князю Салтыкову[162] и приказ по армиям. Наполеон перешел Неман и вступил в Россию. Я от слез не мог кончить чтение и убежал к себе.

Роковая весть меня переродила. Детство мое кончилось; я вырос в один день нравственно и умственно разом несколькими годами; с тех пор я начал понимать, мыслить и выражать мои мысли без обычной детской застенчивости. Отец допускал меня к участию в разговорах, и меня снисходительно слушали; одним словом, я начал другую жизнь.

Удалившись в горьких слезах в свою комнату, как я уже сказал, в какой-то молитве выразил я всю мою скорбь, в ней просил я Бога допустить и меня, 12-летнего отрока, стать в ряды защитников отечества. Никольский, увидев этот плач о родине на моем письменном столе, показал его моему отцу. Меня приласкали с необыкновенною нежностью, но о желании моем сразиться с врагом не было говорено ни слова. Вечером, перед тем, чтобы идти спать, отец объявил, что мы через три или четыре дня едем в Солнышково, и дорожные сборы начались с раннего утра. В доме нашем все становилось тише и унылее. Батюшка послал верст за 15 за каким-то известным ему священником, и старичка привезли. В субботу вечером, в тот же самый день, отец, не говея, как это обыкновенно водится, и не говоря никому ни слова о сво-

ем намерении, удалился с священником в свой кабинет, где пробыл около часу; возвратясь оттуда в гостиную к вечернему чаю, сказал, что он сейчас исповедался и что завтра будет приобщаться Св. Таин. Тут же позван был управляющий Илья Шилов, и ему было приказано с вечера повестить нашим крестьянам всех деревень, чтобы они пришли утром в воскресенье к обедне, а потом сходились бы на барский двор. Тетушка моя перепугалась, я тоже пришел в великое смущение, да и Никольский, которого я мучил моими допросами, объяснить мне ничего не мог. В церкви, тогда еще деревянной и не обширной, ранее обыкновенного собралось великое множество народа, какое в нашем селении собиралось только в самые большие праздники. Подходя к царским дверям для принятия Св. Таин, отец мой три раза преклонил свою седую голову пред предстоящими, лицо его сияло каким-то торжественным умилением и в то же время решимостью на какой-то таинственный подвиг. Таким я никогда ни прежде, ни после его не видывал. Когда после обедни на обширном нашем дворе собралась вся сходка (на ней было человек до 200, не считая дворовых, стоявших особо), он, взяв меня за руку, вышел к крестьянам и прочел им весьма трогательное воззвание, приглашая каждого по возможности пособить православному нашему царю в общем бедствии деньгами, и вызывал охотников идти против врага, замыслившего в сатанинской своей гордости разорить нашу веру и покорить себе нашу милую родину. «Сам я, – говорил он им, – семидесятитрехлетний старец, пойду перед вами и возьму с собой на битву этого отрока, моего единственного сына. Братцы! подумайте, переговорите между собой, время не терпит, через полчаса или час я приду узнать ваше решение. Знайте, однако, что в моих словах нет никакого вам принуждения; вы вольны делать, что хотите и как знаете». Крестьяне всей гурьбой низко поклонились отцу; старики были в слезах. Варфоломеевич, во главе дворовых, чуть не ревел и первый вызвался быть охотником: он бывал в сражениях, и в нем заговорила старая его военная косточка. Когда мы удалились, крестьяне зашумели, как пчелиный рой; мы через час воротились. Управляющий с конторщиком записали длинный ряд имен тех, которые объявили себя жертвователями. Денег насчиталось до 500 руб., но охотников, кроме Варфоломеевича, ни одного не вызвалось. Отец мой, сильно огорченный таким неожиданным равнодушием своих, Богом и государем дарованных ему подданных, поблагодарив их за пожертвования, объявил им, что он едет в Москву и чтобы они готовились к неизбежному большому набору или почти к поголовному ополчению. На другой день вотчинные начальники собрали добровольные пожертвования и вручили деньги батюшке.

В день отъезда многие из крестьян, и все из них зажиточные и потому более лично известные моему отцу, с которым они всегда беседовали запросто, пришли с нами проститься и нас проводить. Дворовые, с их женами и детьми, прощались с нами первые; не было конца целованию, умилительным простым

речам и плачу. Длинный хвост провожатых шел около экипажа, и всю обширную нашу усадьбу проехали мы нога за ногу. По приезде в подмосковную найдены были там новые известия от Обрескова, официальное извещение об открытии военных действий, начавшихся нашим отступлением, и печатная повестка всем дворянам уезда, вызывающая их ко дню прибытия императора в Москву. Отец мой через день по приезде в Солнышково собрался туда, говоря, что он имеет твердое намерение повидаться со своими старыми знакомыми из влиятельных генералов того времени и более всего желал бы лично свидеться с Михаилом Илларионовичем Кутузовым[163], который уже был тогда выбран главным начальником петербургского ополчения, или с начальником одного из корпусов графом Тормасовым[164], чтобы предложить им себя на службу и убедить их дать ему согласие на взятие меня с собою. Ожидаемый государь действительно прибыл в Москву 11 июля, остановился в Слободском дворце в Лефортове, где теперь кадетский корпус[165], показавшись наперед народу в Кремле и ее соборах. Встреча ему была, каких не бывало, кроме разве одной подобной, когда он в 1816 г. явился в том же Кремле, но вполовину разрушенном, как победитель Наполеона и освободитель Европы. На другой день высочайшего приезда собрано было в одной из зал дворца под председательством нового главнокомандующего Москвы, графа Растопчина[166], дворянство, и в то же время в другой собралось все купечество, встреченное там гражданским губернатором Обресковым. Тому и другому собранию: Растопчин – дворянам, Обресков – купечеству – прочитали высочайший манифест, которым император Александр обращался ко всем сословиям с твердым доверием и надеждою узреть во дни великого подвига на спасение отечества в каждом духовном лице Авраамия Палицына, в каждом дворянине князя Пожарского и в каждом гражданине Козьму Минина[167]. Восторженность дворянства при этом чтении была уже заранее подготовлена графом Растопчиным, и многие голоса после приличного этому случаю «ура» закричали: «Десятого! Десятого!». Это значило, что московское дворянство вызывалось поставить одного ратника с каждых 10 ревизских душ. Скоро оказалось, что крикуны были дворяне, не имевшие за собой ни одной ревизской души, масса, servum pecus*, постановила свое определение: дать десятого. В зале, где собралось купечество, происходило следующее: Обресков, говоривший красно, успел возбудить пламенную любовь к отечеству в наших капиталистах и каждого из них, смотря по их богатству, приглашал сесть за стол, на котором лежал лист бумаги для записывания пожертвований на алтарь отечества. Для разрешения их колебаний и простительной мешкотности в таком небывалом деле Обресков, сидя над ухом каждого, подсказывал подписчику те сотни, десятки и единицы тысяч рублей, какие, по его умозаключению, жертвователь мог

---

* рабское стадо (*лат.*).

приносить на этот алтарь. Сумма составилась огромная. Государь был чрезвычайно доволен действиями собраний. Из высших военных и гражданских чиновников составился комитет для устройства собираемого ополчения; но тут, видно, открылись в самом начале обыкновенные у нас бюрократические замашки с примесью военной дисциплины и формальности; более подробностей никаких мне сообщено не было.

Отец мой возвратился в деревню скорее, чем его ожидали, недовольный, разочарованный. Военный его жар простыл, о моем походе на войну не было и помину, и мы остались в Солнышкове сидеть на реке Лопасне и ждать погоды. Я совсем было забыл сказать о замечательном самопожертвовании трех богачей того времени. Николай Никитич Демидов, граф Петр Иванович Салтыков, сын фельдмаршала и бывшего московского градоначальника, и граф Мамонов, сын одного из фаворитов Екатерины II (двоюродный брат моей жены), юный обер-прокурор Сената, вызвались выставить и содержать на свой счет полки[168]. Что сталось с двумя первыми, Демидовским и Салтыковским, покрыто для меня, да чуть ли и не для всех, мраком неизвестности. Гусарский Мамоновский, под названием бессмертного, начал формироваться; командиром его назначили 23-летнего графа Мамонова, с переименованием в генерал-майоры. Сам ли он набирал в офицеры полка отчаянных гуляк, или всевозможные оборвыши и пройдохи и купеческие сынки такого же рода сами ворвались к нему в офицеры, вышло только, что вся эта молодежь во время формирования полка забуянила, загуляла, самоуправничала, требовала всего, не платя ни за что, рубила, пожалуй, хоть и плашмя, своими саблями своих, а не чужих, и довела весь полк до того, что его вынуждены были через несколько месяцев раскассировать, старших офицеров отдать под военный суд, а самого Мамонова заставить выйти в отставку и снять генеральский мундир и эполеты, которые так шли к его красивой наружности. С этого самого времени, как известно, он предался ипохондрии, сошел с ума, и в этом самом состоянии два или три года тому назад умер. «Ne suivez jamais le premier mouvement de votre cœur, car il est toujours trop bon»*, – сказал в своих «Maximes» Rochefoucauld**, ненавидимый большею частью своих читательниц. Отчаянную и неблаговидную эту гипотезу я берусь оправдать здесь прямым приложением к последнему моему рассказу; боюсь только подпасть под осуждение моих читателей. По моим убеждениям, страстное патриотическое движение моего отца, побудившее его немедленно по получении известия о нашествии неприятеля решиться в его годы поступить опять на службу для защиты отечества, брать с собою на войну 12-летнего мальчика и крестьян-охотников, было увлечение прекрасное, но не оправдываемое ни

---

* «Никогда не следуйте первому движению вашего сердца, ибо оно слишком доброе» (*фр.*).

** «Максимах» Ларошфуко (*фр.*). Эту фразу приписывают и Ш.-М. Талейрану.

опытом жизни, ни самым успехом в последствиях, поэтому-то увлечение и осталось одним увлечением. Решение простого здравого смысла наших крестьян отказаться всем до единого идти в охотники было разумнее. Они еще до объявления им моим отцом предугадали, что будет большой набор, и тут же заговорили: из чего же нам идти в охотники? кто похочет, тот и пойдет, когда будут набирать, а то, пожалуй, охочие пойдут, а положенных возьмут без замену. Вести небольшое число их самому моему отцу в 72 года равно было немыслимо, и если бы подобное его предложение было принято военным начальством, то позволяю себе спросить, к каким рядам примкнули бы нас, старого и малого, с горстью охотников из челядинцев? Несбыточный, а потому неудавшийся порыв великодушного патриотизма был, конечно, причиною раздражения моего отца против учрежденного комитета об ополчении и всех его формальностей; но разве можно было начать устройство ополчения, не сосредоточив его в каком-либо временном официальном учреждении? Вероятно, и капиталист Демидов, и граф Салтыков, и особенно гр. Мамонов поступали сгоряча, вызвавшись набрать и содержать на свой счет целые полки; первые два ничего не сделали, а последний сделал один только вред. Любезные мои дети и милые мои внуки, не следуйте первым движениям вашего сердца не потому, что они бывают (и очень часто) благородны и великодушны, но потому, что они не бывают обдуманны и в результатах своих оказываются неисполнимыми, иногда смешными, часто вредными.

С июля месяца до вторжения Наполеона в Москву, т.е. до 2-го сентября, ежедневно получались газетные известия о постепенном и быстром отступлении наших войск внутрь России; в то же время градоначальник Москвы, гр. Растопчин, ободрял своими оригинальными афишами, клятвенно обещая, что неприятеля не допустят коснуться ее святыни. Разумеется, помимо всего этого, в народе ходило много слухов, толков, рассказывались разные чудеса, предсказания, сны, видения. Я пишу, впрочем, не историю этого времени, а собственные записки, и не мое дело входить во все эти подробности. В конце августа, когда вечера начинались уже рано и ночи были темные, стали уверять, что по направлению от нас к северо-западу, по прямой линии к Смоленской дороге, оставляя Москву вправо, можно было будто видеть бивуачные огни нашей армии. В самом же деле в ночь с 25 на 26 августа зарево этих огней на довольно длинном пространстве горизонта сделалось заметно простому глазу, и я огни эти сам решительно видел и помню; то же и еще яснее видно было вечером и ночью 26 августа, в день Бородинской битвы. Некоторые в этот вечер, ложась на землю и припадая к ней ухом, явственно будто слышали какой-то стон и гул пушечных выстрелов: этого я не слыхал, хотя всячески старался напрягать слух.

В эти последние дни августа отец мой вел почти ежедневную переписку через нарочных с Обресковым; мы спрашивали у него совета, какие предпри-

нять меры, что делать со всем имуществом, оставленным в нашем доме. Он всякий раз отвечал одно и то же: не делать ничего, Москве не бывать в руках вражеских, – и свои уверения доказывал делом: у него из губернаторского его большого дома, набитого всякой всячиной, и не думали выбираться. Тетка Марья Васильевна, с которой тогда жила другая ее сестра и две выпущенные из петербургского института племянницы[169], и не помышляла выезжать куда-нибудь из Москвы. Ежедневно, однако, было у нас слышно и почти видно, что по большой дороге, через село Лопасню, тянулись дворянские и купеческие экипажи и целые обозы телег, бегущих из столицы. Благоразумная моя тетушка Елена Яковлевна, не знавшая никаких увлечений, решила, едва ли даже с согласия моего отца, послать лошадей в московский дом и привезти оттуда две городские кареты, в которые распорядилась положить оставшееся там серебро, двое столовых часов и кое-какие другие ценные вещи. Так шло все до последнего дня августа. 31 числа этого месяца получена была моим отцом от Обрескова записка: «Москву сдают неприятелю без боя. Растопчин и я уезжаем покуда во Владимир, а там что Бог велит! Покуда это еще для всех секрет, убирайтесь и вы поскорее!» Тотчас же было решено собираться и выезжать как можно скорее. Уезжать, но куда и какой дорогой? Нечего и говорить, куда – в Михайловское, а ехать на Серпухов, что было всего прямее, но оказалось затруднительным: эта дорога просто была запружена ратниками, войском и их обозами, следовавшими в Москву, потому что распоряжений о их приостановке еще не было, а равно и экипажами и обозами московских обывателей, едущих из Москвы. Можно было сказать наверно, что по этой дороге не нашлось бы ни одного уголка для ночлега, ни пищи людям, ни корму лошадям, ехать же надобно было не иначе, как на своих; решили ехать через Хатунь и Киасо́вку на Каширу, а выехать из Солнышкова на самом рассвете, чтобы ночевать в Кашире, а если не успеем засветло переехать под Каширою мост через Оку, то ночевать на нашей стороне Оки, в Белопесоцкой слободе у стен мужского монастыря[170] этого же названия. Вся барская наша дворня, довольно многочисленная, с великим воплем настоятельно требовала ехать с господами; как и куда их разместили, был ли отправлен какой-либо с ними обоз, с нами ли или после, не помню, только все они до малого ребенка очутились налицо в Михайловском. С вечера все было уложено; тетушкина четырехместная карета и батюшкина такая же коляска стояли совсем готовые у парадного и девичьего крылец, как вдруг В.Аф. Никольский, которому отец мой почел нужным открыть страшный секрет о готовящейся сдаче Москвы без боя, решительно объявил, что ему непременно нужно сейчас же ехать в Москву. У него там оставался престарелый отец, вдовый, не имевший, кроме него, детей, которого как-нибудь при такой беде устроить сын считал святым для себя долгом. Батюшка, с своей стороны, нашел это требование справедливым, снабдил его деньгами и взял с него обещание в Москве ни на один

лишний час не оставаться, а спешить возвращением к нам, либо в Каширу, либо по Веневской дороге и далее на Ефремов. Я не без горьких слез расстался с моим любезным Василием Аф. который утешал меня верным словом ко мне воротиться и сдержал его.

Довольно покойно доехали мы в первый день нашей дороги (2 сент.) на ночлег в Белопесоцкую слободу. На другой день, когда мы подъезжали к мосту, по большой Каширской дороге стали попадаться нам всевозможные курьезные экипажи, заложенные еще курьезнее, напр., тележка с одной коровой, которая была как-то к ней пристегнута и ее везла, или какие-нибудь допотопные дрожки, запряженные парой, т.е. в одну лошадь и корова на пристяжку; куча народу на телегах или подле телег, наполненных без каких-либо сундуков разными пожитками; в этой толпе многие были полураздеты, в рубищах, другие одеты во весь свой туалет; у одного мужчины на голове был платок и в руках какая-то шляпка; на женщине мужская шинель или байковый сюртук, – одним словом, кто в чем и как попало, лишь бы вывезти с собою все, что можно было забрать, лишь бы не оставлять ничего в добычу злодеям. О неизбежном вступлении врага в столицу в эти два дня в народе уже узнали. Около моста через Оку и по всему его протяжению до въезда в город Каширу шли нам навстречу иные толпы, вновь набранные ратники каширского ополчения, в новой их форме русского покроя, в фуражках, на которых красовался медный крест и надпись: «За веру и царя». Их провожали семьи, за ними следовали телеги с провиантом и другой разной поклажей. На мосту было тесно, и мы тащились медленно; сначала на нас косились; один молодой парень навеселе, взглянув сурово на наш поезд, назвал нас беглецами, к нему пристали прочие, и мы имели неприятность проехать это длинное пространство почти под угрозами бранивших нас изменниками и предателями. Я еще и теперь помню чувство страха и вместе негодования, которое тогда мной овладело; батюшка сидел в коляске, понурив голову и не произнося ни одного слова. Избегая главного серпуховского тракта, мы объехали и Тулу и следовали почти проселочной дорогой на город Венев. Весь сентябрь 1812 года был сухой и необыкновенно теплый, что, как известно и по истории, обмануло неприятеля нашим климатом и задержало его в Москве; оттого и нам эта почти проселочная дорога не представляла никаких обычных препятствий. 3 сент. приехали мы на ночлег в Венев, с трудом отыскали постоялый двор и расположились провести ночь в экипажах; меня уложили в карете, но вдруг среди ночи разбудили: передо мной в открытых дверцах стоял В.А. Никольский. Я очень ему обрадовался, вышел из экипажа и увидел огромное, длинное зарево прямо к северу: Москва уже горела и так сильно, что зарево видели мы все в Веневе на расстоянии 150 верст.

Дальнейший наш путь до самого Михайловского через Богородицк и Ефремов не стал бы задерживать меня в моих воспоминаниях, если бы одно

случившееся с нами происшествие не стоило краткого указания. Мы остановились на кормежку и обед довольно рано в селе Никитском, не доезжая 40 верст до Ефремова; большое это село и теперь принадлежит одному из гр. Бобринских[171]. Где-то еще по дороге из Сальникова присоединился к нам московский обыватель, вольноотпущенный наш Барышев, приглашенный на все время бегства своего из Москвы поселиться у нас в Михайловском с женой и семейством. Он сказал отцу, что, проходя около сельской церкви, увидел толпу крестьян и каких-то подозрительных людей в немецком платье, что-то громко проповедовавших со своих телег собравшемуся около них народу. Отец поручил ему привести либо вотчинного старосту, либо сотского, и вот батюшка, Барышев и я с ними и с Никольским в сопровождении старосты и сотского пошли к этой толпе. Оказалось, что какой-то краснобай говорит крестьянам, чтобы они Бонапарта не пугались, что он идет на Россию затем, чтобы освободить крестьян, дать им волю и уничтожить помещиков. Услышав такие речи, отец мой и с ним вместе Барышев и Никольский стащили свободолюбивого оратора с телеги, отдали его под караул сотскому, а старосте приказали приготовить две тройки и нарядить надежных подводчиков. Как скоро все это было исполнено без малейшего сопротивления, говоруна крепко связали по рукам и по ногам и сейчас отправили в Тулу с письмом от отца к тамошнему губернатору Богданову[172], которому было сказано, что отправляемый под стражей к его превосходительству возмущал народ против государя, правительства и помещиков и что отправляющий его, мой отец, нашел необходимым поступить с возмутителем на основании прокламации главнокомандующего гр. Растопчина, который вменял в обязанность каждому гражданину задерживать людей неблагонамеренных, соблазняющих чернь к бунту, и представлять их прямо к высшему начальству. Лучшие из крестьян и те, которые были постарше, благодарили всех нас за содействие; отправленный был крепостной человек и поверенный тульского откупщика Безобразова; как с ним поступили, не знаю. Мы доехали и поселились в Михайловском вместе с семейством Барышевых, узнав дорогой от обогнавшего нас полицейского чиновника, что французы вступили в Москву и зажгли ее с разных сторон.

Погожая осень продолжалась весь сентябрь, и хотя вследствие занятия Москвы все почтовые и частные сношения с нею были прерваны, слухам не было конца. Между соседними помещиками, купцами и крестьянами ходили разные толки, изобретались ежедневно удивительные и самые невероятные новости; по большей части предсказания были неутешительные.

В Тульской губ. набрано было также ополчение, но в меньшем размере против московского; с наших деревень пошло 30 ратников. Тут, конечно, всякий старался соблюсти свои выгоды; отдавались люди пожилых лет, неотличного поведения и с телесными недостатками, допускаемыми как исключения

для этого времени в самих правилах о наборе ополченцев. Не успели еще отправить их на службу по распоряжению местного губернского начальства, стали учреждать по селениям какую-то земскую стражу. Местные дворяне, которые под каким-нибудь предлогом не поступали в ополчение, с тем большим рвением согласились принять на себя звание начальников этой стражи. Они в подражание настоящим ополченцам облачились в такой же серый русский полукафтан казацкого покроя, привесили себе саблю и накрыли головы теми же фуражками, но не было на них медного креста с вещею надписью: «За веру и царя». Из числа земских сих героев один г. Артемьев для охранения нашего селения поместился в нашем доме. Он был человек весьма молодой, меньшой брат соседа масона, и каждое воскресенье отличался благозвучным чтением Апостола за обедней[173].

Совершенное неведение, в каком находились мы и немногие соседи наши о судьбе Москвы и всей России, даже о том, где находились наши войска, становилось для моего отца невыносимым. Наступил октябрь, погода все еще была довольно теплая, и дороги не портились; за известиями сколько-нибудь верными около 10-го числа батюшка решился отправиться в Орел, до которого из Михайловского с небольшим 100 верст; меня он взял с собою. По дороге новосильский лекарь, преоригинальный хохол Григорий Иванович Хотминский, к которому мы заехали отдохнуть, состряпал для нас предлинный и приятный обед с борщом, варениками и галушками и оставил у себя ночевать. Подобное гостеприимтво даже и в теперешнем Новосиле для заезжего истинное благодеяние. Я вспомнил этот обед потому, что на нем в первый и последний раз видел оловянные ложки и такие же блюда. Лекарь Хотминский получил свое место в нашем уездном городе через ходатайство моего отца и был за то душою ему предан. В Орле приготовлено нам было помещение у тамошнего губернатора Петра Ивановича Яковлева. Он был человек чрезвычайно умный и дельный, происхождения не дворянского, без всякого состояния. О нем шла очень худая молва как о великом взяточнике; каким путем вышел он в люди, объяснить я не могу; знакомство его с моим отцом началось тем, что он женился на дочери П.И. Новосильцева. В то время, когда мы к нему приехали в Орел, у них жила его теща, Катерина Александровна, и ее меньшой сын, Петр Петрович, впоследствии бывший рязанский губернатор, мой по годам почти ровесник (на днях узнал я здесь, в Веве, о его смерти)[174].

Наконец, пожив в Орле, узнали мы важные и утешительные вести: что неприятель оставил сгоревшую почти дотла Москву, что главнокомандующему Кутузову удалось обмануть Наполеона движением своим на Калужскую дорогу, посчастливилось потом разбить неприятельский авангард под Тарутином и заставить Бонапарта бежать тем же опустошенным путем, которым он пришел. Лучших и более верных вестей нельзя было ожидать, и мы радостно

возвратились в 20-х числах октября к себе в Михайловское, и там, если бы и желали, не могли бы жить иначе, как тихо и уединенно. Я учился прилежно и много работал над латинским языком. Однажды на полсутки нарушено было наше спокойствие появлением в доме двух офицеров, которые объявили отцу, что через наше селение будет проходить какой-то пехотный полк под начальством полковника Ребиндера. Его с женой поместили в дом и, несмотря на их усталость, заставили просидеть почти половину ночи в рассказах. Их минутное появление было самым приятным эпизодом всей нашей зимы; за ним вскоре последовала большая тревога, надолго нас напугавшая. Во всем селе, а потом и на дворне, открылась повальная горячка, с пятнами, особенно заразительного свойства, почему-то стали называть ее заразою, впрочем, было и от чего заразиться. Из наших губерний высылали крестьян с подводами в армию по пути ее в Смоленскую и даже в Витебскую губернии; за недостатком продовольствия в этом всегда голодном, а тогда вконец разоренном крае возили туда хлебные сухари. Французы в своем бегстве в это время уже начинали умирать, как мухи, от холода и голода, замерзшие их трупы валялись по дороге. Один из наших крестьян умудрился поживиться даровщинкой; он силился снять пару длинных сапог с замерзшего француза и не мог, как ни бился; тогда он отрубил ему обе ноги и привез домой. Эту пару сапог с ногами вместе считали причиной появившейся у нас повальной горячки. Народом овладел страх; чтобы ему помочь и сколько-нибудь успокоить, к домашним медицинским средствам отец мой присоединил нравственные: служение молебнов по чину о болящих; началось оно в церкви после обедни, потом у нас на дому, а в следующий первый день отец мой сопровождал священника в ближайшие два-три крестьянские дома для таких молебствий. Горячки продолжались, однако, долго; в иных дворах все переболели, два или три совсем вымерли.

Поелику (этим вышедшим из употребления, но благозвучным и более логичным словом заменяю ненавистное мне союз или наречие «так как») в нашей деревенской глуши не случилось ничего замечательного даже и для таких мелочных, как мои, «Записок» от самого нашего приезда в Михайловское и далее в течение холодной зимы с 1812 по 1813, заморозившей французов в бегстве их за Неман, я сообщу здесь моим детям некоторые черты моего характера, выразившегося в моем детстве. Основою его была тогда уже бережливость, иногда доходившая до скупости. У отца моего была, напротив, широкая, славянская натура; тетушка же, с которой я жил, была уж слишком расчетлива; несмотря на то, что я любил и уважал гораздо более отца, чем тетку, в моей расчетливости подражал я скорее ей, чем ему. Своих карманных денег у меня не было, но всякий раз, когда мой батюшка делал какую-нибудь излишнюю, по моим понятиям, издержку, что случалось нередко, я бывал крайне этим недоволен. Вот почему и лисий мех в 700 рублей, подаренный

невесте Новосильцевой, и еще какую-то шубу из белых медведей, которою он отдарил одного очень богатого Рахманова за полученного от него в дар заводского жеребца, шубу, стоившую чуть ли не 2000, и поныне считаю я брошенными на ветер деньгами. Впрочем, и сам мой отец умел воспитать во мне крайнее в этом отношении благоразумие, часто повторял он, что я никак не должен рассчитывать на его состояние, что им как благоприобретенным он имеет право распоряжаться по произволу, что мне принадлежит законно одно материнское имение; то были не одни речи, он так, насколько мог, и действовал. Богородицкое имение купил он на свои деньги, но на имя тетки, и за год до смерти также на ее имя купил в Москве каменный дом; кроме того, своим завещанием сделал он эту мою тетку безотчетною попечительницею надо мною в течение всей ее жизни. Указания на мою бережливость или скупость, отличавшую меня от всех моих современников и основанную на причинах, по моему убеждению, не только разумных, но и нравственных, эти указания разовью я далее. Без этого анализа я бы и сам не мог себе объяснить всего хода моей жизни; надеюсь, что, если не посторонним читателям, то по крайней мере моим детям такие подробности не покажутся излишними. Обращаюсь к моей повести.

В начале октября появился к нам из выжженной и оставленной неприятелем Москвы кривой наш дворник Никифор с докладом, что наш московский дом и все, что в нем было, а было немало, сгорел, как и две трети города, дотла. Он неистово за это ругал неприятеля. В то время все без исключения приписывали гибель первопрестольного града буйным и зверонравным галлам и их вождю антихристу Наполеону. В то время отыскали в Библии или в Апокалипсисе собственное имя Аполлиона, приписанное сатане, и заключили по сходству, что Наполеон-то и был предреченный антихрист. Тетушка моя долго плакала о чайном и столовом сервизе, о мебели и всякой всячине, навеки у нас погибшей, но батюшка смотрел на эту потерю благодушно. Ему, по его широкой натуре, кажется, было бы обидно, если бы судьба пощадила наш дом, если бы он с большинством москвичей не принес этой жертвы на алтарь отечества. Заметьте, что в то время, т.е. тотчас после разорения, весь 1813 и до конца 1814 г. никто в России не помышлял о том, что Москва была преднамеренно истреблена русскими; все до единого мысли и говорили, что ее сожгли французы. Дворник Никифор, пробираясь в Михайловское, зашел по дороге в Солнышково и имел счастье донести батюшке, что тамошние, данные ему Богом и государем, подданные лишь только почуяли приближение неприятеля к нашему околотку (французские мародеры доходили до Молодей, в 15 верстах от нас), вздумали было разобрать наш подмосковный деревянный дом и все господское строение и поделить по себе, но два-три старика из крестьян, положим, по чувству признательности к отцу, или, что вернее, по благоразумному расчету, одним словом: «А ну как барин воротится?» – остановили тогдашних преждевременных коммунистов, и дом наш уцелел.

Прошла холодная зима, сыгравшая такую великую роль в истории всего человеческого общества, весна 1813 года стала ранняя, 25 марта, в день Благовещения, мы ездили к обедне на колесах[175]. Наступило лето, и мы 13 июня выехали из Михайловского в Тамбовскую губернию; число это запомнил я потому, что утро этого дня было чрезвычайно холодное, и наши люди ехали в нагольных тулупах. Батюшка сделал этот большой крюк по дороге в Москву, чтобы посетить в Шацком уезде замужнюю свою воспитанницу Тарасову. Оттуда проехали мы в имение умнейшего старика Дубовицкого, в село Стенькино, с великолепным, на мой тогдашний взгляд, барским домом; я особенно любовался в нем узорчатыми паркетными полами из разноцветного дерева, крепостные столяры сработали их по рисунку своего барина чрезвычайно отчетливо. Любил я этого старого приятеля моего отца пуще всех других его знакомых. Всякий раз, когда он бывало меня увидит, обратится ко мне с вопросом: «Чем ты хочешь быть: плутом или глупцом?» И всякий раз отвечал я ему одно: «Хочу быть честным человеком».

По возвращении в Солнышково через неделю отправились мы с отцом на пепелище Москвы и, за неимением собственного дома, остановились у нашего Барышева, который, возвратясь в Москву прежде нас, уже успел вместо погоревшего приобрести себе домик в Грузинах.

В это пребывание в Москве я, уже 13-летний мальчик, довольно самостоятельный, часто бывал у моего дяди, губернатора. Там были мои двоюродные сестры институтки[176], с которыми я очень сблизился. Одна из них, меньшая, Наталья Александровна, небольшого роста и предурная, зато очень умная и развязная, напропалую кокетничала с гр. Растопчиным, тогдашним главнокомандующим, и, ухаживая за ней en tout bien, en tout honneur*, великий муж этого времени ежедневно посещал вечером дом Обресковых.

Не мог я в моих «Записках» ни одного собственного слова прибавить об Отечественной войне, будучи по возрасту и по самым обстоятельствам в отдалении от всех событий, ее сопровождавших. Взамен этого я имею некоторое право сообщить все, что мне тогда и несколько позже стало известно о причинах истребления Москвы пожарами, каких почти нигде не бывало. Поэтому в приложении, как эпизод, помещаю я небольшую мою статью о событиях этого времени[177].

* * *

Осенью 1813 года, предварительно побывав в Москве еще летом, как было сказано выше, и приискав годовую квартиру около Тверских ворот, против самой церкви Рождества в Палашах[178], переехали мы из Солнышкова всем домом на всю зиму. Нелегко было тогда в опустошенном городе найти даже

---

* в истинном, хорошем смысле (*фр.*).

и для небольшой нашей семьи из трех ее членов, отца, тетки и меня, сколько-нибудь удобное помещение и еще труднее иметь его, по возможности, в середине города, и потому за домик, в который мы въехали, по-тогдашнему заплачено было очень дорого, а именно 2000 р. ассигн. равносильные с нынешними 2000 сер. Парадный вход в него был с грязного двора по крутому крыльцу, пристроенному как-то боком и непокрытому; потом следовала крошечная передняя, где и трем домашним служителям негде было повернуться; проходная зала, небольшая очень гостиная, за ней сейчас тетушкина спальня, рядом девичья и возле нее спальня моего отца, где стояла и моя кровать, и тут еще одна маленькая комната, тоже проходная. В.А. Никольскому не было уголка, да он по нашем переезде в Москву не был мне и нужен. За год до французов отец мой имел намерение поместить меня в университетском Благородном пансионе, но после московского разоренья это модное воспитательное заведение не было еще в сентябре 1813 года открыто, и меня на 14-м году поместили на полупансион к профессору Мерзлякову[179] вместе с двумя Глазуновыми[180]. До своего помещения эти два юноши вместе со своим батюшкой прожили у нас недели две. В течение зимы бывали и другие приезжие гости в нашем домике, который, благодаря русскому гостеприимству, развившемуся тогда шире обыкновенного по недостатку в трактирах и приезжих домах, обращался по временам, конечно, уже не в гостиницу, а в постоялый двор. Не было комнаты, в которой бы не помещались гости на диванах, на полу, а в зале на стульях. Не могу теперь без смеха и некоторого ужаса вспомнить утреннее пробужденье и вставанье хозяев и обитателей. Вот бы какому-нибудь жанристу-артисту изобразить подобные домашние сцены, а, по рассказам, повторяются они в провинциях и деревнях и доселе.

Теперь будем говорить о пансионе Мерзлякова. Я являлся туда ежедневно в 8 часов утра и в 7 вечера возвращался. За меня платили 500 р. Мерзляков жил на Большой Никитской, против Никитского монастыря[181]. Пред самым вступлением всех нас троих к Мерзлякову отец моих новых товарищей Глазуновых задал ему обед на славу в Троицком трактире[182], на который были приглашены мой отец, мой наставник Никольский и мы, будущие питомцы профессора. Нашего будущего воспитателя, упитанного и упоенного, вынесли из трактира на руках. Кажется, можно было предвидеть, как пойдет наше образование; кроме нас, у Мерзлякова было еще трое пансионеров, окончивших в университете курс словесности: Аркадий Родзянка[183], порядочный стихотворец, и брат его, заика Миша, да в виде наставника или гувернера семинарист, прехуденький, пренежненький, прекрасненький Сокольский[184], который давал нам уроки словесности, правильнее сказать – грамматики, пописывал пресладенькие стишки, хворал грудью и умер в чахотке.

Нисколько не подготовившись к слушанию университетских лекций, все мы допущены были в университет[185] без всякого экзамена вольными слуша-

телями. Когда я в первый раз предстал перед грозным ректором, профессором статистики Иваном Андреевичем Геймом[186], известным, впрочем, не статистикой, а своим российско-немецким словарем, беззубый немец удивился нежной моей юности и покачал головой. Тогда на право слушания лекций выдавалась каждому на латинском языке табель, в которой по каждому факультету выставлены были с именами профессоров все предметы университетского учения, ректор отмечал в них, по собственному своему усмотрению, все предметы, слушание которых делалось для снабженного табелью обязательным. Мне на первый год предписано было постоянное посещение следующих лекций: статистики Гейма, славянской словесности у Гаврилова, российской словесности у Мерзлякова, таковой же истории у Каченовского, всеобщей истории у Черепанова, чего-то вроде риторики у Победоносцева, логики у Брянцева, латинского языка и римских древностей у Тимковского, немецкого и французского языка у каких-то басурманов, и, наконец, по собственной охоте, учился я танцеванию у Морелли[187]. В наше время мы не имели счастия слушать ни пространного катехизиса, ни богословия. Поелику старый университет после пожара не начинал еще отстраиваться, то все кафедры, кроме медицинского факультета, помещались в четырех аудиториях в небольшом каменном доме купца Яковлева, в Долгоруковском, между Тверской и Никитской, переулке[188]; там же была и камера для университетских заседаний, и канцелярия правления. В нижних этажах здания размещены были на самых тесных квартирах в 4 или 5 палатах казенные студенты всех факультетов, за исключением медиков; инспектор же их жил опять-таки наверху. Все жило в тесноте, теперешнему уму непостижимой, и все жило ладно. Лекции начинались зимой при свечах желтых, сальных, вонючих; утренние кончались в 12 часов, возобновлялись тотчас после обеда казенных студентов в 2 ч. и продолжались до 6 ч., и это всякий день, к неописанному нашему удовольствию.

Чуть ли не слишком много насчитал я себе профессоров на первый год моего курса. Все университетское 4-хлетнее пребывание представляется моей памяти как-то смешанно, безотчетно, а происходит это оттого, что я был слишком молод и даже, по отношению к самой моей молодости, слишком мало приготовлен к серьезному слушанию университетских лекций. По-русски умел кое-как составить правильный период, но не знал правописания. Русскую историю до петровского времени я знал в главных чертах, о новейшей не имел я никакого понятия, то же и со всеобщей. Греки и римляне были еще мне сведомы; дошли до моего слуха и варвары, и переселение народов, и Средние века, но что касается Реформации и особливо Французской революции, такой близкой к моему отрочеству, то я всегда боялся, когда меня о них что-нибудь спрашивали. Благодаря Никольскому мне далась латынь. Корнелий Непот, Цицерон, Тит Ливий[189] были мне, судя по годам, довольно

доступны. По-французски я мог читать, по-немецки долбил неправильные глаголы и приходил в отчаяние от длинных периодов этого языка с отсеченною от глагола частичкой в конце периода. В бытность мою на полупансионе у Мерзлякова подготовление к лекциям шло из рук вон дурно, а потому и самое преподавание профессоров, как оно ни было поверхностно, не могло идти впрок ни одному из моих сверстников-студентов. В наше время можно было разделить студентов на два поколения: на гимназистов и особенно семинаристов, уже бривших бороды, и на нас, аристократов, у которых не было и пушка на губах. Первые учились действительно, мы баловались и проказничали. Впрочем, и самый университет в 1813 г. в составе своем был гораздо плоше, чем за год или за два перед французами. Он лишился к этому времени лучших представителей науки: из русских – красноречивого профессора Страхова, а из германских своих ученых – Маттеи, Рейнгардта, Бунге, Буле[190] и друг. При всей моей несостоятельности некоторых профессоров своих слушал я охотно, и – сколько могу за отдаленностью воспоминаний – постараюсь дать самому себе отчет в том, что я именно слушал с прилежанием. Начну, как и следует, с хозяина нашего пансиона, профессора Мерзлякова.

Он был человек несомненно даровитый, отличный знаток и любитель древних языков, верный их переводчик в стихах, несколько напыщенных, но всегда благозвучных, беспощадный критик и в этом отношении смелый нововводитель, который дерзал, к соблазну современников, посягать на славу авторитетов того времени, как, напр., Сумарокова, Хераскова, и за то подвергался не раз гонению литературных консерваторов. Иногда, но уже робкой рукой, касался он в строгих своих разборах и самого Державина, окруженного в то время ореолом славы. Тогда только что появились в полном собрании его сочинения, где преобладала жалкая посредственность рядом с самою возвышенною звучною поэзией. У Мерзлякова было более таланта, чем постоянства и прилежания в труде. Говорили, что он в это самое время любил и был несчастлив, что ему отказали, и что он любовь к своей жестокой даме заменил любовью к Бахусу. В его преподавании особенно хромал метод. К своим импровизированным лекциям он, кажется, никогда не готовился; сколько раз случалось мне, почему-то его любимцу, прерывать его крепкий послеобеденный сон за полчаса до лекции; тогда второпях начинал он пить из огромной чашки ром с чаем и предлагал мне вместе с ним пить чай с ромом. «Дай мне книгу взять на лекцию», – приказывал он мне, указывая на полки. «Какую?» – «Какую хочешь». И вот, бывало, возьмешь любую, какая попадется под руку, и мы оба вместе, он, восторженный от рома, я навеселе от чая, грядем в университет. И что же? Развертывается книга, и начинается превосходное изложение. Какого бы автора я ему ни сунул, автор этот втесняется во всякую рамку последовательного его преподавания; и басня Крылова, если она подвернется, не мешала Мерзлякову говорить о лиризме, когда в

порядке, им задуманном, нужно было говорить о лириках. Таков был Алексей Федорович Мерзляков в мое время, имевший сверх того и как поэт, и как по преимуществу поэт-лавреат, т.е. поэт торжественных случаев, огромные достоинства. Он умел заказной казенной оде дать смысл и облечь ее одушевленною торжественностью. Студенты его любили и уважали, он был с ними добр и незаносчив. Учтивости от профессоров мы не требовали.

Второй из любимых моих профессоров был Михаил Трофимович Каченовский, желчный, пискливый, подозрительный, завидливый, человеконенавистный скептик, разбиравший по всем косточкам и суставчикам начатки российской истории, которую он преподавал, ничего не принимавший на одну веру, отвергавший всякое предание, – одним словом, сомневавшийся во всем. Верил он одному только Нестору, не верил ни «Русской правде» Ярослава Великого, ни духовному завещанию Владимира Мономаха, ни подлинности «Слова о полку Игореве», ни тому, что куньи мордки заменяли монету[191]. В изложении всякого рода исторических сомнений и опровержении достоверности источников проходил целый год курса. Бывало, начнет перечислять славянские и другие племена по Нестору, бьется с ними целый месяц и никак не сладит с корсами, что это был за народ или народец. Дойдет до них дело, и мы, бывало, спрашиваем: «Что же, Михаил Трофимович, корсы?» – «Очень уж ты любопытен! Корсы пусть будут корсы; будет с вас. Мне и варягов определить мудрено». Все знают, как впоследствии он сох и желтел от успеха истории Карамзина[192] и как под нее подкапывался. Многие помнят бранчивое к нему послание кн. Вяземского[193], начинающееся следующими словами:

Перед судом ума сколь Каченовский жалок,
Талантов низкий враг, завистливый зоил...

Несмотря на то, он был человек умный и достойный глубокого уважения по истинной любви к честному и бескорыстному труду и по своему критическому таланту, который, к сожалению, не всегда отличался беспристрастием.

Довольно еще молодой по сравнению со своими учеными товарищами – профессор латинской словесности и римских древностей Роман Федорович Тимковский, учившийся в Геттингенском университете, отличался от всех благовидной, красивой наружностью, приличными манерами и пристойной одеждой того времени. Он страстно любил древнюю словесность и был, так сказать, нежен к тем немногим из своих студентов, которые охотно занимались его предметом. Таких было немного, человек пять из старших гимназистов и семинаристов с основательным познанием латыни, а между молодыми – я из первых. Мы переводили с ним à livre ouvert* которого-нибудь из римских классиков, но мне не удалось дойти в латыни до Тацита[194]. Тимковский пре-

---

* с листа (*фр.*).

подавал также греческий язык, но – увы! – на этих уроках у него было всего трое слушателей из семинаристов.

Ученик Вольфа, соученик Канта[195], философ Андрей Михайлович Брянцев, чуть ли не 80-тилетний старик, в голубом своем кафтане, с стоячим воротником и перламутровыми большими пуговицами, с седыми волосами à la vergette*, при косе, восходил на свою кафедру ровно в 8 часов утра, следовательно, зимой при свечах, и преподавал нам неудобоисследуемую пучину логики и метафизики. Он всецело принадлежал какому-то допотопному времени, объяснял нам свои премудрости в сухих выражениях, недоступных нашему пониманию. Его ученая терминология была латино-германская; его наука была нещадно сухая и схоластическая; даже русский язык испещрен был какими-то старинными словами, оскорблявшими наш слух. Он употреблял «скоряе» вместо «скорее», «чего для» вместо «для чего» и т.д. Тешил он юных студентов, сам того, конечно, не желая, презабавными примерами, избираемыми им для своих силлогизмов и логических доказательств. Ему особенно любезен был Кай; напр., в простом силлогизме, что все люди смертны, второю посылкой всегда было: «Кай человек, следовательно, Кай смертен». Для силлогизма рогатого, а может быть, для какой-нибудь другой логической демонстрации, которой выводы я забыл, он между прочим говорил нам с кафедры:

Танцовальщик танцовал,
А в углу сундук стоял;
Танцовальщик не видал,
Что в углу сундук стоял,
Зацепился и упал.

Что из этого следовало, – извините, я забыл.

Жизни он был самой строгой и аскетически суровой; глубоко религиозный, чуждался всякого общества. Сказывают, что, кончив свою лекцию и побывав иногда в конференции университетского совета, все свободное время проводил он с любимым своим котом. Я вгладь ничего не понимал в его лекции и, придя на лавку к 8 часам утра, еще не проспавшись, имел привычку зевать во всеуслышание. Один раз юнейшие из моих товарищей пристали ко мне и навели зевоту на самого нашего мудреца, что заставило его сделать мне, давно уже замеченному в таких проделках, строгое и вместе гуманное замечание.

Из такой краткой характеристики профессора Брянцева читатели мои увидят, что я учился очень плохо и что во мне развивалась в стенах университета одна способность – схватывать смешную сторону моих наставников; да простит мне эту слабость строгая фигура Брянцева! Он, как уверяли меня

---

* уложенными хохолком на лбу (*фр.*).

впоследствии мои товарищи, продолжавшие изучать философию, был замечательный мыслитель своего времени, немногими понятый и оцененный. Покойный Мих. Александ. Дмитриев[196], занимавшийся целую жизнь философией, говорил о Брянцеве, что сам всеразрушающий Кант не отрекся бы признать в своем соученике брата о философии. Когда я с обычным моим глумлением припомнил Дмитриеву дефиницию души: «Душа есть безусловное условие всякого условия», Дмитриев объяснял мне глубокий смысл этого изречения, и я, в том убежденный, с ним соглашался, но теперь должен признаться, что опять позабыл глубокий смысл дефиниции.

Профессор всеобщей истории, Никифор Евтропиевич Черепанов, был бичом студенческого рода. Он умерщвлял в нас всякое умственное стремление к исторической любознательности, будучи сам воплощенною скукою и бездарностью. И такого-то профессора в коротко обстриженном рыжем парике, в коричневом полинялом фраке, в пестром жилете, в желтых панталонах с пятнами, немытого и с небритой бородой, обязаны мы были слушать в послеобеденное время с 2-х часов до 4-х без перерыва. Такую пытку пришлось мне выдерживать целые два года и прослушать бессвязные его сказания об Ассирийской, Вавилонской, Мидийской и Персидской монархиях с самыми сухими подробностями и в непонятном переводе древних историков. Как же мы его и слушали все без исключения! Не успеет пройти 1/4 часа, и уже начинает слышаться сопенье, а потом и храпенье то в том, то в другом углу обширной аудитории, наполненной до тесноты студентами. (Всеобщая история была обязательна для всех студентов.) Не засыпали у него только те, которые запасались какой-нибудь книгой. Читал он вяло, длинно, монотонно и каким-то гробовым голосом. Раз как-то неумышленно разыгралась в этом классе презабавная историйка. Ему, входящему в этот класс с поклонами слушателям, мы отвечали шарканьем и продолжали этот шум и скрип от наших ног гораздо дольше, чем было нужно для поклона. Он догадался, что тут вместо овации кроется насмешка, и заговорил обычным своим учительским тоном: «С вашего позволения, государи мои, такое учтивство, так сказать, хуже всякого невежества», – и тем же тоном, без перерыва, шагая по ступеням на кафедру: «Семирамида была хотя и легкомысленная женщина, но монархиня наизамечательнейшая». Такой даровитый профессор у всех, у кого только мог, отбил надолго охоту изучать всякую человеческую историю.

Адъюнкт Мерзлякова по кафедре российской словесности, П. Вас. Победоносцов[197], преподавал нам с соблюдением всех условий схоластики российскую риторику и пиитику. Я слушал его с некоторою пользой для себя, находя, вопреки общему настоящему мнению, что эти обе науки упражняют в юношах мышление и научают их письменно выражать мысли. Тот, у кого есть охота и талант писательствовать, пойдет дальше; ленивый или бездар-

ный выучится по крайней мере написать какое-нибудь письмо. Победоносцев был учитель усердный, дельный и полезный, без всяких других претензий[198]. Чтобы не прерывать моего описания всех моих профессоров, я кстати представлю здесь изображение тех моих наставников, лекции которых я слушал на втором и третьем году моего курса.

Профессор славянской словесности Матвей Гаврилович обучал нас, собственно говоря, церковному нашему языку посредством одного упражнения в чтении наших божественных книг и преимущественно Четь-Миней[199]. Едва ли и сам знал он во всем объеме язык, им преподаваемый, у которого не было, кажется, настоящей грамматики, да и теперь, не знаю, существует ли такая, которая бы отвечала всем требованиям филологии, потому-то и выбраны были для чтения жития святых, составленные св. Дмитрием Ростовским. Славянский язык Четь-Минеи ростовского святителя был доступен, ибо сближался уже с простонародным. У Гаврилова я, издетства начетчик священных книг по милости моего дядьки, Варфоломеевича, отличался перед всеми. В борзом чтении и даже в разумении читаемого мне уступали и иные семинаристы, и часто перед классом забавлял я моих товарищей передразниванием Гаврилова, такого же допотопного во всем старика, как и наш всеобщий историк, подбирая, подобно ему, забавные синонимы славянских слов и изобретая, тоже подобно ему, самые затейливые объяснения. Расскажу кстати, чтобы показать, какие были отношения студентов к профессору и профессоров к попечителю, что раз случилось со мной на лекции Гаврилова. У него был обычай перед приходом своим на лекцию посылать со сторожем те тяжело переплетенные с медными задвижками книги, из которых он располагал читать для перевода, примера или объяснения. Кто-то из преподавателей перед ним почему-то не пришел, мы же не расходились в ожидании Гаврилова, И вот младшие из нас вздумали предложить мне его передразнивать. Я уселся на кафедру, старательно принял на себя образ и подобие Матвея Гавриловича, вынул из кармана свои очки[200], спустил на самый кончик носа, по его обычаю, разложил увесистую Четь-Минею и начал публичное свое чтение рассевшимся по лавкам студентам. Начало было весьма торжественное, объяснения были подходящие к профессорским со всеми его синонимами, как, напр., Бог (Творец, Вседержитель) и т.д., как вдруг, подняв глаза сверх очков, увидел я смиренно прислонившуюся к двери фигуру профессора. Это видение поразило меня благоговейным ужасом, я обомлел и онемел, ноги мои подо мною подкосились, я даже не мог встать, а Гаврилов просил продолжать. Все благополучно кончилось приличными извинениями одного и увещаниями другого. Сам учитель воссел на кафедру и с каким-то необыкновенным одушевлением, на этот раз довольно увлекательно, начал читать житие св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры[201] (кому покажется, что я подобрал эти имена на смех, советую прочесть это житие и увериться

в действительно изящном изложении). И что же? Тихо отворилась дверь, и к ней прислонился внезапно вошедший новый попечитель университета, князь Андрей Петрович Оболенский[202]; чтение продолжалось в тишине, не нарушаемой даже скрипом студенческих перьев. В свою очередь мой профессор взглянул сверх очков, узрел вновь назначенного университету попечителя и вострепетал, подобно мне, несчастному, благоговейным ужасом, едва мог встать и сойти дрожащими ногами с кафедры, чтобы преклониться пред величием начальника. Напрасно кроткий князь Оболенский, человек весьма набожный, радушно просил продолжать, продолжение обещано было впредь, а посещение ограничилось любезностями. Гаврилов, конечно, не мог основательно выучить никого славянскому языку, но все-таки выучил иных славянской грамоте и цифири, сколько-нибудь приучил их слух к церковной речи, объяснил ее обороты и таким образом был небесполезен в своем преподавании.

Пройду молчанием двух профессоров германского происхождения с их немецко-русскою речью: ректора, Ивана Андреевича Гейма, бестолково преподававшего варварским русским языком статистику, науку, которая была слишком нова и несостоятельна тогда даже и в германских университетах, и другого профессора также мало установившейся в то время науки – политической экономии, Августа Христиановича Шлецера, сына великого нашего академика[203]. Профессор Шлецер три раза менял язык для удобнейшего чтения: сперва пробовал начать преподавание по-немецки, – все слушатели в один голос сказали, что они вгладь ничего не понимают; потом по-латыни, – студенты повторили то же, а профессор убедился сам, что науку новую преподавать на древнем языке было бы и для него неодолимым затруднением, поневоле надобно было взяться за русский язык, которым профессор не владел и на каждой лекции смешил нас злоупотреблением уменьшительных, приводя в примеры «скотиков, мужичков, сенца, лошадок и проч.». Он был невзыскателен; его посещали немногие.

Старейшие и прилежнейшие из студентов-юристов с уважением отзывались о лекциях строгого и дельного профессора прав, римского и естественного, Льва Алексеевича Цветаева[204], но для меня оставался он всегда недоступным, и я очень редко надоедал ему и себе посещением этих лекций. Мудрено бы подумать, а оно на самом деле было так, что самым потешным преподавателем и самыми веселыми предметами были профессор Михаил Матвеевич Снегирев[205] и его кафедра – история философии и церковная история. В той и другой рассказывалось множество всякого рода анекдотов и заманчиво любопытных повествований. Приведу из них два, мне особенно памятные. Желая дать понятие слушателям о древней философии индейцев либо аравитян и об определении их философами божественных свойств Творца вселенной, Снегирев выразился однажды так: «По созерцанию такого-то

древнего философа, перешедшему в сознание его народа, Бог так всевидящ, что он в самую черную ночь на самом черном камне самого черного жука видит». Я, любя всегда посмеяться, конечно исподтишка, обыкновенно садился на снегиревских лекциях на правой лавке, прямо у него под носом, и, выслушав такое древнее восточное учение о всевидении божием, имел неосторожность довольно громко засмеяться. Благочестивый профессор сделал мне выговор не дерзать глумиться над священными предметами. Как нарочно, мне на беду, следующая снегиревская лекция была из преподаваемой им же церковной истории. Повествуя о различных ересях, он дошел до одной из них, в которой (не упомню ее названия) христианство нисходило с высоты своего великого значения и обращало последователей этой ереси к самому невежественному суеверию. Преподаватель перешел тут к различным грубым видам последнего и в нашем народе: «Вот, наприм., расскажу я вам, как прошлым летом, будучи визитатором народных школ нашего учебного округа, зашел я в небольшом городке Владимирской губернии в одну церковь, и вдруг, теперичка (любимое его слово), вижу я огромнейшую икону. Подхожу, теперичка, к ней, – горит лампадка, да и без того это было днем, смотрю: образ человеческий, длины необычайной, волосы взъерошены, борода всклокочена, глазища страшнейшие, руки, ноги длиннейшие, сумрачный, дикий, ужасающий, и вижу надпись: "Велик Господь и страшен зело". Видите, господа, теперичка, какой-то суздальский богомаз…» Тут я, сидевший напротив, уронил платок, которым во все время этого рассказа заглушал мой смех, и разразился таким хохотом, а за мной и все без исключения слушатели, что профессор сперва покраснел, а потом страшно побледнел от негодования; встали ли дыбом у него волосы, осталось покрыто мраком неизвестности, но глаза страшно вытаращились, и в виде описываемой им иконы сбежал он с кафедры, дернул меня за руку, велел сейчас выйти из класса и ждать его в канцелярии. Что происходило в аудитории по моем исчезновении, мне не было до того дела, я придумывал, что со мною будет, и обдумывал, как бы не оробеть. Класс кончился скорее обыкновенного; профессор настоятельно приказал мне просить прощения, я отвечал: «Я не виноват». – «Как ты смеешь смеяться?» – «Воля ваша, смешно рассказываете». – «Я непременно отведу тебя сейчас к ректору». – «Пойдемте». Мы оба с ним надели наши теплые платья и пошли. Он меня взял за ворот и всю дорогу торговался, чтобы я просил прощения, – я упорствовал; наконец мы пришли к самой двери ректорской квартиры, и тут только выпустил он меня из рук, впрочем, нисколько не убежденного в моей виновности, но с надеждой, как он заключил, что я исправлюсь в моем неприличном поведении. Студенты встретили меня, освобожденного, рукоплесканиями.

Последние два года моего университетского образования с живейшим участием, любовью и великою для себя на всю жизнь пользою слушал я лекции

профессора практического законоискусства Николая Николаевича Сандунова[206]. Приготовлением студентов к этому предмету была кафедра российского законодательства, которую занимал бездарный адъюнкт Смирнов[207]. Его и университетское начальство терпело по снисхождению; слушатели имели к нему отвращение. Потеряв всякое терпение, я бросил эти лекции после двух месяцев, не дослушав их до Судебника царя Ивана Васильевича[208]; все читаемое им было сбивчиво и бестолково до нелепости. У Сандунова, напротив, все было заманчиво, живо, весело даже для нашего младшего поколения студентов. Сам профессор не имел никакого научного образования и, вероятно, вследствие крайнего незнания науки права вообще отвергал самую науку и при всяком удобном случае выражал к ней свое презрение. Он был человек необыкновенной остроты ума, резкий, энергичный, не подчиняющийся никаким приличиям (впрочем, до известной черты осторожного благоразумия), бесцеремонный и иногда бранчивый со студентами, которые, однако, все его любили и уважали. Сам он не читал нам ничего, и порядок его лекций весь заключался в следующем: для слушателей своих он составил возможно правильную систему из громадного количества всех российских законов, начиная от Уложения царя Алексея Михайловича[209], бывшего тогда главным их основанием, и той массы уставов, наказов, инструкций и общих сепаратных указов, разбросанных всюду и нигде в одно целое не собранных, которыми управлялось до издания Свода Законов[210] русское государство и которые представляли все вообще самую труднейшую задачу для исполнения суда и расправы на самом деле и для защиты своего права как в делах уголовных, так и в делах гражданских. До Свода к каждому случаю прилагалось какое-нибудь особое постановление или указ в одном смысле, и тут же рядом отыскивался в смысле совершенно противном другой указ или постановление. Весь ход дел запутывался и спутывался до бесконечности, и в наше время становится непонятным старинное производство в наших присутственных местах, так, как в последнее время сделалось непонятным очень недавнее существование отжившего крепостного права. Как бы то ни было, из всего этого хаоса, повторяю, Сандунов сотворил свою систему. Основанием ее служила книга под названием «Памятник Российских Законов»[211], т.е. собрание их по годам издания, не официальное и, как утверждали, далеко не полное, ибо в то время многие указы затеривались.

Первые полчаса 2-часовой своей лекции назначал он для чтения этих законов: студенты читали, он объяснял читаное; следующий час посвящался чтению подробной записки какого-нибудь дела из Сената, которое производилось потом практически в двух судебных инстанциях – низшей, т.е. в уездном суде, и средней, т.е. в гражданской палате. Членами этих судов были избранные профессором студенты; секретари и поверенные тяжущихся были также по его выбору. Дела производились гражданские; была сделана попытка Сан-

дуновым ввести суд по форме, узаконенный Петром Великим, но судоговорение столь же мало удавалось студентам, как и всей нашей судебной практике, и потому и там, и здесь было брошено: явное доказательство того, что у нас долго, очень долго, до последних наших дней, говорить были неспособны. Трудно представить себе теперь, с какой охотой, с каким возбуждением, скажу – с какою юною запальчивостью происходили в классах Сандунова наши судебные представления, в которых главные роли разыгрывались бойкими секретарями и страстными поверенными тяжущихся сторон. Подумаешь, что каждый боялся проиграть в своем процессе целое состояние.

По особенной моей охоте к этой, своего рода полезной, комедии я постоянно выбирался, а иногда и сам напрашивался в поверенные и считал себя обиженным, когда приходилось уступать это звание товарищу и попадать в секретари. Последние, как это бывало и в настоящих судах, писали за судей резолюции, члены же присутствий, как это бывало также и в настоящих судах, были и у нас люди ленивые и не очень грамотные.

Не знаю, где и в каком заведении воспитывался сам Сандунов и какого он был происхождения, – не думаю, чтобы он был дворянин, – но он был и не из духовного звания. Выходящие из семинарии, а особливо люди с дарованием, носят на себе отпечаток науки; в нем видна была одна начитанность; едва ли знал он по-латыни, но много читал по-немецки; брат его был актером и любимцем московской публики[212].

Московский университет для кафедры российского законоискусства взял этого профессора из Сената, где он был обер-секретарем и откуда старались выжить его как доку и знатока, и в то же время человека не подкупного никакими взятками, независимого характера и не слишком уклончивого перед начальством. В классе своем обращал он особенное внимание на отчетливое чтение студентов, требовал от них, чтобы они умели разбирать скоропись сенатских записок, не всегда разборчивую. Беда бывала тому студенту, который спутается в чтении и делает непонятным для всех читаемое. Однажды сидевший возле меня казеннокоштный студент, лет около 25, с небритой бородой, в голубоватом фризовом сюртуке, каких нет теперь и на свете не бывает, вызван был к чередному чтению записки. Взяв толстую тетрадь в руки, он сейчас замялся, кое-как пробормотал длинный приказный период; никто его не понял; профессор спросил, понимает ли сам чтец. Громкое «нет» было ответом. Последовал хохот, которому поддался и сам наставник, любивший насмешку, часто самую ядовитую. Приказано читать следующему, т.е. мне; я прочел целую страницу отлично, с чувством, с толком, с расстановкой. «Как твоя фамилия?», – спросил профессор, несмотря на то что знал меня очень хорошо. Я назвал себя. «Сколько тебе лет?» – «Шестнадцать». – «Ты из каких?» – «Дворянин». – «Твой отец?» Я сказал, что мой отец умер, что он был статский советник. «Есть у тебя какое-нибудь состояние?» Я отвечал, что есть.

«Какое?» Я объяснил. Заметьте, что все это очень хорошо было известно профессору. «Ну, а ты, батенька, – обратился он к первому чтецу, – из каких?» – «Из духовного звания». – «Который тебе год?» – «24-й». – «А твоя фамилия?» Семинарист назвал какую-то из двунадесятых праздников от Богоявленского до Рождественского включительно. «Состояние есть?» – «Никакого». – «Ну уж, батенька, ты шалопай; есть нечего, бороду бреешь, а читать не умеешь!» Но в нем не было ни пристрастия к дворянам, ни нерасположения к прочим сословиям; напротив, тех студентов из духовного звания, равно и гимназистов, которые отличались своим образованием и примерным прилежанием, с любовью приготовлял он по своему классу к полезной гражданской службе и всегда им покровительствовал. Таких студентов, старших нас годами, мы имели в большом уважении, мы называли их патрициями, и таких было в наше время очень много. В живых остался теперь еще один, бывший секретарь московского земледельческого общества, Степан Алексеевич Маслов[213], почти 80-летний, человек весьма замечательный[214].

Следуя такому же беспристрастию к богатым и бедным, к старым и юным студентам, Сандунов обращался со всеми одинаково бесцеремонно. Выходок его с нами не вытерпели бы теперь и мальчишки уездных училищ, не говорю уже о гимназистах. Приведу другой случай. Один из наших меньших братий громко во время класса заговорил с товарищем; профессор заметил и, указав на него пальцем, громко сказал: «Встань-ка, батенька, кто ты таков?» – «Мещеринов»[215]. – «А, дворянин!.. слыхал. Татарщина, батенька, татарщина! Татарского происхождения! Шалопай ты, даром что дворянин». К сожалению, в этом упреке законоведца обнаружилось невежество самого профессора в русской этнографии: Мещеринов, очевидно, был финского происхождения, из племени, упоминаемого Нестором, мещера, князьки которых у нас известны под названием князей Мещерских[216]. Редкую в профессорах в то время независимость характера перед начальством резко выказал Сандунов в одном известном мне случае. Добродушному попечителю, князю Оболенскому, нужно было по одному частному делу посоветоваться с человеком, вполне знающим законы. Не предупредив Сандунова, он вздумал позвать его к себе в неурочный час; необычный призыв удивил Сандунова. «Что прикажете, ваше сиятельство?» – сказал он, входя, своему начальнику, принявшему его стоя. «Я хочу посоветоваться с вами по одному делу». – «По какому, ваше сиятельство?» – «Моему собственному». – «Ну, уж извините; вероятно, нам долго придется толковать, я устал, второпях пришел пешком». Тогда он взял стул и сел перед попечителем. В справедливую похвалу кн. Оболенскому надобно прибавить, что он почувствовал свою неловкость и просил в ней у Сандунова извинения. Честь и слава им обоим: оба они были выше своего времени.

В заключение о Сандунове выражаю здесь глубокую мою признательность к его честной памяти: под его особенно милостивым ко мне руковод-

ством выучился я писать сколько-нибудь грамотно и стараться, чтобы мною написанное было отчетливо и ясно по возможности для каждого, а в долгой жизненной практике и весьма недолгой служебной я, по его милости, научился подкреплять мои права как помещик нашими законами, писать деловые бумаги и обходиться, кроме чрезвычайных случаев, без содействия всякого рода приказных и стряпчих. В моем служебном поприще все большие или малые познания, добытые мною в двухгодичных занятиях у Сандунова юридическою практикою, могли бы быть также мне полезны и повести меня далеко, если бы… но это «если» объясню я в своем месте и в свое время.

Не имею права говорить ни об адъюнкте математики Перелогове, ни о профессоре физики Двигубском[217], которые мне указаны были в моей табели: я их слушал мимоходом и ровно ничему от них не научился.

Лекторами трех новейших языков были: французского – аббат Арнольд, восторженный чтец немногих своих лириков; студенты забавлялись постоянным его дразненьем, от них же первый был аз; немецкого – Ульрих, у которого, не понимая языка, я хлопал глазами; знавшие по-немецки слушали его с пользой; английского – Эванс[218], воспитавший нынешнего московского голову (кн. Черкас.)[219], как видится, с блестящим успехом. К Эвансу я не ходил, потому что не знаю и теперь ни одного английского слова, но всегда гордился тем, что первый из моих университетских друзей, Курбатов, был из лучших учеников его класса; так в наши давно прошедшие времена иной московский франт, бывало, гордился тем, что его дядюшка или двоюродный братец прожил в Париже целую зиму.

Хореографическое искусство было также в числе образовательных предметов университетского юношества. Мы учились танцевать у сухопарого, небольшого ростом старца Морелли и при вступлении его в класс шагами на третьей позиции всегда приветствовали его восклицанием: «У Морелли ноги подгорели!» По временам в танцевальную залу, для большего эффекта, приносили ему хлопушки, производившие на нас приятное, а на него ужасающее впечатление.

Перебрав по именам всех профессоров, я должен помянуть и товарищей. Во главе их были так называемые patres conscripti*, слава и краса студенчества, если не изящностью форм и облачения, то духом премудрости и разума и глубиною познаний (разумеется, относительно нас). Между сими патрициями выше всех стоял для меня выдержавший в скором времени экзамен кандидат, а через год и магистр этико-политического отделения (по-нынешнему, философского и юридического вместе), к которому принадлежал и я, Степан Михайлович Семенов[220]. Он замечателен был, кроме познаний, строгою диалектикою и неумолимым анализом всех, по его мнению, предрассудков, обладал

---

* отцы сенаторы (*лат.*).

классическою латынью и не чужд был древней философии. Он всею душою предан был энциклопедистам XVIII века; Спиноза и Гоббес[221] были любимыми его писателями. Лет семь, восемь после этот Семенов сделался душою тайного политического общества, подготовившего мятеж декабристов. Он содержался в крепости и был под следствием как секретарь общества, но ответы его пред следователями были до того преисполнены осторожной, хитрой и при всем том строго честной и юридической мудрости, что, как ни хотели предать его суду вместе с прочими, исполнить этого не могли, и он без суда, вместо всех других наказаний, подвергся отправлению на службу в Томскую, а потом в Тобольскую губернии, где и кончил жизнь. Вторым из мудрецов-студентов был для меня, конечно, мой Никольский, также кандидат, который и жил со мною. Потом, по образцу и по подобию Сандунова, законоискусник Яковлев, Любимов, воспитавший графов Толстых, Лидин[222] и другие; все они еще в мою бытность вышли в магистры и все были духовного звания.

Являясь на лекции особняком от нас, юношей, почти отроков, эта фаланга патрициев отличалась особенно на диспутах в нашем факультете и часто отчаянно боролась и побеждала стоящего на кафедре для защиты своей диссертации какого-либо товарища-магистранта, защищающего свою магистерскую и докторскую диссертацию. Чтобы дать понятие, как происходили при мне подобные диспуты, сообщаю один случай. Кандидат нашего отделения, если не ошибаюсь, Бекетов[223], сам ли выбрал тему для своей магистерской диссертации, или задана она была ему факультетом, но выбор был весьма опасный и скользкий, даже для того времени. Тема была следующая: «Монархическое правление есть самое превосходное из всех других правлений». В первом тезисе этой диссертации было прибавлено к «монархическому» «неограниченное», к «превосходному» – «в России необходимое и единственно возможное». Деканом факультета был Сандунов, а потому он и управлял диспутом кандидата также из patres conscripti. Товарищи его патриции его недолюбливали: он был, говорят, подловат и, по их выражению, «элестничал». По этой причине вся старшая братия готовилась возражать магистранту, особливо на первый задорный тезис его диссертации. Диспуты походили тогда на кулачные бои; на них, как и на этой площадной забаве, зачинщиками в первых рядах являлись бойкие мальчики, т.е. мы, молоденькие студенты, с какими-нибудь подсказанными от стариков вопросами или возражениями диспутанту. Так было и на диспуте у Бекетова. Мы открыли сражение восторженными речами за греческие республики и за величие свободного Рима до порабощения его Юлием Кесарем и Августом[224]. После нескольких слов в отпор нашим преувеличенным похвалам свободе, – слов, брошенных с высоты кафедры с презрительною насмешкою, вступила в бой фаланга наших передовых мужей, и тяжелые удары из арсенала философов XVIII века посыпались на защитника монархии самодержавной[225], Бекетов оробел, смуще-

ние его наконец дошло до безмолвия; тут за него вступился декан Сандунов, явно недовольный ходом всего диспута. «Господа, – сказал он, обращаясь к оппонентам, – вы вставляете нам, как пример, Римскую республику; вы забываете, что она не один раз учреждала диктаторство». Мерною, спокойною, холодною речью отвечал ему Семенов: «Медицина часто прибегает к кровопусканиям и еще чаще – к лечению рвотным, из этого нисколько не следует, чтобы людей здоровых, а в массе, без сомнения, здоровых более, чем больных, необходимо нужно было подвергать постоянному кровопусканию или употреблению рвотного». На такой щекотливый ответ декан Сандунов, еще на конференции своего отделения противившийся выбору темы, с негодованием воскрикнул: «На такие возражения всего бы лучше мог отвечать московский обер-полицмейстер, но как университету приглашать его сюда было бы неприлично, то я, как декан, закрываю диспут». В этот день я в первый раз в жизни познакомился с либеральными мыслями и публичным их выражением и в то же время понял, что они иногда могут быть неприличны, неуместны и опасны. Все, однако, обошлось благополучно, и наш вольнолюбивый диспут не произвел никакой молвы в городе: в таком отдалении от общества стоял тогда наш университет.

Кроме упомянутых мною выше студентов-патрициев, были еще моими товарищами другого закала студенты-казеннокоштные. Они, числом около сотни, тесными кучками жили в нижнем этаже нашего небольшого университетского дома, человек по пяти в одной комнате, и жили грязно, бедно и голодно. Я сближался со всеми кружками, стараясь всем быть приятным, а равно как и для утоления голода ходил к ним между классами напиться у сбитенщика горячего сбитню, которого теперь в Москве не найдешь, поесть с грязного лотка горохового киселя с конопляным маслом либо гречневиков, и за такое сближение с казенными нашими товарищами, коих я почитал своими однокашниками, получал упреки от товарищей моих высшего полета, но этих я предпочитал последним как более полезных моему желудку и моей голове. От них можно было попользоваться и книжкой, и записками лекций; многие из них работали серьезно и приготовлялись к полезной себе и обществу жизни; некоторые имели драматические таланты и обыкновенно два раза в год разыгрывали на своем домашнем театре лучшие комедии того времени.

Мой любимый профессор, Сандунов, их строгий, но чрезвычайно добрый инспектор, дирижировал их театром, который смотреть собирались родные и приятели студентов. «Недоросль», «Бригадир» Фонвизина, «Ябеда» Капниста, «Модная лавка» Крылова[226] давались превосходно, женские роли играли младшие. Не один раз предлагали и мне участвовать, но у меня никогда недоставало на это храбрости. Любя казенных студентов, я моей лептой увеличивал их скудные средства для представления.

Остается сказать немного слов о слушателях университетских лекций, аристократиках; отцы ли их гнушались для них студенчеством, или сами они опасались срезаться на экзаменах, но большая часть этих полубаричей, не делаясь студентами, пользовалась слушанием лекций в виду того, чтобы выдержать так называемый «комитетский экзамен» на право производства в чин VIII класса, испрошенное Сперанским в 1809 году. Такими слушателями, а не студентами, были следующие юноши, являвшиеся в стены университета с своими иностранными гувернерами. Размещу имена их, сколько могу припомнить, по алфавиту: Анненков, Аничков, Бахметевы два брата, из них недавно умерший Алексей Николаевич был попечителем; Голохвастов – тоже попечитель; князь Долгорукий, бывший министр в Персии и потом сенатор; четверо Мухановых, из них двое здравствуют в Государственном совете, а один был декабристом; Нащокин, Рахманов, Титов, тоже здравствующий; старший из числа аристократиков Михаил Александрович Дмитриев, который, по обычаю того времени, считался в архиве иностранных дел и носил на себе важный в наших глазах чин титулярного советника; Курбатов, остряк, полиглот, гуляка; Новиков, теперь еще здравствующий[227], был недавно почетным опекуном[228]. Эти трое были и по выходе моем из университета долго моими друзьями.

Аничков, ничем особенно не замечательный, был добрый малый. В доме отца его, майора вотчинного департамента[229], встретился я в первый раз с еще неженатым издателем «Семейной Хроники» Сергеем Тимофеевичем Аксаковым[230], и могу удостоверить по собственным моим воспоминаниям беспристрастное, может быть, до излишества, сказание сына о его батюшке и матушке[231]. Отец его, Тимофей Степанович, был действительно уничтоженный превосходством жены своей старичок, добродушный, по-моему, неглупый, но бесцветный, так себе, ничего. Напротив, маменька хроникера была барыня решительная, умная, бойкая, господствовавшая вполне над мужем, равно как и в гостиной Аничковых; их видал я часто. Сам Сергей Тимофеевич, еще очень молодой, занимал тут всех рассказами о Державине и Шишкове, о петербургской сцене и о распорядителе ее кн. Шаховском[232]. Он и тогда уже, как и вся его семья, был, как говорится теперь, вполне русский, чуждаясь всего иноземного, и пламенел любовью к отечеству[233]. Отец моего приятеля студента Аничкова занимал в Москве место начальника Вотчинного архива, где хранились писцовые книги и откуда всякого рода помещики брали справки о своих родах и поземельных владениях. Он был своего рода делец, не взяточник, хотя и принимал допускаемую тогдашними нравами благодарность от просителей, и в то же время был он масон и мистик и потому друг врача Мудрова. Европейская цивилизация и некоторая гуманность, несмотря на всю грубость его наружности (склада), дошла и до него, не знающего никакого языка, кроме русского, путем масонства; оттого и старший его сын

Александр был порядочнее других студентов, а меньшой, после нас вступивший в университет[234], без больших протекций сам сделал себе порядочную карьеру, был нашим министром в Персии, недавно вышел в отставку и живет еще и теперь, как мне сказывали, в Висбадене[235].

Во все время моего курса самыми близкими ко мне были студенты моих лет, которые по положению своему стояли между аристократиками, казенными и патрициями. Такое место определялось для них, как видно, потому, что они были иностранного происхождения; то были, наприм., Гилъфердинг, братья Целини, Рихтер, Чиколини[236], Ланге, Шульц, Лафоржи и проч. Кое-когда бывали у нас и рукопашные схватки и побоища; на всякий случай, в опору и защиту моим некрепким телесным силам держал я у себя в приязни двух атлетов Кожевниковых[237], которые всегда оберегали мою личность. Юнейший из всех студентов-аристократиков был теперешний восточно-православный поэт Федор Иванович Тютчев[238], пестуном коего был не иностранец, а тоже русский поэт, родом серб Амфитеатров, брат Филарета Киевского, и почему-то по выходе из университета принявший себе фамилию Раич, переводчик Тасса и, кажется, «Георгик» Виргилия[239]. Таким образом, во все мое университетское время, записанное без перерыва, пребывал я три года слишком в любви и мире со всеми моими товарищами. Старейшие оказывали мне благосклонное внимание за то, что в латинском классе профессора Тимковского, наряду с ними, несмотря на мою молодость, переводил я à livre ouvert* латинских авторов, а в классе Сандунова деятельно разделял с ними занятия судебной практики и часто тягался с кем-нибудь из них, будучи поверенным противной стороны по какому-либо судебному делу. Казенные студенты видели во мне доброго товарища, который хаживал к ним для утоления голода, за книгами и за тетрадями; я певал с ними и читал либо паремии, либо шестопсалмие. С аристократиками у меня было много общих знакомых в городе, и между ними много было лошадиных охотников, а мой экипаж был из первых. Красивый и молодцеватый кучер Михайло, гнедая коренная и серый пристяжной жеребец, согнутый в кольцо и делавший красивые лансады, возбуждали зависть и удивление этих господ; и теперь еще немногие мои товарищи об этом вспоминают при встрече со мной. Приятели мои студенты иностранного происхождения любили меня тоже за экипаж, потому что я часто подвозил и развозил их.

Пора, однако, возвратиться к тому месту моей повести, на котором я остановился, желая рассказать мои студенческие годы без перерыва.

Перед Рождеством 1813 г. и на все святки учение в небольшом пансионе профессора Мерзлякова было прекращено, и в это-то время на досуге решено было моим отцом, конечно, не без совета Никольского, что собственно у

* с листа (*фр.*).

Мерзлякова я ничему не мог научиться. Тогда после Крещения начал я брать частные уроки у профессора Каченовского на его квартире. Надобно отдать справедливость этому истинно ученому, трудолюбивому желчному мужу; он занимался со мной как нельзя добросовестнее, зато и плата была порядочная, по 25 р. за урок по два часа каждый. Три раза в неделю бывал я у него, читал и переводил с ним латинских и французских авторов à livre ouvert и выслушивал беспощадно насмешливые его замечания на мои сочинения или переводы, которые составлял я для него дома. Из латинских авторов переводил я Цицерона или Тита Ливия, из французских – Боссюета и Флешье, Массильона и Бурдалу[240]; из русских читали мы слова Ломоносова, и тут Каченовский с злобною радостью указал мне, как отец нашей словесности выкрадывал целые страницы из Цицерона и помещал их, как свои в похвальных словах Петру Великому и Елисавете[241]. Попробовал было я представить со страхом и трепетом моему зоилу[242], так его называли вообще, первые опыты собственно моих и переводных стихотворений; прослушав их с самым обидным для меня презрением, он их откладывал без всякого приговора и обращался к прозе, а через несколько времени, когда я принес еще два-три стихотворения, он вышел из терпения. «Послушайте, что *вам* за охота писать стихи, – сказал он мне, – когда у *вас* (на дому и за 25 р. профессора с студентами бывали учтивые и не *тыкали*), поверьте мне, нет никакого поэтического дарования? Какая вам радость умножать собою бесчисленную толпу рифмачей? Прошу не приносить мне более ваших стихов и, если угодно послушаться моего совета, навсегда отказаться от рифмобесия». Я и в самом деле послушался благоразумного совета и, уже приближаясь к старости, набросал несколько стихов с твердым намерением не предавать их гласности.

К марту месяцу 1814 г. Каченовский, уступая желанию моего отца, объявил ему, что я могу выдержать студенческий экзамен, и я его в половине марта действительно с большим успехом выдержал. По правде сказать, что это был за экзамен? Начать с того, что самого трудного для экзаменующихся теперь студентов предмета, катихизиса, богословия и церковной истории, у нас совсем не было. В то время думали, что религиозное воспитание юношей есть дело отцов родных или духовных, и мне сдается, что мы как будто приверженнее нынешних были к православной церкви и достаточно знали все, что необходимо знать христианину не высокомудрствующему. Из латинских авторов, по собственному моему вызову, раскрыли передо мной одну из речей Цицерона; профессору Тимковскому известно уже было, что я знаком достаточно с этим автором, но, по пристрастному ко мне снисхождению, он опасался моей робости, и длинный цицероновский период, мне предложенный, сам расчленил и привел в конструкцию строго логическую и правильную; я перевел, разумеется, отлично. Из всех других предметов вопросы делались самые ничтожные, а кончился экзамен требованием написать

тут же сочинение на русском языке; темой было «Воспитание, даваемое у нас иностранцами, более вредно, чем полезно». Отвечать мне было легко; я, собственно говоря, не получил никакого воспитания, ни иностранного, ни русского, и, предугадывая убеждения Московского университета, разругал в моем сочинении всех иностранцев, назвав их безбожниками и злодеями нашего любезнейшего отечества. Декану оно так понравилось, что он произнес мне «axios»*, как будто я переходил из дьячков в дьяконы; профессора же благодарили и поздравляли. Со мной держали тогда экзамен из мерзляковского пансиона двое Глазуновых; который-то из них спутался в географии: Волгу отправил в Азовское море, а Дублин – в Соединенные Штаты, что, однако, не помешало ему получить такой же «axios», хотя и не на греческом языке. В наше безурядное время в студенты экзаменовались, когда кто захочет, исключая вакаций, и по весьма малому числу слушателей в университет вступали без всяких затруднений. Меня, например, далеко не последнего из испытуемых, вряд ли бы приняли теперь в 4-ый класс гимназии. Таким образом, я получил звание самое лестное для пятнадцатилетнего мальчика, хотя тогда уже имел право носить шпагу, состоя на службе губернаторской канцелярии в чине 14 класса. Долго длился у нас этот обычай записывать почти младенцев на службу, чтобы дети как можно ранее приобретали первые чины. Поэтому и я еще 10 лет записан был в канцелярию моего дяди Обрескова. Прежде дворян, особенно знатных, записывали в гвардию тотчас по их рождении, и потому они поступали на действительную службу прямо гвардейскими офицерами. Павел в первые дни своего царствования потребовал их списки, и сержантов гвардии, находившихся дома в отпуску, оказалось целая тысяча, если не более. Всем им велено было явиться в Петербург на смотр императору. Можно себе представить великий страх батюшек и матушек, бабушек и мамушек вести грудных или ползающих детей на смотр Павлу. Государю доложили о такой невозможности, и он одним почерком пера всех их выключил, но в гражданскую службу долго еще записывали семилетних.

С 13-го на 14-й год собравшееся в обгорелую Москву небольшое общество развлекало свое тяжкое горе после французского разорения беспрерывным рядом наших побед над великим Наполеоном и с восторгом следило за своим обожаемым государем в победоносном христиански-рыцарском его шествии от Немана до Парижа. Радостная весть о вступлении в Париж союзных войск[243], вождем коих был наш Александр, произвела всеобщий восторг, небывалый, нелицемерный. Даже незнакомые, встречаясь на улицах, приветствовали друг друга лобзанием, как бы в Светлое Воскресение. Торжествам не было конца. Меня брали на один из этих праздников в маскарад, который давал по этому случаю богатый барин Петр Адрианович Поз-

---

* «достоин» (*греч.*), в рукописи слово здесь и ниже написано по-гречески: ἄξιοζ (ФС. Д. 11. Л. 50).

няков[244] в уцелевшем от пожара своем большом доме на Никитской, где на домашнем его театре[245] уже ежедневно играли обыкновенные московские актеры. Бал этот поразил меня своим великолепием, но был ли он в самом деле великолепен – это другое дело. Я был в первый раз в таком многолюдном и великосветском обществе. Дамы были все в русских платьях и брильянтах. Я восхищался красотой и ласковым ко мне вниманием теперешней старушки княгини Натальи Дмитриевны Шаховской[246], урожденной Щербатовой; жадными глазами смотрел на двух красивых героев Отечественной войны братьев Орловых. У обоих неприятельское ядро в бородинском деле оторвало ногу[247], но они уже совершенно вылечились от тяжелых этих ран и, готовясь к отправлению в армию, расставались с Москвой, расхаживая по ярко освещенным комнатам и обращая на себя внимание всех бывших на празднике. Мне не удалось, однако же, хотя и было это мне обещано, дождаться ужина, которым я хотел вполне воспользоваться. За полночь почувствовал я сильный озноб, меня увезли и положили в постель, и жестокая горячка удержала меня на ней около трех недель. Несколько дней беспамятства прервано было такой сильной испариной, что я, живо теперь это помню, проснулся как бы погруженный в воду и внезапно ожил. Помню и живейшую радость отца в это утро моего выздоровления, выраженную им, всегда сдержанным и замкнутым, неудержимыми рыданиями и долгою пламенною молитвой. Слабость, последовавшая за горячкой, помешала мне быть на другом, несравненно более пышном торжестве о взятии Парижа, которым особенно распоряжались двое, отличавшиеся светскою любезностью и вкусом, Алексей Михайлович Пушкин[248] и князь Петр Андреевич Вяземский, написавший к этому дню куплеты для драматического представления. Вот четверостишие к бюсту императора Александра:

Муж твердый в бедствиях и скромный победитель,
Какой венец ему? Какой ему алтарь?
Вселенная, пади пред ним: он твой спаситель!
Россия, им гордись: он сын твой, он твой царь!

Праздник этот московское общество по подписке давало под Донским, в доме Полторацких[249], в комнатах и в большом саду.

Всю зиму 1813 г. отец мой жестоко страдал подагрой, а потому и не участвовал в московских дворянских выборах; на них по Серпуховскому уезду глубоко оскорбили его забаллотированием в уездные предводители вследствие интриг, до сих пор и везде продолжающихся при этих выборах. Он уже давно отслужил свое трехлетие в должности тамошнего предводителя и не всеми дворянами был любим за то, что крепко отстаивал и защищал несколько сот крестьян от угнетений их помещика Жукова, деда теперешнего мирового судьи[250]. Я никогда еще не видал моего отца таким гневным, как в этот раз, когда он, расстроенный болезнью, выслушал от приехавшего пря-

мо из собрания соседа нашего Еропкина[251] целый рассказ об этих выборах. Крепко, слишком крепко досталось от него и самому рассказчику, терпению которого я не мог надивиться.

Неудобная во всех отношениях квартира, которую мы наняли в обгорелой Москве, вынудила моего отца устроить себе к осени 1814 г. более удобное помещение. Он отказался от первой мысли выстроить себе дом на старом пепелище, купил обгорелый каменный с большим местом на Большой Никитской улице, возле церкви Старого Вознесения (по преданию в этом доме родился великий Суворов)[252]. Двухэтажные стены с обширным двором куплены были очень дешево, и, не пропуская времени, архитектор Мироновский[253] занялся постройкой, которая должна была кончиться к сентябрю 1814 года. Дом и место куплены были на имя моей тетки Елены Яковлевны. Подагра батюшки уступила лечению приятеля его Мудрова, и мы в начале лета переехали в Солнышково. Казалось, отец мой был совершенно здоров и до такой степени бодр и силен, что ежедневно мог ездить верхом на лошади почти дикой, которую подводили ему два конюха. Эта лошадь не давала никому на себя садиться, кроме него; правду сказать, и седок был чрезвычайно силен и неустрашим не по летам, несмотря на свои 74 года. В средние годы своей жизни он и не то делал: в саратовских и крымских степях он любил выезжать диких лошадей, а за два года до смерти, т.е. в 1812 году, я был свидетелем борьбы его с 35-летним Скарятиным[254], который между своими сверстниками отличался телесной силой; долго они боролись, но отец бросил его на пол и, упав сам через него, сказал: «Напрасно я протратил на тебя столько сил, от этого и сам упал». Не знаю, кто подал отцу несчастную мысль пить минеральные воды, только что открывшиеся в нашем соседстве, в имении бывшего при Павле гофмаршала А.П. Нащокина[255], в селе Рай-Семеновском. Хозяин этих вод устроил для посетителей оных затейливое и очень пристойное помещение. Мой отец, Никольский и я поместились там в небольшом домике из трех комнат, сохранившем красивую физиономию ярославской избы зажиточного крестьянина. Всеми прочими удобствами не слишком прихотливой жизни можно было там пользоваться, нам же это было еще легче, потому что воды эти были не далее 15 верст от Солнышкова. Хозяин их, уже начинавший разоряться и рассчитывавший от них поправиться, приглашал к себе своих посетителей, давал им роскошные обеды, балы, спектакли с крепостными актерами и музыкантами; пользующиеся водами, а их было семейств 50 или 40, устраивали пикники и прогулки; я всем этим пользовался с увлечением, и мне никогда и нигде не бывало так весело. Врачебное достоинство вод было, вероятно, очень сомнительно, и едва ли кто получил от них какую пользу. К концу лечения отец мой, видимо, начал ослабевать и дряхлеть. Ранее обыкновенного переехали мы из подмосковной в Москву и поселились уже в отделанном нижнем этаже купленного дома, а в первых числах сентября перешли и в вер-

хний. Врач Мудров, встревоженный быстрым упадком сил моего отца, пригласил другого знаменитого московского медика, Альбини[256], на консилиум; оба они, осмотрев внимательно больного, пришли в мою классную комнату и неосторожно при мне заговорили между собою по-латыни, и я с ужасом узнал тут, что кончина моего отца неизбежна и близка.

В последнюю неделю своей жизни двукратно он приобщался, соборовался и по совершении над ним последнего таинства, будучи в твердой памяти, благословил меня тем образом, который имел всегда при себе, простился со всеми домашними и всей прислугой мужской и женской, коих велел позвать сам. Агония продолжалась целую ночь; меня отвели в дальнюю комнату. 22-го октября 1814 г. в 11 часов утра он скончался. Погребением с некоторою роскошью распоряжался мой дядя Обресков; грузинский митрополит Иона совершал литургию и отпевание, погребение было в Девичьем монастыре[257], где за 14 лет была похоронена и моя мать. Мне в монастырь за телом ехать не позволили, а когда привезли на третий день, я был глубоко оскорблен тем, что тело моего отца не положили рядом с могилой матери; как я ни выспрашивал, не мог добиться ни от кого, почему это так случилось.

Друзей узнают в горе. Две почтенные московские старушки, обе приятельницы покойного моего отца, посетили мою тетку и меня в самый день его кончины, настойчиво требуя, чтобы их приняли. Первая была близкая ему родственница по жене, всегда помогавшая ему во всех его нуждах, умная, спокойная, кроткая и, несмотря на то, энергичная Прасковья Михайловна Раевская, вторая – известная всем[258] Настасья Дмитриевна Офросимова[259]. Обе они знали по связям с отцом, что мы с теткой могли быть без денег, что было и в самом деле; за год с небольшим было куплено имение в Богородицком уезде; за два года перед тем лишились мы дома со всем имуществом, за несколько месяцев куплен был обгорелый, который поспешно отделался. Каждая из них предлагала тетке и мне на перехват и без процентов от 5[000] до 10 000 рублей. Когда узнал об этом мой дядя Н.В. Обресков, он приказал мне взять 5000 р. у него под мою расписку; такое доверие в мои годы было очень для меня лестно. Я взял эту сумму на год и потому с процентами, а когда уплатил их, просрочив 5 дней, Обресков взял с меня проценты и за эти дни, что меня оскорбило, потому что я еще не знал тогда настоящего смысла русской пословицы: «Деньги любят счет» и что самые приятные и верные люди в денежных делах суть именно те, которые, подобно Обрескову или моему опекуну Дубовицкому, неумолимо строги к себе и другим в денежных расчетах.

Я боялся, уважал и любил моего отца, как не любил никого во всей моей жизни, но искренняя скорбь о его смерти недолго меня преследовала. Выйти на свободу, пользоваться независимостью раннего моего студенчества, быть хозяином в доме, потому что тетка, неограниченная моя попечительница,

скоро начала уступать мне, особенно в управлении имениями, первое место – все это слишком рано меня развлекло. Но какое-то внутреннее чувство угрызало мою совесть и напоминало мне в тайне моего сердца, что я рано остался совершенно один на свете, не имея никого руководителем моей юности. Всевозможные обольщения не замедлили со всех сторон окружить меня; к счастью, я скоро понял, что бóльшая часть людей, навязывающих на меня свое участие и дружбу, могут рассчитывать на мое состояние, желают воспользоваться моею неопытностью, иные – чтобы погулять и повеселиться на мой счет, другие – с менее невинными намерениями – извлечь из меня какие-нибудь корыстные выгоды. Убеждения такого рода, проверенные долгим опытом всей жизни, сделали из меня человека замкнутого, сдержанного, недоверчивого. Может быть, таким остаюсь я и до сих пор и даже до излишества, но, как говорится, chacun a les défauts de ses qualités*. В этом отношении мои недостатки могли лишить меня многих радостей в жизни, но зато сохранили мне спокойствие и самостоятельность. В доме дяди Обрескова я подвергся опасности подпасть под сильное влияние моей родной тетки, пожилой девицы Марьи Васильевны Обреековой, которая властвовала и над старшим своим братом. Он был чрезвычайно женолюбив и потому постоянно бывал в короткой связи с красивыми дамами хорошего общества, не отказываясь от мысли, несмотря на свои пожилые годы (ему было около 50), вступить с какою-либо приятельницей в законный брак: но ни один из его планов ему не удался, ревнивая сестра один за другим их разрушала. Кроме этой сестры, была в доме еще другая, меньшая[260]; она очень долго страдала жестокой нервной болезнью и, излечившись от нее, осталась почти идиоткой; с ней все обращались, как с ребенком. Две взрослые, вышедшие из петербургского института девицы, Катерина и Наталья, дочери умершего старика моего дяди, Александра Васильевича, жили также в этом доме. Их вывозила Марья Васильевна и принимала для них многих гостей из лучшего общества, особливо до французов, когда дядя мой еще был губернатором. Так, кстати вспомнить, встречал я в разное время в доме Обресковых еще в 1811 г. две тогдашние европейские знаменитости: великолепную красавицу и славную актрису mademoiselle Georges, и не красавицу, но зато более славную madame de Staël[261]. Последняя осталась у меня в памяти не по рассказам, а по ее физиономии, раздраженной забавным недоразумением. Когда она после обеда и части вечера выходила садиться в экипаж, тетушка и сестрицы мои, разумеется, почтительно провожали ее; довольно неуклюжий швейцар довольно неуклюже начал на нее надевать шубу и, видно, сделал какое-то медвежье движение, к каким знаменитость европейская не привыкла. «Qu'est-ce donc?»**, – вскрикнула

* недостатки каждого – продолжение его достоинств (*фр.*).
** «Что такое?» (*фр.*).

она. «Сударыня, ваш салоп...» – «Comment?*, – закричала знаменитость. – Vache salope! Madame, que veut dire cela?»**. Тетушка, сестрицы, а тут же и я, крайне смешливый, как уже это могли заметить, все мы расхохотались, и все объяснилось.

Кузины мои были гораздо меня старше, одна семью, а другая пятью годами, и по обычаю всех возможных девиц за 20 лет, были дружны со мною не без кокетства, подражая вечному примеру графини в комедии Бомарше и ее пажу Chérubin[262]. Короткими их приятельницами были сестры Львовы[263], две – очень некрасивые, одна меньшая – преталантливая и прехорошенькая. Старшая из них, разбитая параличом, доживает теперь свой век в Дрездене, меньшая, премиленькая, тогдашняя Варенька, в настоящее время мать Вера, отставная игуменья московского на Девичьем поле монастыря и, изредка встречаясь со мною, не без удовольствия вспоминает наше прошлое, старое время, не упоминая, впрочем, о том, как бывало вместе с сестрицами завивала она мои кудри к какому-нибудь готовящемуся вечеру. У меня, грешного, при таких за мною ухаживаниях, начинали разгораться глаза, и я почти готов был влюбиться, да не знал, в которую. Тетка Марья Васильевна преследовала меня жестоко за мой варварский французский язык, за покушение носить очки, которые у меня всегда бывали в кармане, или понюхать табаку, а всего более доставалось мне от нее за несоблюдение каких-либо великосветских обычаев, которые считала она святынею. Заботливо образуя меня в этом отношении, она завещала мне и доселе хранимые мною правила общежития, одною ею, кажется, установленные: не есть ложкой гречневой каши, не пить после обеда кофе со сливками, и третье – вообще не пить никогда, а кольми паче не требовать при всех питья между обедом и чаем и до самого ужина[264].

В 1815 году, по окончании лекций, я долго оставался весною в городе, почитая обязанностью ждать публичного университетского экзамена; настоящих серьезных испытаний тогда не было, и потому почти все мои товарищи разъехались. Торжественный экзамен перед самым актом происходил в собрании всего университета под председательством попечителя. Попечителем в то время был до 1817 г. сенатор Павел Иванович Голенищев-Кутузов[265], очень плохой стихотворец, но человек весьма неглупый и весьма пронырливый[266].

Публичный наш экзамен, единственный, на котором я по неопытности почел нужным присутствовать, был совершенно бесполезен. Из весьма небольшой кучки студентов спрашивали немногих и не по всем кафедрам. Мне, напр., досталось привести пример *высокого* в нашем красноречии, и я отвечал к удовольствию всех целым периодом из похвального слова Ломоносова

* «Что?» (*фр.*)

** «Толстая шлюха! Мадам, что это значит?» (*фр.*). Для француза русские слова «ваш салоп» (о широкой дамской накидке-шубе) звучат как выражение «толстая шлюха» (vache salope).

Петру Великому. «Часто размышлял я, каков тот…» и далее сравнение Петра с Богом. В наше время этот пример вместо изображения «эстетического, высокого» есть не что иное, как пошлая амплификация. Желание профессора славянского языка Гаврилова уверить свой факультет, что он действительно обучает студентов славянскому языку, а не одному простому чтению, внушило ему изобрести неудавшуюся штучку. По числу своих студентов (нас было 25), он выработал 25 пошлых вопросов и вместо того, чтобы потребовать от слушателей заучить их, все очень немудреные, назначил по одному каждому, на экзамене же их все перепутал и произвел этим великий конфуз. За экзаменом последовал акт, потом торжественный обед; десятка два студентов назначены были являться во время этой трапезы и, не участвуя в ней, выпить за чье-то здоровье бокал не настоящего, конечно, шампанского, а доморощенного, горского. Перед этим обедом на торжественном заседании университета профессора читали речи, новопроизведенным студентам раздавались шпаги, и я получил от попечителя свою. Имена наши напечатаны были в «Московских ведомостях»[267].

В эту же весну старшая моя двоюродная сестра, Катерина Обрескова, просватана была за Никиту Николаевича Шеншина. Он был гораздо ее старше, и она выходила за него неохотно, да и немудрено: за ним было одно достоинство – мастерство играть в карты. Бедная девушка любила в то время другого и с ним тайно переписывалась; этот другой, кавалергардский офицер Львов, был человек очень приятный и, по-тогдашнему, образованный. Он, из излишней ко мне дружбы, показывал мне ее письма уже после, и я насилу уговорил его их сжечь. Невеста-кузина взяла меня к себе шафером, и моя неловкость и близорукость были причиною двух предзнаменований несчастия этого брака. Когда стали одевать невесту к венцу, спохватились букета, и грозная Марья Васильевна приказала мне, напудренному, одетому в мундир, в белых штанах, шелковых чулках и башмаках, ехать как можно скорее на цветочную площадь в Охотный ряд и привезти во что бы то ни стало и поскорее букет белых и красных роз. Для приобретения букета дали мне красненькую бумажку, т.е. 10 р., деньги по-тогдашнему большие. Я поскакал в ямской карте четверней; приехав на площадь и не желая выходить из кареты в таком слишком парадном костюме, я высунул руку с красной бумажкой и просил, Бога ради, дать мне букет поскорее и взять все эти деньги. Кто-то из торгашей сунул мне букет из роз, и я опять поскакал. От тряски экипажа розы стали осыпаться, и еще больше, когда я побежал по лестнице, и уже никаких почти роз не было; когда я вручил пучок стебельков моей тетушке, она чуть меня не прибила, невеста осталась без букета. Надобно было спешить в церковь от Никитских ворот на самый конец Покровки; в большом смущении повез я образ. Тут новая беда: торжественно предшествуя невесте по лестнице верхнего этажа, я, по слепоте моей (ведь тетушка же не позволила мне надеть очки),

как-то оступился, упал, и образ мой начал пересчитывать ступени вниз, и его бросились ловить. Тут уж и дядя в своем красном мундире сердито на меня посмотрел. В церкви новая беда, только уж не от меня. Женихов шафер засунул куда-то в карман кольца, и их долго отыскивали; но как всякая беда на свете чем-нибудь кончается, то и эта свадьба свершилась. Пожив годов пять вместе и нажив детей[268], супруги разошлись и померли вдали друг от друга. В это время познакомился я с другой кузиной, приехавшей на свадьбу сестры, Марьей Александровной Пановой; муж ее был славный, добрый, милый человек, хороший скрипач и зажиточный симбирский помещик. Сын их, Василий[269], тоже умерший, был домашним у нас человеком, и вся семья моя его очень любила, также и я, несмотря на то, что он излиха славянствовал. К этой же семье Обресковых принадлежал, но жил в другом доме, Василий[270], сын Александра; он был адъютантом у графа Растопчина, а потом у графа Тормасова. Он был женат на княжне Хованской[271], умной женщине, славной музыкантше, но иногда несносной своим фразерством. О Петре Обрескове, женатом на княжне Щербатовой, сестре моей жены[272], буду говорить много и долго после.

В средине лета 1815 года дядя со всей этой семьей, т.е. с тетками и кузинами, уехал на житье в свое огромное симбирское имение, в 60 верстах от губернского города за Волгой. Года за полтора или за два купил он его на выигрышные деньги за 300 000 у разорившегося московского барина Дурасова[273]; там было 2000 душ, конный завод, великолепный дом и 30 000 десятин земли, в том числе 11 000 дес. лесу. Все это Дурасовым было прожито, проедено на хлебосольное угощение, и все это было, может быть, десятая часть тех огромных богатств, которые от родоначальника, купца Твердышева, перешли в семью Пашковых, Бекетовых, Козицких, а от последних – графине Лаваль и княгине Белосельской, гр. Толстому и его дочери, графине Закревской[274], и еще каким-то семьям, которых не упомню.

С отъездом ближайших моих родных Москва для меня опустела; у них только начал я привыкать к общественной и в то же время семейной жизни. Умный мой дядя, несмотря на все мое невежество, все-таки находил, что я несравненно образованнее других его меньших племянников, тетка, что я все-таки лучше их если не говорю, то понимаю по-французски, а кузины находили меня милее своих родных братьев. В этом доме, весьма приличном и даже аристократическом, не нравилась мне одна бывшая тогда в Москве в большом употреблении и часто встречаемая всюду забава – разного рода дураки и дуры, за которыми для утешения себя и гостей посылались гонцы во все концы города. Их дразнили до бешенства, их заставляли пить отвратительную микстуру из разных кушаний, приказывали из чаши с помоями доставать языком пятачок или гривенник и хохотали, когда они, рассерженные, ругали всех и каждого непристойными словами, и все это делалось в

присутствии девушек, только что окончивших свое образование; и иногда призывали их по два, по три и доводили до драки, которую, во избежание серьезного увечья, приходилось разливать водою тут же в комнате. Поелику подобные личности были членами лучшего тогдашнего общества, то главные из них заслуживают наименования в моих «Записках».

Совсем не дурак, но только прикидывавшийся дураком из-за денег Иван Савельич, крепостной человек князя Хованского, отца Обресковой[275], и потому сам называвшийся Хованским, ходил всегда в расшитом блестками и шелками французском кафтане и, дерзкий до нарушения всех приличий благопристойности, язвил иногда своих покровителей очень меткими шутками, от которых, несмотря на крайнее мое отвращение к этой забаве, часто хохотал и я. Другой, настоящий дурак и дурак бешеный, назывался Нащокинским, потому что принадлежал Нащокину, отцу того, который был лучшим другом поэта Пушкина[276]. Нащокинский дурак носил красный суконный сюртук и собирал по улицам щепки и всякий сор, затем в полé приносил он все эти нечистоты в комнаты и высыпал перед хозяином, потом начинал всех ругать, а хозяева его дразнить петушиными криками. Однажды двоюродные братья со мной додразнили его до того, что он начал нас бить, а мы, повалив его на пол, тоже взбесились и решительно задушили бы полотенцем, если бы нас не розняли лакеи. Этот Нащокинский дурак должен иметь место в анекдотах императора Павла. Государь знал его барина; услышав о крепостном его дураке, вызвал его в Петербург. Он был приведен во внутренние комнаты дворца. Дураку при первой встрече обыкновенно делался вопрос: «Что от меня родится?», потому и Павел сделал ему такой же первый вопрос. Видно, кем-нибудь подученный, дурак отвечал: «Щедроты, милости, награды, ленты, звезды и т.п.». Павел пришел от дурака в восхищение и велел ему идти за собой в приемные комнаты, где с благоговейным страхом и холопским трепетом в ногах ожидали грозного монарха его царедворцы. «Ну, дурак, говори, что от меня родится?» – «Кнуты, палачи, Сибирь, виселицы и т.д.». Павел пришел в бешенство, велел дурака отвести в крепость, выгнал всех из комнаты, и начались розыски. Сказывают, что и действительно от обоих вместе, от царя и дурака, по этому случаю родились для иных, конечно, невинных, розги и плети, хотя и не доходило до кнута и Сибири, и то слава Богу.

Еще был один дурак, Давидовский (тоже по барину), горбатый и тоже злой. Какие этот имел особенные достоинства, не помню. Всех их пережила дура графини Орловой[277] Матрешка, толстая, угреватая, высокая 50-летняя девка, носившая на голове безобразный убор из перьев, décolletée* и с голыми руками. Она притворялась влюбленною во всех и каждого из мужчин и мучила робких и застенчивых, а особливо молодых в присутствии порядоч-

---

* декольте (*фр.*).

ных женщин самыми неприличными нежностями. Прошу заметить странную несообразность: госпожа ее вдова старушка графиня Орлова, урожденная Ртищева, сестра бывшего перед Ермоловым главнокомандующим в Грузии[278], была простая, честная, и набожная старушка и достойно пользовалась уважением всего общества. У крестной моей матери, престарелой Авдотьи Артемьевны Орловой, но не графини, а родной невестки Орлова[279], денщика Петра Великого (так она была стара), в первый раз имел я великое счастье ознакомиться с домашними барскими дураками низшего разряда. Старушка имела обыкновение, отходя ко сну, не засыпать прежде ежедневной у ее постели ругательной стычки ее двух дур. В 1812 г. зиму провела она, подобно нам, в своей новосильской деревне; мы с отцом у нее ночевали рядом с ее спальней. Ночью, проснувшись, услышал я страшный шум в ближней комнате и такие слова, каких никогда не слыхивал. Поутру в невинности моей я стал спрашивать отца объяснить мне значение этих слов. «Откуда ты их набрал?» – «У крестной матери в комнате слышал». А крестная мать также строила церкви, любила священство и была чрезвычайно набожна. О времена! А мы еще говорим, что у нас нет никакого прогресса или, бросаясь в другую крайность, повторяем, что нас развращает западное просвещение. Ну, вот вам русское![280]

* * *

Montreux, 22 (10) марта.

Поездка из Женевы в Париж на целые три месяца[281] приостановила продолжение «Записок». Там невозможно было не испытывать на себе ежедневного утомления от невольно-рассеянной жизни. Сперва отыскивание помещения, возобновление старых знакомств с соотечественниками, посещение театров, а потом и парижские события, занимавшие и волновавшие умы, мешали мне вспоминать прошлое и против моей воли обращали все мое внимание на все, что говорилось и совершалось в этом водовороте, в этом Вавилоне, который может быть назван по справедливости столицей всей Европы, по крайней мере континентальной. В «Записках» об этом четвертом парижском моем пребывании после бытности моей в нем в молодые годы расскажу я подробно, если допишусь до 1870 года, которым началось мое осьмое десятилетие. Оно будет довольно интересно для моих читателей, или, по крайней мере для моих детей, возобновлением моих давних сношений с тремя известными, каждый в своем роде, нашими русскими эмигрантами: Герценом, Н.И. Тургеневым[282] и иезуитом отцом Гагариным[283]. Первый скоро после моего с ним свидания по 25-летней разлуке заболел и умер. О встрече моей с ним я послал тотчас же статейку издателю «Русского Архива», и она напечатана в 3-ем номере этого журнала за 1870 год. Помещаю ее

здесь как приложение к моим «Запискам»[284] и постараюсь присоединить к ней по нескольку слов о других двух приятелях, покуда эти мои воспоминания не изгладились из памяти. Теперь, вернувшись на берега любимого моего озера и, по счастью, привезя с собою туда весну, которая, как нарочно, началась так благотворно на другой день моего приезда сюда, охотно возвращаюсь к моему труду, к моим «Запискам» .

С отъезда в Симбирск дяди и его семьи у меня не было постоянного приюта, в котором бы я мог пользоваться развлечениями порядочного общества. По счастью, познакомился и сблизился я с одним из моих в полном смысле этого слова аристократическим товарищем по университету Голохвастовым, который представил меня умной и очень образованной своей матери Елисавете Алексеевне, урожденной Яковлевой[285]. Она меня так обворожила своим ласковым обращением, что в этой семье, состоявшей из двух сыновей, из коих старший был моим товарищем, и 15-летней дочери[286], я сделался домашним посетителем и не чувствовал ни на минуту той неловкости и робкой сдержанности, которыми я страдал так долго во всех других гостиных. Голохвастова-мать, судя по тогдашнему времени, была женщина необыкновенной образованности, а по моему тогдашнему крайнему невежеству, я видел в ней какую-то m-me de Staël, т.е. верх совершенства в прекрасном поле. Впрочем, и сама m-me de Staël представлялась моему воображению величиной первой степени не по сочинениям, которые до моих рук тогда еще не доходили, а по воспоминанию моего детского к ней благоговения, возбужденного не только во мне, но и во всех московских жителях ее появлением в Москву, о котором я уже упоминал. Голохвастова, женщина лет около 50, еще довольно свежая и красивая, знала пять языков, на них читала и говорила и, что очень замечательно в русской женщине с европейским образованием, знала превосходно русский язык и, будучи очень набожной, вполне понимала язык церковно-славянский. Несмотря на такое многостороннее просвещение, она, к крайнему моему изумлению, не чужда была современных предрассудков – ханжества и дворянской спеси. Правда, она имела отвращение к дуракам и дурам, тешившим московскую публику, но в то же время искала сближения с архиереями и духовными лицами, почему-либо особенно замечательными, и охотно допускала к себе разных юродивых, кочующих монахов и пророчиц в черной смиренной одежде. Надобно, однако, отдать ей справедливость: строго православная, она не следовала одуревающей моде мистицизма, который в то время имел великих поклонников и более чем поклонниц, главных представительниц теософии, как, например, m-me Крюднер, княгиню Мещерскую, Турчанинову и Татаринову[287]. Голохвастова возила меня знакомиться с викарием, управлявшим тогда московской епархией, Августином[288], и я, по ее же милости, воспользовался этим, чтобы присутствовать на освящении Крестовой митрополичьей церкви на Троицком подворье[289]. К тому только, кажется,

и послужило мое раннее знакомство с преемником Платона, но заботы Голохвастовой о спасении моей души этим не удовлетворились. Она возила меня один раз в Новоспасский монастырь к престарелому монаху Филарету[290], который известен был в Москве своею жизнью, чуть ли не даром пророчества, и от которого, по мнению его почитателей, еще при его жизни благоухало уже святыней. И это представление, как для моей покровительницы, так и для меня, было не совсем удачное; прозорливый старец, благословив меня, положил мне на голову свою могучую руку, поглядел долго и пристально на мою фигуру и сказал: «Ну, этот всю свою жизнь будет читать разные книжки», – и только, и в этом он не ошибся. Что же касается до результата такого долговременного чтения, он его не предсказал, а потому и остается он до сих пор покрытый для самого меня непроницаемой тайной. Голохвастова с безотчетной верой в православные истины, по какому-то странному складу ума и привычек, соединяла в себе еще и твердую веру в правоту крепостного состояния. Она, да и чуть ли не мой товарищ, ее старший сын, думали и проповедовали, что наши крепостные крестьяне и дворовые принадлежат другой расе, и без всяких шуток признавали их потомками Хама[291], я же начинал уже сомневаться в справедливости подобных убеждений. Мои университетские приятели, старшие наши студенты, патриции, успели уже поколебать мои помещичьи убеждения, и я как-то раз попробовал заикнуться в доме Голохвастовых о моих на этот счет сомнениях. Голохвастова пришла в ужас, и я навсегда умолк с ней об этом. Между тем она и ее сын, уже под ее руководством управлявший весьма огромным имением, были самыми лучшими патриархальными помещиками, каких только удавалось мне встретить. Все 5000 душ, принадлежавшие этой семье в разных губерниях, были на оброке, и каждое крестьянское тягло оброчной деревни, владевшей, кроме лесов, всеми принадлежавшими даче землями, платило оброка не более 5 р. асс. в год. Не раз встречал я у них в доме приехавших в Москву крестьян и восхищался их дружелюбными обоюдными с помещиками отношениями; в них не было ничего ни рабского, ни рабовладельческого. Когда, лет через пять потом, старший Голохвастов приехал в Петербург и жил недели две у меня, крепостные его крестьяне, человек 50 или более, жившие тогда в Петербурге, принесли на поклон своему новому, по кончине матери, барину такую кучу разных припасов, чаю, сахару, плодов, что мы очень долго ими лакомились. В числе этой небольшой Голохвастовской колонии в Петербурге были очень зажиточные хозяева-промышленники, так называемые тысячники, и Голохвастов, без всякой от них просьбы, при мне утвердил за ними тот же прежний оброк, т.е. по 5 р. с тягла; не мешает заметить, что все они прикладывались к его руке и что это ему нравилось. Трудно найти столько противоречий, как удавалось мне встречать в современном русском человеке; наприм., этот Голохвастов, крепостник, можно сказать, по какому-то религиозному убеж-

дению, и в то же время расчетливый до скупости, был вместе удивительно патриархален своим бескорыстием и жесток по-своему в своих помещичьих предрассудках. Раза два случалось мне видеть, как являлись к нему крепостные, дворовые люди других помещиков, с убедительной просьбой купить их у их барина, который, продавая людей по нужде, по доброте дозволял им выбирать себе господина. «А вы де, – говорили они ему, – мы знаем, барин добрый, мы будем вам служить усердно, и нам будет у вас хорошо». После подробных расспросов о том, на что службой своей они могут быть пригодны и какая им цена, Голохвастов обыкновенно к этому прибавлял, что он купить их, пожалуй, согласен, но боится обмана: может бытъ, их продают за пьянство и воровство, а как у него нет привычки перепродавать людей, то ему остается одно средство поправить ошибку покупки – отдать их в рекруты, если они окажутся годными: «Итак, мои любезные, я должен вас осмотреть с ног до головы». Затем следовал рассмотр in naturalibus* согласно с уставом о рекрутском наборе[292].

Выбрав себе Голохвастова типом русского человека со всеми его благородными и неблагородными свойствами, я представляю здесь его фотографию отчетливо. Еще при жизни матери, нуждаясь иногда в карманных деньгах и совестясь обратиться за этим к ней, занимал он у меня небольшие суммы и, конечно, возвращал всегда с величайшею аккуратностью. Сделавшись потом в 1820 годах полным после матери хозяином, брал он у меня на перехватку крупные суммы, без всякой расписки, тысяч до 10. Когда после моей женитьбы поселился я в Москве, случилось мне однажды в осеннее время, до продажи хлеба и поступления оброков, быть решительно без гроша. В полной надежде на Голохвастова я отправился к нему, чтобы взять у него на самое короткое время тысячу рублей; он встретил меня насмешливым неверием, чтобы богатому барину нужна была такая ничтожная сума. Меня и это уже рассердило. «Мне некогда с вами балагурить, – сказал я ему. – Дайте поскорее денег». – «На каких же условиях хотите вы их занять? – спросил он меня. – Я не иначе даю их как на год, под заемное письмо и под 10 процентов». Взбешенный, выскочил я из комнаты и хлопнул дверью. С тех пор начали мы видаться редко и почти друг с другом не говорили[293]. Несмотря на это, я вполне уверен, что бестактный Голохвастов думал со мной пошутить и не умел из этой шутки выпутаться. Его бескорыстное поведение при разделе с сестрой и с промотавшимся беспутным братом, а всего более то, что он, умирая, приказывал жене[294] прежде всего заплатить значительный долг Герцену, не имевшему права в качестве политического преступника требовать от него уплаты, доказывает, что, несмотря на всю свою расчетливость, он был безукоризнен и в денежном отношении. Таким был он и по службе.

---

* нагишом (*лат.*).

Искательный перед своими начальниками по принципу и по вкусу, в то же время был он неуклонно тверд в своих убеждениях. В первые годы царствования Николая Павловича[295] состоял он чиновником особых поручений при попечителе университета, московском вельможе, честном и бесхарактерном князе Сергее Михайловиче Голицыне[296]. Государь, как известно, не любил университеты и вообще смотрел весьма неблагосклонно на все учебные заведения министерства народного просвещения. Его Величество изволил жаловать одни кадетские корпуса и многоразличные военные училища и все военные науки, в особенности шагистику. Ему давно хотелось Ярославский Демидовский лицей[297] обратить в кадетский корпус. В лицее в то время происходили какие-то беспорядки, по обыкновению называемые возмущениями; кроме того, состав этого учреждения не отвечал, как кажется и теперь, предназначенной его основателем цели. Богач Демидов в первых годах царствования Александра I основал этот лицей для распространения в России естественных наук и особенно натуральной истории. Заведение шло плохо и в нем на 50 воспитанников было до 30 преподавателей. Действительно, преобразование было необходимо. Голицын поручил Голохвастову ревизовать лицей и не скрыл от него желания государя устроить там кадетский корпус. Царелюбивый и добродушный князь Голицын, конечно, на это соглашался, но возвратившийся из Ярославля Голохвастов храбро представил проект другого рода, прибавив от себя, что заменять лицей корпусом было бы явным нарушением воли основателя, предоставившего по завещанию все свое имение этому учебному заведению. По убеждению Голохвастова, воля основателя и завещателя должна быть для всех священна. Государь уступил правоте такого представления. Этот гражданский подвиг Голохвастова (я называю его подвигом, потому что он пересилил в себе другое – беспрекословное верноподданническое чувство повиновения воле самодержца) объясняется другим чувством – дворянского достоинства и безупречной справедливости. С одной стороны, самодержавие, с другой, – дворянство были идолами Голохвастова; когда появилась в каком-то журнале статья об осадном сиденьи Троицкой лавры в 1612 году, написанная по летописи келаря Авраамия Палицына, в которой неуспех поляков в продолжение целых 6 месяцев взять и разграбить монастырь приписывался чудесам и особенно молитвам Радонежского чудотворца и в коей, по указанию Палицына, налагалась тень подозрения в измене на осадного воеводу Голохвастова[298], потомок его, описываемый мною Дмитрий Павлович, вознегодовал на незаслуженное унижение своего рода и написал, не будучи никогда автором, самую замечательную в исторической литературе монографию этой осады[299] и полное оправдание действий одного из своих предков. В то время статья Голохвастова обратила на себя внимание знатоков нашей истории и удивила всех: никто и не подозревал в нем способности написать подобную ученую критику. Когда я при встрече

моей с ним поздравил его с блистательным успехом, он отвечал мне: «Бога ради, не считайте меня писателем, во мне заговорила кровь – и только». Однако же он и еще раз вынужден был взяться за перо[300] и явиться в печати. Всегда благородный, но бестактный во многих случаях, он слишком резко, и, конечно, сам того не подозревая, коснулся до святых преданий о чудесах и знамениях, которые, по древним православным убеждениям, одни спасли лавру от поляков и более двух веков хранили как бы догматическое достояние московской и всероссийской церкви. Голохвастов был всегда человеком набожным и благоговел пред тройственным символом царствования Николая I, пред гербом министра просвещения Уварова и перед исповеданием славянофилов, – одним словом, он веровал несомненно в православие, самодержавие и народность. Когда монография его была напечатана, к великому своему ужасу узнал он, что митрополит Филарет[301] выражает свое против него неудовольствие и глубоко скорбит о том, что одна дерзкая рука непризванного писателя коснулась святых преданий его лавры. Голохвастов испугался. Он преклонялся пред Филаретом и видел в нем не только одного знаменитого мужа, но и члена Св[ятейшего] Синода и андреевского кавалера. Делать было нечего, надо было как-нибудь поправиться, и вот придрался он к какой-то журнальной статейке вообще против нашего духовного красноречия и выставил Филарета как церковного витию, не уступающего ни Боссюэту, ни другим европейским ораторам; но как в этой статье дворянская кровь его молчала, то она и вышла очень посредственной. Тем и кончилось его авторство.

Пора и мне кончить с Голохвастовым, прибавив в заключение одну весьма неудачную черту его учебной деятельности как попечителя. Кроме бестактности, отличался он еще многоглагольством, и этот недуг вырос в нем до такой степени, что покойный государь, воротясь однажды из Москвы в Петербург, жаловался на Голохвастова недавно умершему члену государственного совета Н.И. Бахтину[302], также известному мастеру говорить, что московский попечитель заговорил его самого, государя. Многоречивая болтливость с царем начальника университета была действительно поводом к одной из самых крупных мер, принятой государем против университетского юношества. В продолжительное пребывание двора в Москве по случаю освящения нового Кремлевского дворца[303] государь с негодованием часто встречал студентов, не соблюдавших предписанной формы и отличавшихся неопрятностью своих одеяний; это было лично замечено им попечителю. Голохвастов оправдывался многочисленностью студентов (более тысячи человек), обширностью города и потому невозможностью за ними наблюдения. «У вас своя полиция», – заметил государь. «Помилуйте, ваше величество, всего пять-шесть педелей[304], инспектор и три-четыре помощника, – где же усмотреть за такой толпой?» Судя по привычке Голохвастова говорить долго и много, и по отзыву о нем государя, оправдание было многоречивое и продолжительное. Оно врезалось,

как видно, в памяти Николая Павловича, и тот через несколько времени из Варшавы изволил указать, чтобы в Московском университете комплект студентов всех трех факультетов, кроме медицинского, не превышал 300 человек. На робкое возражение министра просвещения о вреде такой меры государь отвечал: «Сам московский попечитель уверял меня, что университетскому начальству нет никаких средств справляться с такой громадой студентов»[305].

Если мне станут попрекать, зачем так долго останавливаюсь в моих «Записках» над недовольно крупною личностью Голохвастова, я предупреждаю такое обвинение тем, что, к несчастью или по счастью, редко удавалось мне встречаться с более крупными особами, и что главная моя задача – ознакомить читателей с русским человеком моего времени во всех его видах и со всеми его качествами, будь он крестьянин, купец, духовный или помещик средней руки, а изредка и первого, по богатству, разряда.

Упомянув о представлении меня пр[еподобному] Августину, прибавлю, что знаю и о нем. Любимец митрополита Платона за искусное красноречие и глубокое знание латинского языка, что доказывают хранящиеся в Вифании[306] латинские стихи этого архиерея, напечатанные золотыми буквами по воле его покровителя, Августин восхищал московскую публику великолепным служением и торжественным проповедованием своих витиеватых речей; но мне раза два случалось слышать, стоя близко, слишком грубые его выходки, вполголоса и во время служения видеть неприличное и дерзкое обращение с окружающим его духовенством. Кажется, в Москве не все его любили[307].

Для контраста привожу забытое мною из моего детства воспоминание о митрополите Платоне. 3-х или 4-х летним ребенком возил меня отец в Ростов на поклонение мощам св. Дмитрия. По пути были мы в Вифании у Платона, отец мой был знаком с ним. Мне приказано было поцеловать благословляющую руку, но Платон, взяв мою ручонку и сказав, что младенческая лучше его, грешной, облобызал ее. Разумеется, я помню это только по рассказам. Некоторые из других, дошедших до меня преданий об этом мудром подвижнике нашей церкви передам, когда дойду до встречи моей с незабвенным Филаретом[308].

Забежав в моем рассказе на несколько лет вперед, возвращаюсь к 1815 г., на котором остановился. В силу духовного завещания, оставленного моим отцом, надо мною и над имениями не было учреждаемо никакой опеки, кроме безотчетного попечительства моей тетки, Елены Яковлевны, и трех также безотчетных опекунов. Ни одна дворянская опека тех уездов, где были наши имения, не только не вступала в предписанные им в законе над ними наблюдения, но и не заботилась узнать, как и кем они управляются, – до такой степени была беспорядочна в те времена наша администрация. Даже самое это духовное завещание, несогласное с законами о наследстве, нигде не было представлено, а если бы и было, как, и следовало, то подверглось бы неминуемо

общим о завещаниях и опеках постановлениям, и попечительница вместе с опекунами обязана была бы представлять отчеты. Двое из трех опекунов моих, соседи наши по Михайловскому, Сафонов и Артемьев, тотчас же от всякого участия отказались, Дубовицкий ограничился одними наставлениями; таким образом, все управление по праву перешло к Елене Яковлевне. Она способна была управлять только домашним хозяйством, и я беспрепятственно забрал все в свои руки. Последний год жизни отца, по его распоряжению, новосильским имением управлял мценский помещик, прехитрый Андрей Андреевич Глазунов[309], отец двух моих товарищей студентов[310].

По приказанию Глазунова осенью 1814 и весной 1815 г. все количество заготовленного в Михайловском хлеба подряжено было поставить водой по Оке в Москву, чего никогда у нас не бывало; эта операция не удалась, и от нее были большие убытки. Глазунов уверял, что и осенние, и весенние барки были на воде разбиты, часть хлеба затонула, остальная подмочена, много денег пошло на перегрузку, и мы с Дубовицким никак не могли добиться никакого толку. После отказа ему в управлении последовал с ним расчет. Сперва выразил он желание приобрести покупкой капельмейстера нашей жалкой музыки Петра Бухвостова с женой и сыном; мы с тетушкой, оба расчетливые, вскоре после смерти отца согласились уничтожить эту музыкальную потеху и составлявшийся хор певчих, а потому и продали этого Бухвостова, который, впрочем, и сам охотно переходил к новому барину. Я еще тогда не понимал, что продавать людей и грешно, и стыдно. Проверив с Дубовицким отчет Глазунова по управлению, мы нашли, что по ним от Глазунова следовало получить нам 500 или 700 р. асс., он и не спорил и выслал мне по почте всю сумму сторублевыми бумажками. Все они оказались фальшивые, французские. Еще недавно в «Русском архиве» было говорено о фабрикации наших бумажных денег по распоряжению Наполеона[311], и издатель этого журнала, по моему мнению, несправедливо попрекал бывшего у нас послом Коленкура участием в этой подлости. Такое обвинение ни на чем не основано, ибо для подобных проделок самые враждебные правительства употребляют не официальных своих представителей, а людей темных, от действий коих гораздо легче отказаться. Коленкур был слишком порядочный человек, уважавший императора Александра и им уважаемый. Мы с тетушкой нисколько не посовестились сбыть в другие руки эти фальшивые бумажки и убытку от них не потерпели. И до сих пор в общественном мнении провозить контрабанду, сбывать фальшивую монету, пересылать из чужих краев с дипломатическими курьерами книги и наряды и т.п. мелкие грешки не считаются бесчестными людьми честными. А между тем года два тому назад я участвовал как почетный мировой судья в приговоре нашего съезда к 3-месячному заключению в остроге одной женщины за то, что она сдуру призналась в сбыте 3-хрублевой депозитки, ей заведомо фальшивой. Большие мухи всегда прорывают паутинные сети, мелкие гибнут от паука: так и с законом.

* * *

Зимой 1814 и 1815 годов Москва была еще пуста; кто побогаче и познатнее, переселились в Петербург. Многие постоянные обыватели из помещиков, не успев еще отстроить своих погорелых домов, жили либо в провинциальных городах, либо по деревням, оттого и у меня знакомых домов было немного. Кроме ежедневных посещений голохвастовской семьи, играл я по вечерам в карты у славной старушки Раевской, у приятельницы моей матери, Львовой[312], где любезничал с тремя ее дочерьми и особенно с последней, теперешней отставною игуменьей матерью Верой. Часто навещал юношей, двух братьев Норовых; мать была честная и добродетельная женщина, урожденная Голицына[313]. Один из братьев был впоследствии товарищем министра финансов; он еще жив и теперь живет в Ницце, не оставляя своего великолепного рояля, который всюду с собою развозит. Я, встречаясь с ним в чужих краях, всегда им любуюсь как одним из немногих счастливейших людей на свете. Больше говорить о тогдашней Москве не стоит. Не мешает однако для характеристики города и его окрестностей упомянуть о том, что весной 1815 года, кажется, в начале мая, ездил я верхом на прехорошенькой англизированной лошадке в Петровский дворец, чтобы посмотреть в первый раз на слона, которого из Персии вели в Петербург в подарок от шаха императору Александру. От Петербургской заставы[314] до самого дворца не было еще ни одного дерева.

В середине мая перебрались мы с теткой в Солнышково; я ее там оставил, а сам в сопровождении проживавшего у нас дальнего какого-то из самых бедных родственников Дьякова, преглупого и пресуеверного, отправился в Михайловское. До отъезда нашего из Москвы Никольский переехал от нас к Трубецким воспитывать двух братьев теперешнего вельможи, князя Николая Ивановича[315]. Мы с ним повздорили, и я, конечно, был виноват один, потому что слишком эмансипировался и поднимал нос, как богатый мальчишка, которому аристократики-студенты надули в уши, что стыдно иметь при себе гувернера.

Михайловское народонаселение, которого представителями при моем въезде были вся толпа дворовых, человек за сто, все вотчинные начальники и лучшие из хозяев-крестьян, т.е. самые зажиточные и почетные, и во главе их приказчик из крепостных, Илья Михайлович Шилов, ожидали меня у подъезда барских хором, ныне ветшающих. Я робко смутился, хотел было, но не сумел, сказать несколько слов приветствия всему этому люду, которые уже с первого раза провозгласили меня отцом, а себя моими детьми, и удалился поспешно во внутренние комнаты. Находчивый Шилов, бывший мой учитель арифметики, с подобающей сану моему внимательностью испрашивал приказаний. «Чаю и чаю, и есть как можно больше». – «А на завтра что прикажете?» По счастью,

я вспомнил преподанные мне наставления Дубовицкого, как и чем начать первый акт вступления моего в должность самовластного владельца, и решительным тоном приказал приказчику приготовить мне верховую лошадь, чтобы осмотреть вместе с ним по плану границы моих дач. «На это, – прибавил я, – будет употреблен весь первый день моего у вас пребывания». – «Помилуйте, сударь, ведь это будет верст сорок. Извольте посмотреть на план: в середине нашей дачи хилковские земли, а в окружной меже обоих имений целых 12 000 десятин». – «Так как же?» – «Дай Бог нам объехать и первое отделение, и то будем без ног». Шилов, заметил я, что-то уж слишком ободрился; чтобы сохранить мое барское достоинство, я отпустил его, сказав: «Ну, так завтра с восходом солнца. Прощай». Поевши, попивши и погулявши по саду, довольно большому и запущенному, и перед отходом на сон грядущий выпивши с Дьяковым по стаканчику вина, мы улеглись и проспали, как убитые. С рассветом начался объезд дач первого отделения. Я ездил верхом довольно бойко, хотя и не по манежному, и заметив, что мои спутники, приказчик и подчиненные ему староста и полевые десятские, ездят на коне – у, как плохо! вздумал над ними потешиться, дал лошади ход и пустился во всю рысь. Версту, много две проехали мы по прямой меже преспокойно; солнце стало пригревать, и начались вздохи и охи моих спутников. На Шилова, ехавшего почти рядом (он старался держать голову своей лошади у моего седла, видно, заметил, как это делается с начальниками на военных парадах), было смотреть и смешно, и жалко. Весь в поту, держал он себя рукой за живот и прыгал на своем седле вышиной на целый вершок. «Бога ради, позвольте отдохнуть, мочи нет». Тут я обратился с ласковыми словами к старосте и десятским и расспрашивал их о положении крестьян. «Все слава Богу, батюшка, живут хорошо, поминают вашего родителя и благодарят вас вместе с тетушкой за то, что сложили с нас всякие недоимки. Мы молим Бога за упокой души вашего батюшки и за ваше здоровье. Не угодно ли заехать на Никитино? Оно близехонько; сами полюбуетесь». Но любоваться было нечем, хотя мои глаза, привыкшие к нашим деревням, тогда еще и не были взыскательны, да и старосте, приглашавшему меня любоваться, хотелось вздохнуть от верховой поездки, а стану ли я любоваться или не любоваться – ему это было нипочем. Шилов же выражал на все свое согласие молчанием и одышкой. Мы не объехали и половины дачи и воротились к раннему обеду. Так прошел первый день. Не могу решить, довольны или недовольны были и дворовые, и крестьяне, которым я не дал руки для целованья и воспрещал кланяться себе в ноги; как видите, я и тогда начинал заражаться либерализмом.

Пятнадцатилетнему мальчику мудрено было сколько-нибудь походить на настоящего хозяина. Я, однако, разыгрывал эту роль с упоением от власти над всем преклонявшимся передо мною населением, более чем 1000 душ, считая и женщин, которые еще ниже мужчин кланялись и потому-то, видно,

и не считались законными душами[316]. Крайняя моя неопытность и ребячество, выражавшееся поневоле и в речах, и в движениях, возбуждали смех при иных необдуманных моих вопросах мужику или бабе; когда же мне стали пуще всего надоедать разного рода жалобами и просьбами о помощи, я, не вступаясь ни в какие распоряжения, передал всю мою власть Шилову. Объезд дач был, однако же, совершен; мне непременно хотелось этой скачкой, продолжившейся несколько дней, помучить Шилова и вотчинных начальников.

Перейдем теперь к соседям. Имением князей Хилковых[317], которым и окружалась моя дача и разделялась на две половины, управлял тогда отставной гусарский майор Василий Иванович Гурьев, небогатый, ближайший к нам помещик, честный, благородный и добрый. Старый холостяк, не больно грамотный и не очень-то деятельный, он при отце моем и у нас был управляющим, но недолго. Мы с ним часто видались, и я искренно любил его за то, что он никогда мне не льстил, обращался как с мальчиком и говорил правду. В таком же роде был еще сосед, подальше, Александр Николаевич Литвинов, и тоже майор, только поглупее, зато позажиточнее. У него долго тянулся презапутанный процесс о землях с соседями. Еще при жизни моего отца, незадолго до французов, приезжал он по этому делу в Москву и у нас останавливался. Чтобы выиграть процесс, батюшка посоветовал ему дать взятку самому дельному из всех сенаторов, М.Г.С.[318]; Литвинов, конечно, согласился, но не знал, да оно и понятно, как и сколько давать такому великому господину. Дело и не для степного помещика премудреное! Один из сенатских секретарей, С.Д. Ухин[319], приятель отца, особенно уважаемый им как неслыханное чудо за известную всем неподкупность в те времена, когда и сенаторы не гнушались взятками, уверил Литвинова, что у С. способ взимания взяток облегчен и упрощен. Ухин определил день поездки к сенатору за два дня до доклада по его делу, и когда проситель подал С. записку о процессе, сенатор сказал ему, что это дело ему известно и чтобы он был покоен; потом разговорился о деревенском хозяйстве и объяснил Литвинову, что какое-то Вологодское его имение запоздало выслать тысячи полторы оброка и что он находится в затруднительном положении. Литвинов вызвался ссудить его этой суммой; сенатор на другой день выдал ему заемное письмо, которое, когда дело решено было в пользу нашего приятеля, он привез и разорванное положил на стол С., принося выражение своей признательности за покровительство по делу. Вот как тогдашние сенаторы умно и просто принимали от просителей благодарность! Два соседа, отказавшиеся от опекунства надо мной, – мистик, химик и, по преимуществу, народный врач, в 20 верстах от нас, Артемьев, не выходил из лаборатории и, кажется, начинал уже придерживаться алкоголю, а напыщенный барской спесью масон Сафонов, окруженный двумя рослыми недорослями-сыновьями, с женой и жениной смазливенькой дочкой[320] прозябал у себя, в своей Любовше, восхищаясь инструментальными и во-

кальными концертами своих оборванных музыкантов. Сам он, его дом, его усадьбу и особливо его сад – все было подстрижено, прихолено, песочком усыпано и все-таки грязно. Хотя и масон, Сафонов нисколько не походил на моего отца; их взгляды на положение крестьян и помещичье хозяйство были совсем различны, Петр Илларионович убеждал меня ни под каким видом не баловать и не распускать мужиков и (употреблю его собственное выражение) «постоянно держать их в черном теле» на том основании, что бедные мужики выгоднее для помещика: и лучше работают, и лучше повинуются. Такие речи меня коробили, но я со стариком не спорил.

В нашем приходе по штату следовало быть двум священникам, в нем числилось 1300 душ ревизских, но одно священническое место было праздно и считалось, по тогдашнему обычаю, за малолетним семинаристом Мансуровым, которого священник отец незадолго до моего приезда умер. Таков был везде обычай оставлять за сиротами места их родителей, а если наследниками умерших попов были дочери, то места оставались за вдовами, которые принимали на убылые места зятьев. Таким образом, приход становился родовой собственностью духовенства, и отсюда выходило само собою, что не священно- и церковнослужители существовали для блага прихода, а приход для них. Поп Семен добрый, грубый и не очень-то трезвый, вел свое дело за двоих исправно, а в 1812 г. во время повальной заразительной горячки исправлял свои требы по избам, сам того не подозревая, с таким бесстрашием, что едва ли нынешние ученые семинаристы в состоянии ему подражать. Другой храбрости – в сношениях с приказчиком, помещиком и своим начальством, конечно, нельзя было от него и требовать, и когда уже незадолго до его смерти помещик того же прихода князь Хилков жаловался на его пьянство архиерею, и преосвященный приказал ему испросить у помещика прощения, то благочинный вошел с ним к князю, протащил виноватого за волосы через всю комнату, велел ему стать на колени и три раза поклониться в ноги князю. Нынешние священники из ученых на это, конечно, не согласятся, да и архиерей не потребует; но, повторяю, что они не станут так усердно навещать заразительных больных и помогать, как, бывало, это делал поп Семен, вытирать горячечных уксусом.

Наши университетские лекции начинались 1 сентября; я возвратился в Москву неделей раньше. Туда ожидали приезда императора. 30 августа, в день его именин, с раннего утра, освещенного ярким солнцем, ожидал его народ, покрывавший всю кремлевскую площадь. Лишь только показался государь на верхней площадке Красного крыльца[321], шествуя из Грановитой палаты в Успенский собор к обедне, раздалось громкое «ура», звон большого кремлевского колокола[322] и пушечный выстрел. Я никогда еще не видал никакого царского выхода и невольно пришел в восторг, который в самом деле воодушевлял всех жителей столицы, обрадованных прибытием государя,

уничтожившего Наполеона и даровавшего мир всей Европе. Этот день был, конечно, лучшим днем жизни безгранично любимого тогда всеми императора. Вечером московский главнокомандующий граф Тормасов давал большой бал. Некоторые из студентов получили приглашения, и мы с Голохвастовым отправились на этот праздник в мундирах, шелковых чулках, завитые и напудренные. Оба мы с ним были до того неловки и дики, что долго робели войти в танцевальную залу и другие парадные комнаты, довольствуясь держаться в приемной зале. Государь поражал всех красивой своей наружностью, обворожительною улыбкой и каким-то благодушным, скромным величием. Он был в простом темно-зеленом, почти черном вицмундире кавалергардского полка, в Александровской ленте, потому что это был праздник ордена, с Георгиевским крестом четвертой степени, со шведским орденом Меча, окруженного узенькой голубой ленточкой английского ордена Подвязки[323]. Андреевские кавалеры были также в красных лентах[324].

В числе спутников государя я заметил особенно славного казацкого атамана графа Платова[325]. Он мне показался прямым потомком гуннов по своей азиатской наружности. Он только что возвратился вместе с государем из Англии, где Оксфордский университет поднес ему грамоту на звание доктора прав. Платов в своем казацком мундире сиял бриллиантовыми украшениями; ими осыпана была его сабля, атаманское перо на казацкой шапке и две звезды на кафтане. Другая знаменитость, более могучая и менее заслуженная, отличалась, напротив, пред всеми, даже и простыми офицерами, изысканною скромностью в одежде и манерах и суровым, жестким выражением лица – это был всемогущий любимец Александра, так на него ни в чем не похожий граф Аракчеев[326], в простом артиллерийском мундире, без Андреевской звезды, с портретом государя на груди, не украшенным алмазами; Аракчеев, как известно, признал себя недостойным первого российского ордена и возвратил государю рескрипт. В России, кроме Аракчеева, от награды царской отказался[327] герой Кульмской битвы граф Остерман-Толстой[328], потерявший в этой битве руку; через несколько уже лет после этого дела, в день открытия памятника на самом месте, получил он орденские знаки Св. Андрея Первозванного от императора Николая. Поздней наградой он, вероятно, обиделся и держал у себя пакет со знаками и рескриптом нераспечатанный[329]. Аракчеев в то время и особенно на этом балу был после государя предметом общего внимания. На этом вечере были и два великих князя, очень еще юные, Николай и Михаил Павловичи[330], воротившиеся вместе с государем из Парижа. Им обоим, как видно, было очень весело. Усевшись на окно, ребячились и шутили они с какими-то молодыми флигель-адъютантами из свиты; кто-то из последних тихо проговорил: «Аракчеев проходит», и мои великие князья вскочили и вытянулись в струнку, и руки их невольно протянулись по швам; с тех пор Аракчеев стал грозою моего воображения.

В короткое время пребывания государя в Москве везде преследовали его просьбами о вспоможении после пожаров; на это назначил он огромную сумму, в число которой вошел, как сказывают, и тот, помнится мне, миллион, а может быть, и более рублей, который в пользу разоренных московских жителей собран был по подписке в Англии. Об этом раза два где-то было напечатано, потом забыто или с намерением умалчивается[331]. Нигде, как в Англии, не торжествовали так искренно и всенародно падение Наполеона, и Москва, предназначенная Провидением быть крайним пределом его властолюбия, сделалась для англичан предметом удивления и обожания.

Летом 1816 года в Михайловское отправился я уже с теткой; у нас там все шло под рукой Шилова, как и следовало, а, может быть, как и не следовало. В хилковском имении был уже другой управляющий, остзеец, моряк Клестерман. Их половина имения принадлежала еще старику, отцу братьев Хилковых. Старший князь почти всю жизнь провел в чужих краях, был во второй раз женат на немке и не имел никакого понятия ни о чем русском, а еще менее о деревенском хозяйстве. Михайловские его крестьяне платили самый ничтожный оброк, владели огромными землями, буйствовали и пьянствовали, а потому и беднели. Барину их невозможно, наконец, стало содержать огромную семью и трех сыновей, гвардейских офицеров. Присланный им на приказ немец посадил имение на барщину и, разумеется, не полюбился крестьянам, а соседние помещики, особливо судьбищинская мелкота (в селе Судьбищах, в 10 верстах от нас, было до 50 человек помещиков), косились на управляющего нововводителя немца. Он в первый же год своего управления по разным, весьма понятным, причинам запоздал озимыми посевами только что назначенных барщинских полей; сентябрь был к концу, а хилковские поля были все не засеяны. Один из судьбищинских мелкопоместных возревновал о пользах невиданного им в глаза князя и написал ему в Петербург донос на управляющего: «Вы де, батюшка, ваше сиятельство, будете без хлеба и без дохода; ваш немец до сих пор не хочет, а может, и совсем не умеет сеять». Князь, получив неожиданную грамоту, едва ее разобрал и переполошился, не зная, что делать. Послал по казармам за своими сыновьями-офицерами и просил у них совета; те отвечали батюшке, что они тоже не знают, как, когда и что такое сеют. Старик приказал им объехать знакомых и добиться от кого-нибудь какого-нибудь толку. Князья-офицеры разделили между собой своих и отцовских знакомых по частям города и отправились разыскивать правды-истины – как, когда и что сеять. Великосветские знакомые отца и сыновей сами перетревожились и перепугались; некоторые из них ничего не знали и ни о чем не заботились, другие перепугались за себя: «Ну, как и у меня не посеяли?» Насилу-насилу будущий михайловский хозяин, один из сыновей, князь Дмитрий, напал на смышленого петербуржца, бывшего настоящим сельским хозяином, и, узнав от него, что сентябрь последний срок озимых посевов,

убедил отца послать эстафету в Михайловское с приказом немцу сеять, и сеять во что бы то ни стало. Эстафета по тысячеверстному расстоянию была довольно дорога и не нужна; поля были уже засеяны, и назло охотнику до изветов на управляющих, судьбищинскому помещику Новогородову, урожай в этот год вышел у Хилковых, как и у всех, порядочный. Этот господин был своего рода степной чудак и потому очень мне памятен. Еще в царствование Павла, когда отец мой был новосильским предводителем, Новгородов, родом из кутейников, служил при нем протоколистом, потом попал в секретари уездного суда, и, несмотря на свою безграмотность, имея, впрочем, весь ябеднический навык приказной строки, нажил себе порядочную деревеньку в селе Судьбищах и поселился в ней, когда его из суда выгнали за нестерпимые взятки. Однажды какой-то тульский губернатор, ревизовавший разные присутственные места в Новосиле, спросил Новогородова, в каком положении в их уездном суде находится интересовавший губернатора процесс. «Дело еще не кончено, ваше превосходительство, и я в угодность вашу написал о нем доклад присутствию и в нем поставил все дело на баланс. В какую сторону прикажете: направо – так направо, налево – так налево, как будет вашему превосходительству угодно». Помня службу свою при батюшке, который взял его из духовного уездного училища к себе, этот сосед Новогородов повадился было навещать и нас с теткой. Мне с первого на него взгляда очень не понравились красная полупьяная его рожа, его пронырливые узкие серые глаза и его не совсем пристойная повадка и обычаи, как-то: он, обедая в другой или третий раз рядом со мной, изволил громоносно и полновесно высморкаться в свою салфетку. Со мной, ребячески брезгливым, чуть не сделалось дурно, и я вышел из-за стола. В этот же, кажется, день, когда пошлая беседа моя с ним меня почти усыпила, пошли мы гулять по нашей большой усадьбе; тут униженно начинал он у меня выпрашивать все, что ни попадалось нам навстречу: сперва ягод, потом яблок, потом персиков, разных к будущей весне черенков для прививков, потом для его убогого хозяйства соломки, сенца, хоботьев и даже кирпича, когда мы подошли к кирпичным сараям; я по ребячеству и глупости на все соглашался, и когда дошло до того, что он начал просить о присылке ему в рабочую пору наших тягловых работников на помощь, тут только терпению моему пришел конец – я страшно рассердился и едва удержался, чтобы не прогнать с моих глаз наглого посетителя.

В это же время, а потом и после, посещал нас в Михайловском другой гость, тоже в свою очередь оригинальный. Богатый, первой гильдии купец и хлебный торговец, тучный и с виду добродушный, Павел Иванович Смирнов с давних пор закупал у нас все годовые хлебные урожаи и всегда расплачивался с нами честно, а иногда даже и весьма снисходительно, задавая по нужде деньги вперед. Смирнов носил самую простую одежду зажиточного степного крестьянина, с той только разницей, что на ногах у него были не лапти, а

сапоги. Он ездил по помещикам и крестьянам в парной рогожной кибитке, закупал у первых все, что продавалось в помещичьем хозяйстве, начиная от зернового хлеба, пеньки и масла до гусиного пуха и птичьих перьев; у крестьян – ульев с медом на убой пчел и всяких бабьих тряпок для поставки их на писчебумажные фабрики. Всем этим, особливо хлебом, салом и щетиной, торговал он на миллионы и имел своих приказчиков в Нижнем и по Волге, в Рыбинске, Петербурге и Риге. Несмотря на такие громадные разбросанные по России обороты, был он совсем безграмотен, с трудом подписывал свое имя, не умел разбирать писаного и по складам читал печатное. У нас еще, бывало, при отце всегда был он почетным и желанным гостем и назывался дедушкой. За нашим столом обедать бывало ему неловко; он как-то странно и вопреки ежедневному обычаю справлялся с орудиями трапезы, и великим искушением было для него есть фрукты. Он их разрезывал и делил на кусочки, отправляя их в свой широкий рот вилкой. Приезжие из Англии повествуют, что такой же обычай соблюдается у великолепных лордов за их пышными обедами; вот и права пословица: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»*; стоит только переменить порядок слов и смешное поставить прежде величественного. Надобно, однако, отдать справедливость мужиковатому богачу: он несравненно был приличнее за столом Новогородова. Выпив за ранним чаем чашек до пяти и закусив после рюмки водки солененьким, отправлялся он на сон грядущий, но никогда в заботливо приготовленную для него комнату, а прямо в конный сарай расположиться на ночлег в своей кибитке и собственными руками относил туда довольно тяжеловесный сундучок со своей казной. Все шло у него в порядке, в городе дом был большой, каменный, со сводами и кладовыми, с крепкими железными дверьми и затворами. На городской базарной площади против своих каменных палат выстроил он и изукрасил всяким художеством на свой счет храм Божий и всю жизнь свою был его ктитором[332], не один раз бывал и мценским головой[333] и весь свой долгий век прожил в почете и изобилии. Но не так было после. Сын его[334], глуповатый сроду, после кончины старика стал было продолжать свои торговые дела, но, видно, он был безграмотнее и беспамятнее своего отца. Приказчики их торгового дома, рассеянные по всему лицу благодатной России, начали обманывать и грабить своего нового хозяина, у которого, как и у отца, и в заводе не было настоящих конторских книг, правильных отчетов и срочных от комиссионеров донесений. У старика все эти счеты и расчеты были всегда в памяти, и подручникам его, ближайшим родственникам из бедных, обкрадывать хозяина было трудно, у него был на то ясный, здравый ум и смысл и стоеросовая дубинка. Выпишет к себе грабителя и погладит его

*«От великого до смешного всего один шаг» (*фр.*) – фраза, приписываемая Наполеону после поражения в России.

своей тросточкой, тот и смирится, а если заартачится, то и с глаз долой. Без суда и жалоб последует обманщику отказ, и бедная его семья (он всегда брал приказчиков семейных) лишится своего заступника и покровителя. Таким-то побытом у старика Смирнова торговля шла в порядке; Смирнов-сын, закрыв глаза отцу, стал придерживаться рюмочки – какая уж тут память, а на бумаге та же отцовская безграмотность. Давным-давно жалуемся мы, русские, на иностранцев, всякого рода немцев, что и главную нашу торговлю, т.е. заграничную, захватило их купечество в свои руки. Во всех приморских наших пристанях, в Архангельске, Петербурге, Риге, Одессе и Таганроге, отпускная и привозная наша торговля ведется, как и денежная, банкирская, то англичанами, то немцами, то греками к ущербу общественному и преимущественно к невыгоде и к позору нашего купеческого сословия. Причина тому, по моему мнению, двойная. Умные купцы, вроде Павла Ивановича Смирнова, слишком на себя надеялись, их баловала удача при уме и характере, который доводил их часто до выставляемого так ярко Островским[335] купеческого самодурства; они гнушались, боялись, презирали всякое образование. Сын и наследник Смирнова, поучившись на медные деньги грамоте у приходского своего дьячка, которому отдан был на выучку, тем и покончил свое образование. Положим, он был глуповат, не в батюшку, но все же торговля его могла пойти успешнее, если бы он хоть сколько-нибудь порядочно знал арифметику и умел без особенных усилий писать и поверять своих приказчиков, – оттого-то богатый мценский дом Смирновых исхудал и упал. Допустим, что с прогрессом, просвещающим русских человеков, давно изменились во многом наши купеческие свычаи и обычаи. У разбогатевших купцов дети пошли в науку, и не один русский, и языки иностранные знают, на них говорят, и чужие земли посещают; кажется бы, похвально, и желать больше нечего, а тут на нашу общую беду встречается другое зло: наша широкая русская натура развертывается, и прежде всего и паче всего устремляется к наслаждениям всех земных благ[336]. Вот почему нет у нас собственно русских домов, торгующих на свой счет с Европой и Америкой и отпускающих свои корабли за море.

Если не забуду, постараюсь справиться, что последовало с единственным сыном и наследником знакомого мне богача, московского купца Лобкова, который считался в десяти миллионах и не очень давно умер, добившись разными пожертвованиями превосходительного чина[337], сохранив, впрочем, свое купеческое звание. Купца Лобкова лет 25 тому назад встретил я однажды на Нижегородской ярмарке; познакомил меня с ним Погодин[338], имевший разные по книжной части с Лобковым сношения. Один был знаток, а другой – охотник до древних рукописей и первопечатных книг. Погодин мастер втягивать богатое купечество в литературные предприятия. Нашему купечеству всегда нравилось и нравится быть меценатами, собирателями книгохраналищ. Лобков пошел дальше в порыве своего усердия; он, как известно,

на свой счет издал «Собрание слов и речей» покойного митрополита Филарета. Жертвуя огромными суммами на разные предметы на Нижегородской ярмарке, жил он слишком расчетливо и, поместившись в небольшом номере второстепенного трактира в верхней части города, ежедневно спускался ко мне под гору, чтобы вместе со мной, на моем извозчике, съездить на ярмарку. О необразованности его сына сужу я по одному слову, он называл отца «тятенька», а по дороге, где я с ним встретился, наследник миллионщика-отца стоял у их повозки, заваленной перинами, все время, покуда мазали дегтем колеса экипажа, и помогал в этом деле ямщикам. Любопытно знать, как теперь, по кончине родителя, он распоряжается своими миллионами. В весьма недавнее время с весьма богатыми купцами начальники губерний распоряжались бесцеремонно. Этим особенно отличался недавно бывший генерал-губернатором в Москве граф Закревский[339]. Вот что было у него с Лобковым. Заговорив о купцах, рассказываю кстати знакомые мне с ними случаи; хотя и поздние. Закревский очень затруднялся в холерное время недостатком больниц, пригласил к себе московского городского голову и рассуждал с ним об этом. «Один из наших граждан, – отвечал ему голова, – предлагает вашему сиятельству для больницы только что купленный им дом». Граф обрадовался, просил привести жертвователя Лобкова на другой день к нему и тут же приказал полицеймейстеру и врачам немедленно распорядиться размещением в пожертвованном доме Лобкова заболевающих холерой, которые в то время с каждым днем умножались. По осмотре дома оказалось, что поместить в нем больных было невозможно; нужно было предварительно исправить полы, двери, окна и т.д. Об этом доложено было графу в тот же день, и это его страшно рассердило. Когда на другой день утром голова явился к Закревскому вместе с Лобковым, Закревский вместо благодарности обратился к нему с неистовыми ругательствами: «Как ты смеешь на такое великое дело жертвовать лачугой!» Дом, конечно, обветшалый, был каменный и большой. Перепуганный Лобков укротил гнев градоначальника прибавкой 10 000 р. на поправку дома, за который он уже заплатил 20 000. Лобкову, конечно, и за это пожертвование дали не то медаль, не то крестик, и он в конце концов все-таки остался доволен. Впрочем, так поступал с купцами и не один Закревский, памятный Москве своим самоуправством и весьма плохим образованием; над ним особенно смеялись в обществе за то, что он не понимал по-французски. Сам князь Дмитрий Владимирович Голицын[340], кончивший свое образование в Страсбургском университете, бывший свидетелем, и не без удовольствия, того, как мятежные французы разрушали в Париже Бастилию, Голицын, отличавшийся образованием, тоном, манерами, благородным, можно сказать, рыцарским характером, в отношении к купцам был почти более, нежели Закревский, деспотом. Вот достоверно из-

вестный случай в доказательство. Однажды является к князю Голицыну один богатый саратовский купец с выражением желания учредить в московской практической академии, которой попечителем был Дм. Влад., две на свой счет стипендии, с тем, что он готов внести на вечные времена нужный на то капитал, с тем, чтобы ему предоставлено было пожизненное право назначать стипендиатов. Добрый князь радушно обнял купца, пригласив его к себе на другой день, чтобы подписать бумагу и внести следуемую сумму. Купец очень был счастлив приемом и обещанием князя не задерживать его по этому случаю в Москве, куда он приехал по делам на самое короткое время. По выходе купца из княжеского кабинета вошел правитель канцелярии Степанов[341]. Князь рассказал ему о предложении купца. «Эх, ваше сиятельство, все это прекрасно, а лучше было бы саратовские денежки употребить на другое, более полезное для нас дело, – с самодовольной улыбкой отвечал Степанов на веселый рассказ князя. – Вы сами так изволите заботиться о московских водопроводах. Ведь наша Москва, почитай, совсем без воды, а из Петербурга, сколько вы туда ни пишите, деньги на это не присылают. Вот бы хорошо, если бы вы уговорили саратовского этого купца вместо каких-то коммерческих воспитанников отдать вам свое пожертвование на воду для столицы». – «Помилуй, любезный, – возразил князь, – какое ему дело до нашей воды? Ведь он живет в Саратове и в Москву приезжал всего на неделю». – «Ведь ему все равно, ваше сиятельство, и за воду вы ему выхлопочете медаль. Одного вашего слова довольно, чтобы его уговорить» – «Как-то, любезный, неловко, право неловко. А впрочем, пожалуй, я попробую скажу, когда завтра он будет». На другой день в назначенный час является купец с деньгами. Голицын сам чувствует некоторую неловкость, заговаривает с ним о московских водопроводах и получает от купца, столько же смущенного, довольно робкий ответ, предугаданный князем, что жителям Саратова до московской воды нет никакого дела. Князь отлагает свидание до завтра. Опять является в кабинет Мефистофель Степанов и убеждает князя позволить ему переговорить с купцом. Приехавшего купца отсылают к Степанову для переговоров; тот встречает жертвователя разными затруднениями и кормит завтраками, и все кончается тем, что напуганному и задержанному в Москве купцу объявляют от имени князя существующий закон: «Буде кто не исполнит решения полиции после троекратного о том объявления, того сажать в острог», на этом основании купец отдает деньги на московские фонтаны, тоже получает медаль и тоже, вероятно, остается доволен. К этим двум странным в различное время случайностям прибавлю одно не менее странное о них суждение. Разговаривая однажды о разных разностях нашего русского быта с одной всеми уважаемой и достойной всякого уважения духовной особой и выразив от себя мое изумление, что наше купечество терпит от властей такие явные неправды и унижения, я получил от этой особы совет скрывать от купцов эти

мнения, не сбивать их с толку и не возмущать против властей, а от Лобкова, рассказавшего мне бывший у него с Закревским случай, следующий ответ на мое возражение: что самовластный граф никак бы не осмелился поступить со мною так, как он поступил с ним, несмотря на то, что я по богатству беднее, по чину ниже, а по общественному значению гораздо ниже Лобкова. «Как нам возможно равняться с вами? За вас, батюшка, есть кому заступиться, а нашего брата граф может заслать так, что и слуху не будет, куда угодно». И все это правда. И вся эта правда совершалась у нас на глазах так еще недавно! Утешительно думать, что в нынешнее время подобное проявление самовластия и самоуправства, которым увлекались даже лучшие наши люди, повторяться уже не может.

Трудно писать «Записки» без скачков. Предоставляю другому времени привести их в порядок. Если самому мне не удастся, надеюсь, что после кто-нибудь об этом позаботится. Переходы из одного десятилетия в другое, а иногда и далее, делаются, чтобы не забыть совсем о том, что припоминается кстати по однообразию предмета или своеволию мысли.

Несправедливо было бы упрекать меня в пристрастных обвинениях разных сословий русского общества. Я, кажется, нисколько не пристрастен к той среде, которой принадлежу сам, охотно обличая и дворян в их предрассудках, и помещиков в их самоуправстве. В этом 1816 году, к которому возвращаюсь после многих отступлений, совершил и я два помещичьих преступления. Во второй, но, слава Богу, уже в последний раз согласился я на предложение тетушки продать спившегося с кругу нашего славного повара. Сам он, чувствуя, что на старом корне, т.е. в нашей дворне, никак не может сладить с собой и исправиться в своем беспутном поведении, приискал себе покупателя, какого-то купца; этот, не имея права владеть крепостными людьми, купил его у нас на имя князя Вяземского, поэта[342]. Другое мое помещичье преступление было гораздо гаже. Нашему пожилому кучеру (лет 50) Герасиму тетушка отдала в подмосковной 500 р. для личного доставления мне в Москву. Герасим явился без денег и уверял, что потерял их; я не поверил и попросил знакомого мне частного пристава Щербу, родом серба, расспросить и допросить кучера. Щерба объявил, что допрашивал и расспрашивал с великим усердием, т.е. под розгами, и уверял честью, что бедный Герасим точно потерял деньги, напившись донельзя на постоялом дворе. Мне было жалко и совестно глядеть на невинного страдальца, но, видно, люди все рабы своих привычек: моя тетушка, пренабожная и решительно предобрая, какой она была к своим людям во всю свою жизнь, спорила со мной и находила, что Герасим был наказан поделом и что эта сотня, а может быть, и две, розог будут впредь ему, да и другим дворовым, наукой.

В 1816 году я был уже на третьем курсе и почти оканчивал мое университетское образование; как оно шло вообще, говорено было прежде. В этом

году, кроме продолжения моих близких отношений с Голохвастовым и его семьей, я особенно подружился с Мих. Александр. Дмитриевым, Новиковым и Курбатовым. Каждый из этих трех господ имел большие способности. Дмитриев, умерший два года тому назад, сделался известным в нашей литературе как мыслитель, поэт и замечательный писатель[343]; Курбатов, полиглот, владевший почти всеми европейскими языками, не выезжая из Москвы, и изучивший сверх того еврейский, арабский и даже санскритский, имел огромные способности, но, к сожалению, утопил их все в водке. О разных его безобразиях и буйствах, довольно смешных и забавных, я расскажу, когда дойду до 1818 г.

В семье Голохвастовых меня особенно баловали, и умная Л[изавета] А[лекссевна], мать моего товарища, как-то чересчур за мною ухаживала и часто делала мне разные подарочки. Раз поднесла она мне хорошенькую печатку, на которой был вырезан гриб, с надписью: «Mûr en naissant»*; потом прекрасные золотые очки, тоже с надписью на футляре: «Offert par l'estime au plus estimable»**. Это было уже по моим годам чересчур. Когда я был в Михайловском, она со мной переписывалась; к сожалению, ни подарки, ни письма не сохранились, и мне это жаль. Опытная моя тетушка начинала мне намекать, что у Голохвастовых ловят меня в женихи для дочери, которой всего было лет 13 или 14. Девочка была смазливенькая, с хорошенькими черненькими глазками, но, воспитываемая в страхе Божием, она была действующим лицом без речей, и я никак не мог разобрать, была ли она умна или глупа. У матери на первом плане был сын Дмитрий, который, будучи старше меня годами двумя, был во всем самостоятельным юношей. Меньшой, Николай, очень ветреного характера, находился под надзором у старшего или под моим, когда Дмитрий был чем-нибудь занят. Почему-то братья были между собой на церемонной ноге и говорили друг другу «вы», так же, как и сестре. Голохвастова любила чопорное обращение. Она была по себе из семьи Яковлевых, а ее три брата также отличались во всем московском обществе каким-то деликатным европейским изысканным обращением. Они все трое жили в чужих краях и все превосходно описаны Герценом, побочным сыном одного из них, Ивана, и женатым на побочной дочери другого брата, Александра, стало быть, на своей двоюродной сестре[344]. Этот старичок Александр очень любил разные науки, и как ни плохо преподавались они в нашем университете нашими профессорами, он на старости лет от нечего делать посещал университетские лекции, влюбился в меня и требовал, чтобы я его как можно чаще посещал в его огромном, преотвратительно содержимом доме (на Тверском бульваре), который перешел к Кротковым[345] и в котором мы долго после жили. У него

---

* «Зрелый от рождения» (*фр.).*

** «С уважением – уважаемому» (*фр.*).

была прескверная привычка постоянно говорить о своих болезнях и процессах; с братьями был он в ссоре и тяжбе. Знакомство с ним было мне на всю мою жизнь полезно: я поставил себе правилом никому не надоедать моими недугами и не рассказывать о моих процессах.

Несмотря на все ухаживания за мною и Голохвастовых, и Яковлевых, на молоденькую и бессловесную Наташу не обращал я никакого внимания; меня занимала тогда, и то очень слегка, теперешняя инокиня Вера Львова. Так как это дело весьма прошлое, то я позволю себе нескромность сказать, что она чуть ли не занималась мною более, чем я ею, а она была прехорошенькая и преталантливая: пела удивительно (этому искусству успешно учил ее итальянец Бравур), превосходно играла на арфе, не говорю уже о фортепьянах, списывала картины масляными красками и отлично играла на сцене. Вообще дом Львовых был очень приятен, но, прельщаясь хорошенькой Верой, я в то же время охотно играл с ее матерью и другими старушками в бостон и их почти всегда обыгрывал. Как видите, я всегда предпочитал полезное приятному и занятия мирные страстям, возмущающим спокойствие души человеческой. Недаром изобрела для меня Голохвастова девизом гриб, видно, в самом деле был я «mûr en naissant».

Не мешает вспомнить здесь мое трехдневное богомолье в этом году со всей семьей Голохвастовых. Незадолго досталось им по наследству от престарелого сенатора, Голохвастова[346] же, соседнее с Солнышковым имение село Егорьевское, Новоселки тож, перешедшее после к княжне Елиз. Дм. Щербатовой[347], и в начале лета вся эта семья приехала на своих лошадях взглянуть на новую собственность. За мной послан был гонец, и я к ним явился. Когда-то возле церкви была там господская усадьба; ветхий флигель без фундамента, окруженный старыми липовыми аллеями, уцелел еще тут, стоя, покачнувшись, на своих курьих ножках. За дурной погодой устроились было обедать в комнате, но полы этих хором так уже перекосились, что столу, довольно большому, удержаться на них было невозможно, и мы совершили нашу трапезу в аллее. Тотчас после обеда весь поезд, состоявший из дорожной четвероместной тяжелой кареты, вернее рыдвана (в которой помещались Л.А. и ее дочь, какая-то приживалка и горничная, с дворецким на козлах и лакеями на безрессорных запятках), из коляски с двумя молодыми Голохвастовыми, повозки, нагруженной перинами, кухней и разными припасами, и, наконец, мой маленький экипаж – все это отправилось ночевать в Давыдову пустынь[348]. Проселочная дорога была так дурна и грязна, экипажи так тяжело нагружены, голохвастовские доморощенные лошади до того избалованы заботливыми о них хозяевами, что все эти 10 или 15 верст мы протащились самым тихим шагом и очень опоздали ко всенощной. Отстояв на другой день обедню, богомольная семья спешила в Москву, но спешила, как увидите, очень медленно. Мы кормили лошадей и сами обедали в Холмах, а к ночи,

и опять очень поздно, приехали в Екатерининскую пустынь[349] и, помолясь там, на другой день отправились в Москву, только не вдруг, а с кормежкой на полдороге. Вот как продолжительно тогда путешествовали! Голохвастову задерживали в дороге каприз – возить с собою все неудобные удобства барских прихотей, и преувеличенная любовь к лошадям, но в те времена и большая почтовая Серпуховская дорога, и почтовые лошади были до того неисправны, что не раз случалось мне весной и осенью в экипаже самом легком употреблять двое суток, чтобы доехать из Солнышкова в Москву, на что теперь требуется по чугунке не более двух часов времени; о сравнительном удобстве и говорить нечего. Нельзя, однако же, сказать, чтобы железная дорога была собственно для меня выгодна в денежном отношении. В старые годы переедешь, бывало, в Солнышково, да уж и не подумаешь без крайней нужды побывать в Москве; теперь так тебя и подмывает в город, и добро бы одних хозяев, а то и домашняя прислуга только и слышишь, что просится за чем-нибудь в Москву. Между Лопасней и Москвой было у меня приятное перепутье в сельце Сенцове, не доезжая до Подольска, где жили в хорошенькой усадьбе двоюродный брат мой Василий Обресков с женой, урожденной Хованской, и единственною дочерью – ребенком, а теперь уже бабушкой К.В. Обуховой[350]. Хозяин этого имения был прежде адъютантом графа Растопчина, и он-то передал мне записанные мною подробности о смерти Верещагина, о московском пожаре[351]. Человек он был добрый, не имевший никаких претензий на уметвенные потребности, живший одною материальною жизнью. Жена была умна, образованна, славная музыкантша; впоследствии[352] бросилась в ханжество.

В эти годы юношество, по крайней мере московское, спешило начать общественную жизнь ранее, нежели теперь. Оно встречало на каждом шагу в столицах 25-летних полковников гвардии, 20-летних камер-юнкеров и безбородых еще молодых людей, имеющих уже в петличке какой-нибудь крестик. Пора было и мне, близкому к выходу из университета, заботиться о выборе какой-нибудь службы. Не знаю, почему дядя Обресков, который в этом отношении принимал во мне искреннее участие и, несмотря на всю свою лень, писал ко мне разные советы для моей службы из Симбирска, склонил меня не поступать в только что открытую генералом Муравьевым военную школу колонновожатых[353]. Тогда она была в большой моде, и много молодых людей из лучшего московского общества там воспитывалось. Николай Николаевич Муравьев, отец Муравьева Карского[354], был человек чрезвычайно образованный и замечательный своими обширными военными познаниями; сам он воспитывался, вместе с князем Дм. Вл. Голицыным, в Страсбургском университете. Школу эту сначала для воспитания своих меньших сыновей и детей его приятелей учредил и впоследствии расширил он в своем волоколамском имении; из нее вышло много дельных военных и несколько

декабристов. С ранних лет я почему-то был слишком равнодушен ко многому и не имел ни малейшего не только чинолюбия, но и честолюбия; так многое, прельщающее других, было мне все равно. Очень слегка написал мне дядя не поступать к Муравьеву, ну, я и решил: «Не поступать, так не поступать», и уже через полгода догадался, к чему могло меня вести это вмешательство с берегов Волги. С женолюбивым моим дядей жила тогда в близкой, но, по позднейшим сведениям, платонической дружбе с ним и в открытой вражде с его сестрой Марьей Васильевной жена, лет под 40 слепого генерала Николева[355]. Она на каких-то основаниях все добивалась развода с мужем и его не получала, а между тем дядя и она все еще надеялись соединиться законным супружеством. Николевой, когда она была еще в Москве и ежедневно бывала в доме Обресковых, я как-то особенно полюбился, и ей, вероятно, обязан я был тем, что и дядюшка более был ко мне ласков, чем к другим племянникам. Брат ее, полный генерал Алексей Николаевич Бахметев[356], отличившийся отменно в Бородинском деле и потерявший в этом сражении ногу, назначен был полномочным наместником Бессарабской области. Николева уговорила дядю отправить меня на службу к своему брату, который был в то же время другом и некогда сослуживцем Обрескова. Я на это согласился и решил в начале 1817 года держать экзамен на кандидата[357] и потом отправиться в Бессарабию к Бахметеву, в канцелярии которого было уже мне приготовлено штатное место. Отчего это место было не военное, а гражданское, я и сам не знаю; Николева и дядюшка уверились и уверили меня, что во мне преобладали более гражданские, чем военные способности, а мне опять-таки было все равно.

Тут, по соображениям с моей тетушкой Еленой Яковлевной, весьма естественно нашли мы, что нам в Москве каменный большой дом не нужен и что выгоднее будет его продать и уплатить часть долгов, оставшихся после отца и сделанных им в 1811 и 1812 годах в количестве около 100 000 р. сперва на покупку богородицкого имения, а потом в 1814 московского обгорелого дома. То и другое, как было уже потом рассказано, было приобретено на имя тетки, а долги были сделаны моим отцом на себя; тетушка часто твердила мне, что у нас все с нею должно быть общее, я ей не прекословил, хотя и замечал, что в отношении к ней это гораздо более, чем для меня, и удобно, и выгодно, ибо у меня собственного имения втрое больше, нежели у нее, но должен отдать ей справедливость: она без всяких возражений согласилась уплачивать мой после отца долг из денег, которые выручатся после продажи ее дома, с уговором дать ей тысяч около десяти на покупку для себя небольшого в Москве домика.

Рассчитывая, что с сентября 1816 года начнется последний мой университетский курс, начал я заниматься поприлежнее, и не только теми предметами, которые мне нравились, но даже и теми, к которым имел решительное

отвращение, как, напр., к политической экономии не понимающего ее и не понимаемого нами Шлецера, к физике и математике и к заоблачной логике и метафизике. Мне непременно хотелось выйти кандидатом, а на эту степень надо было по тогдашним правилам держать особенный экзамен. Вся трудность этого испытания заключалась в одном условии: надо было написать сколько-нибудь дельное сочинение по одному из факультетских предметов. Я уже выбрал себе для рассуждения предмет по кафедре российского законодательства. Особенно покровительствовавший мне профессор Сандунов заранее обещал снабдить меня всеми источниками и помочь своими указаниями. Не имею права сказать: к большому моему горю, потому что мне опять-таки было все равно, но к великому горю старших моих товарищей, особенно из патрициев, последовало по министерству просвещения распоряжение остановить все экзамены на ученые степени до нового о них устава. Причиной этой перемены было слишком уже крупное злоупотребление, допущенное в Дерптском университете; там двое немецких портных, приехавших из Германии, за деньги получили дипломы на степень докторов.

Я имел право выйти из университета весною 1817 года по окончании зимнего семестра. В то время полный курс был трехгодичный, особенных выпускных экзаменов, равно как и переходных, тогда еще не было. Студент, оставляющий университет после трехгодичного курса, являлся лично к каждому из профессоров, коих он во все три года прослушал, и получал от него свидетельство в посещении лекций и в приобретенных им по каждому предмету познаний. Следовательно, все зависело от профессоров; баллов никаких не было. Записки профессоров об успехах студента представлялись или университетскому правлению, или совету, и на основании их ректор с деканом выдавал аттестат.

В начале весны 1817 года выходные студенты надеялись на скорое издание нового устава об экзаменах, почему и я не спешил отбирать у профессоров их свидетельства, а тотчас после Святой[358], не выходя еще из университета, отправился вместе с тетушкой в Михайловское и там в первый раз встретился и познакомился с присланным туда на хозяйство сыном старого князя Хилкова, 27-летним отставным гвардейским полковником, князем Дмитрием Александровичем. Он был ровно десятью годами старше меня, может быть, еще менее меня классически образован, ибо, будучи пажем[359] и потом поступив мальчиком в гвардию, не мог иметь даже никакого понятия о классическом образовании; но он был уже и в эту пору замечательного ума, весьма пылкого, энергического и твердого характера. Особенно замечательно было в нем мистическое направление. Следовало бы мне, раз о нем упомянувши, представить полную его, насколько мне известно, биографию, потому что он был мало похож на ветречаемых мною людей того времени, но я отсрочиваю изложение его деятельной и мечтательной жизни до той поры, когда мы с ним,

ровно через 10 лет, встретились в том же Михайловском после деятельной и совершенно противоположной нашей в этот промежуток времени жизни.

В тульской деревне пробыл я очень недолго. Меня вызвало оттуда приглашение дяди Обрескова приехать к нему в Симбирск. Поездка туда в половине мая была, можно сказать, первым моим путешествием. С рассеянным любопытством университетского юноши, которому скептик Каченовский много помешал восхищаться великими событиями допетровской нашей истории, ибо он по складу своего ума накидывал на всю нашу историю тень разочарования, взглянул я на древности губернского города Владимира. Знаменитый тамошний Дмитриевский собор[360] был тогда застроен небольшими и неопрятными домами и мало кому известен; золотые Владимирские ворота[361] так же незаметно стояли в куче других зданий. О всем этом я расспрашивал в трактире, и никто не умел мне ничего объяснить. Помню зато песчаную дорогу через огромный лес в город Муром, ее в то время считали еще небезопасною. Глубокие пески и дремучий лес, через которые она проходила, все еще напоминали славных муромских разбойников и того древнего витязя Илью Муромца[362], которого память сохранила до нас – и как витязя своего рода, и как атамана разбойников, и как человека, которого церковь наша признала святым, чествуя благоговейно останки его в пещерах Киевской лавры. Симбирск показался мне дрянным, довольно, даже слишком, обширным по числу жителей городом, хуже Тулы и Орла; других городов, кроме Москвы, я еще тогда не видывал. Он растянут был на высокой горе; вид на Волгу, протекающую под ней, был великолепный. Великая эта река, кормилица всей восточной России, в половине мая еще не сбыла; разлив ее был на 7 верст ширины, и семья Обрескова вынуждена была остановиться в городе до тех пор, пока Волга войдет в свои берега и позволит переехать себя на пароме, чтобы отправиться в село Никольское, находившееся за Волгой, в 70 верстах от Симбирска. В этом городе приняли меня как нельзя радушнее и, что особенно льстило моему самолюбию, приняли не как 16-летнего мальчика, а как взрослого молодого человека. В доме дяди, можно сказать, были от меня без ума, я сделался почему-то предметом общего обожания. Сам дядя, бывший при Екатерине камер-пажем[363], потом измайловским офицером, побывавший с Зубовым в Персии[364], впоследствии же бывший московским губернским предводителем, и в эпоху 1812 года тамошним губернатором, постоянно обращался со мной с любезною и серьезною внимательностью. Он с обычным своим остроумием рассказывал мне свое прошлое; я, злоупотребляя этим к себе вниманием, повествовал ему с некоторою напыщенностью о своих университетских занятиях и о самом университете, о котором он, признаться сказать, не имел никакого понятия, несмотря на то, что был московским жителем. Наука и общество жили в то время врозь и никогда не сходились. Кроме моих хозяев, сделался я фаворитом всего симбирского общества; тамошний губернатор

Дубенский[365], еще очень не старый человек, был, как тогда называли, франт и отличался модным костюмом, а потому тотчас же после первого со мной свидания выписал себе из Москвы от моего же портного Florier синий фрак со светлыми узорчатыми пуговицами, как у меня, гороховые узкие панталоны в сапоги и какой-то пестрый жилет, а сапоги с желтыми отворотами тоже заказал моему московскому сапожнику немцу. Тамошний вице-губернатор Ринкевич, женатый на Пашковой[366], на первых днях обошелся со мною очень любезно, но когда немногие красавицы стали со мною кокетливо заигрывать, то этот хозяин губернии в финансовом отношении, немолодой, женатый и семейный, будучи единственным любезником дамского общества, меня к нему приревновал и стал называть мальчишкой. Небольшое симбирское общество собиралось ежедневно, чаще всего у Обресковых, в нем преобладал клан Ермоловых, к которому принадлежала и семья Обресковых, а головой был старец, губернский предводитель А.Ф. Ермолов, игравший по вечерам в карты, днем удивший рыбу. У него был спившийся с кругу сын, женатый на Урусовой[367], и зять игрок, знаменитый хозяин Языков, отец поэта[368]. Затем следовали разнокалиберные личности разных цветов, впрочем, полинялых, но были две, на которых я, при всем моем столичном самодовольстве, глядел не без зависти. Один из этих господ был Репьев; он, путешествуя года два по чужим краям и прожив зиму в Париже, приобрел европейский склад, отличался опрятным и изысканным помещением, очень порядочно говорил по-французски и один во всем городе выписывал иностранный журнал «Дебаты»[369]. Тетка моя Марья Васильевна постоянно ставила мне его в пример и настоятельно требовала, чтобы я изучал его французское красноречие. Другое светило симбирского общества блистало более собственным своим светом – это был отставно́й военный, безногий Аржевитинов[370]. Он сделал всю французскую компанию и лишился ноги в одном из последних сражений с Наполеоном, пробыл для излечения ран несколько месяцев в Париже и многому там понаучился. И тот, и другой были первые встреченные мной либералы; но Аржевитинов был посерьезнее. В нем, догадался я после, были все зачатки декабристов; не знаю, принадлежал ли он к их обществу.

Славно мне было жить в этом городе, все удовлетворяло моим прихотям. Кормили меня на убой: самая свежая зернистая икра, великолепная стерляжья уха, только что вытащенные из Волги живые осетры, различные кулебячки с моло́ками, и прибавьте к тому лучшие вина, выписанные из Петербурга прямо по Волге, – все это предлагалось с утра до вечера и это ежедневно, особенно у гостеприимного дяди Обрескова. Утро проходило в рассказах и начиналось для всех вообще славным завтраком, за ним следовал продолжительный обед; послеобеденное время я употреблял на прогулки и на визиты; иногда катались мы на лодке с песельниками. Вечер отдавался любимому русскому занятию – картам. Счастье меня баловало, я выигрывал и в вист, и

в бостон; затем ужин, да еще какой! Приятельница дяди Николева, особенно мною занимавшаяся, учила меня всем таинствам карточной игры, а иногда слегка, как умная очень женщина, допытывалась, что вынес я из университета. Ей хотелось убедиться в том, что брат ее, полномочный в Бессарабии наместник, приобретет во мне молодого чиновника, который обещает многое. Ей в особенности хотелось своим ласковым со мною обращением угодить приятелю своему, моему дяде; она спала и видела непременно выйти за него замуж от живого мужа, на это и тогда еще бывали, хотя и редкие, примеры. Я получил от нее поручение навести справки об утвержденном тогда разводе с женой сенатора Модераха[371].

Не должен я, однако, забыть своей милой, не очень красивой кузины Натальи Обресковой (она за 5 лет вышла из петербургского института). Бедной 25-летней девушке никак не удавалось выйти замуж. В Москве, где жила она до переезда в Симбирск с дядей, сподручных женихов не было, вся молодежь была в походе, и ей оставалось кокетничать со стариками. Граф Растопчин особенно с нею любезничал и много помог развиться ее саркастическому и наблюдательному уму. В Симбирске забавлялась она Репьевым и Аржевитиновым, ловила их в женихи, но все это как-то не клеилось: она была дурна и бедна. Со мной начала она покровительственной дружбой, которая скоро перешла с ее стороны чуть ли не в любовь.

Перед отъездом нашим за Волгу старший племянник Николая Васильевича, Василий Обресков, привез в семью только что вышедшую из института меньшую сестру свою Вареньку[372]. Переправа через Волгу сделалась возможною; сперва отправлены были через нее экипажи, прислуга, потом и мы, спустясь с высокой горы, сели на огромный паром. Достигнув половины реки, кормчий, сняв шапку, дал знак «на молитву», и все бывшие тут мужчины обнажили головы, все встали, и кормчий произнес громко «Отче наш». Этот обычай постоянно соблюдается при переправе по этой реке, которая иногда бушует и в бурное время подвергает плавателей опасности. За Волгой сели мы в экипажи и приехали на ночлег в обширный неопрятный постоялый двор, в село Холмогоры. Кроме двух небольших комнат с постелями, которые заняли дядя и его приятельница Николева, была еще большая, где все мы, остальные путешественники, т.е. две мои тетки Обресковы, две кузины, брат Василий и я, расположились повалкой на сене и так провели всю ночь. К обеду приехали в великолепное село Никольское. Там был огромный господский дом со множеством комнат и даже с домашним театром, большой сад, разумеется, запущенный, на берегу быстрого Черемшана, славного вкусными рыбами, и особенно стерлядями. На большой площади села, где бывали еженедельные торги и одна ярмарка, перед домом стояла итальянской архитектуры каменная церковь, богато и со вкусом украшенная прежним хозяином Дурасовым. При этом имении был конный завод и большая суконная

фабрика. Крестьяне жили в двухэтажных опрятных избах, правильно выстроенных по обеим сторонам широкой улицы. Все дышало довольством и изобилием. Старый кавалерист и лошадиный охотник, дядя мой потребовал, чтобы я начал учиться верховой езде по всем правилам манежного искусства. Верст до десяти после обеда каждый день ездил я у колеса линейки на рысях; мне выбирали нарочно самую тряскую лошадь, и я тут на себе испытал всю муку такой тряски, которой за два года назад я подвергал управляющего моего Шилова и вотчинных начальников. По вечерам играли мы в вист; кузины – одна очень хорошо играла на клавикордах, меньшая хорошо пела; но в этом небольшом кружке не было ни мира, ни согласия, а, напротив, стеснявшая все общество вражда между Николевой и теткой Марьей Васильевной. Каждое утро, являясь к общему чаю, и каждый вечер, отходя после ужина ко сну, они между собой целовались, но в продолжении целого дня не говорили ни одного слова, кроме как за картами по необходимости игры. Мне нелегко было сохранить равновесие в моих с ними отношениях, я должен был наблюдать за собой очень строго, и этот первый опыт общественной жизни мне совершенно удался. В продолжение всей моей жизни я умел сохранять такое необходимое равновесие в среде враждующих партий или неприязненных между собою людей, несмотря на их семейные или общественные связи. Много раз случалось мне слышать обоюдные жалобы, узнавать разные семейные тайны и всякого рода предполагаемые в защиту каждой стороны проекты и преднамерения; строго соблюдаемый мною вооруженный нейтралитет меня сначала забавлял и тешил, и я позволял себе иногда нарочно проговариваться в разных кружках какого-нибудь тесного общества и, имея в руках нити сплетаемых в нем сетей, за верное предсказывать какие-нибудь будущие последствия. Случалось, однако, что непрошенное открытие мне чужих тайн ставило меня в затруднительное положение, оттого приходилось часто упрашивать многих не быть со мною чересчур откровенными.

В середине лета возвратился я в Москву вместе с Василием Обресковым и тотчас же занялся, по поручению тетки Елены Яковлевны, продажей нашего московского дома[373] и объездом всех моих профессоров, чтобы получить университетский мой аттестат.

Через посредство архитектора Мироновского продан был дом за 55 000 асс. – цена, по тогдашнему, порядочная, хотя при этом доме на две улицы, Большую и Малую Никитскую, было огромное пустопорожнее место, на котором теперь выстроили еще два или три особенные дома. Подписав крепостной акт на продажу дома, тетка поручила мне выдать оный покупщику, получить от него деньги и внести их в московскую сохранную казну[374].

Осенью 1817 года из проданного дома переехали мы с тетушкой в небольшой, нанятый мною домик Василия Обрескова, почти рядом со Спиридоновской церковью. Весь этот грязный квартал назывался «Козьим болотом»,

или попросту «Козихой»[375], там был притон разврата, отчего и название улицы сочли непристойным и переименовали ее Спиридоновкой. В этот же год осенью выбрали меня в члены Английского клуба по предложению доброго нашего приятеля Иванова; я был юнейшим из всех членов этого почтенного собрания, пользовавшегося, особенно в провинции, великою известностью. Единственный черный шар на баллотировке меня в члены положен мне был двоюродным мне дядей по матери, Алексеем Андреевичем Кикиным[376], постоянным московским жителем, крупным игроком и ежедневным посетителем клуба. Испытав на себе все страстные увлечения карточной игры, он противился выбору в клуб 17-летнего юноши, и при первом моем появлении в клубе выразил открыто свое негодование. До того времени я бывал у него раз или два в год с праздничными визитами; меня пугала великосветская его и в то же время праздная жизнь игрока и еще более смущала своим кокетством и оригинальной живостью обращения хорошенькая его жена, урожденная Повало-Швейковская[377]; но, увидев меня в клубе кончающим свое образование, этот дядя заставил меня ездить к нему часто, а красивая его барыня успела победить мою дикость и привлечь своею любезностью. Решено было мною к концу 1817 года ехать в Кишинев, главный город Бессарабской области, чтобы там занять приготовленное мне место в гражданской канцелярии полномочного наместника Бахметева.

Выйти из университета кандидатом было невозможно за приостановкой всех экзаменов, и я начал свои объезды профессоров для испрошения у них аттестатов. Всегда отличавший меня Сандунов дал мне длинный, красноречивый отзыв о моих юридических сведениях и благословил на вступление в государственную службу, обещая великие успехи на этом поприще. Человек он был умный, а пророк вышел плохой. Профессор латинской словесности упрашивал меня никогда не оставлять древней литературы, и это не удалось. Все прочие, и особливо Мерзляков, Каченовский и со своим славянским языком Гаврилов, отзывались благосклонно, но вот что было у меня с Шлёцером. Он жил на Девичьем поле, во флигеле дома князя Щербатова, где теперь живет Погодин[378]. Лихо подвез меня к нему красивый мой кучер Михайло на великолепной паре. Какой-то пожилой человек сидел на крыльце; я с презрительной отвагой спросил у него: «Тут ли живет г-н Шлёцер?» Он смиренно ввел меня в первую комнату и оказался самим профессором. Во все три года был я у него всего раз пять, а потому и не узнал его, Шлёцер же и совсем меня не знал; начал справляться по своим листам и не находил моего имени. Он всегда был каким-то запуганным и с товарищами своими, и со студентами, и «не смея», как он выразился, обижать меня сомнением в посещении его лекций и знании его предмета, дал мне отличный аттестат. Честный человек был этот немец! Ободренный таким неожиданным успехом, отправился я за аттестатом к профессору физики Двигубскому, которого лекции посещал я

очень редко, а из физики его не знал ни аза; у него встретил я прием другого рода. «Я, любезный мой, тебя совсем не знаю». – «Извольте посмотреть в списках». – «На что мне списки? Приходи-ка завтра на лекцию, я тебя проэкзаменую». Дело плохо! Мне не хотелось оставаться без аттестата в физике, и я поднялся на штуки[379]; пошел в палаты казенных студентов, обратился к старшим и лучшим физико-математического факультета и просил у них совета и помощи. Они отвечали: «Приготовляться тебе к экзамену некогда, ты ведь ничего не знаешь, и как угадать, о чем он спросит? Садись на первой лавке с нами двумя, и мы тебе будем подсказывать». Не без страха вошел я на другой день в обширнейшую из всех наших аудиторий и сел между двумя покровителями. Перед кафедрой на длинном столе стояли какие-то банки стеклянные; покровители сказали мне, что это лейденские[380]. Профессор, усевшись, вызвал меня и начал расспрашивать именно об этих лейденских банках; я мог ему отвечать только о банках с вареньем и очень смутно, сбивчиво, бестолково и несвязно повторял слова, которые мне на ухо повторяли мои покровители. «Да ты, мой друг, ровно ничего не знаешь и не можешь отвечать, хоть тебе и подсказывают; стань-ка перед столом и объясни мне самый простой опыт, как заряжают эти банки?» Я подошел к столу... «Ну, что же?» Тут слышно было одно молчание. Молоденькие студентики начали смеяться, и профессор решительно объявил, что аттестата мне никакого не будет и чтобы я удалился. Мне стыдно было выйти после такого поражения, и я, подходя к выходной двери, надел шляпу и громко сказал: «Да мне аттестата вашего и не нужно, у меня и без него много». Подобная выходка чуть-чуть не оставила меня совсем без аттестата. Покровительствовавшие мне профессора вступились за меня у ректора Антонского, и сей великий муж, такой же невежда-профессор по всем предметам, каким я был в физике, уговорил Двигубского дать мне и от себя аттестат. Антонский читал, но очень редко, и то оставаясь на кафедре по четверти часа, «Сельское хозяйство» и какую-то «Энциклопедию» и решительно не смыслил ничего в этих двух науках, если они науки, но им дорожили, как главным директором Университетского благородного пансиона, в котором под его великим руководством воспиталось и образовалось несколько поколений, как-то: Блудов, Дашков, Жуковский, братья Тургеневы, князь Одоевский, Шевырев, Титов и так далее.

Итак, я с аттестатом и в хлопотах и в сборах на пути в Бессарабию, жду только писем к Бахметеву от Обрескова и сестры его Николевой. Разумеется, как и всегда, некоторые из моих близких знакомых одобряют выбранный мною род службы, другие же находят, что я напрасно забираюсь в такую даль. В числе последних новый мой дядя Кикин, любивший покровительствовать и при всяком удобном случае проповедовать высокую нравственность и всякую добродетель[381], восстал против моей поездки и намерения служить у Бахметева. Он с обычным своим жаром, часто доводившим его до какого-то

исступления, говорил мне сперва наедине, а потом и при своей жене и, наконец, при своих гостях, что мне в мои лета и в моем довольно независимом во всех отношениях положении непристойно и постыдно пользоваться покровительством приятельницы моего дяди[382]. Я, несмотря на свойственное мне равнодушие ко многому, отчасти находил его слова справедливыми, тем более, что некоторые из присутствовавших при его мне советах держались его мнения. Кикин хотел непременно настоять и раза два вопрос о моей службе ставил он за картами, между двумя партиями, предметом разговора в кружке клубских своих приятелей.

В это время в Москву ожидали прибытия государя с двумя императрицами[383] и другими членами императорской фамилии. С государем должен был приехать не на долгое время статс-секретарь комиссии прошений Петр Андреевич Кикин, брат московского. «Ступай лучше служить к брату, – говорил мне Алексей Андреевич, – это будет честнее». Наконец убедился и я, что это будет честнее, написал дяде и Николевой о сделанном мне новом предложении и получил от них разрешение.

* * *

В октябре весь двор переселился из Петербурга в Москву на целую зиму, и меня перевели из канцелярии московского гражданского губернатора, где я числился на службе, в канцелярию статс-секретаря у принятия прошений на Высочайшее имя. Из многочисленной этой канцелярии только трое чиновников приехали в Москву со статс-секретарем. Старшим был коллежский советник Дьяков, покровительствуемый известным в кругу набожных людей дядей архимандритом Ростовского монастыря отцом Амфилохием[384]. Этот чиновник в начале царствования Николая Павловича подвергся справедливой опале. Его уличили во взяточничестве, и только участию благочестивой Анны Алексеевны Орловой[385] обязан он тем, что его не сослали на поселение. Николай Иванович Бахтин, впоследствии государственный секретарь, а потом и член Государственного совета, и А.Л. Гофман[386], не менее впоследствии важный сановник, были новыми моими товарищами по службе. Они были немногими годами меня старше и в таком же, как и я, ничтожном первоначальном чине[387]. Наша канцелярия помещалась на Кисловке, в огромном зале нижнего этажа дома Ланге[388]; в ней в два приемные дня в неделю становилось тесно от множества просителей. Всего более приходило с просьбами на высочайшее имя о помощи после московского разорения; таких просителей обращали мы в нарочно образованный комитет для разоренных под председательском бывшего министра юстиции поэта Ивана Ивановича Дмитриева. Просьбы на имя государя по тяжебным делам отсылали в Петербург для производства и доклада общему присутствию комиссии прошений. Прошения особенной

важности, представляемые статс-секретарю в пакетах с надписью: «В собственные его императорского величества руки», представлялись лично Кикиным государю и большею частью переходили от его величества к графу Аракчееву. Наш начальник имел каждую неделю у государя свой доклад. По множеству получаемых просьб в пакетах без надписи «В собственные руки» все мы трое, Бахтин, Гофман и я, их распечатывали и прочитывали, надписывая на каждой бумаге предмет прошения. Раз в этой огромной куче попадается нам уже распечатанное – кем, мы и сами не знаем – частное письмо к государю от герцогини Виртембергской, жены герцога Александра, прозванного Шишкой[389], брата вдовствующей императрицы Марии Феодоровны; в нем царская тетка жаловалась на своего мужа и просила от него защиты у государя. Все мы трое очень перепугались и тотчас же поехали к статс-секретарю с повинной головой. Он на нас пошумел, приказал вперед быть осмотрительнее при распечатывании пакетов и, взяв на себя всю нашу вину, поехал тотчас же к государю с весьма неприятным объяснением. Все кончилось строжайшим выговором московскому почт-директору, который чуть не лишился места за то, что он не умел различить частного письма от официальных просьб и бумаг. В другой раз в приемный день статс-секретаря, еще до его приезда, обратилась ко мне одна средневековая дама (так я называю их от 40 до 50 лет) с просьбой в руках и объяснила, что она желает быть пожалована в фрейлины. «Позвольте узнать, милостивая государыня, ваше имя». – «Я, батюшка, вдова заслуженного генерал-лейтенанта» (имени дамы не упомню). «Да как же, – отвечал я, – вдову сделать фрейлиной?» – «Ну уж это не ваше дело, а вы только пустите меня первую, когда прибудет его превосходительство». Я доложил Петру Андреевичу и поставил ее впереди всех. Стаст-секретарь изъяснил ей, что никакое самодержавие не способно совершить такого чуда[390]. «На милость образца нет! Не в пример другим, а вы только доложите». Кикин, конечно, подобное затейливое прошение доложил государю при первом его докладе. Его Величество изволили смеяться и утешили просительницу каким-то подарком.

Или я был слишком в то время молод, или действительно не встречалось никакого важного дела в нашей московской канцелярии, только из всего этого времени, кроме этих мелочей, никакого другого служебного случая в памяти моей не осталось.

С Кикиным была жена его Марья Ардалионовна, урожденная Тарсукова[391]. Она была очень умна, мила, образованна, чрезвычайно оригинальна, ничем не походила на всех московских и даже петербургских барынь. Детство провела она у своей бабушки Перекусихиной во дворце и ежедневно видала императрицу Екатерину II. Все в ней мне особенно нравилось: ее речь, ее независимый образ мыслей, ее туалет, который отличался каким-то изящным удобством и практичностью. Мало встречал я женщин, которых так искренно

и глубоко уважал. В ней было много серьезного и ни капли педантства: никогда не хотела она быть фрейлиной и несколько раз отказывалась от шифра[392]. Однажды она сообщила мне довольно забавное происшествие, случившееся с ней в первой ее юности; записываю, как живой рассказ, характеризующий времена императора Павла. Лет четырнадцати проходила она, гуляя со своей англичанкой, мимо памятника Петра Великого, у которого был постоянный сторож, чтобы не допускать тогдашних шалунов наклеивать на памятник ругательные афишки. Бывшая с ними моська от них отбежала, и молоденькая Тарсукова начала ее звать; громкий оклик сторожа заставил вздрогнуть гуляющих. «Какое слово ты это сказала?» – «Я ничего-с, – отвечала девочка, – я зову к себе мою моську».— «Как ты смеешь! Моську! Знаешь ли, кто у нас моська?» И тут схватил ее за руку, чтобы вести в полицию. На эту сцену подошли посторонние, и кто-то из них уговорил чересчур проницательного сторожа отпустить на свободу гуляющих. Английская гувернантка долго не могла понять негодования полицейского сторожа, до нее не доходило, что император Павел преследовал мосек и не мог терпеть этого слова.

Мой начальник, ее муж, обращался со мною добродушно, родственно, но, угрюмый[393], скорее выгонял молодых своих чиновников из дома, чем привлекал их. Добрая и ласковая его жена заставляла меня бывать у них часто, и когда ей некогда бывало со мной поговорить, то я за обедом и после хлопал только глазами и молчал. Совсем другое в доме другого брата; там Анна Константиновна, хорошенькая и бойкая, любила заниматься мужчинами и в отсутствии взрослых не пренебрегала и юношами. Она объявила, что берет меня под особенное покровительство, и обещалась непременно меня оболванить, уничтожить всю мою робость, равнодушие и даже какую-то открытую ею во мне мизантропию. Все бы это ей непременно удалось, ибо я начинал поддаваться[394]. Только что было начал я развертываться для моей общественной московской жизни после трехлетней университетской жизни, только что было я заговорил, хотя и довольно плохо, на французском языке под образовательным водительством сего умного московского существа Анны Константиновны, как внезапная смерть дяди Обрескова от паралича заставила меня в начале весьма холодной зимы, 6-го декабря, выехать из Москвы в Симбирск, чтобы навестить тамошних теток, а паче кузин.

В этом городе и в его широком провинциальном обществе провел я более месяца. В эту поездку ездил со мной меньшой из двоюродных моих братьев, армейский гусарский корнет Александр Обресков[395]. Он имел все дурные навыки тогдашних гусарских офицеров, любил выпить, пошуметь, а подчас и заушить[396] станционного смотрителя, и считал необходимой обязанностью бить на каждой станции ямщика, как бы тот скоро ни ехал. Все это пьянство, все эти буйные выходки, бывшие тогда в наших нравах, мне опротивели, и я дал себе слово никогда не выходить из пределов приличия, даже и в

дороге, и не злоупотреблять бараньим терпением забитого нашего народа. Как я ни уговаривал моего буйного спутника воздерживаться от водки и от драки, все мои увещания были напрасны. На половине дороги нам надобно было заехать верст 20 в сторону к нашему деду, Нилу Федоровичу Ермолову, родному брату нашей бабки Обресковой; дорога была узкая, со снежными сугробами, и почтовые наши лошади стали. Пришлось переменить их в одном казенном селении. Староста или голова этой деревни требовал от нас вида или предъявления права брать по дороге обывательских лошадей; братец мой избил его; пришел писарь и потребовал подорожной; братец мой избил и писаря и показал ему мой за печатью на гербовой бумаге отпуск, в котором, конечно, не было ни одного слова об обывательских лошадях. Писарю вздумалось было потребовать прочитать мой отпуск, и за такое упрямое сопротивление посыпались на него удары гусара и его крепостного человека; толпа, стоявшая у нашей кибитки без шапок, перепугалась и поверила, что они, сопротивляясь нам, делаются ослушниками царского повеления, и великолепная ямская тройка с первым ездоком в селении была запряжена в нашу повозку; ямщик, видя всю страшную грозу, валялся в ногах и просил, чтобы его не обидели прогонами; но и такой успех самоуправства не мог прельстить меня. Старый наш дедушка, в затасканном халате, в колпаке, окруженный зрелыми двумя дочками, принял нас очень милостиво, рассказывал о какой-то своей курьерской поездке в первых годах царствования Екатерины, накормил жирными щами и другими сытными русскими яствами, упоил крепкими домашними наливками, уложил спать в жаркой, как баня, комнате, а с рассветом отправил на своих лошадях до следующей на почтовой дороге станции. Тут опять последовало происшествие, оставшееся у меня в памяти. К станции Шарапово подъехали мы часу в четвертом после обеда, когда уже начало смеркаться. Смиренный смотритель, видя птицу по полету и ожидая себе от непроспавшегося гусара обычных угощений, всеуниженно доложил нам, что начинается метель и что лучше будет обождать. Мне удалось уговорить братца не наказывать смотрителя за такой, по его мнению, дерзкий ответ, но я не мог уговорить его принять совет смотрителя. Мы поехали, сбились с дороги и, выехав в 5 часу со станции, воротились к полуночи к тому же смотрителю, и то еще – слава Богу: в этих степях и в такие метели со страшными морозами немудрено было и замерзнуть.

В Симбирске нашел я в сборе все тамошнее аристократическое население; во главе его был другой Ермолов, А.Ф., губернский предводитель, только что произведенный под 80 лет по ходатайству родного племянника своего Кикина в превосходительный чин действительного статского советника. К нему, как к старшему в обществе, собиралось оно все по воскресеньям и праздничным дням; большая половина гостей состояла из разных Ермоловых по имени или по женскому колену; ко всем этим барыням и барышням без различия

надобно было подходить к ручке, а с родственными мужчинами целоваться непременно по два раза. Я обязан был исполнять этот обычай по требованию Марьи Васильевны и начинать целования с руки деда. Однажды, не то в Рождество, не то в Новый год, я, усталый от длинного обеда, пошел было домой, не исполнив обряда прощанья, потому что должен был воротиться туда же на вечер, но посланный за мною слуга воротил меня с дороги и, получив от деда замечание: «Ты, любезный, уходишь из гостей по-французски, да еще от деда; это у нас не водится», я должен был опять совершить всецелование. Простодушная бабушка, жена хозяина, не носившая никогда чепцов, а повязанная платочком, как попадьи и купчихи, прибавила и от себя словцо мне в укор: «Вы, мои голубчики, мышиные жеребчики». – «Как, бабушка, что такое?» – «Да так, батюшка, – все вы модники». После смерти дяди между моей бойкой теткой Марьей Васильевной и его приятельницей Николевой водворилось совершенное согласие: они искренно помирились и сделались друзьями. Резкостью и правдивостью своего характера, добродушною готовностью быть полезной и приятной всему обществу Марья Васильевна усвоила себе первую роль в симбирском обществе; Николева же нравилась всем своим любезным умом, мастерством играть в коммерческие игры и музыкальным замечательным талантом на фортепиано. Обе двоюродные мои сестры, старшая, Наталья, живая, умная, кокетничала со всеми мужчинами, за исключением только тех, которые разевали свои рты для одной водки и трубки, и играла в самую тесную дружбу со мной; меньшая, Варенька, за полгода вышедшая из института, была прехорошенькая, белокурая, с голубыми глазами и восхищала всех своим премилым пением: у нее был симпатичный небольшой контральто, которым она искусно владела по методе, приобретенной ею от лучших учителей пения в петербургском институте. Те же самые симбирские герои этого времени, Аржевитинов и Репьев, задавали тон губернскому обществу и обращали на себя внимание его дам. Между последними была очень красивая девица Сушкова и старшая ее сестра, о которых упомянуто было в недавно напечатанных очень любопытных и весьма нескромных записках Хвостовой[397].

До сих пор, говоря о Симбирске и его обществе, выставил я одну лицевую и казовую сторону, а вот его и изнанка. На самом красивом месте во всем городе, на возвышенности над Волгой, на так называемом Венце, стояли предлинные хоромы, изуродованные разными пристройками; они принадлежали начальнику тамошней удельной конторы[398]. Этот господин был тип всякого безобразия, а дом его – вместилище нравственной и всякой другой грязи. Все было растрепано и в лохмотьях, начиная с головы и халата хозяина, его детей и многочисленных обоего пола челядинцев. Он был с раннего утра в полупьяном положении, а каждый вечер напивался до положения риз, и, несмотря на то, как человек, по рождению и по жениным и своим связям при-

надлежавший лучшему тамошнему обществу, и как чиновник, сам по себе не бедный и обогащавший себя крупными взятками, изредка собирал он лучшее общество, и раза два случилось мне обедать со многими другими за его грязным и во всех отношениях гадким столом. На его беду и на беду его гостей он был членом симбирской масонской ложи и имел в ней какое-то почетное звание; это обязывало его почему-то приходить в неистовый религиозный и филантропический жар и бесстыдно проповедовать пьяным голосом какие-то восторженные нелепицы. Не думаю, чтобы в настоящее время можно было еще где-нибудь встретить в нашей dura patria* подобную отвратительную личность, которой, однако, никто не гнушался[399]. Впрочем, много прощалось ему по жалости родных к его жене и детям и из уважения к его скромному, честному и заслуженному брату[400], отставному флотскому капитану, который еще при Екатерине заслужил Георгиевский крест за отличие в Чесменской битве, истребившей турецкий флот.

Что бы еще сказать мне в моих «Записках» о Симбирске? Мудрено распространить рассказ о городе, в котором ели, пили, спали и играли, где не было никакого движения, ни театра, ни концертов, ни даже книжной лавки. Говорят, был там один образованный дом, родственный Тургеневу, инженер-генерала Ивашева, но этой семьи, из которой впоследствии вышел один декабрист и в которую женитьбой вошел внучатный мой брат и приятель, Петр Языков[401], в то время в городе не было. Сонный Симбирск был во всем похож на все те губернские города, которых портрет одним разом для всех выставил Гоголь в своих «Мертвых душах»; его не успел еще тогда восставить от сна недавно присланный туда губернатором знаменитый Магницкий[402]. Имя этого сподвижника Сперанского, разделявшего с ним все труды по образованию министерств и Государственного совета и подвергшегося опале и ссылке в начале 1812 года вместе со своим покровителем, часто встречается в нашей литературе последнего времени, и потому я ненадолго остановлюсь на его биографии. Молодым человеком был он секретарем нашего посольства в Париже, и, как передавала мне родственница Магницких Голохвастова, будучи весьма красивым мужчиной, имел там большой успех и нравился императрице Иозефине[403]. В это время считался он вольнодумцем и последователем Вольтера[404]. Сближение со Сперанским сделало из него масона или мартиниста, вернее сказать – мистика. Когда император Александр, уступая общей ненависти к Сперанскому всего дворянства, а может быть, и по личному против него неудовольствию, сослал его в Пермь, Магницкого отправили в тот же день в Вологду. Ссылка этих двух лиц произвела весьма сильное впечатление на всю Россию и до сих пор еще не разгадана. Кстати, записываю здесь недавно переданное мне в Париже нашим ориенталистом Ханыковым[405] совершенно

* суровой отчизне (*лат.*).

новое объяснение ссылки Сперанского. Тогдашний министр полиции Балашев[406], один из самых враждебных лиц Сперанскому, перехватил какую-то и к кому-то его записку на французском языке, в которой Сперанский называл императора Александра, отправившегося осматривать крепости, «notre veau blanc est allé inspecter les forteresses»* употребив дерзкую игру слов в непристойном сравнении государя с Vauban'ом[407] известным строителем французских крепостей времен Людовика XIV. Перехваченная ругательная записка представлена была государю, который не мог не видеть в этом поступке не только оскорбления своему сану, но и подлой измены дружбе, потому что Сперанского считал своим другом. Помнящие наружность государя поймут, что тут была злая насмешка на красоту его лица. После нескольких лет ссылки Магницкому дали место вице-губернатора, кажется, в Воронеже и потом перевели губернатором в 1817 году в Симбирск. Он вел там очень скромную жизнь, так редко являлся в обществе, что мне ни разу не удалось встретиться с ним в симбирских гостиных, но не замедлил высказаться одною весьма странною выходкой. У какого-то богатого подгородного симбиряка[408] взбунтовались, как обыкновенно говорилось тогда, крестьяне, Магницкий, вопреки обычаю, сам поехал в это имение для произведения следствия и принял сторону крестьян против помещика. В городе рассказывали, что он нашел в этом имении тяжелые железные цепи, которыми сковывал своих крепостных помещик, и затем посылал в цепях провинившихся на работы; Магницкий, облегчив участь угнетенных крестьян, пригласил священника совершить какое-то молебное пение, крестным ходом пошел со всем народом на берег Волги, и цепи, орудия истязания, по приказанию его были погружены в реку в то самое время, когда дьякон возгласил царское многолетие. По приезде моем в Симбирск строго соблюдавшая всякое чинопочитание моя тетушка приказала мне явиться к начальнику города. Он принял меня прилично, но, конечно, всякий другой губернатор из так называемого порядочного общества был бы учтивее ко всякому молодому человеку, имеющему связи в его губернии, а губернатор из чиновников принял бы меня гораздо внимательнее, нежели это сделал Магницкий, потому что я сам был уже чиновником, хотя и мелким, в канцелярии одного из самых близких к государю статс-секретарей. В первый день нового года был я при открытии Симбирского отделения Российского библейского общества[409], в котором председательствовал Магницкий и первым членом был, кажется, архиерей. С редким ораторским искусством Магницкий произнес свою увлекательную речь при этом открытии; тогда еще так были живы все воспоминания освобождения Европы и память о нашем спасении от врагов; Магницкий с религиозною восторженностью и, кажется, весьма искреннею, говорил о кротком победителе властолюбивого

---

* «наш белый теленок отправился осматривать крепости» (*фр.*).

Наполеона, который сам все им совершенное относил к воле Благого о нем и его народе Промышления, считая себя смиренным исполнителем судеб Провидения. Весь этот поход двенадцатого и последующих годов Магницкий называл крестовым; но в речи своей не забыл он и древней России, и еще помню восторженные его о ней слова, которые советую славянофилам украсть для себя. «Искони, – провозгласил он, – искони называлась она Русь святая, цари ее – благочестивыми, воинство – христолюбивым, народ православным». Одним словом, подобного между губернаторами витии, кроме разве Сперанского, конечно, в то время не было, да мудрено найти и теперь. В современных журнальных статьях часто встречаем мы имя Магницкого; дипломат и вольтерианец, с первых времен крайне мистического направления, он предавался ему под влиянием князя Голицына[410], сделался изувером и гонителем всякого просвещения, как в звании члена главного управления училищ, так и в звании попечителя Казанского учебного округа, потом предался Аракчееву, более всех участвовал в свержении прежнего своего начальника – мистика и, наконец, как неисправимый явный доносчик был сослан императором Николаем в Одессу, где кончил свои дни в изгнании и бедности. Имя его предано анафеме юным нашим поколением, а между тем один искренно благочестивый из наших писателей, лично известный мне, как человек ученый и искренно религиозный написал несколько страниц, исполненных выражения глубокого уважения к памяти сего отверженного в новейшее время человека: Стурдза[411] был и оставался всегда его другом.

За несколько месяцев до поездки моей в Симбирск был я и на открытии московского Библейского общества; тамошние речи мною забыты, помню только одно чтение отчетов главного российского общества секретарем оного Александром Ивановичем Тургеневым[412], на которого я с подобающим любопытством глядел в первый раз. В это время в Москве набирали всех и каждого в члены общества, особенно покровительствуемого императором; записали в него и меня и, как с податливого в то время мальчика, взяли сторублевую ассигнацию. Не могло обойтись без того, чтобы меня, как богатого, по преувеличенной молве, юношу, не эксплуатировали, т.е. разработывали на всякую потребу. Так поступили и московские вельможи, старшины благородного собрания, взяв с меня, по собственному их указанию, 200 рублей для угощения императорской фамилии балом и ужином, а меня, бедного богатого, не пригласили даже и поужинать. И старший мой двоюродный братец, сделавшись полицмейстером, по дружеской со мной связи вздумал было убедить меня давать роскошные обеды моим, а еще более своим собственным знакомым. Раза два я уступил его неотступным просьбам, но, увидав счета повара и погребщика Депре[413], решительно отказался от подобных угощений

и возненавидел всех настоящих и будущих эксплуататоров моего кошелька. С этих-то самых пор я всего более боялся быть обманутым подобными невинными средствами, devenir dupe des personnes qui ne passent pas encore pour des fripons*.

* * *

В середине зимы возвратился я в Москву к моим бездельным канцелярским занятиям, а в марте вместе со всеми чиновниками канцелярии получил предписание отправиться в Петербург и явиться к действительному статскому советнику Соколову[414], управлявшему в отсутствие Кикина канцелярией комиссии прошений.

В последний год пребывания моего в Москве до отъезда в Петербург на службу, а именно в один из осенних месяцев 1817 и зимних 1818 гг., совершались в присутствии пребывавшей там императорской фамилии два великих торжества. Первого я был свидетелем.

На обширной Ивановской площади[415] в самой середине пространства, заключенного между въездом в Иверские ворота, Казанским собором (воздвигнутым князем Пожарским в память освобождения Москвы в 1612 г. от поляков; они вышли из нее 22 окт., в день Казанской иконы Божией Матери) и церковью Покрова на Рву, известной больше под названием Василия Блаженного**, против Кремлевской стены возвышался закрытый со всех сторон досками памятник Минину и Пожарскому. С самого раннего утра толпы народа скучивались на этой площади, половина которой перед памятником оставлена была для размещения той части гвардии, которая пришла с государем в Москву. Император Александр принял команду над войском,

---

* быть одураченным лицами, которые еще не числятся плутами (*фр.*).

** Церковь Василия Блаженного до 1815 г. была до того застроена сплошными довольно высокими строениями, что из всей этой узорчатой и оригинальной группы восточно-индийского зодчества виднелась одна только ее голова и колокольня. Никто, кажется, из обывателей московских не любовался ею; мне решительно она была неизвестна. Когда император Александр в 1815 г. был в Лондоне, ему представлен был рисунок этой церкви, сделанный каким-то английским путешественником. Государь обратил тотчас просвещенное свое внимание на такой памятник зодчества, никому не ведомо возвышающийся в древней столице, и велел немедленно очистить это здание от всех загромождавших его строений, что уже и было исполнено ко дню открытия памятника Минину и Пожарскому. Впоследствии сделали еще лучше: очистили и самый съезд к Москворецкому мосту и окружили одну сторону церкви стеной до ее подошвы. Церковь эта была построена по приказанию Иоанна Грозного каким-то итальянским архитектором. Московское предание гласит о ней, будто бы царь так был счастлив, что в его столице и в память славного его подвига, взятия Казанского царства, воздвигнут был такой преузорочный, нигде не бывалый храм, что тотчас же повелел архитектору выколоть глаза, дабы он нигде уже не мог создать что-нибудь подобное. Конечно, это басня, но в ней выражается верное понятие русского народа о высоких качествах одного из своих великих государей (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

отдал честь следовавшим в золотых придворных каретах императрицам, вдовствующей и царствующей, и когда их экипажи поравнялись с памятником, дощатая завеса распалась, и гражданин Минин предстоящий, а князь Пожарский воссидящий предстали пораженному или не пораженному величием предмета взору публики. Потом, по заведенному всегда обычаю, войско проходило церемониальным маршем перед памятником, императрицами и государем, отдавало честь, и тем все и покончилось. Не вдруг стала понятна всем тайно-либеральная мысль тогдашнего времени, и не сейчас по открытии памятника сделалась она предметом толков и суждений; рано ли, поздно ли, однако, догадались, что в надписи на памятнике гражданин (собственно говоря, мясник) Минин выставлен был первым, а князь Пожарский, Рюрикович, поставлен вторым, да и самое слово гражданин так приятно первый раз коснулось русского уха. Таким свободолюбивым первенством всего более потешалась тетка моя Марья Васильевна Обрескова, гордившаяся, особливо с тех пор, происхождением своим по женскому колену от рода Мининых. Она набожно хранила у себя старинный образ хорошего письма Иоанна Предтечи, с двумя на нем надписями: «Моление Кузьмы Минина» и вторая «Моление Михаила Минина», и завещала его мне. Минин[416], теперешний тульский губернский предводитель, считающий себя потомком знаменитого Кузьмы Минина-Сухорукова, пытался было оттягать у меня этот древний образ, но я не поддался, допустив его только приложиться. Но видно, нет ничего на свете верного. Ученый археолог Мельников[417], долго живший в Нижнем Новгороде, доказывал мне, что теперешние Минины подделались под родство знаменитого человека, а деньгами и протекцией добились при Екатерине того, что получили утвержденную им на то грамоту[418], ибо, по словам Мельникова, Кузьма Минин и сын брата его Михаила потомства после себя не оставили. Такое же разочарование последовало и с историческим преданием о моем мининском образе. Знаток в иконописи пожилой раскольник, рекомендованный мне покойным князем Одоевским, подробно осматривал мою икону со всех сторон и утвердил, что она письма гораздо позднейшего. Хорошо и то, что моя родолюбивая тетушка не дожила до собрания мной сих разрушительных сведений[419].

Открытие памятника видел я и смотрел на него из одной лавки второго этажа в Гостинном дворе вместе с семейством Кикиных и гораздо более поражен был великолепием завтрака, предложенного нам хозяином лавки, чем великолепием самого торжества.

Соображая подробности его с позднейшими в том же роде торжествами, замечу для современников, что никаких духовных процессий тут не последовало, что панихиды никакой не было, как происходило это при открытии карамзинской Клио на площади города Симбирска, и что медных изваяний святой водой не кропили, как то было и последовало с той же Клио и статуей

в Дерпте лютеранина Барклая де Толли[420], которого и в живых суща, как еретика, кропить не подобало.

Другим событием того же времени была торжественная закладка на Воробьевых горах храма Спасителя[421] в память освобождения Москвы от нашествия галлов и с ними двадесяти язык. О предположенном еще задолго сооружении в Москве сего храма было возвещено во время похода 1813 года из чужих краев императором Александром особенным манифестом, принадлежащим перу витиеватого государственного секретаря Шишкова. Из весьма многих проектов этого здания, представленных разными архитекторами, государь одобрил план архитектора Витберга[422], поражавший необыкновенною смелостью художественной мысли и таинственностью мистического ее значения. Несмотря на то, что люди опыта и науки при первом взгляде на этот план предвидели уже невозможность его исполнения и что он подвергался как в целом, так и во всех своих частях самой строгой, беспощадной критике, приняты были чрезвычайные меры к возведению этого храма, памятника нашей беспредельной благодарности за освобождение отечества и вместе памятника беспримерного смирения императора Александра, который во всех случаях торжественно и столько же искренно относил и все свои победы и всю свою славу не мирским, земным успехам, но всеблагому о нем и о земле его Промыслу.

И се, приникнувши Престола к ступеням,
Во прах пред Божеством свою бросает славу.
О Вечный, осени смиренного Державу!
Его душа чиста, в ней благость лишь одна,
Лишь пламенем к добру она воспалена.

Жуковский. «Посл[ание] к имп. Александру»

«Не нам, не нам, но имени Твоему», – повторял каждый раз государь в торжественных воззваниях своих к народу, и эти самые слова повелел изобразить на знаках отличия[423], розданных им подвижникам отечественной войны.

Увлекаемый христианским своим настроением, государь издал указ о приобретении покупкою в казну до 25 000 душ крепостных помещичьих крестьян с тем, чтобы они вместе с принадлежащими им землями поступили в ведомство комиссии строения храма Спасителя и высылали бы от себя ежегодно по строению разных мастеровых: каменщиков, плотников, кирпичников и т.д., и их бы от урожаев со своих полей продовольствовали. Само собой разумеется, что по окончании постройки все это население освобождалось и приобретало в свою пользу все эти земли. Любимец государя мистик князь Александр Николаевич Голицын первый продал в комиссию свои недвижимые имения и между ними одно известное мне весьма значительное, между Новосилем и Сетухою, село Белые Вежи.

Все здание храма предполагалось тричастное, у самой подошвы горы за Москвой-рекой, немного правее по ее течению против Новодевичьего монастыря, стоящего на другом берегу, в самой горе или предгории. Это огромнейших размеров здание начиналось уже церковью во имя сошествия Христа во ад; над ней сооружался храм Рождества Спасителя, а еще выше второго должен был возвышаться храм Воскресения. Вся вышина от подошвы первого храма до купола должна была превосходить не одним десятком сажен храм св. Петра в Риме. Таков был проект, коему не было исполнения. Денег на первоначальные работы и закупки, не говоря уже о покупке имений, брошено было не одна сотня тысяч рублей; начались подозрения, более или менее основательные, в кражах, весь проект был брошен, и суровой долгой опале раздраженного государя подвергся сам увлеченный своею мечтательностью художник Витберг, нисколько не виноватый, по уверению современников, в лихоимстве, но, конечно, не совсем правый в обольщении себя и других несбыточностью своей художественной мысли, которая обошлась нашим финансам так дорого.

Конечно, торжество закладки не могло омрачаться никакими темными мыслями. Все и всё, начиная с главного виновника торжества, умилительно ликовало, молилось, благодарило и воспевало победную песнь. Через узенькую, невзрачную нашу речку наведен был пристойный, по возможности, плавучий мост с приличными украшениями. Все московское духовенство тянулось через него в своем белом торжественном облачении; за этим рядом шли находившиеся в Москве иерархи, между коими первенствовал архиепископ московский, любимец Платона, златоустый в нарочитых подобных случаях Августин. Император с непокровенной головой шествовал непосредственно за архипастырем, имея о страну себе обеих императриц, далее другие члены императорского дома, придворные, свита и т.д.

По странному случаю, которого я себе удовлетворительно объяснить не мог или, лучше сказать, объяснял для себя весьма неудовлетворительно, семья Кикиных на этот раз пригласила меня быть ходячим зрителем такой чрезвычайной прогулки, уверяя, что я сделаю ее вместе с ними, не теснясь нисколько, и увижу все, что только можно видеть. Я от похода отказался, удовольствовавшись тем, что поглядел на него с полчаса времени от ограды Зачатиевского монастыря[424], но приглашавшая семья видела все до мельчайших подробностей, и это было немудрено: она сама участвовала в процессии.

Случилось это так. В начале 1813 года состоявший при главной квартире П.А. Кикин во время короткого перемирия послан был государем в Прагу осмотреть наши военные госпитали и донести о их состоянии. На досуге от такого поручения, в порывах торжественного своего умиления и благодарности к Промыслу за ниспосланные нам победы, которые, как видно, были никем не ожиданны, он излил свои чувства в письме к приятелю своему

Александру Семеновичу Шишкову и сообщил ему мысль «увековечить наше избавление и уже начавшееся освобождение Германии сооружением в Москве благодарственного храма». Шишков поспешил представить это письмо государю, и, таким образом, первая мысль о храме принадлежит бесспорно Петру Андреевичу Кикину. Все это прекрасно, но все это, по моему мнению, долженствовало храниться как предание в семье и отнюдь не выходить на улицу; ничуть не бывало! Рядом с П.А., честным, благородным, прямым и нисколько не заносчивым, стоял старший брат его Алексей, богатый, разоряющийся, малочиновный, а потому и чванный и древностью своего рода, и значением своего брата. В эту осень для свидания с сыном Петром приехала старушка их мать, вдова Марья Федоровна, родная сестра моей бабки по матери, Обресковой. Она была неглупа, набожна и во всех своих действиях чрезвычайно скромна. Ей предложили поглядеть процессию; она, конечно, охотно согласилась, ничего в этом для себя не подозревая, но старший сынок неожиданно и почти внезапно устроил из матушки своей выставку. Разными тайными ходами через второстепенных придворных дошло до Петра Андреевича приглашение вести им обоим под руку свою матушку в торжественном ходе вслед за императорской фамилией, в ряду со статс-дамами и грузинскими царицами, царевнами и царевичами[425]. Старушка Кикина меня очень любила и, узнав о предстоящем ей значении в ходу, очень на это распоряжение мне жаловалась и кротко на него сердилась. Уложив ее рано спать в ожидании утреннего подвига, я остался наедине с Анной Константиновной, женой старшего брата Кикина, остроумной и кокетливой. Мы, конечно, вдвоем зло смеялись над всеми этими проделками и дали друг другу слово в этом семейном торжестве не участвовать; вот почему я и не был на закладке неудавшегося храма Спасителя[426].

* * *

Теперь расскажу о переезде моем в Петербург и вступлении в действительную службу. В это время было мне более 18 лет; вынесенные мною из университета познания были очень скудны, их нельзя даже называть поверхностными; много было отраслей человеческого знания, о которых я не имел ни малейшего понятия. Мне, напр., совершенно недоступна была вся математика; естественная история была для меня terra incognita*, да и самая всеобщая история и даже отечественная коснулись меня слегка. Историю своей литературы я знал порядочно, французскую изрядно, немецкая, английская и итальянская для меня не существовали. В отношении к общественной жизни главный, убийственный мой недостаток были очень плохое знание

---

* неизвестная земля (*лат.*).

разговорного французского языка и почти решительное неумение танцевать. Последнему искусству после несчастных уроков в университете у Мореля учился я у знаменитого тогдашнего танцмейстера Гогеля[427], товарищами моими в его танцклассе были университетские мои приятели Голохвастов, Дмитриев и Новиков, и – увы! – ни один из нас не уразумел этой премудрости. Неумение изъясняться на модном языке и неспособность к танцам мешали мне в Москве, а в Петербурге сделались причиною того, что я никак не мог решиться представиться не только в высшее, но даже в какое бы то ни было общество. Я бегал, как от чумы, от каждого дома, в котором мог почему-нибудь предугадывать, что там, хоть изредка, танцуют. Неудавшаяся мне единственная попытка в танцах в Москве, и то невольная, представляла мне всякий бал, всякий танцевальный вечер пугалом. В 1817 или [18]18 г. в Москве существовало Купеческое собрание[428], в которое никогда не допускались ни дворяне, ни чиновники, во избежание разных господ военных, которые когда-то производили там страшный скандал, но в виде исключения старшины предоставляли московскому генерал-губернатору два почетные билета для его штаба. Обер-полицеймейстер Обресков снабдил меня таким билетом на один вечер, и я, расфранченный, туда отправился. Дежурный старшина почел своею обязанностью, как с почетным посетителем, быть со мной особенно учтивым; на ответ мой, что я не танцую за неимением знакомых, представил мне, а не меня, свою хорошенькую дочку. Нечего было делать, я пригласил ее на экосез, самый легкий для неумеющего тогдашний танец; меня для почета поставили в первую пару, и мне было чрезвычайно трудно кончить эту экосезную прогулку, которую я перепутал, к великому удовольствию танцующих купчиков, не любивших почетных на своих балах посетителей.

Но отсутствие во мне научных знаний, недостаток светской ловкости и происходившие от того дикость и отчуждение от общества не препятствовали мне приобресть весьма достаточную, а может быть, излишнюю для моего возраста, жизненную опытность, она-то и сделала меня слишком рано недоверчивым ко всем людям и в то же время, по законам логики, эгоистом и вооружила против всех и каждого свойственной всем эгоистам иронией и каким-то духом отрицания. На мое счастие, судьбе угодно было перед отъездом моим в Петербург сблизить меня опять с В.А. Никольским, который[429] также переселялся туда на службу и согласился жить со мною. Я охотно предложил ему стол и квартиру.

Северная наша столица поразила меня своим великолепием. «Наконец-то, – говорил я себе, – вижу я настоящий город». Увидев в первый раз Зимний дворец и великолепную его площадь, пришел я в какой-то телячий восторг и разинул рот от изумления. Зато первая моя прогулка по городу была неудачна и привела в неистовое бешенство. Первый петербургский мой день был воскресный; являться по службе в канцелярию или к Соколову, заме-

нявшему Кикина, было не время; вышед из гостиницы Демута[430] и поглазев на Дворцовую площадь, вздумал я пойти в Педагогический институт, чтобы посетить воспитанника Панова и отдать ему пакет с деньгами от общих наших родных. У Полицейского моста учтиво остановил я какого-то франта и спросил у него дорогу. Любезный господин, посмотрев на меня пристально, улыбаясь, указал мне весь маршрут: «Идите, – сказал он, – прямо до Аничкова моста; пройдя через него, возьмите налево, по Фонтанке, и идите потом по Невской набережной до кавалергардских казарм мимо Таврического дворца и у Смольного монастыря спросите Калинкин мост, тут рядом Педагогический институт». По сказанному, как по писанному, я отправился и, пришед к Смольному монастырю, спрашивал, где тут Калинкин мост и Педагогический институт; прохожий, к которому я обратился, посмотрел на меня, как на сумасшедшего: «Что с вами? И мост и это заведение совсем на другом конце города, отсюда верст семь». Нечего было и думать пускаться в такую противоположную даль; время шло к обеду, но я, хотя и измученный этим походом, отправился все-таки пешком, надеясь, и очень глупо, встретить моего указателя и приласкать его моей московской тросточкой. Разумеется, роковой этой встречи не последовало.

* * *

23 июля старого стиля. *Ormonts dessus Aigle.*

На этом месте опять прекращены были мои «Записки» на целые два месяца по случаю страшных жаров, которые я испытал во всей их нестерпимой силе в южной Франции, на минеральных водах в местечке Вальсе, где пробыл целый месяц. Благополучно перебрались мы оттуда в Женеву через Лион. Людовик Наполеон уже объявил войну Пруссии[431], и по всей Франции немногие с восторгом, весьма многие с горем пополам готовились переживать эту новую, непрошенную, бедовую войну, которая вследствие расчетливых, более даже чем властолюбивых соображений Наполеона придирчиво затеяна была им против Пруссии. До сих пор, невзирая на то, что с объявления войны прошло уже две недели, столкновений между враждующими войсками еще не было, но приготовления к войне ведут за собою в огромнейших размерах разорение не одних воюющих государств, но и всех имеющих право по трактатам быть нейтральными, а равно и всех тех, которые более или менее искренно желали бы остаться в стороне. По издержкам на это военное время ежедневно в 100 000 франк[ов] на 50 000 войска одной небольшой Швейцарии можно предположить, чего будет стоить всей Европе предпринимаемая борьба из одной сатанинской гордости двух или трех лиц, которые должны отвечать за все ее чудовищные последствия перед современниками, перед судом потомства и истории. Но я распространяться не стану, замечу только одно то, что в подобное тревожное время, когда настоящее грозит несчастием

каждому, трудно вполне предаться воспоминанию прошедшего. Как бы то ни было, скрепя силы, продолжаю.

После невольной воскресной моей прогулки на другой день моего в Петербург приезда, часу в 10 следующего утра, т.е. в понедельник, день по русской примете не совсем-то благоприятный для начала какого бы то ни было важного дела, пошел я являться к управлявшему канцелярией комиссии прошений за отсутствием статс-секретаря Кикина. Действительный статский советник Иван Алексеевич Соколов еще при Екатерине служил по этой части и еще при ней носил название рекетмейстера[432]. Он явился передо мной угрюмым, неопрятным, каким-то одичалым стариком в домашней ветхой одежде, в грязном, заваленном бумагами и покрытыми пылью книгами кабинете. Когда предъявил я ему официальный мой ордер, в котором было сказано, что «состоящий при канцелярии статс-секретаря у принятия прошений коллежский регистратор Свербеев должен немедленно по приезде из Москвы явиться к его превосходительству И.А. Соколову и поступить по канцелярии на службу», И.А., указывая на стул, не пригласил, а велел мне сесть. Я взглянул на предложенное мне седалище и, хотя оно было покрыто порядочною пылью, сел, как вкопанный, не дерзая его вытереть. После двух вопросительных слов о том, где я учился, он свистнул и оборванному казачку велел принести мне чаю; я отказывался, напившись у себя на квартире. «Ничего, пей», – повторил он. Чай подан был жидкий и пересахаренный. Тогда последовало приказание казачку подать мне кофе; я опять начал было отговариваться и опять услышал то же: «ничего, пей». Ну, выпил я и кофе, такой же отвратительный, как и чай. «Теперь подай ему меду». – «Помилуйте, ваше превосходительство». – «Ничего, пей; молодым людям это не вредит». После поглощения мной отвратительного меду старец приказный подьячий во всей силе, а по тогдашнему для важных должностей выражению – делец, не вставая с кресел, кивнул мне головою, сказав: «Теперь, голубчик, ступай с этим ордером в канцелярию». Я, сев на моего лихого извозчика, туда было прямо и поехал, но через силу, из видов подчиненности выпитые мной залпом чай, кофеем и мед вслед за собственным моим порядочным завтраком заставили меня ехать на мою квартиру к Демуту и там по крайней необходимости пробыть целое утро. Мне было не до канцелярии: нужда и закон переменяет. Не знаю, случалось ли что-нибудь подобное в этом роде со священными особами, т.е. с двумя попами и дьяконом села Любовши, которых важный сосед мой П.И. Сафонов угощал бывало при мне у себя именно чаем, кофеем и медом залпом, когда этот его приходский причет являлся к нему в воскресные и праздничные утра после обедни. Однако часу в третьем, справившись с моими немощами, я все-таки отправился в канцелярию, нашел там только одного дежурного чиновника и двух сторожей, которым и отрекомендовался.

Канцелярия наша была на Малой Миллионной улице, в кикинском доме, который главным своим фасадом выходил на Дворцовую набережную. Она помещалась очень тесно, в трех комнатах: небольшой приемной для самого статс-секретаря, в длинной, немного побольше и пошире, для всех чиновников и боковой для архива. Состав канцелярии был очень умеренный: кроме трех, четырех лиц, при ней числившихся и никогда почему-то в нее не заглядывавших, хотя и получавших наравне с другими чины и отличия, служившими в ней были при мне правитель канцелярии Николай Петрович Брусилов[433], человек очень образованный и приличный, когда-то литератор и издатель «Журнала Российской словесности», в котором печатались водяные стишки и сладенькая проза первой карамзинской школы. Этот г. Брусилов, впоследствии вологодский губернатор, а потом сенатор, не принадлежал к петербургскому порядочному обществу не потому, чтобы не имел на то всех прав по своему рождению и достоинствам, а единственно оттого, что имел счастие или несчастие, как хотите, жениться по любви на молоденькой дочери[434] петербургского пастора Гофмана[435]. Чета эта была почти бедна, а Брусилов был чиновник редкой в то время честности и никогда не соблазнялся ежедневною возможностью взять крупную взятку. При нем собственно состоял в должности младшего чиновника его шурин, Андрей Лонгинович Гофман, мой долговременный приятель, отличившийся на важном государственном поприще безустанной и бескорыстной деятельностью, в обществе же слишком приторною любезностью, особливо с прекрасным полом. Потом за правителем канцелярии следовали в порядке чиноначалия четыре или пять экспедиторов или начальников отделения, которым поручалось составление докладных записок для комиссии прошений на Высочайшее имя на сенаторские решения. Из них упомяну о двух с тем, чтобы рассказать курьезные об этих господах подробности; наприм., Михаил Осипович Козелло, которого все у нас, начиная с самого Кикина, называли Козлом, заведовал делами по жалобам на третий департамент сената, где рассматривались все тяжебные дела по губерниям, состоявшим тогда на особых правах, т.е. по губерниям, присоединенным от Польши, и двум малороссийским – Черниговской и Полтавской. В то время эти губернии управлялись еще вместо уложения Литовским статутом[436] (в них, между прочим, уезды назывались поветами, губернские и уездные предводители – маршалами), с существенным различием во многих случаях от нашего общего гражданского законодательства. В коренной России нигде не случалось такое, как там, количество продолжительных ябеднических процессов. Козелло безнаказанно пользовался совершенным неведением в делах этого рода статс-секретаря Кикина, а равно председателя и членов комиссии прошений. Ни один из его товарищей, без исключения падких на руку, не обогащался с таким успехом взятками, да и мудрено было ему не соблазниться: жалованья всего получал он 2000 руб. асс., а у него

была семья и никакого состояния. Один раз, будучи дежурным, я имел случай видеть, как безответен был перед этим Козлом наш начальник Кикин. Последний приказал своему подчиненному предварительно доклада комиссии доложить ему дело своего приятеля белорусца Голынского[437]. Как теперь вижу сидящего в голубом атласном халате Петра Андреевича за своим столом и нас, ему предстоящих, пузатенького, коротенького, средних лет, Михаила Осиповича Козелло и меня, юношу, которому приказано было внушительно слушать, уразумевать и поучаться. По начальническому слову «читай!» мой Михаил Осипович развернул свой большой сверток и начал чтение своей безграмотной полурусской записки, испещренной полупольскими на белорусском языке выражениями, как собственно принадлежащими составителю, так и официально употребляемыми в судопроизводстве края. Чтение длилось более получаса; чтец, устремив в записку глаза, заставив свое широкое лицо ею так, что ему не видать было ни начальника, ни меня, произносил свои длинные без глаголов периоды; они могли быть понятны разве ему одному, а между нами, Кикиным и мною, происходила немая мимическая сцена. Слушающий начальник то качал во все стороны головою, то поднимал к потолку обе руки, вопросительным, смеющимся или изумленным взглядом выспрашивая моего о чтении мнения. Я отвечал на все эти знаки всевозможными угодливыми гримасами; наконец, влиятельная по сим делам особа и главный решитель оных тяжб вышел из терпения и, не дождавшись точки, возбужденный досадою, громко воскликнул: «Довольно, Козел, довольно! Неси в комиссию». Только что тот удалился: «Ты ведь ничего не понял?» – спросил он у меня, – Вгладь ничего-с». – «Вот и всегда-то так! Эти ябедники-просители напутают с три короба, в сенате путаница эта еще нарастет, а уж наш Козел, черт его знает, – нарочно ли, нет ли, сам постарается так запутать, что мы там в комиссии единогласно вынуждены бываем по этим козлиным делам соглашаться на проекты придуманных им резолюций и представлять их государю, ан и выходит, что всем один Козел ворочает, а мы не причем! А как ты думаешь, берет он взятки?» – «Помилуйте, я почем знаю. – «Берет, братец, берет, да еще и большие». Но находчивый человек никогда не теряет времени, из всего извлекает пользу. Однажды перед обедом у Кикина указал он мне с Александром Языковым на новый фигурный столик как на новое украшение своей гостиной. «Нравится?» – спросил он у нас. «Да-с», – произнесли мы протяжно. «А вот откуда он вышел, не угадаете. Месяц тому назад в комиссии Козел докладывал нескончаемое дело по Белоруссии; известно, чепуха! Смотря с отчаянием на потолок, усмотрел я прелестный арабеск, срисовал его и заказал в виде столика».

Однажды по милости этого Козла я попал было совсем невинно в большую беду и насилу из нее выпутался. Подходит ко мне, дежурному в канцелярии, гвардейский офицер, очень приличный и, кажется, поляк, и вежливо

спрашивает, в каком положении находится просьба к государю его матери. Я отвечаю, что она перешла в канцелярию тогда-то и такого-то числа, в одно из отделений для приготовления к докладу в комиссию прошений. «Позвольте спросить, к какому из ваших чиновников она поступила?» Я отвечаю очень просто и очень холодно: «К Козлу». – «Позвольте вам заметить, что я имею право требовать от вас не такого ответа». Я имел глупость рассердиться и грубо отвечал: «Да что вы пристаете? Я вам говорю, что ваше дело у Козла». Разговор начался крупнее; по счастию, кто-то из старших чиновников заметил это и сказал Брусилову, который добродушно сам успокоил гвардейца, хотя и не вполне, потому что он вышел со словами: «Я очень жалею, господа, что все вы имеете Козла себе товарищем».

Другой более еще памятный мне экспедитор был Григорий Алексеевич Андреев[438]. По моей тогдашней неопытности в науке жизни я не старался узнавать о происхождении и воспитании тех лиц, с которыми встречался и с коими по обстоятельствам входил в какие-нибудь сношения. Мне осталось неизвестным, откуда и как вышел на свет г. Андреев, чиновник средних лет, полуобразованный, с манерами довольно приличными, с характером уклончивым и холодным; он был начальником второго отделения в канцелярии, и на него было возложено рассмотрение жалоб на московские департаменты и тамошнее общее собрание Сената. Старшим помощником у него был некто Кашин[439], племянник Соколова, закоренелый приказный, не имевший никакого здравого смысла и в то же время великий мастер составлять деловые записки своего рода, которые, проверенные Андреевым, почему-то очень нравились нашему главному начальнику. В это второе отделение назначен был я Кикиным, по приезде его из Москвы, младшим помощником. Андрееву приказано было им занимать меня не одной перепиской докладных записок в комиссию, но и поручать мне первоначальное составление самых записок по тяжебным делам и процессам не слишком сложным. Цель статс-секретаря, благоволившего ко мне как к близкому родственнику была та, чтобы испытать мои юридические знания, мной в университете приобретенные, и приучить меня под руководством двух, по его мнению, мастеров этого искусства к судебной практике; то же самое хотел он сделать и для другого своего двоюродного племянника, Языкова, поступившего после меня в канцелярию, назначив и его младшим помощником к Андрееву. Оба мы начали трудиться очень усердно, я же с большим успехом, нежели Языков, как человек, которому такие занятия были не чужды; но зато вместо радушного участия от моего прямого начальника Андреева и подначальника Кашина и помеху встретил я первый. Сам Андреев, составляя свои записки из сенатских решений и соображая их потом с просьбой истца, был еще довольно ясен в своем изложении, но часто, иногда даже и умышленно, запутывал обстоятельства дела в своих длинных периодах, оставляя их без глагола, либо выпуская с

намерением спорные пункты, служившие предметом иска. Такими способами, когда ему было то нужно, ухищрялся он затемнить дело и потом убедить членов комиссии соглашаться на проект его решения, основываемого на им же приведенных указах. Все это делалось им, конечно, не бескорыстно; он, как и все другие начальники отделения, брал с просителей взятки: без таких посторонних доходов ему не с чем было бы жить в Петербурге с семьей. Старший его помощник Кашин был его правою рукой, работал в его смысле с тою разницей, что писал старым приказным, безграмотным слогом. После этого понятно, что составляемые мною, учеником Сандунова, записки из сенатских решений не могли нравиться обоим моим начальникам. Я составлял их отчетливо, ясно и в особенности кратко; дело, таким образом изложенное, представлялось бы членам комиссии слишком просто и почти никогда не требовало бы личных объяснений докладчика. Такой естественный способ изложения процесса уничтожал почти всякую возможность сорвать взятку то с истца, то с ответчика, и его надо было уничтожить как вредное для кармана докладчиков нововведение. Вот почему всякий раз, когда представлял я мою черновую записку Андрееву или Кашину, они находили ее слишком сокращенною, вначале выслушивали мои возражения, никогда со мною не соглашались, а потом без всяких объяснений перечеркивали все мною написанное, составляли по этому делу свою собственную записку втрое, вчетверо пространнее и мне же отдавали ее на короткий срок для переписки. К подобному труду вместо ожидаемого поощрения я, само собой разумеется, получил отвращение. Сверх того, за медленность переписки Андреев делал мне учтивые выговоры; наконец, месяцев через восемь от моего к нему причисления решительно и очень нежно со мной объяснился. «Что вам за охота, – сказал он мне, – заниматься этими судебными дрязгами? Вы по вашему положению к этому не призваны; мне же вместо облегчения в моих занятиях вы их затрудняете. Легче составить записку одному, чем исправлять чужую. Бросьте их совсем и даже не переписывайте; недостаточные из наших чиновников охотно это будут делать за вас, если вы пожертвуете им много-много 50 рублей». С тех пор так и пошло: я ровно ничего не делал. Кикин же или позабыл о своих обо мне попечениях, или поверил Андрееву, что я, да и все университетские выходцы к приказной работе неспособны.

Петр Андреевич Кикин из древнего дворянского рода (прославленного сподвижником Петра Великого и его любимцем Александром Кикиным[440], впоследствии ему изменившим и им посаженным на кол за участие в заговоре царевича Алексея Петровича), родился в один год с императором Александром I, недолго учился в московском университетском пансионе, служил в гвардейском Семеновском полку, которого шефом был Александр Павлович, и из полковых адъютантов пожалован был по воцарении Александра флигель-адъютантом. В 1812 году был дежурным штаб-офицером при

начальнике главного штаба Коновницыне[441], а потом Ермолове. В 1815 г. после недолгой отставки из военных генералов переименован действительным статским советником и назначен статс-секретарем у принятия прошений. В это время он считался литератором и по дружбе своей с родоначальником всех славянофилов Шишковым был членом председательствуемого Державиным общества под названием «Беседа любителей русского слова»[442] (о ней упомяну после). Теперь сделаю относительно Кикина одно замечание. Русскую юриспруденцию, все наше судопроизводство, всю переписку, к нему относящуюся, или так называемое делопроизводство, – все это почитал он какими-то элевзинскими таинствами[443], профанам недоступными[444]. Чем туманнее и запутаннее была какая-нибудь судебная бумага, тем казалась она ему дельнее; подчиненные делопроизводители тотчас это раскусили и этим безнаказанно пользовались. Мы с Языковым скоро убедились, что на его деятельное покровительство нам, принадлежащим к новому поколению, рассчитывать было нечего: нам не было и не могло быть ходу, и мы охотно согласились на легкое соблазнительное бездействие.

Дабы не утомлять моих читателей довольно скучным перечнем всех наших канцелярских чиновников, к которому, однако, я скоро возвращусь, представлю здесь, как эпизод более увлекательный, знакомство мое с одной из современных передовых, эмансипированных и тогда уже женщин, свояченицей Андреева, Софьей Дмитриевной Пономаревой, урожденной девицею Позняк. Она была дочь Дмитрия Прокофьевича Позняка[445], умного, хитрого сенатского обер-секретаря одного из петербургских департаментов, слывшего в свое время великим и даже просвещенным дельцом по судебной части. Эта молоденькая, плотненькая дама небольшого роста обладала необыкновенным искусством нравиться и не отличалась скромностью. Где получила она свое образование – не знаю, но воспитание ее было самое блистательное: бойко говорила она на четырех европейских языках и владела превосходно русским, что тогда было редкостью; легкая иностранная литература и наша домашняя были ей вполне знакомы. Она умела завлечь в свою гостиную всех тогдашних литераторов, декламировала перед ними их стихотворения и восхищала своей игрой на фортепьяно и приятным пением. Замужем была она за сыном богатого откупщика Пономарева[446], который его отделил и дал ему средства к широкой петербургской жизни. С[офья] Дм[итриевна], убедившись скоро по своем замужестве, что муж ее не стоит, предалась вполне легкомысленному поведению и, чтобы ей в этом не мешали, споила мужа. Он также служил у нас в канцелярии и также в ней ничего не делал. Познакомившись с ним как с сослуживцем и тотчас обратив на себя внимание его хорошенькой, увлекательной супруги, я начал бывать у них часто. Вечером, часов 8 можно было еще встретить ее мужа, но уже не иначе, как навеселе, к 11, после нескольких чашек чаю с ромом, он был готов, и его укладывали спать, гостей

прибывало, и беседа оживленная умной вертлявой хозяйки закипала со всем очарованием изящной, какой-то художественной оргии.

Обычными посетителями были люди известные по литературе или по искусству, даровитые и любезные в откровенной, ничем не сдержанной беседе. Такими собеседниками бывали зрелых лет люди, как то: изредка баснописец Крылов, переводчик Гомера Гнедич, неразборчивый в своей литературной деятельности журналист Греч, издатель журнала «Благонамеренный» циник Измайлов, трагики – Катенин и Жандр, закадычный друг Пушкина Дельвиг, Лобанов и Баратынский[447], и другие; женщин не бывало ни одной. Дикой козочкой прыгала во всей этой толпе, или, пожалуй, порхала бабочкой между нами Софья Дмитриевна, возбуждая своим утонченным участием и нескромными телодвижениями чувственность каждого. Пожилые из собеседников, упитанные холодным ужином и нагруженные вином, в полусонье отправлялись по домам; кто помоложе – оставались гораздо за полночь, а самые избранные – до позднего утра. Чего тут не выдумывали на общую забаву[448]. Я в эти года был слишком молод, слишком невинен и чист, чтобы вполне воспользоваться знакомством с подобною женщиной; у нее и без меня было много в этой толпе любимцев. Однажды, оставшись с нею наедине, я увлекся ее вызывательным кокетством со мной и позволил себе некоторые вольности; одним строгим взглядом она их удержала, и я вышел от нее олухом. На другой день получил я от нее письмо на французском языке, которым спрашивала она меня, что значило вчерашнее мое поведение: истинная ли страсть или одна прихоть? Требуя ответа, она вместе требовала и возвращения своей записки; я был до того глуп, что отвечал на моем плохом французском языке и возвратил ей эту записку. Софья Дмитриевна сделала меня предметом самых злых насмешек, рассказывая все своим тогдашним фаворитам; до меня это тотчас же дошло, и я решился всякое с нею знакомство бросить.

Видно, кокетливые женщины не любят оставлять в покое удаляющегося от них мужчину, которому они хоть на одну минуту нравились. После моей неудачной переписки прошло более недели, что я не был у Пономаревых. Полупьяный муж, никогда почти меня не посещавший, явился неожиданно ко мне тотчас после моего обеда, в самые сумерки. «Я приехал за вами, – сказал он мне довольно смущенный, – пригласить вас прокатиться со мною в санях». – «Что это вам вздумалось? – отвечал я, – разве все мы мало катаемся по городу, и неужели вам сани не надоели?» – «Сделайте милость! Без отговорок одевайтесь и едем!» Очень неохотно надел я шубу и сел в его совсем не парадные сани в одну лошадь, которой правил какой-то мальчишка форейтор. Мальчишка этот, только что мы поехали маленькой рысцой, то и дело на меня поглядывал и, наконец, громко захохотал. Вышло, что кучерок был Софья Дмитриевна. Вся затеянная ею штука состояла в том, что ей хотелось, в чем она и успела, привезти меня к себе; но раз оскорбленное щепетильное мое

самолюбие устояло против дальнейших ее искушений, хотя я и продолжал изредка посещать ее гостиную, заманчивую для молодых людей не одними ее прелестями, но и встречею со всеми почти петербургскими литераторами. Изредка читал там Крылов новые свои басни еще до печати; Гнедич, один из искуснейших чтецов того времени, хотя и чересчур напыщенный, как и вся его фигура, прочел однажды в собрании всего кружка свою классическую идиллию «Рыбаки», превосходное подражание Феокриту[449], в которой он с неподражаемым поэтическим талантом в этом роде описал светлую, как день, петербургскую ночь и плоские берега величественной Невы, окаймленные великолепными зданиями. В другой раз по просьбе всех прочел он нам остроумную комедию Крылова[450], которая тогда только что появилась в рукописи и, как переполненная злою иронией над правительством и высшим обществом, никогда не могла быть напечатана. Им же читались иногда и отрывки из его «Илиады»; он, как известно, был первым из наших эллинистов и один из всех поэтов усвоил вполне русской поэзии древний греческий гекзаметр. Гекзаметры и пентаметры Жуковского явились после и едва ли были так строго в метрике своей правильны. Из-за них бывали между нашими литераторами споры. Кроме Гнедича, читывал бывало благонамеренный Измайлов свои простонародные цинические басни, отличавшиеся русским юмором. Дельвиг приносил свои песни, которые тут же распевала хозяйка. Греч острил над Булгариным[451], своим другом[452]. В этой гостиной, кроме хозяйки, была только одна женщина, ее подставка, итальянка Тереза, участница во всех проделках, и чего-чего обе тут не делали!

В конце зимы наступило, по-моему, самое благоприятное для Петербурга время. Ярко светило солнце, обогревая воздух. Однажды, гуляя по набережной Фонтанки, встретил я двух, что-то уже чересчур щеголевато одетых охтенок; одна из них несла на плече ведро с молоком, их обыкновенным предметом ежедневной торговли. Я на них с любопытством взглянул, они захохотали и долго шли за мною, преследуя меня своим смехом. Оказалось, что это была Софья Дмитриевна со своей итальянкой. Куда и зачем они ходили, я от них не мог добиться.

Литературное петербургское общество Пономаревых не возбудило во мне симпатии. Кроме двух замечательных личностей, Крылова и Гнедича, которые являлись к нам редко, привлекательны были особенно Баратынский и Дельвиг. Физиономия последнего носила характер его заунывных русских песен, Баратынский же был и тогда уже истинным поэтом, увлекательно говорил и отличался благородным тоном и изящными манерами. Теперь в этом напоминает мне его И.С. Тургенев[453].

Скажу в заключение рассказов моих о Пономаревой, что короткого у меня с ней знакомства после первой попытки не было и что она и ее гостиная со всей эксцентричности удачно написаны были в напечатанных воспоминаниях Панаева[454].

Возвращаясь к моим воспоминаниям о месте моего служения, я остановлюсь на них недолго. Из старших чиновников не много было особенно замечательных: все они были похожи один на другого, как наши губернские города в средней полосе России. Все они были облагороженные русские подьячие старых времен, одевались прилично, хотя и пестро по тогдашнему обыкновению (платья черного цвета тогда носились только в случае траура), у каждого на шее была Анна или Владимир в петлице[455]. Сотнями бегали подобные чиновники всех ведомств по Невскому проспекту в десятом часу утра по направлению к разным своим департаментам и в четвертом пополудни видимы были там же, когда они возвращались из своих присутствий с портфелями под мышкой. Все эти господа были предтечами нынешних бюрократов, изменившихся, судя по-моему, не к лучшему: в тогдашних не выставлялись так явно наружу теперешняя самонадеянность и заносчивость. Нельзя же, однако, всех этих господ в моих «Записках» одним почерком похерить и уничтожить. Когда это второстепенное наше начальство собиралось погулять и покутить, мы, молодежь, также к их кружку присоединялись. Попойки бывали сильные, и однажды после обеда на Крестовском острове один из наших старших до того расходился, что упорно хотел выскочить из ялбота, на котором мы все плыли Невой, и пойти по ней пешком, уверяя, что ему пьяному и море по колено. Этот герой назывался очень оригинально – Макаром Патрикеевичем Глотовым[456] и заведовал отделением по просьбе о пансионах и денежных наградах.

Из товарищей моих по летам и по чину замечательнее всех был Николай Иванович Бахтин своим ясным, диалектическим умом, едким остроумием и быстрыми успехами по службе. Его все боялись, как самого злого насмешника, едва ли кто любил, и, несмотря на это, он был впоследствии государственным секретарем и недавно умер одним из влиятельнейших членов Государственного совета. Тучный, добродушный и много пожертвовавший из своих богатств на пользу общества, И.Ив. Фондуклей[457], сын грека-откупщика, чуть ли не один из всех моих современников остался в живых и заседает ныне в Государственном совете. Вряд ли жив мистик Энегольм[458] и давным-давно умер славный Сутгоф, забавлявший нас своею крайнею рассеянностью, над которой я часто делал опыты для потехи канцелярской нашей публики. Он любил прохаживаться по длинному коридору, и я подставил ему однажды на самой середине коридора довольно высоко мою трость; он перешагнул ее на этом месте, как и следовало, чтобы не упасть, и потом уже во время своей прогулки высоко подымал на этом месте ноги. Другой раз попросил я его понюхать табаку, снял с него Аннинский крестик из петлички[459] и при нем положил в его же табакерку. Это было при всех, и почти каждый просил у него табаку и спрашивал, зачем у него в табакерке крестик. Он отвечал всем

одно: «Изломал. Положил, чтобы не потерять». Зато и он однажды надул меня своею рассеянностью. Собрались мы с ним и с другими обедать и гулять на островах. Выходя часу в третьем из канцелярии, я заехал домой, чтобы надеть сюртук (на службе бывали мы всегда во фраках), и воротился опять в канцелярию, чтобы, взяв оттуда Сутгофа, завезти его к нему на квартиру для подобного же переодевания и потом отправиться с ним на моей удалой паре в трактир Новой деревни, где было наше сборище. Мы условились, чтобы я, не сходя с дрожек, ждал у его подъезда; он жил в четвертом этаже огромного гунароповского дома около конногвардейского манежа[460]. Вот я и сижу и жду, потом шагаю по тротуару, наконец, минут через 20 теряю терпение, пересчитываю ступени огромной крутой лестницы, вхожу в его комнаты и вижу Сутгофа раздетого, в халате и за бумагами: «Ах, здравствуйте; как это ты вздумал? Хочешь поесть? Я сейчас велел дать обедать». Все было им забыто, мы опоздали и приехали на место свидания к десерту и уже к десятой или одиннадцатой бутылке шампанского; все было пьяно, и нас встретили ругательствами. Был еще один чиновник нашей канцелярии, и он будет предпоследним в моем описании: А.Д. Петров[461], получивший громкую известность во всей России и, кажется, за ее рубежом как отличный шахматный игрок. Всем нам казался он простеньким, наивным юношею, а часто бывал предметом всеобщих насмешек; беспощадно, более всех преследовал его Бахтин. Кроме особенного дарования к шахматной игре, Петров отличался необыкновенно красивым почерком, и все докладные записки, ежедневно представляемые лично государю статс-секретарем, им были переписаны. Император, любивший каллиграфию, заметил его почерк и как-то раз изъявил за него Кикину свое удовольствие; Петрову придало это какое-то в глазах наших, а тем паче в его собственных, особенное значение и породило в нем желание подражать разным почеркам и подписям. В этих упражнениях добился он опасного искусства – превосходно подделываться под руку самого государя, разумеется, без всякого злого умысла. Однажды выпросил я у него для шутки такую подражательную царскую подпись «Александр» со всеми ее вычерками и размахами в конце белой первой страницы на листе министерской величины бумаги, которую всегда подносили государю для подписания именных указов, и имел глупость представить этот лист, как курьез, жене статс-секретаря; она же имела неосторожность, тоже, как редкость, показать ее мужу. На Кикина напал страх и ужас: ну, если сам каллиграф злоупотребит таким талантом или кто-нибудь вздумает этим воспользоваться. Петров был призван к начальнику и должен был произнести перед ним клятвенное обещание, что он вперед ни вовеки веков не станет подписываться под руку государя. Знаменитость и слава Петрова как шахматного игрока со временем дошла до того, что составила всю его карьеру. Он впоследствии находился

при князе Паскевиче-Эриванском в Варшаве, и все его там занятия ограничивались ежедневным игранием с фельдмаршалом в шахматы. Он умел кстати проигрывать ему партии и льстить постоянно необузданному самолюбию варшавского героя, за то получил он какое-то видное место, женился на дочери генерала-интенданта армии нашей в Польше Погодина[462], получал порядочное жалованье, аренды, ленты и, кажется, недавно умер в чине тайного советника. Лет пять–шесть тому назад по случаю моего приезда в Петербург собрались мы, Гофман Бахтин и Петров, в Английском клубе, и когда я за второй бутылкой шампанского, расспрашивая Петрова о его блистательных успехах по службе и на шахматной доске, кстати, спросил Бахтина, играет ли и он в шахматы, этот остряк отвечал мне: «Видите ли, мой любезнейший, двадцатилетним юношей я старательно изучал шахматную игру и добивался сделаться ее знатоком, а когда я убедился на опыте, что часто люди весьма посредственных способностей по долгом в этой игре упражнении делаются ее знаменитостями, то бросил совсем шахматную доску. Игра сама по себе скучна, а превосходство в ней моего самолюбия не удовлетворяет». Я привожу слова Бахтина, во-первых, как суждение человека замечательно умного о ничем не заслуженном мнении об умственных дарованиях великих шахматных игроков и, во-вторых, как доказательство того, что шахматная знаменитость Петрова была слишком не обидчива, потому что все эти слова Бахтина выслушал он не поморщившись. Моему сослуживцу Языкову не отвожу я особенного места в записках о канцелярии; он и без того часто будет в них являться, а о живущем и теперь в Москве, подобно мне, старце Шимановском[463] скажу вкоротке, что он был и остался по своей широкой русской натуре, что называется, добрым малым. В канцелярии пригоден он был на делание различной величины пакетов (в продаже клееных тогда не бывало нигде и в заводе), на изящно отчетливое приложение к ним печати, но даже и не для переписки[464], зато отличался много лет как собиратель нигде, конечно, еще не бывалой коллекции (не знаю, сохранилась ли она у него): от каждой распитой им бутылки шампанского отрезывал он конец пробки с клеймом и хранил у себя за стеклом в хронологическом по годам порядке; редкая какая бы то ни было коллекция могла сравниться с огромным количеством предметов шимановского собрания. Он был необыкновенно красив собой, лихо пел удалые ямские песни, взят был для забавы на Кавказ Ермоловым и сопутствовал ему в качестве песельника по Кавказу и Грузии, впоследствии был предводителем в одном из уездов Владимирской губернии, женился на прехорошенькой белокуренькой девушке; мучась чинолюбием, в старости опять вступил в службу в Москве к князю Долгорукову[465] чиновником особых поручений, добился, наконец, лестного почета быть старшиной московского Английского клуба и теперь, кажется, отдыхает на лаврах после великих трудов долговременной

жизни. Он был всегда и остался моим большим приятелем, одним из трех на всем белом свете, которых я теперь *тыкаю*. Но довольно говорено о моем первоначальном служебном поприще, попробую теперь записать другую сторону моей петербургской жизни и начинаю с самого жилища.

Имея гораздо более, чем сколько мне было нужно, средств к жизни и не любя никакой прихотливой роскоши, отыскал я с Никольским себе квартиру на углу Литейной и Моховой, возле церкви Св. Симеона. Она была так себе – и не красива, и не отвратительна. В ней были и зала, и гостиная, две спальни с перегородками, в которых помещались столы для письменных наших упражнений, с мебелью весьма не изысканною, но очень приличною. Прислуга наша состояла из камердинера француза Charles Pointin, родившегося, однако, в России, прехорошенького собой юноши, которого я взял за 600 р. асс. для постоянного упражнения с ним во французском языке чуть ли не по совету тетки Марьи Васильевны; из подкамердинера, одетого казачком, бойкого Тимошки, которого я из либерального приличия переделал в Тимошу; из дворецкого, довольно грамотного, Филиппа Ивановича и великолепного в бороде и кучерской одежде возницы, или кучера Михаила Иванова. Прошу моих благосклонных читателей заметить, что обруселое у нас слово «кучер» есть немецкое, хотя многие этого уже не подозревают, а еще большее число людей, даже грамотных, не знают и того, каким русским словом назывались у нас кучера в допетровское время, а ведь они как-нибудь должны же были называться; из этого следует, что мы по необходимости употребляем иностранные слова, усвоивая их по понятиям, прежде у нас небывалым. В пример приведу еще «слесаря» или «профессора», «маляра» или «сенатора»[466].

Однако я тут заговорился. Продолжаю. У меня была тройка лошадей, две одиночки и одна пристяжная, очень порядочные дрожки, весьма неудобные (такая была мода), – на них, хочешь не хочешь садись верхом, – и отличные сани с великолепною медвежьею полостью; кони были доморощенные, красивые, две коренные с бегом и извивавшаяся кольцом лихая пристяжная. Совсем было забыл про повара; был, конечно, и оный в числе моих домочадцев. Привезенный из Москвы крепостной поваренок сделался настоящим поваром не прежде годичного изучения своего искусства в академической петербургской кухне богача Комбурлея[467]. Это имя приводит меня прямо к рассказу о моих петербургских знакомствах, весьма малочисленных, а как я не разделяю года моих «Записок», а стараюсь рассказывать в них по разным предметам за один раз все, что мне придет в голову, то из знакомых моих в Петербурге упомяну уже заодно о всех, которых знал я во все мое тамошнее пребывание. Мне не придется долго на них останавливаться.

Одним из первых моих петербургских визитов был к этому богачу Комбурлею. По рассказам моего отца я знал достоверно, что этот господин, раз-

богатевши службою и женитьбой, был взят моим отцом в 80-х годах мальчишкой из кофейни какого-то грека города Феодосии и определен в канцелярию экономии директора. Комбурлей был ловок и необыкновенно красив собой. Как он пробил себе трудный путь жизни, мне осталось неизвестно; но уже в первых годах нынешнего столетия живал он у нас проездом в Москве молодым порядочным человеком, стало быть, тогда уже выходил в люди. Женитьба на богатой и красивой наследнице харьковского помещика Кондратьева[468] еще более придала ему ходу. В 1811 и 12 годах очутился он на каких-то особенных правах губернатором в Волынской губернии; его безотчетным распоряжениям в то время предоставлено было продовольствие молдавской армии во время турецкой воины[469] и потом во все время возвращения ее в Россию в начале Отечественной войны. Честно или нет он тут действовал, но по огромному начету, последовавшему на него по этим операциям, был он отрешен и предан суду, что не мешало, однако, ему жить в Петербурге роскошно и открыто.

Предполагая, что из памяти Комбурлея не могло совершенно изгладиться имя того человека, который был первой причиной всех его удач в жизни, я отправился к нему с визитом и тем смелее, что 10-летним ребенком бывал у него и его жены и помнил, как эта красивая чета меня в то время ласкала; но меня не приняли. Я оставил карточку великолепному швейцару, дал записать мою квартиру, и целые два года напрасно прождал от Комбурлеев какого-нибудь знака их внимания или простой светской учтивости. Еще хуже, еще обиднее поступил со мною родственник моей матери Михаил Алексеевич Обресков[470]. Этот через своего камердинера изъявил мне желание меня видеть, но что ему теперь некогда и что он пришлет за мной. Такое бесцеремонное объяснение с первого раза приписывал я тем коротким родственным связям, какие всегда были между Обресковыми, детьми екатерининского дипломата, и семьей моей матери того же имени; но приглашения ждал я долго и не дождался. Весьма достаточно было этих двух неудачных проб познакомиться с двумя очень известными в Петербурге домами, чтобы положить окончательный предел всякому искательству с моей стороны каких бы то ни было новых знакомств. Я, наприм., имел бы право толкнуться в двери председателя нашей Комиссии прошений В.Степ. Попова, который, будучи при Потемкине правителем дел, был в близких служебных сношениях с моим отцом, но я побоялся и его швейцарской комнаты. Другой на моем месте, побойчее, умел бы преодолеть все подобные препятствия, непременно встречающиеся каждому юноше при его появлении в столицу без особенных сильных связей на месте. Меня, напротив, это нисколько не подвигало на охоту за крупными зверями. «Отчуждение от высшего общества происходит со мной, – говорил я себе, – не по моей вине». Я сознавал с удовольствием мою от него независимость и самым этим сознанием извинял себе мою дикость. «Да черт с

ними, – думал я, – пусть они живут себе, я проживу и без них и ухаживать за ними не стану». Семья моего начальника и родственника Кикина была ко мне радушна и ласкова; сам Петр Андреевич был человек под грубыми и непривлекательными формами весьма добрый, а потому и мне искренно желал всякого добра и во всем готов был быть полезным, но, убедившись раз отзывом хитрого Андреева о мнимой неспособности моей к юридической службе и часто видя меня у себя всегда бесстрастным, ни в чем не честолюбивым, ко всему равнодушным, он сам, всегда чем-либо увлекавшийся, то как член «Беседы» или Вольного экономического общества[471], то как помещик, постоянно и безуспешно преобразующий свое отдаленное, за Киевом, имение, то как покровитель русских художников и в то же время всякого рода новых изобретений по части ремесел и промышленности, – видя меня, говорю, во всем этом безучастного, несмотря на свое подталкивание, махнул на меня рукой и заключил предсказанием, отчасти сбывшимся, что я ограничу всю мою будущность и деятельность одним званием члена московского Английского клуба. К такому, не совсем-то выгодному его обо мне заключению присоединялось предубеждение его против воспитанников Московского университета, поэтому он и меня (вот уже совсем напрасно) подозревал в начинавшем проявляться тогда либерализме. Кикин, как и все его сверстники и еще более мои собственные, а может статься, и передовые люди теперешнего поколения, был человек противоречий; как видно, это зависит более всего от русского омута, в котором кружимся мы от петровской реформы. Кикин, верный слуга императора Александра и его, можно сказать, добросовестный, искренний обожатель, самого этого государя готов был порицать за его либеральные тенденции, за его симпатии к европейской цивилизации. С петровских времен, а может быть, еще и с воцарения Романовых началось у нас существование двух партий, передовой и задней (охранной). Первая готова была усваивать и отчасти мало-помалу усваивала успехи европейской гражданственности, вторая перед ней трепетала и отстаивала старину. В народе, в массе все это окончательно и собирательно выразилось расколом, в высших слоях общества – двумя крайностями: погружением одних в старину[472], других – в безотчетное стремление ко всему чужому, без всякого разбора, пригодно ли оно нам или нет. А как ни на том, ни на другом пути решительно невозможно было идти прямо, не уклоняясь то в ту, то в другую сторону, то всякий мыслящий путник, за исключением, конечно, отпетых к цивилизации раскольников, необходимо становился более или менее человеком противоречий, каким я назвал и Кикина, всегда слишком решительного в своих действиях и суждениях. Поклонник старины по влиянию на него Шишкова, консерватор и ярый защитник самодержавия по родовой преданности к монарху, он, по увлечению своего сердца, как будто сам того не зная, в своих помещичьих мечтаниях доходил до желания эмансипации, признавая в то же

время крепостное право основой самодержавия. Несмотря на невыгодное его обо мне мнение, всякий раз, когда его деятельность бросалась почему-то на экономические и хозяйственные предметы, чем отвлеченнее они представлялись его мышлению, чем обширнее была над ними его письменная работа, тем нетерпеливее сообщал он их мне, требуя от меня откровенного о них суждения и по части слога, и относительно их содержания. Слог Кикина в этих его творениях был слог, который я давно называю помещичьим, не называя безграмотным; в нем не было порядка, не было последовательности и достаточной обработки; все это достигается одним навыком. Как он изумился однажды перед моим замечанием, что я имею дерзость подозревать в нем желание переворота, т.е. просто революции. «Ты с ума сошел!» – закричал он, и когда я ему прочел отрывок из его же статьи, приготовленной для чтения в Вольном экономическом обществе, тот отрывок, в котором он для введения рационального хозяйства требовал более разумного труда и менее произвола, следовательно, свободы и свободы, то он крепко призадумался и через несколько дней сказал мне, что произведения своего в обществе читать не будет, чтобы не подвергнуться разным толкам и осуждениям. В это самое время император Александр уже более опасался, нежели желал, освобождения крестьян и уничтожил незадолго составившееся по этому предмету общество[473], почитателем коего был Николай Иванович Тургенев, а первыми деятелями – граф Воронцов и князь Меншиков[474]. Вот что значит расходиться и растеряться в несвойственных мне исторических соображениях: рассказывая здесь о либеральных направлениях Кикина и о его статье о невыгодах крепостного труда, я отнес все сказанное об этом выше к первой половине 20 годов, тогда как оно относится к 31 или к 32 году, следовательно, десятью годами позже[475].

С Петром Андреевичем Кикиным и его женой Марьей Ардалионовной жили в одном доме, вернее сказать, сам он и его жена жили в доме очень старой девицы Марьи Саввишны Перекусихиной, которая была родная тетка вдовы Катерины Васильевны Тарсуковой[476], урожденной Перекусихиной, матери Кикиной, и жила с теткой, дочерью и своим зятем. Когда я приехал в Петербург в 1818 г., Марье Саввишне было уже под 80 лет; десятки годов пробыла она в звании камер-фрау при Екатерине II и, как известно, пользовалась особенным милостивым расположением императрицы. Сказывают, что Марья Саввишна, будучи ее другом, и не выставляясь никогда слишком вперед и на вид всего двора, жила вблизи от внутренних покоев государыни скромно в небольшом отведенном ей помещении. Сказывают также, что она была постоянной посредницей с ее фаворитами и что она никогда не имела никакого значительного влияния ни на первую, ни на последних; что она всеми вообще была любима и уважаема, держала себя в стороне от всех интриг и никогда ни в каких случаях не выставлялась вперед. Из всех лиц, окружавших Екате-

рину, она одна умела не вооружить против себя императора Павла, который, не любя мать, ненавидел почти всех к ней близких. По восшествии своем на престол он тотчас же отличил ее своим благоволением и вскоре пожаловал ей лично 5000 десятин земли в Рязанской губернии из казенных дач, близких к имению ее дочери Тарсуковой. Старушка Перекусихина замечательна была во многом, можно сказать, во всех отношениях. Она не знала ни одного иностранного языка и, вероятно, именно потому государыня, желавшая выучиться совершенно по-русски (чего она почти и достигла), ее к себе приблизила. Я, впрочем, застал еще двух дам, бывших при Екатерине ее комнатными камер-фрау или камер-медхенами, которые также, кроме русского языка, никакого не знали. Происходила Марья Саввишна из дворянского небогатого дома Перекусихиных в Рязанской губернии; брат ее был при Екатерине сенатором[477]. Как теперь гляжу я на эту милую старушку, скромную, но всегда опрятно одетую, низенькую ростом, худенькую, в белом, как снег, накрахмаленном чепчике, из-под которого виднелись слегка напудренные волосы, сидящую за своим столом с книжкою или за гран-пасьянсом и ежедневно до обеда или ранним вечером радушно принимавшую в своей гостиной, возле самой прихожей, обычных посетителей различных лет и различного положения в петербургском обществе. Прием у нее был не по чинам; знатных и незнатных встречала она одинаково, меня же с первого моего появления в этом ее небольшом и незатейливом доме всегда принимала с особенным добродушием, вспоминая дружбу свою к моему отцу, когда он был при Потемкине; знала же она его коротко и потому, что с ним был дружен Петр Иванович Новосильцев, женатый на сестре Тарсукова, мужа воспитанной ею племянницы. У нее же впоследствии во дворце часто живала и двоюродная ее внучка Кикина, которой, как видно, она уже с малых лет внушала не добиваться придворных отличий. Марья Ардалионовна, дочь екатерининского обер-гофмейстера[478] и богатая наследница его имения, не имела фрейлинского шифра и отказала его для своей дочери, которая украсилась им уже после смерти родителей, выходя замуж за князя Волконского[479].

В гостиной, спальной и кабинете этой подруги Екатерины все наполнено было воспоминаниями об обожаемой ею государыне. Портретов было несколько, мебели, ей принадлежавшей и ею ежедневно употребляемой, также, равно как незатейливых фарфоровых чашек и других мелочных украшений. Между всеми этими вещами не было ничего драгоценного, но все было дорого памяти сердца облагодетельствованной ею подруги.

Мать Кикиной, племянница Перекусихиной, вдова Екатерина Васильевна Тарсукова, не походила на свою типичную тетушку и была бы даже и в преклонных годах совершенно другого пошиба, если бы Марья Саввишна не сдерживала ее постоянно своею житейскою мудростью. В ней прорывались

часто выходки ее собственного характера, замечательно легкомысленного. Она, вероятно, до встречи моей с нею более чем в зрелых годах, кой-когда кокетничала, любила посплетничать, увлекаться обольщениями и двора, и знатности, и уже, конечно, не мать отказывала в шифре своей дочери. Все, что было в ней, в этой полустарухе, нравственного, умеренного и серьезного, все это держалось в ней по чувству преданности к своей благочестивой, благородной тетке; зато дочь ее Марья Ардалионовна усвоила себе все прекрасные качества бабушки. Лучшей чертой ее характера при теперешнем моем о ней воспоминании представляется мне благородная независимость от мишурных увлечений двора и великосветского общества, которая проявлялась даже в своеобразном ее туалете, никогда не подчинявшемся моде, но всегда приличном и даже изящном. В скромной гостиной Марьи Саввишны, общей с ее сожителями, редко являлись значительные и влиятельные лица этого времени; она, как и всех, принимала бы их охотно, но Кикин был со всею знатью в разладе, никогда с ними не водился и только по настоянию своих домашних дам отплачивал им визиты. Во все три года моего пребывания в Петербурге только один раз удалось мне видеть тогдашнего министра просвещения и духовных дел мистика князя Голицына, несмотря на то, что этот любимец императора Александра, иногда удачно боровшийся с другим его фаворитом Аракчеевым, вырос на глазах Марьи Саввишны при дворе Екатерины. Раза два случилось мне видеть у них Мордвинова и столько же начинавшего обращать на себя внимание князя Меньшикова. Все прочие крупные знаменитости не переступали порога кикинского или перекусихинского дома. Из всех влиятельных и крупных стариков того времени по временам показывались там трое: председатель комиссии прошений и член Государственного совета, замечательный, остро́умный князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский[480], слывший богачом и весьма расчетливым, порядочным человеком, тоже член совета граф Николай Николаевич Головин[481], которому все как бы в какой верный банк вверяли свои большие и малые капиталы и коего совершенное банкротство, оказавшееся после его смерти, разорило многих; имение же его, разыгранное в лотереи село Воротынец, не могло вполне вознаградить кредиторов; наконец, чаще всех из великих людей бывал там адмирал Александр Семенович Шишков, родоначальник славянофилов, впоследствии сам министр просвещения, узкий обскурантизм коего обнаружился теперь вполне в недавно обнародованных исторических документах времен императора Александра.

О Шишкове довольно сказать одно: он был отъявленным врагом митрополита Филарета и доносил на него, как на безбожника и на либерала, а Карамзина долгое время почитал революционером; вот до чего может доходить во всем ревность не по разуму. Здесь приостановлю я на время рассказы мои о кикинском обществе, чтобы передать то, что случилось со мною вследствие моего

с этим обществом столкновения и что имело весьма решительное влияние на долгие годы всей моей жизни. Семейные мои читатели из этих откровенных очерков моего детства и юности, вероятно, уже заметили раннюю степенность моего характера и ту рассудочную способность, которая обуздывала во мне все возможные увлечения юности, но дух времени не мог не иметь на меня некоторого влияния. По умиротворении Европы императором Александром везде в России, частью в Москве, а особливо в Петербурге, либеральные идеи пустили свои ростки; более или менее такими идеями заразился и я. Один из моих университетских товарищей и друзей П.А.Н.[482], изучая любимого своего автора Жан-Жака Руссо[483], предался всецело его утопиям и перед отъездом моим на службу в Петербург в 1818 году под страхом тайны вручил мне небольшую тетрадку своих юношеских мечтаний об освобождении крестьян. Я ему в этом сочувствовал и явился к тогдашнему единственному журналисту Гречу с этой тетрадкой, с просьбой, если можно, ее напечатать, не называя автора. С великим ужасом пробежал ее при мне издатель «Сына Отечества» и взял с меня клятву в том, что я никогда и никому не буду сообщать о существовании подобных опасных мыслей. Узнав потом Греча довольно коротко по неблагоприятным о нем отзывам всего петербургского общества, я скоро уверился, что он, служа и нашим, и вашим, т.е. будучи либералом в кругу литературном и тайным агентом тайной полиции, не преминул сообщить кому следует о существовании вывезенной мной из Москвы тетрадки. Добрый и осторожный правитель кикинской канцелярии Брусилов, как-то раз, наедине, без всяких объяснений, дружески посоветовал мне вести себя осторожно и не слишком *завираться* – обыкновенное тогдашнее выражение о молодых людях, дозволявших себе либеральничать. Несколько времени спустя дошла и до меня только что написанная Пушкиным и ходившая по рукам ода его под названием «Вольность»[484]. Считая себя мастером декламировать стихи и желая похвастаться моим чтением перед моими сослуживцами, я перед выходом всех из канцелярии удержал на полчаса любителей российского стихотворства и торжественно прочел им это новое произведение отчаянно либеральной тогда музы Пушкина. Долго помнил я наизусть всю эту оду. Пушкин, как утверждают, написал эти стихи вскоре по получении известия о смерти виртембергской королевы Екатерины Павловны.

И самая эта ода, и распространение ее в петербургском обществе, и, наконец, мое торжественное чтение не тайком, а в самой канцелярии десятку служащих в ней чиновников достаточно объясняют, что это было за время, в котором мы тогда жили, его безнаказанная распущенность вместе с крайнею подозрительностью правительства, во главе которого стоял Аракчеев. Кто-то из бывших при чтении сообщил о нем тому же Брусилову, который, призвав меня к себе на дом, сделал мне строгий выговор не столько начальнический, сколько дружеский, пригрозив мне, что если я не уймусь, то о последующих

моих проделках в этом роде он будет в необходимости доложить П.А. Кикину. Тем все и кончилось. Если бы десять лет после повторилось кем-нибудь подобное чтение в казенном месте, то последствия были бы очень неприятны чтецу и даже слушателям.

Либеральничанье мое, впрочем, обнаруживалось редко. Насколько про себя помню, я, по молодости, не отставал от моды и, довольно равнодушный к великим тогдашним идеям свободы, равенства и братства, любил в редких случаях ими похвастаться. Консервативные убеждения вроде того, что крепостные наши происходят от Хама, а мы, баре, от двух старших его братьев[485], были, однако, мне противнее либеральных. Все сказанное выше повествовал я, приводя моих читателей к рассказу о случившемся со мною в доме Кикина.

Весна начиналась, день прибавился. После обеда, часу в пятом, разошлись по своим углам хозяйки-дамы, и в гостиной оставались обскурант дедушка Шишков, богатый и расчетливый граф Головин да хозяин. Они расселись на покойном диване и разговаривали. Безмолвный, сидел я у окна в той же нижней гостиной, сонно глядел на покрытую снегом широкую Неву и на Петропавловскую крепость, внимательнее смотрел на проходящих по набережной, скучал и зевал, не имея права удалиться, потому что был в тот день не гостем, а дежурным. Важные собеседники вели свой разговор о различных правах всех возможных сословий в России и пускались в самые мельчайшие подробности бесчисленных разрядов обитателей пространного нашего отечества. Слушал я их рассеянно и с досадой замечал про себя, что все трое не довольно ясно понимают предмет своего разговора и в нем грубо сбиваются. Благодаря Сандунову, я, казалось мне, лучше этих государственных мужей знал права и обязанности каждого из наших сословий. Мудрая беседа продолжалась час или больше и, как видно, самих их утомила. Престарелый Шишков начинал уже дремать, встал первый со своего седалища и тихими шагами подошел ко мне, я тотчас вытянулся во весь рост перед такой знатной особой, которая, милостиво потрепав меня по плечу, предложила следующий вопрос: «Ну, а ты, юноша, знаешь ли, сколько у нас состояний?» – «Знаю, ваше высокопревосходительство». – «Ну-ка, сколько? Скажи». Тут мое раздраженное терпение лопнуло и я громко выговорил: «Два».— «Как два?»— «Да-с, ваше высокопревосходительство, два». – «Только?»— «Только». – «Какие же?» – «Деспоты и рабы». Как бы не солоно похлебавши, отскочил от меня Шишков, значительно взглянул на Кикина, потом все они переглянулись, грозно воззрился на меня Кикин и сказал: «Ступай домой». Я ушел предовольный, в торжестве и радости дошел до Прачешного моста на Фонтанке, но мысли мои начинали тоже перевертываться и на сердце стали скрести кошки. «Скверно», – подумал я; не заходя домой, взял извозчика и отправился в театр. В моем абонированном кресле сиделось мне как-то неловко весь вечер, и проклятые кошки продолжали скрести на сердце. Ночь провел я тревожно, не

говоря, однако, ни слова о моем смущении Никольскому. Часов около восьми утра докладывает мне, еще лежащему в постели, француз мой Charles, что наш канцелярский фельдъегерь Завитаев желает меня видеть. Это случалось и прежде – Кикин посылал его ко мне с бумагами для переписки, – но никогда не было посылки такой ранней; посланный сообщил мне, что меня требуют как можно скорее к Петру Андреевичу. «Скажите, что сейчас буду, только напьюсь чаю». – «Нет, уж пожалуйте со мной! Приказано вас привести немедленно». Ну, думаю, беда! Робкими шагами вхожу в маленький кабинет. Кикин был в халате, но уже одетый, в своем черном торжественном костюме, в штанах и штиблетах; он затворил за мною дверь на ключ и несвойственным ему вежливым тоном сказал: «Я, сударь, сейчас еду к государю просить милости у его величества посадить вас, моего родственника и подчиненного, за вчерашние слова в Петропавловскую крепость». Я уверен был в том, что такая царская милость будет ему оказана[486]. Александр I, вопреки всем прекрасным качествам своего сердца, не оставлял без преследования ни одной грубой выходки крайнего либерализма и имел привычку отрезвлять иногда довольно долгим заточением или ссылкой тех, которых считал противниками своей верховной власти. В ней он искренно видел божественное свое право, а в посягающих на нее – преступных грешников, нарушителей закона Божьего. Мне ничего не оставалось делать, как раскаяться перед Кикиным в моих неуместных словах и обещать ему вперед не поддаваться вольнолюбивым искушениям. Затем последовали советы и увещания растроганного до слез Кикина; требуя от меня повторения обещания, он нежно меня обнял и увещевал не губить себя, не компрометировать его самого и не вредить Московскому университету, месту моего окончательного образования, на которое начинали уже смотреть косо.

«Теперь, слава Богу, все кончилось , – сказал он мне, – будь покоен и молчи, а я сейчас вместо дворца поеду к графу Головину и Шишкову, которых, особливо Шишкова, до последней степени раздражил и напугал твой дерзкий ответ. Я и вчера взял с них слово никому про это не говорить и надеюсь, что они сдержат свое обещание после твоих. Ты не можешь знать, в какое время мы живем и какие последствия могли бы выйти из вчерашнего случая, если бы слух о нем дошел до государя, или, что еще хуже, до Аракчеева»[487].

* * *

Затем продолжаю воспоминания мои о тех немногих замечательных лицах, близких старушке Перекусихиной или Кикину, которых встречал я у них. Резче всех выставлялась в этой гостиной личность брата Кикина, Алексея Андреевича. Самого передового этого собеседника ставлю я, однако, позади, потому что много говорено будет о нем, когда придется мне вспомнить о его жене, умершей в 1820 году. В первый раз в этом доме увидел я бывшего в то время дежурным генералом главного штаба и еще не графа Арсения Андрее-

вича Закревского. Этот впоследствии великий московский самодур приезжал после своей свадьбы в Москве с первым визитом вместе с женой, смуглой красавицей, графиней Агриппиной Толстой, – и об этой чете будет говорено позднее.

Довольно ранним утром встретил я однажды, будучи дежурным, будущего фельдмаршала Паскевича, тогдашнего бригадного генерала, который обратился ко мне с вопросом, может ли он видеть его превосходительство, т.е. моего начальника? Я, зная понаслышке о Паскевиче, что он и человек и даже генерал недюжинный, пригласил его идти прямо в кабинет к Кикину; скромный Паскевич, однако, не пошел, а просил меня сперва доложить. Это была единственная моя встреча с кавказским, варшавским и венгерским героем, puisque Héros il y a*. Мне не удалось, да и не хотелось искать случая напомнить его светлости о семейных довольно близких наших связях. Упомянув о бывших или будущих знаменитостях России, перескакиваю к приятелю Кикина, первому издателю «Отечественных записок» Павлу Петровичу Свиньину[488], о котором «Благонамеренный» Измайлова так удачно выразился одним стихом:

«Павлушка, медный лоб (приличное прозванье!)»[489].

Этот «Павлушка» имел, однако, счастье исполнить, будучи еще молодым человеком, одно важное поручение. Его, чиновника министерства иностранных дел, хорошо знавшего английский язык, отправили в Соединенные Американские Штаты в 1813 году с приглашением от императора Александра к генералу Моро[490] прибыть в Европу и принять участие в войне против Наполеона. Павел Петрович Свиньин, tout «Павлушка» qu'il fût**, имел честь сопровождать героя первой французской революции. Можно бы, казалось, после такого успеха на нем и остановиться, либо идти обыкновенной, торной служебной дорогой, – Свиньину было этого мало. Он пустился в художество и в авторство. Насколько был он хорошим живописцем, мне неизвестно; я много слышал толков его о живописи и о необходимости создать русскую школу. Кикин, легко увлекавшийся всеми возможными отраслями российского патриотизма, кроме либерального, попался на эту удочку и был вместе со Свиньиным и Мамоновым одним из первых основателей Общества поощрения русских художников[491], которое, надо отдать ему справедливость, произвело Брюллова[492]. О Свиньине как о живописце рассказывали, что он открыл, собственно для себя, самый легкий способ писать картины. Он был пейзажист, и, начертив в своем воображении какой-нибудь ландшафт, нарисованный им карандашом вчерне, этюд приносил к одному из покровительствуемых им юных талантов, прося его написать масляными красками небо,

---

* поскольку он таки Герой (*фр.*).

** попросту «Павлушка», кем он (тогда) был (*фр.*).

с которым будто бы сам Свиньин не мог совладать, потом другого художника просил написать землю и зелень, третьего – деревья, четвертого – воду и т.д. Составленный таким образом пейзаж выдавал он за свое произведение и выставлял на нем в уголке свое имя с обычным: «pinxit»*. В качестве литератора и журналиста поступал он тоже особенным образом, непрестанно, для каждой книжки своего журнала (а выдавал он их, кажется, 12 в год), создавал какого-нибудь русского гения-самоучку, который будто бы по особенному понятию делал величайшие открытия по всем частям человеческого знания. Если и были между ними люди сколько-нибудь замечательные, то разве только потому, что они сами по себе собственным трудом доходили до решения задач, давно уже известных и одним им только неведомых.

В литературном отношении ученик Шишкова и член «Беседы любителей русского слова», Свиньин был последователем тогдашней первой славянофилской школы, враждебно относился к Карамзину и его последователям арзамасцам[493] и везде проявлял свое страстное сочувствие к допетровской Руси и отвращение ко всем иноземным нововведениям. Должно, однако, говоря о Свиньине и по этому случаю о самой «Беседе», отдать тогдашним славянофилам справедливость в том, что они все вообще не дерзали еще тогда касаться с хулой ненависти к гиганту между гениями, по выражению Наполеона I, Петру Великому. Следовало бы мне хотя слегка взглянуть на тогдашние «Отечественные записки», чтобы припомнить самому себе и другим, за что именно в то время так ненавидели этого Свиньина, в свою очередь, все литераторы других кружков, кроме Шишковского. Наружность его была самая порядочная и приличная, а разговор гораздо интереснее, чем всех прочих кикинских посетителей.

Бывал еще у Кикина, и очень часто, другой литератор, но уже пожилой и также своеобразный – Павел Иванович Сумароков, отец нынешнего графа[494]; он был незадолго перед моим с ним знакомством новгородским губернатором. Он имел в то время великое гражданское мужество в чем-то идти наперекор всесильному Аракчееву, новгородскому помещику, и потому вынужден был выйти в отставку. В правительственной сфере и в подчинявшейся ей среде петербургского общества считался он человеком беспокойным, брюзгливым и неприятно резким и был как бы в опале у государя. В других противоположных кружках, напротив того, Сумароков являлся героем самоотвержения, живя скромно, бедно и почти вдовцом. Жена его, урожденная княжна Голицына, сестра Норовой[495], была помешанна, сын служил штабс-капитаном в гвардейской артиллерии, а умная и говорливая пожилая его дочь[496] проживала у каких-то Голицыных, своих родственников. Первыми литературными трудами Сумарокова были «Досуги крым-

---

* «написал» (*лат.*).

ского судьи» и потом «Поездка за границу», в которой он, недовольный всем чужим и предовольный всем своим, описал в пресмешной карикатуре все страны, им посещенные. Разумеется, он их добросовестно порицал со своей точки зрения, смеялись же не над ними, а над ним его читатели. Если не забуду, постараюсь проверить прежние на меня впечатления этой курьезной книги. Я ей, впрочем, был очень благодарен: Сумароков незадолго до моего первого путешествия был в Париже и был мне очень полезен, отчетливо выставив в своем сочинении всевозможные заграничные цены различных необходимых предметов. Независимый по характеру, он не принадлежал ни к какой литературной партии, не был членом «Беседы», но ей сочувствовал, презирая все новейшее поколение литераторов. По семейному чувству он предпочитал, между прочим, дядю своего Сумарокова как поэта и автора великому Ломоносову. Я был однажды свидетелем весьма интересной литературной, вернее сказать, ругательной схватки между двумя потомками этих двух великих писателей давно минувшего времени. Соперницей в споре с Сумароковым была девица Константинова, внучка Ломоносова[497]. Спорили, а потом бранились они между собой за обедом у Перекусихиной, к соблазну десятка собеседников. Старушка хозяйка долго с негодованием их слушала и насилу их угомонила[498].

Перебрав, сколько мне пришло на память, более или менее все крупные личности, посещавшие дом Кикина, перехожу к двум-трем из мелких, которые особенно являлись туда к обеду и преимущественно в воскресенье и праздничные дни. Гостеприимство этого дома было широкое, вполне русское, а потому и вполне беспорядочное. С утра никто из хозяев (а их было полноправных четверо: две старушки, Марья Саввишна и ее племянница, Тарсукова, да чета Кикиных) не знал, кто пожалует к обеду, т.е. к 3 часам дня, и мне часто случалось быть за их столом впроголодь, в чем, впрочем, никто виноват не был. Недостанет бывало для всех какого-нибудь блюда, и я первый, как юнейший из собеседников, подвергался детскому наказанию: остаться либо без жаркого, либо без пирожного. Прибежит к столу какой-нибудь тринадцатый, и меня сажают или высаживают за особенный стол. Меня это не оскорбляло, а забавляло и удивляло. Я смотрел на такой ежедневный обычай как на изнанку хваленого нашего хлебосольства. Из этой категории посетителей самый замечательный, какой только был между ними, был старик Иванов, когда-то очень благотворительный богач, что-то такое учредивший вроде какого-то благотворительного заведения. Он иногда при безденежьи ссужал из своего кармана кикинскую семью и завоевал себе этим право обедать у них, когда ему было угодно. Дожив до глубокой старости, Иванов сохранил один только желудок, не говорил, а мычал и ел с отвратительною жадностью. Карлик Анчаков, из грузин, был принимаем охотно для вистов и служил предметом иногда очень грубых шуток Кикину.

Восьмилетним мальчиком взят он был в какой-то деревне у своих родителей в плен буйной толпой Пугачева, отец и мать его были повешены, а его сняли с веревки еще с признаками жизни, когда эта толпа почему-то предалась бегству. По этому-то случаю каждый раз предсказывалось ему, что он непременно потонет, по верному сравнению с пословицей: «Кому быть повешену, тот не утонет». К удовольствию нашей домашней публики, он как-то вскоре женился на такой же, как и сам, лилипутке, и из них вышла премилая пожилая парочка. Болтливым гостем бывал там часто один морской офицер молодых лет Александр Дмитриевич Валуев; он привез на своем военном корабле в 1815 году Кикина из Англии и пользовался как услужливый и знаменитый путешественник, бывалый в Англии, всею свободою несколько нахальной речи[499]. Его сосватали Кикины на родственнице нашей, Языковой, старшей сестре Екатерины Михайловны Хомяковой[500], необыкновенно красивой молодой 20-летней девице, которая отличалась, как и все Языковы[501], необыкновенной дикостью, так что я, несмотря на всю мою короткость в их семье и даже ухаживанье за ней, когда она была невестой, к явному негодованию и сватов, и самого жениха, никак не мог добиться – была ли она сколько-нибудь умна. С хвастуном-мужем жила она недолго и оставила по себе четверых детей, из коих один, Дмитрий, был необыкновенно даровитый и в то же время красивый юноша, работящий и смышленый труженик возникавшего уже тогда общества славянофилов, издавший «Детскую библиотеку», «Симбирский» и еще какой-то сборник[502]. По выходе из университета он весь предался страстному изучению напущенного на него славянства и от усиленных трудов и изысканий, которыми никак не могли быть удовлетворены пылкие, возвышенные стремления его даровитой юности, впал в злую чахотку. Присутствию в нем этой тяжкой болезни долго не хотел верить наставник и учитель его, Алексей Степанович Хомяков, и лечил гомеопатией, как обыкновенную лихорадку. Друг дяди его, поэта Языкова, московский знаменитый врач Иноземцев[503] убедился, наконец, сам, что у Валуева чахотка, уверил в существовании ее и других членов кружка, способного увлекаться верою в мечты и сомнением в действительность, отправил, наконец, Валуева в чужие края в позднюю осень и уже полумертвого. Его довезли до Новгорода, где он и умер 23 ноября 1845 года. Из всех изданных им сочинений самым замечательным была обширная статья о «Местничестве», над которой отчасти трудился он на моих глазах и уже страждущий в нашем Солнышкове. Надо, однако, сказать, что, с одной стороны, запутанность избранного им, никем еще не разработанного предмета и болезненное состояние автора, с другой, делали эту статью неудобопонятною, а потому и неудобочитаемою. По появлении ее в печати все наши тогдашние серьезные журналы отдали ей громкую честь на своих страницах, обещая отчетливый разбор, который, однако, нигде не явился. Несколько раз прочитывал он мне написанное им

о «Местничестве» накануне и вчерне, и когда я, что случалось часто, не мог отыскать в его выводах ясного, здравого смысла, то сам помогал ему в изысканиях, а не раз тут же набрасывал мои собственные замечания. Он принимал их охотно и добродушно, и с моего согласия они переходили в текст статьи. Кроме собственных своих усиленных занятий, юный ревнитель народного просвещения заставлял работать и всех ему близких, начиная от своего великого учителя Хомякова, которому он строго определил послеобеденное время, от 7 до 9 часов вечера писать «Семирамиду»[504], т.е. его исторические мечтания. Мне собственно срочного времени к занятию не определялось, зато под его усидчивым надзором работали охотно две старшие мои девочки, Варенька и Катенька[505], разбирая и переписывая для него столбцы. Работал для него и товарищ его Панов[506] и чуть ли не сами Иван и Петр Киреевские[507]. Ежедневно он обходил заподряженных им мастеров, наблюдая за работами, почему и прозван был мною часовщиком, поверяющим по домам всякого рода часы. Бедная его мать не дожила до того, чтобы порадоваться своим сыном, а бестолковый отец, также недолго проживши, не мог предвидеть в нем будущего кратковременного деятеля науки. К сожалению, и самая наука, которой он предался всецело, почерпаема им была из возмущенных страстями источников. С любовью остановился я на этом юноше, как на быстро отцветшем, среди песчаного пространного поля, цветке.

Перехожу не без насмешки и не без злой улыбки к перечню дам, посетительниц кикинской гостиной, и отдаю первое почетное между ними место слепой престарелой графине Анне Степановне Протасовой[508], известной наперснице Великой Екатерины во всех ее домашних тайнах. Мне она казалась ничем особенно не замечательна, и я позволю себе ожидать подробного о ней повествования от позднейшего и последнего посмертного платонического обожателя Екатерины II Петра Ивановича Бартенева[509], favori posthume*. Вторая из барынь крупной бесспорно величины была Настасья Дмитриевна Офросимова, переехавшая после своего вдовства из Москвы в Петербург для бдительного надзора за гвардейской службой своих двух или трех сыновей, из коих младшему, капитану гвардии, было уже гораздо за 30 лет[510]. Обращаясь нахально со всеми членами высшего московского и петербургского общества, детей своих держала она в страхе Божием и в порядке и говорила с любовью о их беспрекословном к ней повиновении: «У меня есть руки, а у них щеки». На этих основаниях, как уверяли, обходилась она и с дочерью. Кажется, я уже говорил о ней по случаю кончины моего отца в 1814 году и о том, как она сама вызвалась снабдить нас с теткой в это время деньгами. Она любила мою мать, которая ее страшно боялась, а отец, хотя и уважал,

---

* посмертного обожателя (*лат.*).

но избегал, сострадая угнетенному ею добродушному и кроткому ее мужу, которого она, как сама признавалась, тайно похитила из отцовского дома к венцу. Павел Дмитриевич Офросимов[511] был, однако, боевой генерал времен Потемкина и с Георгиевским крестом, носил парик и однажды подвергся за какое-то слово публичному оскорблению от жены, которая, ехавшая с ним по улице в открытой коляске, сняла с него этот парик, бросила на мостовую и велела кучеру прибавить ходу. Бойкость характера Настасьи Дмитриевны известна была обществу обеих столиц и самому императору. Надо сказать, что она всегда стояла за правду и везде громогласно поражала порок. Еще в 1809 году, когда государь Александр вместе со своей сестрой в[еликой] к[нягиней] Екатериной Павловной посещал Москву, Офросимовой удалось одним словом с выразительной жестикуляцией уничтожить взяточника сенатора С.[512] Вот как это было. Государь сидел в своей маленькой ложе над сценой небольшого московского на Арбатской площади театра[513]; Офросимова, не подчинявшаяся никоим обычаям, была в первом ряду кресел и в антракте, привстав, стала к рампе, отделяющей партер от оркестра, судорожно засучивая рукава своего платья. Увидев в 3-м или 4 № бенуара сенатора, она (заметьте, что театр был очень небольшой и зала более чем в половину уже нынешней), в виду всех пальцем погрозила сенатору и, указав движением руки на ложу государя, громогласно во всеуслышание партера произнесла: «С., берегись!» Затем она преспокойно села в свои кресла, а С., кажется, вышел из ложи. Очень понятно, что государь начал расспросы, что бы все это могло значить. Ему были вынуждены объяснить, что действительный тайный советник М.Г.С. хотя и почитается в обществе самым дельным из всех московских сенаторов, но в то же время многими, и не без вероятности, признается взяточником. Через несколько времени сенатор С. был отставлен.

Любя покровительствовать молодым людям и зная меня с моего детства, она и меня однажды сильно огорошила. Возвратившись в Россию из-за границы в 1822 году и не успев еще сделать в Москве никаких визитов, я отправился на бал в Благородное собрание[514]; туда по вторникам съезжалось иногда до двух тысяч человек. Издали заметил я сидевшую с дочерью на одной из скамеек между колоннами Настасью Дмитриевну Офросимову и, предвидя бурю, всячески старался держать себя от нее вдали, притворившись, будто ничего не слыхал, когда она на ползалы закричала мне: «Свербеев, поди сюда!» Бросившись в противоположный угол огромной залы, надеялся я, что обойдусь без грозной с нею встречи, но не прошло и четверти часа, дежурный на этот вечер старшина, мне незнакомый, с учтивой улыбкой пригласил меня идти к Настасье Дмитриевне. Я отвечал: «Сейчас». Старшина, повторяя приглашение, объявил, что ему приказано меня к ней привести. «Что это ты с собой делаешь? Небось давно здесь, а у меня еще не был! Видно, таскаешься по трактирам, по кабакам да где-нибудь еще хуже, – сказала она, – оттого и

порядочных людей бегаешь. Ты знаешь, я любила твою мать, уважала твоего отца...». И пошла, и пошла! Я стоял перед ней, как осужденный к торговой казни, но как всему бывает конец, то и она успокоилась: «Ну, Бог тебя простит; завтра ко мне обедать, а теперь давай руку, пойдем ходить!» Дочь ее, стройная и строгая двадцатипятилетняя девица Елена[515] (кажется, впервые в московском обществе начала она называться этим облагороженным именем вместо Алены) пошла с нами. Тут новая беда: вместо того, чтобы ходить, как это делали все, по краям огромнейшей залы, Настасье Дмитриевне угодно было гулять зигзагами и перекрещивать всю эту громаднейшую площадку из конца в конец. Напрасно дочь и я робко заметили было ей, что таким образом мы мешаем всем танцующим, а в это время танцевали несколько кадрилей, она отвечала громко: «Мне, мои милые, везде дорога!» И действительно, сотни пляшущих от нас сторонились и уготовляли нам путь, широкий и высокоторжественный[516].

Самой передовой дамой всего этого общества была Агафоклея Марковна Сухарева[517]. Недаром была она урожденная Полторацкая, из того недавно вышедшего из купцов семейства, в коем все братья и сестры отличались и резким тоном, и необыкновенною во всех родах предприимчивостью. Старший из братьев Дмитрий Маркович[518], изучив в Англии в последнюю половину XVIII-го столетия сельское земледелие, ввел много нового в своих огромных имениях, заводил разные заводы и фабрики и хотя немного порасстроил свое состояние, но все-таки оставил порядочный кусок вконец теперь разорившемуся[519], хотя и умному сыну Сергею[520]. Сухарева же, о которой я сейчас упомянул, кроме прирожденных в семье хозяйственных занятий, принимала тогда деятельное участие в каких-то благотворительных обществах по части воспитания девиц. Наконец, не обошлось и без дам, так сказать, литературных и политических, хотя и не пренебрегавших картами. Таких была пара, и обе девицы: одна – Хвостова[521], другая – Марья Павловна Сумарокова, чуть ли и до сих пор не здравствующая сестра графа. Тогдашние дамы самого высшего полета бывали в этом доме только с визитами и очень редко. Таковы были: la princesse Moustache*, т.е. Наталья Петровна Голицына, ее дочери Строганова и Апраксина, графиня Литта, княгиня Салтыкова[522] и прочие. У Кикиных не было обыкновения представлять молодых людей и коротким своим знакомым, потому высшее общество делалось нам этим путем совершенно неприступным. Говоря вообще, всякого рода юноши, либо родственники, либо являвшиеся в этом доме по связям с провинциальными родичами, были действующими лицами без речей, и только те, которые были, как я, посмелее с дамами и барышнями, поступали в Animali parlanti**. Самую молчаливую роль

---

* усатая княгиня (*фр.*).

** Говорящие животные (*ит.*). Вероятно, отсылка к одноименной сатире Дж. Касти.

из этих юношей разыгрывал Н.И. Бахтин. Ему очень хотелось стать на ноги и не удавалось. Хозяин, видя заносчивость своего посетителя и чиновника, всегда как будто нарочно его осекал и не давал ему хода. Самую жалкую роль разыгрывал Александр Михайлович Языков, поступивший по выходе из Горного корпуса в канцелярию; никем не замеченный, хотя и очень красивый, он приходил к обеду и уходил после кофе, не проговорив ни одного слова, кроме обычных ответов о здоровье, симбирском батюшке и матушке. Так поступали и с входившими туда со страхом, из одного приличия, разными мелкими чиновниками других ведомств, юнкерами и даже гвардейскими офицериками. Всем им было томительно скучно и чрезвычайно неловко; военные всегда были в строгой форме, застегнутой на все крючки, а часто и руки по швам, отвечая старшему по чину, юнкера без позволения офицеров не смели садиться, nous autres péquins*, т.е. штатские, всегда в благоустроенном туалете, во фраках, в панталонах под высокие сапоги с кисточками, т.е. гусарские, или, как назывались по-французски, à la Souvoroff; но черных фраков и жилетов тогда еще нигде не носили, кроме придворного или семейного траура. Черный цвет, как для мужчин, так и для дам, считался дурным предзнаменованием, фраки носили коричневые или зеленые и синие со светлыми пуговицами, – последние были в большом употреблении; панталоны и жилеты светлых цветов, а франты, каким иногда осмеливался показаться и я, позволяли себе сапоги с желтыми отворотами. Этикетная Марья Саввишна сначала на такие сапоги косилась, но потом привыкла. Она, приученая, привыкшая к фижмам и робронам, к высоким головным уборам екатерининских и павловских времен, к французским кафтанам и разным мундирам совсем другой формы, а всего более к пудре у мужчин и женщин, в последние годы своей жизни, т.е. в начале 20 годов, часто повторяла: «Все вы, как посмотрю я на вас, какие-то общипанные, как будто сейчас вышли из бани». Однажды, опоздав несколько к обеду (по тогдашнему обычаю, приходили за полчаса и ранее), вошел я в гостиную, широкие двери коей были как раз против небольшого у противоположной стены столика, за которым с двумя–тремя дамами сидела в своих креслах всегда тщательно разодетая Марья Саввишна. Взглянув на меня ласково, когда я ей почтительно поклонился, она вдруг строго и очень громко спросила: «Что ты, батюшка? Что с тобой?» Я подумал, что это был упрек за то, что явился поздно к обеду, и стал извиняться. «Не то, совсем не то, а ты посмотри на себя, каков ты сам!» Я осмотрелся и угадал сейчас же, что ей коробят глаза мои летние сверх сапог, белые, как снег, панталоны, которые более уже месяца принято было носить в первых петербургских домах. «Ну, голубчик, что же ты молчишь?» Я начал было робко объяснять историю нововведения белых панталон, она не дала мне договорить. «Не у меня только,

* мы, прочая мелочь (*фр.*).

не у меня! Ко мне, слава Богу, никто еще в портках не входит. Отправляйся домой, переоденься и непременно приезжай к обеду; я буду ждать». Нечего было делать, уезжать было не хотелось, а возвращаться еще меньше, однако, я к обеду приехал. Она похвалила за послушание, племянницы и внучка извинялись в строгости старушки, хозяин и прочие гости надо мной посмеивались. Марья Саввишна сама всем рассказывала как бы для общего урока, что она со мной проделала.

Остается мне припомнить в числе дам, коротко знакомых в этом доме, Марью Александровну Комнен, гречанку по себе и по мужу, вдову генерала этого имени[523], кажется, убитого на войне. Ко мне более всех других барынь была она ласкова и все добродушно говорила мне о своих двух красавицах дочерях, из коих одна была чудная певица, а обе воспитывались в Смольном монастыре. Лет через 30 одну из них встретил я вдовою сенатора Пещурова в Нижнем Новгороде, где она жила у дочери своей, Трубецкой, жены теперешнего воронежского губернатора. Другая сестра Пещуровой была за первым нашим посланником в Греции, Катакази[524]. Моя милая старушка Комнен, их мать, знала о том, что муж ее был одним из потомков греческого императора[525], но не слишком этим важничал, а кикинские дамы, видя кое-когда нашу с ней дружбу, подсказывали мне, что не мешало бы мне со временем посвататься за одну из них, и предлагали, чтобы их узреть в стенах Смольного монастыря, съездить для смотрин с ними на один из публичных балов этого воспитательного заведения. Я обещал, сбирался и, конечно, не собрался.

Точно так же, как это я сделал в рассказах моих о моем трехгодичном пребывании в университете, описав его за один, так сказать, присест, и четырехгодичное пребывание мое на службе в Петербурге, за исключением двух- или трехлетних промежутков, т.е. в Москве или в деревне, описываю здесь для моего и для читателей моих удовольствия без перерыва.

За исключением кикинского дома, у меня было мало знакомых в Петербурге семейных домов, в которых я бывал, как говорится, вхож. Таких домов было еще у меня всего два: семья московских Норовых, где я бывал, и охотно, и часто, и вдова друга моего отца Новосильцева, куда я являлся из-под палки. Старушка Норова, лет под 60, урожденная княжна Голицына, свежая умом и очень слабая здоровьем, переехала из Москвы с мужем[526] и двумя сыновьями, которых она определила юнкерами в конногвардейский полк[527]. Из детей старший сын, Александр, был добрый, но весьма ограниченный малый; меньшой – гораздо более развитой, не имевший отвращения к книгам и отличный музыкант. К радушной, гостеприимной и доброй хозяйке, давно отказавшейся от всех своих светских и широко родственных связей по слабому здоровью и желанию жить для одних сыновей, почти ежедневно собиралась вся конногвардейская молодежь и некоторые из других гвардейских полков, офицеров и юнкеров из лучших фамилий. У них узнал я довольно коротко и

будущего министра народного просвещения Абрама, и брата его декабриста Василия Норовых, родных племянников хозяину, равно как и племянника хозяйки, нынешнего графа Сумарокова[528]. Все трое были они старейшими из посетителей молодого поколения. К ним же на ваканционное время приезжал из Дерпта преостреньким и презабавным мальчиком Николай Киселев, недавно умерший после скорой женитьбы на итальянке, брат бывшего нашим послом в Париже графа, и теперь еще там пребывающего[529]. Коля Киселев привозил мне из Эстляндии вести и поклоны от буйного поэта Николая Языкова, с которым он и с общим их приятелем собутыльником графом Соллогубом[530] проводил разгульные вечера и ночи, предаваясь более пивному хмелю, чем постылому для них всех изучению глубокомысленных лекций немецких своих профессоров. В это время Киселев отличался замечательным даром рисовать со всех и каждого весьма похожие портреты и кое-когда забавлять и нас своими остроумными карикатурами. Все, казалось, дышало в этой семье счастьем и довольством, но хозяин[531] вел семью к неминуемому разоренью, и умная и кроткая мать семейства, видимо, с каждым днем от этого таяла, всячески стараясь подавить свое горе[532]. Вскоре потом старушка Норова кончила жизнь. Старший сын, бывший моим шафером, вышел в отставку полковником и жил, а может быть, живет и теперь в Черниговской губернии; второй, исполненный дарований, умный и честный, был несколько лет товарищем министра финансов, вышел с пансионом в отставку, прожил лет десять в чужих краях, преимущественно в Северной Италии и Швейцарии, имея везде с собой вместо жены и семьи отличный рояль Плейеля[533], и за два дня до моего возвращения из Парижа умер скоропостижно весной 1870 года[534].

Вдова Катерина Александровна Новосильцева жила в мое время в каком-то длинном уродливом доме на Сенной площади вместе с двумя своими чванными сыновьями. Старший, Александр, был еще при Наполеоне при посольстве нашем в Париже[535]. Второй, Николай Петрович (названный этим именем в честь моего отца), женатый на графине Апраксиной[536], был до самой смерти вдовствующей императрицы Марии вторым после Вилламова секретарем[537], и, как говорят, служил ей честно и усердно, но он до того был всегда застегнут на все пуговицы внешно и внутренно, что не мог внушать симпатии к себе ни хозяевам, ни посетителям дома его матери, а равно и кикинского. Мне же особенно надоедал он частыми и никогда мною не прошенными обещаниями высокой своей протекции в память моего отца. Этого было уже слишком достаточно, чтобы отбить у меня всякую охоту посещать дом Новосильцевых[538].

По неимению, как видите, большого знакомства и по тогдашнему недостатку в увеселениях другого рода, я, убедясь в непреодолимом затруднении быть членом петербургского клуба, для чего нужна была особенная и сильная протекция, сделался театралом и тотчас после Великого поста взял себе годовое кресло в 3-м ряду большого русского театра[539]. Избегая соседства,

выбрал я себе место к стенке рядом с проходом в первые ряда партера. Сначала великолепные балеты и довольно порядочные, особенно на мои тогдашние глаза, декорации и вся постановка на сцену больших русских опер меня много занимала. Переводные доморощенные трагедии того времени исполнялись также довольно удовлетворительно. По воскресеньям и праздничным дням представляли обыкновенно те самые пошлые произведения неприхотливого и необлагороженного нашего тогда сценического искусства, которые могли нравиться одному райку. Надо отдать справедливость, – на петербургской сцене были во всех родах отличные актеры. Разумеется, такими были не все, ensembl'я* иногда не было; но по сравнению с московским театром петербургский был выше во всех отношениях. В 1818 году уже перестали давать русские трагедии прошлого века Сумарокова и Княжнина[540], которыми, по воспоминанию, все еще восхищались допотопные члены державинской «Беседы любителей русского слова». Всех прошлых трагиков заменил любимый тогда публикой Владислав Александрович Озеров[541]; талантом его дорожила и императорская театральная дирекция, находившаяся под управлением вельможи и русского барина, отличавшегося остроумным празднословием, обер-камергера Александра Львовича Нарышкина[542]. Озеровские трагедии: «Эдип в Афинах», «Фингал», взятый из подложного Оссиана[543], «Поликсена» и в особенности «Дмитрий Донской» – были любимыми пьесами. В них во всех восхищала и увлекала зрителей великолепная, хотя немного и слишком народная красавица Семенова, вышедшая впоследствии замуж за князя Гагарина[544]. Еще в 1811 году соперничала она в игре со знаменитой парижской актрисой Mademoiselle Georges, и тогда в высшем обществе Москвы и Петербурга русофилы стояли за превосходство своей, а европейцы, имевшие более вкуса и менее предубеждений, отстаивали общую европейскую знаменитость. В тогдашних журналах встретить можно нескончаемые о том споры. По рукам ходили и бранные стихи, в которых поклонники Mademoiselle Georges, как и следовало, – да, к сожалению, как следует и теперь, – обзывались изменниками и врагами отечества. Впрочем, надо отдать справедливость великолепной Семеновой: у нее было много дарования, много души, и к таланту ее оставаться равнодушным было невозможно, хотя она и не всегда была верна строгой гармонии стиха, повторяя его с голоса и не имея никакого понятия о мере и цезуре. Усовершенствованием ее драматических способностей и строгим наблюдением за ее декламацией с любовью занимался известный наш комик князь Шаховской и отчасти всецело преданный успехам русского театра издатель «Семейной хроники» С.Тим. Аксаков[545].

Первою певицей нашей оперы была меньшая сестра Семеновой[546], молодая, стройная и необыкновенно красивая. У нее был приятный, обширный, но совсем не выработанный голос; она фальшивила нестерпимо и, сколько

---

* ансамбля (*фр.*).

помнится, я, по милости ее, равно и всех других певиц и певцов, ни разу не высиживал целой оперы. Это была для меня своего рода пытка. Балеты шли превосходно и преимущественно посещались высшим обществом. Все мужчины, которые были сколько-нибудь на виду, от старика до юноши, считали обязанностью посещать эти великолепные представления. Первой танцовщицей была Истомина, и Пушкин воспел ее превосходными стихами в своем «Онегине»[547]. В русской пляске, которою тогда восхищались, как в самом костюме, так и в художественном исполнении, конечно, облагороженном, отличалась г-жа Колосова, мать Каратыгиной, и француз Огюст[548].

Между трагиками и певцами больших талантов не было; Брянский[549], игравший главные роли пьес Озерова, уступал во всем дарованию Семеновой, но не портил исполнения пьесы[550]; зато певец Самойлов[551] пел лучше и вернее, нежели красивая сестрица первоклассной петербургской актрисы. Очень хорошо шла комедия, особливо сравнительно с московской сценой. Театралы обеих столиц, бывавшие в Париже, Брюсселе, Вене и Берлине и щеголявшие своим вкусом, говаривали обыкновенно, – и, по-моему, преувеличенно, – что о петербургском театре можно, по крайней мере, сказать, что он прескверный, а о московском нельзя даже сказать и этого. Петербургские комические актрисы и первая из них, Валберхова[552], отличались весьма приличной выдержкою на сцене; они не пели, не кричали и не пищали, как это бывало между русскими барынями среднего общества, купчихами и горничными, и это тем поразительнее, что нашим актрисам не было кому и подражать. Все дамы высшего общества, за весьма редкими исключениями, по-русски не говорили и говорить не умели. После Валберховой по таланту первая была актриса Воробьева I, и очень молоденькая и хорошенькая, только что вышедшая замуж за превосходного в благородных ролях Сосницкого, который и до 70 года не сходил, кажется, со сцены, подобно бессмертному товарищу своему московскому Живокини[553]. Кроме переложенных с французского в дурных переводах мольеровских комедий, охотно смотрели пьесы Шаховского и небольшие, очень удачные комедии в хороших и правильных стихах Хмельницкого[554]. Изредка давалась еще «Модная лавка» баснописца Крылова, и превосходно шла старинная комическая оперетка «Мельник» Аблесимова[555] и небольшая комедия-оперетка Шаховского «Казак-стихотворец». За всем этим русский репертуар был невелик, лучшие пьесы повторялись поневоле очень часто, и, собственно говоря, не знакомый ни с кем из театральной публики и ни с одним из актеров, совершенно равнодушный ко всем актрисам, я бывал в русском театре как бы по обязанности или оттого, что мне вечером некуда было деваться. Немецкий театр был, по уверению знающих этот язык, несравненно удовлетворительнее; на нем, к сожалению, редко давалась опера, но шла прекрасно. Была небольшая французская труппа, но, кажется, один только год. Она разыгрывала любимые тогдашние пьесы парижского театра: «Feydeau»

и «Les deux journées» Керубини, «Khalif de Bagdad», «Le nouveau seigneur du village»* Boëldieu[556]. Эти же самые пьесы игрались и на большой сцене. Больше всего забавлял меня комический балет при этой маленькой французской труппе; никто давно так меня не смешил своими прыжками и мимикой, как танцор француз André.

Живя вместе с Никольским на квартире довольно поместительной и в самом центре города, еженедельно сбирали мы разный народ к себе обедать. То были либо юнейшие из моих товарищей по канцелярии Кикина, либо наши общие с Никольским товарищи же двух поколений, собственно его и мои, по московскому университету. Немногих приглашали сбоку для карточной игры. Такими бывали из канцелярских – Бахтин, Гофман, собиратель шампанских пробок Шимановский, скромный, как красная девушка, и красивый, как она, Александр Михайлович Языков, а иногда и старший брат его Петр. Из московских – Семенов, Яковлев, Лакерда, Сафонович[557], кой-когда два брата кавалергарды Львовы[558], братья Норовы и с ними камер-паж рябчик-Голицын[559], не носивший тогда еще этого прозвания.

Возвращаюсь к своим застольникам. Обед бывал у нас не ахти роскошный, но вина много. После обеда и небольшой беседы садился я за винт часов до 9 или до 10. Никольский же, в игре необыкновенно раздражительный, сидел до поздних петухов или ранних обеден. С запоздалыми игроками я не церемонился: либо от них уезжал, либо, кончив свою партию около полуночи, уходил в свою отдаленную спальню. Встав часу в 9-м утра, не раз заставал я Никольского со своими партнерами за тем же столом, проигравшегося в пух сравнительно по цене своей игры и по небольшим своим средствам. Страсть к картам доводила его до того, что он проигрывал почти все свое жалованье. Не таков был ближайший ему и мне общий нам приятель Семенов, мудрейший и хладнокровнейший из всех тех отцов-студентов, которых я в описании университетской своей жизни называл патрициями, конечно, не по знаменитости рода, а по успехам в познаниях, вынесенных ими сперва из семинарии, а потом и из самого университета. Но вся эта мудрость, все это ничем не возмутимое хладнокровие, все это глубокое изучение энциклопедистов XVIII столетия, ровно как и современных германских философов, начиная с Канта, не могли спасти Семенова от гибели. На основании почерпнутых им из книг сведений о политических утопиях, увлекаемый всеми наглядными обольщениями представительных правлений, так еще недавно введенных во Франции и вводимых не без крови в Испании, Германии и Италии, он стремился к исполнению одной задушевной мысли – учредить каким бы то ни было путем, мирным или кровавым, представительное правление и у нас в России; сошелся со всеми тогдашними заговорщиками против самодержавия и старался более многих из них приобретать новых членов тайному обще-

* «Феидо»… «Два дня»… «Калиф Багдадский», «Новый владелец имения» (*фр.*).

ству 14 декабря 1825 г.[560] В 1818 году Семенов жил в доме роскошного и впоследствии промотавшегося графа Сергея Павловича Потемкина, женатого на великолепнейшей из красавиц, нынешней все еще изящной, элегантной старушке Елисавете Петровне Почадской. Он был наставником меньшего ее брата, князя Никиты, коротко познакомился со старшим ее братом, князем Сергеем Петровичем[561], а, вероятно, через него со всеми находившимися тогда в Петербурге членами тайного их общества. Искренно и с давних уже пор любя меня, с первой нашей университетской встречи, желал он ввести и меня в это общество, но в Никольском уже отчаивался. Часто, очень часто говаривал он нам, Никольскому, Александру Языкову и мне, о своих великих надеждах на будущее и, не разоблачая всех своих тайн, красноречиво приглашал всех троих стремиться всеми силами к этому идеалу России, который он, подобно многим, себе создал. Меня особенно, как более из всех троих толкавшегося в обществе, непременно и упорно желал он познакомить с князем Сергеем Петровичем Трубецким, Е.П. Оболенским и Федором Шаховским, равно с офицером штаба Корниловичем и с Федором Николаевичем Глинкой, который, несмотря на то, что был адъютантом Милорадовича[562], тоже принадлежал к этому обществу, Семенов в это время служил в департаменте духовных дел, коего директором был Александр Иванович Тургенев, и был очень коротко знаком с его братом Николаем, с коим также предлагал мне познакомиться как с одним из главных деятелей замышляемого преобразования России. Юношу своего Никиту приводил он иногда к нам, и я встречал его у Семенова, когда последний зазывал нас к себе. Потемкины жили тогда на Миллионной рядом с канцелярией Кикина, и я заходил бывало оттуда к нему со службы, но быть представленным им в доме Потемкиных по непобедимой моей дикости я решительно отказался. От всех же других знакомств, предлагаемых мне с известною политической целью Семеновым, отрекся уже не по дикости, а по частым и серьезным внушениям Никольского. «Это их к добру не поведет, – говаривал он мне с искренним ко мне участием, – за что же нам из одних пустяков гибнуть с ними?» Семенов никогда вполне весь нам не высказывался, но раз на возражение ему Никольского против неодолимых трудностей достигнуть их желанной цели невольно проговорился. Никольский задал ему вопрос, состоявший в том: «Положим, вам удастся склонить императора Александра к отречению от престола, хотя и это немыслимо, но что же вы сделаете с другими членами императорской фамилии? Они, подобно царствующей над нами Главе не согласятся ни на какую вашу конституцию». – «Мы, – отвечал он, – удалим их из России, или – вы понимаете – у нас есть много людей, готовых пожертвовать жизнью; они уверены, и не напрасно, что оставшиеся после принесения ими себя в жертву не останутся в крайности. Им поможет и будет им покровительствовать все наше общество».

Никольский и я, мы часто толковали наедине о сообщаемых нам Семеновым предположениях. Думаю, что и осторожный мой quasi-наставник решительно ничего не знал о существовании тогдашних политических тайных обществ, а тем не менее верил, чтобы неизвестные или предугадываемые члены оных когда бы то ни было решились привести в исполнение свои замыслы; но он все-таки боялся за меня, моей молодости, способной увлекаться всем, что с первого взгляда может казаться, молодым людям и великим и благородным. Оберегая меня внимательно в этом отношении, он не только отсоветовал мне вступить в знакомство с теми лицами, на которых указывал нам Семенов, но и убеждал во всех случаях быть сколько возможно осторожнее, чтобы невинно не подвергнуться зоркой политической полиции. Я, с моей стороны, знал уже, до чего могли быть опасны неосторожные речи и разные выходки и, дав слово Кикину хранить молчание, даже и Никольскому не рассказал о моей с начальником моим сцене. После нее мне, отрезвленному от минутного либерального опьянения, и без внушения Никольского никакие Семеновы не могли быть опасны, а по моему сдержанному и рассудительному характеру всякое политическое мечтание находил я несбыточным и даже преступным, если бы оно, что было, впрочем, неизбежно для достижения успеха, далеко не верного, потребовало хоть одну каплю крови. Точно также и на Александра Языкова, с которым Семенов так часто видался, не мог он нисколько действовать. Это была другого рода плодотворная почва; надолго осталась она во многих отношениях совсем не возделана. Не столько благоразумная осторожность, сколько языковская лень и апатия толстой корой возлегла на эту благородную почву, трудную для глубокого возделывания. Как бы то ни было, эта самая апатия была для всех трех братьев спасением, ибо ни один из них не подвергался, подобно мне, различним политическим искушениям и не приобрел, как я, в ранних притом годах молодости моей, политической опытности. Я давно собирался, не думая еще о записках, дать себе и моим детям, так сказать, отчет в моем политическом поведении, представить им во всей полноте мою политическую исповедь. Долго думал я, что мне придется притуплять мои наступательные оружия при нападении на так много пострадавших моих противников, но теперь, сверх всех ожиданий, пришло время уже не нападать на них, сохраняя в то же время и выслуженное ими уважение к их великодушным и бескорыстным, по крайней мере, относительно большого числа лиц, заблуждениям. Пришло время самому защищаться против косвенных нападений на всех нас, тогда еще довольно юных, но уже взрослых современников этой эпохи, почему мы не пошли вместе с ними и уклонились, деятельно или мысленно, стать в ряды приснопамятных тогдашних мятежников. Пришло время отвечать на недавно предложенный мне лично вопрос: почему я, честный и благородный, по мнению вопрошателя, не пристал к ним? В свое время робкою рукой дотронусь до мятежа 1825 г.

и осторожно, хотя и искренно и откровенно, изложу я мое о нем мнение[563]. Точно так же в свое время предоставляю себе высказаться, почему не принял я деятельного участия и, напротив, устранил от него себя в другую современную мне эпоху эманципации и освобождения. В первом случае могут еще упрекать мне до моих объяснений в излишнем или слишком осторожном благоразумии, предохранившем меня от 30-тилетних тяжких испытаний и от конечного разорения; но в эпоху другую, гораздо позднейшую, надеюсь, никто не упрекнет меня в закоснелой любви к крепостничеству, в желании ставить выше народного, общего блага мои жалкие, частные и далеко не верные, даже не расчетливые выгоды. Там, положим, предохранил я себя от беды, но здесь не захотел славы, отказался от всех ее обольщений, даже и от таких, которые впоследствии оказались корыстно выгодными для некоторых из ее соискателей. Итак, отлагая до времени мои объяснения, обращаюсь к моей повести за 18[-й] год.

Все это лето провел я безвыездно в Петербурге. Мне, во-первых, казалось недобросовестным на первом же году службы, хотя и бесполезной, без крайней нужды проситься в отпуск, а, во-вторых, хотелось ознакомиться с нашей северной столицей и ею полюбоваться в лучшее ее время года. Уж под конец зимы находил я особенное удовольствие ходить пешком по красивым ее набережным и по Невскому проспекту, который с 2 до 4 часов становился местом ежедневной прогулки всего модного городского населения. Император Александр имел сам обыкновение ежедневно часу в первом делать свой круг прогулки, выходя из дворца на Адмиралтейский бульвар, потом шел по Английской набережной и по Фонтанке мимо Аничкова и других мостов к Прачешному и возвращался к себе по Дворцовой набережной. На такую прогулку, которая составляла по крайней мере верст 8, надобно было до 1 $^1/_2$ часа времени. Я всегда от самого приезда в Петербург находил неизъяснимое удовольствие встречаться с благодушным государем, любоваться его кроткой и приветливой наружностью. Чтобы сколько возможно чаще пользоваться этим невинным и безотчетным наслаждением, я выбрал для моего круга прогулки противное направление, и мне очень часто удавалось встречать его величество на узкой набережной Фонтанки. Меня, кажется, принимал он за молодого иностранца из какой-нибудь купеческой конторы и раза два, когда я сходил с узкой набережной, чтобы дать ему более места, он мне вполголоса говорил: «Merci, ne Vous dérangez pas»* или что-нибудь подобное. Ежедневная прогулка пешком по широким тротуарам набережной, ежедневно и обильно посыпаемым песком, была в обычае у всех петербуржцев, и каждый москвич в этом отношении отдавал Петербургу бесспорное преимущество перед своим родным городом. Когда в середине весны, обыкновенно в

---

* «Благодарю вас, не беспокойтесь» (*фр.*).

апреле, начиналось вскрытие величественной Невы и по ней шли громадные льдины, зрелище этой великолепной реки приводило меня в восторг; жаль, что в это время обыкновенно после долгих солнечных дней при легких морозах начинались холодные ветры, а небо покрывалось серыми, свинцовыми тучами, дней через десять от первого вскрытия проходили по Неве льдины с Ладожского озера, сообщение с Петропавловскою крепостью и предместьями столицы, т.е. Петербургской и Выборгской стороной, на несколько дней совершенно прекращалось, а потом до наведения мостов через Неву совершалось на небольших лодочных перевозах или на наемных, вместо извозчиков, ялботах и небольших катерах. Все это было ново для меня, уроженца Москвы, которому наша речка того же имени казалась сравнительно жалкой и бедной. К концу апреля или в начале мая по вторичном и окончательном очищении Невы сперва показывались на ней большие суда, прежде наши с Ладожского канала, потом и иностранные небольшие купеческие корабли с Кронштадта, которые причаливали у красивой Биржевой площади. В это-то время и благотворно растворялось настежь широкое, прорубленное Петром Великим «окно» из России на Европу, и в него вносились к нам все неисчислимые блага западной гражданственности. Начинались тогда же и те длинные, долгие летние дни, какими отличается Петербург; сперва ими радуешься, а потом и они, как бессонные ночи, иным надоедают.

Ничем почти не занятый по канцелярии, кроме составления по поручению начальника каких-то в разных видах ведомостей и отчетов, которыми я поневоле надоедал всем сослуживцам, начиная от правителя канцелярии, отбирая от них до самых мелких подробностей необходимые для меня сведения, и, убедясь в бесполезности всего этого труда, я занимался им сколько возможно менее. Времени у меня было много, общественных обязанностей никаких, да они везде в столицах прекращаются с началом лета, когда и театры закрываются; и вот я начал знакомиться с Эрмитажем, музеями и всеми другими достопримечательностями Петербурга. Кикин, со своей стороны, желая пробудить меня от подозреваемой им во мне апатии, понукал меня на подобные осмотры, снабжал билетами и особенными позволениями обозреть то одно, то другое какое-нибудь казенно-общественное и даже частное собрание или же какое-нибудь благотворительное заведение. Я должен был пересмотреть их все, потому что он приставал ко мне, чтобы я давал ему, так сказать, отчет в моих впечатлениях. Враг всякого насилия, я возненавидел почти все без исключения эти предметы любопытства, впрочем, достойного, точно так же, как возненавидел несколько ранее Русский театр со всеми его трагедиями и комедиями, операми, балетами и всем его персоналом потому только, что поставил себе в какую-то глупую обязанность, будучи абонированным на целый год, бывать в нем часто. По пересмотре моем всего нужного и ненужного и по опустении самого города, откуда все сколько-нибудь зажиточные жители

разъехались по дачам, начал я гулять то в лодке, то в моих дрожках по островам и ближайшим окрестностям.

В это же время и вся семья Кикиных переехала на свою прехорошенькую дачу на Каменном острове. Она содержалась в отличном порядке; все было в ней безукоризненно чисто и опрятно, за каждым деревцем ходили, как бы за редким тропическим растением, и педантство хозяев в этом отношении доходило до того, что все экипажи должны были останавливаться у въезда с общей дороги на дачу, и нужно было приходить на довольно отдаленное крыльцо пешком. В ненастное время только для дам и почетных стариков делалось исключение. За порядком дачи наблюдал добросовестно великий по этой части приятель Кикина садовник англичанин Буш[564], который в это время заведовал Каменноостровским дворцом, где уединенно живал Александр I, и в то же время разводил императорский парк на Елагином острове, возле Крестовского. Г[осподин] Буш был не простой садовник, а художник по части садоводства; у Кикиных его любили и уважали, и он бывал у них постоянным летним собеседником. Скажу кстати, что в этой семье почему-то пред всеми иностранцами особенно уважали англичан; их, видно, любила Екатерина II, а у нее переняла и Марья Саввишна, другом коей особенно был лейб-медик Екатерины Рожерсон[565]. Англичанин доктор императора Александра часто у них бывал, а домашним врачом всей семьи и другом дома был тоже англичанин, престарелый доктор Симсон[566], современник Рожерсона. Дамы его семейства, истые островитянки и очень в своем роде красивые, бывали у Кикиных хотя и редко, но всегда принимались с дружелюбием и почетом. Марья Ардалионовна сама казалась англичанкой, говорила на этом языке и любила его литературу.

В это лето 1818 г. в первый, кажется, раз открыто было правильное пароходное сообщение с Кронштадтом[567]. Оно было частным предприятием богатого английского негоцианта и вместе с.-петербургского первой гильдии купца Берта[568], который первый ввел пароходство в России и коему на его верфи и при его уже огромном заводе поручено было как знатоку дела исправление и наблюдение за казенными пароходами. Первое небольшое двухчасовое мое путешествие в Кронштадт на бертовском пароходе мне очень понравилось, и я не один раз в одиночку и с приятелями туда отправлялся. Только что сядешь, бывало, на такой пароход и можешь уже себя считать не в России, а в Англии: от капитана до последнего матроса и до служителя при буфете, а вероятно, и повара – все было перед вами английское. Отличная баранья, настоящая, а не наша неудачно подражательная котлета и выписной прямо из Англии картофель с различными тамошними солями и красным перцем и в заключение славного завтрака английский красный сыр или честер, chester-cheese, с полбутылкой – либо мадеры, либо портвейна (к сожалению, я никогда не мог привыкнуть ни к ale*, ни к портеру) были для меня исключительно ред-

* элю (*англ.*, *фр.*).

ким гастрономическим услаждением, а когда, бывало, останешься ночевать в кронштадтской английской таверне, где за длинным табль-д'отом на особенных столиках обедали, а по-нашему, московскому, вернее сказать – ужинали, корабельный капитан и шкипера и всякого рода той же нации негоцианты и их приказчики, где даже наши морские офицеры говорили больше по-английски, чем по-русски, то вас так и обхватывала со всех сторон всемогущественная в Нептуновом царстве Великобритания. Она же, казалось, радушно приглашала нас в небольшую, вроде корабельной каюты, чистенькую комнату с такой постелью и всеми ее принадлежностями, о каких вы и понятия не имели в Москве, да очень редко могли встретить и в самом Петербурге. Мне внушено было Кикиным осмотреть в подробности и самый Кронштадт со всем его морским устройством, казенной и торговой верфью, огромной канатной и другими фабриками и заводами.

Раз в каждые две недели я непременно этим летом бывал в Кронштадте. Однажды моим спутником туда был один морской отставной офицер, несколько меня старше, и предложил мне переночевать в таверне и на другое утро после английского luncheon* переплыть залив, чтобы осмотреть Ораниенбаум и уже оттуда возвратиться в Петербург в экипаже. Погода была тихая, ничто не предвещало сильных ветров, тем менее бури. Купеческая гавань, защищаемая стенами от напора морских волн, была спокойна, как бы на деревенском пруду. Мы взяли небольшой катер с одним рулевым и двумя гребцами и условились с ними в том, что они перевезут нас за целковый к пристани Ораниенбаума. По прямой линии между Кронштадтом и последним всего считалось 7 или 8 верст, много-много час плавания. Когда мы садились в лодку, откуда ни взялись две-три огородницы из Ораниенбаума и выпросили позволение плыть с нами. Не успели выйти мы из гавани и несколько сажень отплыть, вдруг поднялся ужасный ветер и долго мешал нам установить паруса, грести было невозможно. Мне стало боязно. Оглянувшись кругом себя, я увидел, что на всем этом огромном пространстве, доступном зрению, наш ничтожный катерок был один-одинешенек. Тут начали волны перебрасываться через борт. Сам предвидя очень неутешительный, но единственно возможный ответ, я все-таки спросил у рулевого, придет ли к нам кто-нибудь или что-нибудь на помощь, когда мы станем тонуть. «Помилуйте, ваше благородие, – отвечал рулевой, – вы и сами видите, что вблизи нас, да и вдали нет ни одного суденышка, а если нам суждено потонуть, чего избави Бог, то мы меньше, чем в пять минут утонем». Тут взглянул я на товарища-моряка: он сидел бледный, как полотно, и шепотом признался мне, что ему еще никогда не случалось и в открытом море подвергаться такой близкой и почти неминуемой опасности. Рулевой и гребцы пригласили нас и приказали

---

* второго завтрака (*англ.*).

трем нашим бабам вычерпывать из лодки воду, которая ежеминутно в ней умножалась от перебрасываемых через борт волн. «Есть ли надежда, что мы доплывем?» – спросил я опять у рулевого. Он снял фуражку, набожно перекрестился, отвечая: «Как Бог велит». Тут мы усердно принялись молча за неблагодарную работу выплескивать из катера воду; вместо того, чтобы нам помогать, здоровенные наши товарки с воплями и криками то вставали с места, то, бросаясь на колени, нараспев молились со всевозможными по русскому обычаю причитаниями, их отчаянные телодвижения увеличивали и без того угрожавшую опасность, и все мы должны были их связать. Ветер час от часу, вернее сказать, с каждой минутой, которая казалась для нас более часа, усиливался, но он, переменив направление, дозволил, наконец, лавировать, т.е. забирать гораздо правее от Кронштадта и уже перестать думать об ораниенбаумской пристани в надежде отыскать убежище, где бы то ни было. Так мы и сделали. Первый поднятый нами парус от сильного порыва ветра сломался, по счастью, был запасный, и мы, измученные работой, измоченные до последней нитки, по захождении солнца, часов в 10, пристали, наконец, к какой-то рыбачьей слободке верстах в 10 от Ораниенбаума на его же берегу. Началась перед дымной печкой, вроде такой, какие бывают в наших курных избах, сушка платья и самый скудный ужин. Тут мы ночевали на соломе и, отсмотрев Ораниенбаум, утром другого дня, через Стрельну, дачу Константина Павловича[569], возвратились на троечной телеге в Петербург.

Другою на целые сутки прогулкою была поездка наша с Никольским, Языковыми и двумя или тремя старыми товарищами по университету на Петергофский праздник в день именин императрицы Марии Феодоровны, т.е. 22 июля. Не найдя места на пароходах, так как все они были переполнены, уселись мы все на большом катере, где тоже была великая толпа разнокалиберного люда. День был чудный, но при ветре, хотя и умеренном, однако, противном, поднялась неизбежная в этом случае качка. Все наше общество, не привыкшее к морю, подверглось вдруг, как бы по сигналу, прегадкой болезни[570], и первыми мои товарищи, и из них Никольский. Картина была пресмешная и вместе с тем преотвратительная; неудержимое расположение смеяться спасло меня от подражания. Болезнь не мешала спутникам между собою спорить, браниться и почти драться. Каждый, а особливо каждая из купчих и мещанок старалась уберечь свое ярких цветов платье от посторонних излияний – inde ira*. Шатаясь, как пьяные, вышли мы на петергофский берег у скромного, особняком выстроенного на взморье дворца, против Кронштадта. Это небольшое здание называлось Монплезиром (mon plaisir) и было построено еще Петром Великим. По всему обширному саду, или, скорее, парку с террасами и великолепными фонтанами, вроде Версаля, толпилась

---

*оттуда гнев (*лат.*).

чуть ли не половина петербургского населения и глазела на разъезжавшие по широким аллеям императорские и придворные линейки. Иные пили чай на траве, другие полдничали или обедали тем, чем запаслись в городе. Я пошел отыскивать небольшой, принадлежащий Петергофскому дворцу флигелек, отданный на этот праздник в распоряжение статс-секретаря Кикина, и остался с ними обедать. У них был очень хороший обед и славное вино из дворца, но, не желая изменить товарищам и опасаясь, чтобы они не упрекнули меня в желании перед ними похвастаться моими придворными связями, я отказался от приглашения иметь у них ночлег, хотя и очень тесный, но все-таки под крышей, а не под открытым небом. Спутники мои распивали чай, вино и пиво и кой-чем закусывали. Настал вечер, зажгли великолепнейшую иллюминацию, какую я когда-либо видел. Самсон, раздирающий льва (фонтан), осветился различными огнями; в разных углах обширного сада полковые оркестры разыгрывали лучшие увертюры и марши того времени. Толпа двигалась от тесноты нога за ногу. Государь и вся императорская фамилия, весь дипломатический корпус и все придворные опять стали разъезжать в пышных нарядах и в парадных линейках по парку. Затем начался в залах дворца придворный маскарад, на который каждый, не совсем безобразно одетый, имел вход. Жара сделалась невыносимою, и нелегко было пробраться через теснившуюся толпу зрителей, чтобы увидать, хотя одним глазом, как по этим коридорам, стены которых образовались сами собой из посетителей, проходили польским[571] государь, царская фамилия и всё, что было в мундирах и бальных костюмах. Любопытные смотрели на все это с жадностью, участники маскарада, в свою очередь, с любопытством смотрели на разноцветную толпу. Но дышать становилось тяжело, и мы опять стали бродить по саду, до поздней ночи освещаемому огнями и оглашаемому военной музыкой. Усталые гуляющие располагались каждый, как мог, ко сну. Спящие представляли живописные кучки. Ночь к утру становилась свежа, каждый кутался, насколько мог, а за неимением никаких средств против свежего воздуха поневоле искал и находил тепло и опору в своем соседе. Мы также прикорнули в саду и утром потянулись к первому пароходу, чтобы вернуться в город. Как ни болезненно было всем моим товарищам вчерашнее плаванье, но извозчиков было так мало, а которые были, просили с нас так дорого, что пришлось опять плыть с такою же толпой и на таком же, как вчера, катере. Возвращение было покойнее.

В это же лето был я с моими приятелями в Царском селе и Павловске. Не стану их описывать: они слишком известны всем и очень мало мне, я был в них всего один раз. Прочие петербургские окрестности мне совсем неизвестны.

Зиму 1819 г. прожил я в Петербурге так же однообразно, как и мою первую в этом городе. Та же канцелярия, те же два-три знакомых дома (новых почему-то не прибавилось), те же небольшие обеды и карточная игра у меня и тот же театр, надоедавший мне пуще прежнего. Все шло по-старому, приба-

вилось разве более тесное сближение с братьями Языковыми. Два старшие зажили вместе, из Дерпта иногда наезжал к ним поэт и студент Николай. Кажется, в этом же году второй брат из Языковых отправлен был мною в Симбирск после внезапной смерти их отца, чтобы повидаться с матерью и сестрами. Я имею полное право сказать, что он был отправлен именно мною. Взяв у Кикина тотчас же по получении письма о кончине его родителя ему отпуск и по нем подорожную, наняв троичную повозку и приказав уложиться камердинеру Языковых Моисею, я объявил Александру о смерти его отца, велел подать ему дорожное платье и доложить, что лошади готовы. Все это было сделано мной для того, чтобы не было длинных сборов. Таков был и таким до сих пор остался апатичный мой приятель Александр Михайлович Языков.

* * *

Прожив в Петербурге безвыездно целый год, в мае 19[-го] года отправился я на целое лето и осень в отпуск в родную Москву, потом в подмосковное и в Михайловское. Последним управлял еще по-прежнему тот же Шилов, сам же я начинал присматриваться внимательнее прежнего к деревенскому хозяйству и всего более к быту крепостных крестьян. Вникая в их положение, ничем не определенное, с одной стороны – ленью, пренебрежением и обычаем помещиков и их управляющих до крайности распущенное, а с другой – произволом, капризом и вековыми предрассудками самих владельцев и их приказчиков стесняемое, я терялся в стремлениях моих хорошо и по возможности справедливо отправлять в отношении крепостных мои человеческие обязанности. На каждом шагу встречали меня с обеих сторон вечные обманы и постоянная ложь; управляющий и сельские власти, особливо наемные, стояли за строгое отправление барщины, крестьяне – за ненарушимое соблюдение некоторых льгот, им издавна данных или мало-помалу ими у барщины отбитых разными хитростями. Довольно было для меня двухмесячного пребывания в этом издельном имении с большой запашкой, чтоб убедиться, сколько при крепостном труде без всякой пользы теряется времени, как иногда берется работников на какое-нибудь дело в десять раз более, нежели нужно, как все господское расхищается, воруется и, что всего досаднее, утрачивается вдвое, втрое больше, чем от воровства, пропадает киньмю (выражение простонародное, если не всем известное, то очень верное, – оно указывает то всякое добро, которое в огромнейшей массе на пространстве России у казны, у владельцев, у купцов – одним словом, у всех, кидается по пустякам). На весь этот существующий беспорядок у меня и около меня у других смотрел я с юношескою горячею грустью. Не очень-то приятно было иметь вечно перед глазами эту массу зол, но перешагнуть через нее или даже окольным путем найти всему этому выход была такая задача, которую и современная нам

спасительная для человечества эмансипация не вполне удовлетворительно разрешила. Внушения управляющего, его помощников, равно как и советы соседних помещиков, разных попов и купцов, торгующих хлебом, меня, однако, не развратили. Я оставался и остался всегда на стороне крестьян, хотя с каждым годом опыта приобретал более и более верные понятия о их испорченности, о их ужасающей безнравственности. Гораздо строже, а может быть, и слишком пристрастно, смотрел я на дворовых; их и у меня после отца, хотя и гораздо менее сравнительно, чем у других, считалось до 200 человек обоего пола и всяких лет. Они повсюду в России начинали образовывать какую-то особенную касту, уничтожение которой, хотя для этой касты весьма тяжелое, есть одно из первых благодетельных последствий освобождения. Все эти слуги и служанки барского дома, особливо же богатого, старинного или по крайней мере не очень нового, считали себя перед крестьянами какими-то аристократами, а перед барином выставлялись имеющими какие-то ничем неопределенные родовые права и гордились если не своими собственными, то отцовскими и дедовскими заслугами у своих настоящих или отшедших господ. Несносные претензии этого крапивного семени[572] меня выводили из терпения, и я их с первой моей встречи возненавидел и столько же во всю мою жизнь, смею в этом признаться, был добр к крестьянам вообще, сколько суров, а может быть, и несправедлив к дворовым. Да оно и немудрено после проделок, которые они со мною пробовали делать. Вот пример. В нашей дворне было штук восемь не старых еще женщин и девок, которые служили при моей матери или при моей тетке. Некоторые из них были удалены последней за разные грешки и слабости человеческой природы. Француз, мой камердинер, который смотрел и на крестьян, и на дворовых, как на диких и был к ним не очень благосклонно расположен, доложил мне, что у нас после 10-дневного пребывания в Михайловском нет чистого белья. Я имел глупость прогневаться на такой беспорядок. «Как, – сказал я, – а вся эта сволочь?[573] Все эти барские барыни и девки? Неужели не могут выстирать?» – «Они говорят, что это не их дело и что они и не умеют». По моей неопытности и желанию сохранить за собой популярность я не знал, как поступить: «Чистое же белье, – думал я, – все-таки необходимо». Призван был на совет Шилов. Нимало не затрудняясь, предложил он, когда я не согласился на розги, другой способ. «Прикажите прекратить с этого же дня выдачу на этих женщин месячины» (то есть положенного им содержания мукой, крупой, солью и так далее). Я их призвал и объявил мою решительную волю. Бросились они целовать у меня ручки, кланялись в ноги, но, получив отказ, белье вымыли. Так и во всем другом.

Вблизи от господского дома на видном и красивом месте выстроили они себе, каждая семья особо, какие-то безобразные закутки, где размещалась вся их птица: всепожирающие утки, хищные гуси и куры, коровы, гуляющие

везде телята и порядочное количество свиней. Весь участок земли, отданной им под поселение, и огороды, и произвольно приобретенные ими места для закуток – все это было в беспорядке, грязи и сору. Оставленные на произвол судьбы гуси портили луга, истребляли капусту и огородную овощь, телята не выходили из яровых полей, а проклятые свиньи бегали повсюду и везде рыли и портили и деревья, и посадки, и дерн. Этим ненавистным мне животным объявил я и продолжаю еще доселе объявлять непримиримую войну. К сумме всех этих зол крепостного быта прибавьте бессовестное исправление каждого барщинского урока, ежедневные потравы в полях, лугах и лесах заказных покосов, частую кражу леса, а нередко и хлеба и разных других хозяйственных материалов и следовавшие затем в случае открытия разных проступков допросы, истязания и телесные наказания – все это, взятое вместе и повторяющееся ежедневно, превращало в мучение даже при самой благоприятной погоде деревенское пребывание для каждого чувствительного и более или менее идиллически настроенного сердца, портило кровь, раздражало воображение и отвращало от всякого полезного труда. Между тем выход из такого тяжелого положения представлялся невозможным, да таков он был и на самом деле до самой развязки крестьянского вопроса. Не скажу, чтобы и теперь отношения прежних помещиков к прежним крепостным шли, как бы хотелось или как бы следовало, но, избавившись раз навсегда от произвольного и даже невольного самоуправства, мы освободились по крайней мере от тяжкого греха, камнем лежавшего так долго на нашей совести.

Убедившись, к сожалению, в том, что мой управляющий Шилов запивает и ведет свое дело час от часу небрежнее, я начал помышлять о том, как бы моему хозяйству дать сколько-нибудь правильное и прочное управление. Николай Сергеевич Тарасов, муж воспитанницы моего отца, жил тогда с женой и семьей в небольшом своем имении в Шацком уезде Тамбовской губернии, верстах в 200 от нашего Михайловского; туда отправился я в сентябре для переговоров и за советами по хозяйству к этому практическому помещику, не имевшему, кроме полезной рутины, никакого понятия о рациональном хозяйстве. Он согласился осмотреть Михайловское и внимательно обозреть управление Шилова. Сам я отправился от Тарасовых в Москву. В ней нашел я возвратившихся из Симбирска двух моих теток Обресковых; о меньшой, Варваре Васильевне, очень недалекой и больной девице, упоминаю для счета. С ними приехала и меньшая моя двоюродная сестра Обрескова, Варенька, сестра же ее постарше, бойкая Наташа осталась в Симбирске, вышед там замуж за некоего Мельгунова. Разводная Александра Николаевна Николева, бывшая последней приятельницей моего дяди Николая Васильевича и после его смерти примирившаяся с теткой Марьей Васильевной, им также сопутствовала и поселилась, не помню, вместе или в соседстве с ними.

С этого времени начались мои драматические приключения, и я в первый раз с тех пор, как начал писать мои «Записки», затрудняюсь, как начать и продолжать внутреннюю мою исповедь. Все тогдашние впечатления во мне совершенно изгладились, все воспоминания о первой моей любви, о том времени, которое столько людей считают блаженнейшим из всей своей жизни, во мне стушевались, и на фоне пространной картины, изображающей, насколько возможно, всю мою жизнь, остались какими-то темными пятнами, не имеющими ни поэтического и никакого другого смысла. С другой стороны, на совести моей долго лежал упрек, что я, может быть, своею очень неглубокою страстью погубил всю жизнь юного существа, которое любило меня так искренно. И скучно, и грустно обо всем этом рассказывать.

Между нами, мной и Варенькой, скоро началась очень тесная, слишком тесная дружба. Она в ней не сдерживалась, я против воли тоже поддался неизвестному еще мне чувству или, скорее, скрепя сердце, должен сказать – чувственности. Тетка предоставила нам полную свободу слишком короткого обращения. Если бы я был способен, с одной стороны, к страстным увлечениям, если бы не был в то же время настолько, однако, опытен, чтобы воздержаться и не довести до падения страстную в своей невинности Вареньку, то я бы погубил ее окончательно.

Странное дело, в продолжение двух-трех месяцев ежедневных свиданий я не подозревал в ней любви ко мне и только накануне предположенного мною отъезда в Петербург узнал из ее записки о необузданной ее ко мне страсти. Благоразумие, никогда меня не покидавшее, требовало немедленного удаления, но я, увы, на этот раз изменил своему характеру, уступил очень понятному чувству жалости и не устоял против всех обольщений невольно возбужденной мною любви. Одним словом, я еще на целый месяц остался в Москве[574].

Дружелюбно расположенная лично ко мне Анна Константиновна Кикина[575], первая из всех близких наблюдательниц, откровенно высказала мне, что моя страсть к двоюродной сестре, вернее сказать, – ее ко мне, не приведет нас к добру, что по нашим законам, тогда гораздо строже соблюдаемым, нежели теперь, и по обычаю брак между нами невозможен. Я убедился в справедливости этих слов, но сладить с собой не мог и из Москвы не выезжал. Друг мой Кикина в это время страдала злою чахоткой, которая развивалась в ней быстро. Предчувствуя близкий конец, призвала она меня однажды ранним утром к своей постели и с невозмутимым спокойствием объявила мне, пораженному ужасом, что она через неделю должна умереть. Меня это сильно взволновало и расстроило. Ее поучительная твердость духа меня, однако, успокоила; мне некогда было ни ее разуверять, ни себя утешать, когда она тут же объявила свое желание, чтобы я составил формально духовное ее завещание. Чтобы облечь оное всеми законными формами, я поехал за советом к

прежнему моему профессору Николаю Николаевичу Сандунову. Этим актом, ею и свидетелями подписанным, отдавала она все свое имение нелюбимому ею мужу, открываясь передо мною в том, что она сама перед ним и детьми много, много виновата. Поблагодарив меня за услугу, сказала она мне уже почти умирающим голосом: «Теперь все со мною кончено, от тебя же требую я, чтобы ты сегодня или завтра непременно уехал в Петербург, не дожидаясь моей кончины. Тебя моя смерть расстроит, и сверх того я не желаю, чтобы ты был невольным свидетелем всей той развязки моей жизни, которая обнаружится»[576]. Я дал слово, сдержал его и действительно за два дня до ее смерти отправился в Петербург, к великому горю моей Вареньки[577].

С первого же дня моего отъезда из Москвы в Петербург началась между нами, мной и Варенькой, почти ежедневная переписка, не отличавшаяся от всех ей подобных[578].

Служебная и общественная моя жизнь в Петербурге шла по-прежнему так вяло и пошло, что о ней и говорить нечего, разве одно то, что в театр стал ездить я реже, а играть в карты чаще, но никогда по большой. С ранней весны отправлялся я в отпуск хозяйничать в Михайловское и на перепутье засиживался подолгу в Москве. Там останавливался я у тетки Елены Яковлевны и прекрасно помещался в двух комнатах мезонина. Она сперва жила в доме, нанимаемом у моего двоюродного брата Василия Обрескова, а потом купила себе небольшой домик в Мерзляковском переулке. Тепленькая моя страстишка не мешала мне, хотя и редко, предаваться юношескому умеренному разгулу. Лучшими тогдашними моими друзьями в Москве были нежный Новиков, саркастический и умный Михаил Дмитриев и пьяный полиглот Курбатов. Иногда звал я к себе обедать всегда чопорного и накрахмаленного Дмитрия Голохвастова и не выходившего из-под его надзора доброго, бесхарактерного малого, брата его Николая. За моими обедами всякий раз до положения риз напивался Курбатов и нас то тешил, то пугал своими шутками. Однажды, напр., проходящего мимо растворенных окон важного и сурового всею своею поставою бывшего министра И.И. Дмитриева, родного дядю Михайлы, громко звал он к нам на выпивку. На другой же день дядюшка отблагодарил племянника за такое лестное от друзей его приглашение и позавидовал ему в том, что у него такое прекрасное общество. Поэт Дмитриев всегда отзывался насмешливо, язвительно. Узнав о головомойке приятелю от дяди, мы долго с Новиковым к старику Дмитриеву не являлись, но удалой Курбатов был у него на другой же день и хорошо был принят. В другой раз полупьяный тот же Курбатов как-то без галстука и жилета – хорошо еще, что в панталонах, – улизнул из дому, и кучера́ едва догнали его у Никитских ворот и помешали гулять по Тверскому бульвару.

Любовь моей Вареньки более и более усиливалась. Если не тетка, то, вероятно, А.Н. Николева или сестра Шеншина и ее Пассек[579] доказывали

Вареньке возможность за меня выйти замуж. Однажды Пассек-муж решился говорить мне об этом серьезно; у него одного достало на это смелости. Замечательно, что никто никогда из людей самых мне близких и доброжелательных к Вареньке и ко мне не решался ни одним словом намекнуть мне на все это. С тех самых пор и доселе я всегда вел себя так сдержанно, не допуская интимных со мною обо мне собственно бесед, а между тем в семье Обресковых промежду братьев и сестер, теток, племянников и племянниц был я передаточной сумой, в которую бросали они все свои сплетни и друг на друга жалобы, часто требуя от меня, чтобы я был между ними посредником. Но Пассек меня приструнил и приказывал подумать и дать ему ответ решительный. Я отвечал, что прежде, нежели скажу да или нет, должен собрать все необходимые справки о возможности брака между такими близкими родственниками. За этими сведениями обратился я к Семенову, служившему в министерстве духовных дел. Ему более, нежели кому-либо другому, удобно было разрешить мой вопрос на основании существующих законов и примеров судебной по духовному ведомству практики. Он отвечал мне отрицательно и в то же время убеждал меня не делать глупости – жениться в такой ранней молодости и при таких едва преодолимых затруднениях, а проезжая раз через Москву, сообщил мне Бог ведает откуда дошедшие до него слухи, – пожалуй, им же самим выдуманные, – будто бы в самое это время моя Варенька кокетничала с другим[580]. Правду ли или полезную для меня, по его мнению, ложь писал мне Семенов, я не узнал, как ни добивался, впрочем, и то сказать, какая же молодая девушка в свою меру не кокетничает, многие даже через меру. Препятствия к соединению нашему с Варенькой ей я не объявлял, успокаивая ее тем, что, отправляясь на зиму в Петербург (это было осенью 1820 года), в пребывание мое там буду разузнавать, есть ли какая-нибудь возможность женитьбы между двоюродными. Я имел в виду два примера: оба не разрешали, но увеличивали затруднения. При Екатерине старший из пяти братьев Орловых, князь Григорий, по охлаждении страсти к нему императрицы женился на двоюродной сестре своей Зиновьевой[581]; в России смотрели на это сквозь пальцы, однако, он должен был увезти жену в чужие края и там основать ей постоянное местопребывание. Княгиня Орлова вскоре умерла почти в первой молодости злой чахоткой и не оставила детей. Она похоронена в Лозанне, в соборной церкви, даже прах ее не перевезли на родину, как это до сих пор в обычае между русскими, не только такими знатными, как Орловы, но и у всех семейств среднего состояния. В тогдашнем обществе, да и в семье Орловых, все без исключения осуждали такой брак как противный церковному и гражданскому закону и почитали особенно счастливым, что у Орловых не было детей, которые ни в коем случае не могли бы быть их наследниками. В то время, когда я брал справки, мне представляли другой известный в обществе подобный случай: флигель-адъютант Мансуров незадолго перед

моим возвращением в Петербург тоже женился на двоюродной сестре, княжне Трубецкой[582]. Он просил разрешения у самого государя, в чем ему было отказано в России с советом отправиться за границу и жить там постоянно. Как человеку, находившемуся под особенным покровительством двора, чем со своей стороны пользовалась и его жена, ему дали место и видное, и выгодное – военного агента в Берлине, а потом посланника. Но, несмотря на все эти недоступные для многих, а в том числе и для меня исключения, Мансурову, как прежде князю Орлову, объявлено было наперед, что если будут от их брака дети, а от других ближайших их наследников поступят просьбы и жалобы против незаконности таких брачных союзов, тогда подобные браки расторгаются и дети признаются незаконными. Всего этого слишком было достаточно для меня, чтобы покориться закону необходимости, да, правду сказать, я и без того не очень хотел жениться в таких ранних годах, да еще навязать себе на шею столько хлопот. Но бедная Варенька в таком была отчаянии, что, как я ее ни уговаривал, одним только мог ее успокаивать – задуманным мною намерением ехать в чужие края и там отыскать уголок, чтобы, обвенчавшись где-нибудь тайно в России или за границей, с ней приютиться. Она, предчувствуя будущее, ничему этому не верила, и, однако, это сколько-нибудь да ее успокаивало, не то она, чего доброго, могла бы решиться на какой-нибудь с собой отчаянный поступок. Я же, со своей стороны, более всего чувствовал всю неловкость и запутанность моего положения, сокращал мои летние пребывания в Москве и долго оставался в Михайловском, желая ближе познакомиться с сельским хозяйством и управлением более нежели тысячи людей, считая с женщинами, которые все были в моих руках как вещественные орудия барского труда. По счастью, я уже давно не смотрел на них, как на вещи. Не имея понятия о Римском праве, положившем в главном основании своем разделение между правами личными и правами вещественными, отец мой передал мне речами и примерами те правила христианской любви к своим рабам, которые внушили ему ученые масонов и мартинистов. Я уже сказал о первой моей встрече в 1817 г. с кн. Хилковым. С того времени каждое лето видался я с ним почти ежедневно. Намереваясь подробно говорить о нем как о человеке весьма замечательном по редко встречаемой мной в соотечественниках энергии и представить в моих записках полное изображение его характера, я скажу тут кстати только то, что, несмотря на все его благородство и на всю искреннюю любовь его к человечеству, к крепостным своим был он строг и взыскателен[583].

Задумав путешествовать по чужим краям, я пригласил Н.С. Тарасова переехать с семьей в мое имение и взять его в управление. Бывший там управляющий Шилов, отпраздновав свадьбу своей дочери со студентом семинарии, которому дано было место приходского у нас священника, умер скоропостижно от пьянства. Его-то мне и надо было заменить. Тарасов имел все дурные

привычки мелкопоместного владельца и отставного гусара, но был человек незлой и дал мне слово, которое, сколько мог, и сдержал, не разорять крестьян и не отступать от данного наказа или инструкции, как управлять ими. Первым условием порученного ему управления было не изменять крестьянского надела, не умножать числа тягловых, не прибавлять господской пашни и не требовать от крестьян никаких других постоянных работ, кроме тех, которые необходимо относятся к полеводству. Затем учрежден был по возможности правильный суд, который под председательством управляющего и помощника его бургомистра составлялся из старшин всех моих деревень, называемых вообще селом Михайловским. В-третьих, доставка хлеба на продажу определена была один раз навсегда: тягловые крестьяне возили хлеб в город Мценск за 80 верст, но не более шести подвод на каждое тягло. Когда, смотря по урожаю, нужно было продать более предположенного количества хлеба, то делалось это наймом; так же точно нанимались, когда было нужно, каменщики, землекопы и кирпичники. С этого года я задумал построить каменную церковь один, без участия такого же, как и я, прихожанина, князя Хилкова. Село Михайловское разделяется на две равные половины, мою и хилковскую. Для отправления рекрутской повинности я сам, с помощью советов Тарасова, вотчинников и старшин, составил длинный, на многие годы, очередной список, т.е. подворный порядок, по которому каждая семья исполняла эту тяжелую обязанность по числу в ней взрослых работников. Я, однако, как неизбежное зло крепостного права должен был допустить, что все люди, уличенные и даже обвиняемые в каких-либо проступках или неповиновении господской власти, а равно и состоящие в продолжение назначенного срока в денежных недоимках или неисправные в работе на барщине, ставились в рекруты прежде очередных. С первого же раза составленный мною очередной список был причиною разорения целой семьи, потому что, присутствуя при этой первой раскладке сам, я уступил настоятельным и вполне несправедливым требованиям собранного мною мира, или сходки, из всех домохозяев. Старшая по числу работников была семья крестьянина деревни Никитиной Абрама Бубнова. Сам старик, хотя давно и бестягольный и нерасторопный, имел еще в доме брата, такого же плохенького, и четырех сыновей тягловых; все вместе миру представляли они шесть рабочих сил. Сходка требовала, чтобы эта семья была поставлена во главе всего списка и, следовательно, первая к рекрутству. Я тут же слышал, что два меньшие сына были чуть-чуть не пошлые дураки, а потому и отстаивал эту семью, предлагая поставить ее с четверниками и дать между таковыми семье Бубнова жребий. Мир завопиял, и я уступил. Что же случилось? Старшего сына отдали в рекруты, домохозяин умер, дядя перессорился с племянниками и отошел, старший работник при жизни отца был отдан в рекруты, второй дельный на беду умер, и, таким образом, остались два пошлых дурака, которые почти всю свою жизнь существовали денежным

и хлебным пособием от помещика и весьма дурным обработыванием своих полей от мира. С тех пор я начал терять веру в совершенство общинного правления, а вследствие частых подобных примеров во все время моей хозяйственной практики не мог быть сторонником самоуправления крестьян в самом начале их освобождения, как и теперь.

Мною давно уже было решено (и сообщено о том Вареньке) ехать непременно в 1821 г. за границу. Последнюю зиму проводил я в Петербурге на другой квартире, против палат княгини Белосельской на Невском проспекте[584] за Аничковым мостом, и вместо француза камердинера, который перешел от меня к графу де ла-Ферроне[585], взял я какого-то англичанина с французским языком, а чтобы угодить в чем-нибудь Семенову, через его посредство согласился отправлять ежедневно моего дворецкого Филиппа Иванова в школу взаимного ланкастерского обучения[586], дабы со временем сделать его народным учителем в селе Михайловском. Подобные школы в Петербурге находились под покровительством Общества соревнователей просвещения, коего председателем был декабрист Глинка[587]. Они исчезли по подозрению в либерализме в одно время с падением Библейских обществ, – тогда с большим остервенением начал на них нападать Шишков со своими клевретами. В Киеве в армейских полках заводил их очень усердно начальник штаба тамошнего корпуса, также декабрист, Орлов[588], и в его-то таблицах, напечатанных для упражнения в первоначальном чтении и письме, открыто было странное сопоставление трех слов, кои предназначалось произносить или писать под диктовку вместе: «тиран, кинжал, убить». Думали, что это было умышленно. Такие школы внимательно осматривал я в Петербурге, а потом видел начатки такой же и у себя, в Михайловском, и не знаю, почему их бросили. Обучение по этому способу было, кажется, успешное. Сам я, недоверчивый к своему знанию иностранных языков, брал уроки немецкого и французского для облегчения себе предполагаемого путешествия. Немецкие шли дурно, французские успешно, со швейцарцем из Нёшателя m-r Bevenne, который первый внушил мне желание побывать и пожить в Швейцарии. В доме Норова приятельски сошелся я с его родным племянником, Абрамом Сергеевичем Норовым же, впоследствии министром народного просвещения. Он был тогда 26-летний красивый полковник гвардейской артиллерии, без ноги, которой лишился в Бородинском сражении. Норов также собирался путешествовать и искал товарища. Мы друг другу полюбились и решили ехать вместе. Вначале намерение наше, более впрочем по мысли Норова, было отправиться прямо через Одессу в Константинополь, но нам помешало начало общего восстания греков против Порты. В нем, как известно, в придунайских княжествах принял самое деятельное участие русский генерал, чуть ли не генерал-адъютант, князь Александр Ипсиланти[589], который, проиграв первое сражение с турками, взят был ими в плен и передан ими австрийцам. Император Александр,

подозревая по внушениям из Вены, что возмущение греков было в связи с итальянской тогдашней небольшой революцией, отказался от всякого содействия единоверцам, выключил Ипсиланти из службы еще до его поражения, отозвал своего посланника графа Строганова[590] из Константинополя, где, как все знают, преданы были смертной казни в день Пасхи заключенные в тюрьму патриарх Григорий[591] с другими двумя или тремя епископами. Все эти обстоятельства взволновали умы в пользу греков тех, которые у нас, не рассуждая ни о причинах, ни о последствиях политических событий, предаются без оглядки своим религиозным или политическим убеждениям; напротив, государь, не уступая тогдашнему общественному мнению, запретил выдачу заграничных паспортов всем русским, которые стремились за турецкую границу, и преимущественно военным. Поэтому и нам пришлось отказаться от мысли моего спутника Норова и решено было плыть на каком-нибудь купеческом корабле (пароходов тогда еще не было) в Травемюнде, порт вольного города Любека, где Норов предполагал брать морские ванны. Утвердившись окончательно в этом намерении, я предоставил Норову, как старшему меня и более опытному, приискать корабль, уговориться в цене и вызвать меня из Москвы, куда я отправился для прощаний и недолгой побывки в деревне. Более ловкий, чем я, и более дороживший службою чиновник умел бы выпросить себе на поездку за границу отпуск от П.А. Кикина, но я так охладел ко всякой служебной карьере, и до такой степени оскорбляло Кикина мое к ней равнодушие, что он не догадался предложить мне отпуск и дал мне решительное увольнение от службы. Напрасно правитель канцелярии Брусилов хлопотал за меня у Кикина, предлагая ему дать мне при отставке следующий чин либо крестик, П.А. отказал и в том, и в другом, говоря, что он не должен награждать без заслуг своего родственника. Я имел причины догадываться, что он не мог забыть моей выходки с Шишковым и все так же подозревал меня в модных либеральных идеях, а потому (и сверх того как бесполезного для службы чиновника) охотно от себя отпускал.

Взяв отставку в чине колежского секретаря, отправился я для ради слезных прощаний на короткое время в Москву и на гораздо кратчайшее – Салтыково и Михайловское. На возвратном оттуда пути, чтобы не растраиваться, пробыл я в Москве дня три, не более. Моя бедная Варенька находилась в крайне отчаянном положении[592]. На другой день утром обе мои тетки, Елена Яковлевна и Марья Васильевна, с Варенькой проводили меня за Красные ворота[593] в контору дилижансов. Все мы для потехи публики плакали навзрыд.

Совсем было забыл я ненадолго остановиться на последовавшей около этого времени перемене судьбы лучшего моего тогдашнего друга Новикова. В 1820 году, приехав в Москву из Петербурга, нашел уже я его женатым[594]. Меня, приехавшего в Москву, познакомил Новиков со своей супругой, с замечательным чудаком тестем[595] и со всеми, кто жил, пил, танцевал и играл

на сцене в этом чрезвычайно оригинальном, длинном доме на крутом берегу Москвы-реки вблизи Девичьего поля. Еще прежде меня вселились в эти хоромы общие наши приятели – Курбатов и Дмитриев. Последний напечатал записки отца Новиковой, прибавив к ним от себя замечательную биографию князя-поэта[596], которого называли в Москве «Балконом» по верхней толстой губе. Охотникам до московской старины предлагаю взглянуть на книгу Дмитриева и думаю, что это чтение им понравится, сам же я потому и не распространяюсь, скажу только, что жене переданы были мужем страстные мои приключения с Варенькой и что Варвара Ивановна, главным занятием которой было анализировать, анатомизировать по всем нервам, костям и суставам индивидуума, коего любовь была ей сколько-нибудь известна, мучила меня нескончаемыми разговорами, анатомически рассекая и химически разлагая все тонкости моей страсти. Таким упражнениям с успехом научилась она через чтение тогдашних и еще гораздо прежде выходивших французских романов. Но частые с нею беседы апарте[597] становились для меня невыносимыми, и я просил моих приятелей спасать меня от пытливой хозяйки. Дмитриев, влюбленный тогда во вторую свою жену, урожденную Вельяминову, мать профессора, часто бывавшую в доме Долгоруких вместе со старшей своей сестрой Кологривовой[598], тоже испытующий над собой всю пытку душевной исповеди, каждое утро, просыпаясь, только о том и думал, чем бы в продолжение этого дня позабавиться и повеселить других[599]. Домашние спектакли французские и русские (хозяин сам был очень талантливый актер), небольшие балы в грязных комнатах с весьма плохим угощением и безвинным ужином, т.е. почти без вина, бывали у них почти всякую неделю, а в великий пост, строго соблюдаемый, играли в веревочку, в жмурки, пели подблюдные песни, разыгрывали фанты, при которых «Балкон»-поэт выдумывал и поощрял повальные лобзанья. Возьмет бывало одной рукой за голову нашего брата-юношу, другой рукой схватит за голову даму или девицу и начнет их стукать лбами, что называлось cognettes*.

Весело было в этом полубоярском, полуфранцузском доме, хотя и много было в нем нежелательного, но зато никогда не было ни дур, ни дураков, этой уже описанной мною заразы тогдашнего общества. – Но не пора ли мне приехать в Петербург и отправляться оттуда с Норовым в Любек?

Исповедуя здесь откровенно все грехи моей юности, я должен смиренно сознаться, что нелегко мне было тогда расставаться надолго с Москвой. Скоро, однако, и слишком скоро, угомонилось мое горе приятным обществом, которое я нашел в нашем дилижансе. Сколько помнится, такие почтовые экипажи, очень удачно прозванные ямщиками *нележаными*, стали в это лето в первый раз правильно отправляться из Москвы в Петербург и обратно. Спут-

---

* стуколки (*фр.*).

никами моими в почтовой карете были: два московские музыканта по ремеслу, два брата Геништа, старший отличный пианист, да еще один премилый и преумный господин Римский-Корсаков, бывший впоследствии губернатором на Волыни[600]. Всю дорогу, более четырех суток в прекрасное летнее время, мы славно ели в весьма порядочных гостиницах, еще лучше пили, хотя и умеренно, очень много пели и рассказывали друг другу забавные анекдоты и повести и много смеялись. Несмотря на мою задушевную скорбь, не многие из моих кочеваний оставили мне такие приятные воспоминания. В Петербурге нашел я впопыхах рассеянного товарища моего Норова, встретившего меня словами: «Все готово к отъезду и паспорты взяты». Насилу один день мог я выхлопотать у суетливого моего спутника на прощанье и на получение от банкиров братьев Livio[601] кредитива на 10 000 р. (или 12 000 франк[ов] по тогдашнему курсу) вместе с рекомендательными от них письмами к приятелям их банкирам в других городах.

На короткое время до отъезда останавливался я у братьев Языковых на Васильевском острове. Присланный от Норова не то наш общий камердинер Ваня, не то какой-то человек с корабля взял мои вещи, уложенные в большой чемодан, да совсем некстати захватил и тот небольшой, в котором положено было все необходимое на самый путь до Любека. А как в этот день моего приезда нанятый нами корабль отправлялся в Кронштадт с другими пассажирами и товаром и обещал нас ждать на другой день до полудня, то я преспокойно оставался на эти сутки без всего, с 10 какими-нибудь рублями русских ассигнаций, необходимых для переезда в Кронштадт и кой-каких там издержек.

* * *

Это было в начале июля 1822 года, числа не помню. В квартире Языковых, на Васильевском острове сижу я с тремя братьями Языковыми – Петром, Александром и Николаем, да еще с Никольским, и жду. Абрам Норов рано утром обещался приехать; нет ни его, ни присылки за мною, чтобы отправиться в Кронштадт и пуститься в морской путь. Сказано, что чемодан мой был уже в Кронштадте, да еще и не один, а с небольшим ящиком, в котором было все необходимое на время дороги. Любекский капитан Гартман условился с Норовым еще прежде доставить нас троих в Травемюнде (с нами двумя был камердинер крепостной Норова Ваня) за 10 червонцев с каждого из нас и 5 за слугу с обедом, завтраком и чаем на своем купеческом корабле, вернее сказать, двухмачтовом весьма небольшом судне, которое называлось «Анна Гертруда». Рассеянного моего товарища задерживали разные прощанья, суеты и дела, которых он, собираясь в отъезд более месяца, не удосужился кончить накануне. Вместо того чтобы поспеть к утреннему пароходу из Петербурга в Кронштадт и быть там к назначенному времени, он прискакал за мной к Язы-

ковым после полудня и помчался, сломя голову, на Берстовскую пароходную пристань. Мы и туда чуть не опоздали, а мои четверо провожатых и, кроме их, Семенов вместо меня увидали только пар отплывавшего парохода. На беду противный ветер на час или на полчаса задержал его ход. «Мы опоздаем, мы опоздаем!» – заикаясь, махая руками и стуча своей деревянной ногой, твердил мой товарищ. Я тоже начал было на судьбу нашу и на него сердиться, но потом стало мне все это забавно. У купеческой гавани в Кронштадте причалили мы к пристани и с гранитных ее стен начали звать и кричать: «Где тут капитан Гартман? Где тут “Анна Гертруда”?» Долго не понимали наших вопросов люди, которые копошились на берегу и в самой гавани, никому не было дела ни до капитана Гартмана, ни до его «Анны Гертруды». Наконец, нашлись двое матросов из Любека, которые на своем наречии plattdeutsch* с нами заговорили; тут не понимали их мы; с трудом разгадав, наконец, их жесты, с помощью зрительной трубки узрели мы отправляющееся к рейду наше небольшое суденышко. Оно нас ждало с утра часа три по условию, и, не дождавшись, капитан захотел воспользоваться попутным ветром, снялся с якоря и пустился. Тут уж и мне стало не до смеха. Гневное смущение Норова доводило его до безумия; указывая на свои гвардейские полковничьи эполеты, он требовал с купеческой гавани, чтобы отправлен был катер за купеческим кораблем и воротил бы его назад. Все его угрозы, конечно, не могли привести ни к чему, и на нас смотрели с улыбкой, как на полоумных. Он вздумал было требовать невозможной погони от начальника кронштадтского порта, и я насилу мог убедить его в очевидной нелепости таких требований. Другого нам ничего не оставалось делать, как отправиться в английскую таверну. После всей этой своей горячки Норов впал в какое-то изнеможение, точно нервная женщина, я насилу отпоил его сухарной водой и оживил обтираньем головы и лица одеколоном. «Оставайтесь-ка вы в Кронштадте, мой любезнейший, – сказал я ему, – а я поплыву на Васильевский остров взять две пары рубашек и сколько-нибудь денег, вы же между тем условьтесь с каким-нибудь другим капитаном корабля. Денежки наши пропали, могут пропасть и вещи, если мы нашего каналью Гартмана не отыщем в Травемюнде или Любеке». Неправедный гнев товарища раздражил против капитана и меня, я сам начал его считать мошенником.

Языковы так и ахнули, когда я к ним в тот же день появился. Ранним утром на следующий день, сопровождаемый ими, нашел я в кронштадтской гостинице Норова, светлого, радостного. Попутный западный ветер, унесший «Анну» по зыбям Финского залива, стих; Гартману стало совестно, и он, проплыв один или два узла за рейд[602], бросил якорь и отправил за нами с матросом катер. Мы на расставанье выпили и простились с нашими провожатыми.

---

* нижненемецком (*нем.*).

По веревочной лестнице с трудом взобрался безногий мой товарищ с лодки на корабельную палубу. Пожав широкую, могучую, грязную руку раскаявшегося капитана, с непривычки к морю начали мы с великим любопытством осматривать наше 3-х или 4-хсаженное судно и его обитателей. Вся корабельная команда состояла из капитана, рулевого, его помощника и двух матросов. На небольшой загроможденной палубе встретили нас двое отплывавших с нами товарищей; один, крупный, пожилой, неуклюжий, с грубыми чертами лица и угловатыми манерами, был г. Пукалов[603]. Рядом с ним стоял господин помоложе, взятый им переводчиком для заграничного путешествия, некто г. Искритский. Фотографии их я сниму очень скоро, теперь же сойдемте со мною в небольшую каюту, очень плохо убранную, в стенах которой были пассажирские, наподобие гробов, очень тесные двухэтажные койки, всего их было шесть. В одной из них, нижней, лежал уже расстроенный морскою болезнью датский при нашем дворе посланник генерал Блум[604]. Он был лет 50 рыжеватый немец из Голштейна, любимец петербургского общества, страстный охотник до лошадей, постоянно сопровождавший императора Александра в красном своем мундире на парадах и маневрах. Каждое лето имел он обычай отправляться в свой голштейнский фатерланд и в Копенгаген морем на месяц или на два и, вступив на корабль, сейчас же ложился в койку, потому что не мог переносить качки. В этот раз плыли с ним три верховые лошади, их поместили в огромный ящик на палубе. Эта деревянная, сплошная, с небольшими отверстиями клетка загромоздила половину пространства, по которому мы могли двигаться на свежем воздухе. В самой каюте было тесно, душно, воняло кухней, съестными и другими запахами.

В первый день плавания мы с Норовым выпили хорошо и ели с аппетитом; Пукалов и Искритский смотрели на нас завистливо, уже и в первые сутки плаванья их порядочно разобрало. К вечеру качка становилась сильнее и сильнее. Норову нечего было думать ложиться в койку, его отвели на палубу и положили в запасную при корабле лодочку. Не успел я заснуть, раздетый, как в постели, в моей нижней койке под пукаловской, как разбужен был потоком излияния сверху. «Воздержитесь на минуту, выпустите ради Бога!» Всю эту ночь провел я на каютной лавке. За сильным волнением, утомившим моих спутников, последовал совершенный штиль. Море было неподвижно, как зеркало, но ровное, мерное качанье корабля, похожее на то, какое бывает на висячих качелях, было для страждущих морской болезнью еще мучительнее претерпенной ими прежней качки, и во второй день плавания я сидел за завтраком и обедом один с капитаном. Все другие лежали влежку[605].

О Норове поговорю я после, теперь же несколько слов об его слуге, который сделался и моим. Двадцатилетний белокурый Ваня, сверстник мне по годам, был премилое, пренаивное существо. В обращении его с нами не было ничего крепостного, рабского, барин его тоже обходился с ним скорее

по-братски, чем по-господски. Я любовался невинным восхищением Вани всем тем, что ему было ново, а новым было для него, да и для нас все, что нас окружало. Мы, сколько-нибудь образованные, всегда таим про себя наши чувства и ничему въявь не удивляемся, а – воля ваша – простодушие, особенно у молодых людей, хотя подчас и смешное, невольно веселит душу.

Морской штиль мне одному был по сердцу, я один вполне им наслаждался, особливо при восходе и закате солнца; оба берега залива еще были видны, но не мне по моей близорукости. Поднялся, наконец, ветер, и на беду противный. Парусный корабль, а особливо такого малого размера, как наш, не то что пароход: чтобы не плыть наугад и хоть сколько-нибудь вперед, надо было забирать то вправо, то влево и, меняя постоянно паруса, лавировать. Ночью все трещало так, что я, лежа на каютной скамейке, не один раз с нее падал и должен был заставить себя сундуками и стульями. Под койкой Пукалова в мою ложиться было нельзя все по той же причине. К утру поднялась решительная буря, на палубе нельзя было держаться на ногах, я привязал себя к борту и держался за канат. Кони датчанина Блума без умолку ржали. Попробовали было мы с капитаном сесть за обед: суповая чашка опрокинулась на нас, за нею последовал на пол стол, запрыгала и задребезжала посуда, пришлось есть без всяких изобретенных для удобства орудий на палубе, через которую перебрасывались волны, и каждая из них казалась мне девятым валом.

На четвертые сутки плавания рулевой сказал мне, что видны стали шпицы ревельских башен, и еще целые сутки кружились мы около этого портового города и не теряли его из виду. В совершенном изнеможении и почти без всякой пищи бедный Норов лежал на палубе. Не зная еще на опыте, что морская болезнь не подвергает опасности страждущего ею, я начинал бояться последствий крайнего его изнеможения и, переговорив с капитаном, предложил моему спутнику высадиться в Ревеле. Он как будто ожил надеждою вступить ногами, т.е. одной, на твердую землю; когда приготовили лодку, он бодро спустился на нее по веревочной лестнице, вместе с нами и Пукалов, и Искритский поплыли также в Ревель. Капитан отпускал нас очень охотно, ему было выгодно оставить себе все наши червонцы, а не кормить, как было условлено, до Любека.

Датский посланник Блум, привыкший к морю и морской болезни, остался один со своими тремя конями, лежа, как пласт, в каюте. И благо нам было, что мы расстались с нашей махонькой и некрасивой «Анной Гертрудой». Более трех недель носилась она противными ветрами после нас по водам Балтики, чтобы достигнуть Травемюнде. Немногим после нас оставшимся на этом судне плавателям недоставало съестных припасов, а лошадям генерала Блума корму. Раза два до Травемюнде капитан Гартман вынужпен был приставать к берегу за припасами. Ровно 27 дней плыли они до Любека.

Приближаясь к Ревелю, я не мог не быть поражен средневековой рыцарской его наружностью. Это был первый представившийся моим взорам город в полном смысле древнегерманского его значения, со своей полуразрушенной крепостью на утесистой скале к морю, со своим замком, в котором жил губернатор и вместе комендант порта. Мы остановились в одной из лучших гостиниц на весьма небольшой площади, окруженной чрезвычайно узкими улицами. Отсутствие всякого деревянного строения и довольно высокие узенькие дома с черепичными крышами – одним словом, Ревель казался мне чем-то странным, небывалым, сказочным – в нем не было решительно ничего русского. Норов узнал, что за городом, в Екатеринентале, находится его родственница, вдова убитого под Бородином генерала Тучкова[606], и на другой же день мы к ней отправилась.

Маргарита Михайловна Тучкова, урожденная Нарышкина, приняла нас радушно в хорошеньком домике почти рядом с небольшим дворцом, построенным Петром Великим и им названным Екатериненталем в честь своей жены, Екатерины I. Около дворца любовался я в первый раз в жизни довольно рослыми каштановыми деревьями, которые посадил тут великий наш завоеватель Остзейского края. Родственница Норова приехала из Дерпта, где воспитывала своего сына[607], брать морские ванны; с ней была прехорошенькая и премиленькая волоокая, как Юнона, но черноглазая (предполагаю, что очи Юноны были небесного цвета) фрейлейн Кноринг. Падкий на женщин мой безногий молодой полковник так и таял от любезностей еще молодой, еще красивой и в самом деле привлекательной своей кузины. Я робко засматривался на фрейлейн Кноринг. Двенадцатилетний красивый мальчик Тучков, страстно любимый матерью, был не лишний в нашей оживленной беседе за самоваром.

Всем известна трагическая судьба Тучковой: единственный ее сын вскоре после нашего с нею свидания умер, она похоронила его на Бородинском поле, где пал ее муж славною смертью и где не могли отыскать его трупа. Над могилой сына и над живыми воспоминаниями об его отце построила она церковь и устроила сперва полумонашескую общину, а потом, приняв пострижение, основала там Спасо-Бородинскую обитель, где была довольно долгое время игуменьею. Исполнению ее благочестивых намерений много способствовал незабвенный митрополит Филарет – он был ее наставником и покровителем и духовным водителем ее подвижничества. Позволяю себе записать здесь на память рассказанную этой игуменьей мне характеристическую черту этого митрополита. «Когда я, – сказывала она мне, – в первый раз по моем пострижении приехала в Лавру, где находился владыка, пошла я к нему в его келью в полной уверенности, что он примет меня радушно и по-прежнему просто, как старую знакомую, после частых моих с ним свиданий и долгой между нами переписки; однако, зная суровые иноческие обычаи и увидав

его перед собою, по виду не прежнего, но холодного и строгого, медленно преклонялась я к его ногам в уверенности, что он не допустит меня до земного поклона, но ожидаемого мною снисхождения не последовало. Восклонившись от полу, я смиренно простерла руку для принятия благословения: легким, едва заметным движением перста показал он мне "долу", и я повергласъ к ногам его вторично, опять приблизила мою ожидающую благословения руку, и опять тот же перст указал мне "долу" во исполнение третьего и уже последнего земного поклона; затем последовало несколько многознаменательных слов о достойном ношении подъятого мною на себя благого ига и легкого бремени. Несколько минут после беседа наша пошла по-старому». Я привел этот рассказ матери Марии как оправдание по крайней мере для меня, той взыскательной требовательности земных поклонов, за которую так часто при жизни, да и теперь, после блаженной его кончины, порицают многие Филарета.

Нам бы следовало выбраться из Ревеля на другой, много на третий день, но Екатериненталь с его привлекательными окрестностями и город с его красивой соборной церковью Св. Олая[608], тогда еще не сгоревшей, с выставленными в ней напоказ под гробовой стеклянной крышей, мощами не мощами, но все-таки не истлевшим телом герцога де ла Кроа[609], с его рыцарским замком Шварценгейптеров[610], и всеми его редкостями, а кольми паче уютненький около загородного дворца домик Тучковой едва ли не сделался островом Калипсы для моего, более вдохновенного поэзией, нежели мудростью, Улисса[611]. При сей верной оказии я, единственный наличный его ментор, готов почти был уступить напущенному на нас от исконного рода человеческого врага соблазну. Однако я, готовый позаняться немного фрейлейн Кноринг, себя пересилил, и мы, наконец, отправились в город Ригу по шоссе, а не по бревенчатой мостовой, как из Москвы в Петербург. Нас повезла туда прескверная и престарая, приобретенная нами за большие деньги польская бричка, на козлах торчал перед нами Ваня, ямщик же, вернее сказать, почтальон эстонец, правил с коня, по немецкому или польскому обычаю, парой дышловых и третьей передней лошадью[612].

Травемюнде и его морские ванны со своими посетителями, любекскими торгашами и голштейнскими фермерами, не представляют широкого поля моим «Запискам». Посетительницы из мещанского общества не отличались ни туалетом, ни манерами, все они постоянно занимались вязанием чулок, а по воскресеньям танцами ins Grüne*. Мужчины на скверном французском языке разговаривали со мной о торговых с нами сношениях, которые мне были неизвестны, и беседа моя с ними шла плохо, по-немецки я понимал, но не говорил, а французским языком, тогда ненавистным для северных германцев, они владели плохо. Одной из первых дам водяного общества, дочери знаменитого Шлёцера[613], представил меня приезжавший на время наш банкир. Она

* на природе (*нем.*).

имела диплом доктора философии Иенского университета, и меня озадачила мужественною своею наружностью, особенным костюмом, манерами и приветствием на латинском языке как воспитаннику Московского университета. Но на латинскую беседу с нею меня не хватило, и я тут кстати рассказал ей о неудачном преподавании ее брата на этом языке политической экономии. «Er ist dumm»*, – отозвалась она о брате. Убедившись в мелком моем плаваньи по ученой части, любезно и бесцеремонно предложила она мне покружиться в вальсе с дылдой-дочкой[614], тощей, как спаржа, и дурной, как может быть дурна только немка, и этим не мог я ей угодить, не умея вальсировать.

В недальних поездках моих с каким-то фермером и его семьей, которые мы по временам делали в его собственном Stuhlwagen (очень удобный и красивый экипаж этих местностей) на рослых и красивых лошадях его завода, любовался я тщательной обработкой полей, живыми кругом их изгородями и отличными видами растущих на этих полях хлебных, луговых и огородных растений. Тут в первый раз мог я видеть рациональное сельское хозяйство, изгнавшее пар, заменившее его травосеянием и овощами и введшее всюду правильное и достаточное удобрение. Таким хозяйством, думал я, можно было бы заняться с любовью, даже со страстною любовью, тем более, что здесь не было крепостного труда и всех его безобразий. Больше говорить нечего о Травемюнде, в котором я прожил тогда с месяц и бывал потом часто. Замечу разве одно – те совершенно противоположные впечатления, какие производит это местечко на русских путешественников. Приплывающие к нему в начале лета из Петербурга приходят от него в восхищение (кроме нас с Норовым, я думаю, никто не ездил в Травемюнде сухим путем), а те, которые возвращались через Травемюнде в Петербург, находили уже тут предвкусие, avant-goût**, нашей северной природы и ее сурового климата. Одним, вступающим на твердую в этом порте землю, было светло, тепло и на душе легко; другим казалось холодно, серо и гадко: так все в человеческой жизни бывает относительно и сколько-нибудь верно по одному сравнению.

В Травемюнде тамошний доктор посоветовал Норову докончить морское лечение таким же и в другом месте, на принадлежащем городу Гамбургу острове Нордерме при устье Эльбы[615]. Отправиться с Норовым на такую же скуку, какую я в угоду ему испытал в Травемюнде, мне не хотелось. На две или три недели нашей разлуки устроил я себя в одной из отличнейших гамбургских гостиниц на Юнгферштих, Hôtel de Russie, у приветливого трактирщика Видемана. Превосходный его общий стол был настоящим table d'hôte***.

---

* «Он глуп» (*нем.*).

** прообраз (*фр.*).

*** общий стол (*фр.*). (На такой стол, обычно, прислуга только ставила общие на всех блюда, а обедавшие сами наливали себе напитки, резали и накладывали на тарелки пищу; часто такие «табльдоты» в гостиницах превращались в импровизированные клубы.)

За него в самом верху садился хозяин и две красивые его дочери, два юноши сына наблюдали за исправностью прислуги. Нигде не находил я такого отличного обеда, как в Гамбурге. В нем не было никаких утонченных кушаний, но все подавалось обильно из возможно лучшей провизии, ростбифы, бифштексы, gigot de mouton*, морская рыба и проч., все было загляденье и объеденье. В Гамбурге бывал я у нашего министра-резидента Штруве, брата знаменитого астронома[616]. Сам он был известен в Германии как ученый минералог; я нашел его очень любезным и внимательным и по этой первой встрече с представителями России в чужих краях судил обо всех наших дипломатах благоприятнее, нежели прочие мои соотечественники. Тут же сошелся я дружески с тремя остзейскими юношами: Александром Бергом, Гвидо Липхардом и Мейснером, и в то же время познакомился с генералом Богдановским[617] и раненым полковником Ильиным. С первыми тремя, более подходившими мне по возрасту и образованию, проводил я целые дни, осматривая старый, тогда еще не горевший Гамбург[618], его редкости, его гулянье вдоль Альстера и к датскому городку Альтоне, его загородные, принадлежавшие гамбургским сенаторам виллы[619].

В это время, столь близкое к освобождению от французского ига Германии, в Гамбурге, над которым оно тяготело сильнее, нежели где-либо, французов ненавидели. Жители не могли забыть тиранского управления маршала Даву[620], который разграбил их банк и похитил все годами накопленные гамбурцами общественные капиталы. Однажды поздним вечером все мы пятеро возвращались, немного подгулявши после ужина, из погребка и громче обыкновенного, гуляя по Юнгферштиху, разговаривали между собой по-французски. Нас преследовала толпа мастеровых или гамбургских матросов с явным намерением побить и завести с нами драку. Подозревая в нас французов и увидав, что мы не понимаем или не хотим понимать немецких их ругательств, стали они ругаться по-французски, подошли к нам нос к носу и выставили кулаки. Насилу на чисто немецком языке разуверили их наши остзейцы, что ни одного между нами не было ненавистного им галла, а все мы пятеро были их избавители от Наполеона – русские. Не скоро могли они, однако, понять, почему говорили мы на ненавистном языке, и еще менее убедиться в том, что это было для нас неизбежно, и посоветовали либо моим товарищам выучиться по-русски, либо мне с поляком вытвердить язык немецкий. Долго и дружелюбно мы с ними гуляли и, наконец, расстались мирно.

В это время первой моей поездки за границей отношения путешественников к банкирам были другие, нежели теперь. У меня был кредитив от петербургского дома братьев Ливио; на нем выставлены были все банкирские дома тех городов, где я предполагал брать на свои издержки деньги,

---

* баранья нога (*фр.*).

и этим же самым кредитным письмом рекомендован я был всем и каждому из г[оспод] банкиров как лицо, известное петербургским г[осподам] Ливио. Вследствие такого заведенного в Европе обычая я находился в знакомстве с одним из значительных лиц каждого города, к ним обращался я прямо за разными советами, за билетами для осмотра каких-либо не вполне публичных учреждений, и сверх того каждый из них считал себя обязанным звать меня к себе на обед или на вечер. Гамбургский банкир был особенно для меня гостеприимен, я у него по разу и обедал, и ужинал. Его семейное общество с тремя или четырьмя другими гостями не могло доставить мне большого удовольствия и, кроме того, было накладно скупому моему кошельку. Господин этот жил мили за полторы от города; надобно было иметь приличный экипаж, повязывать белый галстук и быть в башмаках, да еще давать за угощение в подарок провожавшей вас прислуге по крайней мере талер. Ни во мне, ни в хозяевах не было той находчивости, которая сколько-нибудь могла сделать сносным такой обед или такой вечер. На мое счастье, в кофейной на Юнгферштихе, против нашего отеля, навязался на меня, узнав, что я русский, один очень пожилой французский эмигрант, кавалер Св. Людовика, дворянин происхождением. Он был вконец разорен революцией, единственный его сын пал жертвою за законного короля в отряде эмигрантов, которые мечтали сокрушить французскую республику. Вдовый, бездетный и почти нищий, он как бы стыдился воротиться на родину, и вот причина более чем скромного житья-бытья его в Гамбурге. Словоохотливый, а иногда и красноречивый легитимист, не отвергавший моих угощений, он ко мне привязался и вздумал было в начале нашего знакомства обращать меня в католичество, но увидав, что со мною это был бы труд напрасный, стал проповедовать мне легитимизм и то божественное право власти, которое было одной из основ Священного союза[621] и к которому я, напуганный либеральным у нас движением и смутно известным мне возникновением у нас тайных политических обществ, имел уже некоторое сочувствие. По его советам принялся было я преимущественно читать французские журналы легитимистов: «Le Drapeau blanc», «L'Etoile» и заглядывал в брошюры и книги ультрароялистов того времени, но скоро все они мне надоели своей напыщенной восторженностью, своими проклятиями, своею ненавистью не к одним бонапартистам, а еще более к оставшимся во Франции республиканцам, но кроме их еще к умеренным, гуманным и более, чем другие, просвещенным либералам, которые надеялись согласовать во Франции королевскую власть наученного опытом Людовика XVIII с данною им Франции Конституционною хартией[622]. Она и у нас в России была уважаема, ее отстаивал до самой своей кончины император Александр I, несмотря на то, что в последние годы, начиная с 1819 г., либеральный образ его мыслей во многом изменился. От рекомендованного мне чтения журналов и брошюр роялистской партии перешел я к ежедневному чтению журнала прений,

«Journal des Débats», отвергавшего всякое крайнее направление. Первыми основателями этого периодического издания были, как известно, Шатобриан, Бертен, Hyde де Невилль, Руайе-Коллар[623] и прочие французские знаменитости. Главным под их руководством сотрудником журнала был Гизо[624].

Итак, в краткое пребывание мое в Гамбурге посредством постоянного чтения «Journal des Débats» и различных сочинений в этом умеренном духе началось мое политическое воспитание. «Dis moi ce que tu lis, et je te dirai qui tu es»*. Таким остаюсь я и до сегодня, т.е. своего рода доктринером, – положение в России не совсем ловкое.

Старый Гамбург до бывшего в нем пожара в самой середине города представлял сплошную массу весьма непрочно построенных высоких домов и очень узких улиц с прегрязными канавами. Знаменитый пожар ему, как и Москве, способствовал к значительному улучшению, и когда я был в нем в другой раз, уже после его опустошения огнем, я нашел его несравненно красивее, но не мог не пожалеть о больших тенистых деревьях старого Юнгферштиха, до которых и в 1862 году не дорастали еще посаженные вновь. Люди сменяются, все изменяется, все, пожалуй, идет к лучшему, но как вековые деревья, так и иные верования и убеждения, признаваемые, может быть, и не без причины, и не без пользы, связью с прошлым, однажды истребленные, нелегко заменяются другими, новыми: под их тенью жили, и жили, пожалуй, покойнее и привольнее.

В Бремене соединился я с Норовым, захватив с собой Гвидо Либхарта, который с тех пор был нашим спутником до самого Парижа. Дорога через северную Германию не представляла ничего нового и привлекательного, зато Голландия, с первого в нее шага, поразила нас своею ни на что доселе нами виденное не похожею особенностью. И природа, и люди, и поля, и города, и селения, и местечки, с их изысканною до излишка опрятностью, – все было для нас ново. Наше изумление проникло и до нашего Вани, и он на другой или третий день прибытия в Голландию пренаивно, презабавно и как-то робко спросил у меня: «Неужели здесь наше, а не другое солнце?»

В Амстердаме познакомились мы с любезным нашим консулом г[осподином] Брюне и его семейством[625]. Он нас, а Норов его угащивал обедами. В Роттердаме Норов познакомился с каким-то великим голландским поэтом, к которому имел рекомендательное письмо от консула, и вместо того чтобы после посещения нами Саардама и местечка Брука, известного даже и в Голландии преувеличенной опрятностью своих загородных домов, ехать далее, Норов вздумал неожиданно для нас с Либхартом дать большой обед роттердамскому поэту. Такое роскошное угощение в нашем отеле и на наш с Либхартом счет чуть-чуть нас с ним не поссорило и не довело до разлуки. Но

---

* «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты» (*фр.*).

я, предвидя затруднения в расчетах и неприятные с Норовым сцены, решился терпеть до Парижа и уговорил на это Либхарта.

В Гааге, окруженной садами, небольшом, новом по сравнению с другими городке, в резиденции королевской фамилии, пробыли мы очень приятно дней 10. Наш полковник нашел там старинного по гвардии сослуживца, поверенного в делах барона Мейендорфа[626], представлялся королеве Анне Павловне и ее супругу[627] и был не один раз приглашаем ими. Мы же с Норовым, представленные в доме барона Огер, жена которого, урожденная Полянская[628], была какой-то родственницей Норова (я знал ее по дому Кикиных), проводили там все время. Барон Огер был простодушный голландец, флегматик, бывший во все время французского владычества над Голландией нашим губернатором в Митаве[629]. Баронесса Огер, суетливая, добрая барыня, известна была в России и на всех германских водах как страстная игрица, имевшая смешную привычку повторять последний слог своей речи. На нее выдумали, будто бы она повторяла, между прочим, следующее: «M[ada]me la Baronne Oger gagne à être connue, *nue*; le Baron *ron*[*d*] Oger, *g*[*u*]*er*[*s*]»*. Мы все трое находили самый любезный прием в этом аристократическом полурусском, полуголландском доме, удачном соединении порядка, умеренности и крайней чистоты с радушием и гостеприимством русской широкой натуры. Нас угощали отечественными кушаньями, щами, блинами, кашей, поили чаем, т.е. караванным; но не о едином хлебе жив будет человек – не одни родные нам пития и яства манили нас к Огерам ежедневно: две юные красавицы их дочки туда нас тянули. Старшей было не более 17 лет, меньшей 15, первая и тогда уже обещала быть артистической женщиной, она вскоре потом вышла замуж за известного в русском высшем обществе барона Александра Драдедамовича, или правильнее – Казимировича Мейендорфа[630], который долгое время и в Париже, и в Петербурге, особенно же в Москве успешно разыгрывал роль ученого по части промышленности и торговли и в то же время глубокого философа и политика. Немалое время был он агентом нашего министерства финансов в Париже, а потом в Москве председателем мануфактурного комитета, много писал и печатал[631]. Жена его, урожденная Огер[632], жила постоянно в Париже и, не удаляясь от высшего тамошнего общества, более принадлежала к кружку литераторов и артистов. Она с успехом предалась живописи и[633] живет еще и теперь в Париже в своем небольшом домике, где довольно большая, круглая, в два света зала вся уставлена ее собственными произведениями живописи. Я посещал ее в 1870 году и нашел любезную старушку[634], живущую своими трудами, т.е. заказываемыми ей копиями замечательных произведе-

---

* Игра слов, которую можно перевести как: «Госпожа баронесса Огер при ближайшем знакомстве выигрывает своей наготой, а круглый барон Огер – едва ли» (*фр.*). Несколько иную версию этого анекдота приводит М.Д. Бутурлин в своих «Записках» (В 2 т. М., 2006. Т. 1. С. 82, 538–539).

ний живописи. Меньшая сестра была за Сенявиным; муж ее в отчаянии от неудач по службе (ему, товарищу министра внутренних дел, не удалось быть министром) зарезался, и теперь она живет где-то с дочерью[635]. А какие они обе в 1821 г. были прелестные, и сколько было между ними споров, которая из них лучшая![636]

В Брюсселе в первый раз видел я настоящий французский театр, в Гааге играла небольшая труппа.

Надобно было приучать русское мое ухо к быстрому пониманию драматических произведений на чужом языке и в особенности ловить, чтобы достаточно понимать остроты водевильных куплетов; да и, вообще говоря, чтобы не скучать на чужой стороне и быть на ней не совсем чужим, необходимо отвергнуться от многих народных своих предрассудков и если не с увлечением, то по крайней мере снисходительно смотреть на иноплеменные привычки и обычаи. Впрочем, что бы вы с собой ни делали, мудрено русскому новичку не подвергнуться за свою неловкость каким-нибудь насмешкам. Так и было со мной именно в Брюсселе.

Войдя в роскошный кафе возле большого брюссельского театра[637], я должен был посмотреть на поданную мне сейчас же carte de rafraîchissements*; в числе мороженых выставлен был и какой-то sorbet, который я сейчас же перевел себе турецким шербетом и попросил его. Мне подали небольшую рюмку этого неизвестного снадобья, с виду похожего на всякое другое мороженое, и на том же подносе графин со льдом и бокал. На минуту затрудрšвшись, вывалил я мой шербет в стакан, наполнил его водой и выпил какую-то слабенькую водицу. Хорошенькая и нарядно одетая конторщица, вблизи которой я сидел за своим столиком, насилу удержалась от громкого смеха, гарсон, принявший от меня деньги, не без злой насмешки мной любовался, окружавшие меня соседи тоже улыбнулись, я краснел, сердился и, бросив журнал, злобно выпил.

На другой день после спектакля долго отыскивал я какой-нибудь другой кафе, ни одного не нашел и вынужден был повторить посещение злополучного вчерашнего и уже спросил не шербету, а простого мороженого, усевшись подальше от привлекательной конторщицы. Но когда и мороженое было подано мне с обычным графином воды, она внимательно приказала гарсону отнять у меня ненужную мне воду. Мне очень было досадно на себя за то, что я в этих пустяках обвинял и укорял себя как бы за какой важный проступок.

В Антверпене осматривали мы превосходную его гавань, служившую главной причиной раздора между Англией и Францией, знаменитые картины по церквам и музею и ездили в находившийся в недалеком от города расстоянии монастырь траппистов[638].

---

* меню прохладительных напитков и десертов (*фр.*).

Говоря так подробно о Голландии, я забыл упомянуть о морских ваннах в местечке Скёвенинг, тогда небольшом и пустынном, теперь, говорят, одном из самых замечательных в своем роде.

Забыл также сказать об одной в каком-то местечке ярмарке. Нас поразила красота и богатое убранство костюмов белокурых и дебелых голландок, таких же роскошных, какими представляются они Рембрандтом и всей голландскою школою. Уверяют, что в среднем и низшем слоях этого народа ледяные по наружности голландки снисходительнее всех других в нравственном отношении.

Париж, цель путешествия, был уже близко, но нас стращали строгостью французской таможни. На границе с Бельгией она отличалась перед другими особенной придирчивостью. Готовясь с некоторым страхом к осмотру, всегда расстраивающему нервы путешественников, особливо небывалых и непривычных, мы по дороге во Францию решились осмотреть в бельгийском городе Мехельне (Malines) соборную его церковь[639].

В Мехельне приехали мы в одно прекрасное осеннее утро, часу в 11[-м] расположились было осмотреть готическую соборную церковь, которая возвышалась на площади против почтовой гостиницы, и потом уже плотно позавтракать. Уже с Берлина взял я на себя скучную заботу расплачиваться с трактирщиками и почтальонами и расположился у широких окон нижнего этажа гостиницы, рассчитываясь в прогонах с бестолковым фламандцем-почтальоном. Не понимая друг друга, мы с ним заспорили. Норов в это время лежа отдыхал на диване, деревяшка его стояла в углу. Захотелось ли ему подремать, или наши громкие речи помешали какому-нибудь его сонному мечтанию о музах или феях, вдруг он вскочил и, забыв о деревяшке, повалился на пол. Я не успел еще встревожиться таким падением, как он, пристегнув к колену деревянную свою ногу, одним прыжком подскочил к фламандцу-почтальону и крепко схватил его за ворот. Тот закричал и через растворенные окна начал звать к себе на помощь окружавших нашу бричку своих товарищей. Трое или четверо вломились к нам в комнату, и не обошлось бы без Мамаева побоища, если бы я и Либхарт не постарались всеми средствами успокоить нашего бойца и его противников; последние, однако, не легко уступили нашим увещаниям. Пришедший на шум трактирщик выгнал их из комнаты, но они, да и другие, столпившиеся около нашей скверной брички, вполголоса роптали и грозились выпроводить нас из города не совсем благополучно. Хозяин предложил нам тогда как можно скорее уехать. Один из почтальонов, более смирный, поспешно запряг нам тройку, и мы, не видав собора и без завтрака, за который, однако, было заплачено, убрались из города при громком смехе, но уже без ругательств толпы, от которой мы бежали. Норов бледнел и краснел от досады и, надеюсь, еще больше от стыда быть произвольной причиной такого глупого происшествия. Я же в это время окончательно решил прекратить тотчас же по приезде в Париж наше товарищество.

Русские наши паспорты, особливо же гвардейского безногого полковника, произвели свое действие: ни на одну минуту не остановили нас таможенные чиновники.

К Парижу подъезжали мы поздним вечером при полном лунном свете.

Из всех парижских гостиниц, нам по дороге предлагаемых, Норов решил остановиться в одной из самых дорогих, правду сказать, удобной по местоположению, в улице Риволи, против Тюльерийского сада[640].

Я был очень доволен тем, что ни на улицах, ни на элегантных парижских бульварах никто из порядочного люда за поздним временем нам не попадался. Более жидовская, чем польская, старая наша бричка имела вид отвратительный, а во дни моей молодости я был всегда неравнодушен к насмешкам, не только в речах, но и во взглядах. Еще более был недоволен ею Либхарт, чопорный, богатый лифляндец знатного дома, сидевши против нас, как на тычке, да и дорожный костюм нашего Вани был какой-то степной, лакейский.

Хозяевам такого экипажа, без сомнения, следовало быть скромными и тихими, не тут-то было! Бойкий наш почтальон, приближаясь к гостинице, искусными ударами своего длинного бича издалека еще возвещал, по обычаю, приближение путешественников[641]. Не успели мы остановиться у обширного входа в отель, как уже вышли оттуда двое приличных слуг и готовились нас принять. «Я желаю говорить с хозяином, позовите его», – сказал один из нас, кто – называть нечего. Признаюсь, не предвидел я такой выдумки и стал было уговаривать Норова: будить хозяина в два часа утра никакой, казалось, не было нужды. Мне особенно не хотелось, чтобы этот хозяин великолепной гостиницы с первого же раза ознакомился с нашими дорожными костюмами и – что было для нас еще невыгоднее – с нашим экипажем, кроме того, хотелось поскорее добраться до квартиры, а не стоять на улице. Через четверть часа заспанный хозяин явился кой-как одетый. Норов потребовал un appartement au rez de chaussée* для своей особы. «А для этих двух господ, – прибавил он, – вы дадите такое помещение, которое они также сами осмотрят и пожелают». «Nous sommes donc de la suite»** вполголоса сказал мне Либхарт и готов был тут же войти в претензию, я должен был употребить все и тогда уже известные мне средства мастерить и умиротворять враждующих, и нас повели в роскошный аппартамент rez de chaussée с великолепными коврами и бронзами и, не спрося о цене, Норов взял для себя гостиную, кабинет и спальню и для пущей важности заказал на всех троих без нашего спроса прихотливый ужин. Мы с Либхартом просили хозяина, чтобы он, не беспокоясь сам, приказал отвести нам по скромной в каком бы то этаже ни было комнате. Остзейский мой барон долго не знал, что ему делать, спуститься ли ужинать к Норову, который его так прогневал, или ложиться не евши. Я убедил его

---

* комнаты на первом этаже (*фр.*).

** «Выходит, мы составляем его свиту» (*фр.*).

тем, что какую бы он ни затеял с ним историю, во всяком случае преглупую, все-таки придется ему заплатить свою долю за общий ужин, и утешил тем, что это будет последним действием нашего комического путешествия и что я с первого же дня расстанусь с нашим героем.

Видно, и в самом деле утро мудренее вечера, т.е. мудрее: мой Авраам образумился и часу в 10[-м] утра, узнав, что я уже готовлюсь к выходу, забрался ко мне на своей деревяшке в третий этаж, извинялся в своем фанфаронстве перед трактирщиком тем, что нам необходимо должно было показать перед французами, что мы русские, и особенно дать почувствовать, что один из нас заслуженный воин. Он стал упрашивать меня очень мило разделить с ним его уже собственный завтрак, накормил устрицами и пил за мое здоровье шампанское. Подобное угощение было предложено Либхарту, но я упросил Норова оставить в покое щекотливого нашего немца, который уже с утра пошел отыскивать своих одноземцев.

Не успели мы отлично позавтракать, как к подъезду подвезен был преизящный кабриолет, запряженный рослой, красивой молодой лошадью. «Теперь поедемте кататься», – предложил мне мой товарищ. «Кто же будет править?» – «А я-то на что? Я умею» – «Да вы не знаете Парижа», – отвечал я, чтобы отделаться от прогулки. «А план-то на что? Да потом мы и спросим». Будь я совсем натощак, а не под влиянием шампанского, я бы под каким-нибудь предлогом отказался. Мы сели и вдвоем поехали. Вдоль Тюльери и через Вандомскую площадь до бульвара ехали мы еще порядочно, повернув же по бульвару направо, мы находили уже затруднения от встречных экипажей и пешеходов; по счастью, лошадь наша так была приучена, что сама останавливалась перед препятствиями; но я слишком хорошо начинал видеть опасность или кого-нибудь раздавить, или быть самим раздавленным какими-нибудь наезжавшими на нас фурами, тяжелыми возами, под которые мы беспрестанно сами подвертывались. «Поедемте скорее домой, с нами непременно случится беда». И вот нам указали ближайшую к Тюльери дорогу через улицу Ришельё, одну из самых многолюдных и по тогдашнему узких улиц Парижа. Только что мы в нее поворотили, как начались всевозможные приключения; то и дело мы на кого-нибудь наедем и ежеминутно слышим ругательные любезности богатого на это французского языка. «Тут уж не до учтивости», – подумал я на десятой или двадцатой остановке, выскочил из кабриолета, сделал ручкой моему вознице и отправился домой пешком, предоставив его судьбе, пожелав ему поучиться науке жизни на опыте. Не прошло часа, Норов был привезен в отель сидевшим с ним рядом полицейским служителем, и уже с тех пор никогда он не правил один кабриолетом. «Eventus stultōrum magister [est]»*, – подумал

* «Исход [дела] – учитель глупцов» (*лат.*). Эту пословицу часто использовали без последнего слова-глагола.

я, но не произнес этой пословицы Норову, знавшему по-латыни лучше меня, а только подумал про себя, через сколько тысяч жизненных опытов придется еще пройти такому пылкому юноше. Спросив в гостинице счет за эти первые сутки и пожав плечами при виде итога, я без обиняков объявил Норову, что отправляюсь искать себе более дешевой квартиры и его оставляю, советуя, впрочем, и ему счесться со своим карманом и быть наперед уверенным, что его суточное содержание будет стоить вчетверо дороже моего.

В этот же день нашел я в Hôtel d'Espagne, rue Richelieu, против Королевской библиотеки, большую во втором этаже комнату, очень удовлетворительно убранную, с альковом и небольшой уборной, и поселился в ней за 120 франков в месяц. Не прошло и двух недель, как присоединился ко мне туда же и Норов, взяв себе квартиру худшую, нежели моя, и, разумеется, более дорогую. Мирно покончили мы, хотя и не без спора, все наши дорожные расчеты, по коим он остался мне должен рублей с 1000. В Париж приехали мы в половине ноября.

Отсюда следует мое тамошнее житье-бытье.

* * *

С тех пор как я оставил Россию, письма оттуда доходили до меня редко. Кроме деловых, получил я одно или два в Травемюнде от Вареньки Обресковой, в них пелась одна и та же песня; я отвечал в том же тоне, прося адресовать следующее в Париж, poste restante*. По этому-то и первая моя прогулка по славному городу Парижу была faubourg st. Germain, rue st. Jacques**, на главную почту. Там наградили меня по крайней мере десятью конвертами, за которые пришлось мне заплатить дорогонько. Нынешняя такса втрое дешевле. Из этой кучки писем прочел я на выдержку два или три, и как в них было все одно и то же, то отправил их разом в камин в твердом намерении не заниматься несбыточными планами переселения в чужие края для бурной и страстной жизни, которая, нарушая все общественные ее условия, ни под каким видом не могла быть безмятежной. Постепенным охлаждением моей переписки, а затем и прекращением оной я надеялся угомонить все порывы страсти в этой невинной девушке. Меня, конечно, будут упрекать в бесстрастном, положим, жестоком благоразумии, я и не думаю себя оправдывать, а говорю просто и откровенно, что было.

Первые дни моего в Париже пребывания отдал я, с раннего утра до поздней ночи, тому особенному удовольствию, которое до сих пор считаю первым в моей жизни и которое нигде, как в Париже, не получается с таким удобством и с такими малыми издержками. В этом отношении я совершенно

---

* до востребования (*фр.*).

** предместье Сен-Жермен, улица Сен-Жак (*фр.*).

походил на французов и особливо самих парижан. Нигде, как в Париже, невозможно с такой приятностью зевать по улицам, faire le badaud*. С 9 часов утра ежедневно выходил я от себя к близкому Palais Royal, где завтракал, потом бегал сначала, как угорелый, по бульварам, заходил за полдень что-нибудь перехватить в кафе, отдыхать в cabinet de lecture** за чтением журналов и разных брошюр, потом обедал в каком-нибудь из средних ресторанов, вечера же проводил в театре и около полуночи возвращался домой. Но подобные бесцельные занятия не могли продолжаться, я взял твердое намерение посещать постоянно и ревностно лекции, а в свободное от них время осматривать все, что следовало видеть.

В Париже нашел я Берга, Мейснера и познакомился с их двумя приятелями, графами Борг[642]. Они уже ходили на курсы в Сорбонну и Collège de Plessy; я выбрал для себя следующие лекции: Лакретеля – историю позднейшей французской литературы, Дону – историю всеобщую, Гизо – историю цивилизации, Ллайя и Портеза – прав римского и естественного и курс практической политической экономии Сейя[643], которую он читал разного рода слушателям всех классов в консерватории ремесел и искусств. Кроме того, я непременно хотел заняться изучением законодательства и истории Франции в отношении к другим государствам[644].

Свободного времени на любимое мое упражнение – зевать по улицам – оставалось у меня немного, все вечера проводил я в театрах. Поневоле должен был я отказать Норову знакомиться через него с нашими значительными русскими путешественниками и ограничился одним представлением себя послу Поццо ди Борго[645]. В его канцелярии нашелся один мой знакомый, с которым я встречался у Обресковых, общих наших родственников, секретарь посольства Ломоносов[646].

В это время в Париже жил с семьей граф Растопчин. Я имел рекомендательное письмо к одной из его дочерей, но не пошел. Там же были и граф Орлов, сын знакомого отцу и мне старичка[647], хозяина Отрады, у которого собирались часто французские знаменитости и русские высшего разряда, равно как и у москвича князя Сергея Ивановича Гагарина, родителя будущего отца иезуита Jean Xavier Гагарина[648]. В этом кругу вращался Абрам Норов и через них вошел во французские литературные салоны, из которых самая замечательная гостиная была у m-me Ancelot[649]. Все эти общества были недоступны мне и по моей дикости, и по моим усидчивым занятиям. Последние шли весьма недурно. С настойчивым прилежанием, руководимый превосходными лекциями истории гражданской цивилизации Гизо, я изучил политическое состояние самой Франции и развитие ее представительного правления.

---

* шататься по улицам (*фр.*).

** читальне (*фр.*).

Поставив себе Францию главным предметом для изучения в это и последующее пребывание мое за границей, я приобрел о ней довольно обширные сведения, так что и теперь, в последние мои годы, знаю эту страну и ее историю гораздо основательнее, нежели Россию[650]. Теперь же буду говорить только о парижских театрах, которых я был ежедневный посетитель.

По времени основания, равно как и по общему признанию превосходства перед всеми парижскими сценами, первенство принадлежит собственно так называемому Французскому театру, théâtre Français. Основанный, если не ошибаюсь, вместе с Академией кардиналом Ришелье[651], который сам был хотя и не удачным драматическим писателем, этот театр никогда не менял своего названия, но, смотря по эпохам, принимал титул то королевского, то национального, и опять королевского. Всем известно, что он так же, как и Академия, был центром классической французской литературы, стражем ее преданий, охранителем чистоты языка и условной, за некоторыми исключениями, нравственной благопристойности, разумеется, так сказать, наружной. На этой сцене преимущественно давались, от самого их появления, пьесы Корнеля и Расина, Вольтера, комедии Мольера[652] и прочие пьесы второстепенных классических писателей, строгих последователей своих предшественников. Со времен Людовика XIV[653] немало участия в судьбах этой сцены принимал двор, и каждая новая пьеса до представления тщательно рассматривалась вначале комиссией, составленной из первых актеров, потом официальною дирекцией театра и драматической цензурой. Благосклонно принятая публикой, среди которой в первых рядах партера, т.е. оркестра, помещались постоянно знатоки искусства и как бы составляли в среде своей некий ареопаг[654], всякая новая пьеса, трагедия или комедия, и только впоследствии драма, была сама по себе великим событием в общественной жизни Парижа и оттуда самой Франции. Знаменитейшие из актеров и актрис этой сцены, подобно великому Лекену[655], признавались наравне со славными писателями и философами жрецами искусства, пользовались при жизни всеобщим уважением, а имена их по смерти долго сохранялись в памяти новых поколений и переходили потом в историю. Малейшие подробности из их жизни преданиями переходили из уст в уста, а сценическая их игра была постоянным предметом сравнения прежних великих актеров с новыми. В мое время, т.е. в конце 1821 г., на сцене Французского театра были три знаменитости, имена которых гремели по всей Европе. Все трое начали свое поприще во время Директории, незадолго до Консульства, или в конце прошлого столетия. Мне бы не нужно было и называть их имена, если бы я писал для моих современников или для французов: у нас их еще помнят, там никогда не забудут. Громкое имя Тальма[656] долго было предметом изучения и споров между всеми французскими писателями современной ему эпохи. Он лично пользовался благосклонным вниманием великого Наполеона, многие уверяют, хотя едва

ли это справедливо, что Наполеон брал у него какие-то уроки. Неоспоримо одно, что Наполеон перенимал у Тальма его манеры, его величественные жестикуляции, его торжественную позу, его искусство носить корону, держать скипетр, драпироваться императорской порфирой. И Тальма, со своей стороны, неподражаемо подражал Наполеону. В 1821 г. почти сряду было 150 представлений трагедни Жуи (Jouy) «Сулла»[657], где великий поэт *оживотворял* перед современниками великого императора, коего лицо действительно было похоже на современные бюсты некоторых римских цесарей, его отрывистую, поразительную речь, его проницательный взгляд, его величественные жесты. В сцене отречения в монологе диктатора, слагающего с себя неограниченную власть над Римом, Тальма до такой степени напоминал собою последнее время владычества империи, что весь театр, и заметьте – всякий раз, поднимался на ноги и на несколько минут предавался какому-то неистовому и почти никогда не допускаемому в этом здании восторгу. Тогдашнее правительство Людовика XVIII не осмеливалось препятствовать такому сильному возбуждению страстей в пользу Бонапарта и его навеки изгнанной из Франции династии; оно также мало успело убедить и самого Тальма, чтобы он не предавался искушению тех громких рукоплесканий, которые могли быть так лестны для великого художника и так опасны Бурбонам, а Тальма был враждебен последним; он не видал или не хотел видеть опасности и увлекался одними похвалами. Между тем слишком частые представления этой эфемерной модной пьесы вредили и искусству, и классической сцене, и самому Тальма, и тем более всем другим актерам. Не могло быть и тени сравнения между эфемерной, всеми теперь забытой пьесой Жуи и бессмертными произведениями Корнеля и Расина, между художественным во всей силе слова исполнением роли Нерона в «Британике»[658], столь верной истории древности, и уродливо напыщенной ввиду минутных увлечений ролью Суллы. Неподражаемо превосходен был Тальма в другой трагедии Расина «Athalie», в которой играл он роль первосвященника. Менее помню я его в трагедиях Корнеля и Вольтера. Да, по милости беспрестанно повторяемой тратедии «Сулла» Жуи мне редко удавалось в других пьесах наслаждаться игрою Тальма, которую всегда он доводил до возможного совершенетва. Безукоризненная последовательность древним памятникам искусства строго сохранялась им в костюмах всех тех времен, к которым принадлежали разыгрываемые им роли. Характеры своих героев глубоко изучал он по древним источникам, и ни одна строка какого-либо знаменитого писателя не пропускалась им без внимания, когда она относилась к строгому анализу какой-либо исторической личности. Он первый ввел на сцену Французского театра простое, естественное чтение стихов, а не их скандирование, произношение нараспев, которое утомляет слушателей своим монотонным александрийским размером; с этого времени стали читать, а не распевать стихи на всех французских сценах. Одна Дюшенуа[659],

вторая по Тальма знаменитость, удержала за собой обычай прежнего чтения стихов, дошедший до нее, так сказать, по наследству от менее славной актрисы Клерон[660]. Дюшенуа не только не была красива, но даже очень дурна. Ее широкое смуглое лицо с выдающимися скулами придавало ей весьма нелестное сходство с какой-нибудь калмычкой (если бы я не боялся обидеть своих, сказал бы – с какой-нибудь русской), так мало походила она на француженку. У нее были полные огня и выражения чудные черные глаза, много нежности и страсти в голосе и грации в движениях. Следуя преданиям, она сохранила еще в своем произношении старую привычку слишком часто повторять то, что называлось некогда hoquet dramatique*, что-то вроде всхлипыванья, что могло нравиться театралам-старожилам и не нравилось новому поколению. Все прочие актеры и актрисы этого театра в присутствии Тальма и Дюшенуа не отличались особенными талантами, но, играя добросовестно превосходно изучиваемую ими роль, всегда достигали полного успеха разыгрываемой пьесы и ее единства, ensemble. На этой сцене никогда не допускалось никаких посторонних заманчивых проделок для привлечения зрителей. Внешняя обстановка, декорации, оркестр в сравнении с другими парижскими театрами были ниже посредственности. В пьесах, в которых играли Тальма и Дюшенуа, а они почти всегда были неразлучны, часто не бывало никакого оркестра, но стечение зрителей было иногда так велико, наприм., когда давали не один уже десяток раз «Суллу», что когда недоставало места в оркестре, то многих помещали за кулисами. Со мной не один раз это случалось и придавало какую-то особенную цену новости; опустится занавес, и увидишь в двух шагах перед собой проходящего Тальма обыкновенным смертным и услышишь его простую, шутливую речь с какой-нибудь смазливенькой актрисой, и все-таки видишь в нем даже и тут человека замечательного. Совсем иное с m-lle Дюшенуа, вблизи она отталкивала от себя своим неизвинительным безобразием, вот почему знакомые мне дамы, разумеется, те, которые никогда не видали ее в двух шагах от себя, спорили между собою и на меня сердились, когда я им говорил о ее безобразии.

Комическая актриса m-lle Mars[661], до старости юная и прекрасная, слишком за 50 лет все еще играла на этой сцене роли des jeunes premières et des ingénues** первой невинной и наивной молодости. Всему литературно-образованному миру известно ее имя, а прелесть голоса, неподражаемые звуки, выходившие из очаровательных ее уст, раздаются иногда в ушах по воспоминанию. Что это были за глаза, в которых выражалась и невинность первой юности, и робость зажигавшейся первою искрой любви, и чары опытной кокетки, и негодование, а иногда и гнев мнимо оскорбленной женщины! Каждая

---

* драматическое икание (*фр.*).

** первых любовниц и инженю (наивных девушек) (*фр.*).

из ее ролей была ее торжеством. Elle créait une nouvelle pièce qu'elle daignait jouer*, по признанию самих авторов, и все это повторяли тогда уже, когда ей было за 50 лет. Страстным любителям сцены и знатокам искусства вздумалось в этот год соединить вместе игру двух первоклассных художников. M-lle Mars не решилась взять на себя трагическую роль, надо было убедить Тальма играть с нею вместе в какой-нибудь высокой комедии или драме. Первым опытом был мольеровский «Мизантроп». Тальма был превосходен в главной роли, но первенство удержала за собой Селимена, т.е, m-lle Mars. Потом с неменьшим успехом разыграны были обоими скучная и слезливая драма Коцебу: «Misanthropie et Amour» («Le Repentir»)** и уже несколько лет после, на самом закате дней этих художников, «École des Vieillards»*** Казимира де ла Винь[662]. Все подобные представления, вероятно, и до сих пор остаются историческими событиями французского театра.

Желание многих драматических писателей и художников способствовать распространению изящного вкуса и классической французской литературы, которая начала уже свою борьбу с романтизмом, побудило открыть на другом берегу Сены новый театр «Одеон», вроде théâtre Français. Для него выбрали удачно место поблизости с высшими учебными заведениями и в том квартале, который весь наполнен студентами и всякою учащеюся молодежью. На этой новой сцене царствовала великолепная m-lle Georges, величественная и такая же, как m-lle Mars, неувядаемая красота. Она, как рассказывали, была по временам в интимных отношениях с Наполеоном и предметом ревности Жозефины. Имя ее прогремело и в России; наша трагическая актриса Семенова была довольно удачная копия ее европейского таланта. Отличительной чертой игры m-lle Georges было царственное величие и какая-то вдохновенная торжественность; но на этой второстепенной сцене недоставало единства между актерами: всех их m-lle Georges уничтожала собой. В «Одеоне» бывал я очень редко, во всю зиму раза два-три, не более.

Вторым любимым моим театром была Итальянская опера. Необширная зала отличалась особливо перед французскою какою-то особенною изысканною, но в меру, пристойностью. Общество съезжалось туда самое избранное; дамы отличались пышными нарядами и напускною в этом свете откровенностью; мужчины являлись в бальных костюмах и держались как-то совсем иначе, нежели простодушные посетители оркестра во Французском театре, которые являлись туда, как бывали дома, в ваточных дульетах и шелковых черных ермолках (разумеется, старики); там было все по праздничному, здесь – по-домашнему, и такой контраст мне очень нравился, как будто я переносился из одного города в другой. На итальянской сцене господствовал

---

* Она создавала новый спектакль, в котором соблаговоляла играть (*фр.*).
** «Мизантропия и Любовь» («Раскаяние») (фр.).
*** «Школа стариков» (*фр.*).

исключительно в эпоху первой своей моды, или славы Россини[663]. Оркестр был таков, что лучшего нельзя было и желать. Первая из певиц была полурусская madame Manviel-Feodor, или Федорова, и чисто русский, из наших придворных певчих, тенор Иванов[664], посланный из Петербурга доучиваться в Италию, приобретший себе там заслуженный успех, а потом и любовь к себе парижской публики. Вследствие этого Иванов избрал благую часть и никогда уже в Россию не возвращался. Второю донной была, кажется, m-me Cinti[665], перешедшая потом на сцену Académie Royale de musique* или в Больщую оперу. Боюсь спутаться, но, кажется, тогда уже, т.е. в 1821 г., являлась на той же сцене в трагических ролях бессмертная по таланту m-me Pasta[666] и увлекала всех слушателей своим контральто, чаще в мужских, нежели в женских ролях. Она была в одно время такой же великой актрисой, как и знаменитой певицей; совсем напротив – у m-me Manviel-Feodor не было никакой игры[667]. Лаблаш[668], будучи еще очень молодым человеком, играя здесь роли Буффа и в новой пьесе Россини «Barbier de Séville»** исполнял роли Фигаро. Наше русское ухо с удовольствием слушало финал этой оперы, взятый из русской песни: «Ах, начто было огород городить», подсказанной композитору Россини княгиней Натальей Степановной Голицыной, урожденной Апраксиной[669]. Не помню, в этом ли году или в другие два раза пребывания моего в Париже слышал я на этой сцене двух первоклассных в Европе теноров – Навида и Рубини[670].

Академия музыки (Académie Royale de musique, или Grand Opéra français), огромнейший и великолепнейший из всех парижских театров, незадолго перед моим приездом перемещена была в другое здание. Прежняя в rue de Richelieu срыта была до основания, потому что в 1820 г. у выхода этого здания убит был Лувелем герцог Беррийский[671]. Раненного смертельно, внесли его в одну из зал Оперы, и призванный туда парижский архиепископ соборовал и причастил умирающего св. Тайн. Клерикалы и ультрароялисты убедили короля в невозможности оставлять более полуязыческим храмом искусства такое здание, которое было облагодатствовано совершением в оном Таинств.

Сцена новой Большой оперы немного уступала в обширности миланской «La Scala» и неапольской «San Carlo», но была несравненно великолепнее. Первыми на ней певцами были m-me Branchu и тенор Nourrit; последнего заменил потом Dupret[672]. На этой сцене представлялись одни лирические оперы; до революции соперничали на ней германец Глюк, покровительствуемый Марией-Антуанеттой, и итальянец Пиччини, которого музыка более нравилась Людовику XVI[673]. Партизаны той и другой стороны расходились на две противоположные стороны, отчего и назывались они: Coin du Roi et Coin de

---

* Королевской академии музыки (*фр.*) (ныне Парижская опера).
** «Севильский цирюльник» (*фр.*).

la Reine*. Великолепные декорации, многочисленные хоры, огромнейший оркестр с лучшими солистами, роскошные балеты, все, что называется le grand spectacle**, два раза в неделю собирало туда толпы зрителей, более всего поражаемых наружной пышностью и блеском. Певцам и хорам знатоки музыки ставили в упрек излишнюю крикливость. Балет был доведен до совершенства: первою танцовщицей была m-elle Brigotini, но в этом искусстве, не так, как в других, охотники до балетов из русских находили ей соперницу в петербургской нашей Истоминой. Видно, ногами соперничать бывает легче, нежели головой.

Последним из театров, который состоял на жалованье и под ведением королевской дирекции, была Opéra comique*** известная под именем театра Feydeau. На этой сцене исполнялись все не слишком ученые, но премиленькие оперы французской школы, начиная с Мехюля, Херубини до Обера. Первой певицей была m-me Boulanger[674], других не помню.

Кроме пяти королевских театров, было до полдюжины частных; первое между ними место, по моему мнению, принадлежало небольшому, на одном из бульваров только что отстроенному театру под названием «Gymnase dramatique». Ему покровительствовала герцогиня Беррийская[675], единственное живое, веселое существо из всей мрачной королевской фамилии старшей линии Бурбонов. Плодовитый талант Скриба[676] один поддерживал существование этой небольшой, со вкусом убранной скромной сцены. На ней 8-летним ребенком начала свое поприще m-lle Леонтина Фай, долго игравшая в Петербурге под названием m-me Аллан[677]. На других театрах, «Porte Saint Martin», «Ambigu», «Panorama dramatique» и «Vaudeville-variété», давались – на одних мелодрамы, на других – водевили. Мелодрамы начинали входить в моду и вносить в драматическую литературу испорченный вкус и выставку всех возможных отвратительных преступлений. Зрителей из парижской буржуазии, страстной к сильным увлечениям, заманивали туда какими бы то ни было средствами, великолепными декорациями и обстановкой самых грубых пороков. Водевиль издавна был исключительной принадлежностью Франции; известен стих: «Et le Français malin créa le vaudeville»****. Брюне на сцене театра, называемого «Vaudeville», и Potiers на театре «Variétés» были неподражаемыми преуморительными комиками, а первыми этих двух сцен актрисами и любимицами публики были – в «Vaudeville» безобразная m-lle Minette, в «Variétés» – m-lle Déjaszet[678]. Первая из двух скоро стала подругой нашего Либхарта, а последняя, престарелая старуха, была еще на сцене в 1870 году. За Минетту я чуть не пострадал. Ее обожатель потребовал от

---

* Сторона короля и Сторона королевы (*фр.*).

** пышное представление (*фр.*).

*** Комическая опера (*фр.*).

**** «Насмешливый француз придумал водевиль» (*фр.*).

меня, чтобы я был на ее бенефисе. Против нее составилась кабала, и началось побоище, перекрестное стреляние гнилыми апельсинами и яблоками, а потом ломанье стульев и скамеек, так что я, чтобы убраться подобру-поздорову с поля сражения, перескочил через оркестр и бегом через всю сцену вышел в какую-то боковую дверь на улицу. В «Variétés» было со мной другое приключение: я чуть-чуть не сделался невольным актером разыгрываемой пьесы. Первый этого времени преуморительный комик Potiers представлял в обыкновенном потертом платье директора провинциальной труппы, и пьеса началась тем, что он расставлял неуклюжих актеров на сцене, приказывал им повторять, а потом и разыгрывать заученные ими роли. Все это было чрезвычайно забавно, и все хохотали. Я сидел в балконе на ближайшем к сцене месте рядом с каким-то старичком и не обратил никакого внимания на вновь входящего, которому возле меня сосед мой уступил свое место. Между тем провинциальные актеры уморительно продолжали коверкать свою пьесу, как вдруг сосед мой вполголоса, но довольно громко обратился ко мне с таким вопросом: «Et vous, monsieur, comment trouvez-vous ces imbéciles-là?»*. Я не догадался и что-то ему смутно и тихо ответил. «Êtes-vous sourd ou non? Je vous demande quel effet ces gaillards produisent sur vous?»**. Тут я понял и дал тягу. Мой сосед, compère*** самого Потье, вступал в заранее обдуманные разговоры, и пьеса с четверть часа разыгрывалась в самой зале, откуда директор провинциальной труппы давал уроки своим актерам, что было очень забавно.

Без сомнения, классические трагедии, разыгрываемые великим Тальма, доставляли зрителям высокое наслаждение; так было и со мною. Но бессмертные творения Корнеля и Расина почти всегда меня утомляли от слишком напряженного внимания; я восхищался и уставал. То же, но с чувством сильнейшего утомления, было со мною по выслушании какой-нибудь дельной лекции, наприм., политической экономии Сея и в особенности Гизо. Последний читал свой предмет необыкновенно сжато, без всякого увлечения и потому сухо, но интерес его преподавания возрастал все более и более для каждого приготовленного сколько-нибудь чтением к его лекции. Он один из всех французских профессоров не дозволял себе никаких ораторских украшений в своей речи, никакого воззвания, возбуждавшего обыкновенно у других профессоров патриотическое чувство французов, или, правильнее сказать, их шовинизм, и не дозволял своим слушателям никаких в честь ему рукоплесканий ни при начале, ни при конце лекций, тогда как все прочие его товарищи заискивали у студентов себе хлопанье в ладоши в самой середине лекции, часто применяя – ни к селу, ни к городу – к своему предмету какие-нибудь мелочные события

* «Что вы скажете, сударь, об этом дурачье?» (*фр.*)

** «Вы что ли оглохли? Я спрашиваю, как вам нравятся эти весельчаки?» (*фр.*)

*** напарник (*фр.*).

дня, коими с некоторой натяжкой удавалось им польстить общественному мнению парижан. Так, наприм., в это время на французской южной границе, в Пиринеях, выдвинут был обсервационный корпус, наблюдавший революционное движение в Испании против короля Фердинанда VII[679]; чтобы скрыть настоящую причину надзора за революционным движением Испании, которого опасалось французское правительство у себя, официально объявлено было французским министерством, что в Испании открылась сильная заразительная болезнь, известная под именем желтой лихорадки, le fièvre jaune, и что отряду, поставленному на этой границе, поручено было учредить карантин и не пропускать никого через Пиринеи. Чтобы отдалить всякое подозрение в обмане, Министерство внутренних дел вызывало медиков и монахинь, сестер милосердия на добровольное отправление в Испанию – первых для изучения этой страшной болезни, вторых – для наблюдения способов хождения за больными таковою. Вскоре затем появилось в официозных газетах несколько имен тех лиц обоего пола, которые вызвались на такой подвиг, и вот на двух лекциях профессор новейшей французской истории Лакретель и естественного права Порте ни с того ни с сего рассказывали нам в пышных фразах это новое торжество гуманности французов и были оглушены рукоплесканиями толпы слушателей, между которыми заметны были нарочно пришедшие для того клакёры. Лакретель, отъявленный враг революции и всех ее последствий, действовал по крайней мере и в этом случае добросовестно, но профессор Порте был по убеждению большего числа студентов подкуплен правительством и слишком явно насиловал принципы своих предметов, естественного и народного права, в пользу почти неограниченной монархии. Вскоре после этого сделался он сам предметом ожесточенного нападения от студентов, которые, при появлении его на лекции встречали его свистками, каким-то собачьим лаем и петушиным криком, так что профессор, как ни силился восстановить порядок, должен был оставить аудиторию. В следующий раз явился Порте уже не один, а с деканом университета, но встреча была та же. По удалении из аудитории профессоров вошло человек пять жандармов и старший из них объявил, что все находившиеся в классе лица арестованы до дальнейших распоряжений. Несколько человек находившихся тут иностранцев, в том числе и мы, русские, заявили о том, что мы не участвовали в беспорядке, а потому и просим позволения удалиться. Тем из нас, которые имели при себе печатные виды на право посещения лекций, позволено было уйти; не имеющим этих карт, в том числе и мне, предложено было отправиться в главную парижскую полицию, préfecture de police, которая одна может быть удостоверена в подлинности наших показаний. Нам замечено было, что мы сами были виною этой неприятности, нарушив правило и обычай иметь при себе билеты. Итак, нас повели в полицию, продержали там голодных часа

четыре и, уверившись, что мы действительно иностранцы, живущие в месте, нами показанном и в префектуре записанном, отпустили домой[680].

В Париже, как и везде, жизнь, несмотря на мою раннюю молодость, проходила спокойно, тихо и, пожалуй, бесцветно. Денег у меня было слишком достаточно, но и в расходах держался я умеренности и никак не мог проживать более 1000 франков в месяц. Недели две просидел я в совершенном одиночестве от постигшей меня после легкой простуды глухоты. Иногда заходил ко мне живший в том же отеле Норов, но я просил его избавить меня от набегов наших соотечественников, которые от нечего делать всегда слоняются от одного приятеля к другому и особенно любят посещать своих больных, потому что всегда застают их дома и находят у них убежище от преследующей их праздности[681]. В это глухое для меня время (в строгом смысле, потому что я был глух) предался я весь чтению политических и исторических сочинений. Раннее мое утро начиналось теплой ванной, которую приносили мне за $1^1/_2$ фр[анка] ежедневно в мою комнату 2-го этажа, и к великому моему удивлению всегда это делалось так аккуратно, что ни одна капля воды не проливалась ни на пол моей комнаты, ни по лестнице. Portier разводил камин, и я сам заваривал в нем чай. Житье мое было отшельническое: благодаря глухоте я не слыхал даже уличного шума, хотя жил на самой шумной парижской улице. Переносил я мое уединение очень охотно и всегда вспоминал и вспоминаю о нем с каким-то наслаждением. В наш новый год силою ворвался ко мне Пукалов и начал с того, что разругал меня за мою пред ним невежливость. В комнате было свежо, я сидел перед камином в халате, вроде французской дульет, и, приподняв при входе гостя мой изящный парижский couvre-chef*, надел его опять на голову. «Да ты здесь совсем обасурманился, – гневно сказал мне Пукалов, – и у тебя, кажись, нет и образа, да и сидишь-то ты перед гостем в шапке». В насильственно отпертую мною дверь вошли и другие посетители со своими поздравлениями. Я убедился, что это был конец моему карантину и с позволения доктора в тот же день вышел из моей скорлупы.

В числе немногих русских, мне знакомых, почти подружился я с молодым Деденевым, богатым воронежским помещиком, сестра которого была за генерал-адъютантом Храповицким[682]. Камер-юнкер Деденев, порядочно образованный, с хорошими манерами и приятной наружности, жил в гражданском браке, т.е. maritalement**, с премиленькой гризеткой. Я у них бывал и обедывал; она была живая, простенькая и миленькая парижанка, но слишком ревнива и вспыльчива. Встречал я у нее и разных смазливеньких ее подруг, из которых предлагала она мне выбрать любую по моему вкусу для подоб-

---

* головной убор (*фр.*).

** сожительствовал (*фр.*).

ного сожития, но меня так пугали ее постоянные сцены ревности и гнева с Деденевым, что от такой чести и удовольствия я решительно отказался. Обычай жить с любовницами не только между молодыми и холостыми, но между старыми и женатыми в Париже был, как и теперь, всеобщий. Года за два перед тем поселился в Париже кривошея-старик кн. Тюфякин[683], который, знатный и чиновный, являлся всюду с подругой своей, m-lle Irma, одной из парижских актрис, и был предметом постоянных печатных насмешек в мелких парижских журналах: «Miroir» и пр.; там окрестили его князем Toutfaquin*. Как он ни жаловался по судам на злоупотребление прессы его именем, ему всегда отказывали в удовлетворении[684]. В это же время один наш знаменитый герой и граф, дружески простившись со своей добродетельной и скучной супругой[685], поселился в противоположной от нее части города и, как бы путешествующий по разным странам, вел постоянную из разных городов с ней переписку. Фарса эта известна была всем русским, кроме графини. Нечего сказать, немногие из наших отличались безукоризненною нравственностью. Некоторые из дам превосходили своим поведением развратнейших из мужчин. Однажды, сидя с Богдановским, стыдливым, как красная девушка, в галерее Итальянского театра, услышали мы русскую речь сидевших над нами в ложе двух великосветских русских дам. Они делали такие откровенные замечания относительно телесной красоты итальянских актеров, что я, переглянувшись с Богдановским, вдруг заговорил с ним по-русски, тот покраснел, как рак, а я, оборотясь на ложу, одним взглядом заставил этих двух дам из нее выбежать[686]. Раз в Большой опере одна, тоже русская, дама была выгнана из театра уже не одним моим пристальным на нее взглядом, а вниманием к ее особе всего партера. Она изволила в декольтэ и с голыми почти до плеч руками явиться в середине пьесы в бельэтаж с большим шумом. При этом появлении ей уже из партера зашикали, и вдруг последовали оттуда же крики: «A bas la jambe!»**. Долго никто не понимал, что это значит; наконец, увидали тучную руку нашей дамы, лежавшую на бархатной рампе ложи. Рука шутникам партера показалась ногой. Бедная толстая барыня долго сама ничего не понимала, наконец ее медленность рассердила партер; сотня дерзких шутников устремила свои лорнеты и зрительные трубки на ложу с усиленными криками: «A bas la jambe!», и осмеянная дама[687] удалилась.

Из немногих русских моих знакомых с удовольствием встречался я со скромным генералом Богдановским. Он чувствовал недостаток в себе образования и старался вознаградить потерянное время, но при весьма поверхностном знании французского языка это становилось для него почти невозможным. Тем не менее – редкий пример из русских полуграмотных

---

* Полным болваном (*фр.*) – интерпретация русской фамилии князя.

** «Ногу прочь!» (*фр.*)

генералов! – он отдавал преимущество европейской цивилизации и, сравнивая с нею нашу, стоял за прогресс. Думаю, что одна врожденная его кротость вместе с застенчивостью мешала ему стать в ряды будущих декабристов и поступить вновь на службу при графе Воронцове, который дал ему впоследствии место градоначальника в Одессе.

Другой мой знакомый, летами постарше, замечательный умом и основательным образованием, был Михаил Александрович Салтыков, родной брат по матери того генерала Пассека[688], с которым я близко сошелся в доме тетки моей Обресковой. Салтыков был в молодости адъютантом князя Потемкина, а впоследствии попечителем Казанского университета. Не бывав никогда за границей до 60 лет, он превосходно владел французским языком, усвоил себе всех французских классиков, публицистов и философов, сам разделял мнения энциклопедистов и, приехав в первый раз в Париж, по книгам и по планам так уже знал все подробности этого города, что изумлял этим французов. Салтыков, одним словом, был типом знатного и просвещенного русского, образовавшегося на французской литературе, с тем только различием, что он превосходно знал и русский язык.

Когда рассеянный Норов, покружившись в первые месяцы в русских салонах и литературных парижских, начинал от них уставать, он по любви своей к знанию видался часто с Салтыковым; я пристал к ним, и мы трое вместе осматривали музей, библиотеки и прочие достопримечательности Парижа. Салтыков везде был нашим чичероне[689], и куда бы он ни входил, все достойное внимание было им давно изучено, давно ему известно. Норов собирался в Италию, его влекла в Рим любовь к искусству, к исторической древности, желание усовершенствовать себя в латинском языке, который он знал довольно слабо еще в России. Несмотря на мою явную с ним размолвку в житейском практическом отношении, я не мог не ценить в нем его высокие нравственные качества. Он был и тогда уже глубоко религиозен, замечательно целомудрен в беседе, несмотря на всю его страстность и юность; поэт в душе, он мог бы, казалось мне, быть замечательным стихотворцем, если бы не предался другим, более серьезным предметам, как, наприм., изучению христианской археологии по римским, а впоследствии и греческим источникам, путешествию на Восток и ученому паломничеству в Иерусалим и вообще Палестину. Религиозный скептицизм Салтыкова его всегда оскорблял, но он уступал ему из уважения к его летам и к тому нравственному и благородному характеру, которым отличался Салтыков, несмотря на свое философское неверие. В понятиях Норова, а отчасти и моих, вывезенных из России, всякий неверующий необходимо должен был быть злодеем или по крайней мере очень дурным человеком, не заслуживающим никакого уважения и доверия; оба мы с Норовым нашли в Салтыкове пример, опровергающий наши убеждения. Но в откровенных беседах и спорах со мною Норов менее снисходительно отно-

сился к моим религиозным сомнениям, которые мало-помалу невольно вкрадывались в мой ум путем чтения и вообще моего развития. Следствием одной нашей задушевной беседы в позднее ночное время был даже вызов меня на дуэль, так что я, приняв такое странное предложение, насилу успокоил его на другой день доказательствами, взятыми мною из Св. Писания, что поединок дело не христианское, а между тем в Норове это было понятно: он был вместе и христианин, и средневековой рыцарь. Раза три случилось мне в Париже как приглашенному им в секунданты выжидать в café «Lamb» вызванного им накануне какого-нибудь француза, который, однако, не являлся. В порядочных обществах Норов обходился без историй, но на улицах, в ресторанах, театрах у него бывали почти ежедневные неприятные столкновения. К счастью, он всегда нападал на трусов, вселяя в каждого страх своей деревяшкой. Перед отъездом своим из Парижа в Рим он вынужден был по безденежью занять у меня 3000 фр., я ссудил ему очень охотно. Человеку расчетливому и, если хотите, скупому, каким могут считать меня, гораздо легче вынуть из кармана порядочную сумму и даже ее потерять, чем видеть над собой ежедневно по мелочам разграбление от беспорядка, на прихоти и кинью. Крупная издержка останется всегда памятной, частые и мелкие – нарастают до значительных сумм и оскорбляют вас тем, что остаются навсегда незаметными, неосязательными. В первом случае знаешь, куда и на что было издержано или, пожалуй, брошено из окошка, во втором – сам не доберешься, куда, а денег вышло страшно много и все мелочами.

Салтыков и я, мы проводили Норова в Фонтенбло, где, как известно, находится старинный великолепный замок Франциска I[690] и знаменитый парк. В эту небольшую прогулку в первый раз познакомился я с очень неудобной французской почтовой каретой. Внутри нее было 6 мест, и тем двоим, которым доставалось сидеть не по углам, а между двумя пассажирами посередине, такое путешествие было очень неудобно. Мои два товарища представили мне на этой дороге две крайности: сколько был расточителен Норов, столько до скаредности, хотя и прикрытой приличиями, скуп Салтыков. Он не хотел участвовать в заказанном нами обеде, спросил себе одного бульону и доел оставленные нами две котлетки. Извинением такой бережливости Салтыкова могло служить то, что он был очень небогат и в то же время хотел жить порядочно; по летам и по чину он находил нужным иметь на хорошем месте хорошую квартиру, ездить, куда нельзя было идти пешком, не в отвратительном тогдашнем фиакре, а в наемном экипаже de remise*, обедать в ресторанах, хотя и впроголодь, но в лучших, посещаемых порядочными людьми. Он гнушался моего обеда, очень сытного, за 5 фр. с вином у Шампо[691] против биржи и ходил всегда в рестораны на Итальянском бульваре, либо «Riche»,

* от каретного двора, т.е. в богатой наемной карете (*фр.*).

либо «Hardi», о которых была тогда в Париже поговорка: «Il faut être hardi pour aller chez Riche»*, – у него сходились богатые отставные и отчаянные французские офицеры, – «et riche pour aller chez Hardi»**, потому что это было непомерно дорого. Однажды, как я ни отговаривал, завел он меня в «Hardi», уверяя, что и там можно было дешево отобедать. Он, конечно, и проел всего 3 фр., спросив себе рюмку вина, бульону и макарон; мне всего этого было слишком мало, и я за полный обычный свой обед заплатил 10 и с тех пор туда ни ногой. Тотчас по приезде в Фонтенбло взяли мы места в почтовой карете на обратный путь; Норов – по дороге в Италию до Лиона, мы с Салтыковым – назад в Париж; потом пошли осматривать замок, где с любопытством видели и старинное помещение короля Франциска I, украшенное во многих местах вензелями его любовницы Diane de Poitiers[692], и впоследствии пристроенные апартаменты Людовика XIV, обширный кабинет Наполеона и самый тот письменный стол и перо, которым Наполеон подписал свое отречение, и большую площадку перед дворцом, где собраны были ветераны старой императорской гвардии и где происходило трагически умилительное прощание с нею их великого вождя. Сколько воспоминаний и какой красноречивый ряд исторических имен, сошедших с поприща и в отдаленные, и в близкие к нам эпохи!

Протолковав на прощанье с Норовым и пожелав ему успеха в предполагаемом им ученом путешествии, разошлись мы довольно рано, узнав, что в 4 часа утра наш дилижанс повезет нас обратно. Салтыкова и меня разбудили до света, за целый час до отъезда. «Зачем так рано?» – спросили мы. Кондуктор требовал паспорта. У нас их, конечно, не было. Живя в Париже около полугода, мы и не подозревали, что для такой небольшой прогулки, в 15 льё от столицы, нужно было иметь с собою законный вид. Как же быть? Нам предложили выписать паспорта из Парижа от наших хозяев, но их нелегко было отыскать, и, кроме того, у нас не было ни белья, ни достаточных денег. Салтыков, несмотря на всю благоразумную сдержанность своего характера, сильно рассердился и вышел из себя, потребовал видеть супрефекта, а кондуктору, возвестив свой чин тайного советника и императорско-российского камергера, повелительно приказывал дожидаться нашего возвращения. Насилу добились мы, чтобы заспанная служанка, или bonne супрефекта, его разбудила. Он выскочил к нам, как теперь гляжу, взбешенный, в ночном колпаке, без галстука, в синем фраке с гербовыми пуговицами, с розеткой в петлице и в спущенных на туфли белых панталонах. Сначала он было принял нас свысока, mais il a trouvé à qui parler***. Изящным французским языком Салтыков выразил ему все свое негодование и заставил супрефекта оправдывать

* «Нужно быть отважным, чтобы обедать у Риша» (*фр.*, игра слов: riche – богач, богатый).

** «и богатым, чтобы обедать у Арди» (*фр.*, игра слов: hardi – отважный).

*** но вскоре понял, с кем говорит (*фр.*).

требование от нас паспортов весьма недавними распоряжениями полиции по смутным обстоятельства времени. Он дал нам пропуск до Парижа, но с тем, чтобы мы, приехав туда, прямо с главной почты отправились в префектуру. Побыв уже там один раз по случаю сорбоннских тревог на лекции, я думал, что нас опять задержат, но решительный тон Салтыкова вместе с его чином и званием заставили и самого парижского префекта нас немедленно отпустить с просьбой благосклонно принять от него извинение[693].

Парижа, конечно, описывать я не буду: он слишком всем известен. Если бы могла сохраниться во мне память о Париже времен Реставрации[694], о существовавших еще тогда остатках средневекового и дореволюционного города, о тесноте, духоте, безобразной нечистоте, особливо того квартала, в котором находилась церковь Notre Dame, о начатой за несколько годов прежде громадной постройке, соединяющей Тюльери с Лувром и загроможденной тогда бараками и заборами, о деревянных галереях с низенькими, невзрачными лавчонками в два ряда, мимо которых каждый вечер толпилась развращенная публика и последнего разряда гризетки, о других разрисованных красавицах в бальных костюмах, нагло преследующих мужчин, о картежном публичном доме № 113, куда каждый вечер сходились охотники до азартной игры и откуда многие из них выходили с отчаянием, лишившись последнего куска хлеба, – если бы я умел представить верную картину того рабочего населения, тех пролетариев предместий Св. Антония[695], которые были кровожадными деятелями террора и зачинщиками каждого из парижских бунтов, – если бы, одним словом, мне могло удастся отчетливо и живо сравнить Париж 1822 года с тем Парижем, который видел я в 1870 г., то за такое описание читатели мои могли бы еще остаться мною сколько-нибудь довольны. Но такая задача была бы, кажется, трудна и не для моего пера. Теперь, возвратись восвояси и будучи опять обывателем нашей вдовствующей первопрестольной столицы, сердцевины России, часто переношусь я в осаждаемый Париж[696], расширенный и украшенный с такими громадными пожертвованиями гениальным мотом Гаусманом по воле царственного авантюриста и фокусника, его покровителя[697], и воображению моему невольно представляется другая новая картина разрушения, другой новый ряд имеющих последовать там ужасов, которыми начнется наша новейшая история.

Наконец, подходила и мне пора расставаться с Парижем. На первой неделе Великого поста вся русская колония собиралась на церковные службы в отдаленную, около Porte Saint-Martin, улицу Меле, где слишком скромно помещалась наша домовая посольская церковь. Русский посол Поццо ди Борго, корсиканец родом, католик по исповеданию, мало о ней заботился. Все чиновники парижской миссии, кроме младшего секретаря Ломоносова, были иноверцы, да и между ними не было ни одного с именем, сколько-нибудь известным[698]. Вообще должно заметить, что император Александр как бы

умышленно заботился о том, чтобы его величие как самодержца обширнейшей в свете империи и его личная слава как недавнего вождя царей и народов и их великодушного освободителя отнюдь не выставлялись нигде наружу, а, напротив, прикрываемы были во всех проявлениях государственной и политической жизни беспримерным смирением. Должно признаться, что подобное направление иногда бывало слишком преувеличено, оно иногда бывало в ущерб справедливому чувству народного достоинства. Так было и с нашей парижской церковью, где по праздничным дням у подъезда, более чем скромного, стояли ряды великолепных экипажей русской знати с напудренными, в ливреях кучерами и лакеями; оттуда высаживались разодетые наши дамы и подымались по довольно крутой узкой лестнице в бедную, почти убогую нашу церковь. Протоирей Лавров[699] мало отличался благолепием служения[700], пение было весьма плохое. С царствования императора Николая везде в этом отношении последовала великая перемена, и перемена к лучшему. Кто меня знает или узнает по этим запискам, конечно, не назовет защитником народного самохвальства, но за тогдашнюю парижскую церковь и мне даже бывало стыдно перед иностранцами. Я говел на Страстной неделе и исповедовался у нашего священника[701]. В его тесных, плохо убранных комнатах предложен был от посла пасхальный после ранней обедни завтрак. Сам Поццо ди Борго на нем не присутствовал и увлек за собою после службы все вельможное и чиновное. Из чиновников миссии присутствовал на нем один Ломоносов и как старый мой знакомый и родственник моих родных Обресковых славно меня накормил и напоил. В церкви познакомился я с неким г. Шубиным, который в этот преимущественно радостный день встосковался об оставленной им в России супруге и семье и предложил мне всеуниженно осчастливить его принятием приглашения с ним, бедной сиротой, в этот день отобедать. Я на зов Шубина охотно согласился. Мы пошли с ним к «Fréres Provençaux»*, я начинал уже бояться дороговизны, но г. Шубин, заказывая по карте обед самый прихотливый, с дорогими винами, обязательно предупредил меня, что все это кормление и упоение последует от него. И в самом деле, обед был на славу, вино всякое лилось рекою, да и не одно вино – рекою лились слезы из глаз сироты Шубина. Мне на него смотреть было смешно и жалко. Я думаю, прованские братцы и их прислуга были довольнее еще нас, когда мы нетвердыми шагами от них выходили. Окружавшая нас французская публика глядела на нас, хотя и хмельных, с каким-то уважением. Обед Шубину стоил 150 фр., считая с «на водку» гарсонам. Широкая натура русский человек, а иногда и преглупая, какою был амфитрион[702] Шубин. В его пустую голову забирались иногда курьезные идеи и, как я его ни уговаривал, одну из них он, однако, выполнил, и не без моей помощи. Ему непременно захотелось увековечить

---

* «Прованским братьям» (*фр.*).

для потомства (надеюсь, для своего) каким-нибудь памятником совершаемое им путешествие. В его глазах становилось оно чуть ли не всемирным событием; и вот после долгих рассуждений, как и чем ознаменовать память такого славного подвига, решили мы заказать на Севрской фабрике[703] фарфоровый сервиз дорогой цены с изображением на тарелках всех тех городов, которые изволил посещать и имеет на возвратном пути посетить великий наш путешественник, с означением года, месяца и числа высокоторжественного его проезда через оные. На четырех суповых чашах нарисованы были одним из лучших севрских живописцев, который разрисовал и тарелки, портреты самого Шубина и его супруги с ее подлинного изображения. Жаль, что не помню, сколько за всю эту глупость была заплачено, исполнена она была в совершенстве. И один только раз удалось мне полюбоваться этим сервизом в московских палатах Шубина, которые он отделал также своеобразно и безвкусно, но пышно и великолепно. У него скоро по возвращении расстроилось состояние, и его жена, молодая и красивая, лишилась рассудка, к все они для меня исчезли.

В начале весны, тотчас после Пасхи, окончился зимний семестр лекций В Сорбонне и Collège de Plessi, autrement Louis le Grand*, а для настоящих студентов начались экзамены, до которых мне, разумеется, не было никакого дела, и начиная с утра половина дня стала у меня свободна. Благодаря Ломоносову, перебывал я и в заседаниях палаты депутатов, и в Cour d'assises**, и в других второстепенных и полицейских судах. Таким образом ознакомился я с публичным французским красноречием во всех его видах, не исключая и церковного. Оглушительно пышные фразы и торжественная декламация вначале мне нравились, впоследствии я убедился, что французы часто злоупотребляют даром слова, что они слишком щеголяют фразеологией и что их многословие лучше всего определяется их же собственным словом: vaniloquence***. Это достоинство, правильнее сказать – этот недостаток, общий всем их адвокатам. Какого бы обвиняемого ни защищал избранный или назначенный ему от суда защитник, какого бы крупного или мелкого преступника ни обвинял на суде королевский прокурор, каждый из них начинал свою речь с того, что, ежели преступник будет присяжными оправдан вопреки доводам прокурора или невинный будет осужден вопреки излагаемому защитником оправданию, все французское гражданское общество, все условия государственной и общественной жизни сейчас же распадутся. То же самое почти ежедневно выражалось в размерах несравненно обширнейших и в прениях министра с оппозицией, и в прениях последней с министрами и политическими врагами противных сторон. Впрочем, торжественная простота этих заседаний и

---

* Колледже де Плесси, прежде – Людовика Великого (*фр.*).

** суде присяжных (*фр.*).

*** красноречивое пустословие (*фр.*).

неутраченное еще тогда обаяние и вера в непогрешимость народного представительства не могли не увлекать, не поражать всякого иностранца, особливо же русского, молодого[704].

Приятель мой Деденев решился после многих сцен разойтись со своей возлюбленной и предложил мне путешествие в Южную Францию, в давно желанный мною край голубых озер и снежных альпийских вершин. Сборы мои были недолги. В Париже жил я все время как самый строгий студент; все мои пожитки вместились в небольшой чемодан; по отъезде Норова никакой прислуги при мне не было; portier Lefévre заменял мне во всем нашего общего с Норовым наивного Ваню, который и тут забавлял меня часто своею наивностью. Однажды, как теперь помню, пришел он ко мне в комнату с ежедневным своим для прислуги визитом уже после полдён и этим, забрав накануне для чистки мое платье, задержал меня. «Отчего так поздно?» – спросил я его. «Виноват, ходил на площадь Грев, там, сказывали мне, будут какому-то преступнику рубить голову. Вот я все и ждал казни: либо я опоздал, либо ее совсем не было; ну, да это не беда, пойду туда же в следующую среду, только пораньше!». – «Отчего же в среду?» – «Как же-с? Разве вы не знаете? У них такой уж закон – каждую среду рубить кому-нибудь голову, у них на это особенная машина сделана». Какой-то беглый русский солдат, не захотевший воротиться домой, смеясь над легковерным Ваней, уверил его в подобных французских порядках.

Мы с Деденевым никак не могли отделаться от полковника Ильина, который непременно хотел нам сопутствовать, и, взяв места в дилижансе, приехали ночевать в Тур; с нами был еще деденевский человек Александр. Как-то странно, путешествуя по Европе и особливо по Франции полусвободной, называть лакея или камердинера преимущественно «человеком»; но таков уже русский обычай, утвердивший в облегчение читателей и слушателей такое великое слово за крепостным, лишенным как бы для контраста всех прав человечества.

На первом нашем ночлеге встал я ранее моих товарищей и в ожидании общего завтрака по их пробуждении пошел погулять по городу, перешел через мост, достойный по изяществу новейшей своей постройки красивейшей из всех французских рек Луары. Приближаясь к обширной, окаймленной огромными деревьями поляне против самого города, увидел я множество рассеянных по ней кучками людей разных возрастов и между ними порядочное число детей. Утро было прекрасное; мальчики и девочки в красивых платьицах весело гуляли и резвились, много было разносчиков с разными сластями и питьем, в конце аллеи что-то строили и улаживали. Двое-трое газетных разносчиков приглашали публику своим криком купить «Процесс Августина Биш». Тут я узнал наконец, что улаживали гильотину и что ровно в 2 часа пополудни бедный Биш сложит на ней свою преступную голову. Воротясь

домой, я предложил за завтраком моим товарищам отсрочить на несколько часов наш ранний из Тура отъезд до после обеда и пойти посмотреть смертную казнь. Полковник Ильин отнекивался от такой прогулки за слабостью здоровья и каким-то нервным расположением; хотя он и в самом деле был не очень-то здоров, но нервное расположение 40-летнего раненого воина и его сентиментальный страх быть свидетелем казни показались мне преувеличенно смешными. Я начал его стыдить и увлек насильно. За полчаса до публичного позорища пришли мы на площадь.

Гильотину все еще улаживали плотники; ни полиции, ни войска – никого еще не было, и вокруг убийственной машины бегали дети, и более из них смелые двое или трое взбирались на самую площадку, откуда их гнали плотники. Толпа прибавлялась и, рассеявшись по лугу, спокойно кушала себе захваченный из дома походный завтрак либо покупали пирожки и питье у разносчиков; газетчики кричали в разных местах: «“Procès d'Auguste Biche” à 2 sous!»*, предлагая желающим печатный листочек. Всем было весело, все шутило и смеялось, но мало-помалу в толпах обнаруживалось нетерпение. На соборной колокольне пробило три четверти второго часа пополудни, и небольшой отряд кавалерии в боевом параде окружил уже устроенную совсем гильотину и разгонял сбегавшуюся к ней толпу. Тотчас же после приехал в четвероместной карете палач с двумя своими служителями и стал внимательно осматривать гильотину во всех ее подробностях, спускал и поднимал для пробы блок, испробовал острие ножа и т.д. На башне пробило два часа, нетерпенье зрителей росло с каждой секундой. Минут через пять, когда ничто еще не появлялось, слышны были упреки и ропот, и – заметьте – особливо женский: «Что же, скоро ли? Ведь уже пробило. Долго ли еще дожидаться?» Крики разносчиков с питьем и лакомством смолкали, зато все громче восклицали газетчики: «Mesdames et messieurs, achetez “Le procès d'Auguste Biche” à 2 sous!»**. Наконец послышался опять конский тяжелый топот другого кавалерийского отряда, за которым ехала карета с одним или двумя членами суда и его секретарем (greffier), и вслед за нею небольшой открытый экипаж особенной формы, похожий, сколько помнится мне, на нашу бричку без верха; на ней посажен был связанный веревками по рукам, почти безжизненный преступник Auguste Biche и рядом с ним столько же бледный почтенных лет священник с распятием в руке; тележка была сопровождаема четырьмя с обеих сторон стражами. Когда по приближении экипажа к гильотине высадили из него трепещущего преступника и помогли сойти наземь аббату, секретарь суда твердым голосом прочел смертный приговор, преступника взяли под руки палачи и понесли его по лестнице к площадке машины. Аббат взошел

---

* «“Процесс Огюста Биша” за два су!» (*фр.*)
** «Сударыни и судари, покупайте “Процесс Огюста Биша” за два су!» (*фр.*)

с ним, приложил к губам жертвы распятие, возложил на его голову свою руку, благословил его и едва мог спуститься сам наземь по трем или четырем ступенькам. Признаюсь, и я, с раннего утра готовившийся к этому зрелищу, которое мне казалось не более, как в высшей степени любопытным, чувствовал внутри себя какое-то смущение, какую-то неловкость. У меня, стыдно сказать, как-то двоилось, троилось в глазах, я не мог отчетливо видеть, как втолкнули палачи в какую-то западню голову несчастного; что-то потом взвизгнуло, огромный широкий нож быстро и тяжело спустился с блока на шею Биша, и в одно мгновение главный палач взял за волосы окровавленную отсеченную голову и, подняв вверх руку, показал ее народу. В то же самое мгновение послышалось из толпы: «Mesdames et messieurs, achetez "Le procès d'Auguste Biche" à un sous!»*. Цена, как видите, сбилась наполовину.

Очнувшись после такого трагического видения, я обернулся на обе стороны и назад, отыскивая глазами своих товарищей. Один из них лежал на земле; я думал, что его сбила с ног уходящая толпа, – ничуть небывало: полковнику сделалось дурно, с ним был истерический припадок, и мы с Деденевым принуждены были отыскивать, и довольно далеко, какой-нибудь фиакр. Расслабленного привезли в трактир, положили в постель, позвали доктора и купно с ним поздравили его с лихорадкой. Ильину нечего было и думать о том, чтобы пускаться в тесном дилижансе в дальнее странствование, а мы вынуждены были остаться в Туре еще на одну ночь, и успокоенные доктором, что болезнь совсем не опасна, оставили Тур уже в половине другого дня.

Казненный смертью Август Биш, лет около 30, был работником у одного землевладельца, мелкого собственника, который в бедной хижине на небольшом своем участие жил бездетно с женою; Биш их убил в надежде разбогатеть небольшими их деньгами. Смертная казнь, виденная мною со всей ее обстановкой в моей молодости в первый и, вероятно, в последний раз в моей жизни, часто с тех пор возбуждала и возбуждает во мне целый ряд серьезных и тяжелых мыслей. Можно ли согласовать ее с законами стремящегося по пути прогресса настоящего человеческого общества? Практично ли, разумно ли и справедливо ли будет ее решительное уничтожение во всех без исключения гражданских обществах, не отвергающих, хотя бы втайне, успехи законной свободы и благовременного просвещения? На чем остановилось где бы то ни было решительно в этом отношении общественное мнение, и остановилось ли оно на чем-нибудь или нет? Или повсюду этот вопрос оставляется открытым? Большая часть публицистов и журналистов нашего времени и с трибун, и в печати восстают против смертной казни. Во Франции со времен Лудовика-Филиппа[705] она уже отменена для преступников политических, в Англии она и для них допущена, но, если не ошибаюсь, избегается в отношении к

---

* «Сударыни и судари, покупайте "Процесс Огюста Биша" за один су!» (*фр.*)

ним самим правительством. В Германии смертная казнь доселе сохраняется в уголовном законодательстве; в последней половине 60-х годов Палата господ в Штутгарде ее удержала, несмотря на противное мнение Нижней палаты; в Берлине Государственные штаты ее отменили незадолго до войны, несмотря на сопротивление их Юпитера – Бисмарка[706]. У нас она, если хотите, на одной странице нашего уголовного кодекса отменена, а на обороте этой же страницы существует в полном развитии. И об этом (если не надоест говорить с вами, мои любезные читатели, о таком предмете, который отнимает аппетит перед обедом и мешает после обеда пищеварению) поговорю я вдоволь, а нынешний мой урок закончу приведением на днях прочитанного мною мнения одного из членов женевского Государственного совета, который выразился о смертной казни следующим образом: «Не спешите, особливо же теперь, в критических обстоятельствах всей Европы, ее отменой; вы имеете всегда законную возможность облегчать вину какого бы то ни было преступника смягчающими обстоятельствами и, сверх того, вы имеете у себя постоянное право помилования, loi de grâce*. Оставьте в законе смертную казнь, как средство единственного устрашения самых отчаянных, самых ожесточенных извергов человечества».

* * *

Затрудняясь решить окончательно, до какой степени составитель записок, желающий подчинить себя литературным условиям и преданиям этого рода сочинений, имеет право отступать от предлежащего ему повествования и предаваться собственно своим размышлениям, я, несмотря на свои сомнения, желаю, однако, изложить здесь некоторые мысли о смертной казни. В настоящее время вопрос о ней часто повторяется и в печати, и в законодательстве передовых народов. Просвещенные друзья человечества, достойные всякого уважения защитники его прав, отстаивают отмену смертной казни и уже успели в том, что за преступления политические, за явные покушения ниспровергать народными мятежами веками установленный порядок и власти зачинщики бунтов в иных странах не подлежат лишению жизни. Допустим, что такое снисхождение к политическим увлечениям может быть оправдываемо, допустим, что увлечения произвести переворот или революцию не всегда бывают корыстными или эгоистическими, что они часто бывают неизбежными, нравственно полезными, что успех их, когда он удается, благотворно действует на общество; но в тех же самых государствах, которые de facto или de jure уничтожили смертную казнь вообще или заменили ее другими карами в отношении к политическим преступникам, стоит только, чтобы потрясаемая бунтом или

---

* закон о помиловании (*фр.*).

покушением к бунту власть объявила свою страну или какую-либо ее часть в осадном положении, и тогда, вместо гильотины и виселицы, безупречно в общественном мнении делаются палачами призванные в защиту отечества воины. Следовательно, смертная казнь восстанавливается и действует в размерах сравнительно более обширных[707]. Сверх того мы можем доказать грустными опытами, что не только смягчение наказания какому-нибудь политическому преступнику по суду, но даже и помилование его верховной властью бывает причиной величайших народных бедствий и ведет за собою на долгое время разрушение и истребление человеческих обществ. Прусский король Фридрих-Вильгельм, брат ныне царствующего победителя, даровал жизнь осужденному к смертной казни поляку Мерославскому[708]; он убежал из места своего заточения и был одним из главных зачинщиков польского восстания, последствия которого – огромное число убитых, повешенных, осужденных на каторжную работу, равно как и окончательное порабощение всего польского края – всем известны[709]. Пойдем далее: Лудовик-Наполеон два раза восставал против Лудовика-Филиппа[710]; однажды им великодушно помилованный, он нарушил данное им честное слово, убежав из страсбургской тюрьмы, затеял новый мятеж и был наказан одним изгнанием. Много ли выиграла человеческая правда, много ли выиграли человеческие судьбы от такого наивного великодушия, которое почти всеми предано забвению? По всем законам человеческих обществ такой преступник заслуживал смертную казнь, ему сохранили жизнь, и жертвою его существования стали миллионы людей. Всего изумительнее для беспристрастного наблюдателя современных событий, для человека, состоящего, как у нас говорится, не у дел, та противоположность идей о правах человечества, те непонятные убеждения и правительства, и народных масс, в силу которых заботливо сохраняют жизнь какого-нибудь одного преступника и так легкомысленно истребляют во имя каких-то, до сего времени неясно определенных, принципов своих братьев другого языка, другой расы. В свое оправдание могут представить и правительства, и народы разве одно то обстоятельство, что затевающие войну правители и предводимые ими огромные массы действием войны сами подвергаются убийству или истреблению от своих противников. Оправдание столь же мало логическое, как и совсем ни для кого не утешительное. Сомнительно, чтобы в жизни народов, дошедших до настоящего, хотя и далеко не полного развития, могла существовать какая бы то ни было идея, покупаемая реками крови, а между тем воюющие нации, жившие до взрыва войны дружелюбно и мирно, страстно увлекаются и, как звери, терзают друг друга. Все мы знаем, что истина и правда бывает одна и двоиться не может, а вдруг перед нами представляются две какие-то истины – одна французская, другая – германская, и каждый из нас, даже посторонний вопросу, ослепляется до того, что бывает готов находить справедливыми обе истины – и французскую, и германскую. Первая из всех идей, ослепляющих, скажем

вернее – одуряющих в подобных вопросах все человечество, есть понятие о любви к отечеству. Но насколько эта любовь основана на ненависти и без последней как бы и существовать не может, следовало бы говорить слишком много. Я довольствуюсь примерами, взятыми из органов нашей печати, руководящих нашим общественным мнением. Любовь к отечеству на каждой строке их проповедуется, но любовь к *отчизне* должна быть для нас предметом народной ненависти, а любовь к *фатерланду* нашей любовью к отечеству осмеивается и выставляется нам как предмет, достойный презрения. За несколько месяцев до кровавой бойни между германцами и французами, в начале 1870 г., член законодательного французского корпуса и в настоящее время член правительства народной обороны Жюль Симон[711] избрал предметом своей беседы в Cirque de l'Impératrice* перед многочисленной публикой смертную казнь и наэлектризовал своей речью нервозное, страстное сочувствие всех своих слушателей. Серьезный приступ к его беседе заключал следующую главную мысль: «Отмена смертной казни не утопия. Я говорю здесь об этом предмете 4 дня после того, как северогерманский парламент, на этот раз опередивший Францию, уничтожил эшафот в своем обществе. В моей земле он существует, и я прихожу просить вас содействовать мне низвержению нашей гильотины. Цель цивилизации – провозгласить общим согласием царство правды. Всякая кара существует для того, чтобы принудить уважать правду людей, неспособных ее понимать и ей подчиниться. В этом заключается вся научная задача, вся доктрина уголовного права. Первое следствие такой доктрины есть сознание того, что высший характер цивилизации есть мир. Говоря о нем, об этом мире, как отождествлении его с цивилизацией, я говорю не об одном мире между народами, я говорю о мире внутри отечества и, насколько возможно, достижении этого мира в совокупности душ человеческих». Итак, по мнению знаменитого публициста, уничтожение смертной казни подчиняется идее желанного уничтожения неисчисленных смертных казней, совершаемых одним народом над другим к славе победителей, к гибели побеждаемых. Не стал бы говорить Жюль Симон просвещенному множеству парижан об уничтожении смертной казни во Франции, если бы он сколько-нибудь мог предчувствовать, что не успеет пройти три месяца, как эта всеобщая повальная смертная казнь на всю Францию, накликнутая презренным ее владыкой Наполеоном III, отчасти возбужденная семью миллионами голосов плебисцита и – увы! – ободряемая единогласно французским сенатом и всею массою народных представителей за весьма немногочисленными исключениями, пойдет разгуливать по всему пространству этой прекрасной страны, где цвет населения ежедневно, ежечасно приносился в жертву Бог весть из-за чего какой-то неумолимой, неведомой и не существующей языческой богине мщения. Не-

* в Цирке императрицы (*фр.*).

вольным орудием казни над Францией были германцы, вызванные на бойню французами. Победители, побеждая, сами приносили в среде своей кровавые жертвы и в начале войны тешились своей славой; ослабленные французы гордились мужеством своей народной защиты. Результат еще не прекратившейся войны был для обеих сторон один и тот же: насильственная смерть миллиона жителей в честном, положим, для обеих сторон бою, но нисколько не утешительном для покинувших землю бойцов и их осиротелых вдов и детей, для их отечеств, почти уничтоженных, как Франция, опустошенных и истощенных, как сама победоносная Германия. Весьма любопытны приведенные Jules Simon в его ко времени произнесенной речи слова, может быть, главного виновника этой войны, графа Бисмарка. Последний был верен убеждениям, вполне последователен и в германском парламенте с гражданским, справедливее сказать, с государственным мужеством первого министра своей страны произнес свое мнение о смертной казни, – не в отмену, а за ее сохранение. «Я нахожу, что противники смертной казни преувеличивают даваемое ими значение человеческой жизни и важное значение, которое придают они смерти. Я понимаю, что смертная казнь должна казаться слишком жестокою тем, которые не верят продолжению жизни за гробом, но для нас смерть есть не что иное, как переход из одной жизни в другую, и мы имеем право в утешение величайших преступников сказать им “Mors janua vitae est”*, смерть есть дверь, которая отворяется в более величественную, в более широкую жизнь». Итак, продолжает Жюль Симон, смертная казнь, по мнению Бисмарка, необходима; с другой стороны, нет надобности в ней отказывать – это просто безделица. Тот же оратор, т.е. Бисмарк, говорит далее, что, по его мнению, осуждение на 8-дневное заточение имеет одинаковое значение для совести судьи, как и осуждение на смерть. Чье же это мнение? Чьи же эти слова? Отца ли церкви, каким был господин де Бональд [712] **, хотя и мирянин? Нет, это победитель при Садовой, граф Бисмарк, канцлер союзной Германии; это он обращается к догмату о бессмертии души в пользу пролития крови; это он хочет во имя идеи веры утвердить виселицу, плаху и гильотину.

Предмет, которого я коснулся, – одна из труднейших задач, так еще недавно поставленная к решению гуманистами и первыми мыслителями настоящего времени, до того трудная, что я не осмеливаюсь вынести никакого своего заключения. По моему мнению, разноречивые колебания в суждениях pro и contra*** о смертной казни теперь менее чем когда-нибудь могут окончательно

---

* «Смерть – это врата в жизнь» (*лат.*).

** Бональд французскими ультрамонтанами почитался как отец церкви, хотя и был мирянин, точь в точь, как теперь у нас, среди наших ультрамонтанов своего рода начинает считаться между восточными отцами церкви позднейший наш богослов, мирянин Хомяков (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

*** «за» и «против» (*лат.*).

решить этот вопрос. В то самое время[713], когда люди истребляются международными законами войны и во имя тех же законов беспощадно предаются смерти мирные граждане, в такое время никто не станет заботиться об уничтожении смертной казни над каким-нибудь уголовным преступником. Одно из самых величайших бедствий военного времени есть невольное ожесточение нравов и произвольное, не столько правительством и военными законами, сколько самим общественным мнениям обвинение в народной измене. Давно ли Тьер, Фавр[714] и самый этот Жюль Симон подвергались подозрениям в измене Франции со стороны большинства законодательного собрания? За то, что они не желали этой несчастной войны, буйная парижская чернь готова была растерзать их, как она не один раз убивала в это время тех многих, которые ей представлялась врагами отечества. «На дне человеческого сердца, – сказал когда-то Паскаль[715], – есть бездна, из глубины которой вырывается наружу зверство, самому ему до той минуты неведомое и им не сознаваемое». Вот почему среди каждого народа бывает такое множество палачей. Я, не обинуясь, решаюсь назвать этим позорным именем всех, которые куют мечи, готовят самые разрушительные орудия страшных казней во имя защиты от врагов, едва ли замышляющих нападение, и вооружают всенародные ополчения; я готов назвать палачами и тех кротких, добродушных и мирных людей, которые во имя каких-то идей поддерживают своим сочувствием воинственные стремления. Война становится неизбежной, как скоро две могущественные соседние державы на своих границах будут иметь громадные ополчения, ибо и та, и другая скоро дойдут до такого убеждения, что для каждого из этих соседних государств и бесполезно и разорительно продолжать на неопределенное время такой порядок вещей. Вот в чем, а не в вопросе о смертной казни, главная задача нашего времени; вот на что мыслители века, проповедующие прогресс человечества и имеющие счастье в него искренно верить, должны, по моему мнению, обратить все свое внимание, тем более, что если справедливо указанное выражение Паскаля, что на дне каждого человеческого сердца скрывается бездна грубой животной натуры, то на дне каждого народа существует никаким прогрессом не уничтожаемое варварство, и если посреди европейского образованного общества, в первых рядах человечества, войны почему бы то ни было будут еще продолжаемы, то варварство возникнет и предаст мечу и пламени все, что есть лучшего на земле и что принадлежит области духа, а не голой материи.

* * *

Целью нашей поездки с Деденевым было посмотреть южную Францию и побывать в Бордо, Марсели и Лионе, главных городах страны. Медленное и тесное передвижение в дилижансах было тогда очень неудобно, экипажи

были тесны и грязны, зато, конечно, очень дешевы. Удобнейший способ путешествия для тех, которые не разъезжали в своих собственных экипажах, был еще Malle-poste*, но получать в нем места было почти невозможно для тех, которые желали останавливаться в промежуточных между главными городах. Мы хотели видеть и видели Блоа, который славится лучшим французским говором, и его исторический замок, в котором был убит герцог Гиз[716], и Орлеан, и приморский город Рошфор, где помещались в галерах каторжные, les galériens à la Rochelle**, в котором протестанты выдерживали осаду сокрушившего их кардинала Ришелье. В Рошфоре указали нам среди каторжников знаменитого в то время разбойника, который один ухитрился остановить заложенный в 4 лошади огромный дилижанс и ограбить 8 человек сидевших в нем путешественников. Темной ночью этот рыдван довольно медленно двигался лесом, разбойник бросился на первого почтальона, не велел ему трогаться с места, а приготовленным по бокам каким-то чучелам с подобием ружей в руках велел стрелять залпом по экипажу и путешественникам в случае малейшего сопротивления; всем приказано было выйти из экипажа, лечь на шоссе и не шевелиться. Мошенник ошарил их по очереди, отобрал от них деньги и вещи и медленно от них удалился, сказав, чтобы они отнюдь не вставали до тех пор, пока он им не даст на это дозволения. Пролежав долгое время, пассажиры поднялись на ноги и тогда только убедились, к своему стыду, что ограбивший их был один. Через год после этого происшествия его поймали в каком-то другом, менее интересном грабеже, и он любил хвастаться, рассказывая о своем прежнем удальстве, и, будучи не старым и красивым, возбуждал любопытство путешественников, осматривавших каторжные галеры. В то время уголовные преступники, осуждаемые пожизненно или на сроки на каторгу, помещались на больших кораблях, вышедших по ветхости из употребления; они попарно сковывались и, как сиамские близнецы, были друг с другом навеки неразлучны, носили особенную одежду, цвет которой их и различал. Говорят, обращались с ними жестоко; часто бывали с ними бунты при малейшей оплошности стражи, которая имела право без дальних расспросов стрелять по ослушнику и убивать его. Положение этих несчастных с того времени изменилось к лучшему, все галеры эти были уничтожены, и каторжные помещаются повсюду не на судах, а в зданиях тюремного заключения.

Немного сохранилось в моей памяти от всего этого путешествия, хотя в воображении моем и остается еще до сих пор какой-то очерк всего этого проеханного мною обширного края; я и теперь как бы вижу Западную Францию до Пиренеев и Южную до Марселя и от последнего до Лиона и границ

---

* почтовая карета (*фр.*).

** каторжники (галерники) Ла-Рошели (*фр.*).

Швейцарии, но сколько-нибудь отчетливо представить эту картину не умею. Утверждаю только одно, впрочем, всем известное, что путешествие до железных дорог при всех его затруднениях было несравненно полезнее теперешней скачки от одного большого центра к другому, которая, уничтожая огромные пространства, лишает всякой возможности видеть и сколько-нибудь наблюдать встречаемые на этом промежутке предметы, достойные любопытства. Лет через тридцать я проезжал в вагонах поперек Франции по тем же почти местам из Женевы в По и из По в Париж и ровно ничего по этой дороге не видал, не видал даже Бордо, на станции которого, за четверть часа от города, пробыл в ожидании поезда около часа времени. Нынешние путешественники, выигрывая много времени, многое и теряют, для них существуют одни столицы и сборища на модных минеральных водах и приморских ваннах, – ни одна страна с многоразличными условиями ее местности для них как бы не существует.

Приближаясь к Бордо, моя молодость, никогда, впрочем, не заносчивая, получила, однако, такой сильный урок, который оставался надолго мне полезным. Когда я увидел еще в Париже, что все тамошние часовые отдают честь украшающим свои петлички красной ленточкой Почетного легиона[717], я попробовал выставить и на моем сюртуке в петличке Владимирскую ленточку, которую я имел полное право носить, получив для законного ношения дворянскую медаль 1812 года; часовые не могли отличать ее от французской красной ленточки и отдавали мне честь, как légionnaire*. Такое внимание, ежедневно по нескольку раз повторяемое многими часовыми у Тюльерийского сада и дворца, мне льстило и очень нравилось, к тому же у меня были и черненькие усики, которые я изредка фабрил, чтобы сколько-нибудь походить на военного, – одним словом, на меня нашло дьявольское наваждение казаться тем, чем я не был. С моей ленточкой и с моими усиками отправился я и в дорогу.

Однажды, проснувшись рано утром недалеко уже от Бордо, увидал я перед своим носом в нашей карете усатого седого ветерана с розеткой Почетного легиона, которая показывала, что этот ветеран был по крайней мере майором или полковником. «Давно ли он тут?» – спросил я по-русски у моего спутника. «Да вот уж другая станция, – сказал Деденев, – будь только осторожен, он расспрашивал меня о тебе и о твоей ленточке, и я сказал ему, что ты офицер русской службы». – «Вот тебе на! Да как же я буду отвечать ему на его расспросы, а он наверное подвергнет меня этой пытке. Ты не говорил ему, надеюсь, какой я офицер, гвардейский или армейский, пехотинец или кавалерист?» – «Нет, я сказал только, что ты генеральский адъютант». – «Ну, любезный, спасибо! Теперь надобно приготовиться к расспросам».

* легионеру (*фр.*).

Наполеоновские офицеры, отставленные Бурбонами, и особливо пожилые, ненавидели офицеров союзных войск, которые, завоевав Францию, были, так сказать, причиною их безвыходного положения. Между французскими военными и офицерами из других наций очень часто бывали дуэли, и особливо до 1818 года, когда союзные войска стояли еще в Северной Франции. С тех пор из наших и других военных путешественников никто почти не носил орденских ленточек, чтобы не затевать истории, а я, ни в чем не виноватый и ничего не подозревающий, как кур в ощип, тут и попался. Не успели мы с Деденевым обменяться расспросами и ответами, как дремавший против меня усатый офицер, un vieux grognard comme on les appelait ces officiers à demi-solde*, вскинул глазами и, протерев их платком, с насмешливой вежливостью обратился ко мне, как к своему товарищу по ремеслу. Тут начались ожидаемые мной от него вопросы: делал ли я кампанию, принадлежал ли по крайней мере к войскам, занимавшим Францию, и когда я ему отвечал, что недавно вступил в военную службу и прямо в адъютанты к вымышленному мною какому-то генералу, он предложил вопрос о ленточке, какой это орден и за что и когда я получил его? Я отвечал очень ловко, что это наша наследственная, родовая медаль, которую я имею право носить как единственный представитель нашей старинной дворянской фамилии. Он подивился такому странному русскому обычаю и почтил его своей саркастической улыбкой. Я был счастлив, что он перестал меня расспрашивать. Дворянская наша грошовая медаль, розданная после 1812 года каждому русскому дворянину за участие в незабвенной войне, по крайней мере пожертвованиями и лишениями, конечно, напомнила бы ему все унижение, испытанное его страной и его развенчанным героем. В конце этого разговора мы подъезжали к Hôtel de la poste** в местечке Blay; тут простился с нами брюзгливый наш усач, а я в ожидании табль д'ота поспешил в отдаленном уголку сбрить мои усики и спрятать в мой карман мою ленточку.

И теперь еще помню, каким великолепным городом представился мне Бордо и его широкая желтоводная река Гаронна, запруженная купеческими кораблями всех страд и народов. Мы остановились на красивой набережной, в лучшем тогдашнем отеле «Fumel», а за бессонные ночи и плохую в дрянных по пути трактиришках еду спросили себе лучший обед с бутылкой вина 1811 года, vin de la Comète[718]. Нам подали чудесный лафит и взяли, по-моему, страшно дорого, parceque au bout du compte c'était le vin du pays***. Кроме большой соборной церкви и великолепного театра, где мы видели какой-то балет, ни в чем не уступавший парижскому, кроме замеченного мною множества

* старый ворчун, как называли этих отставных офицеров, находящихся на половинном жаловании (*фр.*).

** почтовой гостинице (*фр.*).

*** потому что, в конечном счете, это было местное вино (*фр.*).

торговых людей и матросов из французских и испанских колоний, чернокожих и бронзового цвета различных негров и мулатов, кроме этого вечного движения на бирже и в самой гавани, все прочие мои воспоминания о Бордо ограничиваются богатым разнообразием его вин и устройством в большим размерах винных его погребов. В Париже дал мне поручение Пукалов повидаться с нашим консулом Whitfood'ом[719], который, будучи англичанин родом, прежде долго жил в Петербурге и снабжал по комиссии лучшими бордосскими винами всех тамошних знатоков и до вина охотников. Пукалов поручил мне выписать для него в Петербург 3 бочки вина среднего сорта и сотню бутылок лучшего. Витфуд сперва угостил меня славным вином у себя, а на другой день повел обедать к одному из бордосских богачей, у которого был свой собственный виноградник, носивший известное в торговле имя. Этот господин заставил меня перепробовать более 20 образчиков, и я, наконец, попросил его, полупьяный и уже лишенный всякой возможности находить различие в качестве пробуемого мною разного вина, выбрать самому требуемый сорт для Пукалова и отправить морем в Петербург. Обед в Бордо у гостеприимного виноградаря памятен мне остался, впрочем, не по винам, а великолепным блюдом грибов, которых я не ел с самой Москвы и которые до того были вкусны, что я вспомнил о них в 1863 году и потребовал себе двойную грибную порцию на вокзале железной дороги у этого города, проезжая возле него из По в Париж.

Дорогой из Бордо в Марсель, кажется, еще перед Тулузой останавливались мы в небольшом местечке Кастельнодари, откуда утром ездили осматривать резервуар de Saint-Féréol, снабжавший обилием своих вод Лангедокский канал, устроенный Лудовиком XIV и долгое время бывший водяным сообщением для небольших судов между Атлантическим океаном и Средиземным морем. Все это, кажется, теперь заброшено, а во время моего проезда небольшое местечко Кастельнодари было оживленно и шумно южным населением Франции, его речами на собственном своем языке langue d'Oc* и его медяным, поражающим слух говором на общефранцузском языке. Запомнил же я особенно это местечко по его до тех пор нигде не встреченной дешевизне; за сутки, проведенные мной в весьма порядочном отеле, с завтраком, обедом и ужином, с отличным шоколадом, подаваемым в каких-то полоскательных чашках или мисках с ложкой, взяли с меня всего 3 фр. Древний город Тулуза замечен был нами множеством средневековых готической архитектуры церквей и монастырей; он был, как еще и теперь, столицей ревностных французских католиков-ультрамонтанов[720].

Дорога через небольшую приморскую гавань Sette шла возле самого берега Средиземного моря дикой и песчаной окрестностью. По местам видне-

---

* провансальский язык, или лангедокское наречие, букв.: язык «ок» (*фр.*).

лись виноградники, известные у знатоков своим отличным десертным вином vin de Sette. Марсельский порт был обширнейший и удобнейший для купеческих кораблей из всех французских. Из чужеземцев более всего толпились в нем жители Леванта[721]. Древний Марсель, как известно, греческая колония; этот город был особенно интересен для русских, потому что сосредоточивал в своей гавани всю нашу одесскую торговлю, преимущественно хлебом. К сожалению, тогда, как и теперь, хозяева кораблей, сбывавшие через Одессу нашу южную пшеницу и другие хлеба миллионами, были не русского происхождения негоцианты, а размножившиеся в Одессе немедленно после недавнего ее построения при Екатерине и развития при герцоге Ришельё[722] богатые греческие купцы и мореплаватели. Хотя торговые суда их были и под русским флагом, но весь экипаж их кораблей, шкипера, штурманы и матросы, были либо греки, либо итальянцы и немногие из них только по имени русские подданные. Такой порядок к ущербу русского достоинства и развития нашего народного богатства продолжается едва ли не до сих пор, равно как и в портах наших балтийских, где не более двух или трех русских купеческих домов отправляют за море свои корабли, экипажи которых состоят из иностранцев или финляндцев, подданных присоединенного к России и отдельно от нее политически существующего Великого княжества Финляндского[723]. Таким образом, несмотря на давнюю принадлежность России двух морей, вся наша заморская торговля – присоединим тут же и древнюю нашу гавань города Архангельска – находится в руках иностранцев. Как и почему это так, пусть отвечают другие, защитники нашей народной славы, восторженные ее провозвестники в настоящем и будущем. Несказанно был бы я рад, если бы кто-нибудь из этих господ доказал мне фактически, что я ошибаюсь.

В Марселе, особенно же на его приморской набережной и на бульварах, которые, если не ошибаюсь, называются les cours*, красовались высокие дома времен последних Людовиков XIV, XV[724] и XVI; архитектура их была en style de renaissance**, гораздо наряднее, роскошнее и удобнее той, нынешней, последних годов новых парижских улиц и гаусмановских бульваров. Зодчие тогдашних зданий не рассчитывали на каждый вершок пространства, чтобы извлечь из него денежную выгоду. Здания имели соразмерную вышину и правильное, не оскорбляющее глаза даже снаружи поэтажное размещение окон. В семиэтажных домах нашего времени верхнее окно, если смотреть издали, почти без промежутка стоит над нижним, и в парижских домах не скоро найдешь гостиную выше 5 аршин. Оно, конечно, полезно, ибо приносит большие доходы хозяевам домов, но некрасиво и нездорово для их обитателей, не говоря уже о зодчестве как об одном из изящных художеств. Происхожде-

---

* бега (*фр.*).

** в стиле ренессанс (*фр.*).

ние городов везде было одинаковое, основанием каждого был выстроенный на возвышении данной местности замок, или крепость; под защитою этого укрепления устраивало себе жилище небольшое городское население и, в свою очередь, окружало себя земляным или каменным валом. В местностях, благоприятных торговле, с годами город увеличивался, но долго сохранялся обычай укреплять его новыми, по мере распространения, валами. Так было со всеми значительными городами в Европе, и то же самое мы видим в Москве, историю которой наглядно представляют нам Кремль, Китай и Земляной город[725]. Так как в европейских городах самые старинные постройки были каменные и массивные, то они сохранились до нашего позднейшего времени; осталась средневековая их часть с ее узкими, недоступными солнечному свету улицами, со зловонием, бедностью и всеми ужасами разврата теснившихся там низших классов жителей. Les Cités de Paris, de Marseille et de Lyon* нашел я именно такими в первое путешествие мое по Франции, и в этом отношении последний французский император, узник загородного замка близ Касселя[726], сделал великое благодеяние Франции, уничтожив столь вредные вместилища всех зол для городских жителей. Особенный характер имеют рассеянные по окрестностям Марселя небольшие загородные дачи. Скромные их низенькие домики едва видны из-за виноградников, которые тут вырастают и содержатся à l'italienne** высокими фестонами, но на всем обширном пространстве Южной Франции совсем почти не видать другого рода деревьев, кроме оливковых, бледно-зеленого неприятного цвета, шелковичных, почти всегда обнаженных от листьев, и грустно-печальных высоких кипарисов; прибавьте к этому сожженные палящим солнцем луга и тощую увядающую траву.

По заведенному для посетителей обычаю, из Марселя и мы поехали осматривать Тулон в 15 льё от последнего. Нас повезли туда в самом отвратительном дилижансе ночью, настращав прежде возможностью быть ограбленными. Осторожный хозяин нашего трактира дал нам совет взять с собой денег в обрез и оставить у него наши часы и другие вещицы. Так мы и сделали. В карете было нас трое и три какие-то дамы; от места до места все время двое жандармов с заряженными ружьями и пистолетами ехали по сторонам нашего экипажа. Дорога была гористая и каменистая, тихая езда в виду моря в темень располагала меня, всегда сонливого в дороге, к приятному в объятиях Морфея отдыху, но наши три спутницы, ехавшие в первый раз из Марселя в Тулон для посещения своих каких-то военных родственников, находясь под влиянием страха, не умолкали в своих рассказах о недавних встречах с дорожными грабителями. Каждая из них держала наготове в руке немного денег, предназначенных в дар ожидаемому разбойнику; то же советовали они

---

* Старые части Парижа, Марселя и Лиона (*фр.*).

** по-итальянски (*фр.*).

сделать и нам и со слезами уговаривали всех нас троих не оказывать разбойникам никакого сопротивления, иначе мы все будем избиты, изувечены и вероятнее всего убиты. Страхи француженок, конечно, были преувеличены, но подобные случаи, хотя и редко, случались по одному или по два раза в последние годы. Мы съездили туда и назад благополучно, полюбовались громадностью военной тулонской гавани, осмотрели с позволения коменданта порта морской арсенал и чудовищные морские галеры, нарочно выстроенные для помещения великого множества каторжных. Наружный их вид и строго сохранявшийся между ними порядок был тот же самый, какой мы заметили прежде в Ларошели, с той разницей, что в Тулоне их было несравненно больше. В другом французском военном порте Бресте содержалось также на галерах остальное число каторжных.

Дорога из Марселя в Лион представляла путешественникам много занимательного. Во-первых, славный древностями Ним, его амфитеатр, меньшего, конечно, размера, нежели римский, но едва ли не лучше сохранившийся, и Maison Carrée – почти совершенно уцелевшее изящное здание золотого века Августа Кесаря[727]. (Говорят, что теперь оно освобождено от стеснявших этот языческий храм зданий.) Жители Нима прошлых веков заслуживают нашу благодарность за неуважительное обращение с таким chef d'œuvre древнего зодчества; если бы они не поставили около него своих безобразных построек, то, вероятно, знаменитая древность была бы по разньм причинам давно разрушена и до нас бы не уцелела. Недалеко от Нима уцелел также римский мост через Рону. Далее в Авиньон, через который теперь скачут, не останавливаясь ни на минуту, в вагонах толпы путешественников, наслаждаясь только одним предлагаемым обедом, который во всей Франции считается самым лучшим, – в Авиньоне в подробности осматривали мы средневековое обширное жилище изгнанных из вечного Рима пап[728], а в небольшом городке Орант, откуда произошли линии оранских принцев, впоследствии штатгутеров и королей Голландии[729], – древнюю римскую арку или ворота.

В Лионе, как и везде, видели мы все, что следовало видеть: и большую церковь, славящуюся своей чудотворной иконой Божьей Матери за рекой Роной , музей с римскими древностями, из коих самые замечательные были каменные доски с вырезанными на них XII таблицами основных римских законов, замечательнейшие шелковые фабрики, предместье Лиона la Croix rousse*, населенное варварским рабочим людом, зачинщиком всех тамошних кровавых мятежей во времена революции, Реставрации и позднее и, вероятно, готовым и теперь поднимать знамя новых бунтов. Лион и в 1822 г. был уже обширным, прекрасным, вторым после Парижа городом, но если сравнить его с нынешним, который посетил я летом 1870 г., то произведенные в нем улучшения кажутся мне пора-

* Рыжий крест (*фр.*) – квартал, названный по каменному кресту, установленному в XVI в.

зительнее современных парижских. Но по моему мнению, над ним, более чем над каким-нибудь другим городом, постоянно висит дамоклов меч разрушения, и в ту самую минуту, когда я пишу эти строки, в силу несчастных событий, поражающих Францию, обитатели великолепного Лиона на волоске от конечной гибели не от германских врагов, а от своих собственных варваров.

Дорога от Лиона до Женевы летом чрезвычайно красива. Она знакомит уже вас с горной альпийской природой, и вы в продолжение почти всего пути видите над собой стремящуюся по камням Рону. В одном месте она совершенно скрывается с глаз, протекая некоторое расстояние под каменным горным сводом, и потому и место это называется «La perte du Rhône»*, и охотно осматривается путешественниками. Тут же, на одном утесе с большим любопытством видели мы, впрочем, издали, неприступную крепость, скорее замок, издавна служивший местом строжайшего заключения государственных преступников Франции. В Лионе расстались мы с несносными французскими дилижансами и ехали с гораздо большими удобствами и несравненно скорее, по 3 льё в час[730], в переднем купе мальпоста, в котором тогда по всем главным шоссе Франции ежедневно развозилась легкая почта. До устройства железных дорог путевые сообщения мальпостами были во всех отношениях самые лучшие.

С каким-то чувством особенного нетерпения ожидал я швейцарской границы и, переехав ее в Бельгарде, устремлял вооруженные биноклем мои взоры, чтобы увидеть как можно скорее лазуревое Женевское озеро. Наконец въехали мы вечером прекраснейшего летнего дня в город Женеву, окруженную без перерыва каменной стеной, и остановились в Hôtel Balance на небольшой площадке, на берегу Роны.

* * *

Здесь в процессе моего писания случилась продолжительная остановка. И длинная холодная зима, и великие грозные события на Западе[731], и наша собственная всероссийская, а тем паче московская, неурядица со всеми ее крупными и мелкими проявлениями мучили меня часто повторяемыми болезненными припадками, погружая все мое нравственное существо в безвыходную апатию. В первых числах февраля и почти до половины апреля всего два-три раза удалось мне подышать чистым воздухом. Наконец-то и у нас, хотя все еще не верится, наступает весна, и наша речонка от льда, говорят, освободилась. Попробую продолжать мое длинное повествование.

С первого дня пребывания моего в Женеве смотрел я на этот город, сам не знаю почему, как на место мне не совсем чужое, как бы предчувствуя, что вся эта горная страна сделается мне родною и на всю долгую жизнь будет для меня вторым отечеством. На другой день приезда, проснувшись рано, вышел

---

* «Провал Роны» (*фр.*).

я из моей скромной комнаты в Hôtel de Balance, непохожей на великолепные швейцарские гостиницы, отправился на почту и получил там важные для меня письма из России. Самое интересное письмо было от Вареньки Обресковой, которым извещала она меня, с неподдельною грустью о своей помолвке за какого-то г. Роста, сына давно умершего московского профессора[732]. Тетка Марья Васильевна и ее старшие братья и сестры убедили ее отказаться от надежды выйти за меня и уверили, что я веду себя в отношении к ней так, чтобы она сама отгадала несбыточность наших предположений. Я должен признаться, что все это отчасти было справедливо, но для вящего убеждения родные Вареньки выдумали на меня следующий факт: будто бы я хлопочу через Кикина о причислении к нашей миссии в Константинополь и откладываю надолго возвращение в Россию. Бедная девушка долго противилась желаниям родных, но наконец дала слово этому неизвестному мне г. Росту, которого ни она, да и никто в Москве коротко не знал. Хотя я давно предвидел такой конец этой страсти и, признаюсь, ожидал его, но на первых порах было мне очень тяжело и грустно, и я поспешил, не осмотревшись еще в Женеве, предложить моему товарищу Деденеву сейчас же начать наши экскурсии по заведенному для всех путешественников тогдашнему порядку. В то время пароходов на Лемане еще не было, и мы в покойной коляске на доброй паре отправились по шоссе кругом всего озера через Лозанну в Веве, ночевали в одном из этих городков и воротились в Женеву по Савойскому берегу[733]. Такого рода поездки по всей Швейцарии были тогда единственно возможными, но стоили дороже, чем теперь. Тогдашние дилижансы были настоящие курятники, в них было нестерпимо тесно и жарко, а из них ничего не видно. Для сокращения издержек можно было бы нанять на эту поездку шарабан или char à côté*, каких тогда было много, а теперь почти нет в Швейцарии. Шарабан этот и есть не что иное, как односторонний диван на колесах, с высокой закрытой спинкой, а кучером приходилось быть одному из нас, а мы оба были на это не горазды. Потом мы боялись повторить над собою неудачу подобного путешествия, испытанную прежде нас одним англичанином. Он сел в нанятый им шарабан, выехал в нем на берег, обращенный спиною к озеру, не смекнул, что ему следовало бы для цели своего путешествия ехать другим берегом, и во всю свою поездку видел красивое озеро только минутами, когда останавливали лошадь и он выходил из своей западни.

Тут с первого взгляда поразила нас вся привлекательность блаженной Швейцарии и вся варварская дикость противоположного ей Савойского берега. При условиях одной и той же природы левая сторона озера отличалась устройством, порядком и всеми успехами цивилизации, тогда как правая, где климат был еще благотворнее, а самая местность еще красивее и для житья

---

* повозка с сиденьем на одной стороне (*фр.*).

во всех отношениях удобнее, на каждом шагу представляла дикое варварство жителей и гнет над ними деспотического сардинского правительства, орудием которого, чтобы держать подданных в страхе, было умышленное распространение невежества и скрепление его ханжеством и суеверием.

В двух савойских городках, Эвиане и Тононе, безобразных и грязных, не уступающих в этом нашим, возвышались одни монастырские обители, а на улицах расхаживали жирные монахи разных орденов и сухопарые местные жители в каких-то коричневых из толстого сукна французских кафтанах, камзолах, коротких штанах и шерстяных чулках, в башмаках с пряжками, треугольных шляпах на голове, точно придворные Людовика XIV или мой дядька Варфоломеевич в парадном своем костюме. Такова была одежда горожан и крестьян и даже крестьян савойяров в воскресные и праздничные дни, а праздничных дней, прошу заметить, у этих непочатых еще никакими революциями савойцев было едва ли не больше, чем у нас.

Воротившись в Женеву и видя на опыте, что самое лучшее лекарство от любовной болести есть путешествие, чувствовал я однако, что моя грусть не совсем еще прошла, и предложил своему товарищу поездку в Шамуни. Прогулка туда, по моему мнению, есть самая великолепная; в хорошую погоду во все время Монблан и предшествующие и окружающие его не столь огромной высоты горы постоянно перед глазами. Дорогу в Шамуни и самое это местечко описывать не берусь, оно слишком известно многим тысячам путешественников, а не бывавшие там знают о нем или могут узнать через множество книг, описывающих Швейцарию.

Пробыв сутки в Шамуни, посмотрев на глетчеры, взобравшись на Монтанвер и так называемый, у подошвы этой горы, Ледяной сад, отправились мы верхом на мулах через Col de Balme в Мартиньи, городок на большой шоссейной дороге в Италию, и на другой день опять на мулах поехали на гору Сен-Бернар с знаменитым ее монастырем, где погребен сподвижник Наполеона, генерал Desaix[734], где устроено убежище для полузамерзающих пешеходов, пробирающихся в Италию, где отыскивают и открывают этих несчастных славные монастырские собаки и т.д., и т.д. Все это очень интересно, но все известно до пошлости.

Товарищ мой спешил в Россию, а потому и я, не осмотревшись в Женеве, провожал его в Шафгаузен, побывав вместе с ним по дороге в Берне, Туне и Интерлакене, о котором должен сказать, что в нем было тогда не более 3 каменных домов, все же остальные, и то немногие, деревянные, старинной особенного рода постройки, каких теперь не скоро встретишь через всю Швейцарию по железной ее дороге. Сравнивая давно прошедшее с близким настоящим, я, по воспоминаниям, люблю более прежний, чем теперешний, Интерлакен. Тогдашний был более в гармонии с величественными, нерукотворенными красотами страны, где все дышало поэзией, где все было поэма.

Точно то же можно сказать о Лаутербруннене и Гринденвалъде, куда от самого Интерлакена достигали, и то с большим трудом, на лошадях, а во многих местах и пешком, и откуда через Венгерн Альп по берегам, почти непроходимым уже решительно, насилу добрались мы до долины Гасли в Мейрингене пешие, я же почти босиком, потому что у меня, новичка, отвалились у городских сапог подошвы.

Были мы тогда и в Люцерне, где я в первый раз склонил голову пред умирающим в скале львом – памятником мужественных швейцарцев[735], послушливых чести и долгу до смерти. Выпив из синих бокалов доброго рейнвейна возле шумного водопада, простился я с милым моим спутником, который отправился от сих мест восвояси, я же через Констанц, где теперь наши православные ублажают неправославного реформатора Гуса[736], пустился с Lohn-кучером* через Невшатель в Женеву. Так в ту пору все разъезжали по Швейцарии удобно, но страшно дорого и медленно; напр., из Берна до Лозанны нельзя было приехать ранее 2 суток (6 часов по железной дороге). Надо было на этих долгих непременно кормить в Муртене, а потом ночевать либо в Мудоне, либо в Пайерме, и только на другой день к ночи приезжали в Лозанну. Кучер получал за это на каждую лошадь по 9 франков в сутки, с неопытных брал за четыре дня вместо 3-х, считая обратный путь, – что составляло 72 фр., да тринк-гельду[737] насчитывал от 18 до 24, так что всего досчитывалось до 100 фр. Поэтому в отношении дорожных издержек железные дороги нигде не доставили путешественнику столько удобства, как в Швейцарии. Нигде также в течение 50 лет, по крайней мере на мой глаз, никакая страна до такой степени не изменилась. Например, хоть бы эта Женева. Весь город был окружен стенами и валами. Plain palais, la Porte de Rive, где теперь построено Palais Electoral**, и Академия, и далее целые улицы на старых бастионах, и Rue des Tranchées, и набережная Мон-Блана, и два моста один возле другого – ничего этого не существовало. Город на ночь запирался, как крепость. Пешеход мог пробраться в него, платя пеню, до 11 часов вечера; ворота были заперты экипажам с 10 часов.

Женевские патриции, которые одни были правителями этого недавно присоединенного к Швейцарии города (прежде он был сам по себе, вольный, а потом сделался французской префектурой[738]), жили в своих довольно красивых палатах на возвышенной террасе, у подошвы которой было и есть гулянье на Treille, а за ее стеной другое гулянье, с высокими деревьями Jardin des Plantes*** и большая аллея перед самым Plain palais, в конце которой красовался только что построенный, великолепный по-тогдашнему дом банкира филэл-

---

* наемным кучером (*нем.*).

** Пленпале – квартал Женевы, получивший название от болотистой равнины (plana palus (*лат.*)); Ворота Рив, снесенные в 1850 г., и Дворец выборов.

*** Ботанический сад (*фр.*).

лина Эйнара[739]. За ним на горе была еще прогулка по аллее Place St. Antoine и под горой тюрьма, одна из первых, устроенная по американской системе одиночного заключения. Аристократические дома жили довольно роскошно, приглашали к себе обедать и на вечера. К ним из гостиниц приглашаемых путников приносили на носилках. Дамы и девицы этого круга назывались «les dames du haut»*, и путешественники-новички принимали иногда такое название за собственное имя; многих из них в первое мое пребывание я принимал за носящих эту фамилию и удивлялся ее необычайному размножению. Не помню, кто указал мне на существовавший в Лозанне для молодых людей пансион пастора Chattelalain . В нем постоянно проживали разнородные юноши для усовершенствования себя практикой французского языка. Семейство, принимавшее таких иностранцев, особенно ему рекомендованных, состояло из немудреного, в рыжем парике пожилого пастора, его добродушной и приветливой, с большим зобом, жены, двух сыновей, порядочных латинистов, и трех с заметными уже зобиками молоденьких дочерей. Там поместился и я в скромном, чистеньком небольшом домике, в ущелье между двух гор за Mont Benon, у какого-то моста через ручей, у которого стояла мельница. Тут я прожил более трех или четырех месяцев в небольшой, вроде собачьей конуры, уютной комнатке, за которую я платил с кормлением по 120 франков за месяц.

Товарищами моими по пансиону были: замечательно честный и приятный ирландец Рид, какой-то фат англичанин и четыре остзейца знаменитейших родов: курляндские бароны Фиркс, два Гана и эстляндец Мейснер. Мне очень понравилось такое житье-бытье. Три девицы Chattelalain с нами были очень любезны и ласковы; каждая из них, выбрав себе из нас по предмету, охотно заигрывала с ним в дружбу. Все они по недостатку средств готовили себя в гувернантки, а покуда занимались домашним хозяйством понедельно. Я застал уже в этом доме обычай, по которому каждая из этих домохозяек выбирала себе сотрудника, который помогал ей утром приготовлять чай или кофе, днем обед и вечернее чаепитие с разными яствами. Старшая из девиц, m-lle Joséphine, возвратясь откуда-то перед моим вступлением в их дом, не имела при себе сослужителя и взяла меня. И вот мы с ней, когда приходила наша неделя, накрывали стол, расставляли приборы и сообща этим делом занимались; нам, конечно, помогала единственная в доме служанка. Кухня была в том же этаже, под боком и возле самой моей комнаты. Не знаю, почему, в прежнее время, близость тогдашних кухонь не распространяла того нестерпимого зловония, от которого часто в новых больших гостиницах страдают носы пансионеров, несмотря на то, что теперешние кухни помещаются в подвальных этажах. Видно, иной прогресс не уничтожает иного зловония. Моя хозяйка, m-lle Joséphine мне очень нравилась, но любезничала со мной

* «дамы высшего круга», букв.: дамы верхов (*фр.*).

скромно и сдержанно; вторая сестра ее, Генриетта, не выдержала соблазна и пристратилась к смазливому фату англичанину, который крикливым и фальшивым голосом напевал ей различные романсы в нашем садике[740].

Живя в Лозанне, сделал я некоторые знакомства. Все мы, пансионеры пастора Chattelalain, приглашаемы были к федеральному полковнику Guigerd de Prangin[741] на его танцевальные вечера, на которых мои остзейцы оказались лучшими танцорами и удивляли англичанок и юных швейцарских аристократок мастерством вальсировать. Фат англичанин с усиками в вальсе бил свою даму по ногам, всегда готов был свалить ее с ног и смешил публику. Ирландец и я, мы почти не танцевали. Общество было многолюдное; хозяева допускали к себе одних знатных дворян и таких же иностранцев, еще до принятия последних справляясь, combien ils avaient de quartiers de noblesse*. Мы в России до такой степени лишены аристократического чутья, что весьма немногие из нас понимают все важное значение этого выражения, между тем как в Европе во многих местах оно было признано не только обычаем, но законодательством. Так, например, в Испании и Сардинии необходимо было иметь четыре quartiers** (не знаю, как назвать их по-русски) для получения испанского ордена Золотого Руна и сардинского Св. Лазаря и Маврикия[742], т.е. чтобы награждаемый этими орденами был дворянином, начиная по крайней мере от прапрадеда, и чтобы его матушка, бабушка и прабабушка были также дворянского рода. Если в его восходящей линии был mésalliance***, то это мешало получать кавалерию[743]. У швейцарцев, как известно, не было никаких знаков отличия, они по закону лишены были права носить свои древние графские и баронские титулы, как бы древни в их родах они ни были, несмотря на то, что многие из них возведены были в эти достоинства с первых Крестовых походов, как, наприм., графы d'Erlach, Diesbach, Hatterwille, Muhlin, Am-Rhein и т.д.[744] Как-то императрица Мария Терезия[745] спросила у одного из Hatterwille, фамилии недавно угасшей: правда ли, что он происходит от древнего знатного рода? «Без сомнения, – отвечал он, – один из ваших, предков, граф Габсбург, был пажем во втором Крестовом походе у моего пращура Гатервиля». У какого-то другого бернского родича спросили, давно ли он живет в Берне? Он отвечал: «Около 1000 лет». Но древние рода в старинных кантонах заботливо охраняли свои права, везде стояли исключительно одни во главе кантональных правительств, не братались с плебеями, никогда не соединялись с ними брачными узами и даже не впускали в свои гостиные ни одного человека «нового», как бы он ни был богат или учен. В немецких кантонах, да, кажется, и в Ваатландском, не принимали к себе гостями даже пасторов.

---

* в каком поколении они дворяне (*фр.*).
** колена, поколения (*фр.*).
*** неравный брак (*фр.*).

Познакомившись с г. Пранжен, у которого в первый раз встретил я графа Шувалова и его молодую жену, урожденную княжну Шаховскую, потом бывшую за графом Полье и принцем Бутера и недавно умершую в Веве[746] в глубокой старости, я просил его сводить меня к знаменитому в нашей новейшей истории лозанцу Лагарпу[747]. Г[осподин] Пранжен был озадачен моей просьбой и отвечал мне, что ни он, да и никто из его знакомых не имеет никаких сношений с этим генералом. Отвечая мне таким образом, он иронически улыбнулся; о ненависти к Лагарпу всех знатных швейцарцев я упомяну после.

Не помню, через кого по отказе моего лозанского аристократа познакомился я с Лагарпом. Он жил в собственном доме в самом скромном переулке небольшого городка Лозанны. Женат он был на уроженке петербургской m-lle Betticher[748], дочери банкира, с ними жила еще сирота племянница m-lle Charlotte Laharpe[749], белокурая, милая и красивая. Я почти в нее влюбился и, видя очень ласковое со мною обращение хозяев, почти готов был предложить и мою руку, и мое сердце, и все, что за этим имело следовать. Часто посещая дом Лагарпа и самодовольно замечая, что я как будто не противен лозанской барышне, которой по ненависти к ее дяде высшего городского общества нелегко было найти в среде его партию, я начинал уверять себя, что это дело сбыточное, и мечтал уже о покупке у Пранжен[а] его огромного замка с большим количеством земли на берегу Женевского озера, недалеко от Ниона. Этот замок принадлежал прежде испанскому экс-королю Иосифу Бонапарту[750], а очень небольшая часть его земли у самого берега принадлежит теперь принцу Plon-plon[751], где он построил хорошенькую виллу с изящною пристанью. Полковник Пранжен, владея этим замком, уступал его очень дешево, за 300 000 ф[ранков], теперь вся эта местность стоит миллионы. Я вошел с ним слегка в переговоры, получил от него позволение осмотреть продаваемую им собственность и, не имея никаких аристократических замашек, соглашался при покупке уступить ему право называться по-прежнему Пранжен. Все, казалось, могло пойти как бы по маслу. Непреодолимые препятствия моему успеху были в одном моем характере, в моей вечной робости и недоверии к себе. Пойдут, думал я, справляться обо мне у различных русских путешественников, а потом по связям жены Лагарпа и в самом Петербурге, и само собою представится семье, коей я желал быть членом, совершенная неизвестность моей личности[752], и затем последует пугавший меня отказ[753]. Между тем я все еще учащал мои посещения и, сказать правду, любовался и восхищался более старцем-генералом, чем его племянницей. Что за чудный был этот почти 80-тилетний старик! Высокий ростом, стройный и худой, с блестящими вдохновенными глазами, желтеющими седыми волосами, которые кудряво спускались на его плечи, он приводил меня в восторг своими рассказами о счастливой, не понимавшей, не ценившей его заслуг родине, о благодушном либерализме своего воспитанника, нашего государя, страстно

им любимого, невзирая на то, что политика Александра совершенно изменила уже тогда, с 1822 года, прежнее свое направление, подчиняясь врагу всякого прогрессивного движения, Меттерниху[754], и завела у себя варварские военные поселения и постоянно нарушала данную Польше конституцию.

Предлагаю здесь кстати характеристику воспитательной и отчасти политической деятельности Лагарпа, взятую мною из собственных его мемуаров, написанных им для другого знаменитого швейцарского писателя Цшокке[755] в начале XIX столетия*.

Фридерик Цесарь Лагарп родился в 1754 году в небольшом на Женевском озере городке Ролле. В ранней молодости под руководством своего родного дяди пастора в его библиотеке всецело предался он чтению древней истории и весь проникся чувством безграничного уважения к героям Греческой и Римской республики. Политическая история Англии, Голландии, Швейцарии закрепили в нем врожденную и семейную любовь к свободе. В Женеве учился он под влиянием Соссюра (Saussure)[756]. Избрав карьеру адвоката, отправился он для изучения прав в Тюбингенский университет. Еще будучи в Ролле, дружески сошелся он с своим двоюродным братом Амедеем Лагарпом[757], изгнанным впоследствии бернскими патрициями из Швейцарии и сделавшимся по этому случаю одним из замечательнейших генералов Французской республики. Возвратясь из Тюбингена в Швейцарию, получил он в Берне патент адвоката в верховной апелляционной палате в участке романской, или французской, части Бернского кантона. (Хотя он и происходил от дворянской фамилии Ваатланда, но в Берне почитался илотом.)

Однажды адвокат Лагарп побудил какого-то своего клиента к выходке против верховного суда, который пришел в негодование. Член этого судилица Steiger Tschongg, постоянно благосклонный к юному адвокату, призвав Лагарпа к себе, грозно встретил его следующими словами: «Что значит такое поведение? Мы не хотим в Ваатланде этого женевского духа нововведений. Знаете ли вы, что вы наши подданные?» – «Нет, – возразил Лагарп так же громозвучно, – мы не признаем себя вашими поддаными. Мы признаем себя наравне с вами подвластными одной республике и ее законам, а господ над собою не знаем». «Слова Штейгера: “Знаете ли вы, что вы наши подданные”, – раздаются еще в моих ушах, – пишет Лагарп в своих “Записках”, – и теперь, по прошествии 23 лет». Он хотел уже удалиться в Северную Америку, но был приглашен родным братом какого-то влиятельного русского вельможи сопутствовать ему в Италию. В Риме барон Гримм[758] предложил ему отправиться в Петербург по вызову императрицы Екатерины. Прибыл он туда в 1782 г., принят был кавалером к 11-летнему в[еликому] к[нязю] Александру Павловичу

* К сожалению, не знаю, где печатались самые мемуары, а потому не могу по тексту исправить выписанный перевод (*примеч. С.Д. Свербеевой*).

и через год сделался воспитателем обоих братьев, Александра и Константина. Воспитание их Лагарпом продолжалось от 1783 до 1795 г.

«Несколько данных, – пишет Лагарп, – относящихся до воспитания такого человека, как Александр I, могут обратить на себя внимание искренних друзей бедного человечества». Здесь привожу я собственные слова «Записок»: «Провидение, казалось, сжалилось, наконец, над миллионами людей, обитавших в России, но для этого необходима была Екатерина II, желавшая воспитывать внуков своих, как человеков. Того же хотели несчастный ее преемник Павел I и достойная всякого уважения его супруга. Будучи иностранцем и не имея покровителя, я бы не устоял против испытанных мною препятствий, если бы желание добра не одушевляло меня до фанатизма. Когда я падал духом и, изнемогая от неблагоприятных различных обстоятельств, уже покушался просить моей отставки, запирался я у себя и в писателях древности, особливо в Плутархе, тотчас же находил себе утешение. Арат, Филопемен, Брут, Демосфен, Цицерон[759], несмотря на великие свои таланты, доблести и подвиги на пользу отечества, которые давали им столько прав на счастье, не были признаны по своим заслугам, были преследуемы и, однако, не удалялись с своего пути, а потому и меня простые препятствия, унижение по моей службе и прочие подобные мелочи не должны удалять от цели вести по возможности к лучшему будущему огромную массу 40 000 000 населения. Никогда принятое мною подобное врачевство мне не изменяло, и когда случалось мне встречать отчаяние в людях, достойных имени человека, я говорил им: «Возьмите щепотку древних, посоветуйтесь с Тацитом или с добрым Плутархом». Вспоминая теперь об этом, я и теперь еще удивляюсь тому, что, проникнутый республиканскими принципам, воспитанный в уединении, в совершенном отчуждении от большого света, живший более с книгами и с существами фантастическими, нежели с людьми, мог я пробыть без руководителя и советника 12 лет при дворе, не подвергая себя несравненно большим, нежели испытанные мною тогда, преследованиям. Во всех других странах, кроме России, я бы не избежал их, из чего я вывожу, что русские придворные менее, чем где-либо, зложелательны. Прежде меня подозревали в неограниченном самолюбии, которое казалось тем глубже, что я был равнодушен к чинам и милостям, но когда убедились все, что предполагаемое во мне честолюбие нисколько не идет вразрез с честолюбием других, тогда начали обращаться со мной с чувством благоволения, и я под конец находил много друзей в этой стране, ставшей второй моей родиной – по моим отношениям и по женитьбе на петербургской уроженке. Меня, по счастью, не коснулась буря Французской революции, но мои принципы, слишком известные, тотчас же поставили меня в ряды так называемых демократов; впрочем, меня не тревожили, и чтобы не возбудить против меня подозрения, я весь предался моему долгу, продолжая исполнять его с некоторым мужеством. Нелегка была мне эта задача.

Революционные события были ежедневным предметом разговоров и жарких споров о принципах и их изложении, и невозможно было не принимать в них участия. Когда доходила до меня очередь говорить, я выражал свое мнение откровенно, а в присутствии великих князей старался приводить из древней истории принципы и примеры, способные сделать на юные сердца благотворное впечатление. Вместо того, чтобы преподавать им обыкновенный курс естественного и народного права, я решился излагать пред ними в духе свободы великий вопрос о происхождении человеческих обществ. Я составил в этом смысле небольшой проект преподавания, но разные на меня нападения помешали продолжать этот труд, ибо его непременно назвали бы якобинским. Необходимо было дать всему другой оборот, что и было мною исполнено, и я начал заниматься с моими воспитанниками чтением таких сочинений, в которых великие вопросы человечества были энергично защищаемы знаменитыми писателями, жившими до революции. Это удалось, и благодаря речам Демосфена, Плутарха, Тацита, истории Стюартов, сочинениям Локка, Мабли, Руссо, Гиббона и посмертным мемуарам Дюкло[760], я мог выполнить взятый на себя труд как человек, который подлежит ответственности перед великим народом».

Старшему из двух воспитанников Лагарпа не было тогда еще и 12 лет; не слишком ли рано занимал он их такими неудобоваримыми чтениями?

Из тех же мемуаров делаю другую выписку, имеющую тоже интерес для характеристики отношений Екатерины и Лагарпа:

«Французская революция в самом своем начале, казалось мне, должна была бы способствовать освобождению швейцарских илотов, но я тотчас же увидел грубую мою ошибку. Мучась сомнением, я не верил прочности новой французской конституции и потому очень желал, чтобы ею поспешили воспользоваться до контрреволюции, которая мне казалась неизбежною. Я составил записку, в которой изложил жалобы наших илотов, и убеждал их принять решительные меры, чтобы освободиться от оков.

За первой моей запиской последовало 60 других. Многие из них были переведены и печатались в немецких, итальянских и английских журналах; автор оставался неизвестным. Такие труды расстроили мои финансы и здоровье. Увидев, наконец, что наши патриции успели удержать первое движение к свободе своих илотов, тешат их одними обещаниями, я решился действовать официально и с благородной свободой и с подобающим уважением написал петицию «à messieurs de Berne»*, предлагая в ней созвание штатов. Один из 3 экземпляров этого проекта я отправил генералу Лагарпу. Моя петиция сделалась предметом преследований бернского Совета 200[760], который произнес приговор к смерти генералу Лагарпу. Меня также в Берне обрекли на гибель,

* «к господам из Берна» (*фр.*).

и эти господа до того в ней были уверены, что уже везде разглашали о моей ссылке в Сибирь. Ландаман Мюлин старший и другие передали свои жалобы русскому министру[762], который находился в Кобленце. (Там было собрано войско из эмигрантов, готовых вступить в возмутившуюся Францию.) Граф Эстергази, министр немецких принцев, владетельный принц Нассау Зигель[763] и все эмигранты дали слово действовать против человека, который становился опасным потому, что осмелился не разделять их мнений. Messieurs de Berne поступили без расчета. Если бы они с почтительной доверенностью обратили свои жалобы прямо к Екатерине II, вероятно, она не оставила бы их без внимания, особливо в такую минуту, в которую ей необходимо было выразить свое мнение против всего того, что носило на себе печать новых принципов времени. Но и тогда великая душа этой государыни признала бы мои заслуги и не оказала бы своего уважения такому человеку, политика которого настойчиво требовала его от нее удаления. Вместо того бернцы обнаружили одну жалкую страстность мелких правителей. Они косвенно обвиняли меня в сообществе с генералом Лагарпом, который удалился под защиту французских якобинцев, выставляли меня их корреспондентом и забылись до заявления, что если они не получат ожидаемого ими удовлетворения, то приведут в исполнение смертный надо мной приговор en effigie*. Екатерина II, оскорбленная неприличием подобных обвинений, прислала мне обвинительные против меня пункты и требовала объяснении. Слог моих записок ей, без сомнения, казался излишне горячим, но содержание находила она согласным с известными ей моими принципами, которых, по ее мнению, я имел право держаться. Одним словом, эта великая государыня не могла признавать, чтобы швейцарец заслуживал название бунтовщика за то, что он воскрешал память древних освободителей и героев своей родины, и обвинение в бунте, на которое бернские господа сильно рассчитывали, утратило всю свою силу в глазах самодержицы России. Я имел честь по этому случаю написать два письма к государыне. В обоих изъявил я желание моих сограждан pays de Vaud** иметь ее единственною посредницей в наших распрях. Думаю, что Екатерина II сама попала в немилость к бернцам за то, что выслушала такое якобинское предложение. Императрица убедилась в совершенной моей правоте, выразила свое неудовольствие всем тем, которые вмешивались в эту интригу, и потребовала от меня одного, чтобы я не принимал участия в швейцарских делах, пока я остаюсь в ее службе. Между тем эмигранты продолжали свои против меня козни, и известные газеты припутывали мое имя к тогдашним политическим событиям – хитрость, верно рассчитанная, ибо французы начинали уже принимать те отчаянные меры, которые наделали столько зла и

---

* заочно (*фр.*).

** кантона Во (*фр.*).

уничтожили всякое доверие к их правому делу. Членов дипломатического корпуса не могло удовлетворить мое удаление от всякой политики: интриганам всегда бывает опасен человек независимый, выражающий с мужеством истину всякий раз, когда вызывают его мнения. Злоба их на меня оставалась, впрочем, бессильною до приезда в Петербург графа д'Артуа (Карла X)[764]. Тогдашние события были благоприятны врагам принципов французской революции. Барон де Ролль[765], патриций из Солотурна, сопровождавший принца, этим воспользовался, и я снова сделался опасным. Предположено было от меня избавиться при обручении нынешнего государя. Все лица, находившиеся при великом князе Александре, получили разные награды, обыкновенно раздаваемые при таких случаях, один я ничего не получил. Оскорбленный такою обидой, я нарочно старался с бóльшим рвением исполнять свой долг и твердо решился не покидать его, если меня не выгонят. Обманутые в своих предположениях интриганы добились, однако, того, что один из министров императрицы предупредил меня, что императрица как будто желает, чтобы я оставил свое место за награждение, которое я сам должен был назначить. Такого рода повеление могло быть передано мне только моим непосредственным начальником, т.е. главным воспитателем великих князей, графом Николаем Ивановичем Салтыковым, и я понял, что интриганы рассчитывали на какую-нибудь с моей стороны неловкость. Объяснив моему начальнику все, что со мной происходило, и представив ему на бумаге мое безукоризненное поведение и всю мою службу, я просил его представить императрице: 1) что так как она желает моего удаления, я повинуюсь; 2) что мне невозможно согласиться на предлагаемое мне почетное условие, которым хотели прикрыть мою отставку; 3) что я прошу дозволения остаться на несколько месяцев в Петербурге для устройства собственных моих дел и, наконец, 4) что касается до вознаграждения, я не прошу его; я пришел ко двору бедняком, – писал я в моем письме, – но жил при нем благодаря милостям ее величества с почетным приличием; если мне предстоит удалиться от двора таким же бедняком, я это сделаю без ропота, без угрызения, совести, с той же честной душой, с какой пришел, но с уязвленным сердцем. Напрасно было бы предполагать, что нужда может заставить меня начать в другом месте новую карьеру, я от нее отказываюсь. Честь быть воспитателем великих князей российских и воспоминание о том лестном для меня доверии, которым ее величество так долго награждала правдивость моих принципов и безукоризненность моего поведения, слишком достаточны, чтобы помочь мне перенесть самые тягостные лишения. Решение императрицей моей судьбы будет без сомнения достойно ее великой души, и я всегда буду считать себя счастливым, что уплатил мой долг человечеству.

После этого письма 13-го июня 1793 года я был призван императрицей и в продолжение более нежели 2-хчасовой аудиенции предметы самые инте-

ресные были перебраны с такою откровенностью, что воспоминание об этом разговоре никогда не изгладится из моей памяти. События Французской революции не были забыты. Екатерина желала знать мое мнение, ее собственное было то, что Франция погибла, я осмелился ей противоречить. Этого мало: убежденный в том, что я должен как человек воспользоваться столь благоприятною минутою послужить великой идее, я весь предался моему увлечению и высказал все мои убеждения. Императрица, глубоко пораженная, выразила мне самым лестным образом свое одобрение. Так много наглецов хвалятся тем, чего не сделали, что человеку честному, который долго был жертвой клеветы, простительно высказывать и доказывать, что он в самых трудных обстоятельствах никогда не забывал своих принципов и не изменял истине ко благу своих ближних. Во дворце многие ожидали с разными надеждами результата такой долгой аудиенции; хотя она превзошла все мои надежды, но говорить о ней самому было бы неприлично. Скоро сделалась она предметом благоприятных мне различных разговоров в городе, и, вероятно, Екатерина отзывалась обо мне очень милостиво, потому что моему влиянию на нее приписывали отмену данных уже распоряжений относительно выступления в поход войск, стоявших в Польше, и присоединения их к войску эмигрантов.

Это, конечно, не приобрело мне друзей между агентами и защитниками эмиграции. Как бы то ни было, такая перемена дала мне спокойствие на долгое время. Вероятно, однако, интрига против меня возобновилась, и усталая Екатерина согласилась отставить меня как камень преткновения. Меня собственно предупредили бережно благосклонным предложением промедлить несколько месяцев, чтобы иметь время все покончить. Вероятно, все это мог бы я изменить, если бы я захотел испросить новую аудиенцию, но я чувствовал утомление, необходимость жить в климате более умеренном и непреодолимое желание обнять моих старых родителей[766] и потому решился ни о чем не просить. Данная мне награда была ниже посредственной: богатый купец был бы щедрее, но я приобрел мою независимость и сверх того чувство, что я исполнил мой великий долг как человек. Екатерина простилась со мной с умилением, она почувствовала в эти минуты, что была передо мной виновата, и я оставил ее, уверенный в ее уважении. Павел I, отличавший меня постоянно, был так предубежден против меня, что всячески хотел помешать моему к нему представлению. Опять, сильный моею правотою, я объявил решительно, что не удалюсь от двора, с ним не повидавшись. Он пригласил меня в свой загородный Гатчинский дворец, принял и обошелся со мною не только с отличием, но и с искренним радушием. Я этим воспользовался, говорил с ним откровенно, давал полезные советы и был им понят. Он благодарил меня с такой искренностью чувства, что последнее наше свидание глубоко врезалось в мое сердце. Я расстался с грустью с этим несчастным принцем, который имел превосходные качества и царствование которого было так злополучно.

Кто бы мог тогда ожидать, что он лишит меня моей скромной пенсии, заслуженной 12-летним трудом, что он оставит меня жертвою всех ужасов нужды! И несмотря на все это, повторяю, что этот человек, который будет строго осужден беспристрастным потомством, имел добрую душу и что в нем был зародыш всех добродетелей. Минута разлуки с моими воспитанниками, особливо с старшим, сильно ко мне привязанным, была мне очень тяжела, и при воспоминании о днях 9 мая 1795 г. и марта 1802 года слезы навертываются у меня на глазах...»[767].

* * *

Мирно проводил я и весело, но не шумно остальные летние месяцы и целый сентябрь в моем лозанском пансионе. Всегда довольному малым, тамошняя жизнь была мне по сердцу. Нравился мне и отставной в рыжем парике пастор и вместе какой-то науки профессор, наш хозяин, и славная его барыня с зобом, и два их сына, из которых старший, лет 16-ти, читал со мной иногда Горация[768] и объяснял мне, не последнему из юных московских студентов-латинистов, трудные места этого автора, хотя я был годами шестью его старше, что доказывает превосходство над нами, русскими студентами, учеников второстепенных заведений на западе, по крайней мере, в классических языках. Нравились мне и три сестрицы девицы Chattelalain, да и жил я почти дружески все время с ирландцем Ридом и приятельски с остзейскими баронами.

Один из последних, барон Фиркс, менее других развитой, толстый, краснощекий, с пламенно рыжими волосами, просил меня поучить его по-русски. От нечего делать я занялся с ним чтением по-русски и предложил ему заниматься со мной этим делом сколько-нибудь основательно. Малому было лет за 20, но он объявил мне, что желание его выучиться по-русски ограничивается немногим. У него было поместье на большой дороге из Риги в Митаву, на этом тракте держал он почтовую станцию, и ему хотелось усовершенствовать себя в русской грамоте, насколько нужно для объяснений с курьерами, почтальонами и русскими проезжими. Когда перед отъездом кончили мы с ним наши немудреные занятия, он предложил, а потом и настоятельно требовал принять от него вознаграждение за мои труды, я тоже вломился было в амбицию, и едва между нами не дошло до ссоры; по счастью, была у меня лишняя недорогая золотая цепочка, которую отдал я ему в обмен за великолепную пенковую трубку. Прекратив спор о вознаграждении, отправились мы с ним пешком по дороге в Веве, славно пообедали в «Cully», либо «Lutry» и соблазнились созревшим виноградом, которого так много за стенами, рядом с шоссе. Не подозревая последствий, мой барон перелез через одну из этих невысоких стен и, перепрыгивая обратно с добычей, был уловлен за ногу хозяином, либо сторожем. Ловец требовал 5 франков штрафу, грозил мировым

судьей, немец-аристократ лез в драку; я видел, что дело плохо, и вместо прежних 5 фр. заплатили мы 10, чтобы прекратить ссору и не доходить до суда.

Вскоре после того завязалась было между мной и другим остзейцем, бароном Ганом, ссора покрупнее. За плохим нашим пансионским обедом между старшим из братьев Ганов и мной зашел какой-то живой разговор, который мне не казался даже и спором.

Так как дело дошло теперь до наших обедов, то не лишнее вставить тут прежде, как нас там кормили и поили. Общий утренний чай – еще порядочный, но вечером – даже уже спитый и оставленный от утра в чайнике. Сначала я стал было жаловаться на такой заведенный порядок, но видя, что это ни к чему не ведет, в дежурную мою неделю начал великодушничать и к вечернему чаю убедил молодую хозяйку, к которой я был прикомандирован, угощать всех моим собственным, не говоря о том никому ни слова. Другого, кроме чая и кофе, утреннего завтрака не было. К пятому часу собирались мы в нашу застольную более или менее усталые от ежедневных прогулок либо верхом, либо в лодке по озеру, к которому надо было спускаться по старой крутой дороге к Ouchy и, возвращаясь, всходить на ту же гору. За трапезой голодным юношам после жидкого, как и теперь бывает в пансионах, супа первым блюдом предлагался непременно печеный картофель с маслом; это блюдо было для нас pièce de résistance*, им преимущественно утолялся наш юношеский голод; затем порядочная часть телятины или баранины, вволю сыру, разных швейцарских печеньев и домашнего, не поддельного, доброго вина сколько хочешь, хоть по бутылке на брата. По воскресеньям бывали экстренные угощения от кого-нибудь из нас, услужливых юношей, в разных видах.

Итак, после одного из таких умеренных обедов, ничего за собой не подозревая и не предвидя, ушел я курить в свою комнату с ирландцем Ридом. Через час является ко мне, постучав, Мейснер с каким-то торжественно-озабоченным видом и, не садясь, сухо произносит: «Мне нужно с вами переговорить». «Что такое? Г[осподин] Рид – мой приятель, говорите при нем». – «Я имею поручение от старшего Гана спросить вас, почему вы, разговаривая с ним за обедом, при всех нанесли ему оскорбление?» – «Сделайте милость, какое? Я не понимаю». – «Вы дозволили себе отвечать ему на весьма невинные его слова: “Cela n'est pas vrai”**, и он считает себя, как и следует, глубоко вами обиженным и предлагает вам через меня или перед ним извиниться или дать удовлетворение». – «Помилуйте, барон Мейснер, я никогда не думал оскорблять г[осподина] барона Гана. Слово это, может быть, у меня и вырвалось, чего я даже и не помню, и это лучше всего может доказать вам, равно как и г[осподину] барону Гану, что я, если и сказал “Cela n'est pas vrai”, то такому

---

* основным блюдом (*фр.*).

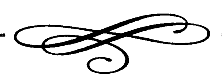
** «Это вздор» (*фр.*).

возражению с моей стороны не придавал никакого значения. Передавая мой ответ вашему приятелю, добавьте, прошу вас, что если подобного объяснения недостаточно, то я, конечно, готов дать г[осподуну] барону Гану всякое удовлетворение. Надеюсь, что г[осподин] Рид не откажется быть моим секундантом». – «Позвольте мне, monsieur de Sverbeieff, прежде передать ваш ответ г[осподину] барону Гану». – «Извольте».

Через полчаса Мейснер к нам возвратился и от имени барона Гана спросил меня, согласен ли я буду повторить прежний мой ответ перед всеми присутствовавшими за обедом, разумеется, кроме хозяев? Конечно, согласен, как и на все то, что может с обеих сторон последовать далее. Все мы собрались в наш садик, объяснились очень миролюбиво и пошли в ресторан запивать дуэль шампанским.

Наша общая русская ненависть к немецким и особенно к остзейским баронам никогда не доступна была моему пониманию. Да в то время, в первую половину 20 годов, она еще не доходила до теперешнего против них раздражения, хотя уже и тогда многие завидовали немцам в их успехах по службе. Я, напротив, всегда сходился с ними приятельски, всегда предпочитал их холодную щекотливость в обращении нашей русской бесцеремонности и между молодых людей короткости. Как часто слышатся у нас в разговоре выражения: «неправда, вздор, пустяки», и никто из нас не подумает такими словами оскорбляться, а потому в нашем обществе, которое может назваться образованным, и особливо в обществе литераторов и ученых, почти всегда неизбежно присутствует дурной тон, дурное обращение. Требование от меня объяснения моих слов: «Cela n'est pas vrai» было мне уроком и дало мне, наконец, привычку никого не оскорблять *подобными ответами* и потому *никому не дозволять сделать их мне*.





ТОМ II

Солнышково.
21 мая 1871 г.

Здесь последовал длинный перерыв моих записок. Мое перо (так называю я ту из своих дочерей, которой диктую) заболело корью; я от невольного бездействия порывался в подмосковную, но наша весна до самого своего конца холодными дождями и постоянными ветрами задерживала выезд из города. В это самое время занимала всех горестная судьба Парижа[1]. Наконец-то сдался он, объятый пламенем, покрытый трупами преступных и невинных жертв мятежа, законному, сколько в это время возможно, правительству Франции. В такое горячее время тяжело не для одной Франции, но и для всякого гражданского общества, где есть мыслящие люди, способные обращать на себя пример других стран и отчасти предвидеть раннюю или позднюю возможность и посреди себя таких же событий, – в такое время как-то совестно писать мирную, не отличающуюся никакими особенностями, так сказать, обыденную, пошлую свою повесть, а между тем передо мной еще целые полвека этой повести. И тут же, впереди меня, несомненно, верная мысль о том, что время мое близь и что мне остается немного годов на предпринятую мной автобиографию. Делать, однако, нечего, продолжать надобно.

Перед отъездом моим из России в июле 1821 г., как уже было сказано, поручил я управление Михайловским, а равно и все мои дела[2] Николаю Сергеевичу Тарасову, предложив ему поселиться со всем его семейством в Михайловском, что и было им исполнено во время этой первой моей поездки за границу. Пребывание мое там пришлось мне по сердцу, и я уже решался на долгое время не возвращаться домой, но побывать там счел необходимым, чтобы посмотреть, как идет под рукой Тарасова все мое хозяйство. С конца сентября начал я для этой поездки ждать из Москвы денег; высылка их почему-то замедлилась, и мой приятель, наш пансионер, ирландец Рид, по какой-то особенной ко мне дружбе догадался, что я чего-то жду, чем-то встревожен. Однажды объяснил я ему, что у меня нет денег на необходимую поездку, и честный ирландец, ничего подробно о мне не ведая, сам предложил мне занять у него до 5000 франков. Он был человек очень аккуратный и нисколько не мотоватый, а потому такое неожиданное предложение меня глубоко тронуло и осталось до сих пор в благодарной моей памяти. Впрочем, я был доволен тем, что имею в моем безденежье предлог медлить отъездом на

целый с половины сентября месяц. Хорошее, погожее начало осени – самая лучшая пора года в Швейцарии: не жарко и не холодно, лучшее время для пешей прогулки, для поездок верхом, для продолжительных прогулок в лодке по лазуревому Леману. Всем этим я на прощанье с Лозанной ежедневно пользовался и однажды чуть не потонул вместе с другими в нашем синем озере. Пансионеры, в том числе и я, собрались переплыть из Ouchy в Evian; тут от швейцарского до савойского берега самое широкое место на всем протяжении озера, два французских льё, или 8 верст. Когда нет противного ветра, привычные лодочники перевозят вас в один час. Мои остзейцы и англичане взялись править лодкой и грести сами; запаслись провизией, разными лакомствами и, конечно, не забыли взять с собой около дюжины бутылок; они-то чуть нас всех и не погубили. Только что мы отплыли из маленького порта Ouchy, англичане предложили свой обычный тост и затянули «God, save the King»*; мы выпили, запели потом «Rule, Britannia»**, немцы начали потом славить свое германское отечество и петь торжественные песни Шиллера и Кернера[3]; мне, единственному русскому, на мою долю не было никакого народного гимна. Гимн Жуковского уже существовал, но еще не был переложен Львовым[4] на особенные ноты, а пелся как английский «God, save the King», и звуками, русскому уху чуждыми, встречали Благословенного Александра на военных и всех возможных торжествах и пиршествах, даваемых в разное время и в разных местах в честь государя. От тостов за родину перешли к здоровьям за родных и милых сердцу, а как у каждого из нас было много родни и по крайней мере по одной сердечной, то и последовала порядочная попойка. Кормчие и гребцы перепились. Порыв ветра сорвал парус, а у гребцов то терялись, то ломались весла. Долго носились мы по озеру, которое начало порядочно волноваться, на гребцов нашел страх, и почти верное ожидание смерти их внезапно отрезвило. Кое-как добрались мы до савойского берега, но уже не к Evian, нашей цели, а к пристани городка Тонона, на целое лье ниже первого. Напуганные и перемокшие, мы там ночевали.

Наконец высланы были ожидаемые мною деньги, и я, не прибегая к займу у славного моего ирландца, собрался в дальнюю дорогу. В Женеве заказал я у каретника Töpfer'a, родившегося и долго жившего в Петербурге и бойко говорившего по-русски, очень хорошую четвероместную коляску, но нарочно без кучерских козел. Я придумал, что возница, кучер или почтальон, могут править по-польски с коня, т.е. верхом на дышловой лошади, и что мне таким образом удобнее будет видеть всю дорогу. В таких колясках без козел часто встречались мне путешествующие по Швейцарии англичане. В Женеве, кажется, тот же Töpfer приискал мне слугу, какого-то швейцарца одного из

* «Боже, храни короля» (*англ.*) – национальный гимн Великобритании.
** «Правь, Британия!» (*англ.*) – английская патриотическая песня.

немецких кантонов, по имени Цеймера, говорившего бойко на трех или четырех языках и ни на одном, кроме своего швейцарского наречия, правильно. Этот Цеймер, лет до 40, долго служил солдатом во французской армии, был в итальянском походе в войсках Наполеона еще до его консульства[5], участвовал и в египетской экспедиции[6], и вышед в отставку, нанимался то курьером, то лакеем у богатых семейных англичан. Ему понравилась как страстному путешественнику мысль побывать и в России, и он за умеренную цену пошел ко мне в услужение. Скоро открыл я в нем редкую немецкую честность, беспримерное усердие к своему хозяину и какую-то смешную, слезливую чувствительность. Подозревая везде обман и надувательство, он раздражался до слез и часто с плачем говорил мне о несправедливых притязаниях то какого-нибудь трактирщика, то почтальона. Иногда своими горькими жалобами выводил он меня из терпения, и, успокаивая его нервы, я тщетно повторял ему известные слова Талейрана[7]: «Pas trop de zèle»*.

В новой красивой коляске со слугой и на тройке почтовых лошадей явился я по дороге на Берн опять в Лозанне и уже совсем в другом виде, каким-то русским богатым барчонком, а не тем скромным пансионером-юношей, каким проживал в пансионе Chattelalain более 3-х месяцев. Вместо прежнего скромного моего помещения в лозаннском между двух гор ущелье у мостика и небольшой мельницы, где был пансион Chattelalain, остановился я в первой тогдашней в Лозанне гостинице «au Faucon», и прожил тут дня три или четыре, чтобы проститься с тамошними моими знакомыми; меня там любили и на прощанье приглашали к обедам. Сперва провел я половину дня у генерала Лагарпа, который пригласил и мне знакомого лозанца барона de Puget[8], бывшего еще во времена Павла одним из наставников великих князей Николая и Михаила Павловичей. Эти царские воспитатели, Лагарп и Пюже, были во всем противоположны. Насколько первый был высоко образован, гениален, деятелен и восприимчив, несмотря на свою старость, и в то же время прост в обращении, настолько второй был пошл, пуст, глуп и напыщен своим баронским достоинством. Я не мог, сколько мне ни хотелось, узнать, каким чудом попал этот бездарный и безродный лозаннский буржуа в воспитатели сыновей Павла, но мне рассказывали смешные подробности пожалования его в русские бароны. Ранним туманным петербургским утром нечаянно попался он в Зимнем дворце на глаза своенравному императору. Государь принял его за другого и встретил словами: «Bonjour, baron»**. Ловкий швейцарец встал тут же на оба колена и протянул свои обе длани, чтобы облобызать царскую десницу в знак признательности за неожиданное возвышение. «Ce qui est dit, est dit»***, – изрек император и дал новоотпечатанному барону поцеловать

* «Не усердствуйте слишком» (*фр.*).

** «Здравствуйте, барон» (*фр.*).

*** «Что сказано, то сказано» (*фр.*).

свою руку. Возвратясь на родину, барон Puget по тамошнему обычаю не мог пользоваться своим титулом, ни даже украшать свою толстую шею Анненским крестом 2-й степени. Никто из швейцарцев не имел по закону и обычаю права носить ордена и пользоваться аристократическим титулом, хотя многие из них были графами и баронами еще со времен крестовых походов. Чтобы пощеголять своим крестом и похвалиться своим баронством, жалкий Puget часто отправлялся в соседнюю Савойю и, переплыв озеро, с первого шага за границу надевал на себя крест и в каждом трактире расписывался бароном.

На другой день после моего с ним обеда у Лагарпа позвал он меня к себе и для меня пригласил вместе с Лагарпом нашего знаменитого генерала барона Жомини[9] и одного харьковского профессора m-r de Gour, перекрестившего себя в чисто русского Дегурова[10], который путешествовал на счет правительства для обозрения ученых учреждений и, если не ошибаюсь, тюрем и госпиталей. У Puget был свой небольшой, красиво устроенный дом в rue du Bourg с террасой на великолепное озеро и восхитительные его окрестности. Я с понятным любопытством смотрел на нашего генерал-адъютанта Жомини, известного тактика и уважаемого во всей Европе военного французского писателя. У нас в России был он в большой чести, в милости у трех императоров; ныне царствующему давал он уроки военных наук и года за три до недавней своей кончины, уже в глубокой старости, получил от своего ученика, императора Александра, приехавшего на парижскую выставку, Андреевскую ленту. Во Франции Жомини ненавидели, в Германии презирали, в Швейцарии едва терпели, и все это недаром. Все знают, как Жомини перед началом Лейпцигского сражения бежал из французской армии, где был одним из отличных ученых квартирмейстеров, и перешел в русскую службу, изменнически представив государю все секретные бумаги по своей части. Он был родом из местечка Paiern'а и родился в каком-то мещанском семействе. Ни один из швейцарских патрициев не пускал его за порог своего дома. В вечерней послеобеденной беседе, расставаясь последний раз с Лагарпом на террасе дома Puget, в виду заходящего в лазурные волны солнца, я поражен был пророческими словами ко мне Лагарпа. Все рассуждали тогда о Польше, о возникавших в Варшаве против нас неудовольствиях, о крупных и мелких нарушениях данной ей в 1815 году конституции, о придирках к полякам цесаревича Константина и т.д. Возбужденный, взволнованный такими разговорами, Лагарп встал с кресел, взял меня под руку и тихо сказал мне: «Вы еще, мой милый, очень молоды, но знайте, что польские смуты переживут вас, ваших детей и даже ваших внуков. Никто из трех поколений не увидит их конца, и кровавые мятежи против России убитой Польши будут продолжаться долго, долго». Он пожал мне крепко руку, и тут простился я с ним, хозяином и другими гостями.

На другой день обедал я у швейцарского полковника Guigerd de Prangin на его маленькой подгородной даче, на третий и последний день моего пре-

бывания в Лозанне шумно и пьяно пировал я в пансионе «Chattelalain» и, перецеловав всех хозяев, сопровождаемый товарищами пансионерами в «Hôtel de Faucon» с полными бокалами, распростился и с ними.

Я уже, кажется, говорил в моих «Записках», что в это давно прошедшее время, кроме как в тесных, душных и безобразных дилижансах, никакого другого почтового сообщения не было по всей Швейцарии. Существовала только для частных экипажей почта по большой шоссейной дороге в Италию, до подошвы горы Симплон. Мне пришлось, как приходилось и всем странствующим по Швейцарии в своих экипажах, взять из Лозанны лон-кучера[11]; оттуда до Берна везли больше шагом, чем рысью, более полутора суток, и непременно по дороге где-нибудь ночевали, либо в Пайерне, либо в Булоне. Так было и со мной. Столько же времени употребил я на дорогу в Базель из Берна, зато из последнего города утром пустился я до Франкфурта и проспал Гейдельберг, поглазев по дороге на красивые и большие столицы германских владетелей, Карлсруэ и Дармштадт. Далее осмотрел я дворец и сад в Мангейме, несколько дней отдал я Франкфурту, был у банкира Бетмана[12], любовался принадлежащей ему статуей Ариадны знаменитого ваятеля Данекера[13] и обедал у нашего посланника барона Анштеда[14], который долго находился дипломатическим чиновником нашей главной квартиры во время компании 1813–14 годов и только один из всей свиты императора Александра в состоянии был прочесть и перевести какую-то грамоту папы на латинском языке, тайно им присланную из своего заточения[15] императору Александру. Анштедт в это время был главным представителем при германском сейме, довольно успешно боролся с либеральными немцами, грозившими восстанием против священного союза, и, кроме того, отличался своими гастрономическими обедами. Он был радушен со мною и угостил меня на славу.

Этот обед памятен мне не одним угощением. Он был одним из самых скучных редкою сдержанностью и какой-то неловкостью для хозяев и собеседников. Всех нас было 8 человек. Мне уже сведомы были тогда заграничные обычаи: являться к званному да и ко всякому обеду не раннее, как за четверть часа до назначенного хозяином времени и никак не позже, чем за 10 минут. Войдя в гостиную министра, одетый, как следовало, в белом галстуке и башмаках, я представлен был хозяином его жене. Анштедт был женат на какой-то невзрачной, средних лет немке, не отличавшейся ни изящными манерами, ни нарядом, ни наружностью. Она была, как видно, простая добрая женщина и встретила меня с мещанским радушием и на французском, конечно, языке с сильным немецким акцентом. Кроме хозяев, была еще юная русская чета, удивившая меня небрежностью своих костюмов: небольшого роста молодой человек, с грубой физиономией и плотным станом, был в сюртуке и черном галстуке, юная его супруга, живая собой, очень красивая и немного жеманная, одета была также слишком просто, как будто в одном из своих дорожных

платьев. Хозяева, напротив, были в параде, а сам посланник даже при звезде; трое чиновников нашей миссии тоже были одеты как следует. Нахмуренный Анштедт познакомил меня со всеми[16]. После изысканного обеда секретарь посольства Маркелов[17] рассказал мне странное поведение наших знакомых путешественников. Отдавая визит одному из своих знакомых[18], Анштедт пригласил его с женой на этот обед. Трудно поверить, чтобы они не знали о существовании жены министра. Не сделав ей визита, явились они прямо к обеду в описанных мною костюмах за час до обеденного времени. Таким нарушением всех европейских приличий испортили они весь обед хозяевам; им самим, да и всем нам было до крайности неловко. Как, однако, долго длилось наше азиатское невежество в нравах и обычаях! Лет через 5 после оно повторилось на моих глазах в том же самом виде и при таком же случае. Я расскажу его в свое время. Теперь все, к счастью, изменилось, кроме одного странного убеждения всей массы русских, скачущей по Европе, что представители России за границей непременно должны быть их трактирщиками, точно так же, как на родной почве губернские власти и местные дворяне всегда рассчитывают на почти обязательное гостеприимство уездных предводителей.

За неимением мундира я не последовал совету Анштедта – представиться в Веймаре нашей великой княгине Марии Павловне[19], а потому и ничего не видал в этом городе, первою редкостью которого был постоянно обитавший там великий Гете[20].

В Лейпциге наехал я на знаменитую ярмарку, где на площадях и в гостиницах толпилось разнородное купечество, и я в то время встретил на троечных телегах наших долгих русских извозчиков, приезавших на ярмарку за товарами из Москвы и Харькова.

За table d'hôt'ом* в гостинице, где я останавливался, встретил я несколько русских купцов и еще более жидов из наших польских губерний. На площадях и улицах много было разных балаганов со всякого рода фокусами и акробатами; построенные для их представлений временные здания ничем не отличались от тех, какие бывали на Святой неделе у нас под Новинским[21].

По дороге к Дрездену осмотрел я в Мейсене знаменитую фарфоровую фабрику[22]. В столице миловидной Саксонии остановился я в «Hôtel de Saxe».

Тогдашний Дрезден за полвека до нынешнего должен был более нравиться иностранцам. Он, менее обширный, был чистенький, красивый городок, не закопченный еще вечными над ним парами каменного угля, и тогда славился уже он своею капеллою придворной католической церкви и своею оперой, но не в том великолепном здании театра, которое построено было гораздо позже и сгорело в два часа времени на мох глазах, в сентябре 1869 года. И в церкви, и в опере я с любопытством глядел на старого Фридриха-Августа[23],

---

* общим столом (*фр.*) (см. примеч. на с. 189).

саксонского короля, единого верного союзника Наполеона, который так долго и так много вытерпел бед от других, восставших за свободу Германии ее властителей. Прусский король настаивал на совершенном уничтожении Саксонского королевства, а за измену интересам Германии ее короля домогался присоединения всей страны к Пруссии. Австрия на это соглашалась; великодушный Александр, в самом начале войны согласившийся на изгнание из Саксонии Фридриха-Августа и назначивший генерал-губернатором Дрездена князя Репнина[24], одного из своих генерал-адъютантов, убедил своих союзников возвратить изгнаннику его древние права. Согбенный добрый старец, на лице которого видны были следы великого горя, искренно был любим своим народом и особенно жителями столицы, часто являлся между ними то в церкви, то в театре, то в загородных своих садах Пильница, куда по воскресеньям гостеприимно допускались все без различия и без полиции, ярко выставлялся он им в каком-то странного покроя и еще более цвета желтом мундире, в треугольной шляпе, в пудре с косой и буклями. Всем известна славная Дрезденская картинная галерея[25]. Я не знаток и не охотник до картин, но дрезденскую «Мадонну», «Ночь» Корреджио и картину Спасителя с монетой[26] увидел через 50 лет после этого путешествия, как старых знакомых, художественное впечатление от которых хранилось во мне как лучшее воспоминание моей юности[27].

В Дрездене был и обедал я у нашего посланника Василия Васильевича Ханыкова[28], который застыл от лет и казался тощим и сухопарым скелетом екатерининских времен. В прежнее время отличался он своею светскою любезностью, французскими каламбурами и сладенькими виршами на этом языке; не знаю, хороший ли он был дипломат, но я нашел в нем человека самой привлекательной любезности. Беседа его, впрочем, не была ни поучительна, ни даже замечательна; вспомнить его мне нечем; помню только одно очень оригинальное устройство его дома. В одной обширной зале во всю длину занимаемого им дома помещался его министерский кабинет, его гостиная и даже его столовая. Когда, входя к нему, застал я его тут за письменным столом, сделав два шага, посадил он меня перед камином своей гостиной и через четверть часа, сделав еще три шага, посадил он меня обедать. Такое устройство очень мне понравилось, и лет через 10 после устроил я себе точно такое же помещение, конечно, в меньшем размере, во Флоренции, где у нас с женой было все в одной большой комнате – и ее, и мой кабинет, и в углу стол с игрушками для незабвенного моего Николиньки[29], и гостиная перед камином, и столовая посредине.

Осматривал я дрезденские тогдашние редкости и загородные места с какими-то жившим со мной в гостинице англичанками, матерью и дочерью. С последней я кокетничал, но фигуры той и другой не удержало мое воображение.

Октябрь стоял сухой и теплый, благоприятный для моей долгой дороги. Через Силезию и ее славный городок Бреславль без остановки проехал я на Краков, столицу республики[30], которая вся искусственно сотворена была союзниками-государями России, Австрии и Пруссии с тем, чтобы этот престольный город древней Польши с его историческими памятниками не доставался ни одному из них и не представлял бы собой как бы право на притязание овладеть рано или поздно всем древним королевством некогда довольно могущественной Польши. Миниатюрная Краковская республика вследствие подобных предупредительных расчетов политики утверждена была особенным трактатом во время Венского конгресса и поставлена под исключительное покровительство трех держав, которые имели в ней своих дипломатических агентов, справедливее сказать, своих за нею наблюдателей под названием резидентов; никаких других европейских дипломатов в ней не было. В этом городе поляки находили себе убежище, напоминавшее им утраченную свободу. В его соборе[31], где короновались прежние их короли, покоился прах великих мужей Польши: Яна Собиесского, Костюшки, архиепископа Солтыка[32], на мраморной гробнице коего барельефы изображали наших казаков, увозивших по приказанию Екатерины этого архиепископа в Сибирь, и его торжественное возвращение в родной город при императоре Павле.

Я остановился в первой краковской гостинице, представлявшей уже всю неурядицу наших русских трактиров: неопрятность прислуги, отсутствие постели, обычай не затворять дверей и входить в комнаты, занятые путешественниками, не постучав, т.е. без спросу, – таким бесправием особливо пользовалось великое множество жидов, неотвязчивых, подобно комарам и мухам. Я знал, что секретарем нашего резидента, какого-то поляка из Варшавы[33], был мой университетский товарищ Рикар[34], русский подданный, родившийся и живший долго в Москве, хотя он и был французского происхождения. Я отыскал его, и в то время как мы после обеда дружелюбно беседовали о нашем прошлом студенчестве, а потом о Кракове и его загадочной республике, с шумом ворвался ко мне в комнату мой швейцарец в яростном раздражении и объявил, рыдая, что какие-то воришки жиды украли несколько винтов от моей коляски, стоявшей всю ночь без призора на грязном дворе, и что ее надо чинить. Раздражение моего спутника почти и меня вывело из терпения. Рикар обоих успокоил и повел осматривать краковский собор, который стоил того, чтобы его рассмотреть во всех подробностях. Починка коляски остановила меня на сутки. Вместе с Рикаром, пообедав у резидента, отправился я ночевать в местечко Величко, где уже в австрийских владениях находятся весьма богатые соляные варницы, снабжающие с избытком солью всех разноплеменных обитателей этой империи[35]. Дорога моя была на Киев через Лемберг, или вожделенный наш Львов[36], и снисходительную таможню в Радзивилове,

в 5 или 10 верстах от богатого в то время униатского монастыря, превращенного в конце 30[-х] годов в православную Почаевскую лавру[37]. Въезжая в наше обширное отечество, я не ощутил того радостного трепета, которым многие гордятся.

На почте предложили мне ехать не по шоссе прямою дорогою, а в объезд, верст 50 одним махом. Униат-малороссиянин взялся доставить нас махом, и в самом деле, усевшись с позволения моего на передний сундук, он так лихо скакал на своей запряженной в ряд тройке от места до места, что я во все время боялся за целость моей коляски и за моего швейцарца-спутника, который от страха то хохотал, то плакал и под конец пришел в совершенное изнеможение. В самом деле, я никогда не езжал так скоро; 50-тиверстное расстояние, правда, по совершенно гладкой дороге, проехали мы в 2½ часа, и, несмотря на всю быстроту такой езды, я все-таки думаю, что тут 50 верст не было[38].

От Радзивилова до самого Киева, да, пожалуй, и по всей Галиции всё, говорят, наше родное, русское, но на взгляд нет ничего похожего на то, что мы прежде называли Русью, а теперь Россией. Природа несравненно роскошнее, народ, может быть, беднее, но гораздо красивее[39], сельские строения гораздо менее по своей обширности и по удобству для сельского хозяйства, но чище, опрятнее, народные песни мелодичнее, поэтичнее, живее и осмысленнее наших. В то время как я проезжал этой стороной, русская закваска туда еще не проникала, и если житель внутренней России, начиная уже с Батурина, простодушно говорил, что сам он не тутошний, а из России, то кольми паче считал он себя чуждым не только Галиции, но и южной Малороссии и Украине с первого шага удаления своего из Киева. Да и самая эта матерь городов русских, как называют часто Киев, неизвестно почему переделывая его в женщину, в то время была каким-то смешением польщизны и Московии. Высшее общество преимущественно составлялось из поляков и не сторонилось от наезжих русских воинских и гражданских чиновников.

Тогдашним генерал-губернатором был, кажется, Желтухин[40], а комендантом крепости добрый и пьяный Петр Андреевич Аракчеев[41], брат трезвого и злого; с последним и его женою[42] я познакомился и все три дня моего в Киеве пребывания у них и обедал, и чай пил, и ужинал. Меня привел к ним нечаянно найденный мной в соборной церкви Печерской лавры Василий Сергеевич Норов, брат Абрама, с которым я поехал в Петербург. Василий Норов ни в чем не похож был на своего брата, он был гораздо моложе[43], основательнее, сдержаннее, а потому и умнее. В нем ничего не было блестящего, но его уважали и любили все его сослуживцы гвардейского егерского полка, где он, будучи капитаном гвардии, известен был внимательным изучением военной истории, а во всех других фронтовых науках был небрежен, ненавидел шагистику и за небрежность в ней был сильно оскорблен на каком-то параде запальчивым своим дивизионным генералом[44]. Весь состав офицеров полка

вынудил начальника перед Норовым извиниться, но Норову не прошло это даром. За это ли или за какое-нибудь другое нарушение службы выслали его тем же чином в армейский полк, который стоял тогда в Киеве.

Аракчеева, урожденная Девлет-Кильдеева («Татарщина, батюшка, таращина! – сказал бы Сандунов, – какие это князья!»)[45], была Норову родственница, он почти жил у них, да и я через полчаса при первом моем посещении был у них, как дома, нараспашку. После более чем годичного моего таскания за границей российская распущенность имела и для меня какую-то прелесть. У хозяйки гостила в то время родная ее сестра полковница Батурина с мужем[46]. Лет через 15 или 20 этот Батурин своими способностями превзошел всех московских сенаторов.

Расскажу кстати, чтобы не забыть, что я подозревал в нем того именно сенатора, который расспрашивал у своего товарища, просвещенного Михаила Александровича Салтыкова, что такое холера морбус, в первое время нашествия ее на нас из Персии, и не то же ли она самое, что «Habeas corpus»* в Англии; как я не добивался от Салтыкова фамилии любознательного вопросителя, он не называл его, а мне сдавалось, что это непременно должен быть Батурин.

Я еще ничего не сказал о моем киевском помещении. На последней станции перед городом мне указали на лучший в нем трактир, который известен был под именем нынешнего министра государственных имуществ[47]. Трактир этот назывался «Зеленым» и стоял на Печерской стороне, перед ним была большая площадь, правильнее сказать – целое поле, за ним прямо напротив невысокие кремлевские стены небольшой крепости и лавры, а перед домом деревянная старинная церковь Владимирская. Мне дали обширную комнату вроде сарая, с полуизломанным диваном и тремя или четырьмя стульями и огромным обеденным столом посредине. Хозяин хохол, какой-то чиновник, обещал меня хорошо накормить и в самом деле накормил сытно малороссийскими кушаньями: борщом, просяной кашей, варениками и галушками. Я взял тут же на площади извозчичью одноконную бричку и отправился в лавру ко всенощной; тут-то я и наткнулся на Норова, стоявшего у клироса, скрестившего по-наполеоновски руки – такова была обыкновенная его поза. Он рассказал мне стычку свою с дивизионным генералом и всю историю перевода в армию. Лаврская всенощная тянулась нескончаемо, мы не могли выстоять и половины. Долго не мог я заснуть на грязном, вместо кровати, диване; никакой постели и ни одной подушке не было. К тому же лишь только погасил я свечку, меня обсыпали, с позволения сказать, клопы; чтобы спастись от них, я должен был лечь в виде покойника на большой стол посреди комнаты, взяв вместо матраса подушки из моей коляски. Швейцарец мой

---

* распоряжение о представлении арестованного в суд, букв.: «ты должен иметь тело» (*лат*).

ругался на всех своих наречиях и часто поминал Аллаха и Магомета, вывезенных им из Египта[48]. Он, бедный, всю ночь провел, сидя на стуле. Пехотинец наполеоновских войск, не любил он и там кавалерии, а наше насекомое приводило его в бешенство. С Норовым и Аракчеевыми пробыл я в Киеве три дня. Хозяин комендант был навеселе с утреннего чая до обеда, пьян с обеда до ужина, ничего не делал и никому ни в чем не мешал. С дамами мне сделалось с первого шага так ловко, что я тотчас же сделал самую неприличную неловкость, забылся до того, что, сев возле хозяйки обедать, по трактирной привычке вытер салфеткой мою тарелку и взялся уже за стакан. Добрая генеральша вместо того, чтобы выгнать меня из-за стола[49], только заметила мне кротко: «Что вы это делаете? У нас чисто!» – и тут же вывела меня из смущения, заговорив со мною ласково. В городе Нежине, где с елизаветинских времен поселились греки[50], я не мог отыскать свояка моего батюшки, богатого грека Григория Ивановича Кромиду, который был также женат на девице Паскевич, на родной тетке фельдмаршала. Этот мой не родственник, а свойственник не возвращался еще в город с своего хутора.

Коляска без козел мне не удалась. У нее ломались жидкие передние рессоры от тяжести наших извозчиков, правивших лошадьми с сундука. В Орле предстояла неизбежная и продолжительная починка; призванный мною каретник, как я его ни упрашивал, потребовал двое суток на исправление экипажа; хотя я нисколько не спешил, но это меня озадачило. Мысль пробыть 48 часов в трактире, об удобстве коего уже я умалчиваю, в глухую осень, в конце октября, без книг, без знакомых приводила меня в отчаяние. Таким образом, первый чисто русский город, в котором живал мой отец, где мне, ребенку, прививали оспу, откуда перенесли самый наш Михайловский дом лет тому назад 20, представился мне местом заточения.

«Кто живет у вас в вашем проклятом городе?» – спросил я у грязного полового, принесшего мне самовар. Он начал перечислять всех, с губернатора до мелких чиновников; ни одного знакомого даже по имени не оказалось. «Нет ли помещиков?» О радость! Половой назвал мне Андрея Андреевича Глазунова. Чему и кому иногда не обрадуешься! И вот, несмотря на раннее утро, отправился я к Андрею Андреевичу. Лысый, небритый и уже почти старичок, встретил он меня со слезами и заключил в объятия и долго не выпускал из рук. «Ко мне, ко мне, непременно ко мне», – и тотчас же послал в трактир за моим слугой и вещами.

Я уже говорил в начале моих «Записок» об этом господине[51]. С ним в его собственном полубарском доме жили забитая им его смиренная супруга, довольно красивая, плотная и сытная меньшая дочь лет 20 и зять его Афанасий Иванович Красовский[52], дивизионный генерал с супругой, старшею дочерью Глазуновой. Мне отвели довольно порядочную опрятную комнату, но все хозяева держали меня у себя на глазах и ни на полчаса от себя не отпускали.

Задолго перед обедом явились какие-то два неряшливые господина и начался картеж. Мне тоже предлагали карточку, я отговорился тем, что с утра играть привычки не имею. Хозяин затеял банк и порядочно пощипал своих двух посетителей, которые удалились перед обедом.

Генеральша Красовская, еще очень молодая степнячка, живая и бойкая, вышла за пожилого генерала только из-за его чина; не ровня ей по летам, он женился на ней из-за ее богатства, что, однако, не мешало им жить ладно, если не во внутренних комнатах, то на людях в гостиной. Молодая генеральша охотно занялась моей особой, но, как уже пристроенная к месту, с первого дня начала выставлять свою меньшую сестрицу. То же предприняли в отношении ко мне и проныра-хозяин, и добрая, простая матушка незамужней дочки. Желая уверить меня, что я разучился говорить по-русски, как будто это было возможно в один год, молодые дамы беседовали со мною не иначе, как на своем каком-то особенном французском наречии. Я иногда их не понимал и просил перевода; напр., следующая фраза: «Ou nous après vous!» Это значило: «Где нам за вами!» Или другая: «Cet été nous sommes allés sur les siens dans le Crimée»[53], – сиречь: «Мы ездили в Крым на своих, т.е. на долгих»[54]. Генерал, к счастью, говорил на одном русском и очень дельно и любопытно рассказывал о своих походах. В губернском городе играл он по своему чину первую роль, а потому и его тесть, человек себе на уме, разыгрывал после губернатора роль вторую, гостеприимно и хлебосольно принимая весь город; в то время и в Москве были еще неприхотливы.

По вечерам играли, чему я был очень рад: мне так надоедали нелепые расспросы о чужих краях. Прошу дать ответы на подобные вопросы: «Есть ли там виноград?», «Какие там носят мундиры?», «Много ли бывают в театрах?», «Как туда ходят дамы – в открытых или закрытых платьях?» и т.д. Да помилуйте, милостивые государи и таковые же государыни, о каком именно *там* вы меня расспрашиваете, ведь и у них, как и у нас, по различию местностей не все и не везде одно и то же. Поймите, что и *там,* как вы говорите, бывают же разницы.

Вечера длились далеко за полночь. Молодежь играла на фортепьяно, иногда пела; как – это другое дело. Сытным обедом не удовлетворялись; за полночь так же плотно ели за долгим ужином со щами, кулебяками и тому подобными утучняющими провинциалов блюдами, о которых незадолго перед этим сказал Грибоедов[55] остро, но не верно: «Ешь три часа, а в три дня не сварится», – в таких желудках все хорошо переваривалось. На другой день, когда глазуновские барыни часу в 12-м пришли по обещанию в только что прибранную ко мне комнату, рассматривать кое-какие картинки и вещицы, привезенные мною из-за границы, в кабинете хозяина раздался шум: вышла у него со вчерашними посетителями из-за банка ссора; гости мои испугались, а я пошел разнимать, опасаясь драки. Ее не было: хозяин просто

выгнал игроков из дома. И что же? К моему удивлению, один из игроков явился к обеду. Я был еще тогда очень молод, не вытерпел и спросил у хозяина: «Как же вы опять принимаете к себе, и в тот же день, такого господина, которого в лицо назвали вором и от себя выгнали?» – «Ничего, мой милый, ничего. Он, конечно, мошенничает в игре, правда и то, что я его поймал за руку, как он передергивал карту, но я все-таки его обыграю». – Хорош же и ты гусь, – подумал я и похвалил себя за то, что упрямо отгородился играть с ним. Такой образчик провинциальной городской жизни мне (виноват) не очень понравился. В тогдашнем Орле не выродились еще Простаковы и Скотинины времен Фонвизинова «Недоросля». С появления на нашей сцене этой нравоописательной комедии через 50 почти лет явился на сцену «Ревизор», а на городских улицах, в трактирах и гостиных стали являться Чичиковы. Пора возникнуть среди нас новому Фонвизину или Гоголю. Жаль, что не живет с нами И.С. Тургенев: он один мог бы изобразить нам своим гениальным пером нынешних недорослей, Простаковых и Скотининых, один он мог бы снять верные портреты с теперешних Чичиковых, с таким успехом и торжеством подвизавшихся в наших новых судах всякого рода, управах и земских собраниях[56].

В холодный осенний дождливый день по непроходимо грязной дороге протащился я часов более 10, 50 верст от Орла до Мценска, иззяб до окоченения и насилу отогрелся в теплом небольшом домишке у моей двоюродной сестры Екатерины Александровны Шеншиной, урожденной Обресковой

Отсюда начинается настоящее возвращение мое не только в отечество, слишком обширное, но и на родину. Здесь почувствовал я себя дома, среди людей более или менее мне близких, по крайней мере не совсем чужих, посреди природы более северной, но и она имеет даже в ноябре свое обаяние на человека, который и родился и провел в ней свои младенческие и отроческие годы, и вот я, более тогда впечатлительный и менее свыкшийся с чужими странами и всеми их обычаями, так сказать, весь окунулся в воспоминания о моем недавнем прошлом. Двоюродная сестра моя Шеншина была та самая, на свадьбе которой был я в 1815 г. таким неловким шафером, и, если вы, мои читатели, вспомните, что за час до решения на целый век ее судьбы подносил я ей вместо букета из роз одни их стебельки, то узнайте теперь, что такое грустное предзнаменование сбылось над ней. Кто был виноват в этом – вопрос каждой человеческой жизни; никаким строгим анализом не дощупаешься до его решения.

Жили они с мужем и двумя мальчиками в чистеньком флигельке большого каменного над рекой Зушей городского дома, куда переселялся почти 80-летний глава этого семейства Шеншиных[57] из своего подгородного имения, села Волкова. Мои хозяева, Никита Николаевич с женой, ходили к старику каждый день обедать и там же оставались до позднего вечера. Николай Иванович,

отец, был барин достаточный, чванный, умный и по тогдашнему образованный, хотя и без французского языка. Службу свою кончил он московским вице-губернатором и, вышел в отставку в превосходительном чине, переехал на житье летом в свое поместье, зимой в город Мценск. Свое дворянское древнее достоинство и генеральский чин носил он на себе с подобающей спесью. В небольшом городке был он *особый*. Мой отец знал его довольно коротко, отзывался о его умственных способностях с уважением, прибавляя, однако, что он был с красным словцом, т.е. вышивал и прилыгал. Сын, мой родственник Никита Шеншин, старше своей жены лет на десять, не имел ума своего родителя, но так же, как и он, был чопорен, черств и совершенный эгоист. Я открыл в нем одно достоинство: великое мастерство играть в вист и вообще в карты, оно и было главным и чуть ли не единственным его качеством. Хозяйствовать при отце ему было нечем – старик, пока жил, держал вожжи свои крепко. Молодой женщине, институтке, было тут душно, она и сама себя не понимала. Могли ли понимать ее остальные в этой семье и помочь ей сколько-нибудь развить свои способности? Вышла же она почти поневоле, любя другого; отсюда неизбежные увлечения и все обыкновенные его последствия. Тут был еще один сын Николая Ивановича, заслуженный и, говорят, храбрый полковник Владимир[58], командовавший полком, расположенным в Мценском уезде. Этот умел хотя кое-когда занять общество рассказами о своей боевой жизни, да и на такие рассказы недоставало времени. Оно проходило все в еде, чаепитии и в картах. Встречался часто в этом доме и командовавший атиллерийской бригадой, тоже храбрый полковник Никитин[59], какими-то военными подвигами отличавшейся во все продолжение последних войн, и он был, как видно, из бурбонов, т.е. человек темного происхождения и без воспитания, хотя впоследствии получил графский титул и начальствовал в южных военных поселениях. От нечего делать занялся я утром дразнением двух остреньких, хорошеньких сынишек моей сестрицы и старшего додразнил один раз до того, что он обещал пожаловаться на меня отцу, грозя кулачонками и обещая, что за него непременно отдерут меня на конюшне. Этот именно мальчик, теперь 50-летний орловский дамский угодник, возобновил со мною знакомство, часто посещал меня больного прошлою зимой и рассыпался в моей гостиной на французском языке вперемешку с русским перед моими и посещавшими меня дамами. Я никак не решался припомнить ему его угрозы, которые, конечно, в свое время, на мое счастье, остались без последствий.

Распространяясь так долго, по дурному моему обычаю, в описании этой слишком обыкновенной русской дворянской семьи, я как-то боюсь дотронуться здесь до больного моего места, до одного из самых тяжелых воспоминаний моей жизни. Екатерина Шеншина рассказала мне в долгом, откровенном между нами разговоре все то, что случилось в продолжение моего пребывания за границей с ее меньшою сестрой Варенькой. Я уже рассказы-

вал прежде, что было между нею и мною, и написал, кажется, и то, что она по убеждению тетки и братьев согласилась принять предложение какого-то Роста и что свадьба эта расстроилась. Так как я кучу писем Вареньки, не распечатав, бросил в камин еще в Париже и едва ли внимательно прочитывал получаемые мною после в Швейцарии, то только в Мценске узнал я, что брат Вареньки Павел сосватал ее за товарища своего по Волынскому полку офицера Воронцова-Вельяминова[60] и что мне предстоит свидание с нею в Москве, куда думал я приехать из Михайловского по первому пути. Такая весть заставила меня призадуматься.

Чтобы не праздновтаь у себя в имении нашего сельского праздника, именно в этот день выехал я из Мценска к себе. Дорога как есть, in naturalibus*, без всяких улучшений, еще стала непроходимее, погода гораздо холоднее, а у меня не было шубы. По недостатку всякой другой теплой одежды я получил довольно острую ревматическую боль в плечах и руках до локтей. Простудный ревматизм и после часто ко мне возвращался, насилу я от него отделался.

Мне бы хотелось представить здесь в первый раз по вступлении моем в действительное, уже не отроческое управление всеми моими делами довольно подробное описание Михайловского и того положения, в котором оно находилось в конце 1822 и в начале 1823 г. Одна из главных задач моих «Записок» состоит в том, чтобы представить как собственно для себя, так и для немногих моих читателей сравнительно верный беспристрастный очерк отношений крепостных крестьян, а равно и дворовых к их помещикам этого времени, т.е. почти за 40 последних лет существования у нас крепостного права до 1861 г. Задача трудная, требующая полного систематического обозрения, вряд ли удастся мне с ней справиться, как бы хотелось. Вообще о Михайловском можно и должно сказать: земля великая и обильная, но в ней, как и во всей России, порядка не было. Вместо князей из варягов призывались туда по временам и свои, и иноплеменные управляющие, а порядка все не было. Какие были улучшения и успехи, справедливее будет приписать их не мне и не поставляемым мною деятелям, но одному времени.

Прежний управляющий Шилов, умерший скоропостижно от водки, был бы хорошим хозяином, если бы не был крепостным дворовым человеком. Слишком высоко держал он себя над всею массою мужиков и потому, что он сам был другой касты – из старинных дворовых, и потому, что был, так сказать, ученый в сравнении с невеждами. Он знал, конечно, отчасти, и математику, и землемерие; и на беду его и мою, изучая кое-какие указы, прельстился ябедничеством, заводил пустые дела по судам и охотнее ими занимался, чем сельским хозяйством. Николаю Сергеевичу Тарасову досталось имение для управления в самом распущенном виде. Последний был менее умен и менее

---

* в натуральном виде (*лат.*).

грамотен, чем Шилов, но зато трезвее и честнее. Он был из мелких серпуховских дворян, нигде и ничему не учился, прослужил года четыре в гусарах и, вышед в отставку лет 30, управлял очень небольшим своим имением, селом Ящеровом под городом Серпуховом, служа перед женитьбой во время предводительства моего отца в этом уезде по выборам земским заседателем. Со своими крестьянами обращался он круто, иногда жестоко, одним словом, так, как и все, особливо мелкопоместные помещики, по произволу, по капризу. Он был уверен в том, что самое верное средство увеличивать доходы – засевать как можно больше полей. Урожай де зависит от Бога. На деле выходило напротив. Дурно обработанные и большею частью совсем не удобренные поля давали весьма плохие урожаи, и усиленный с грехом пополам барщинский труд, не стоивший ничего, будучи даровым для помещика, изнурял крестьян. Так бы повел он хозяйство и у меня, если бы я, следуя более разумной системе, введенной моим отцом, ее не поддерживал. Я потребовал от Тарасова, чтобы определенное количество полей не изменялось; чтобы рабочие тягла произвольно не увеличивать; чтобы крестьяне не отправляли барщиной никаких других посторонних сельскому хозяйству работ, как-то: построек и т.д.; чтобы отнюдь не мешались в их браки; чтобы рекрут отдавали по очереди, предоставляя управляющему право отдавать в солдаты прежде очередных крестьян неисправных или дурного поведения; чтобы все крестьяне разбирались между собою, или, если дойдут с жалобами своими до помещичьей конторы, то не иначе, как сельскими старшинами в присутствии управляющего; чтобы все наказания и штрафы взыскивались в конторе и записывались в книгу и т.д. Все, что я мог придумать и придумывал впоследствии для ограждения крестьян от каприза управляющего и его помощников, едва ли приводилось в исполнение, но неизбежно довело крестьян до своеволия и распущенности, а управляющего и все его правление до сонной лени[62]. Мужики, однако, после шиловского управления, видимо, поправились, зато доходы, как бы следовало по возвышению цен, не увеличивались, но и не уменьшались; я был и тем доволен. По излишней моей бережливости на себя, богатый бедностью моих прихотей, я, слава Богу, никогда не страдал жадностью к деньгам.

Теперь несколько слов о самих крестьянах; всех их вообще можно было разделить на три части: на зажиточных, семейных, изворотливых и от природы более умных; на средних, которые существовали еще сносно, и, наконец, на голь и бедняков, по собственной вине или по обстоятельствам, с которыми они не умели справиться. Последние, а их была порядочная масса, были еще более крепостными у односельцев своих богатых, чем у помещиков. Все вообще находились под моим главным патриархальным заведыванием, которое я продолжал по мысли моего отца и по моим собственным выводам из идей христианских и философских о правах человека, который не должен быть ничей вещью, т.е. рабом[63].

Никак не могу в моих «Записках» отбояриться от отступлений и не сказать здесь несколько слов о бывшем крепостном состоянии в России[64].

По обычаю, крепостной часто был продаваем явным образом даже не помещику, но какому-нибудь чужому, зажиточному также крепостному крестьянину, который приобретал его покупкой на имя своего помещика с тем, чтобы купленного отдать за свою семью в рекруты. Такое вопиющее злоупотребление вынудило издать закон еще до уничтожения права продавать людей без земли, запрещающий отдавать людей в рекруты прежде истечения года до приобретения их покупкой. Различные сделки торга людьми в рекруты введены в обычай столько же помещиками, как и крестьянами. Проследим всю историю этого торга. Прежде торговала людьми в рекруты сама казна и бесстыдно пользовалась таким средством умножения государственного дохода. В доказательство приведу один из самых возмутительных примеров, который, однако, в свое время едва ли осужден был общественным мнением.

Одна княгиня[65] сама по себе принадлежала семейству, отличавшемуся христианскою образованностью и умственным развитием. Она соединяла в себе и то, и другое. Вышедши замуж уже не молодою за известного в Москве разорившегося богача[66], она, расчетливая и способная на всякое дело не по-женски, с первых дней своего замужества взялась за устройство имений мужа, близкого к окончательному разорению. Обозрев имение и поселившись в одной из деревень, тотчас же продала она казне 700 рекрутских зачетных квитанций и получила таким образом 700 000 рублей ассигнациями за отданных ею из всех деревень рекрут в зачет будущих наборов. В настоящее время необходимо для позднейших поколений объяснить принятую ею меру для уплаты долгов, лежавших на муже. Продавая людей в рекруты за деньги, она не освобождала нисколько своих имений от рекрутской повинности. Пример княгини, по счастью, не имел подражателей между порядочными зажиточными помещиками, зато у мелкопоместных такие случаи встречались и могли находить извинение в их вечной нужде, в их постоянном убожестве. Со своей стороны, зажиточные крестьяне, и особливо наших северных промышленных губерний, покупали у различных помещиков зачетные квитанции или самых людей, годных в рекруты, а когда вышел закон не ставить в солдаты купленных прежде года, покупщики держали их в работниках при себе под строжайшим присмотром, чтобы они не сделали умышленно над собою какого-нибудь вреда и оставались бы годными в отдачу, какими были по осмотру при самой покупке. Вспомним, что попечитель университета Голохвастов тщательно осматривал покупаемых им людей, хотя, впрочем, он и не покупал их для отдачи в рекруты, а на всякий случай.

Если иные неразборчивые помещики и по бедности, и по общей грубости помещичьих нравов имели обычай продавать в рекруты своих крепостных, преимущественно дворовых, которых можно было всегда продавать без земли,

то, с другой стороны и к постоянному моему изумлению, знатные, чиновные, богатые и даже передовые по своему образованию помещики дозволяли своим богатым крестьянам, поощряли их покупать людей в рекруты за свои семьи. Мне пришлось не один раз убеждать и наших богатых, и наших образованных рабовладельцев в том, что покупка людей есть тоже вопиющее злоупотребление. Занимаясь делами двух крупных помещиков, я решительно отказал им в моем на этот случай содействии. Богатые крестьяне, которым я отказывал подписывать по доверенности купчие на продаваемых в рекруты людей, обратились тогда к своим господам, и обреченные на солдатчину люди помимо меня, через других поверенных, были просителями куплены. Господами приобретателями были: один известный не богатством, зато высшею своею образованностью и авторством князь и другой – тоже князь, очень богатый и очень добрый[67]. И не они одни дозволяли своим рабам-крестьянам покупать чужих рабов крестьян. Два мои указания на помещиков, коротко мне известных, из тех многих, которые все без исключения по обычаю злоупотребляли своими правами, отнюдь не есть в моих глазах личное им обвинение. Вина была не в них, а в сущности самого права, и потому, не делая никому укора, приведу еще пример подобных злоупотреблений, которые, вероятно, были допускаемы многими крупными помещиками в размерах, несравненно более увеличенных. Богатые помещики дозволяли своим богатым крестьянам приобретать на свое имя людей в рекруты целыми семьями и даже целыми деревнями. Мне, может быть, не поверят, а потому я приведу один случай, также мне коротко известный. На время своего отсутствия за границу родственница моя[68], соседка по имению, просила меня заведовать ее имениями в разных губерниях. Все ее крестьяне были на оброке, и на всех них накопились большие недоимки, допущенные слишком добрым, а потому слишком слабым ее управлением. Познакомившись несколько с ее делами, я сказал ей, что собирать старых запущенных недоимок не буду, зато ручаюсь, что годовой настоящий оброк доставлю ей вполне. Для приведения в исполнение моего обещания я должен был принять те же самые меры, крутые, насильственные, какие ввел я в моих собственных оброчных имениях. Я предписал всем вотчинным начальникам: 1) что отныне за несвоевременный платеж настоящего оброка воспрещаются до совершенной его уплаты браки в домах и семьях тех хозяев, на которых окажется недоимка, и 2) годные в этих семьях в рекруты люди будут мною отдаваться прежде очередных. После моих распоряжений объявлен был рекрутский набор. Заслуженный бурмистр[69] богатого ярославского имения моей родственницы, села Михайловского (имя его я забыл), вместо списка недоимщиков выслал мне один только список очередных и просил моего разрешения на отдачу в рекруты по заведенному у них порядку. Я вызвал бурмистра к себе в Москву для объяснения и решительно повторил ему приказание ставить в рекруты наперед людей

из семей недоимщиков, ибо, несмотря на явную зажиточность подгородного их села, у них и новый оброк за этот год, не говоря уже о старых недоимках, уплачивался неисправно. Бурмистр отвечал мне и довольно грубо: «У нас этого не водится, мы никогда из всего нашего села рекрут не ставим». – «Как же так? А этот очередной список, подписал его ты?» – «Я. Да это очередные деревни Казанки?» – «Какой деревни Казанки? У меня в описи имений вашей помещицы нет ни одной под этим названием». – «Да деревне Казанке и не следует быть в вашей описи, она не княжны, а наша». – «Что за чертовщина! Как же она ваша, а не княжны?» – «Извольте видеть-с. Мы самую эту деревню (душ 50 или 60) по соседству с нами купили за себя еще при покойном князе, отце нашей барышни, и на его имя с тем, чтобы за село свое ставить из нее людей в солдаты. Так это с тех пор и ведется законно. Вы тоже, сударь, эфтим нас не обидьте, потому что это самой княжне все известно». Как ни твердо, казалось мне, знал я всю азбуку нашего крепостного права, но такой ответ изумил и меня совершенно неизвестным мне до того времени новым проявлением крепостничества[70]. Подумав и помолчав несколько минут, я продолжал мое дoследование, обратившись к бурмистру, стоявшему передо мной как бы ни в чем не бывало в полном сознании своей правоты, с новыми вопросами: «Ну, что же? Эти казанские крестьяне на барщине или на оброке?» – «На оброке-с». – «Кому же они платят?» – «Вестимо, нам. Ведь купили их мы». – «По скольку?» – «По скольку мы платим княжне». – «А недоимки у вас на них есть?» – «Нету. Недоимщиков сдаем мы первых в рекруты». – «Ну, любезный, спасибо за урок. Вот ведь ты и сам меня учишь делать так, как вы делаете. Выпишем же мы с тобой по подворной описи села Михайловского ваших-то недоимщиков, и ты по их списку, за моей рукой, в этот набор отдашь их непременно, если они всего оброка не заплатят». – «Это нельзя-с; будем просить княжну вести по-старому». – «Можно, дружок, можно! Княжна далеко, а набор на носу, и ярославский губернатор от меня ближе, чем от вас помещица. Стоит ему узнать о ваших беззаконных порядках, тогда ваша Казанка улетит к черту – отойдет в казну». По сказанному и по писанному мною все было сделано, т.е. не совсем все, недоимщиков в селе Михайловском, которым грозило рекрутство, никаких уже не оказалось, и рабы рабов опять пошли в рекруты, но уже в последний раз. Возвратившуюся владелицу я убедил взять деревню Казанку за себя взамен накопившихся недоимок старых годов по этому имению.

Когда в последнее десятилетие перед эмансипацией деятельностью правительства возбуждены были различные препятствия промышленности людьми при рекрутских наборах, когда между высшими административными лицами губернии правительство, хотя и в редких случаях, начинало находить себе ревностных исполнителей нового либерального направления, когда богатые крестьяне уже не покупали людей в рекруты, а нанимали за себя охотников,

которые большею частью продавались сами, и тогда, и в этих случаях помещики опытные и ловкие брали по крайней мере две трети денег за охотника себе в карман, отдавая ему самому самую ничтожную сумму. Такая сделка происходила следующим образом.

Охотник, если он был крепостным дворовым или крестьянином другого помещика, без ведома ему самому, то есть охотнику, также продавался, но уже не по купчей на него крепости, ибо всякая продажа была напоследок воспрещена. Вместо же продажного акта давался ему, т.е. не ему в руки, а в руки его покупателя, отпускной лист. Покупатель, приискав где-нибудь на стороне отчаянного пьяницу, отбившегося от семьи забулдыгу, подговаривал его за небольшие деньги и за кутеж в полном развале в продолжение 2-х, 3-х до набора месяцев согласиться идти за него охотником. Таких забулдыг между фабричными помещичьими крестьянами находить было возможно, цена на них была от 200 до 300 рублей, и, смотря по времени, продовольствие и удовольствие такого охотника могло становиться покупателю еще рублей сто, а много двести. Но настоящая сделка охотнику была не 500 рублей, на него издержанных, а более чем вдвое. Эту последнюю сумму получал от покупателя продавец охотника, помещик, давая отпускную в руки приобретателя и на его собственный страх. Врачи, воинские приемщики и кто-нибудь из членов рекрутского присутствия всегда бывали уже подмазаны. Первые еще до ставки его у себя на дому уже видели и осматривали, и как скоро вводился этот несчастный в рекрутское присутствие, предлагали ему, пьянствовавшему в продолжение целого месяца и ошеломленному решительною торжественностью последнего совершающегося над ним акта, одну половину формального вопроса: точно ли он идет охотой в рекруты? Умалчивая о том, что ему уже дана отпускная, он уже не крепостной, а свободный, и что поэтому от него совершенно зависит, идти в рекруты или не идти и пользоваться данной свободой. Все подробности таких проделок узнал я от одного из торгующих людьми господ, Можайского помещика князя Крапоткина[71], который при мне на дому у председателя Можайского рекрутского присутствия просил его и тут же меня как первого члена этого присутствия принять охотником проданного им человека одному волостному голове государственных крестьян. Председатель изъявил безусловное свое на то согласие, я тоже согласился, но имел глупость предупредить тут же князя, что я потребую отпускную, отдам ее охотнику в руки и прибавлю, что он может теперь идти или не идти в рекруты.

– Помилуйте, вы так все мое дело испортите, – отвечал с раздражением князь, и рекрут-охотник представлен к нам не был, его свезли в Москву в губернское присутствие, где без дальнейших объяснений его и приняли[72].

Уже и прежде, в последние годы царствования императора Александра I, обращено было внимание правительства на общее злоупотребление всех

помещиков без исключения, введенное обычаем прежних времен, в отправлении их крепостными крестьянами рекрутской повинности. В самом начале, как мы видели выше, казна находила в ней источник государственных доходов продажею рекрутских квитанций. Мелкопоместные продавали своих крестьян и дворовых более по нужде, нежели из прихоти богатым крестьянам других помещиков для отдачи за свои семьи в рекруты. Мы видели также, что другие богатые, чиновные, знатные по роду и даже самые передовые по образованию и развитию в них либеральных идей поощряли такой торг людьми в рекруты до времен эмансипации, дозволяя своим крестьянам покупать на свое имя людей для освобождения приобретателей от тяжкой повинности. Видели мы, наконец, в имении, временно мною управляемом, самый резкий и, по моему мнению, самый возмутительный пример подобного барского снисхождения. Вероятно, пример этот был не единственный. С тех пор, как и продажа квитанций, и явная торговля людьми начали встречать со стороны правительства справедливое затруднение, стали торговать продажею охотников в виде найма. Тут был риск, но он, как мы видели, иногда удавался. Кроме всех сих проявлений помещичьего произвола, мало-помалу в этом отношении стесняемого, многие самые лучшие из помещиков, желая сохранить или предохранить от расстройства лучшие зажиточные крестьянские семьи, спасти их от рекрутства, ставили в рекруты за такие дома штрафных одиноких крестьян или дворовых дурного поведения. Но и в таких случаях вмешалось безнравственное корыстолюбие, соблазн, которым и я сначала увлекался, ибо и я сам брал с богатых крестьян деньги от 1000 до 1500 ассигнациями, ставя за их семью то дворовых, то штрафных крестьян даже из других моих имений за михайловские семьи зажиточных и исправных во всем домохозяев. Только впоследствии времени, лет за 15 до эмансипации, додумался я, что поступать таким образом недобросовестно и, определив цену за освобождение от рекрутства 500 рублей, брал эти деньги не в мой собственный карман, а в мирскую крестьянскую кассу.

Продажа помещиками крепостных всего более распространялась на женщин. Их продавали не одни мелкопоместные, но и достаточные средней руки господа, не по одной нужде в деньгах, а по недостатку в невестах для своих собственных крестьян. Известно, до какой степени церковные законы стесняли браки родственными связями. Духовное родство по крещению и кумовству мешало многим жениться в своих вотчинах настолько, насколько и родство по крови. Под конец сделаны были некоторые облегчения, но разрешение вопроса о степенях родства, не допускающих брака, зависело от епархиального начальства, следовательно, от консистории, присутственных мест, из всех подобных самых притязательных и ябеднических. Запрещение, истекавшее из крепостного права, вступать в браки без позволения помещиков часто бывало причиной, что женихи не могли находить себе невест в

односельных деревнях, где все между собой родня. Случалось, что в больших имениях, где уже помещики, как, например, со времени моего отца и при мне, не вмешивая своего произвола в браки, не женили крестьян по приказу, не отдавали вдов и девок по принуждению, – случалось, говорю, в таких имениях, что ни одна крестьянская вдова или девица не изъявляла согласия, как ее ни уговаривали, выйти за какого-нибудь крестьянина, не потому, чтобы он был человек порочный, но потому, что он был или беден, или худосилен, не родной в семье, а приемыш, или потому, что был вдов, с малолетними детьми, одинокий, не имевший в своем дворе ни одной бабы-работницы, которая бы могла помогать в женском деле будущей мачехе его полдюжины малолеток. Между тем такому именно крестьянину женитьба была необходима, иначе пропадал он сам, пропадали его дети. Не один, а много раз приставали ко мне вдовые крестьяне, обремененные детьми, с просьбами женить их непременно и как можно скорее. Иной проситель приходил за этим ко мне в день похорон первой своей жены. За них, зная коротко по себе всю нужду крестьянского хозяйства в бабе, заступались деревенские старшины и ходатайствовали сельские священники, советуя изменить по нужде мой закон и употребить принуждение, неволю. Делать было нечего, должен был уступить, но все-таки не решался женить людей по страсти. Прошу моих читателей прочесть в одной из миленьких комедий гр. Сологуба ответ одного старосты сентиментальной помещице[73]. Молодая элегантная дама, воспитанная в Смольном или Екатерининском институте и только что вышедшая замуж по страсти, жила то в Петербурге, то за границей и приехала в первый раз в свое собственное оброчное имение; угостила обедом крестьян и крестьянок, одарила последних и расспрашивала с любопытством молодых, любят ли они нежно своих мужей; те, разумеется, захихикали и стыдливо закрывали лица руками; ответа она от них не добилась. «Не правда ли, – обратилась она тогда к старосте, – они выходят все по любви». – «То есть как это по любви?»[74] – «Ну, коли ты не понимаешь, разумеется, по страсти». – «Вестимо дело, сударыня, по страсти; иную коли не пристрастишь, ни за что не пойдет, хоть кол на голове теши; охота ли ей будет выходить за вдового на чужих детей». Итак, у нас в имении по страсти не выходили, а чтобы не разорять какого-нибудь вдовца, который приставал приневолить за него невесту, что советовали и мне мои вотчинные начальники с деревенскими выбранными от крестьян старшинами, сам придумал я, и то не вдруг, последнее средство спасти от гибели вдового крестьянина и его сирот. «Попробуй, – сказал я одному неугомонному просителю-жениху, – искать невест себе на стороне». – «Да из чужих-то подавно никто за меня не пойдет»[75]. – «Толкнись, любезный, к мелкопоместным дворянам в Судьбище; у них, говорят, бывают продажные вдовы и девки; авось найдешь подходящую за себя, а чтобы и такой не слишком было неволи, обещай ей от меня, что она, если пойдет охотою, на весь свой век будет освобождена от

барщины». Дня через два явился снова страстный жених ко всем невестам вообще и с величайшею радостью объявил, что нашел славную работницу и девку, которая идет по охоте в наше село, и отец ее с матерью отпускает к нам со всяким удовольствием. Помещица продала мне ее за 25 р. сер., гораздо дешевле, чем продавалась в то время добрая крестьянская лошадь.

Все это длинное сказание о невольном передвижении из рук в руки заключаю здесь хвастливым отзывом о развитии своего хозяйства и своих от него доходах, сделанным мне одной ярославской помещицей г-жой Смолиной. Познакомился я с ней потому, что ее дочка, очень хорошая собой и очень эмансипированная, выходила замуж за моего внучатного брата, гвардейского офицера Теплякова. Давала она в приданое за ней не менее 500 ярославских душ и уверяла, что получала с них 5 000, а иногда 7 000 дохода. Когда я стал ей объяснять, что, как ни рассчитывай, поверить такому доходу трудно, она под конец вынуждена была мной назвать определенно источники таких чрезмерных доходов, и вышло, что она всех без исключения своих вдов и девок продавала в замужество на сторону и за большие деньги, а крестьян в рекруты. Ее же собственные крестьяне должны были сами покупать невест, а равно и ставить за себя продаваемых другими в рекруты. Все это делалось сплошь да рядом на моей памяти и разве только весьма немногих приводило в негодование; все это были одни цветочки, а не ягодки крепостничества. Указывая на темные его стороны, я привожу только те примеры, которые были в обычае у всех помещиков вообще, дурных и хороших, такие случаи, которые исходили из рабства по законам исторической давности, иногда и по законам писанным, но по течению времени мало-помалу постоянно смягчаемым. Впрочем, относительно браков у крепостных крестьян еще Уложением царя Алексея Михайловича воспрещаемо было помещикам употреблять свою власть – обычай шел тут врозь с законом.

В конце 30-х годов принял я в управление небольшое имение моей жены в Смоленской губернии, доставшиеся ей 200 душ после раздела с родной сестрой[76]. Выбранный крестьянами словоохотливый бурмистр явился ко мне с вяземскими пряниками и медом-липицом на поклон от мира. Долго рассуждали мы с ним о разных разностях по этому имению, усердно изыскивая средства, как бы ввести в него побольше порядка, чем было прежде. Старик не прекращал беседы, представляя на мое разрешение целый ряд вопросов. Около полуночи я утомился и отпустил его от себя. Спустя полчаса он вошел опять ко мне в спальню с извинениями, что забыл спросить еще об одном неважном дельце. «Как прикажите мне быть со свадьбами?» – «Что мне до них за дело, – отвечал я, – как было, так пусть и будет». – «Благодарим покорно, – и бух в ноги, – стало, у нас опять пойдет по-прежнему, на сходке по жеребью». – «Как по жеребью?» – «Да мы, батюшка, приводим на мир загодя до храмового праздника всех наших молодых ребят и ставим их в ряд, а в

другом ряду взрослых девок, тут и дается им жеребий, и кому как выйдет на какой девке жениться, у них на другой день бывает помолвка, а в праздник и свадьба». Насилу уговорил я этого бурмистра такой обычай отменить, предоставив полную свободу женихам выбирать невест. «Да разве они, – возразил Семен Осипов, – что-нибудь в этом деле смыслят?» – «Ну так пусть выбирают за них родители». От такого приказания на целые два года крестьянские браки замешкались; потом к данной мною свободе привыкли[77].

К сожалению, должен допустить, что многие и очень многие из помещиков безнаказанно позволяли себе подобные злоупотребления. Администрация за то владельцев не преследовала. Большая часть дворянских предводителей, первая обязанность коих состояла в наблюдении за обращением помещиков с крестьянами, или совсем не принимала от последних жалоб на нарушение свободы брака, или, не желая выдавать своего брата-дворянина, за него всячески заступалась[78]. Иногда невольный брак служил наказанием провинившейся из дворовых. Ее выдавали неволей за самого ледащаго крестьянина, а этого насильно на ней женили, не принимая от него никаких отговорок, что какая-нибудь кружевница или швея ни на что ему не пригодна. Совершавший таинство брака священник и причет беспрекословно их венчали в угоду помещиков или скорее помещиц, которые более, чем их мужья, в подобных случаях проявляли свою власть[79].

Крепостной мог быть не только продан, но и подарен другому, и в прежнем нашем быту таких случаев не оберешься. Крестьянских мальчиков и девочек дарилось, особенно барынями, порядочное количество. Набожные барыни любили награждать своих духовных отцов или поступались знакомым купцам или купчихам, хотя ни те, ни другие не имели права иметь у себя крепостных и держали их у себя в рабстве, часто весьма тяжелом, на имя дарителей. По недостатку в деньгах или по скупости дарили людей судейским и приказным за их одолжение по тяжебным и следственным делам. Тетушка моя Алена Яковлевна имела по Богородицкому своему имению процесс о сотне десятин земли. Наш управляющий Шилов был ее стряпчим и, казалось мне, вместе с секретарем суда нарочно продолжал дело, чтобы выпрашивать у моей тетушки побольше денег на дачу взяток членам суда, где оно производилось, и чаще всего приятелю своему, секретарю. Как-то раз, приехав в Москву, начал я говорить с нею про это дело, советуя кончить поскорее. «Спасибо, что ты мне напомнил! Знаешь мою Матрешку (девочку лет 12, которая ей прислуживала)? Твой Шилов уговаривает меня подарить ее Богородицкому секретарю Крестовоздвиженскому; ну, да я ему отвечала, что ты уж раз отговорил делать подарки людьми, вот я и сказала ему, что подожду тебя, а подарить по делу о земле, говорит, неотменно надо; оно, конечно, выгоднее было бы отдать ему девчонку, она безродная, она лишняя, так только балуется, а денег и так много пошло на этот проклятый суд». Я обратился к

христианскому чувству доброй моей тетушки, представляя ей, что Матрешка точно такой же человек, как и мы, что житье ее в крепости у секретаря будет прескверное и что можно дарить только кошками и собаками, а не людьми. Она меня поняла, как понимала и прежде, но о том забыла, послушалась, и Матрешка осталась при ней.

Не желая затруднять себя при составлении моих «Записок» различными справками, я не стану ни утверждать, ни отрицать, бывали ли наши крепостные, подобно римским рабам, закладываемы, промениваемы или отбираемы за долги. Думаю, однако, что все эти случаи по старинным законам и обычаям, под разными видами повторялись и у нас. Нет сомнения в том, что помещики отдавали в услужение своих людей другим господам часто без всякого условия и даром, по родству или по приязни; так, напр., мои дворовые служили и моей тетке, а ее – у меня. Хотя впоследствии подобная передача слуг одним господином другому и была затрудняема законом, но полиция нигде в это не вступалась и не требовала на них ни видов, ни паспортов. Бывали примеры злоупотреблениям такого рода, явные и в больших размерах. По жалобам западных и, кажется, смоленских помещиков на недоимки оброчных крестьян правительство утвердило за такими помещиками право отдавать в работу мужиков различным подрядчикам, но такое распоряжение распространено было на одни белорусские и, если не ошибаюсь, на Смоленскую губернию, и контракты с нанимателями владельцев должны были сообразоваться с узаконенными на то правилами, коими правительство старалось по возможности обеспечить отчасти и безбедное существование работников. Именно в это время, а может быть, и прежде, помещики прочих губерний отдавали за договорную в свою пользу плату крестьян на фабрики, а плотников и каменщиков – на производство разных построек. Но подобные отдачи людей в наймы не могли совершаться по формальным условиям, потому что закон допускал последнее только в Западном крае. Крестьяне, отдаваемые в работу, часто на это жаловались. Мне были в свое время известны их возмущения, или так называемые крестьянские бунты огромной толпы. Не один раз приходили жаловаться губернатору на то, что помещик всех способных к работе из селения беззаконно отдал на фабрику Лепешкина[80]. К сожалению, то же самое делали люди весьма порядочные[81].

Кроме того, существовал еще один вид крепостничества, замечательный своею особенностью; по законам наше духовенство, равно как и купечество, не имело права владеть людьми, подобно дворянам. Привилегия иметь при себе крепостных исключительно принадлежала первому высшему сословию империи; но и купцы, и наши пастыри не могли устоять от соблазна пользоваться даровою, дешевою прислугой. Чтобы иметь ее, те и другие прибегали к обману, скоро вошедшему уже повсеместно в обычай. Они покупали дворовых, иногда и крестьян, на имя своих благодетелей или приятелей из дворян

и таким образом держали у себя целые семьи в крепости. Обычай этот, во многих местах укоренившийся, побудил правительство издать закон, в силу которого, когда подобное злоупотребление обнаруживалось, подвергались штрафу по 200 р. за мужскую и по 100 р. за женскую ревизскую душу те лица, на имя которых были куплены эти люди, равно как и незаконные их приобретатели; крепостные же их люди или же работники получали свободу.

У меня самого была предлинная и пренеприятная история по этому случаю с давно умершим моим духовным отцом, священником церкви Св. Николая в Плотниках, что на Арбате, Ф.А. Лебедевым. Батюшка мой позволил ему, и очень напрасно, купить какую-то вдову с девочкой на его имя. Вдова, привыкшая к ребенку, долго и усердно прослужив мнимому своему господину, умерла. Дочь, выросши, начала от хозяина своего отлынивать. Только по принесенным мне на нее жалобам от моего духовника узнал я, что и у меня есть подобная крепостная, незаконно принадлежащая другому. Священник просил, наконец, чтобы я его от нее избавил, т.е. взял к себе за деньги или кому-нибудь продал. Наконец, она совсем от него убежала, отыскать он ее не мог и неотступно требовал, чтобы я заплатил за девку 100 р. Напрасно сперва говорил я ему, что дал себе слово людей никогда не продавать, а потом, что за беглую, которою владеть он не имеет никакого права, давать ему сто рублей решительно не намерен; мы едва с ним за это не поссорились, и каждый раз после исповеди он попрекал мне, что я его обидел. Я отвечал ему, что не считаю себя перед ним виноватым.

Один из наших михайловских приходских священников должен был заплатить значительный штраф за неправильно владеемую им семью на чужое имя и долго кряхтел от такого убытка; людей, ему давно служивших, у него отобрали, да еще чуть ли не 600 или 700 руб. взыскали пени. Самому мне в бытность мою предводителем в Серпухове удалось способствовать к освобождению целой семьи дворовых, которых тамошний квартальный из дворян отдал за деньги в услужение какому-то купцу; их обоих оштрафовали на порядочную сумму, а людей отобрали и дали им свободу. Но, к великому моему сожалении, не удалось мне освободить целую деревню из 100 ревизских душ, которых серпуховской купец Потапов купил на имя своей дочери, вышедшей замуж за дворянина; распоряжался же и владел ею сам купец. Я уже успел представить губернскому начальству этот случай и требовал законного следствия; мне долго не отвечали и протянули до конца моей службы по выборам, и купец, кажется, долго после меня хозяйничал этой деревней на праве помещика.

Не знаю, до каких пор держался еще один закон, выражавший собою всю возмутительную силу крепостного права человека над человеком; в нем было сказано, что за убитого помещичьего крестьянина крестьянином другого помещика господин убийцы обязан был вознаградить помещика, потерпевшего

убыток, т.е. дать ему за убитого другого крестьянина из своего имения. Не говоря уже о возмутительном способе вознаграждения за насильственную смерть, и в материальном отношении закон оказывается несправедливым к помещику, которому принадлежал убийца. Этот помещик без всякой вины терял, таким образом, двух работников – одного, т.е. убийцу, которого правительство ссылало на каторгу, и еще другого, которого он отдавал взамен убитого. В самом законе ясно и возмутительно выражалась неприкосновенность помещичьих прав[82].

Наши крепостные не имели права ни в каких случаях приносить жалобы на своих господ. Если это у нас и допускалось, то не иначе как с нарушением коренных законов, как бы тайком, в одиночку от каждого. В тех случаях, когда жалобы на притеснения помещика приносились какой-нибудь власти от многих лиц, то администрация, не входя еще в рассмотрение причин на жалобы, признавала просителей за бунтовщиков и наряжала по этому поводу дознание или следствие, с первого же шага подозревая преступное восстание против власти, что так часто во время оно называлось бунтом крестьян. Следователи, служащие по выбору от дворян, а всех более уездные предводители почти всегда тянули на сторону помещиков, и в случаях весьма редких приносившие жалобу крестьяне получали небольшое облегчение в своем жалком быту. В свое время расскажу я два произведенные мною следствия. Само собой разумеется, что при таком порядке вещей наше законодательство не допускало никаких доносов от крестьян на помещиков и что крестьяне ни по каким делам, ни гражданским, ни уголовным, не могли быть призываемы в свидетели против своих владельцев. Наверное не помню, но кажется мне, что в старые годы крепостных ставили на правеж вместо своего господина по его требованию, т.е. подвергали пытке[83].

Возвращаюсь к рассказу о моем заведывании Михайловским, заведывании, патриархальность которого склоняла весы управления на сторону крестьян. В этом Михайловском, вероятно, чаще, нежели у других помещиков, крестьяне повторяли мне и управляющему простые, радушные, но не бесхитростные речи: «Вы – наши отцы, мы – ваши дети», и тут же кстати и не кстати прибавляли: «Мы ваши, а земля наша». Мало-помалу эти наши дети при неурядице управления начали смотреть и на господскую землю, леса, покосы, пастбища, как на принадлежащую им землю. Везде были порубки, потравы, заезды по полям. Воровства было несравненно меньше, нежели теперь, но беспорядок, допущенный в господском хозяйстве, увеличивал и беспорядок у самих крестьян: и у помещика, и у его крепостных много добра пропадало даром, как говорится в просторечии – кинью.

Состав моего управления был следующий. Постараюсь припомнить себе самые имена. Главным помощником управляющего Тарасова был избранный им бурмистр Тимофей Федорович Бакуткин из деревни Козловки, голова всему

имению, добрый, рохлый, но усердный, хотя и ленивый. Старостой 1-го отделения, в котором была и главная господская усадьба, Прохор Тимофеевич, умнее и надежнее бурмистра. Старостой 2-ой половины был чрезвычайно умный и не старый богатый мужик Яков Евстафьевич. Он особливо пришелся мне по нраву тем, что не слишком норовил крестьянам, не потакал им и никогда не оправдывал виноватых, но знал их нужды и в важных случаях открыто за них же по-своему заступался. Бывало, не раз говаривал он мне, когда дело доходило до упреков ему за частые порубки в лесах: «Батюшка Д[митрий] Н[иколаевич], не было бы у нас лесных воров, не было бы у нас и дворов». Старостой 3-го отделения (1-е и 2-е назывались тогда еще половинами, третье же прямо сельцом Никольским) был крестьянин из семьи Ефимочкиных. Эта семья была самая зажиточная во всей вотчине, в ней было около 10 тягловых работников, а всех с женщинами и малолетними, в трех избах, на одном дворе, под рукой одного хозяина, старшего брата, человек до 40. У них на гумне было больше скирдов хлеба и сена, чем у иного соседнего мелкопоместного. У них был целый табун лошадей и свои заводские кони. Главой этого дома был большой мой приятель, крестьянин Архип Ефимович, потому-то их и называли сперва Ефимочкиными, а потом Архиповыми. Вся эта семья жила в мире и изобилии и долго, пока правил ею Архип, не соблазнялась на раздел. Держава в ней была строгая, сору она из своей избы не выносила и никогда до конторы с жалобами на внутренние раздоры не доходила. Бабы в ней не дурили. Привожу здесь рассказ Архипа, в котором отразился и его собственный характер, и его время. (О моих рассказах о Михайловском надобно заметить, что они принадлежат не одному, а целому ряду годов, в продолжении коих правил я в Михайловском сначала посредством Тарасова, а потом и самостоятельно, иначе память бы мне изменила, неспособная приводить разные случаи по годам особливо же в рассказах курьезных анекдотов. Отвечаю за верность целого, а потому и не вхожу в отдельные повременные подробности.)

Итак, рассказал мне однажды Архип Ефимович о своем хождении в Киев, к печерским угодникам на богомолье. «Отпросившись у Никол[ая] Серг[еевича] (т.е. Тарасова) после Петровок[84], пришел я третьего дня домой, слышу, ты здесь, и вот тебе, батюшка, из Киева образок и просфорка, да еще колечко от мученицы Варвары». – «Сколько же ты времени проходил?» – «Да с месяц, а не то и поболе». – «Небось стало дорого? Скажи правду, сколько потратил?» – «Не больно, батюшка, дорого, я ведь пешком туда сбегал и назад тоже, и хоша ноженьки уставали, благодаря Творцу Небесному нигде на телегу не присаживался». – «Но говори, однако, сколько? Да говори правду». Мне хотелось попрекнуть его в лишних и, по моим понятиям, вовсе ненужных расходах. «Ну что, батюшка, и всего-то целковенький». – «Ужели всего на все?» (На ассигнации – 4 рубля, ценность целкового того времени). «Так,

батюшка, ей-ей так. Я ведь ходил Христовым именем, мирскою милостыней». – «Как? Просто по миру?» – «Вестимо дело. На что же нам, грешным, и дано Христово имя. Кормили меня даром, добрые люди давали милостыню кой на что, примерно сказать: на лаптишки или на калачик, грешным делом захочется и побаловаться, да и рублик то свой поистратил я по церквам то на свечи, то на поминки по родителям».

Теперь совсем другое. В 1871 г. на Святой явились ко мне в Москву повидаться трое из михайловских крестьян прямо от Троицы[85]. Похристосовавшись, на спросы мои отвечали, что весь их путь по железной дороге от самой деревни через Орел, Москву до лавры и назад стоить им будет каждому рублей около 17, и что они о деньгах не жалеют. Вот вам и мерка избытка нынешних крестьян, разительная перемена понятия их о хождении к святым местам, начав с того, что от них никакого подноса уже мне не последовало. Легкое ли дело по 60 рублей ассигнациями на брата! Вся-то семья богача из всех, Архипа, едва ли проживала на деньгу втрое больше того во время Архипова богомолья в Киев.

Хочется мне наименовать тут же и других известных мне крестьян, которых называл я про себя своего рода аристократами, т.е. более или менее богатыми и влиятельными на весь вотчинный мир. Я не только знал их всех и знал коротко, но по возможности спасал их от рекрутчины, всегда берег, помогал им и поддерживал их значение между крестьянами. Такими были: во-первых, помяну не Святейший правительствующий синод, а крестьянина деревни Барановки Василия Ивановича Лысанова и хозяев двух дворов в других деревнях того же имени, на деревне Беляевке три семьи Беляевых, по фамилии коих прозвана была и вся деревня. В первом по уряду и избытку из этих дворов управляла домовитая вдова Дарья Ивановна, моя кормилица, отчего и слывет до сих пор дом двором Кормилицыных. Добрая, кроткая, не корыстолюбивая, непритязательная была она женщина, дай Бог ей царство небесное! У нее было до 6 сыновей, и при ее жизни трое из них были уже в тягле. В справедливую награду за великую помещику своему службу, – она не только его выкормила, но и ходила за ним, т.е. за мной, еще года два после по кончине моей матери, покуда я, болезненный, не прежде трех лет встал на ноги, – получила она целый участок крестьянского надела, сверх того сын ее со своей бабой, мой молочный брат, освобождался от барщины.

Во 2-ой половине зажиточные крестьяне были Бакуткины, Сальниковы и Гришечкины, прибавлю тут же один двор из самых бедных, и только потому, что в нем жили два брата Хованских. Сколько ни старался, не мог я понять, откуда забралось в нашу глухую степь и перешло к мужикам это родовое имя потомков древних литовских князей; да еще недалеко от моих крестьян деревни Козловки у Хилкова были крепостные Куракины. В том и другом имени собственно русских производных звуков не слышится, а старинных

помещиков этих родов ни в Тульской, ни в Ярославской губерниях, по моим справкам, не было. Прошу над этим позаняться исследователей, наших Погодиных[86].

Село Михайловское, Архангельское – по приходской церкви во имя архангела Михаила, Мансурово и Хилково – по фамилии своих владельцев, а потом, пожалуй, и Свербеево тож, образовалось из замежеванной в окружной меже за прежними владельцами Хитровым и Мансуровым дачи, в количестве 12 000 с сотнями десятин, из поземельного их права по писцовым книгам на 1004 четверти с межами, лугами и примерными землями. Каким образом случилось в нем то, чему быть не следовало, почему именно поселенные на этих землях крепостные обоих помещиков крестьяне расселились деревнями, вразбивку, от чего невольно образовалась между землевладельцами чересполосица, – почему это так случилось, как я ни старался допытаться до причины такого беспорядочного распоряжения селений, узнать ничего не мог[87].

Купив Мансуровскую половину села Михайловского, мой отец тот час же увидел ужасную неурядицу от чересполосного поземельного владения. В то время и самые дачи обоих владельцев и их крестьяне с крестьянскими полями были перепутаны более, чем это было необходимо, особливо в лугах. Тогдашний сосед отца по имению князь Александр Яковлевич Хилков, отец моего соседа, князя Дмитрия, жил больше в чужих краях и никогда в свое Михайловское не заглядывал, поэтому батюшка мой должен был приступить к домашнему полюбовному разверстанию общей дачи вместе с его управляющим поверенным Алексеем Федоровичем Дубровским. Они составили полюбовный домашний акт раздела земель по удобству и по возможности к одним местам, и с этого-то времени установились, а потом и законно утвердились наши поземельные собственности[88]. Как мой отец, так равно и поверенный Хилкова, Дубровский, разменялись землями добросовестно, но, несмотря на то, батюшка мой во всю свою жизнь не находил возможности убедить путешествовавшего по Европе и впоследствии проживавшего в Петербурге своего соседа, старого князя Хилкова, утвердить этот раздел земель формальным, законным образом[89]. Поздно, только в 40-х годах, формально и полюбовно размежевался я с сыном старого князя, князем Дмитрием, допустив незначительные изменения против прежнего плана[90].

Коснувшись, впрочем, еще слегка до первоначального поверхностного управления крестьянами, я должен прибавить здесь несколько слов о вотчинной конторе того времени. В ней сосредоточивались все управление, вся отчетность, все распоряжения. В ней там ежедневно записывались наряды на работы, штрафы, взыскания и самые наказания, разбирательство жалоб и просьб крестьян, их между собою ссоры, которые еженедельно, именно по субботам, судились в присутствии управляющего, бурмистра, всех вотчинных начальников, т.е. трех старост и трех десятских всех трех отделений и

всех сельских старшин, избираемых крестьянами. Все эти лица составляли общее каждую субботу вечернее присутствие; по крайней мере так было заведено, а иногда так и исполнялось. Главным конторщиком был тот самый крепостной дворовый Филипп Иванов, который служил мне в Петербурге в виде какого-то дворецкого или буфетчика. Он был достаточно грамотен, понятлив и писал довольно правильно. Вовлекаемый в поток тогдашнего либерализма уважаемым мною Семеновым, о котором уже мною было говорено, я пожелал за два года до первого моего отъезда в чужие края сделать из этого Филиппа Иванова сельского учителя. Семенов выпросил у Федора Николаевича Глинки, здравствующего и до сих пор старца в Твери, сему Филиппу позволение изучать бывший тогда в великой моде в петербургской Ланкастерской школе метод взаимного обучения. Вместе с назначением в конторщики определен был Филипп Иванов и сельским учителем и действительно обучил грамоте дворовых мальчиков по таблицам, приобретенным через Глинку в Петербурге. Письму по тем же таблицам обучались по способу Ланкастера и Беля[91] не на бумаге или грифельной доске, а на песке, опрятно и искусно рассыпанном на их школьных столиках. Ни тому, ни другому наши школьники порядочно не выучивались[92]. Все это производилось их учителем для эффекта, для вида и собственно напоказ мне, когда я приезжал в Михайловское, а потому все и уничтожилось. Помощником конторщика был прежний, бывший еще при моем отце и при Шилове первым конторщиком, дворовый спившийся Дмитрий Васильев Бардовицин, великий охотник и мастер удить рыбу и сочинять всякого рода сплетни и кляузы; впрочем, он был опытнее и дельнее своего начальника, но главой конторы терпеть его было нельзя. Еще в 1812 году по заступничеству за него управляющего Шилова мой отец старался отрезвить какими-либо средствами этого полезного пьяницу. Тетка Елена Яковлевна предложила тогда самое верное средство исправления людей – женитьбу. Бардовицына женили на молодой вдове, и следствием этой исправительной меры было одно то, что он пил уже запоем не в одиночку, как прежде, а вместе со своей супругой. Пословица, приводимая тетушкой: «Женится–переменится», над ним не сбылась, и при мне как врачевство от пьянства женитьба уже не повторялась.

Затем следовало бы мне в этих «Записках» помянуть поименно первых должностных лиц многочисленной нашей дворни и тех важных матрон, которые были во главе дворовых прекрасного пола и почему-то присвоили себе право на какое-то особенное от всех, начиная с господ, уважение. Я перейду к подробному перечню всех этих имен с их отчествами, но позже. А тут кстати трудно мне удержаться, чтобы не указать на наш исключительно русский обычай называть людей по их крещенному имени и, смотря на наши к ним отношения, добавлять к этим именам имена их давно отживших родителей. Следствием такого обычая память русского человека изощряется

постоянно, моя же собственная в этом отношении меня самого удивляет. Сколько сотен, может быть, и до тысячи лиц знал я и теперь знаю по имени и отчеству, а многих и с прибавкой фамилии или прозвища![93]

Мне бы хотелось начать описание нашей многочисленной дворни с такого человека, который с давних лет жил в ней, ей не принадлежа и в то же время отличаясь от всего народонаселения села Михайловского крупными и резкими странностями всей своей личности. Тут непривычное к портретной живописи мое тощее слово робеет. Воображению моему представляется одна таинственная во всех отношениях личность, которая пугала меня в младенчестве, занимала своими странностями все мое отрочество и на всю мою жизнь так и осталась какой-то неразгаданной загадкой. Таинственная личность называлась у нас Зиновеем Ефимовичем, жила в нашей михайловской дворне, но к ней не принадлежала, добровольно навязала на себя должность сторожа при оранжерее и в этом теплом помещении сама собой долго учила грамоте дворовых и даже немногих крестьянских мальчиков. Задав себе задачу этого описания, еще накануне нынешнего утра припомнил я нравственное и физическое очертание Зиновея Ефимовича, ночью, как есть видел его во сне, и при всем оживлении во мне моих о нем воспоминаний я уверен, что не буду в состоянии его достойно представить. Попробуем. Всегда казался он мне пожилым, лучше сказать – стариком. Роста он был огромного, худобы в теле редко встречаемой, особенно худы были его длинные, исковерканные руки и ноги. Поседел он рано, бороду носил жиденькую и короткую, козлиную; он был кос, облик его был нерусского типа. Всего более поражало в нем и пугало в потемках людей, самых ему близких, тех, с которыми он жил постоянно, то, что этот длинный, худой, изнуренный жизнью человек был изломан во всех своих суставах и к тому же заика до такой степени, что он долго-долго не мог произнести ни одной фразы, и при каждом слове все его лицо напряженно, конвульсивно делало страшные гримасы. Пораженному непривычному взгляду представлялся он не живым существом, а какой-то грозной тенью человека. Женщины и дети не скоро к нему привыкали, да и все вообще дворовые, с которыми он знался, обращались с ним с каким то чувством страха, прикрытого заискивающим почетом, или ласкового уважения. Как бы нарочно к усугублению той таинственности, какою окружен был этот человек, вернее сказать – эта тень человека, никто из всех дворовых не мог определенно сказать, откуда был он родом, кто был его отец, какой семье он принадлежал, – одним словом, что это был за человек. Знали одно, что отец мой взял его к себе где-то в Крыму, когда он был еще очень молод. Повествовать о себе Зиновей Ефимович не любил и таких разговоров всегда избегал, как бы нарочно заикаясь на этот раз продолжительнее, нежели всегда, и еще поразительнее гримасничая лицом и конвульсивно коверкаясь своими телодвижениями. В такие минуты он в самом деле становился страшен. Сам ли он постарался прослыть на все

село знахарем, колдуном, врачом от всех болезней, и особливо женских истерических, но он лечил всех, и к нему за лекарствами приходили многие, хотя всякое леченье и было ему не однажды воспрещаемо отцом моим. Еще строже воспрещено ему было также батюшкой отчитывать по каким-то отреченным старым книгам баб и девок кликуш и всех тех, которые считали себя испорченными от какого-нибудь лихого человека. По тому же самому не дозволялось ему прибегать к знахарству или колдовству, ворожить, гадать и этими способами отвечать вопрошающему, где и как отыскать какую-нибудь пропажу или воровство, но все это, вероятно, производилось им втихомолку. Рассказывали, что больше всего стремились к нему женщины, иные прибавляли к этому, что Зиновей Ефимович был неравнодушен к прекрасному полу, что некоторые особы этого пола со своей стороны находили его почему-то привлекательным. Все это объяснялось в нем каким-то дьявольским наваждением; ему приписывали всякую чертовщину, я же напротив знал его за человека набожного и прилежного к церкви. Отец мой, сколько я помню, обращался с ним в непродолжительных встречах как-то иначе, чем с другими нашими дворовыми, как-то ласково, но строго и внушительно. Тетушка, а потом и семья Тарасовых встречались с ним не без страха, я боялся его долго. Напрасно потом, придя в возраст и уже сделавшись господином и обладателем, старался я узнать загадочное его происхождение. Да в этом, собственно, была моя обязанность: не будучи нашим крепостным, он не имел при себе никакого паспорта или вида. От земской полиции отбояривался он давностью своего у нас пребывания, и они, многие поколения сельских сотских, заседателей, исправников, а потом и становых[94], отходили от него ни с чем, в свою очередь пораженные присущей этому Зиновею какой-то тайной. До последнего моего с ним свидания, когда – не помню, одному ему по настоятельному его требованию давал я целовать мою руку, смягчая для себя этот знак дикого барства лобызанием его странной фигуры. Он же уважал во мне, по собственным его словам, значительно и протяжно им высказанным, какое-то господство, поставленное свыше и помимо собственной воли. Таков был наш загадочный Зиновей Ефимович, к которому робко обращался с приказаниями даже сам надменный своею властью Шилов, а дядька мой, начитанный и набожный Варфоломеевич, встречался с ним с какой-то всегда странной улыбкой, как будто говорил про себя: «Мы вас знаем и понимаем». В самом деле, дядька мой знал его еще в Крыму, но каким знал, того мне не высказывал. Уже старого, но еще не дряхлого, узнала Зиновея и моя жена, кажется, помнят его смутно и старшие мои дочери, а старший мой сын, покойный Николай, интересовался им особенно нежно и, казалось, любил его искренно. Учительство Зиновея шло по неизменным преданиям старины; учеников бывало не много, от 6 до 10; у каждого была в руках указка, разрисованная по произволению и с разными затейливыми вырезками, для всех на стене под образом висела

на гвоздике трехвостая плетка. Учил он по церковной азбуке, от букв, произносимых, разумеется, азами, буками, фертами, ижицами. Потом мальчики переходили к складам, к разумению титл[95], где было бесконечно трудно им отгадывать выпущенные в печати гласные, как, наприм., «Всдржитель», к чтению букваря, т.е. «ангел», «ангельский», «архангел», «архангельский» и т.д. потом Часослова и к венцу полного курса – Псалтирю. Немногие достигали и такой книжной премудрости, на которую употреблялось от 6 до 8 месяцев года. Редкие могли прочесть не складывая те молитвы и псалмы, которых не заучили наизусть. При всем том потребность грамоты понимаема была уже почти без исключения всеми дворовыми для их детей и двумя-тремя лучшими, т.е. более зажиточными крестьянами. Врачебная деятельность Зиновея ограничивалась, по счастью, домашними лекарствами, всего более употреблялись зверобой и ромашка. Какими-то горькими травами настаивал он на водке «ерофеич»[96], давал его в виде капель не взрослым, рюмками и стаканами желающим подкрепиться. Худо было то, что в особенных случаях лечил он и от таких болезней, которых я не называю и которые уже и тогда распространялись в народе, средствами очень сильными и в особенности сулемой, т.е. меркурием. Крестьяне не имели решительно никаких других средств врачевания, ибо уездный доктор, единственный по городу и по всей округе не столько для помощи больным, как для участия в полицейских следствиях, был крестьянам недоступен и слишком дорог; фельдшеров также никаких не было. Два-три коновала при конных помещичьих заводах в уезде производили без толку кровопускание, бабки от различных болезней парили по избам в печах, где бывали случаи, что и задыхались, и они же вместо горчичников, шпанских мух и банок ставили иногда на спину и на живот горшки. Нетрудно было помещику или его конторе запрещать Зиновею лечить, а больным у него лечиться, но при совершенном недостатке врачебных пособий они поневоле тайком бегали к непризванному врачу за помощью. При таком положении всего имения, может быть, Зиновей как врач был не бесполезен, и уже несомненно то, что в этом отношении медицинская деятельность его проходила не бесследно, а педагогическая успеха никакого не имела, и, однако, учиться грамоте отдавали к нему охотнее, чем в нашу новую ланкастерскую школу.

Когда летом 1817 г. приехал в Михайловское на хозяйство в первый раз молодой князь Дмитрий Хилков (ему было тогда 27 лет), он более всех поражен был нашим загадочным человеком, соединившим в себе и врачество, и учительство, и разные таинственные знания. В это время в России масонство и мистицизм были в самом разгаре. Хилков не принадлежал, кажется, никакой секте, но по своей природе был способен ко всякой религиозной мечтательности, увлечен был в нее сперва бывшей при его сестрах[97] гувернанткой гернгутерского толку[98] m-lle Шредер, а потом и знаменитою мечтательницею баронессой Крюднер[99]. С первого взгляда на Зиновея Хилков, дал мне и себе

слово, насколько можно, его изучить. По понятиям своим о масонах, хотя он им и не был, Хилков, догадывался я, думал, что Зиновей мог быть, конечно, непросвещенным, простодушным последователем начатков учения масонской премудрости, которой будто бы мог он научиться у моего отца. О моем батюшке, умершем за три года, Хилков мог знать только то, что им основана была в Орле ложа. Старания любознательного молодого мистика объяснить себе сколько-нибудь Зиновея, отыскать в нем причину его таинственности оставались безуспешными. Колдовство, знахарство, ворожба и непременно рядом с ними простонародное лечение разными травами и симпатическими средствами теми медиками, которые не принадлежат школе решительных материалистов, отвергаются, равно как и существование в народе тех лихих людей, которые по злобе портят, т.е. наносят вред и болезни своему ближнему. Недаром же говорят и о влиянии на человека глаза. В первой молитве, даваемой родильнице и ее младенцу, церковь установила молиться о спасении нового христианина «от призора очес». Итальянцы верят глазу и боятся его не менее нас, русских. Как бы то ни было, Хилков по склонности своей ко всему чудесному долго ухаживал за Зиновеем и, живя иногда по своим делам до наступления зимы в Михайловском, вызывал его к себе на беседу в длинные зимние вечера и подпаивал чаем с ромом – и все было напрасно. Наш чудак отличался перед всеми дворовыми трезвостью и, молчаливый, как камень, никогда не проговаривался, а может быть, и то, что и сам ничего в себе и за собой ясно не осознавал, но в князе Хилкове подозрения насчет его запали глубоко и никогда не уничтожались[100].

В каждой дворне сколько-нибудь зажиточного помещика, имевшего за собою 1000 и более душ, не говоря уже о тех богачах, за которыми по ревизии считалось 5, 10 и 100 000, как у графа Шереметьева[101], крепостных крестьян, разрабатывались почти все отрасли искусства, знания или промысла. Быта богачей я в подробности не знаю и потому ограничусь указаниями на быт помещиков средней руки и преимущественно на наш собственный при моем отце. У наших господ бывало все под рукой; держали они при себе всякого рода людей: кроме философов, бывали педагоги, хотя и низшего разряда, я, например, обучался грамоте и письму у своего крепостного дядьки, арифметике и первым началам геометрии у нашего крепостного управляющего; бывали и медики, т.е. фельдшеры, которых отдавали учиться у какого-нибудь уездного врача пускать кровь, дергать зубы, ставить банки и пиявки и лечить с помощью разных капель и просто народных средств, более или менее известных в общем употреблении; бывали и артисты у многих, так, у нашего соседа, Сафонова, был живописец, который, как Ефрем, прославленный эпиграммой И.И. Дмитриева[102], в списывании лиц имел отличный дар – Архипа Сидором, Кузьму Лукой писал. Вся сафоновская семья, изображенная кистью дворового Рафаэля, украшала диванную комнату этого помещика. Не только у этого

полубоярина, но и у нас при батюшке была собственная капелла, певчие, музыканты с крепостным регентом и капельмейстером. Большие чиновные бары, оставившие по каким-либо обстоятельствам свои служебные карьеры и переселившиеся на житье в прихотливые, затейливые свои усадьбы, заводили у себя домашние свои театры из дворовых актеров и угощали собиравшихся к ним и ближних и дальних соседей комедиями, операми, а иногда и балетами. Отставной министр князь Куракин[103] имел у себя в орловском имении очень порядочных актеров и ежедневно круглый год тешил себя с гостями и без гостей то сценическими представлениями, то концертами. Граф Каменский, сын фельдмаршала[104] и сам полный, хотя и не очень умный, генерал, бывший в опале у государя Александра I, имел у себя многочисленную труппу сперва в имении, а потом в городе Орле, где по совершенному его разорению домашний театр его сделался общедоступным и где он не считал себе стыдом брать за вход. В Курске был такой театр дворовых у графа Волкенштейна[105]; из него вышел славный Щепкин[106], отпущенный по подписке на волю. Затрудняюсь, к какому разряду дворни отнести барских дураков и дур, карлов и карлиц; ставлю их рядом с крепостными артистами. Случалось, что догадливые господа своих домашних лилипутов соединяли брачными узами, чтобы не пресеклась их порода[107]. Во многих имениях водились, кроме того, принадлежавшие к ним землемеры и два-три, а иногда и более, грамотные конторщика.

Затем за крепостными людьми науки и искусства следовал длинный ряд полезных служителей: тут были кондитеры и повара, и берейторы[108], и всякого художества мастера – портные мужские и женские, парикмахеры, маляры, слесари, столяры, точильщики, каретники, шорники, ткачи, кучера, лакеи, официанты, егери и т.д., их же несть числа. В большом барщинском имении этим не ограничивались, там нужны были и механики по рутине, и многое множество конюхов, скотников, овчаров, и опять т.д. А если у барина для осенней потехи на какие-нибудь два месяца в год существовала псовая охота, тогда пойдут стремянные, ловчие, доезжачие и рядовые псари. И дворня такого барина постоянно растет и множится, часто до разорения в совершенный разор всего барского поколения. У иных хозяек, как, напр., у моей доброй тетушки, были из своих девок кружевницы, которые плели дорогие кружева под собственными ее глазом и рядом с ее спальней; чтобы не засыпать от скуки и летних жаров, пели они громкие песни. Бывали и швеи, и, конечно, прачки.

Все эти лица составляли огромную дворню. У зажиточных и добрых помещиков содержалась она недурно, часто даже прихотливо и слишком хорошо. На них издерживалась по крайней мере $^{1}/_{3}$ дохода с имения. У больших бар большая часть их дворни находилась при них в столичных их палатах или в подмосковных. У московского вельможи[109] князя Сергея Михайловича Голицына в московском его доме жило более 100 чел[овек] и до 700 на его

даче, в селе Кузьминках. В 50[-х] годах умерла в бытность мою в Петербурге старушка Мятлева, дочь фельдмаршала Салтыкова[110]. Я видел на Невском следовавшую за ее погребальной колесницей толпу дворовых до 500 человек. Все эти барские дворни были до крайности избалованы и размножались несравненно более, чем крестьяне. Их мальчиков отдавали по желанию отцов в город учиться разным мастерствам, отчего и бывало такое количество мастеровых, без которых, впрочем, трудно было и обойтись в порядочном имении. В уездных городах в ремесленниках был большой недостаток, да и города эти часто находились в дальнем от имений расстоянии. Содержание различных дворовых можно разделить на три рода: городская прислуга, кроме жалованья, получала на пищу харчевые, в деревнях это заменялось общей застольной, а многосемейная получала отвесное, т.е. хлеб, соль, мясо и пр. Остальным выдавалось одна месячина, т.е. мяса никакого не давалась, а полагалась на каждую душу мука, крупа, соль, и в замене всех других харчей пользовались они правом содержать собственную свою скотину, кроме свиней, и птиц, кроме гусей. Таким дворовым двух последних разрядов давалась сверх того земля под их огороды и, смотря по их числу, часть луга для скота. Одевались они от себя, продавая приплоды от последнего, пасли свои стада на обширных господских пастбищах и пользовались усадебным выгоном. Каждая семья в близком расстоянии от дворовых изб имела свой собственный хлев и закутку для птиц. Эти их небольшие отдельные постройки, земляные или из хвороста, окруженные всяким сором и навозом, безобразили каждую господскую усадьбу, распространяя зловоние.

Службы дворовых или их флигеля тянулись в ряд. В каждом из 4-х углов 10-аршинной квадратной комнаты помещались четыре семьи. В середине была огромная русская печь, где варили они пищу; кроме кроватей и нар, по углам устраивались для ночлега полати; иные, по произволу, любили спать на верху обширной печи; при избах были холодные чуланы и погреба. Редкие отличались порядком и опрятностью в своих помещениях, вместилищах всякого рода ссор, ругательства и сплетен. Для мастеровых отводились особенные помещения и приспособлялись к роду их занятий, и все вообще дворовое строение сколько-нибудь в большом имении было как бы отдельное селение, сносное для глаз снаружи. Дворовым давалась на два года срочная одежда и обувь[111]; те, которые не имели скота, получали на три года тулупы и два суконные кафтана, на год пару сапог и к ним пару подметок. Женщины, обязанные на господина сорока тальками льняных ниток[112] и изредка мытьем барских полов, имели достаточно времени добывать одежду своими трудами. Многие из них, вдовы и жены старых и новых слуг, лично бывших при господах, освобождались от всякого дела, аристократничали и важничали перед другими. Таких барских барынь было у нас две, еще приданое моей матери: вдовствовавшая Аграфена Петровна Шилова, которую я прозвал «хной»,

потому что она вечно хныкала о своем муже, Илье, и Вера Гвоздева, вдова славного нашего казначея Родивона и мать бывших при мне один за другим камердинерами Тимофея и Сергея; у нее в последние годы была на руках кладовая.

Я уже начал было перечисление нашей дворни с волшебника и колдуна Зиновея и на нем остановился. Эта дворня подчинена была Никите Петрову, многосемейному и трезвому. Затем следовал старый лакей и парикмахер, а потом коновал, превеселый под хмельком Никита Алексеев с женой из приданых из дома Раевской[113]. Один из их сыновей, Василий, учился садоводству у г. Хозикова, и был у нас в Солнышкове садовником; другой, Николай, был моим камердинером, а дочь, красивая Татьяна – горничною моей жены; они целый год странствовали с нами по чужим краям. Старшая сестра Татьяны, Аннушка, была единственная женщина из всего нашего имения, перешедшая по замужеству другим господам, в хилковскую дворню, и была там в почете. Кроме нее, между населением нашего Михайловского и Хилковского, как они не смешанно жили между собою, браков никогда не было, тогда как и в дворню, и в крестьянство входили по замужеству не один раз девицы из подмосковной и других наших имений, конечно, не иначе как по согласию. Под старость удалился в михайловскую дворню на покой и сам портной Семен, известный первым моим фраком *Семенье*, и мой осанистый и красивейший из всех студенческих кучеров Михайла, предмет зависти Голохвастова и других моих университетских товарищей, лошадиных страстных охотников. Нет большой нужды называть остальных дворовых, всех их было в дворне человек с 300 с бабами и ребятами. Стоили они дорого, работали весьма мало. Мальчики лет до 20 раздаваемы были в ученье; возвратясь в дом, они были, положим, полезны своим мастерством хозяйству, но их отвлекала часто работа на сторону по просьбе разных соседних помещиков. Вообще говорилось тогда и ввелось в обычай, что работали они на чужих по воскресеньям и праздникам и будто бы не касались для своих работ до господских материалов, на деле выходило не так: все они, так сказать, крали у барщины и время, и материалы, а сверх того портили и ломали на такую работу барские инструменты.

Когда впоследствии пришлось мне внимательно разглядеть и подвести приблизительные итоги моему хозяйству, т.е. определить все содержание такой большой дворни, особливо при неурожайных годах, я пришел в ужас при первом взгляде на огромные от нее убытки и, виноват, почувствовал отвращение, лучше сказать – какую-то ненависть ко всем этим дармоедам, которые считали себя по роду и по званию выше крестьян и везде поднимали перед ними нос, а управляющего *водили* за его *собственный*. Поверяя себя теперь в моих действиях, я готов сознаться в несправедливости невыгодного моего к ним расположения. Со стариками и пожилыми делать было нечего,

и я оставлял их в покое, но постоянно заботился о том, чтобы дворня моя не прибывала, и чуть-чуть зашалится или забуянит какой-нибудь мой дворовый, избаловавшийся в ученье в Москве или в другом городе, я отдавал годного в рекруты, а девиц, не находивших в дворне женихов, старался выжить долой со двора, раздавая им отпускные. При начале эмансипации попечениями моими об их истреблении дворовые мои значительно убавились, а если бы я допустил размножение дворни, она и меня бы съела, как многих из нашей братии-помещиков.

Очень несправедливо думали те отчаянные охотники до освобождения, которые ставили в упрек нашему барству личное рабство дворовых и их многочисленность. Размножались они почти всегда не по прихоти, а наследственно, и постоянно везде были помещику в убыток. Очень часто, совсем нехотя, переводили в дворовые из крестьян какого-нибудь обморыша, безродного, бобыля: иначе девать было некуда; давался им приют – угол по необходимости, и вот заводилась новая семья дворовых, а обращать их в крестьян было почти невозможно. При этом самый строгий и даже жестокий помещик встречал от них такие затруднения, что поневоле либо им уступал, либо целый век свой маялся с никуда негодным крестьянином, переведенным из дворовых; такой со своей семьей становился ему вдвое дороже, чем самая беспутная семья дворовых.

И куда, подумаешь, все они после эмансипации подевались? Позволяю себе думать, хотя не имею на то никаких доказательств, что половина всей этой сволочи померла, а остальная предается всякого рода воровству и разврату и переходит с места на место, нигде его не находя, от одного хозяина к другому. Пьянство этого рода людей, ныне освобожденных, всех этих наемных кучеров, поваров, лакеев может считаться одною из египетских наших язв, мешающих жить спокойно, а спросите-ка разных мастеровых-хозяев, и они вам расскажут, каково им пробиваться с их рабочими, бывшими большею частью из барской дворни[114].

Мне было не по сердцу это осеннее мое пребывание в деревне. Приехав в Михайловское на другой или третий день нашего храмового праздника, в самый безобразный разгул крестьян и дворовых, начавшийся тотчас после обеда, я был свидетелем многих, как уверяли меня, необходимых для восстановления порядка наказаний розгами при разборе их ссор и драк. Меня тяготил произвол этих наказаний и еще более неоднократно приносимые мне жалобы, часто справедливые, на самоуправство обращения с крепостным людом различных вотчинных начальников, а иногда и самого Тарасова, вместо меня над ними поставленного. Вероятно, недовольство мое всем меня окружающим не имело бы такого грустного влияния, если бы я жил в деревне при тех же самых обстоятельствах в другое время года, а не осенью.

Нелегко, да и говоря вообще, почти невозможно было в мои юные годы согласовать самые умеренные требования помещика на производительную

в его пользу работу барщинских крестьян, а тем паче работу дворни с теми идеями свободы, которые, так сказать, независимо от меня выросли во мне вследствие тогдашнего развития у нас всякого либерализма. Мои собственные убеждения против крепостничества от годичного путешествия не могли не усилиться. С каждым днем этого осеннего моего пребывания в конце 1822 г. барщина становилась для меня противнее. Помощником моим в управлении был известный вам Н.С. Тарасов, который не только не разделял моих свободолюбивых принципов, но и на каждом шагу как человек необразованный и весь погрязший в тину мелкопоместных предрассудков препятствовал мне в исполнении какой-либо облегчительной меры в пользу крестьян. Не один раз помышлял я про себя, как бы отделаться совсем от этой неизбежно угнетающей и очевидно несправедливой, что ни делай, власти над людьми, власти, которая в то же время развращает самого владельца.

Нетрудно было мне, одинокому и с тех уже пор умеренному в своих прихотях, пожертвовать в пользу моих принципов значительною частью доходов этого имения, а потому я помышлял посадить моих михайловских крестьян на оброк, но всякий раз, как скоро я заговаривал об этом с Тарасовым, с соседними помещиками, с моим конторщиком и даже с искренно расположенными вотчинными начальниками, каждый из них представлял мне пагубный пример соседних крестьян, вконец разорившихся и развратившихся от долгого житья на оброке при прежнем помещике[115]. Оставалось продолжать старое по-старому вместе с печальною уверенностью, что все попытки и заботы мои улучшить быт крестьян не будут поняты и еще менее будут приведены в исполнение. Невыносимо тяжело было мне жить в эту глухую осень бок о бок с моим Тарасовым, которого я, впрочем, любил за его честность и усердие и еще более любил кроткую, добрую, безответную его жену, добрую, заботливую мать, но, к моему отчаянию, чуждую всякого развития. Она вместе с мужем и подраставшими дочерьми очень обо мне хлопотала и заботилась, но все их попечения ограничивались тем, чтобы я, живя с ними, не простудился, отчего в двух комнатах моих бывало жарко и душно, и чтобы не голодал, почему пичкали меня разными яствами по пяти раз в день. Дни были осенние, мрачные, холодные, и грязь по дорогам, не то что непроезжая, просто непроходимая. Кто пожил на нашем черноземе, тот ее, эту осеннюю грязь, никогда не забудет. Я бы охотно сократил мое пребывание в деревне и, бросив все, удрал бы в Москву, но не было никакого человеческого средства пуститься в дорогу. Осень держала всех в осаде, в легких телегах нельзя было доехать до Тулы ранее 4 суток, а от этого нашего губернского города столько же оставалось до Москвы. О шоссе тогда не было еще и помину. При таких приятных обстоятельствах я решился ждать первого пути. Снег выпадал довольно часто, таял, а самой дороги все не было, пришлось выжить в деревне более 6 недель в семье Тарасовых, с которой и по образу жизни, и по образу мыслей

уживаться было нелегко, и большую часть дня удалялся я в мои мрачные комнаты, обращенные в сад, и предавался весь чтению малоизвестной мне немецкой литературы. С помощью лексикона и изредка прибегая к французским переводам, прочел я в это время все драматические сочинения Гете и Шиллера. Их поэзию читал я с большею легкостью, чем прозу, которая затрудняла меня своими длинными периодами.

Только накануне Рождества приехал я, наконец, в Москву и остановился у моей тетки в недавно купленном ею небольшом доме у Никитских ворот. Старушка моя очень мне обрадовалась и уютно устроила меня в мезонине. Там имел я перегороженный от небольшой комнаты уголок для кровати и через коридор комнату для туалета и гардероба.

В первый год отсутствия моего из России многое для меня в Москве изменилось. Кузина моя Варенька была замужем, но не за тем неизвестным господином, о сватовстве которого мне было писано, а за приятелем ее брата Павла, бывшим за год перед женитьбой кавалерийским гвардейским офицером в Варшаве. П.Н. Воронцов-Вельяминов был потомок одной из древнейших и знатнейших фамилий[116]. Его предок еще при Дмитрии Донском был тысяцким[117] в Москве, но знатность имени не дала ему ни вещественного богатства, ни образования; он был товарищем Павла Обрескова по какому-то дворянскому полку, из которого как из воспитательного заведения для военных выходили на действительную службу самые последние по своему образованию офицеры. Оно не могло быть иначе, потому что их, запоздалых юношей, отправляли туда лет 18-ти не для учения, а для выправки. Бедная Воронцова-Вельяминова и беззаботная о ней вся ее семья скоро увидали, что молодой муж Вареньки был и беден, и глуп, и пьян. Лишь только показался я моей тетке, которая жила тогда уже с примирившейся с нею приятельницей моего покойного дяди, очень умной А.Н. Николевой, как обе они, а вслед за ними и два брата Вареньки всполошились, как бы устроить без больших тревог первое мое свидание с этою бедной Варенькой, вышедшей замуж из одного отчаяния. Она была в то время уже беременна, больна, и за нее боялись, а между тем моего возвращения в Москву скрыть от нее было невозможно.

Все устроить к лучшему взяла на себя Николева, потребовав от меня свиданья и переговоров наедине. За два года перед отъездом моим эта хитрая, властолюбивая дама непременно хотела нашей свадьбы с Варенькой, и когда это не удалось, меня возненавидела. Приняла она меня, не скрывая своей злобы и презрения, и всего обдала холодом. «Надеюсь, вы принесли с собой письма к вам Вареньки, она ничего еще не знает о вашем приезде. Отдавая ей эту переписку, я постараюсь тут же приготовить ее к этому несчастному свиданию». На холодную ее встречу я отвечал невозмутимым спокойствием и, отказываясь сесть за недостатком времени для продолжительной беседы,

учтиво и сухо отвечал ей, вручая несколько писем, что все остальные, позднейшие, мною сожжены. Бросив на меня уничтожающий, гневный взор своих черных, все еще прекрасных глаз, отдала она мне давно уже хранившиеся у нее мои письма, и мы навсегда с ней расстались, заботливо избегая друг друга, когда случалось нам встретиться в посторонних гостиных.

Мое свидание с Варенькой и первое знакомство с ее мужем было, само собою разумеется, очень натянуто и холодно и оттого непродолжительно. За развлечениями от наехавшей на меня по этому случаю невольной грусти отправился я к старым моим друзьям и товарищам: Новикову, Курбатову и Дмитриеву[118]. Все трое уговаривали меня поселиться в Москве и служить при Голицыне, обещая чины и почести, одним словом, карьеру, о том же хлопотала около меня и моя тетушка, Мария Васильевна, заверяя, что своими московскими связями она меня выведет в люди. Но в то время почему-то Москва мне не нравилась[119], а так называемый вывод в люди через крикливую мою тетушку, несколько похожую своею резкостью на известную старушку Настасью Дмитриевну Офросимову, считал я для себя не совсем пригодным и даже унизительным.

Мне было душно, и меня, везде одинокого, не успевшего сродниться ни со страной, ни с людьми, тянуло опять в горы. По долгом колебании я решился хлопотать через Кикина о причислении к нашей швейцарской миссии в Берн и задумал еще про себя уехать за этим в Петербург.

Курбатову я дал слово свезти его в Петербург и пожить там с ним вместе[120]. Он пилил меня этим отъездом изо дня в день и наконец добился. Курбатов был славный малый, умный, необыкновенно даровитый, ученый, мистик и при всем этом чрезвычайно веселый и увлекательный, он был утешением[121] небольших обедов и вечеров, на которые собирались у меня немногие мои товарищи, и чаще всех, кроме трех задушевных моих друзей, присоединялись к нам чопорный[122] Дмитрий Голохвастов и еще робкий характером брат его Николай. Славной их матери не было уже на свете; я искренне жалел об ней как об одной из тех немногих симпатичных женщин, каких мне удалось на моем веку встретить, и особливо в России.

При начале ростепели отправились мы с Курбатовым в Питер. По милости его я, довольный тем, что выбрался из Москвы, прохохотал всю дорогу, да и въезд наш в великолепный весенний день в северную столицу был чрезвычайно оригинален. Въезжая в город, мы не нашли снегу на улицах и потащились в тяжелой нашей кибитке нога за ногу. Ямщик слез с облучка и пошел пешком; пришлось взять извозчика. И вот мы сели на дрожки, я верхом, он боком, пролеток тогда и в заводе не было, и в четвертом часу дня, когда вся петербургская публика разгуливает по Невскому, въехали мы при роскошном солнечном сиянии на эту широкую улицу в мохнатых подвязных шапках и в огромных шубах; на нас стали показывать пальцами. Курбатов не смущался

и отвечал уродливыми гримасами. Я и теперь живо помню такое торжественное наше вшествие.

На этот раз я поселился в Петербурге на Большой Морской в модной тогда английской таверне, где за 10 р. асс. в сутки давались очень приличные две комнаты, чай и потом завтрак, luncheon*, в 5 часов обед и в 10 опять чай с холодным мясом или рыбой – все это было как нельзя лучше. Обед обильный, простой, из pièces de résistance**, мяса, рыбы, овощей, отлично приготовленных, славная чистая постель и внимательная прислуга из двух или трех очень недурных англичанок. За табль-д'отом[123] собиралось много иностранцев, и некоторые из немногих русских, которые усвоили себе английские или американские обычаи. С первого же дня Курбатов за обедом срезался, но это не могло его озадачить, привести в конфуз нашего молодца было трудно. Ему непременно захотелось вмешаться в английский разговор сидевших против нас собеседников; когда я его как московского знатока в английском языке просил объяснить мне, о чем они толкуют, ученик Эванса, приятель-полиглот, не понимая разговорного языка островитян, заговорил сам с ними и убедился, что и англичане, в свою очередь, не понимали его говора. На другой же день начал он брать уроки английского языка и отыскал где-то санскритолога, чтобы заниматься с ним, на мою беду, ежедневно и по-санкритски. Оба они надоедали мне сильно потворением каких-то странных для моего уха звуков.

Из-за нашего сытного табль-д'ота, длившегося перед целым рядом бутылок с крепкими винами до вечернего чаю, а иногда со жженкой и до полуночи, вставал я под хмельком, а Курбатов совсем пьяный. Мы скоро подружились с обычными посетителями таверны, англосаксонцами обоих полушарий, и пили с ними по их образу и подобию. Снималась со стола скатерть, ставили на стол, кроме кларета[124] и шампанского, вместо квасу и кислых щей[125] портвейн и мадеру, и начинались тосты. Раз какой-то знакомый Курбатова вызвал его в нашу комнату, мы вошли в нее совсем готовые, он принял своего посетителя, я завалился на кровать, а посетителем был конногвардейский юнкер, очень еще молоденький, Алексей Степанович Хомяков; это была первая моя с ним встреча[126], и он долго помнил и напоминал мне, как я, лежа в постели, разливался громким веселым смехом, слушая их умные речи.

Не знаю, как это бывает с другими, подобно мне, болтливыми автобиографами, но на меня невольно влияет настоящее при описании давно прошедшего[127]. Часто, как уже и видите, доходит это до того, что я под влиянием каких-либо событий, меня окружающих, пишу, лучше сказать, диктую то бойко, то лениво; даже погода, температура моей комнаты, как и самое время года,

---

* второй завтрак (*англ.*).

** основных (горячих) блюд (*фр.*).

действует на мои умственные способности, либо оживляет, либо притупляет мою мысль, и по временам, как это не раз уже случалось, овладевает мною изнеможение, лень.

Последние десять дней пребывания моего под Костромой на даче гостеприимного Карцева[128] на берегу Волги помешала мне диктовать эти «Записки» тревога от постигшей внезапно этот город и его окрестности холеры[129]. Болезни я не боялся, но она страшила лиц, меня окружающих, и была главным предметом разговоров с ежедневно наезжавшими к нам на дачу городскими посетителями. Всех их холера занимала до того, что они почти совсем забыли и открытие в Костроме окружного суда, и министра юстиции, и тосты, и речи, произнесенные многими из них при сих торжественных случаях. В моем маленьком семейном кружке толковалось и перетолковывалось об одном: бежать или оставаться на месте, да еще о том, останется ли жив или умрет от холеры такой-то и такая из дворни Карцева и т.д.[130] Однако после запятой, поставленной мне холерой[131], не следует оставлять моего труда. Итак, продолжаю.

Петр Андреевич Кикин, относившейся ко мне постоянно с родственным расположением и в то же время осудивший меня однажды навсегда как флегматически ко всему равнодушного, ни к какой деятельности не способного, охотно взялся хлопотать у графа Нессельроде[132] о помещении меня в Министерство иностранных дел и причислении к швейцарской миссии. Приятеля Кикина, графа Каподистрия[133], в Петербурге тогда не было. Он по разномыслию с императором Александром относительно греческого восстания[134] удалился от дел и жил в Женеве. С графом Нессельроде Кикин был в самых холодных, вернее сказать, неприязненных отношениях именно потому, что был всегда сторонником представителя греков при государе. Письмо обо мне Кикина к управляющему тогда Мин[истерством] иностр[анных] дел было написано им в самых холодных выражениях. В нем было почти ясно сказано одно: «Я не хочу просить государя помимо вас, итак, доложите его величеству, что я прошу о причислении моего родственника к одному из самых скромных наших посольств». С таким-то письмом отправился я, как в незнакомый лес, в это министерство. Гр[аф] Нессельроде, всегда внимательный и учтивый, обещал удовлетворить мое желание и доложить обо мне государю. Проходит месяц, прошла и половина следующего без ответа Кикину. Совестно было мне очень напоминать последнему, что я, живя в Петербурге без всякого дела и против всякого желания, теряю только время. Вспомнив про свое обо мне ходатайство, вознегодовал он на графа Нессельроде и написал ему другое письмо в начале недели с категорическим условием, что если до следующего воскресенья графу не угодно будет доложить государю его обо мне просьбу, то Кикин при первом своем докладе в первое воскресенье вынужден будет просить государя обо мне лично. Такое письмо, конечно, не могло не подействовать,

и на другой же день уведомил граф Кикина о всемилостивейшем назначении меня в миссию[135]. И вот опять явился я к графу Нессельроде, который несмотря на то, что вынужден был взять под свое начальство насильно никому не известного человека вследствие довольно грубых настояний, опять принял меня учтиво и приветливо, одним словом, с обычной своей благосклонностью для всех и для каждого, которой он всегда отличался от всех тогдашних сановников. Меня поразило отсутствие всякой роскоши и даже комфорта в его тогдашнем помещении. Жил он в этот 1823 год в казенной квартире на Мойке и меня принял тотчас, не заставляя ждать себя ни минуты, в своем весьма скромном и необширном кабинете, в который проходил я через какие-то внутренние комнаты. В одной из них дети министра, теперешние графини Зеербах и Хребтович[136], сидели за классным столом и брали какой-то урок.

Такое вступление мое в чопорное министерство, резко отличавшееся от всех других ведомств издавна принятыми в нем обычаями изысканного приличия и изящной простоты, неведомой русским чиновничьим миром, ознаменовал я целым рядом неловкостей. При первом знакомстве с двумя близкими Нессельроде влиятельными чиновниками министерства, Д.П. Севериным[137] и графом Матушевичем[138], – с первым, пораженный его учтивою, но холодною сдержанностью, сам я обошелся до крайности сдержанно и сухо, а второго, поляка, всегда благосклонно расположенного к русской молодежи, озадачил неожиданным для него отказом отправиться к моему месту курьером. Не знаю, почему мне как-то страшной показалась курьерская скачка; в то время шоссейные дороги не были еще везде и в Европе устроены; от Петербурга до Парижа поспешнейшие наши фельдъегеря употребляли 12 суток; по этому расчету до Швейцарии требовалось бы по крайней мере 15 дней, на такой подвиг я не решился, отговариваясь необходимостью заехать по пути в мое тульское имение. Матушевич после этого имел полное право видеть во мне чиновника вольно-практикующего. В это самое время в Петербурге встретился со мною московский Булгаков[139], коротко мне знакомый, свояк двоюродного брата моего Василия Обрескова. Он предлагал представить меня своему брату, почт-директору Константину Булгакову[140], у коего по вечерам ежедневно собирались иностранные дипломаты и наши, начиная с графа Нессельроде. Попасть в это общество он считал для меня полезным, и уже был назначен на это один вечер; я должен был приехать в здание почтамта в 10-м часу и вызвать в первую приемную комнату моего представителя. Не знаю, почему это показалось мне чем-то необыкновенно страшным, и под предлогом какого-то прыщика на лице я отложил свидание, которое так и не состоялось по случаю скорого отъезда Булгакова. Затем последовала вскоре новая, более с моей стороны крупная неловкость. Кикин, торжествуя свою маленькую победу над Нессельроде, которого, как я уже сказал, он вынудил зачислить меня к себе на службу,

посоветовал мне, сам ничего в этом деле не разумея, сколько-нибудь приготовиться еще в Петербурге и явиться к старшему чиновнику коллегии И.Д. Поленову[141] с просьбой просмотреть у них сношения нашего кабинета с Швейцарским союзом. При назначении новых чиновников куда-нибудь за границу подобное занятие для ознакомления их с делами всегда им предлагалось самим министерством, но такой обычай распространялся на одних начальников миссии и ни под каким видом не касался мелких чиновников посольства. Изумленный Поленов отвечал мне, что он должен об этом донести графу Нессельроде. И вот через несколько дней вытребован я был в коллегию, где мне в одном из отделений указали на небольшой особенный столик, и помощник начальника этого отделения, на мое счастье, мой старый университетский товарищ Чиколини, положил на него в нескольких связках переписку наших швейцарских сношений: «С чего это вам вздумалось заняться подобными дрязгами? Все это мелочи, решительно не стоящие никакого внимания». Я в университете с Чиколини был приятелем, и вспомнив старину, он откровенно высказал мне, как все чиновники коллегии смеялись над моими претензиями на высшую дипломатию, для всей этой массы недоступную; и как, вероятно, позабавились надо мной и Поленов, и сам граф Нессельроде со всеми чиновниками своей канцелярии, весьма немногими и единственными жрецами элевзинских, т.е. дипломатических таинств. Я, профан в них, выставил себя фофаном[142], но, чтобы, хотя для виду, выйти после такой неудачи с достоинством, целую неделю ходил я в это отделение, перебирал бумаги по торговым нашим сношениям со всеми 22-мя кантонами и даже делал из них выписки, как будто хотел собрать какие-нибудь статистические сведения. Штатных и сверхштатных чиновников коллегии было бесчисленное множество; некоторые из них, поглупее, думали, что я в самом деле работаю, искали познакомиться со мною через Чиколини, которого я упросил не выдавать моей глупости.

Перед вторым моим отъездом в чужие края из России прожил я в Петербурге целых три месяца и, кроме дома Кикиных, семья которого переехала на каменноостровскую дачу, чаще всего, почти ежедневно, ходил я к братьям Языковым, собранным тогда вкупе. Жили они тогда в Конюшенной улице, в чересчур неприхотливой квартире с окнами на двор, в доме Раевского, прозванного Зефиром. Назвав последнего по фамилии и по прозвищу, считаю себя как бы обязанным представить его и моим читателям, тем более, что он этого достоин по своей оригинальности.

Иван Иванович Раевский, меньшой из трех сыновей[143] той Прасковьи Михайловны, которая так была дружна с моим отцом и после так добра ко мне, был небольшой, хорошенького личика, белокуренький человечек, с манерами и ужимками своего рода, которыми он надеялся прельщать дам, и, никогда не достигая цели, всегда только их собою забавлял и смешил. Молодого его

я уже не помню. В царствование Павла он отличался, сказывают, особенным талантом танцевать. Когда я его узнал, он только играл с дамами в карты, с пожилыми ходил по церквам и, по праву старого холостяка, приглашал их к себе на чай и на завтраки. Барыни посмелее выпрашивали у него себе подарочки. Помещение его походило на меняльную лавку; без всякого разбора, не говоря уже – вкуса, разбросаны были, стояли и лежали в пыли и мраморные статуйки, и бронзы, и разные коллекции грошовых мелочей. Чего не было в этом музеуме, начиная со старинных образов в окладах, всякого рода четок – иерусалимских и римских, пальмовых ветвей Палестины, свечек и камешков от гроба Господня и из разных монастырей до портретов знаменитых женщин и парижских актрис. Он был очень добр, мил, забавен и без всяких претензий[144]. После моей женитьбы я почти ежедневно видел этого же самого Раевского уже стариком. Он был ближайшим соседом княгини Щербатовой[145] по ее имению в Каширском уезде и летом жил в 2-х верстах от ее села Башина. Небольшой деревянный его домик так же, как и все его жилища, был испещрен, изукрашен и переполнен всякими затейливыми штучками. Раевский был богат, имел отличный конный завод, но под конец своей жизни расстроил свое состояние, часть коего досталась двоюродному его внуку, женатому на Евреиновой[146].

Теперь в моей картинной галерее выставлю я разом портреты трех братьев Языковых, внучатных моих братьев по матери, урожденной Ермоловой. Двое старших, Петр и Александр, начали и кончили свое образование в Горном кадетском корпусе; меньшой – поэт Николай, рано перешел в инженерный институт путей сообщения и, убоясь математики, перебрался оттуда в Дерптский университет. Из всех трех только старший, Петр, занялся серьезно науками, специально преподаваемыми в горном корпусе, и из него бы мог выйти весьма полезный и образованный горный чиновник, в которых и в настоящее время имеется у нас великий недостаток для наших казенных и частных горных заводов. Но Петра Языкова тотчас по выходе его из корпуса с чином гютенфервальтера[147] обуяла страшная лень и навела на него спячку. По целым дням лежал он, бывало, в халате на своем диване той обширной комнаты, в которой также на диванах проживали, вернее сказать – пролеживали свои дни и два меньших брата. Но два последние ежедневно выходили на Божий свет из этой норы, Александр – в канцелярию Кикина[148], а Николай – в свой инженерный институт. Образ жизни их всех был самый оригинальный. После отца осталось им огромное состояние, но ни один их них им не пользовался, как бы следовало, не то чтобы по скупости, а по одной присущей им лени, лишавшей способности чего-либо захотеть или иметь для собственного комфорта. Так, напр., прогнав от себя спившегося крепостного поваренка, обедали они из ближайшего русского трактира, скорее харчевни; ленивый же их собственный слуга приносил им поесть без разбора, что попадется; мне,

часто у них обедавшему, очень редко случалось есть за их столом что-нибудь хорошо поданное и не совсем простылое. Когда, бывало, уговоришь Петра после долгих усилий подняться с дивана и выйти на Божий свет прогуляться, сонный слуга Моисей почти целый год времени употреблял на чистку платья и сапог, чтобы одеть своего барина. Платье его по целым неделям бывало нечищено, и выходил он обыкновенно из своих трущоб, осыпая бранью возмутителей его покоя. Александр Языков, встретив, подобно мне, препятствия к серьезному занятию по своей службе в канцелярии Кикина, менее поддавался комнатной халатной жизни, погружался в глубокомысленное чтение и, если не ошибаюсь, брал частные уроки у трех замечательных тогда петербургских профессоров, Германа, Арсеньева и Галича[149], которые вместе с Раупахом подверглись потом известным гонениям от Магницкого и Рунича[150]. Профессор Галич даже посвятил своему ученику Александру Языкову книгу о философии – ту самую, за которую пострадал[151]. Меньшой, Николай, начинал в это время быть известным своею бойкою разгульною поэзией. Да, кажется, я немного напутал; в 1823 году чуть ли не был он в Дерптском университете, и я видел его тогда у братьев в вакации перед Новым годом и Пасхой. Все трое были они очень красивы собою. Беззаботная и лениво-сонная жизнь старших лучше сберегала цветущие их здоровья, чем протраченные жизненные силы студенческим разгулом[152] меньшого, поэта Николая.

Петра Языкова как отличного воспитанника, в котором министерство финансов хотело иметь дельного человека, причислили к департаменту, обещали ему видное штатное место, но он выпросился в отпуск в симбирское свое имение, совсем позабыл про свою службу, и, что всего курьезнее, его служба забыла про него на целые десять лет. По приезде в Симбирск его женили, – кто и как, вряд ли он сам про то знал, – в семье генерала Ивашева на сестре декабриста этой фамилии, девушке образованной и решительной. Будучи еще очень молодою, – не помню, еще в девицах или уже замужем, – ездила она повидаться с сосланным братом в самую глушь Сибири и это путешествие совершила без позволения правительства, тайком и под чужим именем[153].

Петр Языков проснулся к жизни лишь тогда, когда поехал с истощенным болезнью братом Николаем за границу. Там на минеральных водах в Гаштейне встретился он с единственным ученым нашим министром финансов, графом Канкриным[154] и обратил на себя внимание этого замечательного государственного человека своими основательными познаниями в горных науках. Министр выразил сожаление, что он не служит по этой части. Тут только Петр Языков вспомнил, что он, служа именно по этой части, находится в таком продолжительном отпуску, и озадачил министра своею беззаботностью и бездействием в отношении к нему самого Министерства финансов, которому принадлежал Горный департамент. Поездка за границу, которую он повторил, совсем переродила Петра Языкова. Из увальня и лежебока сделался он

прелюбезным, презабавным под 30-ть лет человеком, холодным и насмешливым[155]. Бывая иногда по зимам в Москве для посещения брата, здоровье которого явно разрушалось, вдохновил он неистовою злобою нервозного поэта против врагов славянофильства. Поэт Языков сочувствовал этому направлению по исключительной любви своей к русской литературе, в которой он занимал уже весьма почетное место, и сверх того по родственным связям своим с Алексеем Степановичем Хомяковым, женатым на меньшой сестре Языкова.

Чтобы не возвращаться в моих «Записках» к тем из трех братьев, старшему и меньшому, которые так рано сошли со сцены, я скажу здесь все, что о них знаю. Старший, Петр, недовольный судьбой, преследовавшей его воплощенною фигурой бойкой супруги, мог бы найти успокоение в служебной и полезной деятельности, но на это, несмотря на встречу свою с Канкриным, он не решился. Начал хозяйничать и в то же время собирать минералогический кабинет, который, как утверждают знатоки этого дела, следовало бы его сыновьям и наследникам привести в порядок и где-нибудь в каком-либо музее сделать доступным любопытству ученых специалистов. Под конец жизни, раннее пятидесяти лет, вздумал он купить какое-то значительное имение, запутался в долгах на его приобретение и умер после кратковременной болезни. У него были две дочери, баронесса Шепинг[156] и графиня Биланд[157]; первая, болезненная, живет в Москве, а вторая, напротив, цветущая здоровьем и перевоспитанная славным своим мужем голландцем графом Биландом вполне достойна семейного счастья и благоразумно им пользуется[158]. Трое сыновей Петра Языкова переженились[159], живут теперь в Симбирске и, кажется, служат по земству[160]. Мать их скоро по смерти мужа умерла в чахотке.

Много было говорено, писано и печатано о поэте Николае. Знаменитейшие из его приятелей не раз собирались издавать его биографию, но почему-то, собрав всевозможные о нем материалы, встречали, как видно, затруднения. Я начал знать его с ранней его молодости, и в то время, как он переходил из горного корпуса в инженерный институт в 20-х годах, он, за отсутствием братьев, жил месяца два со мною[161]. Отличительною чертой его характера были необыкновенная доброта и любовь к ближнему. В каждом человеке видел он брата, но природная языковская дикость мешала ему сближаться с людьми. Женщин боялся он, как огня, и вместе с тем мечтал о них постоянно. Образ женской красоты воспламенял его воображение; он воспевал их не одну, а многих и был, кажется, пресерьезно влюблен в Воейкову, родственницу Жуковского и жену профессора[162]. Кроме страсти к женщинам, в полном смысле платонической, по примеру Анакреона и других эротических поэтов, имел он слабость к дарам Бахуса. Вино одушевляло его поэзию. Разгульная дерптская жизнь и гулявшее с ним и опивавшее его товарищество из русских дерптских студентов воспрепятствовали ему заниматься как следует в университете. Сладострастные грезы и частые возлияния во славу отчизны, женщин и

поэзии скоро истощили его здоровье и заставили, не выдержав ни одного из студенческих экзаменов, переселиться в Москву под кров Елагиных и Киреевских[163]. В последние 10 лет его жизни муза его отрезвилась, выработала и усвоила и высокую мысль, и веский звучный стих, так строго верный мысли, которым так резко отличается вся его поэзия. Если первые его стихотворения прельщали читателей легкостью и благозвучием, но не имели в себе серьезного содержания; если первая его манера была только художественная, то последние произведения Языкова поражают величием представляемых им образов и увлекают невольно, наприм., хоть бы меня, своею искреннею религиозною и народною восторженностью. Таковы, по моему мнению, стихи Языкова: «Землетрясение», «На памятник Карамзина», «Пророк», «Псалмы» и проч.

Говоря собственно про себя и о впечатлении на меня поэзии Языкова, я должен сознаться, что даже два-три стихотворения, которые Николай Языков тщательно скрывал от меня, раздраженного его нападками на уважаемых мною личностей: Чаадаева, Грановского и тогдашнего Герцена, что даже и эти до сих пор не обнародованные нигде комически-бранные стихи имеют неоспоримую красоту и достоинство. Славянофилы раздразнили в нем религиозное и народное чувство и поставили против названных мною трех главных наших западников; но решительно неспособный кого бы то ни было ненавидеть, поэт не разразился бы над ними в громах своего поэтического негодования, если бы старший брат его Петр, великий охотник до всяких споров, за недостатком у нас петушиного и кулачного боев, не вздумал стихами брата вызвать на публичную драку славянофилов с западниками, и никто, как мефистофель Петр Языков, не торжествовал так открыто этот почин наших литературных браней.

В это время отношения мои к истощаемому уже болезнью Николаю Языкову были очень неловки. Он не только искренне любил меня, но как старшему по летам, всегда изъявляя мне особенное уважение. Зная мою терпимость к западникам и нерасположение к исключительному, к другим народам (народностям) враждебному народному чувству, никогда не предавался он при мне обнаружению своих убеждений, моим противоположных. И вот почему мы ни разу промеж себя не говорили с ним о его задорных стихах. Не только молчал он о них сам передо мною, но и уговорил рукоплескавших им славянофилов при нем ничем не напоминать мне о существовании его поэтических проклятий западникам[164].

Я уже рассчитывал окончить здесь воспоминания мои о Н.М. Языкове, но, прочитав в только что вышедшем № 7 и 8 «Русского архива» за 1871 г. небольшую статейку к двум нигде не напечатанным стихотворениям Языкова, возвращаюсь опять в оживленном воспоминании к этому милому мне

поэту. Г[осподин] В. К-ч[165] (как жаль, что я не знал полного его имени), как видно, был очень к нему близок и в немногих словах верно и метко определил его характер. По его словам, верным во всём моим воспоминаниям, Языков в 1823 году жил в Дерпте в квартире синдика тамошнего университета Борха[166]. В первый год вступления своего в университет уважаемое всеми в городе семейство Борх предоставляло ему полную свободу для занятий, и тогда он учился чрезвычайно прилежно, но побывав на вакационное время в своей симбирской деревне и возвратясь оттуда, остановился он уже не у Борха, а на особой квартире, чтобы иметь более свободы. Из деревни писал он к этому приятелю, что деревенская жизнь в России отупляет молодых людей и что едва ли он когда-нибудь туда воротится. К сожалению, при всей возродившейся в нем жажде труда, при всем желании подвергнуть себя строгому учению, найденная им в Дерпте свобода вне чужой семьи, вместо того чтобы способствовать его занятиям, ему помешала, а застенчивость и робость не допустили его даже выдержать первого студенческого экзамена. Несколько студентов товарищей нашли очень приятным для себя пользоваться его добродушием и широким русским гостеприимством, и вот в другом письме к тому же приятелю он горько на это жалуется и говорит, что у него ежедневные оргии, в которых сам он не принимает участия, но от которых отделаться не может. Не надеясь уже выдержать экзамен, Языков выехал из Дерпта *беспатентный*, как сам упоминает о том в одном стихотворении. Вот два отрывка из его послания к г-ну В.М. К-чу[167], служащие объяснением сказанного этим не известным мне его приятелем. Я поддерживаю эту характеристику как самую верную.

Младой поклонник суеты,
На лире, дружбой ободренный,
Чуть знаемый молвой и славою забвенный,
Я пел беспечности мечты;
Но гордость пламенного нрава
На новый путь меня звала,
Чего-то лучшего душа моя ждала…
Хвала друзей еще не слава.

…………………………………

Очистив юный ум в горниле просвещенья,
Я стану петь дела воинственных славян,
И яркие лучи святого вдохновенья
Прорежут древности туман.
Ты, радуясь душой, услышишь песнь свободы
В живой гармонии стихов,
Как с горной высоты внимает сын природы
Победоносный крик орлов.

Я уже сказал выше, что позднейшие стихотворения Языкова были действительно яркими лучами его святого вдохновенья верою и народным чувством, но, к сожалению, как сказал он, не одна деревенская жизнь отупляет молодых людей. К такому слишком строгому замечанию поэта я беру смелость прибавить выводы моих прозаических наблюдений. И молодых, и взрослых, и разгульных, и строго аскетических притупляет в России жизнь в особых, замкнутых кружках, особливо московских, людей самых даровитых. Постараюсь доказать это; не знаю, докажу ли в продолжение моего труда, а теперь доскажу о Языкове.

Из Дерпта переселился он в Москву, в лоно литературной семьи тех Киреевских-Елагиных, в которой царила ласковою любовью и нежно внимательным добродушием мать этой семьи, друг Жуковского, все еще милая и в настоящее время, хотя уже в преклонной старости Авдотья Петровна Елагина. Она и ее сыновья Киреевские тотчас же стали баловать, лелеять, обогревать настуженную неудачами поэзию Языкова. Крылья поэта встрепенулись, и этим годам московской жизни принадлежат едва ли не лучшие его стихи. Но и в это время образы женской красоты все еще ему грезились и его воспламеняли. Под влиянием этого чувства написал он несколько стихов тогдашней беспримерной красавице Киреевой[168], совсем ее лично, можно сказать, не зная. Но эту московскую знаменитость он по крайней мере встречал и, хотя редко, робко восхищался ею издали; другой же красавице, кн. Голицыной[169], урожденной Балк, написал он не менее звучные стихи по одному моему приглашению, никогда ее не видав и не имея о ней никакого понятия[170]. Когда я, возвратясь из-за границы, уже женатый, нашел в этой московской среде Языкова, я, к сожалению, убедился в том, что его уже слишком ублажали. Все его странности, все его недостатки не только извиняли, но находили особенно привлекательными. Так однажды привело меня в негодование предложение[171] довести до опьянения Языкова в небольшом нашем обществе и заставить его в этом положении читать нашему небольшому кружку какое-нибудь особенно торжественное произведение его музы. Как я ни упрашивал этого не делать, меня не послушали. Языкова накатили шампанским; он прочел стихи с исступлением, как помешанный. Я любил Языкова любовью более строгой, мне больно было видеть, как делают из него какого-то шута.

По понятиям того времени, каждому дворянину, каким бы великим поэтом он ни был, необходимо было служить или по крайней мере выслужить себе хоть какой-нибудь чинишко, чтобы не подписываться недорослем. Беспатентный Языков понимал эту потребность, и даже заоблачная семья Елагиных сознавала такую необходимость. Я думал, что один род службы в Москве, к которой его тогда приковали разными обольщениями, может доставить ему некоторое занятие и полезное развлечение. В это самое время был я главным смотрителем Комиссии печатания грамот и договоров[172], отдельно учрежден-

ной при архиве иностранных дел старанием и иждивением покойного графа Николая Петровича Румянцева. Одним из чиновников этой комиссии и под моим ведомством был известный собиратель русских песен Петр Васильевич Киреевский, сын А.П. Елагиной. Я предложил Языкову записать его туда же на службу, обещая доставлять ему любопытные древние наши материалы для занятий и не требовать от него никакого усиленного труда. Семья Елагиных перетревожилась, выдумала, не знаю, почему, что я его буду притеснять, мой поэт испугался и нашел себе, покровительствуемый Елагиными, приют в Межевой канцелярии. Он вступил в нее, не входя ни одним шагом. Год от году здоровье его расстраивалось, поездки в чужие края были бесплодны, для лечения безуспешны. Напрасно Иноземцев, друг и товарищ его по Дерпту, лечил его с горячим участием, как родного брата; ослепленный этим чувством, он не хотел видеть опасности и за полчаса до кончины уверял меня в его выздоровлении. Языков умер 26-го декабря 1846 года, не дожив до 45-летнего возраста. За несколько часов до смерти он заказал похоронный себе обед и требовал, чтобы на нем было много вина. Я был хозяином на этой тризне, и вспомнили мы один из стихов Языкова, где он завещал своим друзьям: «И пьянствуйте о имени моем»[173].

Похоронная оргия продолжалась слишком долго. Разогорченные и еще более разгоряченные гости не удалялись, несмотря на то, что и старший брат покойника и я, распорядитель тризны, оба мы удалились в нижний этаж. Когда все было выпито, шумная беседа потребовала меня к себе и заставила посылать еще за вином и ромом, начала вариться жженка[174] и продолжалась за полночь, когда я уже давно был у себя дома. Главными запевалами на этой попойке были Павел Нащокин, забубенный приятель Пушкина, и Николай Филиппович Павлов[175], Алексей Степанович Хомяков скромно при этом присутствовал. Языкова похоронили мы рядом с могилой умершего за год перед этим племянника его Валуева, так много обещавшего и так рано, к 23-му году, скошенного смертью, а прах самого Валуева приютили к могиле Венелина, того Венелина[176], который первый из славянофилов призвал к жизни болгарский народ, предмет теперешних церковных распрей[177]. Кстати, я должен прибавить, что о Венелине совсем уже забыли и как-то слегка, и то одним только словом вспомнили на Славянском съезде[178] в Сокольниках[179]. Кстати заявлю здесь и о том, что Николай Языков имел намерение издавать журнал и выбрал Ф.В. Чижова[180] в редакторы, назначив на это 30 000 руб. Братья-наследники не согласились, и воля поэта не была исполнена.

Давно сказано: «De mortuis aut bene, aut nihil»*; это, пожалуй не совсем так. Отжившие подлежат суду истории. Гораздо труднее, напротив, историку

* «О мертвых – или хорошо или ничего» (*лат.*).

и даже хроникеру говорить о пребывающих. У меня, напр., на очереди стоит теперь первый из всех моих приятелей Александр Языков. Как же мне поступить с ним? Говорить о нем одно хорошее, – он оскорбится сам и примет это за месть, а все остальные, которые уже попадались здесь, будут, пожалуй, оскорблены моим пристрастием. Выставлять какие-нибудь отличительные странности в характере моего задушевного приятеля (кто же без них бывает!), – оскорбится собственное мое чувство дружбы. Замечу покуда одно – его во всех важных и мелких случаях нерешительность, повредившую и, может быть, испортившую ему всю жизнь. Оба мы с ним на конце нашего пути: если суждено пережить меня ему, то завещаю здесь Александру Языкову нарисовать мою фигуру, насколько он ее знает, прося всех других убедительно оставить память мою в покое; если же я переживу его, то обещаю себе, насколько могу, верно представить его изображение*.

В начале июня 1823 г. собрался я наконец оставить Петербург и очень медленно спешил в Берн, к месту моего назначения. Для совершения этого длинного пути запасся я чрезвычайно удобной, поместительной, но слишком тяжелой двухместной коляской, заказанной мною славному каретнику Иоахиму за 3 т.р. И то сказать, в ней мог помещаться целый дом. У меня была с ранних лет, не скажу, страсть, а наклонность к хорошим экипажам. Первый, который я имел, был дормёз[181] от Фробелиуса, тоже славного петербургского каретника, и за него заплачено было слишком 5000 руб. Зато и прослужил он мне лет более 20. В коляске же я ошибся, она была тяжелее дормёза, и я рассчитывал ехать через Германию в ней парой, на чем и настоял, подвергаясь проклятиям всех и каждого немецких почтальонов. Расстаться с Петербургом мне было не грустно, прощаться почти не с кем. Никольский, оставив службу, отправился к одному из своих приятелей, саратовскому откупщику, помогать ему управлять откупом. Языковы сами отъезжали в симбирскую деревню, семья Кикиных запоздала переездом своим на дачу по причине тяжкой последней болезни Марии Саввишны Перекусихиной. Она уже не показывалась в гостиной и потребовала меня к своей постели, чтобы со мной проститься. «Прощай, мой милый, – сказала она мне, осеняя крестным знамением, – вряд ли я еще раз тебя увижу, старость приходит». – «Проходит, Марья Саввишна». – «Как, голубчик?.. – не слышу. – Я говорю: старость моя приходит». Я имел непростительную злость и дерзость повторить свой неуместный каламбур, на который она ответила: «Ты все такой же шутник; ну, да Бог тебя простит», – и нежно со мной поцеловалась; однако ж, смеясь, домашним своим на меня пожаловалась, и я получил порядочное головомытие за эту выходку от Петра Андреевича.

---

* Александр Михайлович Языков умер за несколько недель до смерти моего отца. От изд[ательницы] (*примеч. С.Д. Свербеевой*).

За несколько времени перед отъездом, являясь по временам в иностранную коллегию, последнюю из всех уничтоженных коллегий до настоящего образования этого министерства[182], и являясь в собственную канцелярию графа Нессельроде, встретился я в ней с пренадменным чиновником этой канцелярии, графом Виктором Никитичем Паниным[183], который, вспомнив, что видал меня, когда мы оба были еще мальчишками, в Отраде у деда своего графа Орлова, почему-то захотел возобновить знакомство и пригласил зайти к нему на чашку чаю в день своего дежурства в канцелярии. Тогда, а, вероятно, и теперь, дежурство их продолжалось целые сутки, но нынешние чиновники имеют более удобств для своего ночлега. Тогда все было просто, неприхотливо и даже некомфортабельно. Упоминаю я о встрече моей с Паниным в 1823 г. только потому, что в это время, несмотря на все свое классическое образование, он не владел русским языком, затруднялся на нем вести беседу и требовал, чтобы я говорил с ним по-французски. Мне как чиновнику министерства выдали от него особый заграничный паспорт с приложением государственной печати. Снабженный им, пользовался я во все продолжение моего пути, а тем паче за границей особенной внимательностью и почти не подвергался осмотру на своей и иностранной таможне. На полдороге из Петербурга в Москву приказал я моему камердинеру рассчитываться ночью со смотрителями и ямщиками и сна моего не тревожить. Вдруг на какой-то станции на самом рассвете какое-то долговязое привидение, все в белом, махает, как крыльями ветряной мельницы, длинным своими руками и меня будит. Я никогда еще не был так чем-нибудь напуган. Вышло, что это был тот же гр. Панин, возвращавшийся из Москвы и требовавший от меня каких-нибудь интересных дипломатических известий, от меня сокровенных. Он напоил тут меня на станции чаем, и это было последнее мое с ним свидание; после, через много лет я встречал его уже министром юстиции, и мы друг друга более не признавали. Я думаю, что он должен был сделать над собой страшное усилие, чтобы, продолжая потом дипломатическую свою службу то в Испании, то резидентом в Греции при гр. Каподистриа и не имея никакой нужды во все это время обращаться с русским языком, вдруг появиться одним из первых тогдашних ораторов и говорить, конечно, по-русски, с замечательным талантом. В этом отдавали ему справедливость и те его недоброхоты в государственном совете, которые, напр., остроумный Бахтин, считали Панина нелепейшим из смертных.

Не застав тетку мою Елену Яковлевну уже в Москве, я, желая перед долгой разлукой пожить с нею и устроить ее попрочнее, остался в городе ненадолго и виделся только с самыми короткими из московских знакомых. У Новиковых-Долгоруких зимние забавы заменялись тогда горелками, хороводами, качелями и всевозможными летними играми то на обширном дворе, то на полугоре перед главным фасадом дома с красивым видом на Москву-

реку. Хозяева называли это место садом. Старый князь Балкон и тут не отставал от молодых и любил гореть, стоя впереди длинной вереницы пар и, как сатир вакханок, любил изловить какую-нибудь молоденькую женщину. На одном из таких вечеров, чуть ли для меня не последнем, здоровенный Загоскин[184] вздумал перед нами и на нас пробовать свою силу, бороться, перепрыгивать, подымать тяжести и т.д. Меня он уговорил, и я имел глупость его послушаться, стать обеими ногами на каменную тумбу подъезда с тем, чтобы ему, взяв меня за ноги, пронести в вертикальном положении до известного расстояния, на границе которого стала Варвара Ивановна. Загоскин поднял меня очень ловко, но на половине дороги бросил на землю и сам повалился на колени, я же упал плашмя. Все перепугались, бросились ко мне. Громким хохотом успокоил я тотчас публику, но не находил возможности стать на ноги: летние мои панталоны поперек совсем лопнули и спустились, а я был во фраке. Старый князь разразился хохотом, и насилу-то убедил я его пригласить от себя прекрасный пол удалиться в комнаты. Меня посадили в коляску, дали хламиду и отправили домой, чтобы переодеться и, воротясь, заключить прощальный вечер. Загоскин краснел с досады от неудачи своего опыта.

Не имея ни желания, ни случая говорить в моих «Записках» о каких-либо важных в то время событиях внешних и внутренних, держа себя вдали от замечательных людей того времени и самого тогдашнего общества, я и не рассчитываю на возможность сделать мои «Записки» любопытными в этом отношении. Довольно будет с меня, если мне удастся сколько-нибудь представить здесь достаточно верный очерк крестьянского и помещичьего быта. И вот почему на этот раз попробую рассказать с некоторыми подробностями об этом последнем, почти двухмесячном моем пребывании в подмосковной, о которой, с ее окрестностями, я не успел еще распространиться, насколько за немного страниц перед этим говорил уже о моем главном имении Новосильского уезда.

Красивое мое Солнышково по кончине отца в 1814 г. было постоянным летним пребыванием тетки моей Елены Яковлевны. Она жила там в длинном деревянном доме, перестроенном еще батюшкою из маленького первобытного домика. Этот наш дом, в котором живал и я, был одноэтажный, с большим мезонином и двумя или тремя саженями длиннее теперешнего двухэтажного, построенного мною в 1835 г. на том самом месте. Расположение его было – какое я называл и называю казенным, т.е. проходная уго́льная зала, вся в окнах, за нею две гостиные и большая уго́льная, где была и спальня тетушки, из нее длинный коридор, в нем лестница на мезонин, а за ним три комнаты, обращенные во двор. При зале был небольшой буфет и большая передняя с чуланами у главного входа. Как было при отце, таким и оставалось все это жилище до нового в 1835 г. образования усадьбы. Бревенчатый дом снаружи не был ни оштукатурен, ни обшит тесом; внутренние его стены не имели также ни обоев, ни штукатурки. Из голых обтесанных бревен, потемневших от вре-

мени, высовывалась пакля. Снаружи главного фасада, обращенного к реке и к Лопасне, был балкон, на который из гостиной собирались 20 лет прорубить дверь, но ее за каким-то недосугом сделать не успели. Зато из моего балкона на мезонине, сообщенного с комнатами дверью, как следует, был чудный вид, несравненно более красивый, чем теперь, потому что деревьев перед домом к реке было гораздо меньше, да и те, посаженные моим отцом, а потом и мною, еще не слишком выросли и не мешали видеть извилистую нашу Лопасню, огибающую полуостров до самой мельницы, которая, как бельмо на глазу, досаждала владельцам Солнышкова тем, что принадлежала не им, а богатому соседу, князю Щербатову[185], несмотря на то, что врезалась почему-то углом в солнышковскую дачу. При всем старании моем объяснить себе, как могло произойти такое вторжение небольшого уголка земли из трех-четырех десятин в чужую, везде округленную дачу, причину этого я не доискался, так же точно, как и тому, что рядом с этой мельницей принадлежали нам пять десятин полуострова с рощей, примкнутых к дачам В...ых[186] на противоположном берегу Лопасни. Тут явно обнаруживалось капризное размежевание. Но как бы то ни было, оно утверждено было межевыми книгами и генеральным планом. Долго перед этим домом пролегала обширная для всех проезжая старая дорога и отделяла его собой от склона горы, называемого садом. Наконец-то такую, по всему неудобную для нас дорогу еще при батюшке уничтожили, несмотря на жалобы крестьян, и перевели за рощу на другую сторону дома. Все это происходило по причине довольно долгой борьбы с крестьянами, потому что там, где была построена господская усадьба, были прежде крестьянские, и остальные избы из этого поселка долго еще стояли при мне на том месте, где теперь каменный флигель управляющего, наши сараи и конюшни. Немало годов хлопотал я отбить у крестьян застроенный ими угол по течению реки Лопасни за дорогой в это село, где теперь мой луг и огород, отдаваемый внаймы. На этом месте, часто наводняемом от весеннего разлития, в пяти дворах жили самые зажиточные из солнышковских крестьян, и, как видно, там был старинный поселок, что доказывается найденными на местах в земле кладами в глиняных горшках и кувшинах, до верха наполненных серебряными копеечками, начиная со времен Иоанна Грозного. В этом именно уголке один из крестьян имел красильное заведение и был при деньгах. Случившееся с ним происшествие в конце 20[-х] годов стоит подробного рассказа.

Солнышковские крестьяне испокон века были на оброке и до тех пор, пока я не взялся за них, как должно, никогда не платили в сроки, на них всегда накоплялись довольно значительные недоимки. И тогда еще бóльшая часть мужиков жила в Москве по разным мастерствам, пьянствовала, может быть, менее теперешнего, зато роскошничала и харчила более. Доходами с подмосковных деревень пользовалась отчасти моя тетушка. Анекдот о богатом Кузьме-красильщике, здесь следующий, может служить лучшим доказа-

тельством, как крепко сплочена наша сельская община, или «мир», и как в одних случаях упорно стоит за себя, употребляя при этом (в самых важных случаях) не явное сопротивление какой-либо власти, а могучую силу бездействия, «инерции». Однажды приехал я к тетке, проездом в Михайловское, в это имение и, чтобы по жалобе ее заставить недоимщиков заплатить просроченный оброк, собрал сходку. Узнав от старосты, что и Кузьма-красильщик наравне с другими в недоимке, я стал его стыдить; он – кланяться в ноги и божиться, что через неделю, не позже, заплатит; все прочие насказали мне разные турусы на колесах[187] и также обещали расплатиться. Все это, сколько помню, происходило в сентябре; я спешил в степь к хлебной уборке. В начале декабря является ко мне Кузьма-красильщик уже в Москве; едва успев перекреститься на образ, бух в ноги. На приказание мое встать он все-таки не приподнимался и стоял упорно коленопреклоненный. «Да что с тобой случилось?» – «Батюшка, спасите, помогите, меня в конец разорили!» – «Как? Кто? Когда?» – «Обокрали вчистую, и деньжонки, и все, что у нас было». – «А денег много?» Красильщик встал и начал почесывать затылок: «Да, многонько, батюшка Дмитрий Николаевич, и выговорить-то страшно и совестно». – «Сколько же?» – «Ох, батюшка, целых шесть тысяч рублей и все на монету, больше золотом». – «Ну, любезный, крепко мне тебя жаль. Небось ты еще с неделю потерял с твоими поисками о пропаже. А в городе был? Исправнику докладывал?» – «Коли не так; да вот прошло уже сколько времени, а ничего не нашли». – «Разве давно случилась пропажа?» – «Да почитай уже целых четыре месяца». – «Ну, брат, я не думал, чтобы ты был такой осел. Зачем же ты ко мне сюда приехал?» – «Смилуйтесь, батюшка, над нами! Нельзя ли вам попросить кого-нибудь из набольших, хоть губернатора, авось он прикажет отыскать». – «Да когда же пропажа-то случилась?» – «Перед самым Никитой. Я уже собрался было на ярмарку в Серпухов» (15 сентября). – «Ну, а теперь Рождество на дворе, и ты, брат, просишь, чтобы тебе отыскали твою пропажу через три месяца! Отчего же ты не бросился в Москву прежде? Тебе бы следовало, побывав у исправника, прямо ехать ко мне, я бы выхлопотал приказ земскому суду твоих воров отыскать неотменено, а теперь их и след простыл! Что молчишь-то? Немудрено было бы догадаться». Тут у Кузьмы красильщика зуд в затылке стал нестерпимый, он начал чесать его с каким-то остервенением, как бы вырывая клочья волос с корнями. После мгновенного молчания, страшно зарыдав, бросился он опять на колени: «Виноват, батюшка! Простите Христа ради, я не смел вам тотчас объявиться» – «Это почему?» – «Да видишь ты, нас обокрали на другой аль на третий день после проезда вашего здоровья». – «Так что же?» – «Да вы разве изволили запамятовать? Я просил вас тогда обождать мою недоимку, всего-то 15 рублей, ну, мне и совестно было заявить об украденных тысячах». – «Да отчего ж ты не заплатил?» – «Убоялся мира. Все зарок дали просить тебя обождать, вот и уговорили меня им не перечить».

Воров, конечно, не отыскали, а два сына обкраденного глупого, простого и пьяненького мужичка унаследовали после него, должно быть, тысяч десяток, ибо два-три года спустя откупились за 6000 рублей. Меньшой из братьев поселился тот час же на шоссе, на отданных ему двух десятинах земли, а старший, Михаил Кузьмин, первая жена которого была кормилица дочери моей Екатерины, тотчас же вышел в купцы, имеет в каретном ряду свой собственный дом и большую лавку с экипажами, считаясь не последним в Москве каретником.

В этот же, кажется, осенний мой проезд через Солнышково был и другой случай (я иногда в моем рассказе года перемешиваю), резко объясняющий невинность и простоту наших сельских нравов того времени. Тетушка моя в своих высоких хоромах начинала зябнуть от первых сентябрьских заморозков, довольно чувствительных. У нее было в обычае, как и у многих старушек, на все про все жаловаться. «Кто же вам мешает топить?» – «Посмотри, так и увидишь, что дров еще не припасено». И вот той же самой сходке приказал я сейчас же отправиться за дровами в пустошь Талаевку, верстах в 12 от Солнышкова, и там нарубить трехаршинных дров, подтвердив крестьянам позволение взять на себя, по заведенному порядку, валежнику и сучья на собственное их отопление. Ровно через день, и уже никак не больше полутора суток, староста доложил мне, что более десяти сажен трехполенных дров уже привезено и сложено на барском дворе. «Как же успели вы так скоро оборотиться, – спросил я, – по дороге, небось, грязь страшенная?» – «Не что. Да мы догадались нарубить не в Талаевке, а в щербатовских лесах, они поближе». – «Как, все десять сажень?» – «Известно, все. В даль-то собраться не приходилось, вот мы и перевезли». – «И вам не стыдно и не грешно пользоваться чужим добром?» – «А у нас-то разве не рубят? Тоже воруют сплошь да рядом». Я ожидал жалобы на такое расхищение от соседа, князя Щербатова, хозяина, кажись, строгого и до всего дошлого, однако, не дождался. Видно, и у его крестьян и лесников велись подобные порядки, да и лесу-то было в то время такое обилие, что от Серпухова до самой Москвы, забрав немного вправо от почтовой тогдашней дороги, тоже через Лопасню и Молоди, можно было пройти пешком или пробраться верхом все это пространство, слишком 90 верст, непроходимыми лесами. А теперь?..

Было ли хуже, было ли лучше – решить трудно. Крестьяне на вид были беднее. Оброчные, по сравнению с нынешним курсом и вообще ценностью денег у добрых помещиков, вносили оброчные суммы не более нынешних, но зато пользовались они пастбищами по всей даче, большими покосами и отоплением. Других, земских, волостных и сельских, поборов у них, почитай, совсем не было. Разных прихотей настоящего времени также и в заводе не было: самоваров не знали, баранок в Лопасне не покупали, папушников[188] и пшеничных пирогов не едали, жили серо, избы были курные, зато у многих

водились денежки, и первыми из добытчиков по деревням этого края были подобные моему препростому Кузьме-красильщику. Сукна в краску брали они так же, как и женские понявы[189], поблизости, а за шерстяной пряжей, суровьем езжали в Москву. Красильных фабрик, да и бумагопрядильных тогда еще не было. Большая часть помещичьих крестьян состояли на оброке и жили относительно в довольстве. Немногим барщинским и особливо мелкопоместным было несравненно хуже и тяжелее, но последние зато, насильственно прикрепленные к земле, без выхода на сторону, были здоровее и нравственнее проживающих по городам и особенно в Москве. Эти, несмотря на тяжелую барщину, всегда пробавлялись своим хлебом, имея его постоянно в запасе. Оброчные же при малейшем недостатке в урожае должны были покупать муку на емины[190], а при большом недороде и зерно на семены. Тогдашние помещики, можно сказать об них сообща и вообще, были капризнее, взыскательнее, суровее всех тех последних, которых застигла эмансипация, но прежние были все-таки до крестьянина, даже до оброчного, добрее, их и с оброчными связывали те же патриархальные отношения, какие, вероятно, завязались между владельцами и крепостными в самом начале прикрепления. В Серпуховском уезде лучшим и образованнейшим из всех помещиков жил до 30-х годов, в продолжение, быть может, полувека, меньшой из пятерых братьев Орловых, граф Владимир Григорьевич Орлов.

23 мая 1872 года, Солнышково[191].

Остановился я на солнышковских соседях: в pendant* к повести о Михайловском и уже назвал графа Орлова. Между теми и другими была великая разница. Лучшим из всех подмосковных соседей был граф Владимир Григорьевич Орлов. Он не был родовитее других серпуховских помещиков, между которыми были и Рюриковичи – князья Щербатов и Вяземский, и Еропкин, утративший свое княжество, и потомки древних боярских и дворянских родов: Нащокины, Васильчиковы, Исленьевы, даже Дурново и Чуфаровские[192], но всех их Орлов превосходил новейшею чиновною знатностью, богатством, несравненно высшим перед всеми образованием и достойным глубокого уважения высоким своим характером. Оживить его память для современников следовало бы давно одному из его потомков, либо графу Панину, либо тому Давыдову, которому перешло само имя гр. Орлова[193]. С ранней молодости меньшой из пяти братьев Орлов, не увлекаемый честолюбием, сошел с дороги той бурной[194] служебной деятельности, которая привела бы его, без сомнения, скорее, чем кого-нибудь, на большую дорогу знаменитости и почести. Он выбрал для себя более скромную тропинку и шел по ней до глубокой старости. Образование его было широкое, в полном смысле европейское, но, судя по тому, каким я видел его в моем отрочестве и каким опять увидал перед

---

* продолжение (*фр.*).

самой его кончиной, уже тогда, когда я совсем выбрался из чужих краев, граф Орлов, европеец, знавший в своей молодости вблизи и Руссо, и Вольтера, не заглушал в себе русского человека, как то случалось со многими его современниками. Кажется, при Екатерине был он несколько времени президентом нашей Академии наук. Не может быть, думаю я, чтобы на таком видном месте не оставил он себе никакого следа, и, однако, мы до сих пор не имеем на то никаких указаний. Знаем одно, что он, вероятно, в начале царствования Павла, враждебного ко всем братьям Орловым, вышел в отставку в чине генерал-поручика и в звании камергера; по крайней мере он в торжественные дни и в праздники у себя в Отраде носил на фалдах фрака голубой бант от камергерского ключа[195]. Никаких орденов он не имел и украшал себя одною грошовою медною медалью на Владимирской ленте 1812 года[196], которую брезгали почти все, в том числе и я, имевший право ее носить. Отличительной, а по-моему, высокой и еще никем не оцененной чертой его характера именно было то, что он, сойдя с деятельного поприща, будучи еще в силах, почти целые сорок лет предавался скромной семейной жизни и благодетельному управлению своей сотни тысяч крепостных, считая женщин. Не служа с тех пор уже нигде, он не играл никакой роли в той оппозиции правительству, которая во времена Павла разыгрывалась удаленными от дворца честолюбцами в Москве или по провинции, а в начале царствования Александра косилась, роптала, подобно Растопчину и другим, на свободолюбивые мероприятия Александра Первого и его либеральных единомышленников. Орлов перед всеми более или менее крупными людьми тех времен отличался тем, что никогда не становился ни на какой пьедестал, не ходил на ходулях и даже не предавался тогдашнему модному мистицизму, от которого произошел религиозный космополитизм и, как противодействие оному, реакционное православное ханжество в церковном и гражданском смысле Шишкова и родившихся от него изуверов. Таким представляется мне старейший и умнейший из моих подмосковных соседей. Я полюбил эту симпатичную фигуру, рослую, худую, не отягченную помещичьим жиром живущих по деревням бар, всегда кроткую и благодушную. С ранней весны граф удалялся с семьей в серпуховское свое поместье Отраду и живал там до первого пути; несмотря на устроенную им как бы против воли широкую барскую усадьбу, и в ней выразилась, по собственным его словам, мудрая умеренность его характера. Отец меня возил туда два раза в лето, и об моих этих поездках я уже говорил прежде, рассказывая о дядьке Варфоломеевиче. Но мне как будто слышатся еще и теперь собственные слова графа моему отцу о его устройстве в этом имении. Запомнив, не знаю сам, почему, простодушные слова этого рассказа, я получил уже гораздо после подтверждение им из уст долго жившего с ним князя Ивана Петровича Оболенского (Оболенский был дядя жене моей, жил по лету у графа в Отраде, сам будучи женат на родной племяннице графа Орлова, Штакельберг[197]). Привожу

самый рассказ: «Старшему нашему братцу, князю Григорию, дано было матушкой-государыней дворцовое село Хотунь, со многими деревнями и большими дачами*. Ему захотелось, чтобы каждый из нас мог со временем около

* Большое и богатое село Хотунь имеет некоторое значение и известность в новейшей нашей истории. Оно, если не ошибаюсь, принадлежало дворцовому ведомству, т.е. было не просто казенное, а государево. Было, по местным слухам, намерение сделать из него город и назвать Любимом. Император Петр II, сын несчастного царевича Алексея Петровича, по удалении своем из Петербурга в Москву, вышед из-под опеки сосланного в Сибирь князя Меньшикова, перешел в руки молодого своего фаворита Ивана Долгорукова[198], которому, как известно, удалось сосватать его на своей сестре. Этот царский любимец, овладев юным государем, отбил его от учебных занятий и приучил к псовой охоте. Чаще всего охотились они в окрестностях села Хотуни, которое тогда же пожаловано было Долгорукому, и до сих пор сохраняется предание в этом красивом селении на крутом берегу Лопасни о посещениях его Петром II. [Далее в рукописи следует: «Мне самому рассказывали крестьяне, что по всему склону к реке горы, который мне показался как-то сверх обыкновения цветущим полевыми цветами, были во время оно искусственно рассеяны цветущие растения какими-то полосами под тень» (ФС. Д. 13. Л. 67 об.–68).] Когда при Анне Иоанновне после ужасных казней последовала и опала на всю фамилию Долгоруких этого рода, село Хотунь отошло в казну. Екатерина II-я пожаловала оным, вместе с другими деревнями [в рукописи добавлено: «любимца своего» (Там же. Л. 68)], князя Григория Григорьевича Орлова, а от второго брата Алексея Орлова-Чесменского Хотунь перешла к его дочери. Давно бы следовало [здесь в рукописи добавлено: «хотя бы любознательному П.И. Бартеневу» (Там же. Л. 68).] собрать и обнародовать, насколько это возможно, некоторые подробности из замечательной во многих отношениях жизни девицы графини Анны Алексеевны, скончавшейся в тайном пострижении инокини Агнии. Не только вся жизнь этой безответной послушницы фанатика архимандрита Фотия отличается какою-то странною характеристикой, но и обильное ее приношение (по 50 тыс. на каждую лавру и по 5 тыс. на каждый монастырь в России) в пользу местных и восточноправославных церквей и обителей, равно как и духовное ее завещание с распоряжением по ее громадному движимому и недвижимому имению могли бы, будучи приведены в известность, возбудить всеобщий интерес. Самая ее смерть у гроба духовника и наставника Фотия была поразительна своею внезапностью. Не вполне доверяя слышанному обо всем этом, предлагаю другим, более знающим, собрать сведения. Скажу только, что знаю достоверно: иноки Иверского монастыря, зная о ее тайном пострижении, готовились уже совершить над нею отпевание как над монахиней, но император Николай, знавший о существовании ее завещания, заметил, что графиню до́лжно хоронить по мирскому обычаю, ибо законное признание ее тайного пострижения воспрепятствовало бы исполнению ее последней воли, так как монашествующие ничего завещать после себя права не имеют. Не знаю, как распорядилась она при жизни и по духовному завещанию со своими в разных губерниях имениями и с крепостными, но задолго еще до своей смерти с селом Хотунью и с ревизскими при нем душами в числе 4 тыс. поступила следующим образом. Заложив их по тогдашней оценке в сохранной казне московского опекунского совета за 1 000 000 с лишком руб. асс., она обратила их в свободных хлебопашцев, предоставив им все без остатка принадлежащие к этому имению земли, и в том числе лесную дачу более 10 тыс. десятин береженного крупного бора строевого и даже мачтового, почему и бор этот, в котором, как видно, водились лоси, известен был в нашей местности под названием Лосиного острова. До совершения законного акта на отчуждение по взаимному соглашению крестьян от помещичьей власти и поступления их в свободные хлебопашцы Сохранная казна Московского опекунского совета отнеслась в то время, в 1836 или 1837 году, ко мне, как к предводителю, официально требуя от меня удостоверения в том, что будущие вольные хлебопашцы могут исправно и безнедоимочно выплачивать сохранной казне проценты.

него поселиться. Вот и пожаловал он мне по моей женитьбе Семеновское, теперь Отрада, с деревнями; племяннице, графине Орловой-Чесменской, от отца перешла самая Хотунь, а двум другим братьям достались тут же вблизи другие села, которые прозвались потом Благодатным и Неразстанным. Начал я селиться в своем поместье, выбрал для усадьбы берег красивой Лопасни, окруженный старым красным бором и других пород лесами. Я был охотник – не страстный, впрочем – гонять собак. Призвал я лучшего в то время архитектора, и указал он мне место на высокой горе построить тут трехэтажный барский замок и церковь. План мне полюбился; однако, исполнил я его не совсем в точности. Церковь на высокой горе, на открытом от лесов месте построил, а для постройки дома спустился пониже, к берегу реки, между лесами; там, я думаю, будет осенью и в первозимье теплее и от буйных ветров защита, хотя замок, выстроенный на возвышенности, был бы виднее и великолепнее. Начавши строить, я опять не послушался архитектора, вместо трех выстроил только два этажа».

Таким стоит в Отраде графский дом и теперь. Впоследствии пристроены были флигеля для гостей и большие дома для пребольшущей дворни. От неизбежного множества дворовых, при всей умеренности и скромности, выказанных им в начале своих построек, граф не мог избавиться. Главная его контора вотчинного управления всеми имениями переезжала с ним из Москвы в Отраду, и в ее общее присутствие ежедневно являлся хозяин и принимал там

Я отвечал не утвердительно, представляя, впрочем, с моей стороны, что большое количество земли и особенно лесной дачи и сверх того настоящее положение крестьян должны дать им возможность выплачивать проценты по перешедшему на них долгу. И однако вскоре потом представленное вольным хлебопашцам самоуправление начало их запутывать; они сейчас же приступили к истреблению своего «Лосиного острова» и начали продавать без толку малыми и большими участками. Из крупных, таких теперь едва найдешь, сосновых бревен, срубленных на полудесятине, выстроил я себе весь довольно изрядный двухэтажный дом в моем Солнышкове; так же сделал другой соседский помещик, Арцыбашев[199], в своем селе Турове, недавно купленном И.С. Аксаковым. Как, куда и на что менее, чем в 10 лет пошел этот «Лосиный остров», не знаю, но его давным-давно уже нет, а крестьяне гораздо прежде эмансипации были в недоимках у Сохранной казны, подвергались от нее полицейским взысканиям и, как говорят, разорялись, а теперь, как сказывают, разорены вдосталь. Конечно, между ними есть несколько богачей-мироедов, которые держат бедняков в крепости. Судьба хотунских вольных хлебопашцев, совершавшаяся на моих глазах, отрезвила собственные мои стремления к освобождению крепостных крестьян, и я, смотря на них, убедился окончательно, что замышляемое и мной такого рода освобождение было бы для них вредно, и что предоставление им самоуправления без постоянного строгого над ними наблюдения, одним словом, без опеки будет непременно не только им, но и всему государственному строю пагубно. И с этого времени, т.е. со второй половины 30-х годов, деятельно начал я собирать сведения по крестьянскому вопросу, решаясь было, но неудачно, поднять его в Московской губернии лет через 10, а потом еще через 10 лет совершенно отстранил себя от официального в нем участия, нисколько не сочувствуя новым принципам освобождения, решительно противоположным всем моим убеждениям, выработанным мною в целые 20 лет. Об всем этом говорено будет в свое время (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

к суду и к расправе каждого из крепостных, имевших до него дело, из тутошних крестьян и приезжавших для свидания с графом других крепостных из отдаленных имений. К 10 000 ревизским душам, перешедшим ему от братьев, прикупил он до 20 000. Когда он умер, за ним было всего 46 т. душ муж. пола. Накупал он поместья в разное время на следующих либеральных гуманных началах. Граф, конечно, кончил свою долгую жизнь, не подозревая существования ни гуманности, ни либеральности, – ни таких слов, ни же таких понятий в ходу еще не было, но он был добр и никогда не отказывал депутатам, или, просто сказать, ходокам к нему от крестьян, которым добродушные мотоватые владельцы позволяли самим приискивать себе покупщиков-помещиков. Продаваемым предлагалось от графа выплачивать как оброк шесть коп. с рубля на капитал, употребленный на их приобретение; после этого раз навсегда положенный оброк в 6% с капитала никогда не возвышался, как бы ни были обширны поземельные удобства и самое количество купленной дачи. Вся земля предоставлялась в пользование крестьянам, за исключением по соразмерности количества лесов, часть коих граф Орлов брал за себя, предусматривая будущее безлесье, теперь нами уже претерпеваемое. В этом отношении хозяин Орлов был неумолим, везде строго смотрел за своими лесами, не дарил из них ни прутика, помогая погорельцам деньгами и отказав однажды навсегда всем церковным причтам в их притязаниях на господские леса: «Бери деньги, а лесу не дам ни прута». Такой же совет передал он моему отцу, предсказывая ему угрожающее всем нам безлесье. Батюшке моему граф дал в руководство составленное им довольно обширное уложение по управлению его имениями, которые все без исключения были у него оброчные, несмотря на плодородность в некоторых местах почвы. Давно бы следовало напечатать это уложение, в свое время весьма полезное, в наше – поучительное для истории нашего крепостничества, несмотря на неизбежные в нем недостатки.

Графский главный дом в Отраде удобством и отсутствием широкого русского чванства и самою скромною своею местностью вернее всего свидетельствует о благоразумной во всем умеренности своего хозяина. Бережливый, может быть, до излишества (tout homme malheureusement à les défauts de ses qualités)* граф, кроме семьи, принимал здесь без излишнего великолепия наезжавших к нему гостей и всех без исключения помещиков и чиновников. Те, которые из них были покрупнее, почему-то от него сторонились. Его почитали почему-то гордым. Многим, наприм., не нравилась привычка его выходить каждый день из-за стола, чтобы выпить наедине рюмку вина или стакан пива. Ему случилось как-то раз сильно поперхнуться и чуть не кончить от того жизнь; с тех пор он не мог пить при всех. Я помню праздничные отраднинские обеды, которые казались мне очень вкусными и хорошими, но другие

* (у каждого человека, к сожалению, есть недостатки) (*фр.*).

посетители находили, что они у богатого барина могли быть лучше. Больше всего лакомился я разными фруктами, которых, впрочем, говорили другие, было, судя по длинному ряду оранжерей, не вдоволь. Однажды за таким обедом сидел возле меня в мундире какой-то судейский или земский тех времен чиновник и много потешил меня тем, что начал было поглощать неведомые ему артишоки и ананасы с колючими их иглами. Громкий мой хохот обратил на него сейчас глаза общества.

Моя теща княгиня Щербатова и вся ее семья Оболенских была в дружеских отношениях с гр. Орловым и его семейством, поэтому и я по женитьбе охотно возобновил знакомство с этим домом. Престарелый граф (ему было гораздо за 80 лет) приближался уже к концу, но сохранял свой здравый ум и свою память. Благодушно беседуя со мною, как со старинным знакомым, он расспрашивал меня с участием о моем хозяйстве и о моих средствах и, верный всегда своей благоразумной умеренности, советовал не предаваться обычной русской распущенности и обращать более внимания на домашний, семейный быт, нежели на служебное поприще. Он умер в 1830 году[200].

Прочие мои подмосковные соседи, потомки Рюрика и старинных дворянских родов, ни в чем не походили на изображенного здесь гр. Орлова. Старейший из первых и по летам, и по чину, владелец подгородного села Пущина, действительный тайный советник князь Сергей Иванович Вяземский[201] памятен мне только потому, что на своем фраке, сюртуке, шинели и шубе он всегда носил какие-то две звезды. Два сына его[202] были уже сами в чинах, старший был уже женат на богатой урожденной Татищевой. Муж ее разорил[203]. Второй, князь Михаил, был тоже генерал-майором, был в опале и выключен из службы, хотя и рассказывал всем, что при Екатерине II был послан ею в Карлсруэ по переговорам о сватовстве Александра Павловича на баденской принцессе, впоследствии императрице Елисавете Алексеевне.

Племянник знаменитого спасителя Москвы от чумы Петра Дмитриевича Еропкина Мих. Иван. Еропкин[204] жил от моего Солнышкова в 2-х верстах. Он был очень не глуп, остер, на язык не скромен и злоречив[205].

За полверсты от него, в Лопасне, где поселены были и собственные его крестьяне, были два помещичьих дома, бок о бок, В-х[206]. В старых, еще ныне существующих, но уже немного переделанных каменных палатах с претолстыми стенами и сводами я еще застал старика камергера В.С. В-а[207]. Дом возле старинной церкви и часть села Лопасни наследовал он после брата, екатерининского фаворита[208]. Сам он был по этому случаю и женат на Разумовской, дочери графа Кириллы[209], впоследствии инокини Ростовского монастыря. Она была и в преклонных летах, когда я ее узнал, очень красива и величественна[210]. В его доме увидел я еще ребенком лет 7-ми или 8-ми чопорную боярскую прислугу; помню церемонию вечернего чаепития, которое, впрочем, производилось еще с большею торжественностью у последнего

московского вельможи князя Сергея Михайловича Голицына. Длинную чайную процессию открывал сановитый, пузатый, напудренный и с косой официант и нес на серебряном подносе старинного саксонского фарфора чашки, за ним другой, еще осанистее, нес огромный чайник, третий – второй чайник с кипятком, четвертый – сахарницу, пятый шел со сливками, шестой – с графином рому, лимонами, вареньем и морсом, седьмой и осьмой – с сухарями, кренделями и пр. Камергеру В-ву, умершему, кажется, до 1812 г., наследовал один из его сыновей, Кирилл[211], отставной гвардейский полковник. Он свою часть в Лопасне продал живущему рядом, через дорогу в скромном деревянном доме дяде полковнику[212], а сам переселился в близкую от Лопасни деревеньку Манушкино, перекрестив ее в Mon plaisir, но и тут не мог долго удержаться, давая на последние гроши пиры и фейерверки. Человек он был очень кроткий[213], что называется у нас добрый малый, а потому несколько трехлетий был нашим предводителем. Проданное им сельцо Манушкино утратило тогда же свое иностранное прозвище, и впоследствии владетелями его сделались вышедшие из крестьян села Крюкова в купцы, которые до сих пор выделывают овчины и торгуют тулупами. Этим ремеслом портят они воды в речке Сухой Лопасне, противоположный берег которой принадлежит мне, и я давно имею намерение в этом воспрещенном санитарными законами злоупотреблении своего ремесла воспрепятствовать. Если же при себе не успею, поручаю сделать это будущим владельцам Солнышкова[214].

Сосед и родственник, прикупивший часть Лопасни у предводителя Кирилла, перешел в палаты продавца, был тоже предводителем и передал свои имения сыну, вдова и дети которого живут там еще и теперь[215]. Генерал В-в был тоже предводителем. Я заменил его на два года, но он и после меня отслужил еще раз целое трехлетие. Недалеко от лопаснинских жили еще два брата В-х, в Кулакове – бригадир Василий, в Шарапове – Григорий Николаевич[216], первый тоже бывший предводителем, известный псовый охотник.

Обо всех этих соседях я должен заметить одно, что все они, и даже сам Еропкин, были добрые помещики, и крестьяне их никогда на господ своих не жаловались, да и не имели на это никакой причины. Разорившийся сын старика Еропкина[217], который оттого и продал свою Лопасню, в управлении своими крестьянами у меня на глазах был для крепостных покруче, нежели помянутые доселе мною серпуховские помещики старшего передо мной поколения, не говоря уже о гр. Орлове, который, конечно, был примерным и, может быть, единственным в этом отношении помещиком во всей России не потому, что он был всех богаче и добрее, но потому, что был несравненно образованнее.

В противоположную от Лопасни сторону, которую я беру на себя центром нашей местности, верстах в 7-ми была довольно затейливая, чистенько прибранная усадьба богатого и чрезвычайно оригинального помещика, полковника князя Дмитрия Михайловича Щербатова, село Рождественно – Вась-

кино тож. После Орлова он был сравнительно зажиточнее, многоземельнее всех и, конечно, в совершенно противоположную сторону всех оригинальнее. Князь Щербатов, которого я знал коротко, был чудак не последний. Отец его был историограф, мать, урожденная также княжна Щербатова[218], родилась и воспитывалась в Англии и 18-ти лет от роду приехала в Россию. Нет никакой нужды распространяться об отце моего соседа, князе Михаиле Михайловиче Щербатове. За него и за его ученое образование говорит его 15-ти томная история, и своеобразность его характера видна из собственных его записок, недавно обнародованных[219]. В них выражается весь автор, с его крайне аристократическими замашками и олигархическими тенденциями. Последние естественным путем могли перейти к Щербатову от верховников[220] времен воцарения Анны Иоанновны. Я приведу только одно семейное предание, дошедшее до меня от его внучки, еще здравствующей ныне княжны Елизаветы Дмитриевны Щербатовой. Однажды он до того разгневался на Екатерину II, что, возвратясь домой из общего собрания Сената, в котором председательствовала сама государыня, разбил в куски бюст Екатерины в своей гостиной. Из ее же рассказов видно, что жена историка княгиня Наталья Ивановна сохранила привязанность к своей родине Англии и не скоро приучила себя к обстановке тогдашнего русского быта. Оно немудрено: отец ее князь Иван Андреевич Щербатов* [221], вероятно, был из тех Петровых птенцов, которые посланы были им учиться в чужие края и коим наука пошла впрок. Впоследствии был он при Петре посланником в Испании, Турции и, наконец, в Англии. В 1720 году князь Иван Андреевич увлекся сочинением гениального Ло[222], наделавшего столько шума во времена Регенства во Франции своим преобразованием на новых началах финансовой системы и бежавшего после своих неудач из Парижа. Князь Иван Андреевич перевел сочинение Джона Ло «Considération sur le numéraire et le commerce»** и посвятил свой перевод

---

* Я имею право остановиться на имени этого дипломата времен Петра и Елизаветы не только как составитель «Записок», но еще и потому, что князь И.А. Щербатов был родной брат прадеда моей жены Федора Андреевича Щербатова. Его сын, а ее дед был тот самый Щербатов, который принял за смертью А.И. Бибикова по старшинству начальство над войсками, посланными для усмирения Пугачевского бунта, замедлил, как некоторые догадываются, продолжать наступательные против бунтовщиков движения, лишен был команды и сослан был Екатериной на житье в деревню. Впрочем, о нем, как и о браке его дочери с фаворитом Мамоновым, будет говорено в своем месте (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

Здесь названы князья Щербатовы: Федор Андреевич (1688–1762), главный судья в Мастерской и Оружейной палатах, его сын Федор Федорович (1729–1791), генерал-поручик, в 1774 г. главнокомандующий войсками, подавлявшими восстание Пугачева, а также Александр Ильич Бибиков (1729–1774), генерал-аншеф; маршал Комиссии для составления нового Уложения (1767), командующий войсками, подавлявшими восстание Пугачева (1773–1774). Также упомянуто о браке (в 1789 г.) Дарьи Федоровны Щербатовой (1762–1801), фрейлины Екатерины II, с Александром Матвеевичем Дмитриевым-Мамоновым (1758–1803), графом (с 1788 г.), фаворитом Екатерины II.

** «Деньги и купечество» (*фр.*).

Петру Великому. Из помещенных недавно об этом сведений в «Современных Известиях», № 152 за 1872 год мы, к сожалению, не знаем, был ли когда-нибудь напечатан этот перевод. Начиная с заглавия книги в переводе* весь он любопытен, и в особенности его посвящение Петру, крайней странностью русского своего слога, в то время еще не обработанного и, без сомнения, недоступного выражению нисколько не существовавших тогда мыслей в русской голове и, следовательно, в ее речи. Но понятливость переводчика и, так сказать, чутье его к идеям, плохо понимаемым в то время в самой Франции, изумительны. Князь Щербатов, судя по приведенному «Совр. Извест.» отрывку из его перевода, усвоил по крайней мере собственно для себя верное понятие о кредите**, о заемных письмах или векселях, даже о лаже (aggio)[223].

Полное право будут иметь те мои читатели, которые и здесь станут упрекать меня в нескончаемых отступлениях, но, воля ваша, я не могу от них удержаться, встречая в современных изданиях отрывки из нашей старины. Собственно о Ло я думаю, что он был доведен до шарлатанства преувеличенными надеждами как регента, так и первыми восторжёнными последователями его системы и уступал им поневоле в ее развитии. Обманутые в своих надеждах, они против него восстали и принудили бежать из Франции. В России переведенная Щербатовым книга Ло также слишком увлекла великого нашего преобразователя***.

Возвращаюсь к моему соседу, владельцу села Рождествена.

---

* «Деньги и купечество. Рассуждено с предлогами к присовокуплению в народе денег, через господина Ивана Лауса, ныне управителя Королевского банка в Париже. (Переведено на российский язык через князя Ивана Щербатова)». 1720 год. (*примеч. Д.Н. Свербеева*). (Примечания в этом абзаце даны по рукописи, так как их расположение в публикации затрудняет восприятие цитат, приводимых мемуаристом. – *Ред.*).

** *Приводим выписку из перевода:* Вот определение поземельного банка: «Земельный банк называется понеже обещательные письма даваны, а брана под заклад земля. Земляные деньги называют понеже земля вместо денег будет заложена в банке, а поцене заложенной земли будут даваны письма из банка, которые в платежах будут ходить за деньги».

Лаж определяется так: «Ажио – слово, употребляемое в обмене и банке. Оное говорится о переходе, который берется или платится у некоторого числа для награды в потере, которая могла бы учиниться» (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

*** Петр дал наказ асессору Берг-мануфактур-коллегии Габриэлю Богарету де Пресси, чтобы он предложил Джону Ло, названному по наказу Лаусу, княжеский титул, чин действительного тайного советника, звание обер-гофмаршала, Андреевский орден, 2 000 крестьянских дворов (по меньшей мере 6 000 ревизских душ), и заметьте, с огромным количеством земли, право строить укрепленные города, населять их иностранными мануфактуристами. «При этом дозволялось с охотою Джону Ло, если он рудокопные дела, такожде и персидскую торговую компанию в Российском государстве сам сочинит и учредит. За все вышеписанные достоинства и действительные пользы его царского величества от него, господина Лауса, больше не требует токмо одного миллиона рублей (тогда 1 000 000 рублей равнялся 6 миллион. франков) или по той же цене серебром в его царского величества казну» (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

Мало было в России таких счастливцев, вышедших на Божий свет в начале первой половины XVIII века или немногим ранее, у которых были бы такие родители и в особенности такой дед. Поэтому-то родитель позаботился об образовании попадающего теперь под перо мое князя Дмитрия Михайловича. Я узнал почти случайно, что он учился в Кенигсбергском университете во времена всесокрушающего философа Канта. Не таким бы, по всем вероятиям, следовало ему выйти на поприще жизни, каким я начал его помнить с 1817 г. и каким коротко знал до самой его смерти. Впрочем, нельзя отрицать и того, чтобы в его личности, в его уме, в его характере и даже его образовании не оставалось на всю жизнь никакого следа от семейных преданий и даже от его университетского воспитания. Единственного сына и своих двух дочерей[224] он ввел в сферу науки, и последние долго пользовались уроками лучших профессоров Московского университета. Фишер[225] учил их ботанике, Страхов физике, Шлецер чуть ли не политической экономии и даже жил у них. Сам же князь всякую науку держал от себя в стороне и постоянно молчал о том, что в своей юности входил в ее храм как студент одного из тогдашних лучших германских университетов. О Канте он даже и не упоминал. При всем том он нисколько ни в чем не похож был ни на богатого помещика, ни на потомка Рюриковичей, ни на сына и внука людей родовитых и чиновных.

Как бы нарочно в одном отношении параллельно, в другом отношении протестом вырастал под его родственным кровом родной племянник его Петр Яковлевич Чаадаев[226], своего рода знаменитость, преувеличенная современной на него модой.

Нелегко было вполне понять и определить ум и убеждения этого нашего соседа, хотя видал я его часто, когда самому мне было уже лет под 40. Князь Щербатов был человек преимущественно во всем сдержанный, опрятный, щеголеватый, чуждый ухваток и наших русских бар, и разных помещиков средней руки. Да, кажется, он с ними и не якшался, а жил более в тесном своем семейном кружке с тремя детьми, с сыном и двумя дочерьми, благосклонно допуская в свой дом некоторых родственников и посетителей гораздо моложе себя, которым он мог благоволить и ласково покровительствовать. Он никогда ничего из своей жизни не рассказывал, никогда не упоминал о своих современниках, о прежней своей службе, и я только перед смертью смутно начал догадываться, что он в молодости был в чужих краях, учился в Кенигсбергском университете, где одним из профессоров, как уже было сказано, был всесокрушающий Кант. Князь Щербатов решительно не говорил о том ни слова, впрочем, может быть, он и не знал его имени. Все эти подробности узнал я из статьи Жихарева о Чаадаеве[227]. Иногда, и то очень редко, случалось мне заметить из его разговора несочувствие к правлению императора Александра и резкое, хотя и сдержанное, в немногих словах выражаемое осуждение царствования Николая I. Последнее, впрочем, было и извинительно,

и понятно. Единственный его сын, очень образованный офицер старого Семеновского полка, кажется, уже после отставки вмешан был в семеновскую историю[228], находился под судом и выключен из службы. Оскорбленный отец потребовал, чтобы он все-таки служил. Его послали солдатом на Кавказ, где он и умер. Всякое ожесточение отца становится после этого понятным. Зять его, муж меньшой дочери[229], также бывший семеновский офицер, отдан был уже отставным под верховный уголовный суд за 14 декабря, где на площади его совсем и не было, и сослан в Сибирь за прежнее участие в тайном обществе. Из Сибири воротили его скоро и перевели в суздальский монастырь[230] с отмороженными ногами и в помещательстве. В этом заточении он скоро умер, и старик Щербатов пережил с лишком 20 годами и сына, и зятя. Князь был помещиком домовитым, по своему хозяйству не скупым или отсталым, напротив, с замашками и поползновениями вводить рациональные перемены и улучшения. С крестьянами же он был строг, хотя не был никогда капризно жестоким. По Серпуховскому уезду едва ли не у него одного из всех зажиточных помещиков околотка ссылаемы были люди с семьями на поселение. От него из серпуховского имения бегали в Крым и Одессу крестьяне. Надо заметить, что у нас до 20-х годов часто бегали туда крепостные. Такие побеги начались с покорения Крыма и основания Одесского порта. Известно, что весь край еще при Потемкине стал заселяться беглыми, которых правительство под рукой принимало под свою защиту. И из нашего Солнышкова и Чудинова убежали три или четыре семьи. Князь Щербатов был тоже предводителем и в самое критическое время, в 1812 г. Соседи, которые его почти все не любили, хотя и выбирали, рассказывали по секрету, якобы он в то время нисколько не смущался вторжением Наполеона, но будто бы его ожидал и готовился в Серпухове встретить. Я никогда этому не верил, тем более, что в то время родительское его сердце не было еще так жестоко поражено правительством. Рассказ мой о кн. Щербатове заключаю любимым ежедневным его выражением, дозволяющим мне догадываться, что оригинальный мой сосед не любил ни власти, ни народа, и всякий раз, когда ему не угодит в чем-нибудь самодержавие или чем-нибудь прогневает крестьянин, называл он и те и другие поступки всемилостивейшим разорением. Ко мне он был добр, и память его я храню с чувством искренней благодарности.

Итак, представим в заключение характеристики представителей этой семьи. Дипломат Щербатов, тесть историка, был воспитанник и сторонник Великого Петра, литератор и даже финансист, так сделавшийся для нас известным. Историк был строгий критик царствования Екатерины, пламенный своего рода патриот и, если не ошибаюсь, преданный сын православной церкви. Князь Дмитрий Михайлович, сын историка, не причастный науке, но уважавший ее для своих детей, завел у себя весь утонченный европейский комфорт, порядок и управление в своем хозяйстве и был равнодушен, чтобы не сказать более, к родине, к народу и к правительству. Его индифферентизм

к религии считал я, может быть, и несправедливо, следствиям влияния на него философских мнений XVIII века. Затем последняя и единственная отрасль этого рода по женскому колену, Петр Яковлевич Чаадаев, на воспитание которого в первые годы дядя имел влияние, был, по общему признанию, замечательный мыслитель, склонявшийся к католицизму и относивший к отсутствию у нас ультрамонтанизма[231] исторический наш строй. Умалчиваю о рано умершем сыне князя Дм[итрия] Мих[айловича] князе Иване, о котором можно, однако, сказать то немногое, что о нем знаю, т.е. указать на службу его в либеральном Семеновском полку, где до возмущения он был ротным командиром, на предание его суду и несчастный конец его на Кавказе.

Примеров жестокого обращения помещиков с крестьянами на моей памяти было не слишком много.

Во время предводительства моего отца в 1805 и 1806 годах боролся он как следователь против злоупотреблений помещичьей власти с богатым помещиком Жуковым[232], которого защищало губернское начальство, но отцу моему удалось, однако ж, отстоять крестьян. Дурными помещиками до моего времени считались два брата Дурновых[233]. В мое же предводительство очень дурные были: поляк Кушель и вдова сенатора Шешукова[234], у которых я по жалобе их крестьян производил как предводитель следствие, и еще один, некто Гижилинский[235], до которого я не добрался, потому что на него, хитрейшего хохла, жалоб ни тайных, ни явных от крестьян не было. Время моего короткого предводительства будет, надеюсь, самое интересное в моих «Записках», авось доживу до него, а теперь записываю мои сказания о последнем из соседних владельцев, стоящих внимания моих читателей.

Кроме большого и богатого села Семеновского на красивом берегу Лопасни, с двумя церквами, одной на высокой горе, другой на ее склоне в густом бору, служащей усыпальницей членов семейства графов Орловых, было еще другое село, также Семеновское, на живописном берегу Нары. Как первое прозвано было Отрадой, так, подобно ему, второе для отличия после названо было Раем. Само собою разумеется, что, кроме господ и духовенства, никто из народа и не подозревал этих причудливых и пышных названий, и невозможно до сих пор добиться от соседних крестьян, чтобы они указали проезжему, где тут Отрада или где тут Рай. Первым из обитателей этого Рая был украсивший его владелец, отставной гофмаршал времен Павла Александр Петрович Нащокин. Будучи ребенком, я застал там еще в живых престарелого его отца, доживавшего свой век у сына, полновластного уже хозяина. Рассказывали, что жена последнего была одною из первых петербургских красавиц[236], необыкновенно любезная и умная. Какую роль играл Нащокин при дворе Павла, мне неизвестно, но он с первого раза показался мне бойким придворным человеком, ласковым хозяином, любившим повествовать о лучшем времени своей жизни при дворе и о своих заграничных путешествиях.

Не один раз бывал он в Берлине и видал там Фридриха Великого[237]. Овдовев в первые годы царствования Александра, переселился он в эту деревню и, имея 5000 или 6000 душ, близ дома начал украшать свою подмосковную. У него было чрезвычайно много вкуса, много вначале денег, а еще более тщеславия. Церковь, построенная им в Рае-Семеновском, действительно, одна из самых изящных по селам, какие мне удалось видеть на Святой Руси. Наружная ее архитектура в итальянском стиле, с легким куполом и высокой красивой колокольней, которая не обезображивает, как это бывает часто с колокольнями, а красит все здание; отличается сверх того безупречной изящностью внутри. Нижняя церковь служит семейным склепом; в ней перед памятниками родителей Нащокина, вскоре умершего старика, которого я видел, и его жены[238], стоят иконы их тезоименитых святых, меня поразившие нигде не виданной мною странностью. Перед изображением апостола Петра живописец, конечно, по желанию владельца представил на коленях отца Нащокина в московском дворянском мундире с красным воротником и обшлагами, на полу видна шляпа с плюмажем: старик умер статским советником. Перед гробницей матери храмоздателя написана была на иконе перед одной из св. угодниц преклонных лет женщина, также на коленях, в пудре и старомодном платье с фижмами. Впрочем, это была только одна барская затея, которая портила хорошее впечатление на молящегося в этом изящном храме. Верхняя церковь, высокая, светлая, легкий купол которой поддерживался красивыми колоннами коринфского ордена из местного мрамора, особенно поражала изящностью иконостаса. Он был весь из чистейшего белого мрамора, добываемого в Карраре, и был привезен из Италии; местных образов было очень немного. Нерукотворный образ Спасителя, не очень большой, горел золотым окладом и не менял гармонии стиля и итальянской весьма хорошей живописи остальных образов. Местным образом Божьей Матери была копия известного в то время художника, исполненная в Риме с одной из Мадонн Рафаэля. Над царскими дверьми было сияние из желтого, необыкновенно чистого и толстого хрусталя. Хозяин уверял иных легковерных своих гостей, что сияние это было из янтаря. В одном из больших окон устроена была дверь на небольшой балкончик, с которого вид на красивое село, на реку Нару и за нею столетний бор был превосходный.

Архитектура барского дома была подражанием одной из итальянских вилл. Впоследствии были пристроены к главному дому две огромные залы для балов и спектаклей. Пристройка не нарушала симметрии, но в этом доме негде было жить удобно самому хозяину, который, впрочем, и жил только напоказ, для эффекта. Чего только у него не было! И очень порядочный оркестр из крепостных, с капельмейстером из немцев, понимавшим музыку, и домашняя капелла с удовлетворительными певчими, и целая труппа своих же актеров с

двумя очень красивыми и талантливыми актрисами и примадоннами. Вдовый хозяин заботливо воспитывал своих актрис; из них составлял он свой гарем.

Трое сыновей[239] не делали его счастливыми. Старший, красивый и храбрый лейб-гусарский полковник, рано умер; второй, штатский, от него отшатнулся; третий[240] выгнан был из гвардии, и только ходатайством вдовствующий императрицы Марии Федоровны возвращено ему императором Николаем право служить, и то на Кавказе армейским корнетом[241].

Много гостей приезжало к нему из Москвы, Серпухова и самых дальних окрестностей. Празднества его отличались большою изобретательностью и безукоризненным во всем вкусом. У него, между прочим, и только у него одного я видел прехорошенькие картинки, которые тут же на месте составлял какой-то художник из разных цветов песка, и всегда любовался рисунками его иллюминаций от дома к Наре по горе, обделанной террасами. С легкой руки Людовика XIV везде, сперва в Германии, а потом и у нас, завелись большею частью неудачные подражания этим версальским террасам, начиная с Петергофа, с дворцового сада Александрия в Москве до заросших и совершенно разрушенных террас, бывших когда-то дрянными садишками в деревушке Филчаковой возле Кузменок, от нас к Новоселкам, где во время оно я еще застал груду каменных развалин; принадлежащих какой-то г-же Зыбиной[242]. Этим клочком земли владеет теперь княжна Щербатова. И у нас в Михайловском не обошлось без террас, которых теперь никто, кроме меня, не знает и не отыщет. Наше подражание версальскому саду художника Ленотра[243] было устроено, и я сам не помню, как и когда, по горе к сажалке[244].

Мало-помалу разорился Нащокин, так что должен был терпеть нужду в вещах необходимых, и между тем все-таки давал праздники[245]. После 1812 г. открыл он небывалый в России способ разбогатеть и в то же время жить эффектно и постоянно на людях. В Рае-Семеновском отыскал он какой-то железный источник. Московский профессор химии Рейс[246] подверг эту воду химическому анализу, а некоторые из врачей определили их минеральную целительность. И вот нимало не медля, Нащокин принялся устраивать эти воды на заграничный манер, где также с выгодной стороны выказал много вкуса в постройках беседок и во всей отделке красивого местечка, где под легкой ротондой был обделан минеральный колодец. Воды вошли в моду, многие, и, к великому горю, мой отец, поверил их целебной силе, и я уже говорил в моих «Записках», как я вместе с Никольским и батюшкой прожил там недель шесть в опрятной большой крестьянской избе. Отец мой пил эти воды в июле и августе, но так неудачно, что, сильно расстроенный ими, приехал в Москву в сентябре и в последних числах следующего месяца кончил жизнь. Мало пользы принесли эти воды их изобретателю и хозяину. Они скорее довершили его разорение: ожидаемой им широкой известности воды не получали, а постройки всякого рода стали дорого. Вместо больных приезжали к Нащо-

кину гости нахлебники; иной, как, напр., бригадир Исленьев[247], прозванный Тюльпаном[248], переселился к Нащокину на его хлебы на девяти лошадях с прислугой из полдюжины слуг и с 3-мя или 4-мя дочерьми невестами, которые вместе с отцом надеялись набрести там на женихов. Действительно, туда являлись, когда я там был, два прекрасных раненых офицера 1812 года, безруких, из хорошего рода, с состоянием и воспитанием: кавалерийский ротмистр Бибиков, бывший при императоре Николае министром внутренних дел, и какой-то чрезвычайно красивый кавалерист граф Татищев[249]. Лет через пять, с 1820 г., прекратилось совершенно существование этих вод. Хозяин Рая-Семеновского старел, беднел, жил в одиночестве, но все еще предводительствовал и зазывал кой-каких из Серпухова купцов и угощал их до положения риз[250].

Оставшийся после него в живых один сын, Петр, прослужил, или скорее прогулял, на Кавказе недолго. Женился он[251] на одной из Еропкиных[252], очень доброй женщине, и поселился в своем Раю; там предался он псовой охоте, с нею и с роговою музыкой разъезжал по уезду[253].

В августе 1823 г. и, как теперь помню, 4-го числа, отправился я в дальний путь по знакомой дороге через Киев, Радзивилов к месту моего назначения. С главным моим имением, с нашею кормилицей, как называл Михайловское покойный мой сын Николай, расставался я на неопределенное время с некоторою грустью и почти со слезами простился с оставляемой там мною семьей Тарасовых.

Между Радзивиловым и Лембергом встретился я с одним молодым человеком, слегка пораженным параличом: то был Николай Федорович Бахметев[254], такой же москвич, как и я. Он был в военной службе, и мне встречать его в Москве не удавалось, а слыхал я о нем много хорошего от общих наших знакомых Львовых, и потому я сейчас же поспешил навестить его, приехавшего в какую-то гостиницу. Дальше на дороге где-то настиг я шумливого московского, знакомого мне и по Петербургу, полковника Григория Корсакова[255], который бесился на австрийцев и ругал их придирчивые таможни: от самой границы до Вены подвергался он раза три таможенному осмотру именно за то, что на каждый вопрос досмоторщика всегда отвечал он крупною бранью; у него перерыли весь чемодан в самой Вене.

В этом городе, мне совершенно не известном, пробыл я, кажется, дней пять или с неделю. Мне надобно было явиться в посольство, которым управлял тогда дальний мой родственник Обресков, бывший потом в Персии при князе Паскевиче и умерший министром в Неаполе[256].

Пришлый со стороны в Министерство иностранных дел и не умевший по неловкости и застенчивости стать твердо на ноги в этом ведомстве, я не имел никакого понятия о заведенных издавна в нашем дипломатическом мире порядках и обычаях и, наделав много глупостей в Петербурге перед моим отправлением на службу, сделал самую крупную глупость в Вене. До сих пор

я от нее краснею и никому не рассказываю, ощущая в себе тяжкое угрызение совести, как будто бы дело шло о каком-то преступлении или проступке, и все оттого, что в общественном отношении быть смешным или неприличным гораздо хуже, чем быть порочным. Мне пришло в голову соблюсти при первом представлении какому-либо посольству строго парадную форму. Вот и вырядился я в белые штаны и шелковые чулки, что было действительно формою парадной, но бальной. Обресков принял меня с изумлением, как какую-то чучелу. Дмитрий Павлович Татищев[257], знаменитый наш дипломат того времени, слава Богу, меня не принял; являлся же я к нему потому, что последний считался при особе австрийского императора, так как посла от Австрии у нас не было[258].

В это самое время, т.е. в последней половине 1823 г., Татищеву было поручено вести в Вене переговоры с Меттернихом по восточному вопросу после того, как он вместе с графом Нессельроде много содействовал удалению от императора Александра гр. Каподистриа. В Вену перевели его из Мадрида, где Дмитрий Павлович успел подчинить своему влиянию слабоумного Фердинанда VII и тем возбудил против себя зависть других при этом дворе агентов. Русские либералы Татищева не терпели, как закадычного друга Меттерниха, но, упоминая его имя, следует вспомнить прекрасную черту его характера, пример благородства и независимости, которому последовали у нас весьма немногие. Несколько раз предлагаемо ему было графское достоинство, он не согласился принять титул, ссылаясь на то, что Татищевы происходят от смоленских удельных князей, хотя и не пользуются вместе со многими захудалыми Рюриковичами княжеством. Чтобы этот отказ увековечить, для своего герба под княжеской мантией принял он в девиз надпись: «Не по Грамоте»[259]. Во время пребывания своего в Вене, а вероятно, и в Мадриде, Татищев, не имея сам по себе большого состояния, жил чрезвычайно пышно, и правительство не один раз приходило ему на помощь[260]. В этом отношении он хотя и не мог сравняться с предместником своим князем Андреем Кирилловичем Разумовским[261], первым нашим полномочным послом на Венском конгрессе, который имел свои собственные палаты и построил мост в столице Австрии, доселе известный под его именем, но и Татищева в Вене еще помнят как представителя России, поражавшего своим великолепием.

Я позволяю себе обратить особое внимание на эту отличительную черту всех наших при главных европейских державах агентов, которые носили чисто русское имя, принадлежали к знатным фамилиям. Таким был, наприм., князь Куракин[262] при Наполеоне I в Париже, о коем я расскажу некоторые подробности далее, говоря о Крюднере[263]. О преемнике его, графе Петре Александровиче Толстом[264], и о его щедрости расскажу один пример. Придворному французскому вознице, который привез ему подарок Наполеона I – карету и четверню лошадей, дал он, по-нашему, на водку или на чай 50 тыс. франков.

О Татищеве же приведу следующее. Однажды давал он обед австрийским чиновникам и дипломатическому корпусу. Приехавший к столу князь Меттерних выразил свое сожаление о том, что в этот же вечер английский или французский посол должен по семейному трауру отказать у себя бал, не имея времени дать знать приглашенным, что бала у него не будет, что, прибавил Меттерних и другие, будет очень обидно всему обществу. «Все это можно поправить, – отвечал хозяин Татищев, – если вы согласитесь, – обращаясь к князю, – принять мое предложение и согласно с ним распорядиться: прикажите вашей полиции отсылать ко мне всех приезжающих к послу, дающему бал. Мы живем так близко друг от друга, а общество у нас одно». Все остались очень довольны, Татищев тут же за столом объявил своему мажордому, чтоб все было к балу готово, и праздник был великолепный. Современники Татищева в Париже и Лондоне граф Поццо-де-Борго и князь Ливен[265] не обременяли своими долгами правительство, но зато и не представляли его с таким достоинством[266]. Хотя я и враг всякой роскоши, но для дипоматов делаю исключение, находя ее уместной, и сожалею, что в наше время скорее копят остатки из жалованья, нежели издерживают его на поддержание достоинства представляемого ими правительства. Теперь, как кажется, один князь Орлов[267] любит и может подражать примерам доброго старого времени[268].

У Обрескова с Татищевым провел я вечер. Мне предлагали с ним партию в вист, но я и тут одурачился, отказавшись из брезгливости играть по червонцу point*. Меня заменил подъехавший князь Горчаков Андрей Иванович[269]. Зато и Татищев, и Обресков не обратили уже на меня никакого внимания, и весь этот вечер прохлопал я глазами.

Осмотревшись в Вене и побывав в ее окрестностях, пришел я опять в посольство для прописания моего паспорта. Мне дали курьерский до места, а до Мюнхена отправили со мной огромный пакет или, лучше сказать, посылку к нашему послу графу Воронцову[270]. Если бы я не наделал в Вене таких глупостей при моем появлении, то очень легко мог бы остаться с помощью Обрескова подольше. Мы сочлись с ним родством, особливо о имени моей родной, а его двоюродной тетушки Марьи Васильевны, но, убедившись не в особенном расположении ко мне всего посольства, я решился поневоле оставить понравившуюся мне Вену, город самый оживленный и веселый, осмотрев великолепный Шенбрунн, Лаксембург с его небольшим старинным замком в рыцарском вкусе и минеральные в Бадене, под Веной, воды. На прощанье Обресков рекомендовал хранить как зеницу ока его официальную экспедицию, т.е. пакет с депешами, иметь его всегда на глазах, как какую-нибудь святыню, и в Мюнхене прямо, никуда не заезжая, вручить его послу Воронцову-Дашкову. Только гораздо после догадался я, что такими строгими

---

* очко (*фр.*).

наставлениями Обресков поднял на смех мое педантство. Хорошо еще, что я надоумился, приехав за полночь в Мюнхен, не будить нашего министра и не лезть ему с пакетом прямо на глаза и, остановившись до утра в мюнхенской гостинице, отложить мое представление и вручение до более приличного часа.

Поездка моя курьером из Вены до Мюнхена оказалась не совсем выгодною для моего кошелька. Вместо пары потребовалось брать три лошади и платить более почтовых прогонов, чем обыкновенно. Зато курьерский мой паспорт освободил меня от всех платежей chausspflaster и Torgeld*. Такое право, однако, добыл себе я с бою. При первой дорожной заставе страж, не поднимая шлагбаума, требовал платы и продолжал задерживать, просмотрев паспорт; по обычаю, он был на русском и на французском языках, неизвестных, конечно, взимателю этой скучной подати. Я настаивал, он бранился и выпустил из своих рук только тогда, когда я, записав карандашом на паспорте час моего прибытия к заставе, уверил его, что останусь за шлагбаумом, сколько ему угодно будет меня продержать, и что он за свое сопротивление будет сменен. Он, наконец, махнул рукой и, не пожелав мне Glückliche Reise**, пропустил. Я торжествовал мою победу, потому что если бы с первого раза ее проиграл, то мне бы пришлось поплатиться и на всех других заставах почтенною моих дорожных расходов суммою. Хотя немецкие почтальоны тех годов возили вас и тихо, обыкновенных путешественников в своих экипажах по одной миле, или по 7 верст в час, а курьеров с побуждениями, впрочем, на словах, согласно с Положением, по 10 верст в час, но уже неизвестное тогда русским шоссе было само по себе большим для меня утешением, а немецкие почтовые гостиницы, которых нечего сравнивать с нынешними, отличались от всех наших всевозможными удобствами и приятностями.

В Мюнхене часов в 10 утра отвез я графу Воронцову мой пакет, с которым возился всю дорогу, вынося его из экипажа в каждую гостиницу, именно храня его целость, яко зеницу ока. Глупой моей ошибки с костюмами в Вене я там не понял и опять, как дурак, нарядился. И опять подивился мне, как чуду, подобно Обрескову, Воронцов, а открывая посылку, на извинения мои, что не осмелился будить его ночью, захохотал громким смехом, открыв старые русские журналы и газеты. Но Воронцов был добрее и радушнее Обрескова, на этот же вечер пригласил меня в свою ложу, а также и обедать на все время пребывания моего в Мюнхене.

Тут же познакомился я со старшим секретарем, безруким бароном Крюднером[271], который после был женат на побочной сестре императрицы Александры Федоровны, вышедшей после вдовства за графа Адлерберга[272],

---

* мостовых и въездных (*нем.*).
** Счастливого пути (*нем.*).

и возобновил еще университетское мое знакомство с поэтом Федором Тютчевым, отцом Аксаковой[273]. С ним я в продолжение трех или четырех дней осматривал музей, бывал в театре и вечера оканчивал у него*.

В 1823 году в Баварии царствовал первый[274] ее король Максимилиан[275], возведенный в королевское достоинство Наполеоном из немецких курфирстов. Много ходило рассказов о его веселом и шутливом обращении, о его нелюбви к придворному этикету, о том, как он любил покушать и выпить, особливо пива. Он, если не ошибаюсь, служил сперва во Франции, потом княжил в небольшой землице Цвейбрюкен, принадлежавшей младшей линии Баварского дома, разъезжал по немецким минеральным водам и наводил ужас, как сказывали, на посетителей в Карлсбаде. «Бывало на утрени, – рассказывал мне один немец в 1857 году, – встретит его королевское величество кого-нибудь из знакомых ему, проглотивших не один стакан шпруделя[276], схватит за пуговицу и начинает разговор. С тем делаются судороги от боли в желудке, а он все держит за пуговицу и все беседует. Наконец такое мучение становится нестерпимым, и король милостиво, заметив это на лице им придержанного, на всю толпу гуляющих, отпуская его, кричит: «Ну, теперь бегите, бегите как можно скорее». Все хохочут, и король первый. Оно хотя и забавно, а в этой глупой шутке видна забава царская, самодержавная. Ничего подобного никем уже из венценосцев не делается.

Мюнхен того времени не был еще изукрашен великолепными зданиями музеев с памятниками различных искусств – статуями и торжественными воротами. Все это настроил, воздвиг, собрал и выставил напоказ Европе сын Макса, король-поэт[277], попавший на удочку прельстившей его известной танцовщицы Лоллы Монтес[278], которую возмутившиеся против пивного закона баварцы выгнали из столицы. Вскоре за нею удалился и король-стихотворец, отрекся от престола и умер, как отшельник-артист, в Риме[279].

Мюнхен и в то время был одной из первых столиц Германии, после Вены и Берлина третьим городом. Дипломаты жалуются, однако, на сильные в нем холода. Из него выехал я через Аугсбург в Констанц, принадлежащий Баденскому герцогству. Там и тогда все напоминало о сожженном на соборе сла-

---

* В Баварии гораздо менее, нежели в других частях Германии, начали в то время (в 20-х годах) развиваться революционные начала. Там царствовал ультрамонтанский католицизм, господствовали бароны феодалы и добрый, конечно, нисколько не либеральный, но очень популярный первый король. Все это узнал я, проспоривши вместе с Тютчевым целый вечер с одним из второстепенных, хотя и замечательных депутатов Баварских штатов. Наши с Тютчевым религиозные убеждения и политические мнения приводили его в неистовство, а политическое мнение о том, что не только народная интеллигенция, но и весь народ имеет право участвовать в правительстве, представлялось этому барону, феодалу католику, равносильным с учением французского террора; он отстаивал вопреки нам наше крепостное право. Наша же веротерпимость казалась ему атеизмом (*примеч. Д.Н. Свербеева в редакции С.Д. Свербеевой*).

вянском мученике Иоганне Гусе, первом реформаторе, которого наши славянофилы хотят католикам чехам выдать за православного. Мне припомнились тут два о нем выражения, одно – самого Гуса, сказанное им уже стоящим на костре об одной простодушной, богобоязненной старушке, которая, набравши щепочек, подкидывала их на костер, как лепту православного своего усердия. «Sancta simplicitas»*, – сказал он, обратив на нее умирающие взоры. Другое выражение, также собственно Иоганна Гуса, передавал нам, студентам, наш забавный профессор церковной истории Мих. Матвеевич Снегирев следующими словами: «Теперичко жарите вы гуся, но прилетит к вам лебедь, того не зажарите». Иоганн Гус действительно так выражался со своего костра, но, вероятно, не употреблял любимого профессорского слова «теперичко». Тут припомнил я и простодушное невежество мое того времени: нисколько не подозревал я, что богемец Гус был чех и славянин. Долго не понимал я, почему немецкий Гус заговорил о лебеде, предсказывая в нем Лютера[280].

Приближаясь к Констанцскому озеру, я уже мог восхищаться восторженно любимыми мною снежными Альпийскими горами. В пределах Швейцарии въехал я в маленький городок, столицу кантона Шафгаузен, и нашел башенные его древние ворота запертыми. Меня взволновала непостижимая дерзость маленького городишка перед курьером могущественной Всероссийской империи. Стража на мои требования отворить ворота не уступала. Разгневанный, выскочил я из своей коляски и чуть ли не с поднятыми кулаками налетел на старшего из стражей. Убежденный мною, он предложил мне идти в Дом-Кирхе, или соборную церковь, где верховный правитель города и кантона, бургомистр, слушал вместе с жителями проповедь и держал на это время ключи от трех или четырех въездных в город ворот, которые все по обыкновению и в этот воскресный день были заперты на все время отправляемого богослужения. «Впрочем, – почтительно доложил он мне, взглянув на часы, – не успеете вы дойти до собора, проповедь кончится, и ключи от наших ворот будут присланы бургомистром. Не угодно ли вам дойти до лучшей нашей гостиницы, которая отсюда близехонько, дойдите пешком. Экипаж ваш немедленно за вами приедет». Меня, запыленного пешехода, приняли как нельзя хуже, лучше сказать, совсем не приняли. Один из самых последних кельнеров, заспанный, лениво отвечал мне, что вряд ли найдется для меня комнатка, разве во дворе, и то в третьем этаже. Я этому поверил: в конец августа или в первых числах сентября и тогда уже было нашествие на Швейцарию англичан; но не успел я подняться на указанное мне поднебесье и бегло взглянуть на отведенную мне скромнейшую из всех комнат, как послышались по высокой лестнице ускоренные шаги трех служителей и впереди их униженно преклонившегося передо мною самого хозяина отеля с извинениями, что он, не ведая моего

* «Святая простота» (*лат.*).

«характера», не отвел мне приличного моей особе «аппартамента». Три кельнера понесли за мной, кто мою шинель, кто мой зонтик и шляпу, а сам хозяин растворил мне просторные две комнаты в первом этаже с прелестным видом на Рейн, стремящийся тут, под окнами, к великолепному своему водопаду[281]. По предложению хозяина я предоставил ему, не спрашивая цены, угостить меня прихотливым обедом, а сам пошел созерцать этот водопад, перед которым за четверть века прежде становился на колени умиленный до слез этим величественным зрелищем чувствительный русский путешественник Карамзин[282].

Таково было мое вторичное вступление на швейцарскую землю, на то служебное поприще, которое я считал за нечто знаменательное, а оно на самом-то деле было одно из ничтожнейших.

Нелегко по прошествии почти 50 лет оживить и собственно для себя тогдашние свои впечатления, однако, постараюсь[283]. Но чтобы привести их в постепенный порядок, я должен поневоле воротиться назад и начать мою повесть издалека.

Я уже упоминал в моих «Записках» о том моем положении младшего чиновника нашего посольства в Швейцарии, которое сложилось обстоятельствами, от меня не зависевшими, говорил о довольно странных отношениях моих к влиятельным лицам бернского правительства, в коем участвовали тогда одни патриции. Почти со всеми с ними, несмотря на разницу лет и мое скромное положение, сошелся я потому, что ежедневно посещал их аристократический круг (la grande société)* и играл с ними в карты. Часто до игры и между партиями беседовали они между собою о своей швейцарской и вообще о европейской политике. Видя меня ежедневно, они ко мне привыкли, как и я к ним. Мало-помалу вводили они и меня в свои разговоры, и не скоро заметил я, что они меня, так сказать, щупали, пытали и испытывали. Начальник мой, барон Крюднер, жил с ними дружно, но бернские аристократы видели в нем искусного дипломата, все еще зараженного либерализмом, и понимали в нем такого чиновника русского посольства, который, находясь еще при гр. Каподистрия, действовал вместе с ним против швейцарской аристократии вообще и бернской в особенности; последняя, по влиянию гр. Каподистрия на императора Александра, вынуждена была выпустить из своих железных рук подвластные Берну Ааргау и Ваатланд (Pays de Vaud**). Conservateur né***, я им понравился, мои юношеские убеждения пришлись им по сердцу. Барон Крюднер, слыша от них хорошие обо мне отзывы и узнав через них же ультраконсервативные мои убеждения, со своей стороны, начал понемногу мною пользоваться, меня эксплуатировать, и так искусно, что я не скоро догадался,

---

* высшее общество (*фр.*).

** Земли кантона Во (*фр.*) – французский вариант названия Ваатланда.

*** Прирожденный консерватор (*фр.*).

какую роль заставлял он меня разыгрывать. В небольшом городке и еще в меньшем кружке высшего общества, состоявшего из дипломатов и лиц правительства, все видаются между собою почти ежедневно, знают друг друга насквозь, и, как бывает всегда, каждый преувеличивает свое о другом мнение. Все, как бывает опять всегда, смотрят на людей своего кружка то в увеличительное, то в уменьшительное стекло: в сочувственной себе личности увеличивают добрые свойства и хорошие ее стороны, во враждебной их уменьшают и почти сводят, по простонародному выражению, совсем *на нет*. Мне в этой среде дипломатов-консерваторов более поневоле, чем по искреннему убеждению, и туземцев аристократов, заклятых врагов либерализма, сразу посчастливилось. Я прослыл между ними молодым человеком нравственным, строгим к самому себе по своему поведению и каким-то образчиком русского консерватизма. До меня доходили даже рассказы обо мне набожных пиэтисток[284], что будто я приготовляю себя к званию священника. Так догадывались русские бернские барыни, потому что я носил коротко обстриженные волосы и не любил никакой пестроты в одежде. Предполагаю, что насмешливый и не совсем хорошо расположенный ко мне секретарь посольства Фурман[285] своим молчанием подтверждал их обо мне предположения. В шутку говаривал я и сам Фурману, что завидую нашему бернскому священнику: живет он в великолепном живописном замке, кроме служб по воскресеньям, дела у него нет никакого (тогда еще к заграничным нашим священникам не приставали наши набожные путешественники с разными молебнами и панихидами). «Я бы, – говорил я не один раз Фурману, – охотно согласился занять место на всю мою жизнь отца Разумовского, если бы возможно было быть попом и секретарем посольства с двумя жалованиями и если бы не было необходимости сейчас же при посвящении жениться; завести попадью, сколько-нибудь приличную и удобную, нелегко». Мимолетные мои мечты так и остались, но сделались предметом обо мне толков и рассказов.

Надо сказать, что все иностранные министры в Берне, французский посол marquis de Mouthier и посланники: австрийский – генерал Шраут, прусский – граф de Meuron, сардинский – chevalier Basin, баварский – chevalier d'Olri, испанский – Мон, неаполитанский герцог Кастельчикала[286], – все принадлежали той европейской политике, во главе которой стоял Меттерних и основанием коей были торжественно провозглашенные императором Александром мистико-политические начала Священного союза. Один представитель Великобритании, Mr. de Waughan[287], был между ними исключением и стоял от них в стороне. Он во всех случаях и действовал, и выражал свои мнения согласно тому либеральному направлению, какое высказывалось повсюду сент-джемским кабинетом[288], во всем противоположным венскому и нашему петербургскому. Затруднительное положение Крюднера, либерала в душе и защитника принципа Священного союза по обязанности, облегчалось тем, что этот наш

поверенный в делах, самый последний из всех министров по своему иерархическому между ними положению, был глух, редко посещал общество, не вступал в разговоры и только играл в большую игру. В Швейцарии его любили за то, что он был искренен и простодушен, и преимущественно за то, что он обжился в этой стране и сам любил ее. Мои дипломаты и аристократы боялись его как опасного либерала и подозревали в нем красного волка в белой овечьей шкуре, сшитой по выкройке Меттерниха.

Впрочем, политика того времени императора Александра, что бы о ней ни говорили, нося в себе все неудоборазумеваемые начала Священного союза, была несравненно увереннее политики Меттерниха. Петербургский кабинет и его агенты во Франции искренно отстаивали неприкосновенность Конституционной хартии[289]; в Испании советовали Фердинанду VII сдерживать свой неистовый абсолютизм и кровожадную мстительность за восстание против него кортесов; в Италии – амнистию бунтовщикам; в Турции – умеренность относительно восставших греков и, наконец, в самой Австрии убеждали Меттерниха не поднимать слишком отчаянной, слишком решительной борьбы с духом времени и с общественным в Европе мнением.

Крюднер зорко наблюдал за всеми действиями крайнего абсолютизма, сеиды[290] коего ходили между нами в лице французского посла, баварского посланника chevalier d'Olri, которого подозревали, и едва ли не справедливо, что он был более шпионом Меттерниха, чем министром Баварии. Барон Крюднер, не только не мешал моему сближению с начальниками миссий и с некоторыми членами Бернского совета, но, напротив, часто советовал не пропускать ни одного обеда у министров и ни одного вечера у бернских патрициев. Ему нужны были всевозможные сведения о разных толках в этом обществе, которые он по глухоте своей сам собирать не мог. К тому же он знал, что никто в этих кружках не скрывал от меня своих политических надежд, желаний и стремлений. Один раз совершенно случайно удалось мне приобрести особенное благоволение французского посла маркиза де Мутье – ультрароялиста, сторонника графа д'Артуа, впоследствии Карла X, который еще до воцарения своего вел тайно от дряхлеющего брата своего Людовика XVIII интригу против французской хартии и надеялся восстановить неограниченную монархию во Франции. На зимние месяцы приезжала женевская труппа актеров и играла в небольшом грязном театре два раза в неделю. Дипломатический корпус имел свою довольно обширную ложу. От нечего делать, чтобы где-нибудь и как-нибудь убить время в длинные и скучные вечера, в нее сходились все дипломаты от французского посла, старшего из них, до нашей братии, attachés aux légations*. Тут бывала и единственная наша дипломатическая дама madame de Meuron[291], еще не старая и свежая, со своей хорошенькой племянницей m-elle de Rœder и ее подругой m-lle Meissner. Маркиз

---

* атташе миссий (*фр.*).

де Мутье был предметом общей ненависти за свою надменность и слишком вольное обращение с женщинами. В спектакле 21 января, не помню какого года, все были в сборе, кроме маркиза; он как бы нарочно пришел позднее. Появление его в ложу встречено было всеобщим изумлением и косыми взглядами. Я в тот день обедал в прусском посольстве, и там между прочим все мы вспомнили, что это была годовщина всенародной казни Людовика XVI, что вся Франция отправляет официальные о нем поминовения и покрывается в этот день трауром, что в Париже все театры заперты и проч. Как ни надменен был маркиз де Мутье со всеми, но тотчас же заметил особенно враждебную от всех встречу и, вместо того чтобы сесть в свои кресла рядом с прусскою посланницей, приютился на последней скамейке нашей семьи к своему юному приятелю, т.е. ко мне: «Qu'est-ce-donc? Que veulent dire ces regards et cet accueil?»* – сказал он мне шепотом. «Monsieur l'Ambassadeur, veuillez bien m'excuser», – сказал я ему на ухо, – «mais il parait que Votre Excellence a oublié que c'est le 21…»**. Я еще не договорил, он закрылся обеими руками и, как угорелый, выскочил из ложи. На другой день ранним утром получил я от него прелюбезную пригласительную записку обедать у него запросто. Кроме меня, обедал еще один баварский министр chevalier d'Olri, своего секретаря Буркене[292], впрочем, для него весьма неприятного, он под каким-то предлогом на этот день от себя удалил. Кстати тут рассказать о странном обычае двух иностранных дипломатов в Берне, французского и австрийского. Они оба обязаны были давать стол своим секретарям и в мое время оба, будучи в открытой вражде с ними, ежедневно обедывали, когда не было гостей, не произнося друг с другом ни одного слова. У нас, по счстью, этого обычая нигде не было. Зато мы и наговорились вдоволь, и я наслышался таких откровенностей обо всем, что желали и надеялись, к чему стремились тогдашние ультрамонтаны и ультрароялисты и всевозможные защитники абсолютизма. Ни много, ни мало, дело дошло до того, чтобы уничтожить конституционную хартию во Франции, чтобы поддержать в Испании силою французского оружия и ценою испанской крови деспотизм Фердинанда VII, чтобы занять всю Италию австрийскими войсками, чтобы во всей Германии, начиная с Пруссии, уничтожить навсегда попытки в пользу всех возможных конституций, обещанных немцам их крупными и мелкими владетелями, чтобы уничтожить везде свободу печати и истребить всякое свободомыслие, обратив особенное внимание на немецкие университеты*** [293], где этот злой дух, несмотря ни на

---

* «Что же это? Что означают эти взгляды и этот прием?» (*фр.*)

** «Господин посол, прошу меня извинить… но, кажется Ваше превосходительство забыли, что сегодня 21-е…» (*фр.*).

*** Немецкие университеты, исключая австрийские, сделались страшным пугалом Тройственного союза и всех больших и малых владетелей Германии, особенно со времени Ахенского конгресса в 1818 г. В это время чиновник канцелярии гр. Каподистрия, близкий его сердцу

какие усилия правительств, слишком часто проявлялся. Я, конечно, больше молчал и внимательно, с каким-то испугом слушал моих двух зловещих собеседников. Inter pocula, entre la poire et le fromage*, разговор их длился до позднего вечера. Если память мне не изменила, то, кажется, договорились они до того, что или явно обнаружили или дали мне подозревать, что не только на европейском континенте, но даже в самой Великобритании существуют тайные общества, скрытно действующие против свободы народов, и что между ними существует повсюду тайная связь адептов-заговорщиков[294] в обратном смысле. Одним словом, абсолютисты с своей стороны действовали во имя деспотической власти точно так же, как противники их карбонары работали во имя свободы. Пособниками первых были иезуиты; нам было уже известно, что одним из них был jésuite en robe courte**, баварский посланник chevalier d'Olri, мой собеседник. Посол, отпуская меня, повторил, что все это, конечно, между нами, и еще раз, обняв меня, уверял, что никогда не забудет той услуги, которую я ему оказал, напомнив ему роковой для Франции день.

За воспоминаниями о после необходимо вспомнить и тогдашнего его секретаря, короткого моего приятеля Буркене, ни в чем не похожего на своего начальника. Умерший в Париже в конце 1869 года граф Буркене довольно

по своему восточному происхождению, равно как и по религиозным и политическим убеждениям, составил для императора Александра меморию о враждебном направлении всех университетов, упрекая их в безбожии и в духе противления всякой предержащей власти, установленной Богом. По приказанию нашего государя «Записка» Стурдзы на французском языке напечатана была только для одних государей и членов Ахенского конгресса. Немногие ее экземпляры выкрадены были из типографии либералами и пущены в ход между студентами. Те из них, которые узнали настоящее имя автора, вызывали на дуэль Стурдзу, долго его преследовали и отыскивали по отелям на его возвратном пути в Россию. Известный своими остротами князь Меншиков надписывал в то время на дверях своей комнаты в отелях Германии: «Sturdza wohnt nicht hier» [«Стурдза живет не здесь» (*нем.*)]. Другие студенты прирейнских университетов наклепали составление этой «Записки» на старика Коцебу, известного в свое время драматического немецкого писателя, вызванного в прошлом столетии в Россию, сосланного Павлом в Сибирь и поселившегося потом в Германии на нашем содержании, данном ему за напрасные гонения, с обязанностью быть нашим литературным у немцев агентом. Студент-фанатик Зандт убил Коцебу вместо Стурдзы, и Пушкин, скажу мимоходом, написал на обоих злое [в рукописи добавлено: «и в высшей степени недостойное» (ФС. Д. 13. Л. 91)] четверостишие. К сильнейшему раздражению против университетов царствовавших и господствовавших особ послужило новое убийство студентом какого-то юстиц-рата или профессора и студенческая сходка на празднестве близ Франкфурта, в Гамбахе, где праздновали Лютера и реформацию с возмутительными тостами и спичами (*примеч. Д.Н. Свербеева, составляющее в рукописи часть основного текста* (Там же. Л. 90 об.–91)). Об упомянутых здесь лицах см. примеч. 293.

* за рюмкой, за десертом (букв.: между грушей и сыром) (*лат., фр.*). – начало фразы по-латыни, конец – по-французски.

** иезуит в коротком (светском) платье (*фр.*).

известен как замечательный французский дипломат того времени. Он был послом Наполеона III в Константинополе и потом в Вене и в последнем городе принимал деятельное участие в конференциях, бывших там перед началом Крымской войны, на коих с нашей стороны так неуспешно боролись со всей Европою представители России: теперешний государственный канцлер князь Александр Михайлович Горчаков[295] и член государственного совета Владимир Павлович Титов. Моим воспоминаниям о Буркене принадлежат молодые его годы и начало его дипломатической карьеры[296]. Отец Буркене[297] находился в дружеских связях с г. Бертен старшим, главным издателем «Journal des Débats». Даровитый сын его вследствие таких связей по окончании своего образования в Collège de France[298] познакомился с влиятельнейшими доктринерами и умеренными роялистами времен реставрации: виконтом Шатобрианом, Hyde de Neuville, Гизо и прочими. Со вторым из них отправился он в Соединенные Штаты как attaché французского посольства, оттуда перевел его Шатобриан младшим секретарем своего посольства в Лондон. В октябре 1822 года по делам Греции, Италии и Испании были обсуждаемы на веронском конгрессе меры к подавлению всех вообще революций. По влиянию графа д'Артуа решено было отправить в Испанию французские войска на защиту Фердинанда VII, и предложивший такое вмешательство Франции, intervention в дела чужой державы, Шатобриан, с согласия императора Александра, получил портфель Министерства иностранных дел, но сохранил его ненадолго. Казалось, трудно было бы найти во всей Франции другого, подобного Шатобриану, защитника законной монархии, но и знаменитый этот писатель навлек на себя подозрение ультрароялистской партии благоразумною умеренностью своего легитимизма и был самым грубым образом выгнан из Министерства иностранных дел[299]. Буркене должен был оставить Лондон и в 1823 г. назначен был вторым секретарем в Берн, где маркиз де Мутье, отчаянный роялист, назначен был послом вместо добродушного графа Талейрана, родного племянника известного политического хамелеона[300]. Удалению сего простодушного дипломата много содействовало то, что этот добряк предлагал всем престранное в его положении пари, оговариваясь, впрочем, что он держит его не как ambassadeur de France*, а просто как граф Auguste Talleyrand. «Французские войска, отправленные в Испанию, – говорил швейцарский Талейран, предлагая пари, – никогда не возьмут Мадрид». Мадрид был взят, а посол был отставлен.

В Берн приехал я в 1823 году почти в одно время с Буркене и коротко с ним познакомился. Он никогда не умел, а может быть, не хотел прятать свои умеренные политические мнения, противоположные убеждениям посла, при котором находился, открыто и в нашем дипломатическом кружке, и в обществе

---

* посол Франции (*фр.*)

порицал своего начальника, называя его отчаянным абсолютистом школы иезуитов. Переписывая депеши маркиза де Мутье из Берна в Париж в смысле ультрамонтанов и роялистов, он в то же время вел от себя переписку с представителями других начал и не только обнаруживал перед ними все замыслы своего патрона, но и в весьма невыгодном свете выставлял его характер и его политическое и общественное поведение. Буркене с самого приезда особенно подружился с первым секретарем нашего посольства Фурманом, который, со своей стороны, был заражен русским либерализмом. Оба они жили в одном доме, француз в четвертом этаже, Фурман внизу в rez de chaussée*. Под предлогом, что Буркене было слишком высоко лазить к себе по несколько раз в день, он перенес к Фурману свой письменный стол, часто у него работал и текущие свои бумаги оставлял запертыми в своем бюро. Мы с Фурманом не очень-то верили словам француза, думая, что он предпочитает писать не у себя дома, потому что боится, как бы его принципал не выкрал подкупом тайной его переписки. Обо всем этом узнал Крюднер и почти ежедневно повторял при мне Фурману, как бы любопытно и даже как бы полезно было для нашего кабинета кое-что узнать из такой довольно резко противоположной официальной корреспонденции посла к своему двору и частной переписки секретаря, врага первого и сторонника противных убеждений. Как Фурман, так и я соглашались с Крюднером, что действительно было бы очень любопытно узнать кое-что из подобных корреспонденций...[301]

Такими-то разными путями, то из откровенных бесед, то из пересмотра чужой корреспонденции приходили в наше посольство те многосторонние сведения о ходе европейской политики, которые, будучи обработаны искусным дипломатическим пером Крюднера, читались с большим интересом в Петербурге графом Нессельроде и самим императором Александром. Начальник нашей миссии мастерски писал свои депеши и одним этим держался на своем месте и получал за свою деятельность, если не чины и ордена, на которые для него скупились, то по крайней мере денежные пособия. Он в Петербурге считался либералом[302]. Ему в особенности нужно было выйти из того ложного положения, в которое он себя поставил на Веронском конгрессе. Гр. Нессельроде вызвал его из Швейцарии и поручил ему составить для государя меморию о современном положении политики Европы. Давно находясь за границей, мало и почти ничего не зная о резком изменении политических убеждений государя и увлекаясь либеральным образом собственных своих мыслей и убеждений, Крюднер изложил политическую свою записку о делах Европы с точки зрения слишком свободолюбивой и представил в черном цвете всеми почти кабинетами принятые меры к воздержанию народных стремлений. Его тотчас же отправили назад к своему посту

---

* первом этаже (*фр.*) (букв.: на уровне мостовой).

со внушением исправиться и придерживаться начал монархических, а отнюдь не революционных. Подобных внушений было слишком для него достаточно. Строгие критики нашей дипломатии, безусловно согласные с тем общественным поверхностным мнением целой Европы, на основании которого считаются вредными все установленные временем и обычаем сношения между кабинетами, будут, вероятно, изумлены моею откровенностью, между тем я едва приподнимаю уголок закулисного занавеса и не имею никакого желания извинять маленькие хитрые проделки моего времени. Прошу читателей представить себе, какое бы жалкое значение имел наш поверенный в делах в небольшой Швейцарии, если бы он ограничился в своих донесениях одними текущими делами миниатюрной республики. К счастью для моего даровитого начальника, Швейцария сделалась местом серьезных наблюдений за всеобщей европейской политикой, постоянно изобилующей вечной путаницей враждебных интересов[303].

Буркене оставался в Берне недолго. Его вдруг призвали в Париж и там оставили. На его место прислали к маркизу де Мутье разом двух секретарей, уже пожилых. Vicomte de la Passe et Chevalier д'Орер. Отец последнего был эмигрантом в России[304], сын там родился, служил в военной службе, был воспитателем графа Тормасова[305], бывшего в Москве главнокомандующим. Впоследствии[306] д'Орер с женой, петербургской уроженкой из известного там семейства Рашет[307], перешел на службу во Францию и, будучи ревностным католиком и роялистом, явился в Швейцарию вторым секретарем французского посольства. Иезуит, эмигрант и делец, он гораздо более своего посла действовал в пользу той политической партии ультралегитимистов, которая в последние дни царствования Людовика XVIII получала свои инструкции из марсенского павильона[308], а уже не из кабинета умирающего короля.

С д'Орером тотчас сблизился я, как с русским, якобы любящим и коротко знающим Россию. Достаточно сказать, что в Петербурге дружен он был с графом Местром[309], что в свое время, заискивая у императора Александра, посвятил он ему свой французский перевод «Мессиады» Клопшторка[310] и надписал следующую оригинальную надпись: «À sa Majesté l'Empereur et Suzerain de toutes les Russies»*, так перевел он слово самодержавец. В разговорах со мною ставил он в упрек нашему государю недостаток самодержавия и приписывал, как и многие, этот в нем мнимый порок влиянию Лагарпа. Сближение мое с д'Орером помогало мне продолжать мои наблюдения, по желанию Крюднера, за интригами французского посольства.

Из сношений нашей миссии с Петербургом мы видели, что и там начали подозревать реакционное движение крайних легитимистов против французской хартии, которую наш кабинет, несмотря на все свои антилиберальные

---

* «Его Величеству Императору и Сюзерну всея Руси» (*фр.*).

убеждения, желал сохранить во Франции. Наша политика, во многом согласная с Меттернихом, отстаивая повсюду святость прав законных монархов, никогда, однако, не выходила за пределы благоразумной умеренности. Влиятельнейший из представителей России того времени граф Поццо ди Борго боролся постоянно за неприкосновенность хартии во Франции. Когда же войска ее под предводительством герцога Ангулемского[311], впоследствии дофина, вступили в Испанию, наш государь приказал этому своему послу отправиться в главную квартиру герцога с советом действовать как можно великодушнее и по возможности миролюбивее против испанских революционеров, останавливать и умерять кровожадную мстительность Фердинанда VII. Наш император выразил в то время свое желание, чтобы король Фердинанд, безумный абсолютист, тотчас после подавления мятежа дал своему народу конституцию, конечно, в монархическом смысле, но по возможности самую умеренную.

В это время в Берне продолжались конференции дипломатов с федеративной Директорией[312] об удалении политических выходцев. Общий заключительный протокол, составленный конференцией, следовало отправить в высшую над нею совещательную конференцию в Париж. Крюденер отправил меня туда курьером с протоколом бернского собрания и тут отдал мне незадолго полученную из Варшавы от цесаревича шифрованную депешу для ее прочтения, так как у нас в Берне не было ключа варшавскому шифру. Дело шло о каком-то господине Сожъе, служившем при великом князе в Варшаве в польской гвардии, а теперь проживающем в Нионе (Nyon) на Женевском озере. Крюднера спрашивали о его политическом образе мыслей.

В Париж приехал я поздним вечером. Посол наш был тогда при герцоге Ангулемском в Испании. Я расчел, что врученные мне депеши не стоили того, чтобы будить из-за них поверенного в делах Шрёдера[313], и, отправляясь в посольство часу в 9 утра на другой день, зашел позавтракать в «Palais Royal». Там вместе с чашкой кофе и дюжиной устриц подали мне номер журнала «Constitutionnel»; в нем, к крайнему моему удивлению, прочел я от строки до строки тот самый заключительный протокол Бернской конференции о выходцах, с которым я прискакал из Берна в Париж. Так и в то уже время печать перегоняла дипломатических курьеров. Шрёдер, посмеявшийся за своим завтраком вместе с другими членами посольства, Лабенским[314] и другими, над моим курьерством за такими пустяками, какими занимались тогда и Парижская, и наша Бернская конференции о беглецах, очень любезно предложил мне поскакать тоже с депешами к Pozzo di Borgo в Испанию. Я бы охотно на это согласился, если бы он тут же не рассказал мне, как в разных местах в Испании стреляли тамошние бунтовщики по нашему курьеру от Поццо ди Борго в Петербург Унгерн-Штернбергу[315], который едва мог спасти от них свою особу и свои депеши! «Может случиться это и со мною?» – спросил я.

«Очень легко!» – «В таком случае я повинуюсь, как солдат, вашим приказаниям, но, говоря откровенно, никакой охоты подвергать себя таким опасностям не имею». – «Ну, так мы, – отвечал он, – пошлем лучше последнего при миссии фельдъегеря. Не правда ли, господа?» Так и решили.

В Париже в этот раз пробыл я около месяца.

По возвращении в Берн, видя, что там делать было мне нечего, а скучать надоело, выпросился я съездить в Женеву, где предстояло мне исполнять новое поручение Крюднера. Поручение, прошу заметить, скорее мною отгаданное, чем решительно на меня возложенное. Барон Крюднер просил меня вести с ним еженедельную переписку обо всем, что может быть достойно его внимания, а как в это время ученик Ламенне аббат Vuarin[316], curé de Genève*, вступил в отчаянную борьбу с правительством женевского кантона и его церковью, то и поручил мне стараться узнать подробности этой открытой и в то же время тайной войны, которая была ведена не без примеси в нее политики при участии крайних легитимистов Франции. С другой стороны, и в среде реформатской церкви Женевы поселились раздоры и расколы. La vénérable Compagnie des Pasteurs**, церковное управление пасторов, признаваемое верховным правительством кантона, издавна мало-помалу начинало уклоняться от догматического учения, основанного Кальвином[317]. В XVIII веке ученые и образованные женевцы, а таких в этом городе было, сравнительно по народонаселению, более, нежели в других европейских городах, подвергались влиянию над собою духа времени, то есть философскому и историческому учению энциклопедистов. Недаром бок о бок с Женевой, в Фернее, долго жил Вольтер, разрушавший все основы всех религий. Недаром и собственный их Руссо, столь шаткий в своих догматических убеждениях, но далеко не лишенный внутреннего религиозного чувства, то переходил из веры в веру, от протестантства к католицизму и обратно, то, раздраженный гонениями женевских пасторов, с дерзостью требовал от них ответа: «Веруют ли они в божественность Христа?» Не помню, отвечали ли ему решительно на этот вопрос представители женевской церкви, но сомнение Руссо в их веру в этот главный догмат христианства осталось и остается доселе неопровержимым. С тех самых пор и до сего времени самые ученые и красноречивые проповедники Женевы с весьма немногими исключениями всячески стараются не обнаруживать ни мыслями, ни словом своих убеждений относительно второго Лица Святой Троицы и нарицают Его в своих проповедях и беседах Спасителем мира и Божественным Искупителем, Сыном Божиим, но никогда Богом. Интеллигенция Женевы была с давних пор в духовной связи с английской. Методисты последней имели на нее значительное влияние; в высших и

---

* Вюарен, кюре из Женевы (*фр.*).

** Досточтимое содружество пасторов (*фр.*).

низшем слоях общества эта английская секта имела много последователей, и более ревностные и менее образованные из них составили промежду себя особенную свою секту, которая прозвана сектою Mommier. Главою этого общества был в мое время пастор Malland[318]. Он восстал против своих коллег, едва ли не всех пасторов, и дошел до того, что торжественно с кафедры стал обличать их в ереси (арианство[319]). Ему запретили проповедыватъ и выгнали из города, но, уступая Конференции пасторов, La vénérable Compagnie des Pasteurs, правительство не могло ему воспретить продолжать свою проповедь в собственном доме, в близком расстоянии от города aux Eaux vives*. Барон Крюднер, в то время равнодушный ко всевозможным религиозным убеждениям и не обращавший никакого внимания на церковные распри в Швейцарии, несмотря на то, что его мать так много, так сильно в них участвовала, а может быть, и возбуждала, подозревал в пасторе Malland какого-то политического деятеля и просил меня послушать проповеди этого нового женевского учителя.

Брат сего проповедника, замечательного неподдельным красноречием, пламенного ревнителя догмата божественности Христа, воспитывал тогда сына нашего малороссийского генерал-губернатора князя Репнина[320]. Но гувернер ни в чем не похож был на отрешенного пастора. Прослушав несколько его проповедей, я убедился, что его учение не имело никакой политической цели, равно как и в том, что воспитатель Репнина, его брат, с своей стороны, не заботился ни о каких религиозных убеждениях и нисколько не мог быть подозреваем за свой политический образ мыслей, а имел одну цель – стяжание благ житейских. В это же время у одного из преданных своей правительственной церкви пастора Bouvier[321], жившего некогда в России, воспитывались пансионерами четверо русских, три сына нашего посла в Неаполе графа Штакельберга[322] и юноша-москвич граф Девиер[323]. С одним из Штакельбергов встретился я спустя много лет в Рагаце, а потом в Париже. В долгий промежуток времени я совсем потерял его из виду и совсем бы забыл о нем, если бы этот наш дипломат, славный человек во всех отношениях, сам о себе мне не напомнил. Пастор Bouvier, благодарный за гостеприимство России, поддерживал в своих воспитанниках чувство верности престолу и любви к отечеству.

Оставляя на некоторое время Берн, я имел всего более в виду покороче познакомиться с пребывавшим в Женеве графом Каподистриа, которому за несколько времени прежде был представлен и лично вручил данное мне к нему рекомендательное письмо от Петра Андреевича Кикина, его искреннего приятеля и сторонника.

---

* в О-вив (*фр.*), городок близ Женевы, современный район Женевы (квартал «Живых вод» на левом берегу Женевского озера).

Не знаю, удастся ли мне нарисовать по моим воспоминаниям сколько-нибудь похожий портрет этого великого мужа, этого доблестного героя свободы, пожертвовавшего жизнью для блага своего народа. Боюсь за себя: едва ли достанет у меня памяти и еще менее дарования на изображение такого человека, которому подобного и по возвышенности ума, и благородству характера я уже не встречал в продолжение всей моей долгой жизни. Первый раз видел я графа Каподистриа осенью 1817 г. Он приехал тогда в Москву с императором Александром и находился при нем в звании статс-секретаря по Министерству иностранных дел. Мне минуло 17 лет, я только что поступил в канцелярию Кикина. Двоюродный брат мой, Василий Обресков, женатый на княжне Хованской, будучи московским полицеймейстером, заискивал у всех приезжих с государем, чтобы поставить себя в более приличное положение в отношении к обществу, чем то, которым пользовались тогда в нашем обширном городе начальники его полиции. Особенно заботилась об этом его супруга, которая до замужества вместе со своими сестрами, Соковниной и Булгаковой[324], стояла на самом верху высшего московского кружка и принимала в гостеприимном доме чванного князя Хованского[325] знаменитостей, *особенно же иностранных*.

Каподистриа был в дружеских связях с петербургским почт-директором Константином Яковлевичем Булгаковым, а потому брат его, московский Булгаков, Александр, женатый на сестре Обресковой, был, так сказать, пришит к особе второго после графа Нессельроде двигателя нашей политики на все время пребывания его в Москве. Этот-то Александр Булгаков и залучил графа на небольшой вечер своей свояченицы, что было не совсем легко, потому что дипломат, занятый своим делом, избегал собраний или, по крайней необходимости, являлся на них мельком. Конечно, и до моей неразвитой юности дошло уже значительное в высших сферах общества имя графа Каподистриа и увеличивало нетерпеливое ожидание его появления на этот вечер. И действительно, он поразил меня своею строгою и в то же время привлекательною наружностью. Ему было тогда не более 40 лет: он родился в один год с императором Александром, в 1777 году. Стройный, довольно высокий ростом, одетый весь в черном, бледный лицом, которое представляло как бы на древнем антике или медали изящный тип греческой мужской красоты, обратил он на себя оживленные горячим любопытством взоры полдюжины молодых красивых дам, украшавших небольшую, скромно убранную гостиную. Он не только в ней, но и везде, куда бы ни появлялся, рельефно отделялся от толпы, но никто, конечно, не стал бы упрекать его желанием производить эффект. Его черный костюм, который тогда еще не был в обычае, ибо мы, мужчины, носили обыкновенно на вечерах и на балах разноцветные фраки и разнопестрые жилеты, не смея надевать черного цвета, который, как предзнаменование смерти, никогда не надевался, иначе как в траур, – этот костюм

и эта бледная античная фигура оживлялись выразительными большими черными глазами, смягчались в своей строгости белизной высокого галстука и[326] волос, причесанных à la vergette* и тщательно напудренных. Не знаю, как в других салонах, но в этой ему необычной среде с первого взгляда граф показался мне слишком сдержанным, как будто чем-то связанным и смущенным. В нем совсем не было заметно отличающей всех дипломатов черты светской развязности и изящной ловкости в манерах, которая нигде и никогда их не оставляет и которой они, надо отдать им справедливость, никого в то же время не оскорбляют, как то делают обыкновенно равночинные им военные люди и другие гражданские сановники. Даже накрахмаленные дипломаты-юноши сноснее в обществе сверстников своих гвардейских наших офицеров. Это мое замечание отношу я не к одному нашему высшему обществу, но и ко всем европейским. Везде без исключения в избранных обществах эполеты и сабли нравственно и умственно даже и по наружности уступают скромному фраку и белому галстуку. Arma cedant togae**.

Добавлю еще одну скромную особенность гостя Обресковой, которой он отличался от других мужчин: на нем не было никакого знака отличия, тогда как прочие украсили себя звездами, разноцветными ошейниками и петличными висюльками, у кого что было. Впрочем, все благовоспитанные, замечательные умом или характером люди времен Александра редко нашивали ордена и даже звезды, кроме парадных случаев и в дороге[327]. Граф Каподистриа не походил на других дипломатов наших и чужих еще тем, что не играл в карты. Злая его судьба не дозволила ему дожить до такой скорбной старости, которую предсказывал хитроумный Талейран одному молодому человеку, отказавшемуся при нем по неумению от предлагаемой партии. «Jeune homme, vous vous préparez une triste vieillesse»***. Таково было предвещание Талейрана всем неиграющим. Разговор в этот вечер не клеился, да это и не могло быть иначе. Едва ли при всем своем уме граф мог вести общую пустую беседу; вряд ли при его скромности, переходившей в застенчивость, умел он любезничать на виду всех со светскими московскими, но отнюдь не европейскими дамами; одним словом, каким-то чужим издалека показался он мне в этом кружке. Наконец хозяйка догадалась посадить его с Булгаковым за шахматный столик, но ей не удалось задержать его до ужина с вечными стерлядями и трюфелями. После этого вечера, врезавшегося, как видите, в мою память, мне ни разу не случилось встретить графа Каподистриа. Я не бывал в петербургских гостиных, а он не показывался ни в театрах, ни в концертах, ни на гуляньях. Зато много говорили о нем в гостиной Кикина, особливо, когда дошел до Петербурга слух о внезапном восстании греков.

---

* в виде хохолка на лбу (*фр.*).

** Оружие уступает тоге (*лат.*).

*** «Молодой человек, вы готовите себе печальную старость» (*фр.*).

И лишь только касалось до моего слуха имя Каподистриа, фигура его отчетливо и приветливо рисовалась в моем воображении.

Прошло пять лет[328], и я в 1823 году нашел графа Каподистрия, живущего в Женеве, в нижнем этаже (rez de chaussée) одного из тех аристократических домов или палат, которые имеют вход с улицы de la Cité и главный фасад на террасу или гулянье la Treille, с видом на Jardin des plantes u Plain palais*. Хотя и старая, менее доступная часть города, она, по-моему, удобнее для постоянного пребывания в Женеве, нежели все вновь воздвигнутые великолепные набережные. Там почти не чувствуется проклятая женевская биза[329] и греет благодетельное осеннее и зимнее солнце. В обширной комнате, в кабинете и гостиной вместе, устроено было графом два помещения (deux établissements): у одного окна на солнечную сторону и с камином – зимнее, у другого, затененного цветами и тропическими растениями, – летнее, с выходом, как помнится, на террасу. Входили к нему в эту комнату через небольшую, служившую столовой.

Домашняя его жизнь была самая простая. Прислуга состояла из одного старичка-корфиота, с которым он никогда не расставался и который заменял ему bonne** и очень ловкого и приличного камердинера. Из всего получаемого им ежегодного дохода в 90 000 франков издерживал он на себя 10 000 остальные 80 000 отдавал в пользу боровшихся с турками своих соотечественников. Свой образ жизни, как видите, весьма умеренный, подвергал он строжайшему контролю. Он, напр., высчитывал и привел в точную известность, сколько должно выходить масла на каждую лампу и сахару на кофе и сколько в фунте сахара кусков, и т.д. Экипажа он не держал. Была, говорят, у него верховая лошадь, и до меня часто видали его верхом гуляющего по городу и окрестностям, но когда я приехал в Женеву, верховой лошади уже не было, и он ежедневно делал предписанные ему врачом длинные прогулки, по 10 верст и более в день пешком. Женевцы еще издалека его узнавали и по всегдашнему костюму[330], сверх которого носил он в холодное время мохнатую бурку, постоянное его походное одеяние, в коем он сопутствовал прежде Чичагову[331], а потом Барклаю.

Его длинные пешие прогулки всего более меня с ним сблизили. Пешеходов-товарищей, кроме меня, у него не было, и когда я в последнее время, в 1825 и в начале 1826 г., жил подолгу в Женеве, такие прогулки[332] делали мы почти ежедневно. Не менее знаменитый в новейшей истории князь Адам Чарторыйский[333], бывший постоянно в приятельских отношениях с графом, вызвался однажды прогуляться с нами, но он был слишком тучен и не мог продолжать возвратного пути в город от деревеньки Шен (Chêne), где жил

---

* Ботанический сад и Пленпале (*фр.*).

** горничную (*фр.*).

ученый Сисмонди[334], и должен был возвратиться оттуда в шарабане[335]. В эту длинную прогулку между моими знаменитыми спутниками шел, между прочим, разговор о том, что для обоюдной пользы Империи и Царства, соединенных под одним державством, полезно бы было увеличить число наших дипломатических агентов, хотя бы на первый случай второстепенных, из Царства Польского, чему были уже немногие примеры, как-то: граф Матушевич, один из главных редакторов особенной канцелярии Министерства иностранных дел, и молодые графы Залусский и Соболевский[336] при заграничных наших миссиях. Не имевший никакого особого значения этот разговор привожу я единственно потому, что, припомнив о нем случайно, делаю из него два ныне современные вывода: 1) что граф Каподистрия никогда не был враждебен Царству Польскому; 2) что тем еще менее враждебен он был князю Адаму Чарторыйскому, которого часто посещал, принимал у себя и дружелюбно встречал у женевских патрициев, где и я видал их изредка вместе, наприм., раза три-четыре вечером по средам у ученого историка итальянских республик и политико-эконома Сисмонди.

Не думаю, основываясь на этих воспоминаниях, чтобы было справедливо сообщенное мне г. Бартеневым указание на какую-то «Записку» графа Каподистрия, поданную будто бы вместе с его автобиографией против самобытного существования Царства Польского Николаю Павловичу. Бартенев утверждал, что такая «Записка» не была напечатана в «Историческом сборнике» по интригам сторонников нынешней издыхающей Польши. Я утверждаю, что небывалое существование такой «Записки» графа Каподистрия измышлено было заклятыми врагами сокрушенной Польши, которые, в некотором отношении справедливо признавая Чарторыйского изменником России, пятнают упреком в такой же измене и память императора Александра I. Сколько мне удавалось слышать, а теперь припоминать, граф Каподистрия, не чуждаясь князя Адама и князя Сапеги[337], постоянно отзывался о поляках с хорошей стороны и ожидал от времени искреннего слияния обоих государств под личным управлением единой верховной власти.

Обхождение графа со всеми было одинаково просто и добродушно; таково было отношение его и ко мне. Лицо и особенно большие, черные, одушевленные его глаза выражали редко встречаемую в политических деятелях кротость и благоволение.

Если утренняя наша прогулка направлялась по условию из города в сторону мимо моей квартиры, он стучался в дверь моей квартиры на Place Saint Antoine (нижний этаж) дома Töpfer, заходил ко мне на полчаса и брал с собой, мне особенно памятны два его посещения. Однажды за отсутствием слуги, которого я куда-то услал, давал я, сидя за чаем, аудиенцию моей прачке, отчетливо по записке принимал от нее вымытое белье и выложил на пол черное. Неожиданно позвонили у двери; я догадался, что это был граф, и вышел

встретить его с извинением в прихожую комнату. «Je ne demande pas mieux que de voir votre Dame»*, – ответил он мне с обычной своей приветливой улыбкой и, взяв какую-то со стола книгу, предложил нам обоим продолжать наше занятие, не стесняясь его присутствием, прибавив, что он сам намерен сделать предложение моей посетительнице. Потом он рассмотрел со вниманием обоюдные наши записки на стирку белья, увидел, что цены моей прачки ниже цен, которые он платит, и назначил ей час свиданья у него, пригласив и меня к имеющей быть конференции. Действительно, на другой день пришел я к графу за полчаса ранее прачки. Мы сравнили его и мои цены по этому предмету и утвердили их на те предметы, которые не могли существовать в моих условиях, напр., столовое и постельное белье.

Другое из частых его посещений было серьезнее. Он нашел меня за чтением последнего номера «Journal des Débats», где было напечатано официальное согласие испанского кабинета на отчуждение от этого правительства всех колоний его в Южной Америке и предоставление их самим себе; это было в начале 1825 г. За независимость существования колонии от метрополии долгое время боролся сент-джемский кабинет и первый английский министр лорд Каннинг[338]. Права Испании на южные, уже давно de facto образовавшиеся отдельные штаты всеми мерами отстаивал император Александр. Ни одно, сколько могу припомнить, действие великобританского кабинета и его двух главных представителей, лорда Веллингтона[339] и особенно Каннинга, не находил наш государь столь лично для себя оскорбительным и во всех отношениях российской политике враждебным, как это упорное со стороны Англии нравственное и даже материальное участие англичан в восстании южан американцев против древних законных их властителей. Не один раз оба кабинета менялись между собою самыми энергическими нотами в продолжение спора. В одной из своих депеш, которая и теперь сохраняется в памяти новейшей дипломатии, лорд Каннинг употребил одно не только в высшей мере оскорбительное, но и угрожающее европейскому монархическому континенту выражение, всего более оскорбившее императора Александра. «У меня, – говорил Каннинг, – есть ключ от Эоловой пещеры, еще немного, и мое терпение истощится, я выпущу все ветры, сдерживаемые под этим замком. Они забушуют по Европе, и тогда увидим, что в ней уцелеет». Я, конечно, поспешил вручить вошедшему ко мне графу мою газету и сообщил ему, что вношу из нее извлечение в мой журнал. Он одобрил меня, и, изменяя своей обычной сдержанности в первый раз, изъявил свою радость по поводу великого события освобождения колоний. После часто припоминал я себе едва ли оправданный временем восторг либералов по поводу этого освобождения колоний. Прошло полвека, и после длинного беспрерывного

---

* «Я только прошу разрешения увидеться с вашей посетительницей» *(фр.)*.

ряда всевозможных мятежей и революций, после эфемерного учреждения двух мексиканских империй и возмутительной казни последнего императора Максимилиана[340] южные колонии, а теперь государства Америки, влачат свое жалкое существование доныне на пути прогресса в среде независимых гражданских обществ обоих полушарий древнего и нового света. Никогда еще граф Каподистрия не увлекался при мне, одном своем собеседнике, не останавливался так долго ни на одном политическом вопросе. Меня поразило в то же время и нарушившее его постоянную сдержанность сочувствие к разрешению уз испанских колоний от ее метрополии, поразило тем более, что оно вызываемо было с давних лет и поддерживаемо происками Англии. Я робко выразил графу, что из последних циркулярных депеш нашего министерства было мне известно все негодование Александра на политическое поведение в этом отношении первого английского министра Каннинга. Ни одно из всех последних событий не возмущало нашего государя так сильно и так глубоко не парализировало его преднамерения. Действительно, после этой неудачи начали замечать в нем какое-то охлаждение и к делам внешней политики, подобное той апатии, которая начала преобладать им в делах внутреннего управления.

Граф заметил, что я был изумлен его сочувствием в этом отношении к враждебной Англии. Он сам казался мне против обыкновения несколько возбужденным, хотел, было, казалось мне, объяснить свое разноречие с мыслями государя, но, умалчивая о колониях и о метрополии, кончил довольно долгий свои монолог выражением собственного своего негодования, своих жалоб на эгоизм и коварство лондонского кабинета. «Никто, – заключил он, – не может сравниться в возвышенности, справедливости, нравственности с англичанином, разумеется, образованным и развитым; но ничто не может, к несчастью, сравниться с узким своекорыстием и безграничною наглостью английского министерства позднейших времен. То и другое я изучил в истории и испытал на себе». Что же касается до ожиданного мною от него ответа насчет его разногласия с императором, ответ этот я придумал за него для себя сам. Он короток и ясен: «A chacun son métier. Votre Maître est Souverain, et ce qui est plus – Autocrate, moi je suis fils d'une République et frère des opprimés»*. Иногда слова эти слышались мне как бы произнесенные самим графом.

Вот и опять приходится мне говорить об одном и том же, все о наших прогулках. Как-то в воскресенье звал он меня к себе обедать; случалось это редко, очень редко. Граф отдавал полную справедливость утонченной скромности своих обедов. Он при расстроенном своем здоровье был на диете, ел очень немного, и то простые и легкие кушанья. «У меня вы будете

* «У каждого свое ремесло. Ваш повелитель – суверен и более того – Самодержец, а я сын Республики и брат всех угнетенных» (*фр.*).

голодны», – прибавлял он в своем приглашении, и точно бывал я голоден. При двух-трех собеседниках, кроме меня, стол был обильнее, но все-таки умеренный. Хороши были одни ликеры с острова Занта[341] и вино с острова Кипра. Скудость пищи, объясняемая диетою, поддерживалась, конечно, еще более тою бережливостью, которой задался граф для вспоможения успехам Греции.

Итак, в одно воскресенье, когда я, приглашенный на этот день, всего менее мог ожидать у моего звонка графа поутру, он не застал меня дома. «Где это вы так долго гуляли целое утро?» – сказал он мне, когда я пришел к обеду. «Я был в церкви St. Pierre, слушал проповедь пастора Шеневиера[342] (лучшего проповедника того времени, одного из близких женевских приятелей графа, умершего в глубокой старости с год тому назад). – «А вы часто слушаете проповеди?» – «Да, в месяц раза три». Замечу тут, что он никогда не расспрашивал меня, что я делаю или где бываю, кроме иногда о посещаемых мною лекциях и кой-когда о спектакле. «Говорят, что г. Шеневьер, с которым вы сегодня у меня обедаете, замечательный проповедник». – «Да разве вы его никогда не слыхали?» – «Нет. Это покажется вам очень странным, и вот вам мое объяснение. Престарелый мой отец, всею душою преданный православной нашей церкви и всем вековым нашим преданиям, отправляя меня в чужую землю, завешал мне и заставил дать ему зарок никогда не молиться с иноверными, которых греки более нежели кто-нибудь считают еретиками, и не ходить в их церкви, которых всех они чуждаются. Я до сих пор, как вы видите, свято соблюдаю завещание моих родителей и во всю мою жизнь не бывал в иноверных церквах, кроме тех случаев, когда при известных торжествах присутствие мое требовалось официальным моим положением. У меня, как вы знаете, много приятелей между здешними пасторами, но я, к великому сожалению, ни одного из них и до сих пор не слыхал и не услышу. Вы, русские, в этом случае веротерпимее нас, греков; но не забудьте, что у нас вера неразрывна с нашей бедствующей родиной. В ней и наше отечество».

В одном из №№ «Русского архива» за 1871 год я поместил небольшую статейку[343] о свидании моем с аббатом Vuarin, curé de Genève, по поручению начальника нашей миссии барона Крюднера. Каподистрия узнал об этом от женевского пастора Bouvier, сидевшего у меня в то самое время, как мне сказали о приходе этого наперсника Ламенне. Я рассказал графу о данном мне поручении, и так как после довольно откровенной беседы графа со мною об испанских колониях он стал разговорчивее и часто дотрагивался до тех вопросов, которые тогда занимали его ум и сердце, то я убедился, что он, наконец, смотрит на меня уже не как на совсем пустого молодого человека. Отчаянная борьба греков с турками в то время была в самом разгаре, переговоры наши с Австрией о восточном вопросе продолжались в Вене, император Александр не изменял нинасколько своей политики невмешательства, Австрия и Англия

поддерживали султана. Князь Меттерних во всех своих политических сношениях и особенно перед императором Александром выставлял возмутившихся греков как самых опасных для спокойствия Европы революционеров, граф Нессельроде поддерживал это мнение.

По-видимому, граф Каподистрия прекратил все сношения свои с Россией. Не один раз выражал он мне свои жалобы на то, что его у нас совсем забыли, что ни один из тех чиновников нашего Министерства иностранных дел, которые пользовались в свое время его покровительством и получили теперь в министерстве особое значение, ни одной строчкой его не вспоминали в его уединении. Упоминая имена неблагодарных Матушевича, Северина и др. и считая их своими врагами, он об одном только графе Панине, младшем из всех чиновников, отзывался с добрым чувством и предсказывал ему значительную будущность. Действительно, Панин один не убоялся изредка напоминать о себе графу. Без сомнения, не могло оставаться сокрытым от графа и то, что из Вены доносили в Петербург о его зловредной деятельности в Женеве в пользу греков, о том, что этот город сделался центром филэллинических обществ под председательством графа, что туда к банкиру Эйнару из Франции и Англии присылались значительные суммы в пользу восстания, что там закупалось оружие и оттуда высылались и пожертвования, и волонтеры, стремившиеся в Грецию служить ей лично. Общественное мнение в пользу греков по мере упорного, отчаянного их сопротивления, коего не могло решительно одолеть все могущество Порты, возрастало, несмотря на всю враждебность правительств Англии и Австрии; тюльерийский кабинет далеко этой враждебности не разделял и относился к восточному вопросу и умереннее, и сдержаннее. И не одни уже карбонары и заклятые враги всякого порядка, а уже и лучшие из консерваторов и даровитейшие из писателей, передовые ораторы представительных палат в Лондоне и Париже перешли на сторону греков и защищали их в своих публичных речах и брошюрах: Шатобриан, Сен Марк Жирарден, Ламартин[344], Делавинь и др. В Швейцарии, разумеется, все без исключения были за греков, даже бернские патриции. Дошло до того, что враги их свободы не осмеливались высказываться, кроме, разумеется, дипломатов. Наши собственно подозрения на солидарность филэллинов и их главного женевского комитета с карбонарами и революционерами всех цветов ничем не могли поддерживаться.

В женевском благотворительном комитете членами были все без исключения тамошние аристократы, управлявшие тогда республикой, все капиталисты, все пасторы и профессоры, и несправедливо бы было назвать хотя бы одного из них сторонником карбонаров. Говоря об этом со мною, граф Каподистрия желал, как мне казалось, убедить меня в справедливости и святости своего дела. Насколько было мне это возможно, я сам начинал склоняться на сторону греков, а в том, что главные члены женевского комитета отнюдь

не были революционерами, я давно уже убедился. Граф однажды пришел ко мне; после двух-трех вопросов о том, что я делаю в Женеве и зачем живу в ней, выложил из кармана и положил на мой стол толстый сверток бумаги и сказал шутливо: «Je ne vous prie pas de me répondre, mais il me semble que vous êtes ici pour m'espionnez, et voici, mon cher, toute la collection des protocoles de notre comité philhellène. Je vous laisse le choix d'agir comme vous voulez. Envoyez les à Krüdner sans faire mention de moi, ou bien nommez moi»*. Я, конечно, отнекивался от наблюдательного за ним надзора, на который, впрочем, и не имел ни малейшего официального поручения. Крюднер, заметив, что я скучал в Берне, что частые посещения меня русскими шли в разрез с положением моим при посольстве, что такие посетители мешали мне, а отчасти и ему, что пребывание в Женеве будет и приятнее, и полезнее для меня, чем мое пребывание в Берне, предложил мне пожить там и с ним оттуда переписываться обо всем, что могло быть для него интересно. Прочее подразумевалось и отгадывалось. Я поблагодарил графа за сообщение журналов их комитета и от его имени отправил их в Берн, но не по почте, а с кем-то из наших путешественников. Не доверять женевской почте в Берне я имел полное право. Целые три месяца не доходило до меня в Женеву из Берна поручение Крюднера к аббату Vaurin, и много нужно было сделать справок, чтобы получить это письмо. Мы тогда решили, что все эти затруднения в переписке на таком кратком расстоянии встречаем мы по проискам Австрии и главного ее агента, баварского министра chevalier d'Olri. Каподистрия еще более убедил нас тем, что с первого его пребывания в Женеве тотчас начали перехватывать его письма и что он ни с кем иначе уже не переписывается, как, выражаясь по-русски французским словом, с оказией.

В тогдашнее время не много бывало, а еще менее проживало наших соотечественников в Швейцарии. Не было почти никого из немцев и ни одного американца, но зато тысячи англичан, ибо в Берне, может быть, и преувеличенно, насчитывали на каждое лето до ста тысяч туристов[345]. Из всех сколько-нибудь замечательных русских семейно-путешествовавших я могу назвать только двух: нашего неаполитанского посланника графа Штакельберга и старейшего из всех дипломатов князя Андрея Кирилловича Разумовского. Оба известили графа о своем прибытии и просили его позаботиться о их помещении. Он меня взял с собою по гостиницам, и в этот раз я заметил в нем новую черту его характера, которая меня немного удивила, – внимательную заботливость бывшего подчиненного о своих прежних начальниках. Женевские гостиницы того времени так мало походили на нынешние, что

---

* «Я не требую от вас ответа, но мне кажется, что вы здесь, чтобы шпионить за мной, вот вам, мой дорогой, полное собрание протоколов нашего филэллинского комитета. Я предоставляю вам возможность действовать, как вам будет угодно. Можете отправить это Крюднеру, не упоминая меня или же назвав мое имя» (*фр.*).

только в одном, теперь всеми оставленном, «Hòtel de la Balance», могли мы найти для таких важных посетителей сколько-нибудь удобные 3–4 комнаты. Я уклонился от предложения представиться графу Штакельбергу по слухам о его не в меру взыскательном, а часто и дерзком обращении с чиновниками его посольства. Выходка с графом в Вене мне и тогда была известна. Тем более странно и почти обидно было мне за Каподистрия по нескольку раз в день (в течение трех или четырех) встречать его на заднем месте в коляске с четой Штакельбергов, leur faisant les honneurs de la ville et des environs*. Но когда приехал в Женеву князь Разумовский, то уведомив меня об этом запиской ранним утром, граф объявил мне, que s'il n'avait pas trop insisté sur ma présentation au comte Stackelberg, il exige que j'aille avec lui chez le prince Razoumovski, doyen de notre diplomatie, personnage éminent et considéré comme tel dans toute l'Europe. «Allez mettre vôtre habit, mon cher, cravatez vous dé blanc et allons. Vous y êtes déjà annonce»**. Делать было нечего, мы отправились. Он оставил меня на площадке лестницы и взошел обо мне доложить. Прошло минут пять, дверь отворилась; по знаку Каподистрия я взошел, и длинная, старческая, впрочем, стройная фигура князя с физиономией южноказацкого типа предстала передо мной у самой двери. «Vous êtes attaché à la mission?» – «Oui, Votre Altesse». – «Charmé»***, и только. В комнате была и княгиня, венка одной из знатнейших фамилий (графиня Тун)[346], которой я отвесил мой поклон. Когда князь, взяв Каподистрия под руку, стал прохаживаться с ним по большой комнате и начал какой-то разговор, в который вмешалась и княгиня, мне показалось, что беседа их продолжается уже слишком долго, и мое безмолвное стояние у притолки начинало мне надоедать и меня сердить. На мое счастье, заговорили они о какой-то новой книге, которую Каподистрия советовал им прочесть. Я воспользовался книгой, чтобы выйти из прескверного положения, и решился идти вперед напропалую. «Si Monseigneur désire avoir ce livre je pourrais avoir l'honneur de le lui apporter tout de suite». – «Merci, mon cher, le Comte me l'a déjà promis». – «Monseigneur, j'attends les ordres de Votre Altesse». – «Encore merci. Dites à Krüdner quand vous lui écrirez mes regrets de ne pas le voir»****. Тем и кончилось. Ничто не может быть конфузнее для человека малоизвестного и молодого, а иногда и гораздо

* принимавшим их как гостей города и окрестностей (*фр.*).

** что если он и не настаивал на моем представлении графу Штакельбергу, то требует, чтобы я отправился с ним к князю Разумовскому, старейшине нашей дипломатии, которого вся Европа считает выдающейся личностью. «Одевайте ваш фрак, белый галстук и отправимся. О вас уже доложено» (*фр.*).

*** «Вы атташе миссии?» – «Да, ваша светлость». – «Прекрасно».

**** «Если вашей светлости хочется иметь эту книгу, для меня будет честью поднести ее немедленно». – «Благодарю вас, дорогой, граф мне ее уже обещал». – «Монсеньер, я ожидаю приказов вашей светлости». – «Еще раз благодарю. Передайте Крюднеру, когда будете писать, мои сожаления, что нам не удалось повидаться» (*фр.*).

перешедшего за половину жизни, как эти появления перед особами. Они, не будучи вашими начальниками, по принятому этикету не считают себя подобно лицам царствующей фамилии вправе сами откланяться, а вы, молодой или, пожалуй, немолодой человек, тоже не считаете себя вправе удаляться от них экспромтом, и, надо сказать правду, те и другие, особенно русские, испытывают и обнаруживают обоюдную неловкость. Такого чувства князь Разумовский, конечно, не имел в отношении ко мне: мало ли кого случалось ему встречать и провожать. Каподистрия, как видно, понял всю неловкость того положения, в которое он меня поставил. «Comment avez vous trouvé votre Boïar Russe par excellence? – сказал он мне. – Que voulez vous! C'est toujours ainsi chez vous. Quant à moi je crois avoir observé en vous peu d'ambition, mais suivez mon conseil: continuez votre service plus ou moins, devenez Excellence, obtenez une plaque et c'est alors seulement que vous serez dans votre pays à votre aise»*.

Две-три последние страницы переносят меня в моих воспоминаниях к началу второй половины 1825 года. Вслед за получением протоколов филэллинского комитета Крюднер приехал в Женеву и, объехав со мной двух синдиков (так назывались главные правители Женевского кантона) и членов правительственного совета, ездил к некоторым из них на вечера, которые для него давались. Женева, как и все 22 кантона, управлялась тогда одними своими аристократами. Но аристократия женевская не походила ни на какую другую швейцарскую. Первая, подобно итальянской, выходила не из рыцарей, не из баронов, а подобно флорентийским Медичисам, из разбогатевших купцов и капиталистов. В скромной столице реформатского кальвинизма господствовали над всеми messieurs Selon, Fabres, Calandrini, Saussure[347] и проч. К кругу аристократов, вопреки всем обычаям остальных кантонов, принадлежали многие ученые профессора академии, получившие европейскую известность. На этих вечерах познакомился я с прелюбезным и преученым стариком, бернским аристократом Бонштетеном[348], платоническим другом историка Иоанна Мюллера[349] и автором «Записок о Лациуме». Александр Иванович Тургенев в своих письмах к брату, недавно изданных, много говорил об этом милом и сходном с самим Тургеневым своею любезною общительностью человеке. На вечерах у Сисмонди и спесивейшей аристократки mademoiselle Fabres, к которой получил я доступ через Бонштетена, встречалась мне m-me Necker de Saussure[350], известная и любимая у нас писательница о воспитании. У этой mademoiselle Fabres было несносно скучно; она была важности и чопорности непомерной, и однако все к ней просились и немногим бывать удавалось.

---

* «Как вы находите вашего истинно Русского Боярина?.. Что вы хотите! У вас всегда так. Что до меня, то я вижу, у вас очень мало амбиции, но последуйте моему совету: продолжайте вашу службу, так или иначе, станьте Превосходительством, получайте отличия, и лишь тогда вы почувствуете себя легко в своем отечестве».

Целую неделю кружились мы с бароном Крюднером по гостиным messieurs du haut* и их загородным виллам, а по ночам начальник мой готовил свою курьерскую экспедицию в Петербург с запоздавшими месяца на четыре депешами в министерство. Я же, состоя при нем один, занимался перепиской греческих протоколов и донесений самого Крюднера, которые он пек, как блины, Сначала дело у меня шло худо: Крюднер писал с сокращением слов невозможным, надобно было половину отгадывать, а я все еще во французском языке и орфографии был не очень тверд. Проверив лично переданные ему мною сведения по восточному вопросу, внимательно перечитав протоколы двигающего греческое восстание женевского общества, переговорив с графом, президентом оного, и с другими членами, Крюднер решился, наконец, после долгих со мною рассуждений убеждать графа Нессельроде в той несомненной уже для нас истине, что общество филэллинов, по крайней мере в открытых ее главных членах, не имело ни малейшей связи со всеми другими разрушительными обществами, как, наприм., председательствуемым Лафайетом[351] Comité Directeur, существование коего подразумевалось в Париже, или с вентами итальянских карбонари и скрывающихся в Германии их адептов. Вместе с депешами посылались и упомянутые протоколы, о которых по долгом колебании Крюднер доносил министерству, что он получил их прямо из рук графа Каподистрия. Признать откровенно этот источник наших сведений было отчасти затруднительно и почти неловко. Таким признанием перед министерством, так упорно нерасположенным и к Каподистрия, и к его грекам, могла быть заподозрена искренность прилагаемых документов; умолчать о непосредственном получении их от графа казалось нам обоим слишком уж бессовестным. После многих толков мы положили всю нашу надежду на проницательность самого государя. Я уверил Крюднера, или, лучше сказать, утвердил в нем моими словами собственную его уверенность в том, что благородное и великодушное сердце Александра узнает в этом поступке благородное сердце Каподистрия, а министр, как ему будет там угодно, пусть себе гневается на миниатюрную свою швейцарскую миссию.

Из Петербурга и отовсюду стали доходить к нам слухи о расстроенном здоровье императрицы Елисаветы Алексеевны, о предпринимаемом по совету сблизившегося с нею государя путешествии в Крым на целую зиму, о намерении Александра соединиться с нею в Таганроге по осмотре войск второй армии, расположенной в Малороссии, на Волыни, в Подолии и на границах княжеств. Вести эти особенно занимали графа Каподистрия; из них выводил он заключение, что император, упорно подозреваемый Австрией и Англией в покровительстве грекам и также упорно осуждаемый общественным мнением, как у себя в России, так и в Европе, за равнодушие к судьбе христиан,

---

* высокопоставленных господ (*фр.*).

своих единоверцев, доходил до пределов своего долготерпения и начинал уже склоняться на сторону греков. В одно прекрасное утро наступающей осени Каподистрия пришел ко мне с советником нашего константинопольского посольства Сергеем Ивановичем Тургеневым[352], который считался в отпуску по удалении барона Строганова[353]. Познакомив меня с Тургеневым, граф поручил мне показывать ему Женеву и ее окрестности, и от этого-то Тургенева узнал я много подробностей о восточном вопросе, который сам собою по сложившимся отовсюду обстоятельствам требовал неизбежного разрешения и исход которого грозил не одним бедным грекам, но и всей Европе многими непредвиденными последствиями, неожиданно враждебными. Тургенев, сочувствовавший грекам, был со мною добродушно откровенен. В политике он был мечтателем подобно своим двум старшим братьям, которых я так коротко узнал после, но, не разделяя всех его восторженных мнений о судьбах человечества, не мог я не убедиться в том, что восстание греков и вопрос о великих переменах в самой Порте идет к развязке.

Несколько недель спустя после отъезда Тургенева из Женевы граф сообщил мне, что он составил записку о восточных вопросах для императора Александра, что имеет намерение передать ее через императрицу Елисавету Алексеевну государю и потому желает переслать вернейшим путем этот свой труд в Таганрог графине Эдлинг, урожденной Стурдза[354]. Она, родная сестра нашего дипломата, столь близкого к графу Каподистрия, долго была любимой фрейлиной государыни, сохраняла близкие с ней сношения и из Одессы приезжала к ее величеству в Таганрог. Я припомнил тут, что в Петербурге поговаривали о нежных чувствах Каподистрия к этой даме[355]. Довольно объемистая тетрадь, написанная связной рукой графа, была им мне прочитана; в заключение повторились для меня все те новые взгляды на европейскую политику вообще по делам Востока, которые изложены были прежде мне Тургеневым. Граф красноречиво взывал к человеколюбивому Александру о спасении восточных христиан от конечной гибели и в то же время умолял его воспрепятствовать возникновению магометанского владычества в лучшей окраине Европы. Я тотчас угадал, что граф желал бы поручить именно мне доставление в Берн этой «Записки», но, не вызываясь на поездку, выждал его предложения. «Я, конечно, – сказал он мне, – охотно принял бы на себя ваши издержки, но боюсь оскорбить вашу деликатность». – «Проехаться отсюда до Берна, – отвечал я, – на пароходе до Лозанны, а оттуда до Берна в дилижансе станет очень недорого. Чтобы нам не затруднять друг друга пустым великодушием, подарите мне турецкого табаку, которого здесь нет, а я приготовлюсь в эту недальнюю дорогу. Надолго ли? Это зависеть будет от Крюднера. Квартиру мою оставлю за собою и в ней моего слугу».

Приехав в Лозанну поздно вечером, я взял себе лучшее место в дилижансе, в углу допотопной почтовой кареты, в которой помещалось внутри

6 человек, и уже при свете фонаря, освещавшего наше отправление, часу в 12[-м] с place St. François, закутавшись в плащ, засел в мой угол, как вдруг услышал знакомые женские голоса двух бернских барынь: графини d'Erlach и m-me Guntenbergen. Они очень мне обрадовались и прелюбезно предложили уступить им мой уголок, а самому сесть между ними. Меня покоробило, но делать было нечего. Мы начали сплетничать, перебранили все наше бернское общество; одна из дам задремала и склонилась головой ко мне на плечо. Мне становилось нестерпимо жарко, но не то, что вы думаете, не от головки на плече, которая не была ни молодою, ни красивою, и не от закрытых окон, а от двух горелок с кипятком, которые эти зябкие барыни поставили под свои и мои ноги, так что я не знал, куда деваться. На беду при спертом воздухе распространялся дух пачули и всяких других благовоний. В Пайерне, на половине дороги, упросил я кондуктора посадить меня с собой в кабриолет, а между двух дам посадить сидевшего с нами блузника[356]. «Наши аристократки рассердятся, – отвечал мне кондуктор, – и на вас, и на меня». – «Как вы там хотите, а я из-за них умирать не намерен».

Часу в десятом, прозябши до костей, вошел я к Крюднеру с конвертом от графа и переписанной мной для барона меморией. Крюднер предложил мне сейчас отправиться с ней курьером во Франкфурт к Анштету; я поленился, и был отправлен Бондаревский[357], наш певчий и прислужник при канцелярии, попросту говоря, garçon de bureau*.

Недолго размышляли мы промеж себя, Крюднер, Фурман и я, будет или нет иметь влияние на государя отправленная Анштетом в Таганрог мемория Каподистрия. С понятным любопытством следили по газетам за путешествием Александра, обозревавшего южную свою армию и направлявшегося в Таганрог для свидания со своей супругой с тем, чтобы после объехать Крым, как вдруг наш бернский банкир г. Маркварт пришел к Крюднеру с известием о кончине императора в Таганроге. До банкира роковая для нас весть дошла одновременно из Гамбурга и Франкфурта. В коммерческом мире, управляющем денежными рынками, важнейшие политические известия получались тогда гораздо ранее, чем посольствами. В ту же минуту весть эта разошлась по городу, и все имевшие близкие сношения с Крюднером члены правительства и дипломаты в тот же день у него перебывали.

Наконец, получили мы официальное о смерти государя извещение. Циркулярная депеша графа Нессельроде возвещала о восшествии на престол Константина Павловича, о принесенной ему присяге в.к. Николаем Павловичем, Сенатом, гвардией и всеми жителями и предписывала нам также присягать, но, к удивлению барона, депеша эта тем и ограничивалась. К ней, как бы следовало ожидать, не было приложено никакой верительной грамоты барону

---

* посыльный (*фр.*).

Крюднеру от нового государя Швейцарскому союзу, не было даже повелено известить официально Vorort* о кончине царствовавшего императора и сверх того не было сообщено решительно никаких подробностей. Такое молчание министерства вопреки всем обычаям не могло не навести на нас тягостных сомнений. И вот опять, сперва от банкира, а потом из немецких журналов, начали ходить слухи, что Константин Павлович царствовать у нас не будет, что он задолго перед этим отрекся от престола и что в Берлине известно стало уже всем, что императором России будет зять прусского короля[358] Николай. Между тем посольство не получало решительно никаких сведений, ни к одному из нас во все это время не доходило и писем, а нам все надоедали, не только посетители, которых мы условились к себе не допускать, но все уличные и встречные и все, что попадалось нам под бернскими аркадами, не исключая содержателей магазинов и всяких лавочников, более или менее по необходимости нам знакомых. Их расспросам о том, что у нас делается, не было конца, и мы во избежание затруднений, что отвечать, опять условились показываться на Божий свет как можно реже, решительно запереться ото всех, не являться в Grand Société** сообщаться только между собою и ходить друг к другу не иначе, как по боковым улицам. Более всех нас смущен был Крюднер, он не знал наверное, оставят ли его на его посту. Он еще не мог забыть, что так еще недавно, в 1823 году, был он подозреваем в крайнем либерализме и все свои сомнения и страхи сообщил в Женеву графу Каподистрия. Не думаю, чтобы кто-либо из самых приближенных к императору Александру более графа поражен был неожиданною смертью государя. Несмотря на их разлуку, граф живо чувствовал, что в Александре лишился он своего венценосного благодетеля и друга, преисполненного к нему искреннею сердечною привязанностью. Их обоих разделяла политика, их соединяло человеческое чувство.

Вслед за слухами об отречении Константина от престола начал распространяться везде темный слух о бунте в Петербурге, о революции в России. Перетревоженный всем этим Каподистрия был уже не в состоянии выдерживать свое женевское уединение, неожиданно приехал прямо к Крюднеру и у него остановился. Он чувствовал потребность разделить с нами, хотя и полурусскими (чисто русским был один я), тяжкие заботы свои о судьбах России. Пребывавшая в то время в Эльфенау близ Берна великая княгиня Анна Федоровна[359], разведенная жена в.к. Константина Павловича, не менее нас мучилась такою продолжительною неизвестностью. Она также, несмотря на продолжительное отсутствие из России, чтила и любила императора Александра и, кроме того, находилась в постоянных самых дружеских

---

* Ворорт (от нем. «на месте») – федеральный орган исполнительной власти в Швейцарии.
** высшее общество (*фр.)*.

отношениях с императрицей Елисаветой Алексеевной, с которой изредка переписывалась.

1825 года 31 декабря нашего стиля, т.е. накануне нашего Нового года, граф Каподистрия, Крюднер, Фурман и я – все приглашены были к обеду в Эльфенау и к встрече у хозяйки его, великой княгини, нашего новолетия. Графу, расстроенному нервами, нездоровилось, и он от этой поездки отказался, меня оставили при нем для развлечения. Ранним вечером пришел к нам, т.е. к Каподистрия, французский посол граф Ренваль[360], преемник маркиза де Мутье, переведенного в Испанию поддерживать Фердинанда VII в смысле крайнего абсолютизма. Ренваль незадолго был старшим секретарем и поверенным в делах в Петербурге, женился там на m-lle Влодек, дочери нашего генерала (мать ее была урожденная княжна Вяземская)[361]; по этим семейным связям и по долгому своему пребыванию в России он был, кажется, коротко знаком с Каподистрия. Долго вели они в моем присутствии между собою беседу, и я дивился во все время почти сверхъестественной их сдержанности. Они говорили о самых отвлеченных предметах: о философии права, о прогрессивном движении народов, о враждебных для всех их принципах революции, о застое, к которому ведет слишком охранительная реакция, о том, о другом, обо всем, но ни разу не коснулись они какого-нибудь частного вопроса, а о событиях в России, о доходящих оттуда слухах, которыми, как у всех, должны были быть в это время переполнены их собственные умы и помышления, о таких угрожающих Европе событиях не произносили ни одного звука, и, несмотря на такое долговременное упражнение в фигуре умолчания, оба они, казалось мне, друг друга понимали и все, что им хотелось высказать, в сдержанных формах друг другу все-таки высказали*. Такой разговор был для меня поучительным приложением к практике известного до пошлости принципа Талейрана:

---

* Года два тому назад я был поражен изумительным сдержанным молчанием графа Каподистрия. В «Русском» г. Погодина напечатано было письмо его к Карамзину от 9 января нового стиля, следовательно, дня за два до полученных нами подробностей о бурном восшествии на престол Николая Павловича. В письме к другу своему Карамзину, с которым соединены они были благоговейною любовью к императору Александру, граф Каподистрия с одушевленным красноречием увлекательного своего пера выражал всю полноту скорби по общем их благодетеле, но, несмотря на то, что он был встревожен почти верными опасениями за будущее России, затаил их даже перед Карамзиным, самым близким в Петербурге другом ему. Прочитав в печати это письмо от 9 января нов. стиля, я припомнил, что сам же отправлял его в Петербург, и, все еще сомневаясь в такой непонятной сдержанности, спрашивал кн. Вяземского, передавшего письмо это Погодину, не было ли чего из него выпушено. Князь отвечал мне «нет», и это решительное «нет» есть для меня новое и последнее доказательство *поклоняемой* мною сдержанности графа (*примеч. Д.Н. Свербеева*). Это письмо Д.Н. Свербеева 1866 г. сохранилось в архиве кн. Вяземского (в письме издание М.П. Погодина, где было помещено письмо Каподистрия, указано верно: сборник «Утро» (а не газета «Русский»), и верная дата письма – 8 января 1826 г.) (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 2722. Л. 11–12 об.). О самом письме Каподистрия к Карамзину см. примеч. 379 к т. II.



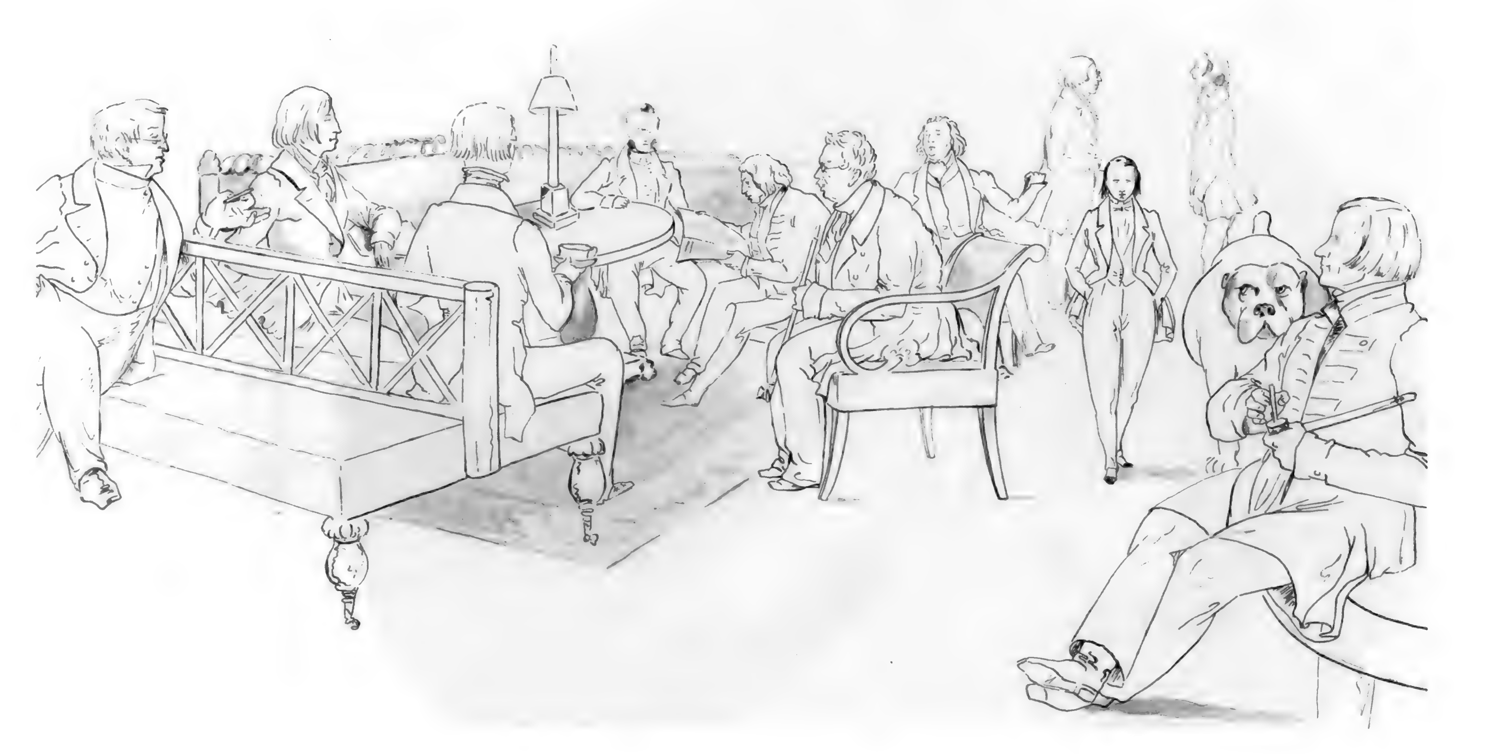
Д.Н.Свербеев. Фотография начала 1870-х годов



Е.А. Свербеева. Акварельный портрет Л. Беккера. 1833 г.
Музей-заповедник «Абрамцево»



Д.Н. Свербеев. Акварельный портрет П.Ф. Соколова.
1820-е годы



Салон Елагиных. Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова. Первая половина 1840-х годов. Музей-заповедник «Абрамцево».
Изображены (слева направо): Д.Н. Свербеев, Д.А. Валуев, Н.Ф. Павлов, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, А.А. Елагин, К.С. Аксаков, С.П. Шевырев, А.Н. Попов, В.А. Елагин, П.В. Киреевский (рядом бульдог Фомка).
П.И.Бартенев, говоря о расположении фигур на рисунке, замечал: «Художник не без умыслу поместил его [П.В.Киреевского] и Д.Н.Свербеева с двух краев: один – представитель критического недоверия к заявленным идеям, другой исполнен твердой веры в их правоту» (РА. 1884. Т. II. Вып. 4. С. 336)



Н.В. Гоголь.
Набросок К.П. Брюллова.
1836 г.



А.С. Хомяков в мурмолке.
Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова.
1850-е годы



Д.Н. Свербеев и Н.В. Гоголь.
Карандашный набросок Э.А. Дмитриева-Мамонова. НИОР РГБ



А.С. Норов. Портрет кисти К.-Я. Каневского. 1857 г.

П.А. Кикин.
Портрет кисти К.П. Брюллова.
1821–1822 гг.





М.А. Кикина.
Портрет кисти К.П.Брюллова.
1821–1822 гг.



Ф.С. Лагарп. Литография И.Ф. Хаслера



И.А. Каподистрия. Рисунок А.П. Брюллова. 1827 г.



А.И. Герцен. Фотография С.Л. Левицкого. 1861 г.

А.С. Шишков. Портрет кисти Дж. Доу. Около 1827 г.



А.С. Шишков. Портрет кисти Дж. Доу. Около 1827 г.

П.Я. Чаадаев.
Рисунок И.Е. Вивьена.
1820-е годы





Н.М. Языков.
Литография Е. Эстеррейха.
1822 г.

В.Ф. Одоевский.
Фотография С.Л. Левицкого.
1856 г.





Н.И. Тургенев.
Фотография 1860-х годов



А.Д. Свербеев, сын мемуариста.
Фото начала 1910-х годов.
Семейный архив
князей Голицыных

Д.Н. Свербеев в кругу семьи.
Стоит сын Дмитрий,
сидят: Дмитрий Николаевич
и дочери Софья, Анна и Варвара
(в замуж. Арнольди).
Фотография начала 1870-х годов.
Семейный архив князей Голицыных



Дом, в котором жил с 1850-х годов и скончался Д.Н. Свербеев (Большой Николопесковский пер., 15)



Расцвет салона Свербеевых пришелся на 1840-е годы, когда семья жила в особняке на Тверском бульваре (ныне здание Литературного института, Тверской бул., 25)

Анне Александровне
Львовой
на память дружбы отцев наших
от
С. Свербеевой

ЗАПИСКИ

Дмитрія Ивановича Свербеева.

(1799–1826.)

ТОМЪ I.



МОСКВА.
Типо-литогр. Товар. И. Н. Кушнеревъ и К°, Пименовская ул., соб. д.
1899.

Титульный лист издания «Записок Дмитрия Николаевича Свербеева» 1899 г. с дарственной надписью А.А. Львовой от С.Д. Свербеевой и курьезной ошибкой в отчестве мемуариста

«La parole est donnée pour déguiser la pensée»*. Толпа непосвященных видит в этих словах совет скрывать, искажать мысль; понимающие дело, напротив, думают, что ее, эту мысль, надобно прикрывать. Политические писатели либеральных партий в строгое цензурное время вполне усваивали себе это правило, особенно у нас, хотя все они предают вечному проклятию Талейрана и аггелов его[362]. К сожалению, не могу вспомнить, который из двух собеседников кончил разговор мыслью, что главные политические деятели суть орудия, иногда и самим им неведомые, совершающейся, зримой для немногих истории, которая вызовет их на суд отдаленного потомства.

По удалении от нас графа Ренваля я нашел, что Каподистрия успокоился нервами и что мне, как мы сговорились о том с утра, не придется посылать для него за нашим доктором; но спокойствие наблюдаемого мною нашего гостя было ненадолго. В то время как я стал с обыкновенною моею неловкостью распоряжаться чаем, Каподистрия безмолвно ходил по комнате и начал жаловаться на холод, что было и немудрено, термометр к вечеру опустился и уже показывал 20 градусов мороза, а в комнатах не было и 10 градусов тепла и сносно было только перед камином. Я предложил ему надеть утренний свой халат – великолепную соболью шубу, крытую зеленым бархатом. Не успел он его надеть, как, не лучше самой нервной женщины, залился слезами: шубка ему подарена была императором Александром. Ухаживать за нервными больными я и до сих пор неспособен, а тогда я от них бегал и терялся. Судорожно вставал я из-за чайного стола, чтобы послать за доктором, как вошел камердинер барона Antoine, объявил о прибытии фельдъегеря. Не успел я выбежать к нему навстречу и взять огромный пакет с депешами, как по моим пятам прибежал в приемную и граф с нетерпеливым вопросом: «Et bien, et bien, quoi donc?»** Я объяснил, что не имею никакого права вскрывать пакета, и предложил ему самому распечатать, он также отказался, и мы тотчас послали нарочного в Эльфенау за Крюднером. На мои отрывочные вопросы к прибывшему, усталому от пути и окоченевшему от холода фельдъегерю, «все слава Богу, – отвечал он мне, – имею честь поздравить с императором Николаем Павловичем». – «Как? Что?» – «Ничего, все обошлось благополучно. Убили только графа Милорадовича да немногих из черни, которая вздумала было пошуметь вместе с толпой хмельных солдат на Сенатской площади». Почти совсем не знавши по-русски, граф Каподистрия просил передавать целый ряд тревожных его вопросов фельдъегерю, я в них путался, а приезжий курьер не меньше моего путался в своих ответах, настойчиво успокаивая нас тем, что в Петербурге все идет как нельзя лучше. Не добившись от него никакого путного последовательного рассказа, я выпроводил его к камердинеру, советуя отогреваться чаем и часа на два заснуть.

---

* «Слова даны для того, чтобы скрывать мысли» (*фр.*).

** «Ну что, ну что, что же?» (*фр.*)

Скоро приехали Крюднер и Фурман, и все мы предались с жадным любопытством чтению депеш и обстоятельных, подробных в приложении к ним, официальных описаний всего, что ровно за две недели перед тем совершилось в Петербурге. Барон Крюднер, скорее всего, ухватился за верительную грамоту к Федеральной директории Швейцарского союза за собственноручным подписанием императора Николая I, которою он аккредитовался вновь в звании поверенного в делах, и послал за почтовыми лошадьми, чтобы сейчас же ехать вместе с Фурманом в Люцерн для представления своих новых полномочий Федеральной директории, которая тогда по существовавшей преемственной между тремя кантонами очереди находилась в Люцерне. Он так спешил отъездом и кратким о нем донесением графу Нессельроде, что едва успел прочесть всю кипу присланных приложений и предоставил графу вместе со мною заняться, если хотим, их более внимательным чтением, а между тем в такой мороз, да еще через горы, поездка в Люцерн была не шуточное дело, и им приходилось обоим запастись теплою одеждой и разными одеялами. Отъезжая, Крюднер дал мне следующие поручения: обойти в городе правительственные лица Бернского кантона, т.е. двух, как они назывались по-французски и в официальных с дипломатами сношениях, Avoyer'ов*, именно господ Мюллинена и Ватвилля[363], государственного казначея Бернского кантона советника Муральта и второго советника Фишера[364], из которых составлялась Федеральная директория, когда она переходила, в свою очередь, в Берн. После этих двух визитов в мундирном траурном облачении отправиться в Эльфенау и, испросив аудиенцию у великой княгини, известить ее о восшествии на престол императора Николая Павловича и представить ее высочеству на словах отчет о полученных нами сведениях. Наконец, сделать визиты начальникам всех иностранных миссий при Швейцарском союзе с тем же извещением.

Пожелав счастливого пути нашим путешественникам, я привел в порядок разбросанную кипу бумаг и собирался уйти к себе, предполагая, что и графу после всех потрясений дня нужен был отдых, но Каподистрия с нежными извинениями упрашивал меня остаться еще, чтобы помочь ему прочесть все полученное нами. И, во-первых, приступили мы к чтению с трогательным красноречием написанного, как утверждают, митрополитом Филаретом посмертного манифеста императора Александра о назначении наследником престола брата Николая вследствие тут же возвещаемого отречения великого князя Константина. Манифест этот, хранившийся как государственная от всех тайна в Государственном совете и на престоле московского Успенского собора, оканчивался умилительным воззванием отошедшего уже в вечность императора ко всем его верноподданным молиться о упокоении души его,

---

* Авуайерами в Швейцарии называли выборных глав самоуправления кантона.

усопшего их монарха. Граф зарыдал при чтении мною этих умилительных строк, я тоже расчувствовался и через силу прочел их. Тут чтение наше поневоле прекратилось, и мы едва успели взглянуть на описание мятежа 14 декабря, и оба, как тот, так и другой, искренно порадовались самоотверженному мужеству нового государя, который решительным усмирением бунта спас свою Россию.

Отправляясь домой на сон грядущий, я с трудом разбудил фельдъегеря и, надписав на его русском маршруте час прибытия и отбытия, приказал ему сейчас же отправляться далее по назначенному министерством маршруту – в Турин, откуда он должен был развести свои циркулярные депеши нашим миссиям во Флоренцию, Рим и Неаполь и, возвращаясь через Берн, взять от нас депеши в Петербург.

Дома у себя нашел я смертельную стужу. Незадолго перед тем перешел я в небольшие две комнаты, которые уступил мне секретарь испанского посольства Даллион[365], отозванный в Мадрид (впоследствии был он посланником в Вене и на короткое время испанским министром иностранных дел). Укутавшись всеми одеялами в ледяной постели (в комнате не было и трех градусов тепла), долго не мог я заснуть и невольно предался тяжким размышлениям. Мне смутно приходили в голову довольно странные сомнения: «А что, если возмутившиеся офицеры и возмущенные ими солдаты, зачинщики произведенного ими восстания на площади, имели право сомневаться в законности требуемой от них новой присяги вслед за той, которую они принесли перед этим прямому наследнику престола Константину Павловичу? А что, если все последовавшее было изобретено коварною интригой? Как бы и нам на чужой стороне не испытать над собою чего-либо подобного тому, что последовало со всеми испанскими дипломатами, которые по повелению Фердинанда VII, захваченного кортесами, присягнули вынужденной у него конституции, а потом, по освобождении того же короля из-под власти кортесов, были им отрешены от места и вызваны к уголовному суду». Долго об этом я думал и решил сам в себе поступить так, как поступит граф Каподистрия. Зная его, я был уверен в том, что он лучше всех отгадает, возможно ли допустить существование во всем этом происшествии какой-либо интриги.

На другой день и правительственные лица Швейцарии и все иностранные министры, мною посещенные, выражали мне в немногих словах общую их радость, что узнали, наконец, несомненный и более благоприятный, чем ожидали, исход наших колебаний и смут. В Эльфенау великая княгиня продержала меня довольно долго, расспрашивая с живым участием о всех подробностях; я приготовился к ответу, зашедши накануне в канцелярию, чтобы пересмотреть все нам сообщенное. Обедня и молебен в Новый год, на которые все мы с Каподистрия были приглашены Ее Высочеством, за всеми тревогами были отменены, но великая княгиня не решилась отказать в приеме

бернским правителям и дипломатам, которые всегда имели обыкновение приносить ее высочеству на вечерней аудиенции свои поздравления, и, провожая меня, гофмаршал ее Шиферли[366] объявил, что он будет принимать всех, кому вздумается приехать, и что поэтому и мне следует быть на приеме.

Граф за обедом казался гораздо спокойнее и бодрее. Он говорил мне, что хотя и не знал лично нового нашего государя, встречая его редко, но надеется, что гибельное для Греции и, по мнению его, для России влияние Меттерниха на нашу политику ослабнет, что общественное мнение многих влиятельных просвещенных лиц в Петербурге и России смягчит охранительный абсолютизм и произведет реакцию, лишь бы не слишком крутую, во всех наших делах, внутренних и внешних. А как все его мысли сосредоточивались на Востоке, то и надежды его на участие России и деятельное покровительство нового государя грекам оживились, тем более, что он получил, сколько помнится, ответ от графини Эдлинг с уверением, что императрица Елисавета Алексеевна, прочитав его меморию, изъявила желание влиять на покойного императора в пользу ищущих независимости наших единоверцев.

Через два-три дня возвратился в Берн барон Крюднер, и тотчас последовала новая присяга новому государю. Увидав, что граф Каподистрия чужд всякого сомнения, я не смел и намекнуть о собственных моих колебаниях, но сам он колебался, в каком смысле приносить ему свою присягу, и требовал от нас справиться в законах, существует ли присяга не на подданство, а на верную службу. Несмотря на наши справки с законами, такого рода присяги мы в них не отыскали, и Каподистрия пришлось вместе с нами подписать по форме наши клятвенные обещания на верность. Мне поручено было от Крюднера привести на другой день к присяге в нашей церкви двух воспитанников Гофвильского института, младшего князя Суворова (Константина)[367] и еще какого-то русского.

Еще гораздо прежде читали мы в газетах о торжественных поминовениях, т.е. панихидах, отправленных по кончине императора Александра Павловича нашими главными миссиями в Германии, Вене, Париже и Лондоне, и решено было подражать их примерам и устроить печальную эту церемонию в нашей загородной церкви. Великая княгиня, без которой у нас ничего торжественного произойти не могло, пожелала присутствовать при богослужении; набожный Каподистрия сердечно такому христианскому изъявлению сочувствовал, а любивший по временам официальную пышность и выставку барон Крюднер с великою охотой приступил к приготовлению. Надобно было обить трауром стены и пол нашей убогой церкви и убрать флером неказистый иконостас, т.е. просто ширмы с образами, отделяющие алтарь, как это обыкновенно бывает в полковых походных церквах.

Барон Крюднер взял меня с собой в Бренгартен, чтобы осмотреть на месте, как все это устроить. Встреченный отцом Разумовским, барон скорым

ходом побежал прямо в церковь. К попу, которого он не любил и не уважал, по приглашению зайти ему не хотелось, я поспешил за ним вслед и едва успел удержать его за фалды фрака, чтобы вытащить из самых царских дверей, им уже растворенных: до такой степени доходило его незнание наших обрядов, его крайнее к ним равнодушие. Когда я ему объяснил, что у нас царские врата мирянами не растворяются, что светскому, хотя бы и послу, приближаться к престолу возбранено, мой Крюднер переконфузился и, пренабожно перекрестясь, поцеловал просфору, поднесенную ему не менее смущенным священником. Великолепному барону хотелось суконную черную драпировку украсить вышитым изображением российского герба и какими-то серебряными по местам штучками, которые при погребальных церемониях, если не ошибаюсь, называются по-французски слезами, les larmes, а посредине церкви, по обычаю католиков, выставить под балдахином и черным бархатным покровом, тоже с гербом и слезами, гроб. Мы вместе со священником доложили ему, что и этого у нас не бывает. «Чем же вы все это заменяете при подобных служениях?» – «А вот чем, ваше превосходительство, – отвечал ему по-русски священник, таща из угла столик, покрытый черною плисовою, закапанною воском пеленой, – на этот столик поставим мы кутью, то есть блюдо с вареным сарачинским пшеном[368], и украсим оное кусками сахару и изюмом, да засветим тут, около, три восковые свечки» – «Fi! Horreur! Quelle mesquinerie!»* Я успокоил барона предложением заказать столик гораздо больше, накрыть его бархатной одеждой с серебряными галунами, заказать вызолоченный крест большого размера, а неизбежную кутью скрыть от зрителей канделябрами, из-за которых крест будет отчасти виден. На этом и остановились.

На меня как на единственного православного и, кстати, младшего чиновника возложено было устройство всего этого и обязанность церемониймейстера, т.е. принимать, расставлять и провожать приглашенных. Стараниями барона Крюднера в три-четыре дня траурное убранство нашей церкви приведено было к концу; на эти приготовления употребил он Бондаревского; я, со своей стороны, вместе со священником заставил производить спевки и убедил певчих как уставщиков или регентов пропеть и обедню, а тем паче панихиду как можно тише, à l'unisson** и в самом минорном тоне. При этом священник сообщил мне свое мнение, что по церковно-гражданскому уставу и повсеместному в России обычаю следовало бы прежде панихиды по усопшем государе отправить торжественное молебствие с коленопреклонением о восшествии на престол нового императора и начать нашу верноподданническую молитву, во-первых, за здравие, а потом уже и за упокой. Я сообщил

* «Фу! Ужас! Какое убожество!» (*фр.*)
** в унисон (*фр.*)

об этом Крюднеру, его испугала продолжительность 3-х служб, но все уладилось предложением начать молитвословие молебном, к которому барон может и опоздать, лишь бы приехал Фурман, чтобы не быть мне совсем одному. К назначенному дню разосланы были от имени российского посольства при Швейцарском союзе печатные приглашения членам бернского правительства и всему дипломатическому корпусу. Великую княгиню, двух Avoyers, французского посла, comme Doyen de la diplomati*, барон приглашал лично.

Часов в 10 утра мы наскоро отслужили молебен и так с ним поспешили, что православный в обоих смыслах, религиозном и государственном, Каподистрия, несмотря на свое желание присутствовать на нем, опоздал. Все время обедни в церкви меня не было. Я встречал на крыльце приезжающих по приглашению и без приглашений государственных мужей Берна, равно как и дипломатов, вводил в церковь и устанавливал их по левой стороне. Великая княгиня, авуайэры и французский посол, Каподистрия и Крюднер стали против самого алтаря, имея перед собой уже не столик, а продолговатый стол, освещаемый множеством канделябров, из-за которых смущавшая нас кутья не была видна. На мою беду, приехали позже всех два юных дипломата, мои короткие приятели, Packenham[369], английский секретарь посольства, и барон de Blonnay, сардинский; за отсутствием начальников миссии они были поверенные в делах ad interim**. Так как по левую сторону показалось мне слишком людно, то я и поставил их по правую, за певчими, нисколько не подозревая, что таким образом могу оскорбить их официальное достоинство и вызвать на себя жалобу. Певчие наши, хотя и весь их хор состоял из троих, пели умилительно; великой княгине чуть-чуть не сделалось дурно, потребовался и стакан холодной воды, и одеколон. Каподистрия всю почти панихиду простоял на коленях и навзрыд плакал. Возвращаясь от службы в Берн, он посадил меня с собой, и тут в первый раз узнал я от него, что большая часть песнопений, нами слышанных, и длинный канон за усопшего, который у нас обыкновенно опускается, написан был одним из великих отцов восточной церкви Иоанном Дамаскиным[370], и был им написан по смерти оплакиваемого им друга. Странным казалось мне, а может быть, и не мне одному, а многим, которые, однако, все об этом молчали, отсутствие всякого участия Лагарпа во всеобщей между европейскими консерваторами скорби по императоре Александре. По крайней мере воспитатель покойного ничем не обнаружил своего горя, и только недавно в письмах Александра Тургенева к брату Николаю[371] прочел я, что Лагарп августейшего ученика своего горько оплакивал. Все, однако, объясняется очень просто тем исключительным положением, в которое по силе обстоятельств поставил себя этот замечательный старец и в отно-

* как старейшину дипломатического корпуса (*фр.*).
** временно (*лат.*).

шении к своему отечеству, и господствовавшей в нем партии аристократов, и в отношении к усопшему государю. Как главный участник швейцарского переворота последнего десятилетия прошлого века он возбудил негодование всех швейцарцев, стоявших во главе федерального правительства, и всех лиц, правивших 22-мя кантонами. Не только родовитые патриции Берна, Люцерна и Цюриха, но и старинные купеческие фамилии Женевы и Базеля, и правители малых кантонов: Ури, Швица и Альтдорфа, гордые тем, что они первые избавили Швейцарию от габсбургского ига, чуждались Лагарпа, его ненавидели, проклинали как изменника, призвавшего на Швейцарию революционеров Франции. Ему сочувствовали только два кантона – Ааргау и Ваатланд. Ни в каком случае, а следовательно, и в этом Лагарп не мог в Берне ни к кому показаться, и всякий швейцарец, с которым пришлось бы ему встретиться, стать рядом в нашей церкви, от него бы отсторонился, как это раз было уже с ним в Лозанне перед обедом у английского посланника лорда Стратфорта Каннинга десять или пятнадцать лет тому назад.

Перед отъездом своим из Берна по исполнении скорбного долга граф Каподистрия обедал у великой княгини; я тоже был приглашен как не бывший на ее обеде, данном Крюднеру. Не кстати ли будет сказать тут о наших бернских сношениях с этим маленьким двориком, не чуждым этикета, над которым некоторые иногда посмеивались и которым мы подчас тяготились, а бернские аристократки, напротив, восхищались. Видно, и республиканцам не претит иметь около себя золотого тельца для поклонения хоть изредка. В царствование императора Александра, а потом и в последовавшее не раз предписывалось воздавать Анне Федоровне все ей как российской и германской принцессе подобающе почести. Император Александр лично, как кажется, любил ее и считал своего буйного братца более перед женой виноватым, нежели была она перед своим мужем. Покойный государь особенно любил и отличал ее брата, того принца Леопольда Саксен-Кобургского, который долго служил, и служил храбро в ряду русских войск, в войну 1812 года был нашим корпусным генералом[372] и командовал русскими войсками под главным начальством наследного принца шведского Бернадота[373]. Наш государь много способствовал браку принца Леопольда с английской принцессой Шарлоттой, единственной дочерью и наследницею короля Георга IV, более известного в новейшей истории под именем принца-регента[374]. До смерти принцессы Шарлотты на принца Леопольда смотрели как на соправителя будущей королевы, да и нынешняя королева Великобритании была родная племянница нашей Анны Федоровны[375], и было время, и еще так недавно, когда принцев Кобургского дома приглашали по интригам Англии на разные упраздненные и упраздняемые престолы или хлопотали женить их на разных наследных принцессах. Великая княгиня принцесса Кобургская умела сохранить родственные свои связи в Германии и Англии и дружбу с подругой своей по

замужеству, нашей императрицей. По разводе ее с Константином Павловичем ей предоставили все преимущества ее звания, дали 200 т. р. пенсиона и, хотя выключили у нас из царской ектении[376], но в Берне в ее, отчасти в нашей, церкви, считавшейся придворною, предписали возносить ее имя и встречать ее при входе в храм с крестом, производя ей и троекратное каждение. Гофмаршал ее двора Шиферли вскоре по выезде моем из Швейцарии умер нашим статским советником и был заменен в качестве гофмаршала другим нашим статским советником, женевцем Vaucher[377], тоже доктором, который перевез свою августейшую пациентку в свою родную Женеву, где она не так давно и скончалась. Надобно отдать должную справедливость вел. княгине в том, что она умела сохранить все свое достоинство и любезным, привлекательным обхождением привязывать к себе всех и каждого. Она долго сохраняла красоту и всю прелесть гибкого стана и обольстительной осанки. Часто видал я ее между многими женщинами, и она царила над ними всеми, и, не знавши ее, каждый отгадал бы в ней царственную особу. Во всем Берне, кажется, у нее одной и была собственная карета, да еще с придворной ливреей и с императорским гербом. Зато и принимали ее хозяева с великими почестями. У авуайэра Мюллинена только за тот стол, за которым она играла, ставились 4 восковые свечи, когда всем прочим давали сальные. С нами, русскими, и в особенности с графом Каподистрия, великая княгиня умела сочувственно беседовать о России и о модном тогдашнем вопросе, кое-когда вмешивала в разговор русское словечко, потчевала кулебяками и квасом и даже будто бы любила наши русские песни; однажды целый вечер провел я у нее в пении с княгиней Голицыной, бывшей прежде замужем за сыном великого Суворова, с ее вторым мужем князем Голицыным и дочерью, тоже княгиней Голицыной, родною матерью незабвенной моей графини Корньяни[378]. При великой княгине была очень милая фрейлина из Кобурга Гильдрат, большая моя приятельница, особливо с тех пор, как я на общем катанье из Берна в Туне вывалил ее из саней.

Граф Каподистрия спешил и к своему камину, и к своему делу в Женеву и ждал только проезда через Берн из Италии нашего фельдъегеря. С ним-то отправил он то замечательное письмо к Карамзину, которое все печатающий Погодин оттиснул в своем «Русском»[379]. Отправленное из посольства при моем участии 9 января 1826 года, оно преисполнено было выражений глубокой скорби о кончине государя, которого и Карамзин любил так же искренно и бескорыстно.

После всех этих происшествий, как и всегда после чем-либо, хотя и грустным, оживленного времени, становилось мне невыносимо скучно, и я тоже рвался в Женеву к своему камину и к своему безделью. Там было у меня тепло, спереди от солнца, сзади от огня неугасимого, а в Берне мерз я на своей квартире и денно, и нощно в комнатке на Schattenseite (теневой стороне)

главной улицы. Кроме того, я чувствовал потребность с кем-нибудь поболтать о России и откровенно по возможности высказываться о том, что там произошло и что еще грозило последствиями, а в Берне поговорить мне было не с кем. Барон заботился о прочности своего положения, которое зависело от прочности положения при новом государе графа Нессельроде, и в это время уже поговаривали, что новый император начинает коситься на Меттерниха, нераздельного, как думали, хотя и несправедливо, по единомыслию с нашим министерством. Фурман, с которым я никогда не бывал в большой дружбе, был как-то со мной еще загадочнее. Он, вообще говоря, казался мне одним из тех наших дипломатов-космополитов, в которых не было ничего русского, не было даже и искреннего сочувствия к славе и величию представляемого ими государя и его державы; сверх того, он мне по политическому образу мыслей казался неблагонадежным, и в нем, на мои глаза, всегда проглядывал германский петербургский кадет-бурш, доучившийся в Берлине, я же, напротив, тогда был почти вполне русским и не успел еще депеизироваться, как косвенно внушал мне граф, говоря вообще: «Tout jeune Russe selon moi doit être pour quelque temps dépaysé»*.

Наконец воспользовался я первым пойманным мною случаем выпроситься домой. В Берне начинали поговаривать, по газетным слухам, подтверждаемым коммерческими, о новых заговорах карбонарских вент против всемогущества австрийского влияния на Италию. Крюднеру желалось следить за этим движением всего более для того, чтобы заинтересовать государя своими депешами и обратить на себя внимание. Я уже упоминал, что Женева, равно как и вся французская Швейцария, служила гнездом всех революционных интриг вне их собственного средоточия. В Лозанне в это время журналист Lamé был заметным органом консерваторов и пытался поддерживать абсолютизм Священного союза. Крюднеру хотелось сделать из него орудие нашей более сносной, более умеренной политики, попросту сказать, нашим органом. Я предложил познакомиться с этим господином для того, чтобы, по желанию барона, сделать его для нас полезным. «Берегитесь, вы можете встретить такие неприятности, которых, по вашей молодости и неопытности, и не ожидаете, можете повредить и себе лично, и самому делу». «Будьте покойны, – отвечал я ему, – дайте мне полученное вчера подробное описание нового военного мятежа, поднятого Муравьевым-Апостолом[380] и, благодарение Богу, усмиренного, разрешите мне напечатать это известие в “Nouvelliste Vaudois” и дайте 1000 франков на выписку этого журнала в Россию в стольких экземплярах, сколько по сумме придется. Остальное сделается само собою тихо и дружелюбно, лишь бы monsieur Lamé взял от меня деньги на подписку». Так и случилось. Журналист с тех пор открыл свои сношения

* «Каждый молодой русский, по-моему, должен иногда побыть чужестранцем» (*фр.*).

с нашей миссией, учтиво поблагодарив меня, за посещение и приятное для него со мной знакомство.

Дорогой, на ночлеге в Лозанне, я сильно простудился в нетопленной квартире и прехолодной, как лед, постели и, приехав в Женеву, должен был обратиться к сыну знаменитого тамошнего врача Butigny, также доктору[381]. В Женеве встретило меня солнце, и если хотите, – дружба, по крайней мере – более участия. Каподистрия принял меня с изъявлением удовольствия. В подобных случаях он не был сдержан. Я нашел его бодрее, деятельнее, оживленнее в своих надеждах на успех отчаянных борцов за свободу Эллады, которых ободряло пламенное сочувствие Европы. Беспрестанно появлялись брошюры и более объемистые сочинения лучших по духу и мысли европейских писателей. Никто не говорил против мятежников-христиан, а трибуны французского и английского парламентов оглашались постоянно упреками правительствам за равнодушие к истреблению чтителей креста. На всех французских изданиях того времени, даже посторонних политике, можете и теперь еще видеть виньетку с крестным изображением и другими атрибутами христианства и надписью к ней: «Aidez-moi»*.

Женевские филэллины по внушению графа начинали уже мечтать об избрании в короли Греции принца Леопольда Саксен-Кобурского, который схоронил прелестную свою супругу, принцессу Шарлотту, и с ней надежду стать во главе Англии; но и по своем недавнем вдовстве он отрекся от шаткого, непрочного престола еще воюющей Греции, тем более, что должен был бы тогда отказаться от блистательного, обеспеченного значительным пенсионом положения своего в Англии, и в то же время сомневался, чтобы великие державы отстояли когда-либо в пользу Греции возможные для ее существования границы и чтобы согласилась на то Турция.

В Париже явно открылась подписка в пользу греков, и граф Каподистрия начал думать о поездке туда, чтобы ощупать политический пульс Франции и пробраться в Англию для личных сношений с принцем Леопольдом.

Я начал подумывать о том же, узнав о намерении Крюднера ехать в отпуск в Петербург. По отъезде его Фурман сделался само по себе моим прямым начальником. Предупредив графа о моем намерении побывать в Париже, я получил от него приглашение ему туда сопутствовать, но вскоре потом прочитанное им в какой-то газете ничтожное известие о собственном его намерении выехать из Женевы для совещания с филэллинами Франции и Англии навело на него сомнение. «Если мы, – сказал он, – поедем вместе, то дадим повод к новым нелепым догадкам, почему, для чего и зачем едет со мною чиновник русской миссии? Лучше поезжайте один и возьмите от меня письма к Стурдзе и Гульянову[382]».

---

* «Помогите мне» (*фр.*).

Собираясь в Париж, зашел я в контору Генша и предупредил его сыновей[383], моих приятелей, что возьму из хранившихся в конторе банка моих денег небольшую сумму. «Не хотите ли поехать с нашим отцом? Он едет на днях и ищет попутчика на половинных издержках». Мне показалось странным, что старый толстейший банкир, капитал которого считался в 10 миллионов франков, экономничает до такой степени. «Это делает он от скуки, чтобы не путешествовать одному». Старик был очень рад иметь меня своим товарищем и, несмотря на всю свою скупость, согласился везти меня в Париж не за половину, а за треть дорожных издержек, так как он ехал с камердинером, а я своего за неимением места в коляске должен был отправить в дилижансе, и по такому расчету он должен был платить за две, а я за одну лошадь. Таким образом, в общедорожный мешок положил он 600, я же 300 франков. Дедушка Генш был в Женеве в великом почете и считался первым из тамошних финансистов. Он был лично известен Наполеону I, имел с ним сношения по финансовой части, когда Женева принадлежала Франции и была одной из префектур империи. Ежегодно на своей даче aux Eaux vives*, давал он пир на весь женевский мир в день праздника навигации Fête de la navigation, на котором женевцы постоянно выбирали его в короли этого празднества. Мелочная расчетливость соединялась в нем, как это часто бывает, с широкою роскошью в некоторых случаях. Ежегодные поездки свои в Париж, всегда с неизбежным, каким бы то ни было попутчиком, совершал он со всеми прихотями, и я ни разу во всей моей жизни не путешествовал с такими изысканными удобствами.

Время нашего отъезда он приурочил к отъезду какого-то знатного английского семейства и их курьеру поручил заготовлять нам на почтовых станциях лошадей и заказывать для ночлега по гостиницам комнаты с затейливыми ужинами, теплыми постелями и ярким освещением. По этой дороге уже все его знали, любили и называли papa Hentsch. Выехав с места в 8 часов утра, безостановочно скакали мы во всю лошадиную прыть до 8 часов вечера; на всех французских таможнях, а их было тогда целых три, одна за другой, неумолимые аргусы[384] этих управлений с нами только почтительно раскланивались. Подъезжая к гостинице, назначенной для ночлега, встречаемы мы были с радостными приветствиями хозяином и всем его семейством. Нас вводили в прекрасные комнаты. Отличный ужин с двумя бутылками лучшего местного вина стоял уже на столе, камины пылали. В 7 часов утра отправлялись мы дальше, забрав с собой на целый день холодной провизии. Так было во все три дня пути и что стоило, я не расспрашивал. Из своих денег я не издержал ни одного су, и когда в Санлисе позвал цирюльника, то отослал его к дедушке Геншу за расплатой. Приехав на место, мы перечли деньги, и на мой пай возвратил он мне 20 или 30 франков.

---

* в О-Вив (*фр.*), предместье Женевы.

Узнав прежде, что в Париже живут мои знакомые: бывший мой университетский товарищ Голохвастов, сосед по Михайловскому Шатилов[385] и юноша Алексей Степанович Хомяков вместе и сообща, я поместился в их же отеле, в любимой моей улице rue de Richelieu, на углу довольно большой площади, образовавшейся после срытия до основания здания Большой французской оперы, или, как ее тогда называли, Académie Royale de musique*.

Отдав письма Каподистрия Гульянову и Стурдзе, я приглашен был вместе с ними отыскивать приличную квартиру для графа. Мы нашли ему три большие комнаты на Итальянском бульваре. Приехал он скоро после меня, и, как помнится, это было во время нашего Великого поста; знаю наверное, что его не было у заутрени Светлого Воскресения, и потому думаю, что он тогда уже уехал в Англию. В Париже видал я его редко, не более двух или трех раз, но помню, живо помню тот обед с ним у нашего посла Поццо-ди-Борго в самый день получения официального известия о падении крепости Миссолунги[386], где греки после отчаянного сопротивления взорвали укрепления и все до единого погибли; туркам достались одни развалины. Весь Париж пришел в ужас. Впечатление, произведенное такою геройскою защитою на весь королевский двор, на французский кабинет, на палаты, общество и весь дипломатический корпус, не могло не быть благоприятно греческим инсургентам, как называли их до этого времени в официальных журналах. С этих пор в глазах всех и каждого признаваемы они были законными борцами за веру и угнетенную родину. Наш посол, сообщивший перед обедом роковую весть разрушения Миссолунги графу Каподистрия, объявил перед всеми своими гостями, что Европа не может более отказывать грекам в своем покровительстве и должна принудить турок дать мир на возможно выгодных для независимости их условиях. На этом обеде, на котором только и говорили, что о Миссолунги и греках, были другие замечательные лица: домашний доктор посла и его друг френолог Галл, известный тогда всему Парижу старик итальянец Альтести, который еще при Екатерине II вместе с Орловым-Чесменским поднимал к бунту греков Мореи против турок[387], а потом и две наши знаменитости – Стурдза и Гульянов. Действующими лицами без речей были три гостя: молодые люди, Убри[388], чиновник нашего посольства в Италии, поселившийся со мною Берг[389], ваш покорнейший слуга, и все чины парижского посольства, которые за столом посла, подобно нам, безмолвствовали по заведенному у них обычаю.

Дня через два простился я с графом, которому было не до меня, а потому и расставанье наше было очень равнодушное. В последнем, впрочем, мог быть, виноват я и сам, увлекшийся Парижем и редко посещавший графа, с которым Стурдза и Гульянов были неразлучны.

---

* Королевская академия музыки (*фр.*).

В бытность свою в Англии Каподистрия получил решительный отказ от принца Леопольда Кобургского и сам был избран народным правителем Греции под скромным титулом президента. В 1826 году из Женевы представил он свою меморию государю Николаю Павловичу. В 1827 году имел он личное свидание с императором и был им принят не только с чрезвычайным благоволением, но и с выражением ему искреннего и глубокого от государя уважения. Встретивший их вместе П.А. Кикин говорил мне, что новый государь, державший себя со всеми с неприступным почти достоинством своего высокого сана, в обхождении с графом был против обыкновения ласков и приветлив, как ни с кем из иностранцев, за исключением разве герцога Веллингтона. Император беспрекословно согласился на избрание Каподистрия правителем возрождающейся нации, признал его в этом достоинстве и обнадежил своим покровительством[390]. Дальнейшая мученическая судьба сего мужа, напоминавшего своею доблестью древних героев Греции, всем известна. Он жил с ранней молодости одним чувством, одною мыслью, одною деятельностью для спасения своих единоплеменников и был умерщвлен освобожденными им дикими варварами[391], когда с тем же самоотвержением и мужеством начал вводить у них законный порядок и гражданственность.

В заключение моих о нем воспоминаний прибавлю, что в бытность свою в Петербурге граф обо мне вспомнил и поручил Кикину и другу моему Языкову написать ко мне, уже женатому и деревенскому жителю, не пожелаю ли я, чтобы он выпросил для меня у государя какое-нибудь повышение по службе. Я имел глупость отвечать, что, вполне довольный новым моим положением на родине, не желаю никаких успехов по службе, и даже не догадался письмом от себя поблагодарить графа за его обо мне память. Напрасно, однако, стали бы упрекать меня в бесчувственности и равнодушии к этой памяти. Я дорожу ею вот уже полвека, а было время, когда я был безусловным поклонником этого великого мужа и, несмотря на отсутствие во мне всякого увлечения, готов был отправиться по его указанию на край света.

Теперь буду говорить о своем начальнике.

Барон Крюднер был сын нашего посланника в Берлине; мать его, урожденная Фитингоф, была известная мистическая знаменитость[392]. В ранней молодости приписан он был к посольству своего отца, о котором, кажется, совсем забыли в истории нашей дипломатии и забыли напрасно. В царствование императора Павла, не соблюдавшего никаких приличий в сношениях своих с другими монархами, барону Крюднеру посчастливилось одержать победу над своенравным государем и совершить редкий для дипломатов подвиг гражданского мужества. В тот самый день, когда он давал бал прусскому королю и всему королевскому дому, в самый разгар вечера, когда, начиная от двора, все берлинское общество у него веселилось, получает он из Петербурга с курьером повеление немедленно потребовать паспортов и объявить

Пруссии войну по какому-то маловажному случаю, рассердившему Павла. Можно себе представить, до какой степени возмущен был наш представитель такою неожиданностью. Не теряя ни одной минуты, не выходя из кабинета, тотчас же с тем же курьером отвечал он в своем донесении Павлу, что в эту самую минуту у него на бале король, весь дипломатический корпус и все берлинское общество, что требовать паспортов и объявлять войну невозможно, да он ее и не объявит, а причины своего дерзкого неповиновения воле государя всеподданнейше объяснит после бала с другим курьером, которого на другой же день отправит в Петербург. Вторым своим донесением Крюднер успокоил государя, и дружеские наши отношения с Пруссией ни в чем не изменились, а будь на месте остзейского барона другой, менее немец и более русский, война, пожалуй, была бы неизбежна. Нечего говорить о том, что случившееся на бале было скрыто от присутствовавших и во все павловское время оставалось для всех тайной. Легко может быть, что и весь этот эпизод остается и до сих пор никому не известным и сохраняется только в семейных преданиях. Дипломаты тех времен были скромнее нынешних. Тщательно оберегая достоинство своих правительств и свое собственное, они почитали недостойным своего звания препираться публично и действия даже отдаленного своего прошлого передавать страстной, а потому и не всегда пристойной газетной гласности.

Барона Крюднера (сына), о котором начинаю рассказ, в первый год молодости, при самом начале карьеры поразило одно роковое событие. На одном придворном берлинском бале прусский гвардейский офицер, видный и рослый, имел дерзость потребовать от белокурого тщедушного робкого юноши, облеченного в смиренный, почти траурный мундир нашего Министерства иностранных дел, чтобы он, т.е. Крюднер, уступил ему, широкоплечему гвардейцу, свое место в кадрили и вышел из нее со своею дамой. Получив робкий, хотя и весьма понятный отказ, могучий гвардеец взял Крюднера за воротник и вышвырнул его из кружка. Крюднер убил наповал насильника на дуэли, условием которой была смерть одного из соперников. Такой конец поединка отразился на его жизни; она вся этим была для него испорчена.

В первый год Французской империи овдовевшая баронесса Крюднер уже начинала быть известною в парижских литературных салонах, но в то время, гоняясь за эффектом или за знаменитостью, она далеко еще не дошла до приобретения себе мирской славы подвигами мистических откровений. Восприимчивая, образованная, мечтательная и притом, как говорили, не бесстрастная, вошла она в модные литературные кружки, чтобы посмотреть на парижских литераторов и чтобы им и себя показать. По принятому всеми синечулочными дамами обыкновению напечатала она свой небольшой преинтересный роман «Valérie». Современники догадывались, что в нем расска-

зала она свою собственную историю – платоническую любовь жены старого дипломата к одному из его секретарей.

Не знаю, в какое именно время ее сын перешел секретарем нашего посольства в Париже, знаю только то, что он был там в одно время с графом Нессельроде, когда будущий канцлер был советником. Во Франции Крюднер оставался при князе Куракине до разрыва с Россией. В 1811 году присутствовал он на том знаменитом бале, который австрийский посол князь Шварценберг[393] давал высоким новобрачным Наполеону I и эрцгерцогине Марии Луизе[394], его супруге. Подробные рассказы барона Крюднера об этом злополучном празднике[395] были очень интересны. Он живо описывал, как наш пышный посол князь Куракин Александр Борисович, совоспитанник Павла, сохраняя, как святыню, всю строгость придворного этикета, заведенного его царственным другом, простирал свою вежливость и рыцарское чувство к дамам до того, что оставался почти последним в огромной, объятой пламенем зале, выпроваживая особ прекрасного пола и отнюдь не дозволяя себе ни на один шаг их опереживать. Следствием такой утонченной учтивости даже под страхом смерти было то, что Куракина сбили с ног, повалили на пол, через него и по нем ходили и едва могли спасти. На нем еще во время проводов загорелся великолепный французский кафтан старинного покроя, и скоро раскалились и золотые эполеты, пуговицы и ордена, залитые бриллиантами. Всего более пострадали у него пальцы от разгоревшихся перстней и колец. Куракин долго страдал от обжогов по всему телу, и не прежде конца лета знаменитые врачи Парижа дозволили ему выехать из своих посольских палат, чтобы поселиться на даче, но такого передвижения не в силах он был совершить в экипаже, и вот устроены были великолепные носилки под навесом вроде балдахина, на которых императорский российский посол, родовитый князь из дома Гедиминов[396], ближайший друг покойного императора и уважаемый по всем этим связям императором Александром, одним словом, в полном смысле русский боярин во всем своем величии и во всей своей дикости торжественно перенесен был среди белого дня с подобающим его особе великолепием на дачу в Клиши, где тогда были одни загородные дома, сады и парки и где теперь выстроился новый город. Все народонаселение громадного Парижа изумлено было подобным зрелищем. Торжественное шествие восточного сатрапа (нельзя же иначе: «Grattez le Russe, vous y trouverez un Tatar»*) открывалось многочисленной ливрейной прислугой по два в ряд, посольские егери в охотничьей пышной одежде с разноцветными султанами несли носилки и над ним балдахин. По сторонам в ненарушимом порядке шествовали в своих мундирах, с соблюдением старшинства, чиновники по-

---

* «Поскребите русского, и вы найдете татарина» (*фр.*) – крылатая фраза, чаще звучащая по-французски как «Grattez le russe et vous verrez le Tatare». Ее авторство приписывают и Наполеону Бонапарту, и маркизу Адольфу де Кюстину.

сольства. Шествие открывалось и замыкалось конным отрядом гвардии или жандармов столько же для порядка, сколько и для почета. Вероятно, Наполеон охотно согласился угодить тщеславию нашего посла, выставив его напоказ парижанам. Но самое зрелище описано было французскими журналистами с оттенками французского юмора, который прикрывался приличиями цензуры, строгой, как известно, в тогдашнее время. Весь рассказ Крюднера об этом великом дипломатическом событии от начала и почти до конца морил со смеху его слушателей. Но сам рассказчик никогда не мог выдержать насмешливого своего тона и начинал выходить из себя, как скоро приходилось ему коснуться свой жалкой роли; тогда он сейчас же переходил к извержению упреков памяти своего нелепо пышного начальника.

Когда перед началом войны 1812 года великолепный князь Куракин и присланный от государя к Наполеону ненавистной памяти князь Чернышев[397] выехали из Парижа, младшие секретари посольства оставлены были там на короткое время, чтобы сделать все необходимые распоряжения к выезду канцелярии и покончить некоторые дела по счетам посольства. Пока они этим делом с большим спехом занимались, открылось похищение Чернышевым секретных бумаг французского военного министерства и вся мерзость этого поступка, которого даже не умел скрыть похититель. При обыске его квартиры тайной полицией где-то отыскали собственноручные записки француза, чиновника военного министерства, который продал тайные бумаги Чернышеву, за что и был немедленно расстрелян. К сожалению, в общем ходе международных сношений иногда встречаются подобные преступные предательства и неблаговидные, никогда не допускаемые международным правом к содеянию их подкупы.

Со своей стороны, Наполеон, раздраженный поведением присланного от нашего государя флигель-адъютанта, не преминул воспользоваться правом возмездия, droit de représailles, и заключил двух остававшихся наших секретарей, баронов Моренгейма[398] и Крюднера, в крепость близ Лиона, если не ошибаюсь – au Fort de l'Ecluse*. Первому отворились двери заточения при вступлении союзных войск во Францию, второй из него убежал несколькими месяцами ранее и по назначении графа Каподистрия в Швейцарию посланником был при нем секретарем посольства, а потом и его преемником в качестве поверенного в делах, оставаясь в Швейцарии до коронации Николая Павловича.

Прежде чем описывать свое продолжительное жительство в Женеве, следует, конечно, рассказать о пребывании в Берне. Начну с того, что в личных моих сношениях с добрым для меня бароном Крюденером изредка встречались кое-какие от него помехи и внушения. Сколько могу припомнить, рас-

---

* в форт де л'Эклюз (*фр.*).

скажу их, не щадя моего самолюбия. Я стараюсь особенно опираться на мою смиренную откровенность, дабы иметь право с такою же откровенностью говорить о всех тех лицах, которые попадались мне на моей длинной дороге.

Приехав в Берн, я с первых дней думал похвастаться перед Крюднером и старшим секретарем Фурманом прежним моим знакомством с генералом Лагарпом и изъявлял желание посетить его в Лозанне. Крюднер, подозреваю я, прикинулся, что он всего этого моего рассказа не прослушал и ответа никакого не дал, а дня три спустя внушительно объявил мне, что наша миссия по предписанию свыше давно уже прекратила все сношения с Лагарпом, потому что сам император Александр был недоволен поведением своего наставника и друга, который, как предполагал Крюднер, вероятно, отправил государю слишком смелое замечание на действия своего воспитанника в Царстве Польском. Кроме того, враги Лагарпа, бернские патриции, повторяли везде и особливо Крюднеру упреки государю от Лагарпа за его бесцеремонное обращение с поляками и частые нарушения данной Польше конституции. Между прочим, рассказывали, будто в кабинете Лагарпа находился мраморный бюст с надписью: «Alexandre I Citoyen»*, и что будто бы этот самый бюст хозяин обратил лицом к стене, как бы в наказание за измену либеральному направлению, которое в нашем государе было так долго результатом данного ему воспитания. В заключение разговора моего с Крюднером о Лагарпе посоветовано мне было решительно отказаться от посещения всей этой симпатичной мне семьи. Другое начальническое внушение было сделано по случаю одной продолжительной беседы с членами Федеральной директории моими старыми приятелями бернскими патрициями. Это было в то самое время, когда начальники миссии вели свои корреспонденции о преследовании политических выходцев и когда мы, мелочь дипломатическая, эту корреспонденцию переписывали. Нет ни малейшего сомнения, что правители-аристократы нисколько не сочувствовали разнородным политическим бродягам, но они отстаивали, и то по приличию, а не по доброй воле, древнее право убежища, с давних времен присвоенное Швейцарии. Однажды, покончив довольно рано мои 4 роббера[399] с советниками директории, ни с того, ни с сего впутался я в разговор с ними об этих несчастных перебежчиках, которые горько надоедали мне нескончаемою из-за них перепиской. Я выразил этим господам внезапно тут же изобретенное мною положение, что если Швейцарский союз пользуется даруемым ему всею Европою нейтралитетом, то он с своей стороны, по моему мнению, вознаграждать должен за него Европу воспрещением для всех врагов общественного порядка скрываться в Швейцарии и в ней составлять заговоры против законных правительств; в коротких словах: Швейцарский союз должен платить Европе за нейтралитет отречением от права убежища и

* «Александр I Гражданин» (*фр.*).

выдачею политических преступников. Мне до сих пор такое положение кажется разумным и справедливым, но оно возмутило моих старцев-товарищей по зеленому столу, которые, выслушав этот тезис моей философии прав, между собою переглянулись, встали с покойных своих грязных кресел и оставили вместе со мной гостиную нашего клуба Grande Société. Через день после Крюденер призывает и спрашивает меня: «Что это вы наговорили нашим общим приятелям? Вчера вечером приходил ко мне советник Мюральт[400] и канцлер директории г. Муссон[401] и выспрашивал меня, правда ли, что все мы, дипломатические агенты, за исключением m-r Vaughan, английского посланника, стараемся добиться от Швейцарского союза, чтобы он отказался от права на убежище». – «С чего вы все это взяли? – отвечал я. – Ни одному из нас такого желания не приходило в голову, и никакое правительство не давало подобной инструкции». «Слово за слово, и Мюральт, и Муссон открыли мне, что подобное неприятное для них заключение вывели они из откровенных ваших бесед с их товарищами по директории». Затем последовало мне строгое внушение играть с влиятельными старцами, сколько и по чем мне угодно, но политические мои предположения сообщать им с величайшею осмотрительностью, «ибо, – прибавил Крюднер, – только одна долголетняя дружба моя с Мюральтом и Муссоном могла приостановить переговоры и переписки по этому случаю с другими дипломатами».

Встречались и другие случаи, доставлявшие мне по временам удовольствие получать от моего принципала более или менее легкие предостережения, которые делал он вежливо, добросердечно, с постоянным желанием выработать из состоявшего при нем молодого человека настоящего и со временем очень дельного дипломата. Если я, не сделавшись дипломатом, и обманул надежды Крюднера, то все-таки советы его много прибавили разных данных в мой запас житейской мудрости. Предметами внушений иного рода бывали для меня встречаемые мною соотечественники, прогуливающие себя по Швейцарии. Тогда их бывало, слава Богу, немного, не то, что теперь. Сам я на них на напрашивался, но земляки, особливо из Москвы, мне и моим знакомым знакомые, легко меня отыскивали. Не было, кажется, между ними ни одной такой персоны, которая бы чем-нибудь не наводила на меня смущения, не ставила в какое-нибудь ложное положение. Неоспоримо, что, по стиху Державина: «И дым отечества нам сладок и приятен», особливо на чужой стороне, но поневоле признаешься, что от такого дыма бывает иногда неприятный, тяжелый запах и резь в глазах. Так было и со мною не один раз.

Посольская церковь учреждена была графом Каподистрия и, служа трем целям, находилась за городом, то сперва в Рейхенбахском, а потом в Бремгартенском замках, на живописных берегах Арвы, невдалеке от города, от виллы «Эльфенау» и Гофвиля, где был институт Фелленберга. Она была в одно и то же время посольскою, домовою для великой княгини Анны Федоровны и, как бы

сказать, образовательною средой для русских воспитанников института, основанного преемником Песталоцци[402] Фелленбергом[403]. Граф Каподистрия вместе с Лагарпом предложили императору Александру отправлять русских детей в это заведение, разделявшееся на две школы – высшую реальную и опытную земледельческую для туземцев из простого народа, и чтобы наши воспитанники не были совсем отчуждены от отечества, то постановлено было, чтобы в нашем бернском священнике имели они наставника в законе Божием, в русском языке и истории. Государь одобрил это предложение графа Каподистрия и предоставил ему снестись с петербургским митрополитом, дабы сей владыка, избрав отличнейшего студента из духовной академии, посвятил его туда во священники. С ним отправлена была очень порядочная русская библиотека – учебная, историческая и литературная и выбраны были также будто бы отличные и нравственные трое молодых придворных певчих, из коих один есть тот самый Бондаренко[404], который с 1818 года находится и по сей день уже не певчим, а статским советником при нашем посольстве в Швейцарии.

Живо представляются мне ежедневные наши прогулки верхом из города в церковь в продолжение всей Страстной недели. Весна была чудесная, воздух благорастворенный, земля зеленела, цепь высочайших Альпийских гор, и между ними царица-дева Юнгфрау[405], блистала своими ледяными вершинами; несчетное множество каштановых, вишневых, грушевых деревьев и яблонь покрыты были полным цветом. Все вокруг нас благоухало и вместе с нами радовалось. Тут, на этом роскошном просторе и мой московский юноша на время забывал об отечестве. Зато на церковных стояниях предавался он с жаром своему религиозному и народному чувству земными поклонами.

В начале лета 1824 года, лишь только началось ежегодное переселение черев Альпы на юг странствующего люда, подобное периодическому перелету птиц, отыскал меня в Берне генерал Александр Александрович Волков, женатый на Римской-Корсаковой[406]. Он давно знал меня по Москве, бывши там во время губернаторства моего дяди Обрескова полицеймейстером (потом, кажется, комендантом, наконец до смерти – начальником жандармского округа). В швейцарской того времени, как и теперь, столице Волковы намеревались пробыть один день, много два, но когда попросили они меня показать им окрестности, во время этой прогулки встретили мы Крюднера, с которым я их и познакомил; они решились принять приглашение барона на обед и остались на целую неделю. Чета Волковых была humainement parlant*, т.е., говоря по-московски, люди безукоризненно приличные, из высшего круга, но эта из высшего круга дама не заблагорассудила отпирать свои чемоданы и разгуливала по окружающим город прогулкам в дорожном платье, измятом

---

* говоря по-человечески (*фр.*).

и не выглаженном, в пелеринке, рукавчиках и воротничках подозрительной белизны и свежести; генерал, ее муж – в поношенном сюртуке и военной фуражке, а сопутствовавший им племянник их, юноша, тоже в какой-то фантастической полудетской одежде, из которой он успел уже вырасти. Великосветские барыни-бернки, каждый день по нескольку раз встречаясь со мной в их обществе, с злой улыбкой расспрашивали, какая это была русская барыня, принадлежала ли она аристократическому кругу, и угадывали, что она, конечно, не из Петербурга. Перед этим я только что получил от Языкова в рукописи комедию «Горе от ума» и тут же, при таких расспросах, с патриотическою злобой вспомнил известные два меткие грибоедовские стиха:

От головы до пяток
На всех московских есть особый отпечаток.

Тогда я еще не потерял привычки краснеть и страдать за нашу матушку неряшливую старушенцию. Этим, однако, не кончилось негодование мое на путешествующих земляков, которые не сочли нужным сколько-нибудь приодеться на обеде у Крюднера. Мы, четверо, начиная с хозяина, т.е. Крюднер, Фурман, живший тогда со мною Берг и я, были в полном параде, в башмаках и белых галстуках и, войдя в гостиную барона минут за 20 до назначенного часа, нашли Волковых и с ними их племянника уже расположившихся в ожидании хозяина, который не рассчитывал на раннее нашествие гостей и был неприятно удивлен их бесцеремонными костюмами. Элегантное убранство стола и такая же ливрея одного из служителей, внушающая и расфранченная фигура метр д'отеля и мы, чопорные и накрахмаленные, представляли такой контраст с гостями, что в первую минуту всем, даже до слуг, было неловко. Но генерал Волков был добряк и человек неглупый, а жена его красива, по-московски бойка и по-французски речиста безукоризненно. Скоро все обошлось как нельзя лучше. Я проводил гостью на знаменитую платформу перед собором, угостил ее мороженым и отвел домой, а генерал с Крюднером отправились в Grande Société* и засели в карты. Таково было первое на меня в Берне нашествие двадесяти единоплеменников.

Вскоре потом, в одно прекрасное утро, докладывает мне мой камердинер, Тимоша, отворив настежь двери в кабинет, что какой-то, кажется, русский лакей меня спрашивает. «Кто же он? и зачем?» – «Не говорит-с». Я вышел и увидал некого члена английского клуба (московского) С.Н.Б., которого за его быстрые движения и по говору с заиканьем, тоже поспешному, прозвали там Стрелою. Стрела эта служила прежде в Балтийском флоте, оставила его, не вытерпливая качки, сиречь морской болезни, в некрупном чине лейтенанта, стала московскою крупной известностью по крупной игре и отправилась странствовать по белому свету на выигранные деньги, Волков перед Б-м был

* высшее общество (*фр.*).

франт и щеголь; новый мой посетитель мог бы, подставляя измятую свою шляпу, просить милостыню: так он был обижен Богом и собственным безвкусием. Несмотря на это, я, по сочувствию к землякам, от которого еще отстать не успел, и по доброте не без глупости (доброта всегда бывает с этою примесью) предложил ему обычную мою по бернским валам утреннюю прогулку, надеясь, что в такое время никакой компрометирующей мне встречи не будет, что все обойдется благополучно; вышло не то. Не успели мы выйти за город, повстречал я английского министра, который почему-то очень был ко мне расположен. Его особенное внимание я объясняю себе тем, что он не умел произносить моего имени и что всякий раз, когда я к нему приходил, камердинер, возвещавший меня, перековеркивал на разные лады мою фамилию, а хозяин, выслушав странное какое-нибудъ имя, сейчас угадывал, что это должен быть я. На мою беду, на запачканном сюртуке Б. в петличке были две ленточки, т.е. медали 1812 года, голубая военная и дворянская грошовая. Фешенебельный англичанин, спросив меня о здоровье, отвел немного в сторону и предложил вопрос о моем спутнике. «Мой знакомый, отставной флотский офицер». – «Откуда?» – «Из Москвы». – «Я люблю вашу Москву, – сказал англичанин. – Проездом из Персии я жил в ней несколько времени и помню радушное гостеприимство вашего старинного города». Все это было мне давно известно, и я спешил как можно скорее отделаться от него; но он потребовал, чтобы я представил его Б. Делать было нечего. Моя Стрелка как-то особенно завострилась и раскраснелась от неожиданного удовольствия. Б. уезжал после обеда, и я был уверен, что все это тем и кончится. Мы забрались вдаль, и когда часа через два пришли в гостиницу, нашли у Б. в номере карточку министра и пригласительный печатный билет на другой день у него обедать. «Так как вы едете сегодня, – сказал я, – я отнесу вашу карточку и за вас извинюсь». – «Помилуйте, я непременно хочу обедать; такая честь случается мне впервые. Я непременно буду». – «Да у вас нет приличного костюма». – «У меня есть фрак, почти неношеный». – «А шляпа, белый галстук, шелковые чулки, башмаки? Ведь этого наверно у вас нет, да и зачем вам таскать с собою такие наряды?» – «Да разве всего этого нельзя купить в Берне с вашей помощью?» – «Вот охота! Уверяю вас, что обед будет для вас прескучный». – «Нет, батюшка, нет. Я был два дня в Плимуте и знаю сам, что англичане едят хорошо, а пьют еще лучше». – «Да помилуйте, мы за третью часть тех денег, которую вы издержите на ваш наряд, можем отлично пообедать и даже с выпивкой. Нам вдвоем в гостинице, где меня знают, обойдется все это очень недорого». – «Опять-таки нет! Я у министров никогда не обедал и, может статься, такого случая и не будет. Пойдемте-ка покупать». Зайдя по дороге домой, я, разумеется, нашел и у себя приглашение на обед, а покуда мой охотник до министерских обедов примеривал себе башмаки и выбирал шляпу и пр., забежал я к Крюднеру узнать, приглашен ли он. «Что

это значит, – встретил меня такими словами барон, – третьего дня мы, кажется, с вами обедали в Англии, а завтра опять?» – «Эта беда на мою голову!» Я рассказал ему, и какая была встреча и что за чудак был встреченный мною и приглашенный. «Qui nous délivrera des grecs et des romains?* Когда же, наконец, избавите вы меня и себя от ваших приятелей?» – сказал мне барон. «Бога ради извините, а теперь делать нечего. Не могу же я сломить ему шею или переломить ногу! Он непременно хочет обедать у министра. А вам, барон, я посоветовал бы не быть на этом обеде. Я предчувствую, что он без отечественного скандала не обойдется; пусть же один я буду жертвою, не имея права сказать – невинною». Барон меня послушался и на обеде не был.

Я с моим московским чудаком пришел ранее других посетителей в приятной надежде, что никаких других и не будет. Не успели мы усесться, как дверь à deux battants** растворилась. «L'Ambassadeur de France!»*** – возгласил дворецкий Vaughan'а, и вошел маркиз де Мутье с обычною своею важностью. Затем возвещаемы были: граф Талейран-Перигор, отставной посол Франции, проигравший свое пари и потерявший место, иезуит d'Olri, сардинец Базен (Bazin) и, кажется, кто-то из бернцев. Последовало обычное представление моего моряка всем этим знаменитостям. Я поспешил, отведя в сторону английского секретаря Пакенгама, сказать ему, что омываю руки от всего, что он увидит и услышит от моего милого соотчича, и не могу понять сделанного ему приглашения. Хитрый и ловкий на всякую злую шутку француз де Мутье, не слишком-то дружелюбно расположенный к хозяину, тотчас, как видно, придумал, что из этого обеда может он сделать себе и другим потеху, и, когда пошли в столовую, уступил всегда и везде принадлежащее ему первенство русскому гостю как виновнику обеда, а мой дикарь, не подозревая насмешки, пренахально вопреки всем обычаям пошел первый и сел по правую руку хозяина. Я по обыкновению уселся на конце стола рядом с Пакенгамом. Сели мы за стол часа в четыре, рассчитывая на лакомый обед. Б. с утра, как сказывал он, приготовился лишением себя завтрака и длинною прогулкой. «Quelle excellente soupe****, – было его первое слово хозяину. – И что за мадера! И что за портер!» Радушный хозяин принялся потчевать его по-московски, вспоминая тамошние ему самому угощенья; и четверти часа не прошло, как моим гостем овладела какая-то восторженность. Маркиз накинулся на него с вопросами о России, в чем помогал ему и простодушный Талейран. До меня доходили, несмотря на то, что я не старался слушать и завел длинный разговор с секретарем, ответы заикающегося Б., который вдруг начал объяснять им во всех подробностях, какое значение имеют у нас и Государственный

---

* «Кто нас избавит от греков и римлян?» (*фр.*)

** двустворчатая (*фр.*).

*** «Посол Франции!» (*фр.*)

**** «Какой превосходный суп» (*фр.*).

совет, и комитет министров, и Сенат, и Синод. Не понимая нисколько различия между высшими правительственными учреждениями, в ответах своих он все более и более путался, не владея французским языком, сбивался в словах и, постепенно упиваясь крепкими винами, сердился на самого себя до того, что у него начали прорываться русские слова, и я, наконец, к ужасу своему, услышал одно «черт возьми», вырвавшееся из уст его. Такие речи развеселили смутившегося было вначале хозяина и возбудили всеобщий хохот, которому, утишив мой гнев, предался и я с молодыми моими товарищами Фурманом и Пакенгамом. По милости Б. хмельной разгул овладел всеми и, чего никогда ни у каких министров на чопорных обедах не бывало, наш великобританский амфитрион велел снять со стола приборы и поставить десяток бутылок с разными возбудительными к питью припасами. Кончилось тем, что подняли Б. из-за стола и отвезли домой, а меня и хозяин, и гости благодарили за доставленное им удовольствие знакомством с таким интересным русским. Я было понадеялся, что проспавшемуся Б. будет совестно оставаться долее в Берне, но он наткнулся на генерала Волкова, знакомого ему также по клубу, и пошел вместе с ним играть в Grande Société, там они встретились с Крюднером, и все трое, охотники сражаться за зеленым столом, предались на целую неделю этому полезному и приятному занятию. Сколько помню, Б. очень был доволен своим порядочным выигрышем, но недоволен был тем, что никто из дипломатов обедов ему уже не давал.

После такого образчика русских путешественников я могу и почти обязан описать целый ряд других, ни в чем не похожих.

Сколько могу припомнить, все эти посещения в Берне русских путешественников должен я отнести к летним месяцам 1824 и 1825 гг., и все почти посетители, начиная с Волкова, были для меня старыми знакомыми. В маленьком и скучном городке, каким был тогда Берн, натыкались они на меня очень просто. Приезжий от нечего делать заведет беседу с половым или кельнером, и тот перечтет ему фамилии чиновников посольства, ну и давай сюда Свербеева. Барыня за ним посылает, а барин является сам. О порядке их появления прошу не спрашивать. Начну с Тургеневых и первой встречи с лучшим нашим из настоящих писателей Ив. Серг. Тургеневым. Родители его, очень богатые орловские помещики, путешествовали с двумя мальчиками[407], а матушка их, урожденная Лутовинова, считаясь родственницей Марьи Васильевны Обресковой (моей тетушки), вытребовала меня к себе, и мне было очень приятно с этою семьей познакомиться, но я не стал бы упоминать об них, если бы через десятки лет не вспомнилось мне одно обстоятельство, которое выставляет отчасти широту русских нравов. В начале эмансипации писатель Тургенев сказал однажды при мне, что очень желал бы продать свой серебряный вызолоченный сервиз, которым матушка его хвасталась передо мною в Берне и что-то из него показывала, объявляя, что она заплатила за

него в Париже 20 000 фр.; с тех-то пор хранился он почти 40 лет в семье и ни разу не был в употреблении. В продолжение 40 лет выросло бы 80 000 сер., когда я указал на такой расчет поэту, он поморщился.

За ними явился ко мне лет 20 с небольшим юноша, князь Феодор Александрович Щербатов[408] (старший брат моей жены), которого я знал довольно коротко по моим родственным связям. Он сообщил мне о смерти своей родной, а моей двоюродной по мужу сестры Обресковой[409], сам показался мне больным, чахоточным и очень грустным. Я никак не мог подозревать в то время, чтобы он тогда уже был завербован в тайное общество, из которого вышли декабристы[410]. О том, что принадлежал он к ним, узнал я только после его смерти. В общество приняли его 19 лет, и когда он был уже адъютантом командующего всею гвардией Уварова[411]. Корифеи тайного общества, не задумываясь, губили юношей, и преимущественно тех, которые принадлежали лучшим фамилиям, имели хорошее состояние и впереди видную карьеру. Князь Феодор возвестил мне скорый приезд в Берн Чаадаева, своего родственника и мне когда-то знакомого, и своими разговорами о России дал мне первый понятие о нерасположении к правительству всей военной молодежи, о неистовствах Аракчеева, о мистической апатии императора Александра и т.д. Прибыл, наконец, и Чаадаев и возобновил знакомство, сделанное мною еще в моем детстве, когда сам он был 16-тилетним юношей. Я тогда имел обыкновение обедать ежедневно за небольшим общим столом, за которым соединялся наш тесный кружок, состоявший из Фурмана, глухого Guigerd[412], одного англичанина Story и самого барона Крюднера, а впоследствии Берга. Устраивались эти обеды у пожилой бернки, носившей полный свой крестьянский костюм, m-me Nops, а потому прозваны они были, хотя весьма неприветливые и по цене недорогие, за 3 франка, Noce et Festin*. После обеда затевалась Крюднером игра на большие деньги в экарте и в кости. В игре участвовали почти постоянно приходившие к концу обеда: Буркене, французский отставной генерал Шаван, префект бернской полиции Герцензе-де-Графенрид[413] и кое-кто другие из охотников. Часто игра оканчивалась порядочною выпивкой, никогда, однако, не доходившей до безобразия.

Я говорю об этих обедах так долго, потому что они долгой и скучной зимой были для всех лучшим развлечением, да и начинались и прекращались довольно курьезным образом. Когда, бывало, Крюднер получит треть своего жалованья, то он с первого же дня приглашает к себе обедать нас, подчиненных, даже и Бондаревского. Пройдет недели две, барон ferme la boutique**, запирает свою кухню и отправляется с нами вкушать нашу обычную скромную пищу, убедясь, что его обеды с прихотливым угощением, дорогими винами

---

* веселье и празднество (*фр.*).
** прикрывает лавочку (*фр.*).

становились ему не по средствам. На эти-то обеды и в этот-то кружок ввел я красивого Чаадаева, который всех поражал недоступною своею важностью, безукоризненною изящностью своих манер, одежды и загадочным молчанием. Он ни на одну минуту не забывал держать себя в заданной позе, часто сердил всех собеседников тем, что, отказываясь от предлагаемого ему вина, за десертом требовал себе бутылку лучшего шампанского, выпивал из нее одну или две рюмки и торжественно удалялся. Мы, конечно, совестились пользоваться начатой бутылкой, хотя на нее, бывало, и покушался Берг. По вечерам Чаадаев и к[нязь] Щербатов собирались на чай ко мне, а потом присоединялись к ним у меня и другие знакомые русские: Григорий Римский-Корсаков, отставной гусар Молоствов[414] и славный человек смиренник Бахметев. Из всех мною поименованных осталось нас в живых только трое: Бахметев, Берг и я. На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу почти поневоле и очень недовольный собой и всеми, в немногих словах выражал все свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских – взяточниками, дворян – подлыми холопами, духовных – невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве. Однажды, возмущенный подобными преувеличиваниями, я напомнил ему славу нашей Отечественной войны и победы над Наполеоном и просил пощады русскому дворянству и нашему войску во имя его собственного в этих подвигах участия. «Что вы мне рассказываете! Все это зависело от случая, а наши герои тогда, как и гораздо прежде, прославлялись и награждались по прихоти, по протекции». Говоря это, Чаадаев вышел из своей тарелки и раздражился донельзя. Таким иногда выказывался он до самой смерти, и изредка случалось даже и ему выходить из пределов приличия; так было и в этот вечер. «Вот, господа, прославляющие свою храбрость и свой патриотизм, я приведу вам в пример... – на этих словах он призадумался. – Ну да, пример моего отца[415]. В шведскую войну, при Екатерине, оба они с Чертковым[416] были гвардейскими штаб-офицерами и за то, что во время жаркого боя спрятались за скалой, получили Георгиевские кресты. Им какой-то фаворит покровительствовал, да и надобно почему-то было, чтобы гвардейские полковники воротились в Петербург с явными знаками отличия за храбрость». Можете себе представить, что при подобных взрывах негодования, выражаемого умным и просвещенным Чаадаевым, говорилось другими моими посетителями и до чего доходили наши крики и ссоры. Ссор, однако, не было, хотя чуть-чуть не дошло до двух, порядочно крупных, по недоразумению. Однажды исполин между нами по росту и красавец по русскому благообразию Григорий Корсаков, выгнанный из гвардии за то, что куда-то появился не застегнутый на все крючки в воротнике своего

мундира, рассказывал что-то о лифляндцах нехорошее и получил от Берга в ответ: «Вы врете, полковник». Странный ответ объяснился совершенным незнанием Берга русского языка. В другой раз, возвратившись из небольшой загородной поездки, Молоствов, недовольный своим извозчиком, назвал его мерзавцем-фурманом[417]; наш секретарь посольства, не расслышав, в чем было дело, тоже было обиделся.

Не знаю, почему Фурман не нравился никому из русских, особенно же Молоствову. Он очень был доволен, узнав, что у нашего секретаря есть братья, и уверял, что их вместе нельзя уже называть Фурманами, а во множественном – Fuhrleute*. Гусарский полковник Молоствов был родом из Казани, отец у него был, видно, большой чудак, назывался Христофором и надавал странные имена и своим сыновьям. Когда для наших бесед по-русски понадобилось узнать имя и отчество моего доселе незнакомого гусара, он назвал себя Парфамиром Христофоровичем; я ему не поверил и предложил пари. «Ну, так вы еще больше удивитесь, еще менее мне поверите, когда я назову одного из моих братьев Экзакустодианом». Я прибавил к предлагаемому пари еще одну бутылку шампанского. «Идет, только вы проиграете. Есть у вас адрес-календарь? Справьтесь между полковниками лейб-гусарского полка». Оказался он прав, и мы на другой день у m-me Nops мой проигрыш распили. Чудак был этот Молоствов, вполне, что называется, славный малый и остряк, а к тому же по-тогдашнему и либерал. Вот, между прочим, самим им рассказанный о себе анекдот: «Возвращаюсь я не очень давно из отпуска в Петербург; разбитый адской дорогой то по мостовой, то по бревнам в тряской моей бричке и преголодный, приезжаю на станцию в Бронницы. Там, вы, господа, знаете, смотритель кормит так хорошо, как нигде на всем пути. Каким-то чудом он женился на англичанке, и она-то приучила всех приезжающих у них останавливаться, отдыхать и прохлаждаться. Вот и я заказал ей хороший обед. Пока его стряпали рядом в небольшой чистенькой кухне, за перегородкой от комнаты для проезжающих, часто проходила оттуда мимо меня рослая, в красивом сарафане, опрятно одетая ражая девка, так что я ею залюбовался. “Что она, родная тебе или приемыш?” – спросил я у смотрителя. “Какая родня! Просто раба. Я ее купил на имя моего родственника, вышедшего в дворяне”. Такой ответ вывел меня из терпения. “Как ты смеешь называть кого-либо рабой? Не знаешь, что это запрещено законом? Рабов в России нет!” Он было вздумал еще возражать, и я поколотил его порядочно».

Надобно было видеть в эту минуту Чаадаева. Этот наш Басманный мудрец (как его после называли в Москве, когда он выставлял в начале своих писем, как дату, эту улицу), тогда еще не имел за собою никакого литературного авторитета, но Бог знает, почему и тогда уже, после своей семеновской катастрофы, налагал своим присутствием каждому какое-то к себе уважение. Всё

---

*извозчиками (*нем.*).

перед ним как будто преклонялось и как бы сговаривалось извинять в нем странности его обращения. Люди попроще ему удивлялись и старались даже подражать неуловимым его особенностям. Мне долго было непонятно, чем мог он надувать всех без исключения, и я решил, что влияние его на окружающих происходило от красивой его фигуры, поневоле внушавшей уважение. Вот одна из его странностей того времени. Возил он с собой повсюду своего камердинера Ивана Яковлевича; он был создан по образу и подобию своего барина, настоящим его двойником, одевался еще изысканнее, хотя всегда изящно, как и сам Петр Яковлевич, все им надеваемое стоило дороже. П.Я., показывая свои часы, купленные им в Женеве, приказывал Ив. Як. принести свои, и действительно выходило, что часы Ивана были вдвое лучше часов Петра. О первом говорится и в статье у Жихарева, и мое самое главное возражение приятелю моему, автору этой статьи, уничтожающему сказания мои о поездке Чаадаева в Тропау уверениями, что он, курьер Чаадаев, ездил на перекладной, а не в коляске, как я сказывал, основывается на том, что, по словам же Жихарева, Петру Яковлевичу сопутствовал Ив. Як. и что ни тот, ни другой на перекладной ехать бы ни за что не согласились, а оба вместе и не уместились либо не доехали, и что, следовательно, ехали они в коляске и умывались и переодевались непременно в разных местах по дороге.

На Крюднера Чаадаев наводил какой-то страх. Барон иногда захаживал ко мне, чтобы послушать, что между нами говорится, но делал он это, я в том убежден, просто из одного любопытства. Русских моих приятелей появление его не стесняло, они не отличались учтивостью и продолжали толковать на отечественном языке, не оченъ-то знакомом Крюднеру. То же делали они и тогда, когда кто-либо из моих товарищей, секретарей других посольств, ко мне забегал. Если же, по моей просьбе, заговаривали они по-французски, то их рассказы и мнения о России так были противоположны всем принципам Священного союза, которым все, кроме англичан, дипломаты тогда еще руководствовались, что я как хозяин резкими суждениями моих соотчичей был поставлен в неловкое положение. Крюднер чаще прежнего повторял мне свою фразу: «Qui nous délivrera des Grecs et des Romains?» По тем же причинам, т.е. по их русской привычке отзываться о России и о политике с излишнею откровенностью, не мог я водить наших путешественников в бернский клуб или Grande Société, – от них разбежались бы, либо самих их выгнали мои пожилые благонамеренные патриции. Не менее невозможно мне было запереть двери моим по службе товарищам, и вот, к великому удовольствию Крюднера, решился я бежать в Женеву и пригласил с собой смиренного Бахметева.

Пора, давно пора, однако, воротиться назад к рассказам, до сих пор не начатым, о том бернском обществе, в котором я вращался и в коем, что ни говори, а все-таки играл одну из ролей, хотя и второстепенных. Начну с самих бернцев и старейших между ними по званию avoyer'ов графа Мюллинена, везде *графа*, кроме Швейцарии, и Ватвилля, обоих кавалеров прусского ордена

Черного орла[418], по принятому в Швейцарии обычаю, не украшавших себя этим отличием ни в городе, ни во всей своей стране; но ведь прежде надобно досказать о моих не совсем-то приятных приятелях. Я был каким-то для них магнитом: все они разом после нашего с Бахметевым переезда в Женеву туда же за нами переселились. Мы решились жить с Николаем Федоровичем попросторнее и в «Ecu de Genève»*, кроме общей спальной, взяли себе одну из лучших гостиных отеля, с видом на бирюзовую Рону и лазуревое озеро. В этой же гостинице поместились и мои русские, и налагавший на всех нас свою державную десницу Голиаф Корсаков из нашей приемной комнаты учредил русский клуб, в который, не дожидаясь приглашения хозяев, изволили приходить с раннего утра не только эти знакомые нам господа, но и их знакомые, и те из русских, с которыми они знакомились на пароходах и на гуляньях. Вход был для всех свободен, никто не думал спрашивать, дома ли хозяева. Непрошенных гостей встречали мы у себя, приходя к себе. Все бы это было еще сносно, если бы не представляло двух неудобств, одного с практической, другого с нравственной стороны. Давно известно, что цивилизованные русские не могут жить без карт. Мы с Бахметевым тоже играли по небольшой в вист и покрупнее в экарте. Около полуночи уговаривали мы Корсакова и его свиту дать нам покой и убираться спать; он отвечал, что нам никто не мешает отправляться в нашу спальную, и игра продолжалась без нас до раннего утра. Каждый требовал себе из буфета, что ему вздумалось, и каждый, конечно, платил сам, но я плохо верил в аккуратность кельнеров и предвидел, что придется и нам за них поплатиться. Нравственное неудобство выказалось еще резче. Наши насильники обрели где-то русского живописца, ехавшего на казенный счет в Рим, и в день его отъезда в Италию с утра завели его к себе, т.е. к нам, и дочиста обыграли. Тут не могло быть никакого мошенничества, обыгравшие не хотели даже брать с него денег, но у русского художника оказалась амбиция, и обыгранный настоял на том, чтобы расплатиться, оставив себе по расчету денег в обрез, только чтобы добраться до Рима. Узнав об этом ночном происшествии в нашем клубе, мы решились с Бахметевым разойтись и сборище это уничтожить, и тотчас после этого наши перелетные птицы улетели.

Теперь примемся за avoyer'ов и бернское общество. Очень бы желал я вести мой рассказ в постепенном порядке. Не помню, говорил ли я или нет, что тотчас же по выезде моем в Берн пошел я наперед знакомиться с Фурманом, а не являться начальнику миссии Крюднеру оттого, что я приехал вечером. Новый товарищ по службе предостерег меня от повторения моих неловкостей в Вене и Мюнхене, сказав, что мундирного представления не нужно, и в то же время не скрыл от меня, что я успел уже сделать со своей стороны другую не-

* «Герб Женевы» (*фр.*).

поправимую неловкость, не написав от себя барону о назначении меня к его миссии, что всеми обыкновенно делается. На другой же день по моем приезде Крюднер сделал со мною обычные визиты двум avoyer'ам и французскому послу, тогда еще Таллейрану. Оба первые скромно помещались в одном, говоря по-нашему, казенном доме на площади вблизи от кафедральной церкви. Дом этот называли Stift*, и теперь перед ним поставлен памятник великому avoyer'у Эрлаху[419], а соборная древняя готическая церковь, как и многие в Германии, прозывалась Münster**, и перед ней посреди небольшой террасы или платформы, обсаженной великолепными каштанами, воздвигнут памятник в 30-х уже годах основателю Берна герцогу Церингенскому[420], который в Средние века был обладателем большого пространства Южной Германии, владетелем Стутгарта, а если не ошибаюсь, то и родоначальником нынешней виртембергской династии. Один из двух avoyer'ов, старичок Мюллинен, еще со времен прошлого столетия пользовался всеобщим уважением в своем кантоне и во всем крае и был человек неоспоримо умный и глубоко образованный. Он помогал Каподистрия в пересоздании швейцарской конституции в 1814 и 1815 годах и, сравнительно с другими патрициями Берна, смотрел менее враждебно на отделение, требуемое условием времени, от Бернского кантона подвластных ему двух кантонов. О товарище его Ватвилле говорили как о человеке, несравненно менее способном занимать такое высокое звание. Зато Ватвилль в общественной жизни был современнее. В верхнем этаже дома, занимаемого Мюллиненом, вся обстановка вместе с хозяевами напоминала старое доброе время Швейцарии и простоту ее нравов. Посетителям, кто бы они ни были, хотя бы французский посол, двери отворяла служанка в крестьянском костюме, она же о них и докладывала. Точно наши старосветские помещики, выходил к ним навстречу невзрачный и нисколько не внущающий, но зато добродушный приветливый старичок, привлекавший всех своею благоволительностью. За ним следовала в старомодном костюме и в головном уборе, не совсем похожем на чепец, его барыня, madame l'Avoyèr, всегда напоминавшая мне мою симбирскую бабушку Татьяну Ивановну Ермолову. Мюллинен был по старинным обычаям хлебосолом и на первых же днях позвал меня с Крюднером и Фурманом запросто у него отобедать. Обед был очень патриархальный, как и самый костюм хозяина. Он носил постоянно, не изменяя ни для каких торжеств, кафтан, покроя прошлого века из черного толстого сукна, такой же камзол, короткие штаны и шерстяные или бумажные черные чулки в башмаках с пряжкой. Даже его манжеты не отличались ни затейливыми кружевами, ни особенною белизной. Такой костюм почитался в то время старинным придворным или траурным, но он до такой

---

* Карандаш (*нем.*).

** Кафедральный собор (*нем.*).

степени был в обычае между старыми французами, что савойцы, по языку тоже французы, на другом берегу Женевского озера все носили точно такую же одежду, кроме разве рабочих. И теперь, я думаю, можно встретить около Эвиана или Тонона сколько-нибудъ зажиточного крестьянина-собственника в его треугольной шляпе и в тяжелых башмаках с медными пряжками. У Ватвилля в том же доме, напротив, все было по-новому: умеренный, хотя и неуклюжий и не совсем опрятный швейцар и безвкусно, не без претензий, одетая средних лет супруга, старавшаяся занимать гостей умными, немного вычурными современными фразами; зато у Ватвилля не было про меня и угощения.

Авуайэр Мюллинен на целое лето удалялся на свою небольшую виллу на Тунском озере. Эта его дача под названием «Chartreuse» существует и теперь в том же самом виде, в каком была при нем, и отличается скромным и вместе своеобразным вкусом прежнего хозяина. В ней замечательны средних времен цветные стекла с затейливыми на них надписями, а при жизни хозяина хранилась там его библиотека с первопечатными книгами и старинная мебель с древней высокоценной резьбой. Там я тоже раза два у него обедал по его приглашению – «venir chez lui dîner dans sa campagne et boire du vin de Madère»*. Вместо мадеры он потчевал вином из своего виноградника – «du vin de ma terre»**. Противоположность в характере и в быте между двумя верховными советниками Берна признавалась всеми, и общественное мнение давало предпочтение представителю старины. При всей своей скромности Мюллинен верил и в свое личное достоинство, и в достоинство своего звания. Ватвилль, напротив, важничал перед всеми и в каждом дипломате подозревал желание его и представляемую им маленькую республику унизить – вечная слабость мелких умов и мелких характеров, понятная и потому извинительная в людях *новых*, т.е. выскочках из нижнего сословия. Ватвилль по древности своего рода нисколько не был homo novus***, но он имел глупость считать свою небольшую страну слишком ничтожною сравнительно с другими европейскими державами. Мюллинен же думал иначе и справедливо гордился, напротив, независимостью и древнею свободой своей нации. Скудное жалованье, получаемое от кантона этими правителями, было для одного слишком достаточно, для другого слишком мало.

Когда каждый из них становился на один год в течение двух, в которые сосредоточивалась вся федеральная власть союза в Берне, президентом швейцарской диеты[421], получал он из государственных сумм на расходы comme frais de représentations**** по 4000 швейцарских франков (т.е., по тогдашнему

---

* «прийти к нему обедать в его поместье и отведать мадеры» (*фр.*).

** «вином со своей земли» (*фр.*).

*** новый человек (выскочка) (*лат.*).

**** на представительские расходы (*фр.*).

счету, по 6000 французских). В течение двух месяцев от каждого кантона по 2 депутата заседали в Берне, и всех их вместе с дипломатами имел обычай правительствующий avoyer (avoyer régnant) принимать и угощать. На двух или трех торжественных обедах нас всех рассаживали по карточкам промежду швейцарских кантонных представителей, и я, не зная еще особенностей Швейцарии, очень был изумлен, узнав от сидевшего со мной рядом гризонского депутата из Coire, что он держал там гостиницу, и был изумлен еще более, узнав потом, что этот трактирщик носил древнюю фамилию Planta[422]. Депутатами маленьких, самых древних кантонов были простые земледельцы, носившие иногда исторические имена. Они выбирались обыкновенно целым населением, собиравшимся по звону колокола под открытым небом на площади главного своего города, скорее местечка.

У патриарха Мюллинена патриархально справлялись и эти пиршества и с первого раза напомнили мне те угощения, которые, по описанию Вальтер Скотта[423], давались в Шотландии родоначальниками кланов. Длинный стол ломился под тяжестью яств, заздравные тосты подносились в огромных кубках, все отличалось количеством, но отнюдь не качеством. Обеды эти нескончаемо длились и были нестерпимо скучны. Мы, младшие чиновники посольства, рассаженные между депутатами мелких кантонов, не могли даже беседовать с ними: их немецкий язык был совершенно местный. Помню, что однажды против меня сидел Буркене, а между нами на столе выставлена была с начала обеда в огромнейших размерах часть дикой козы, du chamois * – одно из самых уважаемых гастрономами блюд и довольно редкое, но это жареное, видно, было давно заготовленное и припахивало. Бедный Буркене долго краснел и бледнел, и я, наконец, убедил его выйти из-за стола и сам охотно за ним последовал, чтобы ухаживать за товарищем. Осведомлениям затем о здоровье не было конца. Берн имел ту особенность, что самые ничтожные происшествия дня тотчас же делались общим достоянием и производили в городе шум.

Обеды у Ватвилля бывали изысканнее, но и на них выказывался он со своей супругой каким-то Bourgeois-Gentilhomme**. Должен признаться в своей слабости: открытие первой при мне диэты под председательством Мюллинена в церкви St. Esprit, Св. Духа, польстило моему самолюбию, еще не вышедшему из ребячества, и отгадайте, почему? Мне пришлось этим утром разыграть такую великую роль, какая выпадает весьма немногим. Жил я тогда в самой середине города, далеко от квартиры барона Крюднера, близко от церкви, где открывалась диэта. Фурман надевал свой мундир в канцелярии, за мной же прислана была открытая коляска с ливрейным лакеем, и повезла она меня в это прекрасное раннее летнее утро по всей длине главной улицы, украшенной знаменами всех кантонов и двумя рядами союзного войска всех

---

* серны (*фр.*).

** мещанином во дворянстве (*фр.*).

оружий, и повезла она меня к Крюднеру. Лишь только завидел меня первый барабанщик, как ударил в свой громкий барабан, войска взяли под ружье и стали отдавать мне как представителю иностранной державы всевозможные воинские почести, даже с преклонением знамен. Я подозреваю, что такая овация понравилась Антону барона Крюднера и сидящему с ним рядом кучеру, и они нарочно поехали медленнее, нежели следовало. Надеюсь, что благосклонные мои читатели простят мне подробности такого воспоминания. Впрочем, и тогда уже это торжественное открытие сделало на меня более серьезное впечатление, так что врезалось в мою память, а теперь, в эту минуту, наводит на мысль, имеющую великое значение в будущем. Не успел собраться в церковь весь дипломатический корпус и разместиться на местах, каждому посольству приготовленных (мы, русские, с нашим поверенным в делах должны были занять самое последнее[424]), как из древнего здания небольшой бернской ратуши началось торжественное шествие швейцарского сейма при колокольном звоне, при громе пушек, звуках военной музыки и восторженных народных криках. Представителям каждого кантона предшествовали Huissiers, герольды, одетые в разноцветные плащи по своим гербам. Эта пестрота могла, пожалуй, казаться и неприличною, и смешною, а обыкновенная черная одежда депутатов, изменивших свой обыкновенный костюм одними треугольными шляпами и шпагами, слишком простою, но и тогда уже предносимое пред президентом сейма в заключение процессии изображение его верховной власти: вместо скипетра – «la main de Justice»* и всего более развевающийся федеральный белый крест на красном поле – торжественно выражали независимость во имя креста республики и ее свободы, охраняемой всеми европейскими державами. Много было кровавых войн, и, благодаря своему нейтралитету, Швейцария не принимала в них участия и ее знамя не показывалось на поле кровавых сражений. Теперь оно в последнюю чудовищную войну, признанное всеми сильными державами, виднеется на месте кровавых убийств как знамя христианского милосердия[425].

Не позже, как вчера, в одной из наших московских газет сказано было, что не менее 30 000 человек, раненных во франко-германскую войну, были спасены членами Общества Красного креста, – который в наше время, подобно чудесному Labarum (знамени царя Константина)[426], соделался знаменем победы над варварством успехов человеческой свободы и христианского милосердия. Мы уверены, что Провидение этому рукотворенному кресту даст более силы, нежели древнему, явленному Константину, во имя которого превратно понимаемое христианство так долго оправдывало кровавые междоусобия.

К сожалению, торжественная процессия привела сейм не в древнее готическое здание собора, где производились переделки, а в небольшую по

* рука Правосудия (*фр.*).

сравнению с ним реформатскую церковь новейшего построения, совершенно обнаженную от всех величественных остатков средневекового католичества и потому мало соответствующую такому торжеству. Оно началось древним хором на органе и торжественным пением, краткой молитвой и скоро окончилось присягой, которую все депутаты единогласно повторяли за председателем сейма. Эта присяга произнесена была пятьюдесятью голосами с таким восторгом и одушевлением и так отчетливо, что скептики между дипломатами, и едва ли не первый между ними был французский посол, насмешливо намекали, что присягавшие делали накануне репетицию. Насмешка, однако, не удалась; первый из швейцарцев, который ее выслушал, готов был поплатиться за свою правду жизнью, и чуть-чуть не дошло до дуэли. Жаль, что не имею самого текста присяги, ибо уверен, что древняя простота и искренность этой всенародной клятвы сама по себе, несмотря на отсутствие всех видимых знаков торжественности, убедила бы моих читателей в высоконравственном ее значении. При открытии диэты не обнаруживалось никакого между швейцарцами различия в народностях и разноверии. Швейцарцы, немцы, французы и итальянцы беспрекословно произносили свои клятвенные обещания на немецком языке, и тогдашние католики обходились без всяких внешних формальностей. Единственное между ними и реформатами различие состояло в том, что католические депутаты в день открытия диэты ранним утром слушали обычную обедню, la Messe du Saint Esprit*, и что папский нунций при сейме признавал, как видно, неприличным присутствовать вместе с другими дипломатами при торжестве открытия в еретической церкви.

Начиная описание моей общественной жизни в Швейцарии, за представленными мною очерками двух главных лиц Бернского кантона, авуайэров, я должен упомянуть о тех членах дипломатического корпуса, имена которых не встречались еще в моих рассказах; французского посла и его двух секретарей, так между собою несходных, – прежнего Буркене, и иезуита д'Орера, и баварского министра д'Olri, ультрамонтана и австрийского шпиона, я уже представил моим читателям. Коснувшись Таллейрана, говорил я о нем, но ничего не сказал о том, какою грустною потерею для всего бернского общества было удаление его из Швейцарии. Дом его был постоянно открыт для всех и привлекал своим радушием, широким гостеприимством все общество. Трудно было ожидать новому посетителю этой гостиной, что он найдет во главе дипломатического корпуса, в после, играющем первую роль в маленьком городе, да еще в господине Таллейране-Перигоре, имя которого соединялось всегда с понятиями об утонченной человеческой хитрости, француза самого бесхитростного, ненапыщенного и нехвастливого. Жена его[427] была также довольно еще молода и привлекательна. Я не могу вспомнить теперь

---

* мессу Святому Духу (*фр.*).

собственной ее фамилии, знатной по происхождению, знаю только, что ее отец и мать во время террора погибли на гильотине, что сама она была спасена преданностью слуг ее родителей, что деревенской девчонкой, долго не знавшей грамоты, ходила она босиком за небольшой стаей индеек и потом воспитывалась, по восстановлении Наполеоном I религии, монахинями какого-то монастыря. Проведенное ею детство выгодно отразилось на всей ее жизни, а простота нравов и манер привлекала всех ее знавших. Напротив, новый посол, маркиз де Мутье, находившийся в разлуке с женою, жил одиноким, не потому, как сам говаривал он, чтобы между ними существовало какое-либо несогласие, но единственно потому, чтобы размножением семейства не довести до бедности своего аристократического рода, чтобы род маркизов де Мутье процветал во Франции. Когда у него родился сын, который, в свою очередь, недавно был министром иностранных дел[428], и потом дочь, муж и жена сделались братом и сестрой. Утверждают, что во Франции подобный обычай издавна существовал, а может быть, и существует между знатными французами. Английские аристократы в этом, как и во многих других отношениях, и нравственнее, и человечнее.

По удалении из Берна четы Талейранов и при совершенном опустении великолепных сравнительно двух гостиных французского посольства общество перешло в скромную приемную министра Пруссии. Служивший некогда в военной службе толстый добряк, невшателец родом граф Meuron был посланником прусского короля Фридриха Вильгельма. Известно, что Невшательский кантон издавна, не помню уже, на основании каких прав, до революции принадлежал прусскому дому, потом был подарен Наполеоном своему любимцу маршалу Бертье[429] и парижским трактатом 1814 года возвращен был Пруссии и в то же время считался одним из швейцарских кантонов до 1857 года. Прусские короли никогда не злоупотребляли в нем своею верховною властью и не мешали его кантонному управлению. Комендантом Невшательской крепости, которой пруссаки почему-то дорожили, был один постоянный в городе и кантоне прусский чиновник. Гражданскими правителями были избираемы люди из тамошних древних дворянских родов, которым Пруссия давала от себя графские титулы и ордена. Знатнейшие между ними были два семейства богачей графов Порталесов и очень небогатых графов Meuron. Особенностью Невшательского кантона было еще то, что он отправлял в Берлин небольшой батальон, имевший всегда почетное место в прусской гвардии. В нем очень усердно и очень охотно служило Пруссии невшательское дворянство, не имея необходимости, подобно другим швейцарским дворянам, искать себе службы на капитуляциях в швейцарских отрядах[430], находящихся во Франции, в Голландии, в Испании, в королевстве обеих Сицилий или Неаполе, и в швейцарской гвардии, и в войсках папы.

Итак, повторяю, все наше небольшое общество: бернские патриции, дипломатический корпус, примыкавшие к нему иностранцы, des étrangers de distinction* собирались с конца осени ежедневно в прусском посольстве, кроме, конечно, тех немногих званых вечеров, когда оно являлось во всем своем составе в *Штифте* или палатах авуайэров, либо у тех из патрициев побогаче и поважнее, которые вменяли себе в обязанность раз или два в сезон угощать высшее общество в тесных душных комнатах чаем и отличными бернскими кондитерскими лакомствами. Случалось раза два в зиму и танцевать: в театральной зале le jour du réveillon**, т.е. накануне Нового года, в семействе Кеннеди, у пребогатой, малорослой, горбатой и преничтожной Lady Frances Compton[431], у которой выпрашивался с бою бал в Hôtel du Faucon, и на небольших вечеринках у английского генерала Фе и у красавицы, вдовы или разводной, не знаю, Lady Webster[432]. В мое время во всей Швейцарии существовали еще от средних веков оставшиеся законы в охранение нравов и обуздание роскоши, lois somptuaires***. Ворота некоторых городов окружались бастионами и запирались в 8 часов вечера. В Берне затворялись они для каждого входящего в город в 11 часов, в Женеве – в полночь. Такая постепенность на пути прогресса наблюдалась и в нравственном отношении, в отношении к танцам. В маленьких кантонах и даже в Солотурне и Фрибурге, довольно больших католических городах, дозволялось плясать до 8 часов вечера; в Цюрихе и Люцерне, городах больших, куда поочередно переходили, танцевать можно было до 9, в Берне же до 10 часов, а в Женеве до 12. Только однажды в год, накануне Нового года, уже все городское общество, т.е. наше и высшая буржуазия, справляло праздник большим балом в редуте и имело исключительное право веселиться до 3 часов утра. Городская полиция не дерзала мешать дипломатам просиживать у себя с гостями до глубокой ночи, но, охраняя свои обычаи, она строго исполняла свои законы, подвергая большому штрафу музыкантов, если бы они вздумали играть позднее определенного часа. И больших усилий стоило всему дипломатическому корпусу добиться однажды у правительства, чтобы оно дозволило на бале Lady Compton, который у нее выпросили, оставаться посетителям до 3 часов, как это делалось в редуте. Зато и бал этот, сравнительно роскошный, и исключение, для него допущенное, описаны были во всех швейцарских газетах, и иными не без порицания.

Я уже говорил однажды о бернской французской труппе, приезжавшей на месяц из Женевы. Чтобы оценить ее по достоинству, мне стоит повторить слышанную мною остроту о московской в 20-х годах. Кто-то при мне сказал: у нас в Петербурге театр прескверный, а о московском нельзя сказать и этого.

---

* знатные иностранцы (*фр.*).

** в канун Нового года (*фр.*).

*** законы против роскоши (*фр.*).

В зимний сезон бывали у нас в какой-то консерватории общественные и любительские концерты. На них собиралось все городское общество; наше дипломатическое пользовалось в нем особенным преимуществом – занимать первые три ряда кресел и входить бесплатно. В зале бывало и душно, и тесно. Молодые бернские аристократы помещались по стенам и, стоя кучками как можно ближе к оркестру, блистали своими военными мундирами тех держав, которым по капитуляциям служили. Наши три ряда часто редели. Старички правители и их старушки, равно и начальники миссий, редко либо на одну минуту в них показывались, зато мы, юные дипломаты, любили там почваниться: преудобно располагались в своих креслах, то и дело переходили с места на место и постоянно нарочно опаздывали на эти концерты, чтобы наслаждаться уступчивостью толпы и возможностью перед ней поторжествовать, а наших молодых бернцев подразнить, когда они стоят и потеют, тем, что мы роскошничаем на просторе. Однажды после концерта имел я презабавную сцену. Из всех дипломатических и правительственных дам была и осталась до конца одна преманерная аувайэрша, m-me de Ватвилль[433], и никого из начальников миссии не было. Секретари, мои товарищи, тоже куда-то скоро разбежались, и во всех этих трех рядах видна была одна парочка: я, еще новичок в Берне, и эта очень пестро одетая первейшая дама, «особа» Берна. Прочитав незадолго перед эти напечатанное полицией распоряжение, в каком порядке, т.е. с какой стороны, должны подъезжать экипажи к подъезду театра и концертному залу, я еще не успел узнать, что к ним и всего-то подъезжала иногда одна только карета нашей великой княгини, и потому за отсутствием старших нашел приличным проводить m-me de Ватвилль до предполагаемого ее экипажа. По высокой лестнице сошли мы с нею в сени в виду толпы, почтительно уступавшей нам дорогу, и вместо ливрейного лакея молоденькая служанка надела на нее мантилью, поспешно зажгла фонарь, а мне вручила огромный зонтик. Под ним под сильным осенним дождем провел я через площадку мою даму, все ожидая экипажа. Но вот мы с нею вошли под арки бернских домов, и горничная пошла вперед со своим фонариком, а я увидал не без досады, что должен был проводить пешим образом мою спутницу до ее жилища, то распуская, то опуская мой зонтик на переходах через поперечные улицы. Немало смеялись надо мною мои товарищи, поздравляя меня с такою великою честью и с таким успехом у авуайэрши. В этот же самый вечер позабавились надо мною насчет авуайэрши и у m-me de Meuron, у которой под конец вечера нашел я запоздалое наше интимное ежедневное общество. Муж был флегматик и, как я уже сказал, добряк, гораздо более швейцарец, чем пруссак, представитель гогенцоллернской дипломатии. Графиня, жена его, урожденная m-me Wildich, была женщина лет за 40, небольшого роста, довольно полная и симпатичной наружности. С ней жили две девицы: родная племянница, премолоденькая, прехорошенькая блондинка mademuaselle Emma de Rœder, и

ее подруга, постарше, тоже белокурая, не больно красивая, зато грациозная и премило насмешливая, m-lle Meissner. К этим трем хозяйкам дома, как пчелы к цветам, слетались сколько возможно чаще юные дипломаты: Фурман, я, а потом и Берг, Буркене, прусский секретарь и примкнувший к нам глухой Guingens de la Lasarrat, общий всем приятель.

Из других дам сходились на вечернюю беседу miss Кеннеди, m-lles Sophie et Jeanne Kennedy. Средняя была очень милая англичаночка. Ею особенно занимался, и даже серьезно, Guingens. Фурман был в дружбе с m-lle Meissner, а я, по наговорам и сплетням бернских дам и двух-трех старичков, чуть-чуть не начал гореть любовью к m-lle Emma, убедив себя, Бог знает почему и зачем, что я моими ухаживаниями обязан был некоторым образом исполнить долг, налагаемый на меня общественным мнением. Из этого составился целый маленький эпизод моего бернского пребывания.

M-lle Emma de Rœder была прехорошенькая, свеженькая, как только что распустившийся цветок, блондинка с голубыми глазами, много обещающими; она была прелестно наивна. Ей много надоедал своими любезностями угловатый и грубоватый Schafgotsch, и моя с нею короткость, очень понятная при ежедневных посещениях, началась с того, что она стала мне жаловаться на его преследования. Нашу короткость тотчас же заметили некоторые дамы и особливо приятельница Эммы, подруга ее, m-lle Meissner, m-lle Sophie Kennedy и мечтательная Ida Fischer[434], и начинавшееся между нами сближение, весьма невинное, как бы сговорясь между собою, пытались развивать до романа. Когда бывали мы вместе с Эммою на каком-нибудь большом вечере, непременно одна из сочинительниц романа встречала меня известием, что меня уже ждут, а ее – что я уже тут или сейчас буду. Надо было на мою беду пристать к этим чувствительным сплетницам чувствительному старичку Guingens, отцу моего приятеля[435]. По непрошеной дружбе ко мне и по участию к не совсем-то, по его мнению, выгодному положению m-lle Эммы, он забил себе в голову довести наш роман до развязки и как можно скорее. Барышни-приятельницы исподтишка хлопотали о том же и меня всячески подталкивали, а в городе стали уже говорить, что между нами с Эммой уже все улажено. Два ничтожные обстоятельства ускорили ход великих событий, занимавших от нечего делать великосветскую бернскую публику. Одна советница, madame la conseillère*, как их тогда и в разговоре с ними называли, госпожа Sinner, собралась дать свой большой вечер и разослала приглашения. Не знаю, почему глупейший ее супруг был не в ладах с Крюднером; нас, русских, на этот вечер никого не приглашали. Накануне на другом вечере барышни-участницы меня начали дразнить, старик Guingens принялся за меня грустить, а моя красавица очень застенчиво выразила свое сожаление, что меня, обычного ее партнера в экар-

---

* госпожа советница (*фр.*).

те, там не увидит. «Так я же буду!» – утвердительно отвечал я им всем. «Нет, невозможно». – «Да увидите!» И действительно, на другой день в самый разгар вечера я вошел в душную, небольшую комнату, долго отыскивал глазами хозяйку, которая как будто не замечала моего к ней нашествия, и пренагло высказал ей, что я давно желал представиться ей у нее в доме, и, узнав, что она сегодня принимает, решился к ней появиться в совершенной уверенности, что она меня от себя не выгонит. Переконфуженная барыня бросилась со всех ног отыскивать своего супруга, которого я по глупой его роже и по моей близорукости чуть-чуть не принял за лакея и не попросил у него, стоявшего одного, без шляпы в руках, стакана воды, чтобы утишить мое волнение при таком храбром приступе. Швейцарская крепость передо мной сдалась; все со мной были любезны, а знавшие разговор удивлены и похвалили меня за смелость. Выходка моя с разными замечаниями разошлась по городу, и тетушка Meuron прикинулась оскорбленною. Я, впрочем, так упорно молчал о всех моих сердечных похождениях перед моими товарищами и даже перед моим сожителем Бергом, что ни один из них об этом и не заикнулся.

Пришла весна, начали поговаривать об удалении из Берна графа Meuron. Князь Меттерних, недовольный им за его холодность к принципу абсолютизма, интриговал против него в Берлине и наушничал через своих агентов против него у короля Фридриха Вильгельма. Семья Кеннеди переехала на лето в «Chartreuse» авуайэра Мюллинена и праздновала там свое новоселье большим балом. Я, избегая танцев, с начала вечера засел со стариками-советниками в карты и решился играть до конца, т.е. до тех пор, когда оркестр, не дерзая ни для кого нарушать строгость закона, заберет свои инструменты и отправится в город. Начался нескончаемый котильон; m-lle Эмма сидела одна посреди залы на стуле. К ней стали подводить кавалеров, она отказывала им, к изумлению общества отказывала всем; стали перебирать всех без различия. Все, что могло и не могло танцевать, удалялось с носом; я понял, что дело доходит до меня, и проигрывал, дрожа от волнения и страха. К нашему столу пришла за мною целая депутация с Guingens'ом во главе. Мой ответ был решительный: «Не танцую, не могу, да и только». – «Не стыдно ли вам!» – внушительно сказал мне один из престарелых игравших советников, встал из-за карт и предложил протанцевать с нею. Тем и кончился проклятый котильон и ненавистный, более, нежели когда-нибудь, мне бал. Можете вообразить тогдашние толки и тяжкие упреки мне от ее приятельниц и несносного старика Guingens. Я начинал и сам понимать, что таким поведением мог компрометировать Эмму, и не решался целые два дня показываться на глаза Meuron'ам. Отъезд их из Швейцарии был уже почти решен. Авуайэр Мюллинен давал у себя в Штифте большой вечер. To be or not to

be?* Идти мне на него или не идти? Долго решал я такую для себя задачу и, наконец, пошел. У входа в залу встретил меня неотвязчивый Guingens с обычным своим словцом «вас ждут», с упреками и увещаниями. Я был смущен до того, что видел в каком-то тумане обращенные на меня взоры всего общества. Наша встреча была обоюдно робкая, безмолвная, неловкая и потому наблюдаемая зоркими глазами участвующих в изобретенном ими же секрете. M-lle Эмма, как видно, и всякая женщина, несмотря на свою юность и наивность, превозмогла лучше меня свою робость и предложила мне играть в экарте. Я все еще волновался, начал под шумный говор толпы с извинений в моей неучтивости на бале; наблюдательницы от нас отхлынули, и, ободренный их отсутствием, я пустился в нежное излияние моих чувств и наговорил столько, что мне робко отвечали обратиться к тетушке. Лишь только проговорила она в смущении со слезами на глазах эти слова, возле нее очутилась m-lle Мейснер и увела ее в другую комнату. Мне показалось, как и всегда это бывает с людьми робкими и застенчивыми, что все на меня смотрят и за мною наблюдают. Я всячески старался удалиться, не будучи никем замеченным, подошел к длинному столу, с которого разносили разные угощения (нечто вроде нынешнего буфета, только неприбранного), и, выпив залпом стакан пуншу, отправился к себе.

Всю ночь не спалось мне напролет. К утру я почувствовал жар, заметил, что начинаю бредить, и уже думал, что у меня будет горячка, но, как и до сих пор со мною бывает, все мои страхи заболеть кончаются крепким сном. Успокоившись часа на два и несколько освежившись, я опять принялся думать мою крепкую думу. Надо было выйти, и поскорее, из этого нерешительного, мучительного состояния. Взял я два клочка бумажки, написал на одном «да», на другом «нет», свернул, бросил в шляпу, перемешал – вынулось «да». Если бы Ламартин выговорил уже тогда знаменитое свое древнее изречение, которым началась Июльская революция 1848 года, то я, конечно, повторил бы его, применяя к себе: «Alea jacta est», т.е. «Жребий брошен». Как бы то ни было, я успокоился и нетерпеливо выжидал приличного часа пойти к Фурману и не застать его в постели. Этому товарищу по службе, скорее мне враждебному (мы с ним, как у нас говорится, «были на политике»), поручил я переговорить с m-me Meuron и испросить ее согласия на мое предложение m-lle Эмме. Фурман очень охотно взялся быть моим адвокатом и уверял, что, зная все давно от m-lle Мейснер, ручается за успех. Я не счел лишним сообщить ему все подробности моего положения: мое независимое состояние, мои родственные и общественные связи. Мы вместе стали делать разные планы, как всему быть: ехать женихом на короткое время в Россию, потом оставаться в Швейцарии или по желанию бу-

* Быть или не быть? (*англ.*)

дущей невесты перейти в другое посольство, привезти из дому приличные подарки, шаль и соболей и так далее. Фурман пошел к m-me Meuron – за ответом; я в ожидании ходил по платформе у соборной церкви, почти перед самыми окнами его квартиры. Он пришел ко мне после долгих переговоров с тетушкою и принес, к моему изумлению, ответ решительный и неблагоприятный. Долго мялся он, боясь слишком поразить меня отказом, путался в своем рассказе о подробностях свидания, извинял нерешительность m-me Meuron выдать сироту-племянницу, еще такую молоденькую, за иностранца, за неустановившегося еще, по ее мнению, юношу другой веры и чуть не католика или, по ее понятиям, еще хуже. Я заставил его не теряться в объяснениях и сказать мне прямо и решительно, принес ли он мне *«да»* или *«нет»*. Со словом *«нет»* я его бросил и пошел куда глаза глядят за город. Возвратясь домой около полуночи, нашел я ожидавшего меня Берга, который, не говоря ни одного слова о всем, что со мною произошло, предложил мне отправиться с ним в горы.

С разрешения Крюднера мы были уже на другой день в Туне и ночевали в Интерлакене. Это красивое местечко, где толпятся тысячи туристов и насалаждаются изысканною роскошью прихотливого комфорта, было тогда вместе с Унтерзееном небольшой деревней со старинными деревянными домами, где жили местные поселяне и принимали к себе на хлеба за 3 франка в день редких туристов. Всего было в этой долине два каменных дома: в одном помещался префект местечка советник Штейгер[436], в другом – школа. Из Интерлакена добрались мы пешком в Гриндельвальд и оттуда через Wengernalp в Мейринген и в долину Гасли. Вместо всякого описания этих местностей, которые давно уже известны, прибавлю одно, что вся эта горная сторона много выиграла, а может быть, и много утратила от удобств, которыми теперь пользуются ее посетители. Пустынная дикость почти совсем исчезла от нововведений, требуемых роскошью всякого рода.

* * *

Дней через 10 возвратились мы с Бергом в Берн, я – много уже успокоенный, он – заслуживший вечную мою благодарность за его нежное ко мне внимание и особенно за то, что он ни одним словом, ни одним намеком не нарушал упорного моего молчания о том, что было у меня на душе.

Mais – но, как выражено в одном где-то стихе, – l'amour vrai finit quand l'amour propre commence. – Vrai?* Полно, так ли было со мной? – Мы разохотились с Бергом путешествовать и вскоре поехали в Лозанну и оттуда в шарабане вдвоем, без кучера объехали кругом озера. Он возвращался в Берн к своим англичанкам, я намеревался еще раз побывать в Шамуни, но Берг

---

* Но… Истинная любовь исчезает там, где начинается самолюбие. – Так? (*фр.*)

уговорил меня проводить его до Ниона (Nyon), куда приглашала его к себе переехавшая из Берна m-me de Meuron. В Нионе мы должны были ночевать, но добрый мой приятель, как ни старался, не мог уговорить меня пойти с ним к графине. С тех пор после отказа я уже не видал Эммы и ничего о них не слыхал. Ровно через 10 лет, в 1834 году, узнал от выгнанного из Берна после тамошней революции[437] префекта Freudenreich и от m-lle Иды Фишер, что Эмма еще не замужем и живет в каком-то скромном уголке Германии. Вся эта повесть, или мой роман без романа, относится к 1824 году.

В августе старик Guingens, все еще нежно обо мне заботившийся, предложил сделать вместе с ним и его сыном небольшую экскурсию в северную Италию. Я считаю себя решительно неспособным к каким бы то ни было описаниям красот природы, искусств и древностей. На это есть и без меня людей достаточно. Стоит только запастись разными гидами, и вы легко можете написать ученое путешествие и издать, пожалуй, с картинами, как это сделал Александр Дмитриевич Чертков[438], основатель своей библиотеки и прослывший за то ученым; буду говорить о том, что меня особенно поражало. Выехали мы из Берна втроем с отцом и сыном Guingens'ами в моей двуместной тяжелой петербургской коляске и от Лозанны, откуда только и была возможность пользоваться почтой, поехали мы почтовой тройкой по большому шоссе итальянской линии, ночевали первую ночь в валезанском местечке Бриксен у стен огромного иезуитского монастыря. Отсюда с раннего утра начался наш переезд через Симплон. Привыкшего к красотам гор в этих местах поражает более торжество над природой рук человеческих и железная воля Наполеона Первого, проложившего себе путь через нейтральную для всех, кроме него, Швейцарию, с единственною целью – прочно овладеть Италией. Молодой Guingens, занимавшийся естественными науками, не один раз по этой дороге сделал барометрические наблюдения, поверяя разными измерениями высоту горы и наблюдая по термометру температуру. Мы ночевали в Hospise, уже и тогда довольно удобном и достаточно отопленном. Быстро начали мы спускаться к Domodosolla, к подошве Симплона, с которого открывается глазам путника панорама итальянских равнин Ломбардии и все красоты юга.

Я с каким-то упоением чувствовал себя в стране, совершенно для меня новой, и тем более был возмущен нестерпимо грубой придирчивостью чиновников сардинской таможни, которая пересмотрела у нас все до ниточки и обыскивала по карманам. С этих пор возненавидел я систему протекционизма, идущую наперекор и опыту, и науке, принципы коей усвоил я прилежным слушанием лекций политической экономии знаменитого парижского профессора Jean Baptiste Say[439]. Из Domodosolla отправились мы осмотреть итальянские озера, маленькое Варезо, Лугано и Комо, о чем я буду говорить после, а теперь кстати о таможнях прибавлю, что дня через два на австрийской границе, в Sestocalende, обошлись с нами еще грубее, еще возмутитель-

нее. При осмотре на границе Сардинии деспотизм тамошних досмотрщиков смягчался, по крайней мере нашими уверениями, что мы в их владениях будем только проездом, и еще моим полудипломатическим паспортом, тогда как в пределах Австрии ничто не могло на наших аргусов подействовать. Коснувшись однажды вопроса нетерпимых мною таможен, я дам место одному рассказу об их бесполезности, сообщенному мне первым женевским часовщиком, моим приятелем стариком Боттом[440]. Сошелся я с ним близко потому, что он обратился ко мне как к русскому для отчетливого исполнения заказанных ему богачом Н.Н. Демидовым драгоценных церковных сосудов, потира и дискоса[441]. Эти сосуды, украшенные бриллиантами, из первых золотых слитков, найденных в Перми на первых приисках, назначались в церковь тагильского демидовского завода в Пермской губернии. Ботт просил меня проверить славянские на сосудах надписи и вообще наблюсти за сохранением правильности нашего церковного рисунка. На мои замечания о затруднениях, которые он должен встречать в своей громадной торговле часами и разными драгоценными изделиями при существующей цепи разнородных таможен, которыми отовсюду окружена Швейцария, он рассказал мне, до какой степени в этой промышленной небольшой стране доходит контрабанда, доказывая практическими выводами, что без нее не могла бы существовать никакая отрасль швейцарской промышленности. И между тем вопреки всем стеснениям отпускная швейцарская торговля, разумеется, сравнительно, и тогда уже равнялась, а теперь превосходит Англию. «Для примера, как делается по моей торговой части контрабанда, – сказал мне Ботт, – я расскажу вам прошлогодний случай со мной. Приходит ко мне в магазин один очень приличный и сановитый господин, заявляя, что очень рад познакомиться со мною, и прямо называя себя графом de Saint-Criq[442], главным директором всех французских таможен. «Я буду с вами откровенен, – сказал Сен-Крик, – мне бы очень хотелось и, как вы поймете сами, очень было бы нужно узнать от вас, как можете вы, несмотря на нашу тройную цепь таможен, вести ваши торговые дела с Францией и особенно с Парижем в явный вред нашим многочисленным часовщикам и ювелирам?» – «Уменьем, – отвечал ему Ботт, – сбывать мои произведения где бы то ни было во Франции и даже в самом Париже». – «Как же вы это делаете?» – «Это мое уже дело, граф, а в доказательство, что я говорю вам правду, не угодно ли вам будет купить у меня по вашему выбору сколько-нибудь часов и других вещей на сумму значительную? Вы заплатите мне ее по получении вещей, с меня будет достаточно вашего слова, я даже не требую ни расписки, ни задатка». – «Странно. Вспомните, что я главный директор таможни. Вы, кажется, много рискуете». – «Это опять мое дело». Граф Сен-Крик отобрал вещей ценою на 30 000 франков и, возвратясь к себе через неделю или две, на третий или на четвертый день своего приезда нашел у себя в кабинете все до одной заказанные им Ботту вещи. Нет

нужды говорить, что главный блюститель протекционной системы предписал всем своим таможенным досматривать как можно строже и отыскивать по разосланному реестру закупленные им предметы. Кто был неизвестный, доставивший ему вещи от Ботта, доискаться он не мог. Ботт открыл мне под честным словом секрет. Вещи провез через тройные таможни сам Сен-Крик, посредником был камердинер. Кроме того, узнал я из рассказов самого Ботта и от других часовщиков, что у них образовалась как бы артель или особенное ремесло для передачи без нарушения таможенных законов табакерок, часов с цепочками и брелоками в какой-нибудь ближайший пограничный французский город. По уставу каждый пользовался правом иметь при себе часы с цепочкой и табакерку, а переезд во Францию с приличным за труд вознаграждением отправителю стоит недорого, и такой способ сбыта, несмотря на эти издержки, доставлял все-таки значительный барыш. Скоро, однако, догадались уничтожить такое злоупотребление, хотя в строгом смысле нарушения законов никакого тут не было.

Контрабандисты везде и всегда поднимаются на всевозможные хитрости; между прочими после многих усилий открыли необыкновенно искусную: провозить золотые и серебряные вещи в бревнах, так как ввоз строевого леса из Швейцарии в Dauphiné (Дофинэ) допускался. Бревна высверливали и пустоту наполняли товаром.

Протекционная система, долго господствовавшая в Европе и стеснявшая международные сношения, еще недавно начинала было уступать требованиям науки и здравого смысла, с легкой руки поворота в пользу свободной хлебной торговли, начавшегося в Англии; но, с одной стороны, преувеличиваемое стремление в каждом народе поддерживать исключительно свою национальность и истекающие отсюда нерасположение и подозрительность к чужим нациям, а с другой – личные интересы сильных монополистов перевернули вопрос о свободе торговли в противную сторону, задержали, кажется, на долгое время результаты, выработанные наукой и опытом. Современному человеку придется, по моему мнению, долго еще жить под гнетом обновленных старых идей международной ненависти и насильственного разъединения, общих для всего мира интересов в пользу мелких частных. К чему же служат ускоренные и свободные паровые пути? Не постыдно ли, не грешно ли видеть в них одни стратегические цели, и не постыднее ли, не грешнее ли вместо ожидаемого так давно повсеместного разоружения возбуждать страсти и принуждать быть солдатом каждого мирного гражданина! Неужели не предвидят, что повсеместное ополчение и построение повсюду крепостей друг против друга никак не могут быть средством к водворению всеобщего мира, а скорее приведут к разрушительным кровавым международным столкновениям. На днях собираются в новую пангерманскую столицу для совещаний вожди народов; увидим, что они сделают для блага человечества. Мы, русские,

в правительственной сфере дорожим союзом с Пруссией и в то же время в общественной среде, – не назову ее всенародной, думая, что народ наш ни о чем не думает, – в нашей среде мыслящей – ненавидим германцев и изобретаем за них тайные небывалые стремления завладеть Остзейским краем. Такой разлад общественного мнения с предержащею властью рано или поздно приведет нас к разрыву, неизбежная причина которого значительно растет сверх того от запретительной системы свободной торговли Германии с Россией. Лишаемая у нас торгового сбыта, она поневоле станет добывать его своею вооруженною силой, что делается и теперь при контрабандных пограничных схватках и что вынуждает нас содержать на нашей западной границе 100 000 войска, более, чем бы, может быть, следовало. Ко всеобщему несчастью, и новый гениальный правитель Франции Тьер, затормозивший на время в ней неизбежную революцию, – протекционист и своим новым покровительственным законом уже вынуждает Англию защищать против них принцип свободной торговли. Нас же, повторяю, доведет до борьбы с Германией не наше Балтийское поморье, а запрет немцам свободной торговли с русскими.

Возвращаюсь к моей прогулке по северной Италии. Из Domodosolla, где ночевали, очутились мы, помнится, проселком, а не шоссейной дорогой, – почему и отчего, забыл, – в маленьком городке Варезе на небольшом озере того же имени. Там что-то осматривал и наблюдал мой спутник, натуралист Guingens, а я целый день пробеседовал с прескучным стариком, его отцом. Остановились мы в какой-то локанде, или гостинице последнего разряда, и с трудом нашли помещение за недостатком кроватей. Батюшку с сынком поместили в одну комнату и положили на одну кровать более нежели достаточной ширины, подобно всем кроватям в Италии. Мне тоже отвели было ночлег и указали обширную кровать, на которой спал уже непробудным сном какой-то с бритой головой монах; я возмутился и перешел в чулан, где улегся на голых досках, на которые бросили соломенный или сенной матрац. Зато на Lago Maggiore, в местечке Baveno, против Борромейских островов пророскошничали мы под итальянским голубым небом в виду Isola bella, Isola Madre u del Pescatori целых три дня, и мне почти досадно было убедиться самому в том, в чем уверяли меня прежде, что итальянские озера прелестнее, живописнее моего родного Женевского.

Дорога от озер к Милану идет плоской равниной с виноградниками. О Милане, его соборной церкви, совершенной в ней литургии св. Амвросия Медиоланского[443], напоминающей православные обряды Востока, о картинных галлереях и триумфальных воротах, воздвигнутых в честь Наполеона I, говорить не буду. В Вероне осматривали мы тамошний колизей, уступающий огромностью и сохранением своей древности не только римскому, но даже существующему амфитеатру в Ниме. В Падуе молились у раки

не перестающего и доселе чудодействовать падуанского чудотворца св. Антония[444] и посмотрели с любопытством на здание древнего университета, из стен которого вместе со многими греками вышел доктором медицины граф Каподистрия. В сумерки, которые начинаются на юге тотчас по захождении солнца, приплыли мы на нашей гондоле к великолепному палаццо, превращенному в лучшую гостиницу Венеции, Hôtel de la Grande Bretagne. Луна уже светила, и я по набережной через две-три минуты дошел до Piaz[z]etta* с двумя колоннадами, с колокольней Св. апостола Марка и до самого готического храма[445]. Эту площадь и Дворец дожей столько уже раз описывали, но ни одно из описаний не может сколько-нибудь приготовить путешественника к чудесам поражающего его зрелища. Она на меня подействовала несравненно сильнее, чем площадь Св. Петра в Риме, и впечатление это могло сравниться разве с тем ощущением величественного, которое обдало всего меня при виде безбрежного моря и снежных вершин Юнгфрау и Монблана. Вот до какой высоты может восходить деятельность человека, руководимая историей его судеб. Вот как искусство, не искажая хода событий, а бессознательно им подчиняясь, выражает их гармонию, когда невежественному произволу не удастся уничтожить оную. Таков мог бы быть и наш Московский Кремль, если бы и его относительно почтенную древность не опошлили казарменными постройками.

В Венеции все было нами осмотрено. Я не знаток и даже не дилетант в живописи, но не мог довольно налюбоваться картинами Тициана и Тинторетто[446] и не без любопытства увидел переход от византийской живописи к началу ее возрождения. Предтечами Рафаэля в этом переходе были, как известно, Жиотто и Чимабуэ[447], и в Венеции можно проследить, как быстро византийская икона Пресвятой Девы, стоящая на престоле главного алтаря церкви Св. ап[остола] Марка, по преданию, написанная (подобно многим) будто бы евангелистом Лукою, преображалась в Рафаэлеву Мадонну. Жаль было нам всем троим расставаться так скоро с дивным городом, но мои спутники спешили домой, и мы, доплыв до Fusino, взяли путь на Тироль, из Ботцена перебрались через тамошние горы и пробыли два дня в Инспруке. Эту сторону нашел я гораздо патриархальнее, чем Швейцарию, потому ли, что Тироль, несравненно менее посещаемый путешественниками, упорнее сохранял старинные свои обычаи. Замечу радушие, встреченное нами везде в опрятных неприхотливых гостиницах, и поразительную дешевизну даже сравнительно с тогдашними умеренными ценами в Швейцарии.

Во многом мои бернцы отдавали преимущество этой земле над своею и, как рьяные консерваторы, оплакивали испорченность своих нравов.

---

* букв.: маленькая площадь (*ит.*) – Пьяцетта – название части площади Св. Марка между Дворцом дожей и библиотекой Сан-Марко.

Скажем несколько слов о моих путевых товарищах. Guingens-отец жил еще в то время, когда бернские патриции владели Ааргау и Ваатландом. Дворянство этих двух кантонов само становилось в ряды бернских аристократов, поэтому и бароны, и Guingens de la Lasarrat по месту рождения и по принадлежащим их роду от первых средних веков обширным местностям вместе с замком, хотя и были по языку романскими или французскими швейцарцами, для поддержания своих прав более принадлежали Берну, чем своей собственной национальности. Старик Guingens считался членом бернского Большого совета, в коем исключительно заседали одни патриции, и потому ненавидел освобождение Ваатланда, несмотря на то, что его тысячелетний замок Lasarrat, имя коего присоединил он к своему фамильному, находился в Ваатланде между Лозанной и Ивердоном, и несмотря еще на то, что французский язык был ему роднее бернского наречия, а настоящий немецкий и совсем неизвестен. У себя дома жил он только в Берне в наемной квартире, а когда на лето переезжал в свое дворянское имение, водился только с одними аристократами, смотря враждебно на каждого человека из народа и еще враждебнее на ваатландцев, участвующих в правительстве, равно как и на каждого сколько-нибудь разбогатевшего простолюдина. Guingens-сын, принадлежавший несколько умеренному обстоятельствами поколению, был, кроме того, и учен, и образован. Над ним вполне отразилось благодетельное влияние матери[448], которая и умом, и сердцем была несравненно выше своего мужа. Когда она, наблюдая за этим из своих сыновей, стала замечать, что он глохнет, и когда уверилась после совещаний с немецкими врачами, что он, вырастая, неизбежно сделается совершенно глухим, она мало-помалу приучала его понимать по движению губ произносимые слова на всех языках, которые он прилежно изучал. Усиливавшаяся глухота, удаляя от него всякое рассеяние и товарищество, заставила под руководством просвещенной матери предаться науке. В Женеве полюбил он естественную историю и в то же время начал изучать отдаленные памятники отечественные, находившиеся в неразрывной связи или долговременной исторической борьбе с Францией и соседственными странами: Бургундией и Савойей. Всю молодость провел он в ученых занятиях. Глухота помешала ему занять какое-нибудь деятельное место в бернском правительстве, да и самые убеждения, добытые образованием, шли у него уже врозь с закоренелыми предрассудками швейцарских аристократов, но он никогда не решался перейти на другую сторону, никогда не расставался с теми родовыми принципами, которые, по его убеждению, должны быть охранены как полезные общественному порядку и прочному существованию швейцарской независимости и свободы. Кроме отечественной истории, над которой он на своем веку много потрудился, занимался он усердно и не без пользы геогнозией и другими естественными науками. В своих путешествиях и в сближении с дипломатами и путешествующими

иностранцами приобрел он более чем какой-нибудь другой бернец светское образование и был радушно принимаем всеми как любезный, просвещенный собеседник. Из всех швейцарцев в мое время он один был в дружеских отношениях со всеми дипломатами. Сердце у него было самое нежное. Он горячо полюбил вторую дочь в семействе Кеннеди, искал ее руки и получил отказ. Вероятно, препятствием была его совершенная глухота, а глух он был до того, что ежедневная с ним жизнь не могла не быть крайне неудобной. Мы часто езжали с ним верхом, и когда шарахалась под ним его лошадь от ружейных и пушечных выстрелов на близких маневрах, которые за горою или лесом были нам не видны, он с ожесточением ударами шпор или хлыста поражал своего коня, не подозревая причины, от чего он шарахался. В пеших с ним прогулках мне приходилось запасаться камушками и бросать в его спину, когда он несколькими шагами забежит вперед, чтобы он обратился ко мне и понял, что мне приходилось ему сказать. Путешествуя с ним по Ломбардии и Тиролю, случалось мне ночевать в одной комнате; чтобы что-нибудь сообщить ему непременно нужное или заставить одеться в дорогу, надо было все это делать при огне. По смерти отца и после революции в Швейцарии в начале 30-х годов, вслед за июльской в Париже 1830 г., он оставил Берн, где партия аристократов удалена была, как и везде в Швейцарии, от участия в правлении и жестоко преследуема партией демократов, которые по народному избранию заняли все правительственные должностные места. Бернский avoyer, landaman* Фишер, советник Muralt и другие подверглись даже тюремному заключению и уголовному суду; тогда Guingens перебрался в Лозанну, зимой жил в городе, а летом в своем замке. Вскоре по удалении из Берна женился он на m-lle de Naville d'Eclepan[449] из древнего рода и с ней долго путешествовал по Италии. Она была очень образована – страстно любила искусство, особенно живопись, и привезла с собою большое собрание копий масляными красками, ею снятых с первокласных картин. Счастье моего швейцарского приятеля продолжалось недолго: он овдовел и остался бездетным. После 30-тилетней с ним разлуки нашел я его в 1857 г. в Лозанне, в небольшом наемном помещении в rue de Bourg, с великолепною террасой на Женевское озеро. Старая дружба наша возобновилась. Мы перебрали все наше прошедшее и убедились, ко взаимному нашему удовольствию, что мы оба, разлученные и временем, и пространством, положением и обстоятельствами, остались теми же умеренными консерваторами, какими расстались в 1826 году. Несмотря на все поражения, испытанные им лично, на претерпенные гонения от демократов всем швейцарским патрициатам, на существенные изменения в федеральном образе правления, Guingens с терпимостью человека просвещенного не отрицал того прогресса, к которому вел Швей-

---

* ландман (*нем., фр.*) – глава правительства кантона.

царию дух времени и уничтожения застарелых предрассудков. Но он в частых и долгих беседах со мною не скрывал от меня опасений за будущее своей родины, он боялся швейцарской централизации, уничтожения автономии кантонов, объединения республики под одною центральною верховною властью, при которой могла последовать утрата Швейцарией ее европейского нейтралитета; я, со своей стороны, сообщал ему мои страхи и за мою родину. Меня пугали наши народные стремления, раздуваемые патриотизмом не по разуму. Овладевшее нами демократическое движение, уничтожение сословных прав и преимуществ, нарушение прав поземельной собственности и уже начинающееся почти в это время, осенью 1857 года, освобождение крестьян. К счастью, тяжелые наши предчувствия не осуществились, в чем мы сознались друг другу через 5 лет, при новом нашем свидании в 1862 году в небольшой, хорошенькой его вилле «Georgette». Но все случившееся в этот промежуток, как в миниатюрной Швейцарии, так и в обширной России, наших убеждений не изменило и нас за будущие судьбы наших родин не совсем успокоило.

В это свидание, последнее, в конце 1862 года, Guingens упорно остался при тех же своих опасениях, ожидая сосредоточения, объединения, увеличения войска в своей родине и предвидя в том причину выйти из скромной сферы небольшой республики, пожелать более обширной политической деятельности – примкнуть к какому-нибудь союзу Германии, Франции или Италии, разделиться внутри себя на две национальности – немецкую и романскую, а может быть, и принять участие в религиозных распрях между католиками и протестантами и легионом свободомыслящих – libres penseurs, т.е. ни во что и ничему не верующих. И все эти неблагоприятные ожидания, хотя и медленно, оправдываются настоящими событиями ровно через десять лет после нашей последней беседы. В подтверждение моих заключений я укажу на швейцарский плебисцит о ревизии или пересмотре конституционного акта, последовавший до 12 мая нынешнего 1872 года. Только самым незначительным большинством голосов, поданных от всех 22 кантонов и от всенародных в них собраний, отвергнут был новый переворот во всем быте республики, предлагаемый Федеральным бернским советом. Он был именно по всему тому, что предсказал мой 70-тилетний друг за несколько месяцев до своей смерти. В начале 1863 г. получил я в По уведомление от его брата, служившего прежде генералом швейцарской гвардии в Неаполе, грустное известие об его смерти.

Итак, он, как видите, не ошибался относительно хода событий в своем маленьком отечестве. Дай-то Бог, чтобы не сбылись в более или менее отделенном времени и мои опасения за родину, высказанные в нашей беседе с Guingens в 1857 г. и повторенные, хотя и при более успокоительных обстоятельствах, в [18]62 г. Вполне сознавая неожиданно благополучный исход главной нашей реформы, уничтожения крепостничества, я не могу, однако,

не усматривать в нем существенного переворота в нашем государственном и общественном строе. Что из всех этих перемен произойдет – ведомо одному Богу. Можно, пожалуй, надеяться, но позволительно и опасаться. Короткое знакомство с Guingens во дни нашей молодости и наша дружба в старости остались мне одним из самых утешительных воспоминаний длинной моей жизни. Редко случалось мне быть в таком полном сочувствии с кем бы то ни было, несмотря на то, что он был десятью годами меня старше, ученее и образованнее, родился и жил под другим небом. С честностью и прямотою характера он умел соединять ту нежность, ту деликатность приятельских близких отношений, которые редко встречаются, и почти никогда в моих соотечественниках. Его религиозные убеждения были и глубоки, и искренни. В простоте сердца, при уме всестороннем и просвещенном, он верил во всеблагое бытие Творца вселенной и в бессмертие души человека, уважал исторические предания церкви от ее древности, не вдавался в догматизм и со всею веротерпимостью истинного философа относился ко всем христианским вероисповеданиям, возмущаясь по временам одними проявлениями религиозного фанатизма.

В это столь памятное для меня время, когда я жил под скромным гостеприимным кровом Guingens'а на склоне горы между Лозанной и ее пристанью Уши (Ouchy), в дружеских разговорах мирно беседовали мы с ним в последний уже раз обо всем, что происходило на белом свете, и важнейших вопросах человечества, получивших впоследствии ожидаемое, а в то время никем не чаемое разрешение. В один вечер прервал наш разговор один швейцарец из Фрибургского кантона, католик, но католик более чем умеренный и уже во многом подчинившийся новому духу времени. Он был недоволен главою своей церкви; порицал папу за то, что Пий IX не оправдал тех надежд, какими были увлечены все свободомыслящие люди в первые дни вступления его на кафедру Петра Апостола; он осуждал его в отступничестве, в измене своему слову стать во главе христианских народов и освободить Италию от чужеземного владычества; он готов был согласиться с революционными мнениями тех агитаторов в Италии (Мадзини и Гарибальди[450]), которые отнимали у римского первосвященника его светскую власть, его вековое главенство над римскою церковью. И что же? С изумлением наш собеседник-католик услышал от нас обоих странное для его уха возражение. Guingens, реформат и едва ли не libre penseur*, я – православный, мы оба, конечно, не причастные никаким убеждениям католиков и еще менее ультрамонтанизму, начали отстаивать исторические права папы и выражать наши искренние желания, чтобы он оставался неприкосновенным на своем духовном и светском престоле. Мы не могли, конечно, предвидеть тогда, что

---

* вольнодумец (*фр.*).

Пий IX, человек честный во всей силе этого слова, но слабый, а потому и упрямый в своих убеждениях, будучи раздражаем отовсюду своими врагами и гонителями, дойдет скоро до провозглашения своей непогрешимости[451]. Мы отвечали нашему католику, что папа, каким он был еще тогда, необходим в христианском мире как средоточие католического христианства, к которому принадлежит самое огромное количество верующих в Спасителя. Мы утверждали, что с падением папы неминуемо последует не только уничтожение всей католической церкви, первенствующей над всеми по сравнительному большинству ее исповедников, но и упадок повсюду христианской веры, ибо за ее падением возникнут во всех исповеданиях церковные распри, расколы и торжество рационализма, равняющегося в числе всех народов совершенному безверию. Как ни странна покажется эта защита папы реформатором и восточным схизматиком для многих моих единоверцев и протестантов, братий по вере покойного Guingens'а, но за удалением Guingens'а из этого мира я в оправдание нас обоих могу представить свидетельство, которого, конечно, никто не опровергнет. Протестант Гизо недавно в изданной книге о религии признавал необходимость папы и не желал его низвержения. Недавно угасший светильник нашего православия митрополит Филарет в последних беседах своих с людьми близкими воздерживал в них негодование против римского первосвященника и утверждал, что неблаговременное уничтожение папства будет пагубно для христианства и для всех видов его церкви и только усилит безверие. Мы, конечно, как и всегда при спорах бывает, не убедили нашего католика, но остались при своем мнении. Guingens не дожил до книги Гизо, я не мог также потешить его сообщением ему мнения православного святителя, сочувственного нашему. Впрочем, надобно и то сказать, что папа в последнее время сам по раздраженному упрямству наложил на себя руку.

После рассказа этой встречи с легкомысленным католиком перейду к другой, менее серьезной встрече в той же скромной гостиной и в то же время с одной лозаннской дамой, его родственницей. Приятеля моего часто утомляли наши серьезные разговоры. Вести их в продолжение целого дня и особливо в осенний вечер было для него трудно по причине совершенной глухоты. Я уже сказал, что он слушал глазами, и хотя к этому привык, но понятно, что напряженное внимание его утомляло и что ему, более чем кому другому, нужен был отдых. Заботясь о том, чтобы мне не было у него скучно, он предложил мне пригласить одну лозаннку, вышедшую за англичанина, m-me Roggott, урожденную m-lle Seigneux. Вышло, что я когда-то, лет сорок назад, знал ее лично и бывал в доме ее родителей, лозаннских аристократов. Они принимали у себя на пансион одного или двух рекомендованных им иностранцев, и я, кажется, говорил, что в 1861 году[452] жил у них князь Николай Иванович Трубецкой. Когда она, приглашенная Guingens'ом спустилась с горы из города в его виллу, чтобы обедать и провести целый вечер, я имел глупость искренно этой

встрече обрадоваться и пренаивно высказал ей мои воспоминания 1822 года. M-me Roggott при этих рассказах побледнела от злости, начала было уверять, что в 1822 году на свете ее не было. Я упорно доказывал противное, указал на их дом, последний к Mont-blanc, припоминал даже расположение комнат, спросил, правда ли, что она была, если не ошибаюсь, единственная дочь своих родителей, выразил мое тогдашнее удивление к ее тогдашней красоте и т.д. Прижатая к стене такими неоспоримыми доказательствами, она продолжала бледнеть до изнеможения и, когда возвратился мой хозяин из кабинета, – он оставлял нас одних, как старых знакомых, – эта старая моя знакомка объявила ему, что у нее нестерпимо разболелась голова, и, несмотря на наши просьбы, удалилась и никогда более уже при мне не приходила.

Последнее десятилетие своей жизни Guingens был председателем Исторического общества романской Швейцарии и напечатал большой том своего исторического труда с любопытными для края приложениями о Бургундии. Потом занялся он историей Савойи, а за переданные королю Виктору Эммануилу[453] рукописи о его предках получил от него ордена Св. Лазаря и Св. Маврикия. Рассказывая мне об этих последних своих занятиях, он с величайшим негодованием выражался о личности первого короля всей Италии, который, вопреки рыцарским понятиям о достоинстве своего сана как короля и чести как потомка рыцарей, первый подал неслыханный до наших времен пример измены своим предкам, своему народу, передав их без честного боя самопроизвольному владычеству соседней страны и ее пронырливому, хитрому повелителю. Известно всем, когда и каким образом Савойя сделалась французскою провинцией. «И такого короля, – говорил Guingens, – как бы в насмешку люди новых идей прозвали gentilhomme*, того, который отрекся от своих предков и самый прах их – ряд гробниц в монастыре Hautes tombes на озере Bourget предал чужеземцам, чтобы с помощью агитатора Гарибальди лишить своих законных престолов трех итальянских владетелей! То же, только в малом виде, сделал и единомышленник короля-дворянина, другой рыцарь нашего времени, сам великий Гарибальди: город Ниццу, свою родину, он также предал французам». Взгляд закоснелого, положим, аристократа с преувеличенными, может быть, рыцарскими идеями я не считаю совершенно верным, а передаю его вполне как черту описываемого мною характера.

Мне самому казалось странным, да и для каждого русского не могло быть это иначе, до чего могут дорастать предрассудки аристократов, тем более поражающие, что им до такой степени подчиняется республиканец. Не было комнаты в доме моего швейцарского рыцаря, в которой не встречалось бы изображение его герба, резанного из дерева, из камня, гравированного на меди, разрисованного на стене, вышитого по канве. Этого мало: в при-

---

* дворянин, благородный человек (*фр.*).

емной лучшей комнате разостлан был большой ковер, на котором виднелся герб древнего рода Guingens'ов, окруженный более нежели двадцатью гербами тех семейств, с коими Guingens'ы вступали в брачные союзы. Таких гербов начел я не менее 28. Конечно, нам, русским, несравненно более, чем другим, такой аристократизм должен казаться странным и непонятным, и, несмотря на всю мою дружбу к Guingens'у, я не могу внутренне не порицать подобную слабость. Мне даже смешна была часто выражаемая от всего сердца радость тому, что я, его старый приятель, житель далеко севера, женат на княжне из рода Рюрика[454]. Еще раз повторяю, все это было в нем, человеке не только образованном, но и ученом, и странно, и смешно. Но когда через несколько месяцев после смерти Guingens'а, возвратясь в Швейцарию, посетил я его брата[455], отставного неаполитанского генерала, и в первый раз увидал их древний величественный замок Lasarrat, понятия мои о мелкоте и ничтожестве родовых предрассудков несколько изменились. Средняя часть здания на небольшом возвышении прекрасной местности существовала целое тысячелетие, следовательно, была ровесницей Российского государства. Замок первоначально был крепостью. Первым феодальным бароном был пращур Guingens'а, присоединивший с этого отдаленного времени к своему имени название замка. К этой части здания в последующие века пристраивались с обеих сторон другие строения, и владельцы, дорожившие своими семейными воспоминаниями, с простительною гордостью называли посетителю эпохи их построения. Одной пристройке было 400, другой 300, а последней 200 лет. С начала и до конца этот ветхозаветный замок не выходил из семьи и, несмотря на многие неудобства, был обитаем хозяевами. В нижнем этаже самого древнего здания, над которым был другой этаж, служивший крепостью, были только две большие палаты; одна – обитаемая, со сводом и такими толстыми стенами, что в них можно бы было иметь жилье, хотя и очень тесное; камин в полстены также мог бы служить спальней; чтобы достаточно натопить такую комнату при одном таком камине, требовалось бы целое громадное дерево, а может, и два; зато и не бывало в ней тепла более 5 градусов, и в самое жаркое время бывало прохладно и сыро. Рядом с этим помещением была древняя капелла, или церковь. Реформация разрушила и истребила в ней все памятники католичества, и мой приятель с художественным вкусом любителя древности украсил ее тремя памятниками, снятыми с найденных в склепе гробниц, иссеченными из камня изображениями средневековых покойников. Все эти гробовые плиты поражали зрителя еще более, потому что они были вделаны в стену. Впрочем, те из немногих католиков, которые бывали гостями этого замка, оскорблялись искажением их церкви и особенно тем, что надгробные грубые изваяния выставлялись именно на том месте, где был алтарь.

Здесь кончаю я рассказ о задушевном моем друге воспоминанием о сделанном мне в память его радушном приеме от его наследника, родного его

брата, в родовом его замке. Местечко Lasarrat находится между Лозанной и Ивердоном, в часовом расстоянии от железной дороги. В Эклепане (Eclepan), другом местечке, откуда родом была m-lle de Naville d'Eclepan, умершая прежде Guingens'a, его жена, вышел я из вагона, и нанятый мною кучер выпросил у меня позволение поместить в экипаж одну даму. Спутницей, к великому моему изумлению, была 20-летняя, весьма хорошенькая, умная и образованная девица. В прежней моей Швейцарии в общественной жизни такая свобода женщин еще не допускалась, и я порадовался прогрессу. Хозяин и его две дочери[456] встретили меня со слезами на глазах. Вскоре взошли в комнату два сына, один инженер[457], другой помощник отца в небольшом полевом хозяйстве. Старшая дочь, уже немолодая девица, правила домом. Пришли еще двое гостей, в честь мою приглашенных; одним из них был замечательный по уму невшателец monsieur Gendroz, прежний аристократ, теперь, за недостатком карьеры, хозяин большой филатуры[458].

Мы расселись около зажженного камина в той единственной обширной приемной комнате под тысячелетним сводом, где было сыро, несмотря на летний зной. Меня озадачил весь этот контраст какого-то древнего великолепия и теперешней простоты, близкой к убожеству. Одна служанка с какой-то девочкой начали накрывать массивный стол белою, как снег, узорною скатертью, выставили на него какие-то старинные серебряные украшения, которые могли бы красоваться и на столе английского лорда или даже в Зимнем дворце. Когда принесли серебряные блюда и на них расставили в изобилии простые сытные кушанья, мы, за недостатком прислуги, состоявшей из тех двух женщин, передавали их друг другу. Вина было достаточно, оно было домашнее, из принадлежащих хозяевам виноградников, сберегаемое тщательно в огромных подвалах и улучшаемое в своей доброте многими десятками лет. Долго сидели мы за нашей обильной простой трапезой при совершенном отсутствии всего чопорного, натянутого, изысканного и особенно того, что неминуемо должно оскорблять нового посетителя то иногда своим великолепием и пышностью, то не достигавшим цели желанием прикрыть бедность своих средств какими-нибудь хитро изобретенными прикрасами. Разговор, конечно, шел более о любезном всему обществу покойном Guingens'e. За десертом, когда подали доморощенное шампанское, не уступавшее невшательскому, хозяин, вышедши из-за стола, принес подаренную мной Guingens'у табакерку с портретом нашего царя Алексея Михайловича, которую он хранил в память о своем брате и о моей с ним дружбе. Она как редкость, никем из посетителей невиданная, обошла их всех. После обеда сделали мы всем обществом в разных незатейливых экипажах прогулку по живописным окрестностям. Долго буду я помнить так мирно, так приятно проведенный мною день в рыцарском замке Guingens'a; к сожалению, я не мог сдержать слова – не побывал в нем в последнее мое пребывание в Швейцарии, потому что старый генерал в то

самое время, когда я к нему собрался, получил известие о внезапной смерти сына, инженера, утонувшего в Лионе в волнах быстрой Роны.

Не знаю, к какому именно году отнести пребывание у меня юноши графа Девиера, встречу со старым университетским товарищем латинистом Глаголевым[459], русским учителем князя Репнина, и первое знакомство с москвичом Николаем Михайловичем Смирновым[460]. Все это подробности неинтересные, но для меня они дороги как воспоминания молодой жизни. Девиер, такой же москвич, как и я, был отправлен в Швейцарию в науку своим суровым батюшкой[461]. В пансионе пастора Bouvier, жившего долго в России, Девиер не зажился, ему учиться надоело, и я поместил его, семнадцатилетнего юношу, у себя. Глаголев, живший на даче у княгини Репниной[462], важной и недоступной дамы, где находился еще гувернер Malan, брат методиста, замерзал постоянно от окружавшего его в этой семье холода, к которой, как неуклюжий, хотя и ученый семинарист, он никак не мог подладиться и в ней уживаться. Ученик его был мальчик рассеянный, сестры его молоденькие еще девушки[463], которым мать не дозволяла быть в короткости с учителем, а Malan смотрел на Глаголева с некоторым презрением: вот какова была окружающая его обстановка. Он явился ко мне, обрадованный несказанно тем, что имел живого человека, да еще близкого ему по университету, и вот начались у нас с ним и с Девиером каждое воскресенье или праздник прогулки в шарабане по окрестностям Женевы. Кучером нашим был Девиер. Обедывали мы в разных кабачках (gingette) и тешились русскими песнями. Оба мои спутника тосковали по родине и потому были неистовым патриотами, ненавидевшими всякие *заграницы*, которые, по словам их, во всех отношениях были хуже нашей dura patria*. Я по крайней мере стоял перед ними за климат. Глаголеву и климат не нравился, и, бывало, нарочно прихаживал он ко мне из Eaux vives на Plase Saint Antoin в каждый серенький день и особливо в нестерпимую бизу, чтобы убедить меня в превосходстве родного климата. Репнины жили по-барски и исключительно в этом отношении по-русски, широко и роскошно. В материальном отношении Глаголеву было у них очень хорошо. Для поддержания своей со мною дружбы он приглашал меня к себе завтракать, кормил и поил на славу. У французов есть пословица: «Les petits cadeaux entretiennent l'amitié»**; у нас она поддерживается угощениями, а карману моего университетского товарища они ничего не стоили: все было хозяйское. Никого из хозяев мы не видали, разве, бывало, на пять минут зайдет посмотреть на нас, едущих и пиющих, Malan со своим воспитанником. О том, чтобы представить меня и Девиера княгине, не было и речи. Она жила на недосягаемой высоте своего Олимпа, взаперти ото всех. Граф Девиер, мой сожитель, несмотря на

---

* суровой отчизны (*лат.*).
** «Маленькие подарки питают дружбу» (*фр.*).

свое трехлетнее пребывание в Женеве, все еще оставался избалованным и превспыльчивым московским барчонком, а Глаголев, в pendent* к нему, взрослым угловатым кутейником. Однажды дворянская спесь первого резко высказалась при следующем случае. В полночь разбудило меня необыкновенное движение на нашей площади Saint Antoine. Я надел свою альмавиву[464] и, не имея ничего под нею, выскочил в туфлях на крыльцо нашего rez de chaussée. Стоявшая перед ним толпа в двух рядах при моем появлении закричала: «A la chaîne, à la chaîne!»**. Тут я узнал, что сзади нас был пожар и что меня приглашали, правильнее сказать, мне приказывали становиться в цепь, которая сама собою вытянулась до самого озера, чтобы передавать ведрами из рук в руки воду. Я насилу выпросил позволение войти к себе и сколько-нибудь приодеться. Разбуженный мною Девиер, которого я приглашал следовать за мною и стать в цепь, долго не соглашался. Ему претило дворянское его чувство: «Вот еще, стану я в ряды всяких блузников!» Мы проработали в цепи часа три и очень усердно. После этого пожара сохранилось у меня воспоминание о недостаточности полицейских мер и геройском самоотвержении некоторых жителей. Двое из женевских студентов, – один был сын синдика, – провалились с крыши и погибли. В длинной цепи работали все без исключения и, конечно, без различия состояний, и сам усталый мой юноша под конец согласился, что такой порядок не худо бы завести и в России, хоть бы по принуждению.

Через Девиера познакомился я с его приятелем из Москвы, Николаем Михайловичем Смирновым, таким же аристократиком, как и Девиер, но богатым маменькиным сынком, страшно избалованным. Прежде чем Смирнов пришел к нам, чтобы со мною познакомиться, явился ко мне ранним утром его слуга и бух в ноги. «Кто ты и что тебе нужно?» – «Батюшка, помогите! Спасите, Бога ради, отправьте меня поскорее в Россию», – сказал он с раздирающим душу рыданием. Долго не мог я добиться от него толкового рассказа и, наконец, узнал, что госпожа Смирнова[465] отправила его со своим сынком на другой день после его свадьбы с горничной, как видно, страстно им любимой, а сделала она это для того, чтобы крепостной хам служил вернее своему барчонку. «Я, пожалуй, похлопочу. Надеюсь, что поможет мне и приятель твоего барина, граф Девиер, но вряд ли согласится твой барин остаться без слуги, к которому он привык». – «Батюшка, у нас, кроме меня, есть другой, тоже крепостной, повар». Заботливая о сынке маменька отправила свое детище с гувернером, monsieur Bertholet, и с двумя крепостными, камердинером и поваром. Последнему приказано было запастись в дорогу сковородами и кастрюлями, а первому – не одной дюжиной столового и постельного белья и вдобавок на защиту пистолетами, топорами, веревками по экипажным частям. Я отпустил слугу,

---

* в пару (*фр.*).

** «В цепь, в цепь!» (*фр.*)

и вскоре явился московский барчук со своим гувернером. Нетрудно было мне возбудить в швейцарце сочувствие к страстно влюбленному в свою жену камердинеру Смирнова. И на другой же день этот несчастный отправлен был мною в Берн на счет московского юноши для получения паспорта. Вслед за этим отправился к себе, в Aubonne, на время и monsieur Bertholet, и мы остались втроем и начали показывать Женеву приезжему.

Спустя два дня была новая сцена. Смирнов вздумал праздновать день рождения своей сестрицы[466] и при сей верной оказии дал нам обед в единственном тогда ресторане. Богатый юноша, так недавно вырвавшийся из-под опеки строгой матери, оберегавшей его, как зеницу ока, угостил нас по-московски: за неимением стерлядей представил нам какую-то огромную рыбину, которую не могли бы съесть и десять человек, и, провозглашая здоровье сестрицы, вынул из кармана портрет новорожденной. «Не правда ли, что сестра очень похожа?» – сказал он Девиеру. «Похожа-то похожа и даже хороша. Живет! Да зачем твой живописец нарисовал ее с горбом, такое сходство совершенно лишнее. Свербеев, посмотрите, не правда ли?» Молоденькая девочка с миловидным личиком в самом деле нарисована было горбатою, как теперь помню, в каком-то платье мордоре[467], с пелеринкой, не скрывавшей, однако, ее недостатка. «Да ведь она похожа?» – повторил Девиеру Смирнов. «Я уже тебе сказал, что похожа, да зачем выставлять ее уродцем?» Слово «уродец» оскорбило Смирнова, начался спор, потом ссора, а наконец, и крупная брань. Который из ссорившихся предложил дуэль, я и сам не помню, но вызов был принят, несмотря на все мои усилия их примирить. Я предложил себя Смирнову в свидетели, а Девиер сказал, что приищет себе кого-нибудь другого из своих женевских знакомых. С надеждою, что утро вечера мудренее, отвел я Смирнова в его гостиницу и уложил спать, а придя домой, нашел в глубоком сне и Девиера. Оба на другой день выспались, протрезвились и помирились, и мы отправили нашего Смирнова с его гувернером и его дормезом во Флоренцию, где он потом примкнулся к миссии и зажил по-московски. Чтобы одним словом указать на его тамошнее житье-бытье, довольно сказать, что на его конюшне было 18 лошадей, по сему же и прочее разумевается. Мне, может быть, еще придется написать много кое-чего о Смирнове, если более крупные, нежели он, личности не отвлекут меня от описания этого своего рода оригинала, человека чрезвычайно доброго, во всех отношениях благородного и честного, но взбалмошного и горячего иногда до бешенства.

* * *

Этим же летом вздумалось мне съездить на воды в Aix en Savoie. Столица ее Шамбери (Chambéry) мне очень полюбилась, по всегдашней моей страсти к небольшим уютным городам с живописными окрестностями и замечательными историческими памятниками. Конечно, взглянул я и на местечко

Charmette, где некогда под крылышком madame de Varens[468] вылелеян был нежными и страстными ее попечениями в ранней юности Иван Яковлевич Руссо[469]. Мне показали комнату, в которой он жил, тщательно сохраняемую в прежней ее простоте догадливым хозяином как средство заманивать путешественников. Предложили и толстую записную книгу, в которой написано было множество французских и английских стихотворений с разными чувствительными излияниями и сладкою дамскою прозой, но ни одного русского изречения. И вот, для курьеза, написал я в ней славянским уставом: «упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Иоанна и сотвори ему вечную память», с опущением рукоприкладства. В то же лето, а потом и гораздо после, разные русские говорили мне о каком-то чудаке, так, по их мнению, неприлично помянувшем покойного философа XVIII века.

В Aix les Baine, лежащем в живописной долине, окруженной небольшою цепью гор, таких, которым я не давал даже и титула высочеств*, а просто называл превосходительными, нашел я огромное сборище французов, большею частью из Dauphiné и Provence, и много порядочных и непорядочных француженок.

Все это очень любезное на вид общество с раннего утра отправлялось на свой водопой, собиралось завтракать, по французскому обычаю, часов в 10 утра и кушало с увлечением обильную мясную и всякого рода пищу – не то, что на немецких водах, на которых пациенты живут всегда впроголодь. Да, правду сказать, на этаких водах настоящих больных совсем не было видно; все эти водопийцы гуляли, читали, болтали с раннего утра, играли то в вист, то в экарте и каждый вечер до изнеможения танцевали, при отсутствии всякого надзора санитарной или врачебной полиции. Не знаю, отчего и почему такое всеобщее веселое раздолье меня на всех озлобило до того, что я дал себе слово решительно ни с кем не говорить и упорно хранил молчание до тех пор, покуда не познакомился со мной приехавший с княгиней Репниной и ее дочерьми их домашний доктор, иностранец, пресмешно беседовавший со мной по-русски.

Вскоре получил я из Женевы от Девиера очень милое письмецо, которым просил он у меня согласия и как будто дозволения приехать для свидания со мной в Aix. По моему примеру он тоже стал играть в экарте, но раздражительный юноша играл не по-моему и проигрывал не по средствам. Между тем появилась в общей зале редута, или клуба, откуда-то шайка игроков мошенников и открыла игорный банк с условием допускать против себя крупные в экарте ставки. Не подозревая мошенничества, многие на их ловушку попались, Девиер мой тоже им поплатился. Наконец стали дога-

---

* Изучая по картам и гидам и еще более наглядно цепи Альпийских гор в Швейцарии, я в шутку для себя различал их под двумя видами: императорские и королевские, высочества и превосходительства (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

дываться, что у них поддельные карты, cartes biseautées, и что, сверх того, они ими передергивают. Одного мошенника схватили за руку на самом деле; шум поднялся страшный, вся толпа встала как один человек, хотела было обратиться в полицию, самоуправно отобрать у них все деньги, но решили выпроводить воров с ругательными криками. После говорили, что некоторые из проигравших, самые ярые, мошенников провожали и слегка поколотили.

Такая сцена с шулерами испортила мне и городок с водами, и мое в нем пребывание. Поглядев на хорошенькое озеро Bourget и Haute tombe с проданными впоследствии Франции за дорогую цену гробницами своих предков, королем, положим – Gentilhomme, но уж, конечно, не рыцарем, отправился я назад, в Женеву. Девиер остался в Aix, опять распроигрался, и я насилу его откуда вытащил. Славный, честный он был малый. Долго по выезде из Швейцарии оставался он под гнетом скупого и сурового отца, которого в своем раздражении называл бывало le père éternel*. В их семье, мне незнакомой, не было согласия. Мой юноша удалился на службу, на Кавказ. Нанюхавшись в Швейцарии республиканского духа, служил он храбро, как воин, и честно, как образованный делец, в военной администрации, но не умел подлаживаться к начальству и неудачно влюблялся в дочерей двух или трех генералов, бывших начальниками в том крае.

Девиер, вышед после смерти отца в отставку и получив порядочное наследство, купил затейливую на реке Москве подмосковную графини Лаваль[470] и весь предался ее украшению и в ней на иностранный лад хозяйству, начал постройки разных швейцарских шале с молочными и сыроварными фермами, стал осушать каналами болота и, отводя из них воду, затопив соседние земли, разбесился на свои неудачи и бросился в Петербург искать службы с помощью своего приятеля Смирнова, бывшего уже тогда губернатором. От Смирнова же узнал я и последнее обстоятельство всей тревожной жизни Девиера. Однажды в Петербурге этот неугомонный, но еще не старый граф Девиер, потомок того выходца из Португалии, который, женившись на сестре знаменитого Меншикова, добыл себе и важный чин, и графство[471], вбежал в кабинет Смирнова и потребовал, чтобы он непременно выхлопотал ему в два дня заграничный паспорт. Их тогда без троекратной публикации в газетах не выдавали, и в этой процедуре проходило более недели. «На что тебе так скоро?» – спросил его Смирнов. «Видишь ли, если я останусь на неделю в Петербурге, неминуемо должен жениться, а мне не хочется». – «Как? на ком?» – «Все это, мой друг, расскажу я тебе по моем возвращении, а теперь давай паспорт». Смирнов взял на свою ответственность все последствия нарушения закона о паспортах, по связям с генерал-губернатором Игнатьевым[472]

---

* вечный отец (*фр.*).

его добыл. Прошло три месяца – Девиер возвратился в Петербург и зовет Смирнова быть у него посаженным отцом. «Так ты не отвертелся?» – «А ты, Смирнов, думаешь, что я женюсь на моей прежней? Ничуть не бывало! Я на пароходе из Любека сюда встретился с m-lle Шульц, дочерью ослепшего секретаря королевы Анны Павловны[473], женюсь на ней». Молоденькая жена Девиера через три месяца после свадьбы занемогла холерой; муж в отчаянии опять бросился к своему другу и по его совету взял лучшего доктора, которому удалось вскоре прекратить холерные припадки. На беду жена, почувствовав после первых медицинских средств облегчение, томилась жаждой; нежный супруг предложил ей апельсин, потом два, три и четыре. Припадки возобновились; призванный доктор разбранил Девиера за угощение, сказав ему, что он этим может уморить свою жену. Вдруг ночью позвали к Девиеру Смирнова, который думал, что умирает его жена; прибегает – и находит на столе самого Девиера. Муж так испугался угроз доктора, что сам получил припадки сильной холеры, взял да и умер.

Вы уже прочли теперь два романа из моей жизни, но у меня их было два с половиной. Эту-то самую половину начинаю я описывать. В Женеву в начале лета 1825 года приехало богатое семейство Бек[474]. Муж был сын знаменитого акушера императрицы Екатерины II, а мать, если не ошибаюсь, – принявшая на свои руки Павла бабушка. За такие врачебные послуги награждены они были большими поместьями в разных губерниях и, между прочим, в Бронницком уезде на Москве-реке подмосковной с огромным количеством заливных лугов. Мой женевский знакомый Александр Иванович Бек проходил свое служение в Министерстве иностранных дел и, несмотря на свою тупость и плохое образование, достиг до удобного для прожития в России, по сделанному мне графом Каподистрия замечанию, чина действительного статского советника. Женат он был, или, вероятнее, его женили, на бойкой московской барышне, какой-то не то грузинке, не то армянке, Мурзалимовой. Вывезли они с собой из России в Швейцарию троих детей, чахлого юношу-поэта Ивана, двух дочерей, хорошеньких (каждая в своем роде), черноватую толстенькую Екатерину и эфирную, с голубыми глазами белокурую Марию, и при них пожилую кузину батюшки m-lle Аллер. В Женеве жили они от меня близко, и со всеми с ними с первого же разу я сдружился. С этой семьей коротко был знаком Ипполит Иванович Подчасский[475], муж Трубецкой-Потемкиной, поэтому должен был познакомиться с ним, но поневоле, и я, но весьма неловко. Тогда были в большой моде воскресные катанья по озеру на недавно еще заведенных пароходах. Совершали их не одни иностранцы, а и большая часть сколько-нибудь любопытных женевцев, не знавших и не видавших до того времени берегов своего родного Лемана. Поэтому на палубе и в каютах в пароходе была давка страшная. Непроходимая толпа стала у конторки, где выдавали билеты. Насилу добрались мы с Девиером до прилавка, до кото-

рого более десяти минут не допускал нас какой-то очень неряшливо одетый господин выжиданием сдачи. Юноша мой по своему обыкновению начал выходить из себя, тем более, что на нас напирали сзади. «Вот еще, – громко сказал он мне по-русски, – дожидайся из-за какого-нибудь лакея!» Я отвечал шутя: «Хочешь – прогоним». Тогда тот господин, обратясь к нам, спросил: «Милостивые государи, кого вы хотите прогнать? Не меня ли?» Как нарочно на другой день нашего кругоозерного пути зван я был к Бекам обедать, и меня познакомили с этим самым Ипполитом Ивановичем Подчасским, который как человек очень порядочный ни словом, ни знаком не намекнул на вчерашнее. И теперь еще я с ним знаком и почти породнился[476].

Девочки Бек, которых мы с Девиером прозвали «векшами»[477], были премиленькие. Вся семья была простая, вполне русская и бесцеремонная. Отец был добряк в полном смысле этого слова. Маменька – не без претензии и с аристократическими замашками, нисколько ей не подобающими, но сносными. Начались загородные гулянья и катанья, и я ежедневно бывал у них, как дома, а Девиер был такой дикарь, что и от знакомства с такою семьей отказался. Дальнейший мой рассказ о ней принадлежит к весне 1826 года и к Парижу, а к числу немногих моих знакомых в Женеве остается мне прибавить княгиню Голицыну, мать графини Корньяни, которая жила на своей вилле в Versoix; и овдовевшую графиню Шувалову, бывшую потом графинею Полье, и, наконец, княгинею Бутера, жившую также на берегу озера между Женевой и Лозанной. Я любил очень русскую кухню последней и угощавшего меня оной ее фактотума генерала Куливаева[478]. Однажды взял я у них полдюжины бутылок отличнейших кислых щей, которые распивали мы вместе с Девиером и другими, совсем незнакомыми нам на палубе, отправляясь в Эвьен. Русский наш напиток в знойный вечер всем понравился, и хвалебными о нем отзывами патриот Девиер очень был утешен.

* * *

Теперь переношусь в Париж. О поездке моей туда из Женевы с дедушкой Генш я уже говорил. Говорил также и о достопамятном обеде у Поццо де Борго с графом Каподистрия в тот самый день, когда получена была в Париже первая весть о взятии турками Миссолунги. К нашему послу Поццо де Борго явился я в день приезда. Он, сверх моего ожидания, по рекомендательному письму от барона Крюднера обошелся со мной очень благосклонно и пригласил, скорее – приказал, бывать у него как можно чаще и без зова, а Ломоносов внушал мне, что посол всегда бывает особенно внимателен к молодым чиновникам других наших миссий, заезжим на время в Париж, и заботится о том, чтобы они в этом омуте не слишком портились. Такая честь была мне не по вкусу; приветливость графа ни на волос не уничтожала того расстояния, которое нас разделяло; разговаривал он со мною четверть часа, сидя в боль-

ших креслах, а я стоял перед ним, как перед образом свечка. К счастью, между чиновниками посольства советником Шредером, секретарем Лабенским и Шписом[479], обращавшимися с другими юношами свысока, нашел я еще одного секретаря Сережу Ломоносова, близкого родственника моих тоже близких родных Обресковых, мне несколько знакомого. Этот был ко мне радушнее.

Кроме сих господ, занимался перепискою в канцелярии племянник нашего посла в Мадриде, вышедший из пансиона лицея Убри. Его дядя, того же имени[480], прислал его в Париж с какими-то депешами. Когда вскоре после меня приехал в Париж Берг, все трое мы часто видались, вместе обедывали и бывали в театрах. Ни в одном из всех встречаемых мною дипломатов, крупных и мелких, не замечал я таких либеральных замашек, какими на каждом шагу отличался сам Убри, пугая ими особливо Берга, который тоже в пансионе лицея учился. На счет его предупреждал меня Ломоносов, тоже лицеист, но постарше. Он говорил, что Убри еще в Петербурге заразился революционными идеями и что дядя, не умея с ним сладить, как дикого зверка, выслал его из Мадрида от своей миссии к Поццо ди Борго для укрощения, и что он у всех у них находится под надзором. Мы тоже с Бергом начали обращать его на путь истинный, то есть благоразумный и дипломатический, однако без успеха. Я уже скажу о нем все, что знаю, и покажу его как образчик тогдашнего либерального развития. Оставаясь после меня в Париже, он поссорился с Поццо де Борго престранно и презабавно. Каждый день засиживался он долго за перепиской, которую взваливали на него прочие секретари, сделав из него рабочего. Однажды вошел в канцелярию посол и, не нашед в ней никого, кроме Убри, бросил перед ним кипу бумаг, сказав: «Voilà du foin pour mes chevaux»*, и тотчас вышел. Юноша взбесился донельзя, выскочил, как угорелый, из канцелярии, надвинул на глаза шляпу и целый день, как сумасшедший, мерил парижские улицы. На другой день в необычный час вбежал он к Поццо и требовал, чтобы его приняли. Послу не дал он выговорить ни одного слова и сам разразился перед ним в крайне неприличных выражениях. Поццо выгнал его от себя, запретил ему являться на глаза и ходить в канцелярию, о поступке его написал к дяде и к графу Нессельроде. Все объяснилось и вышло просто. Наше посольство давно добивалось назначенной редукционной комиссией вознаграждения в пользу России за все издержки, сделанные корпусом графа Воронцова во время стояния во Франции. Долго спорили о продовольствии русской кавалерии и наконец согласились заплатить большую сумму за сено, из-за которого Убри сначала лишился места, а потом и всякой карьеры. После вынужденной отставки поселился он в Витебской губернии, там выбран был помещиками из поляков в уездные предводители. За возмутительную речь, сказанную им на первом заседании дворянства, приглашен он был познакомиться с III отделением[481],

---

* «Вот сено для моих лошадей» (*фр.*).

которому угодно было обратить на него свое благосклонное внимание. Следствием такого знакомства была высылка его на житье в Калугу под личный надзор тамошнего губернатора Илариона Михайловича Бибикова[482], Бибиков был дружен с семейством Убри и через год или два выхлопотал ему прощение, и Убри отправился в Париж, где сошелся с поэтом Мицкевичем[483], уже полусумасшедшим, некиим философом-мечтателем Товианским[484], который проповедовал в Париже пренелепую утопию, сущий бред католика и вместе философа и мистика. В то же время познакомился он и с аббатом Ламеннэ, уже отлученным от церкви папой. Под влиянием всех этих ярых мечтателей и сам Убри, лишенный всякого авторского таланта, вздумал быть публицистом и начал печатать никем не читаемые брошюрки на французском языке: в то время русской заграничной литературы еще не было. Оскорбленный неуспехом, вернулся он проповедовать в Россию, являлся и в московских литературных кружках, был в них каким-то загадочным особняком и надоедал всем, а особливо мне, чтением своих пошлых и туманных манускриптов на русском языке. Не найдя ни в ком и в России себе сочувствия, он опять воротился в Париж и, расстроив небольшое состояние бестолковою жизнью, умер там в бедности.

Очень бы любопытно было, хотя и приблизительно, знать огромное число жертв нашего либерализма, умерших в ранней молодости или только что вступивших в пору зрелого возраста и большею частью бесполезных себе и другим. У нас в обычае порицать немцев и преимущественно остзейцев за их служебное долготерпение; не берусь решить, кто полезнее: эти ли служаки или наши мечтатели при рьяных, обыкновенных способностях? Утверждаю, что немцы-труженики несравненно разумнее и полезнее на своих невидных местах, откуда не только не нужно, но даже и бесполезно устремлять свои полеты в воздушное пространство. Скажу более: труженики эти честнее; они, по крайней мере, служа из-за хлеба, не восстают против дающего пищу боящимся его[485], тогда как наши весьма и весьма обыкновенные люди за тем же хлебом и за местами также бегают, на них не уживаются и исчезают без шума. Примеры того и другого рода людей можно видеть рядышком у меня, в моих «Записках».

* * *

Не стесняемый в денежных средствах, начал я парижскую мою жизнь пошире прежнего и на все время своего последнего пребывания во всемирной столице взял на месяц великолепный кабриолет, но и тут всегдашняя моя бережливость восторжествовала над порывом к роскоши. Экипаж брал я не на целый день, а с четырех часов пополудни до двух часов пополуночи, и платил за него триста франков в месяц. Конь мой был такой великолепный, что наш Дмитрий Павлович Голохвастов, и тогда уже знаменитый лошадиный охотник, на него любовался и удостаивал меня иногда своим сопутствием в катанье по Булонскому лесу.

Кроме этого удовольствия, которое, впрочем, находил я довольно скучным, предался я и другим развлечениям, разумеется, по характеру моему в меру. Пустился в русское высшее общество на вечера и обеды к вечно юной, а тогда еще и не старой графине Марии Григорьевне Разумовской[486], к Голицыну, жена которого была Апраксина[487], а всего чаще ко вдове графине Шуваловой, уже невесте швейцарца из Лозанны Полье, которому французский король дал графство. Богатство последней казалось мне и тогда уже, и после загадочно-неистощимым. Милая эта женщина, чрезвычайно робкая и застенчивая, вменяла себе в общественную обязанность быть для всех гостеприимной, хотя и видимо тяготилась приемами у себя два раза в неделю, на обед и вечер, всего русского общества, а иногда и французов. Чтобы в этих домах быть самостоятельным для себя и приятным для других, начал я играть в большую игру. Она мне благоприятствовала, так что все время кутил я на чужие деньги, выиграв более 7000 фр. Некоторые играли из рук вон дурно, особливо в экарте; мне же так везло, что за меня Ломоносов, страстный игрок, вместе с другими всегда держали большие пари и всегда выигрывали, отчего я сделался во всех этих кружках какою-то знаменитостью. Шувалова имела в театрах французском, итальянском и Большой опере свою ложу. У итальянцев я имел абонированное дорогое кресло в третьем ряду, а в двух других театрах ходил в ложу к моей графине.

Долго и тщетно добивались у Голохвастова, чтобы он сделал визит Шуваловой; наконец Голохвастов после первого визита решился ехать к ней со мною обедать. Никогда не забуду сцены представления моего накрахмаленного университетского товарища скромной хозяйке этого великолепного дома. Она еще его не видала и, застенчивая, при первом появлении привезенного к ней гостя смутилась и безмолвствовала. Голохвастов сам дрожал от робости, ни дать, ни взять, как гоголевский Подколесин, которого сваха привезла к невесте. На меня тоже напал какой-то глупый страх, и я не знал, что с ними делать до приезда других посетителей.

Не лишним считаю припомнить, что я говорил о русском в Париже обществе весною 1826 года, в первый год нового царствования, бурно начавшегося мятежом 14 декабря, что в это самое время длилось еще уголовное следствие о декабристах и что между всеми нами, собиравшимися у Шуваловой, у каждого были либо родные, либо коротко знакомые в числе декабристов. Казалось бы, что при общих свиданиях мы должны были больше всего толковать о том, что у нас случилось и что теперь творится и ожидается; напротив, все мы как будто сговорились между собою упорно молчать о недавно прошлом и нашем настоящем времени и ограничивались общею восторженностью мудрым начинаниям в подвиге правления нового императора, усмирившего мятеж и тем спасшего Россию. О преступниках скорбели, но в суждениях о

них воздерживались от порицания. Развязку следствия уголовного, а потом и суда ожидали с раздражительным нетерпением.

В это время я скоро нашел в Париже болезненного князя Феодора Александровича Щербатова и у него познакомился с Алексеем Алексеевичем Олениным[488]. Все трое были мы одних лет и потому между собою сблизились. Я же Щербатова, брата моей жены, знал и прежде, когда за год перед этим был он у меня в Швейцарии. Всего бы естественнее между нами троими было толковать на чужой стороне о важных домашних событиях; я и попробовал заговорить о них с Олениным, который гораздо позднее меня и Щербатова выехал из Петербурга, но встретил в нем, большом говоруне, странную сдержанность и начал догадываться, что Оленин, а может быть, и Щербатов принадлежали к этому в России тайному обществу[489] и что они меня опасались как чиновника, хотя и мелкого; поэтому и я положил хранение устам моим и должен был совсем нехотя между всеми встречаемыми мною молодыми людьми быть вроде какого-нибудь инока, наложившего на себя обет молчания. Случайно напал я на весьма либеральный русский разговор Якова Толстого[490] в café... Он завтракал возле меня с неизвестным мне тоже русским. Оба они начали так откровенно говорить о декабристах, скорбеть о их неудаче, называть разные имена тех, которые даже и не показаны были в списке находившихся под следствием, что я счел обязанностью заявить им, что я тоже русский и нисколько не желаю выслушивать всех их современных подробностей; я тотчас же почувствовал внутри себя, что мне решительно не следует их знать, чтобы не быть поставленным в тяжкую обязанность передать их нашему посольству по долгу службы, присяги и по моим тогдашним политическим убеждениям. Но доходившие до меня рассказы о тогдашней России от живших со мною в одном отеле генерала Шатилова, консерватора Голохвастова и юного, менее сдержанного, чем первые, Хомякова, несмотря на всю осторожность наших ежедневных толков, несколько колебали твердость моих убеждений. Я день ото дня все более и более убеждался в том, что последние годы царствования императора Александра неминуемо должны были вынуждать многих к составлению смут и заговора и что порядок вещей вследствие какой-то религиозной и мистической апатии, овладевшей в последнее время государем, вел нас к неизбежному разложению и требовал переворота или по крайней мере поворота.

Но в Париже и в мои еще юные годы заботиться слишком обо всем этом было невозможно. Кроме катаний и театров, вечеров и обедов, почти ежедневно занимался я любезничанием с двумя моими векшами, посещая урывками каждый день добрых Беков. Кроме того, что эти обе девицы более или менее мне нравились, на меня находили разные мысли и соображения, что заграничная служба при дипломатии мне никогда вполне не удастся, что лежит на мне святой долг ближе и пристальнее заботиться о данных мне, как

говаривал батюшка, Богом и государем подданных, которых было немало, что управляются они Тарасовым не слишком-то выгодно для моего кармана и слишком произвольно для возможного их благосостояния, что не пора ли, наконец, и мне переселиться на родину и в ней водвориться и устроиться. Повторяю, в шумном Париже сосредоточиваться было нелегко. Мечты одна за другой улетучивались, разлетались и утомленному воображению под конец представлялись то розовыми облачками, то темными грозными тучами. Когда все это начинало мне надоедать, я отдавался уличной и общественной парижской жизни и изучал других, оставляя себя в стороне. По утрам охотно болтался с многоглаголивым Хомяковым, своеобразным юношей, который и тогда уже, сам того не подозревая, пророчил России в себе гениального человека. В это время читал он мне отрывки из второй своей, забытой всеми трагедии «Димитрий Самозванец». Его первая трагедия называлась «Ермак». Обе были слишком растянуты, но в обеих было много и мысли, и поэзии. В то же время брал он уроки живописи масляными красками и рисовал с моделей, нередко с натурщиц, что очень изумляло меня, знавшего девственную чистоту его нравов, а ему тогда едва ли было и 20 лет от роду. Впрочем, ничем не оборимая сила его характера выражалась и строгим соблюдением отеческих и православных преданий. Приехав в Париж в начале нашего Великого поста, я как очевидец свидетельствую перед будущими его биографами, как строго этот двадцатилетний юноша соблюдал в шумном Париже наш пост, во все продолжение которого он решительно ничего не ел ни молочного, ни даже рыбного, а жившие с ним Шатилов и Голохвастов сказывали, что он не разрешал себе скоромного в обычное время и по средам и пятницам. Но любовь к славянству и страстная к России тогда на него еще не находила.

Прошло более недели с первого моего обеда у посла вместе с Каподистрия, а я в посольстве не был. От Ломоносова по поручению графа Поццо ди Борго получил я любезный выговор и приглашение явиться в 7 часов к обеду. Скучно, досадно, а идти надо, хотя я и чуял, что мне придется потерять целый вечер и проскучать его весь. Ровно в 7 часов шел я в великолепные чертоги нашего представителя и целый час один дожидался обеда. Граф работал со своей канцелярией. Через час пришли они все разодетые, как и я, в белых галстуках и башмаках. Берга и меня как гостей посол посадил возле себя и с нами любезно разговаривал. Все прочие, даже и Шредер, уже очень немолодой советник посольства, промеж себя говорили шепотом – таков был обычай у наших представителей, а у строптивого Штакельберга в Неаполе молчание налагалось и на секретарей чужих миссий. Штакельберг выразил раз у себя за столом одному из них свое неудовольствие учтивыми словами: «monsieur à le verbe bien haut aujourd'hui»*.

---

* «сударь сегодня говорит слишком громко» (*фр.*).

За нашим обедом, обильным и роскошным, но скучным, последовало чаепитие. Возвратясь в гостиную, посол сел в свое кресло, мы же все стояли. Ломоносов разносил чашки, налитые для нас хозяином. Тут разрешалось погромче говорить всем предстоящим, а когда, по заведенному обычаю, все пошли в бильярдную комнату и посол стал играть с Шредером, получив учтивый отказ от Берга и меня за нашим неуменьем, тогда Ломоносов шепнул нам обоим, что мы можем быть на банкете, пристойно разговаривать и смотреть, как играют. Несносный вечер длился до одиннадцати часов. Я дал себе слово ходить в посольство как можно реже и не губить моих вечеров, которые проводил иногда у Беков, а чаще всего в каком-нибудь театре, оканчивая после спектакля у Шуваловой или у других русских за игрою. Тогдашние театры были несравненно лучше всех тех, какие посещал я в последнее пребывание мое в Париже за год перед несчастной для Франции войною в 1869 и 1870 гг. Не думаю, чтобы мне казались они такими только потому, что я был тогда молод, а через полвека и старость моя уже проходила*.

Парижские сцены тогда украшались еще игрою великого Тальма, неподражаемой, вечно юной m-lle Mars aux Français**. В Одеоне царила великолепная m-lle Жорж, а в итальянской опере во всем цвете красоты и сценического искусства восхищала всех первейшая из примадонн, знаменитая madame Паста с неустаревшими тогда Рубини и Лаблаш; все трое много лет спустя, но уже спавшие с голоса, приезжали в разные времена и к нам в Россию. Славное было времечко, и было оно прожито весело, хотя по временам и смущали и одолевали меня разные заботы и о том, что делается у нас в России, после мятежных событий, и о том, что мне делать с собою. Я не нашел нужным скрывать от ближайших моих знакомых частые мои посещения Беков, говорил о них слегка трем живущим со мной приятелям и однажды, встретясь в Tuileries с матушкою и девицами Бек, указал на них Щербатову и злоязычному Алексею Оленину. Эти два новые мои приятеля нисколько не походили на прежних бернских: те со мною скромничали и молчали о моем прошлом ухаживании за m-lle Rœder, оставляя меня в покое, но и то сказать, не было у меня в это время и подталкивающих и понукающих к развязке приятельниц, не было при мне и непрошенного свата, старика Guingens'а. Оленин, а за ним и Щербатов преследовали меня насмешками и предсказывали обыкновенный исход короткого знакомства молодого человека в доме, где есть невесты. Семья Беков вела себя в отношении ко мне безукоризненно скромно. Мать, и то только однажды наедине, слегка проговорилась, и я начинал догадываться, что она как будто получила обо мне сведения из России по расспросам ее о моем состоянии и связях, и по данному мне, очень, впрочем, скромному,

---

* Шуточное применение к себе слов, сказанных отцом М.С. Перекусихиной на прощание его с ней. От изд[ательницы] (*примеч. С.Д. Свербеевой*).

** м-ль Марс из «[Комеди] Франсез» (*фр.*).

совету продолжать службу и выхлопотать через Каподистрия камер-юнкерство, без чего де у нас молодому человеку бывает неловко жить в обществе. Дело, по-видимому, приближалось к развязке, хотя я отмахивался от находивших порою на меня дум. Меня смущало многое: и, во-первых, медицинское с обеих сторон происхождение незатейливого батюшки, а потом девичье имя и самой матушки, соединявшей в своем семействе каких-то неведомых мурз и ханов, и существование в Москве ее брата Мурзаханова, красивого члена одной шайки тамошних игроков. Наконец было еще одно главное затруднение: какая из двух нравится мне более – черненькая или беленькая? Ну как мне придется над собою повторять целый век последний стих бывшей тогда в моде комедии Хмельницкого: «Напрасно, кажется, не выбрал я меньшую!»

Спасибо судьбе, все решила она неожиданно пошло, но бесповоротно. Я остался решением ее очень доволен. В те дни, когда у меня не было приглашений у кого-нибудь русских обедать, ходили мы вместе с Олениным и Щербатовым в какой-нибудь из лучших парижских ресторанов по выбору первого. Он любил и поесть, и выпить, и пожить на чужой счет. Щербатов, больной, милый и кроткий, лет 23 молодой человек, во многом подчинялся влиянию Оленина, который забавлял его своими остроумными рассказами и почти всегда был замечательно любезен во всяком обществе. Остроумный рассказчик нравился также и мне, хотя иногда оскорблял своим цинизмом. Всего досаднее в этих обедах были для меня их cartes payantes, т.е. дороговизна. На них просто разорял нас Оленин, и тогда уже имевший страсть к вину; выбирал он самое дорогое вино и пил против нас вдвое. Врач Щербатова Алиберт (Alibert)[491], первый королевский доктор, предписал ему пить умеренно; я же никогда не любил часто повторяемых выпивок, после каждой я сам себе казался гадок.

Вот однажды пошли мы довольно поздно и, походивши по Tuileries и бульварам, зашли обедать к «Frères Provençaux». Было поздно и людно. С трудом нашелся для нас маленький столик у стены. Обед, как и всегда, прихотливый и изысканный, заказывал Оленин. Я сел между ними против стены, не обратив никакого внимания на всех бывших в зале. По обыкновению, пили мы и, кажется, немного. Я уже заметил, что между мною и этими двумя приятелями серьезного разговора не бывало и быть не могло, потому что мы не могли говорить откровенно о том, что происходило в России. Оленин начал перебирать поочередно все знакомых и не знакомых нам русских, представлял каждого и каждую со смешной стороны, на что он был великий мастер. Никто, как он, не умел подмечать и выставлять слабую сторону людей. Дошла очередь до семьи Беков; отец и мать представлены были в карикатуре верной, но крайне злой; я за них не заступался, чуть ли не поддакивал, но отстаивал девиц, когда наш краснослов и циник не пощадил и их. В конце

обеда пришлось мне обернуться и – о ужас! прямо против нас увидел я и отца, и мать, и сына, кузину m-lle Аллер и двух девушек – одним словом, tutti quanti* семьи. Никто из них не отвечал на мой неловкий поклон обыкновенным им радушием. Мне оставалось дать другой оборот разговору и не давать заметить Оленину, что разбираемая им по косточкам семья могла слышать все, что о ней говорилось. Мне было досадно и совестно, но я вынужден был решительно от них отказаться. Перед выездом из Парижа ограничился прощальною карточкой и с тех пор никого не видал. Так все и кончилось! Куда девались старики – не знаю, вероятно, теперь давно уже померли. Поэт Бек, которому досталось огромное имение, женился на красавице еще и теперь Столыпиной; две его дочери, одна за Ламздорфом, не очень давно умерла, другая за князем Горчаковым, жива[492]. Марья Аркадьевна Бек, овдовев, вышла за кн. Вяземского, сына поэта. Дочери Бека вышли замуж. Старшая была за Лазаревым, меньшая умерла девицей[493].

Житье мое в Париже приближалось к концу. Оно, может быть, и еще бы продолжалось, потому что я ниоткуда и никуда никогда не спешил, если бы по убеждению Феодора Щербатова не обещался я Оленину везти его в Россию. Нестерпимой его способности дразнить донельзя каждого, кто с ним надолго связывался, я еще не знал, а веселого забавника в нем полюбил. Оленин же спешил в Россию по настоятельному требованию его отца[494], бывшего когда-то государственным секретарем, и, несмотря на весь свой ум и находчивость, путался в своих ответах на мои вопросы, зачем он так спешит домой.

В заключение рассказов о пребывании в Париже прибавлю, что раза два или три случилось мне еще проскучать на поздних обедах графа Поццо ди Борго и что френолог Галл, частый его гость и домашний врач, по желанию посла внимательно ощупал мой череп и на вопрос о результате его над моею головой френологических наблюдений отвечал одним молчанием; перейдя тотчас же к голове Берга, он выразил о нем следующее мнение: «Je vous réponds que celui-là saura s'orienter partout»**.

Последними моими сказаниями об этом времени будут: одна виденная мною торжественная религиозная процессия, и еще день, весело и шумно мною проведенный.

В 1825 г. папа, если не ошибаюсь, еще Пий VII[495], праздновал в Риме юбилей истекавшего двадцатипятилетия, или первой четверти XIX столетия. Особенною буллою с обещанием даровать чрезвычайные индульгенции, призывал он в Рим всех верных католического мира. Набожный Карл X, король, носивший титул христианнейшего величества, Roi très Chrétien, лишенный возможности прибыть на это торжество в Рим и получить от папы себе,

---

* полный состав (*ит.*).

** «Уверяю вас, что этот не растеряется нигде» (*фр.*).

своему семейству и своему народу всепрощающую индульгенцию, умолял римского первосвященника перенести подобное же торжество во Францию в следующий, 1826 год. Папа, конечно, ему в этом не отказал и вместо себя и личного своего благословения благословил его частью мощей, вероятно, апостолов Петра и Павла. В назначенный день для парижского духовного торжества и всеобщего молебствия большой золотой ковчег с хранившимися в нем мощами вынесен был канониками парижского собора Notre Dame de Paris в сопровождении архиепископа, нунция папы, кардинала и всего духовенства. За ними следовали король Карл X, старец еще здоровый, дофин и его супруга, до фанатизма набожная дочь венценосной жертвы революции[496], весь двор, министры, депутаты от двух палат и все ревностные католики и католички, обитатели Сен-Жерменского предместья. Величественное это шествие происходило после обедни в самый жар. Все, начиная от короля, шли с обнаженными головами тихим мерным шагом, и все, вышед из собора, равно как и король, обошли через Тюльери мимо церкви Св. Магдалины и по бульварам значительное пространство города, останавливаясь для короткой литии у каждой церкви, и сопроводили святыню до собора. Торжество продолжалось 3 часа. Я видел его с удовлетворенным любопытством и долго за ним следовал, хотя и не имел нужды в папской за подвиг мой индульгенции, но для Карла X это тихое шествие по жару и без шляпы было настоящим подвигом, и, вероятно, индульгенция омыла много грехов его юности.

И веселый и шумный денек нечаянно провели мы в поездке в Версаль с прелюбезной графиней Разумовской[497]. Ей хотелось инкогнито, скрытно от других дам, строго соблюдающих чопорные светские приличия, погулять в садах Людовика XIV и посмотреть версальские фонтаны, которые в этот воскресный день были все пущены. Сборным местом для меня, Убри, Берга, Щербатова назначена была площадь de la Concorde, а по тогдашнему площадь Людовика XVI, т.е. та самая, на которой этому королю и Марии Антуанетте отрубили головы. На ней в этот день с раннего утра стояло множество фиакров и других незатейливых, ныне уже несуществующих экипажей для толпы посетителей версальского народного празднества. Графине захотелось популярничать и проехаться хоть раз в жизни с простыми смертными, но она как русская барыня, разумеется, опоздала, и мы, приглашенные юноши, насилу отыскали одну из последних «куку» – так назывался самый безобразный и безрессорный экипаж в одну лошадь, кучер которого стоял на площади и добирал для своего экипажа неприхотливых седоков. Насилу уговорили мы развеселившуюся графиню не садиться на империал, с коего легко было свалиться и себя навеки изувечить.

С великим усилием поместились мы в этом куку и почти на коленях сидели друг у друга. С нашей дамой была еще одна хорошенькая француженка, дочь какого-то живописца. На шоссейной дороге в Версаль по правому берегу Сены

сновало взад и вперед бесчисленное множество едущих на гулянье. Наш презренный экипаж ежеминутно грозил падением. Он нагружен был десятками двумя пассажиров, подвигался шагом, и множество обгоняющих наше куку зацепляли и могли изломать его вдребезги. Полиции на шоссе никакой не было, и беспорядок был страшный. Напрасно мы не один раз уговаривали графиню пойти пешком, хотя и трудно было пройти между скачущими экипажами на боковую дорожку для пеших: грозившая нам отовсюду опасность ее забавляла. Понять не могу, как удалось нам дотащиться целыми и невредимыми, а дамы наши всю дорогу прохохотали.

Добравшись до большой Версальской площади, мы вместо гулянья по садам, в которых били все фонтаны, спешили что-нибудь поесть. Все сколько-нибудь возможные рестораны были набиты битком, и к великому удовольствию нашей предводительницы, желавшей популярничать до конца, нашли мы в углу какой-то, даже не gingette, гингетты, а гарготты[498], в дощатом бараке темный уголок с грязным столом, где нам дали какую-то похлебку и жареную кошку вместо зайца. Мы ели медными полуженными приборами, которые такими же цепочками прибиты были к доске стола для того, чтобы посетители грязной гарготты не унесли их с собой. Ни один из нас, кроме графини, не был доволен этой прогулкой, но она, спасибо ей, не давала нам долго на себя сердиться и, предавшись вся какому-то разгульному вдохновению, впрочем все-таки приличному, напевая русские и малороссийские песенки, скорыми шагами шла впереди общества по версальским тенистым аллеям, залитым толпой, продираясь через нее к фонтанам. Уже начинало смеркаться, когда мы вышли из садов, а нам предстояло еще найти какой-нибудь экипаж, чтобы воротиться в Париж. Страшно дорогую цену заплатили мы за неуклюжий дилижанс, который и привез нас гораздо заполночь к дому графини. Я и мои спутники (по счастию, с нами не было Оленина), вместо того чтобы порицать искреннюю веселость графини, под влиянием которой сбросила она с себя на короткое время все путы преувеличенно строгих обычаев общества, вместо того чтобы над ней посмеяться, мы в один голос открыли в ней редко встречаемое прекрасное качество благоволения, доброты и справедливого презрения предрассудков, подчиняясь коим, аристократы всю свою жизнь важничают и глядят свысока на меньших своих братий. Несмотря на все свое увлечение простонародным весельем, она ни на одну минуту не изменила тому нравственному чувству, которое всегда и во всем сохраняет истинно порядочная женщина. В ней была одна слабость – до глубокой старости молодиться не по летам. Года два до этой нашей прогулки проезжала она через Берн, ей и тогда было за 50, а на французском паспорте, который я прописывал в канцелярии, в описании примет, по заведенному тогда оскорбительному для путешественников обычаю, выставлено было 34 года. Графиня Разумовская, Мафусаил[499] женского рода, умерла недавно, прожив более 90 лет и до последнего дня

принимая у себя все петербургское общество. Семидесятилетняя, тешила она иногда искренно любившего ее Николая Павловича, танцуя с ним на маленьких вечерах у императрицы казацкий удалой танец «Мятелицу» вроде нашей «барыни» или пляски вприсядку.

Оставляя Париж, откланялся я послу. Поццо ди Борго, вскоре потом возведенный новым государем в графское достоинство, пользуясь значительным влиянием у двора, играл вообще важную роль и во французском обществе. Легитимисты faubourg Saint Germain* распространяли ложный или справедливый слух, не знаю, что Карл X имел намерение еще при императоре Александре поручить Поццо ди Борго Министерство иностранных дел и что наш государь охотно на это соглашался. В русской колонии, которая его недолюбливала, – да и когда же мы, русские, любим своих представителей, особенно же не чисто русского происхождения, – часто повторяли, что Поццо изменяет интересам России и играет на бирже. Сверх того, упрекали его наши в совершенном незнании русского языка, доказывая, вероятно, выдуманным анекдотом, будто бы французский министр иностранных дел генерал Damas[500], находясь эмигрантом в России и служа в Семеновском полку, однажды взял на себя труд переводить с русского языка на французский, когда в присутствии последнего кто-то из русских, не умеющих по-французски, обратился к Поццо с русской фразой. Ультрароялисты любили Поццо ди Борго за ненависть его к Бонапарту, такому же корсиканцу, как он. Между их двумя семействами, самыми влиятельными на острове Корсике, издавна существовала родовая вражда (vendetta), но и самые друзья Поццо из Сен-Жерменского предместья не слишком-то защищали его от упрека в спекуляции на парижской бирже. В этом отношении, я думаю, он был не безгрешен, иначе не мог бы оставить огромное наследство своим племянникам. Как бы то ни было, русский дипломат-корсиканец, отчасти способствовавший конечному низвержению Наполеона, оказал великую России услугу, убедив императора Николая в начале революции 1830 года не объявлять войны Франции: тогда нам бы еще было труднее усмирить первое восстание Польши.

Мне не было времени при моей рассеянной жизни изучать политическое положение Франции в начале 1826 года, как было со мной прежде в 1821, 1822 и 1823 годах, зато чаще в короткое это время бывал я на заседаниях палаты депутатов, слушал знаменитых ее ораторов и удивлялся мастерству президента управлять прениями палаты. Ничто, глядя со стороны, не мешало бы Франции идти по широкому пути к прогрессу, если бы она не носила в себе, как и доселе, зловещий дух партий, враждебно разделявший нацию. В то время, как и теперь, боролись между собой и легитимисты, домогавшиеся уничтожить конституционную хартию и возвратиться к королевскому абсолютизму. Были и не наученные долгим опытом и наперекор всему преданные

---

* Сен-Жерменского предместья (*фр.*).

принципам террора республиканцы вроде нынешних интернационалов[501], стремившиеся водрузить в несчастной стране кровавое знамя Робеспьеров и Маратов[502]; была большая партия бонапартистов с вечными заговорами призвать во Францию Рейштадского герцога[503] из Австрии и, наконец, орлеанисты с их президентом тайного Comité directeur, генералом, «cette vieille lampe puait toujours»[504], selon l'expression de l'Empereur Alexandre*. Последние для Бурбонов были опаснее всех прочих, зато и достигли они своей цели. Их успехам много помогло коварно изобретенное ими же политическое положение принципа, взятого будто бы из истории: что Франция не иначе может успокоиться, как повторением у себя переворота, установившего порядок в Англии. Подобно тому как в этой соседней стране необходимо было сперва покончить со Стюартами казнью Карла I и изгнанием вновь воцарившегося его преемника короля Иакова и призванием нового монарха из боковой династии[505], необходимость будто бы становилась и для блага Франции еще один раз, и уже в третий, свергнуть Бурбонов и посадить на престол из Орлеанской боковой линии нового правителя. Трудно объяснить, почему именно такой насильственный вывод истории суеверно распространился как политический догмат, вопреки истине, выражаемой у самих французов пословицей: «Comparaison n'est pas raison»**, но достоверно, что распространенное и суеверно принятое убеждение в непреложности этого догмата много, к сожалению, способствовало восшествию на престол Людовика Филиппа, этого мещанского короля, которого наш честный император Николай приветствовал при его воцарении следующим выражением: «Les circonstances à jamais déplorables qui ont placé votre Majesté sur le trône de France»***.

Отпраздновав нашу Пасху и пробыв недели две после, выехали мы с Олениным в Швейцарию. В мальпосте взяли мы целое купе, три вместо двух мест, чтобы ехать просторнее и спать в дороге две ночи удобнее. Тут только с Олениным убедился я, что il vaut mieux être seul, que mal accompagné****. Он был виртуоз в своем таланте дразнения. Русская песня самого грубого, раздражающего слух напева и отвратительно цинического содержания:

Я пойду;
Да куда?
В Кострому.
Да зачем? и проч.

– и теперь еще звенит в моих ушах, лишь только я про него вспомню, а на беду мою, он не мог спать в дороге и диким своим голосом мешал обе ночи

* «этой старой вечно воняющей лампой», по выражению императора Александра (*фр.*).
** «Сравнение – не доказательство» (*фр.*).
*** «Прискорбные обстоятельства, при которых ваше величество вступили на трон Франции» (*фр.*).
**** лучше быть одному, чем в плохой компании (*фр.*).

моему сну. Ни моя просьба, ни мое проклятие его песни не могли его угомонить. Кроме вечной своей привычки выводить людей из терпения, привычки, которой он сделался жертвою, меня особенно дразнил он еще потому, что между нами не могло быть никакого разговора. Дилетант всех возможных переворотов, он желал их потому, что ему без них было скучно, и не один он был таким охотником до революций. Перед февральской революцией 1848 года Ламартин недаром предрек ее двумя знаменательными словами: «La France s'ennuie»*. Если позволительно сравнивать наши доморощенные поэтические таланты с замечательными европейскими, позволяю себе припомнить московскую Каролину Карловну Павлову[506], которая также часто мне повторяла, что и для нас необходима катастрофа и что за недостатком сильного движения умов и быстрого стремления в народе лучшие и коротко знакомые нам современники пропадают от бездействия, что Хомяков сыплет софизмами и раздражает бесплодно своих противников, что Герцен запивает, что муж ее играет и пьет и что сам Грановский пьет и играет…

Приехав в Берн, не нашел я там барона Крюднера, гулявшего по горам, а в Фурмане нашел уже не столько товарища по службе, как будущего ad interim** поверенного в делах при ожидаемом отпуске Крюднера. Фурман со мной при этой встрече обошелся сдержаннее, скрытнее прежнего, а может быть, таким он только мне показался, единственно потому, что ему приписывал я неудачу моего предложения mademoiselle Rœder. Многих прежних моих знакомых я уже не нашел в Берне. Давно уже не было там милого Буркене, добрый и шумный Шафгоч исчез из Швейцарии вместе с графом Мероном, английский и сардинский секретари Пакенгам и Blonvie[507], заступившие места начальников своих миссий, как будто передо мной важничали, добрые ко мне бернские советники надолго потеряли меня из виду, меня забыли и, сверх того, разбрелись по своим замкам, в клуб никто не ходил, и мне после парижской жизни в Берне становилось скучно. Один только граф Ренваль, французский посол, принимал на вечерах небольшое общество, но он меня знал очень немного, а его супруга с первого же моего у нее вечера недружелюбно отнеслась ко мне по милости моего спутника. В ожидании Крюднера он просил меня представить его графу Ренвалю. Зная его манеру дразнить, я отказал, прося подождать барона; тогда на другой же вечер нашего приезда он представился Ренвалям сам как старый знакомый графини, урожденной Влодек, еще по Петербургу. Я застал его в этот же вечер в оживленном разговоре с хозяйкой дома. Как вы думаете, на какой тон он с нею любезничал? Madame Ренваль, видная и красивая женщина, грациозная, как все русские дамы с примесью польской крови (отец ее был поляк, мать – княжна Вяземская), имела на своем

---

* «Франция скучает» (*фр.*).

** временного (временно исполняющего обязанности) (*лат.*).

античном красивом лице и шее болезненные красные пятна des rousseurs*, а Оленин сейчас же начал с состраданием замечать ей, что как это должно быть для нее несносно и как самому ему обидно за ее так рано попорченную красоту. После такого объяснения она старалась убежать от Оленина, а тот все-таки ее преследовал. После жаловалась она на него Крюднеру, который, узнав о моей приязни с Олениным и о том, что я привез его в Берн, опять повторил: «Qui nous délivrera des grecs et des romains?»**.

С Крюднером толковали мы об ожидаемых им и мною отпусках в Россию. Он надеялся получить перемещение на другой пост и желал министерства в Соединенных Американских Штатах[508]. «Будете ли вы согласны быть при мне там секретарем?» – «Очень буду рад, но я ни слова не знаю по-английски». – «Я и сам знаю этот язык очень поверхностно, будем учиться вместе; вы так еще молоды». – «Ну, – думал я про себя, – языки даются мне не легко». В моем ребячестве три раза принимался я учиться по-немецки; учился в Петербурге, Берне и Женеве и все-таки читаю на этом языке с большим трудом, а писать и говорить не выучился. Из собственного моего примера вывожу я опровержение тому предубеждению, будто все русские владеют даром ведения разных языков, и предлагаю всем стоящим за это мнение поговорить на одном иностранном наречии с любым из наших самоучек в зрелом возрасте.

Перед отъездом моим из Берна в Россию, в конце мая или в начале июня 1826 года, я избавился от скуки делать много прощальных визитов. Все как бы нарочно для меня, и дипломаты и знакомые мне правители кантона разъехались по своим замкам и виллам, чтобы пользоваться превосходной погодой, наступившей после сырого и довольно холодного времени под конец весны. Незадолго до назначенного к отъезду дня приглашен я был к обеду в Эльфенау, и великая княгиня Анна Феодоровна приказала мне явиться на другой день часов в 11 утра и тут вручила мне посылку и письмо к недавно овдовевшей императрице Елисавете Алексеевне, медленно возвращавшейся из Таганрога в Петербург. Мне поручила она передать в собственные руки ее величества и письмо, и посылку. Барон Крюднер снабдил меня курьерской подорожной и двумя или тремя маловажными депешами в министерство. Одна из них была очень лестная для меня рекомендация графу Нессельроде. Крюднер предполагал, что я не слишком-то буду спешить в моей курьерской поездке, которая в то время по ближайшему в Петербург пути через Баварию и Богемию не представляла даже удобства шоссейного сообщения, и как кратковременный отдых предложил мне остановиться на сутки в Варшаве, почему и дал рекомендательное письмо к управляющему

---

* веснушек (*фр.*).
** «Кто нас избавит от греков и римлян?» (*фр.*)

дипломатической канцелярией великого князя Константина Павловича, к старому своему товарищу барону Моренгейму, который лет десять тому назад вместе с ним был заточен в крепость близ Лиона. Я уже говорил в моих «Записках» о том, как эти два секретаря нашего посольства в Париже по отъезде князя Куракина и после возмутительной кражи секретных бумаг из военного министерства флигелъ-адьютантом Ч.[509] были арестованы и заключены в крепость.

С Крюднером нежно обнялись мы в надежде свидания в Петербурге. С Фурманом простился я довольно холодно. С Guingens'ом дружески и нежно. Доброго моего Берга тогда уже в Берне не было, с ним расстался я в Париже, где он, отчисленный от нашей миссии, оставался на время при тамошнем посольстве, готовясь и к предстоящей ему дипломатической карьере, на которую он мог верно рассчитывать по связям своего старшего брата, нынешнего графа и фельдмаршала[510], предался упражнению в каллиграфии. Для этого отыскал он какого-то учителя чистописания, англичанина, и на моих глазах в течение месяца, упражняясь ежедневно, значительно поправил свой прежний невозможный почерк.

Хотя я и не жил домом, но все-таки у меня были кое-какие вещицы, много книг, немного бронзы, еще менее хрусталя и фарфора. Последнее отдал я на память Фурману. Прехорошенькие стальные часы – священнику Разумовскому за двукратное у него говение. Книги и прекрасную бронзовую чернильницу с подсвечниками – усердно хлопотавшему около меня по моему маленькому хозяйству Бондаревскому, у которого они сохраняются, вероятно, до сих пор, по крайней мере я видел их у него на столе 30 лет после, в 1857 году, и со вздохом пожалел о них.

Совсем было позабыл я рассказать о бывшей перед нашим отъездом при мне у Оленина сцене с одним кучером. Повез я из Берна взбалмошного моего спутника поглядеть на Женевское озеро с тем, чтобы и самому с этим любимым озером проститься. Из Веве предложил я ему прогуляться пешком до Шильона. Время было жаркое; на возвратном пути избалованный мой товарищ начал изнемогать от усталости. Кучер порожнего шарабана предложил мне свои услуги, и я тотчас же уговорился с ним до Веве. Подъехал другой и брался свезти полуфранком дешевле. Оленин тут же заспорил и на свои ругательства получил в ответ от моего возницы довольно грубое приветствие: «Fichtre! je vous ferai sauter la calotte!»*. Затем последовали взмахи кнута над головой спорщика. Оленин с поднятым кулаком забрался к кучеру на козлы; я насилу их рознял и, однако, уговорил Оленина сесть вместе со мной в экипаж, нанятый прежде. Самоуправство моего спутника, ни на чем не основанное, неприятно напомнило мне прежнюю затеянную

---

* «Черт возьми! Я вам дам по башке!» (*фр.*)

драку с почтальоном Норова и грозило разными неприятностями от нового товарищества в длинном путешествии с другим милым соотечественником. По счастью, в этом пути никаких крупных столкновений не произошло, а я должен был только терпеливо выносить днем и ночью дикое пение одной и той же костромской песни. Доехавши на долгих с лон'кучером до Шафгаузена, взяли мы тут почту, и бравый баденский почтальон в своей мундирской форме лихо довез нас на своей тройке до баварской границы. Ехали мы в моей петербургской коляске. Возвратившийся ко мне по усиленной просьбе мой камердинер Тимофей предпочел свое крепостное состояние разгульной, надоевшей ему свободе, которой он мог вполне воспользоваться по праву и по моему на это согласию, и радостно, веселее нас обоих, возвращался на родину. У Оленина было на уме – как бы ни было там с ним худо, а у меня – будет ли там со мной хорошо или по крайней мере сносно. Переехав Баварию, потащились мы по широкой грунтовой дороге вроде наших. И не одна она, но и обыватели Богемии, наши родичи, напомнили мне своею добродушною и почти униженною вежливостью русские нравы нашего простого народа перед высокими лицами. Получая тринкгельд[511], и почтальоны, и трактирные слуги, и служанки либо ловили у вас поцеловать ручку, либо, по славянскому южному обычаю, целовали полу вашей одежды. Не доезжая до Праги, в богемском городе Пильзене Оленин нашел давно ожидаемое им письмо из Петербурга от своих родителей и, развернув его, преобразился от восхищения: ему прислали продолжение отпуска.

В порыве восторга он проговорился мне, что ожидал над собой следствия и суда[512], но тотчас же очнулся и убедительно просил более об этом его не расспрашивать. Дальше ему ехать со мной было незачем. Расстался я с ним в этом городе без сожаления, хотя и не мог не видать, что я был в дураках. Мне легко было бы в Швейцарии найти себе попутчика до самого Петербурга на общих издержках, а тут пришлось более половины дороги ехать одному и из своего кармана платить двойные курьерские прогоны. При расставании Оленин взял у меня взаймы 1000 рублей, а без этого знака дружбы русской не мог со своим приятелем обойтись. В Праге, ныне столь дорогом для русского сердца городе, успел я бессмысленно и безучастно поглазеть на ее Кремль, на ее Вышеград, нимало не подозревая, сколь велико и важно панславянское значение всей этой святыни, и не вспоминая ни о Кирилле и Мефодии[513], ни об Иване Гусе, которого из реформата так еще недавно переделали, Бог знает почему, в православного Лебедя. Мирно перешагнул я границу Польши, нисколько не предугадывая той невзгоды, которая ждет меня в многомятежной ее столице Варшаве.

Domestica facta*

Безостановочно и по тогдашнему довольно быстро ехал я моим путем-дорогой от Берна до Варшавы. Истомленный до невозможности, подъехал я наконец к городскому шлагбауму и послал моего Тимофея в караульню большой гауптвахты прописать подорожную. «Вот, – думаю, – сейчас поднимут шлагбаум и начнется как раз вожделенный для меня отдых». Перекладина, однако, не поднималась, и мой посланный с караульным о чем-то заспорил. Я выскочил из экипажа, и на вопрос, почему меня не пропускают, караульный отвечал что-то непонятное на своем польском языке, поминая имя цесаревича и Бельвердер[514], и указывал мне дорогу к этому дворцу. Не добившись толку, пошел я в караульню и обратился с французскою речью к дежурному при гауптвахте гвардейскому польскому офицеру красивой наружности. Офицер этот с предупредительною вежливостью объяснил мне, что у них заведен порядок всех курьеров направлять от заставы прямо к великому князю и тут же немедленно доносить о их появлении, что он, впрочем, понимает, судя по моему костюму и заметной моей усталости, что подобное представление может быть для меня не совсем приятно, а потому, узнав о письмах со мной к Моренгейму, берет на свою ответственность – пропустить меня в город с тем, однако, чтобы я не медлил моим визитом к правителю дипломатической канцелярии цесаревича.

По данному им адресу остановился я в лучшей гостинице главной улицы Медовой, или Новый Свет. Первым моим делом было бриться, стричься, мыться с ног до головы, переодеться и сеть за столик с бифстексом и славным польским кофеем. Но и этот мой полумусульманский кейф, с длинной трубкой отличного турецкого табаку, из которого клубился дым, с кружившимися в нем полудремотными мечтами, прерван был появлением без доклада писаря из кантонистов в военном, застегнутом на все пуговицы и петли мундире, который, руки по швам, почтительно спросил мое высокоблагородие, не имеет ли оно каких-либо депеш в собственные руки его императорского высочества. Я отвечал: нет, догадался и опрометью побежал к Моренгейму, чтобы не наделать беды пропустившему меня на свой страх милому офицерику. Моренгейм, едва успев выговорить обычные любезные приветствия, поспешил сказать, что от великого князя спрашивали его о курьере и что он разрешает мне отдохнуть несколько часов ночи с тем, чтобы на другой день не позже 5 часов утра представиться в Бельведере его высочеству, очень рано имеющему выехать на загородные маневры. «Я не могу, – сказал он, – избавить вас от такого раннего представления и радуюсь за вас, что смелая догадка ваша ехать не в Бельведер, а прямо в город сошла вам, кажется, с рук

---

* События в отечестве (*лат.*).

и что вы избавились от неприятности встретиться лицом к лицу с великим князем в вашем дорожном костюме, вероятно, не нынешней новой формы». Он перепугался, когда я сказал ему, что меня привезли бы к великому князю в дорожной куртке новейшего французского фасона, в длинных волосах и усиках. «Ай, ай, ай! – воскликнул он, – знаете ли, что бы с вами было? Могли бы тотчас же отправить на гауптвахту, а не то тут же, не выпуская из приемных комнат дворца, непременно бы обстригли и выбрили. Так с начала нового царствования обращаются у нас в Бельведере со всеми заграничными русскими путешественниками молодых лет, которым не удается для этого прорваться в город, не заезжая в Бельведер; а из курьеров вы первый и, вероятно, последний так удачно проскользнули мимо заколдованного замка. Лишь бы не было беды караульному офицеру! Чтобы избавить его и себя от дальнейших неприятностей, будьте непременно на выходе великого князя в пятом часу утра. Я дам вам записку к дежурному адъютанту великого князя Феншу[515] и в ней объясню все. Смотрите же, наденьте курьерскую дорожную форму с крепом на рукаве и на шпаге». – «Да у меня ее нет, этой формы, т. е. мундирного сюртука с серебряными кантами. Мы за границей о ней и не слыхивали». – «Ну, если новые порядки до вас не дошли, так ступайте в мундире, но уже непременно в ботфортах». – «Да у меня и таких сапог нет». – «Только ради Бога не в башмаках: его высочество их терпеть не может; а теперь вам пора, ступайте спать, советую прежде взять ванну. Крюднер пишет мне, что вы имеете от него курьерский паспорт только потому, что такая поездка для вас удобнее, что вам даны две депеши, одна рекомендательная о вас министерству, а другая с общим отчетом о делах Швейцарии за истекший год, и что, сверх того, великая княгиня поручила вам письмо и посылку к императрице Елисавете Алексеевне, но мы на днях получили официальное известие о кончине государыни в Белеве, следовательно, очень спешить вам нечего, я оставляю вас еще на целые сутки. Ко мне после представления не спешите, еще раз выспитесь. Приходите обедать, потом со мной поедете в театр, и я возьму вас с собой на большой вечер к нашему наместнику царства, генералу Заиончику[516], где вы увидите цвет варшавского общества и таких красавиц полячек, каких, конечно, не встретите ни в Петербурге, ни в вашей Москве. Перед великим князем не робейте: он горяч, вспыльчив, взбалмошен, но у него предоброе сердце. Bonne nuit*».

«Спасибо Крюднеру, – думал я, возвращаясь от Моренгейма, – видно, он хорошо отрекомендовал меня своему старому сослуживцу», и, придя в гостиницу, велел моему Тимофею до утренней зари приготовить официальное облачение. Ровно в 4 часа, восходящу солнцу сел я в одноконную, с открытым верхом извозчичью *нетычанку*, нечто вроде брички, и в одном из фли-

---

* «Доброй ночи» (*фр.*).

гелей дворца, на площади которого были уже кое-какие экипажи, отыскал адъютанта Фенша, уже затянутого в форму, который провел меня во дворец и представил генералу Куруте[517], одному из самых приближенных к цесаревичу. В приемной зале перед кабинетом его высочества уже находилось несколько человек военных и все дожидались выхода. Между ними были штаб- и обер-офицеры нашей русской гвардейской артиллерии и человека четыре отставных польских генералов в польских мундирах. Генерал Курута сделал мне несколько вопросов, слегка спросил о великой княгине Анне Феодоровне и тотчас же пошел в кабинет, вероятно, чтобы доложить обо мне цесаревичу. Более получаса выжидали мы выхода, стоя на ногах; да в этой длинной комнате, через которую то и дело шныряли военные мундиры, и сесть негде было, – в ней не было ни одного стула.

Из кабинета послышался легкий шум, и всех нас повели по главной лестнице в парадные у подъезда обширные сени и там расставили в шеренгу по чинам. Впереди установили гвардейских наших артиллеристов, потом военных поляков, за ними рядом двух-трех генералов, отставных без эполетов, и, наконец, последним поставили меня. Вернее, выбежал, чем вышел, к нам цесаревич – плотный мужчина, немного лысый, с белокурыми, какого-то неприятного пепельного цвета волосами, с нависшими на серые глаза того же цвета бровями, одутловатый, курносый, с первого взгляда поразительно похожий на брата-императора, но уже, конечно, не имевший ни в выражении лица, ни во всей своей поставе той грации, какою обворожал всех Александр Павлович. Первое слово обратил он скороговоркой и с какою-то жестокостью в голосе и выражении к нашим артиллеристам, благодаря их за вчерашние превосходные маневры, но и тут, как видно, у него это было в обычае, загнул он им крючок, прибавив, что он никогда не ожидал, чтобы русские гвардейцы так превосходно могли учиться. Ободренные такой похвалой гвардейцы почтительно склонились. Быстро перешел он к старым польским генералам и бегло проговорил им что-то на польском языке, а потом ко мне, последнему, и подошел так близко, что я невольно попятился. «Vous allez en courrier à Petersburg?» – «Oui, Monseigneur». – «Quand partes-vous?» – «J'attends les ordres de Votre Altesse impériale»*. Мне показалось, что он сделал какую-то гримасу, при слове «Bon voyage»** круто, по-военному от меня отвернулся, надел шинель, шляпу по форме, закурил сигару, выбежал широкими дверьми на крыльцо и вместе со своим адъютантом Феншем сел в коляску и помчался на свои маневры, а я в своей треуголке отыскал *нетычанку* и поплелся в ней рысцой в город, мечтая заказать себе посытнее завтрак и, раздевшись, опять улечься в постель.

---

* «Вы едете курьером в Петербург?» – «Да, ваше высочество». – «Когда Вы отправляетесь?» – «Я ожидаю приказаний вашего императорского высочества» (*фр.*).

** «Доброго пути» (*фр.*).

Выехав на широкий двор гостиницы, странно удивлен я был, увидав мою коляску и перед нею кучера-почтальона в мундире и с бичом, а рядом с ним какую-то длинную фигуру, показавшуюся мне полицейским офицером. Изумление мое увеличилось, когда я увидел, что мой Тимоша вносит с крыльца дорожный из коляски ящик. «Что это значит?» – спросил я его. «Лошади готовы. Я укладываюсь». – «Да кто тебе велел? С чего ты это взял?» Тут подбежал ко мне с ловкостью военного офицера, как выражался о Чичикове Гоголь, полицейский и подал мне подорожную. «Генерал Левицкий[518], наш комендант, приказал мне вручить ее вашему высокоблагородию лично, чтобы вам самим обо этом не хлопотать. Лошади готовы-с и вы можете ехать». – «Кто вас с вашим комендантом об этом просил? Я хочу есть, отдыхать, а потом мне еще нужно быть у Моренгейма». С некоторым замешательством отвечал мне полицейский: «Как угодно». Я отправился к себе в комнату, сбросил в сердцах с себя мундир и шпагу, громко позвонил и велел опять подать кофе с бифстексом и еще чего-то. «Кофе подадим сейчас, – отвечал мне кельнер, – а бифстекса нет готового, и это вас задержит, кони же ваши готовы». – «Да за коим чертом вы обо мне так заботитесь?» – «Приказано-с». Тут немного приотворилась дверь, и высунулась из нее полицейская рожа, тихо проговорившая: «Лошади ваши готовы-с!» Я втащил его за руку в комнату и, сдерживая, насколько мог, мое бешенство, спросил: «Что все это значит? Почему вы мною так помыкаете?» – «Извините-с, нам приказано». – «Ну, а мне приказано быть у Моренгейма, и он мне сказал, чтобы в 12 часов к нему явиться, а теперь еще и 9 нет». – «Если угодно, я вас провожу к барону». – «Да он теперь спит». – «Вы его разбудите». – «Хорошо, я сейчас пойду». – «Позвольте мне вас проводить». – «Это еще зачем?» – «Приказано-с». – «Кем?» – «Комендантом, а генералу, вероятно, самим великим князем». – «Ну, уж с вами к Моренгейму я не пойду, извините! Дайте проглотить кофе и написать барону записку, которую вы ему отдадите, а потом я и поеду». Моренгейму написал я, что мне показалось нестерпимо обидным прогуляться по Варшаве с полицией и что потому я сейчас еду, считая себя насильственно высланным из города. Это с моей стороны было отчаянно глупо, неловко и крайне невежливо и неблагодарно в отношении к барону. К великому удовольствию моего аргуса, сел я в коляску, и от крыльца трактира повезли меня во весь опор, несмотря на просьбу и приказание ехать потише. На требования мои умерить задор почтальона отвечал он мне каким-то одним непонятным мне звуком, в котором слышалось повторение одного и того же: «Так приказано». На первой станции, где по сигнальному рожку моего возницы выбежал сам смотритель и, выхватив у почтальона какой-то билетик, закричал: «барзо! курьер!» – пошел я в почтовую комнату и спросил поесть чего-нибудь мясного. «Извините, это вас задержит». – «Не ваше дело». – «Извините-с, приказано везти как можно скорее, без задержки». Выпив рюмку запеканки, закусив

пирожком, я опять сел в коляску и помчался, т.е., собственно говоря, помчался не я, а меня помчали. То же самое было со мной и на следующей, третьей и четвертой станции от Варшавы. Голод брал свое, а оскорбленное самолюбие стихало. Смотритель на четвертой станции показался мне мягким и сговорчивым; я упросил его дать мне полчаса времени для отдыха и питания. Мне жаль было и моего Тимофея, который приставал ко мне с расспросами о том, что с нами делается и что с нами последует. Смотритель над нами сжалился и выразил свое участие советом ехать в Петербург не на Ригу, а на Оршу, Минск, Витебск и Псков: «Таким путем вы скорее доедете до пределов Царства; от нас один перегон до границы, а по тракту на Ригу еще три. Выиграете вы и в прогонах, которые у нас в Польше дороже, и скорее доедете до русской границы в Брест, а там узнаете, есть или нет какое-нибудь о вас особенное распоряжение. Наши же почтари представляют о вас одно только приказание – везти вас по Царству как можно поспешнее, и потому других распоряжений никаких не предвидится». Так я и сделал, отблагодарив за совет. «Ну, – думаю, – что-то будет на нашей русской границе». Въехав в заставу, сам я пошел прописать мой курьерский паспорт, а затем и в таможню, где предъявил данную мне из нашей канцелярии мою официальную экспедицию с запечатанным посольскою печатью неприкосновенным для таможни небольшим ящиком, а мои собственные вещи предоставил законному досмотру. Таможенные чиновники прелюбезно отказались меня осматривать, хотя я, желая их задобрить, сам предъявил им, что везу немного кружев, их навязал мне Щербатов для своих сестер[519] в Москву. «Следовало бы взять с вас за них пошлины». – «Я их, господа, платить не намерен; хотите – конфискуйте. Я и брал их с этим уговором». – «Ну, уж Бог с вами!» По мягкому обращению со мной этих чиновников и по отсутствию между ними лиц полиции я наконец начинал убеждаться, что обо мне действительно никаких особенных распоряжений на въезд мой в наши границы нет, и смело спросил, есть ли в Бресте порядочная гостиница, где бы мог я ночевать. Мне указали трактир, где я и расположился на ночлег. Так кончилась моя загадочная, до крайности неприятная дорога через Царство вместе со всеми опасениями встретить на границе России еще большие неприятности. Судя по насильственной, хотя и вежливой высылке из Варшавы, я мог предполагать, что в России встретит меня какой-нибудь фельдъегерь и повезет к допросу по 14-му декабря, хотя и был я совершенно уверен в моей невиновности.

Из иностранных газет и из писем и рассказов соотчичей о происходившем в это время по всей России я уже знал, что тотчас после мятежа и в продолжение многих месяцев потом многих забирали в крепость по одним подозрениям в коротком знакомстве с уличенными мятежниками, а кто же из нас, молодых людей того времени, не имел среди них знакомых и даже приятелей? Предоставив времени объяснить мне собственную мою загадку, я пустился в остальную дорогу до Петербурга, верст еще 1000, гораздо покойнее

и привольнее, но более уже не ночевал нигде и не встретил по дороге ничего такого, что бы стоило припоминать и записывать. Только между Великими Луками и Псковом приехал я в сумерки Троицыного дня на одну станцию, где не оказалось ни смотрителя, ни его писаря и где почтовый староста с толпой пьяных ямщиков при окружавшей ее куче гуляк обоего пола, не умея прочитать подорожную, требовали платежа за лишнюю четвертую лошадь сверх положенной тройки и долго с упорством отказывали закладывать мой экипаж. Я записал в книгу час прибытия и переупрямил их наглость выжиданием, что они образумятся, а как терпение все превозмогает и в малом, и в великом, то оно и тут восторжествовало.

Помимо грустных моих рассуждений и ожиданий по случаю мятежа и его грозных последствий, охватывала меня всего скука и грусть по нашей однообразной плоской природе, по нашей крайней народной бедности не только по сравнению с народным бытом Германии, но и по сравнению с бытом Царства, которое на каждом шагу представляло нищету края, разоренного до конца частыми войнами, вековым гнетом от панов и от евреев, тяготевшим над бедными крестьянами по всей Белоруссии. В этом крае утешительно было одно – сохранившиеся с давнего времени, т.е. от начала присоединения, великолепные березовые аллеи, насажденные первым наместником Екатерины Пассеком[520] по всему Белорусскому тракту. Но что это были за жалкие города, местечки и селения! На лице каждого крестьянина, каждой женщины и бедных детей видно было, что они никогда не едали досыта, и действительно, их хлеб пополам с овсяной мукой колол рот какими-то иглами. Одежда их была в рубищах, а на вопрос, что они, поляки или русские? – постоянно отвечали они одно и то же: «Ни, пане, мы униаты». Редкие церкви в бедных до крайности на вид селениях имели вид небольших шалашей или амбарчиков, крытых соломою, либо гниющею дранью. Процветали одни жидовские корчмы, где, особенно у почтовых станций, еврей-корчмарь разорял дотла народ, а проезжающих кормил в грязнейшей комнате такою же грязно поданною вечной щукой с чесноком и луком. Зато въезжающему в настоящую Русь все казалось сноснее и пригляднее, хотя и тут, если бы не преследовало вас сравнение, необходимого к существованию изобилия нигде не было видно. Напрасно в Пскове, в старом городе, вольном городе, подручном, а иногда и враждебном Великому Новгороду, искал я глазами каких-нибудь следов его достопамятного по летописям прошедшего, в нем решительно не на чем было остановить внимание проезжего. Кажется, не было и кремля[521]. Через Гатчину, полную воспоминаниями о суровом Павле, проехал я в Петербург и часов в шесть вечера остановился на углу Адмиралтейской площади в гостинице «Лондон».

Нетерпеливое любопытство узнать, что делается на родине, пересилило мою усталость от пятидневной дороги и постоянный в это время голод от гадкой пищи по жидовским корчмам. В одно время потребовал я находившиеся

в трактире газеты и с большею жадностью накинулся на них, чем на полный трактирный обед, который, несмотря на мой аппетит, прерывал беглым чтением газеты, так что вместо теплого ел почти холодное. Думал было я, тотчас же переодевшись, отправиться на Каменный остров к Кикиным, но не имел силы подняться с покойных кресел и почувствовал себя решительно неспособным сделать эту довольно длинную загородную поездку. Просмотрев газеты и узнав из них об открытии верховного уголовного суда[522] в здании Сената, побежал я в знакомую ближайшую книжную лавку и там добыл два или три последние не известные мне манифеста о назначении суда над государственными преступниками и доклад о них следственной комиссии. Северная петербургская ночь, светлая, как день, прогнала во мне сон, и я читал, читал долго в тревожном забвении, не замечая, что за вечерней зарей взошла утренняя, а за ней на бледном горизонте стало наконец восходить солнце. Часы с крепости ударили час за полночь, тут я образумился и, пересилив мое любопытство, улегся, но долго не засыпал от безотчетного волнения. На другой день мне непременно захотелось помолиться, и пошел я к обедне в Казанский собор. Там овладело мною вполне молитвенное настроение. Ничто в мире не возбуждает в душе такой искренней, пламенной любви, если не к небесному, то по крайней мере к земному отечеству, как наша церковная служба с ее обрядами, которая с детства незаметно входит в плоть и кровь, и наше заупокойное русское пение. Как бы вы от этих ощущений ни сторонились, неумышленно – по независящим от вас обстоятельствам вашей жизни, или умышленно – по влиянию на вас других воззрений на жизнь, более осмысленных, вы никогда не будете в состоянии уничтожить в себе первых впечатлений вашего детства и юности. «Гони природу в дверь, она влетит в окно!»

После обедни, надев мундирный фрак, недавно присвоенный нашему министерству и уже вошедший в употребление у нас в Берне, отправился я в канцелярию графа Нессельроде и сдал дежурному мою официальную экспедицию, кроме письма с посылкою от великой княгини покойной императрице. Ласково меня встретившим двум старшим чиновникам должен был я сказать, почему, выезжая из Варшавы, я не мог перед самым отъездом видеть Моренгейма. К моему удивлению и к моему сильному негодованию, варшавские со мною проделки их только насмешили. В то же время они оба дали мне почувствовать, что я напрасно не сходил к Моренгейму, хотя бы и с полицейским, и этим нарушением служебного порядка вместо того, чтобы оскорбительный поступок со мною великого князя обратить для себя в пользу, сделал себе вред. Один из этих господ пошел в кабинет графа рядом с канцелярией, и меня тотчас же позвали к вице-канцлеру[523]. После немногих слов о Крюднере граф сам начал меня расспрашивать о неудачном моем представлении великому князю. Я позволил себе спросить у графа, не имеется ли

надо мною какого-нибудь тайного подозрения в прикосновенности в мятежу и не оно ли было причиной гнева не меня цесаревича и высылки из города? Граф меня успокоил тем, что никаких подозрений на меня не было и что я провинился одним только непоявлением к великому князю с моей курьерской подорожной. Подробный о всем мой рассказ обратил он в шутку и также над ней изволил смеяться.

Из министерства отправился я к Кикиным. Внезапному моему появлению обе его дамы, теща и жена, и даже славная старушка, няня Марьи Петровны (княгини Волконской), так добродушно обрадовались, что меня, взволнованного, тронули до слез. Начались расспросы, задушевные рассказы о покойнице Марье Саввишне, о том, как и она меня любила и жаловала, вспомнилось тут и о моем с нею невежливом расставании и т.д. Воротился из города Петр Андреевич, дружески меня обнял, но, несмотря на как бы невольно высказанное им доброе ко мне чувство, не мог воздержаться от вечной своей иронии. «Ну, брат, – сказал он мне, – я почти совсем потерял надежду с тобой свидеться. Как это ты не попал в заговор, и не отдали тебя под суд? Я все думал, что вы с Бахтиным, много ли, мало ли, а непременно участвовали в заговоре этих мальчишек». Выслушав до малейших подробностей рассказ мой о Варшаве, он то сердился до неистовства, то заливался хохотом, воображая мою фигурку перед уродливым, давно ненавидимым им цесаревичем. Кикин также побранил меня за глупое мое сопротивление проститься с Моренгеймом и чуть не назвал меня дураком, что я не умел воспользоваться этим случаем, чтобы добиться чинишка или местечка.

Я заметил, что мой старый начальник был не очень-то доволен новым царствованием, не пользовался благорасположением Николая Павловича и находился от него в отдалении, да это и не могло быть иначе: он был враг всякого заискиванья, не имел никаких тесных связей ни с одним из прежних любимцев царских и тем менее мог приобрести расположение новых лиц, близких к новому государю. Свою самостоятельность при дворе оберегал он до едва позволительной крайности, нарушая приличие и излишеством благородства оскорбляя всех и каждого из придворных, никогда не дороживших своим собственным достоинством. «Если ты, – после длинной беседы сказал мне Кикин, – не падаешь с ног от усталости и обещаешь не заснуть за обедом, оставайся на целый день, и мы поговорим еще вдоволь». Несмотря на то, что я не успел отдохнуть от дороги, чувствовал в себе изнеможение сил умственных и физических, я, желая кое-что разузнать о том, что делается в Петербурге и во всей России с той поры, как воцарился новый император, пересилил себя и остался у Кикина до вечера. К обеду стали съезжаться привычные гости. Первым явился брат хозяина, Алексей Андреевич, и начал нещадно ругать всех тех мятежников, которые уже заключены были в Петропавловскую крепость, над которыми уже окончилось следствие и открыт был верховный

уголовный суд. Многоглаголивый и страстно резкий в своих суждениях, этот мой дядюшка был для меня отголоском всего высшего петербургского общества и той среды вельмож и вместе крупных игроков, в которой он вращался ежедневно, ведя большую игру по вечерам и беседуя с ними в Английском клубе. Честный и благородный его брат, хозяин дома, видимо старался умерить ярость рассказчика и смягчить неумолимую жестокость общественного приговора над мятежниками, называя их преступление безумным увлечением. Спор между братьями выслушал я с тяжелым чувством; он прекратился приходом двух или трех давно известных мне домашних гостей, которых я называл «Animali parlanti», или действующими в этой гостиной лицами без речей.

Но вот перед самым обедом появились запоздавшие три особы прямо с заседания верховного уголовного суда: председатель комиссии прошений и член Государственного совета, известный своим остроумием и салонным красноречием князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский, прежний враг и потому бывший в опале, а в последние годы царствования Александра уже сторонник временщика Аракчеева и возведенный поэтому в сенаторы; Павел Иванович Сумароков, давно известный мне не благоволением ко всему человечеству от жизненных своих неудач; и еще сенатор Павел Гаврилович Дивов[524], от головы до ног по уму, сердцу и по всему своему складу совершенный контраст Сумарокова. Дивов долго служил и тогда еще считался по Министерству иностранных дел старшим чиновником, в отсутствие графа Нессельроде часто управлял министерством, а прежде находился долгое время нашим посланником в Голландии. Пребывание его в этой стране, по давно уже замеченному в русских свойству – вырождаться в европейца той местности, в которой он долго заживется, преобразило и Дивова в истого голландца. Так, он был сдержан, молчалив, кроток и хладнокровен, а к тому же и по прическе, т.е. по коротко стриженным волосам, и по красноватому цвету лица, тщательно выбритого, по белизне галстука и белья, по покрою черного фрака и жилета и таких же коротких штанов, по чулкам и башмакам с золотыми большими пряжками – одним словом, по всему этому вместе никто бы не принял его за русского и каждый принял бы непременно за голландца.

Не успели мы усесться за обед, и я, по обычаю, в конце стола, между бессловесными, как торопливый во всем Алексей Андреевич Кикин предложил следующий вопрос приятелю своему по игре князю Лобанову. Тут следует заметить, что этот Кикин, по неизвестным мне причинам никогда и нигде не служивший и имевший в 50 с лишком лет ничтожный чин коллежского асессора, любил обращаться бесцеремонно с людьми из знати и в крупных чинах, которые терпели его слишком короткое с ними обращение только потому, что он был их всегдашним партнером и что брат его Петр, которого все если не любили, то уважали, был статс-секретарем у прошений и бывал им

полезен. Итак, Кикин, только что сели за стол, спросил у Лобанова: «Скажите-ка нам, князь, что у вас делалось нынче в вашем заседании (верховного уголовного суда)?» Спрошенный покачал напудренной своей головою, сделал рукою какое-то движение, как бы выражающее негодование, окинул весь стол черными блестящими глазами и громко воскликнул: «Что и говорить! (Мне совестно и через пятьдесят почти лет гнусно и омерзительно повторить поразившие меня, как гром, слова этого праведного русского судьи, но, чтобы дать понятие об этих судьях, повторю их, скрепя сердце, по крайней мере один раз.) Мерзавцы путаются друг с другом на очных ставках, спорят, друг на друга доносят, и каждый запирается». Затем посыпались ожесточенные проклятия на головы несчастных от злобного, не удовлетворенного в своем честолюбии старика Кикина. Их ожесточенные крики покрыл своим громким голосом опять тот же князь Лобанов, успокоив неистовых обещанием вызвать у преступников жестокими пытками признание в своем преступлении. Тут между тремя рассвирепевшими началось исчисление разных родов пыток, и изобретательность этих палачей, я видел сам, привела в ужас хозяек дома и еще какую-то барыню. Петр Андреевич упорно молчал и, понурив голову, поднимал глаза в потолок. Заметив же смятение своей жены, чтобы прекратить разговор, обратился ко мне с предложением рассказать о высылке моей из Варшавы. Я уклонился, отзываясь крайним истощением сил, и действительно мне было не до того; то краснея, то бледнея, едва я мог сидеть и попросил бы позволения выйти под каким-нибудь предлогом из-за стола, если бы не опасался навлечь на себя подозрение изуверов нашего самодержавия. Чтобы развеселить этих господ, хозяин в смешном виде рассказал им варшавский эпизод моей курьерской поездки. Все хохотали, я даже не рассердился оскорблением моего самолюбия, довольный тем, что прекратилась, наконец, и надо мною пытка от воспоминаний о прежних старорусских пытках и от изобретения утонченных новых бесчеловечными судьями. Едва успел я выпить чашку кофе и пошел освежиться и укрепиться в небольшой сад дачи, кокетливо содержанный причудливым на этот счет владельцем. Погода была пасмурная и сырая, какою всегда отличаются Петербург и его болотные окрестности.

В кустах сирени, только что расцветающей, хоть это и было в последних числах мая, сел я на красивую чугунную скамейку и глубоко вдыхал в себя освежающий воздух. Моросил мелкий теплый дождик... По усыпанной красным песком дорожке послышался шелест шагов. Я вскинул голову и увидел перед собой старичка-голландца Дивова. Не говоря ни слова, он меня обнял, заплакал и сказал (слов этих я никогда не забуду): «Au nom de Dieu calmez vous jeune homme*. Не все же мы такие изверги, каких вы сейчас видели

---

* «Во имя Господа, утешьтесь, молодой человек» (*фр.*).

и слышали. Никаких пыток над преступниками не было и не будет. Как ни велико было раздражение государя при открытии мятежа, доброе его сердце этого не допустит; да и большинство нас, судей, как оно не уступчиво перед правительством, воспротивится тем немногим из нас, которые бы захотели нарушить крайнюю меру прав человеческих, имеющих место со времен Великой Екатерины в нашем законодательстве. Успокойтесь, повторяю вам, и берегитесь, чтобы эти изверги не заподозрили вас самих в участии и соприкосновенности к мятежу». Сказав это, Дивов меня взял за руку, и мы воротились к дому. Прощаясь с ним, растроганный его добротой и кротостью, я уже сам бросился к нему на шею, забыв расстояние между нами лет и положения. Мне хотелось поскорее возвратиться домой, в город, но меня переняли дамы. Старушка Тарсукова и славная ее дочь Марья Ардалионовна стали мне рассказывать петербургские слухи о том, что мой сосед по Михайловскому князь Хилков, секретарь вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, начинает входить в большую силу у нового государя, что он отходит от императрицы и что скоро, по всем вероятиям, получит одно из самых видных мест в новом правительстве. «Он, – говорили они мне, – недавно женился на княжне Волконской[525], любимой фрейлине Марии Феодоровны, и живет теперь в Павловске, во дворце, с тремя только что выпущенными из института сестрами. Не мешало бы вам, не теряя времени, съездить к князю Хилкову». – «Да, мой милый Свербеев, – прибавил тут Кикин, – не мешало бы! Да ведь я тебя знаю: ты и горд, и ленив, и не поедешь». При этих словах, не дав на них никакого ответа, я ушел пешком от ворот дачи, в которые до самого дома въезжали одни хозяева, дамы и знатные мужчины, чтобы не попортить шоссе, сел на дрожки и поехал к себе.

Меня обуяла тотчас дремота, но и сквозь тревожный сон приходили отрывочные, бессвязные мысли обо всем, что было мной видено, слышано, прочитано и прочувствовано в течение всей этой последней недели и особливо по въезде моем в холодную северную столицу. «Что же из всего этого будет с нашей громадной Россией и что будет со мной? Что мне делать? Вот ни за что, ни про что выгоняют меня из города, везут, как сумасшедшие, с загадочной быстротой, а потом на нашей границе встречают радушно, меня уже не преследуя. Вот тысячу верст еду я по разоренному краю, по жалким селениям, местечкам и городам и въезжаю в такую великолепную столицу, которая может соперничать с первыми в Европе и, конечно, превосходит центры других второстепенных государств. Вот поселяюсь я в гостинице, которая, со своей стороны, дает мне уже почувствовать, что я не совсем-то в Европе. Вот, наконец, передо мною кое-какие газеты, журналы и важнейшие из свежих официальных документов, в которых неограниченный произвол, справедливо раздраженный мятежным восстанием и подстрекаемый столько же перепуганным общественным мнением, как и хитрою и подлою угодли-

востью искателей у нового правительства всех земных благ, проявляется прикрытый пышными европейскими фразами, и вот, наконец, собственно говоря обо мне, любезные насмешки на мою жалкую роль, которую я разыгрывал как жертва грубого насилия и в заключение искренний совет от одной из лучших женщин, каких я знаю, и от честнейшего и, по мнению моему, самого независимого из всех сановников совет – как можно скорее съездить за 20 верст поподличать соседу, из которого, может быть, выйдет новый временщик нового царствования. Что же мне-то делать?» С этими мыслями бросился я на постель, и благодетельный сон вылечил в одну ночь мою душевную скорбь так же быстро, как и всегда вылечивает он мои телесные недуги.

Во второе утро петербургского пребывания отыскал я моего Берга, которого по случаю первого с ним свидания в России назову здесь и полным его именем – Берга Александра Федоровича. Он незадолго передо мной приехал из Парижа настоящим курьером и тотчас же по связям своего брата причислен был к небольшой канцелярии вице-канцлера, куда поступать было очень трудно по весьма ограниченному числу чиновников. Принимались в нее только молодые люди с особенной протекцией влиятельных родственников у графа или по таким же связям со старшими чиновниками этой канцелярии, по большей части остзейцами. Бергу удалось выучиться каллиграфии, и его как новичка завалили перепиской. Я искренно порадовался его первому успеху, за которым следовала верная и долгая карьера. Все его существование было упрочено, и он, бережливый до крайности, с тех самых пор живет безбедно одним жалованьем, отдавая небольшие доходы со своего родового имения родным братьям[526]. Таким образом, в этом человеке открывается редкое соединение скупости и щедрости. Когда стал я его расспрашивать обо всем, что делается у нас на Руси, он поразил меня безучастным ко всему равнодушием. Ничто его не удивляло, не устрашало и не оскорбляло. «Вот, – подумал я, – счастливый человек!» От него узнал я о приготовлениях к похоронам императрицы Елисаветы Алексеевны. В тот же день данное мне поручение к царственной покойнице от великой княгини Анны Феодоровны передал, по совету Берга, Северину, прося последнего передать посылку и пакет принцессе Саксен-Гота[527], жившей тогда в Петербурге. О доставлении же ей этой посылки за смертью императрицы писали мне и барон Крюднер, и гофмаршал великой княгини Шиферли. Следовало бы мне все это исполнить самому, но я никогда не бывал во дворцах и именно в это время носил в себе какую-то к ним вражду. В городе было пусто. Двор находился в Царском Селе, государь – в Красном, на маневрах, там же и вся гвардия. Семейства членов верховного уголовного суда, равно как и всяких сколько-нибудь зажиточных чиновников, разъехались по дачам, поэтому и у меня в Петербурге никаких знакомых не было. Никольский жил уже в Саратове и занимался там у откупщика его делами. Все Языковы были в Симбирске, двое старших – в отпуску, а меньшой,

поэт, не добившись в Дерпте студенчества, – в объятиях свободы и природы. Гвардейских моих знакомых я поленился посетить: их лагерь находился за 20 верст. Только и видался я ежедневно, урывками, с Бергом, который был очень занят служебною перепиской, и с Кикиным, к которым ездил я на Каменный остров большею частью в лодке. В хорошую летнюю погоду плыть по Неве не более часа времени, и особливо ночью, часу в двенадцатом, имело для меня особенную прелесть. Многоводные окрестности Петербурга и темно-синяя, широкая, редко бурная в это время Нева напоминала почти Венецию, а светлые нашего севера ночи на воде казались мне еще поэтичнее.

Со мной были еще две посылки в Петербург, одна от Фурмана из Берна к его отцу, какому-то штадт-лекарю[528] одного из петербургских заведений, доброму старичку (кажется, из жидов), который радовался и гордился служебным успехом своего второго сына и горько оплакивал судьбу младшего, гвардейского офицера, содержавшегося в это время в крепости по участию в заговоре. Это был тот самый Фурман[529], от близкого родства с которым наш дипломат перед бароном Крюднером и передо мною отрекался, сказав нам, что у него только и есть один брат, уже занимавший по Министерству финансов важное место в Царстве Польском[530]. Dans ce trait de prudence extrême j'ai reconnu mon homme*.

Другое письмо с посылкой имел я к известному президенту нашей Академии художеств и в то же время государственному секретарю Алексею Николаевичу Оленину от его сына, моего спутника. Ему я доставил тяжеловесное письмо от сына вместе с часами к сестре его, очень красивой и весьма кокетливой Анне Алексеевне, за которой волочился Пушкин[531] и воспел ее маленькие ножки. Редко случалось мне встретить такой радушный, такой ласковый и утонченно-вежливый прием, какой сделал мне Оленин. Он, как я его о том ни просил, не распечатал при мне сыновнего письма и в то же время упрашивал меня подольше с ним побеседовать и взял с меня слово приехать к ним обедать, когда воротятся жена и дочь[532] его с дачи. В тот же день вечером получил я от него чрезвычайно любезную записку, в которой он писал, что, узнав из письма сына о взятых им у меня тысяче рублях, он с признательностью привезет их мне сам в назначенное мною время и выпишет жену из деревни для скорейшего свидания со мною, чтобы доставить и ей удовольствие поблагодарить меня за их сына.

Известная, как говорится ныне, личность Оленина была в свое время и громкая, и крупная, несмотря на мелкий рост этого человека, которым напоминает его и самой фигурой мой приятель, тоже бывший государственным секретарем, князь Сергей Николаевич Урусов[533]. Оленин, человек по учености и человечек по росту и, если угодно, по характеру, имел солидное

---

* По исключительному благоразумию признал я своего человека (*фр.*).

классическое образование, был знаток древностей и археологические свои знания с умением и вкусом распространял на художества и поэзию. Им было написано много статей о разных ученых предметах, как, например, о русских гекзаметрах, поэтому он был назначен президентом Академии художеств, и этот выбор был оправдан его деятельностью. Долгое время дом Оленина был приютом для всех литераторов, ученых и художников. Жена его из очень умной и замечательно деятельной семьи Полторацких набралась тоже разных научно-литературных и художественных сведений и любила окружать себя учеными и умными собеседниками, а потому память о них и до сих пор сохраняется в Петербурге. Хотя и грустно, должно, однако, признаться, что, несмотря на всю свою далеко не поверхностную, но, напротив, очень серьезную ученость, на свой художественный вкус, на свои занятия, на обращение с людьми науки и искусств, характер Оленина не устоял против наплыва на него темной силы русского общества. Он при всем этом, или, лучше сказать, в противоречии всему этому, в продолжение всей долгой своей жизни ярче казался перед другими своими современниками сановником уклончивым, искательным. В звании государственного секретаря, которое перешло к нему от Шишкова, он был послушным орудием временщика Аракчеева и однажды предложил председательствуемой им конференции Академии художеств признать графа Аракчеева своим почетным членом, и когда известный масон Лабзин предложил своему президенту вопрос о причине такого странного, по его понятию, предложения, Оленин со смущением отвечал: «Потому что граф Алексей Андреевич ближе всех к государю». – «Поэтому, милостивые государи, – сказал Лабзин, – я имею честь предложить почтенному собранию избрание в наши члены Ильи Ивановича Байкова[534], лейб-кучера его императорского величества, ибо никто, согласитесь со мной, не бывает так близко к его величеству, как он». Лабзин тотчас был выслан на жительство в Симбирск, где и умер. Другой пример из многих и весьма многих мне не известных или мной забытых заискиваний Оленина у государя нахожу я в ношении им странного, чтобы не сказать, смешного, мундира бывшего в 1812 году ополчения, вероятно, в угодность государю, который, известно, жаловал более военных, чем штатских. Государь Александр, однако, наглядно резко отличил мундир ополченцев от армейского, дав офицерам этого войска зеленые султаны. Видеть маленькую фигурку в течение 20 лет в этой одежде, столь мало приличной государственному секретарю, а тем паче президенту Академии художеств, было еще страннее и смешнее, тем более, что он в Отечественную войну и не имел случая, а может быть, и желания понюхать пороху. Как бы то ни было, а все-таки добром помянуть его можно, даже и потому, что он был основателем Императорской публичной библиотеки. Супруга его нарочно для свидания со мной ускорила приездом в город из их Приютина и как нежная мать обо всем расспрашивала и благодарила за сына.

У них обедал я и провел целый день с двумя постоянными их посетителями, знаменитостями того времени: переводчиком «Илиады» красивым и осанистым с античною важностью Гнедичем и добродушным дедушкой Крыловым, для которого было за столом и его любимое блюдо – поросенок под хреном. Умный разговор хозяев с этими двумя гостями слушал я с большим удовольствием, отдавая справедливость Оленину в том, что он в беседе своей нисколько не походил ни на знатного вельможу, ни на государственного сановника; мила и любезна была дочь Оленина, преживая и прехорошенькая блондинка, а матушка ее старалась допытать у меня, в каких отношениях был я с ее сыном, знал я или нет что-нибудь о дружеских связях его с некоторыми декабристами и о том, что он подозреваем был в соучастии с ними. Касаясь слегка этого жгучего вопроса, чета Олениных, а еще более дочка, заметно были в неловком положении: им, находившимся в кружке правительственном и придворном, с одной стороны, следовало с ожесточением нападать на декабристов, тогда как, с другой стороны, давняя дружба всего их семейства с главными из мятежников и их семействами, да и всем известное либеральное направление их двух сыновей[535] мешали им высказать свое мнение, а тем самым стесняли и простое дружелюбное отношение со мной. Варвара Марковна[536] как дама ловкая, бойкая и приятная во всех отношениях, по долгом со мной разговоре в одиночку любезно сказала мне, что я с первого раза очень ей понравился и непременно должен еще не один раз с нею видеться, чтобы короче познакомиться. Она звала меня на день или на два побывать у них в сельском их уединении, в селе Приютине, которое, конечно, мне полюбится. По дружбе к брату Алексею звала меня туда и молодая их красавица, также и отец. До позднего вечера пробыл я у них и провел время очень приятно. Бесцеремонное их обращение победило мою дикость и отчасти рассеяло то тяжелое чувство, под влиянием которого я находился с самой Варшавы. Я почти дал слово быть у них в деревне на следующей неделе и тут же узнал, что скоро последует решение верховного суда над государственными преступниками, что немногие избранные члены оного на днях должны отправиться в Петропавловскую крепость для передопросов заточенных в казематах и что после исполнения этой окончательной меры приговор им будет постановлен и появится манифест.

Прощаясь с Олениным, получил я от него билет на одно из номерованных мест, устроенных у Императорской библиотеки, чтобы смотреть погребальную процессию, сопровождавшую из Царского Села в Зимний дворец тело императрицы Елизаветы Алексеевны. Длинная погребальная процессия от городской заставы до самого дворца исполнена была тою же торжественностью, какую еще недавно видел Петербург при погребении императора Александра Павловича. Меня поразило шествие нового государя не в мундире, как я ожидал, а в траурной широкой епанче и в такой же широкой, закрывавшей

лицо шляпе. В таком же костюме шли и ассистенты государя, великий князь Михаил Павлович и министр двора князь Волконский[537]. Таков, кажется, был заведенный у нас погребальный этикет, введенный первый раз Петром Великим по совещании с иностранными посланниками на похоронах принцессы Шарлоты, несчастной супруги злополучного царевича Алексея Петровича[538]. Я упоминаю об этом только потому, что нынешним государем обычай этот изменен. Александр II за гробом своего сына цесаревича Николая[539] ехал верхом в полном парадном мундире и вел за собою свою гвардию.

У Кикиных на другой день предложили мне билет в Зимний дворец, чтобы там посмотреть вблизи весь погребальный церемониал, совершавшийся при панихидах у тела императрицы, к последнему прощанию с коим весь народ был допускаем. Я, не любя и боясь тесноты, отказался от предлагаемого мне зрелища, а потому не пошел и в Петропавловский собор, где также выставлен был на несколько дней до погребения гроб государыни.

Настало время тягостного ожидания окончательного приговора над преступниками Верховного уголовного суда, высочайшей конфирмации и исполнения оного. Мне неизвестно, что говорилось об этом в народе или в обществе, но, судя по тому, что я видел и слышал в доме Кикиных от самих хозяев и у них от немногих людей, им очень коротких, я имел основание заключить, что, кроме тех лиц, которые особенно были раздражены заговором и призывали на виновников мятежа сперва пытки, а потом и смертную казнь, все прочие, допускавшие сколько-нибудь смягчающие обстоятельства, выражали свои мнения с величайшею осторожностью, какою никогда и ни в каких случаях не отличалось болтливое петербургское и вообще русское общество. Умеренные в своих суждениях, а их, говорят, было много, обольщали себя надеждою, что смертной казни никто не подвергнется, и полагались в этом на великодушие государя, на доброе сердце участвовавшего в следственной комиссии великого князя Михаила Павловича, на заступничество перед государем за преступников обеих императриц. Когда обнародованы были манифест и конфирмация судебного приговора, большинство поражено было ужасом. С другой стороны, народ строгую кару над преступниками и смертную казнь главнейших находил, как говорят, справедливыми на том основании, что злоумышленники, желавшие ниспровергнуть верховную власть, все принадлежали к высшему сословию. По доходившим в то время и впоследствии до меня толкам, за достоверность которых не отвечаю, я думал и тогда уже и утверждаюсь в моем мнении еще более теперь, что некоторые из членов суда, как князь Лобанов и Сумароков, и многие влиятельные другие лица своим неистовым раздражением заразили умеренных своих товарищей. Последние же, по слабости и из подлого страха быть заподозренными в сочувствии к мятежникам, пристали к ним. Таким образом, составилось большинство, которое успело и от самого государя получить вынужденное, против его воли,

согласие на смертную казнь. Николай Павлович будто бы долго колебался и уступил представлениям ему законной необходимости спасти престол и предупредить новые против самодержавия покушения. Затем ряд изобретенных судом различных категорий, которые положены были предварительно самой следственной комиссией, с первого же взгляда не мог выдержать справедливой критики. В этих категориях обнаружился один произвол и жалкое смешение правильных юридических понятий. Я постараюсь собрать об этом суде мои мысли и выразить мое мнение*.

* * *

Давно пора была мне после трехлетнено пребывания за границей вырваться из Петербурга, побывать в родной Москве, повидаться с нетерпеливо ожидавшей меня в Солнышкове теткой Еленой Яковлевной и внимательно осмотреть, что во все время моего отсутствия делалось и делается в главном моем имении Михайловском. Из Министерства иностранных дел получил я продолжение отпуска и медлил моим выездом из Петербурга только потому, что ждал, по весьма понятному чувству, решения уголовного суда. Оно конфирмовано было государем в Царском Селе, куда двор удалился на время экзекуции и приготовления к ней. Узнав от некоего г. Корчевского, двоюродного брата Степ. Мих. Семенова, что этот мой давний приятель умел своим хладнокровным умом и совершенным знанием наших уголовных законов избавиться от суда и подвергался одному удалению на государственную службу в Тобольскую губернию, я попытался его видеть в крепости, где он наравне со всеми строго содержался, но мне это не удалось, так как он накануне исполнения казни отправлен был с Иваном Николаевичем Горсткиным[540] в Тобольск. В это время часто посещавший меня Берг справлялся не один раз о дне и часе казни и почти получил от меня согласие пойти вместе с ним посмотреть, как она будет совершаться, но у меня на это не доставало духу, и вместо того чтобы с восходом солнца отправиться на кровавое зрелище, я в этот же самый день после обеда выехал с моим дядюшкой Алексеем Андреевичем Кикиным в Москву, – он с двумя дочерьми[541] в карете, а я сам по себе в моей тяжелой двухместной иохимской коляске. В этот последний день моего пребывания в Петербурге узнал я подробности смертной казни Пестеля с четырьмя товарищами[542], из которых двое, еще живые, сорвались с виселицы и были вторично повешены. Лет через пять после приятель мой, сын тогдашнего петербургского генерал-губернатора Павла Васильевича Кутузова[543], рассказывал, как его отец, которому было поручено исполнение приговора, должен был в самое короткое время соорудить эшафоты, отыскать

---

* См. Приложения, ст. III (*примеч. С.Д. Свербеевой*). Имеется в виду очерк «Несколько слов о декабрьском мятеже» (наст. изд., с. 537–546).

палачей и какие встретил он тут затруднения по неопытности в этом деле и строителей виселиц, и призванных к вешанию палачей.

На другой день конфирмации Уголовного суда последовал манифест о коронации в Москве нового государя. Все знатное и чиновное готовилось выехать из Петербурга в Москву. Петр Андреевич Кикин, почему-то не умевший или не хотевший поближе сойтись с новым государем[544], хотя и сохранял еще свое звание статс-секретаря у принятия прошений, остался на все время на своей петербургской даче, где я с ним и распростился. Простился также и с семьей Олениных, у которых часто бывать удержался, опасаясь втюриться в хорошенькую и кокетливую их дочку. Неожиданная неудача в моих матримониальных исканиях в Швейцарии меня напугала, и я боялся нового, в подобных случаях оскорбительного, отказа. К Хилкову в Царское Село я все-таки не поехал, как меня ни уговаривали у Кикиных побывать у этого соседа, о котором говорили, что он в большой милости у государя. Хилков также не ездил в Москву на коронацию и был, как сказывал он мне после, тайным, довольно загадочным посредником у императора Николая в переписке, едва ли кому теперь известной, вдовствующей императрицы Марии Феодоровны с цесаревичем Константином из Москвы в Варшаву.

Вот что тогда происходило. Вдовствующая императрица в начале лета (1826 г.) выехала навстречу императрице Елизавете Алексеевне; которая по болезни ехала медленно из Таганрога в Москву, чтобы там присутствовать на коронации. Она скончалась на дороге в городе Белеве. Мария Феодоровна уже ее в живых не застала и провожала смертные ее останки до города Можайска, где тело усопшей встречено было митрополитом Филаретом и где в присутствии государыни произнесено было последним красноречивое надгробное слово. Из Можайска императрица Мария возвратилась в Москву и там в Кузьминках на даче Сергея Михайловича Голицына оставалась до коронации. В это время, по внушению своего сердца и по желанию нового государя, ее сына, вступила она в переписку с Константином Павловичем, которого уже несколько месяцев напрасно убеждала непременно приехать, если уже не в Петербург для свидания с Николаем Павловичем, то по крайней мере к коронации в Москву, дабы присутствием своим уверить Россию и вместе Европу в искренности своего отречения от престола. Капризный цесаревич еще прежде не один раз упорно отказывался приехать в Петербург и решительно не хотел быть и в Москве. Мать и брат и все царское семейство этого требовали. Мария Федоровна несколько раз к нему об этом писала, и эти письма из Москвы отправлялись открытыми в Петербург на имя Хилкова для предварительного прочтения оных государем и им просмотренные и одобренные уже отправлялись из Петербурга в Варшаву за собственною печатью Марии Феодоровны, которая нарочно ею была оставлена у Хилкова, под почтовым штемпелем московского, а не петербургского почтамта. Ответы цесаревича, в которых повторялся упор-

ный его отказ, также пересылались Хилкову на просмотр государю. Упрямство Константина Павловича, однако же, было побеждено, и известно, что он присутствовал на коронации в Москве, но мрачный, суровый, недовольный, явно раздраженный, пробыл в Москве только одни сутки и возвратился опять к себе в Варшаву. Как объяснение такого странного поведения цесаревича я нашел не лишним сказать здесь, что случайно узнал о таинственной между царственными особами переписке. Думаю, что о ней знали и знают немногие.

Всегда невыносимо скучная, однообразная дорога из Петербурга в Москву по пустынной, болотной и лесистой равнине на этот раз в самую летнюю пору была оживлена несшимися по ней экипажами петербургской знати, стремившейся со своими семьями на московские торжества. Было жарко и нестерпимо душно, но солнце пряталось за тучами, пахло гарью, и виднелся среди белого дня какой-то туман; он и с начала лета и приезда моего в Петербург распространялся по городу и его окрестностям. На мои вопросы все, кого бы я ни спрашивал, люди темные и не темные, отвечали в одно слово: «Это горят леса». – «Где же?» – «А Бог их ведает!» Такое равнодушие было для меня, приехавшего из чужбины, непонятно, но потом и я привык к нему. На станциях нам с семейством Кикина встречались небывалые по этому пути в обыкновенное время затруднения в почтовых лошадях: так много ехало по ней привилегированных лиц, следовавших в Москву с чрезвычайными подорожными то «по высочайшему повелению», то по «исключительно государственным надобностям». Мой дядюшка, не важная птица по чину, но напыщенная важностью своего родного брата статс-секретаря, начинал бывало гневаться на невнимательность к нему станционных смотрителей, но как делать было с ними нечего, скоро угомонился, и решено было прохлаждаться на каждой станции и ночевать ка́ждую ночь. Чуть ли не пятеро суток вместо трех ехали мы до Москвы. Я удивлял Кикина моим равнодушием; он не понимал моей терпеливости, даже сердился за то, что я не спешил, не горел нетерпением воротиться после долгого отсутствия в мой родной город, на мою милую родину. Подъезжали мы к Москве довольно рано, и, чтобы испытать меня, Кикин предложил мне часу во втором дня остановиться на предпоследней станции, т.е. Подсолнечной, обедать. «Не хочешь ли здесь ночевать?» – сказал он мне после обеда. «Почему нет», – отвечал я. На другой день, напившись чаю и позавтракав, отправились мы не спеша и приехали в Черную Грязь, в большой каменный казенный дом. «Уж не ночевать ли нам и здесь?» – предложил Кикин. «Почему нет». – «Черт тебя знает, что ты за человек! И как тебе не стыдно!» – с разными ругательствами моему антипатриотическому хладнокровию ответил дядюшка. Ему самому, а особливо его двум молоденьким дочерям, порядочно надоели наше долгое скитание и страшная жара от яркого солнца, рассеявшего туманы от самой Твери, и мы решили не ночевать более на последней станции для окончательного испытания моего равнодушного терпения.

* * *

Возвратясь домой и на долгое время безвыездного жительства в dura patria*, я начинаю второе описание моих domestica facta** с меньшею уверенностью в живости, в отчетливости, в последовательности предлежащей мне повести. Оттого ли, что самые события становятся мельче и, может быть, пошлее, или оттого, что не выставляющая их обыденность гаснет в моей памяти, сам не знаю, но это, к сожалению, так. Мои собственные семейные события в моей обыкновенной домашней жизни считаю я не стоящими постороннего любопытства, а некоторые важнейшие – до него и не доступными, вот почему мои «Записки» с этого времени ограничатся разными анекдотами и изредка наблюдениями над административными и помещичьими нашими нравами вместе с едва ли удающимися мне фотографиями тех немногих почему-либо замечательных людей, которых мне удавалось встретить. У читателей моих прошу снисхождения, а более взыскательным советую не читать далее.

Одно только помню: ясно и живо овладевшее мною чувство уныния и совершенного разочарования, какого-то отчаяния в прогрессе цивилизации. Отчаяние в нем завладело мною с первой минуты нового у нас царствования. Воспитанный в принципах беспредельной преданности к необходимому у нас самодержавию, я находился под обаянием привлекавшего к себе много русских сердец нашего Благословенного Александра. На чужой стороне мне все еще представлялся он идеалом христианского государя, столько же кротостью, как и мужеством освободившего Европу и водворившего в ней законную власть, порядок и спокойствие. Неблагоприятные слухи о последних годах его правления часто, конечно, и до меня доходили, но не могли поколебать мою веру в государя и его благие намерения. Несмотря на все печатные толки и рассуждения о деспотизме нашего правительства, о пагубном его влиянии на дела Европы, обвинения эти казались мне преувеличенными. Из официальных и секретных бумаг Министерства иностранных дел хотя и можно было усматривать, что петербургский кабинет иногда подчинялся хитрой политике князя Меттерниха, но, с другой стороны, мы видели постоянную борьбу нашей дипломатии с австрийскою в стремлениях удержать конституционную хартию во Франции, укрощать разгул деспотизма в Испании, мирить по возможности рановременно восставших греков с турецким владычеством – одним словом, не возбуждать, а воздерживать абсолютизм и в то же время обуздывать разрушительные начала насильственных переворотов. Но внезапная кончина Александра и ее смутные последствия открыли глаза многим, а между ними и мне.

---

* суровой отчизне (*лат.*).

** событий в отечестве (*лат.*).

Возвратясь из Парижа в Берн, я начал сомневаться в возможности продолжать мою службу по Министерству иностранных дел, и в Петербурге убедился окончательно, что вообще состоять на службе мне не приходится и что лучше будет для меня и несравненно полезнее для тех, которых судьба предоставила моей власти, заняться собственными делами. Тогдашнее высшее и среднее наше общество, забыв о суде, ссылке и казнях, жертвами коих были члены многих из семейств, ему принадлежавших, готовилось к празднествам, и по приезде моем в Москву начались уже там небольшие балы, представления итальянской оперы и открылись дома иностранных послов и посланников. В это время веселых праздников такое равнодушие, такое быстрое забвение о судьбе несчастных, следовавших в оковах в ссылку, на вечное изгнание, меня возмущало, и тем более, что между веселившимися были им близкие знакомые и даже родные. Некоторые из последних не постыдились принимать от руки карающей власти знаки отличия и почести.

Петербургская и московская молодежь лучших семейств, втайне разделявшая убеждения и желания декабристов, предалась пляске и всякого рода забавам. Я старался затаить в себе чувство омерзения к поведению в этом отношении всего русского общества, но в то же время наложил на себя зарок не разделять его развлечений. И только более из приличия, чем из любопытства, чтобы не подвергать себя незаслуженным подозрениям в преувеличенном сочувствии к декабристам, позволил себе появляться на уличные публичные торжества этого времени. Так, видел я торжественный въезд в день коронации, шествие в собор, великолепную иллюминацию кремлевских стен, исполненную по рисунку знаменитого архитектора Гваренги[545], и потом еще неудавшийся народный праздник на Девичьем поле. На этом празднике новому государю, всему царскому семейству, представителям дворов целой Европы и всех сословий империи, собравшимся на коронацию, дала себя знать московская чернь, которая, в свою очередь, принадлежа «сердцу России», сама представляла тот русский народ, коему, по учению славянофилов и по доктрине западников, принадлежат и верховенство над всеми другими народами, и верховная власть во всяком гражданском обществе. Не прошло получаса по приезде царственных посетителей и всех приглашенных на торжество, едва успевших занять назначенные места в ложах, как государь, поднявшись во весь свой могучий рост, громозвучно и весело произнес к народу: «Берите, все ваше!» Толпы ринулись на приготовленное для них угощение и на самые галереи, устроенные для зрителей, начали все истреблять, разрушать, а с посетителей рвать одежды, шали, словом, беспорядок был ужасный, и кончилось бы еще хуже, если бы только что вышедший в отставку оберполицмейстер, лихой и старый Шульгин (Александр Сергеевич назывался

старым, в отличие от другого Шульгина же, назначенного на его место[546]), если бы, повторяю, этот отставленный Шульгин не бросился в середину буйной толпы и не остановил одним своим появлением этого маленького образчика так легко возможных у нас народных беспорядков.

Ни на одном бале, ни на одном маскарде я не был, несмотря на то, что имел на них приглашения и что появляться на них было бы мне полезно по службе и для поддержания немногих старых и составления новых связей, но со службой я решил покончить совсем, а русское общество я осуждал. Не могу припомнить, наверное, не ездил ли я еще до коронации в Солнышково для свидания с теткой, и по дороге в Михайловское захватив где-то Петра Обрескова, в Симоново под Тулой, к Щербатовым, но и все время коронации и потом до октября прожил я в Москве, но уже не в мезонине маленького домика тетки, а в нанятом мною помесячно небольшом доме какой-то старушки Погожской в Мерзляковском переулке. Чтобы не поддаваться искушению и отделаться от родственных и дружеских предложений непременно ехать на какой-нибудь бал или праздник, отдал я во временное владение мой мундир Мин. ин. дел другу моему Бергу, который прощеголял в нем на всех праздниках и был до слез благодарен мне за такое одолжение его тощему карману. В это время познакомил он меня со своим старшим умным братом, нынешним графом Бергом, фельдмаршалом и наместником Польского Царства. В коронацию переделали его из полковника Генерального штаба в советники нашего посольства в Константинополе с чином д.с.с.[547] и употребили там по его же части для наблюдения стратегических изысканий Европейской и Азиатской Турции. После разрыва с нею в 1829 г. этот Берг преобразился опять в военного. По связи с братом Александром я коротко тогда с ним познакомился и любовался блистательной и всегда любезной изворотливостью его характера.

Не понимаю, что побудило другого моего друга Александра Языкова выбраться из своей симбирской глуши (он жил тогда в отпуску) и приехать в Москву, чтобы поглазеть на коронацию. Разумеется, он, как и я, ничего, кроме публичных и всенародных торжеств, не видал. Зато по целым дням от утра до ночи слонялись мы вместе по оживленным улицам и загородным гульбищам. Языкова на все это время поселил я у себя. Диким был он всегда, таким и теперь доживает, но в это время дик он был до того, что не знал, следует ли ему кланяться моим гостям, проходя приемную комнату.

В досужее от празднеств время собирались иногда ко мне прежние мои московские приятели и товарищи по университету вечером на чашку чаю, а иногда и пообедать, и не без насмешек замечали некие мои нововведения в тогдашнем домашнем быту по подражанию иноземным обычаям. Так, многие, не замечая привешенного к наружному подъезду колокольчика, стуча-

лись руками и ногами в дверь и уже готовы были ее вышибить или обращались к окнам, которых чуть не разбивали вдребезги. Такое удобство, давно уже введенное в Петербурге, в старушке Москве было еще незнакомо. Наивным моим друзьям-посетителям казался странным и тот заведенный мною обычай, что я, в облегчение двух бывших при мне слуг и первого из них, изловчившегося на чужбине моего Тимофея, рассаживал гостей вечером за чайный стол, что на нем выставлялись красивая масляница и к ней солонка, холодное мясо и другие разные прибаутки. Над всем этим они глумились, корили меня фанфаронством и требовали, чтобы я давал своим гостям волю, насильно их не усаживал, как за завтраком, не кормил, а разносил им чай по-московски, в стаканах, а не в больших чашках и просто на подносе. На предлагаемый им скромный обед попреков они, впрочем, не делали, сердились же только за назначение для обеда позднего часа и оскорблялись, если кто-нибудь из них заберется ко мне за час до обеда и не застанет меня дома. Обычными посетителями бывали два брата Голохвастовы, старший служил тогда при князе В.П. Голицыне; Михаил Александрович Дмитриев, камер-юнкер, произведенный в это звание за службу дяди и по ходатайству Карамзина; Новиков, тоже камер-юнкер по жене, княжне Долгорукой; полиглот Курбатов, помощник сладкого поэта князя Шаликова[548] по редакции «Московских ведомостей»; кавалергарды Львовы; Миша Долгорукий[549], чиновник канцелярии Нессельроде, брат Новиковой, Шимановский с Кавказа, где он был при Ермолове; безмолвный Александр Языков и Берг, а изредка и брат последнего.

Надо признаться, что между ними, т. е. людьми того времени, немного было таких, которые бы, принадлежа молодому поколению, способны были смотреть на общественную и частную жизнь серьезно, не исключая и всех тех, кто увлекался минутно религиозными и политическими убеждениями. Даже и среди тех из тогдашних современников, которые достигли зрелого возраста, даже и между стариками, почему-либо заметными в обществе, трудно было отыскать с фонарем Диогена[550], человека, всецело преданного какой-либо идее, какому-либо делу. Мистицизм, масонство, библейские общества, бывшие незадолго в моде, и постигший все эти направления переворот в правительстве и особливо в лице самого покойного государя от неопределенных исканий истины в туманных творениях Экартсгаузена и Юнга Штиллинга, в проповедях Госнера[551], г-жи Крюднер и в радениях г-жи Татариновой и ученика ее генерала Головина[552] – резкий поворот к разным схимникам Фотиям и Шишковым ничего существенного, ничего прочного не выработал на общую пользу. Всеми этими вопросами, бывшими в таком ходу, большинство увлекалось по временам поверхностно и легкомысленно. Кто был поумнее и похитрее, присоединялся к тем или

другим мыслителям – по расчету, а иногда для большей личной корыстной выгоды переходил из одного направления в другое. Сторонники декабристов в новое царствование превратились в их строгих порицателей, защитников нового усиленного самодержавия. После неудачной попытки такая перемена в общественном мнении могла быть признана и полезной, и разумной, но всему есть мера. О себе и моем тогдашнем воззрении должен я сказать откровенно, что во мне были благородные, так сказать, инстинкты, но что в них не было еще ничего зрелого. Государственная служба мне не нравилась, и я отнесся к ней равнодушно и почти решительно. Узнав в день коронации о назначении влиятельного чиновника Министерства иностранных дел, Дмитрия Петровича Северина нашим посланником в Швейцарии, я, как причисленный к этой миссии, на другой день явился к нему как к начальнику и на вопрос о моих намерениях удивил его ответом, что еще сам не знаю, что буду делать, и в то же время просил о продолжении моего отпуска. «Qui ne demande rien, n'a rien»*, – отвечал он мне сухо. Надо заметить, что сам Северин был не совсем доволен своим назначением. Он, разделявший с графом Матушевичем под руководством графа Нессельроде заведование важнейшими делами по министерству, почему-то разошелся со своим начальником и получил от него назначение на место Крюднера, которое, хотя и могло считаться наградою по службе, но на самом деле было для него слишком малозначительно.

В то же время и несколько прежде до коронации свояк моего двоюродного брата Обрескова Александр Яковлевич Булгаков, женатый на родной его сестре[553], урожденной также Хованской, по давнему со мной знакомству настойчиво приглашал меня к себе на вечера, на которых урывками появлялся и сам граф Нессельроде и влиятельнейшие из его окружающих. Я почти готов был принять это лестное для меня приглашение, если бы всегда заботливая обо мне чересчур тетушка Марья Васильевна Обрескова не выболтала мне причину любезности Булгакова: у него были две красивые дочки[554], и меня ловили там как богатого жениха. В это же время начинала мне нравиться прежняя моя знакомая Варенька Львова, теперь отставная и на покое игуменья Зачатьевского монастыря мать Вера; но она была целым годом меня старше; я почему-то в разности лет находил препятствие и не подчинился готовому во мне развиться чувству к этой девушке, достойной во всех отношениях. Прежней моей Вареньки Обресковой уже не было на свете, она умерла во время моего отсутствия замужем за Вельяминовым-Воронцовым, оставив после себя трех сирот[555]. Тогда Марья Васильевна слегка указала мне на дочерей княгини Варвары Петровны Щербатовой, которая

---

* «Кто ничего не просит – ничего не имеет» (*фр.*).

года за полтора до моего возвращения схоронила свою старшую дочь, мою милую кузину Софью Обрескову. Княгиня Щербатова после своего вдовства жила более в деревне, чем в городе, уединенно и скромно. При девицах гувернанткой была madame Гесс, швейцарка, которую знал я еще в 1823 году. Эта достойная женщина и в этот раз восторженно приняла меня как своего quasi* соотечественника, и ее нежное ко мне внимание сблизило меня с семьей Щербатовых более, чем мое с нею свойство и мои близкие родственные отношения с Петром Александровичем Обресковым.

На время коронации княгиня Щербатова с дочерьми переехала в Москву и вывозила их на все балы. Я, как уже было говорено, упрямился являться на эти празднества, но был вместе с Щербатовыми на торжественном въезде и сидел с ними на устроенных в Кремле наружных галереях в день коронации, а потом и в Лефортовском дворце из окна смотрел фейерверк. Но мне, впрочем, никогда не было охоты большой до торжественных зрелищ. Я не любил их по двум причинам: по боязни неизбежной тесноты и затруднения через нее протесниться, по вечному моему сопротивлению выставляться вперед и, сверх того, по денежному расчету. Мне еще в бытность мою в Швейцарии предлагал барон Крюднер присоединиться к торжественному посольству князя Петра Михайловича Волконского, когда он был нашим чрезвычайным послом при коронации Карла X, но я отказался быть в свите нашего представителя, что было бы очень легко для всякого чиновника нашего министерства, только потому, что убоялся суеты и толкотни и довольно крупных издержек. Пришлось бы непременно в моем положении издержать не меньше тысяч пяти рублей или франков.

Странное дело, все мои рассказы о времени коронации так скоро истощились, несмотря на все старание их распространить в удовольствие моих читателей, а ведь такое время было редко бывалое, шумное и торжественное. За недостатком у меня материала расскажу один загадочный случай, дошедший до меня, по слухам, в самое время событий и подтверждений, но все-таки недостаточно разъясненный чиновниками того учреждения, коего оно касалось и где я вскоре потом начал мою службу.

Московский архив Коллегии иностранных дел, последний из всех учрежденных еще Петром Великим коллегий, перешедший в Министерство иностранных дел, находился под главным начальством Алексея Феодоровича Малиновского[556], отца недавно умершей княгини Долгорукой[557], моей приятельницы. Он добивался всеми средствами, чтобы новый император обратил на архив такое же высочайшее внимание, какое оказал ему покойный Александр, чтобы государь и императрица полюбопытствовали по-

---

* как бы (*лат.*).

смотреть на хранившиеся там древние памятники, на грамоту об избрании на престол Бориса Годунова и Михаила Романова и на другие манускрипты и редкости. Государь благоволил обещать свое посещение. Начальник архива и чиновники готовились к торжественному приему и учредили, что называется теперь, «выставку» археологических драгоценностей. Все было готово и ничего не удалось. Какая-то архивская кухарка или прачка, жившая у одного из чиновников Ждановского[558], повела под пьяную руку в сумерки беседу с одним из архивских сторожей – и на беду на улице, у самых архивских ворот – о том, как бы не случилось у них великого несчастья, как бы не убили у них в этом доме государя и государыню, что де давно замышляют архивские юноши. К такой беседе издали долго прислушивался будочник, стоявший вблизи со своей алебардой, а потом и сам принял в ней участие. Движимый усердием к престолу и отечеству, верноподданный страж полиции заявил о том квартальному, тот – частному приставу, сей – обер-полицмейстеру, а этот по команде – генерал-губернатору князю Дмитрию Владимировичу Голицыну и одновременно шефу вновь учрежденного корпуса жандармов Бенкендорфу[559]. Князь Голицын, сановник в управлении столицей опытный и в то же время человек порядочный и настоящий gentleman, сейчас же понял всю нелепость такого слуха и не обратил на него особенного внимания, но начальник недавно организованной полиции Бенкендорф приказал сделать самые подробные разыскания и, разумеется, убедился наконец в том, что никаких преступных замыслов не бывало, и все кончилось розгами болтунам с увещанием более не болтать пустяков и никому не рассказывать под страхом еще строжайшего взыскания, что они были посечены.

Государь, однако, отказался от посещения архива, и когда Малиновский узнал об этом высочайшем отказе, то вломился в амбицию и как оскорбленный понапрасну выхлопотал себе в утешение не следовавший ему чин тайного советника.

В министерстве и в тайной полиции догадывались, что весь этот пустой слух вышел на задний архивный двор от различных толков архивских юношей о 14 декабря и от бдительной подозрительности тайной жандармской полиции.

С первых чисел сентября стали из Москвы разъезжаться. Первопрестольная угомонилась и вдруг опустела. Тетушке Марье Васильевне и жившей с ней племяннице Шеншиной очень хотелось отпраздновать день моего рождения 8 сентября, провести у меня вечер за вистом и поужинать. Мне, напротив, этого очень не хотелось: я ненавидел торжествовать как бы и чем бы то ни было собственные мои праздники. И вот, под предлогом отъезда Языкова из Москвы в Симбирск и навязанной мною на него

охоты побывать ему в первый раз в Троицкой лавре, отправились мы на это богомолье, оно нам не удалось. После чудных последних летних дней, благоприятствовавших московским торжествам, внезапно переменилась погода, начали бушевать ветры буйные, осенние и преждевременно поспешила зима с морозами, а в день нашего отъезда и во всю дорогу ехали мы в холодный дождик и встречены были в лавре снегом и ужасною грязью. Тут в первый раз вместе с Языковым осмотрел и я богатейшую знаменитую ризницу, но за непогодой не были мы в Вифании, а поспешили воротиться на теплое место в городе. Вскоре Языков отправился к себе в Симбирск, а я после немногих дней, проведенных в Солнышкове, – в свое Михайловское. Там достраивалась вчерне наша каменная церковь. Я, кажется, уже говорил о моем упрямом намерении выстроить ее без всяких затей и прихотей не потому только, чтобы избежать лишних расходов, но гораздо более потому, что мне всегда противно было всякое желание выставляться, чваниться, хвастаться. Церковь просторная и прочная была необходима для большого селения, и я сначала хотел построить ее без купола, ни на что ненужного, и, если возможно, без колокольни, но на меня напали, во-первых, Николай Сергеевич Тарасов, управляющий имением, и его семья, а потом и все соседи, представляя мне, что за такую небывалую в наших краях постройку храма будут навеки веков упрекать храмоздателя в инославной ереси. Я должен был уступить, согласясь и на купол, и на колокольню, но отменил слишком роскошные крыльца с колоннами, уничтожив два предполагаемые придела в трапезе, и отнял даже возможность когда-либо устроить, в той мысли, что два лишних престольных праздника не умножат народного благочестия, а будут причиною большого разорения и пьянства крестьян и к удовлетворению алчной корысти причта, который в количестве по нашему приходу до тридцати душ ходит по приходам с образами по целой неделе, обирая и разоряя жителей. Задумав выстроить церковь и не приняв предложения назначить ей место близ господского дома, что стеснило бы пространную мою усадьбу вмещением в нее так называемой поповки, т.е. домов церковного причта, я назначил быть церкви в двух шагах от старой деревянной. На прежнем месте находилась она почти в центре всех деревень села Михайловского и представляла еще ту выгоду, что церковнослужители оставались при своих дворах и усадьбах.

Правда, приходила мне в голову эгоистическая мысль соорудить по предлагаемому архитектором плану великолепный сельский храм за рекой, против самого дома, на высокой горе, между двумя старыми березовыми рощами и примыкающими к ним двумя верхами, покрытыми дубовым крупным лесом, которым окружены были с двух сторон две на склоне горы деревни, но,

как бы ни было заманчиво исполнение такой мысли по отношению к красоте местоположения, я от нее отказался по разным неудобствам и по всегдашнему правилу: полезное предпочитать приятному.

И не долго бы украшала собой эту местность наша сельская церковь! Пришла эмансипация, леса и рощи перешли в надел крестьян и были срублены, а потом пролегла тут чугунка, и тогда, помимо моей воли, полезное уже совершенно восторжествовало над приятным.

Внутреннюю отделку церкви я также озаботился сделать как можно проще, с иконостасом невысоким и с весьма ограниченным в нем количеством образов. Теперешний мой «alter ego»*, сын мой[560], заменил его новым в два или три яруса и в псевдодревнем вкусе.

Михайловская церковь выстроена была собственными моими средствами и с весьма необременительным участием моих крестьян, которые если в этом мне и помогали, то разве одной подвозкой барщиной необходимых материалов. Они, возвращаясь домой из Мценска или Ельца, где продавался хлеб, на обратном пути привозили железо на крышу. Эта постройка обошлась мне не более пятидесяти тысяч ассигнациями. Впрочем, это одно предположение, но редкий из помещиков-строителей умеет вести свои счеты так, чтобы знать наверное, до копейки, стоимость своих строений. Спросите у каждого русского дворянина, строящего себе в деревне или городе дом или переделывающего купленный, чего он ему стоит. И самый аккуратный, если он добросовестен, скажет вам, что он и сам того не знает.

В своем Михайловском нашел я много неурядицы и всякого рода беспорядков от рутинного и в то же время ленивого управления моего Тарасова. Взявшись пристально за отчетность, я, к сожалению, убедился, делая строгие вычисления, что на постройку церкви употреблено было гораздо более, чем следовало, что материал его не только воровали возчики, но и клали в землю при постройке фундамента больше, чем было нужно, потому что при кладке кирпича платили каменщикам с тысячи, стало быть, им выгодно было расходовать кирпич без расчета и как можно более. По приходным и расходным книгам я, как ни бился целых две недели, не мог доискаться десяти или двенадцати тысяч рублей, которым следовало быть по отчетам в наличности.

Главный мой конторщик Филипп Иванов божился и не признавал себя виноватым, обливаясь горькими слезами, а старый Николай Сергеевич Тарасов тосковал и своим горем сокрушал всю семью. Я, со своей стороны, математически убежден был в справедливости открытого мною недочета и,

---

* «второе я» (*лат.*).

однако, не мог подозревать ни главного управляющего, ни конторщика в злоупотреблении. Тарасов доказал свою редкую при его пристрастии к деньгам честность тем, что не воспользовался данным ему от меня по доверенности правом закладывать мои свободные имения на улучшение своего собственного состояния (разумеется, под условием возврата), а конторщик, добрый, честный и трезвый, но также ленивый и довольно беспечный, вскоре потом умер в чахотке, не оставив после себя и сотни рублей.

Между мной и Тарасовым решено было, что я, оставаясь, по всем вероятностям, в России, сам буду непосредственно заниматься моими делами и что он поэтому выедет на житье к себе, в свое тамбовское имение. Покуда до приискания управляющего управление Михайловским оставлено было на руках глупого, но зато честного бурмистра Тимофея Феодоровича Бакуткина и конторщика Филиппа Иванова, и в начале декабря 1826 года я воротился в Москву, взяв с собой занимавшегося в конторе мальчика Петра Шилова для помещения его в земледельческую школу московского сельского общества.

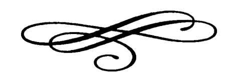
Внимательно со всех сторон рассмотрев то положение, в коем находились тогда дела по всем моим имениям, я окончательно убедился, что деятельная служба, как бы ни была она блистательна (а это еще вопрос), не может быть для меня выгодною, что я должен остаться дома и отказаться от убаюкивающей меня мечты перенести себя в Новый Свет и продолжать службу в Вашингтоне с приглашавшим меня туда бароном Крюднером. Но оставаться в России одиноким, без близких кровных связей и вообще без связей искренних, сердечных, мне также не хотелось; оставалось одно – жениться.

Перебирая по ниточкам самым тончайшим и это, выработанное долгими размышлениями, мое намерение, я дошел до следующих выводов. Во-первых, прежде всего и паче всего не подвергать мое, может быть, чересчур щекотливое самолюбие новому оскорбительному неуспеху: отказ на родине был бы для меня еще тяжелее, чем он был на чужбине. Во-вторых, вступить в семью, во всех отношениях почтенную и, насколько возможно, не противоречащую моим убеждениям и моим взглядам на жизнь; не искать богатства, но и не пренебрегать теми семейными связями, которые могут улучшить мое положение в обществе.

Возвратясь в Москву в конце 1826 года, я встречен был искренними советами тетки Марьи Васильевны просить руки одной из княжон Щербатовых, о чем и сам я начал думать тотчас по возвращении. Мать двух княжон, вдова княгиня Варвара Петровна Щербатова, урожденная княжна Оболенская, была давно мне знакома. Она была в полном смысле этого слова честная, прямая и благородная женщина; любимой моей кузиной была недавно умер-

шая ее дочь Софья Александровна Обрескова. Скромная деревенская жизнь этого семейства представлялась мне порукою за счастливое супружество. Меня там также коротко знали и могли убедиться самым моим поведением на их глазах во все время коронации, что я человек и не светский, и не честолюбивый.

В начале января 1827 года, не помню, 6 или 7 числа, я сделал предложение через тетку Марью Васильевну восемнадцатилетней княжне Екатерине, которая мне очень нравилась, и получил согласие[561].



Дополнения

Очерки и записки

Фрагменты



ОЧЕРКИ И ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.

МОСКОВСКИЕ ПОЖАРЫ 1812 г.[1]

> Nous ne devons pas à notre patrie de trahir pour elle la vérité, nous ne lui devons pas de suivre ses caprices ni de nous convertir à la thèse qui réussit; nous lui devons de dire bien exactement ce que nous croyons la vérité.
>
> *Ernest Renan*[*2]

Желая передать замечания мои о московских пожарах, начавшихся в самый первый день вступления французов в Москву, я обращаю внимание моих читателей на то всеми забытое обстоятельство, что о причинах этих пожаров с самого их начала составились два совершенно противоположные мнения, до сих пор не сличенные и не проверенные ни отечественной, ни европейской историей.

Основательное изучение исторических событий ведет к одному главному результату – беспристрастной проверке и оценке тех преданий, верований и убеждений, которыми живет человечество, видоизменяясь в них повременно, поместно и понародно[3]. В массе умов, хотя образованных, но поверхностных, такое беспристрастие может быть причиной равнодушия, индиферентизма; зато когда сравнительная поверка времени и места какой-либо эпохи или какого-либо отдельно взятого исторического события разрабатывается и оживляется строгой критикой, тогда, после многотрудных ее опытов, наше понимание данного факта проясняется, и общественное о нем мнение, до того времени признаваемое окончательным, подвергается, насколько прежде оно было основано на предубеждениях, совершенному изменению. Это общее правило или, если угодно, это наше скромное замечание можно приме-

---

* Мы не обязаны ради нашего отечества предавать истину, мы не обязаны ради него следовать его капризам или менять свои взгляды на общепринятые; мы должны совершенно точно высказывать ему то, что считаем истиной. Эрнст Ренан (*фр.*) (*пер. В.А. Черных*).

нить и к событию близкого нам времени, доселе понимаемого нами ошибочно, – главному эпизоду нашей отечественной войны, истреблению Москвы в 1812 году.

1

Тяжелое время переживала наша добрая столица в последний летний и осенний месяцы [18]12 года. Данное Наполеону сражение под Смоленском, за которым последовали сдача города и отступление Барклая, возбудило повсеместный ропот. В это самое время отозванный из Молдавской армии Михаил Иларионович Голенищев-Кутузов был единогласно выбран петербургским дворянством главным начальником тамошнего ополчения. На его место назначен был адмирал Чичагов, которому дано было полномочие заключить мир с Турцией[4], несмотря на то, что этот необходимый для России мир завоеван был Кутузовым, разбившим наголову великого визиря. Очевидно, что Кутузов был в опале у государя и в то же время любимцем, если не народным, то по крайней мере петербургской публики: у нас нередко опала дает популярность – и обратно. Вскоре после избрания Кутузова в главные начальники ополчения постоянное отступление нашей армии и неудачное сражение под Смоленском озлобили всех против главного предводителя наших войск, Барклая де-Толли, которого не только в Петербурге и в Москве, но даже в самой армии начали подозревать в измене отечеству. Несколько лиц, занимавших важнейшие государственные должности[5], предстали перед императором Александром не столько с просьбой, сколько с настоятельным требованием назначить главнокомандующим всеми армиями общественного избранника. Вся вина Барклая была в его нерусском имени; его вполне оправдала история, его воспел Пушкин[6]. Государь, никогда лично не благоволивший Кутузову, а особливо с несчастного Аустерлицкого дела, от которого всячески удерживал его последний, вынужден был уступить требованию общества, и в половине августа новый вождь явился в ряды мужественного, но пораженного унынием войска и возбудил в нем прежнюю бодрость. Недаром Суворов умел ценить хитрый ум Кутузова, выражаясь о нем, что его и Рибас[7] не обманет. Кутузов умел изобрести и воспользоваться всеми средствами к поддержанию духа в армии; он велел обносить по всем полкам вывезенную из Смоленска икону Божией Матери и в каждой дивизии отправлял торжественное пред ней молебствие. Он, если не измыслил сам, то по крайней мере допустил напечатать в известии о первом появлении его в рядах войска, что какой-то залетевший очень кстати в необычайную для него сторону орел парил над головой нового главнокомандующего. Не имея под руками источников, не могу сказать утвердительно, когда именно, до Бородинского ли сражения или после, Кутузов поручал Растопчину уверить московских жителей, что злодей

в Москве не будет. Уверения эти, однако же, не оправдались, надежды Растопчина, который порывался идти во главе всего московского народонаселения навстречу приближавшегося к столице неприятеля, не сбылись, и Кутузов решил судьбу столицы в военном совете в деревне Филях, отдав приказание своей армии пройти через город и сдать его без боя неприятелю. Здесь нельзя не заметить весьма странное, чтобы не сказать более, поведение в этом совете хитроумного Ермолова. Он подал голос не сдавать Москвы без решительного сражения не потому, чтобы сам был уверен в победе, а, напротив, потому, что был уверен в невозможности дать под Москвой сражение, и в то же время знал, что мнение его большинством голосов будет отвергнуто. Поводом же к такому двуличному голосу было одно его желание приобресть популярность; таково собственное признание Ермолова в собственных его «Записках»[8].

Нет нужды говорить о том, как последовала сдача столицы, это всем известно, равно как и то, что в первую же ночь вступления неприятеля Москва загорелась.

«Французы жгут Москву», – с ужасом завопили немногие жители, не имевшие никаких средств бежать из города. «Французы жгут Москву»,–повторяли окрестные жители с говора москвичей, кое-как пробравшихся к ним в пригородные слободы. Огромное зарево в первую же ночь со 2-го на 3-е сентября распространявшегося пожара давало знать за 200 почти верст от Москвы, что Москва горит (я видел сам 12-летним мальчиком это зарево в Веневе в ночь с 3-го на 4-е сентября), а народная молва распространила повсюду слух, что ее жгут французы. Вот где первое начало нашего всенародного предания, что Москва сожжена была неприятелем. Предание это перешло во всеобщее сознание тогдашнего поколения и долго без всякого колебания в нем сохранялось[9]; оно утверждалось документами государственного значения; оно, наконец, осветилось нашим торжественным молитвословием. Мы и доселе ежегодно в день Рождества Христова в таких словах приносим наши благодарственные молитвы за избавление от нашествия галлов и с ними двадесять язык:

«Ты глаголал еси древле сыновом Израилевым, яко аще не послушают гласа Твоего хранити и творити вся заповеди Твоя, наведеши на них язык безстуден лицем, иже сокрушить их во градех их, дондеже раззорятся стены их: и мы ведехом, яко прииде глагол страшный сей на ны и на отцы наша... Но Ты, Господи Боже щедрый... ущедрил еси нас. Призрел бо еси на скорбь нашу и на *потребление царствующего града*, в немже от лет древних призвася имя Твое»[10].

Такое торжественное и так часто повторяемое свидетельство того, что Москва сожжена[11] была неприятелем, дает нам право сказать, что во всем русском народе, по крайней мере в многочисленной его массе, не нахо-

дилось тогда ни одного человека и не найдется много таких и теперь, которые на вопрос о московском пожаре 12 года дали бы ответ, противный этому преданию. Поэты того времени, и во главе их Жуковский, увековечили это предание в своих песнопениях. Вот стихи Жуковского из «Певца в Кремле»:

Москва! они твоим стенам
Рекли: оденьтесь в пламень!

Там же:

И за развалины Кремля
Парижу мзда – спасенье!

Ни один из поэтов того времени не прославлял своих соотечественников за изобретенный уже впоследствии подвиг самоотвержения. Совершись он на самом деле, сколько восторженных речей и сколько од и песнопений перешло бы к нам на вечную память великой жертвы и во славу великих народных жрецов!

2

«L'incendie de Moscou a été conçu et préparé par le général gouverneur Rastopchin»*, – вот слова, напечатанные по повелению Наполеона в изданных в Москве бюллетенях французской армии от 7/19 сентября и в следующих до 12/24 включительно. Допустим, что обвинять Растопчина в преднамеренном пожаре с первого раза Наполеон мог по одной вероятности подобного предположения, не имея на то никаких ясных доказательств; и вместе с тем допустим и то, что для Наполеона и интересов всей его политики обвинять Растопчина и русских в пожаре было весьма выгодно. Вступая в Москву, он ожидал торжественной встречи от ее жителей и от тех лиц, на которых возложено было или которые сами взяли на себя управление города. Никакой встречи ему не было, никакая депутация ему не представлялась. Наполеон надеялся найти в обширном городе себе и многочисленной своей армии несколько дней отдыха самого удобного и обеспечение всеми возможными запасами продовольствия и вместо того нашел на другой же день по своем вступлении одно разорение, отнимавшее у него всякую возможность существовать сколько-нибудь безопасно в опустошаемом городе. Наполеон ожидал предложений заключить мир, мечтая, что император Александр и его народ, пораженные ужасом, будут униженно просить победителя о прекращении военных действий и согласятся уступить польские провинции или по крайней мере часть их, но его не только не просили о мире, но с негодованием

---

* «Пожар в Москве был задуман и подготовлен генерал-губернатором Растопчиным» (*фр.*).

отвергли собственные его к тому попытки. Факты, принятые Наполеоном за основание к обвинению Растопчина в преднамеренном зажигательстве столицы, были следующие: 1) Истребление на барках под Симоновым монастырем хлебных запасов, а равно соломы и сена; это было действительно сделано по распоряжению Растопчина, как скоро он извещен был о неминуемой сдаче города. Последующие затем два обстоятельства, служившие Наполеону доказательствами, объясняются вполне. 2) Вывоз из города пожарной городской команды со всеми ее орудиями и прислугой. 3) Распущение из мест заключения всех арестантов. Последние два обстоятельства случились очень просто. Когда московский обер-полицеймейстер Ивашкин[12] вместе с бранд-майором спрашивали у главнокомандующего приказания, что нужно делать с полицией вообще и всей ее пожарной частью, Растопчин отвечал: «Пожарная команда и ее орудия принадлежат казне; у вас есть собственные лошади, посадите людей и везите все вон из города», т.е. по Владимирской дороге, по которой отправлялось всякое казенное имущество в самом широком смысле этого слова. Подобный ответ дан был и московскому коменданту относительно гарнизона, или внутренней стражи, охранявшей город, тюрьмы и острог. «Гарнизон разве не войско? Теперь нужен каждый солдат и каждое ружье со штыком. Отправьте, куда следуем мы все, оставляя Москву». – «А колодники?» – «Пусть остаются».

Очень понятно, что Наполеону, привыкшему забирать города и столицы, в которых не прерывалось никакое внутреннее городское управление и оставался налицо весь правильный состав оного, такие распоряжения казались преднамеренно принятыми для уничтожения города. Но в таком виде вся наша борьба с ним, бывшая до самой Москвы одним отступлением, представляла одно опустошение городов и сел, по крайней мере так было с той поры, когда неприятель сделал первый шаг на истинно русскую почву. Так же с своей стороны действовал и Растопчин, нисколько не озабочиваясь тем, чтобы в городе, брошенном на жертву неприятелю, сохранился какой-либо порядок, обеспечивающий безопасность и спокойствие жителей. В последние дни своего начальства он сам, узнав решение военного совета, предлагал всем и каждому оставить город, тогда как с самого начала войны до решения, принятого советом, он убеждал каждого из жителей, способного владеть оружием, не оставлять город и быть готовым на его защиту. Самый приказ Кутузова – проходить Москву без сопротивления – был для него неожиданным ударом. В донесениях к государю и письмах к князю Багратиону Растопчин жаловался на Кутузова, что он прежде совсем не предупреждал его о возможности отдать столицу неприятелю. По всему видно, что Растопчин находился в крайне раздраженном состоянии, и этим только можно оправдывать последнее действие его власти, казнь Верещагина. Мог ли он, находясь в таком расположении, решиться на такой отчаянный поступок, на сожжение

столицы, и иметь достаточно времени, чтобы сделать нужные на то распоряжения? Кому же, наконец, из своих подчиненных или людей ему близких, каким тайным пособникам, никому не ведомым и доселе никем не открытым, решился он вверить свои замыслы? Нечего и говорить о том, что он не имел разрешения на такой отчаянный поступок от самого государя, об этом никто и не мыслил.

Под конец 12-го года к праздникам Рождества и нового 13 г. исполнился обет императора Александра, данный им России при вторжении неприятеля. «Я не положу оружия моего, – говорил государь в первом манифесте о начале военных действий, – доколе хотя один неприятельский воин останется в пределах России». Неприятельских воинов осталось на земле русской, может быть, целая сотня тысяч, но эти тысячи были или пленные, или трупы[13]. Наше войско переходило русскую границу за бегущим в совершенном расстройстве неприятелем, чтобы освободить от Наполеона Германию и даровать мир Европе. Тогда не время было думать и препираться о том, кто был причиною истребления Москвы, кто сжег ее: Наполеон ли, удалившийся из Москвы, оставляя ненавистную ему столицу, в варварском, ничем не оправдываемом мщении велел подорвать древние стены Кремля, или Растопчин, удалившийся из Москвы и собственными руками зажегший великолепные палаты в подмосковном своем селе Воронове. Так весь этот вопрос проходил в совершенном молчании до самого свержения Наполеона и реставрации Бурбонов. Любопытно бы было доискаться, где и кем именно задача эта была предложена или решена окончательно[14]. Вероятно, в начале 20-х годов толки об этом вопросе стали до того уже сильно распространяться, что они принудили Растопчина, жившего тогда в Париже и находившегося тогда в опале (не за сожжение, однако же, Москвы, которого у нас ему не приписывали, а за казнь Верещагина), напечатать небольшую свою брошюрку «La vérité sur l'incendie de Moscou»*, которую он начал следующими словами: «Ennuyé d'entendre débiter la même fable, je vais faire parler la vérité»**.

Казалось бы, что после такого резкого отречения Растопчина от возводимого на него подвига, после такого искреннего и вместе насмешливого на то негодования с первых строк его знаменитой брошюры, после всех приведенных им в ней доказательств, что он никогда не замышлял сожжения Москвы, современники и потомство оставят его память в покое и перестанут прославлять его имя небывалым подвигом. Напротив того, чем более отдалялась от нас знаменитая эпоха, тем упорнее стали мы писать, печатать и проповедовать, что Москву сжег Растопчин, что Москву сожгли русские. Общественное мнение об этом вопросе совершенно изменилось, по крайней мере

---

* «Правда о пожаре Москвы» (*фр.*).

** «Устав выслушивать одни и те же выдумки, я бы предпочел, чтобы заговорила правда» (*фр.*).

в мыслящей публике, – говорю «в публике» потому, что мыслящее общество так невелико в сравнении с массой, что я считаю не лишним каким-нибудь выражением указать на эту малую толику. Мыслящая русская публика нашла приличным возвести этот вопрос до апогея[15] патриотического самоотвержения и ухватилась за него весьма ловко, – я даже подозреваю, более ловко, чем искренно, – с тех самых пор, когда иностранная пресса и тамошнее вполне общественное мнение массы с германским прямодушием, с великобританским политическим расчетом, с французским против нас ожесточением в партии бонапартистов начало приписывать нам такое великое дело. Так продолжают и до сих пор. На днях в небольшом городке небольшой Швейцарии читалось в журнале, издаваемом в Веве, имя Растопчина как сожигателя Москвы, по случаю изданной дочерью его, графиней Сегюр[16], какой-то детской книжки. В тот же день прочли мы примечание многоуважаемого издателя «Русского архива» при напечатанной им статье «Рассказы московских французов о 12-м годе» в № 9, где, к изумлению нашему, у него сказано: «Так обыкновенно объясняют происхождение растопчинской книги; но кто внимательно читал ее, тот может убедиться, что Растопчин только приписывает честь высокого самопожертвования не одному себе, но всему русскому народу. Он отрицает только последовательные и преднамеренные правительственные распоряжения о сожжении Москвы»[17].

Мы давно уже привыкли ко всем возможным и невозможным коленопреклонениям пред величием и чуть-чуть не верховенством русского народа, но, признаемся, никак не ожидали встретить такое суеверное обожание в беспристрастном и умеренном П.И. Бартеневе. По словам его, Растопчин желает разделить ему приписываемую честь высокого самопожертвования со всем русским народом. «Со *всем* народом» – это выражение не слишком ли общее: костромич, архангелогородец, пермяк и т.д., очевидно, никак не могли в нем участвовать. Кто же мог? Опять-таки, очевидно, москвичи. Кто же были москвичи, оставшиеся в городе? По разноречивым современным сказаниями оставалось их от 5-ти до 15-ти тысяч. По тем же преданиям мы знаем, что немногие русские, сколько-нибудь мыслящие и грамотные, или всячески старались спастись во время пребывания неприятеля, или вынуждены были им принять участие в учрежденном тогда французами городском управлении, и за то преданы были впоследствии суду русским правительством и, слава Богу, прощены. Итак, зажигателями могла быть застигнутая бедою московская чернь, а главными предполагаемыми подвижниками – те самые колодники и острожники, которых будто бы с намерением для исполнения своего замысла оставил Растопчин без всякого караула. Мудрено согласить такое предположение о Растопчине; не такой он был человек, чтобы хотя на минуту остановиться на мысли разделять честь своего подвига с подобной сволочью. Мне совестно к таким, по моему мнению, неоспоримым и как бы слишком

крупным доказательствам присоединять мои отроческие воспоминания. Я уже сказал в моих «Записках», что[18] до 1-го сентября 12-го года дядя мой, губернатор Обресков, постоянно писал к моему отцу, чтобы он был спокоен и ничего не предпринимал для спасения имущества в нашем московском доме. Так же спокойно жил сам Обресков с семейством в городе до того времени, уверенный, что и у них в доме не будет никакого от неприятелей расхищения. Только 1-го сентября пришло нам известие с советом бежать из подмосковной, и мы от пожаров лишились всего, что у нас было; то же было и с Обресковым, то же было и с самим Растопчиным. Я имею полное право думать, что, если бы Растопчин хотел сжечь Москву, он бы предупредил своего приятеля Обрескова, и тот что-нибудь да спас бы из своего имущества и, вероятно, посоветовал бы и нам распорядиться подобным образом. Я имею еще большее право думать, объясняя себе по-своему исторический характер Растопчина, что если бы он сделал какие-либо распоряжения о сожжении Москвы, то собственный его великолепный на Лубянке дом загорелся бы первый, а он остался целым и так недавно, к сожалению, испорчен г. Шиповым[19].

В заключение наших опровержений, крупных и мелких, приведем теперь выписки из «Истории войны 12-го года», изданной по высочайшему повелению генералом Богдановичем[20] в 1859 г.: «Обрекая Москву на жертву пламени, Растопчин навлекал на себя тяжкую ответственность, потому что не имел на то повеления от благодушного государя. Невозможно предположить, чтобы жители такого обширного города условились между собою сжечь свои дома; если же на это решились только немногие, то выказывать пожар Москвы в виде гибели Сагунта[21] столь же нелепо, сколько приписывать его жестокости Наполеона и буйству его войска. Из всего сказанного о пожаре Москвы очевидно, что главным, или по крайней мере первым виновником его был граф Растопчин, хотя он от сего отказался, потому что, живя в Париже, не хотел прослыть там грубым скифом». Предоставляю каждому оценить такую шаткость понятий и исторических убеждений полуофициального нашего историка 1812 года. Растопчин то боялся ответственности перед государем, тот Растопчин, который не дрожал даже перед Павлом; то боялся прослыть грубым скифом у французов, тот Растопчин, который жил в Париже при Людовике XVIII в обществе самых жарких роялистов, придворных и вообще всех знатных того времени, которые, торжествуя возвращение Бурбонов, готовы были носить Растопчина на руках.

Основываясь на этом историке, мы сказали выше, что в городе могло оставаться, во время французов, до 15 000 жителей, т.е. гораздо менее десятой части всех ее жителей. В этом небольшом числе укрывалось одно общество, обладавшее до излишества всеми земными благами и имевшее притязания содержать во всей полноте среди себя и всю благодать духовную. Если бы к ним помыслил обратиться гр. Растопчин, чтобы сделать их орудиями очи-

стительной и спасительной жертвы за святую Русь, то в их ревности о доме Пресвятой Троицы не могло бы возникнуть никакого сомнения. Не раз случалось им в продолжение целого ряда веков, как прошедших, так и настоящего, предавать пламени не только свои жилища, но и собственную жизнь, дабы спасти себя от пламени геенского. Но и к ним не мог бы отнестись Растопчин с подобным предложением, как к сектаторам, произнесшим анафему на весь государственный строй Российской империи. Читатели угадают, что я подразумеваю старообрядцев, которых с некоторого времени стали прославлять во всеуслышание, к которым обращаются с такой симпатией все наши поклонники не по разуму величия и верховенства русского народа. В них видят последние постоянно живущий протест[22] против Петровской реформы и всех ее последствий, главную, единственную причину, во имя которой люди науки quand même* прощают им всякое обезображение всех разумных начал человечества. Московские старообрядцы и в этом случае держали себя в стороне и на виду всех прочих жителей к наставлению современников и потомства поступили иначе. Они выслали к Наполеону депутацию с изъявлением ему своей всесовершенной покорности и выпросили у него к постоянным убежищам своим на отдаленных кладбищах Москвы стражу для охранения себя от грабителей своих и чужих, для спасения от расхищения тех сокровищ, преимущественно церковных, которые там у них издавна сохранялись. Сказывают, что общество это не погнушалось увеличением своих церковных сокровищ во все это время поругания и опустошения московской святыни французами и что число их богатств, состоящих в древней церковной утвари и иконах с многоценными окладами, после бегства неприятеля из столицы значительно увеличилось. Когда порядок в столице водворился по возвращении в нее нашего начальства, тех, которые вынуждены были принять на себя какие-нибудь городские обязанности во время пребывания неприятеля, предали суду, старообрядцев же не коснулись. Вероятно, такая странная безнаказанность куплена была ими золотом (теперь закупают они часть мыслящей нашей публики какими-то другими средствами[23]).

Мы опасаемся, что и отречение Растопчина, и шаткость мнения о причинах пожаров, указанная нами в истории 12 г., а еще менее то, что сами мы изложили в доказательство наших убеждений, не могут достаточно изменить той, заданной наперед, мысли о нашем самопожертвовании, которою убаюкивает себя современный наш патриотизм. Мало того, мы почти уверены, что самая эта статейка и, чего Боже сохрани, ее составитель подвергнутся всеобщему негодованию. Но – amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas**, иначе: «Варвара мне тетка, а правда мне мать», и я, предаваясь отчаянию

---

* все-таки (*фр.*).

** Платон мне друг, Аристотель друг, но истина дороже (*лат.*).

в успехе моей правды, берусь за последние оружия. Никакой современный швейцарец, получивший сколько-нибудь серьезное воспитание, не отстаивает легенды о Вильгельме Телле[24], хотя места, освященные этим великим именем[25], украшаются древними часовнями и другими памятниками. Никто, однако, не станет обвинять швейцарцев в недостатке любви к отечеству. Далее спрашиваю отстаивающих coûte que coûte* за нами великий подвиг: кто же были его подвижники?[26] Изобретенный их вождь от него отрекся; как же в течение 50 лет не явился хотя бы один из второстепенных подвижников за получением венца славы? Нас, русских, несправедливо было бы упрекать в подобной скромности: по временам участвуя в подвигах другого рода, не всегда оправдываемых религией и строгой нравственностью, мы и тогда не отличались особенною застенчивостью и брезгливостью[27].

Я считаю теперь себя обязанным упомянуть здесь о том загадочном шаре, который еще с июня 1812 года изготовлялся под Москвой иностранцем Шмидтом[28] и который послужил доказательством сожжения Москвы Растопчиным всем сторонникам этого мнения. На моей совести лежит совершенная утрата для потомства двух замечательных документов по этому случаю. В конце 1817 года бывший в это время губернатором Москвы Обресков умер в отпуску с сохранением звания сенатора в симбирской своей деревне, селе Никольском, ныне принадлежащем графу Соллогубу. В декабре этого же года, вскоре после смерти Обрескова, ездил я навестить его сестер, моих родных теток, с их дозволения разбирал бумаги умершего. В них нашлись два собственноручные к нему рескрипта императора Александра из Вильны; первый – от начала июня, второй, кажется, через месяц, чисел не упомню. Я не имел никакого права взять их к себе, не будучи прямым наследником (у него были и другие племянники того же имени), но мог бы, конечно, списать их – и увы! – по рассеянию этого не сделал. Так они исчезли безвозвратно. Как теперь гляжу я на эти драгоценные два листка весьма плохой, уже пожелтевшей почтовой в золотом обрезе бумаги и отвечаю честным словом за подлинный смысл их содержания. Оба рескрипта писаны и надписаны были четкой, красивой рукой государя; на сохранившихся обоих пакетах и в начале самых писем его же рукой выставлено было: *Секретно*.

1-е. «Николай Васильевич!

Вручитель этого, иностранец Шмидт, объявит вам причину, по которой посылается мною в Москву. Храните ее под *завесой непроницаемой тайны не только* от московских *жителей*, но и от главнокомандующего, фельдмаршала графа Гудовича[29]. Поместите Шмидта где-нибудь около Москвы и давайте все средства к исполнению его предприятия. Пребыванию его у вас дайте предлогом фабрикацию земледельческих орудий или чего другого. Все

---

* любой ценой (*фр.*).

сношения со мною лично по этому предмету ведите через обер-гофмаршала гр. Николая Александровича Толстого[30], адресуя ваше ко мне донесение на его имя».

2-е. «Николай Васильевич!

Назначив главнокомандующим Москвы гр. Растопчина, предписываю вам сообщить ему об иностранце Шмидте и передать весь ход дела, через вас ему порученного».

Иностранец Шмидт летом 12-го года жил за Симоновым монастырем, в Тюфелевой роще. По сожжении Москвы начали иные говорить, будто Шмидт приготовлял горючие материалы. Растопчин в своих афишках народу объявлял за несколько дней до сдачи города, что будет пущен шар на гибель злодея. Можно предположить, что он назначался для того, чтобы наблюдать с высоты за расположениями или действиями неприятеля. Известно, что Наполеон, находясь в Булонском лагере, откуда он готовил высадку в Англию, имел у себя шары подобного рода для той же цели. Предоставляю другим разъяснить, почему еще в самом начале кампании шар этот приказано было изготовлять в Москве. Неужели с того самого времени предполагалась уже возможность Наполеону приблизиться к столице? Мудрено также объяснить строгое повеление губернатору хранить такую тайну от начальника столицы. Из статьи, помещенной в № 10 «Русского архива» за 1869 год под заглавием «Воспоминания о селе Грузине», к удивлению, видно, что влиятельнейший человек этой эпохи судил об этом шаре как о бесполезном изобретении, с единственной целью занять в тревожное время умы народные. Нахожу нелишним привести замечания графа Аракчеева в подлиннике[31]:

«В 1812 г., когда Наполеон приближался к Москве и страх был всеобщий, император Александр мне сказал: “Ко мне явился некто, предлагающий вылить пули, наверно попадающие, дай ему средства делом заняться”. Я, осмотрев пулю, позволил себе сказать: “Вы верно хотите похристосоваться с вашею армией и подарить каждому солдату по чугунному яйцу? Поверьте, государь, этот изобретатель – обманщик; пуля по своей форме далеко и метко лететь не может”. На это император мне сказал: “Ты глуп”. Я замолчал, дал прожектеру что-то делать[32] и забыл о том. Вскоре затем император вновь меня призвал и сказал: “Явился человек, который хочет строить воздушный шар, откуда можно будет видеть всю армию Наполеона, отведи ему близ Москвы удобное место и дай средства к работе”. Я вновь позволил себе сделать возражение о нелепости дела и вновь получил в ответ: “Ты глуп”. Прошло немного времени, как мне донесли, что изобретатель шара бежал; с довольным лицом предстал я пред императором и донес о случившемся; но каково было мое удивление, когда император с улыбкой сказал мне: “Ты глуп”. Для народа[33] такие меры в известных случаях нужны, такие выдумки успокаивают легковерную толпу хотя на малое время, когда нет средств отвратить беду. Народ тогда толпами

ходил из Москвы на расстояние 7 верст к тому месту, где готовился шар. Это было на уединенной даче, окруженной забором, куда внутрь никого не пускали, но народ, возвращаясь домой, рассказывал, что видел своими глазами, как готовится шар на верную гибель врага, и тем довольствовался».

3

Но ведь Москва в 12-м году горела? Кто-нибудь сжег ее? Ответ предлагается следующий и, по нашему убеждению, единственно возможный: не мы, русские, и не они, французы, задуманно и заранее преднамеренно; и мы, русские, т.е. остававшиеся во время неприятеля в Москве, и они, французы, т.е. все галлы и все их двадесять язык, те и другие, но не задуманно и не заранее намеренно. Может быть, в редких случаях и были между зажигателями русские по чувству ненависти к врагу и из мщения за жестокое с ними обращение неприятеля. Но главнейшею причиной пожаров было отсутствие всякой дисциплины в неприятельском войске и всякого порядка между кочующими по городу толпами жителей. Вспомним, что в этих толпах были колодники, не замедлившие выйти из мест заключения, как скоро оставил их караул, что все кабаки были тотчас разбиты и народ предался пьянству. Что же касается до обращения с жителями неприятельского войска, то вот слова очевидца: «на улицах можно было встретить только военных, которые слонялись, разбивая окна, двери, погреба и магазины. Жители прятались и позволяли себя грабить первому нападавшему на них. Всего ужаснее был тот систематический порядок, который почли нужным завести при дозволении грабежа, давали его последовательно всем полкам армии (странное распоряжение, но, как видно, необходимое, чтобы самому беспорядку дать какую-нибудь последовательность). Первый день грабежа дан был старой императорской гвардии, следующий – молодой гвардии, за ней – корпусу маршала Даву. Все войска, стоявшие около города, по очереди приходили обыскивать нас, и, можете судить, как трудно было удовлетворить последних. Этот порядок (порядок?!) продолжался 8 дней почти без перерыва. Нельзя себе объяснить жадности этих негодяев иначе, как зная собственное их бедственное положение; без панталон, без башмаков, в лохмотьях – вот каковы были солдаты, не принадлежавшие к императорской гвардии; их можно было узнать разве только по оружию. Офицеры делали то же: выходя из дома в дом, более совестные опустошали свои квартиры, даже генералы заставляли выносить всюду вещи, которые для них годились, и переменяли квартиры, чтобы грабить в новых своих жилищах»[34].

Не должно ли будет согласиться, что Москве труднее было уцелеть, нежели сгореть, при таких ужасных беспорядках, продолжавшихся не день, не два, а целую неделю. Повторим сказанное, что в ней никакого городского управления не было: не было никакой полиции, не было ни одного гаси-

тельного орудия, и что всего более повело к пожарам и к грабежу, не было решительно никакой дисциплины в неприятельском войске. Установленный порядок в грабеже не есть ли неопровержимое тому доказательство? Много способствовали распространению пожаров долговременная засуха, стоявшая тогда в Москве почти до 1-го октября, и необыкновенно теплые дни в начале этой осени. Горьким опытом знаем мы, как легко загораются и как часто выгорают наши деревни и города в летние засухи; знаем также, что ни один сколько-нибудь значительный пожар не проходит без того, чтобы причину оного не сваливали на какое-нибудь злоумышленное зажигательство. Со времени первого польского мятежа до нашего времени в народном мнении, в прессе, а иногда и в среде самого правительства роль зажигателей предоставлялась обыкновенно полякам. В 1834 г. говорилось, что они зажигали одновременно Москву и Тулу, в 1839 г. целые города и деревни в Симбирской губернии. В начале 40 годов, когда выгорела половина Костромы, тамошним губернатором[35] взяты были под стражу несколько человек поляков, которые впоследствии по суду оправданы. Большой петербургский пожар 1862 г., так напугавший всех жителей столицы, приписан был также злоумышленникам, и тоже полякам вперемешку с тогдашними нигилистами[36]. Следствие самое строгое ничего не открыло. О симбирском пожаре[37] было по следствию почти доказано, что поджигателями были нижние чины какого-то полка, кажется, Угличского, и что на это злодеяние подкупал их полковой командир, которого из православного и русского обратили в поляка и католика. Его судили, более года держали в крепости и, слава Богу, невинного оправдали, сам Государь утешил его милостивым своим словом. Не одно народное мнение, но и самая юридическая практика по изыскании причин пожаров бывают всюду несостоятельны, а у нас более чем где-либо. Нигде, кроме разве Турции, не выгорает так много городов и селений. Года два или три тому назад издатель «Московских ведомостей» насчитывал в летние месяцы на каждую неделю по 200 пожарных случаев. В одном из последних октябрьских номеров этих «Ведомостей» 1869 г. насчитано в этом году по ноябрь 15 000 пожарных случаев и убытка от них на 45 000 000 р. А мы все еще силимся доказать, что Москва была вольною жертвой нашего патриотизма.

Повторяя первые слова брошюры Растопчина: «Ennuyé d’entendre débiter la même fable, je voudrais faire parler la vérité»*, прошу убедительно немногих моих современников и всех имеющих какие-либо сведения об этой эпохе послужить своими объяснениями разработке этого запутанного исторического вопроса[38].

---

* См. пер. на с. 466.

МОСКОВСКОЕ ДУХОВЕНСТВО И МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН В СЕНТЯБРЕ 1812 ГОДА[1]

Составляя более по памяти, чем по источникам, мои «Записки» о московском пожаре 1812 г., я невольно остановился на вопросе, доселе никем не затронутом и, несмотря на то, по моим соображениям, весьма существенном.

Я беру смелость спросить: были ли приняты тогда какие-нибудь меры, чтобы в городе не прекращалось богослужение, чтобы оставленные на жертву судьбы его жители (число которых, хотя и не было достоверно известно, представляло, однако, значительную массу – до 15 000 человек) могли иметь христианское утешение в молитве[2], напутствие перед смертью, крещение рождающихся младенцев? Или эта святая потребность каждого христианина сделалась тогда для этих людей недоступною? Историк 12 года Богданович достаточного об этом предмете не дает объяснения, вернее сказать, относится к нему с непонятным равнодушием; между тем мы знаем из его же книги, что, кроме жителей, которых по его словам оставалось до 15 000, находилось в Москве немалое число наших раненых, и было при сдаче столицы заключено секретное условие, чтобы они находились под покровительством вступающих французов. Мы читаем в этой истории 1812 г. следующее: «Москва, знаменитая числом и богатством храмов, целые две недели оставалась без церковного служения, священнослужители все без исключения ее оставили вместе с сосудами и церковного утварью. Только 15 сентября, в день коронации императора Александра, раздался благовест в церкви Св. Евпла на Мясницкой: там совершал литургию священник кавалергардского полка Грацианский[3]. Будучи захвачен в плен при выступлении наших войск, он первый просил назначенного Наполеоном в правители столицы Лессепса[4] о дозволении совершать литургию, но с условием молиться о государе и поминать на ектениях императорский дом»[5]. Затем следуют похвалы от автора гвардейскому священнику за его верноподданнические чувства.

Там же читаем выше:

«В самую последнюю ночь с 1 на 2 сент. викарию московскому епископу Августину сказано было Растопчнным выехать во Владимир». Мы знаем, что в это время преосвященный вывез с собою две чудотворные иконы, Владимирскую и Иверскую, вместе с другой, главнейшею святынею, хранившеюся в Патриаршей, Успенской и других соборных ризницах. В «Записке» митрополита Филарета, напечатанной в «Сборнике XVIII века»[6] за 1868 г., издаваемом Бартеневым, сказано: «...начальники московских монастырей и почти вся братия были в *бегстве*».

Остается совершенно неизвестным, последовало ли удаление из Москвы викария Августина и, по выражению митрополита Филарета, *бегство* из

Москвы всех настоятелей и их монахов – по высшему распоряжению Св. Синода или по одному приказанию Растопчина, сосредоточившего в лице своем всякую власть. Можно догадываться, что на все это от Синода никаких распоряжений не было, ибо по прошествии 5 лет министр духовных дел кн. Голицын писал к московскому архиепископу Августину: «Государю, в бытность его в Москве, угодно было потребовать от настоятелей монастырей обстоятельное и на сущей истине основанное описание, что происходило в монастырях во время нашествия неприятеля; государь требует таковых сведений в единственном намерении узнать короче бывшие происшествия, причем не предполагается ни обследований, ни суждений о лицах, а чистосердечное объявление примется во благо»[7]. Списки с этих показаний сохранились в архивах московской консистории. Из них видно, что настоятели монастырей Заиконоспасского, Богоявленского, Покровского, Даниловского, Воздвиженского выехали со своими ризницами в Вологду, что все эти монастыри были опустошены неприятелем, что самые храмы были им поруганы, что богослужения в них не было и быть не могло. В женских монастырях происходило то же, только в одном Страстном у Тверских ворот поставленные в кельи французские гвардейцы позволили игуменье жить на паперти, а через несколько дней дали ей келью. Через две недели один неприятельский чиновник прислал туда парчевые ризы и все нужное для служения, с шестью бутылками красного вина, крупичатой мукой и восковыми свечами и, отдав ключи, позволил служить обедню монастырскому священнику Андрею Герасимову («Московские монастыри во время нашествия французов». «Русский архив» № 9, 1869 года). Из этого мы узнаем достоверно, что божественная служба начала совершаться в эту бедственную годину с 15 сентября в двух церквах, что все монашествующее духовенство предалось бегству, что священнослужители оставили свои приходы, сохранив, впрочем, драгоценную церковную утварь; но вместе знаем также и то (по крайней мере до нового, подробного исследования), что бедные оставленные жители, и в том числе наши раненые воины, лишены были Св. Таинств. Записка, представленная государю о монастырях московских, утверждает меня в том мнении, что Св. Синод не имел или не мог иметь никакого влияния на эти странные действия и что Растопчин, пользуясь своим диктаторством над Москвою того времени, смотрел и на церковь, и в особенности на ее сокровища, как на казенное имущество. Молчание Абрама Сергеевича Норова, остававшегося тяжело раненным в Москве, о том, были ли посещаемы или нет священниками русские раненые, заставляет предполагать, что о них не было никакого духовного попечения.

Не то было в годины искушений с древней христианской церковью[8]. Из ее истории мы знаем один пример, противоположный тому, что произошло у нас. Три пустынника, удалившиеся не только от мира, но даже из многолюдных

иноческих обителей, получили по неотступной просьбе позволение от своего епископа вступить тайно в один город, который был завоеван варварами. Не можем припомнить, где и когда именно это происходило, на Востоке или на Западе, но твердо знаем, что случилось в начальные времена нашествия варварских племен и до разделения церквей. Цель бесстрашно стремившихся в среду врагов христианства отшельников была, конечно, не иная, как исполнение святого долга*. Такой подвиг, к великому нашему утешению, имел и у нас в описываемое нами время подражателя, и, к нашему прискорбию, едва ли не единственного. У нас о нем забыли, и мы считаем обязанностью о нем напомнить.

Московский митр. Платон, передав еще в 1811 г. управление епархией викарию своему епископу дмитровскому Августину, с того времени оставался на покое в основанной им близ Троицкой лавры Вифанской пустыни. Изнуренный болезнями еще более, нежели летами, семидесятипятилетний старец не имел довольно сил, чтобы встретить императора Александра в Москве, когда тот приезжал на короткое время в столицу за два месяца до занятия ее неприятелем. Платон послал государю свое письмо и благословил иконою, написанною на гробовой доске св. Сергия чудотворца. Но когда стал приближаться враг к стенам столицы, митрополит перемог свою телесную слабость и в самый день Бородинской битвы, 26 августа, никем не ожидаемый, прибыл в Москву. Викарий московский в то время помышлял уже о своем из нее удалении; Платон решительно объявил, что он остается в городе с жителями, которые, конечно, не все из нее выйдут, с ранеными, которых, говорил он, в нее привозят. Никто, вероятно, ниже сам Растопчин, не смел его удерживать от его святого намерения. Он считал присутствие свое в столице полезным в дни бедствия отечества и, несмотря на убеждения всех его окружавших, не хотел выехать. «Что сделают мне они?» – твердил бесстрашный старец. Наконец, уже 31-го августа, когда все распоряжения к отправлению из Москвы святыни и церковного имущества начали приводиться в исполнение, он уступил необходимости и выехал в Вифанию. Там тоже оставался он недолго: наместник и монахи убедили его выехать в недальний от лавры монастырь. По выходе неприятеля из города возвратился он в лавру и вскоре там скончался[9].

Что можем сказать о сонме всех московских пастырей и их пастыре-начальнике Августине, предавшихся бегству, по собственному выражению покойного Филарета, который строго взвешивал каждое слово и тем более им написанное в официальной бумаге, напечатанной еще при его жизни. Будем,

---

* История церкви полна подобными подвигами самоотвержения в лице своих пастырей. В той самой стране, которую у нас в 12 году все называли безбожною, за 20 лет перед тем французские священники тайно отправляли богослужение, воспрещенное законами Террора. Они не страшились смерти, и многие из них были гильотированы (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

впрочем, надеяться, что не оставят нас без ответа и что дальнейшие изыскания выставят в другом, лучшем свете поведение нашего столичного духовенства 1812 года[10].

До сего времени никто и не подумал поставить вопроса о том, имели ли право церковные пастыри оставлять пасомых, не нарушили ли святого долга, пещись о своих духовных чадах, быть послушливыми даже до смерти заповедям своего божественного Пастыреначальника? Нет никакого сомнения, что Платон, поступив так, как он хотел, по внутреннему и святому влечению высокой своей души, подвергся бы нареканию не только правительства, но и всего народа, что его не пощадила бы и сама наша народная история, по крайней мере до нашего времени, в которое я едва ли не первый дерзаю поставить эти вопросительные знаки на общее о них суждение. Припомним здесь, что удаленный из Петербурга в Нижний Новгород Сперанский за одно неосторожно вырвавшееся у него замечание в беседе у архиерея о том, что нашему духовенству нечего бояться Наполеонова нашествия, был немедленно выслан в Пермь графом П.А. Толстым[11], человеком, впрочем, достойным всякого уважения. Вероятно, все это вместе или отчасти представлялось как неодолимое препятствие уму Платона и легко могло быть подсказываемо ему из собственных личных видов немногими приближенными. Мог ли он не уступить обстоятельствам и духу времени?

Так или иначе, смешение понятий о христианской церкви понятиями, назовите как угодно, о правительстве, государстве, народе до сих пор спутывает и перепутывает высшую идею веры с земными идеями государства, общества, народности. Церковь не знает ни иудея, ни эллина, ни господина, ни раба; в свои объятия принимает она человека; царство ее не от мира сего. А мы все еще разделяемся с ней на народы по племенам и на языки по наречиям, а мы все еще силимся в святые ее недра вместить для нее невместимые наши народные страсти, нашу международную ненависть[12].

* * *

По поводу слуха о том, что в Англии сделаны были огромные денежные пожертвования в пользу разоренных москвичей, что о них теперь забыли, да вряд ли где позднейшими нашими историками и упоминалось, – я относил эти жертвы англичан прямо на Москву, помня очень живо, какое сильное впечатление произвело в Великобритании самосожжение нашей столицы. Прочитав на днях в «Русской старине» за январь 1870 года статью под заглавием «Из архива Шишкова»[13], я считаю обязанностью исправить мои не совсем точные показания по этому предмету. Пожертвование тогдашними верными и единственными нашими союзниками довольно значительной суммы предложено было всем разоренным, а не одним москвичам, и эти суммы были приняты императором Александром, не взирая на то, что тогдашний канцлер граф

Румянцев, донося государю об этом предложении, умолял его величество «отклонить сие приношение народа чуждого и иноплеменного великодушным подданным его Империи и не допускать иностранцев иметь когда-либо повод хвалиться или упрекать Россию своим подаянием». Узкий патриотизм Румянцева подозревал в англичанах намерение «привить нашему народу новые привычки, а между крестьянами поселить привязанность вместо отечественной простоты к тем иностранным прихотям, которым одни только англичане удовлетворять в состоянии». (Донесение Румянцева от 3 января 1813 г. СПб.) Предлагаемое пожертвование по 50 р. на каждое лицо в первом английском проекте допускалось, если найдено будет удобно, и товарами. Затем тут же напечатан следующий ответ, собственноручно писанный карандашом государем и присланный им к Шишкову для исправления. Сообщаю его с немногими выпусками. «Пора погасить в нас дух надменности, пора в иноплеменных видеть братьев. Нет стыда ни унижения принять для разоренных частных лиц пособие от человеколюбивых обитателей другой страны. Что же касается до привлечения русского народа к чужим привычкам, на этот счет можно быть спокойным – привязанность его к своему явно выказывается везде и во всех случаях». В заключение предписывается канцлеру сообщить о том великобританскому у нас послу[14] и доставить государю весь ход дела для принятия нужных мер[15].

Моему в отношении национальностей беспристрастию весьма желательно было бы знать суждение нашей современной публики по случаю подобных воспоминаний уже отдаленного от нас времени. Будет ли оно произнесено в пользу дальновидной и вместе подозрительной предусмотрительности канцлера Румянцева или возвысится до благородных, гуманных воззрений Александра I на политику, которую, особливо в то время, подчинял он идеям христианской нравственности.

ДОПОЛНЕНИЕ К МОИМ ЗАПИСКАМ

В конце 1810 или зимой 1811 г., а может быть, и в начале 1812 г. Андрей Петрович Потемкин, умный и общительный священник нашей приходской тогда, как и теперь, церкви Николы на Песках близ Собачьей площадки, представил моему отцу замечательного чудака отставного кавалерийского майора Полева. Сухой, белокурый, с проседью, с восторженным иступлением постоянно говорил он о единоверных нам греках и единокровных славянах, писал и читал множество проектов о их освобождении от турецкого, австрийского и тогдашнего французского ига (в Иллирии, на Ионических островах), представляя различные планы их вооружению и нашему с ними теснейшему союзу против замыслов угнетавшего тогда всю Европу, а вместе с нею и нас, Наполеона I. Я помню эту какую-то загадочную фигуру, тощую, желто-

белую, его судорожные телодвижения, его выношенные одеяния, то военный потертый сюртук, то белый, испачканный кавалерийский мундир. Речь его поражала меня, мальчика, столько же, как и его славянизм, разгоревшийся до угара, но еще не достигший тогда прозвания славянофильства. Проекты его писаны были самым высоким слогом, испещрены текстами библейских и апокалиптических пророчеств и звучали, как позлащенная в горниле медь, церковными выражениями. Помню, что на каждой странице были какие-то точки и ряд восклицательных знаков. Бедный мечтатель, а чего доброго, может, и преждевременный глубокий политик, Полев постоянно жаловался, что на его великие замыслы никто не обращал внимания, что влиятельные лица того времени, как в Петербурге, так и в Москве, после первого свидания преграждали ему свободный к себе доступ, и казалось ему, да чуть ли и не справедливо, считали его помешанным. По всему было видно, что он находился в крайней бедности; в нашем доме известно было всем, что отец помогал ему деньгами; балованная прислуга смотрела на него свысока, а рассчетливая моя тетушка, Елена Яковлевна, поглядывала искоса, когда он, бывало, с голодухи зачастит являться к нам в дом к обеденному часу[16]. Огромные тетради его руки погибли с нашим домом в пожаре 1812 г., немногие сохранились в Солнышкове по смерти отца, но и те исчезли. Совсем неожиданно напал я на один из проектов Полева в сухановских бумагах, оставшихся после фельдмаршала князя Волконского, обрадовался ему, как бредням моего детства. Постараюсь, если и эта рукопись не утрачена, ее отыскать и с ней кой-кого познакомить.

Мне бы хотелось открыть какой-нибудь след об этом человеке; кроме того, что я уже о нем сказал, более в памяти моей ничего не осталось; куда он девался, бежал ли в эпоху 12 г., с кем, кроме моего отца, бывал знаком в Москве – ничего не знаю.

Между тем в новом историческом ежемесячном сборнике, издаваемом в Петербурге под названием: «Русская старина», находим мы все подробности замышленного императором Александром I предприятия поднять против Наполеонова владычества турецких славян и воспользоваться их силами в помощь нашему вооружению к приготовлявшейся тогда неизбежной с ним борьбе 12 года. Отсылаю читателей моих к отрывку из «Записок» Чичагова[17], напечатанному в «Русском архиве», и делаю из него самое краткое извлечение.

Император Александр сменил Чичаговым Кутузова, начальствовавшего в нашей Дунайской армии, поручил первому заключить мир с Портой и убедить ее дать свое согласие на вооружение против Наполеона всех славянских племен, а по заключении по этому обстоятельству особенного договора с Портой способствовать их поголовному ополчению и открытию с нашей помощью военных против Наполеона действий в подвластной французам Иллирии и в бывших республиках, Рагузской и Ионических островов.

Позволяю себе сделать тут одно скромное замечание. Если предположения полусумасшедшего Полева казались года за два перед этим слишком смелыми и нисколько не помогли ему в его нищете, а напротив, может быть, ее только что усугубили, то инструкции относительно возбуждения славян, данные Чичагову, кажутся мне несравненно наивнее. Не странно ли было, хотя на одну минуту, остановиться на том, что Порта, нисколько неравнодушная к своей политической самостоятельности и постоянно просветляемая в этом отношении другими кабинетами, особливо в отношении к нам и нашей, над ней висящей грозе, так себе тотчас и согласится передать в наши руки и в теснейший союз с нами исконных свои врагов, христиан, да сверх того еще и вооруженных нами. Попытка Чичагова, конечно, не удалась. Так с давних времен, начиная с несчастного в 1710 г. Прутского мира, путает и связывает по рукам и по ногам нашу политику этот роковой восточный вопрос, к которому в настоящее время суровыми нитками пришиваются и немецкие, и итальянские славяне. Всего, что нам необходимо было приобресть от Порты для прочной самостоятельности и независимости самой России, мы достигли войнами Екатерины и счастливым сверх ожидания Бухарестским миром перед Отечественной войной. Остальные наши *pia desideria**, по моему мнению, принадлежат политическим мечтаниям, и все наши попытки в этом роде были часто неудачны, а иногда и вредны. Не время ли остановиться?

Указав на Полева и Чичагова, нельзя не перейти к современному нам военному писателю, генералу Фадееву[18]. Генерал Фадеев сделался особенно известным брошюркой своей 1868 г. под названием: «Вооруженные силы России». Поводом к этому сочинению, столько же патриотическому, сколько и учено-военному, была главная мысль, преследующая автора вместе со многими нашими писателями, – мысль о том, что Европа против нас, что она нам в чем-то будто бы завидует, чего-то от нас боится, за что-то нас в одно и то же время во всех своих углах и ненавидит, и презирает, и постоянно готовит нам войну. В другой брошюрке генерала Фадеева мнения о восточном вопросе весьма замечательны, и, просим у него извинения, этот еще более, чем Полев, мечтательный писатель кладет в основу русской политики такую огромную задачу, что, в самом деле, когда мысль его будет у нас сознана (допустим такое отчаянное предположение), то вся Европа неминуемо будет против нас. Генерал Фадеев предполагает ни более, ни менее: 1) уничтожение Турции, 2) присоединение к России Червонной Руси, т.е. Галиции и Буковины, 3) учреждение из всех славянских земель Турции, Австрии, а также и Царства Польского федеративных государств и вассальных России их престолов в одной династии, преимущественно у нас царствующей, и наконец подчинение оных русскому царю, в полном распоряжении которого долженствуют быть

---

* благие намерения (*лат.*).

все союзные войска и крепости, и наконец, признание Царьграда вольным городом славянского союза и, следовательно, непосредственная зависимость этой всемирной гавани от Российской державы. Таковы крайности политических идей, обнародованных в 1869 г. автором брошюры. Не знаю, какой успех имели они у нас, но могу свидетельствовать, что вся европейская пресса не оставила их без особенного внимания и возбудила повсюду опасения кабинетов и народов против наших политических стремлений. Опасения эти были, конечно, преувеличены; брошюра и выраженные в ней мнения принадлежат, вероятно, одному автору, и обнародование оных обнаруживает, конечно, бестактность генерала и военного писателя, напоминающую фатальную для Франции систему Наполеона I, раздающего престолы; тем не менее брошюра нашла сочувствие в Богемии, если правда, что город Прага поднес автору грамоту на почетное гражданство.

В этих же годах, 1811 и в начале 1812, видал я у моего отца другого известного энтузиаста, Василия Назаровича Каразина[19], который на короткое время находился в особенной милости у императора Александра в самом начале его царствования, а потом, по удалении от двора, сделался главным участником основания в Харькове университета. Он также вследствие необузданной своей восторженности подвергался разным гонениям, издавал в 1817 г. в Харькове ученый и весьма интересный журнал, кажется, Филотехнического общества, не раз сидел в крепости и был изгоняем при Николае Павловиче то из Петербурга, то из Москвы. Каразин дарил меня, еще мальчика, разными учебными книгами, картами и таблицами. В 1830 г. нашел я его уже в старости, но все еще пылкого и летами не умиротворенного, в Харькове, где по его просьбе перевел для него на французский язык написанный им, но измененный во многом, проект университетского устава. Считаю не лишним упомянуть об одной напечатанной в журнале Каразина статье Ломоносова, опущенной в полном издании сочинений последнего. Вероятно, она сочтена была издателями этих сочинений слишком смелою или задержана духовной цензурой. Ее бы очень не мешало вывести на свет Божий в наше время, более свободное для печати. Статья была под заглавием: «Мнение Ломоносова о русских постах». Великий русский поэт и великий русский ученый с беспримерной открытостью исчислял весь вред продолжительного русского пощения, приписывал ему упадок рабочих сил, смертность, особенно в детях и даже возрастных при быстром переходе от широкой масленицы к 7-недельному сухоядению, так же, как и после Рождественского, а иногда и Петровского поста, и указывал сверх всех этих неудобств на великий от постов вред для самого сельского хозяйства. Ломоносов утверждал, что до тех пор, пока будем мы соблюдать наши посты во всей их строгости, т.е. поститься более чем половину года, до того времени не разведем мы, насколько это возможно и необходимо, нашего рогатого скота, не пользуясь, по религиозным убежде-

ниям, постоянно, как бы следовало, мясом, молоком, сыром и пр. Ломоносова, вероятно, никто из наших современников не заподозрит в равнодушии к православию, потому-то в нем подобный простор мысли особенно замечателен своею беспристрастностью.

Был еще один из батюшкиных знакомых того времени много-ученый масон Николай Александрович Головин[20], брат генерала Головина, мистика и обращателя coûte que coûte* разных чухонцев в остзейских провинциях. Знакомый наш проживал как-то в нашем доме и готовился мне в наставники, но почему-то этого не случилось. Езжал еще к нам старик, отставной моряк, князь Григорий Алексеевич Долгорукий[21], племянник его, теперешний петербургский сенатор, женатый на Давыдовой[22], заверял меня, что этот его дядя был тоже великий масон и тоже, как и упомянутый Головин, будто бы знаменитый эбраист[23], чем, по намекам рассказчика, отличается и нынешний племянник, но я о том знал ли и знает ли тот и другой Долгорукие по-еврейски, справок не наводил.

---

* любой ценой (*фр.*).

ЗАМЕТКА О СМЕРТИ ВЕРЕЩАГИНА[1]

Весьма часто народные предания, основанные на недостоверных и преувеличенных слухах, еще при жизни современников становятся легендами, вносятся в историю и ее искажают. Так может случиться и с переданным мне рассказом Обрескова о трагической смерти Верещагина. Этот рассказ очевидца, близкого моего родственника, сообщен был мною другу и товарищу моему по университету М.А. Дмитриеву; но в статье его о том, напечатанной недавно в его книге «Мелочи из запаса моей памяти»[2] (стр. 238), к достоверной повести прибавились недостоверные слухи, и я обязанностью считаю сделать к ней поправку от моего в ней упомянутого имени.

Вот в коротких словах то, что рассказывал мне Василий Александрович Обресков, тогдашний адъютант графа Растопчина, впоследствии московский полицеймейстер.

«Когда доложил я главнокомандующему о приводе Верещагина из острога, граф приказал мне провести его к главному подъезду своего дома (на Лубянке), сошел с верхнего этажа на крыльцо, объявил Верещагина стоявшей тут толпе изменником отечества и приказал драгунам рубить его насмерть палашами. Драгуны замялись, приказание повторилось. Удары тупыми, неотточенными палашами последовали, но не могли в скором времени достигнуть цели. Растопчин велел толпе докончить заранее обдуманную им казнь за измену и тотчас же удалился вместе со мною по той же парадной лестнице в верхний этаж дома»[3].

Все остальное, напечатанное Дмитриевым, о том, что Растопчин немедленно сошел по задней лестнице на другое крыльцо, что он сел там на дрожки и выехал безвозвратно из Москвы, – это принадлежит не рассказу очевидца, а другим различным слухам, которые, впрочем, может быть, и сам я передал Дмитриеву, но не иначе как слухи.

Слухи эти дают совсем другой вид событию. Потомство не имеет права обвинять Растопчина в убийстве по расчету, в убийстве для спасения своей жизни.

В таком обвинении я умываю руки. Растопчин мог быть и, по моему убеждению, был преступным убийцею Верещагина, но он не мог быть и не был убийцею из трусости. В этом ручаются нам вся его жизнь и каждая его строка, до нас дошедшая.

Невольно, так сказать, привлеченный защищать память Растопчина от самого подлого расчета, я никак, однако, не буду оправдывать зверство его поступка. Верещагин был убит Растопчиным, а не казнен по произнесенному над ним законному приговору главнокомандующим столицы. Верещагин

был жертвою фанатического бешенства. Над ним, по обвинению того же Растопчина в государственной измене, не было произведено законное следствие как над обвиняемым в государственном преступлении, не был произнесен законный судебный приговор. Совершенная над ним казнь, если это только была казнь, а не убийство, не была конфирмована верховною властью. Если Растопчин по тогдашним обстоятельствам имел право на жизнь и смерть, то орудием казни должны быть палачи или расстреливающие по приговору военного суда рядовые[4], а не драгуны с их тупыми, неотточенными саблями, а тем паче не чернь, которую Растопчин вовлек в страшное преступление проливать кровь неповинную. Нет никакой причины предполагать того, о чем и народное предание умалчивает, о чем и молва до нас, современников, не доходила, чтобы смерть Верещагина была в то время необходима как неизбежный пример, как единственное средство к усмирению бунтующей черни. Народного бунта никакого не было; да если и могли быть к нему какие-нибудь признаки, не было нужды в его усмирении таким отчаянным способом за несколько часов до сдачи столицы неприятелю: буйной толпе было бы и без того над чем потешиться.

И до таких чудовищных размеров неистового разгула власти мог дойти – кто же? – граф Растопчин, верный слуга трех царствований, человек, известный у нас независимым и благородным своим характером, тщательно предохранявший себя от нередких в то время привычек самоуправства, как администратор, как помещик, как глава семейства; Растопчин, один из самых образованных людей Европы нашего почти времени, знаменитый двигатель русской политики, друг Суворова и всех замечательных деятелей эпохи, известный остроумною, увлекательною любезностью в высших кругах своего и европейского общества, даровитый писатель, вельможа, окруженный почестями, уважением, богатством, семейным счастием. Освобождая его память от упрека в несвойственной характеру его трусости, к чему можем мы отнести злодеяние, им совершенное? Ставить ли в заключение вопрос о том, что было бы стерпимее для совести Растопчина при жизни и менее позорно для его памяти по смерти: убийство ли по расчету, или убийство по таившемуся в его природе варварству?* Видно, бывают иногда такие тяжкие часы в человеческой жизни, когда лучшие из людей, увлекаемые необузданною христианством страстью к своему родному и раздражаемые ненавистью и мщением ко врагу, с подмостков своего величия стремглав падают на последнюю сту-

---

* Незадолго до убийства Верещагина Растопчин без суда подверг торговой казни своего повара француза. Он хвастался этим подвигом, повторяя везде остроту: «J'ai fait naturaliser Russe mon chef de cuisine» («Р[усский] арх[ив]» 1869). Способ обрусения старинный, хотя самое слово тогда, как теперь, не имеет еще места в наших словарях (*примеч. Д.Н. Свербеева*). Перевод и подробное описание этого случая см. с. 833, примеч. 5.

пень бешенства. В наше время принадлежит психиатрии, а не истории судить таких безумцев.

Сопоставление трагических имен Верещагина и Растопчина наводит на нас страх за новое наше поколение, воспитываемое среди развитой пред ним свободы всеми обольщениями народного чувства, всеми увлечениями международной ненависти.

Лет через десять после двенадцатого года граф Растопчин жил с семьей в Париже. Близкие ему люди рассказывали мне там, что он мучился угрызениями совести, что тень Верещагина по ночам являлась ему в сонных видениях[5].

НЕКРОЛОГ
[М.П. ДОХТУРОВОЙ И А.П. ОБОЛЕНСКОГО][1]

15-го марта 1852 г. скончалась здесь в Москве после тяжкой болезни на 81 году от рождения кавалерственная дама Марья Петровна Дохтурова[2], вдова генерала от инфантерии Дмитрия Сергеевича Дохтурова[3], знаменитого вождя славных 12, 13 и 14 годов. Искушенная скорбями и утратами, которые понесла она в течение всей многолетней жизни, раннею смертью детей: сперва незамужней дочери, а потом и двух сыновей[4], едва достигших преполовения дней своих, и оставивших ее попечению сирот, – она с христианским смирением, безропотно переносила эти лишения.

И незадолго до блаженной кончины посетила ее новая, глубокая скорбь, которая, быть может, своею внезапностью ускорила переход ее в вечность, – весть о болезни и скорой потом кончине ее брата, князя Андрея Петровича Оболенского, скончавшегося 19-го февраля. Она, как и все братья и сестры покойного, любила и почитала его вместо отца, и ближайшая ему по летам, делила с ним все свои скорби. Узнав о его кончине и не имея уже в преклонной старости своей довольно сил, чтобы отдать последний долг милому праху, она прибегла к молитве – постоянному своему утешению; но в этот раз и тяжкая скорбь, и самое время взяли свое. Истощенная летами и утратами, не перенесла она этого нового горя, переполнившего чашу: тяжело занемогла и слегла, медленно в продолжение 15 дней приближаясь ко гробу. Два раза, во время болезни, сподобилась она Св. Причащения; приняла таинство Елеосвящения, и, устроив при себе все земное, за шесть дней еще до смерти, в твердой памяти, с совершенным сознанием, выслушала последние, предсмертные молитвы, непрестанно молясь с того времени о ниспослании ей желанного конца и прося всех родных и близких молить за нее о том же.

Такая вера и любовь были неизменными спутницами всей ее жизни.

Еще другое, благородное, истинно русское чувство наполняло ее сердце и было ей утешением – чувство глубокой, нелицемерной преданности, живой беспредельной признательности к державным своим благодетелям. Благословенной памяти император Александр и ныне благополучно царствующий император всемилостивейшими щедротами с избытком обеспечили вдовью ее жизнь и воспитание детей, а потом и внуков, за верную службу царю и отечеству доблестного ее мужа. В последние годы усопшей его величество государь император благоволил и еще вспомнить труды и подвиги генерала Дохтурова и всемилостивейше повелел поместить двух родных внуков ея[5] в пажи.

19-го марта тело Марьи Петровны Дохтуровой погребено в Новодевичьем монастыре, возле могил сына и дочери.

Не лишним будет сказать теперь несколько слов о скончавшемся, почти ровно за месяц, брате покойной, князе Андрее Петровиче Оболенском как

о близком по крови, по времени рождения и смерти и долговременном ее спутнике[6].

До сего времени один только г[осподин] непременный секретарь Императорского Московского общества сельского хозяйства, С.А. Маслов, нашел приличный случай – и так прекрасно и благородно им воспользовался в заседании 23-го февраля – почтить память А.П. Оболенского. Постараемся и мы, хотя несколько и поздно, воздать должное его памяти и показать то место, то значение, какие могла иметь его долгая, скромная жизнь в русской общей жизни, как ближайший пример семейного нашего быта, одного из самых драгоценных наших наследий.

Мирно скончался исполненный дней князь Андрей Петрович 19-го февраля 1852 года, на 83-м году своей доброй жизни. Болен он был недолго: дней пять-шесть, не более. До самого последнего дня занимался текущими делами и заботами о своем семействе. Еще накануне кончины, уже болезненный и как бы внезапно одряхлевший, принимал он родных, всегда близких его сердцу, и расспрашивал с любовью о их собственных семейных отношениях. Жена, сыновья, дочь, зятья и братья[7] не оставляли его ни на одну минуту. Для них – для того, чтобы не возбудить в них преждевременных за себя опасений, видимо, боролся он с болезнью и не уступал ей, сколько мог. Со страхом Божиим, верою и любовью принял он Святые Тайны, с живою верою в неистощимое милосердие Божие, окруженный чистою и пламенною к нему любовью супруги, детей и братьев, тихо переселился к отцам своим. Почти последние слова его были: «Как сладко мне быть больным: сколько любви меня окружает».

Служебное его поприще было непродолжительно, по сравнению с долголетнею жизнью; но и на нем вполне выразилась особенность его характера и деятельности.

Сначала, еще в царствование Екатерины II, служил он в обер-офицерских чинах в гвардии; потом (как сказано в послужном его списке) взят ко двору ее величества камер-юнкером. При императоре Павле пожалован церемониймейстером ордена Св. Анны с чином действительного статского советника и, с тем же чином и званием, в 1799 году уволен от службы. 1-го января 1817 года назначен был попечителем Московского учебного округа. 1818 года января 9-го дня всемилостивейше пожалован кавалером ордена Св. Анны 1-й степени. В апреле 1819 года – тайным советником; а в июле 1825 года всемилостивейше уволен от службы.

Лучшим временем служебной деятельности князя было 8-летнее управление его Московским учебным округом. Не будучи ученым, он любил и уважал просвещение и ревностно послужил ему. Из всех наук твердо знал он одну – и мудреную, и простую – науку жизни! Прекрасно и вместе справедливо сказал об этой эпохе его жизни С.А. Маслов. Повторим несколько

слов его. К ним нечего прибавить. «В течение нескольких лет попечительства князя университет возник из пепла. Помню, какое патриархальное, отеческое было его правление. Помню настрой чувств между учащими и учившимися. Это была общая семья, в которой князь Андрей Петрович был старший, всеми чтимый»[8].

Каким же был в своих общественных и семейных отношениях тот, который успел соединить в одну общую семью такое сложное и многолюдное управление? Еще при жизни своего родителя – князя Петра Александровича[9], сын его князь Андрей Петрович получил преемство полного старейшинства над своими пятью братьями и четырьмя сестрами[10]. Отец князя, по смерти своей жены, а его матери урожденной княжны Вяземской[11], будучи еще в поре мужества и силы, решился всю остальную жизнь свою посвятить самому строгому уединению: отказался от света, перешел в отдаленный уголок своего дома, передав старшему сыну хозяйство и управление делами, сам пребывая в тишине и молитве. С любовью по временам принимал он своих детей и умножавшихся внуков; но принимал только у себя, в своих небольших комнатах и не всех вместе, чтобы не возмутить своего молитвенного покоя даже и семейным небесшумным веселием. Он уже не садился за благословенную семейную трапезу, на которую сходились его потомки: в его место был там другой старший – князь Андрей Петрович.

Так просто началось это старейшинство, продолжавшееся более полувека. Молитвенный родоначальник скончался тихо, как бы незаметно, оплаканный детьми своими; место его давно было занято. И вот, с того самого времени, за пятьдесят лет до дней последних собирается благословенная семья в отеческом доме, за благословенную трапезу в великие дни святых праздников; в веселые дни семейные – зимою в Москве на Рождественку, летом в подмосковное село Троицкое.

Начинает редеть старшее поколение, постигают неизбежные, ранние утраты и второе, прибывает новое третье и занимает убылые места. Князь Андрей Петрович бодро и весело остается на своем; встречая радушным приветом и добрым словом новых гостей – своих внуков, приходящих в возраст и представляемых ему прежде вступления их в общественную жизнь. Всех он любит, и все его любят и уважают *в отца место.* Старшие по нем этому уважению и этой любви подают пример, которому так легко, так приятно следовать средним и младшим членам семейства, братья его и сестры, из коих меньшему и меньшей теперь близ 70 лет, перед ним как нежные и послушные сыновья и дочери. Ничего важного не начинается ни в одной из боковых линий без его совета и благословения.

Так жила эта семья, и так собиралась она (в полном своем собрании доходившая до 80 человек во втором поколении и до 150 человек в третьем[12]) под кров этого дома, и всегда неизменно одинакова была ласковая встреча

всем и каждому от старейшины семейства. Нужно ли после этого говорить, что каждый их 80 членов благовременно и безвременно мог приходить к князю А[ндрею] П[етровичу] за добрым советом и утешением, за покровительством и помощью? И всякий выходил от него с пособием, наставлением, утешением.

Московское общество не могло равнодушно смотреть на такую семью, и князь Андрей Петрович был часто призываем на советы людьми посторонними. Многие вверяли ему судьбу своих сирот, и ему же поручали по смерти значительные суммы для дел тайной благотворительности.

И вот там, где бывало так долго и часто трапезовала, – собралась она, вся эта семья, и стеснилась около его гроба, с горькими о нем слезами, с горячими о нем молитвами; потом проводила его 22-го февраля до мирной Донской обители, опустила в могилу, засыпала землею. Крестьяне подмосковных сел князя отнесли туда на руках своего доброго помещика.

Да! Правдивы были последние слова твои, добрый милый наш старец: «Сладко было тебе быть и больным: сколько любви тебя окружало!»

Будем желать одного: чтобы память о князе Андрее Петровиче не оставляла благословенную эту многоветвистую семью; чтобы его добрая жизнь и тихая кончина были для нее союзом взаимной любви и надолго остались для всех примером семейных добродетелей.

Н.И. ТУРГЕНЕВ[1]

Полувековой боец за освобождение России от крепостного ига, видевший, как старец Симеон, *своими очима*[2] светлый день ее спасительного возрождения и имевший счастье целым десятилетием пережить эту эпоху, Н.И. Тургенев скончался на днях в своей вилле Вербуа в окрестностях Парижа. Дальнейшие подробности его смерти до нас дойти еще не успели.

82-летний Тургенев долго памятен будет всем, желающим утвердить в России благовременную свободу и благонамеренное просвещение. Такой деятель стоит полной биографии, в наставление современникам и потомству. Мы скажем здесь только то немногое, что о нем знаем и помним. Чтобы изобразить как следует всю его жизнь во всей ее полноте, мы не имеем для такого труда ни авторского таланта, ни достаточного времени, ни даже под рукой тех источников, которые, вероятно, будут отысканы и собраны.

Н[иколай] И[ванович] родился в конце 80-тых годов прошлого столетия. Отец его Иван Петрович[3] был директором Московского университета, и всех своих 4-х сыновей – Андрея[4], умершего в молодости, Александра, известного в Европе, этого самого Николая и Сергея, скончавшегося во цвете лет и бывшего советником нашей константинопольской миссии, вверил профессору Антонскому, воспитавшему их в Москов[ском] университ[етском] пансионе, вместе с Жуковским, Дашковым и другими лицами, более или менее известными в России заслугами или литературными талантами. Тургеневы завершили потом свое образование в Гёттингене. Когда знаменитый барон Штейн[5], заклятый враг Наполеона I-го, искал и нашел убежище от его преследования, вступив в русскую службу, Николай Тургенев последовал за ним в конце 12-го или начале 13-го г. в Германию и у сего-то государственного мужа, так много послужившего возрождению Пруссии и всей германской свободе, научился наш пылкий юноша страстно и пламенно любить свою отчизну, и любить не одну ее, а все человечество и отстаивать, защищать вечные права его. Воротясь еще молодым человеком, он обратил на себя внимание правительства и общества своей книгой под названием «Теория налогов» (1815). Под руководством Сперанского занимался он в Комиссии составления законов разными законодательными проектами в свободолюбивом духе и в то же время деятельно служил в звании помощника статс-секретаря Государственного совета по департам[енту] законов, где председательствовал отличавший его Н.С. Мордвинов, и, кроме всего этого, Тургенев имел еще особенные поручения по Министерству финансов. Барон Штейн был главным деятелем уничтожения крепостничества в Пруссии. Наш Тургенев едва ли не первый из всех, еще до 20-х годов столетия, во всеуслышание с восторженною дерзостью начал свою проповедь освобождения русских крестьян, подавал проекты и составил неудавшееся на первый раз открытое общество

из немногих влиятельных помещиков, желавших подать собою пример освобождения своих крепостных. Император Александр нашел такое общество неблаговременным. Барон Штейн был одним из основателей тайного в Германии общества, известного под именем Tugendbund'а[6]. Тургенев, преследуемый одною заветною мыслью добиться во что бы то ни стало освобождения крестьян, вступил в тайное Северное общество при самом первом его образовании. Когда Никита Муравьев[7], восстановляя распадавшийся Союз благоденствия и при нем тайное Северное общество, учредил для управления оного думу, ее первыми членами были, кроме самого Муравьева, князь Евгений Оболенский и Н.И. Тургенев. Последний, однако, не принимал новых членов, отличаясь особенною умеренностью, неоднократно изъявляя, что главною его целью было достижение свободы помещичьих крестьян, распространение в России народного образования и свободной печати. При отъезде за границу в апреле 1824 г. Тургенев разорвал все свои сношения с обществом и считал себя вышедшим из него, как сказано на стр. 430-й VI тома «Истории Императора Александра» сочинения Богдановича[8], где автор в своих примечаниях ссылается на показания Никиты Муравьева и Пестеля и на записку об участии в тайном обществе самого Николая Ивановича (приложение к тому же тому стр. 56, прим. 25).

Пишущий эти строки, не встречаясь ни разу с Тургеневым, знал о нем понаслышке и узнал коротко из его переписки с братом Александром. Не будем останавливаться на известных всем следствии и Верховном уголовном суде, на обвинениях первого и приговорах последнего, которыми сперва обвинен, а потом осужден был и отсутствующий, но не явившийся по приказу к ответу из чужих краев Тургенев. Обо всем этом писал он подробно сам в своей книге «La Russie et les Russes»*. Остановимся на самой личности Тургенева.

Я встретился с ним в первый раз осенью 1833 г. в Женеве, за неделю перед его женитьбой. Тургенев знал меня по рассказам и письмам брата своего Александра. Я нашел в нем человека с небольшим лет под 40, слегка прихрамывающего, но гораздо менее светского, блистательного, симпатичного, каким был всегда старший его брат Александр, и в то же время более серьезного, глубже ученого, редко веселого, иногда пасмурного и задумчивого. Таким представился он мне в счастливую минуту своей жизни, за несколько дней до свадьбы на дочери Пиемонтского изгнанника генерала Виариса[9], подобно ему лишенного отечества и, сверх того (чего не было с Тургеневым, благодаря братской дружбе), лишенного при старости всех средств к жизни.

Невольное пребывание его за границей было невыносимо тяжело. Во Франции Карла X он не мог надолго поселиться. Все путешествующие и пребывающие в Париже, наши земляки, за весьма редким исключением, бе-

---

* «Россия и русские» (*фр.*).

гали от него, как от заразы, а он все еще душой и сердцем жил в России и дышал одним ее духом. Он не мог даже ходить в русские посольские церкви, которые по народному праву находятся законно на русской почве, пользуясь так называемым le droit d'exterritorialité*: там неминуемо встретили бы его появление враждебными взорами все посетители, а чего доброго, думал он, и законное преследование. Церковь посольская, единственная в Париже нашего исповедания, недоступна была ему даже к исполнению обычного говенья. Поэтому-то не мог он и венчаться в нашей посольской церкви в Берне, а должен был обратиться для совершения над ним таинства к греческому иеромонаху, временно пребывавшему в Женеве. Нелегко было им с братом найти и законных свидетелей предстоявшей свадьбы. При мне об этих затруднениях говорилось не раз между ними обоими, но прямого приглашения в свидетели брака сделано мне не было. Я воспользовался их молчанием и, признаюсь, в душе был рад, что таким образом мог прилично от них отделаться, ибо, по тогдашним моим понятиям о Николае Тургеневе, я видел в нем государственного преступника, законно лишенного всех прав состояния. В 1833 году я находился еще под влиянием той среды нашего общества, которая беспощадно осуждала недавние волнения в Петербурге. К счастью, вызвались на свидетельство брака два молодые братья Викулины, я же оставил Женеву до свадьбы и уехал с женой пожить в Веве. Перед самым моим отъездом из Женевы целый день проспорил я с женихом Тургеневым об эмансипации, которую я тогда не совсем понимал и за возможность исполнения боялся. Описав эту нашу первую встречу, ворочусь назад. Все время следствия и суда над ним Н.Тургенев прожил в Париже. На свидание с ним ехал туда меньшой брат Сергей; старший Александр подозревал в Сергее признаки помешательства, что видно из письма Жуковского к Е.Г. Пушкиной из Лейпцига[10] в апреле 1827 года**. В том же 1827 г. 2-го июня Сергей Тургенев умер в Париже на руках Жуковского и братьев. Убитого новым горем Александра утешали Свечина и графиня Разумовская[11]. Оба брата Тургеневы в начале 1828 года были в Англии и посещали в Эдинбурге Вальтер-Скотта в его историческом замке[12]. Сколько нам известно, Николай Тургенев остался в Англии до июльской революции и возвратился в Париж на постоянное житье вскоре по изгнании из Франции законного ее короля[13], после которого (par des circonstances à jamais déplorables***, как сказано было в автографическом письме императора Николая к новому королю) начал царствовать Луи Филипп. Обоих Тургеневых тянула к партии орлеанистов умеренность ее политики, средней между

---

* Правом экстерриториальности (*фр.*).

** В XIX веке, кн. 1-я, стр. 411 (*примеч. Д.Н. Свербеева*). (Имеется в виду публикация П.И. Бартенева: Письма В.А. Жуковского к Е.Г. Пушкиной // Девятнадцатый век: Исторический сборник. М., 1872. Кн. 1. С. 411.)

*** в силу крайне неблагоприятных обстоятельств (*фр.*).

ничему не научившимися и ничего не забывшими легитимистами и отчаянными республиканцами, о главе которых, из самых кротких между ними, о генерале Лафайете, император Александр I выразился однажды следующими словами: «C'est une vieille lampe qui puait toujours»*.

Будущность, так много сулившая обоим братьям, была уничтожена. Один жил в изгнании, другой страдал за него, невинно осужденного; тщетно в продолжение всей своей жизни от 1826 г. до 1845 Александр Тургенев вел ежедневную борьбу с правительственными лицами и обществом, всеми средствами домогаясь оправдания брата перед современниками и потомством. Все еще обольщая себя надеждами, он оставил на время службу, на которой имел столько успехов; половину года он жил в Париже с Николаем, отдавая другую хлопотам за него по их имению; ибо постоянною заботою его о брате, уже семейном, было устроить ему независимое состояние.

Нашему просвещенному обществу необходимо иметь подробную и полную биографию обоих братьев, соединенных такою нежною неразрывною дружбою, несмотря на то, что их разлучила судьба и так часто отдаляло друг от друга обширное пространство. Из жизнеописания Александра, составленного по его журналу[14], могли бы мы узнать берлинское, лондонское, венское и особенно парижское общество годов реставрации и Луи Филиппа. Из его журнала, ежедневно веденного, открылись бы нам подробные сведения о библейских обществах, о тогдашних мистиках – Лабзине, Голицыне, г-же Крюднер и Татариновой, равно как и о смертной борьбе с ними изуверов Шишкова и Фотия и т.д. Ознакомившись с бумагами Н. Тургенева, которых, как известно мне, осталось множество, мы еще короче и еще подробнее, чем из его книг, узнали бы отношения его к декабристам и его мнения о их действиях.

Я не имел достаточно времени в пребывание свое в Париже приступить к портфелям Н.И., но из частных и откровенных мне рассказов обоих братьев имею полное право утверждать по чистой совести (вместе с Богдановичем), что Н. Тургенев действительно с 1824 г. разорвал всякое сношение с обществом и считал себя уже вышедшим из него: ибо он в то время, прибавлю собственные его слова, совершенно уверился в том, что все эти тайные общества ничего сделать не могут и никогда не приступят к явному исполнению своих замыслов, которых он, впрочем, и не осуждал, почитая их мечтательными и несбыточными. Мы имеем некоторое право предполагать, что многие из декабристов не признавали и не признают за Тургеневым решительного его разрыва с обществом, упрекали и упрекают его в двоедушии, ставили и ставят ему в вину то, что он не явился по призыву на суд, чтобы разделить с ними всю тяготу 30-летней ссылки. Но явиться на суд в 1826-м году при всех

---

* «Эта старая вечно воняющая лампа» (*фр.*).

тогдашних условиях крайнего ожесточения против декабристов и правительства и общества было бы таким донкихотством, к проявлению которого так бы сама собою приклеилась известная фраза: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»*. «Qu'allait il faire dans cette galère?»**, сказали бы о нем. В подобных случаях более бывает ума у общества, чем у Вольтера (le monde a plus d'esprit que Voltaire lui-même). Но просить суда и стать перед ним тогда, когда крайнее раздражение начало утихать и сверху, и в общественной среде, неоднократно желал и просил о том Н.И., что доказывается и внесенным в примечаниях Богдановича[15] указанием на оправдательную записку, написанную для императора Николая Жуковским, и ходатайствами о приезде его в Петербург для ответа со стороны брата его Александра. Сверх того, мы знаем из одной брошюры Н.И., что один раз г. Бенкендорф (или уже Орлов[16]) просил Николая Павловича дозволить Тургеневу приехать в Россию. Государь, при таком докладе, задумался и, долго оставаясь в нерешимости, произнес как бы нехотя: «Нет, а пусть остается». Н.Тургенев, приводя этот ответ, несмотря на все прошлое, умел почтить его своей глубокой, искренней признательностью. Не стал бы и любвеобильный А.Тургенев до самой своей смерти враждовать с одним из старинных своих друзей[17], если бы не был уверен в невинности брата, если бы ошибка, вкравшаяся в доклад следственной комиссии и не исправленная по одному упорству, тем самым не обратилась потом окончательно в клевету, неопровержимо доказанную позже самим Тургеневым и в его книге, и в одной из его последних брошюр.

И опять прикладываю мою руку к мнению обоих Тургеневых о том, что никаких важных последствий не вышло бы из всех этих тайных обществ, если бы не настигла членов внезапная смерть императора Александра и не последовали бы за ней те роковые три недели, все время которых можно по справедливости назвать, в некотором отношении, каким-то полным смут междуцарствием. Из ненапечатанных еще «Записок» одного из самых добродушных декабристов, назвать которого я поэтому и не имею права[18], узнают в непродолжительном времени, что даже сам Пестель отчаивался в исполнении своих замыслов до такой степени, что решался поехать в Таганрог, лично рассказать императору Александру все тайны заговора и убедить его изменить свой образ правления. А Пестель был, как известно, душою и главою всех заговорщиков. Составитель указанных мною «Записок» был его сослуживцем и другом, и он-то свидетельствует, что убедил Пестеля удержаться от такого отчаянного намерения, упросив его созвать ближайших членов Южного общества и посоветоваться об этом с ними. Решено было всеми удержаться от такой выходки. Следовательно, не будь междуцарствия, не было бы и мятежа.

---

* «От великого до смешного один шаг» (*фр.*).

** «Что бы делать ему на этих галерах?» (*фр.*) Неточная цитата из «Проделок Скапена» Ж.-Б. Мольера.

История, как и все человеческое, изменяется; суд ее над событиями имеет свой прогрессивный ход; роли, разыгрываемые двигателями общества, представляются в различном свете не только от современников к потомству, но и от одного поколения к другому. Наполеон Тьера, правителя Франции, ничем не походит на Наполеона, изображенного Ланфре[19], посланником этого правителя при Швейцарском союзе. Тьер своей многотомной историей облегчил Наполеону III путь к захвату Франции; Ланфре окончательно уничтожил обаяние славы Наполеона I-го, носившееся над Францией, и воздвиг одну из самых твердых баррикад, препятствующих возврату в нее Наполеона III-го со всеми возможными Наполеонидами; а между тем тот и другой еще здравствуют и действуют.

Когда по получении высочайшего отзыва с *советом оставаться* последний луч надежды на оправдание и возврат в отечество угас, Николай Иванович начал собирать материалы для издания известного своего сочинения «La Russie et les Russes». В Петербурге скоро узнали, что он возымел намерение писать о России, и вслед за тем дошли до него от влиятельных лиц довольно ясные намеки оставить этот труд. Ему давали почувствовать, что, по всем вероятностям, за такое молчание может последовать прощение. Он отвечал внушительницам, что, считая себя правым, в прощении не нуждается, а труда своего, при жизни брата Александра, и без того печатать не будет, чтобы не повредить ему, состоящему на службе (при главном начальнике почт князе А.Н. Голицыне). Александр Тургенев и служил, и жил по временам в России только потому, чтобы иметь возможность превратить в деньги недвижимое свое состояние и перевести на имя брата все капиталы. Долго боролся он с мыслью передать в чужие руки старинное родовое свое имение (в Симбирской губернии) и плакал горькими слезами, подписывая купчую, несколько успокаивая себя тем, что горячо любимые им русские крестьяне вообще, а его собственные крестьяне кольми паче, переходят по крепости в тот же тургеневский род, и что покупщик, двоюродный его брат[20], дал ему честное слово их любить и жаловать. Николай Иванович, также скрепя сердце и не без слез, подчинился такому распоряжению брата и благодетеля, и таким образом *volens-nolens** воспользовался вполне значительными капиталами, вырученными от этой продажи. Когда, бывало, Николай Иванович беседовал со мною о любезных ему крестьянах всех вообще и горевал о проданных своих, ни разу не пропускал он, говоря об эмансипации крестьян, резко порицать остзейских помещиков за то, что они освободили своих латышей и эстов без земли 50 лет тому назад. Он забывал, что в то время радовался он сам всем сердцем и такому освобождению, и ставил его в пример нам, помещикам внутренней России. Я, щадя его страстную нежность к крестьянству, не

---

* волей-неволей (*лат.*).

имел храбрости ни разу припоминать отчуждение их родового тургеневского имения продажею, а защищал остзейцев от его нападений правом давности полувекового освобождения, оправдывая их сверх того понятиями того времени, в которое мысль о необходимости надела крестьян землею редко кому приходила в голову. Не один раз случалось мне в последние 20 лет встречаться с такими помещиками, которые зачастую и покупали, и продавали, выселяли и переселяли, и даже ссылали крестьян, и вдруг, предчувствуя весенний свободный воздух, как бы манием какого-то волшебного жезла, становились в первые ряды эмансипаторов; но эти господа, обладающие такою шаткостью убеждений, не стоят того, чтобы на них долго останавливаться мысленно. Непоследовательность же в этом случае честных братьев Тургеневых была и для меня за них прискорбна.

В конце 1845 года А.И. Тургенев умер в Москве, в тесном, загроможденном портфелями и книгами мезонине небольшого дома двоюродной своей сестры, Нефедьевой[21]. Он был чрезмерно скуп для себя и сберегал каждый рубль семье брата, которому и успел передать в Париже все свои капиталы. Николай Иванович променял их с большою, как опытный финансист, для себя выгодою на иностранные фонды; приобрел покупкою за 600 000 франков дом, жил в нем довольно широко, а лето проводил на прехорошенькой своей даче в окрестностях Парижа.

К этой моей статейке, поверхностной и спешной, которую посвящаю я памяти Тургенева, прибавлю еще несколько последних слов о его друге и брате. Много жертв Александр Иванович принес своему милому изгнаннику, отдал ему всю свою жизнь, лишая себя в летах уже преклонных всех удобств, необходимых для старости. Материальные лишения переносил он смеючись, но нелегко доставались впечатлительному его сердцу часто встречаемые им оскорбления самолюбия. Он отстранился почти от всех своих современников и товарищей по прежней службе, которые, в звании членов Государственного совета или сенаторов, должны были подписать смертный приговор его брату, и неизбежность с ними встречи в петербургских салонах (без которых он нигде не мог жить) поневоле заставляла его предпочитать первопрестольный город первостоличному. Чтобы не совсем бездействовать на служебном поприще, чтобы не состоять только при особе достойно уважаемого государем князя А.Н. Голицына, измыслил он себе занятие по сердцу за границею: поручение отрывать в библиотеках и музеях драгоценные для России письменные памятники. Но и тут, исполнив с большим успехом взятый на себя труд, не без внутреннего смущения получил он неожиданную по службе награду за поднесенное государю собрание редких ватиканских документов: ему, в чине тайного советника, дан был орден Станислава 1-й степени, тогда как он более 20 лет носил уже Владимирскую звезду 2-го класса[22].

Считаю лишним упоминать о капитальном труде Николая Ивановича, «La Russie et les Russes»: он, всем известный, издан был им вскоре по кончине брата Александра.

Посещавшие Николая Ивановича в Париже немногие близкие мне земляки по кончине императора Николая, когда на нашем горизонте только что начинала заниматься заря освобождения, сообщали мне то напряженное настроение, которого он не мог рассеять и из которого не мог почти выходить ни на один час. В это время он ожидал ежеминутно вестей о великих реформах и преобразованиях, и до такой степени весь переполнен был одною мыслью, одною вечною своею надеждою, что молодые путешественники, приехавшие в Париж не затем, чтобы говорить лишь о России и русских, от него бегали или, наконец, вынуждены были сокращать свои редкие посещения, чтобы не оскорблять старика зевотою и дреманьем. Впрочем, страстный, может быть, до излишества, патриот был таким с юности и без сомнения остался до конца жизни. При радушной встрече с кем-либо из русских, мало-мальски способных вести дельную и серьезную беседу, русская речь Николая Ивановича так и разливалась в его небольшой, уютной гостиной от самого обеда до полуночи. И напрасно достойная его супруга, не усвоившая себе нашего языка, поневоле выслушивая непонятные ей звуки, умоляла мужа обратиться к французскому языку, которым почти всегда владел и собеседник. У Николая Ивановича была, просто сказать, непомерная страсть ко всему русскому. По-французски говорил он свободно, по-русски превосходно, увлекательно, страстно, с каким-то строгим, всегда логическим, красноречием. Французская его речь, несмотря на 30 лет, проведенных в Париже, сохранила оттенок какого-то прирожденного нам русского акцента; в ней даже слышались руссицизмы. Да и сам он сознавался в том, что никогда не старался, лучше сказать, никогда не хотел блистать на их языке в разговорах с парижанами, а, напротив, всегда желал, чтобы ни один из них не забывал, что он истый русский.

И такого-то патриота злая судьба осудила на изгнание до конца жизни, то поневоле, то по стечению обстоятельств. Легко сказать, с 1824 года по 1871 год!! И такого-то человека многие из нас судят и рядят: зачем да почему не переселился он на русскую почву, как скоро сделалась она ему доступною? Не доискивайтесь причин, не ройтесь в чужой совести. Кто знает, кто уведает задушевную тоску, глубокую скорбь по родине этого старца!

Когда в 1856 году прибыл на мировой конгресс в Париж полномочный наш посол, ad hoc* князь А.Ф. Орлов, Николай Иванович, некогда знавший его в Петербурге и бывший в близких связях с братом его Михаилом Орловым, объяснил ему подробно прежние сношения свои с тайными обществами и убедил его в окончательном разрыве своем с ними еще в 1824 году. Князь

---

* для данного случая (*лат.*).

Орлов представил все это императору, и вскоре Тургенев восстановлен был во всех правах как вполне оправданный: ему возвращен был прежний его чин действительного статского советника вместе со знаками отличия. Весной 1857 года воспользовался он возможностью вступить в первый раз на русскую землю после долгого изгнания. Я пробыл с ним в это время несколько дней в Петербурге и был свидетелем его счастья. Пробыв не более недели на берегах Невы, вместе с сыном и дочерью[23] отправился он в любимое им, по воспоминаниям, сердце России (Тургенев сочувственно признал за Москвой это новое прозвание), и там вступил в законные права наследства доставшегося ему родового Тургеневского имения по смерти двоюродной своей сестры Нефедьевой, мать коей была урожденная Тургенева, родная его тетка. При разделе с наследниками он получил по желанию своему небольшое родовое имение сестры в Каширском уезде Тульской губернии душ около 200 с землею менее 1000 десятин – село Стародуб, где был обветшалый господский дом со старинной усадьбой и близ него церковь. Первой заботой его было проявить на деле беспредельную любовь свою к русскому крестьянину. Об эмансипации ходили тогда уже слухи, но известных рескриптов генерал-адъютанту Назимову еще не было[24]. Николай Иванович, желая немедленно освободить крестьян, конечно, с землею, предложил им на месте всевозможные уступки, но, кажется, не получил их согласия. В то же время, желая иметь там оседлость, а может быть, и мечтая о возможности в ней поселиться, начал строить себе вместо полуразрушенного новый дом, не забыв, впрочем, устроить для крестьян тут же около церкви школу, больницу и богадельню и вместе обеспечить безбедное существование церковного причта. Таким устройством новой, никогда не бывалой у него собственности радовался он, как малый ребенок, и, возвратясь в Париж, преимущественно одною ею занимался.

Здесь не лишним считаю рассказать один случай, не важный, но, по моему мнению, довольно интересный. Когда в посольской парижской церкви прочтен был перед торжественным молебствием всемилостивейший манифест 19 февраля 1861 года[25], и подошли к кресту после многолетия самодержавному освободителю наш посол граф Киселев[26] с чиновниками миссии, декабрист князь Волконский[27], косо глядевший на Тургенева, несмотря на свою к нему неприязнь, громко предложили при всех Николаю Ивановичу прикладываться к кресту первому как человеку, давшему почин этому святому делу.

Нет никакой нужды говорить о том, что Тургенев привел в своем имении изданное положение о крестьянах со всевозможными для них льготами, уступил им к явной для себя невыгоде всю ближайшую землю, остальную же собственную дал им на долгий срок в аренду за неслыханно дешевую цену по $1^1/_2$ рубля за десятину. Подобное великодушие к освобожденным мог им оказать разве один только Тургенев и по благородной страсти к свободе, а еще и потому, что, имея большие денежные капиталы, жил он безбедно. Каширское свое имение,

в которое он, так сказать, влюбился, приносило ему не доход, а сравнительно с настоящею его стоимостью большой убыток. В первые годы после эмансипации он опять со старшим сыном посетил возлюбленный свой русский уголок, выхлопотал себе дворянскую грамоту[28]и внес своих двух сыновей в дворянскую родословную книгу Тульской губернии. Казалось бы, вся цель его жизни была достигнута, и неукротимому его патриотизму настала пора угомониться. Напротив, в марте 1863 года, посетив в Париже на короткое время Николая Ивановича, нашел я его в новой тревоге. Его жена и дети встретили меня тем, что вот уже более 10 дней находится он в крайне опасном раздражении и, несмотря на великолепную весеннюю погоду, не только отказывается от ежедневных загородных своих прогулок верхом, но и не выходит на солнце подышать теплым воздухом в свой палисадник на дворе дома. Насилу уговорили его выехать прокатиться в коляске, и то под предлогом показать мне новый чудный Париж, которого я не видал с 1826 года: до такой степени раздражения возмущался он в это время мятежом Польши[29], слухами о кознях противу нас Европы и страхом, чтобы мы не сделали уступок ее влиянию и не отдали Царство Польское. Судя по всему этому, я почти убежден, что Н.И. до последних дней жизни таил в себе надежду когда-нибудь водвориться в России, невзирая на все сложившиеся судьбой обстоятельства, которые так сильно в том ему препятствовали.

Пребыванием своим в Париже он не имел, впрочем, никакой причины быть недовольным. По возвращении ему всех прав русские уже не избегали его. Часто бывал он на интимных обедах гостеприимного нашего посла Киселева; у себя собирал он всех тех соотчичей, которые стремились к нему как к знаменитости своего рода. Со многими из них, проживавшими в Париже, он жил дружно. Его жена и дочь не любили кружиться в вихре парижского большого света, а сам Тургенев с первых годов молодости от него везде удалялся. Вся семья ограничивалась небольшим кружком людей образованных. В радушный их дом широко отворялись двери немногим избранным. За их обедами зимой 1870-го года встречал я часто самое приятное, разнообразное общество. И наш протоиерей, и отец Гагарин, и пасторы Пресансе и Мартень Пашо, и ученый германец, поселившийся в Париже, академик Моль с женой[30], и ориенталист Ханыков бывали часто у Тургеневых моими собеседниками. На ранний вечер по субботам собирались дамы с другими замечательными иностранцами и редкими посетителями из французов. Между последними вспоминаю я троих: старика протестанта Боншоза[31] (сочинителя истории Гуситов), ярого республиканца Ташара[32], члена Законодательного собрания, и, наконец, бывшего во время оно министром юстиции Одильона Баро[33] *.

---

* Первый замечателен тем, что он был протестантом, а брат его Боншоз – кардинал, архиепископ, сенатор, враг свободы печати и защитник ультрамонтанизма. Второй – Ташар – тем, что принадлежал в своей Палате депутатов к крайней партии непримиримых врагов Наполеона III *irréconciliables*, и после отчуждения от Франции Эльзаса должен был поневоле очутиться

Если не последнюю войну, то какую-то страшную бурю во Франции предсказывал Николай Иванович среди постоянных своих занятий в чтении русских газет и журналов и в разборе своих и братниных бумаг. Что было с ним и с его семьей перед войной, безумно поднятой экс-императором, не знаю. Но он успел удалиться в Англию перед осадой немцами Парижа и имел несчастье возвратиться в него перед чудовищной коммуной. Долго мы его отсюда отыскивали, и, наконец, все его беды узнали из последнего к нам письма, отрывок которого привожу здесь как заключение.

«Vert-Bois 2/14 июля 1871 г.

Мы прожили тяжелое время. В прошлом году мы как-то поторопились отсюда выехать, а в нынешнем поторопились сюда возвратиться. В Англии мы прожили 7 месяцев.

Об Англии могу только сказать, что мы встретили там такой ласковый прием, какого никогда не могли ожидать. Все старые знакомые и новые осыпали нас и приглашениями, и предложениями услуг всякого рода. Но невеселое положение, в котором мы находились, не позволяло нам пользоваться этим английским радушием и благорасположением. Жена моя выезжала утром к своим старинным приятельницам. Я почти никуда не выходил из дома. Зато наши знакомые посещали нас ежедневно. Небольшая наша гостиная ежедневно до обеда наполнялась посетителями. Но по вечеру мы почти всегда оставались одни. Я познакомился и с нашим священником; это самый достойнейший из всех наших священников, мне известных. Я его глубоко уважаю – и как священника и как человека.

В начале марта, по окончании войны, и жена, и дети захотели возвратиться. Альберт (старший сын) был уже в Париже, приехав туда с одним из огром-

---

немцем. Третий, Одильон Баро, – один из главных двигателей Февральской революции, заводчик тех известных обедов, которыми она началась. Последний надолго останется мне памятным по рассказанному им собственному анекдоту. Привожу весь этот рассказ, очень, по-моему, любопытный, странный и презабавный. Стоя спиною к камину, с красноречием французского публициста, не обращаясь ни к кому лично, повествовал он, сначала тихо, столпившемуся понемногу около него обществу, как в самое утро этой субботы приглашен был он императором в Тюльери и выслушал от него предложение взять портфель garde des sceaux, т.е. министра юстиции, как между ними долго шли переговоры, кончившиеся тем, что рассказчик, почтительно выражая своему государю свои причины, решительно отказался от министерства по преклонности своих лет. Увлекательный, довольно длинный рассказ кончился, и после минутного молчания возбужденного оратором кружка выступила вперед прекрасная изящно одетая англичанка родом, по мужу француженка. Она протянула Одильону Баро аристократическую свою ручку: «Oserais-je, sortant d'un si mauvais lieu? [«Осмелюсь ли я – я только что из такого скверного места» (*фр.*)], – живо произнес он. Та отвечала: «Donnez toujours» [«[Хорошие манеры] всегда кстати» (*фр.*)]. На русских эта маленькая сцена произвела особенно странное впечатление; мне, по крайней мере, как-то сделалось очень неловко (*примеч. Д.Н. Свербеева*). Здесь упомянут брат Боншоза-протестанта католик Анри (Анри Мари Гастон де Боншз (Bonnechose) (1800–1883), архиепископ Руана (1858), кардинал (1864).

ных поездов, привозивших пищу голодающим жителям Парижа от лондонского лорд-мэра. Через 10 дней по нашем возвращении возникла междоусобная война[34]. Беспрестанная пушечная пальба, особливо ночью, раздражала нервы. Под конец начались пожары. Наша улица* особливо от них потерпела. Наш дом остался невредим. Как скоро можно было выехать из Парижа, мы переселились на дачу. Дом, в котором мы живем, был опустошен пруссаками. Другой дом наш, небольшой, расстрелян, а сад там весь вырублен.

Положение земли, в которой судьба привела мне и жить и умереть, очень печально. Я не могу не сочувствовать ее бедствиям. Гнусное во всех отношениях правительство навлекло на Францию эти бедствия. Но немцы их увеличили до крайности, без нужды и без пользы для самих себя, и даже во вред себе. Я всегда уважал немцев, почитал их самым образованным народом в мире. Обстоятельства, лично до меня касающиеся, заставили меня не только уважать, но любить немцев. Память о геттингенских профессорах и всего более память о Штейне, память о той благосклонности, которую мы нашли в немцах, когда в родной земле нас преследовали (вы увидите это в письмах брата, которые я печатаю теперь), – все это привязывало нас к Германии, и я всегда желал ее объединения и видел в объединенной Германии залог мира европейского. Вижу теперь противное. Немцы подражают Наполеону I-му, которого всегда справедливо проклинали! Такое разочарование для меня истинно горестно!»

Из письма вдовы Н.И. Тургенева, полученного здесь 8-го ноября, выписываю подробности его кончины. За два дня до смерти сделал он обыкновенную свою 2-хчасовую прогулку верхом, занемог изжогой (heart-burn) и потребовал мелу, говоря, что это лекарство русское, а когда врач предложил заменить это средство молоком, вспомнил, что им в Москве обыкновенно лечится одна его приятельница (жена моя). За несколько часов до смерти с жаром беседовал он с доктором о предстоящей реформе во Франции народного просвещения. После такого разговора доктор успокаивал старшего сына тем, что в больном нашел он изумительную для 82-хлетнего старика энергию, крепость духа и всю полноту умственных способностей. Разговор врача кончился в 9 ч. вечера. В полночь с 9-го на 10-е ноября н.с. Н[иколай] И[ванович] скончался тихо, окруженный своими.

Тургенев оставил жену, двух сыновей и дочь, девицу.

---

* Rue de Lille, близ законодательного корпуса (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ А.И. ГЕРЦЕНЕ[1]

Третьего дня, 9 (21) генваря 1870 г., умер в Париже от воспаления в легких, после пятидневной болезни А.И. Герцен, на 57 году от роду.

Горькая судьба этого человека стоит того, чтобы я рассказал о прежних моих с ним сношениях и о недавнем и недолгом с ним свидании после двадцатипятилетней разлуки.

Тут поневоле приходится мне начать мой рассказ с моего давнего прошлого. Воротясь в 1826 году из-за границы, я причислен был к Московскому архиву Министерства иностранных дел. В нем встретил я не тех уже великосветских юношей, о коих Пушкин говорит в своем «Онегине»[2]. Лучшие из них, изучив более или менее основательно философию Шеллинга, переходили тогда к изучению Гегеля[3]. Между ними еще гораздо прежде моего приезда в Москву составился литературный кружок, который еженедельно сходился у Красных ворот в доме Елагиных. Авд. Петр. Елагина, урожденная Юшкова, родственница и друг Жуковского, была мать служивших в архиве братьев Киреевских. Почетными посетителями ее гостиной, кроме архивных юношей, товарищей ее сыновей и друзей по литературе и философии, бывали нередко: Нестор русских писателей И.И. Дмитриев, Михаил Александрович Салтыков, М.Ф. Орлов и наезжавшие по временам в Москву Вяземский, Жуковский и А.И. Тургенев, всюду известный своим обширным образованием и европейскими учеными и общественными связями. Там бывал и Пушкин уже после своего «Бориса Годунова», и в первый раз явился там Гоголь еще до «Ревизора».

К этому день ото дня распространявшемуся московскому кружку пристал и я, не будучи совсем литератором, а по моей охоте иногда кое-что почитать и умных речей послушать. В этом избранном, если угодно, московском обществе роль моя была, так сказать, страдальческая и такою оставалась постоянно в полном смысле слова. В это время все мы без исключения были еще европейцами, а потому и журнал, который в 1832 г. начал издавать старший Киреевский, был наименован «Европейцем»[4]. Впоследствии к кружку примкнули некоторые из профессоров университета, недавно окончившие ученое свое образование в Германии. К нему же принадлежала деятельно и шумно девица Яниш; она сошлась тут с литератором Павловым и вышла за него замуж.

С годами и, кажется, именно с 1833 года члены кружка (хотя, в строгом смысле, не следовало бы так называть их, ибо этот кружок никогда не составлял замкнутого общества), члены, говорю, этого кружка мало-помалу, сначала почти незаметно, а потом очень резко, но все еще миролюбиво, начали между собой разделяться. Одни из них преобразовались в славянофилов, а некоторые надели поддевки[5] и отрастили бороды: честь первого переодевания принадлежит, кажется, К.С. Аксакову, за ним переоделся А.С. Хомяков; другая

половина кружка, и во главе их Чаадаев и все профессора, кроме Шевырева, остались верны всем началам европейской гражданственности, и потому тогда же, в противоположность славянофилам, усвоено за ними было прозвище западников. По возвращении Герцена из ссылки, которою для него назначена была Вятка, лучший друг его Грановский ввел его, кажется, в 39 году в это общество[6]. Тут познакомился с ним и я, стараясь сблизиться по родственным его отношениям со всей семьей Яковлевых и Голохвастовых, с которыми я был коротко знаком еще с университетской скамьи [18]15–[18]17 годов, по тогдашнему моему товариществу с Д.П. Голохвастовым (впоследствии попечителем университета). Братья Яковлевы происходили от древнего боярского рода и им особенно чванились, желая отделить себя от других известных богачей того же имени, но не той фамилии. Отцом Герцена с левой стороны был тот Иван Алексеевич Яковлев, который отчасти сделался известным по своему свиданию с Наполеоном[7] в объятой пламенем Москве в 1812 году.

Александр Иванович Герцен – мне почему-то приятно называть полным русским именем этого так долго бывшего Искандера[8] – был в то время женат на своей двоюродной сестре[9], дочери тоже с левой стороны другого из братьев Яковлевых Александра Алексеевича, преоригинального старичка, бывшего в начале царствования Александра I синодальным обер-прокурором. Третий их брат, Лев Алексеевич, был нашим министром при первом и последнем вестфальском короле Иерониме Бонапарте[10]. Все они вместе с родными их сестрами – Голохвастовой и княгиней Хованской[11], и с приятелем моим, сыном первой, вылиты живыми в «Записках» Герцена; там же описал он и наше избранное, если хотите, московское общество. Советую , начиная с себя, всем составителям мемуаров подражать, если только сумеют, «Былому и Думам» Герцена.

Невыгодность положения Герцена уже в собственном так называемом порядочном московском обществе, исходившая из самого его рождения; так странно и неудачно выбранная для него идиллическая, чуждая русскому уху фамилия, невольно напоминающая германского романтического Herzenskind'a*, пылкая его кровь, горячее воображение и его учебные, а потом и ученые его занятия сперва естественными, а потом словесными науками по обоим факультетам, из коих он вышел кандидатом, – все это вместе взятое поставило его в разрез с обществом и выработало из него ярого мечтателя.

Чужой в своей семье и в той среде, к которой имел все право принадлежать по значительному состоянию и положению его отца и по превосходству собственного образования, с раннего возраста сделался он врагом всего тогдашнего общественного строя. «Inde ira»**, оттуда весь его гнев против дво-

* дитя любви, любимый ребенок (*нем.*).
** Отсюда гнев (*лат.*).

рян, вся заклятая и вечная его вражда против помещиков. Но такое наложенное на него силою обстоятельств настроение не мешало ему быть, при всей его пылкости, самым добрым, остроумным, любезным, любящим и любимым нашим собеседником. Конечно, он не мог быть никем иным, как одним из крайнейших западников; конечно, он предпочитал всем старейшего сторонника европейской гражданственности Чаадаева; но в то же время дружески подавал руку юному своему противнику К. Аксакову и всегда любовался, скажу – восхищался, остроумием парадоксального Хомякова, и каждый раз, входя в гостиную, отыскивал его глазами, чтобы вступить с ним в новый спор, либо продолжать вчерашний. Таким образом все еще обстояло между нами благополучно. На беду всем, и особливо на беду ее автора, напечатана была Надеждиным[12] чаадаевская статья, наделавшая много шума в городе и общественною злою молвой вынудившая правительство подвергнуть Чаадаева домашнему аресту и объявить его на короткое время сумасшедшим. Все подробности этого грустного происшествия были передáны мной в некролог Чаадаева[13]. Покуда наш мученик католического направления сидел взаперти, до тех пор, пока посещал его назначенный полицией доктор с вопросами о здоровье, во все это время славянофилы наравне с западниками посещали мнимого больного с искренним, нелицемерным участием; но первые, несмотря на всю свою дружбу и уважение к Чаадаеву, не могли не сердиться за его печатный акафист римскому папе[14]. Впоследствии брат поэта Языкова, ученый геолог[15] и совершенно равнодушный ко всякому религиозному, политическому и нравственному вопросу, из одной любви посмеяться над ближними (а тут под рукой случилась их целая толпа) додразнил поэта до того, что этот, болезненный, ни с того ни с сего разразился ругательными стихами на Чаадаева и всех его единомышленников[16]. Литературный кружок рассыпался, и вследствие этого обе половины начали доходить, каждая в свою сторону, до крайней степени преувеличения и раздражения своих принципов. Под влиянием таких увлечений, усиленных общим (впрочем, неясно понимаемым мною) недовольством на тогдашнее положение вещей, Герцен отправился за границу.

Вся двадцатипятилетняя деятельность его известна. Не мне ее оправдывать. По моему образу мыслей я никогда и ни в чем не мог вполне разделять его убеждений и тем еще менее одобрять действия, которые употреблял он для осуществления на деле этих убеждений. Но в то же время, чтобы ни говорили, я никогда не хотел верить и не верю теперь тем тяжелым обвинениям, которые распространялись насчет его в нашем обществе и нашей печати. Его окружающие могли злоупотреблять его страстными увлечениями, могли – допустим и это – заставлять его говорить и печатать иногда то, чего не было в его мыслях и намерениях; но я решительно отвергаю теперь, чтобы добрый по сердцу Герцен способен был поощрять какие-либо темные личности или

какие-нибудь массы на зажигательства и убийства. При всем том, во все время издания им «Колокола»[17] и разных политических брошюр, я не имел и не хотел иметь никаких с ним сношений в трекратной поездке моей за границу и в последнюю из них в 1862 г. решительно отклонил желание двух глубокоуважаемых мною лиц, чтобы я вступил с ним в переписку по одному случаю, именно по предпринятому им изданию «Записок» одного из декабристов. Мой отказ, может быть, слишком резкий, как-то дошел до него с прибавлением ложных московских сплетен, будто бы я приписал корыстным расчетам Герцена его усилия собирать подобные «Записки». Пылкий Герцен поверил сплетням и в одном из № «Колокола» намекнул обо мне как о прежнем своем знакомце, выжившем из ума от старости, впрочем, не называя имени[18].

Между тем «Колокол» начал звонить реже и, наконец, слабые его звуки совсем исчезли вместе, кажется, с другими брошюрами Герцена. Немногие из русских, видевшие Герцена за границей, сказывали, что он хандрит, грустит в своем изгнании, что давно уже заметно было из печатных последних его строк. М.П. Погодин, усвоивший почему-то себе право писать и печатать без оглядки все, что попадает в его умную, покрытую честными сединами голову, рассказал нам в своем курьезном «Русском» о своем свидании с изнемогающим Искандером и, к изумлению всех, напечатал к нему свое письмо[19], в котором досточтимый наш историк убеждал изгнанника раскаяться и уединиться на подвиг покаяния в Соловецкий монастырь. Все эти вести начали примирять меня с Герценом и пробуждать во мне прежнее сочувствие, к которому присоединилось искреннее сожаление о его участи. Мне, повторяю, никогда, несмотря на все им напечатанное в страстном до безумия увлечении, не верилось, чтобы он был или мог сделаться безнравственным, злым, подлым эгоистом, и часто, когда думал я о нем в эти последние годы, мне вспоминалось последнее наше за четверть века свидание в России, где между нами, с глазу на глаз была живая, откровенная речь о двух сторонах эгоизма. Он горячо упрекал меня в консервативном, в желании сохранить за собою лично для моей семьи все удобства тогдашнего моего положения и оставаться равнодушным к прогрессивному стремлению, от которого я боялся преувеличенной, по его мнению, опасности замышляемого переворота; я, несколько спокойнее и сдержаннее, нежели он, укорял его, в свою очередь, в необузданном и несколько неопределенном стремлении вперед, в желании для неверной пользы отдаленного потомства разрушать существующий порядок, более или менее обеспечивающий всех членов настоящего общества, в неуверенности в том, чтобы настоящее, каково бы оно ни было, могло быть заменено лучшим, и все эти стремления приписывал я желанию каждого отчаянного прогрессиста прославить себя coûte que coûte*, невзирая ни на какие

* во что бы то ни стало (*фр.*).

препятствия и опасности, лишь бы стать на пьедестал, вести за собою толпу и величаться перед ней. «Увидим (заключил я) впоследствии, кто из нас двух останется правым, кто сделает больше пользы и наделает меньше вреда». «Когда-нибудь сочтемся», и с этим словом мы разошлись, не предполагая, однако, нашей долгой разлуки.

Последнею осенью[20], приехав в Швейцарию, я стал отыскивать его в Женеве; мне отвечали, что он в Ницце, и подтвердили, что он давно уже молчит и бездействует. Продолжительная болезнь одной из его дочерей[21] заставила его приехать из Ниццы в Париж перед новым годом; я уже был там, и мне дали его адрес в близком соседстве от моей квартиры. Я не замедлил к нему отправиться. С моей визитной карточкой в руке, прежний, но уже постаревший Герцен, так бывало мне симпатичный, и отнюдь не тот Искандер, которого я и не любил, и опасался, явился передо мной в своей гостиной, где я его ожидал, и не мог скрыть от меня своего удивления при такой нечаемой встрече: он думал найти у себя одного из моих сыновей[22], а никак не меня. С первых же слов объяснились мы дружелюбно в его обо мне отзыве. Заметив в лице его выражение грустного утомления: «Ну, Александр Иванович, – сказал, я ему, – что вы и как вы?» «Годы, как видите, и меня угомонили». Тут пошли взаимные расспросы о наших семьях, и я решился спросить, точно ли он имеет намерение воротиться на родину. «Это немыслимо, – сказал он, – и верьте, что я нигде, а тем менее в Вене, не хлопотал о возвращении. Знаете ли, – прибавил он, – я, Герцен, считаюсь отсталым в глазах новых женевских эмигрантов. Между политическими выходцами всех стран и национальностей непримиримая распря неизбежна, – эта зараза всюду за нами сопутствует. Вот вам последняя женевская книжка “Народное дело”[23], и вы увидите, как издатели этого журнала меня опередили, а равно и все то, чего желают они для России». В конце этой книжки эмигранты младшего поколения призывали Герцена к объяснению и ответу. Первое наше свидание длилось немного; мы пожали друг другу руку, обнялись и обещались видаться; разумеется, я приглашал его к себе. 12 генваря н.с. (в запомненный мною день по смертоубийству, совершенному принцем Наполеоном[24]) Герцен зашел ко мне и с лестным для меня вниманием прослушал одну мою статейку, которая читалась у меня для двух-трех слушателей. После чтения он оставался со мной недолго, и это было второе и последнее наше с ним свидание. Я забыл сказать, что, несмотря на краткость наших бесед, он не оставил с искренним участием предложить мне вопрос о следствиях освобождения крестьян. Я откровенно выразил ему мое личное искреннее мнение, что эмансипация благотворнее до сего времени подействовала на дворян-помещиков, чем на освобожденных, что она у первых отняла всякое самоуправство и тем самым их облагородила и заставила жить умственно и нравственно. «Хорошо и это, – отвечал он с некоторым чувством умиле-

ния. – Ваше откровенное признание меня во многом утешает». Не застав его дома несколько дней спустя, я еще повторил мое посещение и узнал, что он тяжко занемог простудным воспалением. С тех пор я начал справляться о ходе болезни у его дочерей. Их три, и две из них от первой жены[25]. Все они знают по-русски, и старшая, лет около двадцати пяти, очень хорошо говорит на нашем языке; все три очень привлекательны не особенной красотой, а каким-то милым простодушием. Накануне смерти отца послали они телеграмму за братом во Флоренцию, где он, женатый на итальянке, профессором физиологии[26]. Герцен-сын приехал на третий день и не мог застать в живых отца, не предчувствовавшего смерти, не оставившего никакого завещания, кроме не один раз гораздо прежде повторенного им желания быть погребенному в Ницце, рядом с первой своей женой. Юный ученый очень понравился мне умной, приятной, скромной и в то же время серьезной своей наружностью; он, превосходно владея русским языком, рассказал мне, что отец обеспечил их будущность, что он жил всегда очень умеренно и не проживал ежегодного дохода со своего капитала.

По собранным мною известиям, внутренняя, домашняя, семейная жизнь нашего изгнанника прошла не без печалей; но снимать покров с семейной жизни, чьей бы то ни было, я всегда считал и считаю нескромностью самой неприличной. Мне довольно и того тяжелого чувства, которое легло на мою душу в виду этого гроба, одиноко поставленного на полу возле той самой, еще не совсем убранной, постели, на которой, как видно, за немного времени до моего прихода лежало тело. Около гроба входящему в небольшую комнатку не видно было никого, кроме четырех не слишком опрятно одетых в траур служителей, ожидавших выноса. В другой, более обширной комнате находилось три-четыре неизвестных мне дамы и человек тридцать разных мужчин, мне также незнакомых, и между ними, показалось мне, ни одного из русских. Могу назвать разве только одного Н.И. Тургенева, который, не имея возможности со своею разболевшейся ногой взобраться на третий этаж, ожидал выноса у подъезда. Простота всего этого последнего акта человеческой жизни доведена была тут до убийственного на душу живых впечатления, – так это по крайней мере глубоко и скорбно отразилось на моей. Четверо служителей подняли ящик и понесли его мимо нас; все оставались в каком-то бесчувственном, равнодушном безмолвии – ни одной молитвы, ни одного вздоха. Не здесь ли, – подумал я, – не во всем ли том, что совершается, теперь на моих глазах, вся разгадка мятежной жизни этого страдальца? Не отсутствие ли всякой веры, всякого религиозного убеждения иссушило в нем источник той жизни, которая посвящается лучом бессмертия, орошается водою спасения? Похоронная процессия из трех экипажей и от тридцати до сорока человек пеших провожала покойника на кладбище Père Lachaise, где предполагалось оставить на несколько дней гроб до перевоза в Ниццу. Я счел

приличнее и удобнее для себя не быть на кладбище, чтобы не выслушивать надгробных речей, которые могли быть там произнесены.

Рассказывая другим о моих впечатлениях, тут я не нарушаю скромности. Все, что окружало бренные останки Герцена, все то, что совершалось над ними, все это, вернее сказать, ничто не совершавшееся, называемое здесь придуманным нарочно выражением «enterrement civil»*, повторяется здесь ежедневно над многими умирающими. Так было недавно с Sainte Beuve'ом[27], по его, вероятно, собственной воле, некогда бывшей под игом аскетизма; так было еще недавнее с телом юноши, убитого принцем Наполеоном[28], – вероятно, по воле его семейства.

* «гражданское погребение» (*фр.*).

К МОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ О ШИШКОВЕ[1]

Продиктовав для моих «Записок» рассказ о встрече моей с Шишковым осенью 1870-го года, с лишком через пятьдесят лет после того как она произошла, я вслед за тем с жадностью начал читать изданную в том же году книгу в двух томах на русском языке: «Записки, мнения и переписка адмирала Александра Семеновича Шишкова»[2]. Легко представить, как оживили они во мне воспоминания юности, перенесли в прошедшее, и многое тогда для меня ничем необъяснимое и забытое теперь, через 50 лет, пояснили мне до возможного уразумения той эпохи, в которую я только что начинал и жить, и мыслить. Вот почему считаю не лишним остановиться на этих «Записках» Шишкова и дополнить мои собственные выписками из оных. Делаю я это потому, что последние пять лет царствования Александра I провел я за границей в совершенном неведении подробностей этих времен, тех закулисных причин всего, что тогда происходило и что с недавнего времени становится всем более или менее известным, между прочим, прочитав сочинения Шишкова, убедился я теперь и в том, как должна была тогда испугать Кикина моя выходка, мой ответ Шишкову[3].

В самый день кончины императрицы Екатерины встречаем мы во дворце у ее гроба А.С. Шишкова, который искренно ее оплакивал. Предвидя всю капризную суровость нового царствования, он, слабый здоровьем, робкий по характеру, сначала избегал деятельной службы; но благоприятные обстоятельства выводят его, флотского офицера, на видное и в то же время опасное служебное поприще: сначала майором от эскадры и вскоре потом генерал-адъютантом, и он почти нехотя становится приближенным государя*.

Записки Шишкова об этом времени чрезвычайно любопытны по их безыскусственной и добродушной искренности. На каждой странице видим его страх не навесть на себя царского гнева, не погибнуть, и в то же время видно, что при всем том вел он себя как честный и верный слуга царский, оберегая, однако, собственное достоинство. Никогда не встречалось мне такого живого и цельного описания павловского крутого времени.

Вместе с целой Россией радуется он восшествию на престол императора Александра, но по связям своим с влиятельными лицами Екатерининского времени, не сочувствовавшими новым молодым деятелям, свободолюбивым друзьям императора Александра, Шишков сблизился с их консервативными противниками: был дружен с Державиным по литературным своим занятиям, близок с Трощинским[4] по политическому образу мыслей, а по морской своей

---

* Император Павел еще до этого назначения, при раздаче деревень многим за один раз лицам, пожаловал Шишкову 250 душ в Новгородской губернии. Сколько известно, Шишков других поместий не имел и всегда жил одним жалованьем. По назначении его государственным секретарем получал он 12 тыс. руб. годового содержания (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

службе находился, как видно, под влиянием адмирала Голенищева-Кутузова[5], сравненного по правам с фельдмаршалом и также стоявшего за старые порядки. Как старший член Адмиралтейской коллегии, имел он доклад у государя; но другим младшим членом был Чичагов, сын екатерининского победоносного адмирала[6]. Чичагов, сдружившись с Кочубеем, Сперанским, Новосильцевым и Чарторыжским, успел, отстранив Шишкова, стать на его место докладчиком по морскому ведомству. Этот Чичагов пользовался тогда уважением молодого поколения замечательных при государе людей за свой смелый поступок с Павлом, о чем слегка упоминает и Шишков в своих «Записках»*[7].

Менее замеченный на службе, терпеливо перенося удаление от государя, Шишков предался литературным словопрениям в российской академии с духовными сочленами и тогда уже проявил преувеличенную свою православную набожность и ревность к церковнославянскому языку. Помнится мне, тогдашние упорные занятия его славянским языком называли в насмешку *корнерытием*. В то же время вместе с Державиным Шишков основал Беседу любителей российского слова.

Не знаю сам, покажется ли достаточно убедительным для других такое наше предположение: кажется, что личная вражда к Шишкову товарища его по службе Чичагова неблагоприятно подействовала на развитие его характера. Чичагов был воспитан и долго служил в Англии и отдавал ей безусловно преимущество над Россией. Он, пристав к молодой партии, окружавшей Александра, мог повредить Шишкову и по службе. Поэтому-то ежедневно встречавшемуся Шишкову стал он казаться ненавистником России и всегдашним ее во всем поругателем. Все это, по естественному противодействию, сближало Шишкова с тогдашними консерваторами и отделяло от их противников.

Простодушно набожный и всецело преданный вере отцов, глубоко изучивший богослужебный славянский язык и в нем искусный, не менее преданный прямодушно и искренно самодержавному у нас престолу, ревностный почитатель всех наших народных преданий и не чуждый коренных наших предрассудков против всего иноверного и чужеземного, опасливый и, по временам, ярый борец с наплывом западных европейских идей, прямой, добродушный, честный и скорее кроткий человек, чем страстный, когда на житейском его море господствовал штиль и не было бурь, – Шишков не сопоставлял для себя трех главных идей всей своей жизни, тем еще менее не определял их никакими словами и, невзирая на то, он, так сказать, бессознательно первый воплотил в себе тричастный русский символ «православия, самодержавия и народности», который потом сделался в одно и то же время

---

* Сличи в «Записках» Саблукова. «Русский архив» 1869, стр. 1925 (*примеч. П.И. Бартенева*).

программою царствования императора Николая, девизом графа Уварова[8] и, наконец, надписью на знамени позднейших славянофилов. Исповедуя внутри своего сердца и повсюду проповедуя эти три русские добродетели, написал он свое «Рассуждение о любви к отечеству». Сперанский, прежний редактор всех манифестов, был уже тогда сослан, и государь, которому понравилось рассуждение Шишкова о любви к отечеству, поручил ему написать манифест о рекрутском наборе в марте 1812 года. Перед началом отечественной войны понадобилось другое перо, более народное, более русское. Составитель манифеста о наборе [был] назначен государственным секретарем и поехал в Вильну. Близкими к Шишкову из других спутников государя были тогда граф Аракчеев и Балашев; все три составляли они при императоре особенный, единодушный, русский триумвират, ни в чем не похожий на прежних любимцев Александра. Последние побледнели и как бы попрятались со времени ссылки Сперанского. В Вильне 13 июня подписаны были рескрипт фельдмаршалу Салтыкову[9] и приказ армиям, возвещавшие вторжение неприятеля в наши пределы. Несмотря на присутствие государя в главной квартире действующей армии, по отзывам самого императора, главным и полновластным начальником оной был Барклай-де-Толли; но этот военачальник, с своей стороны, в откровенных разговорах с графом Аракчеевым, Балашевым и Шишковым, не скрывался, что он, главнокомандующий, хотя и облеченный всею властью, не может, однако, действовать безотчетно, а уступает направлениям самого государя, хотя бы они приходили к нему и в виде советов. Из сего Шишков мог заключить, что пребывание государя при армии скорее вредно, нежели полезно. Надо прибавить, что многие из государственной свиты и особливо люди пожилые, в особенности же этот вполне русский при нем триумвират, постоянно находились под влиянием страха быть побежденными величайшим полководцем эпохи и вынужденными просить у него какого бы то ни было мира. В Шишкове родилась мысль удалить от армии государя, который подвергал себя нравственной ответственности и личной опасности, и убедить его отправиться, как выразился Шишков, в самую грудь России (по-нынешнему, в ее сердце), т.е. в Москву, и оттуда воззвать к народу и собирать новое ополчение. Мысль эту сообщил он сперва Балашеву, а потом через него и графу Аракчееву. Последний согласился подписать составленную по этому поводу пространную записку Шишкова лишь только тогда, когда его убедили, что государь, оставаясь при армии, подвергает себя личной опасности. В Записках Шишкова читаем мы собственные при этом слова Аракчеева: «Мне до вашего отечества дела нет, я знаю одного государя». Записку эту Аракчеев положил государю на письменный стол. На другой день государь сказал Аракчееву: «Я читал вашу бумагу» и только; на следующий поехал он верхом к Барклаю, который стоял в нескольких верстах от главной квартиры, а обер-гофмаршал граф Толстой шепнул Шишкову на ухо: «К ночи велено приго-

товить коляски ехать в Москву». Тут Шишков получил приказание написать воззвание к первопрестольной столице, которое было отправлено туда прямо с генерал-адъютантом князем Трубецким[10]. Вскоре отправился туда же государь и с ним Шишков. Кроме двух слов, сказанных государем Аракчееву, что он читал подписанную ими тремя бумагу, государь никогда о ней не упоминал. Со своей стороны, Шишков, несмотря на свою пламенную любовь к самодержавному государю, который с начала 1812 года до конца 1813 года беспрекословно, почти без поправок, подписывал все разновидные шишковские бумаги (писанные последним большею частью по инициативе самого государя, а иногда и придуманные самим Шишковым), долго сохранял втайне изложенный им совет государю удалиться из армии; но не устоял против искушения открыть свою тайну великой княгине Екатерине Павловне. Она упросила его позволить ей переписать копию с черновой знаменитой бумаги, оставленной Шишковым у себя. Оле! (как сказал бы сам Шишков) греховного в человеке самомнения и прибавим: вот что значит авторское самолюбие! Он не устоял: пропал в нем и благоразумный страх, и твердость гражданского мужества, требующая от истинно верноподданного и беспредельно преданного своему государю – ни единому смертному не открывать *тайны царевой.* Допустим, что и в этом твердом, как адамант, государственном муже недостало духа отказаться от славы совершенного им подвига; но прибавим, что у него недостало в этом случае и здравого смысла или расчета. Александр узнал, наконец, от самой ли сестры или после ее кончины, непростительную нескромность своего государственного секретаря, который более всех обязан был хранить государственные тайны. Вероятно, все это было причиной охлаждения императора к Шишкову и удаления его от секретарской должности. К сожалению, в Записках есть промежуток между увольнением Шишкова от этой должности и назначением его через несколько потом лет министром просвещения.

Особенно любопытны следующие собственные рассказы Шишкова. Разговор его с фельдмаршалом князем Смоленским[11] о том, что лучше бы было на выгодных условиях помириться с Наполеоном, чем подвергаться новым опасностям войны для освобождения Европы. После некоторых возражений князь Кутузов отвечал ему, «что он и сам так думает, но государь предполагает иначе, и мы пойдем далее», прибавив: «...когда император доказательств моих не принимает, то обнимет меня и поцелует, тут я заплачу и соглашусь с ним» (стр. 168, т. I). Далее в той же книге страниц через десять (стр. 176) Шишков сообщает слышанное им за обедом у государя в Вильне мнение князя Смоленского том, что не должно, несмотря на военные обстоятельства, уничтожать в Петербурге французский театр и что мы не должны бросать французский язык, чтобы не впасть в прежнее невежество и неуклюжество. Рассказывая о тяжелом впечатлении, произведенном на него такой речью фельдмаршала и видимым сочувствием к его мнениям императора, он продолжает в ярких

красках выражать все свое негодование, весь свой ужас при таких речах, на которые он возражать не мог из уважения к царской застольной беседе.

Когда войска, а с ними и государь, перешли русскую границу, Шишков не мог долго следовать за главной квартирой. Он еще при Павле при назначении в генерал-адъютанты заявил, что не умеет ездить верхом, и потому после неудачного сражения под Дрезденом, когда пришлось нашей армии отступать и заключить перемирие, Шишков вынужден был, и не один раз, отставать, путешествовать на казенных лошадях с русскими кучерами по непроходимым тогда еще немецким проселочным дорогам, проводить ночи где и как попало, а иногда и проживать в маленьких деревнях и местечках, где не было не только русского, но и никакого общества. Такое странствование хилого старика, сопряженное с опасностью быть захваченным в плен неприятелем, расстроило его здоровье и наводило на него тоску по родине. Во Франкфурте на Майне, при свидании с государем, после долгого от главной квартиры отсутствия, Шишков просился домой, либо в Дрезден или Берлин, чтобы быть поближе к Петербургу; император на это не соглашался, предполагая, что Шишков может быть ему нужен поближе, несмотря на то, что Шишков, по собственным его рассказам, начинал уже надоедать государю своими патриотическими вопияниями (любимое его выражение) и страхами встретить какие-либо военные неудачи в борьбе с Наполеоном на жизнь и на смерть в самой Франции. Робкий старик находил и в это время лучшим прекратить войну миром. Наконец решено было отправить Шишкова в Карлсруэ, где в то время императрица Елизавета Алексеевна жила с матерью своей марк-графиней[12] при Баденском дворе. Там оставался Шишков до возвращения государя из Парижа. Как ни ухаживали за Шишковым при этом дворе, он все-таки тосковал по родине и вместо того, чтобы торжествовать нашу победу и нашу славу, предался прежней боязни, что симпатии государя к французам и обратно их к нему не воротили бы нас на ненавистный путь подражания всему иноземному, и особливо французскому. В рассказах своих Шишков описал очень искренно все злосчастные свои странствования и кратковременный отдых в Праге, где посчастливилось ему встретить приятеля своего Кикина и насладиться вполне учеными беседами филолога Добровского[13] и других тамошних славянских ученых.

В то самое время, когда Шишков, находясь против воли на чужбине, все более и более предавался своим набожным убеждениям и развивал их в себе, искренно относя спасение отечества к Божиему промыслу, в то именно время, когда задушевною его мыслью была одна, что мы только всецелою преданностью к отечественной вере и церковному языку, к исконному у нас самодержавию и к простым народным нравам и обычаям можем замолить Русской земле продолжение особенной милости Божьей, столь чудесно над нами проявленной, в то же время император Александр, не менее искренно носивший

в сердце своем глубокую благодарность к Провидению, даровавшему нам чудесное спасение и освободившему через нас всю Европу от угнетавшего всех ига, начинал довольно открыто исповедовать другие более широкие в христианском смысле религиозные убеждения. Знаменитая мадам Крюднер, вместе с другими встреченными им германскими католическими, а паче протестантскими теозофами и мистиками, возродила в нем сочувствие к преобладавшему тогда иному религиозному стремлению, мечтательному и неопределенному. Александр, воспитанный Лагарпом, начитавшийся, насколько у него было досуга, энциклопедистов 18-го века и других позднейших писателей, окруженный индифферентными в религиозном отношении своими юными советниками, из коих один только Сперанский был убежденным мистиком, признавая во всех разнородных христианских исповеданиях единство веры в Искупителя, искал церкви внутренней, идея которой господствовала в то время как главная и единственная в сердцах современного просвещенного поколения. А между тем должно сознаться, что религиозность православная, в которой, если по недостатку в ней истинного просвещения и могла преобладать одна внешность, находилась в явном противоречии с тою внутреннею церковью, которая отвергала или по крайней мере оставляла без должного внимания всю обрядовую сторону восточной церкви.

Впрочем, еще гораздо прежде отечественной войны и личного знакомства с мадам Крюднер и другими теозофами Александр уже предавался мистицизму, и Сперанский в апологии своей из Перми напоминал государю их беседы о предметах сего рода и особенно о мистической их части. И мог ли прекраснодушный император не подчиняться влиянию подобных идей, когда сам Сперанский, образованнейший между современниками и передовой из передовых сановников и тогдашних деятелей, в письме 1817 г. к Цейеру[14] о мистическом созерцании, рекомендует своему другу способ добывания фаворского света устремлением взоров на пупок при ноздренном дыхании? В книге о Паисии Величковском[15], архимандрите Молдавского монастыря, изданной в 40-х годах И.В. Киреевским, читал я о подобном способе и слышал случайно от известного Ф. Голубинского[16],что такой именно способ знаком был восточным аскетам и что он был описан св. Григорием Паламой[17], одним из уважаемых отцов Церкви V-го века.

По возвращении государя в Петербург мистическое движение умов все более и более усиливалось. О нем было так много уже написано в последнее десятилетие, что я не вику нужды распространяться. Замечу только, что к религиозным исканиям внутренней церкви присоединилось либеральное направление, которое скоро почтено было за опасное и вредное самим государем, и что вследствие этого сам влиятельный мистик князь Голицын со своими единомышленниками, и особливо Магницким, заподозрили в мистических направлениях зловредное свободомыслие. Начались политические

преследования. Усиливали их события извне и тяготение над императором Александром венского и других кабинетов (кроме английского), которым действительно грозили со всех сторон революцией. Несмотря на это, мистики продолжали свою деятельность. Со своей стороны, менее влиятельная партия защитников нашей старины в удалении от двора скорбела о гибнущем, по их мнению, отечестве, об упадке веры, о растлении нравов. Настоящей борьбы среди раздвоенного общества еще не было; но Шишков, более чем другие, упорствовал в сопротивлении своем враждебной партии. В обеих крайности были неизбежны; они доходили до таких размеров, которые и доселе остались бы для нас непонятными, если бы мы не узнали всех мелочных их подробностей. Шишков, подобно Голицыну в другом лагере, был в своем русском стане представителем старорусского образа мыслей. Он, судя по его собственным словам, несмотря на всю свою европейскую образованность, как бы уверовал и исповедовал, что все Св. Писание, наша литургия и весь церковный наш устав были написаны издревле не на ином каком языке, как на славянском. От верования в боговдохновенность Св. Писания перешел он таким образом к уверенности в боговдохновенности самого церковнославянского языка; отсюда и его литературная ересь, состоящая в том, что церковнославянский язык и наш русский суть безразлично одно и то же, что язык, употребляемый нами в печати, письме и разговоре, есть только простонародное наречие первого; что потому дерзать на перевод со славянского на русский Св. Писания, а равно отеческих и богослужебных книг значит, по его мнению, касаться рукою скверною к Божию кивоту, значит уничтожать святость предками завещанного нам слова, низводить его до уничиженного, ежедневного, простонародного употребления. Выработав в себе такое глубокое убеждение о церкви православной и всю совокупность этих религиозных убеждений, Шишков логическим путем мышления дошел к сознательному убеждению, что самодержавие есть божественное право, даруемое Промыслом всем монархам, а кольми паче Богом венчанному и помазанному государю всероссийскому. Народ русский признавал он, вследствие всех своих верований, избранником Божиим, сосудом Его благодати.

Все младшее в сравнении с ним поколение литераторов, начиная с Карамзина, почитал он безбожным и во всех отношениях вредным. Мы уже об этом говорили, но вот пример. Карамзин был для него революционером, хотя впоследствии предложил он его сам в члены академии. После войны 1812 года Шишков убедился, что не одни политические его противники, но и литературные действительно вели отечество к погибели. Вот что писал он к одному приятелю в 1813 году: «Вы знаете, как гг. Вестник и Меркурий[18] против меня восставали; тогда они могли так вопиять, но теперь я бы ткнул их в пепел Москвы и громко им сказал: “Вот чего вы хотели”». Издателями

вышеназванных журналов были Каченовский и Макаров, и их-то Шишков обвинял в желании обратить Москву в пепел.

Кстати, прибавим здесь, что Шишков во всех своих официальных реляциях приписывал сожжение Москвы неприятельским полчищам и чуть ли не самому Наполеону. Если бы он разделял другое, противное (пришлое к нам из-за границы), мнение о том, что Москву сожгли мы, сами русские, то можно себе представить, каким фениксом, возникшим по манию его пера из жертвы самосожжения, летала бы идея Москвы по русскому поднебесью! Наконец, скрытное сперва негодование против мистиков и вражда к ним всех сторонников Шишкова перешли в явную кратковременную борьбу, и шишковская партия сделалась орудием интриги. Аракчеев взял их под свое покровительство. Этому временщику, суровому, одностороннему мизантропу, имевшему одну цель в жизни – господствовать над людьми, надо было погубить другого любимца императора Александра, князя Голицына, который один не подчинялся аракчеевскому влиянию. Всем известна история Госнера, перевод его книги, похищение из типографии корректурных листов, поправленных Поповым[19], и т.д. Я позволю себе рассказать подробно сцену Фотия с Голицыным, потому что, как мне кажется, нигде не была она в повторяемых о ней рассказах оценена как должно.

В дом камер-фрейлины графини Орловой-Чесменской, всеми уважаемой и вполне достойной общего уважения и по знаменитости рода, и по огромному богатству, и по личным ее нравственным и умственным качествам, приглашается в известный час один из первых государственных сановников империи и сверх того одно из самых близких лиц к государю. И что же там происходит? Сделанное этою дамою приглашение министру духовных дел и просвещения было guet-apens, западня, заранее обдуманное, приготовленное ему неслыханное поругание. Там встречает его фанатик священноинок Фотий, настоятель монастыря совсем другой епархии, человек, не только не имеющий над ним никакой духовной власти, но скорее от него зависимый, и этот человек с первого слова требует от министра клятвы или какой-то присяги перед налоем с крестом и Евангелием в том, что кн. Голицын отрицается от книги мистического сочинителя Госнера (туманного, но ни в чем не преступного содержания), и когда последний, ошеломленный неслыханным требованием, с большим смущением от него отказывался, тогда Фотий, провожая его по ряду комнат, предал его проклятию, ни дать ни взять, теми же самыми пустозвонными словами, коими ругаются между собою на базаре какие-нибудь торговки: «Будь ты анафема, проклят». Анафема – *отлучение*, простонародным плеоназмом выраженное без исследования вины, без испытания обвиняемого, без должных кротких ему увещаний, выраженное сверх того властью, ничем на то не узаконенною, выраженное паче всего над одним из первых сановников Империи, над тем самым «оком» самодержавия, коему

вручалось наблюдение за исполнением строгого порядка в высшем суде церковном и стройным ходом всего духовного управления, есть с точки зрения канонического права не что иное, как кощунство, с точки зрения юридического – не что иное, как неслыханное оскорбление самодержавной власти и вместе поругание ее органа.

И подобная сцена, происходившая в высшей сфере европейской столицы России, безобразная, отвратительная, гнусная, имела своими последствиями смену Голицына, замену его Шишковым, запрещение распространять Св. Писание на славянском, русском и других языках, приостановление библейских наших обществ, уничтожение ланкастерских школ, гонение и преследование против святителя нашей церкви Филарета, сожжение книги Госнера, его изгнание из России, следствие и знаменитый суд в Сенате и потом Совете над директором Департамента просвещения Поповым, и пр., и пр., и пр.

Не знаешь, чему более удивляться: возмутительным ли событиям времени, тогдашнему ли всеобщему равнодушию или, наконец, тому, что и наше время до сих пор, предавая гласности все тогда происшедшее, однако, еще не оценило и не произнесло над поступком Фотия суда исторического? Из всех современных тогдашних официально-обязанных судей этого дела только ученый эллинист сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол[20] взглянул на него как следует; он один увидал, что игра не стоит свеч. Оправдывая Попова в вымышленном на него государственном преступлении, он присудил его, однако, к удалению от места весьма важного по Министерству просвещения за исправление перевода такой книги, какова есть мистическая книга Госнера.

И все-таки Шишков представляется мне и мною моим читателям человеком искренно набожным, глубоко образованным, робким, опасливым, но в важных случаях своей жизни твердым и смелым. Он был человек старого построения, какого теперь поискать. Говоря это, я впадаю в противоречие, хотя и осуждаю беспристрастно его страстный фанатизм и те горькие последствия, которых был он главным виновником...

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТРЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ ЧААДАЕВЕ* [1]

«Московские ведомости» (в 46 № 17 апреля 1856 г.) в коротких словах известили о кончине П.Я. Чаадаева «как старожила Москвы, известного почти во всех кружках нашего столичного общества». Покойный Чаадаев был действительно один из замечательных людей нашего города. Имя его часто доходило до слуха и не знавших его лично людей, но любознательно следящих за движениями русского общества, хотя читающая публика и не более двух-трех раз встречала это имя в печати. Недавно в одной газетной статье господина Бартенева, в тех же «Ведомостях»[2], упомянут был Чаадаев как человек, имевший влияние на Пушкина. Можно еще указать на журнальную статью Чаадаева, в русском переводе за 20 [до того] лет напечатанную в «Телескопе»[3] (московском журнале Надеждина); в то время она была предметом различных толков и произвела слишком сильное впечатление. Здесь предлагается все, что можно было припомнить об этом эксцентрическом человеке, и предлагается одним из близких его приятелей со всевозможной откровенностью[4]. Чаадаев родился в прошлом столетии, в первых годах последнего десятилетия, и из московских студентов поступил в 1812 году в военную службу. Великий день Бородина простоял он семеновским подпрапорщиком у полкового знамени и за это сражение, по участию к молодому подпрапорщику графа Закревского, произведен был в офицеры. Чаадаев стоял в огне под Кульмом, Лейпцигом – везде, где находился его полк, в главных битвах славного времени, и наконец, в почетном карауле у императора Александра в самый день взятия Парижа. Из Семеновского полка перешел он в Ахтырский гусарский и вскоре переведен в лейб-гусарский полк. Живши в Царском Селе, Чаадаев познакомился и полюбил Пушкина, еще тогда лицеиста, с ним сблизился и, как он сам говаривал, имел на него доброе влияние. Чаадаев был красив собою, отличался не гусарскими, а какими-то английскими, чуть ли даже не байроновскими манерами и имел блистательный успех в тогдашнем петербургском обществе. Командир гвардейского корпуса впоследствии князь Иларион Васильевич Васильчиков[5]

---

* Сочинения П.Я. Чаадаева (род. 27 мая 1793 г., ум. 14 апреля 1856 года) на французском языке изданы с портретом его в Париже в 1862 г. (8°, 208 стр.), а подробные сведения о жизни и деятельности его собраны в прекрасной статье М.Н. Лонгинова («Рус. вестн.», 1862 г., № XI), и вообще Чаадаев – лицо, довольно известное в нашей литературе. Тем не менее мы искренно благодарны многоуважаемому автору «Воспоминаний о П.Я. Чаадаеве» за то, что он согласился на нашу просьбу напечатать их в Русском Архиве. Воспоминания писаны современником и близким приятелем Чаадаева, писаны для немногих, под живым впечатлением его кончины, и мы не можем не дорожить этими яркими, вполне историческими красками знаменательной эпохи, в которую действовал Чаадаев. Именно с этой точки зрения смотрим мы и на некоторые высказанные автором убеждения, не позволяя себе ни подтверждать, ни опровергать оных (*примеч. П.И. Бартенева*).

взял его к себе в адъютанты. В это-то самое время, не припомню именно, в котором году, Чаадаеву посчастливилось оказать великую услугу Пушкину – услугу, которую благодарный Пушкин помнил до смерти. Нечанно узнав о строгом наказании, грозившем нескромному поэту за какое-то грешное стихотворение, Чаадаев поздним вечером прискакал к Н.М. Карамзину, немного удивил его своим приездом в такой необыкновенный час, принудил историографа оставить свою бессмертную работу и убедил, не теряя времени, заступиться за Пушкина у императора Александра. Вместо крепости или дальней ссылки государь, упрошенный на другой день Карамзиным, ограничил наказание Пушкина удалением на службу в Бессарабию.

В ноябре 1820 года одно важное, никем не ожиданное происшествие в Петербурге напугало весь город, в то же время перевернуло всю судьбу Чаадаева и имело влияние на всю остальную его жизнь. Должно признаться, что в этом виноват был он сам. И странное дело! Поведение Чаадаева в этом несчастном случае могло иметь некоторое влияние на бывший тогда конгресс в Троппау[6]. Сам Чаадаев рассказывать, конечно, обо всем этом не любил; но такое загадочное с первого взгляда предположение оправдывается многими указаниями и вероятными выводами. Я говорю о семеновской истории, известной под этим сокращенным названием всем современникам, а от них и новому поколению. В Семеновском полку, который так любим был государем, в его отсутствие за границу вдруг открылось неповиновение начальству. Тщетны были все увещания взыскательных и кротких, любимых солдатами командиров и нелюбимых. Семеновцы решительно отказались идти в караул, не слушались приказаний, нарушили всякую дисциплину. Приезжали к ним уговаривать сперва бригадный, потом дивизионный, потом корпусный командир вместе со знаменитым графом Милорадовичем, тогдашним военньм генерал-губернатором в Петербурге: все было напрасно! Кончилось тем, что полк, во всем его составе, посажен был на суда и отправлен морем в Финляндию. Чаадаева послал тогда Васильчиков курьером к государю в Троппау, где был в то время всем известный конгресс. Выбор пал на него потому, что государь лично знал Чаадаева и был к нему милостив, что Чаадаев сам прежде служил в этом полку, и, наконец, потому, что как адъютант командира гвардейского корпуса был он очевидцем всего дела. Ему поручено было представить письменное донесение о таком горестном событии, небывалом в русских войсках со времени стрелецких бунтов, и пополнить личными объяснениями. Все старались и надеялись смягчить, сколько возможно, со страхом ожидаемый гнев государя.

Чаадаев не один раз, как мы уже сказали, бывал в кровавых боях и никогда не имел дурной привычки кланяться пулям, которые пролетали у него над головой. Но Чаадаев не любил подвергать себя лишениям в мелких потребностях ежедневной жизни. Он в этом отношении избаловал себя донельзя.

Курьерское его отправление было в самую позднюю осень. От Петербурга до Троппау около двух тысяч верст, а каковы были тогда дороги по всей России, начиная с Петербурга, мы еще забыть не успели. Чаадаев ехал в коляске, не слишком спеша, да к тому же не понуждая нагайкой ямщиков, что и тогда казалось ему неприличным. Чаадаев часто медлил на станциях для своего туалета. Такие привычки опрятности и комфорта были всегда им тщательно соблюдаемы. Удовлетворять им он считал нравственною обязанностью перед самим собою для каждого порядочного человека.

Следствием медленности курьера-джентльмена было то, что князь Меттерних узнал о семеновской истории днем или двумя ранее императора. Первостепенный дипломат той эпохи, князь Меттерних, занимал на Троппауском конгрессе второе место после Александра, хотя в то же время присутствовали там император австрийский и прусский король[7]. Венский кабинет и его искусный двигатель долго стремились удержать нашего государя от тех великодушных порывов либерально-конституционного направления, которое в Австрии почиталось вредным порядку и монархической власти, но которое, напротив, могущественным влиянием своим налагал Александр время от времени на всю европейскую политику. В то самое время, когда рассуждали на конгрессе о способах усмирить возмутившийся Неаполь, когда Австрия предлагала самые крутые для того меры, а наш государь предлагал, напротив, сколько возможно кроткие, Меттерних слегка намекнул Александру, что и сам он не должен слишком рассчитывать на верность своего войска и на внутреннее спокойствие своей империи, и на вопрос пораженного таким замечанием государя рассказал при всех, в полном заседании конгресса, все, что знал уже довольно подробно о семеновской истории. Не трудно отгадать, какова была после этого встреча от государя курьеру Чаадаеву. Он принял донесение, в коротких словах расспросил его о конце бунта, запер на ключ курьера, взял ключ к себе в карман, через несколько часов сам отпер Чаадаева и тут же выпроводил его из Троппау так, что несчастный не видал никого, кроме разгневанного императора. Вслед за этим Чаадаев был отставлен. Честолюбивому Чаадаеву тяжела была такая отставка – без следующего чина, даже без мундира, а он мечтал давно о вензелях на эполеты[8]. Но должно сказать к его чести, что всего более поразил его ничем и никем неумолимый гнев Александра на прежний любимый свой полк и на всех его офицеров. Все они без исключения, даже отставные до семеновской истории, строго были наказаны за излишнее потворство солдатам. Чаадаев, по свойственной доброте сердца, не мог не сознавать внутренне, что мешкотная его езда в Троппау много повредила бывшим семеновцам, переведенным в армейские полки в Грузию.

В Троппау это происшествие не осталось без влияния. Предложения Австрии были государем приняты; войска ее отправились усмирять Неаполь.

Мало того, Александр повелел собрать стотысячный русский корпус и придвинуть его к австрийским границам, чтобы под начальством генерала Ермолова идти в Италию в помощь австрийцам, если их недостаточно будет для усмирения итальянских мятежников. Союзные монархи перенесли заседания конгресса из Троппау в Лайбах[9], откуда ближе могли наблюдать за революционными движениями Италии. В Лайбах вызван был ими король обеих Сицилий[10], бежавший из Неаполя. Добрый, но слабый, он старался успокоить своих великодушных защитников. «Будьте спокойны, ваши величества, – говорил он им, – я знаю моих неаполитанцев, я коротко их знаю. Они побегут от первого выстрела австрийцев». Так и случилось. Мятежники рассеялись, порядок был восстановлен, но для поддержания его австрийцы заняли Неаполь и остались там надолго.

С конгресса в Троппау, по мнению моему, начинается обратное движение всей европейской политики и довольно крутой перелом в политике Александра. Убеждения князя Меттерниха восторжествовали. Не сверяя современных актов, не разбирая дипломатических архивов, вспомним только, каким либералом и защитником всех конституций был царственный воспитанник Лагарпа в Париже, Вене и, за два года перед бунтом Неаполя, в Ахене; вспомним его первые речи на варшавском Сейме, его слова в одной из сих речей, относящиеся до России. Вспомним перевод проекта русской конституции с французского языка[11]. Перевод этот был найден во время польского мятежа в бумагах покойного цесаревича и напечатан с французским текстом в Варшаве.

Мне удалось читать черновую депешу графа Каподистрия, рукою его написанную в 1818 году и посланную прямо к государю из Берна. Вот ее начало почти слово в слово: «Sire, les monarques du temps présent ne peuvent régner que par les idées libérales. Malheureusement il n'y a que Vous, Sire, qui êtes convaincus de cette grande vérité»*. Мне удалось слышать от графа Каподистрия, бывшего в 1823 г. на Лайбахском конгрессе, с каким благодушием государь принимал там духовных депутатов восставшей Греции, с какою заботливостью он приносил им сам водосвятную чашу для молебного у себя пения и с какою сердечною, искреннею грустью отвечал он депутатам, что твердо принятые им принципы порядка и спокойствий Европы не дозволяют ему, несмотря на православное к грекам сочувствие, быть защитником их восстания, быть даже их покровителем. Я также сам слышал, как через год потом на Веронском конгрессе другой даровитый дипломат, живой еще и теперь, попался впросак потому, что не знал, что ветер переменился. Его вызвали из Швейцарии, где он был поверенным в делах, и ему поручили (как это часто бывает) составить для государя обозрение тогдашнего политиче-

---

* «[Государь,] монархи настоящего времени могут царствовать, лишь руководясь свободными идеями. По несчастию, вы одни, государь, убеждены в этой великой истине» (*фр.*) (*примеч. и пер. публикации в «Русском архиве» 1868 г.*).

ского состояния Европы. Он написал его под влиянием начал, бывших в ходу на Ахенском конгрессе, и жестоко срезался. Его тотчас же отправили обратно в Швейцарию с порядочным выговором и увещанием постараться быть более монархическим[12].

Живо пробуждаются во мне воспоминания молодости и, говоря о человеке, принадлежавшем несколько своею деятельностью тому времени, я невольно заговариваюсь. Не могу удержаться, чтобы не сказать еще несколько слов о тогдашней политике. Рано ли, поздно ли, но у нас она должна была неизбежно измениться. Семеновская история, так неблагоприятно возвещенная Александру, только предупредила переворот его направления. Восстановив законную власть в Неаполе, он скоро умерил свое либеральное стремление относительно Польши, и скрепя сердце, почти совсем не мешался в дело Греции; но в то же время, всегда верный данному слову, противился он всем проискам Сен-Марсанского павильона, руководимого графом д'Артуа, братом Людовика XVIII. Все тайные старания будущего Карла X склонить петербургский кабинет на ограничения французской конституции 1814 года оказались тщетными. Позднее, когда на Веронском конгрессе по настоянию Шатобриана государь первый согласился на его предложение отправить французские войска в Испанию в защиту Фердинанда VII, и когда потом французы высвободили короля из Кадикса, тот же Александр приказал своему послу Поццо-ди-Борго убеждать короля Фердинанда быть умеренным и милосердным по восстановлении монархической власти.

Но пора возвратиться к воспоминаниям о Чаадаеве; прошу извинения у немногих моих читателей за такое длинное отступление.

Либеральное направление императора Александра, им данное и им самим впоследствии приостановленное, не могло не подействовать на лучших людей того времени. С возвращением наших войск из Франции и в особенности в 1818 году с возвращением корпуса, который до того оставался там под начальством графа Воронцова, либеральные убеждения овладели многими. Горестные последствия этого известны; но Чаадаев, молодой, связанный дружбой с замечательными своими сверстниками, разделявший мнения той эпохи, вдобавок раздраженный недавней отставкой и до самой смерти не умевший затаить в себе этого раздражения[13], остался непоколебимо верным престолу. Почему? Потому что[14] всегда был врагом всякого потрясения, требующего крови.

Через год после отставки Чаадаев поехал в чужие края. Судя по его собственным рассказам и по отдельным его статьям, которые читались потом в коротком ему кружке, он преимущественно обращал внимание на произведения искусств древнего мира и средних веков и ими поверял и объяснял любимые свои исторические убеждения. В 1827 г. на пути в Россию[15] был он на короткое время задержан в Бресте; у него взяты были бумаги и вскоре

потом возвращены без всяких неприятных последствий. Поспешной выдачей бумаг обязан был он графу А.А. Закревскому, который, как видно, всегда принимал в нем участие. Возвратясь из путешествия, Чаадаев поселился в Москве, и вскоре, по причинам, едва ли кому известным, подверг себя добровольному затворничеству, не видался ни с кем и, нечаянно встречаясь в ежедневных своих прогулках по городу с людьми, самыми ему близкими, явно от них убегал или надвигал себе на лоб шляпу, чтобы его не узнавали. Плодом двухгодичного строгого уединения был целый ряд философических на французском языке писем, обращенных им к одной даме, его приятельнице (Пановой, урожденной Улыбышевой[16]). Я читал некоторые из этих писем (и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время?), и, насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания. Но одно из писем, конечно, самое замечательное своей оригинальной резкостью, еще в рукописи и на французском языке, производило величайший эффект, а потому было, по усиленной просьбе журналиста Надеждина, переведено и напечатано в его «Телескопе» в конце 1836 года. Автор письма выражал в нем следующие мысли о нашем отечестве: «Россия образовалась совершенно отдельно и независимо от Европы, потому что веру приняла не от Рима, а от Византии, которая сама была тогда в состоянии упадка и растления – отсюда истекают все недостатки нашей гражданственности. Реформа Петра Великого не в силах, и в позднейшем своем развитии, сделать нас настоящими европейцами и вполне усвоить нам все успехи цивилизации»[17]. Все это было высказано без малейшей осторожности, а, напротив, с крайнею резкостью, поражавшею читателя особенно в переводе. Наши переводные статьи, особливо с французского языка, часто оскорбляют читателя излишнею яркостью и дисгармонией красок и всегда почти выражают спорные вопросы сильнее и резче, нежели какими кажутся в подлиннике. Журнальная статья Чаадаева произвела страшное негодование публики и потому не могла не обратить на него преследования правительства. На автора восстало всё и все с небывалым до того ожесточением в нашем довольно апатическом обществе (я говорю только о Москве) и, заметим, восстало не столько за оскорбленное православие[18], сколько за грубые упреки современной России и, главное, высшему нашему обществу. Здесь, может быть, в первый раз читающая и вопиющая с ее голоса полуграмотная московская публика с успехом разыграла роль высшей цензурной инстанции. Укажем на это писателям настоящего времени и посоветуем им внимательно охранять недавно дарованную им ослабу строгости. Цензор статьи Чаадаева был отставлен и лишен профессорства[19]. Журналист Надеждин сослан в Устьсысольск, самый дальний городишко Вологодской губернии. Ему не помогло его хитрое оправдание. Вот как передавались тогда ответы Надеждина на запрос, почему он перевел и напечатал статью Чаадаева, прибавив еще к ней примечания, где назван был автор

статьи великим мыслителем и где обещано было помещение в следующем году других его статей. Надеждин отвечал будто так: «Журнал мой не мог с успехом продолжаться по малому числу подписчиков. Из двух одно: или статья Чаадаева пройдет благополучно и приобретет мне с новым годом новых подписчиков, или журнал за нее запретят. В последнем случае, прекращая неудачное издание, я выигрывал в общественном мнении; в первом у меня будет от журнала барыш, а не убыток». Дилемма не удалась. Остроумно-расчетливый издатель не предвидел ссылки. Вместе с тем и Чаадаев подвергнут был домашнему аресту и медицинскому ежедневному посещению как человек с растроенным воображением. Из многих разговоров, толков, пересудов и споров о чаадаевской статье у меня в памяти остались одни, верные очень, слова о ней Жуковского: «Порицать Россию за то, что она с христианством не приняла католичества, предвидеть ретроспективно, что католическою была бы она лучше – все равно, что жалеть о черноволосом красавце, зачем он не белокурый. Красавец с изменением цвета волос был бы и наружностью, и характером совсем не тот, каков он есть. Россия, изначала католическая, была бы совсем не та, какова теперь; допустим, пожалуй, что католическая была бы она и лучше, но не была бы Россией». Несмотря на всю несостоятельность главного положения чаадаевской статьи, много второстепенных мыслей, в ней высказанных, пошли с успехом в обращение, приняты были с сочувствием всеми поборниками западной гражданственности, отозвались, повторялись, получили развитие во многих журналах 40 годов и упрочили этой эпохе имя автора. Укажем здесь на статью г. Неверова в «Отечественных записках»[20] как на первую, повторившую почти все мысли Чаадаева, за исключением, конечно, главного тезиса.

Арест, наложенный на Чаадаева, продолжался не более двух месяцев. Князь Димитрий Владимирович Голицын выпросил ему у государя свободу. Впрочем, ему и тогда не запрещалось принимать у себя знакомых. Первым посетителем Чаадаева в самый первый день опалы был И.И. Дмитриев, памятный своей высокой и благородной деятельностью на службе, более известный своими сочинениями и влиянием, которое он, вместе с другом своим Карамзиным, имел на оцивилизирование нашей литературы. Московское общество скоро забыло первые порывы своего негодования и чуть ли в нем не раскаивалось. Оно охотно приняло изгнанника в свою среду – не только с радушием, но и с большим прежнего уважением. Испытанное Чаадаевым гонение публики и преследование правительства сделали его несколько умереннее относительно тогдашней его наклонности к католицизму, но остальных сочувствий своих к Западу и его просвещению он не таил ни перед кем. А в это самое время люди с неоспоримым талантом, с изощренною диалектикой, с огромною начитанностью, почти с такою же всестороннею ученостью начали занимать почетные места в образованном и ищущем об-

разования московском обществе и обращать на себя его внимание. Все они были гораздо моложе Чаадаева и почти все принадлежали другому, противоположному направлению, которое, при первом своем вторжении и в общество, и в литературу, провозгласило Запад гнилым, русский народ – народом по преимуществу, которое осуждало в стихах и прозе, в частных разговорах и в нескончаемых по сему предмету спорах реформу Петра и все ее последствия. Этого мало. Новые двигатели мысли устремились склонить общество и самое правительство к возвращению всех старорусских обычаев, к распространению своих убеждений на жизнь гражданственную и общественную, на самое воспитание и т.д. Первым органом такого направления был новый в Москве журнал «Москвитянин». За ним появился в Петербурге «Маяк»[21], дошедший до последних крайностей и потому прекращенный; зато «Москвитянин» для пламенных двигателей направления показался чересчур умеренным или, как говорили они, не довольно чистым, и вот начались печататься разные сборники: «Симбирский», «Исторический», «Московский», «Детская библиотека», новый «Москвитянин» нового издателя[22], эфемерные статьи в разных ежедневных изданиях и проч. Поднялась страшная литературная буря полемики.

Первой, никем не замеченной доселе жертвой этой тревожной, судорожной деятельности, этой мучительной борьбы мысли с самой собою более, нежели с противниками, был прекрасный юноша, достойный другого, более высшего призвания: то был 23-летний Валуев[23]. Он умер в 1845 году. Мои немногие читатели угадывают, что я говорю о славянофилах: так прозваны были все они по воспоминанию о Шишкове и его враждебной Карамзину и арзамасцам партии.

Кому и чему должно приписать возникновение у нас этой исключительно русской партии? Я думаю, во-первых, самому правительству; во-вторых, духу времени, или, что одно и то же, общеевропейскому направлению, зародившемуся в романтической Германии. Правительство наше возбудило русскую партию своей программой, которою определило себя при самом начале прошедшее царствование, приняв символ: православие, самодержавие, народность*. Далее, не подражание, а какое-то наитие от Запада почти в одно и то же время увлекло и нас историческими и филологическими исследованиями, романтизмом, восстановлением всех элементов народности, преувеличенным сочувствием к низшему народному классу, к религиозным вопросам и пр., и пр. Подобно тому, как во время Александра провозглашенные им принципы и слова Священного союза о христианской братской любви, народной свободе и правах человечества пробудили у нас заснувший мисти-

---

* Великий символ этот, как известно, провозглашен гр. Уваровым, а в нем утвердился едва ли не вследствие бесед с А.С. Хомяковым (сл[ичи] «Р[усский] Арх[ив]» 1863, стр. 731) (*примеч. П.И. Бартенева*).

цизм, образовали библейские и многие другие филантропические общества и, наконец, отбросили самых чистосердечных поклонников этих идей за пределы благоразумия и порядка, так и в последнее царствование, к концу первого его десятилетия краеугольные тройственные слова, принятые им в основание, пустили свои корни, может быть, глубже, нежели как могло того ожидать и еще менее предвидеть само правительство. Во Франции были же, и так еще недавно, роялисты, более преданные монархической власти, нежели сам король. Тоже самое случилось и у нас с доброхотными защитниками самодержавия. Облеченные бронею второго принципа этого тройственного символа, мужественно выступили на брань непризванные заступники православия и своей исключительностью, своим догматизмом, более или менее аскетическим, своими жалобами, стремлениями, требованиями, своею нетерпимостью ко всем другим вероисповеданиям далеко опередили законных и освященных учителей нашей церкви. Тем еще ревностнее, тем еще пламеннее, под защитой уже обоюдо-неприкосновенной эгиды, стали они ратовать за третий принцип правительственного символа – за народность. В русском народе (несправедливо, оскорбительно разумея под этим именем одни низшие классы нашего общества) ежедневно открывали они такие добродетели, такие достоинства, такую глубину премудрости, что если бы кто-нибудь из среды этого народа каким-нибудь чудом внезапно выучился читать и (что было бы еще чудодейственнее) уразумевал их туманно-германские возгласы, то всеконечно оцепенел бы от изумления при открытии в себе и себе подобных такой полноты человеческого совершенства. В исторических памятниках до-петровской Руси, уже частью известных и вновь усердно отыскиваемых, равно как в наших актах и грамотах, в русских сказках и песнях открывались любителями старины и народности такие элементы добра, правды, поэзии, просвещения, каких никогда не находил в них никакой беспристрастный читатель. Все невыгодные отзывы о святой до Петра Руси иностранцев и наших современных писателей заподозривались или умалчивались, а некоторые из них становились предметом или предлогом преследований. О Кошихине, о грамоте князя Пожарского к австрийскому эрцгерцогу, о письмах царя Алексея Михайловича к Никону, о новых источниках истории Троицкой осады, открытых и сведенных замечательным монографом Голохвастовым, о темной стороне изданного им Домостроя говорить не любили, а Флетчера запретили[24] – и с каким шумом! Наконец, вся древняя и новая философия объявлена была решительно бесполезной и чуть ли не положительно безбожной. Попытка заменить всякое философское учение позднейшими православными, не многим доступными, учителями восточной церкви пятого и последующих веков и, что еще страннее, нашими собственными духовными писателями, нигде не напечатанными, никому, следовательно, неведомыми, – писателями средних веков

нашей истории (можно себе представить, что это были за философы!) – такая попытка еще не забыта*.

Такова была сущность этой доктрины, и если само правительство имело решительное влияние на возрождение партии славянофилов, во многом поддерживая и покровительствуя их учению, то, с другой стороны, и славянофилы, несмотря на кажущуюся их малочисленность, могли иметь обратное, хотя и незаметное, действие на правительство и общественное мнение, раздувая в нас нашу народную кичливость. Следствием подобных увлечений была последняя война[25], а потому и ответственность за эту войну должны славянофилы принять отчасти на себя и свое учение. Будем же признательны к новому царствованию! Наученное опытом, оно, смеем догадываться, наконец уразумело всю опасность слишком знаменательных программ и потому провозгласило своим символом менее громкие, менее увлекательные, но зато общепонятные, более к сердцу каждого близкие и никому не враждебные принципы: *общественной нравственности, просвещения и христианства.*

Так – или почти так – думал и выражал свои мысли о славянофилах Чаадаев. Не принимая никакого участия в печатной против них полемике, он долгое время сражался с ними на поле литературных салонов и за такое скромное и достойное обличение того, что почитал неправдою и ложью, подвергся от них гонению. Корифеи доктрины подучили одного самого незлобивого московского поэта разразиться на него проклятиями в стихах, которых и отвергающий с негодованием их содержание не может не назвать превосходными, как почти все, что выходило из-под пера уже болезненного в то время Языкова[26]. В извинение поэта скажем, что он почти не знал Чаадаева и восстал против него, раздраженный своими друзьями. На грубо-оскорбительные упреки Языкова Чаадаев отвечал молчанием и в то же время благодушно хвалил звучный и сильный стих его.

Следствием распространения этих сатирических личностей было окончательное разделение московских литераторов и примыкавших к их кругу любознательных людей из общества на западных и восточных**. Во главе первых были даровитые профессора молодого поколения, занимавшиеся

---

* Читатели припомнят, что эти мнения и отзывы принадлежат ко времени, хотя и не давно прошедшему, но тем не менее от нас весьма далекому; ныне никто уже не станет отрицать у славянофильского направления великого и благотворного значения, которое оно имело во многих отношениях. Его заслуги перешли во всеобщее сознание; но для исторического изучения дороги вышеприведенные строки: это так сказать стенография того, что думалось и говорилось тогда в лучшем московском обществе приверженцами так называемого западного направления (*примеч. П.И. Бартенева*).

** Другой участник этих достопамятных бесед так характеризует их: «Оба кружка не соглашались почти ни в чем; тем не менее ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли как бы одно общество; они нуждались один в другом и притягивались взаимным сочувствием, основанным на единстве умственных интересов и на глубоком обоюдном уважении». Едва ли это не вернее (*примеч. П.И. Бартенева*). Цитируются слова Ю.Ф. Самарина.

преимущественно разработкой и преподаванием нашей и всеобщей истории. В восточном лагере Московский университет имел только одного действительного профессора и другого, уже сошедшего с ученой кафедры. Резкое отделение противников на две партии уничтожило литературные салоны. Хозяева, избегая слишком сильных споров и неприятных столкновений, перестали принимать на свои вечера, а когда и принимали, то уже одних коротких знакомых из этого круга.

Славянофилы не ограничивались печатанием и писанием не для одной печати разных статей, не удовлетворялись изустною проповедью своего учения, они захотели проявить его наружными знаками, – и вот сперва явилась шапка-мурмолка, потом зипун, а наконец борода. Доктрина русской рубахи сверх исподнего платья, рук без перчаток, бороды и поддевки оскорблялась элегантною изысканностью в одежде Чаадаева, его белыми перчатками, его изящными манерами и разговорами на французском языке. Чаадаев оскорблялся также, но гораздо менее, отступничеством славянофилов от реформы Петра и от европейских форм, уже полтора века принятых. Несмотря на решительно совершившийся в то время разрыв двух партий, он старался ни от одной из них не удаляться, посещал оба кружка и своим гонителям, не забывавшим его журнальной статьи, сам забывая стихи Языкова, дружески протягивал руку.

Таким благодушием, всегда достойно выражаемым, приобрел он их уважение. Прежние жестокие враги и постоянные противники личных его убеждений сделались его приятелями и остались такими до самой его смерти. Последние годы жизни Чаадаева не прошли, однако, без мелочных на него преследований. Кому-то, но уже, конечно, не славянофилу (будем и к ним справедливы), вздумалось оскорбить его, не известно за что, подлым безыменным письмом и напомнить давнишний арест Чаадаева вместе с гнусным намеком на сумасшествие. Потом, незадолго уже перед смертью, подвергся он жестокому укору за то, что, желая мира, выражал свое сочувствие к известному письму о мире князя М.С. Воронцова.

С 1827 по 1856-й г. Чаадаев прожил безвыездно в Москве и около 25 лет на одной квартире в Новой Басманной, в доме почетного гражданина Щульца, принадлежавшем прежде близкому ему семейству Левашовых[27]. Живя на одном месте, он до того сделался рабом своих комфортабельных привычек, что все эти 30 лет ни разу не мог решиться провести ночь вне города, хотя многие из его родных и друзей радушно и настойчиво приглашали его в свои подмосковные, придумывая всевозможные удобства для такой легкой поездки и желая доставить хозяину дома возможность перекрасить на его квартире полы и стены и поправить к осени печи. Ему и самому очень хотелось проехаться и освежиться деревенским воздухом, но привычка брала над ним верх.

Тридцать лет сряду в обветшалой своей квартире из трех небольших комнат принимал он у себя еженедельно своих многочисленных знакомых, спер-

ва вечером по средам, потом утром по понедельникам и любил, чтобы его в эти дни не забывали. Вся Москва, как говорится фигурально, знала, любила, уважала Чаадаева, снисходила к его слабостям, даже ласкала в нем эти слабости. Кто бы ни проезжал через город из людей замечательных, давний знакомец посещал его, незнакомый спешил с ним знакомиться. Кюстин, Моген (Mauguin), Мармье, Сиркур, Мериме, Лист, Берлиоз, Гакстгаузен[28] – все у него перебывали. Конечно, Чаадаев сам заискивал знакомства с известными чем-либо иностранными путешественниками и заботился, чтобы их у него видели; не менее старался он сближаться и с русскими литературными и другими знаменитостями. Я помню, как давно уже ленивый и необщительный Гоголь, еще до появления своих «Мертвых душ», приехал в одну среду вечером к Чаадаеву. Долго на это он не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец, он приехал и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения, и, конечно, оно вспоминалось ему при чтении Гоголя, а может быть, и при суждении о его произведениях*. Обыкновенно Чаадаев бывал самым ласковым и внимательным хозяином своих гостей и у себя давал более говорить и рассуждать посетителям, нежели говорил и спорил сам, хотя был очень словоохотен и по временам жаркий спорщик.

Его обвиняли в мелкой суетности. Правда, что он любил видеть у себя как можно более гостей, что искал всеобщего уважения, что почет общества был ему дорог. Нам ли, так часто гоняющимся за почестями всякого рода, нам ли, приобретающим их разными средствами, нам ли, порицателям этих почестей и тайным их завистникам, упрекать отшедшего от нас брата за искание почести безвинной и, конечно, безкорыстной? События последних трех лет тяготели над ним тяжким бременем. Ему, воину славной брани, подъятой за свободу отечества и освободившей Европу, ему горьки были и начало, и конец нашей последней войны[29]. Люди другого поколения, знавшие только по рассказам и преданиям славную эпоху благословенного царствования Александра, винили Чаадаева в том, что он, по обычаю стариков, сравнивал часто настоящее с прошедшим и всегда предпочитал последнее. В нем точно была заметна эта слабость и особливо в последние месяцы жизни. Так, например, не принимая никакого участия в московских торжествах при вступлении в столицу бессмертных страдальцев защитников Севастополя, он говаривал, что некоторых из возданных им почестей не приняли бы воины-освободители Европы (1814), что они никак не согласились бы жить, пить, есть, гулять,

* Сличи письма его к кн. Вяземскому о Гоголе, «Р[усский] Арх[ив]» 1866 г. Стр. 1088 (*примеч. П.И. Бартенева*).

плясать, веселиться и молиться на счет какого бы то ни было богача, будь он хоть какой знатный вельможа, будь он хоть какой простой гражданин и русский человек по преимуществу. Далее тоже говаривал Чаадаев, что ни один знаменитый вождь того времени не дозволил бы никакому оратору торжественно и во всеуслышание произносить похвалы своей честности и бескорыстию на службе[30]. То и другое, прибавлял Чаадаев с грустной улыбкой, наши современники сочли бы оскорблением мундира, чтобы не сказать более.

Чем глубже в самом себе скорбел Чаадаев о войне, тем животворнее была для него весть о мире. Любовь к миру, отвращение от крови превозмогали в нем все другие задушевные его убеждения, потому что основою всех его убеждений была чистая христианская любовь к человечеству. Правда, он не сочувствовал древней Руси; но в глазах его самой тяжкой виной русской истории было введение крепостного состояния в то самое время, когда Русь достигла уже своего образования как государство, в то именно время, когда на Западе почти повсюду уничтожалось рабство. Нашему времени упрекал он тем, что, несмотря на полувековое стремление двух государей и всех друзей добра и истины, не представляется еще, по его мнению, решительной возможности к уничтожению сего зла, не может еще начаться святое дело освобождения десяти миллионов, без страха потрясений и потрясений кровавых*. Невольно приходят тут мне на память последние четыре стиха элегии Пушкина «Деревня», написанной в 1819 г. под названием «Уединение»:

Увижу ли, друзья, народ неугнетенный,
И рабство, падшее по манию царя?
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Эти-то самые стихи, в печать, конечно, не допущенные, особенно полюбились императору Александру, и наш Чаадаев, списав своей рукой всю элегию, представил ее через своего генерала И.В. Васильчикова государю, когда тот изъявил желание прочитать какие-нибудь не изданные стихи молодого поэта[31].

Верный своему чувству ненависти к крепостному праву и неспособный к простому практическому пониманию нашего неизбежного пока порядка вещей, который так неразрывно связывается с отдельным положением каждого русского, Чаадаев, чтобы не иметь у себя в зависимости крестьян, продал, еще будучи молодым человеком, свое довольно значительное нижегородское имение другому владельцу (по всей вероятности, более взыскательному, нежели он сам) и тем совершенно успокоил свою совесть. Так поступали и поступают многие и даже некоторые явные эмансипаторы, умывая себе руки в этом вопросе и бессознательно отягощая тем судьбу своих крестьян,

* Писано в 1856 году (*примеч. П.И. Бартенева*).

что не мешало и не мешает им, однако, проповедывать, не взирая ни на какие препятствия, освобождение чужих. Следствием продажи имения была для Чаадаева почти постоянная нужда в деньгах, которым он не знал цены, а привычек комфорта умерять не умел. Тот же добрый человек*, который за 44 года покровительствовал ему под Бородином, помог ему выйти из затруднительного положения перед самой его кончиной.

Чаадаев имел постоянное предчувствие и почти желание внезапной смерти. Он боялся холеры и не скрывал своей боязни, но боялся только потому, что конец холерою представлялся ему в каком-то неприличном, отвратительном виде. «Мало того – жить хорошо – надо и умереть пристойно», говаривал он мне, и еще недели за две или за три повторил то же, прибавив: «Я чувствую, что скоро умру. Смертью моей удивлю я вас всех. Вы о ней узнаете, когда я уже буду на столе». Такое странное и страшное предвещание меня напугало (я же давно замечал в нем какое-то нравственное и умственное раздражение и знал ему причину), так напугало, что я решился спросить его: «Ужели вы, Петр Яковлевич, способны лишить себя?..» Он не дал мне договорить, на лице его выразилось негодование, и он отвечал: «Нисколько, а вы увидите сами, как это со мною будет». Последними его любимыми мыслями были: радость о заключенном мире, надежда на прогресс России и вместе опасение, наводимое на него противниками благодатного мира. Народная и религиозная нетерпимость известных мыслителей, как грозная тень, преследовала его всюду.

Весь пост был он на ногах, бывал в обществе, и чаще всего в Английском клубе, где, по обычаю, обедывал, или у Шевалье[32] (у себя стола он не держал). Страстная неделя разлучила с ним его самых близких приятелей. Клуб со страстной среды был закрыт, дома самые короткие, где, бывало, с ним так часто встречаешься, тоже. К концу страстной недели как-то нечаянно узнал я, что Чаадаев болен и серьезно, и в то же почти время узнал, что он, однако, выезжает. Последнее успокоило, как вдруг в страстную субботу самым отдаленным от него по расстоянию и ближайшим по сердцу пришла весть, что он очень плох и что едва ли застанут его в живых. Те бросились и нашли мертвеца, спокойно, с незакрытыми еще глазами, сидящего в кресле и как будто только что прекратившего разговор. Так и в самом деле было. Чаадаев еще накануне, в страстную пятницу, чувствовал себя нехорошо, но перемог себя и решился поехать обедать[33] у Шевалье (в защиту от ультраправославных повторим, что у него дома обеда не бывало). В тот же день вечером он пригласил к себе приходского священника от Петра и Павла в Новой Басманной[34]. С этим еще очень молодым и достойным пастырем он любил иногда побеседовать и довольно коротко сблизился года тому за два[35]. Чаадаев намеревался говеть Великим постом; на шестой неделе он был у священника и высказал

---

* Это был граф А.А. Закревский (*примеч. П.И. Бартенева*).

решение исполнить священнейший долг на Страстной неделе. Будучи теперь позван к Петру Яковлевичу, священник озаботился взять с собою Св. Дары. Чаадаев встретил его словами о своей болезни. Священник сказал, что до сего дня он ожидал увидеть П[етра] Я[ковлеви]ча в церкви и тревожился, не болен ли он; ныне же решился и сам навестить его и дома предложить ему всеисцеляющее врачевство, необходимое для всех. Все мы, сказал он, истинно больны и лишь мнимо здоровы. Чаадаев сказал, что боится холеры и, главное, боится умереть от нее без покаяния; но что теперь он не готов исповедаться и причаститься, а жалел бы принять Св. Таинства на утро, если бы знать, что здесь ему еще оставалось утро. Священник его успокоил милосердием Божьим. На другой день, в великую субботу после обедни священник поспешил к больному. Чаадаев был гораздо слабее, но спокойнее, и ожидал святыню: исповедался и приобщился Тайнам Христовым; удаляющемуся священнику сказал, что теперь он чувствует себя совсем здоровым. Чаадаев собирался даже выехать, стал пить чай, разговаривал с хозяином своей квартиры о его процессе, по которому хлопотал за него у высшего начальства, и, намереваясь выехать, приказал заложить пролетку. Разговор между тем шел. Вдруг голос Чаадаева стал слабеть, слова сделались и непонятны и неразборчивы. Потом последовало молчание. «Что вы, Петр Яковлевич, что с вами?» – спросил хозяин. Ответа не было. Чаадаев умер.

Предчувствия его сбылись! Желание сердца исполнилось! Безболезненна, непостыдна, мирна была христианская твоя кончина накануне Светлого праздника, за немного часов до первого полуночного удара в большой кремлевский колокол. Светло, торжественно было твое погребение, оглашаемое вместо надгробного пения победной над смертью песнью и учащаемым приветствием к живым и к мертвому: Христос Воскресе! Краткое у гроба слово, глубоко прочувствованное и от избытка сердца сказанное достойным духовником, и началось, и заключилось тем же приветствием о воскресшем Искупителе. И мы, друзья покойного, целуя его последним целованием, не столько со скорбью о смерти, сколько с упованием воскресения сказали ему наше последнее: Христос Воскресе!

27-го апреля 1856 года.
Москва.

Приписка. Не для прославления, а по возможности в оправдание памяти человека, по сердцу и убеждениям мне близкого – написаны эти немногие страницы для немногих читателей, написаны с желанием, чтобы хотя один из часто поднимаемых на него камней при жизни выпал наземь из руки строгого порицателя, чтобы поменьше было оскорбительных следов от таких камней на необросшей еще могиле.

1-го мая 1865 года.
Калуга.

ЗАМЕТКА ОБ ОТНОШЕНИИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА К КАТОЛИЧЕСТВУ* [1]

В бытность мою в Париже в начале 1870 года один из русских отцов-иезуитов дал мне перепечатанную им из умеренного католического журнала «Корреспондент» за 1860-й год отдельную свою брошюрку: «О стремлениях к католицизму русского общества»[2] (Tendances catholiques de la société russe). Вероятно, статья эта не могла быть в свое время пущена к нам и потому не вызвала она никаких возражений. В ней прочел я, к моему удивлению, никем до сих пор не замеченные указания на симпатию Александра I к католической церкви и на неопределенное смутное его желание в нее обратиться.

С недавнего времени историческая наша критика, увлекаемая пристрастием ко всему народному и отвращением ко всему чужому, возмущенная до крайней степени раздражения последним польским восстанием и остзейским вопросом, часто высказывала ничем не заслуженное свое негодование на европейскую политику Александра I, упрекала его в недостатке любви к своему народу и в предпочтении всего европейского своему русскому. Самые ярые из таких критиков в пылу гнева доходили до того, что императора Александра I чуть не называли изменником России. Непонятно, как до порицателей памяти Благословенного не дошла статейка, на которую я указываю, и не послужила им поводом обвинять этого государя в вероотступничестве. Всем известно, что Александр в середине своей жизни предавался неумеренному мистицизму, но с вероятностью можно предположить, что после удаления князя Голицына, разделявшего с ним долгое время разнородные мистические заблуждения, император Александр перевел никогда не оставлявшее его глубокое внутреннее чувство набожности на правую, так сказать, сторону православной нашей церкви. У нас сохранилось предание о последнем молитвенном посещении им схимника[3] Невской лавры в последние минуты последнего отбытия его из Петербурга. Мы знаем также, что, объезжая Крымский полуостров, за несколько дней до кончины, посетил он тамошний Балаклавский Георгиевский монастырь и усердно молился в нем с престарелым греческим митрополитом Агафангелом[4]; но мы решительно до сих пор не читали и ни от кого из врагов его памяти не слыхали о мнимой симпатии Александра к католической церкви.

---

* Сличи в «Рус. Архиве» 1866, стр. 1492, о последнем свидании Жозефа де Местра с Александром Павловичем (*примеч. П.И. Бартенева*). Здесь упомянуты Жозеф (Иосиф) де Местр (1753–1821), граф, французский публицист и религиозный философ, бывший сардинским посланником в России (в 1802–1817 гг.), и публикация его письма к кн. П.Б. Козловскому (РА. 1866. Вып. 10. Стб. 1492–1504).

Чтобы отчасти предупредить вторжение подобного нового обвинения в нашу историческую критику, я вполне выписываю одно место из указанной мною брошюрки и, опровергая справедливость указаний одним обстоятельством того времени, лично мне известным, предлагаю другим, более меня сведущим исследователям коснуться до возбужденного издателем «Корреспондента» вопроса о религиозных направлениях Александра I.

В журнале, на который я здесь указываю, сказано, что генерал Мишо[5] (тот самый, который в сентябре 12-го года отправлен был Кутузовым к императору Александру с печальным известием о взятии Москвы) имел будто бы в руках своих бумаги, врученные им епископу Кюнео в Пьемонте и впоследствии (по завещанию генерала же Мишо) пересланные братом императору Николаю. По свидетельству трех лиц, Льва XII[6], Мавра-Капеллари[7] и Морони[8], император Александр желал обратиться в католичество. Вот рассказ, который Морони записал в свой словарь будто бы со слов папы Григория XVI-го Генерал Мишо лично передал Льву XII просьбу Александра выслать в Россию уполномоченного священника для присоединения его к римской церкви; Лев XII сперва было назначил Мавра-Капеллари (впоследствии того самого папу Григория XVI-го), но он отказался, и отправляли уже в Россию отца Ориоли[9] (францисканца, позднее кардинала), когда получена была весть о внезапной кончине Александра.

«Le général Michaud avait entre les mains des papiers très importants, qui auraient jeté un grand jour sur cette question; ils furent déposés par lui entre les mains de l'évêque Cuneo en Piémont: après la mort du général Michaud et sur sa volonté expresse, ces papiers furent envoyés par son frère à l'empereur Nicolas, et on assure qu'ils parvinrent entre les mains de ce dernier le jour même où il recevait l'allocution de Grégoire XVI du 22 juillet 1842.

Moroni, dans son Dictionnaire, à l'article Russie, entre sur ce sujet dans des détails très curieux, et il prétend les tenir de la bouche du pape Grégoire XVI. Suivant ce récit le général Michaud serait venu trouver Léon XII pour lui faire part des bonnes dispositions de l'empereur Alexandre et pour le prier d'envoyer en Russie un prêtre investi de toute sa confiance pour recevoir l'abjuration de l'empereur. Léon XII aurait d'abord désigné Maur Capellari, abbé du monastère des Camaldules à Rome et plus tard pape sous le nom de Grégoire XVI et, sur le refus de celui-ci, ce serait le p. Orioli, Franciscain et depuis cardinal, qui se serait chargé de cette mission délicate; mais au moment de partir, il aurait appris la mort d'Alexandre.

Tout le récit repose sur le témoignage de trois hommes, Léon XII, Maur Capellari, devenu pape sous le nom de Grégoire XVI, et Moroni, qui affirme avoir mis par écrit le récite du pape le jour où il l'avait entendu de sa bouche. Alexandre avait-il prononcé un acte d'abjuration, était-il entré dans le sein de l'Eglise catholique avant de mourir? Avait-il même nettement formulé la volonté arrêtée

de procéder à ce grand acte quand il est mort? Nous n'en savons rien; mais il est difficile de ne pas admettre que le catholicisme avait fait sur son esprit une impression profonde»*.

Я не имею никакой причины опровергать достоверность всех предлагаемых тогда разным лицам поручений Рима на дело обращения в католичество императора Александра, но имею полное право утверждать, что даже в последний год своей жизни государь не мог иметь особенных симпатий к католичеству, а напротив, что он порицал всегдашнюю нетерпимость католиков к протестантам. Мнение мое основываю я на том, что мне прямо известно и в чем я лично участвовал. Состоя при нашей миссии в Швейцарии, проводил я лето 1825-го года в Женеве. В июне или июле месяце получил я приказание начальника нашей миссии барона Крюденера вручить от имени государя 5000 франков в пособие католическим сестрам милосердия города Женевы, настоятелю женевского католического прихода аббату Vuarin. Этот аббат, тонкий, как говорили в Женеве, иезуит, друг и наперстник знаменитого Ламенне, тогда еще не изменившего папству, известен был своими кознями и преследованиями протестантской женевской церкви. В письменной просьбе своей к императору Александру о вспоможении сестрам милосердия его прихода он, вероятно, выражался враждебно к женевским протестантам и также, вероятно, упоминал о каких-то надеждах обратить последователей Кальвина в католичество. Такое предположение выражаю я здесь потому, что в депеше графа Нессельроде к Крюднеру предписано было от имени государя объявить аббату Vuarin при вручении ему пожалованной суммы желание государя,

---

* Т.е. «генерал Мишо имел в руках очень важные бумаги, которые значительно уяснили бы этот вопрос. Он их передал пьемонтскому епископу Кюнео. По смерти генерала Мишо, по выраженному им желанию, брат его отослал эти бумаги императору Николаю, и уверяют, что они были вручены ему в самый тот день, как он получил аллокуцию Григория XVI-го, 22 июля 1842 г. – Морони в Словаре своем, в статье «Россия» передает об этом предмете весьма любопытные подробности, которые, по его уверению, слышаны им из уст папы Григория XVI. По этому рассказу, генерал Мишо явился ко Льву XII с целью сообщить ему будто бы о добрых расположениях императора Александра и просить об отправлении в Россию священника, который бы снабжен был полным его доверием и принял бы отречение императора. Лев XII сначала назначил для того аббата римского Камальдульского монастыря Мавра-Капеллари (бывшего потом папою под именем Григория XVI); но когда тот отказался, чувствительное поручение это было возложено на францисканца отца Ориоли (впоследствии кардинала), но, собравшись ехать, он узнал о смерти Александра. – Весь рассказ основан на свидетельстве трех лиц: Льва XII, Мавра-Капеллари, сделавшегося папою под именем Григория XVI, и Морони, который утверждает, что записал рассказ папы в тот день, как слышал оный из уст его. Произнес ли акт отречения, вступил ли Александр перед своею смертью в лоно католической церкви, выразил ли он точно во время кончины принятое намерение приступить к этому великому акту, мы этого ничего не знаем, но нельзя не допустить, что католичество произвело на его дух глубокое впечатление» (*примеч. и пер. публикации в «Русском архиве»*).

чтобы этот аббат не утруждал более его величества своей перепиской и чтобы вообще воздерживал излишнюю неверотерпимую свою ревность и не возмущал своими религиозными интригами мира и спокойствия жителей Женевы. Эти именно слова предписания нашего министерства лично переданы были мною аббату Vuarin. Он, конечно, не мог принять их равнодушно и, отвечая мне на это выражением своей скорби о том, что должен отказаться от прямых сношений с самым благодушным монархом нашего времени, прибавил:

«Но я как служитель вселенской церкви не могу отречься и не отрекаюсь от моих стремлений обратить к истине тех, которых еретик Кальвин обратил ко лжи».

Такой рассказ, основанный без всяких преувеличений на самой чистой истине, не опровергает ли так поздно придуманных католиками предположений, будто бы император Александр искал обращения к римской церкви?

Не отрицая необходимости у нас цензуры на иностранные книги и журналы, я считаю не лишним воспользоваться этим примером, чтобы поставить на вид неизбежный ее вред. Несправедливое, а иногда явно злоумышленное обвинение от недоброжелателей России, не будучи пропущенным, остается поневоле без опровержения и через несколько времени делается достоянием современной истории. Сколько публицистов самых добросовестных разрабатывали мнимое завещание Петра Великого[10], и как трудно теперь разуверить Европу в том, что подобного завещания никогда не бывало.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕКАБРЬСКОМ МЯТЕЖЕ 1825 г.[1]

Виною мятежа, скорее мятежной вспышки, какою заключилась в Петербурге первая четверть нашего столетия, был дух времени и неизбежное крайнее увлечение оным Александра I.

Характер этого государя, не выясненный еще историческою критикой, чрезмерно к нему строгой, неминуемо должен был сложиться таким, каким представляется он беспристрастному современнику его царствования и каким должен бы представляться новым нашим поколениям.

Я уже упоминал в моих «Записках» о воспитателе Александра, генерале Лагарпе. Кто знал последнего, и даже тот, кто, подобно мне, встречался с ним на самое короткое время в поздние годы его жизни, не мог не видеть в нем пылкого последователя энциклопедистов XVIII века, последователя и защитника принципов французской революции. Как ни поверхностно было воспитание, данное им императору Александру, урывочное, не имевшее никакой прочной системы и вместе с тем кратковременное, оно не могло не посеять в кротком сердце впечатлительного царственного юноши, с одной стороны, благотворных, с другой – опасных семян. Никто из людей, по моим убеждениям, не испытывает над собою такого последовательного влияния судьбы на всю жизнь, как те, которых преемственно призывает она править народами, и к ним-то преимущественно должно применить древнее изречение: habent sua fata reges*. Так, более, нежели чья-нибудь, сложилась и вся жизнь императора Александра.

Кроткое сердце Александра, пламеневшее любовью и одушевленное внушенными ему Лагарпом идеалами свободы, равенства и братства, стремилось царствовать ко благу подданных и воздерживать в себе и других все порывы неограниченного самовластия. Провидению угодно было хранить его целые 25 лет на самодержавном престоле, но и этот четвертый от Петра Великого император[2] далеко не оправдал ни собственных ожиданий, ни тех надежд, которые возлагали на него подданные его империи.

Свободолюбивые его идеи, которыми он жил и царствовал и исполнению коих он вполне предавался два десятилетия, нисколько не осуществились. Избранные им любимцы и сравнительно юные соправители: Строганов, Новосильцев[3], Чичагов, Кочубей[4], Сперанский, вместе с ним должны были отчаянно бороться со старыми екатерининскими консерваторами, редко побеждать и часто уступать им. Неудачи увеличивали в государе сомнения и нерешительность. В начале царствования сперва дружба, потом борьба и потом опять дружба с Наполеоном, всеобъемлющему гению которого он под-

---

* цари имеют свою судьбу (*лат.*).

чинялся, сознавая умственное превосходство его над собою, подвергали его неоднократным колебаниям*.

Освобождение Германии, взятие Парижа и низложение Наполеона исключительно принадлежат самому Александру, но и он, вместе со всей Россией, спасение ее от врагов приписывал более, говоря по-человечески, счастливому стечению обстоятельств, нежели искусству русских вождей и храбрости своих войск. Отсюда возникла и естественно утвердилась в нем мысль, в религиозном отношении справедливая и достойная всякого уважения, что Россию спасло вопреки всех человеческих вероятностей хранящее наше отечество Провидение. Эта мысль, вернее сказать, чувство, утвердила в нем то мистическое настроение, которому, как видно из письма Сперанского, предавался государь уже до 1812 года. Много было причин, колебавших свободолюбивые убеждения Александра. После решительного европейского кризиса, который кончился ссылкою Наполеона на остров Святой Елены, начала преобладать прежняя нерешительность его характера, тем более, что он, несмотря на все свое влияние на дела Европы, встречал повсюду препятствия идти путем возрождения народов своих и чуждых в духе законного порядка и в то же время развития возможной свободы, возможного равенства и братства. Так неудачно избранный им, так сказать, в посредники между новым Польским царством и Россией брат его цесаревич Константин, начальствуя всею польской армией, а в западных губерниях русско-литовским корпусом, по ненависти своей к свободным учреждениям и по деспотизму своего характера препятствовал развитию польской конституции, враждовал с наместником царства Заиончиком и постоянно то в важных вопросах, то в самых мелочных дразнил поляков и вообще действовал против них у государя. В европейских делах всего более противились добрым намерениям Александра не удавшиеся в разных местах революции, а еще более мешала нам ставшая против императора Александра политика Англии после зарезавшегося нашего сторонника Castlereagh и заместившего его Каннинга. Вследствие частых неудач у себя внутри и извне все мрачнее и мрачнее становился император, все более и более подчинялся влиянию Меттерниха, все более и более раздражался встречаемыми им на каждом шагу препятствиями со стороны Англии. Он, видимо, изнемогал, бездействовал у себя дома, и временщик Аракчеев сделался средоточием правительства. Благая мысль – учреждением военных

---

* При личном свидании с Наполеоном в Эрфурте император Александр выразил перед всеми, до какой степени он увлекается дружбою великого властителя половины Европы. Оба государя сидели в креслах небольшого придворного театра, на котором играли лучшие парижские актеры. Тогда не помню, в какой именно трагедии, Тальма, или другая драматическая знаменитость, произнес стих: «L'amitié d'un grand homme est un bienfait des Dieux» [«С великим дружество – есть чудный дар богов» (*фр.*). Цитата из «Эдипа» Ф.-М.Вольтера]. Александр встал и обнял Наполеона. Зрители рукоплескали (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

поселений облегчить самую тяжкую для народа рекрутскую повинность и основать их для достижения этой цели на севере близ Петербурга и на юге близ Харькова, – вместо ожидаемой от нее пользы безусловным деспотизмом Аракчеева сделалась народным бедствием и предметом всеобщей ненависти. Общее неудовольствие против мер правительства, от которого с самого начала царствования Александра так много ожидали, побудило многих, преимущественно из образованных офицеров, основать тайные общества, которые привели к мятежу 14 декабря.

Вступившие в члены этих обществ люди, передовые по образованию и происхождению, считали себя увлеченными и потом обманутыми императором, на которого утратили всякую надежду. Государь вскоре узнал тайные их замыслы, следил за ними, но и тут действовал нерешительно. За несколько дней до кончины своей в Таганроге перед ним открылась вся сеть заговора, и это открытие, вероятно, усилило его болезнь и ускорило смерть. Для подавления грозившего ему мятежа, для принятия решительных мер против заговора он за день или за два до кончины настойчиво вызывал к себе из Новгорода Аракчеева, который в это время оплакивал умерщвленную свою любовницу Настасью[5] и, занятый тиранским преследованием ее убийц, не спешил приехать в Таганрог. И здесь, по нашему убеждению, отличительная черта характера Александра, много повредившая славе его царствования и благу его подданных, его нерешительность, более, нежели когда-либо, обнаружилась.

Нет сомнения, что государь, зная с 20 годов о составлении тайных обществ, мог бы их уничтожить, еще не прибегая к крутым мерам. Впоследствии, когда существование их более обнаружилось, когда ему известны были главные из членов, лично им знаемых, ему, вероятно, предлагались меры против них крутые, жестокие, которые, по доброте сердца, употреблять он не любил и потому, в этом случае употребим простонародное выражение, как бы боялся дотронуться до больного места, чтобы не разбередить раны, глубоко поразившей его сердце.

Тайное общество сходилось и расходилось; члены его, рассыпанные по всей империи, по временам пробуждались от своего бездействия, набирая новых себе товарищей, но ничего решительного не предпринимали. «Нас всего 120 человек», – говорил однажды самый решительный из заговорщиков Пестель, и уже готов был, убедившись в невозможности исполнить свои замыслы, отправиться к императору Александру в Таганрог, преклонить повинную свою голову, донести на самого себя и в то же время открыть государю все беспорядки в правлении, всю тяготу от них его подданных. О таковом намерении Пестеля пишет еще в не изданных своих «Записках» Николай Иванович Лорер[6], служивший в южной армии, в полку которого Пестель был командиром. Другой из главных заговорщиков Якушкин выразил в своих «записках», изданных за границей[7], подобную же мысль о прекращении общества и о представлении

об этом государю нарочной записки и адреса. Никакого правильного действия; никакого решения, сколько мне известно, на всех этих совещаниях никогда не было нигде записано. Голоса присутствовавших членов собирались избранными для формы.

Все, что мы знали о декабристах в первые годы мятежа и во время их долгого изгнания, все что мы слышали от многих из них по их возвращении, все что прочитано и ежедневно читается о них в разных современных изданиях, более и более утверждает меня, что у них не было никакой определенной цели и еще менее определены были ими окончательно и время и средства к исполнению. Не сами они решили начать восстание 14 декабря, не сами назначили час и день для сбора на площадь – их вызвали на то просившиеся на бунт и вызывающие его обстоятельства того времени, но и тут, и в этих обстоятельствах, приготовил их беспримерно мягкий сердцем и добрый император Александр, увлекавший молодые поколения своего царствования неисполнимыми идеями, шаткой, изменчивой своей политикой, либеральной в основаниях и часто стеснительно строгой в своих действиях. Вместо того, чтобы решительно, явно и своевременно обнародовать самодержавную свою волю, изменить основной закон, данный Павлом о порядке престолонаследия[8], вместо того, чтобы, с согласия старшего по нем брата цесаревича Константина, назначить своим наследником Николая, он скрыл от всех законную свою о том волю и вверил хранение тайны его завета двум избранным лицам, обязав их клятвою не касаться печати завещания до его кончины. Отсюда с первой минуты получения вести о кончине императора не могли не возникнуть пререкания, положим, и великодушные со стороны наследника престола по завещанию, но тайные и вредные по тому всеобщему недоумению, которое овладело умами всех подданных.

Отдадим полную справедливость мудрой прозорливости одного из двух хранителей тайны. Если бы митрополит Филарет вскрыл в Москве печать вверенного ему завета, как то было ему повелено покойным государем, то таким своим действием, хотя и законным по букве, он бы еще усилил и возникшие пререкания в самом верховном правительстве России и недоумение в народе, который искал и не обретал необходимого ему искони самодержца. Я уже говорил в другом месте об упорном возражении графа Михаила Андреевича Милорадовича и согласившегося с ним министра юстиции князя Лобанова[9] не признавать императором Николая по завещанию, а требовать от Константина подтверждение отречения от престола. Пока современная история не разъяснит нам всех подробностей поведения великого князя Константина Павловича в эту тяжелую и нигде не бывалую эпоху, я считаю себя вправе назвать его не только странным и неудобообъяснимым, но и отчасти сомнительным и даже двоедушным. Цесаревич с явным отвращением принял высланных из Таганрога, Петербурга и Москвы ему вестников о принесенной

ему как новому императору присяге, отрывисто, сурово отвечал им, что царствовать не хочет и не будет, а между тем медлил повторением своего отречения, отправил первое в таких выражениях, в каких оно с сохранением приличного достоинства никак не могло быть обнародовано, да и в том самом, которого наконец от него добились, не совсем скрывалось какое-то тайное негодование за всю неловкость и неприятность того положения, в которое он был поставлен. Заметно было, что ему очень не хотелось еще раз повторить перед светом свою неспособность царствовать, что в нем (впрочем, этого от него можно было и ожидать) не было ни капли того христианского смирения, ни того великодушия человеческого, которым было преисполнено сердце императора Александра.

А между тем это смутное время невольно нашедшего на нас междуцарствия прижало в упор замышлявших государственный переворот, с давних до тех пор ни на что не решавшихся заговорщиков. Те из них, которые все еще мечтали о каком-то будущем, самим им не известном благе преобразования в России, равно как и те, которые, как Пестель, думали о личном своем возвышении, убедились в том, что заговор открыт, что имена всех их уже известны правительству и что их ожидают неминуемое преследование и кара. Делать им было нечего: пришло время или мятежом вырвать власть из рук нового самодержца и заставить его согласиться на уступки самодержавия, или ему покориться и пред ним покаяться. Часто и с той самой поры размышляя про себя и толкуя с другими о декабристах, я воображал себя на месте одного из них, конечно, второстепенных. Высшие ступени какой бы то ни было лестницы недоступны и нежелательны мне были и в самом воображении. Задавая себе, таким образом, вопрос: что бы я сделал тогда как заговорщик? я никогда не мог придти к решительному заключению. Раскаиваться, покориться власти представлялось мне позорным; отстать от товарищей, изменить им – бессовестным, постыдным; верить в несбыточный успех – глупым, но, с другой стороны, обманом вести невежественных и забитых солдат на явный бунт и несомненную погибель во имя явной лжи, будто бы изобретенного коварством отречения Константина от престола, убивать полковых командиров Шеншина[10] и Штюрмера, заставлять их провозглашать конституцию во имя супруги нового законного государя[11], – всегда казалось мне, – и слава Богу! – и грешнее и постыднее, чем покориться перед законом, чем изменить товарищам.

Справедливо, хотя и строго осуждая крамольников и их бунт на площади, я в то же время всегда извинял всех тех, которые, вступив в тайное общество и убедившись в невозможности достижения его цели, вышли из этих обществ и навсегда от них отказались. Как бы ни был, с одной стороны, необходим закон, преследующий для охранения общественной безопасности тех, кои подозревают заговор и даже о нем знают, для всякого честного человека,

более или менее развитого в духе нашего времени, существует закон другой – гнушаться доноса и отнюдь не быть никогда доносчиком. Этот другой закон, принятый как нравственный догмат нашим образованным обществом, кроме того, исповедуется и нашим народом. «Доносчику первый кнут», – говорит пословица; «Отойди от греха», «не бери греха на душу» – две народные поговорки. Конечно, и это нравственное правило, признанное аксиомой и высшим и низшим обществом, – первым как правило чести, и нашим народом, считающим всякий извет за грех, – имеет свои вредные крайности. Поэтому часто почитают у нас доносчиком и того, кто доносит по обязанности, по долгу, или того, кто со стороны открывает явное зло ко вреду ближнего, а как крайняя сторона всевозможных убеждений и, прибавим, всяких добрых качеств всегда ведет к дурным последствиям, то и в этом отношении преувеличенная идея чести и идея греха порождают и успокаивают эгоизм, выражаемый обыкновенно тоже поговоркой: «Мое дело сторона; моя хата с краю, ничего не знаю».

Возвращаюсь к вечной для меня загадке, как бы поступил я, если бы был заговорщиком? Думаю, что я мог бы раскаиваться и вероятно бы раскаялся и не пошел бы на площадь. В этих словах таилось, а теперь открывается собственно мое оправдание поступку князя Трубецкого[12]. Что же касается до тех, которые отстали и не доносили, то в моих глазах не нуждаются они ни в каком оправдании. Я положительно не считаю их виновными. Пора же, наконец, по прошествии полувека от несчастного события взглянуть на него со всех сторон, беспристрастно и, если возможно, уже не подчиняться более никаким предвзятым предубеждениям, т.е. освободиться от предрассудков отживших, с одной стороны, и от революционных тенденций новейших, малоприкладных к России.

Было, как говорили мы, время, когда в высших сферах нашего общества считали декабристов извергами; с нового царствования начали считать их героями. До сих пор в своих «Записках» и в своих сношениях с прежними своими близкими, которых они по возвращении нашли еще в живых, и тем еще менее с людьми нового, сочувствующего им поколения, избегают все до единого признать ту истину, что восстание их с оружием в руках на Петровской площади[13] и в Василькове[14], городе Киевской губернии, было вынуждено обстоятельствами, от них ни мало не зависевшими. Следствие, крепость, суд, смертная казнь, долгая дорога в ссылку в оковах, пребывание на каторге в самом начале, почти наравне с отверженными от общества злодеями, замкнутый тесный кружок единомышленников, многие лишения (кто их перечислит) и тридцатилетнее, хотя и облегченное впоследствии изгнание – все это вместе взятое путем весьма естественным довело их до того, что они, строго оберегая в себе человеческое достоинство, бессознательно в собственных своих глазах сделались действительными героями-патриотами и начали при-

писывать себе такие стремления для блага своего отечества, осуществление которых редким из них представлялось в мечтаниях, для большей же части и самое это мечтание было недоступным. Говоря о них с любовью и участием, Николай Иванович Тургенев в одном из своих сочинений первый открыл в них эту черту самообольщения, неизбежно присущую всем без исключения политическим изгнанникам особенно тогда, когда они где-нибудь в отдалении, в ссылке, живут вместе. При таких только условиях, должно сказать, и могут они, эти несчастные изгнанники, не упасть духом и оставаться такими, какими они были, – людьми честными, благородными, сильными телом и духом и достойно переносить все свои страдания. Потому-то, возводя себя добросовестно, искренно на степень героев, они, как мы теперь еще видим – делаются неумолимо строгими ко всем тем из участвовавших в первоначальных тайных обществах, которые, убедившись – иные в неправоте, другие в невозможности, в несбыточности их стремлений, от них отстали и прекратили все сношения с ними и с тайными обществами. Этих отсталых порицают они изменниками. Такими изменниками в глазах декабристов, выдержавших 30-летнюю ссылку, считают они, во-первых, сколько мне достоверно известно, Ник. Тургенева, Мих. Фед. Орлова и живущего еще престарелого воина Граббе[15], и в этом отношении их строгий суд против них, за то, что они не разделяли с ними их тяжкой участи, сходится или по крайней мере сходился с судом против отсталых и самого правительства, которое всех их приговором верховного уголовного суда карало, иных еще милостивым, других слишком жестоким, по моему мнению, наказанием.

К сожалению, история не может назвать беспристрастными ни произведенное над декабристами следствие, ни приговор суда. Он не был чужд крайнего раздражения. Император Николай впоследствии смягчил против них своей гнев и, по выражению Пушкина:

И тем, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

К несчастью для осужденных, сделанный государем выбор главных следователей пал на близких ему Чернышева и Левашова[16], способных с жестокою радостью ругаться над человечеством, и был орудиями нравственной и всякой другой пытки. К несчастью, если над декабристами не было пыток телесных, то нравственной пытке, ненужной и часто утонченной и бесполезной, они подвергались.

Между судьями были, как мы уже сказали, многие раздраженные до крайней жестокости, несколько умеренных и кротких и ни одного судьи твердого и вполне справедливого, а тем еще менее такого, который бы соединял в себе все те качества, какие требуются в наше время, завоевавшее себе развитием принципов истинного христианства и юридического права высшие идеи о правосудии. По моему крайнему разумению, не правосудие, а раздраженные

страсти положены были в самое основание этого суда. Разделение преступников на категории и изъятия из всех них вначале главных заговорщиков, казненных потом смертью, было возмутительно несправедливо. Допустим, что такое изъятие вымышлено было верховными судьями для того, чтобы вынудить от государя согласие на смертную казнь и тем – вероятно, об этом не подумали – лишить его на все время царствования права помилования остальных преступников; допустим отчасти, что смертная казнь была по времени необходима, но к чему прочие разделения на категории? Опять, по моему крайнему разумению, все без исключения взятые с оружием в руках бунтовщики заслуживали по военному суду немедленно смертную казнь, потому что большая часть их изменили не только общей присяге на верноподданство, но и присяге своему знамени, и сверх того, смело прибавлю от себя мое собственное мнение, тому понятию о дворянской чести, которая в нашем дворянском быте, в нашей истории, к сожалению, не достаточно выработалась и которая везде признается comme acte de félonie*. Что бы о мне ни говорили, как бы меня ни порицали, а мысль моя такова – и к ней прибавлю я повторение той, которую я уже высказал – что вышедшие на бунт с оружием в руках виновны были в увлечении за собою, во-первых, очень еще юных заговорщиков и тех из солдат, которых они привели за собой на площадь обманом и, сверх того, той толпы народа, которая безвинно была подвержена картечным выстрелам. Последнее обстоятельство, тяжко обвиняющее преступление, было по какому-то странному случаю совершенно забыто и на суде, и в сознании самих преступников. Никто до сих пор не произнес об этом ни слова, не написал ни одной строчки. Положа руки на сердце, во всем этом несчастном деле убийство невинных жертв, обманутых или привлеченных под картечь одним любопытством, осуждаю я еще более, нежели самый мятеж. Верховный суд, а с ним вместе и верховная власть совершили тяжкий грех перед историей тем, что действовали по чувству страха. Военный суд, по военным законам скорый и неумолимый, нашел бы более оправдания перед историей своей строгости, – за ним признали бы закон тяжелой необходимости. Император Николай выказал бы более царственной мудрости, если бы воздержался от собственного своего раздражения, если бы не уступил раздражению членов суда и всего общества, если б не казнил смертью пятерых главных зачинщиков. Мы знаем достоверно, что время подействовало благодетельно и на его сначала ожесточенное сердце, что он, по возможности, миловал преступников, но смертная казнь, лишив и его самодержавие возможности возвратить жизнь уже казненным, тем самым отняла у него и право помилования. По всей справедливости оно должно было на суде смягчить наказание всем тем, которые увлечены были, не достигнув зрелого возраста, и еще более тем,

---

* как акт вероломства (*фр.*).

которые в мятеже не участвовали и даже не знали, что давние намерения тайных обществ – шаткие, неопределенные, вызванные одними обстоятельствами, будут когда-либо приведены в исполнение. Кто, кроме Бога, может судить о поступках, еще не совершенных?

* * *

Прошло более двух лет с тех пор, как повел я длинную, хотя и бедную содержанием, мою о себе повесть, рассказывая ее откровенно, бесхитростно, без всяких притязаний на авторство, без страха и без нужды на успех, а потому и без желания видеть ее в печати, рассказывая без большего усилия, не умея побеждать в себе лень, которая не любит справок. Но с тех пор, как обо всем случившимся со мною повествую, не приходилось еще мне так сильно, так искренно желать, чтобы рассказ мой об одном из ссыльных был справедлив и вполне достоин его памяти.

В немногих словах, не имеющих претензии на историческое значение, упоминая о декабрьском мятеже и только потому, что в это пребывание мое в Петербурге разрешилась эта грозовая туча громовым судом, казнями и ссылкой осужденных, желаю сказать мое последнее слово о том из декабристов, который с первой моей с ним встречи привлек к себе мои юношеские симпатии, почему – сам не знаю.

За пять лет прежде 14 рокового числа, в 1819 году встретил я еще очень молодым человеком двух родных братьев князей Трубецких, старшего Сергея и младшего Петра[17], которые немногими годами были меня старше. Они были в отпуску в Москве для свидания с родными, и в продолжение целой недели в безлюдное в городе время видал я их почти ежедневно в доме моей тетки Марьи Васильевны Обресковой. Вместе с нею жила тогда их близкая свойственница Александра Николаевна Николева, урожденная Бахметева; к ней-то именно они и ездили. На сестре Николевой был женат родной по матери их дядя князь Егор Александрович Грузинский[18], в свое время очень известный. Князь Сергей Петрович был в это время капитаном старого Семеновского полка и своим скромным, сдержанным, но в то же время добродушным простым обхождением мне полюбился. Длинный ростом, рябоватый, сутуловатый и неуклюжий, но с приятным выражением лица, он мало походил на второго своего брата, гвардейского артиллериста, князя Петра, отца Оболенской, Урусовой, Толстой и Клушиной[19].

Я скоро потерял их из виду, но имя Трубецкого все-таки осталось в моей памяти, и когда в Берне дошло до меня подробное известие о 14 декабря вместе с длинным списком заговорщиков, я с большим любопытством и участием остановился и призадумался над именем князя Сергея Петровича, несмотря на то, что между подвергнувшимися следствию были три-четыре человека, мне лично знакомые: Корнилович, Оболенский, Шаховской и др.

Надо же было случиться, что в 1851 году старший сын мой Николай, также рано оторванный от семьи в могилу, отправился на службу в Сибирь к генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому[20], был принят в семье Трубецких как самый близкий родной – и через два года женился на меньшой княжне Зинаиде[21].

Участие Трубецкого в мятеже слишком известно. Он был один из главных основателей тайных обществ, был выбран диктатором, не был на площади в самое время бунта и был взят в доме австрийского посланника Лебцельтерна, женатого на сестре его жены[22].

Тяжкое обвинение Трубецкого для многих состоит в том, что он не был на площади. Наперекор и осуждениям, и оправданиям безупречного и в глазах многих праведного страдальца скажу одно: все мы, христиане, забыли, что существует грех и за ним покаяние, что без последнего никому недоступно спасение и что богоугоднее удержаться от преступного намерения, чем приводить его по человеческой гордости в исполнение. Это представляется мне полным нравственным оправданием Трубецкого.

Когда Трубецкой возвратился вместе с другими декабристами, я, по нашим близким родственным связям, коротко с ним познакомился и начал разгадывать характер и деятельность, и всю тридцатилетнюю многострадальную жизнь в ссылке этого загадочного для многих человека. В первую пору их возвращения им воспрещено было жить постоянно в Москве, но, приезжая по временам в столицу с разрешения полиции, многие из них искали сойтись с москвичами, сколько-нибудъ сочувствовавшими их увлечению, а сверх того и любопытствовавших посмотреть на них вблизи тогда было много в обществе, некоторые этим воспользовались и начали показываться в различных кружках, у Авдотьи Петровны Елагиной и у ярого Кетчера[23], закадычного друга Герцена, бывшего уже в чужих краях. Один только Трубецкой отказывался делать новые знакомства и ограничивался, живя в Москве, небольшим кругом своих родственников и старых знакомых. Он раз при мне отказал Лореру принять князя В. Черкасского[24], с которым познакомиться предлагал тот князю, как с человеком, каков он и есть, очень любезным и очень образованным. «Я нисколько не отрицаю его достоинств, – отвечал Трубецкой, – но в то же время не особенно желаю быть предметом чьего бы то ни было любопытства». Я, конечно, ни одним нескромным вопросом не касался с Трубецким до его прошлого. Первое впечатление, им так давно уже на меня произведенное, вполне оправдалось. Он был и по возвращении из ссылки так просто добродушен и кроток, каким показался мне с первой со мною встречи и каким представлял его нам Семенов. О себе он был молчалив и глубоко смиренен.

КОНЧИНА И ПОХОРОНЫ КНЯЗЯ В.Ф. ОДОЕВСКОГО И МОИ О НЕМ ВОСПОМИНАНИЯ[1]

ДЛЯ НЕМНОГИХ

О милых спутниках, которые нам свет
Своим присутствием для нас благотворили,
Не говори с тоской, – их нет!
Но с благодарностию, – были!

Жуковский[2]

Начинаю мои задушевные воспоминания о князе Одоевском в тишине глубокой ночи со 2-го на 3-е марта. В этот день мы его похоронили на кладбище Донского монастыря[3].

Я никогда не увлекался предвещающими сближениями, теми совпадающими случайностями, которые истолковываются по-своему охотниками до таинственных предсказаний, но вот что было. Князь Одоевский, переехав на житие в Москву, вместе с женою поспешил поклониться могиле отца[4] и приказал кучеру наемной кареты везти их прямо в Андрониев монастырь. Москвы они подробно не знали; однако скоро заметили, что везут их куда-то совсем в противную сторону. Кучер отвечал: «Будьте покойны, прям в Андрониев!» Ехали они, ехали, – и очутились в Донском. Таков их был первый выезд в незнакомом городе, туда он был [первым] и будет последним.

Предупреждаю моих немногих читателей, что пишу, более для себя, чем для других, не биографию кн. Одоевского, а мои о нем воспоминания, и прошу у них извинения в том, что на моих страницах слишком часто будет встречаться мое скромное имя рядом с именем человека, которого будут долго помнить. Целый рой мыслей толпится в моей голове, а, по непривычке моей писать, распределить их в строгом порядке и группировать как следует я не умею.

Я не знал князя Одоевского в ранней его молодости. Когда он оканчивал свое учение в Московском университетском пансионе, где был сверстником по возрасту и по успехам Шевыреву[5] и В.П. Титову[6], – я, как старше его пятью годами, был уже на службе в Петербурге. Он также, окончив свое образование, недолго, кажется, пожил в Москве, где издавал вместе с Кюхельбекером[7] журнал «Мнемозина» весьма туманного содержания. А когда и он переехал служить в Петербург, – я отправился уже на службу и житье за границу.

В первый раз встретился я с ним, еще очень молодым, но уже женатым[8] в радушном и литературном доме А.П. Елагиной[9], где собирались еще молодые литераторы, друзья ее двух сыновей Киреевских, Хомяков, Шевырев, Рожалин[10] Мельгунов[11], Веневитинов[12] и пр. Сколько помнится мне, они, уже знакомые с философией Шеллинга, переходили тогда к изучению Гегеля. Я тоже

тогда был женат, и за два года перед этим воротился на житье в Москву. Свидания мои с ним в это время были очень кратковременны. Он приезжал в наш город только на несколько дней. Я был его и друзей его 5-ю годами старше и держал себя в стороне от этих даровитых юношей, но заметил тогда же в Одоевском сильный ум, редкую доброту сердца и огромную оригинальность во всем его существе.

В 1833 году, проездом через Петербург в чужие края, прожил я с ним дней десять стена об стену. Он жил тогда на Дворцовой набережной, на тесных квартирах у своей тещи[13]. Я останавливался на несколько дней в соседнем доме родственника моего Кикина. Время было летнее, когда в Петербурге совсем ночи не бывает. Мы виделись с ним не только ежедневно, но и в разные часы дня и ночи.

Тогда я прочитал уже все написанное князем Одоевским, но замечал одну его оригинальность, которой я удивлялся в нем и любовался ею до последнего с ним свидания.

Меня же знал князь Одоевский это время, до 1833 года, более по рассказам наших общих друзей, чем сам по себе[14]. Потом прошло около 20-ти лет, в которые мы с ним не видались, но все-таки были друг другу близки по дружеским связям моим с его московскими друзьями[15]. Жена моя с двумя старшими дочерьми[16] в 1851 году ездила в чужие края. Целью ее путешествия было поправить расстроенное тяжкой болезнью здоровье старшей из наших молодых девочек, впоследствии замужем, а потом вдовой Арнольди. В этот год, в отсутствие моей жены, получил я совсем неожиданно очень милое письмо от князя Одоевского, в котором он по поручению вел[икой] кн[ягини] Елены Павловны[17], убеждал меня отдать одну из моих дочерей во фрейлины Двора ее высочества. Семейные наши обстоятельства и родительский взгляд на разлуку с молодою дочерью, хотя и благоприятную по многим отношениям, препятствовал нам согласиться на такое лестное предложение. Отказ, конечно, благодарный, не оскорбил ни доброй великой княгини, ни ее между нами посредника. Чета Одоевских доставила мне глубоко чувствуемое мною счастье ближе представиться Ее Высочеству и постоянно, до сих пор, пользоваться милостивым ее ко мне и к семейству моему вниманием и расположением.

На другой год открытия Николаевской железной дороги, я отправился в Петербург и, прожив там больше месяца, тогда только близко ознакомился с Одоевскими. Жили они тогда на высотах Румянцевского музеума, им же устроенного[18]. Добираться до их казенной и также тесной квартиры надо было восьмидесятью ступенями. И в этих-то трех комнатах, заваленных книгами и кипами бумаг, а по стенам заставленных разными музыкальными инструментами, собиралась по субботам великосветская и придворная знать вместе с литераторами, художниками, иностранными и нашими артистами

и подававшими часто несбывшиеся надежды юношами. Резкое различие такого общества никого уже и в то время не оскорбляло, а напротив, лучших людей высшего круга заманивало к Одоевским.

Еще два-три раза посещал я в Петербурге Одоевских в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов, и все более и более с ними сходился. Тогда они переселились в нижний этаж этого же здания.

Гостиная Одоевских этого времени и ее многочисленные и разнокалиберные посетители удачно, искренно и живо описаны Панаевым[19] в журнале «Современник». Между прочими их гостями он выставляет, кажется, Сахарова[20], чуть ли не первого собирателя русских песен, сказок и пословиц, каким-то чудаком и ненавистником высшего круга. Он для гостиной Одоевских нарочно одевался в самый грязный и истасканный из своих сюртуков и смазные сапоги, подбитые гвоздями, которыми он с наслаждением стучал по паркету залы, переполненной изящными дамами в великолепных модных платьях и восходящими к Одоевским по длинной лестнице прямо из какого-нибудь дворца.

Когда Румянцевский музеум перевезен был в Москву и казенного помещения Одоевским уже не могло быть, вел[икая] княг[иня] Елена Павловна перевезла их к себе в один из флигелей своего Михайловского дворца. Но и тут жилище Одоевских было не обширно и далеко не роскошно. Без сомнения, этого пожелал сам князь Одоевский.

В эти годы последнего его петербургского пребывания князь Одоевский уже обращал на себя внимание всего тамошнего общества своим служебным значительным поприщем и видным местом, которое он занимал уже в нашей литературе. Вот слова, слышанные мною о нем от бывшего у нас великобританским послом лорда Непира[21], искусного дипломата и вообще человека ума редко проницательного: «Не могу не выразить моего удивления, – как все у вас делается? Каким образом последний потомок старейший отрасли рода Рюриковичей, существующей почти тысячу лет, человек просвещенный, замечательный во всех отношениях, живет между вами в скудости, сравнительно с обычаями моей страны, и вас никого это не поражает? Не таким бы он был у нас в Лондоне!» Это была сущая правда. Где же причина? В самом князе Одоевском. Он был до того смиренен сердцем, скромен во всей своей жизни, не взыскателен и неприхотлив, что такая обстановка казалась не только для него самой необходимой, но и присущей к его личности. Иным Одоевским он и не мог быть: его бы в глазах общества испортили свойственная его положению некоторая роскошь и все другие изысканные удобства жизни. Одной внешней обстановки жизни этого своеобразного человека достаточно было бы для того, чтобы пояснить себе и понять его и чтобы возыметь совершенное доверие к рассказам о нем людей, ему близких. Стоило бы снять фотографии его гостиных и его кабинетов в трех его петербургских жилищах и в особенности сде-

лать фотографию с последнего его московского кабинета. В нем так хорошо вспомнили бы его хозяина все его знавшие, так наглядно узнали бы Одоевского те, которые будут читать его сочинения и всякие о нем рассказы.

Тесно бывало у него его гостям для их тела, но зато просторно уму и душе каждого. Радушная приветливость ко всем в хозяевах делала их гостиную, так сказать, нейтральною, и никогда никто не возвышал слишком голоса, не выходил из себя в излишне горячих прениях, что случалось даже в Петербурге в тех и других домах, где любили беседовать, но никогда не играли в карты. Прием у Одоевского был равный всем без исключения: звезды и ленты принимались им точно так же, как и сюртуки, более или менее элегантные, литераторов и художников. Случалось встречать у него и раскольника, знатока в нашей исторической иконописи, который ловко и без ошибки умел отличать настоящий древний образ от поддельных. Иной раз, бывало, увидишь у него певца из мещан Молчанова[22], который и теперь, кажется, поет по трактирам русские песни с набранным им хором. То вдруг появится какой-нибудь юноша, чающий успеха в избранном им художестве или на сцене, или в литературе. А сколько раздавал он им денег, не останавливая себя в деле благотворения недостаточными своими средствами?

Литературное его поприще было также весьма оригинально. Он стоял на нем каким-то особняком: не увлекался ни благосклонностью, а впоследствии и дружбой к нему Жуковского и арзамасцев и сперва сочувствовал, по его собственному сознанию, более школе Шишкова и его последователям, нежели Карамзину и его поклонникам. Позже не приставал он ни к славянофильству Хомякова и Киреевского с их сотоварищами, хотя с первыми был в самых дружеских отношениях, ни к западникам Грановскому и Белинскому, с которыми он, по мнению моему, должен был иметь более симпатии.

Везде он был эклектиком, широко и свободно мыслящим в области религии, при всем его, однако, искреннем и глубоком уважении к христианской нравственности.

Можно сказать, что в нем был своего рода мистицизм: он не отрицал возможности ни чем доселе не объяснимых действий магнетизма и едва ли отвергал решительно самый спиритизм. Химические его сведения о делимости до бесконечности, о физических силах природы, об эфирной утонченности материи, и в то же время его уверенность в бессмертии души как будто допускали в нем несомненное верование в существование духов и их между собой различие под условиями какой-то, так сказать, сверхъестественной и неосязаемой формы и присущей ей индивидуальности. Само собой разумеется, что он не мог осуждать их на бездействие.

Из всего сказанного, пожалуй, можно вывести, что он должен был пребывать равнодушным к православию. Таков вывод был бы, однако ж, несправедлив. Православной церкви он имел счастье послужить с такой постоянной

и деятельной ревностью, какая редко достается в удел православному мирянину; имя его никогда не забудется в летописях нашей церкви. Тем он приобрел искреннее сочувствие московского духовенства, начиная от митрополита, великого Филарета, до его преемника, Иннокентия[23], знаменитого проповедника святой веры в Христа Спасителя нашим инородцам-язычникам. Если не им сами, то при его ревностном участии, восстановляется на основание, осмысленное наукою, наше древнее церковное песнопение. Бортнянского[24] и его последователей; всех без исключения упрекал он в искажении нашей церковной музыки, которую они итальянизировали до неприличной, по его выражению, пошлости. Он доказывал, что многие мотивы взяты были ими из итальянской оперной музыки, которой он не любил слушать даже и на сцене.

В отношении к служебному своему поприщу он отличался от других тем же смирением, кротостью и благодушием, которые одушевляли всю его жизнь. Во все продолжение моего с ним знакомства ни разу не случалось мне слышать от него, чтобы он чем-нибудь напомнил другим о том, что им было сделано по службе. Он никогда никому не завидовал. Ни с кем из своих сверстников по службе себя не сравнивал, как это часто бывает с теми, которых случайно обойдут чином, знаком отличия или денежной наградою. Последней, в которой он часто мог нуждаться, никогда себе не испрашивал и был всегда доволен тем умеренным содержанием, которое получал.

Искренно и, можно сказать, младенчески радовался он каждой реформе настоящего царствования. Ежегодно праздновал у себя канун 19 февраля ужином с единомысленными друзьями, который, обыкновенно начинался у него после полуночи, потому что это был день официального торжества.

В день 20-го ноября, учреждения Судебной реформы и мировых судебных учреждений с введением в них гласности, служил молебен, – и первый поспешил открыть гласную и публичную защиту в 8 департаменте Сената, которого он был председателем. Нечего и говорить о том, как он радовался и уничтожению от цензурных оков нашей прессы, и земским учреждениям, и уничтожению телесного наказания, и более снисходительному уголовному закону.

Но когда в недавнее время начали переходить на пути прогресса от стремления к стремлению, от проекта к проекту, к разным неблаговременным требованиям и попыткам, невозможным в исполнении, – тогда он победил в себе прирожденную ему кротость и смирение и написал протест такому ничем не оправдываемому движению. Он бы не убоялся дать своему противодействию больше гласности, а, быть может, и печати, если бы это движение не было удержано в своих порывах неизбежными мерами самого правительства. Дворянские выборы, на которых происходило проявление неумеренных желаний, смешавшее на эту минуту между собой аристократов, мечтавших выскочить в олигархи, и демагогов, желавших быть народными трибунами, – были приостановлены верховной властью, и все мечтания, по счастью, испарились,

и теперь, благодаря Бога, нет об них и помину. Зная князя Одоевского, можно угадывать, до какой степени поразило его обнаружение подобных нелепых замыслов и как встревожила его мысль, что оно может возбудить в правительстве реакцию.

Аристократ по праву рождения, последний потомок старейшей отрасли рода Рюриковичей, князь Одоевский, носящий это знатное и вместе историческое имя как праправнук составителя Уложения[25] царя Алексея Михайловича, князь Владимир Федорович, повторяю, упорно отвергал в самом принципе существование русской аристократии и едва ли позаботился о том, чтобы славное его имя не угасло с ним вместе на веки. Мне удавалось часто рассуждать с ним об этом и даже спорить.

С переездом Одоевских в Москву я окончательно с ним сблизился, часто видался и беседовал о разных предметах и, между прочим, о сословных различных отношениях в России. Вследствие того князь Одоевский утверждал, что поелику у нас не было феодальной системы, то и сама история не выработала нам никакой аристократии, а потому и мысль о ней пришла к нам с Запада и есть не что иное, как ничего не определяющая фикция. И вот я, homo novus* по моему весьма не древнему, по сравнению с тысячелетним Рюриковичей, дворянству, спорил с ним за его историческое существование, называя аристократией дворянство древнее, хотя и не в том, конечно, строгом смысле и значении, какое она действительно могла иметь и еще, по преданиям своим, имеет в Европе, некогда феодальной. Нельзя же отвергать само определение мысли о дворянстве тем самым словом, которое ему везде присвоено и потому сделалось уже общепонятным; хотя, с другой стороны, должно признаться и в том, что наше дворянство не имело, в строгом смысле, того аристократического значения, какое история создала этому сословию в Европе. Князь Одоевский был, так сказать, глух ко всему, что говорится вообще и говорилось мною в пользу аристократии. Он полагал вопрос о ней решенным у нас более, чем где-нибудь. В продолжительных моих с ним беседах становился он внимателен только тогда, когда я догадался обратить его внимание на чисто научную физиологическую сторону дворянства как расы. Не мог он оспаривать меня с прежней упорностью в том, что люди, помимо их умственных способностей, суть те же животные, подчиненные законам естественного развития. Но расы животных воспитываются, изменяются и облагораживаются скрещением, обращением с ними, т.е. уходом за ними, и от поколения к поколению становятся кротче и ручнее. То же самое и при соблюдении тех же условий случается и с людьми, которые живут от поколения к поколению просторнее, дышат свободнее и чище, едят лучше, не изнуряют себя работой, имеют более досуга и т.д.; вследствие всего этого у них образуются другие

* новый человек (*лат.*), здесь в значении: человек из малоизвестного рода.

привычки, одним словом – они становятся, по счастливому выражению Тургенева, ручнее; прочие остаются более или менее дикими. Нельзя оспаривать, чтоб и духовный элемент не подчинялся тем же неизбежным условиям развития и не влиял на самые соотношения между теми и другими людьми разных пород. Вот отчего homo novus, как говорилось прежде, так часто не умеет скрывать чувства зависти или ненависти к аристократии, а иногда и обоих чувств вместе; вот отчего только разве в третьем поколении человек, вышедший из незнатной породы, вполне мирится со своим в этом отношении положением; вот отчего только тогда становится ему ловко в общественной жизни. «Как бы я был счастлив такой бабушке, как бы дорого заплатил я за нее», – простодушно проговорился раз передо мною один очень талантливый литератор-плебей, ненавистник и завистник аристократии, смотря на портрет напудренной, в высокой прическе, дамы старого времени с шифром или кокардою.

Еще менее признавал он право на аристократию по чину, да и вообще говоря, не слишком-то уважал чины, несмотря на то, что сам имел уважительный чин и одно из высших придворных званий. И тут мне же, почти плебею по чину в сравнении с ним, приходилось стоять за важность и пользу чинов и знаков отличия в монархическом правлении. Приобретаемые долголетнею службою в какой бы то не было карьере чины и знаки должны пользоваться всеобщим уважением. Нынешнее стремление общественного мнения к уничтожению этого значения всеми разными способами – вредно для всего нашего политического быта и его строя. Правильное восхождение по иерархической лестнице от чина к чину, от значения, каждому присвоенного, до другого, высшего, придает человеку, посвящающему себя на службу, необходимую практическую опытность, которая вырабатывается временем. Другое дело, – случающееся у нас, – поздние наши честолюбцы, которые, пролиберальничав первые десятки лет лучшего своего времени, вдруг вздумают отчаянными скачками по чиновной лестнице догонять своих современников, ровными и мерными шагами дошедших до высоты. Тем, конечно, приходится, для удовлетворения своего чиновного честолюбия, браться за отчаянные средства – все ломать, все перестраивать и столько же добиваться разными путями милостей правительства, сколько заискивать и подличать для приобретения себе популярности, – одним словом, служить на задних лапках и нашим, и вашим, а иногда в то же время и поправлять свое расстроенное состояние или, когда за ними ничего не было, приобретать его[26].

Конечно, не мне принадлежит определить литературное значение князя Одоевского и даже говорить о нем как о литераторе. В свое время он много писал; но, перейдя к другому роду занятий, мало заботился о своей известности как писателя. Когда я говорил ему, что его сочинений нет в продаже,

то он с каким-то отчаянным движением руки отвечал: «Ну, да об этом надо подумать после!..»

Будем надеяться, что ближайшие к покойному друзья его позаботятся об издании его сочинений и прибавят к ним все то, что, вероятно, найдут в его бумагах. Не мешает подумать и о собрании нечто вроде комиссии для разбора его библиотеки и его музыкальных сочинений.

В последний вечер, который я провел с ним, совершенно здоровым и бодрым, за три дня до того, как он слег в постель и уже не вставал с нее, и за шесть до его кончины, сказал он мне и своим собеседникам, что стихов никогда не писывал; а я вспомнил ему премилую его песенку, про которую он совсем и забыл, написанную давным-давно для женских школ и им же положенную на музыку. Я слышал ее в одной школе, на бывшем там после Рождества экзамене. Пелась она тридцатью девицами Басманного приюта с великим наслаждением и увлечением. Постараюсь приложить эту песенку с нотами к моей статейке.

В подобных беседованиях отрадно проводил я один вечер в неделю с князем Одоевским, всегда с большим участием и интересом и никогда с раздражением.

Учительствовать он не любил ни пером, ни словом и авторитета своего никому не навязывал. Я помню, как в один из подобных вечеров, – нас тогда оставалось не более трех-четырех собеседников, и я в то время на все смотрел сквозь черные очки и, вследствие неблагоприятных семейных обстоятельств, был более, нежели когда-нибудь, пессимистом и не довольным слишком ускоренным ходом нашего прогрессивного движения, мне оно казалось в то время неизбежно гибельным. «И скучно, и грустно жить на свете в такое время», – сказал я. Князь Одоевский и другие пришли от такой выходки в негодование, и первый объявил, что он, напротив, желал бы жить именно в такую великую эпоху, хотя бы и переходного состояния, желал бы помолодеть, чтобы действовать с большей энергией на пользу прогресса, а потом, если бы это было возможно, на некоторое довольно продолжительное время отдохнуть, т.е. заснуть, чтобы лет через пятьдесят воспрянуть от сна и иметь утешение видеть наш прогресс в полном своем развитии.

В другой раз, в середине этой зимы, не помню, когда именно, после *Одоевского обеда**, впрочем, не по-прежнему уже изысканного – придуманного по особенному вниманию к моему старческому режиму или к моей диете, – остались мы вдвоем и пробеседовали до глубокой ночи. Слишком легко раздражаемый разными доктринами, различными обманчивыми надеждами, предположениями, стремлениями, особливо тенденциями враждебных друг другу партий, – я только с одним князем Одоевским не избегал интимной

* В рукописи эти слова подчеркнуты.

беседы, потому что он один, кроткий, как мудрец, незлобивый, как младенец, не волновался, не возвышал голоса и меня, часто гневного с другими в спорах, постоянно держал не на точке замерзания, а в температуре благотворно умеренной. Мы перебрали с ним все прошлое, настоящее и самое отдаленное будущее, не только нам, но и внукам нашим едва ли доступное. Мы задавали друг другу различные вопросы, я, впрочем, более слушал. Свидетели прогресса за целые полвека, мы по возможности пересчитывали все события и, в особенности, научные открытия, плодами которых, начиная от зажигательных спичек до железных дорог и электрического телеграфа, мы теперь пользуемся. Реестр этим успехам выходил у князя Одоевского длинный-предлинный. Много было в нем, чего я не помню и, так сказать, не могу помнить, потому что и половины названий этим открытиям не понимал. Отсюда естественно исходил вопрос: что же станут изобретать в последующие пятьдесят–сто лет, потому что развитие человечества не останавливается и ум его вечно действует? Было уже решено нами и с моего согласия, что воздушные шары заменят вагоны; но Одоевскому этого было мало. Он уже предчувствовал освещение огромных пространств электричеством и согревание их там, где оно всего нужнее, и, следовательно, благотворное изменение климата и большие от того удобства жизни. Тут я призадумывался, дерзал сомневаться, а иную отчаянную гипотезу решительно отвергал. К дальнейшим успехам человечества в областях религиозной, философской, нравственной и политической оба мы относились скептически, я еще более, нежели он, – и оба желали всем разумным обитателям вселенной уничтожения войн и просвещения в духе любви и мира[27].

Лампы тускли, свечи догорали, давно пора было разойтись, и на прощание, подавая руку, я сказал князю: «Не мне, конечно, придется пережить Вас, да и верьте моей искренности, того бы я и не желал, но вот вам от меня эпитафия, замечательный, хотя и давно избитый стих: «Homo sum, et nihil humani a me alienum puto!»* Князь Одоевский, как и всегда, а в особенности в это время представился мне в полном смысле таким человеком, к сердцу которого все человеческое было так близко[28].

---

* «Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо» (*лат., из Теренция*).

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ[1]

Солнышково 1873 6-ое июля.

Назад тому с месяц дошел до меня лестный отзыв на мои воспоминания о почившей недавно[2] в.к. Елене Павловне, [с предложением их] присоединить к тем многим, которые собираются повсюду лицами более известными почившей, для составления со временем полной ее биографии. Такое приглашение сделано было мне лицом многоуважаемой мною, всецело преданной с молодых лет усопшей, которой отдала она всю свою жизнь. Я не мог не уступить ее желанию.

Возобновляя в угасающей моей памяти давно прошедшее время первой встречи с великой княгиней 35 лет тому назад и предполагая изложить здесь мои немногие и краткие отношения к ней, я считаю обязанностью предупредить моих читателей, что все то, что будет здесь рассказано, прямо относится лично ко мне и поэтому составит скорее отрывок из моих записок того времени, нежели сколько-нибудь слабое и поверхностное изображение высокого характера той, которая будет воспомянута мною. Не думаю, чтобы предполагаемый очерк мог быть рельефен и достоин своего предмета, как бы то ни было, – слово дано, и сдержать его необходимо.

В 1837 году оканчивал я мое предводительство в Серпуховском уезде – по избранию меня в это звание вследствие особенных своего рода обстоятельств, о которых будет еще, если успею, много рассказано. В этом 1837 году собрано было на юге России значительное число войск для больших маневров; на них присутствовал и ими управлял покойный император, и они, как видно, имели какое-то политическое значение, думаю так потому, что в незначительный городок Вознесенск Херсонской губ[ернии], место маневров, прибыла к их открытию царствующая императрица с вел. к. Марьей Николаевной[3] и великая княгиня Елена Павловна, почти весь дипломатический корпус из Петербурга, иностранные принцы, и в числе их герцог Лейхтенбергский, сын Евгения Богарне[4]. Не знаю, почему государ[ыня] Александра Федоровна избрала путь в Вознесенск через Коломну на Рязань, а в.к. Елена Павловна почти одновременно через Серпухов на Тулу; возможно, потому выбраны были эти дороги, чтобы избежать затруднений в почтовых лошадях, а впрочем, если не ошибаюсь, не избрала ли императрица путь на Воронеж для поклонения новооткрытым мощам святителя Митрофана[5]. Москвой управлял в это время всеми глубокоуважаемый к[нязь] Д.В. Голицын; гражданским губернатором был Николай Андреевич Неболсин[6], человек честный, добрый, весьма ограниченный, но изощрившийся в заискивании у великих сего мира – под влиянием своей тетки Авдотьи Селиверстовны Неболсиной,

урожд. Муромцовой[7], которая играла значительную весьма роль в Москве и всего более хлопотала об успехах по службе любимого своего племянника; между ними так велика была дружба, что Михаил Федорович Орлов составил о них следующий каламбур:

Губернатор Неболсин
Никогда не был сын,
А всегда племянник…

С восторженным энтузиазмом, по выражению нового современного нам историка великих и богатых милостей, они, как видно, у нас не переводятся, взялся Неболсин за исправление и устройство путей и дорог царственным особам. В Коломне устроил он утонченный великолепный ночлег императрице, не щадя на то никаких трудов, ни издержек из собственного кармана. Проводив е[ё] в[еличество] до пределов вверенной ему губернии и воротясь в Москву, с живейшим усердием и снова, не без личных денежных пожертвований, начал он готовить такой же великолепный прием на ночлег в Серпухове для в.к. Елены Павловны. Сообщая об этом, он давал мне почувствовать, что нужно будет и мое содействие, какое именно – я не понял, выразив одну готовность мою к этому приему явиться во время. Отъезд в.к. из Москвы назначен был на 15-ое августа; свита ее была немногочисленна: сопровождал ее брат принц Фридрих Вюртембергский[8], еще очень молодой человек, фрейлина Анна Матвеевна Толстая, вышедшая потом за Голицына, мать нынешней константинопольской Игнатьевой[9], гофмаршал генерал Вешняков[10], примечательный во многих отношениях, сладкоречивый доктор Мандт[11], скорее похожий на хитрого иезуита, чем на медика. В Серпухов приехал я для приема утром накануне, т.е. 14-го числа, думая поместиться по моему обыкновению в почтовой гостинице купца Воронова. Не желая впутываться в заботы о приеме, я хотя и слышал мельком и наконец полуофициально о переустройстве и украшении этой гостиницы, но все-таки надеялся найти для себя какой-нибудь уголок, но, напротив, нашел ее ни для кого недоступною. Не только все нумера вновь отделанные приготовлены были для высочайшего помещения, но и самая харчевня под ними была уничтожена, и мне едва удалось, и только по дружбе с городничим, найти себе комнату. Моя гостиница так преобразилась, что я едва узнал ее. Из Москвы Неболсин прислал великолепные зеркала, люстры, драпри, ковры и бронзы; по лестнице и в комнатах великой княгини расставлено было множество цветов и померанцевых деревьев; все было выкрашено и вымыто; хозяин трактира с мая месяца, по внушению высшего начальства, запер его, равно как и харчевню, от проезжающих и городских обывателей, а город отвел еще две квартиры для сопровождающих великую княгиню г. Неболсина и губернского предводителя графа Гудовича[12]. Еще недели за две исправник Рогозин почтительно докладывал мне, не угодно ли будет распорядиться перевозкой в гостиницу из соседних оранжерей Ек.Вл. Ново-

сильцевой[13] и Нащокина разных цветов и растений; на что я отвечал ему, что не имею ни малейшего права распоряжаться чужою собственностью. «Так позвольте по крайней мере это сделать мне», – отвечает он. – «Извольте, если вас послушаются».

Приехав за несколько часов до губернатора, принял я городничего с докладом, на этот раз почему-то особенно почтительным, о том, что требуются две служанки в помощь камер-фрау великой княгини. Я ответил: «Берите, где хотите, а у меня и при мне, как Вы сами это знаете, никаких служанок не имеется». Через полчаса последовал новый доклад того же городничего, что требуется для кого-то из свиты постельное белье и разные ночные принадлежности. «Сделайте мне великую милость, распоряжайтесь тут сами, как знаете, а я тут не при чем». Городничий пришел в ужас от моего равнодушия. Наконец является утомленный до изнеможения Неболсин; он уже осмотрел гостиницу, остался ею доволен, переговорил с головой пьянчугой Коншиным[14] о приготовленной купеческим обществом иллюминации по губернаторскому внушению и, расположившись на своей квартире, пригласил меня к себе; тут нашел я его в совещании с приходским священником церкви Мироносиц[15]: последнему очень хотелось залучить великую княгиню на другой день к обедне в эту церковь под предлогом рождения в этот день одной из его дочерей. Губернатор обещал в утешение ему предложить в[еликой] к[нягине] остановиться против церкви при проезде для целования из его рук креста. Вечером, под праздник Успения, мы были с Неболсиным у всенощной: сколько для молитвы, столько и для обзора церкви и наблюдения за самим ее настоятелем, возможен ли еще он для представления. В самый день праздника Успения и ожидаемого приезда великой княгини мы опять с Неболсиным были у обедни у Мироносья и потом пошли на квартиру, отведенную для губернского предводителя Гудовича, где уже нашел я собравшихся по приглашению моему разных выборных от дворянства местных чиновников – судью, исправника и прочих. Вместе с ними были тут и служащие от короны. Честный, добрый, приветливый и всегда веселый граф Андрей Иванович Гудович не замедлил приехать и всеми был встречен радушно. Он также подивился увиденному чертогу для приема, и мне трудно было уверить его, что чертог этот устроен без всякого с моей стороны содействия одним старанием и попечением губернатора. В одно время с ними приехали еще адъютант князя Д.В. Голицына и советник Московской дорожной комиссии Соловьев; князь Щербатов[16], впоследствии губернатор, послан был от главного начальника губернии для почета великой княгини от его имени. Сам князь Голицын, как видно, не находил нужным провожать ее высочество лично. Он принадлежал к тем лучшим людям александровского времени, которые, начиная военное поприще с первых лет ранней молодости, с 15–16-го года отроду, честно служили государю и земле, до преклонных лет участвовали во многих войнах, отслужили Отечественную войну, побывали

в Париже, переходили к мирным служебным занятиям, были всегда верны долгу и чести, но никогда не унижали себя изобретением разных средств и способов, чтобы выслуживаться по мелочам; как выразился о нем еще живой основатель московского Земледельческого общества Маслов: «Это были люди-материалы построения нашего старого русского общества», хотя сам г-н Маслов Стефан Алексеевич, а не фарисеевич, поступал и поступает на девятом десятке своей жизни совсем иначе. Сколько могу припомнить, Голицын едва ли провожал и самую императрицу до Коломны и, несмотря на всегдашнюю свою самодеятельность, пользовался, как весьма немногие, доверием и уважением Николая Павловича.

Приехавшие Гудович и Щербатов известили нас, что великая княгиня, отслушав торжественную по случаю храмового праздника обедню в Успенском соборе, после завтрака в своем дворце на Остоженке непременно выедет в Серпухов. Курьерские лошади давно уже выделены были для нее и для ее свиты в четырех местах – от Подольска ехала она своим поездом по вновь устраиваемому шоссейному пути, где по полотну для нее уже отведенному, но еще не насыпанному, и по временно проложенным мостам. По этой дороге никого из проезжих еще не пускали, но мне как должностному лицу не один раз случалось уже ею пользоваться. Весь остаток дня до вечера наш Неболсин провел в тревожных ожиданиях, и мы с Гудовичем над ним исподтишка посмеивались. Его мучила забота о том, удастся ли заготовленная серпуховским обществом добровольно, наступя на горло, иллюминация, от которой, предвидя расходы и почитая ее ненужною, всячески долго открещивался голова Коншин; и в самом деле, в ней не было никакой надобности. Около семи часов, когда солнце еще не заходило, передовой фельдъегерь сказал нам, что великая княгиня, приближаясь к городу, за 2 версты вышла из экипажа и, идя пешком, беседует с инженерным путейским прапорщиком. Несчастный офицерик этот, только что вышедший из инженерного корпуса, более получаса подвергался полным расспросам ее высочества о новой шоссейной дороге, на которой он был поставлен самым младшим строителем и смотрителем.

[ВОСПОМИНАНИЯ О СМЕРТИ Н.В. ГОГОЛЯ] (ФРАГМЕНТ)[1]

...Сам я об о[тце] Матвее[2] узнал немного, да и то [что узнал] о нем, было в моих глазах для него невыгодно, хотя Киреевский и Шевырев с Погодиным его защищали. Он, как эти его доброхоты уверяли, подвергся в это время гонению епархиального начальства за недонесение оному одного странного случая. К о. Матвею является однажды не известный ему прохожий, один из множества боголюбцев, и представляет какой-то ящик, а в нем чью-то, каким, не помню, именем названную, голову святого, просит до времени сохранить у себя и удаляется. О. Матвей, поверив святости мощей, торжественно перенес этот с головой святого ящик с подобающей честью в свою, кажется, соборную города Ржева церковь и немедленно, по требованию стекающейся обычно в этих случаях толпы, [стал] новооткрытым мощам молебствовать. Но он забыл предварительно донести о том архиерею, и его за подобную оплошность начали или пытались преследовать. О. Матвей появился в Москве вскоре по кончине Хомяковой[3], которую похоронили все мы в Даниловом монастыре рядом с ее братом поэтом Языковым, [3–4 слова нрзб.] в ограде этой обители немало насельников легло с тех пор, как положили всеми исправно забытого ныне славянофила Юрия Венелина, который скоропостижно умер на квартире своего двоюродного брата, доктора Мол...[нрзб.][4], в соседней Петропавловской больнице. 2-[го] положили с ним рядышком юношу Валуева, первомученика славянских надежд, потом поэта Языкова, сестру его Хомякову, потом Гоголя, а там и самого Хомякова. Записываю эту небольшую черту московской жизни, что знали и не забывали о ней [нрзб.] доктринеры славянства.

Припоминаю, что приезд о. Матвея в Москву был перед масляницей или на первых ее днях. Пронесся слух, что Гоголь начал или уже начинает говеть на первых ее днях. Мне передали Оболенские, по собственным словам Гоголя, будто бы он болел, по собственным его словам, предавшись обычному разгулу и обжорству* этой широкой недели, и потому, чтобы не повредить благочестивому строю своему после бесед с о. Матвеем, предполагает заранее уединиться в молитве и упражнении в подвиге раскаяния и смирения. Меня давно уже ничто не могло удивить в Гоголе после его «Переписки с друзьями», и весть о его свиданиях с ржевским священником и с ним беседах, о его религиозном восторге, о его каких-то таинственных видениях, предчувствиях и т.д. принята мною [нрзб.]. Я имел уже несчастие однажды в

---

* Впрочем, боязнь разгула и обжорства в Гоголе была напрасная и им на себя наклепанная. Он ничего почти не пивал, и будучи чрезвычайно мнительным насчет своего здоровья, воздерживался от малейших излишеств в пище на обедах, которые любил пожирать одним воображением. Пусть вспомнят, по его творениям, все его [описания] красот отечественной гастрономии (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

откровенных разговорах моих с глазу на глаз с Хомяковым предложить ему пари, что [3 слова нрзб.] Гоголь ранее трех лет либо совсем рехнется, либо умрет. Помню, Хомяков пари не принял, но не совсем приличным моим предложением очень смутился и даже его почти не оспаривал. Предчувствие мое сбылось гораздо ранее.

С первых чисел февраля друзья Гоголя толковали промежду себя, что Гоголь весь погрузился в себя, удалился ото всех, никого не посещал, никого не принимал иначе, как по докладу и под условием просидеть с ним не долее какого-нибудь получаса. Одни, как Хомяков, этому радовались, думая, что великий писатель трудится над 2[-м] т[омом] «Мертвых душ» и восторжествует после его таким признаваемого падения, споткнувшись на брошенный им же себе камень «Переписки с друзьями». Другие, скорее пессимисты, чем всегдашний оптимист Хомяков и паче всех обожавшая Гоголя восторженная семья Аксаковых, за него перепугались и ни о чем другом, как о самозаключении Гоголя, не говорили. Те и другие внушали мне навестить затворника. Я был допущен, с предупреждением от слуги пробыть недолго. Принял он меня ласково, посадил и через 2–3 минуты судорожно вскочил со своего стула, говоря, что ему давно уже нездоровится. Нашел я его каким-то странным, бледным и, судя по глазам, чем-то встревоженным и пламенеющим. Я несколько [времени] посидел и от него вышел. Таким видел я его в последний раз дней за 5 пред концом. Одновременно с Гоголем тяжко заболел 80-летний кн. А.П. Оболенский[5], бывший в мое время п[опечителем] у[ниверситета], родной дядя моей жены. Он был нежнее и ласковее ко мне, чем к другим своим многочисленным родственникам; я также крепко любил и уважал этого почтенного старца. Всю эту предсмертную неделю его жизни проводил я почти безвыходно в доме его на Рождественке и очень мало знал о ходе болезни Гоголя, а между его друзьями толков о ней было много. Докторов, как и друзей, пускал он к себе редко. Болезнь его поддерживалась в нем предчувствиями, непреклонной волей отвергать всякое врачебное средство и, всего более, наложенным им на себя строжайшим постом для изнурения плоти. Он в продолжение всех мясопустных дней, будучи все время на ногах, не имел другой пищи, как одну просвиру в день, а вместо питья употреблял одно красное доброе вино; само собой привело это его к констипациям[6]. Напрасно врачи и его приятели убеждали больного употреблять более правильную пищу. Они посылали даже к митрополиту за разрешением для него поста с убеждением повиноваться советам врачей. То и другое было от владыки ему передано вместе с христианским архипастырским увещанием. Все, однако, было напрасно. М[ожет] б[ыть], отзыв в «Совр[еменной] лет[описи]» несправедлив, м[ожет] б[ыть], Овер[7] и предупреждал его, что он умрет, если будет противиться врачебной помощи. Но я решительно отрицаю, чтобы Овер, знаменитый московский доктор с привычками европейскими, а не исключительно русскими, предложил ему лишь поставить клистир. Подобное предложение могло быть

сделано Иноземцевым, который свято чтил всяких русских художников. О голосах-предвестниках смерти, которые будто бы уже слышал Гоголь, я тоже что-то прослышал. О том же, что все его близкие толковали, что ему необходимо промывательное, вспоминаю теперь удивительный до смешного рассказ Шевырева, передаваемый им при мне Киреевскому и Хомякову тотчас после трагикомической сцены: «Пришел к Гоголю; насилу добился, чтобы ему обо мне доложили. Он, убеждаемый слугой, согласился принять, но только на одну минуту. Взошел я к нему сильно взволнованный». – До какой степени перетревожен был Шевырев, мог он нам и не рассказывать, мы это видели. – «Бросился я перед ним на колени: “Николай Васильевич, – говорю, – ради самого Бога, поставь клистир!” – “Вон!” – закричал он, и я в одну минуту вышел и пришел к вам с этой страшной вестью».

Покуда все это происходило на Никитском бульваре в доме гр. Толстого[8], куда съезжались осведомляться о больном по нескольку раз в день не одни славянофилы, но и тогдашние западники, и стоя в сенях и на дворе, не допускались к упорствующему против всех Гоголю, о чем с унынием рассуждали все, я безотлучно почти находился при моем больном кн. Оболенском и грешил, как в том теперь каюсь, [нрзб.] полагал опасения друзей преувеличенными и подозревал в самом болящем как бы желание пугать собою милых приятелей и быть предметом заботливой [два слова нрзб.] тревоги всех московских литературных кружков. Мои предубеждения привели меня наконец к тому, что я на известия о близкой кончине поэта, когда сообщали мне их другие родственники умирающего старика Оболенского, отвечал чуть не улыбкой, их успокоивавшей. Наш добрый старец скончался за одни сутки перед смертью Гоголя, и когда Лопухин[9] с [нрзб.] упреком объявил мне о смерти Гоголя, мне было очень грустно и еще более тяжело на душе и совести. С одной панихиды в то же утро 20 февраля поехал я на другую. Тут я с большим горем узнал о сожжении автором его «Мер[твых] душ» и о последних подробностях. Из всего тут мне на все лады пересказанного я убедился, что Гоголь под сильным влиянием душевной болезни, которая во врачебной науке справедливо называется mania religiosa, сам уморил себя голодом. Питание одной просвирой в продолжение, м[ожет] б[ыть], более недели было недостаточно для его организма; запивание красным хорошим вином такой малой пищи остановило естественные отправления; слышанные им голоса и какое-то умоисступление увеличили физические причины воспаления, а потом и смерти. Были, однако, люди, которые считали его кончину каким-то чудом. Слухам и рассказам о ней не было конца, общество взволновалось. После похорон Оболенского, многочисленной семьей непритворно-просто оплакиваемого, перенес я искреннюю душевную мою горесть, увеличенную во мне сильнейшими упреками совести за мое неверие в болезнь и осуждение умершего в притворстве, к гробу поэта; но и тут встретило меня другое неожиданное смущение…[10]



ФРАГМЕНТЫ,
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ПУБЛИКАЦИИ 1899 г. И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ПО РУКОПИСЯМ

ФРАГМЕНТ 1 [О РОДЕ СВЕРБЕЕВЫХ]

(к с.17, примеч. 5)

Фамилия Свербеевых принадлежит огромному числу незнатных и небогатых дворянских родов в Российской империи. Предок мой, Друган, Богданов сын, Свербеев, оказался первый из всего нашего рода написанным по Новугороду в 7114 г. и показан в числе городовых дворян; поместный оклад ему был дан 400 четей и 8 рублев денег. В 7139 г. снова показан был он в числе городовых дворян с поместным окладом в 450 четей и денег с городом 10 рублев. За ним следовали на тех же окладах сын Леонтий и внук Феодор; последний был уже зачислен по Беженецкой пятине. Наконец родной дед мой, Яков, сын этого Федора, служил при Елисавете в «Семилетнюю» прусскую войну, потом перешел в статскую службу и умер в глубокой старости слепым в имении своем Весьегонского уезда Тверской губ., в селе Арефине, в чине надворного советника. Право первородства, установленное Петром Великим в 1714 г. и уничтоженное имп[ератри]цей Анной Ивановной, лишило его всякого наследства в родовом имуществе, и только часть оного, какая именно – не знаю, перешла к нему как заложенное у него двоюродным его братом, Ефимом Свербеевым[1] в 1740 г. Сколько я могу припомнить, по отдаленным семейным преданиям этот залог имения был, по-видимому, сделкой между двумя двоюродными братьями, дедом моим, многосемейным Яковом и бездетным Ефимом, который таким образом хотел передать в наш род хотя часть родового имения. Совсем было забыл я упомянуть еще об одном небольшом, в 40 или 50 душ, именьице того же Весьегонского уезда, кроме села Арефина, то было сельцо Опаркино, также перешедшее к отцу моему после его родителя. Им поступился он в пользу одной из своих сестер, девицы Анны, а когда и эта девица Анна скончалась в 20 годах нашего столетия, то я, ее наследник, отказался от наследия в пользу недостаточных наших родственников из нашего же, по женской линии, рода, а по фамилии Головачевых. Говоря мне о своих предках, батюшка, бывало, прибавлял, что хотя все они считали себя новгородцами и этим гордились, но, по семейным преданиям, признавали себя переселенцами в этот северный край из южной Руси.

Другое, более близкое, о своих предках сказание слышал я следующее, довольно курьезное. Имп[ератрица] Анна, прохаживаясь с Волынским[2] по двору, изволила неожиданно спросить у каждого из двух стоявших у трона молодцеватых часовых от учрежденного ею полка конной гвардии, как их фамилия. «Блудов», – отвечал первый. Императрица поморщилась. – А твоя? – «Свербеев», отвечал второй. – Из дворян? – «Точно так, В[аше] В[еличество]». – Императрица опять поморщилась и потом улыбнулась. «Смотрите, пожалуйста, – сказала она, обратясь к своему спутнику, – какие странные* бывают у нас в России дворянские прозвища».

ФС. Д. 11. Л. 2–2 об.

ФРАГМЕНТ 2 [О Я.Ф. СКАРЯТИНЕ]

(к с. 54, примеч. 173)

Другой, из таких же мирных воинов, богатый помещик Орловской и Курской губ. Яков Федорович Скарятин, приезжал к нам из Орловской губ. из-за 40 верст, гостил, но человек совсем другого рода. Прекрасна собою его жена[1] убедила его, служившего не в одном походе, бывшего не в одном сражении, вынесшего и аустерлицкое несчастное дело лет 5 назад, остаться при ней во все течение 1812 г. Орловский и курский богатый помещик, 35-летний отставной полковник, рослый, красивый и необыкновенно сильный, Як.Ф. Скарятин, женатый на княжне Щербатовой, к вечному своему стыду остался дома, бывал у нас и сообщал нам изредка все, сколько-нибудь достойные вероятия новости. Отец мой очень любил его, охотно и откровенно с ним беседовал, хотя и был вдвое его старее. Скарятин был тоже масоном и закадычным другом Артемьева и Ланского, по состоянию, образованию, а пуще всего по женитьбе своей принадлежал к лучшему того времени обществу и был в коротких связях со всей петербургской знатью. Он деятельно участвовал пред воцарением Александра в том преступном замысле, который освободил Россию от безрассудного тирана. Долго утверждали, что снятый с Скарятина шарф послужил последним орудием… [пропуск текста в рукописи], но подробно рассказывая мне, уже очень взрослому, об этом перевороте и бесстыдно хвастаясь своим в нем участием, Скарятин никогда не произносил даже ни слова о шарфе; видно, на такое признание и у него не доставало духу. Не один раз предлагал он мне, когда я подолгу гащивал у них в деревне, записать с его слов весь заговор, но, признаюсь, перо мое не поднималось. Перечитывая

---

* Собственно говоря, щекотливая императрица употребила другое прилагательное – похабные, – менее, судя по нашему времени, пристойное, чем оскорбившие ее слух фамилии Блудова и Свербеева (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

эти «Записки», я вспомнил, что Скарятин же упоминал о каком-то гвардии офицере, Гардани[2], по этому случаю. Этот Гардани умер в последние годы царствования Александра в своей небольшой орловской деревне, откуда ему воспрещено было выезжать.

ФС. Д. 11. Л. 25

ФРАГМЕНТ 3 [ОБ АННЕНКОВЕ]

(к с. 74, примеч. 235)

Не следовало бы мне останавливаться на идиоте-студенте, Анненкове, но рассказ о нем привожу я здесь как поучительный пример, что с тупоумными надо обходиться умным с большой осторожностью. Анненков, единственный сын богатой и знатной барыни[1], был не только чрезмерно глуп, но и безобразен. Стоило на него взглянуть, чтобы видеть, до какой степени был он нелеп и в то же время самоуверенно нагл. По его милости и неосторожности я чуть не накликал на себя беду. Был в 1817 г. бал в Благородном собрании, на котором присутствовал государь, обе императрицы и великие князья. Для них в конце залы отдельно было довольно много места, и там сидели обе государыни. Начался польский. Ко мне, стоявшему с 2 моими новыми по службе товарищами, Бахтиным и Гофманом[2], подходил безобразный Анненков, и я, чтобы позабавить моих приятелей, обещал им «устроить штучку». – «Отчего ты не танцуешь?» – спросил я у Анненкова. – «Не хочется; да и знакомых мало; которые есть, за теснотой не отыщешь». – «Что тут знакомые! Ты, любезный, ведь один из самых знатных по роду московских дворян, а бал этот наш, даем его мы: видишь, сидят императрицы и не танцуют, пригласи вдовствующую». И дурак побежал звать ее на польский. Будущий царедворец Гофман сказал мне тут: «Что вы делаете? Вы с ума сошли!» – Я спохватился, побежал догонять Анненкова, ряды танцующих польский меня от него отрезали, однако я успел пробиться и поймал за фалды мундира Анненкова уже в виду императрицы. К счастью, он до них не дошел, не то выдал бы себя за дурака и быть бы мне на гауптвахте. Вскоре потом, когда я уже был в Петербурге, этот же самый Анненков чуть не погубил одного кн. Мещерского; по крайней мере он был причиной, что этот князь, готовившийся архивным юношей в дипломаты, должен был перейти по его милости в военную службу. Вот как это случилось. На большом вечере у княжны Грузинской[3] молодежь, в том числе и кн. Мещерский, раздразнила Анненкова до бешенства. За ним, удалившимся из гостинной, по приглашению хозяйки пошли его успокаивать, и вдруг раздалась по большой зале и дошла до гостинной полновесная от Анненкова пощечина Мещерскому. Можете себе вообразить эффект! На другой

день решена была дуэль, единственное средство прекратить историю. Анненкова притащили силой, кажется, к Киреевскому, но никак не могли уговорить драться, зато принудили стать перед Мещерским на колени, просить прощения и поцеловать у него руку. Вся смешная сторона этой сцены разошлась по городу и пала на Мещерского, которому другого ничего не оставалось, как выехать из Москвы и перейти не в гвардию, которая всегда была, есть и, видно, всегда будет потешным войском, а в гусары действующей армии. Я помещаю это в моих записках как урок юношам и особливо моим внукам никогда не дразнить дураков; в историях с ними не найдешь выхода.

ФС. Д. 11. Л. 48–48 об.

ФРАГМЕНТ 4 [О С.Д. КИСЕЛЕВЕ]

(к с. 113, примеч. 374)

Очень порядочная эта сумма доставлена мне была Юрьевым после полудня в пятницу. С такими подробностями о дне и часе говорю я для того, чтобы мои читатели увидели яснее, чему я тогда подвергался и как счастливо избежал больших для себя неприятностей. Не имея возможности отдать в этот день деньги в казну, я поневоле должен был держать их у себя и субботу, как день неприсутственный, так и воскресенье. Все это происходило в начале августа; Москва была пуста, и все мои знакомые жили по деревням. В субботу пошел я по бульвару обедать в английский клуб, тут встретился я с двумя знакомыми: Киселевым, братом бывшего нашего посла в Париже, и с Гессе[1]; оба они были адъютантами у главнокомандующего, Тормасова, и с чиновником его же канцелярии, князем Кугушевым. Первых двух я знал не очень коротко, с последним был почти приятель; они уговорили меня обедать в модной тогдашней ресторации Покара на самом бульваре. Обед был очень ранний, часу в 3-м, роскошный и пьяный; я едва держался на ногах и на свою долю заплатил 100 р. асс. Часу в седьмом вечера Киселев пригласил меня вместе с другими взойти к нему: он жил в доме своих родителей[2] рядом с домом, нами проданным, в котором я еще помещался до предположенного моего переселения к тетке в Солнышково. Только что мы вошли, хозяин, Киселев, предложил мне и другим играть в банк; я решительно отвечал, что в эту игру не играю, и мы сели втроем в бостон. Чем кончилась эта партия, я не знаю, потому что не мог еще протрезвиться и поневоле еще выпил в продолжение игры несколько бокалов шампанского. Тут я хотел отправиться домой, но меня не пускали и опять предлагали банк; шляпу мою спрятали, и я, догадавшись, что дело плохо, выпросился под известным предлогом из комнаты и прибежал домой без шляпы. У себя нашел я Василия Обрескова, с которым

дожен был в этот вечер ехать ужинать к родственникам нашим, Калошиным. «Куда тебе к ним ехать? – сказал мне он, – ты на ногах не стоишь; оставайся дома и ложись спать!» Выспавшись, на другой день стало мне ясно все то, что я, и пьяный, предчувствовал и отгадал. Киселеву, по-видимому, известно было, что у меня находилась значительная сумма, и он рассчитывал обыграть меня наверное. Справедливость моего на него подозрения доказывается как тогдашней, так и всею его до смерти жизнью. Он был отчаянным московским игроком и лишился места председателя Московской казенной палаты при князе Д.Вл. Голицыне, несмотря на свои большие связи по родству с братом, единственно потому, что в московском английском клубе вел самую крупную игру.

ФС. Д. 11. Л. 78–78 об.

ФРАГМЕНТ 5 [О МОСКВЕ КОНЦА 1810-х ГОДОВ]

(к с. 128, примеч. 426)

Заключу двумя хвалебными стихами на эту закладку Мерзлякова:

На Гаваоне Бог, – ликуй, Иерусалим,
Обитель веры и терпенья!
На Гаваоне Бог и Соломон пред ним
В тайной скинии свиденья!
  Израиль новый, о народ
  По сердцу Божию великий!

Затем нескончаемый ряд пышных стихов, подобающих новому Израилю, сиречь русскому народу.

Мудрая политика императора Александра обращена была им на внутреннее положение государства. После французов (выражение, вошедшее у нас в общее употребление, так прежде говорилось «после чумы», равно как теперь – «после крымской войны», или «до и после эмансипации», – выражения верные, меткие, одним словом определяющие эпоху), итак, после французов в продолжение 5 лет Москва уже поотстроилась, дворянство по-прежнему начинало съезжаться сюда по зимам, и она с нетерпением ожидала и жаждала естественного оживления, ободрения и утешения от любимого своего государя, стоявшего тогда на никем не досягаемой высоте земного величия, потому-то решено было иметь в Москве продолжительное пребывание всего Высочайшего двора. Небольшой елизаветинский дворец был перестроен и значительно увеличен, и сверх того взяты были в придворное ведомство чудовские палаты митрополита Платона, в которых поместился великий князь Николай Павлович с величественно-красивой своей супругой. В сих-то пала-

тах, едва ли справедливо взятых без согласия у московского иерарха, родился 17 апреля 1818 года ныне благополучно царствующий император Александр II, соименный Благословенному, освободителю Европы, и сам ставший в свою чреду освободителем 20 миллионов своего великого народа*. К прискорбию, я не мог быть свидетелем этой эпохи и торжества Москвы, которая, обрадованная появлением на свет в своих стенах царственного младенца, первого со времен Петра Великого, праздновала его крещение у раки святителя чудотворца московского Алексия. В это время я уже был на службе в первостоличном Петербурге, который как будто бы ощущал некую зависть первопрестольной своей столице.

ФС. Д. 11. Л. 91 об. – 92

ФРАГМЕНТ 6 [О Н.А. НОРОВЕ]

(к с. 160, примеч. 534)

Отец их, ничем не исправимый на поприще лжи и обмана, кончил самой печальной известностью. Он, как и многие люди в его роде, нуждаясь постоянно в деньгах, употреблял без разбора все средства к их приобретению. Где-то в Коломенском уезде жил в начале царствования Николая Павловича очень богатый и очень скупой князь Гагарин[1]. Вдруг этому отшельнику одинокому страстно захотелось добиться известного чина, а еще более ленты. Мефистофелем ему явился Николай Александрович Норов, уже сам очень пожилой и благообразный, и предложил свои услуги, уверяя легковерного старика, что он по своим связям и по какому-то умственному положению в обществе может достать ему столь желанную звезду. Для этого вытребовал он у Гагарина значительную сумму денег на какое-то учреждаемое последним благотворительное заведение и не дал в них расписки. Долго водил он старика за нос; обман наконец открылся, и князь Гагарин принес на него жалобу. Как ни старались запутать дело и пощадить Норова, которого жена была родственницей бывшего в Москве генерал-губернатора князя Д.В. Голицына, Сенат подверг Норова торжественной очистительной присяге в том, что обвиняемый не получал от князя Гагарина никаких денег. Образ такой, уже отмененной публичной присяги, весьма редко случавшейся и тогда, когда

* Стихи Жуковского на рождение нынешнего государя пророчески предрекли любовь к человечеству освободителя, но они, по моему мнению, слишком долго вещали о самом моменте рождения и уже слишком сочувствовали рождаемой… Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas [От великого до смешного – один шаг (*фр.*)] (*примеч. Д.Н. Свербеева*). Речь идет о послании В.А. Жуковского «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича» (Жуковский В.А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 306–310).

она была еще в законной силе, состоял в следующем: обвиняемый приводим был в сопровождении членов суда после литургии в соборную церковь (в Москве в Успенский собор) при колокольном звоне; там встречал его в полном облачении в соприсутствии соборных священников старейший из них и пред аналоем, на котором положены были крест и Евангелие, делал ему приличное увещание против смертного греха, страшного клятвопреступления, и вычитывал из Ветхого и Нового Завета длинный ряд текстов Св. Писания; потом готовому принести присягу, несмотря на все это, священник отсрочивал принесение присяги на два дня, приглашал к глубокому о своем поступке размышлению. Через два дня и опять при колокольном звоне весь этот обряд повторялся, и не отказывающийся присягать приводим был через два дня в третий и последний раз, и тогда только, по выслушании всех текстов Св. Писания против лжеклятвы, обвиняемый допускаем был к целованию креста и Евангелия; затем подписывался акт присяги, и давший присягу, истинную или ложную (в это никто уже не входил), оправдывался, свободный от всех других преследований. И совершенно правому в своем деле невозможно было перенести подобное испытание; многие, чувствуя свою правоту, предпочитали иногда платить, что ими было уже заплачено, чем очистить себя подобной клятвой. Норов напротив устоял в своей лжи.

Мне известен один только подобный пример. Дом московских купцов Мазуриных страшно обогатился[2] тем, что, сохранив в целости все вверенные родоначальнику его значительные капиталы и вещи многими московскими обывателями до нашествия неприятеля, принес очистительную присягу в том, что он утратил их вместе со своим достоянием во время московских пожаров.

ФС. Д. 12. Л. 15–15 об.

ФРАГМЕНТ 7 [О ПРОЗВИЩАХ КН. В.П. ГОЛИЦЫНА И ДРУГИХ ГОЛИЦЫНЫХ]

(к с. 163, примеч. 559)

Надо рассказать вам тут кстати, чем он заслужил его. Будучи впоследствии элегантным, хотя и некрасивым преображенским офицером, остановил он в одной из отличных по петербургскому тракту гостинниц служителя, который проносил мимо его на блюде рябчика, потребованного другим посетителем, которого Голицын в темном углу обширной залы совсем не заметил. Он заставил полового насильно подать этого рябчика себе; когда же он его съел, поднялась из угла длинная, сухая фигура одного из известных тогдашних бреттеров – князей Гагариных[1], братьев старушек княгини Вяземской

и Четвертинской[2]. «Вы, как заметил я, любите рябчиков, не угодно ли скушать еще один» – и велел слуге подать его. Голицын отговаривался, но съел. «Не угодно ли еще один?» – повторил Гагарин спокойно, но выразительно устремляя на Голицына свои магнетические насмешливые глаза... и так до полдюжины. «Теперь довольно! Прощайте!» – затем надел шубу и уехал. В настоящее время часто восстают у нас против дуэлей. Голицын, как видно, разделял это мнение и нес до 60 лет заслуженное им по этому случаю прозвание «Рябчика» и передал его по наследству детям. Сын его[3], первый секретарь нашей мюнхенской миссии, известен еще и ныне под именем Голицына-Рябчика. Впрочем, надобно сказать, что этой семье Голицыных прозвание «Рябчик» усвоилось так надолго и потому, что одновременно с ними прозваны были другие Голицыны «Куликами»[4] от длинных, сгорбленных носов и носиков, которые были особенностью всех членов этого семейства. Был тоже и «Моська» Голицын[5] – старичок, похожий фигурой на безобразную собачонку. Вообще этому времени принадлежит страсть давать разные прозвания, что иногда бывало не лишним для распознавания однофамильцев, поэтому-то я и теперь промышляю этим делом иногда довольно удачно.

ФС. Д. 12. Л. 18 об. – 19

ФРАГМЕНТ 8 [ОБ А.К. КИКИНОЙ И М.В. ОБРЕСКОВОЙ]

(к с. 176, примеч. 577)

В самом деле, тотчас по кончине Кикиной открылись с подтверждением письменных тому доказательств прежние ее связи с двумя братьями Киселевыми[1] и, что еще гаже, последняя с камердинером мужа, который, когда вывели его на свежую воду, доказывал тоже неоспоримыми доказательствами, что барин его был в связи с гувернанткой и с двумя жениными горничными. Я и в ранней моей молодости не слишком-то верил нравственности людей и имел уже частые случаи убедиться в их испорченности и постоянном желании пользоваться всеми средствами, чтобы достигнуть какой бы то ни было цели. Подозрения мои в этой истине при этих обстоятельствах еще увеличились, и как я ни старался победить в себе глупое сомнение в том, что тетушка Марья Васильевна поощряла мою любовь к своей племяннице из своих собственных видов, но я к великой грусти должен был наконец отгадать в сестре моей матери явное намерение меня эксплоатировать. За день до моего отъезда дал я ей 19 000 рублей ассигнациями на постройку на старом месте сгоревшего ее дома в Старой Конюшенной против церкви Иоанна Предтечи, впрочем, сама она предложила взять от нее и от ее сестры заемное обязательство.

Семейные записки должны быть правдивы и откровенны; они то же, что задушевная исповедь. Прослушав через несколько дней написанное мое выше подозрение на тетку Марью Васильевну, пришло на меня сомнение и возродились во мне упреки совести. Ну, если я подозреваю в ней то, чего совсем не было? По многим примерам, встреченным мною в нашем и заграничном обществе, по воспоминаниям моим, внезапно по этому случаю оживленным, я убедился, что подобного рода потворство всякой любви и еще более незаконной, чем законной, оказывается везде всеми, особливо женщинами; следовательно, поощрять любящихся и ими любоваться или исподтишка над ними смеяться есть милое для многих занятие. Так, может быть, поступала, не отдавая себе отчета, и моя тетка. Оскорбительное мое выражение для ее памяти я беру назад и все мои укоры уничтожаю.

ФС. Д. 12. Л. 29 об. – 30; см. также: Д. 33. Л. 23

ФРАГМЕНТ 9 [ОБ И.А. ПУКАЛОВЕ]

(к с. 185, примеч. 605)

Старший из наших спутников отставной статский советник Иван Антонович Пукалов пользовался в Петербурге особенной своего рода известностью. Употребляю выражение, не совсем верное; говорят же о ком-нибудь в небольших местечках на женевском озере: «Voila un homme qui jouit d'une très mauvaise santé»*. Откуда и как явился в свете этот г. Пукалов, где воспитывался и начал свою приказную службу, мне было не известно, но по всему видно было, что он принадлежал к числу тех часто встречаемых в то время в Петербурге личностей, которые образовали себя чтением русских книг, практическими познаниями русских законов, умением вывести из этого хаоса теорию ябедничества и, не брезгая никакими средствами, приобрести себе какого-нибудь влиятельного милостивца. Когда я в первый раз на корабельной палубе встретил Пукалова, он уже был не всемилостивейше, а высочайше удален от службы и лишился очень выгодного и довольно видного места обер-секретаря в Синоде. Ходили слухи, что он, слишком полагаясь на защиту своего покровителя, хватил через меру крупную взятку и что его патрон – граф Аракчеев – от него сам отказался. Жена Пукалова[1] была долго и в это самое время любовницей временщика. Несмотря на свое удаление от службы, Пукалов чрез жену все еще обделывал свои делишки, раздавал некрупные места, выхлопатывал чины, пансионы и помогал выигрывать тяжбы, разумеется, не даром. В первой моей молодости без всякого заискивания

---

* «Вот человек, который наслаждается своим плохим здоровьем» (*фр.*).

случалось мне почему-то нравиться и честным, и нечестным людям; из последних более всех чем-то угодил я этому Пукалову. Он сам дал мне право откровенными своими разговорами представить его таким, каким он был. «Жена моя урожденная Крекшина, – говорил он мне вскоре после нашего знакомства, – молодая, красивая, богатая, образованная и светская, вздумала было сначала забавляться с военными и статскими франтами; но как она по природе своей была женщина нестрастная, а напротив, крайне честолюбивая, то я предложил ей плюнуть на всю эту сволочь и обратить на себя внимание графа Аракчеева. Меня, конечно, выгнали из службы, но унывать… я не унываю. Пукалова знает весь Петербург».

Его товарищ и переводчик г. Искритский не выставлялся так резко, а может быть, и сам не искал того. Мне сдавалось, что он, будучи вдвое образованнее Пукалова потому уже, что знал два иностранные языка, был еще его и похитрее. Вероятно также, за какие-нибудь грешки удаленный от службы при таможне или полиции в Риге, он отправился за порядочное жалованье путешествовать со своим барином и быть его переводчиком.

ФС. Д. 12. Л. 39 об.–40 об.; см. также: Д. 34. Л. 12 об. – 13

ФРАГМЕНТ 10 [О ПОЕЗДКЕ ОТ РЕВЕЛЯ ДО БЕРЛИНА И ЛЮБЕКА И ВСТРЕЧЕ С СЕМЬЕЙ ШЛЕЦЕРОВ]

(к с. 188, примеч. 612)

Первоначальной целью нашего путешествия выбрали мы предписанное врачами Норова морское купанье в Травемюнде – самое ближайшее морем из Петербурга; мы, взяв и сухой путь, все-таки решили ехать в тот же Травемюнде, невзирая на то, что сухим путем доехать до желаемого этого любекского порта значило уже обогнуть большой круг и что тогда, более зная географию, нежели мы, можно было бы избрать и дорогу поинтереснее, и морские ванны посильнее; обо всем этом мы догадались уже гораздо позже и устыдились нашего невежества. Из Ревеля берегом Рижского залива по прекрасной почтовой самородной каменной дороге чрез небольшой чистенький эстляндский городок Пернау приехали мы в Ригу. И тогда уже – 50 лет тому назад – была она одним из лучших наших губернских городов, а лучшие наши провинциальные города, кажется, и теперь еще красуются по оконечностям русской империи; я подразумеваю здесь, кроме Риги, Одессу, Вильно и даже Тифлис. В каком же великолепии и блеске представятся они будущему поколению, когда совершится над ними спасительное для них и полезное обрусение.

В то время Рига имела не более 50 000 населения, ее предместья, куда теперь из старинного каменного города перешла за срытые каменные валы общественная жизнь, были бедны, некрасивы и не успели еще обстроиться после 1812 года. Тогдашний генерал-губернатор[1] [пропуск в тексте под фамилию – Эссен] заблагорассудил сжечь городские предместья из опасения, что французы займут их ыза предполагаемой одним им [слово пропущено] осадой Риги. Наполеон не догадался выполнить идею [Эссена], Риги осаждать и не думал, и предместья ее были сожжены даром. Теперь они с каждым годом все красивее и изящнее обстраиваются. Пробыв одни сутки в этом городе, имели мы из окон нашей гостиницы пред глазами гранитную колонну с возвышающимся на верху ее двухглавым орлом – памятник освобождения от рабства остзейских помещичьих крестьян. В простоте наших сердец мы любовались и этим памятником, хотя и очень скромным, и радовались великому по тогдашним понятиям событию, которое обращается теперь в укор благородному рыцарству этих провинций, представляя оное действовавшим тогда по одному своекорыстному расчету. Так ли это было, – есть ли в мнениях ненавистников остзейского края хотя одна капля правды, распространяться не буду, это завело бы меня слишком далеко. В свое время – буде в «Записках» моих доживу до нашей великой эмансипации, вспомню тогда и первый ея в России почин остзейский.

Из Риги по сыпучим глубоким пескам почти все шагом проехали мы до Митавы, некогда столицы Курляндского герцогства, а тогда ничтожному губернскому городишку, населенному большей частью оборванными жидами. В Митаве, однако, надобно было взглянуть на тамошний дворец; в нем жили не одни герцоги – владетели небольшого края, но и Людовик XVIII, брат мученика короля, в царствование Павла. Покровитель и защитник святости монархического престолонаследия, великодушно дал он ему убежище в его изгнании, но и этот законный наследник династии Бурбонов, а потому и претендент на французский королевский престол, в чем-то провинился пред капризным Павлом и был им немедленно выслан из России. В склепе протестантской придворной церкви смиренно стояли не опущенные в землю, а на его голом каменном полу гроба ненавидимого в России Бирона, его жены и детей[2]. Еще в трактире сказали нам, что церковный сторож за 50 коп. снимает пред любопытными гробовую крышку с неистлевших еще совсем останков последнего герцога. Приехавшие вслед за нами в Митаву Пукалов и его переводчик Искритский осматривали вместе с нами замок, и еще по дороге к нему Искритский заявил мне, что он потребует вскрытия гроба и плюнет в лицо покойнику. Я сначала думал, что он по русскому обыкновению только хвастается и посовестится сделать подобную гадость при свидетелях и особенно при стороже, но он проявил свое гражданское мужество и доказал пред всеми свою пламенную любовь к отечеству.

Теми же сыпучими песками доехали мы до русской границы – местечка Полангена и остановились ночевать после снисходительного таможенного осмотра в прусском городе Мемеле. Проехав чрез нашу пограничную заставу, встретили мы первое прусское население – небольшое местечко Иммерзат; оно памятно мне только одной наивностью нашего слуги Вани. Он вообразил себе, что за рубежом нашего отечества и с первого нашего шага на германский фатерланд (как теперь говорится в «Мос[ковских] вед[омостях]») представится и небо новое, и земля нова; так заключаю я потому, что, когда, услыша стук нашей брички, выскочили навстречу ей в Иммерзате собачонки, то он с радостным удивлением всем телом перевернулся лицом к нам и торжественно воскликнул: «Абрам Сергеевич! Дмитрий Николаевич! собаки-то точно наши-русские и лают-то по-нашему!» Не знаю, извинят ли меня мои читатели, если я на минуту остановлю их внимание на тогдашний уровень нашего высшего образования, равно как и наших простонародных понятий. Артиллерийский полковник и кончивший свое университетское образование студент и не догадывались, что в Германии существуют морские ванны, и полезнее, и приятнее для молодых людей, чем травемюндская трущоба, а спутник их – слуга, впрочем, грамотный, думал, что немецкие собаки лают не по-собачьи. Надеюсь, что в этом отношении в последние 50 лет мы сколько-нибудь подвинулись вперед.

Еще в препорядочном мемельском трактире начали пугать нас скучной и отвратительной дорогой по Куришгафу* до самого Кенигсберга. Время было довольно холодное; сырой воздух проникал нас насквозь, когда мы, как и было нам предсказано, поехали по самому берегу Балтийского моря, так близко к воде, что правые колеса экипажа покрывались водой почти до ступицы; но почва под ними была тверда и можно было бы в нашей легкой бричке с небольшой поклажей ехать гораздо поспешнее, если бы у тогдашних швагеров, т.е. прусских мундирных почтальонов, не было обыкновения ездить медленнее законом положенного времени; на каждую милю, т.е. 7 русских верст, полагалось не более и не менее часа, а нас тащили часа полтора. Тут я, весьма неприятно для себя, открыл в моем товарище всю неистовую нетерпеливость его характера, он был готов бить каждого почтальона, и не один раз хватал я его за руки, чтобы избежать истории, весьма для путешественников неприятной. Спасибо, что товарищ мой по службе – Гофман, – хотя и не бывавший за границей, но доскано́льно понимавший всю противоположность залихватских русских обычаев со скромными немецкими, дружески и настойчиво советовал мне удерживать себя, а особливо воинственного полковника от посягательства на личность прусского почтальона. К вящему оскорблению наших родных привычек, мы не находили по дороге морским берегом почто-

---

* Kurisches Haff – Куршский залив (*нем.*).

вых станций – они устроены были в некотором отдалении, – и возивший почтальон отпрягал своих лошадей и после жаркого с Норовым спора, получив тринкгельд, отправлялся за новыми, оставляя нас в дикой песчаной пустыне у морской пучины. Нам некого было и торопить, чтобы на не зримой нами станции получить поскорее свежих лошадей; а раза два случилось с нами и то, что съезжали с дороги к какой-то уединенной корчме, где наш возница по собственному своему усмотрению с полчаса кормил свою тройку печеным ржаным хлебом, сам же выпивал рюмку шнапса или огромнейший стакан пива. С Норовым условились мы еще в Митаве размененные нами русские ассигнации на прусские талеры и мелкую грошевую тамошнюю монету положить пополам в кошелек и из него платить дорожные расходы, а так как мы решили ехать, не останавливаясь и ночью, то определено было исполнять такую казначейскую обязанность каждому посуточно. Норов взялся за это первый, но он нисколько не заботился выучиться прусскому денежному счету, и, как я ему ни растолковывал, сам еще его плохо понимая, ничего не мог вдолбить ему в голову. Сначала он жарко спорил и чуть не дрался с каждым почтальоном, а потом, взяв с полгорсти мелких денег из кошелька, предлагал почтальону брать с его ладони сколько ему было нужно, а это, по-моему, выходило, сколько ему вздумается. Таких порядков широкой натуры моя узкая натура долго выносить не могла, и из Кенигсберга взял я общественную нашу казну на мою ответственность, несмотря на то, что заносчивый мой товарищ таким предложением сначала как будто обиделся.

В городе Королевце мы ночевали и вспомнили о всесокрушающем его философе – Канте. Мы знали его только по одному имени. Вряд ли знали мы тогда и славянское, родное нам название Кенигсберга Королевец, в том географическом отношении теперь сделали уже большие успехи, и тот, кто подобно мне, держась старых привычек, все еще называет Дерптом Юрьев и Ревелем Колывань, достойно подвергает себя нареканиям от наших патриотических географов. Мне недавно случилось, говоря о конгрессах, назвать Лайбахский и поэтому выслушать замечание: «должно говорить Люблянский». – «Меня не поймут», – отвечал я. – «Погодите, скоро будут понимать». – «Пожалуй, будь по-вашему! Но, господа, будьте и вы последовательны и переделайте для вашего русского уха собственно и наши города, начиная с Петербурга и кончая Оренбургом».

Из Кенигсберга через Кюстрин, откуда начинается великолепное шоссе, приехали в Берлин, занимавший в то время в 1821 году не более половины нынешнего пространства и менее половины жителей. Проведенная нами почти неделя времени в этом городе [пропуск текста при переписке] спутник мой от меня улетучился; на него посыпались всевозможные местные приглашения, лишь только он побывал у нашего посланника графа Алопеуса[3]. Он был представлен королю[4], зван обедать и на вечер во дворец, был

на каких-то разводах и парадах, на вечерах у министров и дипломатов. За ним все ухаживали: он был молод, очень недурен собой, довольно ловок и сверх того нравился тогда любившим еще нас, русских, всем пруссакам как безногий герой Бородинской битвы. По милости его с большими пред обыкновенными путешественниками подробностями мог я осматривать все любопытное, как и в самом городе, [так и] в Потсдаме, Шарлотенбурге, Sans Souci и т.д. Во внутренних комнатах короля Фридриха Вильгельма, в его спальне и кабинете, из которых он только что вышел, мы могли убедиться, как искренно он любил своего избавителя от бед – императора Александра; так много было в этих комнатах русских воспоминаний, видов Петербурга и Москвы, портретов и бюстов нашего государя и всей царской фамилии и даже древних наших образов в окладах и без них. На особом пред ними столе лежало славянское Евангелие в позлащенных и украшенных каменьями досках. Покуда Норов кружился на берлинских высотах, я одиноко гулял Unter den Linden и по Thiergarten'у*, шатался по кофейням и обедал в знаменитой тогдашней ресторации Ягора, или Егорова[5]; уверяли, что он был русский. Раза два был в театре; и мне посчастливилось все же по милости Норова быть на первом представлении Фрейшица[6]. Эту оперу, проникнутую германизмом, давали в чрезвычайном великолепии. Общество было самое блистательное, и в первых ложах белокурые немки превзошли на этот раз своими туалетами и наших великосветских дам, не часто посещавших русскую сцену. Правда, что в берлинской зале был весь двор, а наш государь и императрицы театра не посещали, но во втором и третьем ярусе лож и в этот раз виднелись немки, хранившие тогда скромные мещанские нравы. Многие из них, смотря с жадным любопытством на представление и восхищаясь великолепной музыкой Вебера, все-таки вязали свои чулки; теперь этого уже не бывает. Норов предлагал мне хотя на один раз разделить с ним удовольствие большого света, – я отказался. Признаюсь в слабости моего характера: мне не хотелось пользоваться чьим бы то ни было покровительством, быть, так сказать, тенью кого бы то ни было.

Вырвавши из Берлина моего блистательного полковника, напомнив ему, что у нас немного остается теплых дней для купанья в море, через два Мекленбургские герцогства – Стрелиц и Шверин – приехали мы в Любек. Ночью, когда мы не спали и тащились немецкой почтовой рысцой, а иногда и шагом, запевал я какую-нибудь русскую песню, мне вторил Норов и подтягивал с козел Ваня. Товарищ мой был поэт и не последний между нашими второклассными; и вот, однажды, начали мы переводить по-русски с ним любимый романс: «Partant pour la Syrie», сочиненный королевой Гортензией[7], матерью развенчанного ныне Наполеона III, наш почтальон, услышав эту музыку,

* [по] Липовой аллее и по зоосаду (в Берлине) (*нем.*).

сошел с коня своего и объявил нам великую новость о кончине Наполеона I на острове Св. Елены[8]. Всю эту ночь и все утро провели мы без сна, теряясь в воспоминаниях о великом прошедшем, не опасаясь однако, за будущее, которое, казалось нам, ручалось за мир и спокойный порядок вещей.

В Любеке, похожем отчасти и на Ревель и на Ригу своим средневековым видом, отыскали мы нашего русского консула Шлецера[9], сына великого историка и родного брата моего бездарного профессора политической экономии. Он был, как видно, приветлив ко всем русским по историческим отцовским связям с Россией. Пятнадцатилетний сын его назывался Нестором[10], и св[ятой] инок-летописец был у них в гербе, пишущий свои бессмертные сказания. Девизом герба было: «Лета древняя помянух». Сам Уваров охотно, я думаю, променял бы свой графский герб с надписью на оном: «Самодержавие, православие и народность» на шлецеровский, более занимательный и правдиво заслуженный, и, однако, ни консул, ни тезоименитый нашему летописателю его сын по-русски не знали. Мы у него обедали с любекскими учеными и много с ними толковали о дружеских сношениях славного во время старинной Ганзы города с нашим великим Новгородом. Благодаря лекциям Каченовского и моим частным у него урокам я мог поддерживать, не краснея, этот разговор с тамошними археологами. Норов, знакомый с новейшей русской литературой, гораздо менее моего знал древнюю. Такая беседа о Ганзе, повторенная не один раз и во время пребывания моего в Травемюнде, и в двукратных поездках туда и в тот же Любек, осталась у меня в памяти и часто наводила мое воображение на ретроспективные, хотя и не очень-то любимые мной мысли. Если бы Иоанн III не покорил великого Новгорода, а Грозный после него не покончил с ним решительным разорением, судьбы России были бы иные. Европа и ее цивилизация доходила бы к нам этим ближайшим путем и вносила бы нам свою гражданственность; тогда как открытый, как бы неведомая Америка, англичанином Ченселором порт города Архангельска во времена королевы Елизаветы[11] нас разлучил надолго с Германией и всю нашу торговлю и все наши сношения с Европой передал в руки завистливых англичан, тотчас же устроивших у себя русскую торговую компанию с намерением обратить нас в колонию, или по крайней мере выгодно пользоваться нами, как бы какими-нибудь дикими народами. Ошибку свою увидел скоро и сам царь Иоанн и начал опустошать Ливонию, чтобы добыть в ней Юрьев и Колывань, но, к счастию (мысль моя такова) это ему не удалось. Русская революция, воплощенная в Петре и им исполненная, как ни говорите, все-таки человечнее той, которую совершал над нами грозный Иоанн IV.

ФС. Д. 12. Л. 43–47; см. также: Д. 34. Л. 15 об.–19

ФРАГМЕНТ 11 [О ДОРОГЕ ИЗ ЛЮБЕКА В ГАМБУРГ]

(к с. 189, примеч. 615)

...«Там, – говорил он, – морская волна сильнее и солонее, а по этому и леченье будет действительнее». Можно бы было нам и самим это отгадать. И вот отправились мы из Любека в Гамбург, по чугунке можно проехать это пространство в два часа; нам надобно было двое суток на долгих, потому что королевско-датскому правительству не угодно было на принадлежащей ему между двумя городами земле учредить правильные почтовые сношения. В видах эгоистического покровительства своим подданным, крайней недружелюбности сношений с обоими вольными городами оно, это правительство, содержало единственную дорогу на 70 верст протяжения в таком ужасном состоянии, о котором и мы, русские, привыкшие к нашему бездорожью и беспутице, не могли иметь никакого понятия. У нас о путях сообщения до шоссе по крайней мере, вообще говоря, не заботились, а тут датчане свою дорогу мостили, т.е. нарочно портили. Их мостовая была изрыта, в ямах, и по всему узкому дорожному пространству разбросан был крупный булыжник. Тихая езда и ырянье по ямам и крупным камням с опасностью изломать экипаж выводили из терпения самого терпеливого, какова же была досада наша, когда через каждые 2 мили останавливали нас у дорожного шлагбаума и требовали пфластергельд*. Отъехав от Любека 15 верст или 2 мили, кучер начал кормить лошадей, еще через две мили мы должны были ночевать в красивом местечке Ольдеслое и столько же, т.е. часов 6 или 7 езды и по такой же дороге употребить на другой день до Гамбурга. Вся Северная Германия проклинала датчан за умышленные с ее стороны затруднения сообщения между двумя такими важными портами. Не один раз предлагали Дании оба эти города построить шоссе на их собственный счет, а впоследствии, когда начались в Германии железные дороги, устроить и железную дорогу. Более 12 лет прошло в тщетных переговорах, Дания ни на какие предложения не соглашалась, в ее интересах было несравненно выгоднее, чтобы корабли из Петербурга и других мест шли в Гамбург через Зундский пролив и платили бы в Бельте установленную Данией и недавно уничтоженную общим трактатом пошлину. Поэтому-то корыстолюбивые датчане и препятствовали всячески разгружению товаров в Любеке и доставлению их сухим, ближайшим путем в Гамбург. Этой адской дорогой проезжал я в 1833 и 34 годах через 11 лет в другой раз, и на ней, кажется, не было переложено с места на место ни одного камня, а на пфластергельд пошлину прибавили. Пример Дании достоин подражания: вот как следует любить свое отечество и ненавидеть соседей и пренебрегать общей пользой.

ФС. Д. 12. Л. 48–48 об.; см. также: Д. 23. Л. 1–2; Д. 34. Л. 20–20 об.

---

* Pflastergeld – дорожная пошлина, налог на мостовые (*нем.*).

ФРАГМЕНТ 12 [ОБ А.В. БОГДАНОВСКОМ И Н.А. ИЛЬИНЕ]

(к с. 190, примеч. 619)

...Reinville, и возле него при церкви могилу Клопштока, Бланкенезе на берегу широкоразлившейся Эльбы, в половину закрытой кораблями. Кроме нашего общего обеда, завтракать и ужинать, ходили мы в погребки Bierhalle есть устрицы, омары и прочие морские лакомства.

Проживавшие в то же время в Гамбурге двое русских средних лет, генерал Андрей Васильевич Богдановский и полковник Ильин были и похожи, и не похожи друг на друга. Последнему как артиллеристу следовало бы быть пообразованнее первого пехотинца, но в познаниях весьма поверхностных были они между собою равны, и по правде сказать, отличались отсутствием всяких сведений. Богдановскому посчастливилось, какими судьбами, не известно, стоять в продолжении трех лет во Франции, он командовал одним из полков, бывших у графа Воронцова и составлявших часть обсервационного корпуса союзников от 1815 до 1819 года. После ста дней наполеоновского правления во Франции, как известно, Россия, Австрия и Пруссия приняли эту меру наказания Франции за ее измену Бурбонам и, по ходатайству за нее императора Александра, на два года прежде срока сократили пребывание союзных войск. Богдановский из очень обыкновенного русского служаки обезличился до того, что сделался чрезвычайно кротким, смирным гражданином, так что он старался скрывать от других свой генеральский чин и никогда не носил ленточных в петличке обращиков тех орденов, какие у него были, а у него была и Анненская звезда, и орден Почетного легиона на шее, что почиталось у французов великим отличием. Он даже выхлопотал себе паспорт на имя капитана Васильева, чтобы скромнее путешествовать. Часто встречаясь с ним, я всегда соболезновал, что такому славному человеку недоставало образования; плохое знание даже французского языка мешало ему, как он ни старался, понимать тогдашнюю Францию, ее историю, литературу, политику и напрасно предавался он изучению представительного в ней правления.

Ильин, напротив, гордился быть легко раненым русским воином, полковником и разных орденов кавалером. Богдановский был по приязни к нему Воронцова градоначальником в Одессе и умер сенатором в Москве, Ильин умер безвестно в своей ефремовской деревне, женившись по возвращении. С обоими видался я чаще, нежели желал бы, оба они скучали, а мне тем менее от их посещений и встреч было весело. С меня довольно было моих трех остзейцев и примкнувшего к нашему обществу красивого поляка лет 20, из Вильны. Он был очень порядочный и образованный юноша известного аристократического имени, которое, однако, я уже забыл. Все мы пятеро не могли иначе говорить между собою, как по-французски; по-русски говорил я свободно один; поляк, как и я, по-немецки не говорил.

ФС. Д. 12. Л. 49; см. также: Д. 23. Л. 2 об.

ФРАГМЕНТ 13 [О ПУТЕШЕСТВИИ ПО БЕЛЬГИИ]

(к с. 194, примеч. 636)

На бедного нашего лифляндца Либхарда, внука первого тамошнего богача[1] и впоследствии самого владетеля майората, напала страсть к щегольству. Он, выпросив у меня однажды надеть к обеду Огеров мой синий фрак и привесить к своим часишкам одну из моих цепочек, так их и не снимал, и я начинал уже сомневаться в законной их мне принадлежности. Не знаю прежде или после Гаги слышали мы великолепнейший из всех тогдашних церковных органов в Гарлеме, известном у нас своими гарлемскими каплями и собраниями в цветниках и садиках тюльпанов. В Лейдене по возникавшей в Норове претензии на ученость осматривали мы знаменитый университет, а я вспомнил те лейденские банки, на которых я публично срезался у моего профессора физики. Через город Утрехт приехали мы в Брюссель, оттуда наш воин ездил на целые сутки осматривать место сражения при Ватерло, я же глазел на преузорочную ратушу, осматривал соборную церковь и с улыбкой останавливался на одной площади перед фонтаном-памятником, собственное имя которого мое перо считает неудобным написать[2]. Брюссель был еще тогда второй столицей Голландии и зимней резиденцией Двора. Разделение этого королевства надвое, Голландского и Бельгийского, было следствием, во-первых, Июльской в Париже революции, во-вторых, ошибок самого короля Вильгельма[3], слишком пристрастного к своим голландцам и не сочувствовавшего стремлениям бельгийцев, другой половины своих подданных, и, в-третьих, всего более вследствие религиозного изуверства католиков-бельгийцев и влияния над ними клерикалов, в особенности же иезуитов. Таким образом, из одного небольшого королевства образовались два. Не останавливаясь на дальнейших политических выводах, можно делать одно, кажется, верное замечание, на невыгоду для обоих небольших государств в экономическом отношении содержать два двора и два правительства вместо одного. По счастию, Бельгия избрала своим королем мудрейшего из всех современных государей[4], не один раз своим посредничеством между ссорящимися державами останавливал он мудрыми своими окончательными решениями грозившие Европе войны. Политическая история XIX столетия должна дать ему одно из первых мест на своих страницах.

ФС. Д. 12. Л. 53 – 53 об.; Д. 23. Л. 5–6

ФРАГМЕНТ 14 [О ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ ВО ФРАНЦИИ В НАЧАЛЕ 1820-х ГОДОВ]

(к с. 208, примеч. 680)

С 1821 года после убийства Лувелем герцога Беррийского в Париже заведены были чрезвычайные строгости. Пресса так же подвержена была строжайшей цензуре. Насильственная смерть единственного из Бурбонов старшей линии, который мог продолжить эту древнюю династию, была неизбежной причиной всех политических мер, которые за ней последовали и коими, так сказать, ежедневно оскорбляемы были обе партии, либералы и бонапартисты. Лудовик XVIII, наученный опытом, и по своему миролюбивому характеру, и по своему высокому образованию был искренним приверженцем принципов 1789 года, он не разделял предрассудков своей расы, добросовестно дал нации Конституционную хартию, которая вполне бы удовлетворила самых ревностных защитников свободы. Он сам по себе ни в чем не стал бы препятствовать развитию учрежденного им представительного правления, если бы не мешали ему в том неумеренные легитимисты и целые толпы эмигрантов, возвратившихся при восшествии его на престол и постоянно предъявлявших свои отжившие права на восстановление прежней неограниченной монархии. С другой стороны, ненависть к Бурбонам бонапартистов и в особенности множество военных, которых по необходимости отставили от службы с половинным жалованьем, и те отчаянные либералы, которые всеми средствами стремились к водворению республиканского правления, постоянно держали постарелого и безногого короля в самом затруднительном положении. Эмигранты и легитимисты, известные под именем ultra и pointus*, были роялистами гораздо более, чем сам король. Главой их был брат Лудовика XVIII граф д'Артуа, который носил еще название Monsieur, Chevalier et gentilhomme de l'ancien régime** в полном смысле слова. Сын его, герцог Ангулемский, впоследствии дофин, был человек в политическом отношении совершенно ничтожный, но его жена, единственная дочь царственных мучеников Лудовика XVI и Марии Антуанетты, не могла забыть и простить революционной партии торжественную казнь своих родителей. Покуда жив был еще второй сын графа д'Артуа, герцог Беррийский, на нем, 35-летнем, не совсем враждебном к прогрессу цивилизации, сосредоточились и надежды короля, и надежды умеренной либеральной партии вести Францию к разумной свободе и мирному порядку конституционной монархии. Все эти надежды одним ударом кинжала рушились! Оставалась одна слабая – беременность герцогини Беррийской,

---

* крайние (ультра) и непримиримые (*фр.*).

** Месье (здесь, очевидно, употребляется как старинное название титула старшего из братьев французского короля), кавалер и дворянин старого режима (*фр.*).

которая через несколько месяцев по смерти мужа родила герцога Бордосского, претендента Генриха V[1]. Ультра-роялисты сговорились видеть в этом весьма естественном событии какое-то чудо и своими преувеличенными восторгами бесили две другие враждебные партии. Один из первых легитимистов, бесспорно самый умеренный и просвещенный, предложил за крещением этого чуда-младенца бутылочку иорданской воды, которую он привез лет за 12 с собой из Иерусалима и которую (увы!) имел неловкость предлагать 12 лет прежде великому Наполеону, чтобы ею окрестить Римского короля[2]. «L'eau de Seine est plus Française»*, – отвечал ему на это Наполеон.

В суде над Лувелем не могли добиться явных доказательств тому, что убийца был орудием какого-либо заговора или какой-либо враждебной партии, и не взирая на это ранняя смерть герцога имела самое несчастное влияние на судьбы Франции, ее последствия еще и в наши дни продолжаются и тяготеют над этой несчастной страной. Лудовик XVIII не мог устоять против возбужденной этим событием бури в партии роялистов; любимец короля, первый его министр, человек еще молодой, герцог Деказ, вынужден был отказаться от портфеля внутренних дел, потому что ультра-роялисты приписывали ему насильственную смерть герцога Беррийского, как бы вызванную его покровительством революционной партии. Вслед за этой радикальной переменой последовало распущение либеральной Палаты депутатов и ограничение права избрания, усиление цензуры, а потом и другие более или менее стеснительные для народной свободы постановления. Оставленный всеми в своей семье, поневоле предавшийся интригам окружающих его придворных, старый король против воли делал ежедневные уступки клерикалам и роялистам. Первые обвиняли всю юную Францию, все новое поколение в безверии, атеизме и изобрели публичные, на открытом воздухе, проповеди и водружение крестов, как в самом Париже, так и в городах и селах всего государства. Тех молодых людей, которые рождены были во времена революции и из коих многие действительно не были крещены, призывали к совершению над ними крещения, привлекая к этому более или менее равнодушных различными премиями.

Протестантское население южной Франции повсюду преследовалось членами получившего тогда власть Ордена иезуитов и сочувствующего им светского духовенства. В разных местах и особливо в Париже жители городов восставали против миссионерских проповедей и преследовали миссионеров. Против возмутителей по воле правительства действовала полиция, а иногда и войско. Во многих кварталах Парижа происходило в разных углах уличное смятение. Так однажды, возвращаясь домой из Palais Royal, в сумерки, в нашей улице Richelieu бежала не очень большая толпа мальчишек и всякой сволочи, крича во все горло: «Vive la Charte! À bas les Missionnaires!»** Одному из

* Вода в Сене – более французская (*фр.*).
** «Да здравствует Хартия! Долой миссионеров!» (*фр.*)

толпы вздумалось схватить меня за шиворот и заставить силою кричать тоже, я, насколько мог, противился, тем более, что эту толпу преследовали конные жандармы и разгоняли ее ударами плашмя своих сабель. В магазинах спешили убираться, запирать ставни и двери; мне удалось, по счастью, ворваться в одну из лавок и просить убежища. Хозяин согласился продержать меня с час времени, когда я ему заплатил за выбитые в дверях его стекла, без этого мне бы пришлось ночевать au violon* в какой-нибудь караульне и подвергнуться допросам полиции.

ФС. Д. 12. Л. 67–68 об.; см. также: Д. 23. Л. 18 об. – 20

ФРАГМЕНТ 15 [ОБ И.А. ПУКАЛОВЕ В ПАРИЖЕ]

(к с. 213, примеч. 693)

Дело шло к весне. К концу католического Великого поста и пасхальной недели лекции прекратились, и я с немногими русскими начал осматривать окрестности. К нам набивался на эти прогулки старый Пукалов, но он, грубый во всем невежда, только что нам мешал. Трудно себе представить, как он был нахален и в то же время горд даже своим непониманием французского языка. Однажды сидя за кулисами на сцене французского театра Théâtre Français, я заметил его издали и всячески старался от него спрятаться. Вместо m-lle Duchenois, не помню, в какой трагедии, играла ее дублюра, великолепная m-lle Paradol[1], видная красивая актриса лет 35. Когда она, по окончании акта, медленно проходила по сцене в классической римской одежде, восторженный ею Пукалов не мог удержаться и вздумал положить на открытые ее плечи свои ручищи, – чуть-чуть не дала она ему пощечины, и вслед за тем Пукалова просили удалиться. Мне в моем уголку было и смешно, и досадно на него, но я, конечно, не пошел к нему на выручку. В другой раз захотелось ему непременно отобедать со мной у Шампо, я пришел нарочно ранее назначенного времени и засел в уголок, так, чтобы меня нелегко было отыскать. Надобно сказать, что в это время он успел поссориться с своим переводчиком и слонялся по Парижу один; усевшись посередине залы, потребовал он карту и после первой тарелки супа указал пальцем через три-четыре строки другое для себя кушанье, – ему подали опять суп. Назвав гарсона ослом и скотиной (слова эти долетали и до меня), он перескочил целую страницу, ему подали какой-то легюм[2] и потом какое-то пирожное. Тут посыпались такие русские ругательства, что я, во избежание истории, подошел к нему и на этот раз постарался выручить. Пукалов ездил и в Англию и с рекомендательным

---

* в кутузке (*фр.*).

письмом бывшего там уже давно посланником графа Семена Романовича Воронцова[3], был с визитом у его дочери леди Пемброк[4], которая его не приняла, что он и сообщил графу по возвращении, сказав, что зятя его, лорда, он имел счастие видеть, а лордесы (sic) видеть не удостоился.

ФС. Д. 12. Л. 74–74 об.; Д. 23. Л. 24 об.

ФРАГМЕНТ 16 [О ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИТИКЕ]

(к с. 216, примеч. 704)

Палата Депутатов, уступая в государственном отношении Палате пэров, или Сенату, избираемая из народа, в то время, как и теперь и, вероятно, как и всегда, вмещает в себе истинное представительство целой страны и неизбежно делится на три части. Во Франции делилась она так: Охранительную, правую, к которой принадлежали все ультра-роялисты, большей частью возвратившиеся с Лудовиком XVIII эмигранты, и за ними более благоразумные легитимисты, искренно, добросовестно признававшие правительство Бурбонов единственно возможным для умиротворения Франции. Ультра и эмигранты имели своей главой королевского брата, графа д'Артуа, впоследствии Карла X; легитимисты держались самого Лудовика XVIII; те же из последних, которые и в среде королевского министерства находили людей слишком преданных идее о божественном праве верховной власти, образовали правый центр палаты; к левому центру принадлежали те из легитимистов, которые были моложе и свободолюбивее своих товарищей. На левой стороне заседала оппозиция; членами ее были невольно, по силам обстоятельств, переносившие правление Бурбонов, или последователи Наполеона, желавшие возвратить престол Франции его сыну, если не самому императору, либо искавшие утвердить во Франции во что бы то ни стало любезную республику. Министерство Лудовика XVIII, как и члены палаты, депутаты охранительной партии, до дня убийства Лувелем герцога Беррийского было либеральное. Вслед за этим роковым для Франции событием роялисты и особенно эмигранты громко требовали и на трибуне, и в печатных своих органах уничтожения хартий и возврата к прежнему порядку вещей. Они боролись с королем, который, утратив последнюю надежду видеть в будущем своем наследнике, герцоге Беррийском, сторонника своих убеждений и рано или поздно преемника и наследника своего либерально-благоразумного правления; в других членах своего семейства имел, напротив, одних врагов и против воли часто уступал их влиянию. Его пугали интригами против него и против его династии герцога Орлеанского – будущего короля Лудовика Филиппа, который сам был увлекаем враждебной саршим Бурбонам партией бонапартистов

и республиканцев. Генерал Лафайет, прославивший себя еще до революции участием в североамериканской войне, и сделавшись потом противником, хотя и умеренным, Лудовика XVI и Марии Антуанетты, опутал сетью своих замыслов орлеанского герцога и вместе с банкиром Лафиттом, публицистом Бенжаменом Констан, сердечным другом госпожи Сталь[1], и многими другими был неотлучно с Лудовиком-Филиппом, не выходил из его Пале-Рояль. Недаром император Александр называл в интимном своем политическом кружке этого генерала Лафайета, этого блистательного, аристократического героя всех переворотов Франции, ветхой лампадой, которая всегда воняет, не угасая, – «c'est une vielle lampe qui pué»*. Нет сомнения, что другой старик, Лудовик XVIII, измученный подагрою и лишенный возможности не только сесть на коня, чтобы понравиться парижанам, которые любят видеть своих правителей верхом, но и лишенный возможности ходить по комнатам, не мог предвидеть под конец своей жизни ничего хорошего; но он был в полном смысле эпикуреец, католик только по приличию, отличный латинист, и развлекал свои горести и утешал себя, махнув рукой на отчаянное будущее, чтением любимых своих классиков, особливо не всегда скромного Горация, и беседами с платонической своей любовницей маркизой дю-Кела[2], которую в насмешку прозвали королевской табакеркой et pour cause**. В тюльерийском дворце, рядом с отживающим классиком-королем, в pavillon Marsan обитал с своим сыном, ничтожным герцогом Ангулемским и с его женой[3], дочерью четы венчанных мучеников, граф д'Артуа. Там было средоточие других политических козней, мною уже отчасти указанных; там желали восстановления абсолютизма, – и действовавшие за одно с этим направлением иезуиты, и большая часть прелатов, – стремились уничтожить свободу галликанской церкви против ультрамонтизма, завоеванную Франции в 1682 г. великим Боссюэтом[4]; там старались уничтожить все привелегии французов-протестантов, там не прочь были воротиться к нантскому эдикту Лудовика XIV, и вряд ли отказались бы от религиозного кровопролития варфоломейской ночи.

Таково было с этих пор состояние Франции. Дух партии всего яснее выразился в одном событии, сценой которого была Палата депутатов. Оно так сильно и так долго волновало парижан, так много было о нем рассказываемо и писано, такое сильное оставило во мне впечатление, что я как будто был очевидец этих двух бурных заседаний.

В 1822 году провозглашен был президентом Палаты депутатов г. Равезом вновь избранный на убылое место аббат, или епископ, Грегуар[5] (во Франции часто смешиваются эти два титула). Это духовная особа, не отрекшаяся, подобно хитроумному Талейрану, от своего сана, известна была деятельным

* «старая вонючая лампа» (*фр.*).
** и не без основания (*фр.*).

своим участием во французском Конвенте, которого он был членом. Вместе с большинством отчаянно революционного собрания аббат Грегуар, нарушая все законы христианской церкви – «ecclesia abhorret a sanguine»*, – подписал приговор к смертной казни короля и Марии Антуанетты, и потому извержен был папою; но ему, кажется, не препятствовали официально именоваться епископом или аббатом. Французское правительство первых времен реставрации преследовало приговоривших к смерти Лудовика XVI членов Конвента и многих из них административным порядком изгнало из Франции. Во всем умеренный и часто уклончивый, смотря по обстоятельствам, Лудовик XVIII впал в непростительную ошибку, назначив в первые дни своего царствования, т.е. dans les 100 jours**, цареубийцу Foucher[6] министром полиции, того Фуше, который был идеалом всех возможных министров полиции и высшего разряда шпионов и в то же время изменников всякого правительства, каким он был и в глазах Наполеона I. Итак, по Конвенту, Фуше был сочленом и единомышленником Грегуара.

Едва со своей трибуны президент Равез провозглаил имя нового депутата-цареубийцы, как вся правая оппозиция встала со своих мест, как один человек, и оглушительными неистовыми криками выразила все свое негодование. Она долго, несмотря на президентский звонок, не позволяла своими проклятиями взять слово ни одному из членов левой оппозиции. Самый крайний из депутатов левой либеральной партии, ее trente gouche***, которую называли иногда горою (la Montagne), депутат Manuel[7] встал со своего места и успел в защиту избрания Грегуара указать на пример Фуше как на избранного министра того законного короля, который дал конституционную хартию и тем как бы предавал забвению и всепрощению цареубийство. Едва этот ярый Мануэль высказал несколько слов, как вся правая оппозиция и чуть ли не весь центр и даже министры поднялись и восстали против такого решительного защитника злополучному избранию. Его, насколько возможно, отстаивала и поддерживала левая сторона и знаменитейшие из ее ораторов, но спокойствие заседания было ежеминутно нарушаемо и кончилось предложением вотировать изгнание из палаты самого Манюэля как возмутительного защитника цареубийства. При таком чрезвычайном волнении всех крайних политических страстей в бурном заседании ничего не могло быть решено согласно с формами, издавна принятыми палатой и гарантирующими в ней спокойствие и порядок. Но как бы то ни было, избрание в депутаты Грегуара было отвергнуто. Из стен здания Palais Bourbon, где собиралась и собирается до сих пор нижняя палата, волнение перешло на улицу, и толпы народа окру-

---

* «Церковь не выносит крови» (*лат.*) – постановление католической церкви, запрещающее проливать кровь.

** в [свои] 100 дней (*фр.*). Возможно, описка вместо «после 100 дней».

*** «левой тридцатки» (*фр.*).

жили с раннего утра на другой день палату, которая чрез своего президента потребовала усилить полицию и призвать на защиту порядка и сохранения в ней спокойствия небольшой отряд войска. Заседание другого дня открылось повторением в более правильной форме предложения разъяренных роялистов изгнать самого депутата Манюэля. Ораторы левой стороны указывали на статью Конституционной хартии, в которой ясно и определительно было сказано, что члены палаты ни в каком случае не подвергаются ответственности за свободное выражение своего мнения, и требовали от министров, чтобы они действовали как защитники основного закона и не допускали явного нарушения оного. Правая сторона снова подняла бурю, силой противилась законному желанию Манюэля защищать себя с трибуны и даже воспрепятствовала самим министрам выразить какое-либо мнение за хартию. Президент Равез вынужден был предложить вопрос собранию: «может ли в нем оставаться защитник цареубийцы-Грегуара?» Огромное большинство депутатов встало со своих мест и вотировало изгнание Манюэля и лишение его прав депутата. Вследствие этого постановления, беспорядочно и смутно выраженного, президент пригласил Манюэля немедленно удалиться из залы заседания. Вся левая сторона окружила изгоняемого члена и воспрепятствовала насильственному его изгнанию; тогда президент палаты призвал полицию и военную силу; сержанты раздвинули скучившихся около Манюэля оппозиционных членов и насильственно вывели его из залы. За ним с шумом и проклятиями в беспорядке вышла из залы заседания вся левая сторона депутатов, и президент должен был закрыть заседание.

В городе началось волнение, и несколько дней ожидали серьезных смятений. Это происшествие было жалким успехом торжества абсолютистов над оппозицией и впоследствии более всего повредило их влиянию: оно было явным нарушением Конституционной хартии и в то же время послужило неопровержимым доказательством графу д'Артуа и его сторонникам невозможности возвратиться к прежнему дореволюционному порядку вещей, не нарушая хартии.

ФС. Д. 12. Л. 77–80 об.

ФРАГМЕНТ 17 [О ГОРОДАХ ВОЛЫНИ]

(к с. 255, примеч. 38)

Губернский город Волыни Житомир оказался похуже всех наших внутренних в просторечии называемых губерний. Уездные города: Владимир на Волыни и Острог, где княжил достопамятный в русской истории князь Константин[1], основавший тут первую русскую типографию и восхитивший у

России славу первого напечатания нашей славянской Библии. Оба эти исторические города не сохранили в себе никаких остатков древности, по крайней мере таких, которые бы сами собою являлись на глаза обыкновенного путешественника. В последние годы Острог и его церкви возобновлены тщанием графини Блудовой[2], известной псевдо-кормилицы покойного наследника. Там завела она свои православные приюты и богатства, там сплетничает она, взывает и вопиет в услышание всей России, там и наперсница ее, Кохановская[3], пишет монотонные свои романы и повести. В прошлом 1870 г. заклятый ее враг, Николай Иванович Тургенев, подарил мне ее апологию своему родителю, известному, но небеспристрастному составителю доклада Следственной комиссии по заговору 14 декабря. В ней помещено было повторение явно несправедливых обвинений Тургенева Блудовым, но они и в этот раз не остались от него без возражения.

ФС. Д. 12. Л. 114–114 об.

ФРАГМЕНТ 18 [РАССУЖДЕНИЕ О СВОБОДЕ И РАБСТВЕ]

(к с. 263, примеч. 64)

Вот теперь привез я с собой в деревню недавно вышедшие сочинения Ешевского[1]. В одной из его статей, нигде прежде не напечатанных, в последней [части] первого тома: «Очерки язычества и христианства» прочел я между прочим верное изображение рабства у римлян от времен республики до нашествия варваров и был невольно поражен разительным в главных чертах сходством древнего рабства с нашим так еще недавно уничтоженным крепостным состоянием. Между тем и другим есть, однако, при всем том величайшая разница. Невольничество позднейшего времени смягчалось и изменялось спасительным влиянием на него христианства; вот слова Ешевского: «Христианство уничтожило рабство в его принципе, признав единство природы человеческой. По понятиям римлян, рабы принадлежали к особой, низшей породе человечества, quasi secundum hominum genus*» (такое понятие отчасти перешло и к нам и существовало еще очень недавно даже между помещиками, столько же набожными, сколько и просвещенными**). Но, продолжаю опять выписки из Ешевского: «христианство не обращалось к рабам с призывом к гражданской свободе». «Будьте послушны господам своим, – взывает апостол Павел к рабам, – служите им с усердием как Господу».

---

* порода людей как бы второго сорта (*лат.*). Цитата из книги «Эпитомы Тита Ливия» древнеримского историка Луция Флора (70–140 (?)).

** См. в «Записках» Голохвастову и ее сына попечителя Московского университета (*примеч. Д.Н.Свербеева*). Имеется в виду текст из т. I (с. 87–88).

Но тот же апостол продолжает в другом месте: «рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то воспользуйся, ибо призванный в Господе раб есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов, выкупленный дорогой ценой». «Не делайтесь рабами человека».

Впоследствии христианские учители в мнениях своих о рабстве сходились со стоиками. По мнению бл. Августина[2], а также и по убеждению Эпиктета[3], – мудрый свободен в каком бы положении он ни находился, ибо для него не существует внешних препятствий. Христиане, как и последователи Зенона[4], признают «рабство плоти и свободу духа», но в таких понятиях о рабстве сходились с христианскими только одни позднейшие философы секты стоиков и в особенности Сенека[5], резкая противоположность убеждений которого с понятиями римского общества давно подавала повод полагать, что в нем отразилось влияние христианства. Тертулиан[6] [называл] его «нашим», «Seneca saepe noster»*, бл. Августин и Иероним[7] упоминают даже о переписке его с апостолом Павлом. В 1857 году вышло сочинение Ch. Aubertin «Études critiques sur les rapports supposés entre Séneque et St. Paul»**. Сочинитель приходит к убеждению, что у нас [нет] никаких сколько-нибудь положительных актов, на которых можно бы было основать предположение о сношенях Сенеки с христианами, а следовательно, и о переписке его с апостолом Павлом.

По законам, обычаям и нравам римлян раб признавался только вещью, полной собственностью господина, римское законодательство считало раба совершенно не имеющим человеческой личности, nullum caput habuit***; а потому взгляд на раба отличался неумолимой последовательностью. Ни воля народа, ни впоследствии воля императора не могла ограничить прав господина на эту собственность. Римляне имели над рабами право жизни и смерти; они не допускали законности их браков. Если христианство своим влиянием на новейшие исторические народы в этом отношении уничтожило неумолимую последовательность древнего рабства, то почти все другие логические выводы этого принципа сохранялись и у нас до прекращения крепостного состояния. Наш крепостной не мог быть лишен жизни своим господином, не мог быть им изувечен, но он имел над ним ничем не ограниченное право наказывать телесно и даже передавать такое право другому. Не одну сотню условий с московскими цеховыми мастерами заключал я формально, отдавая, по желанию отцов и матерей, их мальчиков в ученье на три и до пяти лет, и в этих условиях передавал хозяевам право их наказывать, оговаривая это право только словами: «не доводя до увечья». У римлян раб, как вещь, подвер-

* «Сенека часто наш» (*лат.*), т.е. Сенека во многом нам близок.

** «Критическое исследование предполагаемых отношений между Сенекой и Св. Павлом» (*фр.*).

*** не имеющим никаких прав (*лат.*) (букв.: не имеющим головы).

гался всему тому, чему могла подвергаться собственность: он мог быть продан, уступлен в наймы, заложен, променян, отдан по завещанию, взят и т.д. Крепостной, как у римлян, подвергался всему тому, чему могла подвергаться собственность: он мог быть продан без земли и отдельно от своего семейства, кроме жены, с которой разлучать его по церковным законам о браке, конечно, не дозволялось, и это одно исключение было в его пользу против римлянина и даже невольника Средних Американских Штатов, которые, несмотря на свое христианство, продавали мужей от жен. Та и другая продажа отдельно от семьи и земли воспрещена была уже позднейшими законами.

ФС. Д. 13. Л. 21 об.–23

ФРАГМЕНТ 19 [О КРЕСТЬЯНСКИХ БРАКАХ]

(к с. 270, примеч. 77)

Иногда насилие помещика в деле брака производило скандал. Вот что случилось в начале 40-х годов в близком от меня селе, Лопасне. Однажды воскресным утром, т.е. часов в 11, является ко мне серпуховский предводитель, генерал Васильчиков[1], входит в кабинет, чем-то очень встревоженный, и затворил обе двери, прося поговорить наедине. «Со мной была сейчас большая неприятность, – начал он, – и я так рано приехал к вам за советом. В оброчном имении моем под самым Владимиром зажиточные тамошние крестьяне по примеру раскольников неохотно отдают замуж дочерей; многие из них и совсем не выходят. Что я с ними ни делал, как ни приказывал, – все было напрасно. Одному богатому мужику предложил я выкупить свою девку, лет уже за 30, и просил с него всего 100 руб., обещая дать ей сейчас отпускную на все четыре стороны (по-тамошнему, такая цена на девок самая умеренная); отец не соглашался; я все же для примера с месяц тому назад велел привезти эту девку к себе в Лопасню; долго ее уговаривали выйти замуж за одного, во всем подходящего ей, исправного и не старого крестьянина, который выпросил у меня позволение на ней жениться. Все было слажено, как следует, накануне был девичник, от жены моей[2] получила она на сарафан ситцу, утром сегодня во время обедни привели ее в уборе, как следует под венец. После службы народ оставался в церкви смотреть свадьбу. Только что выговорил священник обычный вопрос: желает ли она выйти и т.д., взбалмошная девка сорвала с себя головной убор и закричала на всю церковь: «не хочу, не слушаюсь, не пойду!» Как с ней ни бились, пришлось отвезти ее домой, ибо наконец и священник, долго ее уговаривавший, принужден был разоблачиться. Посоветуйте, что мне теперь делать?» Мне стало жаль этого пожилого моего соседа, человека достойного во всех отношениях уважения: он был лучшим

для своих крестьян из всех наших помещиков и по своему чину, и по роду, и по семейным своим связям принадлежал к высшему петербургскому и московскому обществу. Жена его, урожденная Ланская, и теперь еще живет в том же селе Лопасне. Старшая дочь устроила для крестьян превосходную школу и сама в ней учит. Я никак не мог подозревать, чтобы такой человек, отец такой семьи, мог когда-либо позволить себе отдавать насильно замуж своих крестьянских девок. «Вы спрашиваете меня, – отвечал я ему, – что вам теперь делать? Именно то, с чего надобно было начать, т.е. ровно ничего». – «Как так?» – «Да, так, и вот почему так», – я раскрыл перед ним Свод законов и показал ему статью о браках, где запрещено было употреблять в этом случае всякое насилие, и тут же приведены были ссылки на законы от Уложения до наших времен. – «Как же мне быть? Вы знаете, что наша Лопасня не то что простая деревня: все были свидетелями своевольного поступка моей девки, и если я уступлю, то надо мной будут смеяться и наши торговцы, и наши дворники» – «Жаль мне вас, добрый Ник[олай] Ив[анович], а делать нечего, уступить надобно. Продержите ее у себя недельку на вашем огороде, заставьте полоть гряды и то только для виду, и потом в одну прекрасную ночь отправьте к отцу, и пусть ее там останется». Тяжело было бывшему полковнику, командиру Екатеринославского кирасирского полка, привыкшему при всей своей доброте к военной и помещичьей дисциплине, преклониться пред упорной волей деревенской девушки, но Васильчиков все сделал, что я ему посоветовал.

ФС. Д. 13. Л. 31 об.–33

ФРАГМЕНТ 20 [ОБ ИСТОРИИ НОВОСИЛЬСКОГО КРАЯ И МНЕНИЯ О ПОЗЕМЕЛЬНОМ ВЛАДЕНИИ]

(к с. 276, примеч. 86)

Прежде нежели войду я в некоторые подробности описания помещичьего и крестьянского быта в селе Михайловском и принадлежащей мне его половины, хотелось бы мне, не знаю, удастся ли, бросить взгляд на историческое и этнографическое положение этой местности в отношении ко всей нашей стороне, принадлежавшей сначала Удельной Руси и в ней Великому Московскому княжеству, потом Руси Единодержавной, далее, как сказано в титуле Романовых, Великой России по отношению ея к Малой и Белой и наконец Всероссийской империи новейшего периода. Настоящий город Тула, давший название губернии, к которой принадлежит и наш Новосильский уезд, построен был в самом начале XVI столетия и, имея средоточием своим крепость, т.е. кремль, служил, как и многие другие города в ближайшем расстоянии от

Москвы, где также были крепости, как и Серпухов, и Коломна, защитой Москвы от монголов, от Ногайской и Крымской Орды. Новость Тулы как города очевидна тем, что о ней ничего не упоминается во времена Мамаева побоища на Дону. В позднейшее время и особенно во время самозванцев, окруженная со всех сторон непроходимыми тогда еще лесами, представляла она естественное затруднение набегам диких орд. Часть этих лесов, полуистребленных по направлению к Орлу и Рязани, и до сего времени сохранили еще название Засек и принадлежат казне.

В былое время на широкие дороги и по местам тропы или тропинки в ожидании набегов с юга загораживались огромными массами нарочно для того срубаемых деревьев, валежника, хвороста и делали пути эти непроходимыми. (Не будет ли яснее назвать такие завалы баррикадами?!) Далее на юг города: Чернь, Новосиль, Ливны были своими засеками пограничными, сторожевыми городами Московского княжества. Несчастный наш Новосиль до усиления последнего был удельным городом новосильских князей и не раз подчинялся Великому княжеству Московскому. С того времени, как эта первая от севера наша Украйна Руси утвердилась за Москвой со времен Иоанна III, первого собирателя земли русской, начали заселять эту Украйну стрельцами и войсковыми обывателями, которые и до сих еще пор и преимущественно до учреждения Министерства государственных имуществ известны под названием казаков. Два близких от Михайловского селения называются Большое и Малое Сторожевое. Там, как видно, были главные пункты нашей военной защиты. При Борисе Годунове Тула сделалась уже значительным городом и сдалась Лжедимитрию, но распространение и значение Тулы, а равно и присвоение ей прав губернского города началось с Петра, открывшего в ней железные руды и устроившего оружейный завод; там же посреди первых ружейников открыл он и кузнеца Демидова[1], родоначальника нынешних богачей, и побудил его заняться железным делом в Перми и далее. Когда при первых Романовых набеги Орды уже прекратились, южный край Тульской губернии начал населяться мирными жителями, однодворцами и крестьянами, как видно, поселившимися на новых землях, которые правительство раздавало в собственность большими и маленькими участками дворянам, сделавшимся тотчас же помещиками. Я нисколько не отвечаю за верность брошенного мною на эту сторону взгляда, потому что не довольно для этого учен и слишком ленив в мои старые годы, чтобы предаваться исследованиям по архивам, и ставлю на вид мои поверхностные замечания единственно для того, чтобы с достоверностью сказать об одной, едва ли многим известной, этнографической замечательности Новосильского края и соседних с ним уездов. В нем до сих пор ощутительно наглядно сохранились три различные слоя его народонаселения: казаки, прежние стрельцы и войсковые обыватели; однодворцы и помещичьи крестьяне. Между ними

человек сколько-нибудь внимательный найдет и теперь бросающуюся в глаза разницу в народном говоре, в обычаях, в одежде и даже в постройках. Все, напр., без исключения Новосильского, Ефремовского, Ливенского и других с ними смежных уездов однодворцы ходят: мужчины в белых рубашках с отложными воротниками, в рубахах, как у наших, обыкновенных мужских рубашках, и женщины также, которые вообще не знают кичек, а повязывают по-купечески или по-мещански голову платком и вместо поняв ходят в юбках красных или полосатых, летом надевая на них кофты. Однодворцы, кроме того, недавно еще строили свои избы не на улицу, а внутри своего двора, окруженного или навозным валом, или плетневой изгородью. В говоре однодворцев резко слышится, так сказать, особенный акцент. Они совсем иначе выговаривают букву «г»; вместо предлога «в» произносят «у», смешивают без различия «ф» и «х»; напр., хвост – фост и обратно Федор – Хведор, а иначе пред буквой «ф» выговаривают, оставляя ее, еще и букву «х». Даже тамошние семинаристы вместо «графиня» говорят «грахвиня»; они употребляют чаще еще, чем помещичьи крестьяне, особенные местные идиомизмы; напр.: опáкать, обрáзить, «маяться» вместо «ждать»; часто «молить» вместо «просить» или «умолять» и так далее.

Относительно помещичьего владения и казаки, и однодворцы обездолены землей, тогда как в нашем уезде помещики, исключая, впрочем, мелкопоместных, имели и до сего времени имеют за собой огромные дачи. Можно предположить с вероятностью, что это произошло от завладения, не скажу – насильственного захвата, тех диких или необитаемых полей, никому не принадлежащих и казне неизвестных, которыми, как правом занятия (primae occupations) воспользовались пожалованные в этом крае первые помещики. Приобретаемые или пустопорожние, таким образом, земли считались не десятинами, а четвертями. Каждая четверть земли впоследствии определена была законами Генерального размежевания при Екатерине казенной мерой в $1^1/_2$ десятины в одном и в двух потому ж, т.е. по четверти в каждом поле, в яровом и паровом. Итак, пашенной земли на каждую писцовую четверть по этому расчету приходилось $4^1/_2$ десятины, затем прибавлялись к жалованной помещику даче части из диких полей, которые, если не ошибаюсь, определялись двумя десятинами, луга по измерению копнами и наконец леса. Естественными границами этих дач были живые урочища, т.е. реки и речки, а по суходолу овраги, или по-тамошнему вереи и, кроме того, различные подлежащие изменению от времени другие признаки, как, напр., какой-нибудь большой одинокий дуб, ракита или береза, даже сухие. Только таким хаотическим состоянием старинного землемерия, да еще ловкими захватами крупных сильных владельцев на счет земель, принадлежащих казне, вернее сказать, никому, а может быть, и насильственно замежеванных из владений однодворцев и разного названия казаков, можно объяснить, что две дачи

села Михайловского, первоначально пожалованные одна Богдану Хитрову[2], другая Мансурову, по Генеральному межеванию при Екатерине составляют 12 200 или [12] 300 десятин, тогда как по писцовым книгам отведено было им: Хитрову 504, а Мансурову 500 четвертей, – всего 1004 четверти. (По другим губерниям такая несообразность четвертной пожалованной дачи по писцовым книгам с количеством замежеванных за помещиков в общую дачу земель и гораздо несообразнее, напр., в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. В одной общей даче, часть коей недавно принадлежала и мне, количество земель по писцовым книгам составляло всего 277 четвертей. Владельцам Обресковым считалось из оной всего 7-ая часть, а в ней при Генеральном размежевании отмежевано было за всеми вообще дачниками в окружной меже 42 000 десятин, и одному мне на одну треть из владения Обресковых досталось уже при специальном размежевании более 5000 десятин). Я, к сожалению, никогда не изучал ни по старинным источникам, ни по новейшим исследованиям этого важного вопроса о нешем русском землевладении. Неразлучная со мною в течение всей долгой жизни лень в этом была виновата. Когда пришла пора эмансипации, я пытался было схватиться за уяснение себе наших владельческих прав на землю, полагая в нем первое юридическое основание всей задачи, но опять поленился; теперь уже слишком поздно, да и пора моя начать учиться какой бы то ни было науке прошла. Несмотря на это, при совершенном недостатке научных по этому предмету сведений я, однако, позволю себе сделать некоторые выводы из тех немногих наблюдений, которые достались мне наглядной практикой и жизненной опытностью; излагаю их здесь, прося моих читателей не придавать им никакой особенной важности, а критиков этого труда, если они когда-либо найдутся, на этих данных совсем не останавливаться. Предупреждаю заранее, что все мои показания ученой критики не выдержат. Мнение мое о поземельном владении в России и тесно связанном с ним крепостном праве помещиков на крестьян основано на следующих положениях. Вся земля по присоединении к одной державе удельных княжеств сделалась сама собой достоянием государя, и единого, и самодержавного. Она заключала в себе главнейшую его собственность и первый источник доходов, или казны государства. Поселенные на ней люди никогда не были даже и второстепенными, после казны, собственниками обрабатываемых ими земель; все они были долгое время кочевниками, с места на место переходящими населенцами. Когда впоследствии для сколько-нибудь правильного государственного устройства [понадобилось] положить пределы такому кочеванию, или самовольному брожению с места на место народной массы, которая все более и более самовольно переходила в дальние неверно упроченные за государством степи, тогда последовало запрещение поселенцам на пожалованной помещику земле переходить от одного владельца к другому, и крепостное помещичье право само собою получило отсюда

первое свое основание. Заметим, что запретительная мера крестьянских переходов была неизбежна; без нее не было никакой возможности государю иметь постоянное войско, казне его сколько-нибудь определенного дохода. Но еще до перехода, а потом и после цари жаловали дворян одними поземельными дачами, не придавая, так сказать, важности или ценности количеству, какое бы оно ни было, поселенных в этих дачах крестьян, которые сами по себе в расчет даже и после воспрещения их переходов не входили. Наконец, когда та же государственная необходимость заставила Петра принять меры к приведению в известность всего народонаселения, т.е. сделать первую ревизию, тогда и наличное число крестьян, поселенных на помещичьих землях и уже давно утративших право перехода, стало известно и бесповоротно к ним, к этим землям, прикрепилось и окончательно было закреплено за помещиками. Итак, первая ревизия стала вторым окончательным основанием утверждению помещичьего крепостного права на людей. Отсюда следует, что если первое наше положение верно, если вся в совокупности земля по исчезновении удельных княжеств сделалась собственностью государя, то и все земли, пожалованные им помещиками, вначале как поместья, т.е. по местам и должностям, с обязанностью для дворян отправлять воинскую службу, впоследствии же обращенные в вотчины, – все эти, говорю, земли сперва поместные, а потом вотчинные сделались по праву собственностью неотъемлемою прежнего помещика, нынешнего вотчинника. Обращая землевладельца-помещика [в] обязанного на всю жизнь военной службой вотчинника, старинное наше законодательство не достаточно, по крайней мере для меня, разъяснило в то время ни его условных прав на землю, ни его изменившихся обязанностей вечной службы. Права вольности, служить или не служить, дарованные дворянству Петром III и Екатериной II и торжественно подтвержденные их преемниками, утвердили безусловно за помещиками, или дворянами, крепостное их право на землю и на людей. Вследствие таких выводов, может, и неверных, я не стою за них.

Второе мое положение крепостного права на землю состоит в том, что поселенные на них помещичьи крестьяне никогда не могли быть собственниками по праву ни одного вершка принадлежавшей помещику земли.

И, наконец, третье. Отрицая всякое право крестьян на землю, я, volens nolens, признаю за ними долговременное пользонаслаждение и нахожу в нем не один только вид вещного права, известного еще римлянам, но и вместе не менее законного права государственной необходимости. Известные ответы крестьян своим помещикам, сделавшиеся от частого во время оно употребления обыкновенной у них фразой, общим местом, – пословицей: «Вы наши отцы, мы ваши дети», и второе: «Мы ваши, а земля наша», до такой степени перевернули в обычае и в законе значение этих двух прав на землю и на людей, что второстепенное, или следствие, так сказать, сделалось причиной,

а причина – следствием, т.е сперва жаловалась или приобреталась земля и при ней люди, а после люди и при них земля. Помещичья земля всегда безусловно была по праву помещичьей собственностью, крестьяне же сделались крепостной собственностью помещика как бы незаметно, постепенно, нерешительно и только по одному закону тогдашней необходимости. Дальнейшие заключения, основанные мною на всех этих трех положениях, и самое их, если можно сказать, логическое развитие изложено будет в моих «Записках», когда время доведет меня до эмансипации.

ФС. Д. 13. Л. 9–13 об.

ФРАГМЕНТ 21 [О СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ]

(к с. 276, примеч. 86)

Собственно говоря, села Михайловского под различными его наименованиями не существует; так называется вся совокупность, более 10, деревень, сидящих на общей Михайловской даче. Каждая из них имеет свое прозвище, но, как я уже сказал, они сидят не в порядке по принадлежности двум помещикам, а перепутаны. Почти рядом с моими тремя деревнями, Никитиной, Беляевкой и Барановкой, в углу, на конце всей Михайловской дачи у границы Орловской губернии, по правому берегу реки Любовши, сидит в одиночку принадлежащая Хилковым деревня Елагина; она, разумеется, имеет при себе значительное количество земли, и моими деревнями с их землей набольшое расстояние отделяется от хилковской дачи, которая, в свою очередь, снова отделена моими деревнями 2-го отделения, Потаповской, Саричевской, Козловской и Новой Деревней, от другого конца дачи, верстах в 12, принадлежащей тем же Хилковым и их деревни Раевки. Такое чересполосное владение, хотя и в крупных участках, есть важнейшее, ничем не поправимое неудобство для меня, всего моего имения. Первое мое отделение нигде не имеет смежности со вторым и третьим; вследствие чего невозможно было, как ни хотели того давние, почти за 100 лет, помещики, разверстаться с своими землями к одним местам. Чтобы привести это в исполнение согласно с обоюдными выгодами, надобно было бы меняться промеж себя деревнями, т.е. крестьянами, но видно и тогда уже прежние понятия помещиков о поземельном владении начинали изменяться, крестьян сколько-нибудь принимая уже в расчет, встречали затруднения размениваться ими наравне с землей.

ФС. Д. 13. Л. 13 об.–14

ФРАГМЕНТ 22 [О ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЯХ СВЕРБЕЕВЫХ И ИХ СОСЕДЕЙ]

(к с. 276, примеч. 90)

Но кроме собственно Михайловской дачи нам, равно как и Хилковым, принадлежали земли из общей дачи села Домен. Еще Мансуровыми прикупались небольшими участками эти земли с давних времен от разных мелкопоместных дворян и однодворцев. Земля, приобретаемая там по купчим крепостям давних времен с первых годов XVIII столетия, в актах ясно не обозначалась; по некоторым из них, вместо Доменской дачи, написана была дача Сторожевая, т.е. деревни Сторожевой. Все эти купленные участки примыкали к Михайловской даче, но, находясь в окружной даче села Домен, за нами отмежеваны не были и даже не были за нами справлены. Количество приобретенной таким образом земли из Доменской дачи было порядочное, слишком 600 десятин; одним углом примыкало оно почти к главной нашей усадьбе, наша верхняя мельница стояла на этой даче. Еще в малолетстве, когда бывали мы в Михайловском, нередко, чуть ли не ежедневно, слышалась мне в разговорах моего отца с управляющим Шиловым, а иногда и в беседах его с гостями-помещиками вся тяжесть заботы моего батюшки о том, какими бы средствами окончательно утвердить за собой права на доменскую землю; но до положительного закона о специальном размежевании чересполосных дач, данного императором Николаем в 30 годах, желание помещиков, самых добросовестных, выделиться, размежеваться, оставалось неисполнимо. Прежние законы требовали общего на то согласия всех владельцев: просителю, когда он был один, препятствовали в выделе другие дачники и начинали с ним тяжбу. За однодворцев же и других казенных поселян ябеднически заступалось сперва Министерство финансов, а потом и новое Министерство государственных имуществ. Спорными пунктами в этом деле были: 1) неопределенность самых актов на право владения, в коих количество приобретаемой земли означалось древними четвертями с прибавкой слов: «всю землю без остатка», т.е. со всем тем количеством земель, которыми продавец владел; 2) при неясных доказательствах на количество купленной земли, местность и границы которой даже не определяли ни межами, ни живыми урочищами по сбивчивому толкованию закона, также неясного, примерная земля могла быть отбираема в пользу других владельцев; 3) право давности в общем владении не допускалось, а требовались крепости; 4) но права владения часто утверждались за такими владельцами и особливо однодворцами, у которых совсем не было крепостных актов на землю, а были на них поселки. Как в прежние старые годы до Генерального размежевания земель, начатого Екатериной II, за что справедливо следует ее назвать Великой, казенные и принадлежащие некрепостным крестьянам земли, вероятно, захватывались у них помещиками,

так впоследствии министерство, которое заведывало различных именований крестьянами и в том числе однодворцами, всеми неправдами силилось оттягать у помещиков иногда половину, а если нельзя, частицу земли в пользу казны. Укажем здесь как доказательство улик в ябедничестве Министерства государственных имуществ те места ежегодных отчетов государю графа Павл. Дм. Киселева, в которых он, по нашему разумению, с хвастливой наглостью выставлял, что в таком-то и таком-то году министерство, им управляемое, приобретало столько и столько-то десятков, а иногда и целую сотню тысяч десятин, умалчивая о способах приобретения.

Наконец, эти долгие наши опасения удержать за собой владение доменской земли при селе Михайловском уже при мне, в 40 годах, слава Богу, кончились. При размежевании Доменской дачи между многочисленными помещиками и однодворцами я получил и утвердил за собой не без некоторых пожертвований ныне неоспоримо и законно владеемую мной часть оной, и об этом окончательном размежевании, грозившем столько лет отцу моему и мне тяжбой и лишениями, буду говорить я подробнее в свое время; здесь заметим только одно. Повсеместное уничтожение чересполосицы, приведенное в исполнение в последние 15 лет царствования Николая I, было успешным мероприятием государственного значения. Эмансипация, к сожалению, во многих помещичьих имениях ввела в помещичьи и крестьянские наделы новую чересполосицу, которая окажется впоследствии весьма невыгодной для обеих сторон.

ФС. Д. 13. Л. 15–16

ФРАГМЕНТ 23 [О ДРУЗЬЯХ СВЕРБЕЕВА В ДОМЕ ДОЛГОРУКИХ]

(к с. 288, примеч. 118)

...Первый, увы, был уже женат на оригинально-нестерпимой теперешней своей супруге княжне Антонине-Варваре Ивановне Долгорукой, которая, впрочем, преискусно и преподло женила его на себе в год моего отсутствия. Познакомившись через ее братьев с гостеприимным, своеобразным домом их отца – кн. Долгорукова, сейчас же изволил он втюриться в меньшую дочь – княжну Евгению. Сей нежный юноша, воспитанный Жан-Жаком Руссо и m-me Сталь, тем страстнее увлекся ею, что юная жизнь ее гасла, воспламеняясь по временам неимоверным огнем отживающей юности. Дни ее были сочтены; никто, кроме Новикова, уже не надеялся на возвращение ее к жизни, и старшая ее сестра, боюсь сказать, ловкая, расчетливая Антонина, взяла на себя объявить ожидающее возлюбленного страшное горе, приготовить его к вечной разлуке и потом утешать его отчаянную скорбь. Незаметно его пылким расстроенным воображением овладела страсть к другому предмету, и

утешительница торжественно отдала ему свою руку и взяла у него сердце с уступкой в свою пользу всякой самостоятельной воли. Вступив в семью кн. Долгорукова, известного в то время поэта, отставленного, как говорили, за взятки владимирского губернатора, отличного актера, забавника, ханжу и в то же время циника, Новиков по литературному руководству своего тестя занялся стихосложением, и у них в доме завелись мелкие литературные чтения, представления шарад, игра в фанты, а потом устроился домашний театр, представление, очень удачное, французских и русских комедий и танцевальные вечера, кажется, для этого веселый старик сократил траур по меньшей дочери – очень скоро после свадьбы старшей. Просыпаясь каждое утро после обедни в домовой своей церкви, предлагал он тут сейчас вопрос – в каких забавах провести наступающий день. По складу своего ума и по образованию он, догадывался я, был сердечнее, чем казалось, а потому и старался развлекать горе всей неудавшейся жизни всякого рода рассеяниями, ухаживал за молодыми дамами, восхищая их своим замечательным драматическим талантом. Кроме четы Новиковой, на домашнем его театре были актерами: Кокошкин[1], кажется, Аксаков, а постянными – мои друзья Дмитриев и Курбатов; актрисами, кроме дочери: Кошелева, старшая сестра Александра Ивановича[2], Анисья Федоровна Вельяминова, теперешняя Кологривова, и хорошенькая ее сестра Вельяминова, бывшая второй женой Дмитриева и матерью Фифочки[3]. Михайло Александрович и тогда был уже к ней неравнодушен, но, ухаживая в то же время за прехорошенькой Грушей Любавской, не знал, которую из двух прилично ему полюбить страстнее. Часто об этом с Курбатовым и со мною были у него толки, и мы оба затруднялись в решении. У Долгоруких познакомился я с автором «Юрия Милославского» – Загоскиным[4], тогда еще малоизвестным забавником, шутником в несколько тривиальном роде. На эти спектакли, а иногда на простые танцевальные вечера в неопрятные, старинные хоромы кн. Долгорукова съезжалось порядочное общество и веселилось без претензий – запросто. В ненарядный дом не слишком наряжались и дамы; ужин был также самый простой, но сытный, вина мало: о буфетах тогда нигде не знали. Но старый князь соблюдал чинопочитание: как бы поздно ни приезжал к нему на вечер любимый Москвой ее главный начальник – кн. Дмитрий Владимирович Голицын, – до него не начинали ни спектакля, ни танцев; последние кн. Голицын всегда открывал польским с хозяйкой дома, второй женой Долгорукова, урожденной Пожарской[5], которую муж, хотя напрасно, выдавал за отрасль угасшего рода Пожарских*.

---

* Охотники до недавнего прошлого могут прочесть занимательную биографию этого кн. Долгорукова, недавно изданную Михаилом Александровичем Дмитриевым[6], который прозывался в Москве «балконом» по нижней, выдающейся губе; ближайшее знакомство с одним из московских тузов того времени им покажется занимательно (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

Дмитриев и Новиков, – оба служили тогда при московском генерал-губернаторе чиновниками особых поручений и оба сравнительно со множеством прочих, им подобных, кое-что по службе работали. Курбатов был помощником издателя «Московских ведомостей» кн. Шаликова, уморительно сентиментального автора и, как полиглот, пичкал московские неряшливые газеты переводами из иностранных журналов.

ФС. Д. 13. Л. 44–45 об.

ФРАГМЕНТ 24 [О СЛОЖНОСТЯХ С ЗАВЕЩАНИЕМ Д.Н. СВЕРБЕЕВА][1]

(к с. 290, примеч. 130)

В это-то самое время встречался я с нашими перворазрядными юристами и предложил им вопрос об утверждении моего завещания; хотя я и предвидел все затруднения, но надеялся обойти их, зная правоту моего дела, обращением моим к Началу и Источнику всех наших прав. Такую надежду уничтожили во мне наши законники, для которых давно уже составились аксиомы: да погибнет мир, лишь бы существовала юстиция, «Fiat justitia, pereat mundus»*, «Périssent les colonies plutôt que les principes»**, и которые не допускают третьей аксиомы: «Summum jus, summa injuria»***. Меня уверили, а полученное мною официальное извещение подтвердило, что и сам Верховный законодатель найдет помеху добросовестно разрешить оковавшие меня узы в органах русской юстиции. Следствием этого было тягостное для меня убеждение, что единственная цель всей моей жизни мной под конец ея не достигнута и что оставляемая мною семья поневоле должна будет испытывать на себе, так сказать, непреодолимые затруднения в получении наследства. Я не имею нужды объяснять самого дела; всем моим оно известно, а посторонним до этого дела нет никакого дела.

ФС. Д. 13. Л. 48–48 об.

---

* «Правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир» (*лат.*).

** «Пусть лучше гибнут колонии, чем принципы» (*фр.*) (не вполне точная цитата из статьи о торговле неграми философа-просветителя, энциклопедиста Луи де Жокура (Jaucourt) (1704–1779)).

*** «Высшее право равносильно высшему бесправию» (*лат.*).

ФРАГМЕНТ 25 [ОБ И.И. РАЕВСКОМ, ПРОЗВАННОМ «ЗЕФИРОМ»]

(к с. 293, примеч. 144)

Я бы не стал и говорить об этом Зефире (прозванном так за танцы), если бы судьба в лице Павла не сыграла с ним в пору первой его молодости одну презлую шутку. Будучи офицером какого-то гвардейского полка, он уже и в это время был ласкаем и любим прекрасным полом и принимаем в лучшем обществе. На одном большом придворном бале в Михайловском кровавой памяти замке известная любимица императора Анна Петровна, не знаю, – Лопухина, или уже по мужу княгиня Гагарина[1], видно как-то особенно занялась этим Зефиром, который, по мнению общества, хотя никем не выговоренного, считался безопасным для женщин. Император, по-видимому, не знал таким офицера Раевского и тотчас же приревновал его к своей приятельнице. Под конец бала – перед самым ужином, молодца Зефира, одетого в парадный гвардейский мундир, напудренного и по бальной форме в коротких штанах, чулках и башмаках, вызвали в приемную залу и фельдъегерь объявил ему высочайшую волю везти его, куда назначено, надел на него шубу, теплые сапоги и посадил в закрытую наглухо зимнюю повозку, и не произнося ни одного слова, а только давая ему в той же закрытой повозке поесть раза два или три в день, возил его день и ночь почти целую неделю; наконец его куда-то привезли и куда-то упрятали в полумрачную комнату. Наш Зефир бился, кричал, плакал, расспрашивал свою тюремную прислугу и не мог ни от кого добиться в ответ ни одного слова. Наконец, старуха мать и его братья[2] [узнали] о изчезновении Зефира из Петербурга в день придворного бала и начали его разыскивать. Раевская имела в Петербурге связи и чрез них узнала, что прелестный ее сынок содержится в Москве на главной гауптвахте. Просьбу матери об освобождении сына доложили государю, который тут только вспомнил о его заточении и охотно его помиловал, отставив от военной службы с чином колежского асессора.

ФС. Д. 13. Л. 51 об.–52

ФРАГМЕНТ 26 [ИЗ РАССКАЗА О П.А. НАЩОКИНЕ]

(к с. 320, примеч. 253)

…как-то переломил себе ногу, которую ему отрезали; буйствовал на дворянских выборах и ни разу не мог попасть в предводители: его не утверждали генерал-губернаторы по причине замаранного формулярного списка; и наконец также умер, оставив по себе распутного молодого сына[1], которого отдали

под опеку и которого разорил и обобрал родной его зять, живущий и теперь в Раю, умный плут Тарновский[2], занимающийся не без таланта музыкой и водевильной, а еще более пасквильной, газетной литературой. Великий художник Гоголь, описывая какой-то им воображаемый русский губернский город, верно изобразил их всех. Я, конечно, не имею никакой претензии ставить себя рядом с знаменитым поэтом; однако позволяю себе думать, что в моем описании соседних помещиков тоже найдется общее сходство живших и доживающих по нашим провинциям, и счастлив будет тот, который отыщет для своей портретной галереи между нами подобного моему гр. Орлову. Жалкую историю семьи Нащокина довел я до настоящего времени; стало быть, тоже бы следовало распространиться и об настоящих потомках описанных выше владельцев; но помещика села Отрады я откладываю до будущего времени: он стоит тоже подробного описания. Лопаснинский мой сосед генерал Васильчиков и его семья представлены будут более кстати, когда я начну описывать время моего предводительства.

Еропкин выехал из Садков, живет с пансионом в отставке, а сын его[3] по выходе из университета занимается уроками или менторством и приготовляет к студенчеству разных юношей. Честь ему и слава! Если хотите, проживал в нашем уезде известный в свое время писатель и стихотворец карамзинской школы Иванчин-Писарев[4], произведения которого читали в свое время с удовольствием. После себя он оставил коллекцию гравюр. Я раза два обедал с ним и кн. Шаликовым у Ив. Ив. Дмитриева, над обоими подсмеивался хозяин, тогдашний меценат московских литераторов.

ФС. Д. 13. Л. 80 об.–81

ФРАГМЕНТ 27 [О ПРИВЫЧКАХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ]

(к с. 322, примеч. 268)

Впрочем, и то сказать, не Новикову[1] же, нашему посланнику в Вене, с его более нежели скромным именем, носящим в себе сознание новизны происхождения, гоняться за Куракиными и Татищевыми. N'est pas grand seigneur qui veut*. Герцог Saint Simon[2], злобно описывая новоотпечатанных принцев и герцогов Лудовика XIV, давно заметил, que les grands seigneurs naissent et qu'on ne les crée pas d'emblée**. Почти то же можно сказать и о наших барах. Совсем другое дело наши дипломаты из остзейских баронов и разных при-

---

* Аристократом нельзя стать по одному желанию (*фр.*).

** что аристократами рождаются и что нельзя сотворить их в один момент (*фр.*).

шлых немцев; говоря о них вообще, я отдаю им полную справедливость в превосходном пред русскими образовании и мастерстве держаться на своих постах с большим постоянством, выдержкой и искусством ведения дипломатических наших сношений и проч. ...но им не по нутру наша широкая натура, над которой они всегда издеваются. Однако тут, как и везде, бывают редкие исключения; так, напр.: приятель мой Титов, будучи посланником в Константинополе, отличался своей бережливостью, более, нежели где-нибудь, не уместной на этом спорном и задорном восточном пункте. Предместник его и свояк, Бутенев[3], также, кажется, жил и вел себя слишком скромно, а бывший до него барон Строганов, отец гр. Сергея Григорьевича[4], по старинным преданиям этого семейства в самую критическую эпоху образом своей жизни возвышал свое достоинство и потому, как кажется, с большим успехом боролся с интригами враждебных ему соперников, представителей других европейских кабинетов.

ФС. Д. 13. Л. 83–84

ФРАГМЕНТ 28 [О СОБЫТИЯХ В ШВЕЙЦАРИИ]

(к с. 333, примеч. 303)

Швейцария служила убежищем и тогда уже разных политических изгнанников и добровольных из своих стран выходцев. Коноводы всевозможных партий со своими единомышленниками, рассеянными повсюду, бывали в постоянной переписке. В Женеве и Лозанне были сборища разных тайных комитетов. Комитеты ультрамонтанов и иезуитов поддерживали небесное и земное могущество папы, и в тогдашнее время уже почти непогрешимого, выражали какие-то нужды и предчувствия побороть протестанство, уничтожить галликанскую церковь и представительное правление во Франции и, наконец, поворотить назад малейшее прогрессивное движение либералов. Известными явными деятелями этого общества, помимо французских дипломатов, был аббат Вуарен, ученик Ламене, старший священник католического прихода в Женевском кантоне и некто Zauche Borel, эмигрант, способствовавший к возвращению Бурбонов; возле этих роялистов, которых еще называли légitimistes purs, pointus*, были сторонники герцога Орлеанского, впоследствии Лудовика Филиппа. За него, может быть, даже без его ведома, хлопотал в Париже comité directeur, под предводительством Лафаета, составленный из умеренных либералов; как то: d'Argenson'a, Бенжамен Констан[1] и др. членов крайней левой стороны, которые давно замышляли в Палате революцию

---

* чистые, непримиримые легитимисты (*фр.*).

вместе с изгнанием из Франции старшей линии Бурбонов. У них также и в Женеве были свои агенты. Испанские христиносы и карлисты[2] тут же образовали свои комитеты. Филэллины, под руководством гр. Каподистрии и под председательством банкира Эйнара, образовали открытое общество, явно покровительствующее греческому восстанию. Но существующему в Европе порядку и общественному благу и спокойствию всего более угрожали карбонары Италии. Их венты, или кружки, рассеяны были повсюду, и одни из главнейших таких вент находились в Женеве. Зорко следила за ними вся монархическая европейская политика; все государства скоро убедились в том, что каждое из них имело в этих политических кружках своих беглецов, желавших низвергнуть законную власть в своей родине. Мы, русские, предследовали польских враждебных выходцев гораздо прежде 1830 г., т.е. первого мятежа в царстве. Каждое из посольств в Швейцарии, исключая английского, охотилось за своими беглецами, напрасно обращаясь к Швейцарскому союзу за согласием его удалить таких из пределов республики. Они перебегали из кантона в кантон, что было весьма удобно при таких близких расстояниях. Укажем бывало федеральной директории, что такой-то враг наш Г-ский находится в Цюрихском кантоне, просим его выгнать, и нам отвечают, что его там нет. После многих поисков узнаем, что он в кантоне Цуг(е), делаем запрос опять, и преследуемый нами заяц очутится бывало либо в Турговии, либо в Шафгаузене, либо в Базеле. Наконец великие державы, т.е. les grandes puissances*, как их тогда называли и как позднее прозвали, – les grandes impuissances**, учредили в Париже общую конференцию из представителей 4-х главных держав для принятия мер удаления из Швейцарии всех этих выходцев. Пятой главной державой считалась, как известно, Англия, не участвовавшая в таких преследованиях; четырьмя же были: Австрия, Франция, Россия и Пруссия. Преследованиями на месте, предоставленными деятельности европейских агентов в Швейцарии, руководила общая Парижская конференция, и она по взаимному соглашению давала им свои по этому предмету инструкции. Но вся Швейцария со всеми своими кантонами заодно, без различия своих политических мнений, и католическая и протестантская, и прогрессивная и запоздалая, отстаивала за собой право убежища, le droit d'asile, и находила защиту в английском правительстве, во главе которого стоял первым министром лорд Каннинг. Все усилия четырех великих держав оказались тщетными. Швейцария до сих пор остается не столько de jure, сколько de facto убежищем политических преступников. Не проходит ни одной революции в Европе без того, чтобы она не предзнаменовалась в Швейцарии проявлением какого-нибудь движения и волнения умов, а иногда и бурей,

* великие державы (*фр.*).
** великие бессильные (*фр.*, игра слов).

хотя бы в стакане воды. Так еще в 1815 г., прежде высадки Наполеона I и его 100-дневного царствования (les cent jours) бегство Наполеона с о. Эльбы приготовлялось в замке Пранжен (Pranjin), где жил тогда экс-король Испании Иосиф Бонапарте, вследствие чего последний и был вынужден союзными державами переселиться навсегда в Америку. Так, потом, в 1833 г., вскоре после первого польского мятежа в 1830 г., небольшая шайка убежавших из царства и западных провинций поляков под начальством Раморино[3], кой-как вооруженная, вдруг очутилась в Ваатландском кантоне с намерением произвести где бы то ни было какое-нибудь возмущение. Правительство кантона предложило бунтовщикам плыть по озеру в Женеву, а тамошние, чтобы избавиться от их посещения, под рукой склонили их броситься в савойские владения. Тут недалеко от самой швейцарской границы встретил поляков небольшой отряд сардинских войск и принудил их рассеяться, но вождь их, Ромарино, вскоре потом поднял серьезное восстание в Пиэмонте и был разбит тем самым принцем Кариньянским[4], который командовал войсками сардинского короля Карла[5], а впоследствии, сделавшись королем, сам поднял первый знамя бунта и отрекся от престола, побежденный австрийским фельдмаршалом Радецким[6]. Последствия известны.

Так опять: история Зондербунда[7], или внутренняя война Швейцарии за иезуитов перед самым избранием Пия IX и начатых им же самим либеральных агитаций в Риме предшествовала революцию 1848 г. Наконец, в наши дни усматриваем мы собрание мирных конгрессов то в Женеве, то в Базеле, то в Лозанне, и не чуждое им движение интернационалки. Укажем, наконец, и наших собственных русских агитаторов, скученных в Женеве и рассеянных по другим кантонам. А посему охранителям европейского спокойствия не мешало бы наблюдать за политическим барометром этой маленькой республики. Кстати замечу, что и в конце 1869 г. не раз случалось мне слышать то в Веве, то в Женеве, что влияние на Лудовика Наполеона императрицы Евгении[8] и ея до сих пор малоизвестные интриги погубят империю и ее правителя, подчинившегося своей супруге, бывшей тогда на открытии Суэцкого канала и имевшей в то самое время неудавшееся, впрочем, ей намерение посетить папу.

Продолжаю мои рассказы…

ФС. Д. 13. Л. 93 об.–95 об.; см. также черновик: Д. 21. Л. 13–15

ФРАГМЕНТ 29 [ОБ И.А. КАПОДИСТРИИ]

(к с. 339, примеч. 328)

Прошло пять лет, и я в 1823 г. был представлен графу в Берне начальником моим бароном Крюднером. О гр. Каподистриа и о его политической деятельности многое уже было написано и сохранилось для потомства. А желающих еще более изучать его характер отсылаю я к «Записке гр. Иоанна Каподистрия о его служебной деятельности», переданной из Женевы имп. Николаю под таким заглавием: «Aperçu de ma carriére politique depuis 1798–1822» и к запискам Александра Скарлатовича Стурдзы, напечатанным в «Трудах Московского исторического общества»[1]. Мне же остается дополнить эти обе записки немногими указаниями на всю служебную карьеру гр. Каподистрия и в особенности представить некоторые черты из его уже частной жизни в Женеве от 1823–1826 г., когда я имел счастие видеть его довольно близко[2]. В записке, представленной государю самим графом, коснулся он очень слегка и с обычной своей скромностью первого, весьма неудачного и неблагоприятного начала своей службы. В марте 1804 г. гр. И. Каподистрия, статс-секретарь республики 7 Ионических островов, способствовавший образованию оной республики, произведен был в чин коллежского советника. В то время не было ему еще 30 лет.

Я имею право думать, что гр. Каподистрия, привлеченный в русскую службу по уничтожении республики 7 Ионических островов (в 1807 г.), где он управлял, будучи очень молодым человеком, внешними делами республики, не приносил присяги на подданство, а только на верность службы имп. Александру. Известно, с одной стороны, что когда Александр I приблизил его к своей особе, граф выговорил себе право быть перед ним и его кабинетом представителем и защитником греков и вообще всех наших единоверцев. С другой стороны, решительное желание графа не состоять в русском подданстве, но лишь служить нашему государю стало мне лично известно, когда он в Швейцарии в нашей посольской церкви в начале 1826 г. присягал вместе с нами сперва Константину, а потом Николаю I. Привожу еще одно обстоятельство, едва ли известное. В 1807 г. Ионическая республика уступлена была имп. Наполеону. Генерал Бертье, впоследствии бывший маршалом, а тогда начальствовавший французскими войсками, занявшими Корфу, предлагал Каподистрии войти в их военную службу. Предложения этого граф не принял.

В 1809 г. он был вызван в Петербург гр. Румянцевым, причислен к Министерству иностранных дел и не имел никаких занятий. Наконец в сентябре 1811 г. причислен он был сверхштатным чиновником к нашему посольству в Вене с ничтожным жалованьем 1200 р. асс.; впрочем, по тогдашнему курсу, считая ассигнационный рубль в 50 голштиверов, такая сумма представляла 6000 франц. фр[анков]. Гр. Штакельберг, наш посланник, сделал ему прием

самый холодный и выразил свое удивление о его появлении, не скрывая, что он не имел никакой надобности в новом чиновнике при своем посольстве. Выписываю депешу Штакельберга, которой он уведомлял гр. Румянцева о прибытии Каподистрии в Вену: «La latitude que Votre Excellence veut bien me laisser sur l'emploie à faire à ma Chancellerie de ce nouvel et troisième individu, attaché à la mission de Vienne plus par faveur personnelles que pour cause d'utilité de service, m'impose le devoir de lui adresser de justes remercimens»*. Приводим эту оригинальную депешу, весьма замечательную по ее ироническому, злобному и вместе учтивому тону, который так резко характеризует своеобразного дипломата александровских времен, сына того екатерининского гр. Штакельберга[3], который был пестуном императрицы при бывшем ее любимце, последнем польском короле[4], и отца нашего недавнего посла в Париже[5], всеми любимого и уважаемого за его прямоту и так рано похищенного смертью. Не только в нашей дипломатии, но и во всех других редко встретить 3 поколения одно за другим, с честью и достоинством стоявших на одном и том же поприще. Мне удалось узнать довольно коротко и самого гр. Штакельберга, о котором веду я теперь речь и о коем буду говорить впоследствии и в свое время. Здесь же в дополнение к рассказу о холодных отношениях его к гр. Каподистрия прибавлю к их встрече давно мною слышанное.

Штакельберг, чтобы познакомиться ближе с новым, навязанным ему чиновником, заставил его написать какую-то записку серьезного содержания и, прослушав или прочитав первую страницу, разорвал тетрадь и отправил ее в лицо к своему подчиненному. Молча вышел от него смущенный граф с твердым намерением уже никогда более не являться в посольство, но влиятельные из друзей нашего вспыльчивого министра, знавшие с весьма хорошей стороны талантливого корфиота, игравшего довольно значительную роль на своей родине, за него вступились и враждующих помирили. Горячий в своем гневе до неистовства, Штакельберг, в спокойное время всегда добродушный и вежливый, скоро образумился и первый пожелал примирения. Рассказавшие мне эту сшибку начальника с подчиненным закончили ее тем, что один из двух, – либо сам кн. Меттерних, либо его знаменитый секретарь Генц[6] примирили враждующих. Вскоре потом венский наш посланник, оценив отличные дарования и все благородство характера, которым отличался гр. И. Каподистрия, поручил ему составить первую записку о положении дел в Греции и Иллирийских провинциях.

В начале отечественной войны 1812 г. гр. Каподистрия находился при адмирале Чичагове, на которого возложено было заключить мир с турками и

---

* «Свобода, которую ваше превосходительство изволило предоставить мне в использовании в моей канцелярии этого нового третьего человека, прикомандированного к венской миссии скорее благодаря личному покровительству, чем по служебной надобности, обязывает меня выразить вам справедливую благодарность» (*фр.*).

убедить Порту дозволить турецким славянам, а в том числе и сербам, вооружиться против Наполеона, в чем, конечно, не успели; да и трудно понять подобные, до нелепости легкомысленные надежды. Как видно, любимец до некоторого времени импер[атора] Александра, Чичагов был настолько же плохим дипломатом, как и неискусным военачальником. Его обвиняют, что он упустил Наполеона и часть французских войск при переправе через р. Березину, что и было причиной удаления Чичагова от службы. Когда Барклай де Толли по отставке адмирала принял начальство над нашей Дунайской армией, император приказал состоять при нем Каподистрии для продолжения сношений с Константинополем и со всеми нашими агентами на Востоке. Во Франкфурте на Майне императору угодно было избрать гр. Каподистрия первым своим орудием для умиротворения волновавшейся тогда тайными смутами Швейцарии. Приводим здесь из препровожденной к имп. Николаю «Записки» гр. Каподистрия из Женевы от 12/24 декабря 1826 г. некоторые любопытные подробности. Эта «Записка», помещенная в 3-м томе Сборника Русского исторического общества, названа ее составителем на французском языке: Aperçu de ma carriére publique depuis 1798 jusque 1822. По взятии Парижа в 1814 г. граф был уже при императоре. С конгресса в Вене был отправлен в Швейцарию, назначен там нашим министром и вместе с великобританским посланником Страдфорд-Каннингом, впоследствии лордом Редклифом[7], преобразовал гельветическую республику в Швейцарский союз, к которому присоединилась тогда Женева и в коем образовались два новые кантона: Арговия и Ваатланд – Pays de Vaud, отделенные от Бернского кантона, аристократическое правительство коего управляло доселе этими обеими странами, называя их своими подданными – pays sujets. Успеху нашей и английской дипломатии в таком либеральном и в сущности в нравственно-справедливом подвиге много содействовал Лагарп, который в 1814 г. по занятии Парижа имел сильное влияние на своего воспитанника. Государь тогда дал ему, надворному советнику, андреевскую ленту. О повышении в чине, соответствовавшем первому российскому ордену, не было между ними и речи. Окончив с блистательным успехом переустройство Швейцарии и получив от призванных им к политическому бытию новых кантонов право гражданства в Женеве, Арговии и Ваатланде, Каподистрия отозван был от своего поста и назначен статс-секретарем, но ему сохранено было министерство[8].

Далее поручено было ему сделать замечание на тот самый проект, неоднократно представляемый Александру, в коем предполагалось по заключении мира с турками поднять к восстанию против Франции восточных турецких и иллирийских славян, и Каподистрия в своем разборе, конечно, не мог не найти его мечтательным и невозможным к исполнению. Вследствие такого труда он был назначен правителем канцелярии при главнокомандующем нашей Дунайской армии, адмирале Чичагове. Об этом неудавшемся дипломате

и полководце я уже упоминал в моих «Записках», равно как и о самом проекте поднять против Франции единоверные и единоплеменные нам народы, и мне особенно было приятно и даже лестно прочесть в «Записке» гр. Каподистрия тоже беспристрастное о нем суждение, несмотря на все его пристрастия к восточному вопросу. Впрочем и тут, в самой этой «Записке», выразился он о планах адмирала Чичагова с обычной своей сдержанностью следующими словами: «l'expérience rejetait complètement ces plans hasardeux et compliqués»*.

С удалением Чичагова из армии после несчастной для него переправы Наполеона через р. Березину гр. Каподистрия перешел в дипломатическую канцелярию Барклая де Толли, и ему исключительно поручено было заниматься в ней по сношениям с Константинополем и с нашими тайными агентами на Востоке. При гр. Каподистрии младшим дипломатическим чиновником состоял Ал.С. Стурдза. В Лейпциге встретил графа государь с такой благосклонностью, которая нашла дорогу к сердцу Каподистрия, «Avec cette bienveillance qui allait droit au cœur»**, и уже во Франкфурте Александр обратился к нему с речью, из которой я выписываю слова, самые замечательные: «Вы любите республики, я тоже люблю их. Надобно спасти Швейцарию от французского деспотизма, возвратить каждой нации всецелое и полное пользование ее правами и учреждениями, всем им дать место и стать самим под ручательство общего союза, обеспечить самих себя и предохранить их от самолюбия завоевателей: вот основания, на коих мы надеемся с Божией помощью утвердить нашу новую систему. Много препятствий при этом придется нам уничтожить, и вы возьмете на себя частицу великого дела». За этим последовало назначение гр. Каподистрия нашим министром в Швейцарии с целью уничтожить преобладание в ней бернской аристократии, возвратить права покорных ей областей, «pays sujets»***, и вполне восстановить нейтралитет Швейцарии. Некоторое время между государем и гр. Каподистрия, уже занявшим швейцарский пост, заметно было посредничество Лагарпа. Благодетельная для преобразования Швейцарии деятельность в ней графа довольно известна.

Освобожденные его участием, общим с участием английского посланника Стратфорд-Каннинга (впоследствии лорда Редклифа, личный заклятый враг имп. Николая и один из главных виновников войны крымской), кантоны Арговия и Ваатланд выразили ему свою благодарность дарованным ему правом гражданства этих новых республик. На Венском конгрессе предался он опять интересам своей родины, Ионических о[строво]в и вообще всей Греции. Государь Александр не соглашался возвратить себе покровительство Ионической республике, занятой уже англичанами. Удалить их из Корфу представлялось

---

* опыт полностью отверг эти рискованные и сложные планы (*фр.*).

** «С такой благосклонностью, которая идет прямо к сердцу» (*фр.*).

*** «подвластных земель» (*фр.*).

ему невозможным, и он поручил гр. Каподистрия выговорить у английского правительства сколько возможно более привилегий для ее самобытности. «Я буду, – сказал он в заключение графу, – сколько возможно, поддерживать вас в этой борьбе. Dieu fera le reste pour nos frères d'Orient»*. Тут последовало тотчас одно предложение графа государю, в коем я усматриваю открытое действие его участия в делах Греции и в то же время заступничество за Греков косвенное, осторожное, но великодушное и искреннее со стороны имп. Александра. Каподистрия представил государю свою мысль воспользоваться примером англичан, уже учредивших в Афинах «общество собирания и сохранения уцелевших памятников древности. Сделаем то же, но имея в виду настоящее и будущее, помогая бедным молодым грекам, жаждущим образования». Составленная Каподистрией программа была одобрена императором. Он участвовал в открытой в пользу греков подписке, назначив ежегодный взнос по 200 голландских червонцев; императрица подписалась по 100.

Пребывавшие на Венском конгрессе государи и их министры и прочие влиятельные особы приняли также участие в этой подписке, и половина собранной суммы отправлена эфорам[9] афинских школ, а другая назначена на основание школы на г[оре] Пелионе. Таково было по признанию самого Каподистрии начало общества муз, названного у греков: «Philomousa eiteria»**, которое позже присоединилось к издавна основанным обществам (уже тайным), Rhiga (я выпускаю из «Записки» графа все, что не относится к делам Греции).

По назначении государем Каподистрия статс-секретарем при Министерстве иностранных дел последний отговаривался, просил возвратиться к своему посту в Швейцарию и выразил государю свои сомнения относительно возможности для него оставаться в Петербурге при Дворе на постоянном месте. Он не понимал для себя такого положения. Государь настаивал. Ободренный его к себе крайней снисходительностью, Каподистрия со своей стороны объявил ему то впечатление, которое будто произведено на умы греков новой этой должностью. «Я не в силах, – говорил он, – считать себя чуждым Греции; отделиться от греков было бы неблагодарностью, а мои с ними сношения возбудят недоверчивость Англии. Я не ожидаю ничего хорошего от этого положения, ничего полезного ни для службы в[ашего] имп[ераторского] величества, ни для греков, ни для себя». – «Вы слишком преувеличиваете, – отвечал Государь. – Я уважаю чувства ваши к вашему отечеству и желаю, чтобы греки имели при мне в лице вашем своего поверенного». Тут государь пожал мне руку и сказал: «Дело решено. Доброго вечера». Весь

---

* «Остальное для наших восточных братьев сделает Бог» (*фр.*).

** Φιλόμουσος Εταιρεία – Общество друзей муз (*греч.*), существовавшее в 1814–1821 гг.

этот разговор, несколько сокращенный в моей выписке, происходил в Париже пред отъездом императора в лагерь при Вертю. На оставленного в Париже для участия в тамошней конференции гр. Каподистрия лорд Castlereagh и кн. Меттерних, узнав о его новом назначении, обратили особенное внимание и в нем стали заискивать. Первый предлагал ему побывать в Англии для личных переговоров по Ионическим о[стро]вам. Другой через преданного ему г. Horet советовал графу не оставаться во вредном для слабого его здоровья Петербурге, а выпросить у государя себе поручение в Вену, но граф не согласился последовать совету кн. Меттерниха и в начале 1816 г. прибыл в Петербург. В это время поручены ему были все сношения с христианским востоком и первым... [пропуск строки при переписке] освобождения Каподистрия предложил государю даровать дунайским княжествам европейское существование, хотя бы под ручательством защиты не только России и Австрии, но даже, если нужно, Великобритании и Франции. Проект этот был отвергнут. Каподистрия после такой беседы удалился от государя со стесненным сердцем, увидя, что государь хотел упрочить мир с турками на основании Бухарестского договора.

В начале 1817 г. один молодой грек по имени Галатти[10] с о[строва] Итаки просил позволения приехать из Одессы в Петербург для весьма важных сообщений. Государь велел его вызвать. Он был послан от тайного общества исключительно из греков, которое имело целью произвести всеобщее восстание; он предлагал графу сделаться главой этого общества. С первых слов граф отверг всякое с ним рассуждение и объявил, что не будет читать его бумаг, посоветовал не говорить об этом никому и немедля возвратиться к его доверителям, объявив им, что они должны отказаться от своих революционных происков и жить под властью их правительств, пока Провидение не решит иначе. Император, узнав об этом, приказал арестовать греческого тайного агента, который рассказывал многим о предположениях тайного на востоке общества. Это обстоятельство взволновало графа, который написал императору письмо: горесть его была так сильна, что он мог довериться только перу. В письме своем указывал он государю на неизбежные последствия ареста, как относительно христиан, так и в отношении его самого. Граф упомянул в этом письме, что петербургская полиция будет убеждена, что он впал в подозрение его величества, а греки считать его за источник всех бедствий, которые на них обрушатся, как скоро узнают об этом в Константинополе. Государь согласился на высылку Галатти, решился не давать этому делу никакого хода, отказаться от предостережений Порте против греческих происков. «Мы ничего не можем сделать, – сказал тут государь Каподистрии, – останемся чистыми, постараемся вразумить греков, которые у нас, а Провидение спасет других». Несколько дней после этого неприятного дела государь пожаловал графу орден Св. Александра Невского.

Галатти не доехал до своей родины. Он неосторожно погрозил вождям έιτερια* открыть их тайны; его уговорили ехать на о. Идру и там умертвили на противоположном берегу, в Эрмионе. В 1817 г., когда государь был в Москве, прибыли туда влиятельные вожди из Румелии и Эпира, служившие за 10 лет назад России на Ионических о-вах. Они объявили графу свое положение, просили о покровительстве государя, о некотором пособии и о патентах на те чины, в которых они имели честь служить е.и.в.; государь не изволил счесть удобным дать им желаемые патенты, пожаловал им денежные пособия и обещал им свое покровительство. Граф стал расспрашивать их о происках тайного общества; они уверяли, что были ему совершенно чужды, «и я, – говорит в своей «Записке» граф, – был так чистосердечен, что им поверил, доказывая им все опасности такого безрассудного предприятия». Впрочем, все корфиоты и самые храбрые из греков в 1818 г. находились в критически отчаянном положении вследствие системы, принятой англичанами на Ионических о-вах. Государь по докладу Каподистрии пожаловал прибывшим в Москву вождям из Румелии и Эпира денежные пособия и обещал чрез свое посредство помещение на службу неаполитанского короля. Е[го] в[еличество] из Москвы отправился в Польшу для открытия в Варшаве первого конституционного сейма. Сопутствовавший ему гр. Каподистрия отправлен был им в Кишинев и там имел свидание с присланными от господарей, молдавского и валахского, лицами приветствовать государя на границе княжеств. Посланные старались доказать графу, что продолжение мира с турками было невозможно и что как греки они горели нетерпением узнать, скоро ли перейдут русские войска через Прут. «Как грек, – отвечал граф, – я не должен желать другой свободы, как той, какую греки приобретут сами и чрез предварительные успехи в образовании. Наше отечество от этого далеко. Как слуга е.и.в. я объявляю Вам, что государь твердо и неизменно хочет упрочить мир с турками на основании договоров». Заключил граф речь свою следующими словами: «Пусть окажут свое действие уже существующие в Греции учебные заведения и все, что сделали и хотят сделать в Европе для молодых эллинов, и их успехов на поприще просвещения. Рассчитывайте на время и на одно Провидение».

Постоянно заботясь о здоровье графа Каподистрия, государь предложил ему в конце июля 1818 г. отправиться в Карлсбад и возвратиться к своим занятиям осенью, по прибытии государя в Ахен, где назначен был конгресс. Главным предметом совещаний на этом конгрессе, равно как и позднее, в течение декабря, в Вене, было европейское посредничество между Испанией и ее колониями. Я о них умалчиваю. Перед отъездом из Ахена государь пожаловал графу орден Св. Владимира 1-й ст[епени], король прусский – Черного Орла, австрийский император – Св. Стефана.

---

* гетерии (*греч.*) – здесь: греческого тайного политического общества.

Плохое состояние здоровья графа и письмо к нему от престарелых родителей побудило государя дать ему отпуск для поездки в Корфу. На последнем докладе перед отъездом поздно ночью 11/23 декабря государь дал ему свои последние приказания. Беру опять отрывочно те же «Записки».

«Поручаю вам, – сказал он мне, – прежде всего беречь ваше здоровье; первое время зимы отдохните в Италии, подарите потом вашим родным несколько недель, а весной приезжайте назад. Не сходите с вашей дороги, старайтесь успокоить греков. Я желаю улучшения их участи, но на основании договоров. Всем нужен мир. Этот великий результат наших трудов будет потерян с той минуты, как интересы востока бросят между державами начало раздора. Надо оставить вещи в теперешнем их положении и ограничиться частным оказанием вашим соотечественникам сколько возможно всякого добра, не поощряя их ожидать от меня того, чего теперь я не в состоянии для них сделать. Да благословит вас Бог. До свиданья – прежде осени будущего года. Только возвращайтесь ко мне здоровым».

Родину свою, Ионические о-ва, Каподистрия нашел под гнетом деспотической власти генерала Мейтланда[11], и сверх того она страдала от несчастий ее соседей, жителей Парги, сулиотов и румелиотов[12], еще недавно бывших в службе, а теперь подвергнутых самым жестоким, самым безрассудным преследованиям. Принесение Парги в жертву совершилось на глазах Каподистрии. Он видел прибытие на берега Корфу этого населения, исторгнутого из своего отечества по расчету английских агентов, вынужденного продать свои древние пепелища Али-Паше и взявшего с собой только вырытые из могил кости своих отцов. В Корфу посетили графа его старые знакомые, Колокотрони, Боцарис[13] и значительные лица из Пелопонеса, Акарнании и с архипелага. Им более всего хотелось узнать от него, что Россия снова берет ли их под свое могущественное покровительство. Выписываю: «Я говорил с ними так, как мне было приказано государем, что, впрочем, было согласно и с моими убеждениями. Я старался доказать им, что император российский вовсе не намерен был воевать с турками или расстроивать свои отношения с Англией, что для их пользы будет сделано все, что, возможно сделать, что для этого им надлежало вооружиться терпением, покориться судьбе, а между тем дать хорошее национальное воспитание своим детям, предоставив все прочее времени и Провидению». «Нам это невозможно, – отвечали они, – англичане, которых вы пустили на о-ва, теснят нас со всех сторон. После Сули у нас не было другого убежища, кроме Парги и о-вов; теперь отнято у нас и это. Парга в руках Али-Паши[14]; неаполитанский король[15] не хочет нашей службы. Если Россия нас оставляет, Бог не оставит. Когда-нибудь мы водрузим знамя креста или по крайней мере умрем, не посрамив наших отцов. Вы говорите нам о будущности, о воспитании наших детей, а у нас нет хлеба насущного, нам нечем отпраздновать наступающую неделю (этот разговор

был перед Святой неделей)». «Такой решительный ответ меня не поколебал. Я снабдил их денежными пособиями и обещал от монарших щедрот в пользу их семейств, убеждая возвратиться домой. Барона Строганова и русских консулов на востоке я известил о положении дел и просил их не допустить злонамеренным людям воспользоваться моим свиданием с влиятельнейшими из греков, чтобы возбудить между нашими единоверцами ложные понятия и опасные надежды». Граф выехал из Корфу на минеральные воды в Рекоаро в Италию. Там один из чиновников его канцелярии прибыл к нему с сообщаемыми ему от министерства по воле государя копиями со всего, что было сделано во время отсутствия графа. Некоторые из этих бумаг касались состояния немецких университетов и революционных происков в Германии, которые особенно обратили на себя внимание правительств после составления записки Стурдзы об университетах, по совету Каподистрия представленной государю. (Печальное значение этой записки предано было ей злодеянием Зандта, убившего Коцебу вместо Стурдзы, а последний подвергся у нас беспощадным упрекам тогдашних либералов, и возбужденная ими против него ненависть выразилась в свое время неблагопристойной до крайности эпиграммой Пушкина.) В словах Каподистрии видно ясно, если не его прямое участие в мемории Стурдзы, то по крайней мере его к ней сочувствие, а следовательно, виден весь его консерватизм, конечно, либеральный, но стоявший в пределах порядка и уважения к законным правительствам.

Государь разрешил графу проехать на возвратном пути через Францию в Лондон, прислал ему два кабинетных письма: «Lettres de Cabinet» к Castlereagh и Веллингтону[16], в коих приглашались они принять во внимание то, что граф имел им представить от имени своих единоверцев (корфиотов). Для переезда в Англию предоставлен был в распоряжение графа русский фрегат. Каподистрия удержался от всяких объяснений в Париже с первым французским министром, герцогом Деказ (Decaz)[17], но Лудовик XVIII на данной графу аудиенции настаивал, чтобы граф непременно с ним повидался. Целью такого свидания было сделать графу открытие тайны герцога. Графу сообщена была тогда копия с довольно продолжительной переписки между кн. Меттернихом и одной дамой, муж которой занимал высокое место в России. В ней дело шло о политике обоих кабинетов и о желании, которое должно воодушевлять слуг обоих монархов избавить русский кабинет от революционного влияния Каподистрии и о средствах, как этого достигнуть. Нет сомнения, что эта дама была княгиня Ливен, урожденная Бенкендорф, которой муж в то время был нашим послом в Англии[18]. Овдовев, до самой смерти жила она в Париже, у tenait un salon politique*, была в великой дружбе с Гизо; злые языки называли эту дружбу интимной связью, и на ее вечерах последовало сближение,

* держала там политический салон (*фр.*).

а потом и полное примирение Гизо с Тьером. Известно также, что кн. Ливен была в постоянной переписке с Николаем Павловичем и потому в нашем обществе, не всегда приличном в своих отзывах, почиталась и называлась закупленной правительством шпионкой. На сделанное гер[цогом] Деказом открытие граф отвечал, что оно не имеет для него никакой важности, что, по его мнению, агенты полиции герцога сами сочинили такую корреспонденцию, что все сообщенное будет считать comme non avenue*, как бы не существующим. Лудовик XVIII на прощальной аудиенции дал графу понять, что он не разделяет его мнения о переписке, сообщенной по его приказанию. Новые обстоятельства послужили подтверждением слов короля. Неаполитанский посол в Париже кн. Кастельчикала сообщил дошедший до него слух, будто бы граф, проезжая через Неаполь, настаивал у тамошних министров, чтобы король неаполитанский дал своему народу конституцию, похожую на данную Польше, что об этом ему писали и что все это оказалось несправедливым. «Кто же вам писал?» – спросил граф у герцога. «Это моя тайна» – отвечал он. «Хорошо, – сказал граф, – не будем более про это говорить». В переговорах своих с великобританским министром в Лондоне он старался убедить их, что отдача Англией Парги во власть Али-Паше в надежде упрочить ее отношения к Порте будут иметь следствием смятение в Эпире и остальной Греции. «Генерал Мейтланд поступает с моими соотечественниками как с индейцами. Ваша правительственная система на 7 Ионических о-вах оставляет соседних греков погибнуть или взяться за оружие». Позже, когда события оправдали графа, один из членов министерства сказал ему, что в 1819 г. он и предсказал события 1821 г., потому что они были его делом. Если это и не совсем так, замечание английского министра было, кажется нам, отчасти справедливо. Гр. Каподистрия, сам того не замечая и не желая, подталкивал греков к восстанию своим в них участием. Зачинщиками, и это обнаруживается в его «Записке», были корфиоты, старые его знакомые. Мысль близкого освобождения Греции возникла уже гораздо прежде на о-вах, еще до покровительства нашего Ионической республике, а корфиоты, состоявшие некоторое время в нашей службе, обманутые в своих надеждах, возбужденные со времен чесменской победы и политическими замыслами Екатерины, были первыми, если не главными, зачинщиками восстания.

«В сентябре 1819 г. Каподистрия возвратился в Варшаву и там дождался государя. Государь принял его с обычной благосклонностью, но находил, что здоровье графа не совсем восстановилось. В это время государь получил письмо от австрийского императора, в котором испрашивалось согласие Александра на политические меры, принятые на карлсбадской конференции (репрессивные, стеснительные, излишне жестокие, придирчивые – они возбу-

---

* как будто несуществующим (*фр.*).

дили в то время негодование самых умеренных либералов). Государь нашел, что принять участие во внутренних делах Германии на основании этих мер, как то советовала Австрия, поставило бы его в неблагоприятные отношения с английским кабинетом и решился отклонить австрийское предложение. По возвращении в Петербург революционное распадение Испании, умерщвление герцога Беррийского и всеобщее революционное движение возбудили в Александре подозрительность усматривать во всех подобных событиях направление какого-то распорядительного комитета, comité directeur*, предполагаемого в Париже, с целью управлять делами всей Европы, разрушать законные в ней правительства, вводить революционно деспотические формы. С этой поры все усилия русского кабинета, были направлены к борьбе с началами беспорядка. Тем не менее государь в надежде предотвратить смятения принял за руководство своей политики либеральное соглашение 1815 г., принципы восстановления французской монархии законные, весьма либеральные и ту главную мысль, что там, где революция уничтожила прежний порядок вещей, возвращаться к нему было бы опасно и уже невозможно, что восстановленные всеобщим миром правительства необходимо укреплять мудрыми учреждениями и что эти самые учреждения, дабы они были законны и охранительны, долженствуют нисходить сверху вниз, а не подниматься снизу наверх».

Не могу скрыть моего изумления при первой моей встрече с этой мыслью и с ее выражением. Прошло 40 лет, и она, эта мысль, сказанная самодержцем России в стенах кабинета с глазу на глаз ближайшему хранителю всех его тайн, всех задушевных желаний и надежд, мысль многознаменательная, глубокая, выражена была почти публично соименным ему другим самодержцем, предана гласности, осуществлялась и осуществляется до сих пор в важнейших преобразованиях и ведет к едва ли всегда предвиденным, хотя и неизбежным последствиям. Выражение сие в тех же именно коротких словах перешло за пределы России и не могло не возбудить внимания европейских умов; этого мало: прусский король Вильгельм, нынешний император[19], в торжественной своей речи, произнесенной им после коронации в Кенигсберге, привел эти самые слова уступок сверху, чтобы предупредить требования снизу как стереотипное, по его мнению, непригодное власти указание. Сколько могу припомнить, мысль его была такова: дарование народу новых прав, льгот, привилегий безусловно принадлежит одной верховной власти, никаких требований она не допускает и допускать не может по своей субстанции, по признанию за собой божественного права и несомненного верования в это право как догмат. Я не буду теряться в размышлениях, прав ли имп. Александр, допуская и выражая свою мысль в двух словах про себя

* руководящего комитета (*фр.*).

и вверяя ее главному орудию своей внешней политики – прав ли был решитель судеб Европы, новый победоносный император, отвергая эту немыслимую для него мысль, эти немыслимые для него выражения торжественно и всенародно. Но выражение ее у нас и такое частое повторение усвояется народной интеллигенцией, возбуждает желание уступок сверху, и более или менее робко и неробко указывая на свои ожидания в речах и печати, едва ли не превращает эти желания в требования. Позволяю себе выразить находимое мною резкое различие в характере и поступках этих трех вождей своих народов. Александр I, воспитанник Лагарпа, утратил, хотя и не вполне, веру в свое божественное право, опасался требований, желал предупреждать их уступками сверху и свою мысль, впервые, вероятно, выраженную им гр. Каподистрия, носил про себя и, сколько нам известно, никогда, нигде, ни перед кем, кроме этого случая, не выводил наружу. Имп. Вильгельм, искренний пиэтист, свидетель последнего для монарха поведения своего брата[20] в 1848 г., во время революционного восстания в Берлине, твердо верит в свое божественное призвание и непреклонно его, несмотря ни на что, пред всеми исповедует, по нем решительно действует и будет до конца своей жизни действовать. Александр II[21], к несчастию своей страны, и верит, и не верит в свои права и бессознательно почти при всяком случае, важном и мелком, внушает своим подданным, чтобы они не приступали к нему с требованиями уступок, что ему удобнее давать их сверху, да и им лучше принимать их от него, чем вынимать их у него из рук снизу. До сих пор такая политика еще может почитаться сносной для обеих сторон, но начинает уже высказываться и неудобство подобной шаткости мысли и действий. Желания снизу час от часу более походят на требования; не совсем произвольные уступки приводят к некоторому раздражению в тех случаях, когда они впоследствии ослабляют власть, а раздражение власти ведет к неудовольствию на тайные и явные задержки и повороты к прежней силе против нового права. Мы видим это почти ежедневно, не говоря уже о тех беспутных и бессмысленно ребяческих замыслах и заговорах, которые опасны разве только потому, что об них разглагольствуют в гласных судах и повествуют впрямь и вкось в печати. Не мешает еще заметить, что ожидающие уступок очень искусно, но для немногих совсем нехитро ловят власть и ее органы за каждое неосторожное, необдуманное выражение, а в иных случаях и ловко их подсказывают, чтобы потом ими же воспользоваться. Напр., одно новое слово, обрусение, пошло в ход с той поры, как Александр II в ответе своем Муравьеву-Вешателю на его поздравление пожелал ему преуспевать в «обрусении» края. В другом случае одна фраза депеши бывшего канцлера, гр. Нессельроде, о том, что Россия не может со своей стороны сделать какой-то требуемой другими державами не очень значительной уступки, потому что она слишком часто их уже делала вопреки собственным своим интересам. Фраза дипломатической

вежливости и ничего кроме, отрытая в архивах давних депеш Катковым[22], приводилась и приводится им как торжественное признание нашего кабинета двух царствований в том, что он жертвовал Россией Европе. Другие журналисты, подстрекаемые Катковым, дошли отсюда наконец до того, что явно провозглашали на своих страницах измену имп. Александра I своему народу. Несравненно знаменательнее были последствия сделанной из политической предосторожнорсти замены одного слова другим в самом начале довольно искусно принятых мер в первом приступе к эмансипации. Мне бы следовало не здесь и не теперь выяснить мою мысль об этом неожиданном, как бы роковом развитии перемены одного слова на другое, а в то же время, когда я в «Записках» моих дойду до самой эмансипации, неуверенность, допишусь ли я до этого времени или нет, заставляет меня выразить при этом случае мою мысль, вряд ли кому другому пришедшую на ум.

Когда в 1857 г. помещики белорусского края, связанные по рукам и по ногам в управлении своими крепостными крестьянами введенным у них инвентарным положением, первые поддались внушениям своего генерал-губернатора Назимова и чрез него, чтобы избавиться от стеснявших их инвентарей, всеподданнейше просили об учреждении в их губерниях дворянских комитетов с целью освобождения крестьян от крепостного состояния, тогда в императорском рескрипте на имя генерал-адъютанта Назимова последовало высочайшее разрешение и вместе одобрение учредить таковые между ними комитеты, которых прямое назначение освобождения крестьян от крепостной зависимости определено и выражено было словом «освобождение»*. Когда же впоследствии предусмотрено было обратиться с подобными по этому предмету внушениями верховной власти приступить неукоснительно к мерам желаемого сверху освобождения, тогда в высочайших рескриптах на имя начальников внутренних губерний предложено было открыть по губерниям дворянские комитеты не для освобождения именно, а для улучшения быта крестьян. Самодержавному освободителю, не смею сказать, внушено, – представлено было опасным употребить прямое слово: освобождение как могущее возбудить в крестьянах частные бунты, а может быть, и мятежи в обширном размере. С другой стороны, подозреваю я, может быть, и ошибочно, редакторы второй категории сего рода рескриптов предполагали в выражении: «улучшение крестьянского быта» хитрую ловушку помещикам, которые сами должны были быть вызываемы к добровольному согласию на меры освобождения, от коих отклоняться и отказываться становилось в такой форме невозможным, ибо никто из помещиков не мог явно отречься улучшить быт своих крестьян. Предполагаемая мною здесь ловушка на слове будет отвергнута первыми орудиями эмансипации; я это предвижу и спорить или возражать им не стану;

* слово подчеркнуто автором. – *Ред.*

но, вероятно, все они без исключения добросовестно, насколько это им возможно, сознаются в том, что взятое вместо «освобождения» в рескриптах к внутренним губерниям слово «улучшение крестьянского быта» послужило им во многом к распространению прав освобождаемых на поземельное владение, или крестьянский надел, в ущерб помещичьей поземельной собственности, несмотря на то, что в самом манифесте об освобождении выражена была главная мысль этой меры, что земля есть неотъемлемая собственность помещиков. Ультра-освободители редакционной комиссии воспользовались словом «улучшение быта» и вооружились против прав помещика с их неотъемлемой поземельной собственностью, чтобы требовать в пользу крестьян немедленного «улучшения их быта» с первого же дня эмансипации и постановили, таким образом, ожидаемое впоследствии освобождения улучшение главной, первой целью, самое освобождение одним к тому средством. Таким образом, от изменения слов, умышленного или неумышленного, понятие главной мысли запуталось, а эта преднамеренная или невинная путаница привела, во 1-х, к тому, что помещики сами, как стадо баранов, безусловно отрекались от своих прав и, во 2-х, к тому, что они вынуждены были с первого шага сделать огромные уступки в пользу крестьян, чтобы их быт тотчас же улучшился, лишь только возвещено будет им их повсеместное освобождение. Добавлю, что эта пилюля, более или менее насильственно предложенная к поглощению, позлащена была милостью для помещиков удержать $^1/_3$ поземельной, неотъемлемой якобы собственности там, где она по малоземелью должна бы была по принятой норме надела поступить вся в пользу крестьян. Признавая неуместным все это длинное отступление, и несмотря на это, распространяя, я из опасения, что, может, быть не придется мне писать об эмансипации, заключу все здесь сказанное следующим с моей стороны на всякий случай заявлением.

О том, что государю угодно было заменить в рескриптах по внутренним губерниям слово «освобождение» словом «улучшение быта», потому именно, что первое из этих двух выражений могло служить поводом к мятежам, слышал я от бывшего тогда симбирским губернским предводителем Николая Тимофеевича Аксакова, родного брата и дяди трех знаменитых писателей этой семьи[23]. Он уверял меня, что сам имел счастие слышать это из уст государя. Но как перемена слов, а вместе с тем и многие другие подробности первого почина в деле эмансипации открыли мне глаза и удостоверили, что она начинается со всевозможным и постоянно присущим во всяком нашем деле надувательством, то я с моей стороны, не желая ни надувать, ни быть надуваемым, дал себе слово отстраниться от всякого в этих делах официального участия и потому отделался и по Московской и по Тульской губ. от избрания меня в члены дворянских комитетов. Через год или полгода после этих выборов открылась ваканция члена московского комитета от прави-

тельства со смертью Волкова* [24] и потом Давыдова, и вслед за этим прочел я во французском журнале «le Nord», постоянно следившем за эмансипацией в России, свое имя как имеющего быть депутатом от правительства и уже начал получать поздравления с таким назначением. Я поспешил отклонить от себя оное и обратился к бывшему некогда товарищем моим по предводительству Сергею Павловичу Фон-Визину, коего сын недавно был здешним гражданским губернатором[25], с просьбой предупредить гр. Закревского, что я, избежав избрания в члены комитета от моих собратий дворян помещиков, тем еще менее по моим убеждениям не могу принять на себя звание члена комитета от правительства. Покуда и этого довольно. Снова возвращаюсь к автобиографической записке гр. Каподистрии.

Затаенная мысль государя об уступках сверху служила до конгресса в Троппау и Лайбахе (Люблянах) основанием всех сношений петербургского

* Николай Аполлонович Волков был членом Московского освободительного комитета недолго, но с первого же дня своего в нем участия перешел из так называемых крепостников на гуманную сторону высшего правительства. Таких, конечно, было много; но г. Волков, сделавшийся противником помещичьих интересов, был и между ними исключение. Он за несколько лет прежде был, так сказать, изобретателем нового, неслыханного и единственного вида крепостничества. Не менее 500 рев[изских] д[уш] перевел он всех вместе, мужчин и женщин, стариков и малолетних, из рязанского и тульского имений с земли и с барщины на свою бумагопрядильную, в 15 верстах, фабрику и обязал их фабричной работой. Переведенные крестьяне, взятые из недоимщиков и несостоятельных из всей массы его 5 тыс. душ, говорят, будто бы не только не жаловались, но и были довольны таким распоряжением. Они все действительно, и я сам в том удостоверялся, имели и хорошее помещение, и удовлетворительную за свой труд плату. Правительство на такое переселение смотрело сквозь пальцы; но, несмотря на все это, подобное небывалое нигде переселение было возмутительным извращением обычного крепостного права и вело через решительное обезземелье более нежели 1 000 душ крепостных к их совершенному рано или поздно разорению. Мне неизвестно, как разделались с этими крестьянами наследники совершенно разорившегося и вскоре умершего члена Московского освободительного комитета. Основанная им фабрика задолго перешла в управление администрации кредиторов, получивших полтину за рубль. Постараюсь, если не забуду, справиться, что стало с этой громкой в свое время фабрикой, с этими Горенками, в 12 верстах от Москвы, по Владимирской дороге, где 30 или 40 лет назад был при прежнем владельце, бывшем министре просвещения гр. Алексее Кирил[лович] Разумовском, великолепнейший ботанический сад с оранжереями, устроенный и управляемый известным в Европе профессором ботаники, стариком Фишером фон Вальдгейм, который был одной из знаменитостей московского университета. Sic transiit gloria mundi. [Так проходит слава мира (*лат.*)]. Так переходят крепостники в эмансипаторы (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

Здесь назван А.К. Разумовский (1748–1822), граф, сенатор, попечитель Московского университета (с 1807 г.), министр народного просвещения (1810–1816).

Свербеев путает двух Фишеров-профессоров Московского университета. Фишер фон Вальдгейм (Fischer von Waldheim) Григорий Иванович (Готтгельф) (1771–1853) был естествоиспытателем, геологом, палеонтологом; профессором естественных наук в Московском университете (с 1804 г.) и основателем Имп. Московского общества испытателей природы (1805). А известным ботаником и управляющим ботаническим садом был уже упоминавшийся в мемуарах Федор Богданович (Фридрих Эрнст Людвиг) Фишер.

кабинета с его союзниками по важному вопросу о внутреннем положении тех государств, которые прошли уже через революционный кризис или которые только что его ожидали. С конца 1819 г. и в течение 1820 г. наши сношения с Константинополем затруднялись, и переговоры с Турцией, которые вел барон Строганов, о положении христиан на востоке замедлились. Гр. Каподистрия в своей «Записке» слишком поверхностно касается одного ужасного события, которое должно быть вечным упреком дикому варварству наших единокровных братий. Георгий Черный, или Карагеоргий[26], возмутивший против Турции за несколько лет порабощенную его Сербию после своей неудачи находился в России. В 1820 г. он скрытно явился в Сербию, управляемую Милошем, в надежде снова возмутить ее. Милош приказал арестовать и умертвить Георгия Черного (Милош был сын Карагеоргия – Милош убил отца). Этот Георгий Черный, основатель нынешней сербской династии, есть дед нынешнего самостоятельного кн. Милана, и при нем, по модели нашего русского художника, Сербия воздвигает в Белграде памятник Карагеоргию, деду нынешнего князя, умерщвленного сыном Георгия и отцом юного владетеля Сербии[27]. Едва ли где-либо, кроме земель славянских, может быть воздвигнут подобный на крови памятник. Заметим еще раз, что Каподистрия снисходительно обо всем этом умалчивает.

Наше заступничество за жителей Ионических о[стро]вов в Англии принято было недружелюбно ее министрами. Лорд комиссар республики семи о-вов удвоил свою суровость к ним и к греческим военачальникам. На о-вах Санта Мавры и Занте вспыхнули мятежи (первые греческие). Поверенный Петра Бея, вождя спартанцев, Кабаринос[28], привез от него письмо к Каподистрии, испрашивающее у государя денежного пособия для первоначального училища в Спарте. Строганов по воле государя выдал Кабариносу на этот предмет деньги, но посланец не прибыл ни в Константинополь, ни в Майну и погиб жертвой данных им объяснений истинных желаний государя, чтобы эти пособия школе не были обращены на распространение греческого восстания. Несчастный всадник, как еще прежде и другой такой же – Галатти, не оставил по себе следов. Их обоих истребили как неудобных свидетелей той истины, которую хотели скрыть от греков. Уже после, в 1824 г., сам гр. Каподистрия должен был убедиться, что и предложенная им подписка, сделанная в 1815 г., была причиной образования не школ, а тайного общества, называемого Этерией; так по крайней мере сказано им в его «Записке». Главные зачинщики мятежа уверяли с успехом, что эта подписка, открытая в Вене в пользу народного просвещения, имела целью подготовить освобождение Греции посредством тайного общества и что российский император поощрял такое предприятие. Зимой того же 1820 г. вышел на сцену греческого восстания новый деятель, кн. Александр Ипсиланти. Получив отставку от действительной русской службы, в которой он был генерал-майором, а пре-

жде флигель-адъютантом, он вместе с увольнением испросил и позволение отправиться за границу. Гр. Каподистрия дал ему письмо к первому французскому министру герцогу Ришелье. Перед отъездом своим из Петербурга в Кишинев Ипсиланти имел откровенный разговор с Каподистрией об отчаянном положении греков, о враждебной для них политической системе России и Англии, о войне, начатой Портой против мятежного Али-Паши и т.д. Граф предостерегал Ипсиланти не вступать в тайное общество и беречься заговора мятежников (в этом разговоре с Ипсиланти неожиданно проявляются, однако, тайные надежды графа). Он признавал составителей проектов тайного общества виновниками будущих бедствий Греции, называя их разорившимися купеческими приказчиками, отбирающими деньги у простодушных во имя отечества, которого сами они не имеют, и объявил Ипсиланти, что они хотят его, Ипсиланти, впутать в свой заговор, чтобы придать значение своим проискам и в то же время на вопрос Ипсиланти, что будет с бедными греками, неужели политика ничего для них не сделает, отвечал: греки, имеющие оружие будут защищаться в горах и долго сопротивляться, как это делали в течение нескольких столетий, если успеют овладеть Сули и другими горными вершинами. Может, время и обстоятельства доставят им выгодные случайности и только тогда Греция может ожидать улучшения своей участи.

Вторжение кн. Ипсиланти в княжества, его поражение, бегство в австрийские владения, предоставление имп. Александром Австрии права арестовать Ипсиланти как мятежника и содержать его у себя под стражей, настояние гр. Каподистрия пред государем решительнее вступиться за греков перед Портой, желание императора во что бы то ни стало устранить войну с Турцией, все усилия венского и лондонского кабинетов мешать нам на востоке, происки против нашей политики лорда Стратфорда (того самого дипломата, который был товарищем Каподистрии в Швейцарии, а потом под именем лорда Ретклифа товарищем Вл.П. Титова в Константинополе, и личное недоброжелательство коего к имп. Николаю Павловичу так много ко вреду России влияло на бедственную для нас Крымскую войну), избиение христиан на о. Хиосе, восстание пелопоннесских гетеристов, во главе коего были – прибившийся с ионических о-вов Колокотрони и Майнот Бей Мавромихали[29], умерщвление в день Пасхи константинопольского патриарха Григория с тремя митрополитами, отбытие нашего посла из Константинополя: все эти перепетии и катастрофы принадлежат, конечно, не частным «Запискам», но истории; я же собственно имею перед глазами одно лицо гр. Каподистрии. Новейшее из всех историческое сочинение о царствовании имп. Александра I решает на одной из своих страниц так, что потомство и история изрекли свой приговор, благоприятный для памяти Каподистрии вопреки мнению кн. Меттерниха, который поздравлял лорда комиссара Ионических о-вов с удалением графа от нашего двора. Но наш последний историк, отдавая полную справедливость

благородству характера и великодушной, самоотверженной для блага своих соотчичей политической деятельности графа, тем самым в своем молчании произносит слишком строгий суд памяти имп. Александра.

Общественное мнение у нас враждебно всей внутренней и еще более всей внешней политике последнего. Не может ли оправдать по крайней мере внешнюю политику беспристрастный взгляд на нее после событий истекшего десятилетия; не представляются ли этому взгляду в новом свете поясняющие, оправдывающие, или по крайней мере смягчающие перед судом новейших, беспристрастных присяжных Европы обстоятельства, не уничтожит ли этот всемирный суд неумолимый приговор многих наших публицистов, признавших или признающих имп. Александра изменщиком России. Моя собственная задача не в том. Я изложил подробно по записке самого гр. Каподистрия отношения к нему имп. Александра, и, надеюсь, будущие мои читатели увидят, до какой степени самодержавный государь, несмотря на резкое разногласие с ним своего слуги, умел его ценить и был к нему умилительно нежен и благодушен. Мне остается дополнить мои выписки из автобиографии Каподистрии двумя чертами из личных, так сказать, частных отношений его к его повелителю.

«За несколько дней до отъезда государя в Лайбах получены были на имя графа от его братьев[30] весть из Корфу о смерти их отца. Государь удержал эти письма, взяв приготовить и объявить графу о его утрате. Окончив свою с ним работу, государь сказал ему “подождите!”. Они остались вдвоем. Когда государь с живейшим христианским участием известил меня о моей утрате, я вышел от него с растерзанным сердцем, преисполненным признательности за его во мне участие. На другой день е[го] в[еличество] пожаловал мне аренду на 12 лет (30 000 ежегодного дохода)».

Наконец ход дел привел к необходимости обоих исторических деятелей этой эпохи, и имп. Александра, и гр. Каподистрии, разлучиться навсегда. Все усилия последнего поддерживать, возбуждать, (позволяю себе еще одно выражение) разогревать в государе его истинное христианское чувство любви к единоверцам, остались тщетными перед убеждениями умирившего Европу монарха, сохранить в ней мир, общественный порядок и безопасность и уничтожать по мере сил всякое революционное стремление. Граф настаивал решительно действовать, предлагая ультиматум Порте, и для того занять нашими войсками княжества. Государь уступал требованиям австрийского императора и его коварного министра, Меттерниха, соглашался перенести в Вену переговоры о делах по восточному вопросу. Такое мнение поддерживал Нессельроде и новый наш посланник в Вене гр. Татищев[31]. После двухчасовой аудиенции, испрошенной Каподистрией у государя, граф изложил ему свое убеждение в том, что действия его кабинета в Вене и на предполагаемом конгрессе в Вероне непременно сделаются вредными единоверцам России на

востоке и что принесение их на жертву не приведут ни к какому прямому результату, согласному с прямодушными намерениями е.в. «Меня же, говорил граф, система, принятая государем, ставит в положение или изменить самому себе и моему отечеству, которому я всегда принадлежал, или изменить обязанностям, налагаемым на меня службой е.в., manque aux devoirs du serviteur de sa Majesté*. Я просил государя указать, чем мне быть, m'ordonner ce que je devais devenir**; государь отвечал: на вашем месте я бы говорил и действовал как вы, на моем мне невозможно изменить принятое мною решение. В этой последней беседе, в которой государь усиливался в последний раз доказать мне, что принятое им согласие на предложения Австрии зависит единственно от неизбежной необходимости не нарушать спокойствия Европы и крепости союза между державами, граф выразил ему, что по совести и по его крайнему разумению он смотрит на этот предмет с решительно противоположной точки зрения. "Итак, – сказал государь, – расстанемся. Видно, это необходимо. Отправляйтесь на воды. Я желаю, чтобы вы укрепились в ваших силах". Император, отпуская, крепко сжал меня в своих объятиях. "Мы еще увидимся, сказал он, – по крайней мере, вы будете писать ко мне. Будьте уверены: мои чувства к вам никогда не изменятся"».

Осенью 1822 г. граф Каподистрия переехал в Женеву.

Предлагая читателям моих воспоминаний подробную выписку из отрывочной биографии гр. Каподистрии, я привожу ее в подтверждение тех моих воззрений, какие с давних пор составлялись во мне о лучших временах царствования имп. Александра. Записка гр. Каподистрии, напечатанная в Сборнике Российского исторического общ[ества] в 1868 г., прочтена была мною в начале 1872 г. – в то самое время, когда я прервал порядок собственных моих воспоминаний, зашел в них несколькими годами вперед по случаю внезапной смерти Николая Ивановича Тургенева, другого замечательного нашего деятеля с 1813 г. Надо мной, на моих воспоминаниях с первой строки тяготела, так сказать, задача сколько-нибудь удовлетворительного изображения того царствования, к которому принадлежала первая четверть XIX века и первая треть моей жизни.

Вспоминая прошлое и читая о нем написанное, я всегда смущался противоречивыми мнениями об этой эпохе, то в начале официально хвалебными, то подчиняемыми тройственному символу другого последующего царствования, то страстно осуждаемыми при новых, так внезапно и так насильственно, хотя и благотворно, возникших у нас реформах.

Кончив записку Каподистрии, я чуть не вскрикнул: ἑυρηκα*** – таким ярким светом осветила она убеждения всей моей жизни.

---

* пренебречь своими обязанностями слуги его величества (*фр.*).

** приказать мне, чем я должен стать (*фр.*).

*** нашел (*греч.*).

Император Александр и его вернейший слуга были достойны друг друга, шли рука об руку по историческому пути. Неизбежная судьба их разлучила. Непроизвольно приданное мною графу название слуги имп. Александра имеет свой смысл и значение. Я и не мог иначе назвать его, как этим словом, имевшим во время оно при царях свое значение: было самым почтенным чином, приниженным, напротив, в наше время; имя слуги, хотя и царского, допускается только как верный перевод с французского serviteur*. Каподистрия никогда не был русским подданным и во всю свою службу в России считал себя и считался всеми греком. В этом отношении, говоря официально, он официально не принадлежал ни к какой стране: корфиотом или ионийцем он, конечно, не мог называться, потому что Ионийская республика передана была ненавистному ему владычеству Великобритании, греком в собственном смысле он опять-таки не мог называться, потому что все греки, вместе взятые, были подданными Оттоманской Порты, а находившиеся в России считались в подданстве у нас.

Служебное орудие самодержавия, постоянно себя смягчающего, граф при всем своем единомыслии в главных принципах со своим повелителем не мог подчиниться всем условиям времени и терпеливо ожидать от него освобождения закованной в цепях родины; точно так же, как, с другой стороны, Александр, только что умиривший Европу, естественно, не мог уничтожить в себе весьма основательных опасений, что неминуемо ввергнет ее в бездну новых переворотов и бесконечных войн с первого шага деятельного своего вмешательства в освобождение своих единоверцев. По всей вероятности, имп. Александр более, чем кто либо, убежден был в том, что идея освобождения христиан от турецкого ига, бывшая главной целью всеобщей европейской политики с первых времен покорения Константинополя турками, совершенно утратила свое великое значение с той самой поры, как в трактатах и договорах за эту мысль сочувственно, более, нежели другие державы, взялась единоверная этим христианам Россия, пересозданная великим Петром. От XV до XVIII в., по меткому выражению Филарета в одном из его Слов во время Крымской войны, Европа хотела, но не могла освободить христиан от турецкого ига, а теперь, прибавил он (я же добавлю – с начала XVIII в.) освободить может, но не хочет.

Европейские державы справедливо перетревожены были внезапным возникновением такого гения, или, как назвал его Наполеон I, такого гиганта из всех гениев, Петра Великого, вызвавшего к жизни свой народ, дотоле никем неведомый. В самодержавных царях этого народа, как и во всей народной этой массе, признаваемой Западом за диких варваров, зорко испуганными глазами усматривала Европа будущих со времен Петра неизбежных наследников вожделенной от глубокой древности классической страны и ее столицы, превосходнейшей из всех пристаней для всемирной истории. Призванная к новой жизни Россия по естественному ходу вещей, если не могла, как и не

* слуга, служитель – в обороте «ваш покорный слуга» (*фр.*).

может до сих пор, вступить в права наследства, то не замедлила сознательно и бессознательно добиваться приобретения оного и искусно-счастливо в начале воспользовалась живой верой в свое призвание, упрочив за собой на вечное время безопасность своих южных границ совершенным покорением Таврического полуострова, сопредельных с Грецией мусульманских народов, а, наконец, и всего восточного прибрежья Черного моря. Но в дальнейших стремлениях своих к завоеванию или освобождению единокровных, единоверных христиан потерпела она не одну, а многие неудачи и встречала всегда на этом пути помехи с Запада. Укажем на главнейшие в этом отношении препятствия. Екатерина II нимало не скрывавшая своих планов завоевать Константинополь победоносными своими армией и флотом (Кагул и Чесма), и мечтая воцарить там второго внука, недаром нереченного ею Константином, или не уразумела хитрых козней короля-философа, или не была в состоянии перехитрить его. Она бросила на время виды свои на Турцию и с увлечением взялась за брошенную ей Фридрихом Великим кость. За раздел Польши.

Прошло много годов. Наполеон I, привлекая к себе импер. Александра и преуспевая в своих над ним обольщениях в Тильзите и Эрфурте, в близком будущем искушал очарованного его гениальностью Александра пышными обещаниями разделить Европу надвое: владычеству Франции передать весь Запад, России – Восток. Он уже дал согласие на присоединение российскому скипетру придунайских княжеств, но в то же время затруднялся и оставлял до неопределенного будущего разрешение вопроса: кому владеть Константинополем, яблоком всех раздоров до сегодня. Не предрешая нисколько этой великой задачи времени, политика имп. Александра, удаляя от себя самую мысль о Константинополе, ухватилась с горячностью за приобретение княжеств и перед началом отечественной войны надеялась окончательно приобресть их России. Вспомнив, что еще при Екатерине являлись оттуда депутаты с подобным желанием присоединиться к России, что великолепный князь Тавриды мечтал сделаться там вассальным Российск. империи, господарем и т.д. (Из первых записок видно, что отец мой однажды был при депутатах из княжеств приставом.) После вынужденного заключения мира с Турцией наивная до ребячества мысль, – с дозволения турок с помощью порабощенных ею христиан воевать с Наполеоном с Юга – не могла, как и все наши стремления на востоке, не возбудить умов лучших людей в Греции и ее естественно вырвавшегося на свободу народного духа. Когда все европейские народы после первого отречения Наполеона и ссылки его на о. Эльбу, от Тара до Вислы, от морей, омывающих Норвегию до вод Сицилии вздохнули свободно; когда народные властители собрались на конгресс в Вену толковать о мире, тогда греки, конечно, не могли не поверить, что и для них наконец начинает рассветать заря освобождения. Тем вероятнее, тем основательнее были их чаяния, что

вождем всеобщего освобождения и главой всего сонма царей, собравшихся водворить всеобщий мир был великодушный Александр, царь им единоверный, и что одним из первых органов его политики был при нем их гениальный соотечественник, столь много уже послуживший великой идее возрождения эллинов. И вот мы видим в 14-м г. греческих депутатов в Вене и тотчас же по их появлении образование благотворительного в пользу их общества eiteriamousa и первым его членом имп. Александра. Цель общества известна; но сколько бы мы ни желали вполне верить искренним намерениям государя, давшего почин этой подписке и гр. Каподистрии, трудно, однако, допустить, чтобы оба они, признанные и самой историей за искусных политиков, или не желали сами этим действием взять первую инициативу идеи греческого освобождения, или по крайней мере не догадывались, что такое покровительство новому возникающему с их участием обществу должно возбудить в греках мысль о их близком освобождении. Между тем мы усматриваем далее, что с того самого времени, т.е. с 1814 г. до начала уже явного восстания, с 1814 по 1821 г. не один, не два раза являлись к Каподистрии и представляемы были им Александру депутаты из греков, уже бравшихся за оружие, с открытой просьбой придти к ним на помощь против турок. Их, конечно, отсылали с торжественным увещанием не продолжать мятежа, с отказом в покровительственном участии восстанию, но с денежными пособиями на их школы, на их народное образование. Кого тут обманывали и кто тут сам обманывался? Добросовестно отвечать на это трудно. Имея право, скажем более, имея обязанность изучать уже отдаленную от нас эпоху с должным беспристрастием и насколько возможно не увлекаться ни религиозными, ни племенными предрассудками, мы решаемся сказать, что первыми зачинщиками восстания греков были те корфиоты, или те греки, которые состояли в русской службе во время покровительства Россией Ионической республике; что они, лишенные покорением этих островов французами и патриотических надежд и материальных выгод, возбуждали в соседних им греках дух неповиновения против турок, что им, вероятно, известна была и утопическая мечта России воевать с помощью турецких христиан против Наполеона, что они первые явились в Вену за покровительством Александра, что в их руки дошли денежные наши ссуды и что, наконец, восстание греков и мстительная борьба с ними турок взяли верх над всеми другими европейскими событиями, возбудили почти всюду участие и сострадание народных масс в пользу побежденных и в то же время опасение во всех правительствах, чтобы этот бунт не был началом всеобщей революции в Европе.

Кроме Турции, кабинеты австрийский и английский более других оказались враждебными грекам. Это и не могло быть иначе. Разноплеменная Австрия боялась за свое существование как государство, а Великобритания опасалась утратить свой нептунов скипетр, le trident de Neptune est le sceptre

du monde*. В греках предвидела она будущих соперников морской торговли, в Константинополе же вернейший путь к всемирной торговле. Вспомним, что в то время не помышляли еще о железных дорогах и тем менее о Суэцком канале.

Принимая во внимание все сии соображения, мы убеждены, что будущие историки не станут так скоро обвинять политику имп. Александра в том, что он препятствовал неблаговременному восстанию греков, и в то же время справедливо укажут на враждебную в этом государе нерешительность во всех его действиях. Благодушный, искренно народолюбивый, он, казалось, не имел твердости духа безусловно отказать в пособии своим единоверцам и предлагал им добывать свободу посредством образования. Само собою разумеется, что удрученные вековым рабством не могли удовлетворяться такой фантазией, что вскоре в этой грустной истине должен был убедиться и защитник греков, гр. Каподистрия, а потому и всякое сношение между последним и его повелителем было прервано. Здесь остается мне сказать несколько слов о тех подмеченных мной особенностях, которыми, по моему мнению, отличались сношения государя с гр. Каподистрией в продолжении почти целого десятилетия с 1813 по 1822 г. Мне кажется, что Александр ни с одним из своих приближенных не обращался так умилительно дружески, равно как и то, что ни один из лиц ему близких не вел себя так независимо и благородно, не вмешиваясь ни в какие придворные интриги, не принадлежа никаким партиям, не сбиваясь с дороги, однажды навсегда выбранной. Преданный одной мысли, одной цели, – улучшению быта своих соотчичей, взлелеянный, воскормленный началами истинной народной свободы, обогащенный познаниями, царским благоволением, чуждый всякого увлечения мирскими благами, Каподистрия был каким-то особняком и петербургского, и европейского высшего общества. В Петербурге, сколько нам известно, он не искал сближения, как многие другие, и, увы, в том числе, не говоря уже о Сперанском, но даже и сам Карамзин с Аракчеевым не предавался мистицизму, господствовавшему тогда в нашем обществе, из личных выгод или по модному искреннему увлечению, которым так многие тогда заражались, а потому не был в тесной связи с кн. Ал. Ник. Голицыным, другим любимцем государя, ни другом Аракчеева. Не посещал он также гостиной Марьи Антон. Нарышкиной[32] и даже с ближайшим товарищем своим по службе, осторожным, благоразумным гр. Нессельроде, держал себя в некотором отдалении, и несмотря на такое одиночество, а может быть, и потому именно ни с кем, ни с одним из своих подданных, как нам кажется, имп. Александр не обращался так нежно, так сердечно. Таким же точно представляется мне гр. Каподистрия и во всех своих сношениях с влиятельными лицами других наций. Он, как мы видим, должен был бы находиться в близкой связи с генер[алом] Лагапом во время пребывания своего в Швейцарии,

* трезубец Нептуна – скипетр мира (*фр.*) (цитата из драмы швейцарского писателя А.-М. Лемьера (1723–1793)).

и, однако, такой связи между ними не видим мы из его «Записки». Я же могу удостоверить еще вернее, что близких с Лагарпом сношений у него и никогда не было. Вероятно, граф не мог сочувствовать крайне республиканским мнениям вечно юного и пламенного швейцарского освободителя. Сколько мне известно, дружен был он в этой стране с одним Феленбергом[33], основателем и директором училища в Гофвиле, близ Берна. К управлявшим европейской политикой дипломатам он также относился довольно холодно, и разве с одним герцогом Ришелье, основателем Одессы, рыцарски благородным и свободолюбивым, был единодушен. При всех своих либеральных стремлениях он искренно стоял за неприкосновенность верховной власти и вполне разделял принципы имп. Александра – не нарушать конституционных учреждений там, где они уже существуют, и иметь в виду их возможное развитие там, где еще их не было. Из собственного его признания мы видим, что об университетах германских, об их необузданном стремлении к вольности разделял он неблагоприятные такому направлению мысли своего ученика и наперсника Стурдзы, а Стурдза, как известно, был заклеймен в общественном мнении Европы и у нас позорным именем «солдата», «раба», «холопа». Имп. Александр беспримерно быстро возвышал на служебном поприще искренно любимого им своего дипломата, хотя этот не всегда соглашался с мыслями своего повелителя в отношении к грекам. Пред горсударем никто, конечно, не хлопотал о наградах Каподистрии, а между тем через 5 лет службы дана уже была гр. Каподистрии Владимирская лента, и, конечно, по желанию имп. Александра, весьма видные знаки прусского Черного Орла и даже венгерского ордена Св. Стефана.

Не одна откровенная беседа с Александром рассказана была самим Каподистрией в его «Записке». В ней, конечно, заметят отсутствие всякого раболепства, всякого хвастовства, как в чувствах, так и в выражении лаконического повествователя. Заметят также и то, что вместе с нежной заботливостью о слабом здоровье своего деятеля, до какой степени благоволение государя поспешало успокоить встревоженного каким-нибудь столкновением графа знаками своего внимания; напр.: когда появление в Петербурге грека Галатти сделалось предметом бдительного за ним наблюдения тайной полиции, оскорбившего графа, Александр тотчас же дал ему Александровскую ленту. Когда впоследствии император предвидел необходимость расстаться с защитником Греции, и в скором времени простившись с ним, милостиво отпустил его от себя, гр. Каподистрии пожалована была тут же значительная аренда и сохранено все содержание нашего министра при Швейцарском совете в 60 000 р. Пользовался ли он таким жалованьем во все время пребывания своего при особе императора и был ли официально отозван от своего поста, – мне неизвестно; об этом надо справиться.

Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что все подмеченные мной знаки утонченного внимания к деятелю со стороны его повелителя и глубокое, сердечное уважение к нему независимого по чувству исполнителя его воли

главным образом объясняются тем, что исполнитель не был подданным, а потому, может быть, и легче, нежели другим, было для последнего неуклонно оставаться в пределах, установившихся между обоими лицами отношений. Те из современников, которые ближе меня знают по своему положению характер Александра и всю интимную его историю, найдут, вероятно, многие примеры в жизни этого государя тех быстрых разрывов с приближенными к нему людьми. Я же, вместе со многими непосвященными в эти тайны, могу указать только два быстрых и всем известных перехода от монаршей милости к немилости. Во 1-х, Каразина и потом доселе загадочного Сперанского. Даже долголетнее неограниченное благоволение государя к неразлучному сподвижнику своему кн. П.Мих. Волконскому как-то перед его кончиной, так сказать, растаяло. Был еще один энтузиаст, на короткое время обративший на себя, как можно предполагать, симпатии государя и пользовавшийся весьма короткое время его неограниченной доверенностью. Судьба этого мгновенного любимца едва ли кому известна. То был гусарский храбрый полковник, лифляндец барон Бок, которого внезапно по высочайшей воле лично взял под арест маркиз Паулучи[34], приехавший за 300 верст для этого из Риги. Бок посажен был в начале 1818 г. в Шлиссельбургскую крепость и освобожден через 7 лет имп. Николаем, а между тем вскоре после его заключения кн. А.Н. Голицын, по поручению государя посещавший узника, писал о нем, что вся вина Бока могла находиться в том разве, что мечтательный юноша видел в своем государе друга и забыл самодержавного повелителя. Вспомним кстати и преследования мечтательной г-жи Крюднер, мистическим увлечениям которой так долго и так всецело Александр подчинялся.

Кроме Каподистрии, один только дерптский профессор Паррот[35] пользовался неизменным благоволением Александра, но он своему венценосному другу никогда не навязывался. Как ни был кроток и благодушен наш Благословенный, но пред ним все трепетало или слишком благоговело, следовательно, какие сердечные связи могли существовать при таких условиях. Приведем так нескромно пересказанные в печати слова гр. Петра Алексан[дровича] Толстого до излишества откровенным Погодиным. Из всех царедворцев Толстой был, конечно, один из самых благородных по характеру и независимым по положению. «Бывало, – рассказывал он, конечно, своим близким, и уж, конечно, не самому Погодину, который едва ли имел честь лично с ним беседовать, – бывало, выедем из Парижа (где Толстой был послом при Наполеоне и держал себя при нем с достоинством), и думаешь то-то и то-то; одним словом, все, что у меня на сердце, – выскажу я государю. И что же? Переехав границу, начинаю чувствовать, что моя решимость на откровенность начинает слабеть, что она ослабевает все более и более на пути к столице, почти совсем исчезает при моем в нее появлении. И что же наконец? Являюсь я в Зимний дворец и, к моему ужасу, чувствую какое-то подлое трепетанье в ногах, невольное, самому мне омерзительное». Да! Такое чувство всасывается в плоть и кровь русского подданного и растет и вырастает до неизвестной в

других странах высоты в каждом, который, смотря по обстоятельствам, или ползает, или, по-видимому, как будто и прямо идет по скользкому пути служебного возвышения. Счастлив я, несказанно счастлив тем, что могу применить к себе плохие, впрочем, стихи Державина:

Что карлом я, иль великаном
И дивом света не рожден,
И что не создан истуканом
И оных чтить не принужден.

Да не подумает мой благосклонный читатель, что я вменяю себе в заслугу скромное положение всей моей жизни и как бы им хвастаюсь; напротив, я всегда признавал и даже признаю и теперь крайний недостаток во мне научного образования и сравнительного с моими современниками саморазвития, и этот недостаток был, может быть, единственной причиной, что я держал себя в некотором отдалении от людей, более меня просвещенных, и робел перед ними, чувствуя мое ничтожество. Тоже было со мной и в отношении к так называемому высшему обществу, все это говорится здесь к тому, чтобы объяснить себе и другим, почему мне долго становилась недоступной способность оценивать немногих передовых людей того времени, с которыми сводил меня случай, и как мало они могли со своей стороны обращать на меня внимания. Если гр. Каподистрия внимательней был ко мне всех других, то и на это, кроме особенной его доброты и благоволения ко всем людям, были еще следующие причины: его уединенная в Женеве жизнь, отсутствие в Женеве того времени постоянно пребывающих русских и рекомендация Кикина.

ФС. Д. 13. Л. 100 об.–121 об.; см. также черновики к очерку о Каподистрии: Д. 21. Л. 24–27; 40–51

ФРАГМЕНТ 30 [ИЗ ПИСЕМ О СМЕРТИ А.И. ГЕРЦЕНА][1]
(см. с. 839, примеч. 1)

Моих сношений с Герценом я не скрывал ни от кого из русских здешней колонии, напрот[ив]: первый о них сообщил, чтобы предупредить глупые толки и сплетни, точно также всем встречным и поперечным объявил и о том, что был на выносе. В мои лета и с моим консервативным убеждением мне нечего бояться пересудов, поэтому-то и моя статья, написанная, конечно, не в оправдание, но для возможного извинения перед русским обществом его предосудительной деятельности, послана в печать и прямо по почте, чему здесь некоторые удивляются. Я по понятному тебе чувству не открывал семейных подробностей публике. Они ужасны. Второй брак, о котором он сам говорил уже мне как об объявленном после многих годов секрета, сделался мне вполне известным уже после

его смерти. Представь себе, что его вторая подруга, или, как он называл ее, жена, есть Огарева, т.е. бывшая Тучкова[2], и что у них уже 12-летняя от нее дочь – я видел ее мельком накануне смерти его. Это какая-то полуседая растрепанная полустаруха с[о] злобным выражением в чертах, показалась мне какой-то мегерой и своим видом еще увеличила мою грусть об изгнаннике. Насколько она показалась мне отвратительной, настолько понравились старшие дочери покойной его первой жены и сын его профессор[3], привлекательный, скромный, приличный и вместе серьезной наружности. Уступивший свою жену Герцену Огарев[4], живши со всеми ими в дружбе, и старшая из дочерей поехала к нему в Женеву для разбора бумаг. Я бы предложил составить из его собственных, т.е. Герцена, записок его полную биографию, и мне кажется, что она могла бы быть лучшей настольной книгой нашим будущим революционерам, ослепляющим Россию святым намерением возбуждать ее к бунту. Из этой несчастной жизни они бы убедились, что первый, столь даровитый и страстный такого рода деятель, ни в чем не преуспел и умер в отчаянии. Мне говорил Ханыков[5], знавший его коротко, что он будто бы не один раз покушался на самоубийство, а предсмертное его безнадежное существование видел я на нём сам. Всему этому бедственному состоянию и отца, и детей причиною отсутствие всякого религиозного убеждения и крайний материализм.

ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 204. Л. 262

Опять стало холодно вчера и сегодня, т.е. градуса 3 или 4 мороза и то ранним утром. Но я еще не отогрелся от холода другого рода, который вот уж более двух недель пронял меня насквозь – гражданское погребение Искандера, и по временам при воспоминаниях о них все еще вздрагиваю. Я как-то недавно взглянул на черновую мою статейку о Герцене и наткнулся в ней на слово «ящик» вместо «гроба». Так оно и в самом деле и было. Здешние гробы, имея плоскую крышку и лишенные изображения крестного над ней, ничем не отличаются от довольно красивых ящиков, так он и был, вмещая в себе всего того, что существовало на нашей земле под именем Герцена, по крайней мере в глазах всех свидетелей гражданского погребения и всей его семьи. Они ведь не верят в бессмертие человеческой души, но мне хотелось бы спросить их, зачем же все-таки они с некоторой торжественностью и издержками прячут это тело. Не удобнее, не практичнее ли было бы без всяких хлопот и трат тела эти сжигать, чем сберегать их так тщательно, хотя и граждански, на снедь червей и на разложение? К чему было везти отсюда тело Герцена в Ниццу, чтобы там по его завещанию похоронено оно было возле первой его жены, к чему сам он желал этого? Не есть ли это доказательство, что все, отвергающие бессмертие, все-таки за него как-то и чем-то держатся и что их безверие не лишено сомнений, весь их материализм непоследователен.

ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 204. Л. 264

Всего больнее мне то, что не мог быть доволен я поведением во время болезни Герцена нашего о[тца] Полежаева. Он не пошел со мною по моему приглашению, предоставил мне одному действовать. Это было невозможно. То был он в беспамятстве, то стало ему лучше, и окружающие его не находили опасности, то ждали сына, который уже не застал его, а между тем к нему никого по запрещению доктора не допускали, ибо минутное посещение больного И.С. Тургеневым усилило бред, я уже имел намерение, если б болезнь сколько-нибудь продолжилась, вызвать к нему из Версаля знакомого ему о. Гагарина. Тот бы не отказался явиться перед больным, на беду Гагарин лежал в подагре, и я на днях к нему съезжу в Версаль. Хочу тебя успокоить на счет моего спора с Т-вой. Он нисколько нас не поссорил. Напротив, сделал дружнее. Недавно в большой опере слышали мы Faust à l'ensemble est admirable, les chœurs surtout*. За то нет никакого ensemble** на Вселенском соборе в Риме, где папу теснят адресами[6].

ОПИ ГИМ. Ф. 445. Д. 204. Л. 265

ФРАГМЕНТ 31 [К ВОСПОМИНАНИЯМ ОБ А.С. ШИШКОВЕ][1]

(к с. 150, примеч. 487)

Продиктовав этот эпизод первого года моей петербургской жизни в самом начале моей бездейственной служебной деятельности, я слишком через 50 лет начал читать с большой жадностью изданные в 1870 г. в Берлине на русском языке в 2 томах «Записки, мнения и переписка адмирала Александра Семен[овича] Шишкова». Тут только понял я всю важность моей ребяческой выходки, тех двух слов, брошенных Шишкову в лицо, самому ярому и, отдадим ему справедливость, самому бескорыстно честному фанатику самодержавия, православия и народности. В то время никто еще и не думал возвещать этот тройственный символ, провозглашенный при императоре Николае по внушению гр. Уварова, который выпросил в девиз своему гербу эти три слова. Славянофилы взяли эти же самые слова в девиз или надпись к водруженному ими своему знамени; но в порядке этих слов, равно как и в самой идее их выражения, произошло значительное изменение. Собственно для императора Николая Павловича впереди 3 слов стояло конечно «Самодержавие», за ним «Православие» и потом «Народность». В понятиях политических потомков Шишкова первую роль играла «Народность», за нею «Православие», а в конце, пожалуй, и «Самодержавие». Совсем не таков был родоначальник новой народной шко-

---

* Фауста – весь ансамбль великолепен, особенно хор (*фр.*).

** ансамбля (*фр.*).

лы А.С. Шишков. Он был, во-первых, искренно и глубоко набожен, всецело, не имея в себе ни малейшего разномыслия со всеми древними постановлениями и обычаями нашей церкви, предан ее учению и в крайней, исключительной, ничем непререкаемой ни в его уме, ни в его совести своей вере дошел до того, что сам церковнославянский язык сделался для него кивотом святыни, судя по его собственным словам, несмотря на всю свою европейскую образованность, кажется, как бы дошел до того, что уверовал и исповедовал, что все Св. Писание и весь церковный наш устав, и наши литургии были написаны издревле не на ином каком языке, как на славянском. От верования в боговдохновенность Св. Писания перешел он к уверенности в боговдохновенности самого церковнославянского языка; отсюда и его литературная ересь, состоящая в том, что церковнославянский язык и наш русский суть безразлично одно и то же, что язык, употребляемый нами в печати, письме и разговоре, есть только простонародное наречие первого; что потому дерзать на перевод со славянского на русский Св. Писания, а равно отеческих и богослужебных книг значит, по его мнению, касаться рукою скверных к Божию кивоту, значит уничтожать святость предками завещанного нам слова, низводить его до уничиженного, ежедневного, простонародного употребления; одним словом, переводить с славянского на русский все ли Св. Писание или часть онаго, или отдельную какую-либо молитву значило, по понятиям Шишкова, быть еретиком. Выработав в себе такое глубокое убеждение о христианской церкви вообще, потом о церкви православной и наконец о церкви греко-российской (так еще называли последнюю в его время, не уступая ей исключительно наименование православной, поколику Православная церковь есть наименование вселенское всей совокупности церквей истинного Кафоличества, где бы оно ни существовало, а как оно на самом деле нигде не существовало, кроме востока, то церковью православною нарицалась церковь греко-восточная, дочь которой церковь российская была ее частью), – выработав, повторяю, в себе всю совокупность этих религиозных убеждений, Шишков логическим путем мышления дошел к сознательному убеждению, что самодержавие есть божественное право, даруемое промыслом всем монархам, а кольми паче Богом венчанному и помазанному государю всероссийскому. Народ русский почитал он по тому же самому избранником Божиим, сосудом Его благодати, вечно живущей в лице его на земле под сению единого святого алтаря и единой державы, освященной свыше помазанием царя.

Изменить на одну йоту слово Божие в самых его звуках, по мнению Шишкова, значило измену, т.е. посягательство на перевод считал он ересью и вот почему сделал донос на Филарета, архиепископа Московского, и успел в запрещении его Катехизиса, за сочинение которого и его по высочайшему повелению обнародования этот ученый архиерей не много лет прежде получил

от государя одну из первостепенных почестей как знак высочайшего к нему благоволения. Выразить на бумаге или в печати сколько-нибудь особенный образ мысли или даже самый ход ее, в чем-либо разнствующий с нашим, древним, церковным типом, в глазах Шишкова было все равно, что [быть] вероотступником, изменником престолу и отечеству. Можно себе представить, как трудно было не только уживаться, но даже и свободно дышать при таком министре просвещения, который сверх того забрал себе в руки и все наше православие церковное, преклонив на свою сторону сильного Аракчеева и подчинив себе запуганного донельзя изобретенными им же ересями и будущими мятежами императора Александра. Чтобы дать полное понятие моим читателям о влиянии на неоспоримо умного и по убеждению многих высокоискусного и даже хитрого политика, Александра, укажем тут же на Шишкова как на государственного секретаря 1812 г. и на все написанные им официальные бумаги того времени.

Император Александр, предвидя неизбежную войну с Наполеоном, прочитав рассуждение Шишкова «О любви к Отечеству», поручил ему написать манифест о рекрутском наборе в марте 1812 года. Довольный его редакцией, возбуждающей народный энтузиазм во имя веры, престола и отечества, назначил его государственным секретарем и взял с собою в Вильно. Там 13 июня подписаны были: Рескрипт фельдмаршалу графу Салтыкову и Приказ по армиям, возвещающие о вторжении неприятеля в наши пределы. Несмотря на присутствие государя в главной квартире действующей армии, по отзывам самого императора, главным и полновластным начальником был Барклай-де-Толли; но этот военачальник, с своей стороны, в откровенных разговорах с графом Аракчеевым, Балашевым и Шишковым не скрывал от них, что он, главнокомандующий, хотя и облеченный всею властью, не может, однако, действовать безотчетно и уступает направлениям самого государя, хотя бы они приходили к нему и в виде советов. Из сего Шишков по справедливости мог заключить, что пребывание государя при армии скорее вредно, нежели полезно. Надо прибавить, что многие из государственной свиты и особливо люди пожилые, в особенности же этот вполне русский при нем триумвират Аракчеева, Балашова и Шишкова, постоянно находились под влиянием страха быть побежденными величайшим полководцем эпохи и вынужденными просить у него какого бы то ни было мира. В Шишкове родилась мысль удалить от армии государя, который мешал только Барклаю, а между тем сам подвергал себя...

[Здесь в рукописи находится фрагмент текста, который очень близко повторяет текст публикации со слов: «подвергал себя нравственной ответственности и личной опасности...» и до «...назначением его через несколько потом лет министром просвещения» см. с. 511–512 наст. изд.].

...Думаем, что из кратких выписок из вышедшего за границей сочинения Шишкова особенно любопытными найдут два следующие его собственные

рассказа, а потому мы на них и указываем: 1) Разговор его с фельдмаршалом князем Смоленским о том, что лучше бы было на выгодных условиях помириться с Наполеоном, вместо того, чтобы подвергаться новым опасностям войны для освобождения Европы. После некоторых возражений князь Кутузов отвечал ему, что он и сам так думает, но государь предполагает иначе, и мы пойдем далее, прибавил: «Когда император доказательств моих не принимает, то обнимет меня и поцелует, тут я заплачу и соглашусь с ним» (т. I. стр. 168)*. Далее в этой же книге (стр. 176) Шишков сообщает слышанное им за обедом у государя в Вильне мнение князя Смоленского том, что не следует, несмотря на военные обстоятельства, уничтожать в Петербурге французский театр и что мы не должны бросать французский язык, чтобы не впасть в прежнее невежество и неуклюжество. Рассказывая о тяжелом впечатлении, произведенном на него такой речью фельдмаршала и видимым сочувствием к его мнениям императора, он продолжает изливать в ярких красках свое негодование, весь свой ужас при таких речах, на которые он возражать не мог из уважения к застольной беседе. Шишков в немногих словах говорит о своем министерстве. Люди любопытные, конечно, поспешат прочесть со вниманием официальные и полуофициальные приложения к его «Запискам»; из них увидят, что он продолжал мыслить, говорить и писать в православно-самодержавно-народном духе и обнаружил всю свою в этом отношении ревность не по разуму и, таким образом, сделался, конечно, бессознательно главным орудием интриги Аракчеева. Временщик задумал подкопаться и низложить другого любимца царского, единого не поддавшегося влиянию Аракчеева, министра духовных дел и просвещения князя А.Н. Голицына. Более хитрый и честолюбивый православный монах, архимандрит Юрьева монастыря Фотий, сосед Аракчеева по новгородскому имению последнего (села Грузина) вкрался в доверенность графа и сам напросился сослужить ему великую службу. Он, может быть, искренно, давно уже предполагал неминуемую гибель вере, государю и отечеству в мистическом направлении кн. Голицына, которому по влиянию над государем баронессы Крюднер и других католических и еще более протестантских теозофов с 1812 г. почти безусловно подчинился император. Беспристрастие, справедливость требует выразить, что вся эта мистическая туманность и в деле веры распущенность в своей сущности была столько же нелепа, сколько, может быть, по последствиям, и вредна. Заговор против кн. Голицына начался с того, что из одной частной типографии выкрадены были корректурные листы, исправленные рукою подчиненного Голицыну, директора департамента народного просвещения, Попова, переведенной на русский язык книги протестантского проповедника Госнера. Фанатик, архимандрит Фотий, открыв в этих корректурных листах явную улику в еретичестве исправителя рукописи, Попова, и подозревая в том же начальника его,

* Здесь и далее отсылки к сочинению А.С. Шишкова (полностью см. с. 842, примеч. 2). – *Ред.*

самого министра духовных дел и просвещения, князя Голицына, приготовил последнему в доме графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской такую безобразную, отвратительную сцену, рассказам о коей трудно было бы поверить, если бы не слышали о том от современников и не прочли в «Записках», дошедших до нас от самих деятелей; как, напр., и этого А.С. Шишкова. После произнесенного князю Голицыну Фотием: «анафема!» (да будь ты проклят!) Шишков по собственному своему сознанию назначен был министром просвещения (т. II, стр. 246) и весь предался инквизиторскому преследованию проповедника Госнера и его зловредной книги. Пастор Госнер был немедленно выслан за границу, книга по высочайшему повелению рассматривалась в Комитете министров и признана вредной, а за смертью переводчика оной на русский язык, Брискорна[2], предан был суду в Сенат исправлявший перевод директор департамента духовных дел Попов. Шишков взял на себя труд составить критический разбор сочинения Госнера, а как в этом разборе, так и в поданном им в Государственный совет мнении о деле Попова увлекся до того, что беспристрастным читателям может представиться он не иначе как идеалом иезуита, доносчика и инквизитора в полном значении всех этих имен. От развития в себе вследствие фанатизма таких гнусных качеств не могли спасти его ни искренняя набожность, ни известная всем его близким кротость и добродушие, ни редкие, в сравнении с другими министрами, его образование и обширные литературные сведения. В доказательство укажем на помещенные в «Записках» разбор книги Госнера и на мнение его же, поданное в совет по этому делу. Суд над Поповым в Государственном совете кончился уже в царствование императора Николая в 1828 г.; Попов был оправдан. В защиту его стали между членами совета люди, пользующиеся всеобщим уважением: одни по их честности, другие, как, напр., Мордвинов, по их свободомыслию.

Ученый наш эллинист сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, отец декабристов, возбудил всеобщее к себе сочувствие поданным по делу Попова оправдательным своим мнением еще тогда, когда дело производилось в Сенате. Находя Попова совершенно невинным, он в то же время заключил остроумным, не в пользу его, приговором: «Впрочем, такого директора департамента, который исправляет переводы такой книги, какова есть мистическая книга пастора Госнера, непременно следует уволить от занимаемой им по министерству просвещения важной должности».

Затем остается мне рассказать слышанное от статс-секретаря Кикина, к ущербу своей чести и высокой нравственности, также подчинившегося влиянию Аракчеева и вследствии того и фанатизму Шишкова. Сообщаемое здесь Кикин рассказывал мне в 1832 г., будучи уже в отставке.

В то время, когда происходили по делу Попова самые жаркие прения в Сенате, государь по окончании доклада спросил у Кикина: «Что у вас там делается с Поповым в Сенате?» – «Я, Ваше величество, там не сижу,

а думаю, что осудить должно». – «За что?» – «За ересь и одобрение книги Госнера». – «Да в чем сама-то книга виновата?» – «Она противна церкви». – «Какой церкви?» – «Нашей православной». – «А кто тебе сказал, что наша церковь православная?» – «Ну, Государь, спорить о церкви я с Вами не стану, потому что не умею, а скажу Вам одно, что если Вы над нами царствуете, так только потому, что Вы принесли пред Богом клятву стоять за эту церковь». – «Ну-ну, пошел! Не горячись!» Тут государь обнял Кикина и отпустил его.

Кончив все эти рассказы и выписки, возвращаюсь опять к тому же, что именно побудило меня над «Записками» Шишкова потрудиться. Повторяю, только прочитав их дня через два после рассказа моей с Шишковым выходки; через слишком 50 лет после ее понял я, до какой степени был напуган мною Кикин и каким последствиям мог подвергнуться не только я, но и сам он, если бы шишковская ярость осталась неуспокоенной. Мы знаем, что один из племянников министра князя Голицына, воспитывавшегося у иезуитов, не пошел прикладываться ко кресту, чему, конечно, отцы иезуиты его не учили, весь их орден внезапно выслан был после этого из Петербурга.

Я считаю себя обязанным личной признательностью к памяти все-таки умного, добродушного и честного Шишкова за то, что в его «Записках» нашел неоспоримые доказательства моего убеждения, мною в особенной статье выраженного, что не русские сожгли Москву в 1812 году. Шишков в официальных бумагах, так же, как и в своих письмах к жене[3], многократно относил истребление Москвы французским полчищам.

ФС. Д. 11. Л. 113–113 об.; Д. 12. Л. 1–5

ФРАГМЕНТ 32 [О ВОССТАНИИ ДЕКАБРИСТОВ]
(см. с. 326, примеч. 283)

Так бывает везде, так было и у нас. Продолжаю мое невольное отступление.

Было время искреннего прославления двух августейших братьев, за то великодушие, с каким они поступались короной России один другому. В то же время, не менее искренно, осуждалась другими эта игра короной, как в мячик. Последние приписывали ей шатание в народе и мятеж.

Никакого великодушия, однако, тут не было. Колебание Николая I было неизбежно. Граф Милорадович, петербургский генерал-губернатор, пользовавшийся вполне заслуженным значением и в правительстве, и в войсках, и в обществе, и в народе, отказался присягнуть Николаю и объявил собранным во дворце на совет высшим сановникам в первые минуты по получении известия о смерти Александра, что он не присягает сам, не отвечает за присягу

войск гвардейского корпуса*. Министр юстиции кн. Лобанов-Ростовский доказывал князю Голицыну и всем сторонникам завещания Александра, что принесение присяги на основании этого завещания без подтверждения отречения Константина будет явным нарушением основных прав престолонаследия и может произвести революцию**. Чего опасались, то и случилось, но по другим причинам. Мы уже имеем в настоящее время значительное собрание материалов о 14-м декабря. В них во всех совершенно забыты невинные жертвы мятежа, вовлеченные в него обманом, имена этих жертв и даже число их остались сведомы Единому Господу, подобно тем, записываемым в Синодик Иваном Грозным, тому сонму избиенных им из народа, которых завещал сам мучитель вспоминать пред Престолом Божиим, следующими беспримерно красноречивыми словами: «Помяни всех сих, их же имена веси Един Ты, Господи». Нет, кажется, никакой нужды объяснять, что я говорю здесь о солдатах, провозглашавших Конституцию, разумея под ней супругу Константина Павловича, и о праздношатающихся свидетелях этого кровавого позорища, тех и других невольно пораженных картечными выстрелами на Сенатской площади. Читая и перечитывая обнародованные печатью материалы этого смутного времени, повторяя о нем мои воспоминания, я все еще не мог окончательно выработать себе о нем беспристрастное суждение. Была такая пора, когда не принимавшие в мятеже участие современники почитали себя правыми, чистыми, верными долгу и чести, когда лучшие из них удерживались, однако, произносить свой суд над несчастными жертвами увлечения благородного, но не благовременного, а потому и пагубного. Пишущий эти строки, я принадлежал именно значительному числу таких современников. В конце 1825 года мне было 26 лет. Многие из декабристов были гораздо меня моложе. От увлечений того времени предохранил меня мой организм, не допускавший во мне никаких увлечений; этот мой организм объясняю я себе физиологическим выводом. Je suis enfant de la vieille***. Отцу моему было 59, матери 35 лет, когда я родился. Кроме того, особенные обстоятельства жизни и благотворное надо мной влияние бывшего при мне прежнего моего наставника воспрепятствовали мне стремглав ринуться в этот бурный поток, который столь многих увлек в бездну лишений и скорби. Последние годы царствования императора Александра провел я на службе за границей и, мало заботясь тогда о том необъяснимо тревожном и тяжелом положении России, в коей находилась она в это время, я не мог иметь никакого понятия об открытом, а тем еще менее тайном движении нашего передового общества. Внезапно узнав о мятеже, который поразил меня и моих товарищей за границей своей неожиданностью, я добросовестно осуждал мятежников, но

---

* из «Записок» декабриста князя Труб[ецкого] (*примеч. Д.Н. Свербеева*).

** Там же. – *Ред.*

*** Я – поздний ребенок (*фр.*).

знавши многих из них в России, не решался внутри себя признавать их злодеями, а тем еще менее, как то делали другие, поднимать голову и гордиться своей правотой. Возвратясь в Россию, в самое время суда и казней, я возмущался торжеством правых, и особенно тех пожилых и уже ныне отшедших к праотцам консерваторов, которые ежедневно произносили хулы и проклятия всем тем, коих явно называли изменниками. Не раз случалось мне слышать, с каким ожесточением измышляли они орудия пытки, дабы скорее вырвать с языка декабристов доносы друг на друга и собственные признания. Такое ожесточение было для меня омерзительно, и к внутреннему чувству моей собственной в этом деле правоты коснулось какое-то невольное сострадание и симпатия к мученикам своих увлечений. Но в то время я еще и самому себе не смел их извинять. В настоящую минуту пришло время оправдывать не их, а оправдывать мне себя самого, пред общественным мнением, которое стало на сторону декабристов. Пришло время оправдываться всем тем, кто, подобно мне, принадлежал этой эпохе своими летами, своим образованием и своими общественными связями и не был соучастником мятежа. Подобный вопрос – почему я не был с декабристами – предлагали мне не один раз лучшие люди нового поколения, откровенно объясняя тем, что, по их мнению, я должен был принадлежать такому революционному движению как человек, который никогда не выслуживался и вообще не заботился об успехах по службе. Хотя все это так и было со мною, но я никогда слишком не либеральничал и не становился в ряды ни явной, ни тайной оппозиции к правительству, по временам решительному, крутому и строгому. Сверх того отвечать подобным вопрошателям, приглашавшим меня к невольной перед ними исповеди, почему я не был декабристом, было не затруднительно. Для совершенного их удовлетворения стоило мне подробнее повторить все то, что сказал я выше о моем организме и об обстоятельствах всей моей молодости.

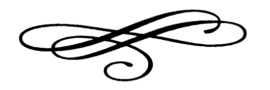
Смутное время трехнедельного междуцарствия, кончившееся взрывом мятежа, небывалого в России, навело на нее всеобщий ужас. Меня, повторяю, находившегося с 23 года за границей, не имевшего никаких подробных сведений о тогдашнем положении России, о мрачном мистическом настроении императора Александра, об умственном брожении нашего общества, внезапная весть о 14 декабря отуманила каким-то безумием…

ФС. Д. 21. Л. 1–4, 29–32

Варианты текста воспоминаний, предназначенные для включения в основной текст мемуаров. Рукой С.Д. Свербеевой с правкой и вставками Д.Н. Свербеева.

Далее Свербеев в рукописи переходит к воспоминаниям о швейцарском периоде своей жизни как неразрывно связанном с восприятием декабрьского восстания. См. с. 326 наст. изд. («Нелегко по прошествии почти 50 лет оживлять…).

Приложения





М.В. Батшев

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СВЕРБЕЕВ: ЭСКИЗ БИОГРАФИИ

Большинство мемуаристов, на чьи записки мы опираемся при исследовании XIX в., принадлежали к тому или иному общественному или литературному направлению. Людей, которые могли бы поддерживать в определенный исторический период хорошие отношения с представителями разных направлений, было не так уж много. Одним из них был автор публикуемых «Моих записок» Дмитрий Николаевич Свербеев.

Многие исследователи, писавшие об этом периоде отечественной истории, обращались к его автобиографическому наследию[1], использовали в своих работах сведения, содержащиеся в его «Записках»[2].

---

[1] Под автобиографическим наследием мы понимаем не только текст непосредственно «Записок», но и приложения к ним, а также его письма.

[2] См.: *Попов А.Н.* Отечественная война 1812 года: В 3 т. М., 2008–2009. Автор работы одним из первых историков обратился к наследию Д.Н. Свербеева, использовав в своей монографии мемуарный фрагмент «О московских пожарах 1812 г.». М.О. Гершензон многократно использовал в своих работах его «Записки» и считал их одним из источников, позволяющих определить тот тип людей, «родившихся в самом конце XVIII в., воспитанных и развивавшихся приблизительно в равных условиях». См.: *Гершензон М.О.* Грибоедовская Москва. М.; Берлин, 1923; *Он же.* П.Я. Чаадаев: Жизнь и мышление. СПб., 1908; *Он же.* Избранное: В 4 т. М.; Иерусалим, 2000. Т. 2. С. 259. Но в работе «Братья Кривцовы», входящей в «Избранное», Свербеев удостоивается определения – «заурядный человек». (Там же. С. 247). «Записки» Свербеева цитируются М.В. Нечкиной в ее фундаментальном труде «Движение декабристов» (М., 1955. Т. 1–2). Автор привлекает содержащиеся в тексте Свербеева описания лекций и диспутов в Московском университете с участием будущих декабристов. Также она использует рассказ Свербеева о получении им в Швейцарии известия о событиях 14 декабря 1825 г. М.И. Гиллельсон в статье, подготовленной им в рамках публикации «Хроника русского: Дневники (1825–1826 гг.)» А.И. Тургенева (М; Л., 1964), упоминает Д.Н. Свербеева как одного из близких друзей автора дневников. А.Г. Тартаковский в фундаментальной монографии «1812 год и русская мемуаристика» (М., 1980) анализирует автобиографическое наследие Свербеева. Уже упоминавшийся нами очерк «О московских пожарах 1812 г.» он относит не к мемуарным произведениям, а к «историческим очеркам и историко-публицистическим сочинениям». В дальнейшем в своей монографии Тартаковский обращает внимание на то, какое место в «Записках» отводится рассказу о наиболее значимых событиях истории России. Также он обращает внимание на наличие в тексте «Записок» указаний на время создания текста. В книге Н.М. Перумовой «Александр Герцен – революционер, мыслитель, человек» (М., 1989) использован рассказ о похоронах Герцена, который приводит

Родившийся в самом конце XVIII в. и скончавшийся в 1874 г., Свербеев был свидетелем или участником многих значимых эпизодов русской истории XIX в. Свои впечатления от увиденного, прожитого и прочувственного он зафиксировал в «Моих записках», созданию которых посвятил последние годы своей жизни.

Неторопливо и спокойно, как сама московская жизнь того времени, течет рассказ о том, как жили москвичи и жители других русских городов, на чем они ездили, что ели-пили, о чем говорили и спорили, чем восторгались и что отвергали. В «Записках» можно познакомиться с самыми разными людьми – знатными и простыми, хорошими и плохими. И чувствуешь, что этот интересный рассказ ведет умный и много повидавший человек, которому приятно вспомнить о том, что ему дорого, чем он жил долгие годы.

Впервые «Записки» были изданы в 1899 г., через четверть века после смерти Свербеева, а полноценно переиздаются только сейчас. В «Моих записках» отражена жизнь Свербеева до его женитьбы в самом начале 1827 г.

Дмитрий Николаевич Свербеев родился 8 сентября 1799 г. в Москве, в доме своего отца на Арбате, ныне – Арбат, № 37. Ближайшие предки его принадлежали к старинному дворянскому роду, были военными. Прадед Федор Леонтьевич участвовал во всех войнах Петра Великого и погиб в 1721 г. Дед Яков Федорович был участником походов русских войск во время Семилетней войны. Отец Николай Яковлевич в молодости участвовал под командой фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского в турецкой кампании и только позже перешел на гражданскую службу, где стал одним из соратников Г.П. По-

---

мемуарист в своем очерке о А.И. Герцене. Известный архивист С.Р. Долгова опубликовала в ежегоднике «ПКНО, 1997» (М., 1999) найденный ею в ГАРФ дневник супруги Д.Н. Свербеева Екатерины Александровны за 1833 г. В «Записках князя К.Н. Голицына» (М., 1997) мемуаристом много внимания уделено рассказу о детях Свербеева: Александре Дмитриевиче и Варваре Дмитриевне. В.В. Пономарева и Л.Б. Хорошилова в работе «Университет для России. Т. 3: Университетский Благородный пансион: 1779–1830 гг.» (М., 2006) пишут об авторе «Записок»: «Его необыкновенная личность привлекала к себе очень многих. Свербеев оставил очень зрелые воспоминания, многие из его оценок и размышлений актуальны и ныне» (С. 26). В книге А.Д. Сухова «Столетняя дискуссия: западничество и самобытность в русской философии» (М., 1998) упоминается салон Свербеева как место встречи «западников» и «славянофилов», а также говорится о нашем герое: «Свербеев не примыкал ни к западникам, ни к славянофилам, но полагал, что споры между ними способны значительно обогатить общественную жизнь» (С. 17). В.А. Кошелев пишет о Свербеевых: «По пятницам принимали Свербеевы (в доме на Тверском бульваре): Дмитрий Николаевич, почтенный историк, щеголявший своею умеренностью, и его красавица жена Катерина Александровна, которая, как и Зинаида Волконская десятилетием ранее, любила сравнения с мадам Рекамье» (*Кошелев В.А.* Алексей Степанович Хомяков: Жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000. С. 174). Д.В. Абашева в работе «Братья Языковы по материалам переписки 20–40-х годов XIX века» (Чебоксары, 2000) использует сведения о Языковых, содержащиеся в «Записках» Свербеева: «Хотя его "Записки" характеризуют братьев иронично, все же за этой иронией действительность» (С. 37).

темкина. Служебная деятельность отца Д.Н. Свербеева при Потемкине в Крыму, занимавшегося там организацией различных сельскохозяйственных производств, заслуживает изучения как один из примеров государственной службы честного чиновника времен императрицы Екатерины II. Особый интерес, как представляется, история жизни отца нашего героя может вызвать еще и потому, что, служа при знаменитом Потемкине, он смог своими успехами обратить на себя внимание всесильного фаворита и получить должность, фактически соответствующую должности вице-губернатора.

Отец мемуариста предстает в «Записках» искренним и возвышенным человеком: «Он был неуклонно строго честен во всех своих отношениях, и – что всего удивительнее, судя по тому времени, к какому он принадлежал, той среде, из которой он вышел, по весьма недостаточному образованию, которое он получил, по бедности, в которой он родился, по его службе в армии, где, конечно, не окружали его примеры уважения к человеческому достоинству, – несмотря на все это, он был примерно хорошим помещиком. В его управлении имениями не было почти никакого произвола и решительно никакого из лишнего отягощения крестьян»[3]. О своих взаимоотношениях с отцом Свербеев вспоминал так: «…любил меня страстно, но в обращении со мной он был необыкновенно сдержан, а я боялся его более, нежели любил»[4].

После выхода в отставку, когда вся жизнь Н.Я. Свербеева была посвящена обустройству и развитию тульского, орловского и подмосковного имений, он продолжал интересоваться общественными делами, в 1804–1807 гг. был серпуховским уездным предводителем дворянства. Николай Яковлевич Свербеев был ревностным масоном, что для его сына оказалось полной неожиданностью: «...узнав об этом от его товарищей по ордену и из его переписки с ними, начал я объяснять себе всю нравственную сторону общественной жизни»[5].

Мать Дмитрия Николаевича – Екатерина Васильевна Свербеева (в девичестве Обрескова) – рано скончалась: «Я решительно ничего не могу сказать о моей матери, которая прожила всего 4 года замужем за отцом моим и оставила меня полутора года»[6].

Юный Дмитрий в 11-летнем возрасте был записан в службу. Но не в военную, как его предки, а в московскую губернскую канцелярию с чином губернского регистратора[7]. Он получил прекрасное домашнее воспитание, а затем поступил в Университетский благородный пансион, впоследствии стал студентом Московского университета. Годы его учебы приходятся на собы-

---

[3] С. 28 наст. изд.

[4] С. 32–33 наст. изд.

[5] С. 28 наст. изд. В одном из опубликованных документов Н.Я. Свербеев назван среди членов масонской ложи, фунционировавшей в Орле (Сб. РИО. СПб., 1868. Т. 2. С. 151).

[6] С. 27 наст. изд.

[7] РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 103. Л. 204.

тия Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. О своих впечатлениях об этом он рассказывает в мемуарах.

Дружеский круг Свербеева начал складываться еще во время учебы в университете. Тогда формировался его образ мыслей и отношение к окружающей действительности. Одной из важных черт характера Свербеева было умение дружить. Его однокурсник писатель М.А. Дмитриев, с которым он сохранял хорошие отношения на протяжении всей жизни, так писал о Дмитрии Николаевиче в своих «Воспоминаниях»: «Этот был весьма благоразумен; хотя и весел, но воздержан в речах; совсем не горд, но чрезвычайно осторожен и разборчив в знакомствах. Не скоро дружился, но его приязнь была прочна и надежна»[8]. Одновременно с учебой в Московском университете продвижение по службе Свербеева успешно идет вперед. В 1813 г. он получает чин коллежского регистратора. Весной 1817 г. он заканчивает учебу в университете. О выходе из университета Свербеев пишет в «Записках»: «...полный курс был трехгодичный, особенных выпускных экзаменов, равно как и переходных, тогда еще не было. Студент, оставляющий университет после трехгодичного курса, являлся лично к каждому из профессоров, коих он во все три года прослушал, и получал от него свидетельство в посещении лекций и в приобретенных им по каждому предмету познаний. Следовательно, все зависело от профессоров; баллов никаких не было. Записки профессоров об успехах студента представлялись или университетскому правлению, или совету, и на основании их ректор с деканом выдавал аттестат»[9].

Осенью того же года Свербеев поступает на службу в канцелярию Петра Андреевича Кикина, статс-секретаря по принятию прошений на высочайшее имя. Служба в канцелярии, особенно на первых порах, когда императорский двор временно находился в Москве, не отличалась особым разнообразием. В «Записках» Свербеев вспоминает об этом периоде своей жизни: «Или я был слишком в то время молод, или действительно не встречалось никакого важного дела в нашей московской канцелярии»[10]. После возвращения двора из Москвы обратно в Петербург он переезжает туда вместе со своей канцелярией. На новом месте он был произведен в губернские секретари, а в 1819 г. получил чин коллежского секретаря[11]. В Петербурге, не будучи слишком обременен служебными занятиями, он много внимания уделял посещению театров и заведению знакомств в столичном высшем обществе. Но такая жизнь вскоре наскучила Дмитрию Николаевичу, и в 1821 г. он подает прошение об увольнении из Канцелярии.

Устроив свои дела в имениях, Свербеев решает совершить заграничное путешествие. Он посетил Германию, Францию и Швейцарию. Горная аль-

---

[8] *Дмитриев М.А.* Главы из воспоминаний о моей жизни. М., 1998. С. 135.

[9] С. 109 наст. изд.

[10] С. 117 наст. изд.

[11] РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 103. Л. 205.

пийская республика произвела на него очень сильное впечатление, и впоследствии он еще не один раз на протяжении своей жизни бывал в Швейцарии.

Жить без службы Свербееву нравилось. Но постепенно ему начинает чего-то не хватать, и Дмитрий Николаевич откровенно пишет в мемуарах: «По долгом колебании я решился хлопотать через Кикина о причислении к нашей швейцарской миссии в Берн и задумал еще про себя уехать за этим в Петербург»[12]. С помощью родственников его приняли на службу чиновником в ведомство иностранных дел и определили в российскую миссию в Швейцарии.

В конце лета 1823 г. Дмитрий Николаевич отправляется к новому месту службы. К тому времени он уже продвинулся по карьерной лестнице и был титулярным советником. В Швейцарии он познакомился с рядом знаменитых политических деятелей того времени, о чем подробно написал в своих мемуарах, в частности об Иоанне Каподистрии, бывшем руководителе русской дипломатии. Рассказ о нем – одно из немногих свидетельств о жизни видного в прошлом российского сановника, после отставки вынужденного находиться за пределами России.

Дипломатическая карьера Свербеева закончилась в 1826 г. После возвращения в Москву в 1827 г. он женился на 18-летней княжне Екатерине Александровне Щербатовой, происходившей из известной дворянской семьи. Его свадьба вызвала легкое удивление у близких к нему людей. Они боялись, что Дмитрий Николаевич, попав в аристократическую среду, изменит своим друзьям. Николай Языков в письме к родственникам пишет: «Свербеев женится на какой-то княжне Щербатовой, следственно, будет принадлежать к многочисленному обществу аристократов Российских и, чего не хотелось бы нашему брату, начнет жить в суете мирской, не помышляя нимало, что размножение рода человеческого не есть первая цель бытия нашего, а только необходимость естественная, побуждение от неблагородной части человека, проза, хотя иногда и называется поэзиею ошибочно»[13].

Несколько позже Языков решительно изменил свое мнение об избраннице Дмитрия Николаевича: «Какая милая жена у Свербеева, загляденье, – умна, образованная и пр. Он, кажется, совершенно счастлив своим супружеством, а это, ей Богу, не безделка вообще в жизни, по замечанию знатоков своего дела»[14].

В 1829 г. Свербеев подает прошение об увольнении из Коллегии иностранных дел по домашним обстоятельствам. Его прошение удовлетворяют, и он оставляет службу в Коллегии, но продолжает числиться при Московском архиве Коллегии иностранных дел. Согласно указу Правительствующего Сената

---

[12] С. 288 наст. изд.

[13] Н.М. Языков в письмах к родным из Дерпта. СПб., 1913. С. 306.

[14] Там же. С. 151.

от 1830 г., «уволенный из ведомства Коллегии титулярный советник Свербеев по высочайшему указу от 23 декабря 1829 года пожалован в коллежские асессоры со старшинством в сих чинах»[15]. В эти же годы Свербеев числится в Комиссии печатания государственных грамот и договоров, которой руководил А.Ф. Малиновский. В сферу его интересов попадают «дела Ливонские» и «эпоха Петра I». Кроме этого, есть свидетельство, что он принимал участие в разборе дипломатических документов времен Екатерины II: «Дмитрий Николаевич Свербеев, разбирая в Московском архве Министерства иностранных дел дела по дипломатическим сношениям с Персией, нашел между ними две бумаги ненумерованные, но за сбственноручными резолюциями и с подписью императрицы Екатерины II»[16].

В начале 1830-х годов Свербеев выступает в качестве инициатора помощи семье своего друга и сослуживца по Московскому архиву Константина Федоровича Калайдовича. К этому времени К.Ф. Калайдович был одним из самых известных и авторитетных в России архивистов и археографов. Доходы Калайдовича как человека, искренне преданного науке, тратившего больше времени на изучение архивов и библиотек, а не чиновничьих кабинетов, никогда не были очень значительными, потому после его смерти семья покойного сильно нуждалась.

Свербеев просит своих многочисленных знакомых похлопотать о получении семьей Калайдовича пенсии от правительства и объявляет сбор денег в помощь семье умершего. В этом ему помогает П.А. Вяземский, также знавший покойного. Вяземский не только хлопочет в столице по просьбе Свербеева, но и вносит посильный вклад в сбор денег для вдовы Калайдовича: «...Дай за меня сто рублей Свербееву в подписку для семейства Калайдовича», – пишет он своей жене[17].

Петр Андреевич Вяземский долгие годы был близким знакомым Свербеевых. Яркой демонстрацией их дружеских отношений в 1850-е годы явилась просьба Вяземского к Свербееву взять на себя управление имением Остафьево, на то время, пока он и его семья будут за границей. В своем письме к Екатерине Александровне Свербеевой от 22 марта 1853 г. он просит ее склонить мужа к принятию его предложения: «Все заключается в том, чтобы получать оброк с Костромской деревни и немного наблюдать за ходом моей Остафьевской фабрики, коей доходы назначены на уплату Опекунскому совету»[18].

В письмах к А.И. Тургеневу князь Вяземский информирует адресата о различных новостях, связанных с жизнью семейства Свербеевых. Так, когда Вяземский зимой 1843 г. находился в Петербурге, а у Екатерины Александ-

---

[15] РГАДА. Ф. 180. Д. 106. Л. 304 об.

[16] Из памятных записей А.А. Васильчикова // РА. 1909. Т. 2, вып. 6. С. 192.

[17] *Вяземский П.А.* Письма к жене за 1832 год // Звенья. М., 1951. Т. 9. С. 351.

[18] РО ИРЛИ. Ф. 598 (А.Д. Свербеев). Оп. 1. Д. 891. Л. 51.

ровны умирает мать, то он в письме к Тургеневу, который в это время находится в Москве, передает свои соболезнования: «Сделай одолжение, передай Свербеевой и Елагиной выражение моего глубокого соучастия в их скорби. Я сердечно любил и уважал княгиню Щербатову»[19].

Дмитрий Николаевич Свербеев обладал талантом эффективного усадебного хозяйствования, что, безусловно, должно послужить предметом отдельного изучения.

Основу будущего благосостояния семьи Свербеевых составили купленные отцом мемуариста в царствование Екатерины II имения: «…наше подмосковное имение сельцо Солнышково и село Чудиново за 32 000 р. ассигнациями. Продала его отцу дочь стольника времен Петра Великого, девица Анна Петровна Милославская. Там, в селе Чудинове, были древние небольшие каменные барские палаты и при них еще более древняя домовая каменная церковь, сохранившаяся доселе»[20]. После покупки деревень отец Д.Н. Свербеева переносит господский дом: «Отец мой, осмотрев после заочной покупки в первый раз это имение, тотчас решил перенести усадьбу в Солнышково»[21].

Сведения о количестве крепостных, проживавших в подмосковных деревнях Свербеевых, приводятся в путеводителе по Московской губернии, изданном в середине XIX в. Село Солнышково относилось к 2-му стану Серпуховского уезда. В нем проживало 112 крестьян мужского пола, 130 – женского. Оно насчитывало 30 дворов, располагалось в «60 верстах от Москвы, 20 верстах от уездного города, между Серпуховским и Московско-Тульским трактами»[22]. Через 10 лет численность населения в Солнышкове не сильно изменилась. Статистический сборник сообщает о «109 жителях мужского пола и 118 женского, а количество дворов уже 32»[23]. В 2-м стане Серпуховского уезда Свербеевым принадлежало еще село Чудиново. В нем проживало 80 крестьян мужского пола, 85 – женского. Здесь насчитывалось 20 дворов, а также церковь. Располагалось оно рядом с Солнышковом. Кроме этого, Свербееву еще принадлежала деревня Уклешня в Подольском уезде. В ней проживало 25 крестьян мужского пола, 12 женского, было в ней всего 6 дворов, располагалась деревня в «25 верстах от уездного города на Серпуховской дороге»[24]. При этом количество дворовых в Солнышкове, глав-

[19] Остафьевский архив князей Вяземских: В 5 т. СПб., 1899. Т. 4. С. 207.

[20] С. 21 наст. изд.

[21] Там же.

[22] Указатель селений и жителей уездов Московской губернии / Сост. по официальным сведениям и документами К. Нистремом. М., 1852. С. 745.

[23] Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. СПб., 1862. Вып. 24 [Московская губерния]. С. 214.

[24] Указатель селений и жителей уездов Московской губернии… С. 739.

ном подмосковном имении Свербеевых, в середине XIX в. составляло всего 13 человек.

В последние годы царствования императрицы Екатерины II отец нашего героя покупает еще одно имение. Новая покупка находилась в Новосильском уезде Тульской губернии. Имение Михайловское, которое в семье называли «кормилицей», как пишет Свербеев в «Записках», насчитывало тогда «от 500 до 600 душ и 6 500 десятин лучшей черноземной земли». Обошлось имение отцу мемуариста в 105 тыс. руб. В дальнейшем это имение обеспечивало семье Свербеевых финансовое благополучие. Согласно послужному списку Свербеева, в 1827 г. ему принадлежало 1 100 душ крепостных крестьян в Московской, Тульской и Нижегородских губерниях[25].

Большое количество крепостных крестьян, доставшихся Д.Н. Свербееву по наследству, заставило его уже в молодом возрасте обратить внимание на проблему крепостного права в России, что сформировало его неоднозначное отношение к основному вопросу русской жизни XIX в.

Проблемой крепостного права Свербеев начал заниматься еще в 1820-е годы. Он активно стремился улучшить быт своих крестьян. В Михайловском им была создана школа для детей крепостных, где они получали начальное образование. «Школа моя учредилась недели две и превзошла все мои ожидания, несмотря на многие недостатки... В это короткое время совершенно не знавшие пишут и читают не только азбуку, но и начали склады»[26], – с гордостью сообщал он в письме А.М. Языкову.

Важное место в жизни Дмитрия Николаевича Свербеева занимали отношения с семьей Аксаковых. Дружеские связи между Свербеевыми и Аксаковыми не ограничивались поддержанием отношений только между представителями старшего поколения, а распространялись и на их детей. Так сложилось, что Дмитрий Николаевич больше дружил с сыновьями Сергея Тимофеевича Аксакова Иваном и Константином.

Одним из вопросов, сближавших обе семьи, было отношение к Н.В. Гоголю. И те, и другие отдавали должное его литературному таланту и соперничали друг с другом за внимание писателя. В семье Свербеевых не без влияния Аксаковых существовал настоящий культ Гоголя. Чем он их так привлекал? Наверно, сочетанием веселости с тонкой душевной организацией, которую Дмитрий Николаевич и Екатерина Александровна так ценили в своем окружении.

Дмитрий Николаевич отдавал должное литературному таланту Гоголя. В их салоне состоялось первое чтение в Москве комедии «Игроки». Это произошло 1 января 1843 г. Правда, читал не сам автор, а Сергей Тимофеевич

---

[25] РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 103. Л. 204.

[26] РО ИРЛИ. Ф. 598 (А.Д. Свербеев). Оп. 1. Д. 891. Л. 80.

Аксаков. Комедия вызвала восторг у всех присутствовавших на вечере. Дмитрий Николаевич описал свои впечатления об этом чтении в письме к Н.М. Языкову: «Вчера на нашей пятнице Аксаков отец прочел комедию Гоголя “Игроки”, – разумеется, между нами не было ни одного игрока. Должно ожидать огромного успеха на театре, но дело не обойдется без великой брани»[27].

На первых порах Дмитрий Николаевич не принял «Мертвые души», о чем пишет К.С. Аксаков Ю.Ф. Самарину: «Я заехал к [Д.Н.] Свербееву, который сказал мне, что он недоволен»[28]. Но уже через месяц мнение Свербеева относительно «Мертвых душ» меняется, о чем свидетельствует переписка братьев Языковых: «Свербеев называет [“Мертвые души”] отвратительною насмешкою, которая от первой до последней страницы преследует читателя и не дает ему отдохнуть спокойно. Но в этом-то состоит великое создание, что оно заставляет смеяться горько и не для одной забавы. – Вообще, тут в первый раз виден Гоголь как писатель вполне серьезный; он возмужал и окреп для подвига. Свербеев пишет, что переменил свое мнение!»[29].

С помощью своих друзей Свербеевы не упускали возможности засвидетельствовать свое почтение знаменитому писателю: «Хомяковы и Свербеевы тебе кланяются»[30], – писал Н.М. Языков Н.В. Гоголю. В следующем письме Языков вновь передает Гоголю приветы от Свербеевых: «Тебе кланяются Свербеевы, они тебя помнят и любят, как подобает, и чтут воспоминание о твоем бывании на их вечерах»[31].

Одной из сквозных тем «Записок» Свербеева являются его отношения с семейством Языковых. Больше всего внимания из этого многочисленного семейства он уделяет братьям Александру и Петру, с которыми сблизился во время своей службы в Петербурге и к которым относился с особой симпатией. Один – Александр – «глубокий мыслитель про себя», и другой – Петр – «замечательный минералог». Третий брат, известный поэт Николай Языков, не удостоивается от Свербеева исключительно положительных характеристик. Но Дмитрий Николаевич отдает должное и ему: «Если первые его стихотворения прельщали читателей легкостью и благозвучием, но не имели в себе серьезного содержания; если первая его манера была только художественная, то последние произведения Языкова поражают величием представляемых им образов и увлекают невольно, наприм., хоть бы меня, своею искреннею религиозною и народною восторженностью»[32].

---

[27] Цит. по: *Шенрок В.И.* Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. М., 1894. Т. 4. С. 104.

[28] Письмо К.С. Аксакова к Ю.Ф. Самарину от конца мая 1842 года // ЛН. М., 1952. Т. 58: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. С. 624.

[29] Письмо А.М. Языкова Н.М. Языкову от 21 июня 1842 года // Там же. С. 630.

[30] Письма Н.М. Языков к Н.В. Гоголю // РС. 1896. № 12. С. 627.

[31] Там же. С. 628.

[32] С. 296 наст. изд.

В «Записках» Свербеева Н. Языков представлен как «буйный поэт», который вместо учебы в Дерптском университете «проводил разгульные вечера и ночи». Отмечает он и присущую, по его мнению, братьям Языковым лень: «После отца осталось им огромное состояние, но ни один их них им не пользовался, как бы следовало, не то чтобы по скупости, а по одной присущей им лени, лишавшей способности чего-либо захотеть или иметь для собственного комфорта»[33].

При общем благожелательном отношении к творчеству Николая Языкова некоторые его произведения Свербеев категорически отказывался принимать. Дмитрий Николаевич негативно воспринял его стихотворение «К ненашим», которое раскололо в первой половине 1840-х годов московское общество, что подробно описано в «Моих записках».

Сам Николай Языков тоже не относился к нашему герою с таким же уважением. В его отношении, особенно после заграничного путешествия Дмитрия Николаевича, можно увидеть больше иронии, смешанной с любопытством: «Описывай мне Свербеева подробнее: человек, странствовавший по чужеземии и, может быть, нюхавший табак на Страсбургской колокольне, есть важное, редкое явление в кружечке нашего знакомства. Свербеев – новость, даже редкость, золото для хорошего пера, предмет, и в отдалении занимавший наше любопытство. Смотри же, не ударь в грязь лицом, описывая нашего Телемака. Верно, Свербеев, возвратившись из края, где даже мужики говорят по-французски, так далек обхождением, языком, мыслями и одеждою от нашей братии простачков русских, как северный полюс от южного: тем подробнее, яснее должен ты живописать его»[34].

Совершенно особую роль в жизни Дмитрия Николаевича Свербеева играли братья Тургеневы. Как сообщает мемуарист в своих «Записках», он увидел старшего из братьев Тургеневых Александра на открытии в Москве в 1816 г. отделения Библейского общества[35]. Но тогда близкого личного знакомства не произошло.

Близко познакомился Дмитрий Николаевич с другим братом – Сергеем Ивановичем Тургеневым – в Швейцарии: «В одно прекрасное утро наступающей осени Каподистрия пришел ко мне с советником нашего константинопольского посольства Сергеем Ивановичем Тургеневым, который считался в отпуску по удалении барона Строганова»[36]. В дальнейшем, как пишет Свербеев, С.И. Тургенев рассказал ему с подробностями «о восточном вопросе» и был с ним «добродушно откровенен»[37]. В «Записках» Свербеев называет Сергея и двух его старших братьев, Александра и Николая, «мечтателями»[38].

---

[33] С. 293 наст. изд.

[34] Н.М. Языков в письмах родным из Дерпта. С. 41.

[35] См. с. 123 наст. изд.

[36] С. 349 наст. изд.

[37] Там же.

[38] Там же.

К сближению семьи Свербеевых и братьев Тургеневых приложил руку П.А. Вяземский, который очень хотел познакомить свою дальнюю родственницу Екатерину Александровну Свербееву и ее мужа со своим лучшим другом Александром Тургеневым. В 1833 г., когда Свербеевы отправились в заграничное путешествие, князь Вяземский снабдил их рекомендательным письмом к своему другу: «Подательница сих строк – кузина моя, Свербеева, и муж ее, которых рекомендую дружбе твоей. Они тебе везут письмо и от Елагиной; следовательно, мне прибавлять нечего»[39]. В путешествии по Швейцарии и Италии супруги Свербеевы и братья Александр и Николай Тургеневы провели много времени вместе и смогли хорошо узнать друг друга[40], о чем Александр Тургенев писал П.А. Вяземскому.

Судьба Александра Ивановича Тургенева после отставки в 1824 г. складывалась непросто. Он уезжает за границу, где встречается со своими братьями Сергеем и Николаем Тургеневыми. Александр Тургенев планировал за границей отдохнуть и подлечиться, но, получив известие об обвинении братьев в причастности к тайным обществам и восстанию декабристов, он решает посвятить свою жизнь облегчению их участи. После этого вся его жизнь до самой смерти представляла собой сплошные скитания между Россией, где решалась судьба братьев, и Европой, где они жили.

Свербеев периодически обсуждал с Александром Тургеневым различные новости, касающиеся Сергея и Николая. Следы этих разговоров, которые, по всей видимости, имели отношение к готовящемуся изданию мемуаров Н.И. Тургенева «Россия и русские», мы можем увидеть в письме А.И. Тургенева В.А. Жуковскому: «Свербеев думает, что государь, по первому впечатлению, которое во многих, хорошо и ясно поймет дело; но потом забудет и поступит противно сему самому верному и ясному взгляду или инстинкту»[41].

Во время многочисленных приездов Александра Тургенева в Москву дом Свербеевых являлся для него надежным пристанищем, где он мог всегда узнать московские новости: «Заехал к Свербеевой; она мила по-прежнему, и о вас (Вяземских, Карамзиных, Валуевых и прочих) расспрашивала много; повыспросил ее о многих и о многом»[42]. После смерти Александра Тургенева в 1845 г. Свербеевы становятся по воле покойного распорядителями его обширного архива и библиотеки. Часть документов была передана ими в

---

[39] Письмо князя П.А. Вяземского к А.И. Тургеневу от 3 июня 1833 года // Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 239.

[40] Подробно о путешествии и об отношениях с братьями Тургеневыми см.: Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год // ПКНО, 1997. М., 1999. С. 7–34.

[41] Письма А.И. Тургенева к В.А. Жуковскому // Тургенев А.И. Политическая проза. М., 1989. С. 168.

[42] Письмо А.И. Тургенева князю П.А. Вяземскому от 28 марта 1837 г. // Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 4. С. 3.

Московский университет, а часть отправлена жившему в Париже брату Александра Николаю Тургеневу.

С началом царствования императора Александра II и ожидавшимся смягчением приговора декабристам Свербеевы помогают Николаю Ивановичу Тургеневу хлопотать об амнистии. Для этого они обращаются за помощью к П.А. Вяземскому, который в это время находился на службе в Петербурге. Вяземский отвечает на их просьбу в пространном письме от 23 января 1856 г.: «Что касается до Ник. Ив., то, право, не знаю, что сказать вам. Во-первых, мне положительно неизвестно, будет ли и в какой мере будет облегчение участи ссыльных. Мне кажется, что в его лета, с его привычками, убеждениями трудно будет возродиться к другой жизни и покориться порядку, от которого он давно отвык. Понимаю, что отчуждение от отечества ему во многих отношениях, особенно сердечных, тяжело; но положение его материальное и даже семейное обеспечено…»[43].

Дружба Свербеевых с Николаем Ивановичем Тургеневым продолжалась до смерти последнего в 1870 г. В опубликованном в «Русском архиве» в 1871 г. очерке «Н.И. Тургенев» Свербеев сравнивает Александра и Николая Тургеневых: «Я встретился с ним [Николаем Тургеневым] в первый раз осенью 1833 года в Женеве, за неделю перед его женитьбой. Тургенев знал меня по рассказам и письмам брата своего Александра. Я нашел в нем человека с небольшим лет под 40, слегка прихрамывающего, но гораздо менее светского, блистательного, симпатичного, каким был всегда старший его брат Александр, и в то же время более серьезного, глубже ученого, редко веселого, иногда пасмурного и задумчивого»[44].

С начала 1830-х годов Свербеев наслаждается жизнью в Москве, где вращается в кругу известных литераторов и профессоров университета. В этот круг входили братья И.В. и П.В. Киреевские, А.И. Кошелев, А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев, Д.А. Валуев, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, А.Н. Попов и др. Считая этот круг своим, он в то же время сформулировал для себя собственные принципы взаимоотношений с окружающими, которые позволили ему сохранить независимость мышления и поведения и одновременно поддерживать хорошие отношения со всеми, кто был ему интересен и симпатичен независимо от принадлежности к тому или иному общественному направлению.

На рубеже 1820–1830-х годов, испытывая потребность в постоянном личном общении со своими друзьями, Свербеевы решили жить «открытым домом», сделав его еще одним литературным салоном тогдашней Москвы.

---

[43] РО ИРЛИ. Ф. 598 (А.Д. Свербеев). Оп. 1. Д. 891. Л. 53.

[44] С. 491 наст. изд.

Правда, это не вызвало на первых порах понимания у его ближайших друзей. Н. М. Языков в письме к своим братьям в Симбирск, написанном осенью 1831 г., оценивает дом Свербеевых весьма скептически: «Я не знаю места, где было бы так скучно, как у них в доме. Этому причина – учтивость самая чопорная и чистоплотность духа хозяина, до того выдержанная, что к этому голландскому полотну боишься прикоснуться чем бы то ни было»[45].

Установить точную дату возникновения салона Свербеевых не представляется возможным. Но мемуарные и эпистолярные источники свидетельствуют, что к середине 1830-х годов у них уже был свой постоянный приемный день – пятница, о которой сообщают многие современники[46]. На «пятницах» у Свербеева бывали многие литературные и общественные знаменитости, читали новые произведения, а также много спорили[47]. Автор предисловия к первому изданию «Записок» Свербеева Д.А. Хомяков так описывает значение его салона в московской жизни того времени: «Начиная с 40-ых годов московская умственная жизнь принимает все более и более характер некоего “Возрождения” (Renaissance), и в нем дом Свербеевский, наряду с домом Елагиных и другими (напр., Сенявиных), сделался одним из очагов той умственной жизни, которая началась единением в общей любви к просвещению всех молодых сил и кончилась тем спасительным для русской мысли раздвоением, благодаря которому чисто русское направление созрело в борьбе с такими представителями космополитизма, каковыми были Герцен, Грановский, Белинский, Чаадаев и иные. Живое участие, которое принимал во всем умственном движении Д.Н., и его полное беспристрастие к лицам и убеждениям делали то, что именно у него так охотно собирались люди мысли и науки»[48].

Кроме литераторов, в салоне выступали и музыканты, причем весьма необычные. О неожиданных музыкантах пишет П.В. Киреевский Н.М. Языкову в письме, датированном 10 января 1833 г. : «Недели две тому назад я наконец

---

[45] Эпоха 1830-х годов в письмах Н.М. Языкова // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 279–280.

[46] Некоторые исследователи относят возникновение «пятниц» Свербеева к началу 1830-х годов: «В начале тридцатых годов возникли знаменитые “пятницы” у Свербеевых, где преимущественно происходили споры между разделившимися в конце сороковых годов западниками и славянофилами и где главным бойцом западного лагеря явился А.И. Герцен, во время московской его жизни с 1842 по 1846 год. Вскоре после революции сорок восьмого года Свербеевские вечера закрылись» (*Колюпанов Н.П.* Биография Александра Ивановича Кошелева: В 2 т. Т. 2: (1832–1856). М., 1892. С. 35).

[47] «Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, – и это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А.П. Елагиной» (*Герцен А.И.* Былое и думы // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 156).

[48] С. 6 наст. изд.

в первый раз слышал у Свербеевых тот хор цыган, в котором примадонствует Татьяна Дмитриевна, и признаюсь, что мало слыхал подобного»[49].

В их салоне собирались самые разные люди, и порой там происходили комические случаи. Об одном таком пишет П.В. Киреевский в письме Н.М. Языкову 12 октября 1832 г. : «Вообрази себе, например, что у Свербеевых, при большом обществе, Чаадаев входит своими важными и размеренными шагами, воображая, что его каждое движение должно произвести глубокий эффект, а Бартенев кричит ему навстречу: "А! Здорово, лысый доктринер!"»[50].

Молодые люди, которые в 1830–1840-е годы только делали первые шаги в обществе, с огромной теплотой вспоминали впоследствии салон Свербеевых. Один из них, Константин Дмитриевич Кавелин, через несколько десятилетий писал в мемуарном очерке, посвященном А.П. Елагиной: «Пишущий эти строки испытал на себе всю обаятельную прелесть и все благотворное влияние этой среды в золотые дни студенчества; ей он обязан направлением всей своей последующей жизни и лучшими воспоминаниями... Такой же благодатной средой был для нас салон Свербеевых, открывшийся, кажется, несколько позднее, чем у Авдотьи Петровны. В сороковых годах он уже был в полном блеске»[51].

В доме Свербеевых серьезные философские беседы и литературные чтения перемежались с карточными играми. «Алексей Степанович (Хомяков. – *М.Б.*) чуть не доказал Свербееву, что движение только обман чувств; что того не существует, чего он не знает, и пр. У них по утрам споры, ввечеру преферанс, ночью словопрения»[52].

Современники сообщали друг другу, что среди гостей Свербеевых видели М.Ю. Лермонтова. Ю.Ф. Самарин замечал в письме князю И.С. Гагарину: «Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе. Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых»[53].

Благодаря тому, что в салоне собирались разные люди, здесь всегда можно было узнать последние новости, происходившие в жизни общих знакомых. Например, С.П. Шевырев пишет Н.Ф. Павлову, который в первой половине 1850-х годов был сослан в Пермь: «Как ты в Перми отпразднуешь день твоего ангела? Хорошо, если бы к тому времени получил ты позволение возвратиться в Москву. А я вчера был порадован этою весточкой в гостиной Свербее-

---

[49] Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову. М., 1935. С. 33.

[50] *Киреевский И.В., Киреевский П.В.* Полн. собр. соч.: В 4 т. Калуга, 2006. Т. 3. С. 356.

[51] Авдотья Петровна Елагина // Русское общество 30-х годов XIX в.: Люди и идеи: (мемуары современников). М., 1989. С. 140.

[52] Из писем И.В. Киреевского к его матери А.П. Елагиной // РА. 1909. Т. 2, вып. 5. С. 114.

[53] *Самарин Ю.Ф.* Соч.: В 12 т. М., 1911. Т. 12. С. 56.

вых»[54]. Иногда здесь собирались люди, которые не были до этого знакомы: «Я, – писал В.П. Боткин А.А. Краевскому, – с Соловьевым не знаком, хотя и встречался с ним у Свербеевых»[55].

О вечерах в доме Свербеева упоминают не только славянофилы, но и западники. Николай Александрович Мельгунов сообщал в письме Михаилу Петровичу Погодину: «Понедельник, вечером, я был у Свербеевых: там были Павлов; Аксаков; Попов; Чаадаев, и никто не имел понятия о моей статье. А я готовился спорить и ее отстаивать»[56]. В декабре 1848 г. Самарин читал у Свербеевых свои «Письма об Остзейском крае». Автор предварительно приглашал своих друзей присутствовать при этом: «Завтра я буду у Свербеевых читать письма свои об Остзейском крае и усердно прошу вас, если имеете несколько свободных часов, пожертвовать их на слушание»[57]. Константину Сергеевичу Аксакову, который не смог прийти, Юрий Федорович Самарин рассказывает о прошедших чтениях в письме к нему: «Вчера вечером кончил я чтение моих писем об Остзейском крае у Свербеевых»[58].

Зимой 1850 г. семейство Свербеевых вводит новшество в своем доме – они начинают давать балы. Столь необычное изменение в укладе жизни дома, где любили больше интеллектуальные разговоры, чем развлечения, было связано с подросшими дочерьми, которым надо было искать подходящих женихов. Иван Сергеевич Аксаков писал Александре Осиповне Смирновой: «Е.А.С. [Свербеева] сделала визиты столь презираемой ею прежде графине Закревской, ибо стала вывозить теперь дочь свою в свет и сама дает балы, на которые приглашается вся светская дребедень. Впрочем, дан был еще только один бал и не совсем удачный…»[59]. Близкие знакомые, которые были постоянными гостями дома, фиксируют изменение привычек хозяев. Алексей Степанович Хомяков в письме к Александру Николаевичу Попову замечал: «У нас здесь ровно ничего нет нового. Все по-прежнему; только Свербеевы стали давать балы»[60].

В пореформенные годы в их доме обсуждают вопросы, связанные с изменениями, происходящими в жизни страны, земством и земским движением. Владимир Федорович Одоевский, ставший свидетелем этих разговоров, записывает в своем дневнике: «Обед у Дм. Свербеева для членов Серпуховского земства. Познакомился с Жуковым – мировым судьей Серпуховского

---

[54] Из писем к Н.Ф. Павлову его приятелей: Письмо С.П. Шевырева к Н.Ф. Павлову // РА. 1894. Т. 1, вып. 2. С. 218.
[55] Цит. по: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина: В 22 т. СПб., 1895. Т. 9. С. 117.
[56] Там же. С. 41.
[57] *Барсуков Н.П.* Указ. соч. СПб., 1894. Т. 8. С. 40.
[58] *Самарин Ю.Ф.* Соч. Т. 12. С. 201.
[59] Письма И.С. Аксакова А.О. Смирновой // РА. 1895. Т. 3, вып. 12. С. 443.
[60] Из писем А.С. Хомякова к А.Н. Попову // РА. 1884. Т. 2, вып. 4. С. 309.

уезда и Мошниным – стеариновым заводчиком. Эти господа весьма довольны состоянием Серпуховского уезда; народ меньше пьет и почти перестал ругаться матерщиной; к судам полное доверие; жалуются крестьяне на свои волостные суды и называют их лапотными»[61].

Одоевский фиксирует в дневнике, что у Свербеевых обсуждали и различные проекты преобразований: «Смирнов Ник. Мих. Давал мне читать у Свербеева свое предложение земству об учреждении по приходам (как последняя общественная единица) попечительств гражданских, по образцу духовных попечительств, из всех сословий с возложением на них школы, санитарной части и проч. – словом все, что земская управа исполнить по пространству расстояния не может»[62].

Семейная жизнь Свербеева шла своим чередом, рождались дети. Всего у Дмитрия Николаевича и Екатерины Александровны было пятеро сыновей и пятеро дочерей.

В 1829 г. в Киеве у них рождается первенец Николай. Получив хорошее домашнее образование, он в 1847 г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В годы учебы считался одним из лучших студентов. В сентябре 1848 г. министр просвещения граф С.С. Уваров, будучи в Москве, изъявил желание послушать публичное чтение студентами каких-либо произведений. Среди 12 избранных чтецов оказался и Николай Свербеев. Для своего выступления он взял тему об И.А. Крылове. М.П. Погодин, слушавший его выступление, так охарактеризовал его: «Прекрасный образ изложения, изящная простота, какое-то благородное спокойствие, самоуверенность при всей скромности, много литературно-блестящих мыслей и выражений – вот чем отличалось рассуждение Свербеева»[63].

Николай Дмитриевич окончил университет со степенью кандидата прав. И после окончания учебы надо было выбирать место службы. Общаясь с самыми разными людьми, которые посещали родительский дом, прислушиваясь к разговорам, которые велись в доме, он постепенно проникся атмосферой свободы и независимости, царившей в семье и в соответствии со своими представлениями о независимости начал строить карьеру. В 1851 г. Николай Свербеев отправился на службу в Восточную Сибирь в качестве чиновника для особых поручений при губернаторе Н.М. Муравьеве. Впечатление, произведенное на него ссыльными декабристами, оказалось сильнее, чем он ожидал. Об этом он поведал не родителям, а одному из близких друзей всей семьи Свербеевых: «Я провел здесь целую неделю, и, конечно, это время не забудется мною никогда. Увидать людей, о которых знал лишь понаслышке,

[61] *Одоевский В.Ф.* Дневник 1859–1869 // ЛН. М.; Л., 1935. Т. 22–24. С. 248–249.
[62] Там же.
[63] *Барсуков Н.П.* Указ. соч. СПб., 1896. Т. 10. С. 141.

о которых судил, следовательно, не так, как следовало, сблизиться с ними для молодого человека, начинающего жить, есть, конечно, дело великой радости!»[64]. Находясь на службе в Иркутске, он женился на дочери ссыльного декабриста Сергея Петровича Трубецкого Зинаиде. Умер Николай Свербеев в 1860 г.

Вторым по старшинству сыном был Александр (1835–1917). В 1856 г. он окончил Московский университет. Начал службу в Министерстве внутренних дел. В 1864 г. получил придворное звание камер-юнкера. 23 октября 1878 г. А.Д. Свербеев был назначен на губернаторскую должность в Самару. Период с 1878 по 1891 г. считается самым продуктивным и успешным в его служебной деятельности. Он создал себе репутацию просвещенного консерватора, который, с одной стороны, боролся с проявлениями народнического движения, а с другой, – много внимания уделял развитию школ, экономики и решению других проблем вверенной ему губернии. Об А.Д. Свербееве говорили как об администраторе с широким размахом деятельности, обладавшем способностью к тонкому критическому анализу, наблюдательностью, свободой от постороннего влияния и объективным отношением к делу. В 1891 г. он был переведен на службу в 4-й департамент Правительствующего Сената. О его доброте и радушии с восхищением пишет автор некролога, опубликованного в «Русской старине»: «Коренной москвич по рождению и воспитанию, дружески связанный с представителями лучших заветов людей 40-х годов, он умел сохранить и в “чопорном холодном Петербурге”, где, по словам одного писателя, “улицы всегда сыры, а сердца всегда сухи”, все милые свойства и бытовые привычки старого москвича. Его дом, скромно, но разумно обставленный, и его сердце были одинаково гостеприимны и осуществляли равенство задолго до того; как из него сделали избитый и неискренний лозунг»[65].

Третий сын Свербеева Владимир Дмитриевич (1836–1886), в отличие от своих братьев, после учебы в Московском университете выбрал военную карьеру. В службу вступил унтер-офицером в лейб-гренадерский Эриванский е.и.в. полк в январе 1856 г. Участвовал в войне с горцами. За отличие в боях был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. В 1863 г. уволен со службы по болезни. После отставки пытался жить самостоятельно, без помощи семьи, но наделал много долгов и после смерти Дмитрия Николаевича судился с остальными наследниками за долю в отцовских имениях.

Четвертый сын Дмитрия Николаевича – Дмитрий Дмитриевич (1845–1921) – учился в Германии, где окончил Академию сельского хозяйства. Затем служил на различных должностях в Министерстве юстиции. Впоследствии он получил чин камергера и служил курляндским губернатором.

---

[64] *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 513–514.
[65] РС. 1917. Т. 170. С. 33.

Пятый сын Дмитрия Николаевича – Михаил Дмитриевич (1848–1903) – служил в канцелярии киевского генерал-губернатора, а потом в Воронежской губернии, где познакомился со своей будущей женой Марией Вячеславовной Шидловской.

Старшая из дочерей Варвара Дмитриевна Свербеева (1831–1918) в 1854 г. вышла замуж за Льва Ивановича Арнольди. В 1860 г. она овдовела, и с тех пор она не выходила замуж. Остальные дочери Свербеевых Анна, Екатерина, Ольга, Софья не выходили замуж, а прожили всю жизнь с родителями.

В начале 1874 г. здоровье Дмитрия Николаевича Свербеева ухудшилось. Мучавшая его долгие годы болезнь обострилась, а к ней прибавилась еще тяжелая простуда. Свидетелем его болезненного состояния оказался старинный друг семьи Федор Васильевич Чижов. 19 января 1874 г. он записывает в дневнике: «Дмитрий Николаевич плох, к его болезни, раздражению в мочевом пузыре, прибавилась простуда. Где он успел простудиться, не выходя из своей комнаты, я не знаю»[66]. В дневниковой записи от 22 января 1874 г. вновь идет речь о болезни Свербеева: «Дмитрий Николаевич Свербеев все плох; сегодня он хотел совершить свое духовное завещание; он избрал свидетелями меня и Ив. Серг. Аксакова. Мы приехали к 7 часам вечера, приехал нотариус Поле, прибыл и священник – духовник Свербеева, но он сам спал, так что не решились его будить»[67].

Наблюдая пристально за жизнью семьи Свербеевых в эти тяжелые для них дни, Чижов делает одну очень любопытную запись: «Смерть Дм. Ник. разрубит семейный узел, не разрешит, а разрубит. Семейство чудное; все отдельные члены превосходны; но недостаток полной гармонии между главами семьи, между отцом и матерью, сделали то, что по всей семье нет [нрзб.]. Дети сильно любят отца, их всегда баловавшего; уважают его за его честность, благородство, ум и образованность. Мать уважают и за ум, и за прямоту, и за честность... Ее самовластие, горячность характера, безуступчивость, часто исключительность… наконец видимы»[68].

Мрачные прогнозы Чижова о смерти Дмитрия Николаевича Свербеева сбылись. Он скончался 13 февраля 1874 г. в 14.30. Ф.В. Чижов записал в своем дневнике: «Дай Бог, чтобы не разрушилась связь между членами его многочисленной семьи. Дай Бог, чтобы Катерине Александровне не пришлось испытать одиночество среди девяти сыновей и дочерей»[69]. Процедура похорон Свербеева, как об этом написал в своем дневнике Ф.В. Чижов, не обошлась без происшествий: «Третьего дня тело покойного Д.Н. было отправлено с почтовым поездом, и при нем Владимир и Михайло Дмитриевичи,

---

[66] НИОР РГБ. Ф. 332. Карт. 2. Д. 12. Л. 21 об.
[67] Там же. Л. 24.
[68] Там же. Л. 28 об.
[69] Там же.

со слугою покойника Александром. Этот поезд не мог поспеть к поезду, долженствовавшему отправиться из Орла, по Орловско-Грязской дороге, потому телу и его провожатым следовало ожидать весь вчерашний день до трех часов ночи. Сообразив это, мы рассудили так, чтобы отправиться всем остальным вчера со скорым поездом, и так как их всех было: Кат[ерина], Софья и Анна Дмитр[иевны], Алекс[андр] Дмит[риевич] с сыном Микой, Зинаида Сергеевна (вдовы Н.Д. Свербеева. – *М.Б.*), с двумя сыновьями, священник и гувернер… всего 16 человек, то поместить их удобно было бы трудно. Я, для большего их удобства, велел для себя прицепить директорский вагон, в котором легко могли поместиться 5 человек, если бы все были на деле распорядительными и могли бы спокойно спать. Но при распорядительности дамской ехало в вагоне директорском 6 и даже 7 человек, и почти никто не спал. Доехали хорошо. В Орле, в вагоне, в котором помещался гроб, отслужили молебен; там было довольно крестьян из Михайловского, и все отправились в 3 часа по Орловско-Грязской… дороге. Я телеграфировал, чтобы нам всем был завтрак в Серпухове и обед в Туле, да по рассеянности написал в Орел, а не в Тулу об обеде. В Серпухове и был завтрак, а в Тулу приезжали... там чай вместо обеда»[70].

В соответствии с волей Дмитрия Николаевича, высказанной в его завещании, он был похоронен в орловском имении Сетуха вместе с умершим раннее старшим сыном Николаем.

Через два дня после его смерти, 16 февраля 1874 г., Софья Дмитриевна Свербеева написала письмо П.И. Бартеневу и передала ему предсмертную волю отца: «Исполняя, Петр Иванович, приказание отца, обращаюсь в Вашем лице ко всем тем, которые могли бы пожелать почтить память его словом. Не раз повторил он мне и даже вписал в своих Записках, что просит после его смерти уважить его молчанием и не поминать его имени печатно»[71]. Единственное упоминание о его смерти появилось 23 марта 1874 г. в «Московских ведомостях». Там было напечатано следующее объявление: «В воскресенье 24 марта в сороковой день по кончине Дмитрия Николаевича Свербеева, в церкви Св. Николая, что на Песках (около Арбата), литургия начнется в $10^1/_2$ часов утра».



[70] НИОР РГБ. Ф. 332. Карт. 2. Д. 12. Л. 29 об.

[71] РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 566. Л. 136.



Б.П. Краевский

ПО МОСКОВСКИМ АДРЕСАМ АВТОРА «ЗАПИСОК»*

Дмитрий Николаевич Свербеев родился, прожил большую часть жизни и скончался в Москве. Многие уголки и дома этого города связаны с его именем. И они не могут быть нам безразличны, ибо хранят память об этом выдающемся москвиче, позволяют лучше, полнее понять его. К таким свербеевским уголкам можно отнести Арбат и его переулки, Собачью площадку и Никитские ворота, Страстной и Никитский бульвары, Малую Дмитровку и переулки Тверской. В этих местах старой Москвы Свербеев в разные годы жил, принимал гостей своего известного всему городу салона.

Московских адресов Дмитрия Николаевича мы знаем много – несколько десятков. Некоторые названы автором прямо на страницах «Записок». Часть адресов сообщил мне известный москвовед и знаток старой Москвы С.К. Романюк, которому я приношу сердечную благодарность за эту неоценимую помощь. Иные удалось установить по документам или косвенно – по мемуарам и запискам гостей свербеевского салона.

Свой первый московский адрес Д.Н. Свербеев называет уже в начале «Записок»: «Я же родился 8 сентября 1799 года в московском нашем доме на Арбате, где теперь военный окружной суд». Нечастое постоянство: сегодня, как и 200 лет назад, в этом доме размещается военная юстиция. Об этом говорит табличка на фасаде дома № 37 по Старому Арбату. Здание и сейчас бросается в глаза монументальной солидностью, оно свежеокрашено в приятные тона, но за внешним поновлением легко узнаешь типичный для допожарной Москвы облик богатого дворянского дома.

Мы не знаем точно даты его постройки и имени архитектора. Известно лишь, что «1796 года, 3 ноября генерал-майора Петра Николаевича Жеребцова жена Мария Александровна продала статскому советнику Николаю Яковлевичу Свербееву» этот дом с «принадлежащими ему службами и землей за 20 тысяч рублей».

Двухэтажный просторный дом с большим подвалом (поэтому на планах рубежа XVIII–XIX столетий он показан как трехэтажный, поскольку подвал считался тогда самостоятельным этажом) и прежде выходил фасадом на

* Статья, написанная до 1998 г. для переиздания мемуаров Д.Н. Свербеева, публикуется в авторской редакции с незначительной стилистической правкой.

Арбат, а за ним простирался большой земельный участок до самого «Кривого проулка» – это нынешний Кривоарбатский переулок. На этой земле, кроме главного дома, стояли «лицом» к Кривому проулку еще одноэтажный деревянный дом с мезонином и двумя флигелями, а также служебные постройки. Как и при многих московских домах, здесь были сад, огород. Сейчас сада, конечно, нет, но довольно просторный двор, более похожий на пустырь, сохранился.

Дмитрий Николаевич Свербеев пишет, что не помнит себя в раннем детстве и сохранил лишь смутные воспоминания о жизни в большом доме, поскольку ему не было еще и шести лет, когда «большой арбатский дом отец [Свербеева], видно, найдя его слишком обширным, продал, и мы перешли в небольшой очень домик, выстроенный на обширном дворе позади большого в Кривом переулке, в приходе церкви Николы в Плотниках».

Сегодня мы знаем то, чего, может быть, не знал Дмитрий Николаевич, когда диктовал свои «Записки», а именно текст купчей крепости на этот «большой арбатский дом». В документе говорится, что «21 марта 1805 года статский советник Николай Яковлевич Свербеев подарил Алексею Андреевичу Всеволожскому каменный о трех этажах дом за 1500 рублей».

Видимо, дело было не только в том, что отец автора «Записок» нашел дом «слишком обширным», тем более, что в документе недвусмысленно говорится: «подарил... за 1500 рублей». Точной побудительной причины такого дарения мы сегодня, разумеется, не знаем, но некоторые предположения высказать можно. Как известно из «Записок», отец их автора был деятельным масоном и даже возглавлял одну из масонских лож. Не для масонских ли нужд купил Н.Я. Свербеев большой дом на Арбате, который, кстати, вовсе не подходил ни его небольшому семейству, ни довольно скромному образу жизни. Возможно, что и куплен был дом не на собственные, а на масонские средства, а позже передан другому масону, за вычетом суммы, израсходованной на него отцом автора «Записок» из собственных средств. Не в этом ли секрет «дарения за 1500 рублей» дома, который за десятилетие до этого стоил в 15 раз дороже?

Впрочем, это только догадки. Так это было или иначе, но арбатский дом, в котором родился Д.Н. Свербеев, перешел в собственность статского советника А.А. Всеволожского. Несколько позже им владела купчиха Мария Федоровна Безносова, затем отставной гвардейский поручик граф Василий Алексеевич Бобринский – внук Екатерины II и ее фаворита князя Григория Орлова, отданный под негласный надзор московской полиции за то, что знал о существовании тайного общества декабристов, но не донес об этом властям.

В начале 1830-х годов хозяйкой арбатского дома на какое-то время стала «действительная тайная советница княгиня Екатерина Семеновна Гагарина».

Под этим титулом была тогда известна в Москве великая русская драматическая актриса Катерина Семенова. Это о ней пушкинские строки:

Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей дивной музы?
……………………
И славы русской луч угас?

Семенова была действительно славой русского театра. В расцвете сценического успеха – она играла на сцене Александринского театра в Петербурге – Семенова вышла замуж за князя Ивана Алексеевича Гагарина и переехала с ним в 1827 г. в Москву. А когда осенью 1832 г. она потеряла мужа, то, видимо, не захотела, а может быть, не смогла оставаться в доме, где еще недавно была счастлива, и купила продававшийся тогда арбатский дом. Здесь ее продолжали навещать друзья, чаще всего те, кто был так или иначе связан с театром, и среди них – С.Т. Аксаков. Не Сергей ли Тимофеевич, который в те годы дружил со Свербеевыми, посоветовал княгине сдать часть слишком большого для нее дома своему другу? Возможно, впрочем, что княгиня Гагарина и сама подумала о Свербееве – его салон в то время уже был известен в Москве.

Как бы то ни было, но в 1834 г. Д.Н. Свербеев снимает в доме Гагариной на Арбате «в бельэтаже 12 комнат второго этажа, флигеля 10 комнат с коридором и двумя по сторонам выходами, да на антресолях 6 комнат с коридором же». Так Дмитрий Николаевич на целый год возвратился в дом своего раннего детства, которое он провел в небольшом деревянном домике, выходившем на нынешний Кривоарбатский переулок, в том его месте, где сейчас, как бы «за спиной» большого арбатского дома, тянется продолговатый пустырь, поросший травой. На этом месте и стоял дом, где будущего автора «Записок» воспитывал его крепостной дядька, о котором Д.Н. Свербеев так тепло пишет в своих воспоминаниях.

Незадолго до наполеоновского нашествия и этот домик был продан, и семья переехала в другой, побольше, близ Молчановки, где Дмитрий Николаевич начал готовиться к поступлению в Университетский пансион. Отец намеревался отдать его туда осенью 1812 г.

Планы нарушила Отечественная война, пожар Москвы, в котором сгорел и этот дом близ Молчановки со всем семейным имуществом. Позже Свербеев напрасно искал место, где он стоял. Конец 1812 г. и половину следующего семья прожила в своем имении Солнышково под Серпуховом. И только осенью 1813 г., как пишет Дмитрий Николаевич, «приискав годовую квартиру около Тверских ворот напротив самой церкви Рождества в Палашах, переехали мы из Солнышкова в Москву».

Старинный городской район Палаши возле нынешней площади Пушкина хорошо известен москвичам. Здесь есть и Большой Палашевский, и Малый

Палашевский переулки. В Малом Палашевском переулке и стояла построенная в конце XVI столетия церковь Рождества Христова в Палашах, которую снесли в начале 1930-х годов. На ее месте сейчас школа. А напротив нее, там, где, как говорится в «Записках», Свербеевы подыскали себе первую после великого пожара московскую квартиру, высится четырехэтажный жилой дом № 4 постройки советского времени. Однако «напротив» – это и дом № 2, трехэтажное унылое здание второй половины или конца XIX в. За ним небольшой пустырь, поросший лебедой и крапивой, – такими, наверное, бывали здесь запущенные дворы и 100 лет назад, и 200. Не случайно, вспоминая об этом доме, Дмитрий Николаевич писал, что «парадный вход в него был с грязного двора по крутому крыльцу, пристроенному как-то боком и непокрытому...». Такими были они и чуть позднее – во времена детства русского поэта и критика Аполлона Григорьева, который родился совсем рядом, в нынешнем доме № 6 по Малому Палашевскому переулку, сильно сейчас перестроенному.

Словом, хотя Дмитрий Николаевич и указал место весьма точно, отыскать следы того самого дома, где жили Свербеевы почти 180 лет назад, сегодня, наверное, невозможно.

Зато доподлинно известно, что уже в следующем 1814 г. Н.Я. Свербеев купил «обгорелый дом» неподалеку от Никитских ворот с большим участком земли, выходящим сразу на две улицы – Большую и Малую Никитские. История этого дома сама по себе довольно интересна, и о нем стоит рассказать подробнее.

Каменное двухэтажное здание (дом № 42* по Большой Никитской) было построено в первой половине XVIII столетия для флотского капитана М.В. Ржевского. После 1744 г. и земля, и дом перешли к генералу Василию Ивановичу Суворову – крестнику и денщику Петра Великого, участнику переворота 1762 г., который привел на престол Екатерину II, а после его смерти в 1775 г. – к его знаменитому сыну великому русскому полководцу А.В. Суворову. Владел им Александр Васильевич до самой смерти, но в последние годы предоставил в полное распоряжение жене Варваре Ивановне. Правда, не совсем по своей воле. Полководец был в ссоре с женой, и та пожаловалась властям, что муж плохо ее содержит. Дело дошло до императора Павла I, и в декабре 1797 г. последовало высочайшее повеление Суворову предоставить своей супруге московский дом и 800 руб. годового содержания. Варвара Ивановна оставалась хозяйкой дома и после кончины Суворова. А когда в 1806 г. она умерла, владение перешло к крупному московскому чиновнику Н.А. Энишу. В пожар 1812 г. все деревянные постройки на участке, как, впрочем, и повсюду в округе, сгорели. Но стены каменного дома остались целы. Их-то вместе с участком и купил отец Д.Н. Свербеева на имя своей сестры. Дом был восстановлен быстро, и осенью 1814 г. семья поселилась здесь.

---

* Сейчас это дом № 46, стр. 1. (*Ред.*)

В «Записках» Свербеев не раз говорит об этом доме, но лишь однажды вскользь упоминает, что «по преданию, в нем родился великий Суворов». И фактическая неточность (полководец родился в другом месте), и тот факт, что Свербееву не пришло в голову убедиться в достоверности предания, говорит вовсе не о его невнимании к памяти военного деятеля России. Дело в другом: тогда в русском обществе не было еще того обостренного чувства историчности, которое появилось в конце XIX – начале XX в., тогда еще не виделась так бесспорно, как сейчас, мемориальная ценность зданий, вещей, вообще предметного мира. Не случайно даже такую реликвию, как суворовская шпага, специалистам лет 40 назад пришлось с немалыми трудами разыскивать среди множества образцов музейного оружия.

Поэтому-то, наверное, Д.Н. Свербеев и не придавал значения тому, что его дом в течение десятилетий был московским гнездом Суворовых. Но сейчас нам это не безразлично, мы иными глазами смотрим сегодня на этот старинный «суворовский» особняк. Ныне он выглядит «моложе своих лет», чему способствует позднейший декор, до неузнаваемости изменивший здание. Это хорошо видно даже за высокой оградой территории посольства Республики Нигерия, которое здесь размещается. А если перейти на противоположную сторону Большой Никитской, то на фасаде исторического дома можно увидеть мемориальную доску – беломраморный щит, на котором высечены слова: «Здесь жил Суворовъ». Памятный знак к 100-летию со дня смерти полководца установило здесь в 1900 г. Московское отделение Военно-исторического общества.

Отметим, что и среди последующих хозяев этого дома были люди, достойные внимания. Это, например, крупный московский купец М.Н. Сабашников, переселившийся в Первопрестольную из Кяхты, где он успешно торговал чаем. Племянники его, братья Михаил Васильевич и Сергей Васильевич Сабашниковы, стали основателями и владельцами знаменитого в свое время в России издательства. Михаил Никитич был в течение нескольких лет даже опекуном будущих издателей, когда те остались без родительского попечения. А после смерти М.Н. Сабашникова владельцем дома стал его сын Василий Михайлович, двоюродный брат издателей, рассказом которого о дедовской серебряной табакерке начинаются интереснейшие воспоминания Михаила Васильевича Сабашникова[1].

Именно этот, бывший суворовский и будущий сабашниковский, дом имеется в виду в записи, которая была сделана в свое время в исповедальной книге церкви Федора Студита за 1815 г. В ней говорится, что «в собственном доме полковничьей дочери Елены Яковлевны Свербеевой живет племянник ее университетский студент Дмитрий Николаевич Свербеев 16 лет».

---

[1] *Сабашников М.В.* Воспоминания. М., 1983. С. 35.

Вскоре после продажи бывшего суворовского дома – это случилось в 1817 г. – Д.Н. Свербеев, закончив университетский курс, уехал служить в Петербург, затем – за границу и вернулся в Москву на постоянное жительство лишь летом 1826 г. Сначала он поселился у своей тетки Елены Яковлевны, которая жила тогда в Мерзляковском переулке, а вскоре снял себе неподалеку и отдельную квартиру – «помесячно», как пишет он в своих воспоминаниях. Сохранился, однако, документ от 15 июля 1826 г., в котором говорится, что «титулярный советник ведомства... Коллегии иностранных дел Дмитрий Николаевич Свербеев нанял дом майорши Паговской Арбатской части № 228 в приходе церкви Федора Студита впредь на год».

Владение офицерской вдовы Марии Егоровны Паговской располагалось на том месте, где сейчас находится многоэтажный жилой дом № 13 по Мерзляковскому переулку. Сейчас это нелегко представить себе, но полтора столетия назад на переулок выходили глухие стены одноэтажных служб, между которыми был довольно широкий проезд во двор. Во двор же смотрели окнами два небольших деревянных дома с мезонинами. В одном из них и поселился Свербеев.

Однако до конца договорного срока он здесь не остался. И на то были серьезные причины. В последних строках «Записок» говорится: «В начале января 1827 года, не помню, 6 или 7 числа, я сделал предложение через тетку Марию Васильевну восемнадцатилетней княжне Екатерине, которая мне очень нравилась, и получил согласие». Дмитрий Николаевич собрался жениться, и небольшая холостяцкая квартира в доме Паговской его уже не устраивала. Поэтому 17 января 1827 г. Свербеев снимает на четыре месяца более просторную и солидную квартиру в доме «Тверской части № 224 в приходе церкви Воскресенья на Вражке». Принадлежал он бригадирше С.В. Обуховой и стоял в Большом Чернышевском переулке, который в советские времена назывался улицей Станкевича. Еще недавно на этом месте был небольшой пустырь рядом с домом № 17.

Как и многие состоятельные москвичи, не имевшие в городе собственного дома, Свербеев часто менял квартиры. Договор о найме заключался, как правило, на год, иногда продлевался, но чаще всего семья по истечении срока подыскивала себе новую квартиру, а домовладелец – новых жильцов. Поэтому частые перемены квартиры были обычным явлением среди людей круга Свербеева. Вспомним хотя бы десятки адресов С.Т. Аксакова, которые известны ныне его биографам.

В конце того же 1827 г. Дмитрий Николаевич переезжает на год в деревянный дом на Малой Дмитровке, принадлежавший коллежской советнице Е.Г. Болтиной, а в 1829 г. – снова в Большой Чернышевский переулок, на этот раз в дом князя П.А. Вяземского. Ныне этот дом отмечен мемориальной доской. Он хорошо известен москвичам – любителям истории города – и описан

в москвоведческой литературе. И все же коротко напомним, что оба здания, объединенные под № 9 по Большому Чернышевскому переулку, принадлежали в 1820–1830-е годы литератору и другу А.С. Пушкина князю Петру Андреевичу Вяземскому.

Вот несколько строк, посвященных этому дому, из интереснейшей книги С.К. Романюка «Из истории московских переулков»: «В мае 1821 года, по рассказу А.Я. Булгакова, хорошо осведомленного обо всех московских новостях, управитель Вяземского сделал ему славный сюрприз. Ничего не говоря, из сэкономленных, сбереженных доходов купил место в Чернышевском переулке и выстроил князю славный дом, каменный, тысяч в 40».

Князь П.А. Вяземский в течение многих лет находился в центре московской литературной жизни, активно участвовал в издании одного из лучших журналов того времени – «Московского телеграфа», хорошо знал всех представителей искусства и литературы… Первые посещения Пушкиным дома Вяземского – он, напоминаю, занимал нижние два этажа левого здания на этом участке – относятся к осени 1826 г. Тогда А.С. Пушкина в сопровождении фельдъегеря привезли в Москву из михайловский ссылки, и одним из первых, кого поэт посетил, был его давний друг Петр Андреевич. В этом доме состоялось чтение трагедии «Борис Годунов». В письме от 29 сентября Вяземский писал: «Сегодня читает он ее у меня Блудову, Дмитриеву».

В правом здании А.С. Пушкин, возможно, останавливался в свой приезд из Петербурга в Москву в августе 1830 г. «Он прожил здесь до начала сентября, уехав отсюда в Болдино»[2].

Если мы вспомним, что Д.Н. Свербеев снял квартиру у Вяземского в 1829 г., то с известной долей вероятности можно предположить, что он поселился именно в новом, только что отстроенном тогда двухэтажном доме, в том самом, где вероятнее всего останавливался в 1830 г. и Пушкин. Очень заманчиво предположить, что великий российский поэт и его ровесник, только еще мечтающий о своем литературном салоне, встречались здесь, беседовали. Нет никаких данных, которые хотя бы косвенно подтверждали факт такой встречи, но все же гипотеза, думается, имеет право на существование. А уж то, что знакомство с Вяземским, который и позже поддерживал со Свербеевым добрые отношения, расширило круг литературных знакомств нашего героя, не подлежит никакому сомнению.

На первый взгляд, и сегодня дом Вяземского выглядит почти как прежде – в этом может убедиться каждый, кто придет сюда и постоит хоть минуту перед зданием, где размещается ныне одна из московских молодежных театральных студий. Это здание в три этажа, хотя и перестроенное, и есть тот самый «дом-сюрприз», который первоначально был в два этажа, а позже

---

[2] *Романюк С.Ю.* Из истории московских переулков. М., 1988. С. 52–53.

надстроен. А чуть правее, через проезд, ведущий во двор, и сейчас стоит двухэтажный дом, законченный постройкой в 1829 г. Именно в нем, скорее всего, и снимал квартиру Свербеев.

Внешне дом как будто бы неплохо сохранился. Однако оригинальными остались лишь стены. Мне приходилось видеть этот дом в период капитального ремонта: крыши не было, а в пустом каре стен с глазницами окон высилась на два этажа громадная монолитная колонна печей, облицованных крупными плитами белого кафеля. Все остальное в этом доме сделано заново…

И в 1830-е годы Свербеевы продолжали часто менять квартиры. В 1831 г. семья живет в доме генеральши Глазовой (ныне Смоленский бульвар, № 26), в 1832-м – в доме бригадирши Цициановой (Садово-Кудринская, № 13). В 1834 г. Дмитрий Николаевич переезжает на Арбат, к княгине Гагариной – в дом своего детства, о котором мы уже говорили.

Зато последующие три года Свербеевы постоянно квартируют у действительной статской советницы графини Н.П. Головкиной на Никитском бульваре (Суворовский бульвар, № 8). Об этом доме хочется поговорить подробнее, хотя бы потому, что именно здесь Свербеевы принимали Александра Сергеевича Пушкина, что на этот раз подтверждается конкретными свидетельствами.

19 мая 1836 г. сестра поэта Николая Михайловича Языкова, близкого друга и дальнего родственника Д.Н. Свербеева, написала брату письмо, в котором сообщала, что 15 мая она была у Свербеевых на очередной «пятнице» (салон к тому времени уже стал непременной принадлежностью литературной жизни Москвы) и встретила у них Пушкина… В каких же залах принимал наш герой первого поэта России?

Владение Головќиной в интересующее нас время занимало большой участок между нынешним Суворовским бульваром и Калашным переулком, на котором стояло несколько жилых и служебных зданий. Из сохранившихся документов мы знаем, что Свербеев нанял у Головкиной «ее каменный трехэтажный дом». Это несколько облегчает поиски, поскольку домов в три этажа на участке было тогда всего два. Один из них представляет собой небольшую, в 29 квадратных саженей жилую надстройку над каретным сараем в глубине двора (это хорошо видно на плане 1837 г.), а другой был главным зданием усадьбы, которое в перестроенном виде сохранилось до наших дней. Это – известный всей Москве Дом журналиста. Если учесть, что графиня Головкина жила тогда в Москве тихо и скромно, что подтверждается некоторыми мемуарами, можно с большой долей вероятности предположить, что в наем она сдавала свой большой дом и что, следовательно, салон Д.Н. Свербеева размещался в те годы в залах нынешнего журналистского клуба.

Если так, то Пушкин, побывав в свой последний приезд в Москву на «пятнице» у Свербеева, вновь посетил уже знакомый ему дом. За несколько

лет до этого он бывал здесь у другого жильца графини Головкиной – своего друга, большого знатока и любителя литературы полковника С.Д. Киселева. Именно у него, по воспоминаниям П.А. Вяземского, Пушкин читал друзьям в 1828 г. свою только что написанную поэму «Полтава».

Год 1839-й и первую половину следующего Свербеевы жили на Страстном бульваре в доме, который прочно вошел в исторические сочинения как «дом Бенкендорфа». Действительно, это владение (ныне дом № 6 по Страстному бульвару) в начале XIX в. принадлежало суворовскому полковнику Ивану Ивановичу Бенкендорфу, который с годами перешел на гражданскую службу, получил в соответствии с тогдашними правилами следующий чин (вместо «полковника», что соответствовало 6-му классу Табели о рангах, произведен в «статского советника», который относился уже к 5-му классу) и служил какое-то время в Московском губернском управлении. И.И. Бенкендорфа (не нужно путать его с известным шефом жандармов времени царствования Николая I) знали в городе как большого знатока и любителя литературы. Он дружил с писателями, у него одно время жил И.А. Крылов, бывали М.М. Херасков, Н.М. Карамзин, часто происходили литературные собрания. В московский пожар 1812 г. дом Бенкендорфа по счастливой случайности уцелел, и в 1813 г. хозяин предоставил его для знаменитого в Москве Английского клуба.

Но к тому времени, когда в этом доме поселился Д.Н. Свербеев, он давно уже принадлежал другому хозяину. Однако москвичи по старой памяти все еще называли его «домом Бенкендорфа», точно так же, как старое здание нашей главной библиотеки старожилы все еще называют «домом Пашкова». Поэтому в литературе и сохранилось упоминание о значительных для русской литературы событиях в свербеевском салоне, случившихся в «доме Бенкендорфа», хотя в то время он принадлежал «бригадирше и кавалерственной даме 2-й степени Екатерине Владимировне Новосильцевой». Она и сдала Свербееву на год свой красивый одноэтажный на высоком цоколе дом с мезонином, выходящий фасадом на проезд у стены Страстного монастыря. Попасть в дом можно было через просторный двор, куда выходило парадное крыльцо с козырьком на кованной металлической решетке.

По этому крыльцу и поднимались 10 мая 1840 г. гости очередной свербеевской «пятницы». Самым выдающимся среди них были Гоголь и Лермонтов, видимо, познакомившиеся днем раньше на именинном обеде у Гоголя, где Лермонтов впервые читал москвичам поэму «Мцыри». Судя по записи в дневнике А.И. Тургенева, гости Свербеева разошлись тогда лишь в 2 часа ночи.

Нынешний пятиэтажный дом № 6 по Страстному бульвару, кажется, ничем не напоминает уютный особняк свербеевских времен. Но тот особняк не был разрушен – его просто встроили в нынешнюю громаду. В 1857 г. был рас-

ширен мезонин, превратившийся в сплошной второй этаж, а в 1930 г. здание надстроили еще тремя этажами, понадеявшись на прочность фундамента.

А Свербеевы все продолжали менять свои московские адреса. После лета, проведенного в уже упоминавшемся поместье Солнышково, Дмитрий Николаевич снимает квартиру в доме Н.И. Загряжского на Большой Дмитровке, который не сохранился, а осенью следующего, 1841 г. – дом у князя Ухтомского на Тверском бульваре.

И хотя на месте дома Ухтомских высится ныне громада многоэтажного здания (№ 7 по Тверскому бульвару), на этом не сохранившемся жилище нашего героя стоит остановиться несколько подробнее. Поскольку эта городская усадьба представляла собой замечательный образец московской архитектуры XVIII столетия, а ее главное здание – сохранившееся, но скрытое в глубине квартала, – даже вошло в созданные в 1801–1802 гг. «Альбомы партикулярных строений», составленные великим русским зодчим М.Ф. Казаковым. Эти «Казаковские альбомы», как их называли, до сего времени остаются важнейшим источником наших знаний об архитектуре Москвы второй половины XVIII в.

Историки архитектуры называют это владение городской усадьбой князя Н.М. Голицына по имени ее первого владельца, но ко времени нашего повествования она принадлежала князьям Ухтомским. Это был удивительно красивый и изящный ансамбль. По краям участка, несколько вытянутого вдоль Тверского бульвара, стояли, выходя на него торцами, два двухэтажных флигеля со скругленными углами и с изогнутыми в плане фронтонами, очень редко встречающимися в России. Скругленность углов флигелей видна, кстати, и сейчас, ибо они оказались в конце XIX в. как бы встроенными в большой дом, стоящий на этом месте поныне, – его углы также округлы. Между флигелями были выходящая на проезд бульвара красивая металлическая ограда на каменном цоколе и литые чугунные ворота в передний парадный двор. В глубине его стоял двухэтажный главный дом, а за ним был не видный со стороны бульвара задний двор со служебными постройками, колодцем и каменным погребом. От Малой Бронной усадьба была отделена глухим забором с воротами и калиткой, который тянулся там, где теперь сверкает вечерами подъезд известного московского театра.

Один из боковых флигелей, выходивших на Тверской бульвар (какой именно, установить сейчас трудно), Д.Н. Свербеев и нанял «впредь на год» 6 октября 1841 г. за 3 тыс. руб. Скорее всего, он прожил здесь не один год. Во всяком случае, сведения о следующем адресе Свербеевых в Москве датируются тремя годами позднее.

В исповедной ведомости храма во имя Иоанна Предтечи в Бронной части за 1844 г. указано, что «в доме паручицы Кротковой живет семья надворного советника Д.Н. Свербеева». И это – один из самых интересных московских домов, связанных с именем нашего героя.

Здание это известно москвичам как дом Литературного института на Тверском бульваре, а старшее поколение до сих пор не совсем оправданно называет его домом Герцена (Тверской бульвар, № 25).

Построил этот дом на рубеже XVIII и XIX вв. не известный нам архитектор, скорее всего, для крупного московского чиновника Б.П. Островского. Однако уже в 1806 г. владение покупает «действительный статский советник и действительный камергер Александр Алексеев сын Яковлев». У этого Яковлева и поселился в начале 1812 г., возвратясь из-за границы, его младший брат Иван Алексеевич Яковлев. Он привез с собой молоденькую немку Генриетту Луизу Гааг, уроженку Штутгарта, у которой через три месяца родился сын. Его назвали Александром и дали фамилию Герцен – незаконнорожденный, естественно, не мог носить фамилию отца.

Иван Алексеевич с семьей прожил в доме брата лишь несколько месяцев – началось вторжение Наполеона в Россию. Однако А.И. Герцен и позже бывал в доме, где родился. Сначала у своего двоюродного брата, к которому дом перешел после смерти старого хозяина, а позднее – у Свербеева в качестве гостя его уже очень знаменитого салона.

Этот дом, который вскоре перешел из рук потомка Яковлевых к «парутчице Надежде Сергеевой дочери Кротковой», и снял Д.Н. Свербеев, видимо, осенью 1843 г., и «долго там жил» со своей семьей. Именно к этому времени свербеевский салон, как свидетельствуют современники, достиг зенита известности и влияния.

Особняк на Тверском бульваре был, видимо, последним домом, который Д.Н. Свербеев снимал в Москве. Он давно уже решил обзавестись в городе собственным жильем и присматривал подходящее. Случай представился в конце 1840-х годов, когда князья Лобановы-Ростовские, владевшие большим участком земли, выходившим сразу на несколько арбатских переулков, решили разделить его. Один из образовавшихся участков Свербеев и купил, став, таким образом, владельцем дома всего в сотне метров от того места, где полвека назад родился.

Владение Свербеева в Большом Николопесковском переулке представляло собой довольно скромную городскую усадьбу с двухэтажным каменным домом, деревянным флигелем, разными службами, просторным двором и небольшим садиком, который, как и барский дом, выходил на переулок. Немного позже на месте этого садика Дмитрий Николаевич построил еще один дом – одноэтажный и деревянный, который будут называть в семье «детским».

Ни «детский» дом, ни другие одноэтажные постройки на участке не сохранились, но главный двухэтажный дом усадьбы дошел до наших дней, почти не изменив своего внешнего вида. Это тот самый дом № 15, которым переулок сегодня и заканчивается. Сразу же за ним высится громада министерского здания, выходящего на современный Новый Арбат.

Можно представить, каким был этот дом прежде: ухоженный, с чисто вымытыми стеклами особняк, перед ним – выметенный плиточный тротуар. Справа от дома на две с лишним сажени (около 5 м) тянулась металлическая ограда с широкой кованой калиткой посередине.

А левее особняка из-за металлической ограды смотрели на переулок восемь окон «детского» дома. Вход в него был со двора (точнее – два входа, два крыльца с деревянными навесами). Сразу за «детским» в глубине двора – деревянный дом слуг, а за ним и службы. Конюшня и каретный сарай скрыты от нас большим домом. За ним не виден и довольно просторный двор, посередине которого – приземистая постройка над собственным колодцем. Впрочем, воду из него не пили, она шла только на хозяйственные нужды…

Такой была во второй половине XIX в. эта небольшая городская усадьба, московское «гнездо» Свербеевых, где собиралась «вся Москва», где завсегдатаи салона и друзья торжественно и шумно отметили в 1869 г. 70-летие его гостеприимного хозяина, где Дмитрий Николаевич и скончался пятью годами позднее.

Но еще долгие годы друзья дома приходили сюда навещать Екатерину Александровну Свербееву, которая на два десятилетия пережила своего мужа. Она провела эти годы в окружении дочерей, четверо из которых не пожелали выйти замуж, остались в родительском доме и помогали матери в ее большой и полезной деятельности: оставшись без мужа, Екатерина Александровна, как и прежде, занималась благотворительностью. И она сама, и некоторые ее дочери входили в состав советов благотворительных школ и библиотек, финансировали их, сами занимались с детьми, подбирали книги для бесплатных библиотек Москвы, комплектовали за свой счет заводские и фабричные библиотечки для рабочих. В 1880–1890-е годы в доме в Большом Николопесковском переулке не раз заседали советы разных благотворительных обществ.

Перед кончиной Е.А. Свербеева распорядилась своим имуществом. Ее завещание первым среди обязательных тогда свидетелей подписал старинный друг семьи Иван Сергеевич Аксаков. В документе, между прочим, было написано: «…принадлежащий мне дом с землею в Москве (Пречистенской части, второго участка № 193) завещаю дочерям: Варваре Дмитриевне Арнольди, Екатерине, Ольге, Анне и Софии Дмитриевне Свербеевым, которых прошу дом этот продать и вырученную сумму разделить между собой на равные части…».

Наследницы поступили согласно желанию матери: в 1896 г. дом был продан «несовершеннолетнему князю Николаю Эммануиловичу Голицыну с согласия его попечителя». Последний хозяин бывшего свербеевского особняка жил в нем до 1917 г. Он оставил на участке лишь двухэтажный дом, а на месте всего остального, снесенного на рубеже веков, построил многоэтажные жилые дома, которые стоят здесь и по сей день.

...Таков краткий обзор сведений, которые дошли до нас о московских домах, где в разные годы жил Дмитрий Николаевич Свербеев – хозяин одного из самых известных и дольше других существовавших литературных салонов Москвы XIX столетия.

Эти страницы вобрали, конечно, далеко не все, что можно рассказать о «свербеевских» домах, а лишь то, что, на наш взгляд, может заинтересовать читателя, только что закончившего знакомство с «Записками» Дмитрия Николаевича Свербеева. Если кто-то захочет более подробно ознакомиться с историей этих зданий, он сможет найти интересующие его сведения в многочисленных книгах москвоведов*.



* Автор этой статьи – Борис Прохорович Краевский (5 августа 1929 – 16 августа 2004), инициатор публикации «Моих записок» Д.Н. Свербеева в серии «Литературные памятники», замечательный журналист и публицист, написавший несколько работ по истории Москвы и две приключенческие повести (в соавт. с Ю.Л. Лимановым). Он родился в семье филолога, профессора Русского института в Будапеште Прохора Демьяновича Краевского. В 1949 г. Б.П. Краевский вынужден был по политическим мотивам оставить учебу в Московском университете и позже много лет успешно сотрудничал в газетах «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Учительская газета». До 1962 г. он занимал пост заведующего отделом информации в «Литературной газете», затем перешел на ту же должность в ТАСС. Выучив за год чешский язык, он шесть лет работал заведующим отделом ТАСС в Праге. Выйдя в 1989 г. на пенсию, Б.П. Краевский возглавил редакцию альманаха «Дворянское собрание». При его участии вышло 10 номеров этого издания. Будучи потомком дворянского рода по материнской линии (по дальнему родству с Барятинскими), он живо интересовался деятельностью Российского дворянского собрания. Благодаря личному знакомству с князьями Голицыными принимал непосредственное участие в подготовке к публикации «Записок князя Кирилла Николаевича Голицына» (М., 1997) и имел возможность работать с семейным архивом Свербеевых, в котором сохранились фотографии и документы. Незадолго до своей кончины Краевский обратился к одному из членов редколлегии серии «Литературные памятники» С.О. Шмидту с инициативой переиздания «Записок» Д.Н. Свербеева и передал ему подготовленные материалы и иллюстрации. В архиве кн. Голицына сохранились архивные выписки для данной статьи, которые сделал для Краевского в 1985 г. известный москвовед С.К. Романюк из исповедных и метрических книг в фондах ЦИАМ.



Т.В. Медведева

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СВЕРБЕЕВ КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ МЕМУАРИСТИКИ

Обширные воспоминания Дмитрия Николаевича Свербеева, московского барина и отставного дипломата – один из наиболее заметных памятников отечественной мемуаристики второй половины XIX в., признанного времени расцвета мемуарного творчества в русском обществе.

Назвать их вновь открытыми было бы преувеличением – они неплохо известны исследователям благодаря отдельным публикациям в «Русском архиве» и «Вестнике Европы», а также изданию 1899 г. В XX в. неоднократно публиковались отрывки свербеевских мемуаров в тематических сборниках, посвященных Московскому университету, И.А. Крылову, Н.В. Гоголю и быту помещичьей России[1]. Они по праву стоят в одном ряду с широко известными воспоминаниями о первых десятилетиях XIX в., однако их безусловная ценность как литературного памятника и исторического источника (вместе с новыми привлеченными архивными материалами) позволяет вернуться к ним уже в XXI столетии.

Определенную ценность мемуарам придает и сама личность их автора. Дмитрий Николаевич Свербеев, образованный московский житель, не занимавший значительных государственных должностей, был знаком со многими современниками и многими уважаем. Сергей Михайлович Соловьев писал о нем в своих «Записках»: «...человек богатый, очень неглупый и образованный, любивший оригинальничать тем, что становился в оппозицию против порывов нашего зеленого общества, так склонного к порывам и способного доходить в них до смешного... Вообще Свербеев был человек почтенный, очень мне понравившийся по умеренности, сдержанности, столь редкой в нашем обществе, хотя, как сказано, он из этой умеренности любил делать

---

[1] См.: Воспоминания о студенческой жизни [в Московском университете]. М., 1899; [Отрывок без заглавия] // Помещичья Россия по запискам современников. М., 1911. С. 63–75, 151–176; *Соловьев И.М.* Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. СПб., 1914. Вып. 1; Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956; И.А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982; Гоголь в воспоминаниях и письмах Свербеевых // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: В 3 т. / Подгот. изд. И.А. Виноградов. М., 2013. Т. 3. С. 844–858 (воспоминания и письма Свербеевых о Гоголе ранее фрагментарно были опубликованы в кн.: Гоголь в неизданной переписке современников (1833–1853) // ЛН. М., 1952. Т. 58: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. С. 746–750 и др.).

парад»[2]. Борис Николаевич Чичерин замечал, что он «был человек весьма недюжинного, тонкого ума, образованный, с живыми интересами, с положительным и несколько скептическим взглядом на вещи»[3]. А неоднократно публиковавший статьи Свербеева П.И. Бартенев называл его «незабвенным», «многоначитанным» и писал о нем как о человеке «трезвого ума и деятельного сердца»[4].

История данной публикации, во многом следующей за первым и единственным изданием «Записок» Д.Н. Свербеева 1899 г., началась с инициативы Бориса Прохоровича Краевского (1929–2004), журналиста, популяризатора исторических знаний, главного редактора альманаха «Дворянское собрание», решившего в конце 1980-х – начале 1990-х годов подготовить переиздание мемуаров Д.Н. Свербеева[5]. Параллельно с работой над воспоминаниями Свербеева им были изданы «Записки князя Кирилла Николаевича Голицына» (заметим – правнука мемуариста Свербеева), увидевшие свет в 1997 г., и книга «Лопухины в истории Отечества (к 1000-летию рода)»[6].

С идеей переиздания воспоминаний Д.Н. Свербеева Краевский обратился в редколлегию серии «Литературные памятники» и лично к Сигурду Оттовичу Шмидту (1922–2013) уже в 2003 г. и, обсудив перспективы предстоящего издания, они пришли к идее необходимости полноценной комментированной публикации (а не простого переиздания с кратким научно-популярным комментарием). На этом этапе к работе были привлечены автор этой статьи и, позднее, М.В. Батшев, закончившие работу Б.П. Краевского уже без него и без С.О. Шмидта, деятельно руководившего подготовкой издания почти до самого его завершения. Светлой памяти Б.П. Краевского и С.О. Шмита посвящают составители эту книгу.

Архивные разыскания, необходимые для полноценного переиздания, позволили обнаружить немало рукописей, прямо или косвенно связанных с «Записками» Д.Н. Свербеева[7]. И, что наиболее интересно, оказалось, что изданный в 1899 г. текст воспоминаний был далеко не полным.

---

[2] Цит. по: *Соловьев С.М.* «Записки» // Муравьев В.Б. Тверской бульвар. М., 1996. С. 78 и др.

[3] *Чичерин Б.Н.* Воспоминания // Русские мемуары: Избранные страницы (1826–1856). М., 1990. С. 101.

[4] [*Бартенев П.И.*] Из московской жизни сороковых годов: Дневник Елисаветы Ивановны Поповой // РА. 1911. № 7. С. 1, обл.

[5] Б.П. Краевский опубликовал краткую биографическую статью о Д.Н. Свербееве: Краевский Б. Дмитрий Николаевич Свербеев // Куранты. Историко-краеведческий альманах. М., 1987. Вып. II. С. 211–217. Салону Свербеевых была посвящена глава в его книге «Тверской бульвар, 25» (М., 1982. С. 24–36, глава «В пятницу у Свербеева»). Им же в 1990-е годы была подготовлена москвоведческая статья «По московским адресам автора "Записок"», которая вошла в настоящее издание (С. 662–674).

[6] *Голицын К.Н.* Записки князя Кирилла Николаевича Голицына / Подг. текста, сост., предисл., примеч. Б.П. Краевского. М., 1997; *Краевский Б.П.* Лопухины в истории Отечества (к 1000-летию рода). М., 2001.

[7] Работа по подготовке издания и сопутствовавшие ей архивные поиски велись при поддержке гранта РГНФ № 12-01-00367.

В фонде Свербеевых в РГАЛИ были найдены три тома рукописи мемуаров (предположительно состоявшей из четырех томов, судя по объему материала) в копии, сделанной для распространения среди родных и друзей семьи. Также в архивах нашлись рукописные варианты почти всех мемуарных очерков, дополняющих основной текст воспоминаний. Поиски велись как в двух основных фондах семьи Свербеевых: Ф. 472 в РГАЛИ (Свербеевы) и Ф. 598 в РО ИРЛИ (А.Д. Свербеев), так и в фондах друзей и знакомых семейства. Рукописная копия очерка о П.Я. Чаадаеве, например, была найдена в фонде Ф.В. Чижова, друга и душеприказчика Д.Н. Свербеева (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25), а материалы, дополняющие очерк об А.И. Герцене (письма мемуариста о смерти и похоронах Герцена), – в фонде «Русского архива» в ОПИ ГИМ (Ф. 445. Ед. хр. 204. Л. 262–265)[8].

Сразу стоит оговориться, что, несмотря на наличие нескольких автографов мемуарных набросков Д.Н. Свербеева, основной текст «Записок» и большинство отдельных очерков хранятся в фондах в списках. Эти списки были сделаны либо родными мемуариста, в первую очередь, дочерью Софьей Дмитриевной (которая записывала за отцом воспоминания в последние годы его жизни), либо переписчиками, которым заказывали копии родственники и друзья для распространения и чтения. Почерк самого Дмитрия Николаевича, не слишком разборчивый в зрелые годы, к старости стал и вовсе нечитаемым, и лишь немногие близкие без труда прочитывали и заботливо переписывали те фрагменты его наследия, которые считали важными (так, например, была скопирована яркая, богатая зарисовками общественной жизни переписка Д.Н. Свербеева с дочерью Софьей в 1868–1869 гг.).

Сравнение рукописных текстов, сохранившихся в архивах, с их опубликованными версиями выявило многочисленные расхождения. Часть из них связана с сокращением текста, удалением при подготовке публикации различных «отступлений» – политических, экономических и исторических экскурсов, сопровождавших повествование. Другая часть изъятий из текста при публикации была, очевидно, сделана по этическим соображениям. Многие резкие оценки и характеристики, вместе с сопровождавшими их объяснениями и рассказами (иногда драматичными, а иногда и анекдотическими), были исключены из текста при подготовке публикации 1899 г. Строго говоря, сам Д.Н. Свербеев вменил в обязанность дочери подобную деликатность, предполагая, что какая-то часть воспоминаний будет издана: «Я уверен, что участница в этом труде [С.Д. Свербеева], уважая чувство приличия, никогда

---

[8] Здесь стоит еще упомянуть о фонде Свербеевых в Государственном архиве Орловской области (Ф. 958. 2 ед. хр., составляющие опись документов архива Н.Д. и З.С. Свербеевых) и фонде старшего сына Д.Н. Свербеева, Николая Дмитриевича, в Государственном архиве Иркутской области (Ф. 774. Н.Д. Свербеев), однако эти материалы не были вовлечены в работу над данной публикацией.

не употребит во зло прав своих на “Мои Записки”, никогда не передаст печати ничего из них лишнего и вообще поступит в этом отношении не без воли матери и по согласию со своими братьями и сестрами»[9].

При публикации 1899 г. из того текста, который нам известен по рукописям РГАЛИ, было изъято (или – гораздо реже – заменено) довольно многое – по примерным подсчетам более пяти печатных листов текста (32 крупных фрагмента и десятки небольших фраз). Нельзя утверждать, что все исключенное было либо крамольным, либо чрезмерно острым. Большие фрагменты изымались, очевидно, по причине их «не-мемуарности». Д.Н. Свербеев позволял себе большие отступления от собственно воспоминаний: это были экскурсы в прошлое семьи (вплоть до XVI в.), размышления о крепостном праве, большой очерк об И.А. Каподистрии и замечания к биографии Ф.С. Лагарпа.

Но в количественном отношении преобладают, безусловно, купюры этического характера, смягчающие резкие характеристики многих современников. От коротких – «нарумяненный, пожилой взяточник крупных размеров» (о родственнике М.А. Обрескове, с. 749), «доносчик по любви к искусству и отъявленный взяточник» (о П.И. Голенищеве-Кутузове, попечителе университета, с. 729), «мот, игрок, любил жизнь рассеянную и веселую, находился всегда в долгу» (о начальнике-дипломате П.А. Крюднере, с. 806), «старый волокита, красивший волосы и употреблявший румяна и белила, был в то же время одним из самых отчаянных лгунов, каких я только знал на свете» (о Н.А. Норове, дяде А.С. и В.С. Норовых, с. 754) – до развернутых – «Жена Яковлева… в это время… занималась разорением в силу своих любезностей одного богатого старенького холостяка, имевшего под Орлом порядочное имение… Мать губернаторши, вдова друга моего отца, была настоящая яга-баба» (о семействе орловского губернатора П.И. Яковлева, с. 718), «это единственная женщина из всех встреченных мною, которую умный и энергический муж обратил к честной правильной жизни, не смотря на то, что она вышла за него нехотя, а прежде замужества, живя в чужих домах без отца и без матери, вследствие легкомысленного воспитания, ею полученного, подвергалась различным неблагоприятным увлечениям» (об А.П. Языковой (в замуж. Биланд), дочери П.М. Языкова, с. 794) и др. Были убраны, например, эпитеты: «полуварварское племя» в адрес греков, живущих в Крыму, и «беспутный» и «погибающий в Париже» о разорившемся С.Д. Полторацком, а также общеизвестное ныне именование М.Н. Муравьева «литовским проконсулом-вешателем» (с. 705, 753, 739). Остались за рамками печатного издания и не слишком скромные воспоминания о салоне С.Д. Пономаревой (с. 747), впрочем, и не слишком оригинальные.

---

[9] Цитата из вступительного слова Д.Н. Свербеева к «Запискам» (с. 701 наст. изд.). Далее ссылки на материалы, опубликованные в наст. изд., даны в тексте.

Несмотря на наличие рукописных версий «Записок», в основу данной публикации все же был положен текст, вышедший из типолитографии товарищества И.Н. Кушнерева в конце XIX в.

Все смысловые разночтения, выявленные по рукописям, не включались в текст «автоматически». Они даны в примечаниях к соответствующим фразам основного текста, откуда были исключены (или изменены). Небольшие разночтения, состоящие из нескольких слов или фраз, раскрыты в самих примечаниях со ссылкой на рукопись, а более крупные части текста, нередко требующие развернутых комментариев, помещены в раздел «Фрагменты». Таким образом, была сохранена уже известная читателям и исследователям структура текста, а разночтения представлены зримо и четко и доступны для отдельного рассмотрения.

Отказ от идеи публикации текста воспоминаний в настоящем издании по рукописям обусловлен несколькими причинами. Первой и основной является неполнота рукописного текста в целом. В найденных трех томах «Записок» содержится около трех четвертей основного текста воспоминаний, и при подготовке его к публикации как основного неизбежно возникла бы необходимость восстановления оставшейся четверти текста по печатному изданию. Это же относится и к части дополнительных очерков. Подобное «комбинирование» в корне противоречит современным археографическим принципам.

Второй значимой причиной является структура самого рукописного текста воспоминаний, являющегося писарской копией (сделанной с рукописи С.Д. Свербеевой для знакомых семьи). В ней содержатся многочисленные несогласованные фразы, следующие из ее «стенографического» характера, явно заметны многочисленные описки, ошибки и сомнения переписчика[10]. Неверно прочтенные и переписанные фамилии, пропуски в тексте под неразобранные имена и фразы, неверно прочитанные окончания слов, меняющие смысл иных фраз, нередко – пропуски под выход-

---

[10] Например, особенно заметны несогласованные фразы в Фрагменте 20.

Нередко встречаются ошибки в словах на иностранных языках, неверно написанные имена и фамилии. Так, французский Людовик Наполеон (из черновика) преобразовался в своего предшественника Людовика Филиппа в писарской копии (Фрагмент 28, с. 605), у «усатой княгини» Голицыной возникло неверное отчество «Владимировна», перешедшее в публикацию 1899 г. (с. 753–754), французские банкиры братья Ливио из-за неверно прочтенной фамилии, написанной по-французски (Livio), стали братьями Лиллио (с. 183). Часть неверно разобранных фамилий и названий городов перешла в публикацию 1899 г. и была исправлена в наст. изд. без дополнительных пояснений.

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные ошибки в написании французских слов, причем здесь неграмотность переписчика порой наслаивается на не слишком совершенный французский Софьи Дмитриевны Свербеевой, неплохо знавшей этот язык, но писавшей с ошибками, особенно «стенографируя» за отцом, владевшим французским гораздо лучше.

ные данные тех книг и статей, о которых упоминает мемуарист, – все эти шероховатости вместе с несогласованными фразами были в большинстве своем сглажены при подготовке текста к публикации С.Д. Свербеевой. Фамилии иностранных знакомых были разобраны и вставлены, ссылки на издания, пропущенные при диктовке, восстановлены, а необходимая тексту минимальная редакторская правка внесена. Софья Дмитриевна также восстановила полный текст очерка о пожаре Москвы в 1812 г., поскольку в публикации «Вестника Европы» 1872 г. он был несколько урезан из соображений цензуры.

Несмотря на то, что в распоряжении составителей было и несколько черновых автографов Д.Н. Свербеева (это некрологи М.П. Дохтуровой и А.П.Оболенского, краткое вступление мемуариста к «Запискам», заметки о восстании декабристов и др.), основывать публикацию на этих автографах было бы также затруднительно. Во-первых, по причине их чернового характера: неоконченные фразы, многочисленные исправления, разные варианты никак не способствуют целостному восприятию текста. К тому же при сопоставлении с печатной версией 1899 г. заметно, что вся правка отца по тексту была учтена С.Д. Свербеевой при публикации. Во-вторых, в силу плохой читаемости почерка Д.Н. Свербеева в преклонные годы («хирагра» давала себя знать, и обращение к помощи младшей дочери не было просто прихотью мемуариста). Это было замечено еще публикаторами фрагментов его заметки о смерти Н.В. Гоголя, которые назвали автограф Свербеева «малоразборчивым, местами совсем не поддающимся расшифрованию»[11], тогда как это был еще умеренно читаемый почерк Дмитрия Николаевича 1850–1860-х годов, ставший к 1870-м гораздо менее разборчивым.

Несколько очерков, дополнявших публикацию 1899 г., не удалось найти в рукописях («Заметка об отношении императора Александра Павловича к католичеству», «Воспоминания об А.И. Герцене»). Для них публикации XIX в. – единственный вариант текста. Другие очерки имеются в нескольких разных черновых версиях самого Д.Н. Свербеева, однако ни одна из этих версий не является полной и окончательной – как правило, это фрагменты и наброски. В этом отношении обращает на себя внимание очерк о восстании декабристов (с. 537–546): опубликованный в 1899 г. текст не удалось найти в рукописи, однако в черновиках сохранились наброски другого текста о декабристах, включенного в повествование о событиях 1825–1826 гг. и не попавшего в издание 1899 г. Наиболее полная версия этой черновой вставки о декабристах приведена в настоящем издании как дополнение к очерку о декабристах (с. 638–640).

В итоге составители основывались на том, что рукописный текст, обнаруженный в архивах, хотя имеет безусловную источниковедческую ценность,

---

[11] [Фрагмент о смерти Н.В. Гоголя] // ЛН. Т. 58. С. 748.

все же не столь ценен в тестологическом отношении, чтобы, учитывая всю его неполноту и значительную неавтографичность, публиковать его как основной в серии «Литературные памятники». Более целостный, хорошо известный исследователям и удобный для чтения текст публикации 1899 г. был положен в основу настоящего издания, а все смысловые разночтения, дополнения и прочие результаты сопоставления его с рукописями, необходимые текстологам и источниковедам, приведены максимально подробно в примечаниях и дополнительных материалах.

Никак не соотносятся с публикацией 1899 г. лишь три дополнительных мемуарных очерка: о В.Ф. Одоевском (который только планировали включить в издание 1899 г.), о приезде великой княгини Елены Павловны в Серпухов и заметка без начала и конца о смерти Н.В. Гоголя. Очерк о Елене Павловне был предварительно опубликован в 2012 г.[12], а материалы о Н.В. Гоголе публиковались фрагментарно, со значительными купюрами, в сборнике «Литературное наследство» (к 100-летию смерти Гоголя в 1952 г.) и характеризовались как «иронически-недоброжелательные» по отношению к Гоголю; полностью заметка о последних днях Гоголя была издана почти одновременно с настоящим изданием в фундаментальной антологии «Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников» (М., 2013. Т. 3)[13]. Эти материалы помещены в книге вслед за очерками, публиковавшимися в 1899 г., и завершают цикл дополнительных мемуарных произведений Свербеева.

Текст воспоминаний удалось дополнить за счет публикации фрагментов переписки Д.Н. Свербеева. Сами эти фрагменты зачастую содержат те сведения и рассуждения, которые мемуарист из соображений самоцензуры не включил в «официальные» воспоминания, предназначенные для широкой публики. Таковы, например, два письма из Парижа к родным о смерти А.И. Герцена, сопровождавшие очерк Свербеева о нем, присланный для «Русского архива» в начале 1870 г. (С. 631–633), письма жене и дочерям из Москвы в феврале 1852 г. о смерти Н.В. Гоголя и событиях, сопровождавших его погребение, значительно дополняющие черновую заметку о том же (С. 858–859), или же письмо Ф.В. Чижову о семье Языковых, родственных Свербееву (С. 740–741).

Чрезвычайно интересным для понимания разницы в восприятии одних и тех же событий в 1820-х и 1870-х годах становится сопоставление воспоминаний Свербеева о поездке в имение перед вояжем в Европу в 1821 г. и впечатления от этой поездки в имение, изложенные живо и восторженно в письме к Языкову (С. 262, 784, примеч. 62).

---

[12] Воспоминания о великой княгине Елене Павловне / Подгот. публ. М.В. Батшев, Т.В. Медведева // Подмосковный летописец. 2012. № 2. С. 73–77.

[13] См.: ЛН. Т. 58. С. 748–750; [Воспоминания о последних днях жизни Гоголя] // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Т. 3. С. 849–852.

Несколько слов нужно сказать о принципах комментирования мемуаров. Воспоминания Д.Н. Свербеева, посвященные событиям и лицам второй половины XVIII – первой половины XIX в., содержат почти 2000 имен современников (как старших, так и младших по отношению к автору). И почти все упомянутые лица снабжены краткими, а иногда и исчерпывающими характеристиками. Большинство из них были не знаменитыми, но все же заметными (хотя бы малозаметными) людьми своего времени. О многих лишь у Д.Н. Свербеева остались опубликованные личностные воспоминания. В настоящем издании была сделана попытка установить большинство упомянутых лиц и дополнить (а иногда – подтвердить) сказанное мемуаристом краткими биографическими данными в примечаниях. Не всех персонажей повествования удалось установить абсолютно точно – о некоторых можно говорить лишь с долей вероятности, однако и такой вероятностью не стоило пренебрегать, оставляя имя вовсе без комментария.

В некоторых случаях работа над комментированием сложных генеалогических связей, изложенных Свербеевым, помогла выявить ошибки в известных трудах по генеалогии (например, о роде Обресковых в изд.: *Руммель В.В., Голубцов В.В.* Родословный сборник русских дворянских фамилий: В 2 т. СПб., 1887. Т. 2 – см. с. 707, примеч. 82), в других – установить недостоверность сведений самого мемуариста (о недолгом браке его отца с Е.А. Раевской см. с. 704, примеч. 47).

В то же время объем рукописи не позволил подробно прокомментировать некоторые темы, затронутые мемуаристом: заметки об имениях и земельных отношениях с соседями, события европейской истории и политической жизни. Многие страницы воспоминаний Д.Н. Свербеева можно дополнить и расширить свидетельствами его современников, однако здесь также пришлось ограничиться лишь небольшими цитатами в отдельных комментариях. Исключение было сделано только для высказываний самого мемуариста, сделанных за рамками «Записок», – в письмах и заметках, сохранившихся в архивах.

Также было решено снабдить мемуары, кроме именного, и географическим указателем, поскольку в своих путешествиях по Европе и России Свербеев посетил немало интересных мест и о многих из них написал достаточно подробно. При этом он осознанно избегал описаний общеизвестных достопримечательностей, замечая только: «Дорогу в Шамуни и самое это местечко описывать не берусь, оно слишком известно многим тысячам путешественников, а не бывавшие там знают о нем или могут узнать через множество книг, описывающих Швейцарию» (с. 233). «Парижа, конечно, описывать я не буду: он слишком всем известен» (с. 213), – пишет Свербеев в другом месте. Тем ценнее описанные в «Моих записках» географические редкости, лежащие на периферии маршрутов русских путешественников.

Данное настоящей книге название «Мои записки» – оригинальное. Именно так озаглавлены тома рукописей, хранящиеся в архиве. Оно же значится в публикации 1899 г., после предисловий, открывая собственно мемуарную часть обоих томов. И хотя знатокам мемуаристики более привычным видится название труда Д.Н. Свербеева – «Записки», закрепившееся в библиографии за книгой 1899 г., – это небольшое изменение поможет отделить две публикации одного текста, во многом схожие, но имеющие и существенные отличия.

При подготовке публикации составители стремились сохранить грамматическое своеобразие языка мемуариста, языка образованного «русского европейца» середины XIX в. Орфография и пунктуация текста приближены к современным. Устраняются, в частности, прописные буквы в середине фраз (Император, Университетский Благородный пансион, Московский и т.п.), если такое написание не несет особой смысловой нагрузки (как в случаях с богословскими терминами, где исключение прописных букв мешает зачастую пониманию текста – здесь прописные буквы были сохранены). Сохраняется написание, отражающее произносительные нормы XIX в. (Лудовик, Зиновей, Тюльерийский сад и т. п.). Устранен курсив как средство обозначения названий изданий (смысловой курсив автора сохранен). Названия заключены в кавычки в соответствии с современными нормами. Переводы иноязычных фраз (не переведенных самим мемуаристом в тексте) даются подстрочно, а в отдельных случаях – в квадратных скобках сразу за фразой. Примечания без указания автора принадлежат составителям издания, в иных случаях автор указывается.

Все примечания, имевшиеся в издании 1899 г., публикуются подстрочно (кроме отсылок к номерам «Приложений», следующих за текстом). Редакционные конъектуры заключены в квадратные скобки. Очевидные опечатки исправлены без особых указаний на это. Все даты даются по старому стилю.

В разговоре о наследии Д.Н. Свербеева необходимо подробнее остановиться на складывании всего мемуарного комплекса и истории его публикации в XIX в.

В данном издании дополнительные мемуарные очерки размещены вслед за текстом самих «Моих записок» не в хронологической последовательности, а в том порядке, в каком они даны в публикации 1899 г. – в порядке упоминания в тексте описываемых лиц и событий (в порядке, выдержанном весьма условно, – не все приложения отнесены к первому упоминанию в тексте).

Первым опытом мемуарной публикации стали для Д.Н. Свербеева некрологи близких ему А.П. Оболенского и М.П. Дохтуоровой, написанные и помещенные в «Московских ведомостях» в 1852 г. До того Дмитрий Николаевич уже публиковался как переводчик А. Вильмена в «Телескопе»[14] в 1831 г.

---

[14] Христианское красноречие в IV веке: Из Вильменя // Телескоп. 1831. Ч. 4. № 13. С. 3–18. Этот перевод был подготовлен для издания В.И. Оболенского «Избранные места из св. Иоанна Златоуста».

и «Европейце» И.В. Киреевского[15] в 1832 г., однако самостоятельных трудов печатать не решался.

С 1868 по 1872 г. Дмитрий Николаевич публикует в «Русском архиве» целую серию различных материалов, так или иначе соотносящихся с его воспоминаниями[16]. Большинство из них создавались одновременно с основным текстом «Записок» и во многом его дополняют. Некоторые из них посвящены памяти ушедших знакомых, другие являются откликами на выходящие историко-полемические статьи. Открывают этот мемуарный цикл написанные в 1856 г., а опубликованные лишь 12 лет спустя «Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве» (с. 518–532), хорошем знакомом и родственнике Свербеевых.

В 1870 г. П.И. Бартенев опубликовал сразу три заметки Д.Н. Свербеева: краткую «Заметку о смерти Верещагина» (с. 483–485), взвешенные «Воспоминания об А.И. Герцене» и своего рода ответ на брошюру И.С. Гагарина «Заметку об отношении императора Александра Павловича к католичеству» (с. 533–536).

В следующем 1871 г. Д.Н. Свербеев опубликовал в «Русском архиве» две больших работы: «Первая и последняя моя встреча с А.С. Шишковым» (с. 509–517) и некролог «Н.И. Тургенев» (с. 490–501).

Выводя за рамки основного мемуарного текста темы, неуместные или лишние в воспоминаниях, и публикуя их в периодике, Дмитрий Николаевич всегда помнил о целостности своего жизнеописания. В 1871 г. Свербеев отказался публиковать в «Русском архиве» свое письмо к С.Т. Аксакову, посвященное «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголя. «Не нахожу я достаточной причины печатать письмо к С.Т. Аксакову. Я б этим испортил собственные Записки… на страницах журнала нет причины подобным пись-

---

[15] *Вильмень*. Император Иулиан // Европеец. 1832. № 1. С. 38–47. Это перевод Д.Н. Свербеева статьи французского критика и историка Абеля Франсуа Вильмена (1790–1870): *Villemain A.F.* De L'Empereur Julien // Villemain A.F. Melanges historiques et litteraires. Paris, 1827. T. 2. P. 441–450. Переводы Д.Н. Свербеева из Вильмена были оценены И.В. Киреевским как «правильные и изящные» (Европеец. 1832. № 1. С. 48), а Н.М. Языков замечал о переводах друга, что Свербеев «мастер этого дела» («Европеец», журнал И.В. Киреевского, 1832 / Подг. изд. Л.Г. Фризман. М., 1989. С. 425). И.И. Дмитриев в письме к племяннику М.А. Дмитриеву, обсуждая свежие публикации 1831 г., называл перевод Свербеева об Августине «прекрасным», противопоставляя иным неудачным статьям других авторов (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 195).

Еще о нескольких публикациях переводов Свербеева начала 1830-х годов можно говорить предположительно, так как они публиковались без имени переводчика: из письма Н.А. Мельгунова известно, что он участвовал в передаче работы Свербеева в «Московский телеграф» Н.А. Полевого в январе 1831 г., и тот же Мельгунов предполагает, что Свербеев – автор перевода «О соразмерности издержек произведения с ценностью изделий» из журнала «Атеней» (1830. № 13. С. 1–34) (ФС. Д. 69. Л. 1–2).

[16] См. подробнее об этом: *Медведева Т.В.* «Возлюбленный о Русском архиве Петр Иванович…» (Свербеевы и П.И. Бартенев) // Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев и «Русский архив». М., 2013. С. 408–426.

мам показываться...»[17], объяснял он в письме к П.И. Бартеневу. Мемуарист не довел свои «Записки» до времени знакомства с Н.В. Гоголем, и об этом письме читатели узнали из «Истории моего знакомства с Гоголем» С.Т. Аксакова, где о нем лишь упоминалось, а затем из публикации В.И. Шенрока, где оно было полностью помещено[18].

Очерк «Московские пожары 1812 г.» и логически продолжающая его заметка о московском духовенстве и митрополите Платоне (с. 461–482) были написаны в 1869 – начале 1870 г. и не предназначались для публикации в «Русском архиве» (хотя П.И. Бартенев интересовался ими). Они увидели свет изрядно отредактированными в 1872 г. в «Вестнике Европы», объединенные в единый текст о событиях 1812 г.

На последней из опубликованных в 1899 г. заметок, «Несколько слов о декабрьском мятеже 1825 г.» (с. 537–546), необходимо остановиться несколько подробнее.

Текст статьи о восстании декабристов, вошедший в публикацию 1899 г., принципиально отличается от того рукописного фрагмента о восстании, который был частью основного текста «Моих записок». Статья, вышедшая в 1899 г., представляет собой не столько воспоминания, сколько исторический очерк событий 1825 г. – с размышлениями об истоках этих событий, характеристикой отдельных действующих лиц, наконец, с теми отголосками событий, которые звучали в обществе до начала 1870-х годов. Очерк взвешенный и логически выстроенный, тогда как фрагмент о восстании, помещенный в мемуарах, напротив, – очень эмоционален. Автор говорит о своей беззащитности перед изменчивым «судом истории»: «В настоящую минуту пришло время оправдывать не их [декабристов], а оправдывать мне себя самого пред общественным мнением, которое стало на сторону декабристов. Пришло время оправдываться всем тем, кто подобно мне, принадлежал этой эпохе своими летами, своим образованием и своими общественными связями, и не был соучастником мятежа» (С. 640). Значительная правка этого фрагмента, сохранившаяся в черновиках мемуариста, говорит о том, что подобрать слова для чувств и мыслей ему было непросто.

После очерков, вошедших в публикацию 1899 г., в книге помещены мемуарные работы Д.Н. Свербеева, до недавнего времени остававшиеся в рукописях.

Первая из них, «Кончина и похороны князя В.Ф. Одоевского и мои о нем воспоминания» (с. 547–555), написанная в марте 1869 г., сразу после похорон близкого друга семьи Свербеевых, предполагалась к публикации в издании 1899 г. (в качестве «Приложения V» к т. I), однако так и не была опубликована.

---

[17] Письмо Д.Н. Свербеева П.И. Бартеневу, 1871 г. (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 563. Л. 31).

[18] *Аксаков С.Т.* История моего знакомства с Гоголем // РА. 1890. № 8. С. 164, 166, 167; *Шенрок В.И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. IV. С. 519–525 (письма Д.Н. и Е.А. Свербеевых).

Две другие заметки – «Воспоминания о великой княгине Елене Павловне» (с. 556–559), относящиеся к событиям 1837 г. и созданные в 1873 г. по случаю кончины великой княгини (хотя сам текст о ее приезде в Серпухов больше посвящен хлопотам в городе, нежели самой виновнице этих хлопот), и неозаглавленный автором фрагмент, получивший название «Воспоминания о смерти Н.В.Гоголя» (с. 560–562), созданный, очевидно, в начале 1860-х годов, судя по упоминанию некой заметки в «Современной летописи», выходившей в 1860-е годы (Н.В. Голицын также относил написание этого текста к 1860-м годам (см. с. 856)).

Основной текст публикуемых «Записок», задуманных еще в середине 1860-х годов, был надиктован Дмитрием Николаевичем в 1869–1872 гг. дочери Софье Дмитриевне, которую отец называл своим «пером». Он излагал свои воспоминания и в поездках по Европе (во Франции и Швейцарии), и во время пребывания в России. В тексте воспоминаний сохранились упоминания о местах, где они записывались: швейцарский курорт Веве, охваченный волнениями Париж, родное подмосковное Солнышково (или Солнушково, как часто писали тогда).

Писать самому ему мешал не только преклонный возраст, но и подагра рук – «хирагра», делавшая его почерк в старости очень неразборчивым, а само писание утомительным.

Впрочем, Софья Дмитриевна была не единственным «пером» отца (восприняв это образное определение, она и сама о себе так говорила) – в конце жизни Д.Н. Свербеева у нее были помощники – на то время, когда она оставляла отца ради семейных дел.

Публикация «Записок» Софьей Дмитриевной в 1899 г. готовилась долго и тщательно. Первые попытки напечатать мемуарное наследие отца она предпринимала еще при его жизни – в 1872–1873 гг., однако, по ее собственным словам, все упиралось в цензурные препоны: «...не удается ничего опубликовать [из мемуаров отца], т.к. редактора газет обязаны приспособить все к требованиям цензуры, и я предпочитаю подождать, пока более либеральный ветер подует с нашей стороны», – писала она Фанни Тургеневой в начале 1873 г.[19] Однако сама идея подготовки обширных воспоминаний к публикации, уже в 1873 г. не вызывала сомнений – следовало лишь дождаться подходящего момента.

Такой момент наступил через 25 лет после смерти Д.Н. Свербеева – не так скоро, как Софья Дмитриевна предполагала, – и в публикацию, изданную на ее собственные средства, было включено почти все мемуарное наследие отца.

Не будучи уверенной в своих силах как издателя-редактора, она обратилась за помощью к опытным знакомым: в первую очередь, к Д.А. Хомякову

[19] Письмо С.Д. Свербеевой Ф.Н. Тургеневой от 26 января 1873 г. Пер. с фр. (РГАЛИ. Ф. 501 (Тургеневы). Оп. 1. Д. 372. Л. 1 об. – 2).

(сыну А.С. Хомякова, друга отца)[20]. Он составил замечательное предисловие к «Запискам» Свербеева, ярко охарактеризовав его место в общественной жизни России середины XIX в. (с. 5–11). Это предисловие публикуется в настоящем издании, как и в книге 1899 г., перед основным текстом мемуаров. Он же посоветовал издательнице включить в публикацию и отдельные статьи Д.Н. Свербеева, ранее публиковавшиеся в журналах.

Свою помощь по подготовке к публикации «Записок» предлагал ей в 1890-е годы и П.И. Бартенев и даже хотел публиковать текст воспоминаний частями в «Русском архиве», однако, сославшись на решение семьи печатать воспоминания отдельной книгой и на обещанное участие Д.А. Хомякова, издательница очень вежливо отказалась принять его помощь[21]. Тем не менее у Бартенева Софья Дмитриевна попросила те тексты отца, которые публиковались в «Русском архиве» еще при его жизни[22]. Бартенев рассчитывал на публикацию хотя бы обширных фрагментов мемуаров, но С.Д. Свербеева, заботясь о целостности предстоящей публикации, передала для «Русского архива» лишь небольшой эпизод из воспоминаний (краткую характеристику Д.А. Валуева и Н.М. Языкова)[23]. При подготовке публикации она собрала, по возможности, все имевшиеся законченные мемуарные тексты отца. Среди разыскиваемых, но так и не опубликованных был очерк об императоре Николае I Павловиче, который Свербеевы, как видно из переписки, сперва долго искали в рукописи по знакомым, затем вроде бы нашли, но в окончательную публикацию он так и не попал и в архивах обнаружен не был[24].

Тогда же, в 1899 г., при подготовке издания единый текст был разделен на два тома, каждый из которых сопровождали несколько статей-приложений. Исчезло разделение на «главы» с номерами, имевшееся в рукописи (не слишком систематическое, впрочем), а очерк об А.С. Шишкове был выделен из текста воспоминаний и помещен отдельно в том виде, в каком публиковался в «Русском архиве».

Стоит добавить, что вплоть до 1890-х годов «Записки» Свербеева ходили в обществе в рукописи и, хотя изначально предназначались для чтения лишь близким друзьям семьи и родным, через пару десятилетий попадали уже и к людям, совершенно незнакомым и были предметом интереса собирателей древностей[25].

---

[20] Д.А. Хомяков, охотно согласившийся помочь Софье Дмитриевне в подготовке издания, еще в конце 1880-х годов обсуждал с ней возможные проблемы и сложности его публикации. См.: ФС. Д. 692.

[21] Письмо С.Д. Свербеевой П.И. Бартеневу. 1898 г. (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 588. Л. 54–54 об.)

[22] Там же. Д. 590. Л. 358–359.

[23] Из записок Д.Н. Свербеева (Д.А. Валуев – Н.М. Языков) // РА. 1899. Вып. 9. С. 140–149.

[24] Переписка об этом очерке сохранилась в РГАЛИ. См.: Ф. 46. Оп. 1. Д. 590. Л. 358–359; Д. 591. Л. 99–100, 206–207, 211–211 об. (письма С.Д. Свербеевой П.И. Бартеневу, 1898–1899 гг.).

[25] См. письмо С.Д. Свербеевой П.И. Бартеневу (1896 г.) (Там же. Д. 588. Л. 34–34 об.).

Здесь необходимо дать краткий обзор работ, посвященных мемуарному наследию Д.Н. Свербеева, и отметить, что, несмотря на бесконечное использование этих воспоминаний в исторической литературе, статей, посвященных лично мемуаристу или его наследию, крайне мало. Можно начать счет таковых работ с нескольких кратких рецензий, сопровождавших публикацию «Записок» в 1899 г.

Еще только ожидая выход издания в 1899 г., П.И. Бартенев замечал в своем «Русском архиве»: «Будем надеяться, что “Записки” Д.Н. Свербеева появятся на свет в полном виде, особою книгою, к утешению людей, знавших этого человека, память о котором дорога многим, и к обогащению нашей историографии»[26].

Вышедшие тома «Записок» были отмечены рецензиями в нескольких крупных журналах. В одной из них, в «Вестнике Европы», помещенной в разделе «Литературное обозрение» без указания авторства, принадлежащей А.Н. Пыпину, дана характеристика мемуариста как человка просвещенного, гостеприимного, «не углублявшегося в отвлеченные вопросы, но владевшего житейским опытом»[27]. О самих мемуарах было замечено, что они «являются одною из любопытнейших книг в нашей литературе такого рода»[28], а изложенные в них подробности дворянского быта ушедшей эпохи были признаны крайне интересными. При этом наблюдательный рецензент опровергал тезис Д.А. Хомякова из вступления к «Запискам» о принадлежности Свербеева к «бытовому направлению», не утратившему «живой связи с родным преданием», – Пыпин же, основываясь на материалах воспоминаний, указывает на «французские корни» идей и позиций мемуариста, находя такое положение весьма типичным для образованных молодых людей того времени[29].

Другая рецензия на «Записки» была помещена в Журнале Министерства народного просвещения в разделе «Книжные новости»[30]. В ней неизвестный автор отмечал частный характер мемуаров Свербеева, не участвовавшего в крупных или громких событиях, но чрезвычайно любопытно повествующего о себе и своей жизни. «Д.Н. Свербеев отличался замечательною трезвостью и спокойствием суждений и чрезвычайно самостоятельным умом»[31], – пишет рецензент, отдавая должное и приветливому, общительному характеру Свербеева («дом Свербеевых по значению своему стоял в Москве сейчас же за домом Елагиных»), и антикрепостническим настроениям мемуариста, и его сочувствию к декабристам, и даже его искренней религиозности. Знакомство с жизнью и взглядами Дмитрия Николаевича Свербеева находит он «очень не лишним для того, чтобы понимать некоторые факты в жизни русского общества первой половины XIX века»[32].

---

[26] [Примеч. П.И. Бартенева] Из записок Д.Н. Свербеева // РА. 1899. Вып. 9. С. 140.
[27] [*Пыпин А.Н.* Рецензия на «Записки» Д.Н. Свербеева, 1899] // ВЕ. 1900. Т. I, вып. 1. С. 390–396.
[28] Там же. С. 392.
[29] Там же. С. 394–396.
[30] [Рецензия на «Записки» Д.Н. Свербеева] // ЖМНП. 1900. Т. СССХХХ. С. 408–410.
[31] Там же. С. 409.
[32] Там же. С. 410.

Нужно заметить, что оба рецензента, встречавшие выход книги в 1900 г., знали о Д.Н. Свербееве заметно больше, чем было сказано им самим о себе в «Записках», – они знали его главным образом как хозяина известного московского салона 1840-х годов.

В 1910-е годы изучением и публикацией наследия семьи Свербеевых занялся один из самых заметных археографов и архивистов того времени и одновременно близкий родственник Д.Н. Свербеева – князь Николай Владимирович Голицын, директор Государственного и Петроградского Главного архивов Министерства иностранных дел, супруг внучки мемуариста, Марии Дмитриевны Свербеевой. Он внимательно изучил материалы обширного семейного архива и готовил к публикации целый ряд документов, из числа не вошедших в издание 1899 г., прежде всего переписку. В 1911 г. им был издан дневник Е.И. Поповой, гувернантки детей Свербеевых, в предисловии к которому Голицын дает весьма подробную характеристику семьи Свербеевых и их родственных связей[33].

Более 70 писем из архива Свербеевых были подготовлены Н.В. Голицыным к изданию в сборнике памяти Александра Дмитриевича Свербеева, сына Д.Н. Свербеева, предполагавшемся к выходу в книгоиздательстве «Огни» (в 1917–1918 гг.)[34]. Это переписка супругов Свербеевых – Дмитрия Николаевича и Екатерины Александровны с известными современниками, такими как братья Тургеневы, Аксаковы, Языков, Чаадаев, Кошелев, Самарин и др. Из этой большой подборки писем, так и не опубликованной в полном объеме в связи с революционными событиями, впоследствии увидели свет лишь три письма П.Я. Чаадаева к «прекрасной кузине» Е.А. Свербеевой, вошедшие в работу «П.Я. Чаадаев и Е.А. Свербеева» в 1918 г.[35] и письма Е.А. Свербеевой к А.И. Тургеневу и Е.А. Боратынского к Д.Н. Свербееву, касающиеся А.С. Пушкина (в сборнике «Московский пушкинист»)[36]. Все письма были снабжены подробными комментариями, некоторые, без указания авторов, – атрибутированы.

Для современных издателей материалы, подготовленные Н.В. Голицыным, ценны и тем, что он кропотливо разобрал весьма сумбурный в преклонных летах почерк Д.Н. Свербеева и фактически дал «вторую жизнь» эпистолярному наследию мемуариста.

---

[33] Из московской жизни сороковых годов: Дневник Елисаветы Ивановны Поповой / Под ред. кн. Н.В.Голицына. СПб., 1911. (2-е изд. М., 2013).

[34] Эти материалы сохранились в РО ИРЛИ (Ф. 598. Оп. 1. Д. 891).

[35] П.Я. Чаадаев и Е.А. Свербеева: (Из неизданных бумаг Чаадаева) // Вестник Европы. 1918. Кн. 1–4. С. 233–254.

[36] Из письма А.И. Тургенева к Е.А. Свербеевой [21 декабря 1836 г.] / Пер. с фр. яз., коммент. и послесл. Н.В. Голицына // Московский пушкинист. I: 1837–1927: Статьи и материалы / Под ред. М. Цявловского. М., 1927. С. 23–26; Письмо Е.А. Боратынского Д.Н. Свербееву [декабрь 1830 г.] // Там же. II: Статьи и материалы. М., 1930. С. 59–61.

В последующие годы Д.Н. Свербеев и его семья не были избалованы особым вниманием источниковедов и археографов. В более чем скромной свербеевской библиографии последних лет – лишь одна заметная публикация: атрибутированный и изданный С.Р. Долговой небольшой дневник Екатерины Александровны Свербеевой (урожд. Щербатовой)[37], жены мемуариста, а также несколько небольших статей: упомянутые работы Б.П. Краевского в книге «Тверской бульвар, 25» и в журнале «Куранты» 1987 г., статья Н.А. Резник о супругах Свербеевых[38] и обзор личного фонда Свербеевых в РГАЛИ Е.Ю. Филькиной[39]. В 2013 г. вышла статья, посвященная участию Свербеевых в журнале «Русский архив»[40]. Старший сын мемуариста, Н.Д. Свербеев, привлекал к себе внимание исследователей как близкий знакомый декабристов и зять С.П. Трубецкого[41].

Отдельно необходимо назвать прекрасную статью о Д.Н. Свербееве и его мемуарном наследии, написанную Л.М. Шмелевой для издания «Русские писатели, 1800–1917»[42]. В нескольких страницах справочного издания представлена максимально полная творческая биография мемуариста с привлечением многочисленных свидетельств и мнений современников, с весомыми и точными характеристиками его произведений.

Как представляется, «Записки» Свербеева заслуживают более пристального внимания ученых и, в первую очередь, потому, что они полно и ярко

---

[37] Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год / Подгот. текста, предисл., коммент. С.Р. Долгова // ПКНО. М., 1997. С. 7–36; переизд.: Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год. М., 1999; Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год // Долгова С.Р. Накануне свадьбы. М., 2012. С. 85–145. В этих изданиях неверно указан шифр публикуемого дневника. Правильные данные: РГАДА. Ф. 1634 (Тургеневы). Д. 123.

[38] *Резник Н.А.* Е.А. и Д.Н. Свербеевы // Забытые и второстепенные писатели XVII–XIX веков как явление европейской культурной жизни / Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию Е.А.Маймина. Псков, 2002. Т. 2. С. 68–74. Автор статьи внимательно рассматривает дружеские связи супругов Свербеевых, историю их московского салона, однако углубляется (следуя за неверной атрибуцией архивистов) в анализ «автобиографического» текста из фонда мемуариста, на наш взгляд, не имеющего никакой прямой связи с трудами Д.Н. Свербеева (ФС. Д. 17 – копия «Записок» неизвестного лица 1830-х годов, очевидно, сохраненная в личном архиве просто как любопытное чтение).

[39] *Филькина Е.Ю.* Обзор документальных материалов фонда Д.Н. Свербеева в РГАЛИ // Усадьба реальная и литературная (культурно-социологический аспект) / Материалы IV Междунар. чеховских чтений. М., 2008. С. 146–157.

[40] *Медведева Т.В.* «Возлюбленный о «Русском архиве» Петр Иванович...» (Свербеевы и П.И. Бартенев)... С. 408–426.

[41] См., например: Из архива Н.Д. Свербеева / Подгот. публ. С.Ф. Коваль; В.П. Шахеров // Сибирь и декабристы. Иркутск, 1985. Вып. 4. С. 203–226.

[42] *Шмелева Л.М.* Свербеев Д.Н. // Русские писатели, 1800–1917: Биографич. словарь. Т. 5: П–С. М., 2009. С. 503–507. Не во всем соглашаясь с авором статьи, здесь сделаю лишь одну поправку к данной работе: о месте и дате смерти мемуариста – Свербеев скончался 13 февраля 1874 г. в Москве и был похоронен в с. Сетуха Орловской губ. (Дворянское сословие Тульской губернии / Сост. М.Т. Яблочков, В.И. Чернопятов. М., 1912. Т. VII: Некрополь. С. 142).

отражают почти все тенденции русской мемуаристики 1860–1870-х годов, являясь, по сути, «классическими» мемуарами, оставаясь при этом самобытным литературным памятником.

Мемуары Д.Н. Свербеева всецело находятся в русле той традиции мемуаротворчества, которая вызревала на протяжении XIX в. и была столь подробно и талантливо описана А.Г. Тартаковским[43]. Дмитрий Николаевич являлся хотя и талантливым, но все же весьма типичным мемуаристом своей эпохи. И, естественно, та мемуарная традиция, которая уже формировалась в русском обществе, влияла на него и весьма значительно. Свербеев, несомненно, хорошо знал большинство публиковавшихся в конце 1850-х – начале 1870-х годов записок своих современников (а некоторые читал в рукописях, до их публикации), – об этом говорят многочисленные отсылки в тексте «Записок». Среди упомянутых в тексте: «Записки» Г.Р. Державина, А.П. Ермолова, П.В. Чичагова, Е.А. Сушковой (Хвостовой), «Мелочи из запаса моей памяти» М.А. Дмитриева, воспоминания О.А. Смирновой-Россет, «Записки» Н.И. Лорера и С.П. Трубецкого, виденные Свербеевым в рукописи, «Семейная хроника» С.Т. Аксакова и воспоминаниях обоих Жихаревых: Михаила Ивановича – о Чаадаеве и Степана Петровича – о театральной жизни (последние, очевидно, также знакомые по рукописи).

Лучшим, по его мнению, образцам он стремился подражать. Мемуарист не скрывал того, что имеет в своем труде определенные «ориентиры», общепризнанные образцы жанра, в числе которых первыми он называл «Былое и думы» А.И. Герцена, где персонажи, по его словам, «вылиты живыми»: «Советую, начиная с себя, всем составителям мемуаров подражать, если только сумеют, "Былому и Думам" Герцена» (с. 503). Мемуары прочих современников также рассматривались пристально, лучшие он непременно отмечал: «Что за прелесть статейка Александры Осиповны! Мне даже завидно»[44], – писал он о воспоминаниях А.О. Смирновой-Россет опубликовавшему их П.И. Бартеневу.

Дмитрий Николаевич прекрасно понимал свое положение человека, пишущего о прошлом из своего сегодняшнего дня, осознавал, что в его силах воспроизвести главным образом события, но не мысли и убеждения своего прошлого. «Само собой разумеется, что все, что будет сказано мною о Франции и тогдашней ее и всеобщей европейской политике, не есть и не может быть плод моих юношеских наблюдений, но сделанные мною выводы и основанные на них убеждения в продолжение всей моей долгой

---

[43] *Тартаковский А.Г.* 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М., 1980; *Он же.* Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. : От рукописи к книге. М., 1991; *Он же.* Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997.
Называю эти работы как признанные фундаментальные исследования отечественной мемуаристики из числа трудов, принадлежащих классическому источниковедению.

[44] РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 564. Л. 489 об.

жизни. Постараюсь, насколько могу, оживить их моими воспоминаниями и передать их моим семейным читателям не прежде, однако, как в записках о последующих (лет через пять) годах, возвращения моего из-за границы» (с. 769).

«Мои записки» Свербеева одновременно уникальны и типичны. Многие характерные черты мемуаристики того времени (напомним – времени расцвета мемуаротворчества) отразились в них полно и ярко. В чем-то они парадоксальны: во-первых, конечно, в сочетании декларативной интимности повествования (писания «для себя и своих близких») и непременной оглядки на возможную (пусть и не обязательную) публикацию; во-вторых, в сочетании мемуаристики и историописания (а иногда и публицистики), на грани которых часто балансирует Свербеев, помещая в текст воспоминаний значительные экскурсы в историю и вообще всячески подчеркивая свое ощущение «течения времени», например, от века XVIII к концу XIX-го.

Эта изрядная историографичность его повествования была отмечена тем же А.Г. Тартаковским («Воспоминания о московских пожарах 1812 г.», например, являются в гораздо большей мере исторической заметкой) и объясняется как общими тенденциями мемуаристики той эпохи, так и личными склонностями Д.Н. Свербеева. Недолгая служба в Комиссии печатания государственных грамот и договоров приохотила образованного московского барина к архивным занятиям – до конца жизни он испытывал живой интерес к историческим трудам и публикациям, охотно разбирал архив А.И. Тургенева, посредничал в поиске материалов для «Русского архива» П.И. Бартенева. Но это было обусловлено и общим интересом к отечественной истории в русском обществе. В середине XIX в. интерес к истории стал частью салонной культуры, а салонно-родственные связи и взаимоотношения играли не последнюю роль в наполнении материалом исторических изданий.

«Надо мной, на моих воспоминаниях с первой строки тяготела, так сказать, задача сколько-нибудь удовлетворительного изображения того царствования, к которому принадлежала первая четверть XIX века и первая треть моей жизни» (с. 624), – замечает мемуарист.

Свербееву удалось сочетать мемуарное повествование с историописанием, притом далеко не всегда любительским – он умело вплетает в воспоминания исторические экскурсы, замечания, цитаты. Итогом подобной работы становится портрет человека на фоне эпохи. Даже точнее – групповой портрет, собранный из десятков метко описанных персонажей, дополненный живо выраженным описанием самого времени. Характерны собранные им для мемуарного повествования переводы и выписки, сделанные как из выходивших печатных материалов, так и из виденных рукописей: из мемуаров Лагарпа, записки И. Каподистрии о службе, «Записок» Лорера и Трубецкого. Свербеев судит о своем приятеле Голохвастове не только как знакомый, но и

как знаток его исторических трудов, обращается к публикациям «Русского архива» для дополнения своих свидетельств. Он оценивает глазом опытного историографа чужие мемуары: «Записки Шишкова об этом времени чрезвычайно любопытны по их безыскусственной и добродушной искренности... Никогда не встречалось мне такого живого и цельного описания павловского крутого времени» (с. 509).

Доходя иногда до курьезных крайностей, он цитирует в заметке о пожаре Москвы документы, виденные в 1817 г. у Обресковых (даже не списанные!), ручаясь за точную передачу смысла. Кроме поразительной точности памяти через 50 лет, обращает на себя внимание и историографический ракурс повествования. Свербеев считает вполне допустимым само использование (предложение читателю) в качестве исторического свидетельства собственного воспоминания о виденных в 1817 г. документах.

И все эти исторические экскурсы сопровождает непременная оговорка мемуариста, относящаяся больше к порядку повествования, чем к его сути: «Частные записки, а особливо мои, отживающего старика, не имеют никакой претензии быть Историей своего времени, а потому я допускаю всевозможные отступления...»[45].

В-третьих, важной чертой мемуарного повествования становится попытка отстраненно, «как бы объективно», правдиво описать давно прошедшие события и потрясения, которая у Свербеева сочетается с его подчеркнутым нейтралитетом и сдержанностью в суждениях. Эта сдержанность и умеренность, раздражавшая некоторых пылких друзей, была, думается, не только природной чертой характера, но и осознанно принятой позицией.

Разрыв между западниками и славянофилами, особенно резко обозначившийся в середине 1840-х годов – ныне хрестоматийный эпизод истории – прошел, фактически, по самому Свербееву, имевшему близких друзей среди сторонников обеих партий. В 1845 г. он писал близкому другу семьи, А.И. Тургеневу: «Все это было бы для Вас занимательно и, может быть, утешительно, если бы во всем этом движении не играла важной роли темная сторона, изнанка человечества, раздражение и неудовлетворенное честолюбие одних, детская, нелепая восторженность других, праздная болтовня и сплетни третьих. Из двух давно враждебных литературных и еще более журнальных партий, воющих не столько за мнения, сколько за подписчиков, образовались два ополчения, и каждое из них выставило свои прежние, давно полинялые знамена Шишковско-Славянского и Карамзино-Европейского просвещения... Не знаю, как было в Ваше время, а теперь печатные, письменные и словесные прения этих партий между собою становятся очень неприятными для тех, которые по опытности, характеру, чувству приличия и по положению

---

[45] Из рукописи о декабристах (ФС. Д. 21. Л. 27).

своему в обществе не желают быть в них замешанными, а между тем имеют приятельские связи в обоих лагерях. В таком именно положении нахожусь я. Все мои старания успокоить враждующих оказались напрасными, и мне уже остается заботиться не о прекращении ссоры между моими приятелями, но о том, чтобы надо мною самим не разразилось негодование той или другой стороны за мои сношения с обеими… Судя по этому началу, не дай Бог дожить до настоящих религиозных или политических прений»[46].

Хотя сам Свербеев всегда подчеркивал свой нейтралитет в споре славянофилов и западников и даже, как замечают современники, чересчур подчеркивал, в его положении рассказчика и мемуариста все же прослеживается определенная позиция, которую можно охарактеризовать как «западник среди славянофилов». В течение жизни Дмитрия Николаевича большинство друзей, повседневный круг его общения все же были ближе к славянофилам (а к его другу А.С. Хомякову и душеприказчику И.С. Аксакову это понятие применимо в полной мере). И Свербеев со своими вкусами и предпочтениями всегда был несколько «западнее» своего круга. Не оправдания, но своеобразная тень этого положения лежит на всем его повествовании – как в архаичных подробностях русского провинциального быта в XVIII и начале XIX вв., так и в рассуждениях о европейской политике.

Возвращаясь к «типичности» воспоминаний Свербеева, важно заметить, что автор всячески подчеркивает соотношение своего труда и проходящего времени. По тексту «Моих записок» легко проследить темп и ритм мемуарописания. Сам автор охотно поясняет причины перерывов в диктовке воспоминаний (иногда на несколько месяцев), замечает, что писалось легко, а что трудно, отчего за этими воспоминаниями потянулись следующие и о чем он только собирается написать впоследствии. «Трудно писать "Записки" без скачков. Предоставляю другому времени привести их в порядок. Если самому мне не удастся, надеюсь, что после кто-нибудь об этом позаботится. Переходы из одного десятилетия в другое, а иногда и далее, делаются, чтобы не забыть совсем о том, что припоминается кстати по однообразию предмета или своеволию мысли», – признается Дмитрий Николаевич (с. 104).

«Часто… доходит… до того, что я под влиянием каких-либо событий, меня окружающих, пишу, лучше сказать, диктую то бойко, то лениво; даже погода, температура моей комнаты, как и самое время года, действует на мои умственные способности, либо оживляет, либо притупляет мою мысль, и по временам, как это не раз случалось, овладевает мною изнеможение, лень», – замечает Свербеев во втором томе «Записок» (с. 289–290).

---

[46] Из письма Д.Н. Свербеева А.И. Тургеневу [1845] (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 3–4).

Этот, второй, том дался мемуаристу труднее, чем первый, – переезды и нездоровье мешали продолжать начатое. И размышления о порядке и темпе повествования, местами несколько нарочитые, сопровождают читателя на протяжении всего тома: «Тут настигла меня, как медведя, зимняя спячка, и, виноват, я и этого труда еще не покончил (речь идет об очерке о Каподистрии и службе в Берне. – *Т.М.*). Пришла весна и уже прошла весна, а я и до сих пор еще ни тпру, ни ну, – так меня заколодило. Хотел, было, и не один раз давал себе слово бросить все эти нескончаемые "Записки", ну да нельзя, начали приставать свои из угождения небывалому во мне авторскому самолюбию, а чужие из учтивости; но ведь как-нибудь и чем-нибудь надо связать в возможном порядке россказни» (с. 797).

И чем тяжелее шло повествование, тем ценнее становился для автора бег собственной мысли, «прихотливо» переходившей с одного предмета на другой: «на последних страницах… распространился было в рассказах по моей памяти о 14 декабря. Бартенев нашел многие подробности об этом злополучном дне лишними. Но увлеченный воспоминаниями, я продолжал мое повествование и перенесся к этому времени мятежа, которое застало меня в Швейцарии; тут поневоле мысли мои перешли к воспоминаниям о Каподистрии. Вместе с ним узнал я первое официальное известие о бывшем в Петербурге бунте; перешел к его исторической деятельности, составил извлечение из его автобиографии и начал рассказ о моем с ним знакомстве, предпослав этому описанию память дней пребывания моего при посольстве в Берне» (с. 797).

Дмитрий Николаевич хорошо понимал степень литературной ценности своего повествования и, предполагая вести «Записки» до самых 1860-х годов, он все же признавал, рассказывая о 1826 г., что не видит далее ничего особо увлекательного и значительного, а значит, и требующего описания. «Возвратясь домой и на долгое время безвыездного жительства в dura patria, я начинаю второе описание моих domestica facta с меньшею уверенностью в живости, в отчетливости, в последовательности предлежащей мне повести. Оттого ли, что самые события становятся мельче и, может быть, пошлее, или оттого, что не выставляющая их обыденность гаснет в моей памяти, сам не знаю, но это, к сожалению, так. Мои собственные семейные события в моей обыкновенной домашней жизни считаю я не стоящими постороннего любопытства, а некоторые важнейшие – до него и не доступными, вот почему мои "Записки" с этого времени ограничатся разными анекдотами и изредка наблюдениями над административными и помещичьими нашими нравами вместе с едва ли удающимися мне фотографиями тех немногих почему-либо замечательных людей, которых мне удавалось встретить. У читателей моих прошу снисхождения, а более взыскательным советую не читать далее», – замечает мемуарист на последних страницах «Записок» (с. 448).

Наконец, нужно сказать о языке мемуариста, живом воплощении течения времени. В языке Свербеева причудливо перемешаны галлицизмы, французские пословицы и жаргонизмы («à beau mentir qui vient de loin», «péquins»), русские слова из речи начала XIX в. («набойство», «обжог», «прилыгал», «эфтим»), церковнославянские обороты из богослужебных текстов и псалмов и грамматические конструкции, вызванные к жизни помещением переведенных французских слов в русскую речь («другой кафе», поскольку кафе во французском языке мужского рода, «пятна des rousseurs», где первое слово французского понятия «веснушки» переведено на русский).

Самое удивительное, что все это в его языке сочетается вполне органично, не вызывая у читателя ощущения нарочитости. Очевидно, мемуарист был уверен, что читатель поймет (и поймет правильно!) все скрытые в тексте отсылки и параллели, все непростые обороты иностранных языков (а кроме французского, Дмитрий Николаевич легко вплетает в повествование латынь и немецкие слова). Свербеев вообще очень много значения придает языку и по всему тексту записок рассыпаны его вдумчивые замечания и наблюдения над бытованием и изменением русского (и французского) языка: о топонимах (с. 575), о языке Н.И. Тургенева (с. 497), ироничный экскурс о «страсти» (с. 268), о языке времен Петра I (с. 314), об отчествах и обращениях (с. 788), о сложностях перевода с французского (с. 523) и многие другие.

При этом у мемуаров Дмитрия Николаевича Свербеева есть своя важная особенность, выделяющая их из круга «Записок» современников. Это те задачи и приоритеты, которые выдвигал сам мемуарист в своем труде. И не только выдвигал, а неукоснительно им следовал.

В первой части повествования Дмитрий Николаевич замечал в рассказе о Д.П. Голохвастове: «Если мне станут попрекать, зачем так долго останавливаюсь в моих “Записках” над недовольно крупною личностью Голохвастова, я предупреждаю такое обвинение тем, что, к несчастью или по счастью, редко удавалось мне встречаться с более крупными особами и что главная моя задача – ознакомить читателей с русским человеком моего времени во всех его видах и со всеми его качествами, будь он крестьянин, купец, духовный или помещик, средней руки, а изредка и первого, по богатству, разряда» (с. 91). И вот эти «типические» люди ушедшего времени, тщательно и кропотливо выписанные в воспоминаниях, составляют их отличительную черту и характерную особенность.

Увлекшись этой «литературной» линией, во второй части мемуарист даже соотносит, хотя и отдаленно, свое повествование о соседях с типажами горячо любимого им Гоголя: «Великий художник Гоголь, описывая какой-то им воображаемый русский губернский город, верно изобразил их всех. Я, конечно, не имею никакой претензии ставить себя рядом с знаменитым поэтом;

однако позволяю себе думать, что в моем описании соседних помещиков тоже найдется общее сходство живших и доживающих по нашим провинциям...» (с. 602).

Следует заметить, что Свербеев довольно точно выдерживает эту линию – повествование о людях своего времени как о человеческих типах, – его воспоминания почти лишены кичливости знакомством со знаменитостями своего времени. Бегло останавливается он на царствующих особах и лицах царствующей фамилии, сообщая лишь то, что составляет «их характеристику» («Я решительно не хочу быть прихвостником никакой знаменитости…»[47], – писал Д.Н. Свербеев С.Т. Аксакову в связи со своей рецензией на «Избранные места…» Н.В. Гоголя). Об известных и заметных людях своего времени он имеет свое собственное мнение и не стремится сделать его слишком контрастным или слишком совпадающим с мнением современников.

Однако несколько лиц все же выделяются в мемуарах и масштабом описания, и отношением к ним автора. Это И.А. Каподистрия и Ф. Лагарп – два знаменитых иностранца на русской службе, с которыми Свербеев был знаком лично и о которых счел необходимым написать для современников максимально подробно, с привлечением печатных материалов (столь подробно, что некоторая часть этих описаний была сочтена излишней при публикации воспоминаний и исключена из издания 1899 г., а ныне восстановлена в дополнениях к публикации (с. 606–631)).

Следуя выбранному направлению повествования, мемуарист старательно избегал отвлечений от него (если не сказать «пренебрегал ими»). Вспоминая экскурсию в Северную Италию, Свербеев замечал: «Я считаю себя решительно неспособным к каким бы то ни было описаниям красот природы, искусств и древностей. На это есть и без меня людей достаточно. Стоит только запастись разными гидами, и вы легко можете написать ученое путешествие и издать, пожалуй, с картинами, как это сделал Александр Дмитриевич Чертков» (с. 393). И действительно, не слишком почтительно упомянутые путевые записки А.Д. Черткова, ученого современника Д.Н. Свербеева, одновременно с ним путешествовавшего по Европе, разительно отличаются от свербеевских воспоминаний о путешествиях.

Можно утверждать, что «Записки», доведенные до 1827 г., – лишь небольшая часть общего замысла мемуарного повествования. Неоднократно в тексте воспоминаний Свербеев откладывает разговор о важных событиях более поздних лет до той поры, когда в мемуарах подойдет к этому времени. Так, рассказ о крепостных порядках он завершает обещанием вернуться к теме, «когда время доведет меня до эмансипации» (с. 596), а о «четвертом парижском моем пребывании после бытности моей в нем в молодые годы» (в 1870 г.) предполагает рассказать подробнее: «…если допишусь до 1870 года,

---

[47] ФС. Д. 1. Л. 2.

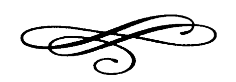
которым началось мое осьмое десятилетие. Оно будет довольно интересно для моих читателей, или по крайней мере для моих детей возобновлением моих давних сношений с тремя известными, каждый в своем роде, нашими русскими эмигрантами: Герценом, Н.И. Тургеневым и иезуитом отцом Гагариным» (с. 85). Очерки о двух первых как самостоятельные статьи были опубликованы в «Русском архиве».

За рамками публикации остались поэтические произведения Д.Н. Свербеева (главным образом публицистической направленности), богатое эпистолярное наследие супруги мемуариста, Екатерины Александровны Свербеевой, состоявшей в активной переписке со многими известными лицами своего времени; мемуарные произведения сына, Александра Дмитриевича Свербеева, написанные под очевидным влиянием «Записок» отца в конце жизни.

Основной текст «Моих записок» Д.Н. Свербеева (предисловий, первого и второго томов) публикуется по изданию 1899 г. со сверкой по найденным рукописям. Все смысловые разночтения отмечены в примечаниях, а большие фрагменты текста, исключенные при публикации и восстановленные по рукописи, собраны в «Фрагментах». Тексты очерков, представленных в разделе «Дополнения», также публикуются по изданию 1899 г. с сохранением порядка их размещения в книге. Очерки, ранее не публиковавшиеся, даны вслед за опубликованными в «Дополнениях». Комментарии к первому тому и «Дополнениям» составлены Б.П. Краевским и Т.В. Медведевой, ко второму тому – Б.П. Краевским, Т.В. Медведевой и М.В. Батшевым, к «Фрагментам» – Т.В. Медведевой. Указатели составлены Т.В. Медведевой (именной) и М.В. Батшевым (географический).

Составители издания искренне благодарны ученым, оказавшим содействие в подготовке книги: историкам Павлу Александровичу Трибунскому, Борису Николаевичу Морозову, Андрею Васильевичу Мельникову; потомкам Д.Н. Свербеева, ныне живущим в Москве (правнукам его сына Дмитрия Дмитриевича): Всеволоду Олеговичу Волкову и Андрею Кирилловичу Голицыну за возможность изучения семейных архивов, фотоархивов и за сведения о внуках и правнуках Свербеевых в XX в., а также деятельно участвовавшим в редактировании переводов с французского языка филологу Андрею Васильевичу Голубкову и историку Вадиму Алексеевичу Черных.

В книге были использованы фотографии из семейного архива Свербеевых, которые хранил и предоставил в распоряжение Б.П. Краевского для подготовки данного издания Кирилл Николаевич Голицын, ныне покойный.



ПРИМЕЧАНИЯ

Текст печатается по изд. 1899 г. Подробнее см. с. 677–683, 698.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДМИТРИИ НИКОЛАЕВИЧЕ СВЕРБЕЕВЕ

[1] *Хомяков Алексей Степанович* (1804–1860) – писатель, публицист, философ; один из основоположников славянофильства. Близкий знакомый семьи Свербеевых. Здесь стоит вспомнить стихотворное послание Д.Н. Свербеева «А.С. Хомякову», одно из наиболее известных поэтических произведений мемуариста (неточную цитату из него приводит Д.А. Хомяков в предисловии к «Запискам» (С. 10)):

Поэт, механик и феолог,
Врач, живописец и филолог,
Общины русской публицист –
Ты мудр, как змий, как голубь чист.
В себе одном все эти знанья
Ты съединил и упованья
Прогресса на Руси предрек:
Вот, говоришь, златой вам век!
И дружно мы с тобою жили,
И за успех усердно пили.
Нас многих словом ты увлек;
Но цвет надежд твоих поблек.
Не обратил ты Альбиона!
Увы, ревнитель Аарона,
Не миро с твоей брады
Сошло на русские зады:
Они не стали передами.
Славянские народы сами
Отбрасывают те мечты,
Какими их баюкал ты.
Итак, мой змий, итак, мой голубь,
И нам не побросать ли в прорубь
Весь этот сор, весь этот хлам,
Что восхищал московских дам?
Рубаха, мурмолка, поддевка
Не удались: нам в них неловко.
Что ж, голубь мой? Как быть, мой змей?
Пиджак наденем поскорей.

А чтоб прогнать мирскую скуку,
Мы новую откинем штуку:
Овечек стадо, твой народ.
Опять тебе разинит рот.

(Из старинных шуточных стихотворений // РА. 1890. Вып. 12. С. 565–566. Публикация без указания автора. Автограф стихотворения: ФС. Д. 2. Л. 7–7 об.; один из списков: НИОР РГБ. Ф. 99 (Елагины). К. 17. Д. 9). Сам Свербеев расценивал это и другие послания известному славянофилу как дружеские, также о них пишут биографы А.С. Хомякова и его сын Д.А. Хомяков. Однако Павел Флоренский считал их злобным, настроенным против Хомякова «пасквилем» и настаивал на том, что ранее истинное их значение не было понято (*Флоренский П.* Около Хомякова // Символ (Paris). 1986. № 16. С. 189–190).

[2] Александр I Павлович (1777–1825) – российский император (1801–1825).

[3] *...годами ... преобразований...* – Д.А. Хомяков имеет в виду реформы, проводимые в царствование императора Александра II Николаевича (1818–1881) – крестьянскую, земскую, судебную, городскую и др.

[4] *...дом Елагиных...* – Имеется в виду известный литературный салон Авдотьи Петровны Елагиной (см. о ней примеч. 9, с. 852) и ее супруга Алексея Андреевича Елагина (1790–1846), офицера артиллерии, штабс-капитана.

[5] *...Сенявиных...* – Иван Григорьевич Сенявин и его жена Александра Васильевна (урожд. д'Оггер (Hoggier), о которых далее рассказывает Д.Н. Свербеев.

[6] *...для русской мысли раздвоением...* – Имеется в виду разделение русской общественной мысли в 1840-е годы на два направления: славянофилов и западников.

[7] *...Герцен, Грановский, Белинский, Чаадаев...* – Упомянуты: Александр Иванович Герцен (1812–1870), писатель, публицист; Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855), историк, профессор всеобщей истории Московского университета; идеолог западничества; Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848), литературный критик и публицист; Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856), философ и публицист.

[8] Цит. по: [*Хомяков А.С.*] Речь о причинах учреждения Общества любителей словесности в Москве // Полн. собр. соч. Алексея Степановича Хомякова: В 3 т. Т. 1: Статьи и заметки разнородного содержания. 2-е изд. М., 1878. С. 746.

[9] Пальмер (Palmer) Уильям (Вильям) (1811–1879) – англиканский архидьякон, выступавший за воссоединение англиканской и восточной православной церквей, перешедший затем в католичество; корреспондент А.С. Хомякова.

[10] Петр I Алексеевич (1672–1725) – русский царь, российский император (1721–1725).

[11] *Д.Х.* – Автор предисловия – Дмитрий Алексеевич Хомяков (1841–1919), философ-славянофил, церковный деятель, сын А.С. Хомякова. Сохранившийся в архиве черновик этого предисловия Д.А. Хомякова незначительно отличается от опубликованного текста, в нем можно найти литературную правку автора (ФС. Д. 711).

[12] Свербеева Софья Дмитриевна (1842–1903) – младшая дочь Д.Н. Свербеева.

МОИ ЗАПИСКИ

ТОМ I

[1] *...как было сказано ... "труд и болезнь"...* – Имеется в виду царь Давид (ок. 1043 – ок. 973 до н.э.), которому приписывается авторство псалмов. Цитируется фрагмент 89-го псалма: «Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89:10).

[2] *...передать мои дела одному из сыновей...* – Из пяти сыновей Д.Н. Свербеева делами по имениям занимался Дмитрий Дмитриевич Свербеев (1845–1921(1919)), вице-губернатор Тульской губернии (1885–1891), курляндский губернатор (1891–1905), камергер (с 1889 г.). Отец называл его своим «alter ego», находя в его многосемейности и жизненном устройстве много сходства с собственной жизнью. Потомки Д.Д. Свербеева, до сих пор живущие в России, хранят память об истории семьи.

[3] *...меньшая моя дочь...* – С.Д. Свербеева.

[4] *...для нашей читающей публики.* – В рукописи после этой фразы Свербеев добавляет: «так часто угощают ее наши журналы русскими мемуарами, иногда пошлыми, а иногда и не совсем скромными и приличными. Я уверен, что участница в этом труде, уважая чувство приличия, никогда не употребит во зло прав своих на «Мои Записки», никогда не передаст печати ничего из них лишнего и вообще поступит в этом отношении не без воли матери и по согласию со своими братьями и сестрами» (ФС. Д. 11. Л. 1 об.).

[5] *Говоря мне о своих предках...* – В рукописи вместе с этой фразой представлен более полный рассказ об истории рода Свербеевых. См. Фрагмент 1.

[6] *...батюшка...* – Николай Яковлевич Свербеев (1741–1814), директор экономии в Крыму, новосильский уездный предводитель дворянства (1795–1798); бригадир (1799), статский советник (1801), кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени.

[7] *...моему деду...* – Яков Федорович Свербеев (ок. 1720–1792 (до 1792)), капитан лейб-гвардии конного полка (1739); участник Семилетней войны, надворный советник.

[8] *...воспользоваться Генеральным межеванием ... в 1764 году.* – При Генеральном межевании происходило уточнение границ между землевладениями частных лиц, крестьянских общин, городов и т.д. Оно было начато в России не в 1764-м, а в конце 1765 г.

[9] *...свободно читали одну церковную печать.* – В рукописи эта фраза звучит несколько иначе: «едва разбирали гражданскую печать, а читали одну церковную» (ФС. Д. 11. Л. 2 об.).

[10] *...до ее смерти помощницами ее по хозяйству... надевали сарафаны.* – В рукописи эта фраза звучит так: «до ее смерти просто работницами, смотрели за скотиной и часто своими руками работали в поле, для таких подвигов надевали они сарафаны и ходили на босу ногу в башмаках.» (ФС. Д. 11. Л. 2 об.).

[11] Новосильцев Петр Иванович (1744–1805) – сенатор; генерал-майор (с 1794 г.), генерал-провиантмейстер.

[12] *...о ней упомянул в записках своих Державин...* – Поэт Гавриил Романович Державин (1743–1816), автор мемуаров «Записки из известных всем произшествиев и

подлинных дел...» (опубликованых впервые в 1859 г. в журнале «Русская беседа»), упоминал, что в Саратове, готовясь к встрече войск Пугачева, он «разговаривал... с секретарем Петром Ивановичем Новосильцевым, ...и с названным его братом Николаем Яковлевичем Свербеевым...» (*Державин Г.Р.* Записки: 1743–1812. М., 2000. С. 57).

[13] *...основанный Елизаветою ... (где теперь Александровский сад)...* – Московский университет, основанный в 1755 г., помещался некоторое время в палатах возле Воскресенских ворот Китай-города, ныне восстановленных (сейчас на месте университетского здания находится Государственный Исторический музей). На месте Александровского сада протекала тогда еще не заключенная в трубу река Неглинка.

[14] *Московская Славяно-греко-латинская академия* – первое высшее учебное заведение в России (1687–1814). Располагалась в Заиконоспасском монастыре на Никольской ул., с середины XVIII в. готовила, главным образом, богословов.

[15] *кутейники* – прозвище церковнослужителей, семинаристов; здесь Свербеев имеет в виду учеников Славяно-греко-латинской академии.

[16] *...жил я с родною моею теткой...* – Елена Яковлевна Свербеева (? – после 1827).

[17] *...о матери моей...* – Екатерина Васильевна Обрескова (1763–1801), жена Н.Я. Свербеева в 1797–1801 гг.

[18] *...в Ширванском пехотном полку, которым командовал... Степан Матвеевич Ржевский, в бригаде или дивизии... генерала Вейсмана...* – Ширванский 84-й пехотный полк был сформирован из частей Азовского и Казанского полков в 1724 г. и назван по имени новоприсоединенных персидских земель. Упомянуты: С.М. Ржевский (1732–1782), генерал-поручик, полковник Ширванского полка, Отто-Адольф Вейсман фон Вейсенштейн (1726–1773), генерал; командовал бригадой в армии П.А. Румянцева, участвовал в сражениях при Ларге и Кагуле.

[19] *...в первую, а потом и во вторую турецкую войну...* – Первая война между Россией и Турцией была в 1768–1774 гг., вторая – в 1787–1791 гг.

[20] *...Кучук-Кайнарджисского мира...* – Мирный договор, подписанный в июле 1774 г. в деревне Кучук-Кайнарджи, завершил Русско-турецкую войну 1768–1774 гг.

[21] Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796) – граф, фельдмаршал; командующий русскими войсками в Русско-турецкую войну.

[22] *...в качестве пристава...* – Пристав – здесь: должностное лицо, назначавшееся для почетного сопровождения по России дипломатической миссии другой страны.

[23] *...сделаться известным великому князю Тавриды...* – Григорий Александрович Потемкин (1739–1791), князь Священной Римской империи, князь Таврический, государственный деятель, фельдмаршал, фаворит Екатерины II.

[24] *...колонии Сарепты...* – Немецкая колония в Царицынском уезде Саратовской губернии, на реке Сарпе, впадающей в Волгу. Основана в 1765 г.

[25] Бекетов Никита Афанасьевич (1729–1794) – генерал-поручик, фаворит императрицы Елизаветы; губернатор в Астрахани (1763–1773), куда привлекал немецких колонистов.

[26] Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) – поэт, сенатор (с 1806 г.); министр юстиции (1810–1814).

[27] Цыплетев (Циплятев, Цыплятьев) Иван Еремеевич (1726–после 1795) – комендант Царицына, полковник (в «Записках» Г.Р. Державина – Цвиленев). Под отрывками

о Пугачевском бунте, свидетельствующими об участии Н.Я. Свербеева в обороне Царицына, очевидно, подразумеваются публиковавшиеся в «Русском архиве» материалы «Из архива Саратовского губернского правления. Бумаги за время Пугачевщины». Так, в рапорте майора артиллерии Харитонова И.Е. Цыплетеву от 21 августа 1774 г. говорится о храбрости офицеров-артиллеристов в бою: «А прочие на сей случай определенные по батареям, как то батальонные господа офицеры, о коих вашему высокоблагородию известно, так и шелкового завода господин капитан Свербеев… при оной же канонаде поступали неустрашимо и артиллерийских и прочих служителей своим примером ободряли» (РА. 1873. Т. I, вып. 4. Стб. 0455–0456). Вероятно, П.И. Бартенев знакомил с этими бумагами Д.Н. Свербеева до публикации, так как краткое биографическое примечание издателя к имени Н.Я. Свербеева в журнале явно составлено по сведениям, предоставленным его сыном-мемуаристом.

[28] Михельсон Иван Иванович (1740–1807) – генерал от кавалерии; премьер-майором в конце 1773 г. был назначен в войска, отправленные против Пугачева.

[29] Панин Петр Иванович (1721–1789) – граф, генерал-аншеф (с 1762 г.), сенатор. В 1774 г. был назначен командующим войсками, выступавшими против Пугачева.

[30] *…новоприобретенного Крымского полуострова…* – В ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. русские войска заняли Крым. По договору с ханом (1772) и Кучук-Кайнарджийскому миру (1774) Крымское ханство перешло под покровительство России, а с 1783 г. полуостров был присоединен к Российской империи.

[31] *В самый день учреждения Екатериной ордена Св. равноапостольного князя Владимира…* – Указ об учреждении ордена Св. равноапостольного князя Владимира Екатерина II подписала 22 сентября 1782 г.

[32] Иосиф II Габсбург (1741–1790) – эрцгерцог Австрии (с 1780 г.); с 1765 г. носил титул императора Священной Римской империи.

[33] *…австрийский посол граф Кобенцель и французский – граф Сегюр…* – Людвиг Кобенцль (Cobenzl) (1753–1809), граф, австрийский посланник, затем посол в России (1779–1800), с 1800 г. – министр иностранных дел и государственный вице-канцлер Австрии; Луи Филипп де Сегюр (Ségur) (1753–1830), граф, посол Франции в России (1784–1789), автор «Записок» о пребывании в России.

[34] *…(Одесса тогда еще не существовала).* – Одесса была основана в 1794 г. как русский город на месте бывшей турецкой крепости Гаджибей (Хаджибей).

[35] Самойлов Александр Николаевич (1744–1814) – граф (с 1775 г.); генерал-прокурор (1792–1796) и государственный казначей, племянник Г.А. Потемкина.

[36] Попов Василий Степанович (1745–1822) – чиновник особых поручений и доверенное лицо Г.А. Потемкина (с 1783 г.); секретарь Екатерины II (с 1787 г.); участвовал в управлении Новороссийским краем.

[37] Суворов Александр Васильевич (1730–1800) – князь Италийский, граф Рымникский и Священной Римской империи, генералиссимус русской армии, полководец.

[38] Перекусихина Мария (Марья) Саввишна (1739–1824) – камер-юнгфера (горничная) Екатерины II, пользовавшаяся большим влиянием при дворе.

[39] *…свойственница последней [Перекусихиной], Тарсукова, была замужем за… Новосильцевым…* – Супругой П.И. Новосильцева была Екатерина Александровна Торсукова (1755–1842); ее брат был женат на племяннице М.С. Перекусихиной.

[40] Паскевич Варвара Григорьевна (середина 1750-х – конец 1770-х) – жена Н.Я. Свербеева в середине 1770-х годов.

[41] Паскевич Иван Федорович (1782–1856) – граф Эриванский (с 1828 г.), светлейший князь Варшавский (с 1831 г.); генерал-фельдмаршал.

[42] *Дед фельдмаршала...* – Григорий Иванович Паскевич (1736 (1735) – не ранее 1794), войсковой товарищ, затем бунчуковй товарищ; надворный советник.

[43] *...вторая дочь его была в замужестве за ... греком Кромида...* – Анна Григорьевна Кромида (урожд. Паскевич) и ее муж (с 1781 г.) Юрий Степанович Кромида, асессор казенной палаты Таврической области (1784–1798).

[44] *...в коронацию Павла...* – Павел I (1754–1801), с 1796 г. российский император; его коронация состоялась в Москве 16 апреля 1797 г.

[45] *...жил у отца в нашем московском доме...* – в доме на Старом Арбате, № 37, где родился Д.Н. Свербеев.

[46] *...Федор Паскевич ... его брат, Степан Паскевич...* – Паскевичи: Федор Федорович (1792–1844), генерал-майор, и Степан Федорович (1785–1840), губернатор Тамбовской (1831–1832), Курской (1834–1835), Владимирской губерний (1835).

[47] Раевская Елена (Алена) Александровна (ок. 1765 – ок. 1802) – Д.Н. Свербеев называет ее второй женой своего отца, однако в литературе есть сведения о ней, как о последней, третьей, жене Н.Я. Свербеева, с которой он сочетался недолгим браком в Калуге в 1802 г., уже после смерти матери мемуариста (см. *Модзалевский Б.Л.* Род Раевских герба Лебедь. М., 1908. С. 52). По отцу она приходилась двоюродной сестрой генералу Н.Н. Раевскому.

[48] *...известному в 1812 г. генералу Раевскому...* – Николай Николаевич Раевский-старший (1771–1829), генерал от кавалерии, участник войн с Турцией, Польшей, Францией и Швецией, Отечественной войны 1812 года.

[49] *...Прасковья Михайловна Раевская... мать Черевиной, бабка княгини Горчаковой и прабабка... Безобразовой...* – Упомянуты: П.М. Раевская (урожд. Кропотова) (родственница Е.А. Свербеевой: жена ее двоюродного дяди), ее дочь Варвара Ивановна Раевская (в замужестве Черевина) (ок. 1778–1817), дочь последней – Наталья Дмитриевна Горчакова (?–1849) и дочь Горчаковой – Ольга Петровна Безобразова (1833–1873).

[50] *...решил перенести усадьбу в Солнышково...* – Доныне сохранились отдельные строения и сад в с. Солнышково. Название в XIX в. писалось и как Солнушково.

[51] В рукописи имеется подстраничное примечание Свербеева: «Будущим после меня владельцам этого подмосковного имения не мешает знать его почти 100-летнюю историю. Куплено оно было в 17.. г. при дер. Чудинове и Солнышкове; всей дачи было 900 десятин и, кроме того, две отхожие пустоши: Талаевки, за 13 верст от Солнышкова за Давидовой пустыней, 90 десятин под лесом, Углешни 200 десятин за с. Чудиновым к железной дороге верстах в 8. Душ ревизских по купчей крепости было в этих селениях... [число не указ.], теперь налицо временнообязанных...[число не указ.]. Итак во все эти годы, т.е. в целое столетие, в этих имениях число жителей... [число не указ.] и потому оно представляет как редкое исключение не только по сравнению с другими моими вотчинами, но и с общим ходом народонаселения в России. На это были 3 причины: 1. Многие из крестьян еще при жизни моего отца, а потом уже до 20-х годов и при мне бежали с семьями и отдельно в южную

Россию, которая, как известно, с 70 годов прошлого столетия населялась беглыми. Случаи бегства крепостных особенно в Одессу часто повторялись до 1820 г. в этой нам подвластной местности. 2. Отсутствие почти постоянное из деревень мужского населения. Крестьяне мальчиками отдавались в мастерство лет на 5, что велось до воспрещения имп. Николаем ранних свадеб лет 16, и потом они поселялись в Москве лет до 60, занимаясь преимущественно медным, вредным для здоровья, мастерством, отчего многие до 30 лет умирали чахоткой. Впоследствии ввелось в обычай у нас отдавать своих законных младенцев в Восп[итательный] дом и брать их оттуда в виде кормилиц на воспитание за известную годовую плату, что уже исключало новорожденных из ревизии. Наконец еще моим отцом, а потом и мной отпущено было целыми семьями и отдельно. Они откупались по обычаю за деньги, и за их выкуп сошло с имения тысяч 20. На столько же продано было на сруб лесов еще до освобождения крестьян за последние годы с [18]58 и поныне продано было лесу на 75 т. р. сер. И после всех таких значительных выручек имение это с имеющимся в виду выкупом с землей, оставшейся за помещиком после надела с частью непроданного леса и в теперешнем его положении оценено в 50 тысяч рублей сер. Вот образчик того, до каких размеров может увеличиться ценность недвижимых имений даже при обстоятельствах более неблагоприятных, чем выгодных» (ФС. Д. 11. Л. 5–5 об.).

[52] *...не было там ни Алупки Воронцова, ни царской Ливадии, ни... Ялты, а была разве одна Балаклава или Феодосия...* – Сохранившийся до сего дня дворец графа М.С. Воронцова в Алупке был построен в 1837 г. в стиле старинного английского замка. Поселок Ливадия (греч. назв. Ай-Ян) с XIX в. стал собственностью царской семьи и впоследствии был известен как царская резиденция в Крыму. Ялта (в конце XVIII в. – небольшая деревня) с 1837 г. стала уездным городом Таврической губернии. Город Балаклава (ныне – район Севастополя) был известен с античности; в 1780-е годы, когда крепость и порт в Севастополе начинали строиться, здесь существовала греческая колония. Феодосия была основана греками в середине VI в. до н.э., в XVIII в. находилась в составе Крымского ханства. С 1783 г., с присоединением Крыма к России, городу было возвращено его древнее греческое название.

[53] *...с населением из греков.* – в рукописи эта фраза продолжена: «т.е. всего, что может быть худшего в этом и теперь еще полуварварском племени» (ФС. Д. 11. Л. 5 об.).

[54] *...как первую станцию на замышленном ею пути в Константинополь...* – Автор имеет в виду желание Екатерины II возродить Византийскую империю со столицей в Константинополе.

[55] Браницкая (урожд. Энгельгардт) Александра Васильевна (1754–1838) – графиня, обер-гофмейстерина при Николае I; благотворительница.

[56] *...заложил его для этой покупки в московской сохранной казне...* – Сохранная казна – кредитное учреждение, принимавшее вклады и выдававшее суммы под залог земель и крепостных. Можно было оформить документы на покупку имения, тут же заложить его и расплатиться полученной ссудой за покупку.

[57] *...второй сын Новосильцевых был... назван Николаем ...дочь этого Николая Новосильцева, замужем за Эммануилом Нарышкиным...* – Упомянуты: Николай Петрович Новосильцев (1789–1856) – сенатор, товарищ министра внутренних дел, статс-

секретарь имп. Марии Федоровны. Его дочь, Екатерина Николаевна Новосильцева (1817–1869), с 1838 г. была замужем за обер-камергером Эммануилом Дмитриевичем Нарышкиным (1813–1902).

58 В рукописи здесь Свербеев добавляет еще одну фразу: «Хотя жена друга моего отца в расчетах своих и обманулась, но, помнится мне, по рассказам, что отец мой за дружбу свою к ее мужу все-таки поплатился при покупке ими большого имения в том же новосильском уезде» (ФС. Д. 11. Л. 6).

59 Кречетников Михаил Никитич (1729–1793) – граф (с 1793 г.); генерал-аншеф (1790); генерал-губернатор Калужского и Тульского наместничеств (1777–1793), Рязанского наместничества (1778–1781).

60 Платон (Петр Георгиевич Левшин) (1737–1812) – митрополит Московский, историк Церкви, проповедник, богослов. В 1764–1799 гг. Калуга относилась к Московской епархии и Платон являлся архиепископом Московским и Калужским (с 1775 г.).

61 *...древний город, старше Москвы, имел когда-то своих удельных князей...* – Новосиль, уездный центр Тульской губернии, известен с 1155 г. как город Черниговского княжества. В начале XIV в. был центром удельного Новосильского княжества.

62 Шевич Георгий Иванович (1746–1805) – генерал-лейтенант; генерал от кавалерии (с 1798 г.); шеф Сумского гусарского полка (1796–1799).

63 Обресков Николай Васильевич (1764–1817) – камер-паж при Екатерине II; генерал-майор (1798); командир Сумского гусарского полка (до 1799 г.); московский губернатор (1810–1813).

64 *...жил в Туле со своею матерью и тремя сестрами...* – Анна Федоровна Обрескова (урожд. Ермолова) (?–1800), бабка автора, и ее дочери: Екатерина Васильевна (мать Д.Н. Свербеева), Мария Васильевна (1768 (1769) – после 1847), выпускница Смольного института (1785 г., 4-й выпуск), фрейлина, и, вероятно, Варвара Васильевна.

65 В рукописи следует текст, не вошедший в публикацию: «Никакого Обрескова не отыщешь в длинном алфавитном словаре, который составил Строев к истории Карамзина, а в ней упомянут был, хотя и гонцом Квашнина, какой-то Свербей, выехавший из Киева в княжение Василия В[асильевича] Темного. Еси мы ухватимся за него как родоначальника, переселившимся вместе с Квашниным из южной России на север, то мы будем постарее Обресковых» (ФС. Д. 11. Л. 7).

66 Обресков Алексей Михайлович (1718–1787) – дипломат; поверенный в делах (с 1751 г.), а затем посланник в Константинополе. В 1768 г. был арестован турками, освобожден в 1771 г.

67 Булгаков Яков Иванович (1743–1809), дипломат, посланник в Константинополе (1781–1789); академик, литератор.

68 *...осталось от первой жены, гречанки, трое сыновей и одна дочь...* – Гречанка из Константинополя была второй супругой А.М. Обрескова. Первой упоминается ирландская девица Аббот. От гречанки у Алексея Михайловича Обрескова были сыновья: Петр (см. примеч. 70), Михаил (см. примеч. 75), Иван (см. примеч. 77) и дочь Екатерина (см. примеч. 79).

69 *...от второй, урожденной Фаминциной, – один сын, умерший чахоткой в молодости.* – Фаминцына Варвара Андреевна (1744–1815), кавалерственная дама ордена

Св. Екатерины (1797), и, вероятно, ее сын Андрей (1776–?), сержант лейб-гвардии Измайловского полка (также в источниках упоминается их сын Николай).

[70] Обресков Петр Алексеевич (1752–1814) – секретарь графа (с 1797 г. – князя) А.А. Безбородко (1747–1799), статс-секретарь императора Павла I (1797–1800); сенатор (1801); управляющий Межевой канцелярией (1804–1810).

[71] Волчкова (в первом браке бар. Остен-Сакен, во втором – Обрескова, в третьем – Хилкова) Елизавета Семеновна (1775–1856). – В публикации 1899 г. дана фамилия «Балчкова». В рукописи Свербеев добавляет о ней: «которую развел за деньги с бароном Остен; этот первый ее муж сделался потом другом Обрескова; старичок, сколько помнится мне, весьма невзрачный и глупенький» (ФС. Д. 11. Л. 7).

[72] Хилков Степан Александрович (1786–1854) – князь, генерал-лейтенант (1826).

[73] В рукописи Свербеев продолжает: «подобной теперешней, изумительной своей вечной юностью княгине Четвертинской» (ФС. Д. 11. Л. 7). Имеется в виду княгиня Надежда Федоровна Четвертинская (урожд. княжна Гагарина) (1792–1883).

[74] Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1751–1828) – сенатор, поэт.

[75] Обресков Михаил Алексеевич (1759–1842) – генерал-кригскомиссар (1805–1807), директор Департамента внешней торговли (1811–1823); сенатор (с 1829 г.).

[76] В рукописи добавление: «румянился и красил себе волосы, и кроме того, наживал состояние законно и беззаконно» (ФС. Д. 11. Л. 7–7 об.).

[77] Обресков Иван Алексеевич (?–1813) – подпоручик Ярославского пехотного полка (1798), участник Отечественной войны 1812 года.

[78] *...отличался вечным движением с места на место...* – В рукописи эта фраза звучит шире: «отличался вертопрашеством, вечным движением с места на место и замечательным искусством жить на чужой счет, делать долги и не платить их, и не смотря на то...» (ФС. Д. 11. Л. 7 об.).

[79] Обрескова Екатерина Алексеевна (1766–1851) – фрейлина, дочь А.М. Обрескова.

[80] *...она была ... из Смольного монастыря...* – Имеется в виду Институт благородных девиц, первое в России привилегированное закрытое учебное заведение для девочек, основанный Екатериной II в 1764 г. при Воскресенском Смольном монастыре в Петербурге. Первый выпуск состоялся в 1776 г.

[81] Обресков Василий Иванович (ок. 1731–1781) – гвардии капитан. В книге В.В. Шереметевского «Русский провинциальный некрополь» (М., 1914. Т. 1.) указан год его смерти – 1787, однако этому противоречит дневник И.А. Толченова, многолетнего знакомого В.И. Обрескова (см. след. примеч.).

[82] *...моей бабушки.* – Уже упомянутая А.Ф. Обрескова (урожд. Ермолова), бабушка автора по матери. В известном справочнике по генеалогии русского дворянства она указывается фактически как тетка Д.Н. Свербеева: жена его дяди Александра Васильевича Обрескова (*Руммель В.В., Голубцов В.В.* Родословный сборник русских дворянских фамилий: В 2 т. СПб., 1887. Т. 2. С. 191). Эти сведения о браке А.Ф. Ермоловой с А.В. Обресковым повторяются и в книге, посвященой роду Ермоловых, при этом тут же цитируются живописные фрагменты «Записок» Свербеева о семействе Ермоловых, из которых прямо следует иная схема родства Обресковых и Ермоловых (*Ермолов А.С.* Род Ермоловых. М., 1912. С. 88). В пользу Д.Н. Свербеева, подробно рассказывающего о родственных связях Анны Федоров-

ны Ермоловой и ее детей (например, своих теток и матери), говорят свидетельства Ивана Алексеевича Толченова, дмитровского купца, хорошо знавшего семью А.Ф. и В.И. Обресковых, их дочь Е.В. Свербееву и оставившего многочисленные записи о них в своем дневнике (*Толченов И.А.* Журнал или записка жизни и приключений Ивана Алексеевича Толченова. М., 1974. С. 166 и др.). Например, он пишет о смерти В.И. Обрескова 2 мая 1781 г. (Там же. С. 166), об А.Ф. Обресковой (урожд. Ермоловой) в 1800 г.: «Сим годом… Сентября 26 дня в 7-м часу пополудни приятельница наша Анна Федоровна Обрескова скончалась в Шпилеве скоропостижно от боли в груди, а 29 погребена в дмитровском Борисоглебском монастыре» (Там же. С. 345) и о кончине матери мемуариста в 1801 г.: «Сим годом скончались из родственников и знакомых: …Февраля 8 дня в Москве ж – Катерина Васильевна Свербеева, урожденная Обрескова, после родов через сутки» (Там же. С. 352). Родившийся мальчик, Яков, родной брат мемуариста, умер тогда же.

83 Ермолов Федор Иванович – капрал лейб-гвардии Измайловского полка (1752), поручик; помещик Нижегородского, Пензенского, Симбирского наместничеств, прадед Д.Н. Свербеева.

84 *…Екатерина II даровала права и вольности дворянству…* – Манифест «О даровании вольности и свободы всему Российскому дворянству» («Манифест о вольности дворянства»), которым дворяне освобождались от обязательной для них прежде государственной службы и призывались к ней добровольно, был подписан 13 февраля 1762 г. Петром III. Екатерина II лишь подтвердила вольности дворянства в своей «Жалованной грамоте Российскому дворянству», данной в 1785 г.

85 *…два сына Александр и Нил…* – Александр Федорович Ермолов (1743 – не ранее 1819), прокурор в симбирской провинции (1778), председатель земского суда Симбирского наместничества (1780–1792); Симбирский губернский предводитель дворянства (1802–1819). Нил Федорович Ермолов (1755 – 1820), прапорщик гвардии, симбирский губернский предводитель дворянства (1793–1795).

86 *…чуть ли не 5 трехлетий пробыл в этом звании…* – На выборные должности предводителей дворянства губерний и уездов избирали на трехлетний срок. Уездные предводители часто бывали переизбраны на второй, третий и т.д. сроки. С губернскими предводителями это случалось реже. А.Ф. Ермолов был губернским предводителем с 1802 по 1819 г. В рукописи и публикации 1899 г. здесь стояло «15 трехлетий» – очевидно, результат простой описки.

87 Ермолова (урожд. Янова) Пелагея Ивановна (?–1836), похоронена в Симбирске.

88 *…Мария Федоровна Кикина, мать статс-секретаря, первого моего начальника по службе.* – М.Ф. Кикина (урожд. Ермолова), мать 12 детей, в том числе Петра Андреевича Кикина (1775–1834), бригадного генерала (1814), статс-секретаря Комиссии по принятию прошений на высочайшее имя (1816–1826), сенатора.

89 *…от их … дочерей пошли там и Топорнины, и Чемадуровы, и Тепляковы, и Филатьевы, и, наконец, Языковы…* – Имеются в виду потомки братьев Александра и Нила Ермоловых: Наталья Ниловна (в замужестве Топорнина) (ок. 1787–после 1872); Елизавета Ниловна (в замужестве Филатова (Филатьева)); Екатерина Ниловна (в замужестве Чемудурова (Чемадурова)); Наталья Александровна (в замужестве Теплякова) (1789–1867); Екатерина Александровна (в замужестве Языкова). О семействе последней Свербеев пишет подробнее дальше (см. примеч. 368).

[90] *...Поэт Языков, его старший брат Петр..., а также... Александр Языков и сестра их...* – Перечислены Языковы, дети Е.А. Ермоловой (в замужестве Языковой): Николай Михайлович (1803–1846), поэт, близкий славянофилам; Петр Михайлович (см. примеч. 15, с. 840); Александр Михайлович (1799–1874), общественный деятель, попечитель Казанского учебного округа, приятель Д.Н. Свербеева. Их младшая сестра, Екатерина Михайловна (1817–1852), была супругой А.С. Хомякова.

[91] Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) – генерал от инфантерии (1818) и от артиллерии (1837); главнокомандующий русскими войсками в Грузии (1817–1827).

[92] Ермолов Александр Иванович (1810–1892) – действительный статский советник; симбирский губернский предводитель дворянства (1858–1870).

[93] Обресков Александр Васильевич (1757–1812) – генерал от кавалерии; шеф Владимирского драгунского полка (1796–1800, 1801–1802); инспектор кавалерии Кавказской инспекции; финляндский военный губернатор и управляющий гражданской частью (1805–1810).

[94] *...в Александровской ленте...* – Имеется в виду знак ордена Св. Александра Невского, второго по значению ордена в России, который носили на красной ленте через левое плечо.

[95] Пассек Варвара Петровна (1761–1787) – фрейлина.

[96] *...После Тильзитского мира и... Аустерлицкого сражения...* – Аустерлицкое сражение 20 ноября 1805 г. между войсками русско-австрийской коалиции и армией Наполеона закончилось победой последнего. Тильзитский мирный договор был подписан 25 июня 1807 г. между Россией и Францией, Россия была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде Англии, согласиться на расчленение Пруссии, создание Великого герцогства Варшавского и др.

[97] Дашков Павел Михайлович (1763–1807) – князь, генерал-лейтенант, московский губернский предводитель дворянства (1802–1807).

[98] Дашкова Екатерина Романовна (1743–1810) – княгиня, президент Российской академии наук, основанной ею; директор Петербургской академии наук и художеств.

[99] Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) – граф (с 1834 г.); адмирал (с 1797 г.), государственный деятель; предводитель московского ополчения (с 1806 г.).

[100] Екатерина Павловна (1788–1818) – великая княгиня, четвертая дочь императора Павла I. Была хозяйкой великосветского салона в Твери, куда ее муж был назначен генерал-губернатором (см. о нём примеч. 150 к т. 1). С 1816 г. – королева Вюртембергская.

[101] *...в церковь Симеона Столпника на Поварской...* – Церковь, построенная в 1676–1679 гг., сохранилась до наших дней на углу Нового Арбата и Поварской улицы.

[102] Димитрий (Даниил Саввич Туптало) (1651–1709) – митрополит Ростовский (с 1702 г.), богослов, церковный писатель, причислен к лику святых в 1752 г.

[103] *...отец мой стал масоном, или мартинистом...* – Мартинизм – религиозно-мистическое, эзотерическое учение, распространившееся в XVIII в., главным образом, среди масонов. Названо по имени основателя, Мартиниса Паскалиса.

[104] *...до эмансипации.* – Эмансипацией называли освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 г.

[105] *...до самого его уничтожения...* – Масонство не было уничтожено. Оно существовало в России до 1917 г., существует в мире и сейчас. Свербеев, очевидно, имеет в виду окончательный правительственный запрет, наложенный на деятельность масонских лож в 1822 г. (до этого масонство было запрещено в конце правления Екатерины II, но при Александре I вновь было разрешено).

[106] Мудров Матвей Яковлевич (1776 (1772)–1831), врач; профессор медицины в Московском университете и директор клинического института (с 1809 г.); профессор и директор Московского отделения Медико-хирургической академии (1813–1817); декан медицинского факультета Московского университета (1813–1830). Домашний врач не только Свербеевых, но и Пушкиных (родителей поэта).

[107] Тургенев Петр Петрович (1763 (1760)–1830), сенгилейский, а затем ставропольский уездный предводитель дворянства; член новиковского «Дружеского ученого общества»; член масонской ложи «Ключ к Добродетели» (с 1817 г.).

[108] Корнеев (Карнеев) Захар Яковлевич (Эммануилович) (1748–1828) – минский губернатор (1796–1806); сенатор (с 1808 г.), известный масон.

[109] Гамалея Семен Иванович (1743–1822) – переводчик, писатель, масон; правитель канцелярии гр. З.Г. Чернышева (1774–1784).

[110] Лопухин Иван Владимирович (1756–1816) – государственный деятель, публицист; масон, автор масонских сочинений; мемуарист, благотворитель.

[111] Прозоровский Александр Александрович (1732–1809) – князь, главнокомандующий в Москве (1790–1795); позднее – генерал-фельдмаршал, командующий Молдавской армией (с 1807 г.).

[112] В рукописи добавлено: «Много перебрал он денег и у моего отца и однажды, взойдя к нему с просьбой о ссуде и получив отказ, взял со стола пожалованный Екатериною отцу в Крыму перстень, сказав, что он в крайности, что он его заложит, а потом конечно выкупит, – так и исчез! Отец жалел об этой потере, да и я тоже. Забавным памятником того времени, тоже потерянным, был голландский червонец, подаренный нашему поваренку в Крыму римским императором, 80-летний старик все мне его показывал и не хотел уступать и наконец потерял» (ФС. Д. 11. Л. 10 об.).

[113] Сафонов Петр Илларионович (1753–1829) – полковник; орловский предводитель дворянства (1800–1802); масон.

[114] В рукописи добавлено: «пошлой дуре и совершенстве безобразия» (ФС. Д. 11. Л. 10 об.).

[115] Сафонова (урожд. Савина) Анна Герасимовна (1762–1834) – жена П.И. Сафонова.

[116] Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) – писатель, поэт; директор, затем куратор Московского университета (1763–1802); масон.

[117] *...Василий Васильевич Артемьев, отец которого был не из дворян...* – Очевидно, Артемьевы (дворяне с 1803 г.): Василий Васильевич, бригадир (1791), и его сын-масон Василий Васильевич (1778–1835), подпоручик.

[118] *...стал изучать Феофраста Парацельса...* – Теофраст Парацельс (наст. имя – Филипп Теофраст фон Гогенгейм (Hohenheim)) (1493–1541), швейцарский врач, естествоиспытатель, алхимик.

[119] *...Сергей Степанович Ланской (отец Перфильевой, брат княгини Одоевской)...* – С.С. Ланской (1787–1862), граф, министр внутренних дел (1855–1861), член Госу-

дарственного совета (с 1850 г.); масон, состоявший членом «Союза благоденствия». Упоминаются: его сестра Ольга Степановна Одоевская (урожд. Ланская) (1797–1872) и дочь Анастасия Сергеевна (в замужестве Перфильева) (1813–1891).

[120] Дубовицкий Петр Николаевич (1753–1825) – провиантмейстер, надворный советник, с 1784 г. – в отставке; рязанский помещик, опекун Д.Н. Свербеева.

[121] *...погубили ему единственного сына...* – У П.Н. Дубовицкого было два сына, старший умер молодым; здесь речь идет о младшем. Александр Дубовицкий (1782–1848) служил в Преображенском полку, вышел в отставку в 1809 г. в чине подполковника. Увлекся религиозно-мистическими учениями, основал секту «истинных внутренних поклонников господних»; неоднократно был в ссылке (в 1824–1826 и 1833–1842 гг.).

[122] Лабзин Александр Федорович (1766–1825) – литератор, религиозный просветитель, издатель; мистик, масон.

[123] *...женил... на... девушке из ...семейства Озеровых, сестре... Петра Ивановича и родной тетке теперешнего министра нашего в Баварии и другого, недавно бывшего в Швейцарии... бедная женщина прожила недолго, оставив ему сына и двух дочерей...* – Женой А.П. Дубовицкого была Мария Ивановна Озерова (?–1821). У супругов было трое детей: сын Петр Александрович (1815–1868), хирург, профессор, президент Медико-хирургической академии, и дочери: Надежда (1817–1893), художница, и Софья (1821–1883) (в замужестве Мерхелевич). Братом М.И. Озеровой был Петр Иванович Озеров (1773–1843), сенатор (1823), губернатор Тверской губернии (1813–1817), член Государственного совета. Его сыновья продвинулись на дипломатическом поприще, в частности, Иван (1806–1880) был посланником в Баварии (1863–1880), а Александр (1817–1900) – в Берне, в Швейцарии (1861–1869).

[124] Пивоваров Афанасий Варфоломевич (ок. 1745 – после 1812), приказчик, позднее – «дядька»-воспитатель маленького Д.Н. Свербеева.

[125] *...воспитывалась в Смольном монастыре пансионеркой князя Орлова у г-жи Lafond...* – М.В. Обрескова жила и обучалась в Смольном институте благородных девиц за счет благотворительных взносов Григория Григорьевича Орлова (1734–1783), графа (с 1762 г.), князя Римской империи, генерал-аншефа и фаворита Екатерины II. Начальницей Института благородных девиц (в 1764–1797 гг.) была статс-дама Софья Ивановна де Лафон (de Lafont (de La Font)) (1717–1797).

[126] Церковь Святого Николая в Плотниках – известна с 1625 г. в слободе государевых плотников. Была существенно перестроена в 1700 г. Снесена в 1931 г.

[127] В рукописи дополнение: «и его побочная дочь» (ФС. Д. 11. Л. 12 об.).

[128] *...в Первую Крымскую войну...* – Так называли кампанию 1771 г., когда русские войска заняли Крым в ходе Русско-турецкой войны (1768–1774 гг.).

[129] Якоби Иван Варфоломеевич (1726–1803) – генерал от инфантерии; с 1781 г. оренбургский губернатор, затем генерал-губернатор Симбирского и Уфимского наместничества (в 1782), Иркутского (1783–1788) и Колыванского наместничеств (1784–1788).

[130] В рукописи пояснение: «владельцем императорского червонца», отсылающее к истории, рассказанной несколько ранее и также не включенной в публикацию (ФС. Д. 11. Л. 13 об.; примеч. 112).

[131] *...графу Пушкину ... открывшему в 1812 году «Слово о полку Игореве»...* – Граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744–1817), обер-прокурор Синода, сенатор, президент Академии художеств и член Академии наук, археограф и историк, собиратель рукописей и русских древностей, обнаружил единственный известный список «Слова о полку Игореве» еще в конце XVIII в. и в 1800 г. издал его. Оригинал сгорел вместе с коллекцией графа во время пожара Москвы в 1812 г.

[132] Орлов Владимир Григорьевич (1743–1831) – граф (с 1762 г.), директор Академии наук (1766–1774), хозяин подмосковного имения «Отрада».

[133] *...У графа Пушкина ... сыновья и дочери...* – Среди детей А.И. Мусина-Пушкина были младшие, близкие по возрасту к Д.Н. Свербееву: Владимир (1798–1854), Софья (в замужестве княгиня Шаховская) (1792–1878 (1872)), Варвара (в замужестве княгиня Трубецкая) (1796–1829).

[134] *...у графа Орлова ... внуки, молодые графы Панины...* – Имеются в виду дети дочери В.Г. Орлова Софьи (в замужестве Паниной) (1774–1844). Вероятнее всего, это близкие Свербееву по возрасту: Виктор Никитич (1801–1874), впоследствии дипломат, Софья Никитична (1797–1833) и Аделаида Никитична (1798–1829) Панины, а также старший Александр Никитич (1791–1850), впоследствии полковник (1825), помощник попечителя Харьковского учебного округа (1833–1839). О своей встрече с Виктором Никитичем Паниным в 1823 г. и воспоминаниях о пребывании в «Отраде» Д.Н. Свербеев пишет далее в «Записках» (с. 301).

[135] Лебедев Ф.А. (ок. 1790–ок. 1860) – священник церкви Николы в Плотниках.

[136] *...священником церкви Иоанна Воина... Матвеем Десницким... потом черниговским архиепископом и, наконец, Михаилом, митрополитом с.-петербургским...* – Церковь Святого мученика Иоанна Воина, покровителя стрельцов-воинов, была построена в Замоскворечье на Якиманке в 1709–1719 гг. В 1785–1796 гг. в этой церкви служил священником Матвей Михайлович Десницкий (1761–1821), в монашестве (с 1799 г.) Михаил, с 1803 г. епископ, а затем архиепископ Черниговский (с 1806 г.); митрополит Санкт-Петербургский (с 1818 г.), архимандрит Александро-Невской лавры. Известный проповедник, автор духовных трудов, в том числе «Краткого катехизиса» и «Пространного катехизаторского учения».

[137] Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – полководец и государственный деятель, император Франции.

[138] Коленкур (Caulaincourt) Арман Огюстен Луи де (1773–1827) – маркиз, с 1808 г. – герцог; посол Франции в России (1807–1811); автор «Мемуаров» о походе Наполеона в Россию.

[139] *...графа Румянцева считали другом Бонапарта, а Сперанского... называли изменником...* – Николай Петрович Румянцев (1754–1826) – граф, министр иностранных дел (1807–1814); канцлер (1809–1814); коллекционер. Вступление Наполеона в Россию так потрясло Румянцева, что с ним сделался апоплексический удар и он навсегда потерял слух. Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) – граф (с 1839 г.), государственный деятель, ближайший советник Александра I в 1808–1812 гг., в 1812 г. был удален от дел и сослан; в 1819–1821 гг. сибирский генерал-губернатор.

[140] Куракин Алексей Борисович (1759–1829) – князь, сенатор, генерал-губернатор Малороссии (1802–1807), министр внутренних дел (1807–1810), член Государственного совета (с 1811 г.).

[141] *Высший круг общества возненавидел Сперанского за то, что он добился... уничтожения преимуществ придворных должностей...* – В 1809 г. по предложению Сперанского придворные чины камергера и камер-юнкера были исключены из «Табели о рангах» и остались лишь почетными званиями, что было большой потерей для имевших эти чины. Кроме того, по его же предложению были введены экзамены для получения некоторых классных чинов, чего прежде не было.

[142] *...с 2000 получалось от 15 до 20 000...* – Это значит, что в урожайные годы владелец 2000 крепостных душ имел от них доход в 15 или 20 тыс. руб., что, по мнению Д.Н. Свербеева, было скудным доходом (для сравнения: в то же время все виды довольствия, которые получал полковник в должности командира полка, не превышали 2500 руб. в год).

[143] *...из русской истории князя Щербатова, из «Ядра Российской истории» князя Хилкова, либо стихи Ломоносова, Хераскова, Кантемира, Сумарокова, Державина...* – Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790) – князь, государственный деятель, историк и публицист; автор «Истории Российской от древнейших времен» (В 7 т. 15 ч. СПб., 1770–1791).

Труд «Ядро Российской истории» до 1850-х годов ошибочно приписывали авторству русского резидента в Стокгольме, князя Андрея Яковлевича Хилкова (1679–1717 (1676–1718)), реальным же автором книги был его подчиненный, служащий канцелярии резидента Алексей Ильич Манкиев (Манкеев) (?–1723), с 1720 г. – переводчик в Коллегии иностранных дел, выполнявший дипломатические поручения. «Ядро» было написано им в шведском плену, где он находился вместе с А.Я. Хилковым. Книга, составленная к 1715 г., была опубликована впервые в 1770 г.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – энциклопедист и ученый-естествоиспытатель, был известен современникам прежде всего как поэт. Широко известны были его оды конца 1730-х – 1740-х годов, трагедии, эпиграммы, шутливые стихотворные пьесы, сатирические произведения.

Антиох Дмитриевич Кантемир (1708–1744) – князь, дипломат; писатель, известный в особенности своими сатирами и баснями, а также переводами.

Александр Петрович Сумароков (1717–1777) – поэт, драматург, первый директор театра в Петербурге (1756–1761), издатель журнала «Трудолюбивая пчела».

Поэтическое наследие уже упоминавшихся Свербеевым М.М. Хераскова и Г.Р. Державина весьма обширно. В 1779 г. вышло первое Собрание сочинений Хераскова; расцвет поэтического творчества Державина приходится на 1780–1790-е годы, когда было написано большинство его стихотворений.

[144] *...начинавшие тогда входить в моду сочинения Карамзина, его «Письма русского путешественника», его «Московский журнал», и «И мои безделки» Дмитриева...* – Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), писатель, историограф (с 1803 г.), автор «Истории государства Российского». На рубеже XVIII–XIX вв. были популярны основанные им журналы: «Московский журнал» (1791–

1792) и «Вестник Европы» (1802–1830), который он сам издавал до 1803 г. В 1794 г. увидело свет первое издание его сочинений в стихах и прозе «Мои безделки» (переиздавалось в 1797–1801 гг.). Полное издание «Писем русского путешественника» (выходивших частями в «Московском журнале») появилось в 1801 г. И.И. Дмитриев после выхода в свет сборника Карамзина «Мои безделки» выпустил свой сборник стихотворений «И мои безделки» (1-е изд. – в 1795 г.).

145 Крылов Иван Андреевич (1769–1844) – писатель, баснописец, драматург, издатель журнала «Почта духов».

146 *...сочинения Иакова Бема, Иоанна Масона, Экартсгаузена и «Сионский вестник» Лабзина...* – Иаков Бёме (Böhme) (1575–1624), немецкий философ-мистик; Иоанн Масон (Джон Мейсон) (Mason) (1706–1763), английский писатель-масон, автор популярного в России сочинения «Познание самого себя» (М., 1783); Карл фон Эккартсгаузен (Eckartshausen) (1752–1803), немецкий писатель-мистик. «Сионский вестник» – журнал, который издавал в 1806 и 1816–1818 гг. под псевдонимом «Мисаилов» известный масон А.Ф. Лабзин.

147 *...сочинение Юнга Штиллинга... «Угроз Световостоков»...* – Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг (Jung-Stilling) (1740–1817), немецкий писатель-мистик, врач, представитель пиетизма. Его сочинение «Тоска по отчизне» вышло в России в начале XIX в. в переводе А.Ф. Лабзина с названием по имени главного героя («Der graue Mann»), переведенного весьма оригинально: «Угроз Световостоков, сочинение Иоанна Генриха Юнга, называющегося иначе Генрихом Штиллингом» (СПб., 1806–1815. Ч. 1–8).

148 *...два тома Мармонтелеевых сочинений...* – Жан-Франсуа Мармонтель (Marmontel) (1723–1799), французский писатель, член Французской академии (с 1763 г.).

149 *...представлена... его другу И.В. Лопухину, который... подарил мне... «Образцовые сочинения в стихах и прозе»...* – Иван Владимирович Лопухин (см. о нем примеч. 110). Упоминаемая книга, очевидно, – «Образцовые сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей» (М., 1811. Ч. 1–5).

150 *...с супругом, принцем Ольденбургским в Твери и по смерти его вышедшая за короля Виртембергского.* – Первым мужем Екатерины Павловны (с 1809 г.) был принц Георгий Петрович (Петр Фридрих Георг) Ольденбургский (1784–1812), генерал-губернатор Тверской, Ярославской и Новгородской губерний (1809–1812); вторым мужем (с 1816 г.) стал король Вюртемберга Вильгельм I (1781–1864).

151 Екатерина II Алексеевна (Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская) (1729–1796) – немецкая принцесса, с 1762 г. российская императрица.

152 В рукописи после этой истории у Свербеева следует еще одна: «А вот другой рассказ из другого времени, почти 40 годами позднейшего. После первого польского мятежа в начале 30-х годов в Москву ожидали имп. Николая, перед этим временем шеф жандармов гр. Бенкендорф назначил туда обер-полицеймейстером любимого своего адъютанта Сергея Никол. Муханова, и отправляя его в Москву, сказал ему, что он уверен, что государю будет там прием как подобает. Прием был действительно как нельзя лучше, восторженный, самый торжественный: куда бы государь ни ехал, везде его встречала толпа и везде толпы за ним следовали, всю-

ду раздавалось громозвучное ура. Все это до того было усердно и радостно, что государю наконец надоело и он не раз приказывал, чтобы его оставили в покое. При царском отъезде все получили награды, а Муханова произвели в генералы. В последнее свидание Бенкендорфа с бывшим своим адъютантом за час перед отъездом граф в самых лестных выражениях выразил все свое удовольствие и благоволение государя за такой прекрасный прием, какого еще не бывало. Муханов несколько замялся и тихим невнятным голосом начал: в[аше] с[иятельство], я не знаю, как вам сказать: на эту встречу я издержал 10 000 р. собственных денег. – Что? Какие деньги? – Да я нанимал и встречать и кричать и бегать за вами. – Кого нанимал? – Разумеется, всякий сброд, поденщиков, безпаспортных мещан; сколько-нибудь порядочный народ больше уже не кричит, особливо изо дня в день целую неделю. – Ну издержал. Мне что за дело? – Помилуйте! Вы меня коротко изволите знать: я служу честно, не беру даже с откупа как все прежние оберполицийместеры; человек я небогатый, семья, вы это знаете, у меня большая; – откуда я возьму эти деньги? – Ну, любезный, это не мое дело! Прощай! – Сам Муханов рассказывал это кн. Хилкову, своему родственнику. Были ли ему возвращены эти 10 000, не знаю» (ФС. Д. 11. Л. 18–18 об.). В рассказе упомянут Сергей Николаевич Муханов (1796–1858), московский обер-полицмейстер (1830–1833), впоследствии харьковский и орловский губернатор.

[153] *...немцу Wegelin'у, сделавшемуся известным по своим сочинениям о русской истории на немецком языке...* – Жан (Иоанн) Филипп Вегелин (Weguelin, Wegelin), профессор Военной школы в Кольмаре (Эльзас); автор книг: «Таблица российской истории в пользу юношества... Из сочинений г. профессора Вегюелен. Переведена с французского Ф[едором] Пр[отопоповым]» (М., 1788), переизданий: «Начертание российской истории» (М., 1807), «Краткая российская история, от Рюрика до дней... императора Александра I» (М., 1815), а также пособий по изучению языков.

[154] Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762–1848) – инспектор, затем директор Университетского благородного пансиона (1791–1826); ординарный профессор натуральной истории, минералогии и сельского хозяйства (с 1794 г.) и ректор Московского университета (1819–1826).

Благородный пансион при Московском университете являлся закрытым учебным заведением для детей дворян, с 1783 г. он размещался в отдельных от университета зданиях на углу Газетного и Долгоруковских переулков и Тверской улицы (ныне здесь находится Центральнй телеграф).

[155] *...воспитавшему ... Дашкова, братьев Тургеневых, Блудова, Жуковского ... Одоевского, Шевырева и Титова...* – В разные годы в Благородном пансионе при Московском университете воспитывались: Дмитрий Васильевич Дашков (1788–1839), литератор, статс-секретарь, товарищ министра внутренних дел, министр юстиции; братья Тургеневы: Александр Иванович и Николай Иванович (см. о них далее); Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864), граф (с 1842 г.), министр внутренних дел (1832–1838), с 1862 г. председатель Государственного совета и Комитета министров, президент Академии наук (с 1855 г.); Василий Андреевич Жуковский (1783–1852), поэт, почетный член Академии наук (с 1827 г.).

Позже одновременно там учились: Владимир Федорович Одоевский (1804–1869), князь, писатель, журналист, литературный и музыкальный критик, издатель альманаха «Мнемозина»; Степан Петрович Шевырев (см. о нем примеч. 5, с. 852), Владимир Павлович Титов (1807–1891), дипломат, генеральный консул в Румынии (1837–1840); поверенный в делах, затем посланник в Османской империи (1840–1853) и Штутгарте (1855–1858), член Государственного совета (с 1865 г.); председатель Археографической комиссии (1873); литератор.

156 Никольский Василий Афанасьевич (ок. 1790 – после 1826) – воспитатель Д.Н. Свербеева; кандидат этико-политических наук (1815).

157 Феофан (Елеазар Прокопович) (1681–1736) – архиепископ Новгородский, церковный и государственный деятель, богослов.

158 *...римскую историю изучал я в переводе Тредьяковского, Роллена... латинскую грамматику Лебедева – с помощью лексикона Розанова; риторику – Рижского с дополнением к ней латинской Бургия; логику по-латыни – Баумейстера; математику – Войцеховского.* – Свербеевым названы: Василий Кириллович Тредьяковский (Тредиаковский) (1703–1769), поэт, переводчик, теоретик литературы, академик; автор переводов трудов французского историка Шарля Роллена (Rollin) (1661–1741), лекции которого слушал в Сорбонне: «Древняя история» (В 10 т. 1749–1762); «Римская история» (В 16 т. СПб., 1761–1767). Василий Иванович Лебедев (1716–1771), переводчик Петербургской академии наук, автор перевода с немецкого языка книги «Сокращение грамматики латинской» (1-е изд. СПб., 1746), выдержавшей множество переизданий. Фома Филимонович Розанов (1767–1810), писатель, автор ряда учебников, в том числе книги «Латинский лексикон с российским переводом...» (М., 1797 и многочисл. переизд.). Иван Степанович Рижский (1755–1811), профессор красноречия, стихотворства и российского языка, ректор Харьковского университета, академик; автор труда «Опыты риторики» (изд. 1796 и 1805 гг.). Иоганн-Фридрих Бург (Burg) (1689–1766), немецкий пастор, автор известного пособия «Основы риторики» («Bugrii. Elementa oratoria...». М., 1776). Фридрих-Христиан Баумейстер (Baumeister) (1708–1785), немецкий философ, автор учебников логики и естественной философии, выходивших как на латинском языке, так и в русских переводах (в 1760–1787 гг.). Ефим Дмитриевич Войтяховский (? – ок. 1812), артиллерии штык-юнкер, автор популярного учебника «Теоретический и практический курс чистой математики...» (М., 1786), многократно переиздававшегося, и других пособий.

159 *...читал... Евтропия... начал я переводить Корнелия Непота...* – Евтропий (ум. ок. 370), римский историк, автор сокращенной истории Рима. Корнелий Непот (94–24 до н.э.), римский писатель-историк, автор биографий знаменитых людей.

160 В рукописи Свербеев продолжает фразу: «устранив от всякого участия в опеке (так было сказано в самом Завещании) всех моих родных по матери». (ФС. Д. 11. Л. 19 об.).

161 *...агронома-писателя 30-х годов...* – Дмитрий Потапович Шелехов (Шелихов) (1792–1854), агроном, помещик Тверской губернии, автор книг по земледелию, литературных и экономических произведений.

[162] Салтыков Николай Иванович (1736–1816) – граф (с 1790 г.), князь (с 1814 г.), генерал-фельдмаршал (с 1796 г.), председатель Государственного совета (1812–1816) и Комитета министров (1812). С 1783 г. руководил воспитанием сыновей Павла I – великих князей Александра и Константина Павловичей.

[163] Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745–1813) – светлейший князь Смоленский (1812); полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией в Отечественной войне 1812 г.

[164] Тормасов Александр Петрович (1752–1819) – граф (1816), генерал от кавалерии. В 1812 г. – командующий 3-й армией. С 1814 г. генерал-губернатор Москвы.

[165] *...в Слободском дворце в Лефортове, где теперь кадетский корпус...* – В бывшем Слободском дворце XVIII в. в Лефортове в 1868 г. было открыто Императорское техническое училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана), а Кадетский корпус с 1825 г. помещался в Екатерининском дворце, также в Лефортове, где ныне располагается Общевойсковая академия вооруженных сил РФ.

[166] Ростопчин (Растопчин) Федор Васильевич (1763–1826) – граф (с 1799 г.), генерал от инфантерии; главнокомандующий Москвы (1812–1814); мемуарист.

[167] *...узреть... в каждом духовном лице Авраамия Палицына, в каждом дворянине князя Пожарского и в каждом гражданине Козьму Минина...* – Авраамий (Аверкий Иванович Палицын) (?–1626 (1627)) – монах, келарь Троице-Сергиевой лавры; автор патриотических посланий с призывом к борьбе против польских интервентов в годы Смуты, а также «Сказания» об осаде Троице-Сергиевой лавры. Дмитрий Михайлович Пожарский (1578–1642) – князь, боярин (с 1613 г.), полководец и воевода, командовавший народным ополчением, освободившим Москву от поляков в 1612 г. Кузьма Минин (Сухорук) (?–1616) – земский староста в Нижнем Новгороде, инициатор и один из руководителей Народного ополчения, освободившего Москву в 1612 г.

[168] *...Николай Никитич Демидов, граф Петр Иванович Салтыков, сын фельдмаршала и бывшего московского градоначальника, и граф Мамонов, сын одного из фаворитов Екатерины II (двоюродный брат моей жены)... вызвались выставить... полки...* – Упомянуты: Н.Н. Демидов (1773–1828), промышленник, меценат; тайный советник (с 1800 г.). В 1812 г. на свои средства сформировал 1-й егерский полк 1-й дивизии Московского ополчения, участвовавший в Бородинском сражении. П.И. Салтыков (1784–1813), граф, камергер, отставной гвардии полковник, сформировавший на свой счет Московский гусарский полк, был сыном фельдмаршала, главного начальника Московской губернии в 1797–1804 гг. графа Ивана Петровича Салтыкова. Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1790–1863), граф, камер-юнкер (с 1808 г.), писатель, генерал-майор и шеф своего кавалерийского полка, формирование которого прошло в 1812 г. неудачно. О семье отца, А.М. Дмитриева-Мамонова, Свербеев пишет далее (с. 313).

[169] *...тетка Марья Васильевна, с которой тогда жила другая ее сестра и две ... племянницы...* – Имеются в виду: Варвара Васильевна Обрескова, сестра М.В. Обресковой и племянницы, Обресковы: Екатерина Александровна (1790 – после 1826) (в замужестве Шеншина), выпускница Смольного института (в 1806 г.) и Наталья Александровна (1791–1823) (в замужестве Мельгунова).

[170] *...в Белопесоцкой слободе у стен мужского монастыря...* – Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь, основанный в XV в., с 1764 г., лишившись всех вотчин, стал заштатным. В настоящее время здесь существует женская обитель.

[171] *...до Ефремова; большое это село и теперь принадлежит одному из графов Бобринских...* – В начале XIX в. Ефремов, основанный в XVII в., уже считался городом и был приписан к Тульской губернии. Упомянутым Бобринским был, вероятно, граф Алексей Павлович Бобринский (1826–1894), генерал-лейтенант (1872), министр путей сообщения в 1871–1874 гг., когда была построена Сызрано-Вяземская железная дорога через Тулу с ветвью на Богородицк и Ефремов.

[172] Богданов Николай Иванович (1752–?) – генерал-майор; тульский губернатор (1811–1814), начальник тульского ополчения в 1812 г.

[173] В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 2.

[174] *...у тамошнего губернатора Петра Ивановича Яковлева... он женился на дочери П.И. Новосильцева... у них жила его теща, Катерина Александровна, и ее меньшой сын, Петр Петрович ... мой ... ровесник (на днях узнал я здесь, в Веве, о его смерти).* – П.И. Яковлев (1770 (1766)–1828), орловский губернатор (1800–1816), был женат на Екатерине Петровне Новосильцевой. Его теща – Е.А. Новосильцева, ее сын – П.П. Новосильцев (1797–1869), штаб-ротмистр; адъютант Д.В. Голицына (1821–1836); московский вице-губернатор, рязанский гражданский губернатор (1851–1858), камергер. О деятельности П.И. Яковлева на посту орловского губернатора писали в последнее время. Несмотря на злоупотребления, которые выявила ревизия в 1816 г., им было сделано и немало полезного, особенно в 1812 г. (Орловские губернаторы. Орел, 1998. С. 68–73).

В рукописи Свербеев продолжает рассказ: «Жена Яковлева была женщина привлекательная и очень кокетливая; у нее были жгучие черные глаза и чудные, воронова крыла, волосы. В это время она занималась разорением в силу своих любезностей одного богатого старенького холостяка, имевшего под Орлом порядочное имение с. Оптуху. Мать губернаторши, вдова друга моего отца, была настоящая яга-баба. При сыне же ее гувернером был очень умный и замечательный немец Раупах, впоследствии профессор Петербургского университета, в числе подвергшихся гонению по интригам Магницкого. Я чувствовал непреодолимое отвращение к красивой губернаторше и, совестно сказать, почему: когда она, года за 3 прежде, помолвлена была за этого Яковлева, мать ее, сохранившая и по смерти мужа дружеские с отцом [отношения], поспешила известить его о помолвке дочери; и в одно прекрасное утро явился к нам в дом первый московский меховщик с мехами для дамских шуб: выбрали у него лучшую, – как теперь гляжу, – чернобурую с синим отливом лисью шубу, отсчитали за нее 700 р. и послали к невесте. Мне ужасно жаль было этих денег» (ФС. Д. 11. Л. 25 об.). Выше в рукописи Свербеев говорит о «не дворянском» происхождении Яковлева (Там же) – в издании 1899 г. «не» отсутствует (С. 75).

Здесь упоминается Эрнст Вениамин Соломон Раупах (1784–1852), воспитатель в доме Новосильцевой (1807–1814); профессор всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете (1819–1821); немецкий драматург. По настоянию попечителя университета М.Л. Магницкого в 1821 г. он, в числе других профессо-

ров, был удален из университета, но после разбирательства в Комитете министров признан невиновным.

[175] *...в день Благовещения мы ездили к обедне на колесах...* – Подчеркивается, что 25 марта (7 апреля (н. ст.)) в тот год не только сошел снег, но и подсохли дороги, что позволило ехать не в санях, как обычно в это время, а в коляске.

[176] *...у моего дяди, губернатора... были мои двоюродные сестры институтки...* – Екатерина и Наталья Обресковы.

[177] В рукописи фраза звучит немного иначе: «Поэтому как эпизод вписываю я сюда небольшую мою статью о событиях этого времени» (ФС. Д. 11. Л. 27 об.). Так Д.Н. Свербеев предваряет размешенные здесь же, «внутри» рукописи «Записок», очерки «О пожарах Москвы в 1812 году», «Московское духовенство и митрополит Платон в сентябре 1812 г.» и «Рассказ о смерти Верещагина», расположенные в публикации после основного текста воспоминаний, а также «Дополнение к моим Запискам» (ФС. Д. 11. Л. 27 об. – 40).

[178] *...против самой церкви Рождества в Палашах...* – «Палашами» называлась местность в Москве, где жили оружейники, выделывавшие холодное оружие. Церковь Рождества Христова, «что в Палашах», известна с XVII в. В 1936 г. была снесена, на ее месте сейчас школа. Дом, где жили Свербеевы, также не сохранился.

[179] Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) – профессор Московского университета по кафедре красноречия и поэзии (с 1804 г.); поэт, переводчик, критик.

[180] *... с двумя Глазуновыми.* – Николай Андреевич (1798–после 1833) и Евграф Андреевич Глазуновы. Об их отце см. примеч. 309.

[181] *...на Большой Никитской против Никитского монастыря...* – Монастырь, давший название улице, был основан в середине XVI в. и освящен в честь св. великомученика Никиты. Монастырь (в XIX в. женский) 3-го класса, в 1935 г. был снесен, а на его месте строилась энергоподстанция метрополитена.

[182] *...обед... в Троицком трактире...* – Известный московский трактир, находившийся рядом с подворьем Свято-Троице-Сергиевой лавры в начале ул. Ильинка, от которого и получил свое название.

[183] Родзянко (Родзянка) Аркадий Гаврилович (1793–1846) – поэт, прапорщик лейбгвардии Егерского полка (с 1818 г.), с 1821 г. в отставке; сотрудник альманаха «Полярная звезда» (1824).

[184] Сокольский Герасим Васильевич (1793–1819) – поэт, переводчик, студент Московского университета (1813–1815), преподаватель русской грамматики в московском Университетском благородном пансионе (с 1815 г.).

[185] *... все мы допущены были в университет...* – Д.Н. Свербеев и его приятели по пансиону (Глазуновы, М. Родзянко) были приняты в число студентов Московского университета в 1813/1814 учебном году. См.: Московские ведомости. 1813. № 57. 18 июля. С. 1407; ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 110. Д. 421.

[186] Гейм Иван Андреевич (1759–1821) – профессор истории, статистики и географии Московского университета. В 1808–1819 гг. ректор университета. Кроме географическо-статистических трудов, составил несколько словарей, в том числе упоминаемый Свербеевым «Russische Sprachlehre für Deutsche» (1789).

[187] *...славянской словесности у Гаврилова... [российской] истории у Каченовского, всеобщей истории у Черепанова, чего-то вроде риторики у Победоносцева, логики у Брянцева, латинского языка и римских древностей у Тимковского... учился я танцеванию у Морелли...* – Перечислены профессора Московского университета: Матвей Гаврилович Гаврилов (1759–1829), профессор российской и славянской словесности, изящных искусств, археологии и эстетики; Михаил Трофимович Каченовский (1775–1842), профессор истории, с 1837 г. ректор; издатель; Никифор Евтропиевич Черепанов (1762–1823), профессор всемирной истории, географии и статистики; Петр Васильевич Победоносцев (1771–1843), профессор российской словесности; Андрей Михайлович Брянцев (1749–1821), профессор логики и метафизики; Роман Федорович Тимковский (1785–1820), профессор латинского языка и директор Педагогического института; Франц Морелли, итальянский танцовщик, учитель танцев в Московском университете.

[188] *...все кафедры... помещались... в ... доме купца Яковлева в Долгоруковском, ... переулке...* – По другим источникам, владельцем дома, в котором проходили занятия в 1813 г. был купец Заикин (История Московского университета: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 92).

[189] *...Цицерон, Тит Ливий...* – Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н.э.), римский оратор, писатель, политический деятель; Тит Ливий (59 г. до н.э. – 17 г. н.э.), римский историк.

[190] *...профессора Страхова... Маттеи, Рейнгардта, Бунге, Буле...* – Перечислены профессора Московского университета: Петр Иванович Страхов (1757–1813), профессор опытной физики (с 1789 г.); ректор университета (1805–1807); Христиан Фридрих Маттеи (Matthei) (1744–1811), профессор греческой и латинской словесности; Филипп Христиан Рейнгард (Христиан Егорович) (1764–1812), профессор философии и естественного права; Христофор Григорьевич Бунге (1781–1860), профессор ветеринарных наук, доктор медицины; Иоган Теофил Буле (Buhle) (1763–1821), профессор естественного права и теории изящных искусств.

[191] *...Верил... одному только Нестору, не верил ни «Русской правде» Ярослава Великого, ни духовному завещанию Владимира Мономаха, ни подлинности «Слова о полку Игореве», ни тому, что куньи мордки заменяли монету...* – Свербеев перечисляет основные источники по истории Древней Руси, введенные в научный оборот в конце XVIII – начале XIX в., начиная с летописной «Повести временных лет», составителем которой считается монах Киево-Печерского монастыря Нестор, живший в конце XI в.

«Русская Правда» Ярослава Мудрого (ок. 978–1054), древнейший свод законов Руси, названный по имени киевского князя, ко времени княжения которого (1019–1054) относят начало составления свода.

Владимир Мономах (1053–1125), киевский князь (1113–1125), автор «Поучения» для своих детей, памятника политической публицистики XII в., дошедшего до XIX в. в единственном списке.

«Слово о полку Игореве», памятник древнерусской литературы конца XII в., единственный древний список которого сгорел в 1812 г., что привело к длительным спорам о датировке произведения и о его подлинности.

Употребление слова «куна» для обозначения денежной меры в древнерусских источниках часто объясняется использованием ценного меха куниц в качестве денег на раннем этапе развития экономики Древней Руси.

192 *...от успеха истории Карамзина...* – Вышедшие в 1818 г. 8 томов «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина имели огромный успех в обществе. В 1821 г. вышел т. 9; т. 10, 11 в 1824 г.; неоконченный т. 12 – после смерти историка.

193 *...бранчивое к нему послание кн. Вяземского...* – Петр Андреевич Вяземский (1792–1878), князь, поэт, журналист; вице-директор Департамента внешней торговли (1832–1846), товарищ министра народного просвещения (1855–1858), камергер. Упомянутое стихотворение «Послание к М.Т. Каченовскому» было опубликовано в журнале «Сын отечества» (1821. № 2. С. 76).

194 Тацит Публий Корнелий (ок. 56 – после 117) – римский историк.

195 *Ученик Вольфа, соученик Канта...* – Христиан Вольф (Wolff) (1679–1754), немецкий философ, популяризатор идей Г.-В. Лейбница, профессор Марбургского университета; Иммануил Кант (Kant) (1724–1804), немецкий философ, профессор Кенигсбергского университета. Слова «ученик» и «соученик» Свербеев применяет к Брянцеву в переносном смысле – русский профессор никогда не учился за границей; но в своих лекционных курсах и сочинениях следовал, главным образом, принципам философии Вольфа.

196 Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) – писатель, переводчик, мемуарист; обер-прокурор 7-го департамента Сената (1842–1847), камергер (1831). Племянник И.И. Дмитриева, приятель Свербеева со времени учебы в университете. Мемуарист высоко ценил поэтический талант Дмитриева – ироничный поэт Н.М. Языков замечал: «у него [Свербеева] об литературе мнение странное: первый поэт нашего времени – М. Дмитриев!» (Эпоха 1830-х годов в письмах Н.М. Языкова / Подгот. публ.: А.А. Карпов // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. XI. С. 276).

197 В рукописи дополнение: «расстриженный по собственному желанию дьякон и родной отец замечательного теперь сановника» (ФС. Д. 11. Л. 43). П.В. Победоносцев был отцом Константина Петровича Победоносцева (1827–1907), государственного деятеля, правоведа.

198 В рукописи продолжено: «Так как многим из нас непременно нужно было найти что-нибудь смешное, то мы смеялись над его возгласами, напоминающими дьяконство» (ФС. Д. 11. Л. 43).

199 *Четьи Минеи* (*Четь-Минеи*) – собрание житий святых, «слов», поучений, систематизированных по месяцам и дням, когда отмечается память того или иного святого.

200 В рукописи Свербеев добавляет: «которые я нашивал потихоньку, долго вытирал их платком» (ФС. Д. 11. Л. 43 об.).

201 *...св. мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры...* – Святые мученицы были сестрами, жили в Вифинии в IV в.

202 Оболенский Андрей Петрович (1769–1852) – князь, попечитель Московского учебного округа (1817–1825), родственник Свербеевых. См. о нем с. 486–489.

203 *...Августа Христиановича Шлецера, сына великого нашего академика...* – Христиан Августович Шлецер (Schlözer) (Свербеев ошибочно называет его Августом

Христиановичем) (1774–1831), доктор права, первый профессор политической экономии Московского университета (1801–1826), старший сын историка Августа-Людвига Шлецера (1735–1809), адъюнкта Петербургской академии наук (с 1762 г.), профессора Геттингенского университета (с 1770 г.), автора первого исследования о русских летописях.

[204] Цветаев Лев Алексеевич (1777–1835) – доктор философии (1804), профессор прав «знатнейших и новых народов» Московского университета, декан этико-политического отделения (1816–1818, 1820–1828, 1830–1834); юрист, писатель.

[205] Снегирев Михаил Матвеевич (1760–1820) – профессор логики и нравственности Московского университета (с 1796 г.), позднее – естественого, политического и нравственного права.

[206] Сандунов (Зандукели) Николай Николаевич (1769–1832) – профессор гражданского и уголовного права в Московском университете (1811–1832); драматург, переводчик.

[207] Смирнов Семен Алексеевич (1777–1847) – адъюнкт, затем профессор российского законоведения в Московском университете (1811–1834).

[208] *Судебник царя Ивана Васильевича* – свод юридических норм Российского права (1550), составленный в правление царя Ивана IV Грозного (1530–1584) и утвержденный первым Земским собором.

[209] *Уложение царя Алексея Михайловича* – Соборное уложение 1649 г., первый систематизированный свод законов Российского государства, принятый в царствование Алексея Михайловича (1629–1676).

[210] *Свод Законов* – Свод законов Российской империи (в 15 т.), опубликованный в 1832 г. и вступивший в силу в 1835 г.

[211] *«Памятник Российских Законов»* – Имеется в виду книга: *Правиков Ф.Д., Правиков А.Ф.* Памятник из законов… собранный по азбучному порядку трудами... Федора Правикова. Владимир; СПб., 1798–1827. Ч. 1–17. Издание дополнялось ежегодными выпусками до 1826 г. и неоднократно переиздавалось.

[212] *...брат его был актером и любимцем московской публики...* – Сила Николаевич Сандунов (Зандукели) (1756–1820), драматический комедийный актер.

[213] Маслов Степан Алексеевич (1793–1879) – юрист, агроном, секретарь и один из основателей Московского общества сельского хозяйства; основатель «Земледельческого журнала».

[214] В рукописи продолжено: «жаль только, что не без примеси фарисейства или иезуитства» (ФС. Д. 11. Л. 45 об.).

[215] *...«Мещеринов».* – Очевидно, Иван Мещеринов, поступивший в Московский университет вместе со Свербеевым.

[216] *...был финского происхождения, из племени... мещера, князьки которых у нас известны под названием князей Мещерских...* – Д.Н. Свербеев несколько поспешен в своих заключениях. Родословие князей Мещерских настаивает на татарском происхождении рода: «Предком князей Мещерских был князь Ширинский, завоевав Мещеру, он оставил ее, после себя, сыну своему Беклемишу, принявшему св. крещение с именем Михаила. Потомки Беклемиша-Михаила были удельными князьями Мещерскими до второй половины XV века… князь Юрий Семенович был последним удельным князем Мещерским: он, с согласия брата своего князя

Василия… уступил княжество Мещерское Иоанну Великому в обмен волостей, данных им в вотчину» (*Долгоруков П.В.* Российская родословная книга: В 4 т. СПб., 1855. Ч. 2. С. 23). Однако и эти сведения не вызывают большого доверия у современных исследователей и вопрос о князьях Мещерских остается открытым (см.: *Азовцев А.* История происхождения имени «Мещера» // Рязанские ведомости. 2000. № 57. 25 марта. С. 3).

217 *…об адъюнкте Перелогове, … о профессоре физики Двигубском…* – Упомянуты: Тимофей Иванович Перелогов (1765–1841), адъюнкт, затем профессор чистой математики Московского университета (1813–1825); лектор английского и французского языков. Иван Алексеевич Двигубский (1771 (1772)–1839/1840), биолог, физик, геолог и географ; профессор физики (с 1813 г.); ректор Московского университета (1826–1833).

218 *…Арнольд… Ульрих… Эванс…* – Иван (Жан) Арнольд (Arnold), лектор французского языка и словесности в Московском университете (1814–1816). Юлий Петрович Ульрихс (Ullrichs) (1773–1836), лектор, а затем профессор немецкого языка (1807–1823); профессор всеобщей истории и статистики (с 1823 г.) Московского университета. Фома Яковлевич (Томас) Эванс (Evans) (1785–1849), лектор английского языка и английской словесности Московского университета (1809–1826).

219 *…воспитавший нынешнего московского голову (кн. Черкас.)…* – Глава городского самоуправления в 1869–1871 гг. князь Владимир Александрович Черкасский (1824–1878), участник подготовки крестьянской реформы 1861 г., либеральный общественный деятель.

220 Семенов Степан Михайлович (1789–1852) – чиновник министерства духовных дел, титулярный советник, декабрист; был сослан в Сибирь.

221 *…Спиноза и Гоббес…* – Бенедикт Спиноза (Spinoza) (1632–1677), нидерландский философ. Томас Гоббс (Hobbes) (1588–1679), английский философ.

222 *…Яковлев, Любимов, воспитавший графов Толстых, Лидин…* – Андрей Яковлев и Григорий Лидин, магистры этико-политических наук (1818); Семен Иванович Любимов (? – после 1846) – магистр этико-политических наук, адъюнкт-профессор Московского университета (1820–1822); позже губернский прокурор; председатель Московского коммерческого суда (1833–1840-е годы), статский советник. Его покровителем был граф Петр Александрович Толстой (1770–1844), сыновей которого он воспитывал.

223 Бекетов Николай Андреевич (1790–1829) – магистр (с 1810 г.), доктор словесных наук и философии (с 1812 г.), позже профессор политической экономии Московского университета. Говоря далее о его диссертации, Свербеев ошибается – автором этой работы, по другим свидетельствам, был Михаил Яковлевич Малов (1790–1849), впоследствии профессор права Московского университета (1828–1831).

224 *…до порабощения… Юлием Кесарем и Августом…* – Упомянуты: Гай Юлий Цезарь (100–44 гг. до н.э.), древнеримский полководец, государственный деятель, диктатор; Октавиан Август (63 г. до н.э. – 14 г. н.э.), внучатый племянник Цезаря; римский император (с 27 г. до н.э.). Государственная деятельность этих политиков знаменует конец существования республики в Риме.

225 *…монархии самодержавной…* – В рукописи эта фраза звучит шире: «монархии почти деспотической, т.е. самодержавной» (ФС. Д. 11. Л. 47).

[226] *...«Недоросль», «Бригадир» Фонвизина, «Ябеда» Капниста, «Модная лавка» Крылова...* – Денис Иванович Фонвизин (1745–1792), писатель, автор сатирических комедий «Бригадир» (1766–1769) и «Недоросль» (1782). Василий Васильевич Капнист (1758–1823), драматург и поэт; автор сатирической комедии «Ябеда» (1798). Комедия И.А. Крылова «Модная лавка» была написана в 1806 г.

[227] *...Анненков, Аничков, Бахметевы два брата, из них... Алексей Николаевич был попечителем; Голохвастов – тоже попечитель; князь Долгорукий, бывший министр в Персии и потом сенатор; четверо Мухановых, из них двое здравствуют в Государственном совете, а один был декабристом; Нащокин, Рахманов, Титов... Курбатов... Новиков, теперь еще здравствующий...* – Свербеев называет целую плеяду будущих государственных деятелей и литераторов. Среди знакомых по университету упомянуты: Александр Адрианович Аничков, брат дипломата Н.А. Аничкова; братья Бахметевы: Федор Николаевич (1799–1834) и Алексей Николаевич (1801–1861), гофмейстер; попечитель Московского учебного округа (1858–1859); Дмитрий Павлович Голохвастов (1796–1849), помощник попечителя (1831–1847), попечитель Московского учебного округа (1847–1849), автор книг по российской истории, двоюродный брат А.И. Герцена; Дмитрий Иванович Долгорукий (Долгоруков) (1797–1867), князь, литератор; полномочный министр в Персии (1845–1854), сенатор; четверо Мухановых (двоюродные братья): Павел Александрович (1797–1871), полковник, участник Русско-турецкой войны 1828–1829 гг.; впоследствии член Государственного совета (1861), историк, председатель Археографической комиссии (1869); его брат Петр Александрович (1799–1854), поручик, затем капитан лейб-гвардии Измайловского полка, декабрист, литератор, и их двоюродные братья: Николай Алексеевич (1802–1871), адъютант петербургского генерал-губернатора П.В. Голенищева-Кутузова (1823–1830), впоследствии товарищ министра народного просвещения (1858–1861) и иностранных дел (1861–1866); член Государственного совета (1866); и его брат Александр Алексеевич (1800–1834), адъютант главнокомандующего 2-й армией П.Х. Витгенштейна, в 1830-е годы состоял при Московском главном архиве Министерства иностранных дел в чине полковника и звании камергера; литератор. Александр Дмитриевич Курбатов (1800–1858), поэт, переводчик, сотрудник журнала «Москвитянин»; с 1825 г. помощник издателя «Московских ведомостей», впоследствии коллежский асессор; Петр Александрович Новиков (1797–1878), чиновник архива Коллегии иностранных дел (1819–1825), советник Московского губернского правления (1826–1833), директор Московской ссудной казны (с 1838 г.), почетный опекун при Московском воспитательном доме, училище Св. Екатерины и Александровском институте; камергер (1844); дальний родственник Н.И. Новикова. О прочих слушателях университета, названных мемуаристом, можно говорить лишь с долей вероятности, учитывая неофициальный характер их учебы. В списках посещавших лекции вместе со Свербеевым в 1813–1817 гг. можно найти: Ивана Анненкова, Павла Нащокина, братьев Алексея, Михаила и Николая Рохмановых, а также своекоштного студента, дворянина Петра Николаевича Титова (1800 – после 1869) (см.: ОРК НБ МГУ. 5Те 335. Л. 64, 67, 70). Об Анненкове, сыне богатой московской барыни, Свербеев рассказывает далее (см. Фрагмент 3). Нащокина можно

было бы отождествить с П.А. Нащокиным (1799–1843), о котором Свербеев также упоминает ниже (примеч. 238 к т. II), но серьезных оснований для этого пока нет.

228 В рукописи Свербеев продолжает про Новикова: «и все еще находится под башмаком у своей супруги, которая затоптала в нем всякую самостоятельность» (ФС. Д. 11. Л. 47 об.). О браке П.А. Новикова и княжны Антонины (Варвары) Ивановны Долгоруковой (1794–1877) в 1820 г. Свербеев пишет ниже, см. примеч. 594 к т. I.

229 *...отца его, майора вотчинного департамента...* – Адриан Федорович Аничков (1759–1831), действительный статский советник, масон, знакомый матери С.Т. Аксакова, М.Н. Аксаковой. Он неоднократно упоминается в «Семейной хронике» С.Т. Аксакова (см.: *Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1955. Т. 1).

230 Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) – писатель и общественный деятель; автор автобиографической «Семейной хроники», вышедшей отдельной книгой в 1856 г.

231 *...о его батюшке и матушке...* – Родители С.Т. Аксакова: Тимофей Степанович (1759–1832), прокурор Уфимского верхнего земского суда, и Мария Николаевна (урожд. Зубова), дочь уфимского чиновника.

232 *...о...Шишкове... и ... кн. Шаховском...* – Александр Семенович Шишков (1754–1841), адмирал, государственный секретарь (1812–1814), министр народного просвещения и глава цензурного ведомства (1824–1828); президент Российской академии наук (1813–1841); писатель, один из основателей литературного общества «Беседа любителей русского слова», известный противник новаций в русском литературном языке. Александр Александрович Шаховской (1777–1846), князь, драматург, театральный деятель; академик Российской академии наук (1810), участник «Беседы любителей русского слова»; начальник репертуарной части петербургских императорских театров (1802–1818, 1821–1825).

233 В рукописи Свербеев добавляет: «особливо на петербургской театральной сцене, предоставив другим участвовать в наших поражениях и победах отечественной войны» (ФС. Д. 11. Л. 48), имея в виду, что в 1812 г. С.Т. Аксаков не участвовал в боевых действиях. См. примеч. 545 к т. I.

234 *...меньшой, после нас вступивший в университет...* – Николай Адрианович Аничков (1809–1892), дипломат, посланник в Персии (1858–1863). В других источниках его отцом называют Адриана Фаддеевича Аничкова (1768–1812), тамбовского вице-губернатора (1811–1812). Однако подробный рассказ Свербеева об отце Н.А. Аничкова и упоминание его как знакомого Аксаковых в переписке указывают на то, что его отцом был Адриан Федорович Аничков, друг Н.И. Новикова.

235 В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 3.

236 *...Гильфердинг... Рихтер, Чиколини...* – Упоминаются: Федор Иванович Гильфердинг (1798–1864), директор дипломатической канцелярии при наместнике Царства Польского (1829–1836), управляющий государственным архивом Министерства иностранных дел (с 1851 г.), сенатор (1858); Михаил Вильгельмович Рихтер (1799–1874), московский врач, ординарный профессор (с 1828 г.); возглавлял кафедру повивального искусства Московского университета (1827–1851); Александр Иосифович Чеколини (Чиколини) (ок. 1799–после 1844), чиновник Министерства иностранных дел, цензор Петербургского почтамта; действительный статский советник (1844).

[237] *...двух атлетов Кожевниковых...* – Кожевниковы: Матвей Львович (не позднее 1799–не ранее 1855), впоследствии саратовский губернатор (1846–1854), и Виссарион Львович.

[238] Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – поэт, публицист.

[239] *...русский поэт, родом серб Амфитеатров, брат Филарета Киевского, ... принявший себе фамилию Раич, переводчик Тасса и, кажется, «Георгик» Виргилия...* – Семен Егорович (Георгиевич) Амфитеатров (Раич) (1792–1855), поэт, переводчик. Учась в духовной семинарии, избрал фамилию Раич. Преподаватель словесности в Университетском благородном пансионе (1827–1831). Ему принадлежат стихотворные переводы «Георгик» Виргилия (1821) и «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо (1828). Его брат, Федор Георгиевич Амфитеатров (1779–1857), принял монашество с именем Филарет; ректор Московской духовной академии (1814–1818); с 1837 г. митрополит Киевский и Галицкий.

[240] *...Боссюета и Флешье, Массильона и Бурдалу...* – Жак Бенинь Боссюэ (Bossuet) (1627–1704) – французский проповедник, епископ; Валентен Эспри Флешьё (Fléchier) (1632–1710), французский писатель, проповедник; Жан-Батист Масийон (Massillon) (1663–1742), французский проповедник; Луи Бурдалу (Bourdaloue) (1632–1704), французский монах-иезуит, проповедник, автор учебника риторики.

[241] *...выкрадывал целые страницы из Цицерона и помещал их как свои в похвальных словах Петру Великому и Елизавете...* – Каченовский, имел в виду, например, переложение в одическую строфу периода из речи древнеримского оратора, сделанное М.В. Ломоносовым в «Оде на день восшествия на престол Елизаветы Петровны» (1747):

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покои сладки и в труде.

У Цицерона: «Другим радостям нашим ставят пределы и время, и место, и возраст, а эти занятия юность нашу питают, старость услаждают, в счастье нас украшают, в несчастье прибежищем и утешением служат, радуют нас дома, не мешают в пути, с нами они и на покое, и на чужбине, и на отдыхе» («Речь в защиту Лициния Архия». Пер. С.П. Кондратьева).

[242] *...моему зоилу...* – Зоил – древнегреческий философ и оратор (IV в. до н.э.), представитель ранней критики гомеровского текста. Его имя стало нарицательным для характеристики сурового и придирчивого критика.

[243] *...о вступлении в Париж союзных войск...* – Русские войска, предводительствуемые Александром I, вступили в побежденный Париж 19 марта 1814 г.

[244] Позняков Петр Адрианович (1753–1814) – генерал-майор, богатый помещик.

[245] *...на домашнем его театре...* – В 1810 г. П.А. Позняков открыл в своем доме (ныне перестроенный, по адресу: Большая Никитская, 26) частный крепостной театр, где играли и приглашенные актеры, а режиссером был Сила Сандунов. При Наполеоне в 1812 г. здесь давала спектакли французская труппа. После освобождения Москвы позняковский театр возобновил свои постановки.

[246] Шаховская (урожд. кнж. Щербатова) Наталья Дмитриевна (1795–1884) – княгиня, с 1819 г. жена Ф.П. Шаховского.

[247] *...героев Отечественной войны братьев Орловых. У обоих... в бородинском деле оторвало ногу...* – Из братьев Орловых, участвовавших в Бородинском сражении, Свербеев имеет в виду двух: Федора Федоровича Орлова (1792–1835), офицера Сумского гусарского полка (в 1812 г.); позже полковника лейб-гвардии Уланского полка (с 1820 г.), и Григория Федоровича Орлова (1790–1853), в 1812 г. служившего в кавалергардском полку и состоявшего адъютантом при одном из генералов, позже – генерал-майора. По другим сведениям Ф.Ф. Орлов лишился ноги не в Бородинском сражении, а позже, в битве под Бауценом. О героических братьях Орловых, участвовавших в Бородинском сражении, подробнее пишет Н.Н. Муравьев-Карский в своих «Записках» (*Муравьев Н.Н.* Записки // Русские мемуары: Избранные страницы. 1800–1825 гг. / Сост., примеч. И.И. Подольской. М., 1989. С. 117) и Ф.Н. Глинка в «Письмах русского офицера» (М., 1870. С. 170).

[248] Пушкин Алексей Михайлович (1771–1825) – генерал-майор, камергер; писатель, переводчик, актер-любитель.

[249] *...под Донским в доме Полторацких...* – Городская усадьба Полторацких с домом и парком располагалась у Калужской заставы между Большой Калужской улицей и Москвой-рекой, неподалеку от Донского монастыря. Сейчас в перестроенном доме Полторацких помещается Горный институт.

[250] В рукописи Свербеев прибавляет здесь о мировом судье, «который, по словам Моск[овских] Вед[омостей], недавно подрался со священником» (ФС. Д. 11. Л. 50 об.).

[251] Еропкин Михаил Николаевич (? – ок. 1826) – предводитель дворянства Серпуховского уезда (1823–1826), владелец имения Ивановское-Садки; коллежский советник.

[252] *...на Большой Никитской ... в этом доме родился великий Суворов)...* – Дом этот сохранился до наших дней (Большая Никитская, 42). А.В. Суворов жил в этом доме в 1775–1800 гг. (см. подробнее с. 665–666 наст. изд.). Располагается дом возле храма Вознесения Господня в Сторожах («Большое Вознесение») (построенного в 1798–1816 гг. на месте старого храма XVII в.). В издании «Записок» 1899 г., о храме ошибочно сказано: «Воскресения» (с. 118).

[253] Мироновский Иван Львович (1774–1860) – известной московский архитектор.

[254] Скарятин Яков Федорович (конец 1770-х (1780)–1850) – полковник, участник убийства Павла I; с 1807 г. в отставке; орловский помещик, коннозаводчик.

[255] Нащокин Александр Петрович (1758–1838) – камергер (с 1794 г.), гофмаршал (с 1799 г.); владелец процветавшей в начале XIX в. усадьбы-курорта с железистыми источниками в с. Рай-Семеновское недалеко от Серпухова.

[256] Альбини (Albini) Антон Антонович (ок. 1780–1830) – придворный врач (1808–1810), главный доктор Московского воспитательного дома; исследователь лечебного действия липецких минеральных вод.

[257] *...Грузинский митрополит Иона совершал литургию... погребение было в Девичьем монастыре...* – Иона (Иван Семенович Васильевский) (1762–1849), в 1812–1821 гг. епископ Тамбовский; позднее – митрополит Мцхетско-Карталинский (с 1828 г.), экзарх Грузии (1821–1832).

Родители Д.Н. Свербеева были похоронены в женском Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре (основанном в 1524 г.). Один из самых богатых и почитаемых московских монастырей, в XIX в. он был местом погребения многих знатных и почетных граждан, несмотря на дороговизну участков под захоронения (от 1000 до 300 руб.). В 1930-е годы кладбище в пределах монастырских стен было почти полностью разорено.

[258] *...известная всем...* – В рукописи Свербеев добавляет: «...известная всем дерзкою своею бранчливостью...» (ФС. Д. 11. Л. 51).

[259] Офросимова (Афросимова) (урожд. Лобкова) Анастасия (Настасья) Дмитриевна (1753–1826) – вдова генерал-майора; прототип Хлестовой в «Горе от ума» А.С. Грибоедова и Ахросимовой в «Войне и мире» Л.Н. Толстого. Об этой известной московской барыне упоминают многие мемуаристы: Е.П. Янькова (*Благово Д.Д.* Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений... М., 1989. С. 141–142), П.А. Вяземский (*Вяземский П.А.* Старая записная книжка. Л., 1927. С. 134), М.А. Дмитриев (*Дмитриев М.А.* Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. публ.: К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой, Т.Ф. Нешумовой. М., 1998. С. 96).

[260] *...кроме этой сестры, была... еще другая, меньшая...* – Имеется в виду Варвара Васильевна Обрескова.

[261] *...mademoiselle Georges... madame de Staél...* – Маргарита-Жозефина Веймер (Wiemer) (псевд.: мадмуазель Жорж (George)) (1787–1867), французская трагическая актриса. Анна-Луиза Жермена де Сталь-Гольштейн (*de Staël-Holstein*) (1766–1817), баронесса, французская писательница, оставившая мемуары о путешествии в Россию.

[262] *...подражая вечному примеру графини в комедии Бомарше и ее пажу Chérubin...* – Свербеев имеет в виду персонажей пьесы «Безумный день, или женитьба Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше (Beaumarchais) (1732–1799) – графиню Альмавива и пажа Керубино.

[263] *...сестры Львовы...* – Львовы: Авдотья Михайловна (в замужестве Шидловская) (?–1871), Дарья Михайловна (?–1872) и Варвара Михайловна (в замужестве Головина), в иночестве Вера (1802–1875), инокиня Зачатьевского Московского монастыря (до 1856 и в 1867–1875 гг.); игуменья Новодевичьего монастыря (1861–1867). Про нее Свербеев добавляет в рукописи (после слова «монастыря»): «спасается в Зачатьевском монастыре» (ФС. Д. 11. Л. 52). О сестрах Львовых подробно рассказывает и Е.П. Янькова (*Благово Д.Д.* Рассказы бабушки... С. 224).

[264] В рукописи Свербеев добавляет про семью Обресковых: «В этой семье моего дяди жили еще два родные племянника, меньшие сыновья Александра Вас[ильевича], Павел и Александр. Павла, почти совсем безграмотного и очень ограниченного, поместили в дворянский полк, в военную школу низшего разряда; меньшего, Александра, отдали к Муравьеву в школу колонновожатых, откуда вышло много хороших офицеров и несколько декабристов. Ни тот, ни другой не удались. Павел,

прослужив немного в Варшаве в гвардейском полку, отупел, обленился и до сих пор старым холостяком прозябает в Москве; Александр, недолго оставшись в своей военной школе, вышел в офицеры гусарского полка, очень несчастливо женился на польской шляхтянке, которая и до свадьбы была подержанной мебелью многих офицеров, жил с ней в постоянной ссоре, овдовел, долго предводительствовал в Дмитровском у[езде], разорился в пух и умер» (ФС. Д. 11. Л. 52).

Здесь упомянуты Обресковы: Павел Александрович (1797–1879), гвардии корнет, и Александр Александрович (1800–1863) (см. о нем примеч. 395 к т. I).

265 Голенищев-Кутузов Павел Иванович (1767–1829) – куратор (1793–1803) и попечитель (1810–1817) Московского университета, сенатор (1805–1821); поэт, переводчик; масон.

266 В рукописи Свербеев добавляет: «а сверх того доносчик по любви к искусству и отъявленный взяточник. Он опозорил себя доносами на историю Карамзина, выставляя ее сочинением безбожным, безнравственным и революционным; взятки брал за производство в ученые степени без экзамена. С товарища моего Глазунова взял он 5000 р., истребовав от университетского совета дать ему кандидатскую степень за успехи в науках и отличные познания, лично известные самому попечителю. С одного Виноградова, побочного сына какого-то богатого барина, взял он вдвое, чтобы выдать ему на том же основании, вернее сказать, без всякого основания, диплом доктора, что давало тогда достоинство потомственного дворянина. Насилу прогнали такого недостойного попечителя; на него много писано было эпиграмм; вот одна из них:

Кутузов другом просвещенья
В листках провозгласил себя,
О времена! О развращенье!
Вот каковы в наш век друзья!...»

(ФС. Д. 11. Л. 52 об.).

Здесь упомянуты: Николай Андреевич Глазунов, произведенный в 1815 г. в кандидаты словесных наук и, предположительно, Адриан Виноградов, который в 1816 г. был произведен в доктора словесных наук.

267 *...имена наши напечатаны были в «Московских ведомостях».* – См.: Московские ведомости. 1815. № 55. 10 июля. С. 1214–1215.

268 *...нажив детей...* – У Шеншиных было две дочери и сыновья: Николай (1816–1879) и Александр Никитичи (1819–1872), впоследствии мценские помещики.

269 *...с кузиной... Марьей Александровной Пановой; муж ее... симбирский помещик. Сын их, Василий...* – Упомянуты: М.А. Панова (урожд. Обрескова) (1789–?), ее муж, гвардии штабс-капитан Алексей Нилович Панов (?–1834) и сын Василий Алексеевич, литератор, близкий к славянофилам.

270 Обресков Василий Александрович (1782–1834) – в 1812 г. поручик Кавалергардского полка, адъютант Ф.В. Ростопчина; московский полицмейстер (1817–1827), камергер (1831).

271 Хованская (в замужестве Обрескова) Прасковья Васильевна (1786–1851) – княжна, жена В.А. Обрескова, сестра Н.В. Булгаковой и С.В. Соковниной.

[272] *...О Петре Обрескове, женатом на княжне Щербатовой, сестре моей жены...* – Имеются в виду полковник Петр Александрович Обресков (1789–1855) и его первая жена Софья Александровна (урожд. княжна Щербатова) (1800–1824), сестра будущей супруги Д.Н. Свербеева Е.А. Щербатовой.

[273] Дурасов Николай Алексеевич (1760–1818) – богатый помещик, известный своим хлебосольством.

[274] *...от родоначальника, купца Твердышева, перешли в семью Пашковых, Бекетовых, Козицких, а от последних – графине Лаваль и княгине Белосельской, гр. Толстому и его дочери, графине Закревской...* – Сведения о богатствах рудопромышленников купцов сыновей Бориса Твердышева (Твердыщева) братьев Ивана (?–1773) и Якова (?–1783), перешедших впоследствии ряду известных семейств, встречаются во многих мемуарах той поры.

Братья умерли, не оставив наследников, и их состояние перешло к компаньону и мужу их сестры Ивану Семеновичу Мясникову (1710–1788), а затем в семьи его дочерей: Дарьи Ивановны Пашковой(1743–1808), Ирины Ивановны Бекетовой (1741–1823), Екатерины Ивановны Козицкой (1746–1833). Одна из дочерей Козицкой, графиня Александра Григорьевна Лаваль (1772–1850), стала супругой французского эмигранта, другая, княгиня Анна Григорьевна Белосельская-Белозерская (1773–1846), была статс-дамой.

Еще одна из сестер Мясниковых, Аграфена Ивановна Дурасова (урожд. Мясникова) (1738 – после 1794), была матерью упомянутого Свербеевым расточительного Н.А. Дурасова и графини Степаниды Алексеевны Толстой (урожд. Дурасовой) (1760-е – 1821), супруги сенатора, известного любителя древностей, библиофила графа Федора Андреевича Толстого (1758–1849), до брака имевшего очень скромное состояние. Их дочь Аграфена (Агриппина) Федоровна (1799–1879) в 1818 г. вышла замуж за генерала А.А. Закревского. Об этой дочери графа Толстого в рукописи Свербеев добавляет: «его *беспутной* дочери» (ФС. Д. 11. Л. 53 об.).

[275] *...Иван Савельич, крепостной человек князя Хованского, отца Обресковой...* – Иван Савельевич Сальников (Хованский) был шутом князя Василия Алексеевича Хованского (1755–1830), обер-прокурора Синода (1797–1799), сенатора (1823); тестя В.А. Обрескова.

[276] *...дурак... принадлежал Нащокину, отцу того, который был лучшим другом поэта Пушкина...* – Известный в Москве как «Нащокинский» шут, Иван Степанович принадлежал Воину (Доримедонту) Васильевичу Нащокину (1742–1806), генерал-поручику, отцу Павла Воиновича Нащокина (1801–1854), офицера лейб-гвардии (1819–1823), собирателя картин и древностей, одного из друзей поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837). В рукописи фраза Свербеева «отцу того, который...» звучит шире: «отцу того игрока и забулдыги, который...» (ФС. Д. 11. Л. 53 об.).

[277] Орлова (урожд. Ртищева) Елизавета Федоровна (1750–1834) – графиня.

[278] *...сестра бывшего перед Ермоловым главнокомандующим в Грузии...* – Брат Е.Ф. Орловой: Николай Федорович Ртищев (1754–1835), генерал от инфантерии, главнокомандующий русскими войсками в Грузии (1812–1816), сенатор (с 1817 г.).

[279] Орлов Иван Михайлович – денщик Петра I.

[280] Здесь в рукописи помета: «9 ч. (21 нов. ст.) Женева» (ФС. Д. 11. Л. 54), дополняющая первые фразы следующей части повествования.

[281] *Поездка из Женевы в Париж на целые три месяца...* – Д.Н. Свербеев выехал из Швейцарии в Париж до рождества 1869 г. и пробыл там до начала марта 1870 г., поэтому смог встретиться с Герценом перед его смертью в январе 1870 г. и присутствовал при выносе тела из квартиры. См. очерк «Воспоминания об А.И. Герцене» в дополнениях к «Моим запискам» (с. 502–508).

[282] Тургенев Николай Иванович (1789–1871) – помощник статс-секретаря Государственного совета (1816–1824), управляющий 3-м отделением канцелярии Министерства финансов (с 1819 г.), декабрист; с 1824 г. жил за границей, заочно был приговорен к каторжным работам пожизненно. О нем Свербеев, близко его знавший, оставил отдельный очерк-некролог (см. с. 490–501).

[283] *...иезуитом отцом Гагариным...* – Иван Сергеевич (Jean Xavier) Гагарин (1814–1882), князь, чиновник дипломатических миссий, писатель; в 1843 г., перейдя в католичество, вступил в Орден иезуитов, приняв монашеское имя Ксаверий; жил во Франции; близкий знакомый Свербеева (очерк о нем мемуарист планировал написать).

[284] *Помещаю ее здесь как приложение к моим «Запискам»...* – «Воспоминания об А.И. Герцене» Свербеева были опубликованы в «Русском архиве» (1870. Вып. 3. Стб. 673–686). См. с. 502–508, 838 наст. изд.

[285] Голохвастова (урожд. Яковлева) Елизавета Алексеевна (1763–1822) – тетка А.И. Герцена, описанная им в «Былом и думах».

[286] *... двух сыновей... и 15-летней дочери...* – Упомянуты: Д.П. Голохвастов, его младший брат Николай Павлович (1800–1846) и сестра Наталья Павловна (в замужестве Шатилова) (ок. 1802–?).

[287] *...т-те Крюднер, княгиню Мещерскую, Турчанинову и Татаринову...* – Варвара-Юлия фон Крюднер (Крюденер, Криденер) (Krüdener) (урожд. фон Фитингоф) (1764–1824), баронесса, проповедница мистического христианства, писательница; Софья Сергеевна Мещерская (урожд. Всеволжская) (1775–1848), княгиня, писательница, активная участница Библейского общества; Анна Александровна Турчанинова (1774–1848), поэтесса, известная и как «целительница-магнетизерка»; Екатерина Филипповна Татаринова (урожд. Буксгевден) (1783–1856), основательница религиозного кружка-секты, пророчица, в 1837 г. была арестована и сослана.

[288] *...с викарием... Августином...* – Августин (Алексей Васильевич Виноградский) (1766–1819), епископ Дмитровский, викарий Московской епархии (1804), архиепископ Московский и Коломенский (1818).

[289] *...Крестовой митрополичьей церкви на Троицком подворье...* – Крестовой называется домовая церковь высших православных иерархов. Подворье Троице-Сергиевой лавры, недалеко от Сухаревской площади, являлось с 1815 г. постоянной резиденцией московских митрополитов. Домовый храм митрополита – церковь Св. апостолов Петра и Павла – сильно пострадал в 1812 г. и после войны был перестроен и переосвещен в честь св. Сергия Радонежского.

[290] *...в Новоспасский монастырь к престарелому монаху Филарету...* – Речь идет об известном в Москве старце иеромонахе Филарете (Федоре Николаевиче

Пуляшкине) (1758–1842), духовнике Новоспасского монастыря, в 1826 г. принявшем схиму с именем Федор. Новинский Спасо-Преображенский мужской монастырь был основан в XV в. на левом берегу р. Москвы.

291 *...потомками Хама...* – Хам, согласно Библии, один из трех сыновей Ноя, от которых «населилась вся земля» после потопа; был проклят за то, что посмеялся над наготой отца – его потомкам предречено было рабское существование.

292 В рукописи Свербеев продолжает о Голохвастове: «Голохвастов, еще будучи в университете, был страстным лошадиным охотником и, как известно, впоследствии знаменитым коннозаводчиком и владетелем знаменитого в летописях коннозаводства Бычка. Не знаю, все ли охотники до лошадей имеют слабость надувать простаков своим товаром или приобретать его за бесценок, каким был Голохвастов, но вот что произошло между нами в наше университетское время. Я, не будучи охотником, имел однако в то время лучшую между студентами парную упряжку: на пристяжке ходил у меня гнедой доморощенный жеребчик арабской породы; полюбился он Голохвастову и целый месяц приставал он ко мне, что[бы] я его ему продал. Мне это надоело, да и неловко было не потешить приятеля, в семье которого я был так хорошо принят; оставалось назначить цену. "Я не охотник, – говорил я ему, – продаю лошадь из одной к вам дружбы; вы знаток, сколько дадите, столько я и возьму". – "Берите 250 р.". – "Согласен". – Вскоре слышу от товарищей, что Голохвастов хвастается им тем, что меня надул, что моя лошадь стоит вдвое дороже. Мне оставалось утешать себя следующим ответом поднимающим меня на смех товарищам: "Нет, любезные, Голохвастов надул себя, а не меня. У нас был уговор уступить лошадь, что б он ни дал; в силу такого уговора я бы вынужден был отдать ее и за 2 р. 50 к.". Такой ответ дошел и до него, но нас не поссорил; мы, как юноши, оба очень сдержанные и приличные, обошлись без объяснения. Другой пример его рассчетливости и в то же время крайней неловкости принадлежит позднейшему времени» (ФС. Д. 11. Л. 55 об. – 56).

293 В рукописи Свербеев добавляет: «Жена моя, которой никогда не нравился Голохвастов своей крахмальностью, его возненавидела,...» (ФС. Д. 11. Л. 56).

294 *...приказывал жене...* – Имеется в виду Надежда Владимировна Голохвастова (Новосильцева) (?–1857).

295 Николай I Павлович (1796–1855) – российский император (1825–1855).

296 Голицын Сергей Михайлович (1774–1859) – князь, попечитель Московского университета (1830–1835).

297 *...Ярославский Демидовский лицей...* – Демидовский лицей в Ярославле был основан в 1803 г. вельможей Павлом Григорьевичем Демидовым (1738–1821) и существовал на его деньги; с 1811 г. был приравнен к университетам. В 1918 г. преобразован в Ярославский университет.

298 *...статья об осадном сиденьи Троицкой лавры в 1612 году, написанная по летописи келаря Авраамия Палицына, в которой неуспех поляков в продолжение целых 6 месяцев... приписывался чудесам... Радонежского чудотворца и в коей... налагалась тень подозрения... на осадного воеводу Голохвастова...* – Троице-Сергиев монастырь, основанный около 1340 г., стал называться лаврой с 1744 г. Монастырь считался и остается до сих пор одной из самых почитаемых православных обителей в России.

Радонежским чудотворцем Свербеев называет св. Сергия Радонежского (ок. 1314–1392), основателя и первого настоятеля Троицкого (впоследствии Троице-Сергиева) монастыря, особо чтимого православного святого.

Осада Троице-Сергиева монастыря 30-тысячным польско-литовским войском, длившаяся 16 месяцев в годы Смуты, началась в сентябре 1608 г. и окончилась в январе 1610 г. уходом осадного войска. Подробности осады известны из «Сказания Авраамия Палицына». Воевода Алексей Иванович Голохвастов руководил обороной монастыря с самого начала осады, организовал ряд успешных вылазок. Встречаемое в летописи свидетельство о его измене (о попытке сговора с польским воеводой Сапегой для сдачи монастыря) ставились впоследствии под сомнение многими историками, в том числе Н.М. Карамзиным. В пользу Голохвастова говорил тот факт, что после разбирательства об измене он остался воеводой и руководил обороной обители.

299 *...самую замечательную в исторической литературе монографию этой осады...* – Свои заметки о русской истории Голохвастов публиковал в журнале «Москвитянин»; позже они вышли отдельно. Здесь Свербеев упоминает: Замечания об осаде Троицкой Лавры, 1608–1610, и описании оной историками XVII, XVIII и XIX столетий // Москвитянин. 1842. № 6, 7 (и отд. изд. без указания автора: М., 1842).

300 *...он и еще раз вынужден был взяться за перо...* – Свербеев имеет в виду «Ответ на рецензии и критику "Замечаний" об осаде Троицкой Лавры» (Москвитянин. 1844. № 7 и отд. изд.). Д.П. Голохвастову принадлежит еще ряд исторических трудов и публикаций памятников: «Голос в защиту русского языка» (Москвитянин. 1845. № 11, а также и отд. изд.); «Акты, относящиеся до рода дворян Голохвастовых» (М., 1848); «Замечательные случаи по местничеству в царствование Михаила Федоровича, извлеченные из рукописной разрядной книги...» (М., 1848); «Домострой благовещенского попа Сильвестра» (М., 1849).

301 Филарет (Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867) – богослов, настоятель Троице-Сергиевой лавры (1821–1867); митрополит Московский и Коломенский (с 1826 г.); ординарный академик (1841); в 1994 г. канонизирован.

Известны письма митрополита Филарета к Д.П. Голохвастову по случаю издания последним «Домостроя» Сильвестра (см.: *Пимен* (*П.Д. Мясников*). Воспоминания архимандрита Пимена. М., 1877. С. 125–126).

302 Бахтин Николай Иванович (1796–1869) – литературный критик; государственный секретарь (1843–1853), член Государственного совета (с 1853 г.).

303 *... по случаю освящения нового Кремлевского дворца...* – Большой Кремлевский ворец был освящен в апреле 1849 г.

304 *Пéдель* – от нем. Pedell; надзиратель за студентами в университете.

305 Здесь Свербеев размещает не вошедшее в публикацию краткое «Дополнение к Голохвастовой семье»: «Образованная и умная мать Голохвастова умерла в 20 годах. Сестра Дм. Голохвастова вышла замуж за новосильского помещика Шатилова; сын ее теперь президентом московского сельского общества. Меньшой брат Николай похищен был еще при жизни матери тайком из ее дома и обвенчан с разбитной и удалой кокеткой Зверевой.

Такому необычному похищению жениха невестой много способствовал лихой партизан и поэт Денис Давыдов; обоим, жениху и невесте, совершенно незнако-

мый. Кто-то из знакомых обратился к Давыдову с просьбой и просил его увезти из родительского дома. – “Невесту; изволь! Вот тебе моя рука и честное слово” – “Нет, жениха”. – “Вот тебе обе руки”. Так совершилась эта свадьба к великому огорчению матери Голохвастова, которая не перенесла горя и скоро умерла. Слабохарактерный Николай Голохвастов разорился в прах и также вместе с женой рано сошел в могилу» (ФС. Д. 11. Л. 57–57 об.).

Кроме описанных уже Свербеевым братьев Голохвастовых и их матери, здесь упомянуты: Николай Васильевич Шатилов (1787–1846), новосильский уездный предводитель дворянства (1817–1819), тульский губернский предводитель дворянства (1835–1838), и его сын, Иосиф Николаевич Шатилов (1824–1889), президент Московского общества сельского хозяйства (с 1864 г.), а также Денис Васильевич Давыдов (1784–1839), генерал-лейтенант (1831); поэт.

306 *...в Вифании...* – Имеется в виду Вифанский скит близ Троице-Сергиевой лавры, названный по селению в Палестине, упоминаемому в Евангелии.

307 В рукописи Свербеев добавляет: «...и пошлые на него эпиграммы ходили по городу. Вот 3 последние стиха из какого-то насмешливого стихотворения на московские достопримечательности:

Большая пушка,
Августин-кадушка
И кроткая Марфушка.

Марфа Яковлевна Кроткова, богатая рыжая вдова, помещица с. Молодей по Серпуховской дороге, была большая приятельница Августина. Honi soit qui [mal] y pense [Пусть стыдится подумавший об этом плохо (*фр.*, девиз ордена Подвязки)], а злые языки часто делали из имен их какую-то глупую насмешливую [шутку]: «Смиренный Августин и Марфа кроткая». Как видите, воспоминание мое об этом архиерее не совсем лестно для его памяти» (ФС. Д. 11. Л. 57 об.).

308 *...когда дойду до встречи моей с незабвенным Филаретом.* – Воспоминания о встрече с митрополитом Филаретом не вошли в «Записки» Д.Н. Свербеева, однако в личном архиве Свербеевых сохранилась переписка супругов с митрополитом (в том числе более 50 писем Филарета за 1833–1865 годы. – РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 3. Д. 248) и часть некролога Д.Н. Свербеева митрополиту Филарету, написанного в 1867 г. и посвященного главным образом той роли, какую сыграл Филарет в сохранении «тайны престолонаследия» в 1825 г. В начале некролога Свербеев замечает: «Я вполне чувствую и вполне сознаю, что мне не подобает говорить во всеуслышание о великом муже. Но мне неудержимо желается сказать о нем несколько слов для моей семьи и тем немногим мне близким, от которых еще я никогда не скрывал ни моих мнений, ни моих убеждений. Более всего я бы желал обратить внимание этих немногих только на одну черту характера покойного митрополита, которая, думаю, едва ли была когда либо, и вряд ли будет кем-либо теперь отмечена по его смерти. Благоразумная осторожность и умеренность, постоянная и многолетняя терпимость и благовременная уступчивость духу времени на всех путях неизбежного, неудержимого человеческого стремления, всего более поражали в нем меня, смиренного и дальнего свидетеля всей его более чем полувековой деятельности...» (Черновик. ФС. Д. 39. Л. 1–1 об.).

309 Глазунов Андрей Андреевич (1770–1852) – коллежский асессор; помещик, отец двух студентов, знакомых мемуариста (примеч. 180).

310 В рукописи Свербеев добавляет: «Он уже отличался тем, что помог разорению гр. Сер[гея] Мих[айловича] Каменского, богатого орловского помещика, сына взбалмашного фельдмаршала и брата того Ник[олая] Камен[ского], который был в 30 лет главнокомандующим нашей армии и умер 32 [лет], по слухам, отравленным» (ФС. Д. 11. Л. 58).

Здесь упомянуты: граф, генерал-фельдмаршал Михаил Федотович Каменский и его сыновья, графы: Сергей Михайлович и Николай Михайлович (1776–1811), генерал от инфантерии, главнокомандующий молдавской армией (с 1810 г.). О двух первых, отце и сыне, см. примеч. 104 к т. II.

311 *...в «Русском Архиве» было говорено о фабрикации наших бумажных денег по распоряжению Наполеона...* – Свербеев имеет в виду, вероятно, публикацию П.И. Бартенева: К истории 1812 года: (О фальшивых русских ассигнациях, распростнаненных Наполеоном Бонапартом в России) // РА. 1865. Вып. 4. Стб. 491–494), продолженную полемической статьей И.П. Липранди «Еще о фальшивых ассигнациях 1812 года» (Там же. Вып. 7. Стб. 873–882). Однако упоминания о Коленкуре, возмутившего Свербеева, в этих публикациях нет. Возможно, его имя звучало в устных беседах мемуариста с П.И. Бартеневым.

312 *...приятельницы моей матери, Львовой...* – Эта московская дама также была близкой знакомой Е.П. Яньковой и описана ею, вместе с дочерьми, в воспоминаниях (*Благово Д.Д.* Рассказы бабушки... Л., 1989. С. 224–225). Хотя никто из мемуаристов не называет ее имени, можно предположить, что это Анна Егоровна Львова (1765–1826), похороненная вместе с другими членами этой семьи в Донском монастыре.

313 *...двух братьев Норовых; мать была... урожденная Голицына...* – Норовы: Александр Николаевич (1799–?), полковник, бывший шафером Д.Н. Свербеева на свадьбе, помещик Черниговской губ., и Николай Николаевич (1802(1800)–1870) , статс-секретарь Государственного совета, товарищ министра финансов (1853–1858), сенатор. В литературе встречается другой год смерти Н.Н. Норова (1860), однако Свербеев очень уверенно и подробно излагает обстоятельства кончины своего приятеля, что позволяет серьезно отнестись к его свидетельству. Мать Норовых: Анна Васильевна Норова (урожд. Голицына) (1770–1847).

О семье Норовых см. также с. 568–569, 755.

314 *...в Петровский дворец... От Петербургской заставы...* – Петровский путевой дворец на Петербургском шоссе был построен в 1775–1782 гг. архитектором М.Ф. Казаковым на месте бывшего села Петровского. Сохранился до сих пор. Петербургская застава была в то время на месте нынешней площади Белорусского вокзала в Москве.

315 *...двух братьев ... князя Николая Ивановича...* – Названы князья Трубецкие: Николай Иванович (1797–1874), чиновник Московского архива Коллегии иностранных дел (1811–1815); впоследствии камергер, обер-гофмейстер, член Государственного совета, и его младшие братья: Петр Иванович (1798–1871), генерал от кавалерии (1866), орловский губернатор (1841–1849), сенатор, и Алексей Иванович (1806–1855), действительный статский советник, виленский вице-губернатор.

[316] *...не считались законными душами...* – Счет крепостным крестьянам в XVIII – первой половине XIX в. вели в ревизских душах. Такой душой был крепостной мужского пола, женщины и дети в этот счет не входили.

[317] *...князья Хилковы...* – Соседями Свербеевых по имению были князья Хилковы: подполковник Александр Яковлевич (1755–1819), участник русско-турецких войн, и три его сына от первого брака: полковники Григорий Александрович и Дмитрий Александрович (1789 – не ранее 1860), последний – секретарь императрицы Марии Федоровны (1825–1828), с 1827 г. «состоял при Николае I», в 1829 г. тульский губернатор; а также Степан Александрович (1785–1854), уже упоминавшийся Д.Н. Свербеевым.

[318] *...М.Г.С.* – В рукописи Свербеев называет полное имя сенатора: «Матвею Григорьевичу Спиридову» (ФС. Д. 11. Л. 61). М.Г. Спиридов (1751–1829), сенатор (1795–1809), автор трудов по русской генеалогии. О его взяточничестве упоминается и в рассказе о барыне Офросимовой (см. с. 156 и примеч. 512).

[319] Ухин Степан Дементьевич (1773–1841) – обер-секретарь Сената.

[320] *...окруженный... недорослями-сыновьями, с женой и жениной смазливенькой дочкой...* – У П.И. Сафонова и его супруги были дети: Варвара Петровна, Павел Петрович (коллежский регистратор), Дмитрий Петрович (поручик) и Николай Петрович (коллежский секретарь).

[321] *...на верхней площадке Красного крыльца...* – Парадное крыльцо с лестницей, ведущей в Кремлевский дворец с Соборной площади. В 1930-е годы было снесено, ныне восстановлено.

[322] *...звон большого кремлевского колокола...* – Это «звание» в XIX в. носил отлитый в 1817 г. колокол «Успенский» весом в 4000 пудов, до сих пор находящийся в звоннице Кремля. До недавнего времени он был самым тяжелым действующим колоколом в России.

[323] *...в Александровской ленте, потому что это был праздник ордена, с Георгиевским крестом четвертой степени, со шведским орденом Меча, окруженного узенькой голубой ленточкой английского ордена Подвязки...* – Ордену Св. Александра Невского, учрежденному в 1725 г., была присвоена алая лента. Праздником ордена считался день памяти св. Александра Невского – 30 августа (по ст. ст.). Орден Св. Георгия Победоносца, учрежденный в 1769 г. и присуждавшийся за храбрость на поле боя, имел четыре степени. Последней, четвертой, степени соответствовал петличный знак с малым Георгиевским крестом. Шведский орден Меча, учрежденый в 1522 г., носился на желтой ленте. Английский орден Подвязки, высший орден Великобритании, учрежденный в 1348 г., состоял из нескольких элементов. В XIX в. носили, как правило, лишь символический знак этого ордена – розетку в виде подвязки голубого цвета.

[324] *...Андреевские кавалеры были также в красных лентах...* – Хотя орден Св. Андрея Первозванного, которому была присвоена голубая лента, в иерархии орденов был выше ордена Александра Невского с его красной лентой, но в день именин императора Александра I андреевские кавалеры надели в его честь александровские ленты, т.е. красные. Вообще же полагалось носить знаки либо всех орденов, которыми награжден кавалер, либо высшего из них. Свербеев подчеркивает, что андреевские кавалеры, надев александровские ленты, отступили от правила, но выказали особое уважение к императору.

325 Матвей Иванович Платов (1751–1818) – граф (с 1812 г.), войсковой атаман Донского казачьего войска (с 1801 г.), генерал от кавалерии (1809).

326 Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф (с 1799 г.), генерал от артиллерии (1807), военный министр (1808–1810); член Государственного совета (с 1810 г.), с 1815 г. – фактический руководитель Государственного совета, Комитета министров и Собственной е.и.в. канцелярии; начальник военных поселений (1817).

327 *... от награды царской отказался...* – В рукописи эта фраза звучит так: «...только два человека решились отказаться от наград царских:...» (ФС. Д. 11. Л. 63). Имя второго человека Свербеев раскрывает в рукописи далее. См. примеч. 329.

328 Остерман-Толстой Александр Иванович (1770 (1772)–1857) – граф (с 1796 г.), генерал от инфантерии (1817); генерал-адъютант (1814), с 1826 г. освобожден от занимаемой должности, жил за границей.

329 В рукописи Свербеев добавляет: «Вторым последователем Аракчеева был Ю.Ф. Самарин, который возвратил в министерство юстиции пожалованный ему Владимирский крест 3-й степени, при письме, выражающем довольно странное убеждение, что он, г-н Самарин, не из крестов и почестей участвовал в освобождении крестьян, а из любви и т.д. Воины 1812 года и защитники Севастополя в 50 годах жертвовали жизнью и получали раны, вероятно, из какой-нибудь любви, ну, хоть по крайней мере к долгу, они, однако, никогда не брезгали знаками отличия и не мыслили пренебрегать до такой степени награждающей их самодержавной волей. Граф Панин, министр юстиции, так был поражен выходкой великого эмансипатора, одного из многих, впрочем самого бескорыстного, что не осмелился докладывать о подвиге самаринского самоотвержения государю, а уведомил его, что присланный пакет остается в департаменте министерства до востребования» (ФС. Д. 11. Л. 63–63 об.). Речь идет о публицисте и славянофиле Юрии Федоровиче Самарине (1819–1876).

330 *...два великих князя... Николай и Михаил Павловичи...* – Будущий император Николай I и его младший брат Михаил (1798–1849), генерал-фельдцехмейстер; в 1830-е годы командир Отдельного гвардейского корпуса, главный начальник Пажеского, всех сухопутных корпусов и Дворянского полка.

331 О помощи англичан разоренным московским жителям рассказывается подробнее в «Дополнениях» (С. 477–478).

332 *...выстроил... храм Божий и... был его ктитором...* – Очевидно, речь идет о Пятницкой церкви г. Мценска, построенной в 1799 г. на народные средства и украшенной на деньги купцов Смирновых (в 1960-е годы церковь была разрушена). Понятие «ктитор» употреблялось в двух значениях: основатель храма, на средства которого он построен, и церковный староста из мирян. П.И. Смирнов был ктитором в обоих этих значениях.

333 *...бывал и мценским головой...* – Городским головой, главой городского самоуправления г. Мценска.

334 *Сын его...* – Очевидно, Петр Павлович Смирнов, почетный гражданин Мценска.

335 Островский Александр Николаевич (1823–1886) – драматург, член-корреспондент Петербургской академии наук (1863).

336 В рукописи Свербеев добавляет: «Изящно воспитанные у нас купчики и наследники богачей прельщаются всякого рода камелиями и преимущественно актри-

сами, – победнее и поплоше – цыганскими таборами и кутят напропалую; а если редкие и ведут себя пристойно, то, разбогатев непомерно, стараются удивить мир своим великолепием и выдать своих дочек, если можно, уже не за купца, какого-нибудь барича, а за французского князя Талейрана или за сына одного из французских маршалов, плута Маньяна» (ФС. Д. 11. Л. 67).

Здесь упомянуты: князь Ш.-М. Талейран, и маршал Франции Бернар Пьер Маньян (Magnan) (1791–1865), главнокомандующий парижской армией в 1851 г. Вероятно, Свербеев имеет в виду брак в 1861 г. его сына Леопольда Маньяна (1833–1898) с Еленой Алексеевной Харитовой (Haritoff, Haritov) (1844–1918), дочерью российского купца.

[337] *...с единственным сыном... купца Лобкова, который... умер, добившись ... превосходительного чина...* – Имеются в виду: купец, коллекционер, благотворитель Алексей Иванович Лобков (ок. 1799–1868) и его сын Василий Алексеевич (?–1851). Сведения о семье купцов Лобковых предоставлены Н.А. Кобяк.

Высокий чин действительного статского советника (IV класс) давал право на обращение «ваше превосходительство» и жаловался иногда особо крупным благотворителям, не состоявшим на государственной службе.

[338] Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, писатель, журналист, одинарный профессор кафедры российской истории Московского университета (1835–1844), академик Петербургской академии наук (с 1841 г.).

[339] Закревский Арсений Андреевич (1783–1865) – граф (с 1830 г.), военный и государственный деятель; министр внутренних дел (1828–1831); московский военный генерал-губернатор (1848–1859).

[340] Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844) – князь, с 1841 г. светлейший князь; московский военный генерал-губернатор (1820–1843).

[341] *...правитель канцелярии Степанов.* – Вероятно, Степанов Петр Иванович (1812–1876) – помощник управляющего секретным отделением канцелярии московского военного генерал-губернатора (1837–1840); литератор, мемуарист.

[342] В рукописи Свербеев добавляет: «Князь Петр Андреевич, – хотя и либерал с первых годов своей молодости, – в продажах и покупках людей, случавшихся тогда часто, не понимал еще всего зла, исходящего так естественно из крепостного права. Он до самой эмансипации, напр[имер], дозволял своим крестьянам покупать на свое имя людей в рекруты, но об этом скажу после» (ФС. Д. 11. Л. 69 об. – 70).

[343] В рукописи добавлено: «Новиков, доныне прозябающий, уничтожен своей супругой» (ФС. Д. 11. Л. 70).

[344] *...три брата... описаны Герценом, побочным сыном одного из них, Ивана, и женатым на побочной дочери другого брата, Александра, стало быть, на своей двоюродной сестре...* – Из четырех братьев Яковлевых здесь названы трое: Иван Алексеевич (1767–1846), капитан в отставке, отец А.И. Герцена; Александр Алексеевич (1762–1825), камергер, обер-прокурор Синода (1803), отец Н.А. Захарьиной (в замужестве Герцен); и, очевидно, Лев Алексеевич (1764–1839), дипломат, сенатор (с 1820 г.).

[345] *...в его... доме (на Тверском бульваре), который перешел к Кротковым...* – В этом доме (ныне – здание Литературного института; Тверской бульвар, 25) родился и

позднее часто бывал А.И. Герцен; в 1830-х годах дом был продан Надежде Сергеевне Кротковой и ее сыну; в этом же доме в 1840-е годы жил Д.Н. Свербеев с семьей. См. об этом подробнее с. 671–672 наст. изд.

[346] Голохвастов Андрей Михайлович (1751–1826) – обер-прокурор 3-го департамента Сената (с 1785 г.), сенатор (1793–1805).

[347] Щербатова Елизавета Дмитриевна (1794–1885) – княжна, внучка историка М.М. Щербатова.

[348] *...в Давыдову пустынь.* – Вознесенская Давидова пустынь на р. Лопасне, недалеко от Серпухова; основана в 1515 г.; в XIX в. – мужской заштатный монастырь.

[349] *в Екатерининскую пустынь...* – Свято-Екатерининский мужской монастырь (пустынь) (сейчас на территории г. Видное), основан в 1660 г.; с 1764 г. – заштатный монастырь.

[350] Обухова (урожд. Обрескова) Екатерина Васильевна (1815 – после 1871) – двоюродная племянница Д.Н. Свербеева, дочь В.А. и П.В. Обресковых.

[351] *...подробности о смерти Верещагина, о московском пожаре...* – Михаил Николаевич Верещагин (1789–1812), сын купца, переводчик немецких и французских романов, был арестован московским генерал-губернатором Ф.В. Ростопчиным по обвинению в переводе и распространении «Письма Наполеона к прусскому королю» и отдан на расправу толпе перед вступлением Наполеона в Москву. Д.Н. Свербеев рассказывает об этом и о московских пожарах 1812 г. в отдельных очерках. См. с. 461–473, 483–485.

[352] В рукописи Свербеев добавляет: «...с горя от беспутства мужа» (ФС. Д. 11. Л. 72).

[353] *...только что открытую генералом Муравьевым военную школу колонновожатых...* – Николай Николаевич Муравьев (1768–1840), генерал-майор, отец декабриста А.Н. Муравьева, М.Н. Муравьева и Н.Н. Муравьева-Карского. Училище колонновожатых (младших штабных офицеров) возникло в начале 1810-х годов в Москве по инициативе и на средства Муравьева (в его доме частным образом читались лекции по математике и военным наукам, необходимым для офицеров квартирмейстерской части). В 1816 г. эти курсы были преобразованы в Московское учебное заведение для колонновожатых. Муравьев заведовал им до 1823 г.

[354] Муравьев-Карский Николай Николаевич (1794–1866) – генерал от инфантерии; в Крымскую войну (1853–1856) наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказским корпусом; возглавлял войска при взятии в 1855 г. крепости Карс. В рукописи после его фамилии Свербеев добавляет: «и известного нашего литовского проконсула-вешателя» (ФС. Д. 11. Л. 72 об.). Имеется в виду Михаил Николаевич Муравьев (Муравьев-Виленский, Муравьев-вешатель) (1796–1866), граф (с 1865 г.), главный начальник Северо-Западного края (1863–1865), жестоко подавивший восстание в западных губерниях, активно проводивший политику радикальной русификации края.

[355] *...жена... Николева...* – Александра Николаевна Николева (урожд. Бахметева) (1777–1828), свойственница П.П. Трубецкого.

[356] Бахметев Алексей Николаевич (1774–1841) – генерал от инфантерии (1823); в 1812 г. начальник 23-й пехотной дивизии; впоследствии подольский военный губернатор (с 1814 г.), полномочный наместник Бессарабской области (с 1816 г.); нижегородский, казанский, симбирский и пензенский генерал-губернатор.

[357] *...держать экзамен на кандидата...* – Студент, выпущенный из университета кандидатом, соответствует нынешнему выпускнику, получившему диплом с отличием. Кандидат получал право на чин X класса.

[358] *...после Святой...* – Святой или Светлой называют неделю, которая начинается православной Пасхой.

[359] *...будучи пажем...* – т.е. учась в императорском Пажеском корпусе, привилегированном закрытом военно-учебном заведении, основанном в Петербурге в 1759 г. и готовившем офицеров в основном для гвардейских полков.

[360] *Дмитриевский собор* – Белокаменный собор в честь св. Дмитрия Солунского во Владимире (1194–1197), богато украшенный резным камнем, является одним из наиболее ярких памятников зодчества домонгольской Руси.

[361] *...золотые Владимирские ворота...* – Золотые ворота во Владимире (1158–1164), сохранившийся фрагмент крепостной стены города.

[362] Илья Муромец (XII в.) – один из главных героев русских былин и русский святой, мощи которого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

[363] *...бывший при Екатерине камер-пажем...* – Камер-пажами при членах императорской фамилии назначались обычно лучшие воспитанники старшего курса Пажеского корпуса.

[364] *...побывавший с Зубовым в Персии...* – В 1796 г. Россия предприняла Персидский поход, который возглавил генерал-аншеф Валериан Александрович Зубов (1771–1804), младший брат фаворита Екатерины II. Войска дошли только до слияния рек Куры и Аракса, на территорию Персии так и не вступили.

[365] Дубенский (Дубянский) Николай Порфирьевич (1779–1841) – симбирский (1815–1817) и воронежский (1817–1819) губернатор, управляющий департаментом государственных имуществ (с 1822 г.), сенатор (с 1837 г.); масон.

[366] *...вице-губернатор Ринкевич, женатый на Пашковой...* – Ефим Ефимович Рынкевич (Ренкевич, Ринкевич) (1772–1834), симбирский (1815–1817) и московский (1817–1821) вице-губернатор, вятский губернатор (1830–1834). Его жена – Александра Александровна (урожд. Пашкова) (1772–1823).

[367] *...сын, женатый на Урусовой...* – сын А.Ф. Ермолова, Иван Алексанрович Ермолов (1785–1828), гвардии капитан и его жена, Елизавета Никитична (урожд. кнж. Урусова) (ок. 1790–после 1822), выпускница Смольного института (1806).

[368] *...и зять... Языков, отец поэта.* – Мужем Е.А. Ермоловой был Михаил Петрович Языков (1774–1836). Их сыновья, и особенно поэт Н.М. Языков, были дружны со Свербеевыми.

О Языковых и о самом М.П. Языкове, отце семейства, Свербеев в 1850-е годы писал подробнее в письме к Ф.В. Чижову, который интересовался историей этой семьи в связи с биографией поэта: «Вы желаете, почтеннейший Федор Васильевич, знать некоторые подробности о родителях Языкова. Охотно сообщаю Вам то, что осталось у меня о них в памяти.., хотя и сам не могу сказать многого. Все это было так давно.

Отец Языков, служивший немного (чуть ли не отставной прапорщик), был человек умный, сметливый, расчетливый до скупости и в то же время страстный игрок; он, сколько мне помнится, не имел никакого образования и всю свою жизнь употребил на то, чтобы сделать себе большое состояние, в чем и успел. Слыхал я,

однако, что играл и приобретал он честно. Все заботы его о трех сыновьях ограничивались тем, что отправил он их в Петерб[ург] на руки родственника своего по жене П.А. Кикина. Этот, любя специальное образование, поместил их в Горный корпус.

Мать Языкова принадлежала к довольно оригинальной семье Ермоловых. Родоначальник этой семьи, к которой принадлежала по матери и моя мать, Ф.И. Ермолов, замечателен тем, что он в молодости скрылся от службы и жил до старости в своем симбирском имении, довольно значительном, до путешествия Екатерины в Казань. Он принимал у себя императрицу в доме и получил от нее прощение своему бегству. Государыня стребовала дать в службу двух его сыновей, из них один был отцом Языковой. Дедушка ее, и вместе моей матери, был человек зажиточный, но жил так просто, что ходил в нагольном тулупе, даже сальные свечи были в почете у него в доме и часто заменялись лучиной, внучкам в именины и святые праздники выдавал он по медному пятаку.

Отец Языковой недолго был на стороне, но по богатству, кротости и честности умер в глубокой старости в чине д[ействительного] с[татского] совет[ника] и в звании губерн[ского] предв[одителя] в Симбирске. Он был ⟨...⟩ безграмотен и занимался более всего ужением. Мать Языковой из роду Яновых была бойкая старушка, такой знал я ее в 1817 г., и вместе по правилам и обычаям самая простая русская женщина. Губернская предводительша никогда не надевала чепца и ходила в платочке. Дочери кое-как и кой-где поболтались в пансионах и доучивались по франц[узским] самоучителям. Добрая, кроткая, любящая и застенчивая до крайности (мать Языкова и Хомяковой), такими воспитала она и своих дочерей, сыновей же видала только тогда, когда они являлись к отцу на побывку в вакантиях или в отпуск. Деятельность и бойкость ее мужа совершенно ее уничтожали. Брат ее Ермолов, получивший после отца богатое наследство, умер от пьянства.

Николаю Языкову почему-то не удалось в Горном корпусе, просил отпуск в Институт путей сообщения, а из него – в Дерптский университет. И там, однако, не кончил он курса и уже [*нрзб.*] болезнью, следствие его страстей и вместе [*нрзб.*] природы, переселился в соседство и под кров Елагиных, как[овые] определив его на службу в меж[евую] канцелярию, восторженными похвалами его поэзии, довершили и укрепили в нем его удаление от общества и всякой обычной деятельности. Елагины до того [*нрзб.*] ложную самостоятельность поэта, что не допустили его служить со мной в Комиссии печатания грамот при Архиве иностранных дел, в которой я был Главным смотрителем, напугав его моей строгостью на службе...

Вот все, что мог я сказать о близком и моему сердцу поэте, и о его родителях. Не мое дело определять его как поэта, однако я не могу не высказать Вам моего убеждения, что вся жизнь его была испорчена теми влияниями и той неблагоприятной обстановкой, которой он всегда подчинялся. Он, как и многие из наших великих художников, пал жертвой своего разобщения с жизнью, в которой все мы вращаемся и которую надо или пересиливать, или ей подчиняться и смиряться, поколику возможно, с достоинством человека и гражданина. Примите уверение в моем к Вам уважении. Д. Свербеев» (НИОР РГБ. Ф. 332 (Ф.В. Чижов). П. 51. Д. 24. Л. 7–8 об.). В т. II Свербеев продолжает рассказ о Н.М. Языкове (с. 295–296).

[369] *...иностранный журнал «Дебаты»...* – Имеется в виду французская консервативная газета «Journal des Débats».

[370] Аржевитинов Иван Семенович (ок. 1792–1848) – майор, участник Отечественной войны, симбирский помещик, масон; двоюродный брат А.И. Тургенева.

[371] Модерах Карл Федорович (Карл Фридрих) (1747–1819) – сенатор, пермский губернатор (1797–1804), генерал-губернатор пермский и вятский (1804–1811).

[372] *... свою Вареньку.* – Обрескова (в замужестве Воронцова-Вельяминова) Варвара Александровна (1798–1826), младшая дочь А.В. Обрескова.

[373] *...продажа нашего московского дома...* – Имеется в виду сохранившийся до сего дня дом на Большой Никитской ул.

[374] Здесь в рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 4.

[375] *...рядом со Спиридоновской церковью... квартал назывался ...*«Козихой» – Церковь Рождества Богородицы с приделом Св. Спиридона Тримифунтского на Козьем болоте, возведенная в середине XVII в. и позднее достраивавшаяся, находилась по адресу: ул. Спиридоновка, 24/1. Св. Спиридон считался покровителем скотоводства и особо почитался в слободе, где разводили коз. Болотистые места вокруг церкви пытались осушить устройством прудов, от которых остался только один – Патриарший. В 1930 г. церковь была сломана.

[376] Кикин Алексей Андреевич (1772–не ранее 1841) – помещик Симбирской губернии, коллежский асессор. Кикины были родственниками Свербеева через семейство Ермоловых, упомянутое автором в начале воспоминаний (см. с. 25).

[377] *... его жена, урожденная Повало-Швейковская...* – Анна Константиновна Кикина (урожд. Повало-Швейковская) (1788–1821), жена А.А. Кикина (с 1805 г.).

[378] *...жил на Девичьем поле, во флигиле дома князя Щербатова, где теперь живет Погодин...* – Усадьба князей Щербатовых на Девичьем поле была приобретена ими в 1808 г. В 1810-е годы там жила семья князя Дмитрия Михайловича Щербатова (1760–1839), полковника, почетного члена Московского университета. М.П. Погодин приобрел усадьбу в 1835 г. Улица, на которой она стоит, в 1890-е годы была названа Погодинской.

[379] *...поднялся на штуки...* – решился на обман.

[380] *...банки ... лейденские...* – Лейденская банка – физический прибор для получения электричества, простейший конденсатор.

[381] В рукописи продолжено: «несмотря на то, а может быть, по этому самому, что сам человеком решительно был безнравственным» (ФС. Д. 11. Л. 80 – 80 об.).

[382] *...приятельницы моего дяди...* – В рукописи: «любовницы моего дяди» (ФС. Д. 11. Л. 80 об.). Речь идет об А.Н. Николевой.

[383] *...в Москву ожидали прибытия государя с двумя императрицами...* – Александр I с родственниками и двором приехал в Москву осенью 1817 г., чтобы торжественно отпраздновать пятилетие освобождения Первопрестольной от французов. Его сопровождали: супруга – императрица Елизавета Алексеевна (урожд. баденская принцесса Луиза Мария Августа) (1779–1826) и мать императора – вдовствующая императрица Мария Федоровна (урожд. принцесса Вюртембергская София Доротея Августа Луиза) (1759–1828).

[384] *...покровительствуемый... отцом Амфилохием...* – Амфилохий (Андрей Яковлевич Константинович) (1748–1824), иеромонах, благочинный и уставщик Спасо-

Яковлевского мужского монастыря в Ростове Великом. При жизни особо почитался за мудрость и благочестие; дважды его посещал Александр I.

[385] Орлова-Чесменская Анна Алексеевна (1785–1848) – графиня, дочь А.Г. Орлова-Чесменского. Была известна своей набожностью и многочисленными благотворениями монастырям и церквам.

[386] Гофман Андрей Логгинович (1798–1863) – воспитанник философско-юридического отделения Петербургского университета (1832), впоследствии статс-секретарь, член Государственного совета (с 1857 г.).

[387] *...в... ничтожном первоначальном чине* – В самом младшем чине коллежского регистратора (XIV класс).

[388] *...на Кисловке, в... зале... дома Ланге* – Усадьба в Малом Кисловском пер. (ныне д. 6, здание ГИТИС) с 1812 г. принадлежала купцу Фридриху Лангу, сдававшему множество строений на большом участке жильцам и разным учреждениям. Другим концом владение выходило на Средний Кисловский пер.

[389] *...герцогини Виртебмергской, жены герцога Александра, прозванного Шишкой...* – Герцог Александр Фридрих Карл Вюртембергский (1771–1833), брат императрицы Марии Федоровны, с 1800 г. жил в России. Генерал от кавалерии, участник войны с Наполеоном; член Государственного совета; с 1822 г. главноуправляющий ведомства путей сообщений и публичных зданий. Он был обязан своим прозвищем заметной шишке на лбу. С 1798 г. его супругой была принцесса Антуанетта Эрнестина Амалия Саксен-Кобург-Заальфельдская (1779–1824).

[390] *...никакое самодержавие не способно совершить такого чуда.* – Вдовы, как и замужние женщины, фрейлинами Двора не назначались. Здесь, очевидно, это положение подчеркнуто довольно грубой шуткой, основанной на первоначальном значении слова «фрейлина» (*нем.* устар. Fräulein – девушка, девица).

[391] Кикина (урожд. Торсукова (Тарсукова)) Мария Ардалионовна (1787–1828) – жена П.А. Кикина; и внучатая племянница М.С. Перекусихиной.

[392] *...не хотела она быть фрейлиной и несколько раз отказывалась от шифра.* – Фрейлины носили на плече шифр – бант с вензелем той особы императорского дома, к свите которой они причислены. «Пожаловать шифр» – значило назначить фрейлиной.

[393] В рукописи добавлено: «и грубый во всех своих общественных сношениях» (ФС. Д. 11. Л. 82 об.).

[394] Здесь в рукописи добавлено: «...но у нее, кроме ее косого мужа и трех плаксивых детей, были еще кой-какие более тесные связи» (ФС. Д. 11. Л. 82 об.). Упомянуты: муж, А.А. Кикин, и дети: Мария (в замуж. Бабина) (1807 – не ранее 1833), Прасковья (в замуж. Беккер) (1813 – не ранее 1836), Варфоломей-Петр (1815–1882).

[395] Обресков Александр Александрович (1800–1863) – корнет; впоследствии – гвардии ротмистр; предводитель дворянства Дмитровского уезда Московской губернии (1835–1853).

[396] *...заушить...* – дать оплеуху, пощечину.

[397] *...девица Сушкова и старшая ее сестра, о которых упомянуто было в... записках Хвостовой.* – Мария Васильевна Сушкова (в замужестве Беклешова) (1792–1853) и Прасковья Васильевна Сушкова (1777–1855), описанные в мемуарах их племян-

ницы, Е.А. Хвостовой (урожд. Сушковой) (1812–1868). См.: Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой (1812–1841). СПб., 1870.

398 В рукописи продолжено: «М.Ф. Филатьеву, женатому на моей двоюродной тетке Ермоловой, дочери Нила Федоровича» (ФС. Д. 11. Л. 84 об.). Имеется в виду Михаил Федорович Филатьев (Филатов) (1764–1857), помещик Симбирской и Пензенской губерний, с 1800 г. – муж Е.Н. Ермоловой, дед врача Н.Ф. Филатова.

399 В рукописи продолжено: «...хотя в городе все называли его не Филатьевым, а Филаткой» (ФС. Д. 11. Л. 85 об.).

400 *...заслуженному брату...* – Степан Федорович Филатов (1752(1762)–1826), капитан флота 2-го ранга, служивший в начале 1780-х годов командиром шхун «Вячеслав» и «Сокол». Он был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени в 1802 г., за службу офицером в 18 морских кампаниях, а не за Чесменское сражение 1770 г. (как пишет Свербеев). О нем писал в воспоминаниях его племянник М.А. Дмитриев (*Дмитриев М.А.* Главы из воспоминаний... С. 84, 143).

401 *...дом инженер-генерала Ивашева... семьи, из которой... вышел один декабрист и в которую женитьбой вошел... Петр Языков...* – Здесь назван генерал-майор Петр Никифорович Ивашев (1767–1838), симбирский помещик, двоюродный дядя братьев Тургеневых. Его сын Василий (1797–1840), ротмистр, был декабристом, членом Южного общества, а дочь Елизавета (1805–1848) вышла замуж за П.М. Языкова.

402 Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844) – писатель, симбирский губернатор (1817–1819). Попечитель Казанского учебного округа (1819–1826).

403 *...нравился императрице Иозефине.* – Жозефина Богарне (de Beauharnais) (1763–1814), императрица Франции (1804–1809), первая жена Наполеона I.

404 Вольтер (Voltaire) (наст. фам. Аруэ (Arouet)) Мари Франсуа (1694–1778) – французский писатель и философ.

405 Ханыков Николай Владимирович (1822–1878) – ученый-ориенталист, автор трудов по истории Средней Азии, Ирана, Кавказа. В 1860–1869 гг. находился в командировке в Париже.

406 Балашов (Балашёв) Александр Дмитриевич (1770–1837) – генерал-адъютант (с 1809 г.), петербургский военный губернатор (1809–1812), министр полиции (1810–1812, 1819), генерал от инфантерии (с 1823 г.).

407 *...называл императора... отправившегося осматривать крепости, «notre veau blanc...», употребив дерзкую игру слов в непристойном сравнении государя с Vauban'ом...* – Игра слов: французское «veau blanc» («белый теленок») созвучно имени известного фортификатора «Vauban». Себастьян Ле Претр де Вобан (Vauban) (1633–1707), маркиз, маршал Франции, военный инженер, строитель ряда крепостей.

408 В рукописи названо имя: «...кажется, Наумова» (ФС. Д. 1. Л. 86). Речь идет о волнениях крестьян помещицы Наумовой в 1818 г. (Крестьянское движение в России в XIX – начале XX века: Сб. документов. Т. 1 (1796–1825 гг.). М., 1961. С. 634).

409 *Российское библейское общество* – общество, издававшее и распространявшее Библию и занимавшееся благотворительностью, существовало в России в 1813–

1826 гг. и имело отделения в губерниях. Затем было закрыто и позднее возобновлено под другим названием.

410 Голицын Александр Николаевич (1773–1844) – князь; обер-прокурор Синода (1803–1816), министр народного просвещения и духовных дел (1816–1824), сторонник мистических учений.

411 Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854) – дипломат, переводчик, публицист. Свербеев упоминает его статью «Воспоминания о Михаиле Леонтьевиче Магницком» (РА. 1868. Вып. 6. Стб. 926–938).

412 Тургенев Александр Иванович (1784–1845) – директор департамента в ведомстве духовных дел иностранных исповеданий, общественный деятель, археограф и литератор; брат Н.И. Тургенева, близкий друг семьи Свербеевых.

413 *...счета ... погребщика Депре.* – Филипп (Федорович) Депре (1789–1858), владелец винного погреба в Москве, виноторговец.

414 Соколов Иван Алексеевич (по др. данным – Александрович) (1748 – после 1830) – тайный советник, генерал-рекетмейстер (1811), сенатор (1823–1830).

415 *На... Ивановской площади...* – Свербеев называет Ивановской Красную площадь.

416 Минин Василий Петрович (1805–1874) – гвардии штабс-ротмистр, затем действительный статский советник; тульский губернский предводитель дворянства.

417 Мельников Павел Иванович (Андрей Печерский) (1818–1883) – писатель, этнограф-беллетрист, исследователь раскола.

418 *...теперешние Минины... деньгами и протекцией... получили утвержденную им на то грамоту...* – Происхождение дворянского рода Мининых от Кузьмы Минина было признано официально в дипломе, данном Екатериной II в 1786 г. Алексею Александровичу Минину.

419 В рукописи продолжено: «Но вот один курьез, которого нельзя, однако, не заметить: второй мой сын в ранней своей молодости, когда я сам верил, как в догмат, нашему происхождению от Минина, вздумал этим похвастаться перед известной в то время Александрой Ивановной Васильчиковой; la tante Vertu, так ее называли, введена была в ужас его наивностью. “Что это вы, m-r Alexandre, что за охота вам, дворянину, признаваться, да еще хвастаться родством с мещанином-мясником!?”» (ФС. Д. 11. Л. 89).

Здесь упомянуты: сын Д.Н. Свербеева Александр Дмитриевич (1835–1917), впоследствии сенатор, и А.И. Васильчикова (урожд. Архарова) (1795–1855), которую называли «тетушка Добропорядочность» (la tante Vertu (*фр.*)).

420 *...при открытии карамзинской Клио на площади города Симбирска... и статуей в Дерпте лютеранина Барклая де Толли...* – Имеется в виду памятник историку Н.М. Карамзину, поставленный на его родине в Симбирске в 1844 г.: на гранитном пьедестале бронзовая фигура музы истории Клио. В Дерпте в 1848 г. был установлен памятник местному уроженцу полководцу, военному министру (1810–1812), Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли (1761–1818).

421 *...закладка на Воробьевых горах храма Спасителя...* – Первоначально храм во имя Христа Спасителя предполагалось поставить на Воробьевых горах. Позднее от этого проекта отказались, и храм был возведен недалеко от Кремля.

422 Витберг Александр Лаврентьевич (1787–1855) – архитектор и художник, автор первоначального проекта храма Христа Спасителя.

[423] *«Не нам, не нам, но имени Твоему»...эти... слова повелел изобразить на знаках отличия...* – Надпись «Не нам, не нам, а имени Твоему» была выбита на медалях в честь 1812 г. Это строка из 113-го Псалма: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, по милости Твоей и истине Твоей» (Пс. 113:9).

[424] *Зачатьевский монастырь* – монастырь во имя Зачатия св. Анны, матери Иоанна Крестителя, основанный в XVI в., находится недалеко от Остоженки.

[425] *...в ряду с... грузинскими царицами, царевнами и царевичами...* – В Москве еще в начале XVIII в. существовала небольшая грузинская колония. В 1729 г. земли на северо-западе города были подарены грузинскому царю Вахтангу VI, а после вхождения Грузии в состав России в 1801 г. в Москве была уже значительная грузинская колония, так и называвшаяся – Грузины. В Москве, на Грузинах, жили потомки царей Грузии, которые участвовали в общественной жизни города.

[426] В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 5.

[427] *...у знаменитого... танцмейстера Гогеля...* – Очевидно, имеется в виду московский танцмейстер, учитель танцев в Московском университете Петр Андреевич Иогель (Йогель) (1768–1855), который устраивал так называемые детские балы для своих учеников.

[428] *...в Москве существовало Купеческое собрание...* – Купеческое собрание, закрытый сословный клуб, было создано в Москве в 1804 г. Первоначально помещалось на ул. Ильинке, с 1839 г. – на Большой Дмитровке, с 1909 г. – на Малой Дмитровке, ныне в этом здании помещается театр «Ленком».

[429] В рукописи добавлено: «не совсем как-то удачно окончил воспитание кн. Трубецких» (ФС. Д. 11. Л. 93 об.).

[430] *...из гостиницы Демута...* – «Демутовым трактиром» называли гостиницу в Петербурге (Набережная р. Мойки, д. 40), владельцами которой были: директор заемного банка Филипп Якоб Демут (1750–1802), а после его смерти – дочь Елизавета Филипповна Демут (1781–1837) с мужем.

[431] *...Людовик Наполеон уже объявил войну Пруссии...* – Император Франции Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) (1808–1873), император Франции (1852–1870), объявил 19 июля 1870 г. Пруссии войну, в которой Франция потерпела поражение (1871).

[432] *...рекетмейстер* – чиновник, принимающий прошения и докладывающий их монарху.

[433] Брусилов Николай Петрович (1782–1849) – писатель, издатель «Журнала российской словесности» (1805); вологодский гражданский губернатор (1821–1834).

[434] *...на дочери [Гофмана]...* – Анна Лонгиновна Гофман (в замужестве Брусилова) (?–1830), сестра А.Л. Гофмана, дочь пастора Л. Гофмана.

[435] Гофман (Hoffmann) Логгин (Людвиг-Иеремия) (1753–1801) – пастор, лютеранский проповедник Шляхетского кадетского корпуса.

[436] *...управлялись еще вместо Уложения Литовским статутом...* – Литовский статут – кодекс права Великого княжества Литовского, введенный в 1588 г. и отмененный в 1840 г. Губернии коренной России управлялись на основе Соборного уложения 1649 г. и Свода законов Российской империи (с 1835 г.).

[437] В рукописи добавлено: «чуть ли не отца московской певуньи» (ФС. Д. 11. Л. 96). Имеются в виду: Прасковья (Полина) Михайловна Голынская (1822–1892) – фрей-

лина, певица-любительница и ее отец, могилевский помещик Михаил Казимирович Голынский.

438 Андреев Григорий Алексеевич (? – 1851) – чиновник Комиссии по принятию прошений (1810–1841).

439 *...некто Кашин...* – предположительно, Петр Кондратьевич Кашин (1764–1839), коллежский советник.

440 Кикин Александр Васильевич (1674–1718) – адмиралтейств-советник (1712), сподвижник Петра I, казненный за содействие царевичу Алексею.

441 Коновницын Петр Петрович (1764–1822) – граф (с 1819 г.), генерал-адъютант (с 1812), военный министр (1815–1819), генерал от инфантерии (с 1817 г.).

442 *«Беседа любителей русского слова»* – литературное общество в Петербурге в 1811–1816 гг., возглавлявшееся Г.Р. Державиным и А.С. Шишковым. Члены его выступали против реформы литературного русского языка, проводившейся сторонниками Н.М. Карамзина.

443 *...почитал... элевзинскими таинствами...* – Выражение употреблено в переносном смысле: в Древней Греции в г. Элевсине возле Афин ежегодно устраивали религиозные празднества-мистерии, посвященные богине плодородия Деметре, на которые непосвященные не допускались.

444 В рукописи добавлено: «и он, как Молчалин Грибоедова, не смел произносить о них своего суждения» (ФС. Д. 11. Л. 98 об.).

445 *...Софьей Дмитриевной Пономаревой, урожденной девицею Позняк. Она была дочь Дмитрия Прокофьевича Позняка...* – С.Д. Позняк (1794–1824), хозяйка литературного салона (1821–1824). Ее отец, Д.П. Позняк (1764–1851) – член Комитета попечительного о тюрьмах (с 1832 г.), тайный советник.

446 *...за сыном богатого откупщика Пономарева...* – С.Д. Пономарева была супругой Акима Ивановича Пономарева (ок. 1779 – не ранее 1825), чиновника Канцелярии стате-секретаря у принятия прошений, титулярного советника.

447 *...переводчик... Гнедич... журналист Греч... циник Измайлов, трагики – Катенин и Жандр... Дельвиг, Лобанов и Баратынский...* – Упоминаются: поэт и переводчик, родственник Д.П. Позняка Николай Иванович Гнедич (1784–1833); Николай Иванович Греч (1787–1867), издатель, журналист, филолог; Александр Ефимович Измайлов (1779–1831), поэт-баснописец, журналист, издатель журнала «Благонамеренный» (1818–1826); Павел Александрович Катенин (1792–1853), поэт и театральный деятель, автор пьес, переводчик трагедий Ж. Расина и П. Корнеля; Андрей Андреевич Жандр (1789–1873), поэт, драматург, переводчик; впоследствии сенатор; Антон Антонович Дельвиг (1798–1831), поэт, издатель альманаха «Северные цветы» и «Литературной газеты»; Михаил Евстафьевич Лобанов (1787–1846) – писатель, драматург, переводчик; Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844), поэт, близкий знакомый Д.Н. Свербеева.

448 В рукописи следует: «Раз кто-то предложил хозяйке представиться покойницей; она совлекла с себя все покровы; с обнаженными плечами, руками и ногами покрылась прозрачным саваном и мы торжественно положили ее на стол среди залы, обставили канделябрами и начали совершать над ней литию отпевания, но не могла она выдержать последних наших целований, вскочила и забыв о костюме или об его отсутствии, побежала за кастаньетами и начала отплясывать сладостра-

стную качучу или болеро. Восторженным рукоплесканиям не было конца» (ФС. Д. 11. Л. 100).

[449] *...идиллию «Рыбаки» ...подражание Феокриту...* – Идиллию «Рыбаки» автор датирует 1821 г. Она была написана вслед за несколькими переводами из древнегреческого поэта Феокрита (Теокрита) (ок. 300 – ок. 260 г. до н.э.) и признается лучшим из оригинальных произведений Н.И. Гнедича.

[450] В рукописи здесь указано название комедии: «Триумф» (ФС. Д. 11. Л. 100 об.).

[451] Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) – писатель, журналист, критик.

[452] В рукописи добавлено: «отверженного подлеца и доносчика, даже и в такую неразборчивую гостинную, видно, его не пускали» (ФС. Д. 11. Л. 101).

[453] Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – писатель, романист. Д.Н.Свербеев был знаком с ним и не раз встречался в Париже, высоко ценил его творчество, однако сам И.С. Тургенев отзывался о Свербееве несколько раздраженно, утомленный разговорчивостью 70-летнего собеседника (об этом упомянуто в дневнике Фанни Николаевны Тургеневой: ЛН. Л., 1967. Т. 76. С. 372).

[454] Панаев Владимир Иванович (1792–1859) – поэт, автор воспоминаний (см.: *Панаев В.И.* Воспоминания // Вестник Европы. 1867. Т. 3. С. 193–270; Т. 4. С. 72–178).

[455] *...на шее была Анна или Владимир в петлице.* – Имеются в виду знаки ордена Св. Анны 2-й степени и ордена Св. Владимира 4-й степени.

[456] Глотов Макар Патрикеевич (? – 1833) – статский советник; начальник отделения в Комиссии по принятию прошений.

[457] Фондуклей Иван Иванович (1804–1880) – киевский губернатор (1839–1852), сенатор, археолог, исследователь киевских древностей.

[458] Энегольм Александр Ильич (? – после 1841) – член Комиссии по принятию прошений, первый редактор «Лесного журнала» (с 1833 г.), действительный тайный советник.

[459] *...Аннинский крестик из петлички...* – знак ордена Св. Анны 3-й степени.

[460] *...гунароповского дома около конногвардейского манежа...* – Большой дом, принадлежавший с 1770-х годов семье выходца из Греции Афанасия Гунаропуло (в 1820-е годы – его сыновьям), в начале XIX в. здесь жили: И.А. Крылов, А.А. Шаховской (ныне: Большая Морская, 42). Сейчас на этом месте дом, построенный в 1844–1853 гг. для Министерства государственных имуществ, недалеко от него находился Конногвардейский манеж, построенный в 1804–1807 г. по проекту Дж.Кваренги (совр. адрес: Конногвардейский бульвар, 2).

[461] Петров Александр Дмитриевич (1794–1867) – писатель; шахматист, автор первого в России учебника шахматной игры. Свербеев неточно указывал его инициалы: в рукописи и в публикации 1899 г. стояло «А.И.».

[462] *...женился на дочери генерала-интенданта армии нашей в Польше Погодина...* – Упоминаются: Александра Васильевна Петрова (урожд. Погодина) (1816–1883), благотворительница, и ее отец: Василий Васильевич Погодин (1790–1863), генерал-интендант армии (1831–1857); руководитель Ликвидационной комиссии Царства Польского (1832), сенатор (1847).

[463] Шимановский (Шимоновский) Николай Викторович (1800–1875) – с 1824 г. – офицер штаба главнокомандующего на Кавказе А.П. Ермолова; чиновник особых поручений на Кавказе (1834–1835), с 1835 г. – в отставке; шуйский уездный предводитель дворянства (1839–1845); впоследствии – действительный статский советник.

[464] В рукописи добавлено: «писал он без орфографии и скверным, бабьим почерком» (ФС. Д. 11. Л. 103 об.).

[465] Долгоруков Владимир Андреевич (1810–1891), князь, генерал от кавалерии; московский генерал-губернатор (1865–1891).

[466] В рукописи продолжено: «да тут же кстати спрошу у поклонников нашей старины, каким процессом совершались у нас славянскими цифрами четыре правила арифметики: правила сложения, вычитания, умножения и деления? Или в те отдаленные блаженные времена обходились без них» (ФС. Д. 11. Л. 104 об.).

[467] *...в академической петербургской кухне богача Комбурлея.* – Михаил Иванович Комбурлей (1761–1821) – губернатор Курской губернии (1798–1799), Волынской губернии (1806–1815).

[468] *Женитьба на... наследнице харьковского помещика Кондратьева...* – Женой М.И. Комбурлея была Анна Андреевна Комбурлей (урожд. Кондратьева) (1783–1864), дочь богатого помещика Сумского уезда Харьковской губернии полковника Андрея Васильевича Кондратьева.

[469] *...предоставлено было продовольствие молдавской армии во время турецкой войны...* – Речь идет о русской Дунайской армии (до 1808 г. называлась Молдавской), участвовавшей в Русско-турецкой войне 1806–1812 гг.

[470] В рукописи добавлено: «нарумяненный, пожилой взяточник крупных размеров, бывший тогда сенатором и директором всех таможен» (ФС. Д. 11. Л. 105 об.).

[471] *Вольное экономическое общество* – первое русское научное общество, основанное в 1765 г. и действовавшее до Первой мировой войны.

[472] *...в старину...* – В рукописи здесь написано: «в дурь» (ФС. Д. 11. Л. 106 об.).

[473] *...составившееся по этому предмету общество...* – Имеется в виду Общество для подготовки проекта отмены крепостного права, члены которого подали в 1821 г. Александру I записку, подписанную М.С. Воронцовым, А.С. Меншиковым, Н.И. Тургеневым и П.А. Вяземским и др. с просьбой разрешить создать «под руководством управляющего министерства внутренних дел» «общество с целью освобождения крестьян». Император, сначала благосклонно принявший предложение, впоследствии его отклонил.

[474] *...граф Воронцов и князь Меншиков.* – Михаил Семенович Воронцов (1782–1856), граф, с 1845 г. князь; командир оккупационного корпуса, занимавшего Францию (1815–1818); новороссийский генерал-губернатор и полномочный наместник Бессарабской области (с 1823 г.); с 1844 г. главнокомандующий войск и наместник на Кавказе; Александр Сергеевич Меншиков (1787–1869), светлейший князь, генерал-адъютант (с 1817 г.); адмирал (с 1833 г.); впоследствии – главнокомандующий русскими войсками в Крыму (1853–1855).

[475] *...рассказывая здесь о либеральных направлениях Кикина и о его статье... я отнес все сказанное к первой половине 20-х годов, тогда как оно относится к 31-му или к 32-му году, следовательно, десятью годами позже.* – Весьма вероятно, речь идет о статье начала 1830-х годов, сохранившейся в писарской копии в фонде Свербеевых в РГАЛИ (ФС. Д. 22): «Взгляд на настоящее положение Дворянских достояний», а уточнение в датировке, которое сделал сам Свербеев, основано на упомянутых в статье изданиях.

[476] Торсукова (Тарсукова) (урожд. Перекусихина) Екатерина Васильевна (1772–1842) – жена А.А. Торсукова, племянница М.С. Перекусихиной.

[477] *...брат ее был при Екатерине сенатором.* – Василий Саввич Перекусихин (1724–1788), тайный советник, сенатор.

[478] *...дочь екатерининского обер-гофмейстера...* – М.А. Кикина была дочерью Ардалиона Александровича Торсукова (1754–1810), адъютанта фельдмаршала М.Ф. Каменского, обер-гофмейстера.

[479] *...для... дочери, которая украсилась им..., выходя замуж за князя Волконского.* – Мария Петровна Кикина (1816–1856) вышла замуж за князя Дмитрия Петровича Волконского (1805–1859), вице-президента Кабинета е.и.в. (с 1851 г.), гофмейстера (1856).

[480] Лобанов-Ростовский Яков Иванович (1760–1831) – князь, генерал-губернатор Малороссии (1808–1816), с 1816 г. – член Государственного совета; обер-камергер (с 1827 г.).

[481] Головин Николай Николаевич (1756 (1759) – 1821) – граф, обер-шенк (с 1812), член Государственного совета (1816).

[482] *Один из моих... друзей П.А.Н. ...* – Петр Александрович Новиков.

[483] Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712–1778) – французский писатель и философ.

[484] В рукописи Свербеев добавляет: «где упоминается о смерти Павла». Затем, в конце этого абзаца он из пушкинской оды «Вольность» (1817) цитирует по памяти три лучшие, по его мнению, строфы – первую: «Беги, сокройся от очей / Цитеры слабая царица! / Где ты, где ты, гроза царей, / Свободы гордая цевница?...»; восьмую: «Самовластительный злодей! / Тебя, тебя я ненавижу…» и последнюю: «И днесь, учитесь, о цари! / Ни наказанья, ни награды, / Ни страх темниц, ни алтари / Неверные для вас ограды!..» (ФС. Д. 11. Л. 110–110 об.)

[485] *...от двух старших его братьев...* – Братьями библейского Хама были Сим и Иафет. Подробнее о «происхождении рабов» от Хама см. примеч. 291.

[486] *...«Я, сударь, сейчас еду к государю просить... посадить вас... в Петропавловскую крепость». Я уверен был в том, что такая царская милость будет ему оказана...* – Эти слова Кикина и размышления Свербеева в рукописи и в публикации «Русского архива» переданы несколько иначе: «“Я, сударь, сейчас еду к государю просить милости у его величества посадить вас за вчерашние слова в Петропавловскую крепость и надеюсь, что мне отказа в этом не будет, а вы покуда посидите до моего возвращения взаперти в этой комнате”. Я тотчас понял, да и теперь в том уверен, что это была не комедия и что Кикин, экипаж которого был подан к крыльцу, а мундир и шпага лежали готовые на диване, непременно поедет во дворец и будет просить у императора себе милости посадить за дерзкие слова в крепость его родственника и подчиненного. Еще более уверен был я в том, что такая царская милость будет ему оказана» (ФС. Д. 11. Л. 112 – 112 об. См. также: РА. 1871. Вып. 1. Стб. 166).

[487] В рукописи здесь Свербеев помещает очерк «Об А.С.Шишкове» (в публикации 1899 г., значительно измененный, он стоит после основного текста воспоминаний с названием: «К моим воспоминаниям о Шишкове», а в этом месте к нему дана отсылка) (см.: ФС. Д. 11. Л. 113–113 об.; Д. 12. Л. 1–5).

[488] Свиньин Павел Петрович (1787–1839) – писатель, журналист, путешественник, художник. В 1818–1830 гг. редактор и издатель «Отечественных записок».

[489] *...«Павлушка, медный лоб (приличное прозванье!)»...* – Свербеев цитирует начало басни «Лгун» А.Е. Измайлова (1823), обращенной к П.П. Свиньину («Павлушка медный лоб – приличное прозванье! / Имел ко лжи большое дарованье; / Мне кажется, еще он в колыбели лгал! / Когда же с барином в Париже побывал / И через Лондон с ним в Россию возвратился, / Вот тут-то лгать пустился!...»). Почти также начинается и краткая эпиграмма Измайлова на Свиньина: «Пусть Павлушка-медный лоб / Дураков морочит, / Лжет бездельник, как холоп. / Обмануть всех хочет...» (Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX века: В 2 т. / Сост. В.Ф. Орлов. М., 1931. Т. 1. С. 438–439).

Свиньин также считается прототипом Хлестакова в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» – отношение многих современников к нему было весьма насмешливым.

[490] Моро (Moreau) Жан Виктор (1763–1813), французский генерал, участник революционных войн и противник Наполеона I. Вынужденно эмигрировал в Америку, вернулся в Европу по приглашению союзного командования в 1813 г. и стал советником антинаполеоновской коалиции.

[491] *...был вместе с... Мамоновым одним из первых основателей Общества поощрения русских художников...* – Общество было основано в Петербурге в 1821 г. группой меценатов, в которую входили кн. И.А. Гагарин, П.А. Кикин, гр. А.И. Дмитриев-Мамонов и др., и существовало до 1929 г. Александр Иванович Дмитриев-Мамонов (1787–1836) – художник-баталист, генерал-майор (1831), командир Клястицкого гусарского полка.

[492] Брюллов Карл Павлович (1799–1852) – художник, автор в т.ч. портретов П.А. Кикина и его семьи. Кикин упоминал о художнике в письмах (ФС. Д. 62. Л. 2).

[493] *...к Карамзину и его последователям арзамасцам...* – Петербургский литературный кружок «Арзамас» существовал в 1815–1818 гг., его члены выступали против архаических литературных вкусов и традиций, защитники которых объединились вокруг А.С. Шишкова в «Беседе любителей русского слова».

[494] *...отец нынешнего графа...* – В рукописи добавлено: «родной дед той княгини Оболенской, которая так еще недавно подняла сильную бурю в стакане воды Женевского озера» (ФС. Д. 12. Л. 6 об.).

Имеются в виду: Павел Иванович Сумароков (1767–1846), сенатор (с 1821), губернатор Витебской (1808–1812) и Новгородской (1812–1813) губерний, писатель; его сын Сергей Павлович (1793–1875), граф (с 1856 г.), участник Отечественной войны 1812 года; генерал от артиллерии (1851), а также дочь последнего княгиня Зоя Сергеевна Оболенская (урожд. Сумарокова) (1828–1897), уехавшая от мужа в середине 1860-х годов в Швейцарию, где вторично вышла замуж и активно общалась с анархистами (см. об этом: ЛН. М., 1956. Т. 63. С. 74–78).

[495] *Жена его, урожденная княжна Голицына...* – Мария Васильевна Сумарокова (урожд. кнж. Голицына) (1765–1847), жена П.И. Сумарокова, старшая сестра Анны Васильевны Норовой (урожд. кнж. Голицыной).

[496] *...умная... его дочь...* – Мария Павловна Сумарокова (1786–1883).

[497] *...девица Константинова, внучка Ломоносова.* – Имеется в виду, вероятно, средняя дочь Елены Михайловны Константиновой (урожд. Ломоносовой) (1749–1772) Екатерина Алексеевна (1771 (1774)–1846), однако, не исключено, что это младшая дочь – Анна Алексеевна (1772 (1775) – после 1864).

[498] В рукописи добавлено: «К сожалению, описываемый мною старичек недолго стоял твердо на ногах, не семеня ими и не сгибая своей спины пред могуществом Аракчеева. Когда Шишков, митрополит Серафим, плут-архимандрит Фотий затеяли интригу против мистика-князя Голицына и взяли к себе во главу этого заговора графа Аракчеева, то пред его всесильным именем увлеченные в эту партию преклонились и упрямый Сумароков, и даже прямой Кикин. Подробности нравственного падения двух последних вместе с известными мне отчасти подробностями самой интриги сказаны будут впоследствии» (ФС. Д. 12. Л. 7 об.). Здесь упомянуты: Серафим (Стефан Васильевич Глаголевский) (1757–1843), с 1821 г. митрополит Петербургский, Новгородский, Эстляндский и Финляндский, а также Фотий (Петр Никитич Спасский) (1792–1838), архимандрит, церковный деятель, обличитель мистицизма в русском обществе.

[499] В рукописи добавлено: «à beau mentir qui vient de loin [тому лгать легко, кто был далеко (*фр.*)]; этим правом умел он пользоваться» (ФС. Д. 12. Л. 8).

[500] *...сосватали... на родственнице нашей, Языковой, старшей сестре Екатерины Михайловны Хомяковой...* – Александра Михайловна Валуева (урожд. Языкова) (1796–1822), умершая при родах дочери Александры.

[501] *...все Языковы...* – в рукописи: «все языковское отродье» (ФС. Д. 12. Л. 8 об.).

[502] *...Дмитрий, был необыкновенно даровитый... издавший «Детскую библиотеку», «Синбирский» и еще какой-то сборник.* – Дмитрий Александрович Валуев (Волуев) (1820–1845), историк, археограф, славянофил. Автор 14 научных, публицистических и популярных работ, в том числе издатель старинных актов под названием «Синбирский сборник» (М., 1845. Т. 1) «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах, ей единоверных и единоплеменных» (М., 1845. Т. 1), журнала «Библиотека для воспитания» (1843–1845); автор исторического труда «Исследование о местничестве» (М., 1845).

[503] Иноземцев Федор Иванович (1802–1869) – врач, профессор кафедры практической хирургии Московского университета, первым в России сделал операцию под наркозом. Основатель Общества русских врачей (1861).

[504] *...писать «Семирамиду»...* – Незавершенная работа Хомякова «Семирамида» («Мысли о всеобщей истории»), начатая в конце 1830-х годов, содержала славянофильскую историософию, предлагая целостное изложение всемирной истории и определение ее смысла.

[505] *...Варенька и Катенька...* – старшие дочери Д.Н. Свербеева: Варвара (в замужестве Арнольди) (1831–1918) и Екатерина (1832–1897).

[506] Панов Василий Алексеевич (1819–1849) – литератор, историк, славянофил.

[507] *Киреевские* – Иван Васильевич (1806–1856) – философ, публицист, один из первых славянофилов, и Петр Васильевич (1808–1856) – археограф и фольклорист.

[508] Протасова Анна Степановна (1745–1826) – доверенная камер-фрейлина Екатерины II; получила графский титул в день коронации Александра I.

[509] Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – историк и археограф, издатель журнала «Русский архив». Считал екатерининское время «золотым веком» России.

[510] *...двух или трех сыновей, из коих младшему, капитану гвардии, было уже гораздо за 30 лет.* – Из сыновей Офросимовых военную карьеру сделали: Александр

Павлович (1782–1846), адъютант П.И. Багратиона, полковник; Константин Павлович (1785–1852), впоследствии генерал-майор и Андрей Павлович (1788–1839), штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского полка, полковник. Старшие сыновья, Александр и Константин, участвовали в Бородинском сражении. О средних сыновьях Офросимовой и о ней самой рассказывала и Е.П. Янькова (*Благово Д.Д.* Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений... С. 141–142). О самой известной барыне – см. примеч. 259).

511 Офросимов (Афросимов) Павел Афанасьевич (1752–1817) – генерал-майор (с 1798 г.), отличился майором в компанию 1790 г., кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени. Свербеев неверно указывает отчество генерала.

512 В рукописи Свербеев раскрывает имя: «Спиридова» (ФС. Д. 12. Л. 10). Также имя М.Г. Спиридова полностью указывается в рукописи и далее в этой истории.

513 *...московского на Арбатской площади театра...* – В 1807–1808 гг. в начале Пречистенского бульвара (на месте нынешнего памятника Гоголю) было построено деревянное здание театра, окруженное колоннадой. Театр действовал до 1812 г. и сгорел в пожаре.

514 *...в Благородное собрание...* – Ныне – Колонный зал Дома Союзов (угол Охотного ряда и Большой Дмитровки).

515 Офросимова Елена Павловна (1794–1830) – незамужняя дочь Офросимовых.

516 В рукописи продолжено: «Менее крикливая и дерзкая, но зато гораздо менее при неукротимом своем характере благородная и честная, давно мне знакомая К[атерина] Новосильцова, урожденная Тарсукова, родная невестка одной из хозяек, тоже часто являлась к Кикиным. С ней, а также и самой Марьей Савишной Перекусихиной по воскресеньям я игрывал вчетвером в бостон. Перекусихина была всегда и в игре необыкновенно спокойна, Офросимова строга и взыскательна, а Новосильцова никогда не умела скрыть всю свою жадность к деньгам. Нет ничего вернее правила, что все особенности характера оказываются в игре; но бывали там игрицы и похуже Новосильцовой; напр., какая-то Крестовская и особливо одна из московских барынь Наталья Васильевна Муравьева. Эта просто крала марки, лишнее на вас приписывала и исподтишка стирала, что было записано на нее; все однако ее принимали, но в игре зорко за нею присматривали.» (ФС. Д. 12. Л. 11). Свербеев упоминает здесь, кроме ранее названных персонажей, Наталью Васильевну Муравьеву (урожд. Разумовскую) (1761–1844).

517 Сухарева (урожд. Полторацкая) Агафоклея Марковна (1776–1840) – благотворительница.

518 Полторацкий Дмитрий Маркович (1761–1818) – помещик, один из основателей Московского общества сельского хозяйства.

519 В рукописи добавлено: «и погибающему в Париже, беспутному,...» (ФС. Д. 12. Л. 11 об.).

520 Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803–1884) – библиограф и библиофил, устроитель первого в России игольного завода.

521 В рукописи о ней прибавлено: «кривая Хвостова» (ФС. Д. 12. Л. 11 об.).

522 *...la princesse Moustache, т.е. Наталья Петровна Голицына, ее дочери Строганова и Апраксина, графиня Литта, княгиня Салтыкова...* – Имеются в виду: княгиня Н.П. Голицына (урожд. гр. Чернышева) (1741–1837), статс-дама, фрейлина

«при пяти императорах», прототип графини в пушкинской «Пиковой даме», и ее дочери: Софья Владимировна Строганова (1775–1845) и Екатерина Владимировна Апраксина (1770–1854). Также названы: графиня Екатерина Васильевна Литта (урожд. Энгельгардт, в первом браке гр. Скавронская) (1761–1829), статс-дама, гофмейстерина (с 1824 г.) и, вероятно, Екатерина Васильевна Салтыкова (урожд. кнж. Долгорукова) (1791–1863), графиня, с 1814 г. – светлейшая княгиня, статс-дама.

В публикации 1899 г. было неверно указано отчество Голицыной: Наталья Владимировна, тогда как в основном тексте рукописи имя, отчество и прозвание «усатой княгини» отсутствуют вовсе (см.: ФС. Д. 12. Л. 11 об.), при этом в отдельно переписанном фрагменте «Продолжение Записок Петербургской жизни» это имя присутствует (ФС. Д. 33. Л. 7). Возможно, таким странным образом в публикацию вкралось отчество ее дочерей («Владимировны»). В наст. изд. отчество было исправлено на верное – «Петровна».

[523] *...Марью Александровну Комнен, гречанку..., вдову генерала этого имени...* – М.А. Комнен (урожд. Мурузи) (1764–1827) и ее супруг Христофор Маркович Комнен (1744–1815) – генерал-майор; генерал-интендант 3-й Обсервационной армии (в 1812 г.). Их фамилия чаще писалась как Комнено.

[524] *...одну из них встретил я вдовою сенатора Пещурова в Нижнем Новгороде... у дочери своей, Трубецкой, жены теперешнего воронежского губернатора. Другая сестра Пещуровой была за первым нашим посланником в Греции Катакази.* – Здесь упомянуты две из дочерей М.А. Комнен: Софья Христофоровна Катакази (1807–1882), супруга Гавриила Антоновича Катакази (1794–1867), сенатора, посланника России в Греции (1833–1843) и ее сестра – Елизавета Христофоровна Пещурова (? – не ранее 1863), супруга Алексея Никитича Пещурова (1779–1849), витебского и псковского гражданского губернатора (1830–1880); сенатора. Дочь Пещуровых Мария Алексеевна (1817–1889), фрейлина, была женой князя Владимира Александровича Трубецкого (1825–1880), воронежского губернатора (1864–1871).

[525] *...был одним из потомков греческого императора...* – Известна династия византийских императоров Комнинов, правивших более 100 лет (1081–1185).

[526] *...с мужем...* – Мужем А.В. Норовой (урожд. Голицыной) с 1792 г. был Николай Александрович Норов (1768–1847), майор, помещик Саратовской губернии.

[527] В рукописи продолжено: «Муж ее, старый волокита, красивший волосы и употреблявший румяна и белила, был в то же время одним из самых отчаянных лгунов, каких я только знал на свете» (ФС. Д. 12. Л. 13 об.).

[528] *...будущего министра народного просвещения Абрама, ... Василия Норовых, .., равно как и племянника хозяйки, нынешнего графа Сумарокова.* – Здесь названы участники Отечественной войны 1812 года: Авраам Сергеевич Норов (1795–1869), писатель; министр народного просвещения (1853–1858); член Государственного совета (с 1854 г.); Василий Сергеевич Норов (1793–1853), отставной подполковник, декабрист, и упоминавшийся уже С.П. Сумароков, племянник Норовой.

[529] *...Николай Киселев, ... брат бывшего нашим послом в Париже графа, и теперь еще там пребывающего.* – Упоминаются: Николай Дмитриевич Киселев (1800(1802)–1869), выпускник Дерптского университета (в 1823 г.), дипломат, чрезвычайный посланник при папском дворе (1855–1864) и при короле Италии (1864–1869), его жена княжна Франческа Русполи (Ruspoli), овдовевшая графиня Торлония (Torlonia) (1820–1902), а также его брат, граф Павел Дмитриевич Киселев.

[530] *...общим их приятелем ... графом Соллогубом...* – Очевидно, граф Владимир Александрович Соллогуб, автор повестей, водевилей. Как Н.Д. Киселев и Н.М. Языков, учился в Дерптском университете, однако несколько позже: в 1829 г., когда Соллогуб поступил в университет, Н.М. Языков, его уже окончил, а Н.Д. Киселев окончил в 1823 г. (о возможных встречах Соллогуба и Языкова см.: *Соллогуб В.А.* Повести. Воспоминания / Подгот. публ. М.С. Чистовой. Л., 1988. С. 653).

[531] В рукописи добавлено: «своим распутством, своею постоянною ложью» (ФС. Д. 12. Л. 14).

[532] В рукописи продолжено: «Однажды весь многолетний обман хозяина дома, к изумлению всех, случайно при мне вышел наружу. Приехал к ним из саратовской губернии сосед по деревне их, некто г. Семенов, человек средних лет и во всех отношениях очень порядочный; Анна Васильевна приняла очень дружелюбно старого знакомого, пригласив его дождаться возвращения мужа и, если можно, остаться обедать; сыновья ее также рады были посетителю. Слово за слово в разговорах о дальнем, степном крае, где Норовы проживали семьей, когда сами они были еще молоды, а дети малы, хозяйка начала расспрашивать простодушного соседа об устроенной там впоследствии довольно большой суконной фабрике, главном источнике теперешних их доходов; сосед выказался тут настоящим провинциалом; ничего не подозревая, он отвечал: “Такой, да и никакой фабрики в их имении нет и не было”. Не вдруг догадалась, в чем было дело, и сама Норова. “Что вы?” – отвечала она ему и, обращаясь к старшему сыну, приказала ему принесть из кабинета отца обращики ожидаемых с фабрики и уже запроданных сукон. Он тотчас же принес их, захватив тут же и два-три различные образца неупотребленной на выделку сукон шерсти. Семенов посмотрел на все это и в недоумении остолбенел, да к несчастию не совсем. Хозяйка наконец-то догадалась, сыновья между собою переглянулись и последовала длинная пауза; и по комнате начали летать тихие, но не совсем утешительные ангелы; кончилось тем, что Анне Васильевне сделалось дурно и сыновья отвели ее в спальню. Я рассказываю это потому, что был глубоко поражен грустной развязкой этой семейной драмы и предлагаю ее охотнику, какому-нибудь новому Гоголю или Островскому (за успех отвечаю), и потому, если не забуду, при первом же свидании весь рассказ передам Соллогубу, коротко знавшему все действовавшие лица того времени» (ФС. Д. 12. Л. 14–14 об.). Здесь упоминаются, кроме А.В. Норовой, ее сыновья А.Н. и Н.Н. Норовы, В.А. Соллогуб.

[533] *...рояль Плейеля...* – рояль известной французской мастерской, владельцами которой в первой половине XIX в. были музыканты Плейель (Pleyel): Игнац Иосиф (1757–1831) и его сын Камилл (1788–1855).

[534] В рукописи добавлено: «в женевской “метрополии”» (ФС. Д. 12. Л. 15). Далее следует не вошедший в публикацию текст (см. Фрагмент 6).

[535] В рукописи продолжено: «известен был у всех как шпион, следовательно, как человек, ничего не делающий, а только всякое серьезное дело компрометирующий. Он был до того вместе и нагл, и глуп, что однажды Кикин застал его во внутренних комнатах своей жены, двоюродной сестры этого Новосильцева, перебирающим по ящикам в ее отсутствии все ее записочки и письма. Последовала страшная сцена; любопытный кубарем с лестницы очутился в передней» (ФС. Д. 12. Л. 15 об.).

Имеется в виду Александр Петрович Новосильцев (1786–1830), действительный тайный советник, сын П.И. Новосильцева. Упомянуты также: П.А. Кикин и его жена, М.А. Кикина (урожд. Торсукова), двоюродная сестра А.П. Новосильцева по матери.

536 Новосильцева (урожд. гр. Апраксина) Екатерина Ивановна (? – 1864) – жена Н.П. Новосильцева.

537 *...до самой смерти вдовствующей императрицы Марии вторым после Вилламова секретарем...* – Григорий Иванович Вилламов (1771–1842) с 1801 г. был «у исправления дел» при вдовствующей императрице Марии Федоровне, ведавшей благотворительными заведениями; в 1828 г. Вилламов стал ее статс-секретарем по IV отделению Собственной е. и. в. канцелярии.

538 В рукописи продолжено о Е.А. Новосильцевой: «Матушка их, со своей стороны, любя деньгу, зазывала к себе обедать и проводить вечер, чтобы то в вист, то в бостон меня обыграть. Раз поневоле явившись к ее скверному обеду после частых приглашений, сел я на четыре роббера, предупредив заранее, что дольше играть не буду, а поеду в театр; она обещала меня не удерживать. На беду мою обыграл я ее рублей на 50; ей же хотелось отыграться. Я скорым ходом удалялся; хозяйка, чтобы меня удержать, пробежала всю залу и, застигнув в передней, схватила меня за фалду фрака и вполовину одну оторвала; я все-таки от нее убежал, но, чтобы ехать в театр, должен был заехать домой и надеть другой фрак. Само собою разумеется, что после такого происшествия я долго к ней не показывался; карточный ее долг так, кажется, за ней и остался. Долго смеялись у Кикиных при этом рассказе; там ее не очень-то долюбливали» (ФС. Д. 12. Л. 16).

539 *...большого русского театра.* – Большой Каменный театр, существовавший в Петербурге в 1784–1886 гг.; в нем давались оперы, балеты и драматические спектакли (перестроен в соврем. здание Петербургской консерватории).

540 Княжнин Яков Борисович (1742 (1740) – 1791) – драматург, поэт, переводчик.

541 Озеров Владислав Александрович (1769–1816) – драматург, автор трагедий.

542 Нарышкин Александр Львович (1760–1826) – обер-гофмаршал при Павле I; обер-камергер при Александре I; директор Императорских театров (1799–1819).

543 *... «Фингал», взятый из подложного Оссиана...* – Пьеса В.А. Озерова «Фингал» (1805) основывалась на героической поэме «Фингал», которую в 1762 г. шотландский поэт и историк Дж.Макферсон обнародовал как найденное им произведение ирландского певца III в. Оссиана, что породило множество обвинений в мистификации в его адрес.

544 *...Семенова, вышедшая впоследствии замуж за князя Гагарина.* – Екатерина Семеновна Семенова (в замужестве кн. Гагарина) (1786–1849), трагическая актриса; с 1828 г. жена сенатора князя Ивана Алексеевича Гагарина (1771–1832).

545 В рукописи продолжено: «Последний весь свой патриотический жар, всю свою пламенную любовь к родине истощил на воодушевление этими же чувствами нашей родной сцены. В то время, когда многие из зараженных европеизмом наших военных или вступивших в эту службу в начале войны 1812 года дрались с врагами от самого перехода французами Немана и обратно, – в это самое время почтенный издатель "Хроники" учил русских актеров и актрис декламировать патриотические стихи с подобающим эпохе жаром и достоинством. Ссылаюсь на самую "Хронику" и "Записки" Жихарева». (ФС. Д. 12. Л. 17). Очевидно, речь идет

о Степане Петровиче Жихареве (1787–1860). Однако его опубликованные «Записки современника» не доведены до 1812 г. и об С.Т. Аксакове в них не упоминается. Вероятно, Свербеев был знаком с рукописью «Записок».

546 *...меньшая сестра Семеновой...* – Нимфодора Семеновна Семенова (в замуж. Лестрелен) (1787 (1788) – 1876), оперная певица.

547 *...Истомина, и Пушкин воспел ее... в своем «Онегине».* – Евдокия (Авдотья) Ильинична Истомина (в замужестве Экунина) (1799–1848), балерина (1815–1836). А.С. Пушкин писал о ней в I главе «Евгения Онегина»:

...Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

548 *...Колосова, мать Каратыгиной, и француз Огюст.* – Упомянуты: Евгения Ивановна Колосова (урожд. Неелова) (1780–1869), балерина и драматическая актриса, ее дочь Александра Михайловна Колосова (в замуж. Каратыгина) (1802–1880), драматическая актриса, а также французский танцовщик и балетмейстер Огюст Пуаро (Poireau) (ок. 1780 – 1844 (1832)), с 1798 г. много работавший в России, где его называли Август Леонтьевич (Львович) Огюст.

549 Брянский (наст. фам. Григорьев) Яков Григорьевич (1790–1853) – актер драмы.

550 *... уступал во всем дарованию Семеновой, но не портил исполнения пьесы ...* – В рукописи вместо этой фразы: «портил исполнение пьесы» (ФС. Д. 12. Л. 17 об.).

551 Самойлов Василий Михайлович (1782–1839) – оперный певец.

552 Вальберхова (Валберхова) Мария Ивановна (1788–1867) – комическая актриса.

553 *...Воробьева I... только что вышедшая замуж за... Сосницкого, который и до 70 года не сходил, кажется, со сцены, подобно... Живокини.* – Драматическая актриса и оперная певица Елена Яковлевна Воробьева (в замужестве Сосницкая) (1800–1855) в 1817 г. вышла замуж за актера Ивана Ивановича Сосницкого (1794–1871). Василий Игнатьевич Живокини (1805–1874), комический актер, до конца жизни успешно выступавший на сцене.

554 Хмельницкий Николай Иванович (1789–1845) – драматург и переводчик; смоленский (1829–1837) и архангельский (1837) губернатор.

555 Аблесимов Александр Онисимович (1742–1783) – драматург-сатирик, автор комической оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» (1779).

556 *...Керубини... Boëldieu.* – Композиторы, авторы упомянутых опер: итальянец Луиджи Керубини (Херубини) (Cherubini) (1760–1842), директор Парижской консерватории (с 1822) (его опера «Два дня» (1800) шла в России под названием «Водовоз») и француз Франсуа Адриен Буальдьё (Boieldieu) (1775–1834).

[557] *...Лакерда Сафонович...* – Валериан Иванович Сафонович (1798–1867), студент Московского университета (1814–1817), впоследствии орловский губернатор (1854–1861), мемуарист и студент Петр Филиппович Лакерда (ок. 1795–?).

[558] *...два брата кавалергарды Львовы...* – Из братьев Львовых Свербеев, вероятно, имеет в виду Дмитрия Михайловича (1793–1842), впоследствии полковника (1823) и с 1828 г. – заведующего Кремлевским архитектурным училищем, и Андрея Михайловича (1798–после 1846), впоследствии генерал-майора. Оба эти Львовы служили в Кавалергардском полку в конце 1810-х годов.

[559] Голицын Василий Петрович (1800–1863) – князь, камер-паж (1817–1819), впоследствии штабс-ротмистр Лейб-гвардии гусарского полка (до 1833 г.), затем камергер (1838), харьковский губернский предводитель дворянства (1841–1852). В рукописи добавлено о происхождении прозвища кн. В.П. Голицына. См. Фрагмент 7.

[560] В рукописи продолжено: «обнаружившему на Сенатской площади свои преступные, а если кому угодно, то, пожалуй и благодетельные планы и намерения в отношении к нашему возлюбленному отечеству» (ФС. Д. 12. Л. 19 об.).

[561] *...жил в доме... графа Сергея Павловича Потемкина, женатого на... Елисавете Петровне Почадской... был наставником меньшего ее брата, князя Никиты ... познакомился со старшим ее братом, князем Сергеем Петровичем...* – С.П. Потемкин (1787–1858), граф, гвардии поручик; старшина московского Английского клуба. Его женой (с 1817 г.) была княжна Елизавета Петровна Трубецкая (1796–1870-е годы), во втором браке (с 1841) Подчаская (Свербеев неточно передает фамилию). Ее брат, князь Никита Петрович Трубецкой (1804–1855), корнет Кавалергардского полка (с 1823 г.), с 1827 г. – отставной поручик; позднее камер-юнкер; церемониймейстер (с 1839 г.). Другой брат Е.П. Потемкиной – С.П. Трубецкой (1790–1860), полковник (с 1822 г.), один из руководителей декабристов.

[562] *...Е.П. Оболенским и Федором Шаховским ... с офицером штаба Корниловичем и с Федором Николаевичем Глинкой, который... был адъютантом Милорадовича...* – Названы декабристы: князь Евгений Петрович Оболенский (1796–1865), член «Союза благоденствия» и Северного общества; князь Федор Петрович Шаховской (1796–1829), штабс-капитан 38-го егерского полка (с 1818 г.), адъютант И.Ф. Паскевича (1819–1820), член «Союза спасения» и «Союза благоденствия»; Александр Осипович Корнилович (1800–1834) – штабс-капитан гвардии Генерального штаба, писатель, историк; член Южного общества; Федор Николаевич Глинка (1786–1880) – писатель, гвардии полковник, член «Союза спасения» и «Союза благоденствия»; чиновник по особым поручениям при петербургском военном генерал-губернаторе, которым был в 1819–1825 гг. Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825) – граф (с 1813 г.), генерал от инфантерии.

[563] *...дотронусь до мятежа 1825 года и... изложу... мое о нем мнение.* – См. очерк «Несколько слов о декабрьском мятеже 1825 г.» в «Дополнениях» (с. 537–546).

[564] Буш (Bush) Джозеф (Буш-младший), садовый мастер, работавший в парках Царского Села в начале XIX в., создатель парка на Елагином острове (в 1833–1834 гг.).

[565] *...лейб-медик Екатерины Рожерсон.* – Роджерсон (Rogerson) Иван Самойлович (Иоган Джон Самуэль) (1741–1823), придворный медик, почетный член Академии наук (с 1776 гг.).

[566] *...престарелый доктор Симсон...* – Очевидно, петербургский врач Роберт Симпсон (1749–1822), служивший в 1774–1794 гг. врачом в русском флоте.

[567] *В это лето 1818 года... открыто было ... пароходное сообщение с Кронштадтом.* – Русский пароход «Елизавета» первым начал регулярные рейсы между Петербургом и Кронштадтом в 1815 г.

[568] Берд (Берт) (Baird) Чарльз (Карл Николаевич) (1766–1843) – владелец первого в Санкт-Петербурге механическо-литейного завода (с 1792 г.), корабельной верфи, лесопильного завода и мукомольни; организатор грузовых и пассажирских перевозок между Кронштадтом и Санкт-Петербургом.

[569] *...через Стрельну, дачу Константина Павловича...* – В Стрельне стоял летний дворец великого князя Константина Павловича (1779–1831), младшего брата Александра I, наместника Царства Польского (1816–1831).

[570] В рукописи добавлено: «которая тем заразительнее действует на плавателей, чем они, так сказать, грубее и материальнее во всей своей жизни» (ФС. Д. 12. Л. 25).

[571] *...проходили польским...* – танцевали полонез.

[572] *...этого крапивного семени...* – Так недоброжелательно называли мелких чиновников. Здесь в значении «надоедливые бездельники».

[573] *...сволочь...* – здесь в значении «сброд», «всякая мелочь».

[574] В рукописи продолжено: «Начиная от самой тетки Марьи Васильевны, которая, стал я замечать, как бы потворствовала вместо того, чтобы ей удерживать страсть своей племянницы, все домашние, не говоря уже о простодушной любовавшейся обоими нами В.В., не могли не знать и не видать нашей связи. В это время приехала к теткам в Москву старшая их племянница Катерина Александровна Шеншина, жившая со своим мужем несогласно и охотнее в отдалении от домашнего своего очага. Кстати подъехал двоюродный их брат по матери – красивый и очень образованный генерал Пассек, почти в разводе живший со своею женою. Он начал также ухаживать за этой своей кузиной, и таким образом очутились в доме тетки две не совсем-то прилично и еще менее законно любящие парочки.

Рука руку моет, говорит пословица, и мы – обе эти парочки – друг другу ни в чем не перечили. При всей моей неопытности, все это казалось мне как-то очень неловким, особливо то, что два старшие брата кузин смотрели на поведение своих сестриц сквозь пальцы. Знакомые коротко с теткой разные барыни и первая из них А.Н. Николева, искусная во всех женских хитростях, начинала со своей стороны, слишком впрочем благосклонно, намекать и посмеиваться над нами» (ФС. Д. 12. Л. 29; Д. 34. Л. 2 об.).

Под «В.В.», вероятно, подразумевается тетушка мемуариста Варвара Васильевна Обрескова. А упомянутый генерал – Петр Петрович Пассек (1779–1825), генерал-майор (с 1799 г.), член «Союза благоденствия», супруг Натальи Ивановны Олениной.

[575] В рукописи добавлено: «вероятно, как догадывался я уже гораздо позже, имевшая намерение удержать меня при себе» (ФС. Д. 12. Л. 29; Д. 34. Л. 2 об.).

[576] *... всей той развязки моей жизни, которая обнаружится.* – В рукописи окончание фразы несколько иное: «всей той безнравственности моей жизни, а равно и поведения моего мужа, которая неминуемо должна открыться на первых днях после моей смерти» (ФС. Д. 12. Л. 29 об.).

[577] В рукописи продолжено о событиях, последовавших за смертью А.К. Кикиной 28 февраля 1821 г. – см. Фрагмент 8.

578 *...не отличавшаяся от всех ей подобных.* – В рукописи эта фраза существенно расширена: «Здесь следует мне признаться в новой глупости, я и теперь еще через 50 лет от нее краснею. В пылу нежных прощаний, перебирая все наши надежды на будущее и все наши страхи о том, что блаженное будущее никогда не сбудется, я сообщил Вареньке мою мысль открыть тайну нашей любви моему другу Новикову и сделать его на всякий случай нашим посредником. Новиков – очень красивый юноша моих лет, в сто раз более страстный, нежели я, проводивший дни и ночи за чтением "Новой Элоизы" Руссо и романов m-me Staël сам в это время вздыхал платоническою любовью к какой-то певчей из хора домовой церкви Бахметева. Он ее видел всего раза три-четыре, никогда с нею не говорил и пленялся одним ее голосом. Встречаясь в обществе с Варенькой, он рассказывал подробно ей все, что я часто писал о себе из Петербурга; она же не скрывала от него нашей с нею переписки. Это их не могло не сблизить и не ослабить в нем нелепой страсти к певчей. И вот получаю я от него письмо, в котором он, мучимый раскаянием в измене дружбе, с различными оговорками и не совсем ясно открывается мне, что он сам страстно влюбился в мою Вареньку. При первом чтении его письма я сильно на него рассердился и написал ему грозное послание; но у меня и тогда уже было в обычае не отправлять тотчас горячих писем и ждать следующего утра, которое всегда, по пословице, бывает мудренее вечера. Продумав о моем ответе одну или две ночи, я начинал приходить к убеждению, что, говоря нравственно, Вареньке гораздо удобнее во всех отношениях было бы выйти за Новикова, чем за меня. Но как ему об этом написать, а особливо ей? Моей тогдашней риторики для подобных ораторских увещаний было недостаточно; на все это махнул я рукой и кажется Новикова оставил без ответа, а переписка с Варенькой продолжалась, и продолжалась, не отличаясь от всех ей подобных» (ФС. Д. 12. Л. 30–30 об.).

579 *...сестра Шеншина и ее Пассек...* – Е.А. Шеншина и П.П. Пассек. Об их отношениях см. примеч. 574.

580 *... с другим.* – В рукописи Свербеев раскрывает имя и дополняет: «с князем Трубецким, уже тогда женатым на Бахметевой. Этот Трубецкой был брат изгнанника и отец Урусовой и прочих» (ФС. Д. 12. Л. 31 об.). Это князь Петр Петрович Трубецкой (1793–1840), женатый на Елизавете Николаевне Бахметевой (? – 1825), брат декабриста С.П. Трубецкого и отец трех дочерей, в том числе Елизаветы (в замуж. Урусовой) (1825–1905). В архиве Свербеевых сохранилось письмо С.М. Семенова от 13 января 1822 г., в котором он сообщает печальные московские новости, полученные от знакомых, замечая (возможно, со слов тех же знакомых), что «особа, управляющая сей адской интригой, высказанной вам, ищет единственно своих выгод» (имеется в виду А.Н. Николаева) (ФС. Д. 73. Л. 1–2).

581 *...старший из пяти братьев Орловых, князь Григорий... женился на двоюродной сестре своей Зиновьевой...* – Свербеев неточен: старшим из пяти достигших зрелости братьев Орловых был Иван Григорьевич (1733–1791), а князь Григорий Григорьевич (1734–1783) был вторым по старшинству. Женой Г.Г. Орлова, генерала, первого президента Вольного экономического общества, была Екатерина Николаевна Зиновьева (1758–1781). Мать Орлова приходилась родной сестрой отцу Е.Н. Зиновьевой.

[582] *...Мансуров... женился на... Трубецкой.* – Александр Павлович Мансуров (1788–1880), посланник в Нидерландах и Ганновере, был женат на Аграфене Ивановне Трубецкой (1795–1861), которая приходилась ему двоюродной сестрой.

[583] В рукописи продолжено о Д.А. Хилкове: «до излишества. Его долгая служба в конногвардейском полку сделал из него какого-то ревнителя военной дисциплины, и безусловное повиновение воле помещика вследствие служебных своих привычек ввел он и в свое управление слишком 500 душ крестьян, с давнего времени [бывших] на оброке и потому крайне распущенных; кроме того, имение было тогда заложено. Отцу, жившему тогда в Петербурге и в чужих краях в долгах, братьям и сестрам нужны были деньги на содержание и воспитание, и взявший на свое попечение всю такую семейную обузу, сосед мой, несмотря на свою природную доброту и внушенное ему m-me Krudener восторженное человеколюбие, не мог щадить своих крестьян и выжимал из них сок. Одним словом, близкое мое с ним соседство и почти ежедневные свидания были мне полезны в двух противоположных отношениях. Я наглядно изучил уже совершаемое им полеводство и вообще все отрасли сельского хозяйства и в то же время наглядно видел злоупотребление помещичьей властью, разорение его крестьян, а оттого и увеличение в них безнравственности» (ФС. Д. 12. Л. 33; Д. 34. Л. 5).

[584] *...против палат княгини Белосельской на Невском проспекте...* – Речь идет о дворце князей Белосельских-Белозерских (современный адрес: Невский пр., д. 41), в котором тогда жила княгиня Анна Григорьевна Белосельская-Белозерская.

[585] Ла Фероннэ (La Ferronnays) Пьер-Луи-Август де (1777–1842) – граф, французский посол в Петербурге (1819–1826), министр иностранных дел Франции (1828–1829).

[586] *...в школу взаимного ланкастерского обучения...* – Система массового обучения была разработана английским педагогом Джозефом Ланкастером (Lancaster) (1778–1838).

[587] *...под покровительством Общества соревнователей просвещения, коего председателем был декабрист Глинка.* – Общество соревнователей просвещения и благотворения было основано в 1816 г. и с 1818 г. называлось Вольное общество любителей российской словесности. Оно просуществовало до 1825 г. Ф.Н. Глинка фактически был председателем общества с 1818 г. (формально – с 1819 г.).

[588] Орлов Михаил Федорович (1788–1842) – генерал-майор, начальник штаба 4-го пехотного корпуса в Киеве (1818–1820), командир 16-й пехотной дивизии в Кишиневе (1820–1823); декабрист, избежавший суда по ходатайству своего брата А.Ф. Орлова.

[589] Ипсиланти Александр Константинович (1792–1828) – князь, генерал-майор русской службы, один из руководителей восстания греков против Османской империи.

[590] Строганов Григорий Александрович (1770–1857) – барон, затем граф (с 1826 г.), дипломат, посланник в Швеции (1812–1816) и Османской империи (1816–1821); член Государственного совета (с 1827 г.).

[591] *...преданы были смертной казни... патриарх Григорий...* – В пасхальную ночь 1821 г. турки повесили константинопольского патриарха Григория V (1745 (1746) – 1821) на воротах его резиденции.

[592] В рукописи продолжено: «Ей было мало вечернего прощания при всех накануне и проводов на другой день до дилижанса, она всунула мне в руку записочку, умоляя приехать в дом их тайком перед рассветом и заставила согласиться упреком в трусости, если я не соглашусь. В эти последние дни, да еще и гораздо прежде, мне стоило больших трудов уговорить ее, чтобы она не бежала тайком со мной из дома и, что было бы еще хуже, не бежала вслед за мной. Она решалась, забывая все на свете, мне сопутствовать и только обещаниями найти где-нибудь для нас тихий приют я мог отклонить ее намерения. Тайное ночное свидание однако же было; но я, благодаря Бога, пощадил ее невинность и сохранил мою честь» (ФС. Д. 12. Л. 35 об.; Д. 34. Л. 8).

[593] *...за Красные ворота...* – Триумфальная арка в Москве, существовавшая с начала XVIII в. (снесена в 1927 г.), на совр. площади Красных Ворот.

[594] В рукописи добавлено о П.А. Новикове: «Ему, как кажется и всякому русскому юноше из так называемого общества, этого делать с собой не следовало. Все молодое наше поколение, все наши юноши, особливо московские, зреют не прежде 30 годов своей жизни, если допустить, что они при нашей обстановке когда-нибудь достигают возможной для них зрелости. Новиков был пойман, что, как всем ведомо, бывает в Москве зачастую, но успешная над ним ловля была страннее, чем ежедневная. За год пред нашим выходом из университета вошел в него студентом сын поэта-князя Долгорукова Рафаил-Михаил. Новиков подружился с этим очень порядочным мальчиком, чрез него познакомился с домом Долгоруких и втюрился в меньшую его сестру Евгению (бедная – она умерла в чахотке). Старшая ее сестра Антонина-Варвара взяла на себя труд (не бескорыстный) утешать Новикова в этой потере и, спустя очень немного времени, влюбила его в себя. Она была гораздо старее покойной своей сестры и самого Новикова, дурна собой и необыкновенно умна, очень образованна и завлекательна для юношей-мотыльков, у которых крылышки не испытали еще опасности обжечься, кружась около огня. Старому, брюзгливому, скупому отцу такая ранняя женитьба единственного сына очень не нравилась; его обольстили именем князей Долгоруких, по историческим весьма близким преданиям считавших себя знатнее всех других Долгоруких, что в этой семье была злополучная невеста Петра II и что другая Долгорукая, Наталья, урожденная графиня Шереметева, возвращенная из ссылки, кончила в XVIII столетии долгую свою жизнь в Киеве в некоем благоухании святости схимницей Нектарией» (ФС. Д. 12. Л. 36; Д. 34. Л. 8 об. – 9).

Здесь упоминаются Долгоруковы: князь Иван Михайлович (см. примеч. 595, с. 763), его дети: сын Рафаил (Михаил) Иванович (см. примеч. 549, с. 824); дочери: Евгения (Наталья) Ивановна (1800–1819), Варвара (Антонина) Ивановна (см. примеч. 228), а также сестра деда И.М. Долгорукова – княжна Екатерина Алексеевна Долгорукова (1712–1747), несостоявшаяся жена молодого императора Петра II Алексеевича (1715–1730), и Наталья Борисовна Долгорукова (урожд. гр. Шереметева) (схимонахиня Нектария) (1714–1771), бабка И.М. Долгорукова, известная своими мемуарами. Кроме того, здесь назван отец П.А. Новикова – коллежский советник Александр Борисович Новиков.

О вхождении П.А. Новикова в семью Долгоруковых кратко пишет и сам И.М. Долгоруков в своих воспоминаниях *(Долгоруков И.М.* Повесть о рождении

моем, происхождении и всей жизни: В 2 т. СПб., 2004. Т. 2. С. 481–483). Некоторые подробности о браке П.А. Новикова можно найти у другого очевидца этих событий – М.А. Дмитриева. Он же поясняет «двойные» имена детей И.М. Долгорукова: названных при крещении Рафаилом и Антониной называли в семье и в обществе Михаилом и Варварой (см.: *Дмитриев М.А.* Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. текста, коммент.: К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой, Т.Ф. Нешумовой. М., 1998. С. 159–160). О происхождении же самого имени Антонины ее отец, И.М. Долгоруков писал в мемуарах, что оно должно было отсылать к имени французской королевы Марии-Антуанетты (*Долгоруков И.М.* Повесть о рождении моем… Т. 1. С. 371–372).

595 *...со своей супругой, с замечательным чудаком тестем…* – Женой П.А. Новикова была А.И. Долгорукова (см. о ней примеч. 228 и др.); тестем – князь Иван Михайлович Долгоруков (1764–1823), вице-губернатор Пензы (1791–1796), губернатор Владимира (1802–1812), поэт и мемуарист.

596 *...напечатал записки отца Новиковой, прибавив к ним... биографию князя-поэта...* – Биографический очерк М.А. Дмитриева «Князь И.М. Долгорукий и его сочинения» был впервые опубликован в «Москвитянине» (1851. Т. 1. № 3. С. 265–320), затем, в 1863 г., вышел отдельным изданием, значительно дополненным и исправленным. О ходе работы М.А. Дмитриева над биографией Долгорукого подробно рассказно в изд.: *Дмитриев М.А.* Главы из воспоминаний... С. 598–599.

597 *... беседы апарте…* – беседы наедине (от *фр.* aparté).

598 *...Дмитриев, влюбленный… во вторую свою жену, урожденную Вельяминову, мать профессора, часто бывавший в доме Долгоруких вместе со старшей своей сестрой Кологривовой…* – В 1827 г. М.А. Дмитриев, овдовевший в 1822 г., женился на Анне Федоровне Вельяминовой-Зерновой (1801–1832). Их сын, Федор Михайлович Дмитриев (1829–1894), историк русского права, был профессором кафедры иностранного государственного права юридического факультета Московского университета; попечителем Петербургского учебного округа (с 1881 г.), сенатором (с 1885 г.). Старшей сестрой А.Ф. Дмитриевой была Анисья Федоровна Кологривова (урожд. Вельяминова-Зернова) (1788–1876), писательница.

599 *...каждое утро, просыпаясь, только о том и думал, чем бы в продолжении этого дня позабавиться и повеселить других.* – В рукописи иная фраза: «тем более, что в это время он сам еще не решил для себя, в кого именно был влюблен окончательно: в Вельяминову, ли или в Грушу, жившую у Долгоруких прехорошенькую, премиленькую, очаровательную рослую девушку. В семье Долгоруких [все], начиная от хозяина, уже очень пожилого, поэта в душе, образованного, остроумного, искренно набожного и в то же время циника, каждое утро просыпаясь, только о том и думали, чем бы в продолжении этого дня позабавиться и повеселить других» (ФС. Д. 12. Л. 36 об.; Д. 34. Л. 9 об.).

Здесь упоминается жившая в доме Долгоруких побочная дочь их родственника, Агриппина Федоровна Любавская (? – до 1845) (*Долгоруков И.М.* Повесть о рождении моем… Т. 2. С. 422–425 и др.).

600 *...два брата Геништа, старший отличный пианист, да еще… Римский-Корсаков, бывший впоследствии губернатором на Волыни.* – Старший из братьев Иосиф Иосифович Геништа (Еништа) (1795–1853), композитор и пианист; младший,

вероятно, Александр Иосифович (1799–1832). Андрей Петрович Римский-Корсаков (1778–1862), действительный статский советник; волынский губернатор (1831–1835).

601 *...от банкиров братьев Livio...* – Представители торговой фирмы и банковского дома «Братья Ливио», имевшего отделения в европейских столицах.

602 *...проплыв один или два узла за рейд...* – Свербеев неверно употребляет слово «узел». Узел – не мера длины, а единица скорости морских судов, равная одной миле (1,85 км) в час. Автор, очевидно, имел в виду, что судно прошло 1–2 мили.

603 Пукалов Иван Антонович – обер-секретарь Синода, с 1821 г. в отставке. Об этом примечательном господине см.: Аракчеев: Свидетельства соременников / Подгот. изд., коммент. Е.Е. Давыдовой, Е.Э. Ляминой. М., 2000. С. 50, 382.

604 *...датский... посланник генерал Блум.* – Оттон Бломе (Blome) (1770–1849), граф, посланник и полномочный министр Дании в Петербурге (1804–1841). Свербеев называет его генералом, путая с тезкой Оттоном фон Бломом (1798–1877).

605 В рукописи следует продолжение об И.А. Пукалове. См. Фрагмент 9.

606 *...его родственница, вдова убитого под Бородином генерала Тучкова...* – Александр Алексеевич Тучков (1778–1812), генерал-майор; в 1812 г. шеф Ревельского пехотного полка и командир бригады в составе 1-й Западной армии. Его жена: Маргарита Михайловна (урожд. Нарышкина, в первом браке Ласунская) (1781–1852), основательница монастыря в честь Спаса Нерукотворного в Бородине; с 1838 г. инокиня Мелания, с 1840 г. игуменья Мария, настоятельница монастыря. Она была дальней родственницей А.С. Норова по материнской линии.

607 *...где воспитывала... сына...* – Николай Александрович Тучков (1811–1826).

608 *...с его... соборной церковью Св. Олая, тогда еще не сгоревшей...* – Олаевская церковь (церковь Св. Олафа), или Олевисте в Таллине – храм, известный с XIII в. и сильно перестроенный в XV в. Пожар 1820 г. уничтожил готический шпиль, ныне восстановленный. «Не сгоревшей» – видимо, оговорка вместо «не отстроенной».

609 В рукописи примечание Свербеева: «Сказывают, что нетленное тело герцога де Кроа, показываемое за деньги в ревельской церкви Св. Олая, было предано земле по воле императора Николая, до сведения которого довели, что многие из яро-православных находят в такой выставке соблазн. Сам же герцог де Кроа вместо погребения удостоился каким-то странным случаем нетления потому, что быв взят в плен шведами после неудачной под Нарвой битвы; он, пребывая в Швеции, наделал там долгов и умер, их не заплатив. Закон ли, обычай ли побудил шведов не хоронить покойника до уплаты, от которой знатные и богатые его наследники в Бельгии отказались. Герцог де Кроа, как известно, взят был Петром в нашу службу и был предводителем нашей армии в несчастном Нарвском сражении» (ФС. Д. 12. Л. 42 об.; Д. 33. Л. 32 об.).

Здесь упомнается: герцог Карл Евгений де Кроа (Круа, Крои) (Croÿ) (1651–1702), саксонский и русский генерал-фельдмаршал, командовавший русской армией в сражении при Нарве (1700).

610 *...рыцарским замком Шварценгейптеров...* – «Черноголовые» (нем.: Schwarzhäupter) были средневековым купеческим братством. Их Дом Черноголовых – один из известных памятников Ренессанса в Таллине (XVI в.) – сохранился поныне, однако рыцарским замком его нельзя назвать даже с натяжкой. Возможно, Свербеев смешал две достопримечательности: Дом Черноголовых и таллинский замок Тоомпеа.

611 *...едва ли не сделался островом Калипсы для моего... Улисса.* – Свербеев обращается к сюжету «Одиссеи» Гомера: главный герой, у римлян называвшийся Улисс, провел долгие годы на острове нимфы Калипсо, прельщенный ее красотой, не замечая течения времени.

612 В рукописи здесь помещен рассказ о путешествии. См. Фрагмент 10.

613 *...дочери знаменитого Шлёцера...* – Доротея фон Роде-Шлёцер (Rodde-Schlöezer) (1770–1825), дочь А.Л. Шлёцера, получившая превосходное образование, удивлявшая современников широтой своих познаний; первая женщина-доктор философии в Германии.

614 *...с дылдой-дочкой...* – Августа Роде (Rodde) (1794–1820), старшая дочь Д. Роде-Шлёцер.

615 В рукописи продолжение. См. Фрагмент 11.

616 *...у нашего министра-резидента Штруве, брата знаменитого астронома.* – Имеются в виду: Генрих Антонович Струве (1771–1850) – поверенный в делах России в Гамбурге (с 1815 г.), затем министр-резидент (с 1820 г.) и посланник в Гамбурге и других ганзейских городах (1843–1850), и Василий Яковлевич (Фридрих-Георг-Вильгельм) Струве (Struve) (1793–1864), астроном, профессор Дерптского университета (с 1818 г.); основатель и первый директор Пулковской обсерватории. Свербеев ошибается – эти деятели принадлежали к разным ветвям рода Струве и братьями не являлись.

617 *...Александром Бергом, Гвидо Липхардом ...познакомился с генералом Богдановским...* – Здесь названы: предположительно Александр Федорович Берг, ставший с начала 1820-х годов близким знакомым Д.Н. Свербеева (см. примеч. 389, с. 813); Гвидо Рейнгольд Липгарт (Липхард, Липгард) (Liphart) (1801–1842), впоследствии владелец майоратного имения Нейхаузен; Андрей Васильевич Богдановский (1780–1864) – генерал-майор (с 1814 г.); участник войны с Турцией в 1806–1812 гг., Отечественной войны 1812 года и заграничных походов; с 1820 г. в отставке.

618 *...старый, тогда еще не горевший Гамбург...* – Гамбург значительно пострадал от четырехдневного «Большого пожара» в 1842 г. – было уничтожено более четверти территории города: постройки более чем на 70 улицах и площадях, в основном в Старом городе.

619 В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 12.

620 *...тиранского управления маршала Даву...* – Луи Николя Даву (Davout, D'Avout) (1770–1823), маршал Франции, один из ближайших сподвижников Наполеона I руководил обороной Гамбурга в 1813–1814 гг.

621 *Священный союз* – Союз России, Австрии и Пруссии, заключенный в 1815 г. для обеспечения решений Венского конгресса (1814) и в том числе для борьбы с революционными движениями в Европе. В 1815 г. к Союзу присоединились Франция и другие европейские государства.

622 *...Людовика XVIII с данною им Франции Конституционною хартией.* – Людовик XVIII (1755–1824), король Франции (с 1814 г.). Взойдя на престол, он подписал Конституционную хартию и т.о. учредил конституционную монархию, признал некоторые достижения революции и наполеоновского режима.

623 *...Шатобриан, Бертен, Hyde де Невилль, Руайе-Коллар...* – Упомянуты: Франсуа Рене де Шатобриан (Chateaubriand) (1768–1848), виконт, французский писатель;

роялист, идеолог Реставрации; Луи Франсуа Бертен (Bertin) (Бертен-старший) (1766–1841), издатель (с 1799 г., вместе с младшим братом) газеты «Journal des Débats», публицист эпохи Реставрации; Жан Гийом, барон Ид де Невиль (Hyde de Neuville) (1776–1857), французский политический деятель, роялист, член Палаты депутатов (1822–1830); Пьер Поль Руайе-Коллар (Royer-Collar) (1763–1845), французский философ, публицист; с 1815 г. политический деятель.

624 *...был Гизо.* – Франсуа Гизо (Guizot) (1787–1874), французский историк, политический деятель. Здесь, после имени Гизо, в рукописи продолжено: «который начал свое литературное и политическое поприще тем, что по ненависти к Наполеону, убежавшему с острова Эльбы и правившему в продолжение 100 дней, последовал, будучи еще молодым человеком, за Лудовиком XVIII в Гент и, возвратясь оттуда получил кафедру истории» (ФС. Д. 12. Л. 51 об.; Д. 23. Л. 3).

625 *...познакомились мы с... нашим консулом г. Брюне и его семейством...* – Иван Львович (Людвигович) Брюнет (Брюне) (1777 (1774) – после 1855 (1857)), генеральный консул в Норвегии (1810–1816) и Нидерландском королевстве (1816–1855). Из членов его семьи известны: сын Людвиг (1806 – после 1855), впоследствии чиновник российского консульства в Нидерландах (1824–1855) и дочь Александра (1803–?).

626 Мейендорф Петр Казимирович (1796–1863) – барон, дипломат, поверенный в делах в Гааге (1821–1824); впоследствии член Государственного совета.

627 *...королеве Анне Павловне и ее супругу...* – Дочь Павла I великая княжна Анна Павловна (1795–1865) с 1816 г. была замужем за принцем Виллемом Оранским (1792–1849), в 1840 г. ставшим королем Нидерландов под именем Виллема (Вильгельма) II.

628 *...в доме барона Огер, жена которого, урожденная Полянская ...* – Василий Данилович (Иоганн-Вильгельм) фон Гоггер (д'Оггер, д'Огье) (d'Hogger, Hogguer, Haugguères) (1755–1838), барон, швейцарец по происхождению, голландский посланник в России, а по принятии русского подданства (1800) гражданский губернатор Курляндской губернии (в г. Митаве) (1808–1811). Его жена – Анна Александровна (урожд. Полянская) (1766–1845), бывшая фрейлиной в 1782–1800 гг.

629 *...в Митаве.* – Митава (ныне Елгава, Латвия) – бывшая столица Курляндского герцогства, присоединенного к России в 1795 г. и ставшего Курляндской губернией.

630 *...первая... вскоре потом вышла замуж за... барона Александра Драдедамовича, или правильние – Казимировича Мейендорфа...* – Упомянуты: Елизавета Васильевна (Вильгельмовна) Мейендорф (урожд. бар. д'Оггер (Гоггер)) (1802–1873), старшая дочь барона Оггера, и ее муж А.К. Мейендорф (1798–1865), барон, председатель Мануфактурного совета в Москве (с чем связано, вероятно, насмешливое «Драдедамович» от названия легкого сукна «драдедам»), организатор выставок и учебных заведений для торгового класса.

631 Здесь в рукописи продолжено: «В нем гораздо более было фанфаронства, чем познаний и никто так метко не определил этого барона как наш славный дипломат Поццо ди Борго, сказав: «pour ce Baron Meindorf c'est une nullité européenne» [«Что касается барона Мейендорфа, то он – всеевропейское ничтожество» (*фр.*)]» (ФС. Д. 12. Л. 52 об. – 53; Д. 23. Л. 4 об. – 5).

[632] В рукописи добавлено: «скоро охладевшая к мужу» (ФС. Д. 12. Л. 53; Д. 23. Л. 5.)

[633] В рукописи добавлено: «разойдясь с мужем, который в начале 60 годов умер» (Там же).

[634] В рукописи добавлено: «спокойно переносящую убожество и» (Там же).

[635] *Меньшая сестра была за Сенявиным; муж ее... зарезался, и теперь она живет где-то с дочерью...* – Баронесса Александра Васильевна д'Оггер (Гоггер) (1803–1862) была замужем за Иваном Григорьевичем Сенявиным (Синявиным) (1801–1851), московским гражданским губернатором (1840–1844), товарищем министра внутренних дел (1844–1851), сенатором. Из дочерей Сенявиных здесь упомянута, вероятно, Мария Ивановна (в замужестве гр. Пален) (1838–1903).

[636] В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 13.

[637] *...возле большого брюссельского театра...* – Королевский оперный театр «Де ла Монне», основанный в конце XVII в.

[638] *...картины по церквам и музею, и ездили в... монастырь траппистов...* – Королевский музей изящных искусств в Антверпене являлся в начале XIX в. (и остается до сих пор) крупнейшей картинной галереей города, выставляя картины Рубенса, Иорданса и других знаменитых голланских мастеров XVI–XVII вв.

Монахи католического ордена траппистов, изгнанные из Франции во время революции, основали в Бельгии в начале XIX в. пять монастырей. Свербеев, очевидно, имеет в виду монастырь траппистов в Вестмалле (полное название обители «Богоматерь Духовности»), основанный в 1794 г. недалеко от Антверпена.

О монастыре в рукописи следует продолжение: «Иноки этого ордена одного из самых строжайших во всем католичестве, обрекают себя земледельческому труду и хранят обет молчания. Наружный вид монастыря не отличается своим зодчеством. Это была средней высоты и обширности обыкновенная католическая церковь с каменными кельями вокруг и такой же довольно высокой оградой, чтобы взойти на нее, мы позвонили. Отворивший нам узкую дверь привратник, увидя нас, поклонился нам в ноги и, выслушав наше желание видеть монастырь, не отвечая ни слова и земно поклонясь в другоряд, поспешно пошел за позволением к приору, который разрешил ему и нам прием и слово для самых необходимых объяснений. Собственно говоря, в этой обители мы [не видели] ровно ничего замечательного, кроме самих бродящих босых с бритой головой монахов, которые каждые пять минут по звону почтового колокольчика все до единого падали ниц и что-то бормотали, тоже самое исполнял и сам привратник, распоряжаясь с изумительной поспешностью своими земными поклонами и отвечая нам как можно короче на наши распросы. При этом монастыре была довольно обширная ферма, устроенная братством на осушенных ими же болотах; с этой целью правительство и уступило им довольно большое пространство земли. Траппистов, кажется, развелось в Европе немного; орден их один из самых новых чуть ли не конца XVII столетия. Не знаю, существуют ли до сих пор в Алжире французские трапписты, которым Лудовик Филипп дал большие земли, чтобы поощрить их примером других колонистов обратиться к земледелию» (ФС. Д. 12. Л. 54 – 54 об.; Д. 23. Л. 6 об. – 7).

[639] В рукописи продолжено: «Во время оно, т.е. в последние дни Наполеона, заметим кстати, мехельнским архиепископом был знаменитый аббат Прадт. Он был

употребляем великим императором как дипломат, публицист и посредник между ним и его узником папой Пием VII, для русских же особенно замечателен тем, что перед войной 1812 года был посылаем Наполеоном в Варшаву и много писал о Польше. Во Франции считали его даровитым, но не весьма добросовестным политическим писателем» (ФС. Д. 12. Л. 55; Д. 23. Л. 7 – 7 об.). Это Доминик Дюфур де Прадт (Dufour de Pradt) (1759–1837), аббат, депутат Генеральных штатов, епископ (1805), духовник Наполеона I, французский посол в Варшаве в 1812 г.

640 В рукописи добавлено: «Первая наша встреча проехав заставу была какая-то женщина, которая сидела верхом на плечах у рослого мужчины и в этом приличном виде прогуливались они необыкновенно скорыми шагами» (ФС. Д. 12. Л. 56; Д. 23. Л. 8).

641 В рукописи замечание в скобках: «(Некоторые из этих почтальонов до того изловчились, что, напевая про себя какую-то французскую арию, били своим кнутом по воздуху в такт)» (ФС. Д. 12. Л. 56; Д. 23. Л. 8 об.)

642 *...графами Борг.* – Графы вон дер Борх (Borch): Карл Михайлович (1798–1861), витебский губернский предводитель дворянства (1838–1843), и Александр Михайлович (1804–1867), действительный тайный советник, обер-церемониймейстер, директор Императорских театров (1862–1867).

643 *...лекции: Лакретеля... Дону... Гизо ...Сейя...* – Жан Шарль Лакретель (Lacretelle) (1766–1855), французский историк и публицист, член Французской академии (1811), с 1812 г. профессор истории в Сорбонне; Пьер Клод Франсуа Дону (Daunou) (1761–1840), французский политик и историк, профессор истории в «Коллеж ройял» (совр. «Коллеж де Франс») (с 1819 г.). Известный историк и политик Ф. Гизо в начале 1820-х годов читал лекции в Сорбонне по материалам своей работы «История цивилизации в Европе». О профессоре политэкономии Ж.Б. Сее (Say) см. примеч. 439, с. 817.

644 *...хотел заняться изучением законодательства и истории Франции в отношении к другим государствам.* – В рукописи эта фраза звучит несколько иначе: «хотел заняться изучением законодательства и истории Франции в отношении к представительному ее правлению и изучить как можно подробнее ее тогдашние политические отношения к другим государствам» (ФС. Д. 23. Л. 11).

645 Поццо ди Борго (Pozzo di Borgo) Карл Осипович (Андреевич) (Шарль Андре) (1764–1842) – граф (с 1818 г.), корсиканец на русской дипломатической службе, генерал от инфантерии (1829), посол России во Франции в 1814–1834 гг.

646 *...секретарь посольства Ломоносов.* – Имеется в виду С.Г. Ломоносов. Вероятно, встреча с Ломоносовым относится ко второму приезду Свербеева в Париж, в 1824 г., так как секретарем посольства в Париже С.Г. Ломоносов служил с февраля 1823 до 1828 г., а в 1818–1821 гг. был секретарем миссии в Филадельфии.

Ломоносов Сергей Григорьевич (1799–1857), секретарь миссии в Филадельфии (1818–1821), третий секретарь посольства в Париже (1823–1828), поверенный в делах и полонмочный министр в Бразилии (1835–1847), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Португалии (1848–1853) и Нидерландах (1853–1857).

647 *...письмо к одной из его дочерей... Там же были и граф Орлов, сын знакомого отцу и мне старичка...* – Письмо могло быть адресовано к Наталье Федоровне (1798–1866) (в замуж. Нарышкиной) или к Софье Федоровне (в замуж. Сегюр)

(1799–1874), писательнице. Сын старого графа В.Г. Орлова – Григорий Владимирович Орлов (1777–1826), сенатор, хозяин литературного салона в Париже.

648 *...Сергея Ивановича Гагарина, родителя ... Jean Xavier Гагарина.* – С.И. Гагарин (1777–1862), князь, сенатор, президент Московского общества сельского хозяйства, отец упоминавшегося уже Ивана Сергеевича (Жана Ксавье) Гагарина.

649 Ансело (Ancelot) (урожд. Шардон (Chardon)) Маргарита Луиза Вирджини (1792–1875) – французская писательница, мемуаристка, хозяйка известного в Париже салона (с 1824 г.) в отеле де Ларошфуко.

650 В рукописи добавлено: «Само собой разумеется, что все, что будет сказано мною о Франции и тогдашней ее и всеобщей европейской политике, не есть и не может быть плод моих юношеских наблюдений, но сделанные мною выводы и основанные на них убеждения в продолжение всей моей долгой жизни. Постараюсь, насколько могу, оживить их моими воспоминаниями и передать их моим семейным читателям не прежде, однако, как в записках о последующих (лет через пять) годах, возвращения моего из-за границы» (ФС. Д. 12. Л. 59 – 59 об.; Д. 23. Л. 11 об.).

651 *...Французскому театру... Основанный... вместе с Академией кардиналом Ришелье...* – Старейший драматический театр Франции, основанный в 1680 г. королем Людовиком XIV, известный ныне как «Комеди Франсез», и Французская академия, основанная в 1635 г. кардиналом Ришелье. Ришелье (Richelieu) Арман Жан дю Плесси (1585–1642), герцог, кардинал (с 1622 г.), первый министр короля (с 1624 г.).

652 *...пьесы Корнеля и Расина, ...комедии Мольера...* – Французские драматурги: Пьер Корнель (Corneille) (1606–1684), Жан Батист Расин (Racine) (1639–1699) и Жан Батист Мольер (Molière) (наст. фам. Поклен (Poquelin)) (1622–1673).

653 Людовик XIV (1638–1715) – король Франции (с 1643 г.).

654 *ареопаг* – название древнегреческого органа власти, употреблено в переносном смысле – как собрание знатоков и мудрецов.

655 Лёкен (Lekain) (наст. фам. Кен (Caïn)) Анри Луи (1729–1778) – актер Французского театра (с 1750 г.), реформатор сценического искусства.

656 Тальма (Talma) Франсуа Жозеф (1763–1826) – актер Французского театра (с 1787 г.).

657 *...трагедия Жуи (Jouy) «Сулла»...* – Виктор Жозеф Этьен де Жуи (Jouy) (наст. фам. Этьен (Etienne)) (1764–1846), французский писатель, автор трагедии «Сулла» (1822).

658 *...в «Британике»...* – «Британик» (1669) трагедия французского драматурга Ж.Б. Расина с сюжетом из римской истории, где в роли Нефона блистал Тальма.

659 Дюшенуа (Duchesnois) Катрин Жозефин Рафен (1777–1835) – французская актриса.

660 Клерон (Clairon) (наст. имя Клер Жозеф Ипполит Лерис де ла Тюд (Leris de La Tude)) (1723–1803) – французская актриса.

661 *...m-lle Mars...* – Мадмуазель Марс (Mars) (наст. имя Анн Франсуаз Ипполит Буте (Boutet)) (1779–1847), французская актриса.

662 *...Коцебу... и... Казимира де ла Винь.* – Упомянуты: Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу (Kotzebue) (1761–1819), немецкий писатель, драматург; Казимир Жан Франсуа Делавинь (Delavigne) (1793–1843), французский поэт и драматург, общественный деятель.

[663] Россини (Rossini) Джоакино Антонио (1792–1868), итальянский композитор.

[664] *Первая из певиц... полурусская madame Manviel-Feodor, или Федорова, и ... тенор Иванов...* – Фодор (в замужестве Манвиель (Менвьель)) (Meinvielle (Minvielle, Manvielle)-Fodor) Жозефина (1793 – после 1828) – певица итальянской оперы, дебютировала в России, где жила с 1794 до 1812 г.; Иванов Николай Кузьмич (1810–1880) – оперный певец (тенор), с 1830 г. обучался и пел в Италии, приняв затем швейцарское подданство.

[665] *Cinti* – Лаура Чинти-Даморо (Cinti-Damoreau) (урожд. Монталан (Montalant)) (1801–1863) – французская оперная певица (сопрано).

[666] *Pasta* – Джудитта Паста (1798–1865), итальянская оперная певица (сопрано).

[667] В рукописи продолжение фразы: «точь в точь деревянная наша Кочетова-Александрова.» (ФС. Д. 12. Л. 63 об.; Д. 23. Л. 15). Александра Доримедонтовна Кочетова-Александрова (1833–1903) – оперная певица (колоратурное сопрано) и педагог, профессор Московской консерватории.

[668] Лаблаш (Lablache) Луиджи (1794–1858) – итальянский оперный певец (бас).

[669] Голицына (урожд. Апраксина) Наталья Степановна (1794–1890) – княгиня, фрейлина (до 1817 г.), благотворительница, жена С.С. Голицына.

[670] Рубини (Rubini) Джованни Баттиста (1794–1854) – итальянский певец (тенор).

[671] *...убит был Лувелем герцог Беррийский.* – Шарль Фердинанд герцог Беррийский (1778–1820), второй сын графа д'Артуа (будущего Карла X), единственный продолжатель старшей линии Бурбонов, был смертельно ранен в Париже рабочим Луи Пьером Лувелем (Louvel) (1783–1820), стремившимся уничтожить династию Бурбонов.

[672] *...m-me Branchu и тенор Nourrit; последнего заменил потом Dupret.* – Названы артисты французской оперной сцены: Каролина Браншу (Branchu) (урожд. Шевалье де Лави (Chevalier de Lavit)) (1780–1850); Луи Нурри (Nourrit) (1780–1831); Жильбер Луи Дюпре (Duprez) (1806–1896), после 1851 г. – композитор, педагог.

[673] *...германец Глюк, покровительствуемой Марией-Антуанеттой, и итальянец Пиччини, которого музыка... нравилась Людовику XVI.* – Упомянуты: австрийский композитор Кристоф Виллибальд Глюк (von Gluck) (1714–1787), учитель музыки французской королевы Марии-Антуанетты (1755–1793); итальянский оперный композитор, живший в Париже, Николо Пиччини (Piccinni) (1728–1800); Людовик XVI (1754–1793), король Франции (с 1774 г.), супруг Марии-Антуанетты.

[674] *...оперы... начиная с Мехюля... до Обера. Первой певицей была m-me Boulanger...* – Названы: Этьенн Никола Мегюль (Меюль, Мехюль) (Méhul) (1763–1817), французский композитор и общественный деятель; Даниель Франсуа Эспри Обер (Auber) (1782–1871), французский композитор; Мари Жюли Булонже (Boulanger) (урожд. Алине (Halligner)) (1786–1850), французская певица (меццо-сопрано).

[675] *...герцогиня Беррийская...* – Мария Каролина (принцесса Неаполитанская (Бурбон-Сицилийская)) (1798–1870), супруга, а затем вдова герцога Беррийского, глава группы роялистов после революции 1830 г.; покровительница основанного в 1820 г. театра Гимназии, созданного для студентов консерватории и носившего ее имя (с 1830 г. театр «Драматическая гимназия», существующий и ныне).

[676] Скриб (Scribe) Эжен (1791–1861) – французский драматург.

[677] *...m-lle Леонтина Фай, долго игравшая в Петербурге под названием m-me Алллан.* – Леонтина Фэ (Fay) (в замужестве Жоли или Вольнис (Joly, dite Volnys)) (1810–1876), французская актриса, в 1845 г. чтица императрицы Александры Федоровны; играла в Петербурге в 1847–1868 гг. Она была приглашена в Михайловский театр на место г-жи Аллан. Луиза Розали Аллан (урожд. Депрео) (Allan-Despréaux) (1809–1856), французская актриса, выступавшая в Петербурге в 1837–1847 гг. По другим сведениям, г-жу Аллан сменила в Михайловском театре француженка Жанна Сильвани Арну-Плесси (Arnould-Plessy) (1819–1897).

[678] *Брюне... и Potiers... были неподражаемыми... комиками, а актрисами... были... m-lle Minette... m-lle Déjaszet.* – Французские комедийные актеры: Шарль Габриэль Потье (Potier) (1774–1838), актер театра «Варьете» (1809–1826); Брюне (Brunet) (наст. имя: Жан Жозеф Мира (Mira)) (1766–1853); м-ль Минетт (m-lle Minette) (Жан-Мари-Франсуаза Ménestrier), впоследствии мадам Margueritte (1789–1853), выступавшая также в театре «Гимназиум»; Полин Вирджини Дежазе (Déjazet) (1798–1875), актриса театра «Драматическая гимназия» (до 1828 г.), затем в театре «Варьете».

[679] Фердинанд VII (1784–1833), король Испании (с 1813 г.), проводивший жесткую антилиберальную политику.

[680] В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 14.

[681] В рукописи добавлено: «Особенно боялся я посещений грубого старика Пукалова, его переводчика Искритского, пошлого полковника Ильина, а чтобы иметь право не допускать к себе их вторжения велел моему portier отказывать и всем другим» (ФС. Д. 12. Л. 69; Д. 23. Л. 20 об.).

[682] *...подружился я с молодым Деденевым... сестра которого была за генерал-адъютантом Храповицким.* – Упоминаются: Михаил Алексеевич Деденев (1793–1831) – камер-юнкер (с 1817 г.), камергер (с 1829 г.), его сестра Софья Алексеевна Храповицкая (урожд. Деденева) (1787(1786)–1833), кавалерственная дама, и ее муж, Матвей Евграфович Храповицкий (1784–1847), генерал-адъютант (1816), петербургский военный губернатор (1846–1847).

[683] Тюфякин Петр Иванович (1769–1845) – князь, гофмейстер, директор Императорских театров (1819–1821).

[684] В рукописи добавлено: «Лет через пять посмешищем и потехой парижских листков сделался Обресков, дальний мой родственник, известный у нас по пришитому к его имени выражению «аршин проглотил», а в Париже долголетней своей связью с красивой актрисой m-lle Dosch» (ФС. Д. 12. Л. 70; Д. 23. Л. 21). Предположительно, имееся в виду дипломат Александр Михайлович Обресков, упоминаемый Свербеевым во втором томе «Моих Записок» (примеч. 256).

[685] *В это же время один ... граф... простившись со своей ... супругой...* – В рукописи Свербеев раскрывает имя графа. Начало фразы звучало так: «В то же время наш знаменитый герой Кульма граф Остерман-Толстой, дружески простившись со своей добродетельной и скучной супругой...» (ФС. Д. 12. Л. 70; Д. 23. Л. 21). Имеется в виду А.И. Остерман-Толстой и его жена (с 1799 г.), Елизавета Алексеевна (урожд. кнж. Голицына) (1779–1835). Историю с письмами графа своей супруге описывал и П.А. Вяземский в своих записных книжках (*Вяземский П.А.* Старая записная книжка / Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1883. Т. 8. С. 299).

686 В публикации имена дам не указаны, однако в рукописи они названы. Здесь следует фраза: «Фамилии их, чтобы не забывать, были: одна Кнорринг, другая Нарышкина» (ФС. Д. 12. Л. 70 – 70 об.; Д. 23. Л. 21 об.)

687 Имя дамы, не названное в публикации, присутствует в рукописи. Конец фразы в рукописи звучит так: «...и осмеянная графиня de Brusse, урожденная Пушкина, удалилась» (ФС. Д. 12. Л. 70 об.; Д. 23. Л. 21 об.). Имеется в виду графиня Екатерина Яковлевна Мусина-Пушкина-Брюс (урожд. Брюс) (1776–1829); Свербеев ошибается: она была урожденной последней графиней Брюс (поэтому ее мужу разрешено было добавить фамилию «Брюс» к своей).

688 *...Михаил Александрович Салтыков, родной брат по матери... генерала Пассека...* – Упомянуты: М.А. Салтыков (1767–1851), граф, камергер, попечитель Казанского учебного округа (1812–1818), сенатор (1828) и П.П. Пассек. Матерью обоих была Мария Сергеевна (урожд. Волчкова) (1752–1805), бывшая в первом браке за А.М. Салтыковым, который, по рассказам современников, проиграл ее в карты П.Б. Пассеку, чьей супругой она стала впоследствии (см.: Извлечение из переписки одного путешественника... // РС. 1878. Т. 23, № 6. С. 331, здесь же год рождения М.С. Салтыковой: ок. 1740). О М.А. Салтыкове подробно писал Ф.Ф. Вигель (Записки: В 2 т. / Под ред. С.Я. Штрайха. М., 1928. Т. 1. С. 294–296).

689 *...нашим чичероне...* – Итал. «cicerone» – старинный аналог понятий: «гид», «экскурсовод», основанный на имени Марка Туллия Цицерона.

690 Франциск I (1494–1547), король Франции (с 1515 г.) из династии Валуа.

691 *...у Шампо...* – Известный парижский ресторан «Шампо», где в 1830-е годы собирались «литературные общества» (*Мильчина В.А.* Париж в 1814–1848 годах: Повседневная жизнь. М., 2013. С. 411).

692 *...Diane de Poitiers...* – Диана де Пуатье (Poitiers) (1499–1566), герцогиня де Валентинуа, фаворитка короля Генриха II, сына Франциска I.

693 В рукописи следует текст, не вошедший в публикацию (см. Фрагмент 15).

694 *...времен Реставрации...* – Времени с 1814 по 1830 г., когда была восстановлена на престоле династия Бурбонов. Парижская повседневная жизнь этих лет прекрасно описана в книге В.А. Мильчиной «Париж в 1814–1848 годах...» (М., 2013).

695 *...пролетариев предместия Св. Антония...* – Предместье французской столицы, образовавшееся вокруг аббатства Сент-Антуан-де-Шан, всегда славилось политической активностью своих жителей, активно участвовавших в народных выступлениях 1789 г., революциях 1830 и 1848 гг.

696 *...переношусь я в осаждаемый Париж...* – Д.Н. Свербеев писал эти строки зимой 1870–1871 гг. во время осады Парижа прусскими войсками.

697 *...украшенный... Гаусманом по воле... его покровителя...* – Имеется в виду Ж.Э. Оссман, покровителем которого Свербеев называет Наполеона III. Барон Жорж Эжен Оссман (Haussmann) (1809–1891), глава парижского самоуправления и префект департамента Сена (с 1853 гг.), по поручению императора произвел коренную перестройку Парижа, проложив новые улицы, бульвары, создав новые площади на месте старых кварталов.

698 Здесь в рукописи продолжено: «...и откуда взялись все эти Шредеры, Шписы, Поггенполи и Лабенские?» (ФС. Д. 12. Л. 75). Очевидно, имеются в виду: Петр Васильевич (Петр Вильгельм) Поггенполь (1791–1853), секретарь Парижской

миссии (1820–1823), генеральный консул в Ливорно (1823–1825), в Гавре, Руане и соседних портах (1845–1853), а также упомянутые во второй части «Моих Записок»: Михаил Иванович Лабенский, Андрей Андреевич Шредер и Василий Иванович Шпис, знакомые Свербееву по Парижу. Определенная нарицательность этого перечисления имен дипломатов связана и с тем, что в Министерстве иностранных дел (в разных миссиях) служили в те годы почти одновременно несколько чиновников этих фамилий: родственников и однофамильцев. Кроме «парижского» П.В. Поггенполя, в Италии служил его брат, Н.В. Поггенполь (позже в этом ведомстве служили и их сыновья); а наряду с «парижским» М.И. Лабенским служили молодые братья Лабенские: Ксаверий Ксавериевич в Лондоне, и Камил Ксавериевич в Лиссабоне. См.: АВПРИ МИД РФ. Ф. 159. Оп. 464 (формулярные списки).

699 Лавров Иоанн – протоиерей, настоятель русской посольской церкви в Париже (1818–1834), лишен сана в 1848 г.

700 В рукописи добавлено: «…как и своею нравственностью» (ФС. Д. 12. Л. 75 об.).

701 *…и исповедовался у нашего священника.* – В рукописи эта фраза звучит иначе: «…и, скрепя сердце, каялся перед нашим безнравственным священником» (ФС. Д. 12. Л. 75 об.).

702 *Амфитрион* – персонаж древнегреческих мифов. Благодаря трактовке его образа Мольером стал синонимом гостеприимства и хлебосольства.

703 *…на Севрской фабрике…* – Старейший во Франции фарфоровый завод в Севре, пригороде Парижа, основанный в 1756 г.

704 Здесь в рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 16.

705 *…Лудовика-Филиппа…* – Луи-Филипп I (1773–1850) – в 1830–1848 гг. король Франции, до 1830 г. герцог Орлеанский.

706 Бисмарк (Bismarck) Отто фон Шенхаузен (Schönhausen) (1815–1898) – князь, государственный деятель Германии, первый рейхсканцлер германской империи (1871–1890).

707 В рукописи добавлено: «…и несравненно менее подчиняемых законной защите преступников» (ФС. Д. 12. Л. 84 об.).

708 *Прусский король Фридрих-Вильгельм, брат ныне царствующего победителя, даровал жизнь… поляку Мерославскому…* – Фридрих-Вильгельм IV (1795–1861), король Пруссии (1840–1857) из династии Гогенцоллернов; в 1847 г. помиловал польского революционера Людвика Мерославского (Mierosławski) (1814–1878). Братом-«победителем» Свербеев называет прусского короля (с 1861 г.), затем германского императора (с 1871 г.) Вильгельма I (1797–1888), ставшего кайзером после победы во Франко-прусской войне.

709 В рукописи добавлено: «(Существуют также и такие пессимисты, которые убеждены в том, что оттуда, из этого несчастного края, – рано или поздно [придут] новые кровавые потрясения)» (ФС. Д. 12. Л. 84 об. – 85).

710 *…Лудовик-Наполеон два раза восставал против Лудовика-Филиппа…* – Будущий Наполеон III в 1836 г. пытался организовать путч в Страсбурге против режима Луи-Филиппа I, но был арестован и выслан в США. В 1837 г. вернулся в Европу и в 1840 г. предпринял попытку поднять на мятеж гарнизон Булони. Был схвачен и приговорен к пожизненному заключению. В 1846 г. совершил побег из тюрьмы и укрылся в Англии, а в 1848 г., после отречения Луи-Филиппа I, вернулся во Францию.

[711] Симон (Simon) Жюль Франсуа (1814–1896) – французский либеральный государственный деятель, философ; министр народного просвещения (1870–1873).

[712] Бональд (Bonald) Луи Габриель Амбруаз (1754–1840) – французский политический деятель и философ, ультрароялист, один из основателей традиционализма.

[713] *В то самое время...* – В рукописи эта фраза предваряется еще одной: «Пусть все желают искренно уничтожения смертной казни во время отчаянной международной войны, за которой вместо восстановления мира должно ожидать новых, не менее ожесточенных и к несчастью несравненно более продолжительных, в то самое время...» (ФС. Д. 12. Л. 87–87 об.).

[714] *...Тьер, Фавр...* – Адольф Тьер (Thiers) (1797–1877) – французский историк, политический деятель, глава правительства Франции (1871), президент Французской республики (1871–1873); Жюль Фавр (Favre) (1809–1880) – французский политический деятель, министр иностранных дел (1870–1871), заключивший в 1871 г. перемирие с Германией на тяжелых для Франции условиях.

[715] Блез Паскаль (Pascal) (1623–1662) – французский философ, писатель, математик и физик.

[716] *...замок, в котором был убит герцог Гиз...* – Генрих де Гиз (Guise), герцог Лотарингский (1550–1588), боровшийся за французский престол, был убит в королевском замке Блуа, сохранившемся до наших дней.

[717] *...ленточкой Почетного легиона...* – Орден Почетного легиона, учрежденный Наполеоном Бонапартом в 1802 г. во время его консульства, до сих пор остается первой государственной наградой Франции.

[718] *...с бутылкой вина 1811 года, vin de la Comète...* – Высокое качество вина урожая 1811 г., «вина кометы», связывали с появлением в этом году кометы исключительной яркости.

[719] *...Whitfod'om...* – Карл Витфут (Витфоот) (Whitfoot) (Whitfood, Витфуд) (1774 – после 1847), российский консул в Бордо (1815–1847).

[720] *...католиков-ультрамонтанов.* – Ультрамонтанство – течение в католичестве, представители которого выступают за неограниченную власть папы римского в светских государствах.

[721] *...жители Леванта.* – Левант – общее название стран Восточного Средиземноморья (Ливан, Сирия, Египет, Палестина, Турция и др.), в узком смысле – Ливан и Сирия.

[722] *...в Одессе немедленно после недавнего ее построения при Екатерине и развития при герцоге Ришелье...* – Одесса была заложена в 1793 г. в царствование Екатерины II. Бурное развитие города шло в 1805–1814 гг., во время губернаторства в Новороссии герцога Ришелье. Ришелье (Richelieu), Арман Эммануэль дю Плесси (Эммануил Осипович) (1766–1822), герцог, французский и русский государственный деятель, генерал-губернатор Новороссии (1805–1814), градоначальник Одессы (с 1803 г.), премьер-министр французского правительства (1815–1818, 1820–1821).

[723] *...отдельно... политически существующего великого княжества Финляндского.* – В результате Русско-шведской войны в 1809 г. Финляндия вошла в состав Российской империи на правах автономного Великого княжества и управлялась, согласно договору, до начала XX в. по своим законам.

[724] Людовик XV (1710–1774) – король Франции (1715–1774). Людовик XIV и Людовик XVI упоминались в «Записках» ранее (см. примеч. 653, 673).

[725] *...Китай и Земляной город.* – Районы Москвы, находившиеся в черте старинных городских укреплений, защищавших разрастающуюся столицу.

[726] *...последний французский император, узник загородного замка близ Касселя...* – Имеется в виду Наполеон III, который сдался в плен после поражения французской армии при Седане осенью 1870 г. Содержался в замке Вильгельмсхёэ (Wilhelmshöhe) близ Касселя (Германия).

[727] *...Maison Carrée...здание золотого века Августа Кесаря.* – Имеется в виду древнеримский храм (букв. «квадратный дом» (*фр.*)) в Ниме, построенный ок. 16 г. до н.э. в правление императора Октавиана Августа (63 до н.э. – 14 н.э.).

[728] *...в Авиньоне... жилище изгнанных из вечного Рима пап...* – Папский дворец XIV в. сохранился в Авиньоне с того времени, когда этот город был резиденцией римских пап (1309–1377), оказавшихся в те годы под властью французских королей.

[729] *...городок Орант, откуда произошли линии оранских принцев, впоследствии штатгутеров и королей Голландии...* – Основателем независимых Нидерландов был Вильгельм I Оранский (1533–1584). Его потомки были штатгальтерами («наместниками») и королями Нидерландов. Имя династии дал город Оранж в Южной Франции, бывший центром княжества.

[730] *...по 3 лье в час...* – Лье равняется 4445 м.

[731] *...великие грозные события на Западе...* – Автор имеет в виду, очевидно, разгром Франции в войне и образование Германской империи.

[732] *...г. Роста, сына давно умершего московского профессора.* – Имеется в виду Иван Акимович (Иоганн Иоахим Юлиус) Рост (1726–1791), профессор математики и экспериментальной физики Московского университета.

[733] *...воротились в Женеву по Савойскому берегу.* – Северное побережье Женевского озера принадлежит Швейцарии, а южное – французскому департаменту Верхняя Савойя (до 1792 г. и в 1815–1860 гг. – Сардинскому королевству).

[734] *...Desaix...* – Луи Шарль Антуан Дезе (Desaix) (1768–1800), французский генерал, сподвижник Наполеона I.

[735] *...склонил голову перед умирающим в скале львом – памятником мужественных швейцарцев...* – Памятник с изображением умирающего льва работы датского скульптора Б.Торвальдсена (1770–1844) был установлен в г. Люцерне в 1821 г. в память о швейцарских гвардейцах, героически защищавших короля Франции Людовика XVI во время штурма дворца Тюильри в 1792 г.

[736] *...Констанц, где теперь наши православные ублажают неправославного реформатора Гуса...* – Ян (Иоанн, Иоганн) Гус (1371–1415), идеолог и вождь чешской Реформации, был осужден церковным собором в Констанце и сожжен, как еретик. Национальный герой чешского народа, он стал популярен в России в период сближения славян во второй половине XIX в.

[737] *...да тринк-гельду...* – Trinkgeld – чаевые (*нем.*).

[738] *...прежде он был... вольный, а потом сделался французской префектурой...* – Женева в 1526 г. свергла власть герцогов Савойских и завоевала независимость. В 1789 г. была присоединена к Франции, а в 1815 г. вступила в Швейцарскую конфедерацию.

[739] *...дом банкира филэллина Эйнара.* – Жан Габриэль Эйнар (Eynard) (1775–1863), банкир, с 1810 г. жил в Женеве; друг И. Каподистрия, один из основателей Национального банка Греции (1842). Владелец особняка в Женеве, построенного во флорентийском стиле (1817–1821). Филэллинами называли людей, поддерживавших национально-освободительное движение греков 1821–1829 гг.

[740] Здесь в рукописи продолжено: «Надеюсь, что по отъезде моем из Лозанны ничего подобного не случилось с ней, что случилось за год перед этим с прехорошенькой m-lle de Seigneux, которая по уши влюбилась в Nain jaune [«Желтый гном» (*фр.*) – название карточной игры] или нынешнего вельможу кн. Н.И. Трубецкого. Рассказывали тогда, что он, отъезжая в Россию из этого пансиона, уверил бедную девочку, что надеется получить позволение родителей и воротиться на ней жениться. Года два-три прождала она своего неверного и со злости и с горя вышла за богатого, но зато и преглупого англичанина Rogott. Лет 30 или 40 после встретил я ее на даче моего приятеля, глухого Gingin, напомнил ей о том, что я танцевал с нею на их бале; она, не плача, но со слезами на глазах, отказалась от такого старящего ее знакомства и после первой встречи заказывала своему cousin [здесь: родственнику (*фр.*)] бывать у него вместе со мной» (ФС. Д. 12. Л. 100 – 100 об.)

[741] *...Guigerd de Prangin...* – Шарль-Жюль Гигер де Пранжен (Guiguer de Prangins) (1780–1840), федеральный полковник (1805), командующий войсками кантона Во (1815), полковник французской армии (1817), впоследствии главнокомандующий федеральной армией (1830, 1838), член Большого совета кантона Во (1814).

[742] *...для получения испанского ордена Золотого руна и сардинского Св. Лазаря и Маврикия...* – Учрежденный в 1430 г. орден Золотого Руна был высшим орденом сначала Австрии, а с 1700 г. – и Испании. Им награждали исключительно представителей старинных дворянских родов. Орден Св. Лазаря и Маврикия, учрежденный в Савойском герцогстве в 1434 г. и возобновленный в 1816 г., имеет пять степеней. Высшей награждали только потомственных дворян.

[743] *...получать кавалерию.* – Стать кавалером ордена.

[744] В рукописи добавлено: «В Европе и особливо между владетелей домов древность швейцарских фамилий и уважение к своему происхождению были, как видно, мало известны» (ФС. Д. 12. Л. 101).

[745] Мария Терезия (1717–1780) – эрцгерцогиня Австрии (с 1740 г.), супруга Франца I, императора Священной Римской империи (с 1745).

[746] *...в первый раз встретил я графа Шувалова и его... жену... княжну Шаховскую потом бывшую за графом Полье и принцем Бутера и недавно умершую в Веве...* – Упоминаются: Шувалов Павел Андреевич (1776–1823), граф, генерал-лейтенант, генерал-адъютант при императоре Александре I (с 1813 г.). Его жена – Варвара Петровна Шувалова (урожд. кнж. Шаховская) (1796–1870), после смерти П.А. Шувалова вышла замуж за швейцарца графа Адольфа Александровича Полье (Polier) (1795–1830), камергера, церемониймейстера двора. Третьим ее мужем (с 1836 г.) был неаполитанский посланник в Санкт-Петербурге Георгий Вильдинг, князь ди Бутера ди Радоли (Wilding di Butera-Radoli) (?–1841).

[747] Лагарп (La Harpe) Фредерик Сезар де (1754–1838) – швейцарский политический деятель, воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей (1784–1795). В 1798–1800 гг. один из руководителей Гельветической республики,

образованной на территории Швейцарии после вступления французских войск, в 1817–1828 гг. член Большого совета кантона Во.

748 *Женат он был на уроженке петербургской m-lle Betticher...* – Неточно приведена фамилия: женой Ф.С. Лагарпа с 1791 г. была Доротея Катерина Бетлинг (Boehtlingk) (1775–1857), дочь российского подданного купца и банкира Левина Фабиана Бетлинга (Boehtlingk) (1727–1800).

749 *...m-lle Charlotte Laharpe...* Шарлотта де Лагарп (La Harpe) (в первом браке Пердоне (Perdonnet), во втором – Крусаз (Crousaz)) (1805–1868), племянница Ф.С. Лагарпа (дочь его брата Жан Марка Луи де Лагарпа (1766–1810)).

750 Бонапарт (Bonaparte) Жозеф (Иосиф) (1768–1844) – брат Наполеона I; король Испании (1808–1813) под именем Иосифа (Хосе) I Наполеона.

751 *...Plon-plon...* – Наполеон Жозеф Шарль Поль Бонапарт (Bonaparte) (1822–1891), принц Франции, двоюродный брат Наполеона III; с 1879 г. глава рода Бонапартов. Носил прозвище «Plon-plon» (от его детского прозвания «Plom-Plom»).

752 В рукописи добавлено: «...и моего темного и незвучного имени» (ФС. Д. 12. Л. 102 об.)

753 В рукописи добавлено: «...и неприятное поражение от него слишком щекотливому моему самолюбию» (ФС. Д. 12. Л. 102 об.)

754 Меттерних-Виннебург (Metternich-Winneburg), фон, Клеменс Венцель Лотар – (1773–1859) – князь, австрийский дипломат, министр иностранных дел (1809–1821), канцлер Австрии (1821–1848).

755 *Предлагаю здесь характеристику... деятельности Лагарпа... писателя Цшокке...* – В рукописи этот абзац звучит иначе: «Предполагался здесь очерк воспитательной и отчасти политической деятельности Лагарпа, взятый из собственных его мемуаров, написанных им для другого знаменитого швейцарского писателя Цшоке в начале XIX столетия; но собранный сырой материал остался не разработанным» (ФС. Д. 12. Л. 102 об.–103) и отсутствует следующий за ним очерк (С. 238–244). (до фразы *«Мирно проводил я и весело...»*). Можно предполагать, что этот очерк деятельности Лагарпа был вставлен в текст публикации из черновых переводов Д.Н. Свербеева уже его дочерью, С.Д. Свербеевой. Возможно, мемуары Лагарпа были обработаны Свербеевым позже, чем сделана данная копия его «Записок».

Имеются в виду мемуары Лагарпа: Mémoires de Frédéric-César Laharpe concernant sa conduite comme directeur de la République helvetique, adresses pas lui meme a Zschokke... Paris; Geneve, 1864. Фрагменты из них были опубликованы П.И. Бартеневым под заглавием; Ф.Ц. Лагарп в России (из записок) // РА. 1866. Вып. 1. Стб. 75–94. В «Моих записках» Свербеев цитирует свой собственный перевод, не совпадающий с публикацией в «Русском архиве».

Цшокке (Zschokke) Генрих (1771–1848) – немецкий и швейцарский писатель-просветитель, историк, журналист.

756 *...(Saussure)*. – Орас Бенедикт Соссюр (Saussure) де (1740–1799) – швейцарский геолог, ботаник; ректор Женевской академии (1774–1776), автор проектов педагогических реформ.

757 Лагарп (La Harpe) Амедей де (1754–1796) – член Совета двухсот в Лозанне (1780–1791); с 1791 г. на службе Франции: бригадный генерал (с 1793 г.); генерал-майор итальянской армии (1795); двоюродный брат Ф.С. Лагарпа.

[758] Гримм (Grimm) Фридрих Мельхиор (1723–1807) – барон, немецкий публицист, критик и дипломат; корреспондент Екатерины II.

[759] *...особливо в Плутархе... находил себе утешение. Арат, Филопемен, Брут, Демосфен, Цицерон...* – Упомянуты: Плутарх (ок. 45 – ок. 127) древнегреческий писатель и историк, автор «Сравнительных жизнеописаний» выдающихся греков и римлян; Арат из Сикиона (271–213 до н. э.), руководитель Ахейского союза в Древней Греции; Филопемен (253–183 до н. э.), древнегреческий полководец, стратег Ахейского союза; Марк Юний Брут (85–42 до н. э.), в Древнем Риме глава заговора против Юлия Цезаря, один из руководителей республиканцев в борьбе со вторым триумвиратом; Демосфен (ок. 384–322 до н. э.), афинский оратор, глава демократической антимакедонской группировки; о Цицероне см. примеч. 189 к т. I.

[760] *...истории Стюартов, сочинениям Локка, Мабли, ... Гиббона и посмертным мемуарам Дюкло...* – Упомянуты: Джон Локк (Locke) (1632–1704) – английский философ, основатель либерализма; Габриель Бонно де Мабли (Mably) (1709–1785) – французский просветитель, автор трудов по международному праву, социально-политическим вопросам и истории; Эдуард Гиббон (Gibbon) (1737–1794), английский историк, автор трудов по истории Рима и Византии с конца II в. до 1453 г. и Шарль Пино Дюкло (Duclos) (1704–1772), французский историк, автор мемуаров, напечатанных в 1791 г.; а также, очевидно, труд «История Великобритании при доме Стюартов» (1759) шотландского философа и историка Дэвида Юма (Hume) (1711–1776).

[761] *Бернского Совета 200...* – Совет двухсот (или Большой совет) – выборный орган управления Бернского кантона.

[762] *Ландаман Мюлин старший и другие... передали свои жалобы русскому министру...* – Вероятно, имеется в виду Альбрехт фон Мюлинен (Mülinen) (1732–1807), швейцарский политический деятель, председатель бернского Военного совета (в 1790-е годы), позднее председатель Исполнительного совета (с 1802 г.). Русским министром Лагарп, очевидно, называет русского посланника при французских принцах (братьях короля Людовика XVI) – Н.П. Румянцева, пребывавшего тогда в Кобленце.

[763] *Граф Эстергази, министр немецких принцев, владетельный принц Нассау Зигель...* – Валентин Ладислав Эстерхази (Эстергази) (Esterházy) (1740–1805), граф, венгр, служил во французской армии, представлял интересы французской эмиграции после революции (в том числе в России). Здесь ошибочно назван «министром немецких принцев» (имеются в виду, очевидно, принцы французские (братья Людовика XVI), покинувшие родину). Карл Генрих Нассау-Зиген (Nassau-Siegen) (1745–1808), французский принц, в 1788–1794 гг. адмирал на русской службе; в 1789 г. был в Кобленце, помогая средствами французским эмигрантам.

[764] Карл X (граф д'Артуа) (1757–1836) – король Франции (1824–1830); до 1824 г. – граф д'Артуа, брат Людовика XVIII; был известен своими ультрароялистскими взглядами. Приезжал в Петербург в марте–апреле 1793 г.

[765] *Барон де Ролль...* – Очевидно, Франц Йозеф фон Ролль (Roll) (1743–1815), бригадный генерал полка швейцарской гвардии во Франции (1788–1792); член Большого совета Золотурна (1765–1798, 1803–1814).

[766] *...моих... родителей...* – Это капитан Сигизмунд Рудольф Фредерик Лагарп (La Harpe) (1723–1796) и его жена София Доротея (урожд. Кринсоз (Crinsoz)) (1731–?).

[767] *9 мая 1795 г. и марта 1802 года... слезы навертываются у меня на глазах...* – В публикации мемуаров Лагарпа в «Русском архиве» здесь фигурируют даты: 9 мая 1795 г. и 8 мая 1802 гг., о чем замечено: «Лагарп разумеет дни разлук своих с императором Александром в первый и во второй свой приезд в Россию (см. ниже)» (РА. 1866. Вып. 1. Стб. 92). Далее в мемуарах Лагарп коротко пишет о своем визите в Россию в 1801–1802 гг., что делает обоснованным подобный комментарий.

[768] Квинт Гораций Флакк (65 – 8 до н.э.) – древнеримский поэт.

МОИ ЗАПИСКИ

ТОМ II

[1] *...горестная судьба Парижа.* – Имеется в виду вооруженное восстание, получившее название Парижской коммуны (18 марта – 28 мая 1871 г.).

[2] *...как уже было сказано, поручил я... все мои дела...* – Вместо этой фразы в рукописи дано подробнее: «...я лишился в Михайловском очень дельного управляющего Ильи Шилова. Он умер почти скоропостижно, пропьянствовав более суток на свадьбе своей дочери и моей крестницы. На ней, отпущенной конечно на волю, женился вышедший из тульской семинарии студент, Федор Мансуров, за которым по старине зачислено было лет более пяти священническое место в Михайловском его отца. Этот о. Федор пробыл довольно долго нашим сельским пастырем, и не женись он на девушке из помещичьей дворни, на женщине развратной и пьяной, был бы он вполне хорошим священником. С ним, как и с его тестем, да если не ошибаюсь, и с его женой случилось то же: все они преждевременно перемерли от сивухи. Мне нужно было заменить Шилова в Михайловском и я поручил управление оным, а равно и все мои дела, мужу моей побочной сестры...» (ФС. Д. 12. Л. 105 об. – 106).

[3] *... Шиллера и Кернера...* – Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер (Schiller) (1759–1805), немецкий поэт, философ, историк, драматург; Юстиниус Андреас Кристиан Кернер (Kerner) (1786–1862), немецкий поэт, писатель, медик.

[4] *Гимн Жуковского... не был переложен Львовым...* – Имеется в виду гимн «Боже, царя храни...» («Молитва русских»), написанный В.А. Жуковским и исполнявшийся с 1816 г. на мотив английского гимна. В 1833 г. текст был несколько переделан автором и стал исполняться на музыку композитора Алексея Федоровича Львова (1798–1870), директора Императорский певческой капеллы (1837–1861).

[5] *...в итальянском походе в войсках Наполеона еще до его консульства...* – Поход в итальянские земли армии Французской республики под командованием генерала Наполеона Бонапарта в 1796–1797 гг. Консулом генерал Бонапарт стал в 1799 г.

[6] *...участвовал и в египетской экспедиции...* – Речь идет о походе французской армии с целью завоевания Египта (1798–1801).

[7] Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) Шарль Морис де (1754–1838), князь Беневентский (1806–1815), герцог Дино (с 1817 г.); французский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел (1797–1807, 1814–1815), премьер-министр Франции (1815).

[8] *...барона de Puget...* – Имеется в виду Du Pujet, барон, наставник сыновей Павла I (в 1797–1806 гг.), преподававший им всеобщую историю и географию.

[9] Жомини (Jomini) Антуан Анри (Генрих Вениаминович) (1779–1869) – барон, швейцарец, военный теоретик и писатель. Служил в армиях Швейцарии (1798–1804), Франции (1804–1813), а затем России; в России – генерал от инфантерии (с 1826 г.), преподаватель стратегии цесаревича Александра (с 1837 г.).

[10] Дегуров (Дюгуров) (Du Gour) Антон Антонович (1765–1849) – француз по происхождению, профессор всеобщей истории, географии и статистики Харьковского университета (1806–1816), с 1816 г. профессор, затем ректор Санкт-Петербургского университета (1825–1836).

[11] *...лон-кучера...* – наемного кучера (lohn-кучер) (*нем.*)

[12] Бетман (Bethmann) Симон Мориц фон (1768–1826) – немецкий банкир, дипломат, филантроп.

[13] Даннкер (Данекер) (Dannecker) Иоганн Генрих фон (1758–1841), немецкий скульптор.

[14] *...барона Анштеда...* – Иоганн Протасий (Иван Осипович) Анштет (Anstett) (Анштетт, Анстет) (1766–1835), барон, с 1789 г. на русской службе; чрезвычайный посланник и полномочный министр при Германском союзе (1815–1835).

[15] *...грамоту папы на латинском языке, тайно им присланную из своего заточения...* – Пий VII (1742–1823), папа Римский с 1800 г., был заключен императором Наполеоном I в 1809 г. сначала в Савону, а затем, с 1812 г. в Фонтенбло. Считалось, что пребывание папы в Фотенбло – это не заключение, а пребывание в гостях у императора Франции.

[16] В рукописи добавлены имена: «его гости были: только что женившийся в Петербурге князь Эспер Белосельский, а супруга его была урожденная Бибикова, падчерица первого впоследствии шефа жандармов Бенкендорфа» (ФС. Д. 12. Л. 110 об.). Упомянутая супружеская пара – Белосельские-Белозерские: Эспер Александрович (1802–1846), князь, генерал-майор (с 1843 г.) и его жена с 1831 г. Елена Павловна (урожд. Бибикова, во втором браке Кочубей) (1812–1888), княгиня, падчерица А.Х. Бенкендорфа, в старости статс-дама, обер-гофмейстерина. Очевидно, это эпизод из более позднего путешествия мемуариста в начале 1830-х годов.

[17] Маркелов Иван Иванович (1799 – после 1857) – чиновник миссии при Германском союзе (1819–1839), камергер (с 1840 г.), чиновник особых поручений при вице-канцлере (с 1839 г.).

[18] В рукописи Свербеев называет знакомого: «Белосельскому» (ФС. Д. 12. Л. 110 об.).

[19] Мария Павловна (1786–1859) – великая княгиня, дочь императора Павла I; супруга наследного принца (с 1828 г. – короля) Саксен-Веймарского и Эйзенахского.

[20] Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий поэт, прозаик и мыслитель.

[21] *...под Новинским.* – Новинский Введенский монастырь в Москве у реки Пресни, упраздненный в 1764 г., возле которого проходили народные пасхальные гулянья.

[22] *...в Мейсене знаменитую фарфоровую фабрику.* – Речь идет о первом европейском фарфоровом заводе, основанном в 1710 г. в Саксонии, в городе Мейсен (Майсен).

[23] Фридрих-Август I (1750–1827) – курфюрст Саксонский (как Фридрих-Август III) (до 1806 г.), затем – первый король Саксонии (с 1807 г.); герцог Варшавский (1807–1815).

[24] Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778–1845) – генерал-адъютант (1813); посланник при вестфальском дворе (1809–1812), генерал-губернатор королевства Саксонии (1813–1814); военный губернатор Малороссии (1816–1835).

[25] Дрезденская картинная галерея – одна из крупнейших в мире коллекций живописи. Основана в 1560 г. как дворцовое собрание саксонских курфюрстов. Существенно расширена в 1722 г.

[26] *...дрезденскую «Мадонну», «Ночь» Корреджио и картину Спасителя с монетой...* – Полотна итальянских художников эпохи Возрождения из Дрезденской галереи: «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти (1483–1520); «Святая ночь» Антонио Аллегри да Корреджо (ок. 1489–1534) и «Динарий Кесаря» Тициана Вечеллио (ок. 1480–1576).

[27] В рукописи добавлено: «В позднее мое путешествие напрасно приглашал я моих спутниц побывать in Grüne Gewölbe [в Музее художественной промышленности, досл.: в Зеленой кладовой (*нем.*)], также сохранившемся в моей памяти по своему богатству и разным вещам, драгоценным для русского чувства, как памятники нашего Великого Петра. Он был верным другом и собутыльником саксонского курфирста и вместе польского короля, Августа» (ФС. Д. 12. Л. 111 об.).

Упомянутый друг Петра I – Август Сильный (Фридрих Август I Саксонский, Август II Польский) (1670–1733), курфюрст Саксонии (с 1694 г.), король Речи Посполитой (1697–1704, 1709–1733), союзник Петра I в Северной войне против Швеции.

[28] Ханыков Василий Васильевич (1759–1829) – чрезвычайный посланник и полномочный министр при Саксонском дворе (1802–1829), при дворах Ганноверском, Гессен-Кассельском, Веймарском, Мекленбургском и Ольденбургском (1815–1829).

[29] *...моего Николеньки...* – Старший сын Д.Н. Свербеева, Николай Дмитриевич Свербеев (1829–1860), надворный советник, чиновник особых поручений при Якутском областном правлении (с 1851 г.), участник экспедиций Н.Н. Муравьева-Амурского; муж З.С. Трубецкой (с 1856 г.).

[30] *...на Краков, столицу республики...* – Краковская республика была образована в 1815 г. решением Венского конгресса. В 1846 г. она была присоединена к Австрии.

[31] *В его соборе...* – Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава в замке Вавель в Кракове (XIV в.).

[32] *...Яна Собиесского, Костюшки, архиепископа Солтыка...* – Ян III Собеский (Sobieski) (1629–1696), король Речи Посполитой (с 1674 г.); Тадеуш Костюшко (1746–1817), польский политический и военный деятель, руководитель польского восстания 1794 г.; Солтык Каэтан (1715 – 1778), краковский епископ, один из идеологов польского национального движения во второй половине XVIII в., выступавший против российской экспансии.

[33] *...нашего резидента, какого-то поляка из Варшавы ...* – Станислав Костка Заржецкий (Zarzecki) (1770–1853), президент (с 1810 г.), а затем сенатор вольного города Кракова (до 1817 г.); русский резидент и генеральный консул в Кракове (1817–1835).

[34] Рикард (Рикар) Иосиф Иосифович (1795 (1797)–1861) – секретарь генерального консульства в Кракове (1818–1834), начальник отделений в Департаменте внутрен-

них сношений (1836–1859); управляющий Санкт-Петербургским главным архивом Министерства иностранных дел (1859–1861).

[35] В рукописи добавлено: «Добыча соли в этом месте есть одна из непоследних регалий австрийской короны. Соляные копи производятся в обширной и значительной глубине земли, в них большое число работников день и ночь работают при свете факелов, спускаясь туда вниз по страшно крутым лестницам, ступени коих высечены из соляной, твердой, как камень, скалы. Любопытных опускают в корзинах, надевая на них холщевые мешки и капюшоны, чтобы предохранить от неминуемой порчи всякой одежды. В одном из этажей этого углубления останавливают путешественника в церкви; в ней все устроено из соли: католический престол, лавки, подсвечники и огромные паникадилы, которые готовы засветить для каждого тароватого посетителя. Отсюда спускаетесь вы еще глубже в самый нижний этаж и там находите довольно обширный пруд из соляной воды. Подземное это путешествие нагоняет невольный страх: ну как обломится блок, или оборвется канат корзины, в которой вы спускаетесь в такую страшную, неведомую вам глубь! Нечто подобное, но, конечно, не настолько, ощущают нервные богомольцы в наших киевских пещерах. Я привел это не совсем верное сравнение скорее потому, что, посетив соляные величковские копи, через несколько дней побывал и в святых пещерах» (ФС. Д. 12. Л. 113 – 113 об.)

[36] *...через Лемберг, или вожделенный наш Львов...* – Город Львов назывался Лембергом с 1772 по 1918 г., когда входил в состав Австрии и Австро-Венгрии.

[37] *...от богатого в то время униатского монастыря, превращенного в конце 30-х годов в православную Почаевскую лавру...* – Почаевская лавра – один из старейших православных религиозных центров на территории Западной Украины. Основана в середине XIII в. С 1720-х годов стала греко-католическим (униатским) монастырем, а после подавления Польского восстания 1831 г. была возвращена православной церкви и получила статус лавры.

[38] В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 17.

[39] В рукописи добавлено: «скажу, человечнее нашего» (ФС. Д. 12. Л. 114 об.).

[40] Желтухин Петр Федорович (1777–1829) – генерал-лейтенант; киевский военный губернатор (1827–1829), полномочный председатель диванов княжеств Молдавии и Валахии (1828–1829). Свербеев ошибается, называя его в 1822 г. киевским генерал-губернатором. С 1821 по 1823 г он был начальником штаба гвардейского корпуса. В 1822 г. в Киеве губернаторствовали И.Я. Бухарин и И.Г. Ковалев.

[41] Аракчеев Петр Андреевич (1780–1841) – генерал-майор (1816), флигель-адъютант императора Александра I, второй комендант Киева (1812–1829); брат Алексея Андреевича Аракчеева.

[42] *...его женою...* – Женой П.А. Аракчеева с 1805 г. была княжна Наталья Ивановна Девлеткильдеева (1785–1849).

[43] *... он был гораздо моложе...* – Очевидно, описка. В.С. Норов был старше брата на два года. Возможно, имелось в виду «старше», закономерно предваряющее эпитеты «основательнее, сдержаннее... умнее».

[44] *...был сильно оскорблен на каком-то параде запальчивым своим дивизионным генералом.* – В рукописи Свербеев указывает имя генерала: «в. к. Николаем Павловичем» (ФС. Д. 12. Л. 115). Этот инцидент произошел в марте 1822 г. В.С. Норов

будучи капитаном гвардии, за «непозволительный поступок против начальства» по Высочайшему приказу был выписан из гвардии в 18 егерской полк с содержанием под арестом 6 месяцев; 9 октября 1823 г. «всемилостивейше» прощен, произведен в подполковники и назначен в пехотный принца Вильгельма Прусского полк, уволен от службы в 1825 г. (об этом конфликте см. также: *Завалишин Д.И.* Записки декабриста... Мюнхен, 1904. С. 43–44).

[45] *...Девлет-Кильдеева («Татарщина, батюшка, таращина! – сказал бы Сандунов, – какие это князья!»)...* – Свербеев вспоминает пренебрежительное отношение своего университетского преподавателя Сандунова к татарским княжеским родам (см. С. 69 наст. изд.). Род Девлеткильдеевых, утвержденный Сенатом в достоинстве князей татарских, ведет свое начало от татарского мурзы Бойбарса Девлеткильдеева, жалованного на Руси в конце XVI в. поместьями за службу.

[46] *...ее сестра полковница Батурина с мужем...* – Имеются в виду: Маргарита Ивановна Батурина (урожд. кнж. Девлеткильдеева) (1797–1849) и ее муж Сергей Герасимович Батурин (1789–1856), полковник (с 1819 г.), затем – генерал-лейтенант (1837), сенатор (с 1849 г.).

[47] *...именем нынешнего министра государственных имуществ...* – Александр Алексеевич Зеленой (1818–1880), генерал от инфантерии (1869), министр государственных имуществ (1862–1872).

[48] *...вывезенных им из Египта.* – Имеется в виду участие швейцарца в Египетском походе Наполеона.

[49] В рукописи добавлено: «что непременно сделала какая-нибудь А.О. С.» (ФС. Д. 12. Л. 116 об.). Возможно, подразумевается Александра Осиповна Смирнова (урожд. Россет) (1809–1882), фрейлина, писательница.

[50] *В городе Нежине, где с елизаветинских времен поселились греки...* – Греческая колония в Нежине возникает во второй половине XVII в., когда украинский гетман Богдан Хмельницкий стал предоставлять грекам различные льготы. При Мазепе греки образовали «греческое церковное братство». Дарованные гетманами льготы греки сохранили и при введении, при Екатерине II, Городового положения.

[51] В рукописи добавлено: «и о всех его со мной проделках» (ФС. Д. 12. Л. 117). Об А.А. Глазунове см. с. 92.

[52] Красовский Афанасий Иванович (1781–1843), генерал-майор (с 1814 г.), генерал-адъютант (1831), генерал от инфантерии (1841). Он был женат на Дарье Андреевне Глазуновой (1805–1855).

[53] *...«Ou nous après vous!»... «Cet été nous sommes alles sur les siens dans le Crimée»...* – Фразы представляют собой буквальный, дословный перевод русских фразеологических оборотов, что и вызвало недоумение Свербеева.

[54] *...«Мы ездили... на своих, т.е. на долгих».* – Дорожная езда была в России быстрой только на почтовых лошадях, которых меняли на каждой станции и тут же продолжали путь. Путешествие на своих лошадях, которым нужно было давать отдых, называлось «ехать на дóлгих».

[55] Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) – драматург, поэт, композитор; полномочный министр в Персии (1828–1829), автор комедии «Горе от ума» (1823–1828), фразу из которой цитирует Д.Н. Свербеев.

[56] В рукописи добавлено: «Отвечать на вопрос, какое пространство прошли мы со времен «Недоросля», от первой станции на пути умственного прогресса, до

«Ревизора», а потом от «Ревизора» до «Мертвых душ», до предстоящего нам последнего тридцатилетия до XX века – столь же трудно, как и дать ответ на шутливый вопрос, предлагаемый детям: сколько верст от Ростова до Рождества Христова?» (ФС. Д. 13. Л. 2).

[57] *...глава этого семейства Шеншиных...* – Шеншин Николай Иванович (ок. 1745–1826), статский советник (1793), московский вице-губернатор (1793–1797), обер-прокурор.

[58] Шеншин Владимир Николаевич (1781–1866) – участник Отечественной войны 1812 года; генерал-майор.

[59] Никитин Алексей Петрович (1777–1858) – граф (с 1847 г.), полковник (с 1808 г.); генерал-лейтенант (с 1826 г.); начальник артиллерии поселенных гренадерских полков (1827), начальник Украинских военных поселений (с 1839 г.).

[60] Воронцов-Вельяминов Николай Николаевич (1796–1863) – участник Отечественной войны 1812 года; корнет лейб-гвардии Подольского кирасирского полка, с 1821 г. – в отставке.

[61] В рукописи добавлено: «От Мценска до Михайловского было 80 верст. Кое-как дотащился я до богомерзкого Новосиля и ночевал в нем; наконец уже 10 ноября к ночи добрался я в Михайловское. Всю эту дорогу по грязи и холоду, начиная с Севска, еще за Орлом, оханья и вопли измученного моего швейцарца воздерживали во мне мои собственные вопияния» (ФС. Д. 13. Л. 4 об.).

[62] Скептические замечания об успехах в управлении крестьянами, сделанные мемуаристом, интересно сопоставить с восторженным письмом его А.М. Языкову, составленным в описываемое время (начало 1820-х годов). Д.Н. Свербеев подробно и часто писал другу о своих хлопотах по имению, в том числе описывая успехи в управлении: «В половине ноября приехал я к себе в Михайловское... Тотчас по приезде занялся я рассмотрением рекрутских очередей. Страшные беспорядки в имении моем по сей части заставили меня войти во все подробности. Сначала самым лучшим средством почел я предоставить исполнение сей повинности на выбор и волю самим крестьянам. Три раза сзывал их, говорил, что сего требует собственная их польза, и все напрасно; они непременно хотели, чтобы я самовластно решил все, и я увидел на самом деле неспособность их судить об общем деле. В таком положении находится большая половина народа русского. Нечего было делать – несколько дней занимался я составлением правил на сей случай, старался узнать все мелочные подробности, советовался с крестьянами, входил в положение каждого двора, назначил очереди, прочел им. Они нашли их самыми справедливыми. Наконец, составил общее учреждение (ты его увидишь), созвал опять крестьян, прочел и растолковал им оное. Труды мои наградились. Со слезами на глазах благодарили они меня от чистого сердца за то, что я несколько минут употребил на то, чего требует польза человечества и моя собственная. Я сказал, что желаю, чтобы они всегда руководствовались сими правилами, тем больше, что оставляю их надолго. Усердие их доставило мне самую приятную минуту в моей жизни. Они просили, чтобы я остался с ними или возвратился скоро... Вообрази, что прежде за одного порочного несколько лет стояла очередь на всем семействе, и часто случалось, что брат отдавался за вину брата...» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 211–213). Далее Д.Н. Свербеев пишет об успехах деревенской школы (см. примеч. 92 к т. II).

[63] Следующий далее обзор положения крепостных крестьян (с. 263–273) располагается в основном тексте рукописи несколько позже – вслед за описанием дворового Зиновия Ефимовича (с. 281) (см.: ФС. Д. 13. Л. 6. 21 об.)

[64] *Никак не могу в моих «Записках» отбояриться от отступлений и не сказать здесь несколько слов о бывшем крепостном состоянии в России.* – В рукописи эта фраза выглядит короче: «Никак не могу в моих “Записках” отбояриться от отступлений» (Там же. Л. 21 об.) и предваряет общие рассуждения Свербеева о свободе и рабстве, не вошедшие в публикацию. См. Фрагмент 18.

[65] В рукописи вместо первых двух слов фразы Свербеев называет имя княгини: «Княгиня Наталья Сергеевна Трубецкая, урожденная княжна Мещерская» (ФС. Д. 13. Л. 23). Это жена кн. И.Н. Трубецкого (ок. 1760–1843/44), Н.С. Трубецкая (урожд. кнж. Мещерская) (1775–1852).

[66] *...за известного в Москве разорившегося богача...* – В рукописи фраза звучит шире, называется и имя супруга: «за известного в Москве идиота, разорившегося по крайней глупости богача князя Ивана Николаевича Трубецкого» (ФС. Д. 13. Л. 23–23 об.).

[67] *...приобретателями были: один ...князь и другой – тоже князь, ...очень добрый.* – В рукописи Свербеев называет приобретателей и пишет о них несколько иначе: «Господами-приобретателями были: слишком известный не богатством, но зато высшей своей образованностью и авторитетом князь Петр Андр. Вяземский и другой очень богатый и очень добрый князь Дмитрий Петрович Волконский, отец которого светлейший фельдмаршал также дозволял своим рабам крестьянам покупать чужих рабов-крестьян» (ФС. Д. 13. Л. 24 об.).

Здесь имеются в виду: Д.П. Волконский, уже упоминавшийся Свербеевым муж М.П. Кикиной, владелец усадьбы Суханово, и его отец – генерал-фельдмаршал Петр Михайлович Волконский (см. примеч. 537, с. 823).

[68] В рукописи Свербеев называет имя родственницы: «княжна Щербатова» (ФС. Д. 13. Л. 25). Очевидно, речь идет о княжне Елизавете Дмитриевне Щербатовой, дальней родственнице жены мемуариста, владелице с. Васькино, Новоселки и др.

[69] *бурмистр* – староста, назначенный помещиком или управляющим для надзора за исполнением крестьянами повинностей, за порядком в вотчине.

[70] *...новым проявлением крепостничества...* – Случаи, когда богатые крепостные покупали вместо себя других крепостных, чтобы отдавать их вместо себя в рекруты, описывались и в других воспоминаниях. Например, у А.Я. Артынова: «Бывший работник моего отца крестьянин села Угодичи, Яков Яковлев Шпагин, сделавшись огородником в городе Тихвине, купил за свое семейство охотника в рекруты, которого должен был до сдачи кормить три года, как гостя. Два года прошли хорошо, а на третий купленный охотник стал невыносимо волен и груб и делал всевозможные буйства» (*Артынов А.Я.* Воспоминания крестьянина села Угодичи Ярославской губернии Ростовского уезда // Воспоминания русских крестьян XVIII – первой половины XIX века. М., 2006. С. 390).

[71] *...Можайского помещика князя Крапоткина...* – Возможно, имеется в виду князь Дмитрий Петрович Кропоткин (Крапоткин) (1801–1837), владелец усадьбы Спасское-Сивково и трех деревень в Можайском уезде, или его сыновья.

[72] В рукописи помета о дате и месте написания этой части «Моих записок»: «20 июня 1871 года, село Васильевское близ Костромы» (ФС. Д. 13. Л. 28).

[73] *...прочесть в одной из ...комедий гр. Сологуба ответ одного старосты сентиментальной помещице.* – Свербеев достаточно вольно пересказывает здесь начало комедии писателя и драматурга графа Владимира Александровича Соллогуба (1813–1882) – «Сотрудники, или чужим добром не наживешься» (1851).

[74] В рукописи фраза с обращением: «То есть как это по любви, ваше здоровье?» (ФС. Д. 13. Л. 30).

[75] *Да из чужих-то подавно никто за меня не пойдет.* – В рукописи этой фразы нет (ФС. Д. 13. 30 об.).

[76] *...имение моей жены... после раздела с родной сестрой.* – Речь идет о сестрах Щербатовых: Екатерине и Анне.

[77] В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 19.

[78] В рукописи добавлено: «...но при всем том русские помещики и в этом отношении гораздо менее преступны, чем древние римские и новейшие американские рабовладельцы» (ФС. Д. 13. Л. 33 об.).

[79] В рукописи продолжено: «У римлян, по мнению Колумеллы, для хозяина было важно естественное приращение рабов; Катон Старший и Варрон разделяли те же убеждения. Они считали нужным награждать плодородных рабынь или досугом, или свободой: это был у них вполне достаточный доход с рабыни. Такое хозяйственное воззрение римских плантаторов представляет разительное сходство с их собратьями по ремеслу в Южных Штатах Северной Америки. Замечания эти привожу из статьи Ешевского, прибавляя от себя, что хотя я и не скрываю и не буду скрывать в продолжение всего моего труда всех безнравственнных следствий нашей крепостной системы, но, не к крайнему моему удовольствию, должен прибавить здесь, что наши рабовладельцы, во многих случаях допуская многие противучеловеческие с рабами поступки, никогда не возводили их на степень принципа, столь неумолимого, сколько и возмутительного; от такого ужаса предохраняла нас наша христианская церковь. Продолжаю, взяв в руководство находящуюся у меня под рукой тут же статью Ешевского, сравнение наших рабов с римскими» (ФС. Д. 13. Л. 33 об.). Здесь названы древнеримские деятели: Луций Юний Модерат Колумелла (4 – ок. 70), писатель и агроном; Марк Порций Катон Старший (234–149 до н.э.), политик, оратор и писатель; и Марк Теренций Варрон (116–27 до н.э.), древнеримский ученый-энциклопедист и писатель. О С.В. Ешевском и его статье см. примеч. 1 к Фрагменту 18.

[80] *...на фабрику Лепешкина.* – Очевидно, имеется в виду купец-фабрикант из династии предпринимателей Лепешкиных. С 1820-х годов были известны: химические заводы Василия Логгиновича Лепешкина (1785–1840), перешедшие затем к его сыновьям, и текстильное производство его брата, Семена Логгиновича Лепешкина (1787–1855), унаследованное его сыновьями.

[81] В рукописи продолжено: «например, отец и мать бывшего головы, князя А.А. Щербатова, из села Литвинова в Верейском уезде, поставляя своих крестьян на бумажную фабрику в их соседстве гг. Скуратова и Лукина» (ФС. Д. 13. Л. 35–35 об.).

Здесь имеются в виду: князь Александр Алексеевич Щербатов (1829–1902), московский городской голова (1863–1869), его родители: Алексей Григорьевич

Щербатов (1776–1848), генерал от инфантерии, московский генерал-губернатор (1844–1848) и Софья Степановна (урожд. гр. Апраксина) (1798–1886), статс-дама, а также владельцы бумажной фабрики: гвардейский офицер Дмитрий Петрович Скуратов (1802–1885) и поручик Николай Дмитриевич Лукин.

Нужно заметить, что из двух бумагопрядильных фабрик «Скуратова и К°» в Верейском уезде одна принадлежала на паях и князю Щербатову.

[82] В рукописи продолжено: «...и как бы подтверждалось то понятие римлян, что никакая власть в мире, ниже власти кесарей, не может лишить господина прав его породы» (ФС. Д. 13. Л. 36 об.)

[83] В рукописи продолжено: «Римские рабы, как и у нас, разделялись на два отдела: сельских работников, которые известны были у древних под названием familia rustica [сельская семья (*лат.*)], и рабов, составлявших прислугу господина, последние назывались familia urbana [городская семья (*лат.*)]. Наша барская дворня, к которой принадлежала и вся помещичья личная прислуга, не может назваться, как у римлян, городской, потому что большей частью наши дворовые живали не в городе, а при сельском хозяйстве владельцев. Я уже прежде высказал почти все, что имел передать в моих «Записках» о деревенском населении моего Михайловского, и начал было повествовать о моей тамошней дворне, как неожиданно попавшаяся мне в руки статья Ешевского отвлекла меня от моего предмета и навела меня на мысль сопоставить наше крепостничество с древним рабством у римлян. Familia urbana, по статье Ешевского, начиналась от привратника, прикованного на цепи к входу дома, до медика, философа, педагога и артиста.

У древних не было отрасли искусства, знания или промысла, которая бы не разрабатывалась рабами, почти то же самое встречалось и у нас...») (ФС. Д. 13. Л. 37–37 об.). Далее в рукописи следует обзор крепостного искусства, помещенный в публикации ниже – с. 281–282 наст. изд. (со слов: «В каждой дворне сколько-нибудь...») (см.: ФС. Д. 13. Л. 37 об. и далее).

[84] *...после Петровок...* – Праздник святых Петра и Павла, отмечаемый 29 июня (по ст. ст.) / 12 июля (по н. ст.).

[85] *...от Троицы.* – От Троице-Сергиевой лавры.

[86] В рукописи следует большой фрагмент о Новосильском крае, не вошедший в публикацию. См. Фрагмент 20.

[87] В рукописи следует продолжение о селе Михайловском. См. Фрагмент 21.

[88] В рукописи продолжено: «Чтобы доказать здесь всю беспорядочность владений до этого первого раздела земель, стоит только указать, что до раздела Хаутов или Фаустов Верх (большие луга) под самой Раевкой был в нашем, а Верх Сольников, где колодезь и господская пасека, близ Никольского, был в Хилковском владении» (ФС. Д. 13. Л. 14 об.).

[89] В рукописи продолжено: «Распущенные до безобразия прежним своим владельцем оброчные хилковские крестьяне жаловались постоянно, что мы таким разделом как их, так и самого их помещика разобидели, что землями мы их обездолили. Такие несправедливые на нас жалобы долго имели влияние и на князя Дмитрия Хилкова, приехавшего еще в 1817 году, при жизни своего отца, сперва осмотреть, а потом и взять в управление их Михайловское. Наконец, хотя и очень поздно, князь Дмитрий убедился, что мы совершенно правы» (ФС. Д. 13. Л. 14 об.–15).

[90] В рукописи следует продолжение о земельных владениях Свербеевых и их соседей. См. Фрагмент 22.

[91] *...Ланкастера и Беля...* – Английские педагоги Джозеф Ланкастер (Lancaster) (1778–1838) и Эндрю Белл (Bell) (1753–1832), разработавшие в начале XIX в. систему взаимного обучения, популярную в России с конца 1810-х годов.

[92] Здесь уместно привести восторженные впечатления от успехов деревенской школы из письма Д.Н. Свербеева к А.М. Языкову в том самом 1821 г., о котором вспоминает мемуарист: «Я увижу Песталоцци не для того только, чтобы советоваться с ним, но и поблагодарить за спасительное изобретение, им усовершенствованное. Школа моя учредилась недели две и превзошла все мои ожидания. Несмотря на многие недостатки, напр[имер] малая опытность Филиппа, теснота в школе и всего больше трудность приучить мальчиков к методе, особливо полуученых и взрослых; в это короткое время совершенно не знавшие пишут и читают не только азбуку, но и начали склады. У меня только 12 человек, летом будет около 50. Свободное время я просиживаю у них и всегда удивляюсь совершенству сей методы. Всего более поражает охота всех мальчиков; они делают свое дело, не думая, что учатся, и так охотно, как бы играли…» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 213–214). Любопытно, что в письме Д.Н. Свербеев упоминает метод преподавания Песталоцци, а не Ланкастера.

[93] В рукописи продолжено: «Есть ли какая-нибудь польза от такой роскоши знания. Кажется, можно бы было обойтись без употребления отечеств, а между тем не знать их часто бывает в общежитии очень неловко; называть по фамилии считается у нас неучтивым; к тому же мы не усвоили себе в разговорном языке употребляемых всеми народами слов: monsieur, herr и пр., даже славянского пан и подобных тому женских; затрудняемся как говорить с лицами, не довольно нам известными, тем более писать к ним или говорить о них в их присутствии. Мелочный, но очень неловкий недостаток в нашем общежитии. Извините за отступление, пришлось к слову: мое грамматическое ухо коробится всякий раз, когда слышит употребляемое многими по неволе слово: "они", указывающее одно лицо и особливо женское» (ФС. Д. 13. Л. 17 об.).

[94] *...сотских, заседателей, исправников, а потом и становых...* – Сотский – крестьянин, выбранный от 100 дворов для исполнения первичных полицейских функций; исправник – глава уездной полиции в России, в его подчинении состояли 2–3 заседателя от сословий и выборные от крестьян сотские; становой – должностное лицо в полиции, введенное в 1837 г. и отвечающее за порядок в «стане», т.е. на определенной территории.

[95] *...титл...* – знак над строкой в древнерусской, церковнославянской, греческой письменности, указывающий на сокращение (пропуск) в слове буквы или нескольких букв.

[96] *«ерофеич»* – спиртовой настой сбора целебных трав. По одной из версий, рецепт принадлежал лекарю Ерофеичу, который вылечил им графа А.Г. Орлова.

[97] *...при его сестрах...* – Очевидно, Хилковы: Вера Александровна (в замуж. кн. Хованская) (ок. 1807–1843), Прасковья Александровна (в замуж. гр. Гендрикова) (1803–1843) и Надежда Александровна (1810–1879).

[98] *...гернгутерского толку...* – Гернгутеры (назв. от саксонского города Гернгут) – одно из направлений в протестантизме, берущее за основу вероучения эмоциональное переживание человеком мистического единства с Христом.

[99] В рукописи добавлено о Хилкове: «Он свято верил во все чудеса и убежден был, что они и в наше время совершаются повсюду, сплошь и рядом; только одни скептики их не признают; почему и всякое сверхъестественное явление скрывается от них как просветленными, добрыми, так и темными, злыми духами. Темные духи, по выражению мистиков, оставляют скептиков неверующими в существование духовного мира как людей, уже обреченных вечной погибели, погруженных во зло. Добрые духи сокрушаются, плачут о неверии скептиков, постоянно борются с всеотрицающим их умом и ожидают таинственного наития на погибших благодати» (ФС. Д. 13. Л. 20 об.).

[100] В рукописи продолжено: «Не знаю, кто из приятелей моих, мистиков, Хилков ли или Иван Киреевский, передал мне довольно странное и в то же время не недостойное внимания положение, “что вера в вечное спасение не может существовать без веры в существование духа злобы, исконного врага рода человеческого, одним словом без веры в черта”. Отец лжи и всякого лукавства, сатана, дабы подкопать христианство в самом его основании, пользуется прогрессом цивилизации, уничтожая в людях просвещенных веру в себя и в его всесильную власть. Кто не верит в черта, говорят такие мистики, не верует и в Бога, и вслед за тем объясняют, что духи злобы на протестантов-рационалистов не действуют как им совершенно не нужные и что по недостатку в них истинной веры никакие благие чудеса в среде их совершаться не могут» (ФС. Д. 13. Л. 21–21 об.).

[101] *...графа Шереметьева...* – Очевидно, граф Николай Петрович Шереметев (1751–1809), обер-камергер, сенатор, владелец и устроитель крепостного театра.

[102] *...как Ефрем, прославленный эпиграммой И.И. Дмитриева...* – Свербеев отсылает читателей к стихотворению И.И. Дмитриева «Надпись к портрету» (1791) («Глядите: вот Ефрем, домовый наш маляр! / Он в списываньи лиц имел чудесный дар, / И кисть его всегда над смертными играла: / Архипа – Сидором, Кузьму – Лукой писала»).

[103] *Отставной министр князь Куракин...* – Алексей Борисович Куракин.

[104] *Граф Каменский, сын фельдмаршала...* – Граф Сергей Михайлович Каменский (1771–1835), генерал от инфантерии, основатель театра в г. Орле (1815), и его отец: Михаил Федотович Каменский (1738–1809), граф (с 1797 г.) и генерал-фельдмаршал (с 1797 г.).

[105] Волькенштейн (Волкенштейн) Гаврила Семенович – граф, курский помещик.

[106] Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) – русский актер, крепостной до 1822 г., был выкуплен у помещика его друзьями (для сбора средств была объявлена подписка). С 1823 г. актер Малого театра в Москве.

[107] В рукописи добавлено: «У помещиков более прихотливых и знатных были свои труппы комические, оперные и балетные» (ФС. Д. 13. Л. 38 об.).

[108] *...берейторы...* – учителя, обучающие верховой езде или объезжающие лошадь для верховой езды.

[109] *У московского вельможи...* – Эта фраза в рукописи дополнена пояснением: «У последнего московского вельможи (будь сказано не в обиду нынешнему неудачному с него снимку кн. Ник. Ив. Трубецкому)» (ФС. Д. 13. Л. 39). Об Н.И. Трубецком, управляющем Московской дворцовой конторой, см. примеч. 315 к т. I.

[110] *...старушка Мятлева, дочь фельдмаршала Салтыкова...* – Мятлева (урожд. гр. Салтыкова) Прасковья Ивановна (1769–1859). Ее отцом был Иван Петрович

Салтыков (1730–1805), граф, генерал-фельдмаршал (с 1796 г.); московский военный губернатор (1797–1804).

[111] *Дворовым давалась на два года срочная одежда и обувь...* – В рукописи эта фраза значительно расширена: «Последнее сходство, находимое мной с городской римской семьей, familia urbana, с нашей дворней стоит замечания. У Катона Старшего определено до мелочей и количество пищи, и сроки для необходимой одежды: точь-в-точь, как у нас: раб по его предписанию получал хлеба по 1½ четверика зерном в месяц, – у нас именно те же самые два пуда муки; ему давалась на два года срочная одежда и обувь, – так же и у нас…» (ФС. Д. 13. Л. 39а).

[112] *...сорока тальками льняных ниток...* – Талька – старинная русская мера пряжи, равная примерно 3000 м ниток. Хорошая пряха в неделю выпрядала две-три тальки пряжи.

[113] В рукописи добавлено: «Марьей Михеевной» (ФС. Д. 13. Л. 39а).

[114] В рукописи продолжено: «У нас, да и везде признано теорией и практикой, что по возрастанию народонаселения можно судить о успехах народо-гражданственности. Собственный наш опыт доказывает, что ни одно из наших сословий не увеличивается и не размножается так быстро, как наше духовное сословие; а между тем всеми принято, что оно находится у нас под гнетом крайней бедности. Конечно, оно не пользуется достаточно теми благами жизни, которые могли бы прогрессивно подвинуть его соответственно их духовному и нравственному развитию. Но оно размножается, потому что всегда первые существенные нужды каждого человека за ним обеспечены. Наше духовенство, не перенося тяжких работ крестьян, никогда не умирает с голоду и, как бы плохо оно ни жило, пропитывается всегда лучше, чем крестьянин. То же самое было и с дворовыми, и вот почему оба эти класса сравнительно с другими так размножились. У них более, нежели в какой другой среде, господствовал совершеннейший застой; положим, что [он] мешал всякому ходу у тех и у других, но он же охранял их болотное существование.

На дне моей недоброй памяти хранится одно происшествие, так дурно расположившее меня на весь мой век к моей дворне. Кажется, я о нем не рассказывал. В первый мой приезд в Михайловское уже самостоятельным, хотя и 15-летним хозяином, по прошествии недели докладывает мне мой камердинер Charles-француз, что у меня нет чистого белья. Ежедневно встречая огромную женскую толпу барских барынь всякого рода, и баб, и девок, из коих каждая приставала ко мне в первые дни, чтобы я благоволил дать поцеловать ей мою барскую ручку, я приказал Шилову найти мне прачек, и на другой день все они явились гуртом просить меня с земными поклонами уволить их от новой, небывалой работы. Я рассердился до неистовства и насилу удержался от побоев, но с другого же дня привел их в порядок, предписав конторе, чтобы всем этим бабам с их детьми прекратить выдачу отвесного и месячины, т.е. поставить их на подножный корм; тем этот бабий бунт и кончился и уже никогда не возобновлялся. Вряд ли дворовые мои меня любили, но зато во сто раз более боялись, чем крестьяне» (ФС. Д. 13. Л. 40 об.–41 об.). Последний эпизод из своей молодости Свербеев уже упоминал в «Записках», но, что примечательно, в несколько ином тоне. Ср. с. 173 наст. изд.

[115] *...при прежнем помещике.* – В рукописи Свербеев называет имя помещика: «при старом князе Хилкове» (ФС. Д. 13. Л. 42 об.), имея в виду А.Я. Хилкова.

[116] *П.Н. Воронцов-Вельяминов был потомок одной из древнейших и знатнейших фамилий.* – Свербеев неточно указывает инициалы. Мужем Варвары Обресковой был Николай Николаевич Воронцов-Вельяминов. О древности этой фамилии говорит то, что основателем рода считается Протасий Вельяминов, обосновавшийся в Москве еще при первом московском князе Данииле Александровиче (1261–1303).

[117] *Его предок еще при Дмитрии Донском был тысяцким...* – Это Василий Васильевич Вельяминов (?–1374), последний московский тысяцкий, приближенный Дмитрия Донского.

[118] В рукописи следует продолжение о друзьях Свербеева. См. Фрагмент 23.

[119] В рукописи добавлено: «служба по поручениям представлялась мне набойством» [т.е. вынужденным отучением от застенчивости, приучением к бойкости] (ФС. Д. 13. Л. 46).

[120] *Курбатову я дал слово свезти его в Петербург и пожить там с ним вместе...* – Вместо этой фразы в рукописи следует текст, отсутствующий в публикации: «Кроме долгоруковского дома, часто бывал я у Львовых, у нашей кузины Обресковой, урожденной княжны Щербатовой, и у ее матери – княгини Варвары Петровны. Там были две молоденькие княжны: меньшая Екатерина, моя жена, и Анна Александровна, которая могла бы мне очень, даже слишком понравиться, могла бы, чего доброго, придержать меня в Москве, если бы не было против этого двух препятствий: сообщаю их по пунктам. 1-е: Она была уже незадолго перед этим невестой Нелединского, и эта свадьба почему-то разошлась, кажется, по нерешительности жениха связать себя по рукам и по ногам, чего, однако ж он не избежал; 2-е: По неотступной просьбе Курбатова, которого я дал слово свезти в Петербург и пожить там с ним вместе» (ФС. Д. 13. Л. 46). Здесь упомянуты среди прочих: С.А. Обрескова, жена двоюродного брата мемуариста (см. примеч. 409 к т. II) и Сергей (Гавриил) Юрьевич Нелединский-Мелецкий (1796–1871 (1870)), капитан в отставке; адъютант великого князя Константина Павловича (1820), в 1828 г. женившийся на М.С. Тиличеевой, несмотря на свою нерешительность.

[121] В рукописи добавлено: «и безобразием» (ФС. Д. 13. Л. 46 об.).

[122] В рукописи добавлено: «жесткий» (ФС. Д. 13. Л. 46 об.).

[123] *За табль-д'отом...* – Table d'hôte – общий стол, обычно в гостинице (см. примеч. к с. 189).

[124] Кларет – англ. claret, английское название красных французских вин.

[125] *...вместо... кислых щей...* – Речь идет о напитке наподобие кваса на основе солода, пшеничной и гречневой муки, дрожжей и сахара.

[126] *...первая... с ним встреча...* – Здесь стоит привести слова Д.Н. Свербеева, сказанные в письме к супруге вскоре после кончины А.С. Хомякова 8 октября 1860 г., подводящие итог почти 40-летнему знакомству: «Мне очень жаль Алексея Степановича, но не так жалею я его, как другие друзья. Я в нем уважал честного человека, каких мало не только знал, но и видел на всем белом свете. Несмотря на наше крайнее разногласие во многом, я не только уважал, но и горячо любил его и много боролся с собой, когда по непреклонным моим политическим и гражданским убеждениям год от году приходилось мне более и более с ним расходиться. Он был человек движения, увлекался другими, увлекая их прежде; это неизбежная грустная судьба всякого двигателя: каждый из них идет дальше, чем думает. Но Хомя-

кову все, и я первый, должны отдать ту справедливость, что увлечения его всегда были бескорыстны, безрасчетны во всех отношениях, а источник убеждений не только искренний, но и светлый. К тому же он преисполнен был какой-то детской, неземной любовью ко всем; эта черта его характера выражалась даже во всех его шутках, которыми он, судя о других по себе, иногда бессознательно раздражал противников. По свойствам сердца он почти всегда выказывался и был человеком не нашего времени и потому не понимал в других раздражения политического, этой чумы, заражающей теперь всех и каждого. От таких бурь спасало его детское его благодушие, так, как меня спасало и спасает от них одно преднамеренное удаление. В последнее время я решительно не мог выносить с ним борьбы мыслей, на которую он, по высокой простоте своего сердца, вызывал и меня. Да, он был человек честный по преимуществу; таких немного, почти нет между двигателями. Бог простит ему его увлечения, люди должны примириться в нем с ними, хотя бы и отвергали их. Мир его праху и вечная память за все добро, которое мечтал он сделать» (копия начала XX в. – РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 226).

[127] Перед этой фразой в рукописи стоит дата и место написания: «Солнышково 13 июля 1871 года» (ФС. Д. 13. Л. 47 об.).

[128] *...под Костромой на даче гостеприимного Карцева...* – Геннадий Васильевич Карцов (Карцев) (1826–1895), действительный статский советник, владелец усадьбы Васильевское под Костромой.

[129] *...помешала мне диктовать эти «Записки» тревога от постигшей внезапно этот город и его окрестности холеры.* – Эта фраза в рукописи расширена: «помешали мне диктовать эти “Записки” два обстоятельства: в 1-х, тревога от постигшей внезапно этот город и его окрестности холеры, во 2-х, лично претерпенное мною решительное поражение относительно тех существенных распоряжений, которыми я хотел закончить всю мою практическую на этом свете деятельность» (ФС. Д. 13. Л. 48). О последнем «обстоятельстве» см. след. примеч. и Фрагмент 24.

[130] В рукописи следует продолжение, посвященное семейным делам. См. Фрагмент 24.

[131] В рукописи добавлено: «и точки с запятой, – неумолимостью законов» (ФС. Д. 13. Л. 48 об.). Очевидно, речь идет о проблемах с завещанием Д.Н. Свербеева, о которых подробнее см. в примечании к Фрагменту 24.

[132] Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862) – граф; министр иностранных дел (1816–1856, до 1822 г. – фактически совместно с И.А. Каподистрия); государственный канцлер (с 1845 г.).

[133] Каподистрия (Capo d'Istria) Иоанн (Иван Антонович) (1776–1831) – граф; российский и греческий государственный деятель, статс-секретарь по иностранным делам, управляющий Министерством иностранных дел России (1816–1822), в 1827 г. уволен с российской службы; первый президент независимой Греции (1827–1831).

[134] *...по разномыслию с императором Александром относительно греческого восстания...* – Свербеев имеет в виду, что граф Каподистрия поддерживал освободительную борьбу греков, а Александр I, не желая втягивать Россию в конфликт, выступал за нейтралитет.

[135] *...о назначении меня в миссию.* – Коллежский секретарь Д.Н. Свербеев был назначен сотрудником швейцарской миссии в июне 1823 г. (АВПРИ. Ф. 168. Оп. 843/4. Д. 7).

[136] *...Зеербах и Хребтович...* – Имеются в виду дочери Нессельроде: Мария (1820–1888) (в замуж. гр. Зеебах) и Елена (в замуж. гр. Хрептович) (1813–1875).

[137] Северин (Сиверин) Дмитрий Петрович (1792–1865) – дипломат; поверенный в делах в Швейцарии (1826–1836), посланник Баварии (1837–1863); литератор.

[138] Матушевич (Матусевич) (Matusevich) Адам Фаддеевич (1796 (1791)–1842), граф, дипломат, посланник в Неаполе (1835–1837) и Швеции (1839–1842).

[139] Булгаков Александр Яковлевич (1781–1863) – почт-директор в Москве (1832–1856), сенатор, мемуарист. Свояк В.А. Обрескова (оба были женаты на сестрах Хованских).

[140] Булгаков Константин Яковлевич (1782–1835) – тайный советник (1826), почт-директор в Москве (1816–1819) и Петербурге (1819–1835); директор почтового департамента (с 1831 г.).

[141] *...к...И.Д. Поленову...* – Вероятно, это описка. В Коллегии иностранных дел в те годы служил только один Поленов – Василий Алексеевич (1776–1851), директор Хозяйственного департамента.

[142] *...выставил себя фофаном...* – т.е. дураком, шутом.

[143] *Иван Иванович Раевский, меньшой из трех сыновей...* – И.И. Раевский (1770-е (ок. 1768)–1850), офицер гвардии (получивший уже в годы своей службы при дворе «ветреное» прозванье «Зефир» за постоянное порхание из дома в дом или за танцы), и его братья: Михаил Иванович (ок. 1770–1832), секунд-ротмистр, участник взятия Измаила, георгиевский кавалер, и Артемий Иванович (ок. 1766 (1770)–1821), генерал-майор (1801). Братья были подробно описаны Екатериной Ивановной Раевской (урожд. Бибиковой) в воспоминаниях, хранящихся в РО ГЛМ (Ф. 155. Оп. 1. Д. 12) (*Раевский С.П.* Пять веков Раевских. М., 2005. С. 27–28).

[144] В рукописи добавлено: «... решительно ничтожен» (ФС. Д. 13. Л. 51 об.), и далее рассказывается еще один эпизод из биографии И.И. Раевского. См. Фрагмент 25.

[145] Щербатова (урожд. кнж. Оболенская) Варвара Петровна (1774–1843) – княгиня, помещица, мать Анны, Екатерины (в замуж. Свербеевой), Софьи (в замуж. Обресковой) и Федора Щербатовых, теща Д.Н. Свербеева.

[146] *...состояние, часть коего досталась двоюродному его внуку, женатому на Евреиновой.* – Это тезка Раевского-Зефира и его родственник по линии брата Артемия Иван Иванович Раевский (1835–1891), коллежский секретарь, помещик и общественный деятель Тульской губернии, знакомый Л.Н. Толстого. С 1870 г. он был женат на Елене Павловне Евреиновой (1838–1907).

[147] *...с чином гютенфервальтера...* – Чин гиттенфервальтера (от нем.: Huttenverwalter от Hutte – плавильня, и Verwalter – управляющий) давался горным чиновникам и соответствовал 10-му классу.

[148] В рукописи добавлено: «куда он поместился, не выучившись ничему в этом корпусе» (ФС. Д. 13. Л. 52 об.).

[149] *...Германа, Арсеньева и Галича...* – Карл Федорович (Карл Теодор) Герман (Hermann) (1767–1838), ординарный профессор статистики, декан историко-филологического факультета Петербургского университета (1819–1821), ординарный академик (с 1835 г.); Константин Иванович Арсеньев (1789–1865), географ и статистик, адъюнкт по кафедре географии и статистики Петербургского университета (1819–1821), преподаватель истории и статистики вел. кн. Александра

Николаевича; Александр Иванович Галич (наст. фам. Говоров) (1783–1848), философ, профессор Петербургского университета по кафедре истории философии (1819–1821).

[150] *...известным гонениям от Магницкого и Рунича.* – Устроенный в 1821 г. в Санкт-Петербургском университете процесс против профессоров, которые симпатизировали идеям европейского Просвещения. Инициатором гонений был Дмитрий Павлович Рунич (1778–1860), попечитель Санкт-Петербургского учебного округа (1821–1826); автор совместно с М.Л. Магницким проекта сурового цензурного устава (1826).

[151] *...книгу о философии – ту самую, за которую пострадал.* – Труд А.И. Галича «История философских систем» (В 2 ч. СПб., 1818–1819).

[152] В рукописи добавлено: «и нецеломудрием в одиночку» (ФС. Д. 13. Л. 53).

[153] В рукописи добавлено: «Муж и жена не долго ужились вместе. С двумя дочерьми долго оставалась она в чужих краях под особенным покровительством какого-то Зиновьева и в дружественных связях с генералом от революции Бакуниным» (ФС. Д. 13. Л. 53 об.) Здесь упомянут: Михаил Александрович Бакунин (1814–1876), революционер, один из основателей и теоретиков анархизма.

[154] Канкрин Егор Францевич (1774–1845) – граф (с 1829 г.), на русской службе с 1800 г.; министр финансов (1823–1844).

[155] В рукописи добавлено: «и к сожалению, величайшим охотником до крупных и мелких сплетен» (ФС. Д. 13. Л. 54).

[156] Шеппинг (Шепинг) (урожд. Языкова) Мария Петровна (1825–1875) – баронесса.

[157] Биланд (Биландт) (урожд. Языкова) Аделаида Петровна (1827 – после 1870) – графиня.

[158] В рукописи добавлено: «это единственная женщина из всех встреченных мною, которую умный и энергический муж обратил к честной правильной жизни, несмотря на то, что она вышла за него нехотя, а прежде замужества, живя в чужих домах без отца и без матери, вследствие легкомысленного воспитания, ею полученного, подвергалась различным неблагоприятным увлечениям» (ФС. Д. 13. Л. 54 об.).

[159] *Трое сыновей Петра Языкова переженились...* – Языковы: Василий (1829–1890), симбирский уездный предводитель дворянства (1866–1869, 1877) (женатый на княжне Прасковье Ивановне Гагариной (1829 – после 1895)); Александр (1831–1896), председатель Симбирской земской управы (1866, 1869–1871), гласный земской управы (1875–1889) и Симбирской городской думы (женатый на княжне Александре Ивановне Гагариной (1834–1886) и Григорий, отставной гвардии прапорщик (до 1858 г.).

[160] В рукописи добавлено: «и кажется, путаются» (ФС. Д. 13. Л. 54 об.).

[161] *... он [Н. М. Языков], за отсутствием братьев, жил месяца два со мною.* – В письмах Н.М. Языков упоминал об этом совместном проживании и о последующем переезде от Свербеева: «Я думаю, мне лучше теперь жить с братцем, нежели с Дмитрием Николаевичем; хотя это и будет подальше от института, но ему одному скучно» (*Языков Н.М.* Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 3).

[162] *...в Воейкову, родственницу Жуковского и жену профессора.* – Имеются в виду: Александра Андреевна Воейкова (урожд. Протасова) (1795–1829), племянница и крестница В.А. Жуковского и супруга поэта, издателя и литературного критика Александра Федоровича Воейкова (1779–1839), которому Жуковский помог получить место профессора русской словесности в Дерптском университете (1814).

[163] *...под кров Елагиных и Киреевских.* – Дом племянницы В.А. Жуковского А.П. Елагиной и ее сыновей И.В. и П.В. Киреевских был одним из самых гостеприимных домов Москвы. Долгие годы в нем был известный салон Елагиной.

[164] *...его поэтических проклятий западникам.* – Речь идет, в частности, о стихотворениях Н.М. Языкова «К не нашим», «К Чаадаеву» (1844), опубликованных лишь в 1871 г., а до того ходивших в списках.

Свербеев в мемуарах заметно идеализирует свои отношения с Н.М. Языковым. Ироничный Языков, как видно из его писем, далеко не во всем выказывал «уважение» своему другу и родственнику. А отношение Свербеева к «бранным» стихам на западников его, безусловно, раздражало. См. примеч. 16 к «Воспоминаниям об А.И. Герцене» (с. 840).

[165] *Г[осподин] В. К-ч...* – Владислав Максимович Княжевич (1798–1873), литератор; впоследствии действительный статский советник, чьи инициалы «В. К-ч» указаны в публикации: «Два стихотворения Языкова» (РА. 1871. Вып. 7–8. Стб. 1303–1306). В публикации 1899 г. здесь опечатка: «В. К-р».

[166] Борг (Борх) (Borg) Карл Фридрих, вон дер (1794–1848) – синдик и секретарь канцелярии Дерптского университета; писатель. В рукописи здесь фамилия «Борг».

[167] *...из его послания к г-ну В.М. К-чу...* – Стихотворение Н.М. Языкова «В. М. Княжевичу» (1823). Свербеев цитирует его следом с небольшими неточностями.

[168] Киреева (урожд. Алябьева) Александра Васильевна (1812–1891) – хозяйка московского салона.

[169] Голицына (урожд. Балк-Полева, во втором браке гр. Гейнингер д'Эрисвиль и Гудисвиль) София Петровна (1806–1888) – княгиня, с 1824 г. жена А.М. Голицына.

[170] *...не имея о ней никакого понятия.* – Справедливости ради отметим, что Языков не всегда писал послания к женщинам, не зная о них совсем ничего. Так, планируя написать послание к супруге самого Д.Н. Свербеева (впрочем, тоже заочно), он предварительно просит своего брата в письме прислать ему ее словесное описание: «Напиши мне, для полной возможности ознаменовать Дмитрия Николаевича посланием стихотворным: во-первых, как зовут его возлюбленную? Во-вторых, какого рода ее красота – классическая или романтическая? Потом, в каком смысле оная особа прекрасна, в обширном или в тесном» (*Языков Н.М.* Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). С. 300).

[171] В рукописи пояснение: «А. П. Елагиной» (ФС. Д. 13. Л. 57 об.)

[172] *В это самое время был я главным смотрителем Комиссии печатания грамот и договоров...* – Свербеев состоял в этой должности с июля 1831 г. по май 1833 г., когда был уволен от архива по его прошению с отличной аттестацией (РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 107. Л. 1012; Д. 109. Л. 891, 925).

[173] *...«И пьянствуйте о имени моем».* – Д.Н. Свербеев цитирует строку из языковского стихотворного цикла студенческих «Песен» 1829 г. (песня «Когда умру, смиренно совершите...»).

[174] *...начала вариться жженка...* – Жженка – напиток из смеси рома, коньяка, спирта или вина с пряностями, фруктами. Над чашей, где смешивали ингредиенты, водружалась сахарная голова, пропитанная спиртом, после чего спирт поджигался, и расплавленный сахар капал в чашу. После выгорания части спирта огонь угасал, и жженку пили в горячем виде.

[175] Павлов Николай Филиппович (1803–1864) – писатель, публицист, переводчик.

[176] Венелин Юрий Иванович (наст. имя Георгий Гуца (Хуца)) (1802–1839) – историк, филолог, деятель болгарского «возрождения». Первым в XIX в. напомнил о славянском происхождении болгар, автор трудов о Болгарии.

[177] *...болгарский народ, предмет теперешних церковных распрей.* – На рубеж 1860–1870-х годов приходится усиление борьбы за самостоятельность (автокефалию) Болгарской церкви, которой противился Константинопольский патриархат.

[178] *...на Славянском съезде...* – Славянский съезд проходил в Москве в мае 1867 г. одновременно с Всероссийской этнографической выставкой.

[179] В рукописи продолжено: «Воспоминания мои о Николае Языкове оканчиваю вопросительным знаком для будущих его биографов. Когда он жил в Риме, не помню, в котором году, вместе с Гоголем, до меня дошел слух, что будто бы Гоголь его угнетал, над ним властвовал, что Языков по прихоти Гоголя нанял для себя не совсем удобную квартиру и лишен был в ней солнца, первого условия под итальянским небом в зимнее время для всякого больного. Сообщавшие мне об этом требовали даже от меня в то время, чтобы я поручил угнетаемого Языкова особенному покровительству приятеля моего Скарятина, бывшего тогда секретарем нашего посольства при святейшем отце. Чем все это кончилось, не припомню; но если, как мне кажется, слух о тяготении Гоголя над Языковым привезен был Погодиным, который сам до появления “Мертвых душ” теснил и угнетал Гоголя, жившего тогда у него, то такие отношения не могут не казаться странными» (ФС. Д. 13. Л. 58 об.–59). Здесь назван Александр Яковлевич Скарятин (1816–1884), секретарь миссии в Риме (1842–1856) и Турине (1846–1856), позже гофмейстер двора. О его представлении друзьям, жившим в Риме, и об эффекте, произведенном «Мертвыми душами» Гоголя, рассказывается в письме Д.Н. Свербеева, отправленном Н.М. Языкову в Рим в январе 1843 г.: «Прошу ⟨...⟩ не дичиться этого простосердечного юноши [А.Я. Скарятина], сблизиться и подружиться с ним, как с Москвичом, а не как с дипломатом. Заставьте только его снять перед вами мундирный фрак и желтыя перчатки и надеть халат, тогда ⟨...⟩ мне скажете спасибо.

Вчера на нашей Пятнице Аксаков-отец прочел комедию Гоголя «Игроки». Все слышавшие были в восхищении; разумеется, между ними не было ни одного игрока. Должно ожидать огромного успеха на театре, но дело не обойдется и без великой брани. Так было, и теперь еще продолжается, с толками о “Мертвых душах”. Если бы автор мог подслушать и собрать все различные суждения об этом гигантском творении, то, дав им личность и художественную форму, скроил бы из них превосходную новую комедию-драму. “Мертвые души” не нравятся, во-первых, всем мертвым душам, в которых западное воспитание и западный образ мыслей умертвили всякое русское чувство. Потом восстают на них с ожесточением все Чичиковы и Ноздревы высшего и низшего разряда. Далее, с ребяческим простодушием негодуют на Гоголя Маниловы и особливо Коробочки. Последние очень наивно говорят: охота же была г[осподину] сочинителю рассказывать такую дрянь, которая везде встречается ежедневно, и что из этого прибыли? – Загоскины, Павловы и проч. не говорят совсем о “М[ертвых] д[ушах]” и только презрительно улыбаются, когда услышат издалека одно название. Порядочными людьми принято, впрочем, и не упоминать об этой поэме при наших повествователях, а то

всякий раз выходит как будто личность. Но все ждут 2-го тома, друзья Гоголя – с некоторым опасением, а завистники и порицатели – потирая руки и говоря: увидим, как то он тут вывернется» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 38).

180 Чижов Федор Васильевич (1811–1877) – промышленник, общественный деятель, меценат, математик; издатель и публицист; друг семьи Свербеевых и душеприказчик Д.Н. Свербеева, провожавший его тело в последний путь в имение Сетуха Орловской губернии. В дневниках Ф.В. Чижова сохранились многочисленные яркие свидетельства о семье Свербеевых, подробности их жизни, взаимоотношений и быта (НИОР РГБ. Ф. 332 (Ф. В. Чижов). Карт. 2. Д. 10–12 и др.).

181 *...дормёз...* – от фр. dormeuse (досл. – «карета, в которой можно спать»), вместительный закрытый конский экипаж, где пассажиры, разложив сиденья, могли лежать, вытянувшись во весь рост.

182 *...в иностранную коллегию, последнюю из всех уничтоженных коллегий до настоящего образования этого министерства...* – Коллегия иностранных дел была окончательно поглощена Министерством иностранных дел в 1832 г.

183 Панин Виктор Никитич (1801–1874) – граф, дипломат; управляющий Министерством юстиции (1839–1841), министр юстиции (1841–1862).

184 Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) – писатель, автор исторических романов. С 1841 г. – почетный академик по отделению русского языка и словесности.

185 *...соседу, князю Щербатову...* – Князь Дмитрий Михайлович Щербатов (см. примеч. 378 к т. I).

186 В рукописи фамилия владельцев дана полностью: «Васильчиковых» (ФС. Д. 13. Л. 62 об.).

187 *... турусы на колесах...* – пустая болтовня, вздор.

188 *...папушников...* – мягкого, пшеничного домашнего хлеба.

189 *...понявы...* – женская крестьянская одежда – юбка в виде полотнища.

190 *...покупать муку на емины...* – покупать на пищу, на своё пропитание.

191 В рукописи добавлено: «На этом месте прошлой осенью 1871 г. я остановился. Узнав о неожиданной смерти Н.Ив. Тургенева в Париже, я возымел желание сгоряча после телеграммы оттуда написать для Архива (помойная яма) его некролог, на последних страницах которого распространился было в рассказах по моей памяти о 14 декабря. Бартенев нашел многие подробности об этом злополучном дне лишними. Но увлеченный воспоминаниями, я продолжал мое повествование и перенесся к этому времени мятежа, которое застало меня в Швейцарии; тут поневоле мысли мои перешли к воспоминаниям о Каподистрии. Вместе с ним узнал я первое официальное известие о бывшем в Петербурге бунте; перешел к его исторической деятельности, составил извлечение из его автобиографии и начал рассказ о моем с ним знакомстве, предпослав этому описанию память дней пребывания моего при посольстве в Берне. Тут настигла меня, как медведя, зимняя спячка, и, виноват, я и этого труда еще не покончил. Пришла весна и уже прошла весна, а я и до сих пор еще ни тпру, ни ну, – так меня заколодило. Хотел было, и не один раз давал себе слово бросить все эти нескончаемые «Записки», ну да нельзя, начали приставать свои из угождения небывалому во мне авторскому самолюбию, а чужие из учтивости; но ведь как-нибудь и чем-нибудь надо связать в возможном порядке росказни; и так возвращаюсь к последним месяцам моего житья в России» (ФС. Д. 13. Л. 66). Этот очерк о декабрьском мятеже 1825 г., продолженный воспоминаниями о графе Каподистрия и пребывании в Берне, помещен ниже (см. Фрагмент 32).

[192] *...Нащокины, Васильчиковы, Исленьевы, даже Дурново и Чуфаровские...* – О соседях Нащокиных и Васильчиковых Свербеев пишет подробно в первом и втором томах (см. с. 78, 311–312, 317–320). Также соседями Свербеевых и Орловых были: Исленьевы (Ислентьевы) (владельцы дер. Алферово, Никольская, Гришенки): Александр Васильевич (1755–1828), бригадир, и его жена Анастасия Павловна (1762–1815); две семьи Дурново (владельцы с. Пешково и дер. Курниково): Дмитрий Иванович, Анна Петровна, Екатерина Дмитриевна; Сергей Иванович и Мавра Сергеевна; Чуфаровские (владельцы с. Мелихово): Алексей Иванович (1773–1836), Сергей Сергеевич, Иван Сергеевич, Николай Дмитриевич, Алексей Николаевич, Иван Николаевич, Сергей Алексеевич (1826–1871).

[193] *...графу Панину либо тому Давыдову, которому перешло само имя гр. Орлова.* – Очевидно, имеются в виду внуки В.Г. Орлова (дети его дочерей): Виктор Никитич Панин и Владимир Петрович Орлов-Давыдов (1809–1882), писатель, путешественник, получивший графский титул вместе с именем Орловых (в 1856 г.).

[194] В рукописи добавлено: «а иногда и грязненькой» (ФС. Д. 13. Л. 66 об.).

[195] *...носил на фалдах фрака голубой бант от камергерского ключа.* – Ключ, введенный при Петре I как символ доступа к царским покоям, был знаком различия камергеров и обер-камергеров. Камергеры носили золоченый ключ на голубой Андреевской ленте с бантом у левого бедра.

[196] *...грошовою медалью на Владимирской ленте 1812 года...* – Бронзовая медаль на Владимирской ленте, учрежденная в 1814 г., которой награждались главы дворянских родов за участие в Отечественной войне 1812 года.

[197] *Оболенский был дядя жене моей, жил по лету у графа в Отраде, сам будучи женат на родной племяннице графа Орлова, Штакельберг.* – Иван Петрович Оболенский (1770–1855), князь, владелец имений в Подольском уезде; дядя Е.А. Свербеевой, был женат на Елене Ивановне Штакельберг (Стакельберг) (1768 (1757)–1845 (1846)), родственнице жены В.Г. Орлова.

[198] Долгоруков Иван Алексеевич (1708–1739) – приближенный императора Петра II, обер-камергер (1730), брат Е.А. Долгоруковой, невесты императора.

[199] Арцыбашев Александр Дмитриевич (1764–1821) – гвардии капитан, отец декабриста Д.А. Арцыбашева, которому вместе с братом Н.А. Арцыбашевым перешло село Турово.

[200] *Он [В.Г. Орлов] умер в 1830 году.* – Свербеев здесь неточен. В.Г. Орлов умер 29 февраля 1831 г.

[201] Вяземский Сергей Иванович (1743–1813), князь, родной дядя поэта П.А. Вяземского; сосед Свербеева в Серпуховском уезде, владелец имения Пущино.

[202] *Два сына его [С. И. Вяземского]...* – князья генерал-майоры Михаил Сергеевич (1770–1848) и Сергей Сергеевич (1777–1847) Вяземские.

[203] *...на богатой урожденной Татищевой. Муж ее разорил.* – Эти фразы в рукописи даны шире: «...на богатой глухой святоше, урожденной Татищевой, исправлявшей вместе со многими другими должность мироносицы у ног митрополита Филарета. Муж ее разорил, а потом бросил» (ФС. Д. 13. Л. 71 об.). Имеется в виду Елизавета Ростиславовна Татищева (в замужестве Вяземская) (1788–1860).

[204] *Племянник... Петра Дмитриевича Еропкина Мих. Иван. Еропкин...* – Упомянуты: П.Д. Еропкин (1724–1805), московский главнокомандующий (1786–1790), сенатор (с 1765 г.); был известен своими действиями при борьбе с эпидемией чумы и усмирении чумного бунта в Москве в 1771 г., и его троюродный племянник Михаил Николаевич Еропкин (у Свербеева отчество указано неверно).

[205] В рукописи добавлено: «...вел большую игру в Москве, участвуя вместе с своим братом в известной компании, псовый охотник и по-старинному в русском духе циник. Два раза брал он меня с собой на охоту, и в оба меня, 16-летнего, разругали непригодными для письма выражениями» (ФС. Д. 13. Л. 71 об.). Здесь упомянут брат М.Н. Еропкина Александр Николаевич (1765–1828).

[206] В рукописи фамилия раскрыта и продолжено: «Васильчиковых. Всякий раз, когда Еропкин упоминал о них, безразлично называл он эти дома скотным двором; и надо признаться, хозяева этих двух дворов были непроходимо глупы» (ФС. Д. 13. Л. 71 об.).

[207] В рукописи имя полностью: «Василия Семеновича Васильчикова» (ФС. Д. 13. Л. 72). В.С. Васильчиков (1743–1808) был камергером (1786) и старшим братом А.С. Васильчикова.

[208] В рукописи здесь названо имя: «Александра Семеновича» (ФС. Д. 13. Л. 72). А.С. Васильчиков (1746–1813), камергер (с 1772 г.), фаворит Екатерины II (в 1772–1774 гг.).

[209] *...женат на Разумовской, дочери графа Кириллы...* – В.С. Васильчиков был женат на Анне Разумовской (1754–1826), дочери Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–1803), графа (с 1744 г.), генерал-фельдмаршала (1764), последнего гетмана Украины (1750–1764).

[210] В рукописи добавлено: «а муж был старичишка ничтожный и плюгавый» (ФС. Д. 13. Л. 72).

[211] *...один из его сыновей, Кирилл...* – Младший сын В.С. Васильчикова Кирилл Васильевич Васильчиков (1782–1827), полковник, серпуховский уездный предводитель дворянства (1814–1820).

[212] *Он свою часть в Лопасне продал живущему рядом, через дорогу в скромном деревянном доме дяде полковнику,...* – В рукописи эта фраза расширена и названо имя дяди: «Он пропил и прогулял с цыганами свою часть в Лопасне, продав ее живущему рядом через дорогу в скромном деревянном доме дяде, полковнику Ивану Николаевичу Васильчикову...» (ФС. Д. 13. Л. 72).

[213] В рукописи добавно: «и недальний» (ФС. Д. 13. Л. 72 об.).

[214] В рукописи добавлено: «В нашем уезде такой переход дворянской усадьбы и дачи от дворянина к купцам, какой был в Манушкине от Васильчикова Федоровичам, был первый; теперь в других местностях после эмансипации встречается он повсюду» (ФС. Д. 13. Л. 72 об.).

[215] *... сыну, вдова и дети которого живут там еще и теперь.* – В рукописи сын назван: «Николаю Ивановичу» (ФС. Д. 13. Л. 72 об.). Вместе с супругами Васильчиковыми (см. о них Фрагмент 19 и примеч. к нему) названы их дети: Николай (1823–1905), Анна (1835–1904), Мария (в замуж. Павлова) (1820–1907), Екатерина (в замуж. Гончарова) (1828–1875), Наталья (1831–1873).

[216] *...два брата В-х, ...Василий, ...Григорий Николаевич...* – Васильчиковы: Василий Николаевич – бригадир (1789), серпуховский уездный предводитель дворянства (1791–1794); Григорий Николаевич (1753–1816), гвардии прапорщик, владелец Шарапово, усадьба Г.Н. Васильчикова в Шарапово сохранилась до наших дней.

[217] *...сын старика Еропкина...* – Сын М.Н. Еропкина Василий Михайлович Еропкин (1807–1890), лейб-гренадер, участник Русско-турецкой (1828–1829) и Крымской (1853–1856) войн, посредник по размежеванию земель в Серпуховском уезде (с 1838 г.); владелец усадьбы Садки (Лопасня) до 1853 г.; автор мемуаров.

[218] Щербатова Наталья Ивановна (урожд. кнж. Щербатова) (?–1798) – княгиня, жена М.М. Щербатова, мать Д.М. Щербатова.

[219] *...из собственных его [Щербатова] записок, недавно обнародованных...* – Вероятно, Д.Н. Свербеев имеет в виду работу М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России», впервые изданную в 1858 г. Вольной русской типографией А.И. Герцена.

[220] *...от верховников...* – Члены Верховного тайного совета, совещательного органа, неофициально правившего страной в 1726–1730 гг. до вступления на престол императрицы Анны Иоанновны (1693–1740).

[221] Щербатов Иван Андреевич (1696–1761) – полномочный министр при Испанском дворе (1726–1731), чрезвычайный посланник в Константинополе (1731–1732), полномочный министр в Великобритании (1739–1746); вице-президент Коммерц-коллегии, президент Юстиц-коллегии (1734–1739); сенатор.

Свербеев неточно описывает время службы И.А. Щербатова: начав службу в Испании при Петре I в 1723 г., руководство русской миссией он принял на себя в апреле 1726 г., уже после смерти монарха, и продолжал дипломатическую карьеру при Петре II, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне.

[222] Ло (Law) Джон (1671–1729), шотландский финансист, теоретик кредитной практики. Изложил свои основные идеи в вышедшей в 1705 г. книге «Деньги и торговля, рассмотренные в связи с предложением об обеспечении нации деньгами», где выступал за выпуск необеспеченных бумажных денег. Его идеи нашли поддержку во Франции. В 1716 г. он создал во Франции первый частный акционерный банк (Banque générale), которому было предоставлено право печатания бумажных денег и акций и который в 1720 г. обанкротился, оказав тем не менее большое влияние на финансовую систему Франции и ее экономику.

[223] В рукописи продолжено: «представляющих денежные отношения предлагаемых Ло кредитных билетах или ассигнаций звонкой монете» (ФС. Д. 13. Л. 74).

[224] *...сына и своих двух дочерей...* – Имеются в виду дочери князя Д.М. Щербатова Наталья (в замуж. Шаховская) и Елизавета, а также сын Иван (1794–1829), который был судим за причастность к восстанию Семеновского полка в 1820 г.

[225] Фишер (Fischer) Федор Богданович (Фридрих Эрнст Людвиг) (1782–1854) – ботаник, адъюнкт-профессор ботаники при Московском университете (с 1812 г.); директор Петербургского ботанического сада (1824–1850).

[226] *...вырастал под его [Д.М. Щербатова] родственным кровом родной племянник его Петр Яковлевич Чаадаев...* – П.Я. Чаадаев после смерти матери, Натальи Михайловны (урожд. кнж. Щербатовой) (1766–1797), воспитывался в доме тетки, княжны Анны Михайловны Щербатовой (1760-е–1852).

[227] *...из статьи Жихарева о Чаадаеве.* – Имеется в виду родственник Чаадаева и наследник его архива Михаил Иванович Жихарев (1820 – после 1882) и публикация его воспоминаний: *Жихарев М.И.* Петр Яковлевич Чаадаев: Из воспоминаний современника // ВЕ. 1871. № 7, 9.

[228] *...в семеновскую историю...* – Речь идет о попытке нижних чинов Семеновского лейб-гвардии полка подать в октябре 1820 г. жалобу на своего командира. «Семеновская история» была расценена командованием гвардейского корпуса как бунт, все нижние чины и многие офицеры разосланы в разные армейские полки.

[229] *Зять его, муж меньшой дочери...* – Князь Федор Петрович Шаховской, с 1819 г. муж Н.Д. Щербатовой.

[230] *...в суздальский монастырь...* – В 1829 г. Ф.П. Шаховского перевели в тюрьму при Спасо-Евфимиевом монастыре с разрешением жене находиться поблизости.

[231] *...ультрамонтанизма...* – Термин «ультрамонтанизм» происходит от латинского ultra montes (за горами, т.е. за Альпами (о папе римском)). Он применялся во Франции и Германии для обозначения сторонников папы, которые считали, что власть последнего даже в светских делах должна быть выше власти королей и национальных правительств.

[232] *...боролся он как следователь ...с ...помещиком Жуковым...* – Уездный предводитель дворянства в рамках своих полномочий был обязан расследовать жалобы, поступающие на дворян данного уезда. Здесь, вероятно, назван генерал-майор (с 1820 г.) Николай Иванович Жуков (?–1847), владелец с. Рождествено.

[233] *...два брата Дурновых.* – Очевидно, Сергей Иванович и майор Дмитрий Иванович Дурново.

[234] *...сенатора Шешукова...* – Очевидно, Шешуков Николай Иванович (1754–1831) – вице-адмирал, сенатор (с 1816 г.).

[235] *...некто Гижилинский...* – Григорий Федорович Гежелинский (Гижилинский) (1783–1859), статский советник, харьковский вице-губернатор (1815–1820), владелец с. Алферово и трех деревень в Серпуховском уезде.

[236] *... я застал там... его отца... жена последнего [сына, А.П. Нащокина] была одною из первых петербургских красавиц...* – Имеются в виду Нащокины: Петр Федорович (1733–1809), статский советник, опекун Московского воспитательного дома, и его невестка Елизавета Семеновна (урожд. Хвостова) (1771 – до 1810).

[237] Фридрих II Великий (1712–1786) – король Пруссии с 1740 г.

[238] *...его жены...* – Татьяна Петровна Нащокина (урожд. Дохтурова) (1738–1798), жена П.Ф. Нащокина и мать А.П. Нащокина.

[239] *Трое сыновей [Нащокина]...* – Имеются в виду законные сыновья Александра Петровича Нащокина: Федор (1789–1813), полковник, участник войны 1812 г.; Петр (1793–1864), адъютант генерала Д.С. Дохтурова, корнет, с 1823 г. в отставке, тульский помещик, и Павел (1798–1843), полковник лейб-гвардии гусарского полка; позднее шталмейстер.

[240] В рукописи добавлено: «игрок-мошенник» (ФС. Д. 13. Л. 78 об.). Свербеев, вероятно, путает Павла Нащокина с его братом Петром.

[241] В рукописи добавлено: «А между тем господин всех этих великолепий начинал стареть, все еще развратничать и разоряться на балы, театры, иллюминации и фейерверки» (ФС. Д. 13. Л. 78 об.).

[242] Зыбина Елизавета Куприяновна – вдова, владевшая деревней Кузьминой и сельцом Фильчаковым.

[243] Ленотр (Le Nôtre) Андре (1613–1700) – французский садовод, ландшафтный архитектор; придворный садовод Людовика XIV, создатель парка в Версале.

[244] *...к сажалке.* – Имеется в виду искусственный пруд для разведения рыбы или водоплавающей домашней птицы. Здесь, следом, в рукописи добавлено: «Изображаемый мной Нащокин был самым дурным из всех наших не больно хороших предводителей. Он соединял в себе всю барскую спесь знатного и богатого дворянина, все чванство придворного генерала, украшенного звездой, с подлостию пред высшим начальством и хитрым заискиванием, как бы занять, хотя бы за страшные проценты, а потом и не заплатить, у своего гостя, кто бы он ни был, лишь бы был человек денежный» (ФС. Д. 13. Л. 79).

[245] В рукописи добавлено: «Доходило наконец до того, что он начал мошенничать в картах и обкрадывать казну, либо дворянскую сумму, накоплявшуюся из складочных денег» (ФС. Д. 13. Л. 79–79 об.).

[246] Рейс (Reuss) Фердинанд Фридрих (Фердинанд Федорович) (1778–1852) – доктор медицины; профессор химии в Московском университете (1803) и лектор Медико-хирургической академии (1817–1839).

[247] Ислентьев Александр Васильевич – бригадир (с 1793 г.).

[248] *...прозванный Тюльпаном ...* – В рукописи: «...прозванный Морблезом Тюльпаном...» (ФС. Д. 13. Л. 79 об.), вероятно от morbleu – черт возьми (*фр.*).

[249] *...Бибиков... Татищев.* – Участники Отечественной войны 1812 г., сражавшиеся под Бородино: Дмитрий Гаврилович Бибиков (1792–1870), впоследствии министр внутренних дел (1852–1855) и, вероятно, граф Алексей Николаевич Татищев (1792–1851), гусарский офицер, подполковник (1822), действительный статский советник (1851).

[250] *... все еще предводительствовал и зазывал кой-каких из Серпухова купцов и угощал их до положения риз.* – В рукописи эта фраза расширена и продолжена: «...все еще предводительствовал, все еще крал дворянские гроши и зазывал кой-каких из Серпухова купцов и угощал их до положения риз и наверное обыгрывал. Кроме необузданной роскоши и всякого рода чванства, в нем таились еще другие менее извинительные причины к нравственному и материальному падению: крайний разврат, несмотря на старость, и необузданное самоуправство также не по летам. Живя долго в деревне самовластным, хотя и не дурным помещиком, султаном гарема из крепостных актрис, певиц и танцовщиц, сатрапом, или по крайней мере первым человеком по своему предводительству в уезде и в городе, он иногда предавался неистовому гневу и, почитая для себя все возможным, совершал гнусные действия самоуправства. Раз он высек управляющего – вольного, в другой – немца-аптекаря, которому заплатил, чтобы потушить дело, большие деньги. Умер он в крайней бедности, всеми забытый и никем не уважаемый. Вот вам история человека, который по роду и образованию, конечно, не научному, но все-таки добытому в лучшем нашем кругу и в путешествиях по Европе, мог бы прожить иначе. Его погубила наша дворянская распущенность и наша широкая русская натура» (ФС. Д. 13. Л. 80).

[251] *Женился он...* – Вместо этой фразы в рукописи дано шире: «Говорят, он там на ком-то женился, откупил от первой этой жены большими деньгами и ее бросил, женился, как следует, утаив первый свой брак...» (ФС. Д. 13. Л. 80 об.).

[252] *...на одной из Еропкиных...* – Анна Михайловна Еропкина, жена П.А. Нащокина.
[253] В рукописи продолжено о Нащокиных. См. Фрагмент 26.
[254] Бахметев Николай Федорович (1798–1884) – майор в отставке (с 1822 г.), помещик.
[255] Римский-Корсаков Григорий Александрович (1792–1852) – полковник лейб-гвардии Московского полка (с 1821 г. в отставке), член «Союза благоденствия» (его участие в обществе было высочайше повелено оставить без внимания).
[256] *...мой родственник Обресков, бывший потом в Персии при князе Паскевиче и умерший министром в Неаполе.* – Александр Михайлович Обресков (1793 (1790)–1885), дипломат, поверенный в делах в Австрии (1822), посланник в Вюртемберге (1829–1831), бывший в Персии с особым поручением (1827–1828), посланник в Сардинском королевстве (1831–1838). С 1840 г. – в отставке. Свербеев ошибается, говоря о его смерти в Неаполе – он умер значительно позже.
[257] Татищев Дмитрий Павлович (1767–1845) – посланник в Неаполе (1805–1808); чрезвычайный посланник и полномочный министр в Испании (1815–1821), затем в Австрии (1822–1841). В 1822–1823 гг. вел в Вене переговоры с Меттернихом о будущем Греции.
[258] *...посла от Австрии у нас не было.* – Видимо, описка вместо «в Австрии», т.к. полномочным министром Австрии в России в 1815–1826 гг. был Л. Лебцельтерн.
[259] В рукописи продолжено: «Не говоря уже о том, что двое из членов этой же фамилии пожалованы были в графы, мы видели и видим, что другие Рюриковичи и Гедиминовичи, сохранившие княжество, соглашались [принимать] в угоду самодержцам, менее их родовитым, жалуемые ими титлы светлости, что сделано было Голицыными (кроме Сергея Михайловича), Волконскими и нынешним канцлером Горчаковым, а так поступать аристократам, роды коих превосходят по древности все титулованные европейские фамилии, нашим князьям, старейшим Романовых, не подобало бы» (ФС. Д. 13. Л. 82–82 об.). В рукописи следующий далее текст двух абзацев (до фразы «...доброго старого времени») и его продолжение (Фрагмент 27) составляют большое подстрочное примечание (Там же. Л. 82 об. – 84).
[260] *...приходило ему на помощь.* – В рукописи вместо этой фразы: «платило за него наделанные им значительные долги» (ФС. Д. 13. Л. 82 об.).
[261] Разумовский Андрей Кириллович (1752–1836) – граф, с 1815 г. светлейший князь, дипломат. В 1792–1799, 1801–1807 гг. посол в Вене; один из руководителей русской делегации на Венском конгрессе (1814–1815).
[262] Куракин Александр Борисович (1752–1818) – князь; вице-канцлер, управляющий Коллегией иностранных дел (1796–1802), посол во Франции (1808–1812).
[263] Крюднер (Криденер) Павел Алексеевич (1785–1858) – барон, дипломат; поверенный в делах в Берне (1816–1826), посланник в Соединенных Штатах Северной Америки (1827–1837), посланник в Швейцарии (1837–1858).
[264] Толстой Петр Александрович (1770–1844) – граф, генерал от инфантерии (1814); чрезвычайный посол в Париже (1807–1808), член Государственного совета (с 1823 г.), главный начальник военных поселений (с 1828 г.). Свербеев ошибается, называя его преемником А.Б. Куракина в парижской миссии: Куракин сменил во Франции Толстого по настоянию Наполеона, высказанному Александру I.
[265] Ливен Христофор Андреевич (1774–1838) – барон, затем граф (с 1799 г.), светлейший князь (с 1826 г.); дипломат, посланник в Пруссии (1809–1812), посол в

Великобритании (1812–1834). Попечитель наследника цесаревича Александра Николаевича (с 1834 г.).

266 В рукописи добавлено: «О первом говорили, и едва ли не справедливо, что он набивал свои собственные карманы, играя на бирже наверняка фонды» (ФС. Д. 13. Л. 83).

267 Орлов Николай Алексеевич (1827–1885) – князь, дипломат; посланник в Бельгии (1859–1869), посол во Франции (1871–1884), генерал от кавалерии (с 1878 г.).

268 В рукописи следует продолжение. См. Фрагмент 27.

269 Горчаков Андрей Иванович (1779–1855) – князь, генерал от инфантерии (1819).

270 Воронцов-Дашков Иван Илларионович (1790–1854) – граф, посланник в Баварии (Мюнхен) (1822–1827), в Сардинском королевстве (Турин) (1827–1831), член Государственного совета (1846).

271 Крюденер (Криденер) Александр Сергеевич (1786–1852) – барон, секретарь посольства в Баварии (1818–1836); посланник в Швеции (1843–1852).

272 *...на побочной сестре императрицы Александры Федоровны, вышедшей после вдовства за графа Адлерберга...* – Речь идет об Амалии Максимилиановне Лерхенфельд (1808–1888), внебрачной дочери княгини Терезы Турн-и-Таксис (Thurn und Taxis) (урожденной принцессы Мекленбург-Стрелицкой), которая была родной теткой императрицы Александры Федоровны (таким образом, Амалия приходилась двоюродной сестрой последней. Также утверждали, что ее отцом был не Максимилиан Лерхенфельд, признавший ее своей дочерью, а прусский король Фридрих Вильгельм III – в этом случае она являлась побочной сестрой императрицы Александры Федоровны, законной дочери прусского короля). В первом браке (с 1825 г.) она была замужем за А.С. Крюднером, а овдовев, вышла замуж за графа Николая Владимировича Адлерберга (1819–1892), генерала от инфантерии (с 1870 г.), генерал-губернатора Финляндии (1866–1881). Ей посвящены стихи Ф.И. Тютчева «Я встретил вас...».

273 Аксакова (урожд. Тютчева) Анна Федоровна (1829–1889) – фрейлина, жена И.С. Аксакова, дочь Ф.И. Тютчева, мемуаристка.

274 В рукописи добавлено: «претолстый и популярный» (ФС. Д. 13. Л. 85 об.).

275 Максимилиан I Иосиф (1756–1825), курфюст (с 1799 г.), а затем король Баварии (с 1806 г.).

276 *...стакан шпруделя...* – немецкое название минеральной воды с углекислым газом.

277 *...король-поэт...* – Людвиг I Баварский (1786–1868), король Баварии (1825–1848).

278 Монтес (Montez) Лола (наст. имя – Элиза Гилберт) (1821–1861) – ирландская танцовщица; фаворитка баварского короля Людвига I.

279 В рукописи добавлено: «Нынешний король, пламенный обожатель Вагнера, притворялся влюбленным в нашу императрицу, сделался *мизогином* и рано или поздно, вероятно, также сойдет с своего трона» (ФС. Д. 13. Л. 86). Имеется в виду Людвиг II (1845–1886), король Баварии (с 1864 г.) и его отношение к российской императрице Марии Александровне (урожд. принцессе Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии Гессенской) (1824–1880).

280 Лютер (Luther) Мартин (1483–1546), христианский богослов, основатель протестантизма.

281 *...к великолепному своему водопаду.* – Имеется в виду Rheinfall – Рейнский водопад в восточной Швейцарии. Интересно сравнить описание Свербеевым столицы кантона Шафгаузен и самого Рейнского водопада со скептическими отзы-

вами его соотечественника, почти одновременно с ним путешествовавшего по Швейцарии – А.Д. Черткова. Он замечал: «Сей небольшой городок совершенно не имеет ничего примечательного: 〈...〉 бойни, кожевенные заводы распространяют ужасную вонь, 〈...〉 улицы грязны и никогда не перемащиваются...». А о водопаде добавлял: «...каскад сей совсем не высок 〈...〉 мне кажется, даже каскады в Тиволи гораздо лучше и больше сего водопада» (*Чертков А.Д.* Журнал моего путешествия по Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии и проч. в 1823–1825 годах / Подг. изд. М.В. Фалалеевой. М., 2012. С. 437–438).

282 *...перед которым... становился на колени умиленный до слез... Карамзин...* – Сербеев имеет в виду фрагмент из «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина, посвященный Рейнскому водопаду: «Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревущий концерт, оглушающий душу! 〈...〉 Я наслаждался – и готов был на коленях извиняться перед Рейном в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением» (*Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. М., 1988. С. 170).

283 *Нелегко по прошествии почти 50 лет оживить и собственно для себя тогдашние свои впечатления, однако, постараюсь.* – В черновых вариантах воспоминаний этой фразе предшествовал большой текст, посвященный восстанию декабристов, точнее взгляду на эти события из начала 1870-х годов. Текст сохранился в отдельных черновых набросках и предполагался к включению в повествование о швейцарском периоде жизни. См. Фрагмент 30 (ФС. Д. 21. Л. 1–4, 29–32).

284 *...набожных пиэтисток...* – Пиэтизм – мистическое направление в протестантизме (особенно в лютеранстве), возникшее как реакция на формализм ортодоксального лютеранства и ставившее религиозное чувство выше религиозных догм.

285 Фурман Федор Федорович (1799–1841) – секретарь швейцарской миссии (1822–1828), миссии в Риме (1828–1830); советник посольства в Константинополе (с 1834 г.), брат декабриста А.Ф. Фурмана.

286 *...французский посол marquis de Mouthier и посланники: австрийский, – генерал Шраут, прусский – граф de Meuron, ...баварский – chevalier d'Olri... неаполитанский герцог Кастельчикала...* – Упоминаются: Климент Эдуард де Мутье (de Moustier) (1779–1830), маркиз, французский посол в Берне, пэр Франции; Франц Албан Шраут (Schraut) (1745–1825), австрийский посланник в Швейцарии (1807–1825); Шарль Густав де Мюрон (Meuron) (1779–1830), граф (с 1828 г.), дипломат на службе Пруссии (1817–1830), полномочный министр в Швейцарии; Иоган Франц Антон фон Олри (Olry) (1769–1863), баварский дипломат французского происхождения, посланник Баварии в Берне (1807–1827) и Турине (1827–1842); Паоло Руффо ди Банария (Bagnaria), князь Кастельчикала (Castelcicala) (1791–1866), генерал-лейтенант, генеральный наместник Сицилии (1855–1860). Упомянутых Свербеевым дипломатов Мона и Базена (Basin) установить не удалось.

287 *...Mr. de Waughan...* – Вон (Vaughan) Чарльз Ричард (1774–1849), британский дипломат, полномочный министр в Швейцарии (1823–1825).

288 *...сент-джемским кабинетом...* – Синоним британского правительства, которое помещалось в Сент-Джеймском дворце.

289 *...Конституционной хартии...* – Конституция, которую Людовик XVIII провозгласил 4 июня 1814 г. после своего возвращения в Париж из эмиграции.

[290] *...сеиды...* – почетный титул у мусульман для потомков пророка Мухаммеда. Здесь в значении – ближайшие помощники, последователи.

[291] *...madame de Meuron...* – Женой посла графа Мюрона была (с 1804 г.) Генриетта фон Виллих (Willich) (ок. 1779 – после 1823) (далее в «Записках» ошибочно Wildich).

[292] Буркене (Bourqueney) Франсуа Адольф де (1799–1869) – граф, французский дипломат, посол в Константинополе (1844–1851), Вене (1853–1859), сенатор (с 1856 г.).

[293] В примечании упомянуты: Александр Сергеевич Меншиков; Карл Людвиг Занд (Sand) (1795–1820), член немецкой студенческой организации, убийца А.Ф. Коцебу; и «злое четверостишие» – эпиграмма А.С. Пушкина «На Стурдзу»: «Холоп венчанного солдата, / Благодари свою судьбу: / Ты стоишь лавров Герострата / И смерти немца Коцебу» (1819) (*Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1947. Т. 2, кн. 1. С. 78).

[294] В рукописи добавлено: «вроде карбонариев» (ФС. Д. 13. Л. 91).

[295] Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) – князь, министр иностранных дел (1856–1882); вице-канцлер (с 1862 г.), затем канцлер (с 1867 г.).

[296] *Моим воспоминаниям... начало его... карьеры.* – В архиве Свербеевых сохранилось дружеское письмо Ф. Буркене к мемуаристу из Парижа (ФС. Д. 53).

[297] Буркене (Bourqueney) Франсуа Феликс де (1761–1846) – граф, адвокат в Высшем суде Безансона.

[298] *...«Collège de France»...* – Коллеж де Франс, одно из старейших учебных заведений во Франции. Основано в 1530 г. До 1870 г. называлось Королевский колледж (Collège royal, Collège impérial).

[299] В рукописи добавлено: «Виллелем» (ФС. Д. 13. Л. 92). Жан Батист Жозеф де Виллель (Villèle) (1773–1854), граф, премьер-министр Франции (1822–1828).

[300] *...графа Талейрана, родного племянника известного политического хамелеона.* – Огюстен Луи Талейран-Перигор (Talleyrand-Périgord) (1770–1832), барон, полномочный министр в Швейцарии (1808–1823), пэр Франции; двоюродный брат Ш.-М. Талейрана (Свербеев неточно указывает родство и титул).

[301] В рукописи продолжено: «Мало-помалу убедились мы и в том, что подобное открытие было бы очень полезно и нашей политике; и наконец подобран был ключ, и депеши посла и конфиденциальная переписка приятеля нашего, Буркене, украдкой нами прочитывались, а дружба наша продолжалась» (ФС. Д. 13. Л. 93).

[302] *Он в Петербурге считался либералом.* – Вместо этой фразы в рукописи другая: «Он был мот, игрок, любил жизнь рассеянную и веселую, находился всегда в долгу и кроме того считался и в Петербурге либералом» (ФС. Д. 13. Л. 93).

[303] В рукописи следует продолжение о событиях в Швейцарии. См. Фрагмент 28.

[304] *Vicomte de la Passe et Chevalier д'Орер. Отец последнего был эмигрантом в России,...* – Это виконт Луи Шарль Эдуард де Лапассе (Lapasse) (1792–1867), секретарь посольства Франции в Берне (1824), позднее журналист и медик, а также отец и сын д'Орер (д'Оррере, Доррер) (d'Horrer): Филипп Ксавье (1745–1828), отставной капитан артиллерии французской службы, и Осип Филиппович (Мари-Жозеф) (1775–1849), отставной майор российской службы, сотрудник французских посольств в России и Швейцарии, генеральный консул Франции в княжествах Молдавия и Валахия (1828), граф (с 1836 г., возведен в звание папой римским Григорием XVI). Стоит добавить, что сын последнего в 1830 г. вновь вернулся на русскую службу и был принят Николаем I с сохранением графского титула. (О судьбе д'Орера в

1812 г. и его записках см.: *Земцов В.Н.* Московский муниципалитет при Наполеоне: коллаборационизм образца 1812 года // Эпоха 1812 года: История. Источники. Историография / Тр. ГИМ, вып. 181. М., 2009. Т. 8).

305 *...воспитателем... Тормасова...* – Тормасов Александр Александрович (1806–1839), граф, камер-юнкер, сын генерала А.П. Тормасова, московского главнокомандующего.

306 *Впоследствии...* – Вместо этого слова в рукописи уточнение: «Когда этот юноша [Тормасов] почему-то застрелился, воспитатель его...» (ФС. Д. 13. Л. 95 об.; см. также: Д. 21. Л. 16). Речь идет о трагическом самоубийстве А.А. Тормасова из-за оскорбленного честолюбия, о чем писали и другие мемуаристы (см., например: Из записок сенатора К.Н. Лебедева // РА. 1910. Вып. 7. С. 396), однако назвать его «юношей» в 32 года, как это делает Свербеев, было бы неверно, к тому же, судя по датам отъезда д'Ореров из России и смерти А.А. Тормасова, эти события никак не связаны.

307 *...с женой, петербургской уроженкой из известного там семейства Рашет...* – Эмилия (Мари Катерина Вильгельмина) Д'Орер (Доррер) (d'Horrer) (урожд. Рашет (Rachette)) (1785–?).

308 *...из марсенского павильона...* – Павильон Марсан дворца Тюильри был резиденцией главы ультрароялистов графа д'Артуа, будущего короля Карла X.

309 Местр (Maistre) Жозеф-Мари де (1753–1821) – граф, французский публицист, политический деятель, религиозный философ.

310 Клопшток (Klopstock) Фридрих Готлиб (1724–1803) – немецкий поэт, автор религиозной эпической поэмы «Мессиада» (1751–1773).

311 Людовик (Луи-Антуан), герцог Ангулемский (1775–1844) – старший сын графа Шарля д'Артуа (впоследствии Карла X); наследник французского престола (дофин), в августе 1830 г. правивший номинально как Людовик XIX.

312 *...с федеративной Директорией...* – т.е. с правительством Швейцарии.

313 Шрёдер Андрей Андреевич (1780–1858) – советник русского посольства и поверенный в делах на время отъездов посла в Париже (1817–1828); чрезвычайный посланник и полномочный министр в Саксонии, Ганновере и Саксен-Веймаре (1829–1857).

314 Лабенский Михаил Иванович (1785 – после 1840) – вице-консул в Париже (1809–1811) и Бразилии (1811–1814); секретарь Парижской миссии (1816–1832), генеральный консул в Париже (с 1832 г.).

315 *...Унгерн-Штернбергу...* – Очевидно, имеется в виду Эрнест Романович Унгерн-Штернберг (1794–1879), барон, чиновник миссий в Мадриде (1821–1825), Лондоне (1825) и Берлине (1826); чрезвычайный посланник при Датском дворе (1847–1860) и Германском союзе (1860–1866).

316 *...ученик Ламенне аббат Vuarin...* – Филисите Роберт де Ламенне (Lamennais) (1782–1854), французский писатель, философ, священник; Жан Франсуа Вуарен (Vuarin) (1769–1843), швейцарский священник, кюре Женевы.

317 Кальвин Жан (1509–1564) – французский богослов, реформатор церкви.

318 *...пастор Malland.* – Анри Авраам Цезарь Малан (Malan) (1787–1864), швейцарский проповедник-протестант, священник (1810–1823), основатель независимой Церкви Свидетельства (l'Eglise du Temoinage).

[319] *...стал обличать их в ереси (арианство).* – Арианство – течение в христианстве IV–VI вв., начатое священником Арием из г. Александрии, отрицавшим единую божественную сущность Бога-Отца и Бога-Сына. Ариане считали Иисуса Христа творением Бога-Отца, который, как Творец, стоял выше Сына. Арианство было осуждено церковью как ересь.

[320] *...сына... князя Репнина.* – Сын князя Н.Г. Репнина-Волконского Василий Николаевич (1806–1880).

[321] *...Bouvier...* – Бартоломи Бувье (Bouvier) (1795–1848), педагог, директор ланкастерской школы в Женеве, священник (с 1824 г.), держатель пансиона.

[322] *...три сына нашего посла в Неаполе графа Штакельберга...* – Имеются в виду сыновья графа Густава Оттоновича Штакельберга (Стакельберга) (1766–1850), посланника в Неаполе (1818–1835). Наиболее известен один из его сыновей – граф Эрнест Густавович Штакельберг (1813–1870), генерал-майор (1852), писатель, дипломат; посланник в Италии (1856–1864), посол во Франции (1868–1870). Два других сына, очевидно: Отто Густавович (Отто Магнус) (1808–1885) и Густав Густавович (1810–1847) Штакельберги.

[323] *...юноша-москвич граф Девиер.* – Очевидно, Александр Михайлович Девиер (1809–1857), граф, полковник, владелец с. Веледниково на р. Истре (с 1850 г.).

[324] *...со своими сестрами, Соковниной и Булгаковой...* – Сестрами П.В. Обресковой (урожд. кнж. Хованской) были: Наталья Васильевна Булгакова (1785–1841) и Софья Васильевна Соковнина (1788–1812).

[325] Хованский Василий Алексеевич (1755–1830) – князь, обер-прокурор Синода (1797–1799); московский уездный предводитель дворянства (1820–1826).

[326] В рукописи добавлено: «и такой же белизны...» (ФС. Д. 13. Л. 100).

[327] *...нашивали ордена... и в дороге.* – Ордена путешественников побуждали станционных смотрителей быстрее менять лошадей.

[328] В рукописи следует очерк о графе Каподистрия, не вошедший в публикацию. См. Фрагмент 29.

[329] *...биза...* – северный ветер.

[330] В рукописи добавлено: «белой, высокой, пуховой шляпе, синему всегда сюртуку» (ФС. Д. 13. Л. 122).

[331] Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) – адмирал, министр морских сил (1802–1811), в 1812 г. – главнокомандующий Дунайской армией и Черноморским флотом, генерал-губернатор Молдавии и Валахии.

[332] В рукописи добавлено: «верст иногда более 10» (ФС. Д. 13. Л. 122).

[333] Чарторыйский (Czartoryski) Адам Ежи (1770–1861) – князь, министр иностранных дел России (1804–1806), глава национального правительства Польши во время Польского восстания (1830–1831), после провала которого эмигрировал во Францию.

[334] Сисмонди (Sismondi) Жан Шарль Леонард Симонд де (1773–1842) – швейцарский экономист, историк.

[335] *...в шарабане...* – в открытом легком пассажирском экипаже, в котором сиденья для пассажиров располагались в несколько рядов.

[336] *молодые графы Залусский и Соболевский...* – Карл Теофилович Залуский (1796 – после 1826), граф, переводчик, затем поверенный в делах швейцарской

миссии (1816–1822), камергер (с 1826 г.); Иосиф Соболевский (1798 – после 1831), граф, секретарь, затем советник посольства в Лондоне (1827–1831).

337 *...князя Адама и князя Сапеги...* – Свербеев имеет в виду Адама Чарторыйского и, возможно, Николая Францевича Сапегу (1779–1843), камергера Российского двора (также могут подразумеваться Александр (1773–1812) или Лев (1803–1878) Сапеги, соответственно тесть и шурин А. Чарторыйского).

338 Каннинг (Canning) Джордж (1770–1827) – министр иностранных дел Великобритании (1807–1809, 1822–1827), премьер-министр (1827). Лордом в мемуарах назван ошибочно (очевидно по аналогии с Ч. Стратфорд-Каннингом).

339 Веллингтон (Wellington) Артур Уэлсли (1769–1852) – герцог (с 1814 г.), лорд, английский фельдмаршал, премьер-министр Великобритании (1828–1830, 1834).

340 *...после ...учреждения двух мексиканских империй и ...казни последнего императора Максимилиана...* – Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург (1832–1867), австрийский эрцгерцог. В 1863 г. при поддержке Наполеона III получил корону императора Мексики под именем Максимилиана I. В разразившейся после этого гражданской войне со сторонниками республики потерпел поражение и был расстрелян. Возглавляемая им Вторая мексиканская империя просуществовала с 1863 по 1867 г. Первая мексиканская империя существовала с 1822 по 1823 г.

341 *...Занта...* – одного из Ионических островов в Эгейском море. В рукописи добавлено: «(древнего Закинфа)» (ФС. Д. 13. Л. 124).

342 Шеневьер (Chenevière) Жан Жак Катон (1783–1871) – женевский пастор (1814–1851), профессор теологии и ректор Женевской академии.

343 *...небольшую статейку...* – Д.Н. Свербеев неточен: рассказ о беседе с аббатом Вуареном входит как важное свидетельство мемуариста в заметку «Об отношении Александра Павловича к католичеству» (РА. 1870. Вып. 10. Стб. 1811–1818).

344 *...Сен Марк Жирарден, Ламартин...* – Марк Жирарден (лит. псевдоним: Сен-Марк Жирарден (Saint-Marc Girardin)) (1801–1873) – французский писатель, критик и политический деятель; Альфонс де Ламартин (Lamartine) (1790–1869), французский поэт и политический деятель.

345 В рукописи добавлено: «конечно, с теми, которые, как птицы, совершают свои осенние и весенние перелеты взад и вперед, с севера на крайний юг Италии» (ФС. Д. 13. Л. 125 об.).

346 *...княгиня... (графиня Тун)...* – Имея в виду графиню Элизабет фон Тун-Гогенштейн (1770–1806), супругу А.К. Разумовского с 1788 г., Свербеев ошибается. Овдовев в 1806 г., Разумовский в 1816 г. женился вторично – на немецкой графине Констанции-Доменике фон Тюргейм (1785–1867). Ее, очевидно, и встретил Свербеев.

347 *...Selon, Fabres, Calandrini, Saussure...* – Свербеев перечисляет знатные женевские фамилии (к которым принадлежали известные ученые и политики), допуская неточности в написании. Правильно: Sellon, Favre.

348 Бонштетен (Bonstetten) Шарль (Карл)-Виктор (1745–1832) – барон, швейцарский публицист, историк, философ, государственный деятель. Он был знаком со многими русскими и интересовался русской литературой. Имя Бонштетена даже стало нарицательным – им подписывался Жуковский в письме А.И. Тургеневу в 1810 г. (*Жуковский В.А.* Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1960. Т. 4. С. 473) (см. также: *Тургенев А.И.* Хроника русского: Дневники 1825–1826 гг. М.; Л., 1963; *Данилевский Р.Ю.*

Россия и Швейцария: Литературные связи XVIII–XIX вв. Л., 1984). Сохранилась его записка Свербееву с приглашением на встречу литераторов (ФС. Д. 52).

[349] Мюллер (Müller) Иоганн (1752–1809) – швейцарский историк.

[350] *...m-me Necker de Saussure...* – Альбертина Адриенна Неккер де Соссюр (Necker de Saussure) (1766–1841) – франко-швейцарская писательница и педагог.

[351] Лафайет (La Fayette) Жильбер де (1757–1834) – маркиз (до 1790 г.), генерал-майор армии Соединенных Штатов Америки (1777), глава либерально-буржуазной оппозиции в годы Реставрации.

[352] Тургенев Сергей Иванович (1792–1827) – дипломат, советник посольства в Константинополе; младший брат А.И. и Н.И. Тургеневых.

[353] *...по удалении барона Строганова.* – Г.А. Строганов, отозванный в 1821 г. (в связи с восстанием греков) с поста главы русской миссии в Константинополе.

[354] Эдлинг (Edling) (урожд. Стурдза) Роксандра Скарлатовна (1786–1844) – графиня, фрейлина имп. Елизаветы Алексеевны, мемуаристка; сестра А.С. Стурдзы.

[355] *...поговаривали о нежных чувствах Каподистрия к этой даме...* – Действительно, из воспоминаний самой графини Эдлинг следует, что Каподистрия признавался ей в своих чувствах. (См., например: Из записок графини Эдлинг, урожденной Стурза... // РА. 1887. Т. 4. С. 410; полное издание мемуаров: *Edling, R.* Memoires de la comtesse Edling (née Stourdza) demoiselle d'honneur de Sa Majesté l'Imperatrice Elisabeth Alexeevna. M., 1888).

[356] *блузник* – во Франции так называли рабочих по их простой одежде.

[357] Бондаревский Иван Петрович (1798 – после 1870) – певчий и посыльный, многолетний чиновник швейцарской миссии (1814–1870); статский советник.

[358] *...императором России будет зять прусского короля...* – Николай I был женат на принцессе Фридерике Шарлотте Вильгельмине Прусской (императрице Александре Федоровне) (1798–1860), дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III (1770–1840).

[359] Анна Федоровна (1781–1860) – великая княгиня; урожденная герцогиня Юлиана Саксен-Кобургская, супруга великого князя Константина Павловича в 1796–1820 гг. С 1801 г. жила в Кобурге отдельно от мужа.

[360] Ренваль (Rayneval) Максимилиан Жерар де (1778–1836) – граф (с 1828 г.), французский дипломат, секретарь посольства в Санкт-Петербурге (1801–1811); посол в Берлине, Берне (1825–1829), Вене, Мадриде.

[361] *...на m-lle Влодек, дочери нашего генерала (мать ее была урожденная княжна Вяземская)...* – Женой генерала от кавалерии Михаила Федоровича Влодека (1780–1849) была графиня Александра Дмитриевна Толстая (1788–1847), а ее матерью – Екатерина Александровна Толстая, урожд. княжна Вяземская (1769–1824).

[362] *...и аггелов его...* – Так обозначают падших ангелов, «служителей дьявола». Д.Н. Свербеев примеряет к Талейрану евангельскую фразу о проклятии и вечном огне «уготованном диаволу и аггелам его» (Мф. 25: 41).

[363] *...господ Мюллинена и Ватвилля...* – швейцарские политические деятели, бернские авуайеры в 1803–1826 гг.: историк Никлаус Фридрих фон Мюлинен (Mülinen) (1760–1833) и Никлаус Рудольф фон Ваттенвиль (Ватвиль) (Wattenwyl) (1760–1832), главнокомандующий федеральными войсками в 1805, 1809, 1813–1814 гг., с 1827 г. – глава партии патрициев-реформаторов.

[364] *...советника Муральта и второго советника Фишера...* – Бернард Людвиг фон Муральт (Muralt) (1777–1858), швейцарский политик, делегат Диэты от Берна; Эмануэль Фридрих фон Фишер (Fischer) (1786–1870), швейцарский политик, префект Берна (1819–1822), член Малого совета Берна (1824), авуайер (1827).

[365] *...Даллион...* – Очевидно, Луис Лопес де ла Торре Айон (Альон) (de la Torre Ayllón, d'Ayllón) (1799–1875), испанский дипломат, посланник в Швейцарии, государственный секретарь Испании в 1853 г.

[366] Шиферли (Shiferli) Рудольф Абрахам де (1775–1837) – хирург, профессор, обергофмейстер (управляющий) великой княгини Анны Федоровны, отец ее внебрачной дочери.

[367] Суворов-Рымникский Константин Аркадьевич (1809–1878) – светлейший князь, полковник, гофмейстер; внук А.В. Суворова.

[368] *...с... сарачинским пшеном...* – Так называли рис, который попадал в Россию «от сарацин» (с Востока); он входил в состав поминального блюда, кутьи.

[369] *...Packenham...* – Ричард Пэкенхэм (Пакенгам) (Pakenham) (1797–1868), английский дипломат, секретарь английского посольства в Швейцарии (1824–1826); впоследствии посол в Мексике, Соединенных Штатах Америки, Португалии.

[370] Иоанн Дамаскин (ок. 680 – ок. 780) – христианский святой, один из отцов церкви, богослов и поэт-гимнолог.

[371] *...в письмах Александра Тургенева к брату Николаю...* – Имеется в виду издание: Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу (Lettres d'Alexandre Tourguéneff à son frère Nicolas). Лейпциг, 1872.

[372] *...принца Леопольда Саксен-Кобургского, который долго служил, и служил храбро в ряду русских войск, в войну 1812 года был нашим корпусным генералом...* – Герцог Саксен-Кобургский Леопольд, будущий король Бельгии Леопольд I, состоял на русской службе в 1799–1809 и 1813–1819 гг.; участвовал командиром бригады в Лейпцигском сражении (1813), генерал-лейтенант (с 1814 г.), однако не принимал участия в боевых действиях в 1812 году.

[373] Бернадот (Bernadotte) Жан Батист Жюль (1763–1844) – маршал Франции (1804), впоследствии кронпринц Швеции (с 1810 г.), король Швеции и Норвегии (с 1818 г.) под именем Карл XIV Юхан. В 1813–1814 гг. сражался в составе антинаполеоновской коалиции во главе шведских войск.

[374] *...способствовал браку... с английской принцессой Шарлоттой, единственной дочерью и наследницею короля Георга IV, более известного в новейшей истории под именем принца регента.* – Принцесса Шарлотта Августа Уэльская (1796–1817), жена герцога Леопольда (в 1816–1817 гг.), была дочерью Георга IV (1762–1830), английского короля с 1820 г., являвшегося в 1811–1820 гг. принцем-регентом при душевнобольном отце – короле Георге III (1738–1820).

[375] *...нынешняя королева Великобритании была родная племянница нашей Анны Федоровны...* – Английская королева Виктория (1819–1901), правившая с 1837 г., была дочерью Виктории Саксен-Кобургской, родной сестры Анны Федоровны.

[376] *...выключили у нас из царской ектении...* – Т.е. исключили ее имя из перечня особ императорской фамилии, о здравии и долголетии которых должны были молиться во всех православных храмах России.

[377] Воше (Vaucher) Пьер Поль (1797–1872) – швейцарский врач-стоматолог, гофмаршал двора великой княгини Анны Федоровны.

[378] *...с княгиней Голицыной, бывшей прежде замужем за сыном великого Суворова, с ее вторым мужем князем Голицыным и дочерью, тоже княгиней Голицыной, родною матерью незабвенной моей графини Корньяни...* – Имеются в виду: княгиня Елена Александровна Голицына (урожд. Нарышкина, в первом браке гр. Суворова-Рымникская) (1785–1855), ее первый муж – генерал-лейтенант Аркадий Александрович Суворов, граф Рымникский (1784–1811), сын полководца А.В. Суворова, ее второй муж (с 1823 г.) – камергер князь Василий Сергеевич Голицын (1792–1856), ее дочь от первого брака – Мария Аркадьевна Суворова (в замуж. кн. Голицына) (1802–1870) и дочь последней – княжна Людмила Михайловна Голицына (в замуж. гр. Корниани (Корньяни) (Corniani)) (1824–1875).

[379] *...Погодин оттиснул в своем «Русском».* – Речь идет о газете «Русский», издававшейся М.П. Погодиным в 1867–1868 гг. Однако упомянутое письмо И.Каподистрия к Н.М. Карамзину было опубликовано Погодиным в другом издании: в сборнике «Утро». Французский текст нескольких писем был снабжен переводами В.А. Жуковского, при этом возникла путаница с датами: даты оригиналов и переводов не совпадают. Правильно датировано письмо, опубликованное по-французски. См.: Переписка графа Каподистрии с Н.М. Карамзиным // Утро: Литературный и политический сборник: В 3 т. М., 1866. Т. 2. С. 200–209; а также примеч. на с. 352 наст. изд.

[380] *...нового военного мятежа, поднятого Муравьевым-Апостолом...* – Восстание Черниговского полка в Малороссии (29 декабря 1825–3 января 1826), одним из организаторов и руководителей которого был подполковник Сергей Иванович Муравьев-Апостол (1795–1826).

[381] *...к сыну знаменитого тамошнего врача Butigny, также доктору.* – Пьер Бутини (Butini) (1759–1838), известный женевский врач, сын Жана-Антуана Бутини (Butini) (1723–1810), также женевского врача и общественного деятеля.

[382] *...Гульянову* – Очевидно, это Иван Александрович Гульянов (1786–1841), лингвист-египтолог, академик (с 1821 г.), служивший в Министерстве иностранных дел. В 1818 г. он находился при графе Каподистрия, в 1822–1826 гг. жил в Париже, в 1821–1826 числился при миссии в Гааге.

[383] *...в контору Генша и предупредил его сыновей...* – Женевский банкир Анри Генш (Hentsch) (1761–1835), основатель банковского дома, существующего до сих пор, и его сыновья: Исаак (1785–1868), Шарль (1790–1854) и Альберт (1804–1855).

[384] *...аргусы...* – здесь в значении «неусыпные» стражи. От имени мифического древнегреческого многоглазого сторожа Аргуса.

[385] *...Шатилов...* – Вероятно, Н.В. Шатилов, новосильский помещик, родственник Д.П. Голохвастова (см. примеч. 305, с. 733–734). Далее Свербеев называет его генералом, вероятно, путая с И.Я. Шатиловым (1771–1845).

[386] *...крепости Миссолунги...*– Крепость, ставшая последним оплотом греческого восстания, была взята турками 22 апреля 1826 г.

[387] *... френолог Галл, известный тогда всему Парижу старик итальянец Альтести, который... с Орловым-Чесменским поднимал к бунту греков Мореи против Турок.* – Имеются в виду: Франц Иосиф Галл (Галль, Gall) (1758–1828), врач, основатель френологии (теории о связи формы черепа человека и его психических особенностей и личностных свойств); Андрей Францевич (Иванович) Альтести

(Altesti) (1750-е – после 1840), греческий купец, живший в 1787–1796 гг. в России, доверенное лицо П.А. Зубова. Граф Алексей Григорьевич Орлов (с 1770 г. – Орлов-Чесменский) (1737–1808) возглавлял русскую морскую экспедицию в Средиземное море в годы Русско-турецкой войны 1768–1774 гг., что вдохновило греков Мореи (Пелопоннеса) на борьбу против турецкого владычества.

388 Убри Сергей Павлович (1805 – после 1830) – чиновник Мадридской миссии (1824–1830), племянник П.Я. Убри. Свербеев здесь ошибочно называет местом его службы Италию, а далее верно пишет об Испании.

389 Берг Александр Федорович (1803–1884) – дипломат; переводчик сверх штата при Швейцарской миссии (1824–1826); старший секретарь посольства, а затем генеральный консул в Лондоне; камергер (с 1845).

390 *...обнадежил своим покровительством.* – Здесь уместно процитировать письмо И. Каподистрия, сохранившееся в архиве Свербеевых в копии. Оно было отправлено П.А. Кикину в июле 1827 г., через два месяца после избрания Каподистрия президентом Греции. В нем сохранились подробности об указе, которым император освобождал графа от российской службы, и те дружеские чувства, с которыми он покидал Россию: «Мне было бы невозможно, дорогой мой Кикин, предоставить лишь газетам заботу о сообщении Вам моих новостей и покинуть страну, где я имел счастье узнать Вас, не попрощавшись с Вами. Вы увидите в указе, который скоро появится, в каких словах император соизволил развязать узы, которые привязывали меня к российской службе. Этим актом, переполнившим меру благодеяний, которыми император изволил удостоить меня, его императорское величество дал мне возможность осознать, может ли он доверить мне то, к чему меня призывают несчастные греки. Итак я еду в Лондон и в Париж, а когда немного осмотрюсь, направлю свой компас в Грецию, никогда не теряя из виду Полярную звезду, которая одна может помочь храбрым и несчастным грекам обрести спасительную гавань.

Я уношу с собой множество свидетельств доброжелательности со стороны вашего августейшего монарха, императорской семьи и всей страны. Я настолько тронут этим, что, несмотря на указы, вижу себя, как и раньше, под могучим покровительством императора. С этим убеждением, с чистыми намерениями, с верой в покровительство Господа нашего надеюсь суметь исполнить свой долг к полному удовлетворению как отечества, которое оказало мне честь, усыновив меня, так и данного мне Богом отечества. Не сомневайтесь, дорогой мой Кикин, в искренности моего исповедания веры, которое я рад Вам доверить ⟨...⟩

Вам небезызвестно, что если некоторые лица прослышат о моем исповедании веры, они не преминут рассказать об этом своим друзьям, которые воспользуются этим, чтобы сыграть со мной злую шутку или, по меньшей мере, отлучить меня от А... [имя не указано]. Сообщаю это только Вам. И если Вы будете отвечать на мое письмо, ничего не пишите об этом» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 196–197) (пер. с фр. яз. В.А. Черных). Д.Н. Свербеев на протяжении всей жизни живо интересовался всем, связанным с деятельностью И. Каподистрия, следил за публикациями о нем и уже в 1860-е годы обсуждал с П.А. Вяземским письмо Каподистрия Н.М. Карамзину, написанное в январе 1826 г., вскоре после восстания в Петербурге (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 2722. Л. 12–12 об.).

[391] *...был умерщвлен освобожденными им дикими варварами...* – Каподистрия был убит 9 октября 1831 г. жителями г. Навплии Георгием и Константином Мавромихали, сыном и братом Петробея Мавромихали (см. о нем примеч. 28, с. 870).

[392] *Барон Крюднер был сын нашего посланника в Берлине; мать его, урожденная Фитингоф, была известная мистическая знаменитость.* – Отцом Павла Алексеевича Крюднера был Алексей Иванович Крюднер (Криднер) (1746–1802), барон; русский посланник в Варшаве, Венеции, Копенгагене и Берлине; а матерью – Варвара Юлия Крюднер, писательница, автор романа «Валерия» (1803).

[393] Шварценберг (Schwarzenberg) Карл Филипп (1771–1820) – князь, австрийский фельдмаршал, посол в России (1807–1809), во Франции (1809–1812, 1813).

[394] Мария Луиза Австрийская (1791–1847) – эрцгерцогиня Австрии, вторая жена Наполеона I, императрица Франции (1810–1814).

[395] *...об этом злополучном празднике...* – Во время этого бала 19 июня 1810 г. случился пожар, унесший несколько человеческих жизней.

[396] *...князь из дома Гедиминов...* – Гедиминовичи – общее название княжеских родов Литвы, Польши, Украины, России (в том числе Голицыных, Куракиных, Трубецких, Хованских), ведущих свое начало от Гедимина (ок. 1275–1341), великого князя Литовского (1316–1341).

[397] Чернышев Александр Иванович (1785–1857) – светлейший князь (с 1849 г.), генерал от кавалерии; военный министр (1832–1852), председатель Государственного совета (1848–1856). В 1808–1812 гг. состоял при французском императоре в качестве доверенного лица русского императора и военно-дипломатического агента; известный деятель русской разведки.

[398] Моренгейм Павел Осипович (1785–1832) – барон, чиновник, затем поверенный в делах Мадридской миссии (1803–1811); в 1812 г. был захвачен французами, освобожден из заключения при взятии Парижа; с 1814 г. находился при великом князе Константине Павловиче.

[399] *...мои 4 роббера...* – Роббер – в некоторых карточных играх (таких как винт или вист) полная игра, состоящая из нескольких партий.

[400] Мюральт (Muralt) Бернард Людвиг вон (1777–1858) – член Большого бернского совета (с 1803 г.), казначей кантона (1826), авуайер (1827).

[401] Муссон (Mousson) Жан-Марк (1776–1861) – почетный гражданин Цюриха и Берна, канцлер Швейцарии (1803–1830)

[402] Песталоцци (Pestalozzi) Иоганн Генрих (1746–1827) – швейцарский педагог.

[403] Обстоятельно описан пансион Фелленберга в «Журнале» другого путешественника, А.Д. Черткова: «Hoffwyl в 2 часах от Берна: 90 воспитанников: графов, князей, дворян лучших фамилий в особом трехэтажном доме живущих; кроме земледелия обучаются всем наукам ⟨...⟩ и 60 бедных в особом доме составляют Школу Земледелия ⟨...⟩ Первые годы они ему стоят денег, но за то в 100 раз вознаграждают его впоследствии, ибо работают его поля...» (*Чертков А.Д.* Журнал моего путешествия... С. 428). О самом Фелленберге см. примеч. 33, с. 870.

[404] *...тот самый Бондаренко...* – Речь идет о И.П. Бондаревском, о котором рассказывалось ранее (см. примеч. 357). Свербеев общался с ним и позднее в Швейцарии, приезжая туда с семьей (см.: Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год / Подг. публ. С.Р. Долговой // ПКНО. М., 1997. С. 33).

[405] *...царица-дева Юнгфрау...* – одна из самых знаменитых горных вершин в Швейцарских Альпах (4158 м): Jungfrau («Дева» (*нем.*)).

[406] *...генерал Александр Александрович Волков, женатый на Римской-Корсаковой.* – А.А. Волков (1779–1833), генерал-лейтенант, московский полицмейстер (1806–1816), московский комендант (1816–1821), начальник московского жандармского округа (с 1826 г.). Его женой была Софья Александровна Римская-Корсакова (1787–1868).

[407] *Родители его, очень богатые орловские помещики, путешествовали с двумя мальчиками...* – Имеются в виду супруги Тургеневы: Сергей Николаевич (1793–1834), полковник в отставке, и Варвара Петровна (урожд. Лутовинова) (1787–1850), а также их сыновья: Николай (1816–1879) и Иван (1818–1883), будущий писатель.

[408] Щербатов Федор Александрович (1802–1827) – поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, адъютант Ф.П. Уварова (1820–1824), старший брат супруги Д.Н. Свербеева.

[409] *...своей родной, а моей двоюродной по мужу сестры Обресковой...* – Софья Александровна Обрескова (урожд. княжна Щербатова) (1800–1824) была родной сестрой Ф.А. Щербатова и супругой двоюродного брата Свербеева П.А. Обрескова.

[410] *...был завербован в тайное общество, из которого вышли декабристы...* – По материалам следствия над декабристами считается, что Ф.А. Щербатов знал о существовании тайного общества, но членом его не был. Эта осведомленность была оставлена Следственным комитетом без внимания.

[411] Уваров Федор Петрович (1773–1824) – генерал от кавалерии (1813); командующий гвардейским корпусом (с 1821 г.).

[412] *...глухого Guigerd...* – Неточно дана фамилия (очевидно, спутан Guigerd de Prangin – см. примеч. 741). Это – Фредерик Шарль Жан Гинжан (Gingins) де Ла Capa (La Sarraz) (1790–1863), барон, переводчик документов в бернской канцелярии (1817–1828). Глухота (с 1811 г.) помешала ему сделать военную карьеру; автор трудов по ботанике и истории, один из основателей (в 1837 г.) Исторического общества Западной Швейцарии, с 1847 г., его почетный президент; почетный доктор Бернского университета (1844), профессор в Академии Лозанны (1854).

[413] Графенрид (Graffenried) Франц, фон (1768–1837) – полковник, командующий бернской муниципальной полицией (1819–1829).

[414] Молоствов Памфамир (Понфамир) Христофорович (1793–1828) – участник Отечественной войны 1812 г., полковник лейб-гвардии Гусарского полка, с 1823 г. – в отставке; знакомый А.С. Пушкина. Сын упоминаемого далее Христофора Львовича Молоствова (1758–1842), гвардии прапорщика в отставке.

[415] *...моего отца...* – Яков Петрович Чаадаев (1745–1795), офицер Семеновского полка, в 1775 г. вышел в отставку подполковником; председатель 2-го департамента Верхнего земского суда (1781), драматург.

[416] *...с Чертковым...* – Очевидно, Дмитрий Васильевич Чертков, награжденный орденом Св. Георгия 4-й степени в 1791 г. после Русско-шведской войны (1788–1790). Я.П. Чаадаев в эти годы уже был в отставке.

[417] *...назвал его... фурманом...* – Фурман – хозяин фуры или извозчик на ней – так называли перевозчиков в южнорусских губерниях.

[418] *...ордена Черного орла...* – Высший орден Пруссии, учрежденный в 1701 г., им награждали иностранных правителей и принцев королевской крови.

[419] *...памятник великому avoyer'у Эрлаху...* – Памятник Рудольфу фон Эрлаху (Erlah) (1299–1360), лидеру швейцарских конфедератов в битве при Лаупене, был установлен в 1849 г. на соборной площади; позднее перемещен на площадь у городского театра.

[420] *...основателю Берна герцогу Церингенскому...* – Бертольд V (ок. 1160–1212), герцог Церингенский (с 1186 г.); основатель (в 1191 г.) Берна. Он умер, не оставив потомства, став последним герцогом Церингенским, – поэтому замечание Свербеева о нем, как о родоначальнике вюртембергской династии, неверно.

[421] *...швейцарской диэты...* – Так называлось заседание швейцарского парламента.

[422] *...гризонского депутата из Coire... Planta.* – Вероятно, имеется в виду Флориан вон Планта (Planta) (1763–1843), член Малого совета (1807–1829), депутат Большого совета (до 1834 г.), принадлежавший к знатной швейцарской фамилии, известной с XIII в.

[423] Скотт (Scott) Вальтер (1771–1832) – английский писатель, историк.

[424] *...мы, русские, с нашим поверенным в делах должны были занять самое последнее...* – Речь идет о том, что в соответствии с дипломатическим протоколом места представителям иностранных государств на официальных церемониях отводились в порядке старшинства дипломатического ранга представителей. Первые места занимали чрезвычайные послы, затем послы, посланники и, наконец, поверенные в делах.

[425] *Теперь оно [знамя]... виднеется... как знамя христианского милосердия.* – Видоизмененный швейцарский флаг (красный крест на белом фоне) стал эмблемой международного движения Красного креста, зародившегося в Швейцарии в 1863 г.

[426] *...подобно чудесному Labarum (знамени царя Константина)...* – Labarum – это штандарт римского императора Константина Великого (ок. 280–337) с монограммой имени Христа. По легенде, перед битвой с соперниками в борьбе за престол Константин увидел в небе знамение креста – он велел прибить к щитам своих воинов монограмму имени Христова и одержал победу.

[427] *Жена его...* – Каролина Жанна Талейран-Перигор (урожд. д'Аржи (d'Argy)) (1791–1847), баронесса, супруга (с 1804 г.) О.Л. Талейрана-Перигора.

[428] *...сын, который... был министром иностранных дел...* – Лионель де Мутье (de Moustier) (1817–1869), маркиз, министр иностранных дел Франции (1866–1868).

[429] Бертье (Berthier) Луи Александр (1753–1815) – французский маршал, начальник главного штаба наполеоновской армии (1805–1814); князь Невшательский (с 1806 г.).

[430] *...искать себе службы на капитуляциях в швейцарских отрядах...* – Капитуляцией назывался договор, который родовитый швейцарский гражданин подписывал с властями того государства, в войсках которого (в составе швейцарского отряда) он обязывался служить определенный срок за вознаграждение.

[431] *...Lady Frances Compton...* – леди Френсис Комтон (Compton) (1758–1832), знатная англичанка, владелица библиотеки.

[432] *...у красавицы, вдовы или разводной, не знаю, Lady Webster.* – Вероятно, Элизабет Вассал Фокс (Vassall Fox) баронесса Холланд (Holland) (1871–1845), леди Вебстер

(жена баронета Годфри Вебстера) с 1786 по 1797 г. Получив развод, она вышла замуж вновь. Светская дама и поклонница Наполеона Бонапарта. В 1820-е годы ее правильнее было бы называть леди Холланд.

433 Ваттенвиль (Wattenwyl) (урожд. фон Эрнст (von Ernst)) Луиза Элизабет Эмилия – жена авуайера Н.Р. Ваттенвиля.

434 *...Ida Fischer...* – Ида де Фишер (Fischer) (в замуж. Стетлер (Stettler)) (ок. 1808–?).

435 *...старичку Guingens, отцу... приятеля.* – Барон Шарль Луи Габриель Гинжан (Gingins) де Ласара (La Sarraz), отец Фредерика Гинжана, приятеля Свербеева.

436 Штейгер (Steiger) Иоганн Рудольф вон (1789–1857) – член швейцарского парламента (с 1821 г.), префект Интерлакена (1822–1832).

437 *...после тамошней революции...* – Имеется в виду образование в 1832 г. конкордата семи кантонов, которые выдвинули программу преобразований в Швейцарии.

438 Чертков Александр Дмитриевич (1789–1858) – историк, библиофил; основатель известной Чертковской библиотеки; автор записок о путешествии в 1822–1824 гг. по Австрии, Италии и Швейцарии. Свербеев имеет в виду его книгу «Воспоминания о Сицилии» (М., 1835–1836. Ч. 1–2). Недавно изданы путевые дневники Черткова, путешествовавшего почти одновременно со Свербеевым по Европе (*Чертков А.Д.* Журнал моего путешествия по Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии... М., 2012).

439 *...Jean Baptiste Say.* – Жан Батист Сей (1767–1832), французский экономист.

440 Ботт (Bautte) Жан Франсуа (1772–1837) – женевский часовщик, основатель компании «Moulinié et Bautte».

441 *...потира и дискоса.* – Чаша и блюдо, используемые при совершении литургии.

442 *...графом де Saint-Criq...* – Пьер Лорент Бартелеми де Сен-Крик (Saint-Cricq) (1772–1854) – граф, директор французских таможен (с 1815 г.), министр коммерции и колоний (1828–1829).

443 Амвросий Медиоланский (ок. 340–397) – церковный деятель, богослов; епископ Медиоланский (Миланский) (с 374 г.); христианский святой.

444 Антоний Падуанский (1195–1231) – монах-францисканец, проповедник; христианский святой.

445 *...до самого готического храма.* – Свербеев ошибочно называет собор Св. Марка готическим храмом: при наличии некоторых готических элементов в его убранстве исследователи считают его образцом византийской архитектуры в Западной Европе, дополненным элементами разных стилей.

446 Тинторетто (Tintoretto) Якопо (наст. имя – Якопо Робусти) (1518–1594) – итальянский художник позднего Возрождения.

447 *...Жиотто и Чимабуэ...* – Джотто ди Бондоне (Giotto di Bondone) (1266(1267)–1337), итальянский художник и архитектор эпохи Проторенессанса. Чимабуэ (Cimabue) (наст. имя Ченни ди Пено) (ок. 1240 – ок. 1302), флорентийский художник эпохи Проторенессанса.

448 *...матери...* – Мари Анна де Ватвиль де Молен (de Watteville de Mollens), в замужестве Гинжан (Gingins) (1764–1819) – мать Ф.Ш. Гинжана де Ласара.

449 *...женился он на m-lle de Naville d'Eclepan...* – Свербеев ошибается: с 1830 г. женой его швейцарского друга была Иделина Маргарита Фредерика де Бомон (de Beaumont) (урожд. де Сенье (de Seigneux)) (1799–1851). Такая ошибка связана,

вероятно, с именем другой ветви швейцарского семейства: Гинжан Д'Эклепен (Gingins d'Eclépens).

[450] *...Мадзини и Гарибальди...* – Джузеппе Мадзини (Mazzini) (1805–1872), итальянский политический деятель, один из вождей движения за воссоединение Италии; глава Римской республики в 1849 г., писатель; Джузеппе Гарибальди (Garibaldi) (1807–1882), народный герой Италии, участник сражений за независимость Италии, сыгравший важную роль в объединении страны.

[451] *...что Пий IX... дойдет скоро до провозглашения своей непогрешимости.* – Свербеев имеет в виду то, что в июле 1870 г. по настоянию папы римского (с 1846 г.) Пия IX (1792–1878) Вселенский собор в Ватикане провозгласил догмат о непогрешимости папских решений в области веры и нравственности.

[452] *...в 1861 году...* – Очевидно, описка, так как история с Н.И. Трубецким, уже рассказанная ранее (с. 776, примеч. 740), по контексту относится к 1821 г.

[453] Виктор Эммануил II (1820–1878) – король Пьемонта, Савойи и Сардинии, а с 1861 г. король объединенной Италии.

[454] *...женат на княжне из рода Рюрика.* – В 1827 г. Свербеев женился на княжне Е.А. Щербатовой, принадлежавшей к фамилии, считавшей своим предком легендарного Рюрика, основателя древнерусского государства.

[455] *...его брата...* – Анри Виктор Луи Гинжан (Gingins) де Ласара (La Sarraz) (1792–1874), барон, член Бернского Малого совета (1825); с 1829 г. офицер 4-го швейцарского полка в Неаполе, полковник (с 1837 г.), бригадный генерал (1848); с 1848 г. в отставке.

[456] *...две дочери...* – Из пяти дочерей Анри Гинжана с отцом жили незамужние: Шарлотта Иоланда Луиза (1821–1885), Мари Анна София (1828–1902) и Фредерика София Каролина (1834–1885). Вероятно, речь идет о двух первых.

[457] *...два сына, один инженер...* – Из большой семьи барона Анри Гинжана, сыновья которого служили офицерами (а один погиб, сражаясь вместе с отцом в Италии), Свербеев называет инженером, очевидно, капитана Оливера Гинжана (Gingins) (1831–1870), судя по словам мемуариста о его гибели (он погиб в Маконе во Франции, а не в Лионе, как пишет Свербеев). Второй упомянутый сын, вероятно, Шарль Матиас де Гинжан (Gingins) (1823–1893), федеральный полковник (1870), швейцарский общественный деятель, унаследовавший часть замка Ласара от дяди Ф.Ш. Гинжана.

[458] *...филатуры...* – прядильной фабрики (от фр. filature).

[459] Глаголев Андрей Гаврилович (1793–1844) – доктор словесности (с 1823 г.), чиновник Министерства народного просвещения (с 1828 г.), писатель.

[460] Смирнов Николай Михайлович (1808(1807)–1870) – служащий миссии во Флоренции (1825–1828); губернатор калужский (1845–1851) и петербургский (1855–1861), сенатор (1861–1866), с 1832 г. муж А.О. Россет.

[461] *...суровым батюшкой.* – Михаил Михайлович Девиер (1766–1850), граф, майор, отец А.М. Девиера.

[462] Репнина-Волконская (урожд. графиня Разумовская) Варвара Алексеевна (1778–1864) – княгиня, супруга князя Н.Г. Репнина, известная благотворительница, содействовавшая устройству Елизаветинского и Павловского институтов.

[463] *...мальчик рассеянный, сестры его молоденькие еще девушки...* – Дети князя Н.Г. Репнина-Волконского: Василий, Александра (в замуж. графиня Кушелева-

Безбородко) (1805–1836), Елизавета (в замуж. Кривцова) (1817–1855) и Варвара (1808–1891), писательница-мемуаристка, фрейлина.

464 *...альмавиву...* – накидку, широкий плащ без рукавов, называвшийся по имени графа Альмавивы из «Сивильского цирюльника».

465 *...госпожа Смирнова...* – Феодосья Петровна Смирнова (урожд. Бухвостова) (1788–1814). Встречающийся в литературе год смерти матери Н.М. Смирнова (1814) ставит под сомнение замечания Д.Н. Свербеева о Ф.П. Смирновой.

466 *...своей сестрицы...* – Смирнова София Михайловна (1809–1835).

467 *...мордоре...* – красно-коричневый цвет с металлическим отливом (от *фр.* maurdoré – букв. «позолоченный мавр»). Был особенно модным в первой трети XIX в.

468 *...madame de Varens...* – Франсуаза Луиза де Варан (Warens) (1699–1762), покровительница Ж.-Ж. Руссо.

469 *...Иван Яковлевич Руссо.* – Так, на русский манер, автор называет Жан Жака Руссо.

470 *...купил... подмосковную графини Лаваль...* – Вероятно, речь идет о покупке после смерти в 1850 г. А.Г. Лаваль сельца Веледниково на р. Истре, недалеко от Москвы-реки.

471 *...того выходца из Португалии, который, женившись на сестре... Меншикова, добыл себе и важный чин, и графство...* – Имеются в виду: Антонио Эммануэль (Антон Мануилович) Девиер (De Vieira) (1673(1682)–1745), граф (с 1726 г.), денщик Петра I, санкт-петербургский генерал-полицмейстер (1718–1727), женатый на Анне Даниловне Меншиковой (1689 – после 1727), сестре Александра Даниловича Меншикова (1673–1729), сподвижника Петра I, светлейшего князя (с 1707 г.), генералиссимуса.

472 Игнатьев Павел Николаевич (1797–1879) – граф (с 1877 г.), петербургский военный генерал-губернатор (1855–1861), генерал от инфантерии (с 1859 г.). П.Н. Игнатьев был петербургским военным генерал-губернатором как раз в то время, когда Н.М. Смирнов служил там гражданским губернатором.

473 *...секретаря королевы Анны Павловны...* – Анна Павловна, дочь Павла I, с 1840 г. королева Нидерландов и ее бессменный секретарь с 1816 г. Карл Иванович Шульц (1793–1858), писатель, доктор философии. О семье последнего писал его давний знакомый Н.И. Греч (см.: *Греч Н.И.* Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии. СПб., 1847. С. 118).

474 *... семейство Бек.* – Далее упоминаются несколько представителей этой фамилии: Иван (Иоганн) Филиппович фон Бек (1735–1811), доктор медицины (с 1781 г.), гоф-хирург (с 1767 г.), лейб-медик (с 1773 г.), врач наследника престола, затем императора Павла I; его супруга (очевидно, вторая, с 1779 г.): Шарлотта Мария фон Бек (урожд. Вулферт (Wulffert)) (1760 – ?); их старший сын Александр (1779–1850), сотрудник Коллегии иностранных дел (с 1805 г.), действительный статский советник (с 1822 г.) с женой, Надеждой Яковлевной фон Бек (урожд. Мурзалимовой) (1789–1857), а также дети последних: Иван (1807–1842), чиновник миссии в Голландии, камер-юнкер, поэт; Екатерина (180?–1828) и Мария (в замуж. Лазарева) (1810–1834).

475 *...Ипполит Иванович Подчасский...* – И.И. Подчаский (Подчасский) (1792–1879), служащий Московского архива Коллегии иностранных дел (1820–1828), обер-прокурор разных департаментов Сената, затем сенатор. Его женой с 1841 г. была Елизавета Петровна (урожд. кнж. Трубецкая, в первом браке гр. Потемкина).

[476] *...почти породнился.* – Свербеев, очевидно, имеет в виду то, что жена И.И. Подчаского, Елизавета Петровна, приходилась теткой его невестке, Зинаиде Сергеевне Свербеевой (урожд. кнж. Трубецкой).

[477] *...векшами...* – т.е. белками.

[478] *...ее фактотума генерала Куливаева...* – Вероятно, Василий Семенович Кулеваев (1777–1832), генерал-майор (1823). Фактотум – доверенное лицо.

[479] Шпис Василий Иванович (1788–1849) – секретарь посольства в Париже (1818–1835); генеральный консул во Франции (с 1835 г.).

[480] *Его дядя, того же имени...* – Петр Яковлевич Убри (1774–1847), дипломат; посланник в Мадриде (1824–1835); посланник при Германском союзе (1835–1847).

[481] *...познакомиться с III отделением...* – III отделение Собственной его императорского величества Канцелярии в 1826–1880 гг. занималось цензурой, сыском и надзором за благонамеренностью подданных Российской империи.

[482] Бибиков Илларион Михайлович (1793–1860) – генерал-майор (1834), калужский губернатор (1831–1837), генерал-лейтенант (1855).

[483] Мицкевич (Mickewicz) Адам (1798–1855) – польский поэт и общественный деятель, после 1831 г. живший преимущественно в Париже.

[484] Товианский (Товяньский) (Towiański) Анжей (1799–1878) – польский религиозный философ-мистик, учитель А. Мицкевича.

[485] *...против дающего пищу боящимся его...* – Отсылка к тексту псалма: «Пищу дал боящимся Его...» (Пс. 110:5).

[486] Разумовская (урожд. кнж. Вяземская) Мария Григорьевна (1772–1865) – графиня, хозяйка светского салона (в первом браке – кн. Голицына).

[487] *...к Голицыну, жена которого была Апраксина...* – Генерал-майор князь Сергей Сергеевич Голицын (1783–1833) и Н.С. Голицына (урожд. Апраксина).

[488] Оленин Алексей Алексеевич (1798–1854) – штабс-капитан Гвардейского генерального штаба, декабрист (член «Союза благоденствия»); сын А.Н. Оленина.

[489] *...Оленин, а может быть, и Щербатов принадлежали к этому в России тайному обществу...* – А.А. Оленин действительно был членом «Союза благоденствия», тогда как Ф.А. Щербатов, хотя и знал о существовании тайного общества, но членом его не числился.

[490] Толстой Яков Николаевич (1791–1867) – старший адъютант Главного штаба (1821–1823), декабрист (член «Союза благоденствия»), в 1823–1837 гг. жил за границей, с 1826 г. на положении эмигранта. После 1837 г. смог вернуться в Россию, числился в Министерстве народного просвещения; тайный советник (1866).

[491] Алибер (Алиберт) (Alibert) Жан Луи Марк (1768–1837) – барон, французский врач-дерматолог; личный врач Людовика XVIII и Карла X.

[492] *Поэт Бек... женился на красавице еще и теперь Столыпиной; две его дочери, одна за Ламздорфом, не очень давно умерла, другая за князем Горчаковым, жива.* – Имеются в виду: жена И.А. Бека с 1837 г. Мария Аркадьевна (урожд. Столыпина, во втором браке кн. Вяземская) (1819–1889), а также их дочери: Мария (1839–1866) с мужем, графом Александром Николаевичем Ламсдорфом (1835–1902), гофмейстером; и Вера (1845(1842)–1912) с мужем, князем Дмитрием Сергеевичем Горчаковым (1828–1907), шталмейстером, коллекционером.

493 *...за кн. Вяземского, сына поэта. Дочери Бека вышли замуж. Старшая была за Лазаревым, меньшая умерла девицей.* – Вторым мужем М.А. Бек (урожд. Столыпиной) был князь Павел Петрович Вяземский (1820–1888), археограф, историк литературы, председатель Санкт-Петебургского комитета иностранной цензуры (1862–1881), сын поэта П.А. Вяземского. Говоря о «дочерях Бека», Свербеев имеет в виду упомянутых уже дочерей А.И. Бека – Марию, супругу мореплавателя контр-адмирала (с 1851 г.) Алексея Петровича Лазарева (1793–1851), и Екатерину (см. примеч. 474), ее Свербеев неверно называет «меньшой».

494 *...его отца...* – Отец А.А. Оленина: Алексей Николаевич Оленин (1763–1843), директор Публичной библиотеки (с 1811 г.), президент Академии художеств (с 1817 г.); государственный секретарь (1814–1827).

495 *В 1825 г. папа, если не ошибаюсь, еще Пий VII...* – Свербеев ошибается: в 1823 г. папу римского Пия VII сменил на святейшем престоле Лев XII (1760–1829).

496 *...дофин и его супруга, до фанатизма набожная дочь венценосной жертвы революции...* – Имеются в виду: наследник французского престола – Людовик, герцог Ангулемский (см. примеч. 311) и его жена Мария Тереза, дочь Людовика XVI и Марии-Антуанетты (см. примеч. 3 к Фрагменту 16).

497 *...с прелюбезной графиней Разумовской.* – Речь идет, очевидно, о М.Г. Разумовской (см. примеч. 486).

498 *...даже не gingette, гингетты, а гарготты...* – Имеется в виду, что обедали даже не в простой закусочной (точное написание: guinguette – кабачок, ресторанчик (*фр.*)), а в харчевне (gargote – корчма, харчевня (*фр.*)).

499 *...Мафусаил...* – дед библейского Ноя, проживший, согласно Библии, 969 лет. Нарицательное имя долгожителя.

500 *...Datas.* – Анж Иасинт Максанс де Дама (1785–1862), барон, офицер на русской службе (до 1814 г.), французский генерал (с 1815 г.), министр иностранных дел Франции (1824–1828), пэр Франции (с 1823 г.).

501 *...вроде нынешних интернационалов...* – Имеются в виду сторонники I Интернационала, основанного в 1864 г. в Лондоне.

502 *...Робеспьеров и Маратов...* – Максимилиан Робеспьер (Robespierre) (1758–1794) и Жан Поль Марат (Marat) (1743–1793), лидеры Великой французской революции, имена которых стали нарицательными.

503 *...Рейштадского герцога...* – Титул герцога Рейхштадского носил Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт (1811–1832), сын Наполеона I, считавшийся Наполеоном II. Он никогда не правил и всю жизнь прожил в Вене у деда, императора Австрии Франца I.

504 *...генералом, «cette vielle lampe puait toujoirs»...* – Генералом «старая лампа, которая вечно воняет» (*фр.*). – Имеется в виду Ж. Лафайет, бывший генерал-майором армии Соединенных Штатов, за независимость которых он успешно воевал в конце 1770-х годов.

505 *...покончить со Стюартами казнью Карла I и изгнанием... его преемника короля Иакова и призванием нового монарха из боковой династии...* – Король Англии Карл I Стюарт (1600–1649) был низложен и казнен в ходе английской революции. Король Яков (Иаков) II Стюарт (1633–1701), сын Карла I, правивший в 1685–1688 гг., после восстановления на престоле Стюартов, распустил парламент,

укреплял позиции католической церкви и был изгнан, а на трон в 1689 г. приглашен зять Якова II нидерландский штатгальтер Вильгельм III Оранский (1650–1702) вместе с женой королевой Марией (1662–1694).

[506] Павлова (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893) – писательница, поэтесса; хозяйка московского литературного салона, жена Н.Ф. Павлова.

[507] *...Blonvie...* – Фамилия, вероятно, написана с ошибкой. Имеется в виду упомянутый Свербеевым ранее сардинский дипломат, представитель сардинской ветви савойской династии де Блоне (de Blonay).

[508] *...желал министерства в Соединенных Американских Штатах.* – Речь идет о желании стать полномочным министром, т.е. послом России в этой стране.

[509] *...флигель-адъютантом Ч....* – А.И. Чернышев, который в начале 1812 г. был уличен в краже секретных бумаг военного министерства Франции (см. с. 368).

[510] *...старшего брата, нынешнего графа и фельдмаршала ...* – Федор Федорович Берг (Фридрих Вильгельм Ремберт) (1794–1874), граф (с 1856 г.), генерал-фельдмаршал (с 1866 г.), в 1863–1874 гг. наместник в Царстве Польском. В 1820–1828 гг. служил при российских посольствах в Мюнхене, Риме, Неаполе, Константинополе.

[511] *Получая тринкгельд...* – немецкое название чаевых.

[512] *...ожидал над собой следствия и суда...* – А.А. Оленин являлся членом «Союза благоденствия», был знаком и дружен со многими декабристами и, очевидно, от этого ожидал неприятностей для себя.

[513] *...о Кирилле и Мефодии...* – Мефодий и Константин (в монаш. Кирилл), славянские просветители середины IX в., составители славянской азбуки.

[514] *...Бельведер...* – резиденция правителя Царства Польского великого князя Константина Павловича.

[515] Фенш (Fenshaw) Григорий Андреевич (1789–1867) – генерал-лейтенант, сенатор; адъютант великого князя Константина Павловича (в 1813–1831).

[516] Зайончек (Зайончик) (Zajączek) Иосиф (1752–1826) – польский генерал; наместник Царства Польского (с 1815 г.).

[517] Курута Дмитрий Дмитриевич (1769–1833) – граф (с 1826 г.), генерал от инфантерии (1828); флигель-адъютант (с 1809 г.) великого князя Константина Павловича, затем (с 1816 г.) начальник его штаба.

[518] Левицкий Михаил Иванович (1761–1841) – генерал от инфантерии (1829), комендант Варшавы (с 1814 г.).

[519] *...Щербатов для своих сестер...* – Очевидно, речь идет о сестрах Ф.А. Щербатова Анне и Екатерине, будущей жене Д.Н. Свербеева.

[520] Пассек Петр Богданович (1736–1804) – камергер, генерал-губернатор Могилевского и Полоцкого наместничеств (1782–1796).

[521] *Кажется, не было и кремля.* – В начале XIX в. большинство башен Псковского кремля были разобраны или засыпаны со времен Северной войны в первой четверти XVIII в. Сейчас Кремль во Пскове восстановлен.

[522] *...об открытии верховного уголовного суда...* – Верховный уголовный суд – высший судебный орган России, был созван царским манифестом (1 июня 1826 г.) для суда над декабристами.

[523] *...к вице-канцлеру...* – Речь идет о К.В. Нессельроде. Д.Н. Свербеев неточен: вице-канцлером он стал лишь в марте 1828 г.; в 1826 г. он занимал только пост главы внешнеполитического ведомства.

[524] Дивов Павел Гаврилович (1765–1841) – дипломат, старший чиновник и управляющий делами Министерства иностранных дел; сенатор (с 1819 г.).

[525] Волконская (в замуж. Хилкова) Елизавета Григорьевна (1801 – не ранее 1873) – княжна, фрейлина.

[526] *...родным братьям...* – Кроме известного генерал-фельдмаршала Ф.Ф. Берга, у А.Ф. Берга были также родные братья: Густав (Густав Готтхард Карл) (1796–1861) и Максим (Магнус Рейнхольд Христофор) (1799–1879).

[527] *...принцессе Саксен-Гота...* – Герцогиня Мария Саксен-Кобург-Готская (урожд. герцогиня Вюртембергская) (1799–1860); она была племянницей императрицы Марии Федоровны и вел. кн. Анны Федоровны и жила тогда в Петербурге.

[528] *...отцу, какому-то штадт-лекарю...* – Федор Андреевич Фурман, приглашенный из Саксонии агроном, надворный советник.

[529] *...тот самый Фурман...* – Декабрист Андрй Федорович Фурман (1795–1835), капитан Черниговского пехотного полка, осужденный на поселение в Сибирь на 20 лет.

[530] *...брат, уже занимавший... важное место в Царстве Польском...* – Роман Федорович Фурман (1784–1851), вице-директор департамента внешней торговли Министерства финансов (1824–1831); член временного правления Царства Польского (с 1831 г.); главный директор, председательствующий в правительственной комиссии финансов и казначейства Царства Польского (1832–1845).

[531] *...Анне Алексеевне, за которой волочился Пушкин...* – А.А. Оленина (в замуж. Андро, графиня де Ланжерон) (1808–1888), которой в 1828–1829 гг. был увлечен А.С. Пушкин и, по свидетельствам современников, даже сватался, но получил отказ родителей избранницы.

[532] *...жена и дочь [А. Н. Оленина]...* – Елизавета Марковна Оленина (урожд. Полторацкая) (1768–1838), хозяйка салона, и А.А. Оленина.

[533] Урусов Сергей Николаевич (1816–1883) – князь, статс-секретарь, сенатор, член Государственного совета (с 1867 г.), главноуправляющий II Отделения Собственной его императорского величества канцелярии.

[534] Байков Илья Иванович (1768–1838) – лейб-кучер двора его императорского величества, кучер Александра I (1804–1825).

[535] *...их двух сыновей...* – Имеются в виду сыновья А.Н. Оленина: Алексей и Петр. Петр Алексеевич Оленин (1794–1868) – генерал-майор, художник-любитель.

[536] *...Варвара Марковна...* – Свербеев ошибается, путая имя Елизаветы Марковны Олениной, очевидно, с именем ее сестры, Варвары Марковны Полторацкой (в замуж. Мертваго).

[537] Волконский Петр Михайлович (1776–1852) – князь, с 1834 г. светлейший князь; начальник Главного штаба (1815–1823); генерал-фельдмаршал (с 1850 г.); министр Двора и уделов (1826–1852).

[538] *...на похоронах принцессы Шарлоты, несчастной супруги злополучного царевича Алексея Петровича...* – Принцесса София Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1694–1715), супруга царевича Алексея Петровича (с 1711 г.).

[539] *...за гробом своего сына цесаревича Николая...* – Николай Александрович (1843–1865), страший сын и наследник императора Александра II, скоропостижно скончался в ходе заграничного турне от туберкулезного менингита.

[540] Горсткин Иван Николаевич (1798–1876) – чиновник Московского губернского правления, декабрист. Он был отправлен в Вятку, а не в Тобольск, как пишет Свербеев.

[541] *...с двумя дочерьми...* – Речь идет о дочерях А.А. Кикина: Марии (в замуж. Бабиной) и Прасковье (в замуж. Беккер).

[542] *...смертной казни Пестеля с четырьмя товарищами...* – Полковник, декабрист Павел Иванович Пестель (1793–1826) был казнен вместе с С.И. Муравьевым-Апостолом (см. примеч. 380, с. 812), Кондратием Федоровичем Рылеевым (1795–1826), Михаилом Павловичем Бестужевым-Рюминым (1801–1826) и Петром Григорьевичем Каховским (1797–1826).

[543] *...приятель мой, сын тогдашнего петербургского генерал-губернатора Павла Васильевича Кутузова...* – Вероятно, приятелем Свербеева был граф Василий Павлович Голенищев-Кутузов (1803–1873), граф, флигель-адъютант (1831), впоследствии генерал-лейтенант (1868), старший сын П.В. Голенищева-Кутузова (1773–1843), графа (с 1832 г.), генерала от кавалерии (1826), петербургского генерал-губернатора (1826–1830).

[544] *Петр Андреевич Кикин, почему-то не умевший или не хотевший поближе сойтись с новым государем...* – Причину охлаждения нового монарха к П.А. Кикину осведомленные современники видели в следующей истории: «На прошлой неделе, в канцелярии статс-секретаря у принятия прошений Кикина случилось происшествие, обратившее на себя всеобщее внимание. Один из его чиновников... обвинен и уличен самим императором в лихоимстве. На него донес крестьянин. Его посадили на гауптвахту. Говорят различно о том, каким образом и кем были собраны улики против него; кажется, этими розысками руководил генерал Бенкендорф, начальник тайной полиции. Кикин, со своей стороны, сказал мне, что он приписывает все это дело интригам генерала Дибича и Нессельроде. Мне кажется, что он имеет основание так думать потому, что его не уведомили, когда открылась вина его подчиненного... несомненно, что с этих пор император более не работал с Кикиным» (см.: Петербург в 1825–1826 годах (По дневнику П.Г. Дивова) // РС. 1897. Вып. 3. С. 481).

Здесь упоминается Иван Иванович (Иоганн Карл Фридрих Антон) Дибич-Забалканский (1785–1831) – барон, граф (с 1827 г.); генерал от инфантерии (1826); начальник Главного штаба (1824).

[545] *...Гваренги...* – Джакомо Кваренги (Quarenghi, Guarenghi) (1744–1817) – архитектор, живописец.

[546] *...в отличие от другого Шульгина же, назначенного на его место...* – Имеются в виду: генерал Дмитрий Иванович Шульгин (1785–1854), московский обер-полицмейстер (1825–1830), и его предшественник Александр Сергеевич Шульгин (ок. 1775–1841), генерал-майор, московский обер-полицмейстер (1816–1825).

[547] *В коронацию переделали его из полковника Генерального штаба в советники нашего посольства в Константинополе с чином д[ействительного] с[татского] с[оветника]...* – По случаю коронации обычно производились награждения и повышения в чинах и должностях. В данном случае Ф.Ф. Берг был повышен на один класс (с V до IV класса).

[548] Шаликов Петр Иванович (1767–1852) – князь, поэт, журналист.

[549] Долгорукий Михаил (Рафаил) Иванович (1801–1826) – князь, чиновник Министерства иностранных дел, секретарь российского посольства во Флоренции, с 1826 г. титулярный советник, брат В.И. Новиковой (см. с. 762, примеч. 594).

[550] Диоген (ок. 412–323 до н.э.) – древнегреческий философ. Мемуарист отсылает к его известной фразе «Ищу Человека».

[551] Госнер (Goβner) Иоанн-Евангелист (1773–1858) – проповедник в Санкт-Петербурге (1820–1824), в 1826 г. перешел из католичества в протестантизм; миссионер.

[552] *...в радениях г-жи Татариновой и ученика ее генерала Головина...* – Обряд радения был перенят Е.Ф. Татариновой из учения скопцов. На собраниях ее кружка читали священные книги, пели песни на простонародные напевы, затем начинались «радения», или «кружения», которые производились в специальных костюмах. Евгений Александрович Головин (1782–1858), генерал от инфантерии, командир Отдельного Кавказского корпуса (1837–1842), генерал-губернатор Прибалтийского края (1845–1848), член Государственного совета (с 1848 г.).

[553] *...женатый на родной его сестре...* – Здесь имеется в виду «женатый на родной сестре его жены».

[554] *...у него [А. Я. Булгакова] были две красивые дочки...* – Булгаковы: Екатерина (1811 – 1880) (в замужестве Саломирская) и Ольга (1814–1865) (в замужестве княгиня Долгорукова).

[555] *...она умерла во время моего отсутствия... оставив после себя трех сирот...* – Варвара Александровна умерла 5 марта 1826 г., вскоре после родов. Известно о двух ее сыновьях. Это Воронцовы-Вельяминовы: Николай Николаевич (1824–1864), писатель и журналист, и Павел Николаевич (1826–1881), цензор Московского цензурного комитета.

[556] Малиновский Алексей Федорович (1762–1840) – историк, археограф, главный управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел (с 1814 г.).

[557] *...отца недавно умершей княгини Долгорукой...* – Екатерина Алексеевна Долгорукова (Долгорукая) (урожд. Малиновская) (1811–1872), переводчица, дочь А.Ф. Малиновского.

[558] *...у одного из чиновников Ждановского...* – Очевидно, дом одного из старейших чиновников архива Коллегии иностранных дел Ивана Ждановского, служившего там с 1780-х годов и активно участвовавшего в эвакуации архива в 1812 г. В архиве служил и его сын Николай Иванович Ждановский (?–1876).

[559] Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844), граф (с 1832 г.), генерал-адъютант, шеф жандармов (1826–1844), главный начальник III отделения Собственной его императорского величества канцелярии.

[560] *...мой «alter ego», сын мой...* – Дмитрий Дмитриевич Свербеев, один из младших сыновей мемуариста, отец семерых детей.

[561] *...я сделал предложение... восемнадцатилетней княжне Екатерине... и получил согласие.* – Выбор Дмитрия Николаевича оценили многие друзья его, а восторженный Н.М. Языков замечал о приятеле в 1831 г.: «Как он счастлив! Даже со стороны завидно» (Эпоха 1830-х годов в письмах Н.М. Языкова. С. 280). О свадьбе Е.А. Щербатовой и Д.Н. Свербеева неоднократно писал брату А.Я. Булгаков. 10 марта 1827 г. он сообщал: «Ты, я думаю, помнишь молодого Свербеева, бывшего при Швейцарской миссии с Крюднером, он только что женился на молодой княжне Щербатовой. Он занемог горячкою, и говорят, что болезнь берет дурной оборот» (Из писем Александра Яковлевича Булгакова к его брату // РА. 1901. Т. III. Вып. 9. С. 24).

ОЧЕРКИ И ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.

МОСКОВСКИЕ ПОЖАРЫ 1812 г.

[1] Очерк публикуется по изданию 1899 г. со сверкой по писарской рукописи (ФС. Д. 11) и с первой публикацией в «Вестнике Европы». Обнаруженные расхождения отмечены в примечаниях.

Впервые заметка о московских пожарах, написанная в швейцарском городке Веве в конце 1869 г., была опубликована в «Вестнике Европы» под заглавием «Воспоминания о московских пожарах 1812 года» и подписана «А.Свербеев» (ВЕ. 1872. Т. VI. Нояб. С. 303–320; далее – ВЕ). Фактически в эту публикацию вошли две заметки (объединенные в одну): о пожарах и о московском духовенстве в 1812 г., в дальнейшем публиковавшиеся отдельно. Позднее заметка о пожарах была перепечатана в издании 1899 г. в рамках цикла мемуарных очерков об Отечественной войне 1812 года, где был представлен расширенный, по сравнению с публикацией 1872 г., вариант текста: добавлен эпиграф, помещены «Дополнения», восстановлен ряд других фрагментов текста, не попавших в первую публикацию, вероятно, как отступление от главной темы воспоминаний. Изменилось и название заметки – из нее, как и из самого текста, было убрано слово «воспоминания» (вместо него появилось: «замечания»), так как воспоминаний в прямом смысле слова 12-летнего Дмитрия Свербеева там содержится совсем немного.

«Воспоминания о московских пожарах 1812 г.» (вместе с заметкой о московском духовенстве в 1812 г. и статьей о Верещагине) были отправлены Свербеевым в Москву из Парижа в предновогодние дни 1869 г. – для прочтения немногими знакомыми и пересылки М.Н. Лонгинову, с которым мемуарист обсуждал возможности публикации этих воспоминаний. Однако П.И. Бартенев, живо интересовавшийся темой Отечественной войны, получив эти материалы для написания краткого отзыва, не спешил с ними расставаться. Д.Н. Свербеев в переписке неоднократно обсуждал с ним свой очерк о пожарах, но, ссылаясь на публикацию близких по теме материалов в недавних номерах «Русского архива» (некоторыми он даже воспользовался), помещать его в этом журнале не предполагал. Бартеневу он предлагал лишь заметку о Верещагине, задуманную как ответ М.А. Дмитриеву (РГАЛИ. Ф. 46 (П. И. Бартенев). Оп. 1. Д. 561. Л. 654–655; Д. 562. Л. 4–5 об. и др.).

В итоге младшие Свербеевы, находившиеся в Москве и распоряжавшиеся материалами отца, поступавшими из Европы, в многочисленных письмах-записках стремились «вернуть» заметку, оставленную на прочтение Бартеневым: «...усердно прошу Вас прислать мне статью отца моего о пожаре Москвы в 12-ый год, которую я вчера поручила супруге вашей, – писала Бартеневу Варвара Дмитриевна Арнольди, старшая дочь Д.Н. Свербеева. – Не имея на нее никакого личного права, я должна немедленно передать ее по принадлежности, и убедительно прошу вас теперь, сейчас вручить ее подателю этой моей к вам записки. Вы, может быть, ее прочли, а в таком случае сделаете нам одолжение сохранить о ней тайну до печатания – эта же тайна могла бы затруднить, я думаю, только женщину,

и поэтому не смею сомневаться в добросовестности вашей, по дружбе к моему отцу» (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 562. Л. 21–21 об.). Варваре Дмитриевне вторила сестра Екатерина, прося возвратить заметку о духовенстве и разыскивая «затерянную» статью о пожарах 1812 г. (Там же. Л. 43–44).

В конечном счете воспоминания о пожарах вышли не так скоро, как предполагал мемуарист, и с сокращениями. В дальнейшем Д.Н. Свербеев дорожил «издательской дружбой» с Бартеневым и уже не стремился отдавать материалы в другие издания.

[2] *Nous ne devons pas... Renan...* – Свербеев цитирует начало работы французского писателя, историка и филолога Жозефа Эрнеста Ренана (Renan) (1823–1892) «Конституционная монархия во Франции» (1870). В тексте публикации, помещенной в «Вестнике Европы», этот эпиграф отсутствует.

[3] Этот абзац, как и два последующих, отсутствует в публикации 1872 г. в «Вестнике Европы».

[4] *...адмирал Чичагов, которому дано было полномочие заключить мир с Турцией...* – Мирный договор с Турцией был подписан 16 мая 1812 г. генералом от инфантерии М.И. Кутузовым (будущим генералом-фельдмаршалом). Адмирал П.В. Чичагов прибыл к Дунайской армии и принял командование ею уже после подписания Бухарестского мирного договора.

[5] *Несколько лиц, занимавших важнейшие государственные должности...* – Эти лица, составлявшие Чрезвычайный комитет при императоре Александре I: генерал-фельдмаршал Н.И. Салтыков, петербургский главнокомандующий С.К. Вязмитинов, кн. П.В. Лопухин, кн. В.П. Кочубей, генерал А.Д. Балашов – поставили перед императором вопрос о назначении главнокомандующим М.И. Кутузова. После трехдневных размышлений 8 августа 1812 г. государь издал указ об этом назначении.

[6] *...его воспел Пушкин.* – Свербеев имеет в виду стихотворение А.С. Пушкина «Полководец» (1835), посвященное М.Б. Барклаю де Толли.

[7] Рибас Иосиф (Хосе) (don Ioseph de Ribas-y-Boyons) де (1749–1800) – испанец по происхождению, адмирал русского флота, участник русско-турецких войн, строитель Одесского порта. Отличался хитростью и изворотливостью.

[8] *...таково собственное признание Ермолова в собственных его «Записках».* – В «Записках» Ермолов характеризует свою позицию на совете в Филях несколько туманно: «Не решился я, как офицер, не довольно еще известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласие на оставление Москвы и, не защищая мнения моего, вполне не основательного, предложил атаковать неприятеля» (Записки А. П. Ермолова: 1798–1826 гг. М., 1991. С. 203). Свербеев, очевидно, был знаком с изданием «Записок», предпринятым в 1864–1868 гг.

[9] В рукописи добавление: «...оно поддерживалось тогдашними газетными, официальными и частными известиями» (ФС. Д. 11. Л. 28 об.). Эта же фраза присутствует в публикации 1872 г. в «Вестнике Европы» (ВЕ. С. 304).

[10] Свербеев цитирует слова молитвы из «Последования благодарственного и молебного пения ...в день Рождества... и воспоминания избавления Церкве и державы Российския от нашествия галлов и с ними два́десяти язык».

В рукописи этот фрагмент цитируется несколько иначе, очевидно, Свербеевым по памяти: «Прииде бо глагол страшный сей, яко на Израиля и на отцы наши: яко аще не послушаем гласа Твоего изведши на них язык безстуден лицем, иже сокрушит их во градех их дондеже разрушатся стены их. Но ты, Господи, призрел бо еси на скорбь нашу и на потребление царствующего града, идеже от лет древних призывалось Имя Твое» (ФС. Д. 11. Л. 28 об.– 29, выделено в рукописи). Такая же цитата из молебна помещена в «Вестнике Европы» (ВЕ. С. 304).

11 *...сожжена...* – В рукописи и в публикации 1872 г. здесь повторяется церковнославянское слово «потреблена» (т.е. «истреблена») из молебна.

12 Ивашкин (Ивашкин 1-й) Петр Алексеевич (1762–1823), генерал-майор (1809), московский обер-полицмейстер (1809–1816).

13 Это и следующее предложения отсутствует в публикации 1872 г. (ВЕ. С. 306).

14 Это предложение отсутствует в публикации 1872 г. (ВЕ. С. 307).

15 *Общественное мнение об этом вопросе... до апогея...* – Этот язвительный выпад в публикции 1872 г. заменен на короткое: «Общественное мнение возвело этот вопрос до апогея...» (ВЕ. С. 307).

16 Сегюр (de Ségur) (урожд. гр. Ростопчина) Софья Федоровна де (1799–1874), графиня, писательница.

17 Цитируются примечания издателя П.И. Бартенева (1829–1912) к публикации «Рассказы и воспоминания французов. 1812»): [*Изарн Ф.Ж. де*]. Воспоминания московского жителя о пребывании французов в Москве в 1812 году // РА. 1869. Вып. 9. Стб. 1443.

18 *Я уже сказал в моих «Записках», что...* – Эта фраза закономерно отсутствует в публикации 1872 г., так как публикации основного текста «Записок» тогда не предполагалось.

19 В рукописи последняя фраза звучит так: «...испорчен разбогатевшим откупщиком Шиповым» (ФС. Д. 11. Л. 31). Речь идет о доме, находящемся и ныне по адресу Большая Лубянка, 14. Им с 1857 г. владела семья Николая Павловича Шипова (1806–1887), землевладельца-новатора и фабриканта, члена Московского общества сельского хозяйства.

20 Богданович Модест Иванович (1805–1882) – генерал-лейтенант, военный историк. Точное название его упомянутой книги: «История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам» (СПб., 1859–1860. Т. 1–3).

21 *...в виде гибели Сагунта...* – М.И. Богданович отсылает читателя к событиям Второй Пунической войны, когда в 218 г. до н. э. при взятии карфагенянами города Сагунт жители сами сжигали свои дома и имущество и даже бросались в огонь.

22 *...к которым обращаются ...видят ... постоянно живущий протест...* – Эти фразы в публикации 1872 г. заменены кратким: «...те, которые в них видят постоянно живущий проест...» (ВЕ. С. 310).

23 Замечание в скобках в публикации 1872 г. отсутствует (ВЕ. С. 310).

24 Вильгельм Телль (Tell) – легендарный народный герой Швейцарии, живший в конце XIII – начале XIV в., олицетворяющий борьбу швейцарцев против власти Габсбургов.

25 Здесь в публикации 1872 г. вставлено пояснение: «для Гельвеции» (С. 310).

[26] Вместо этого предложения в публикации 1872 г. напечатано: «Кто же были подвигоположники Ростопчина?» (ВЕ. С. 311).

[27] В рукописи Свербеев добавляет: «Припомним себе на ушко дворцовые перевороты 1762 и 1801 г.; подвижники того времени не прятались. Вспомним и неудавшееся восстание 1825 г. Одним словом, никакое великое общественное дело не обошлось без того, чтобы не вырастал из него целый головой какой-нибудь подвижник, какой-нибудь деятель» (ФС. Д. 11. Л. 32).

[28] *...о том загадочном шаре, который... изготовлялся... Шмидтом...* – Речь идет об управляемом аэростате немецкого механика Франца Леппиха (1775–1818), который он строил в большой тайне под наблюдением Ф.В. Ростопчина в деревне Воронцово в 7 верстах от Москвы. В Россию Ф. Леппих приехал с документами на имя Генриха Шмидта и под этим именем был известен в Москве. Аэростат предполагалось использовать в боевых действиях против наполеоновской армии. Работы Ф. Леппиха не дали ожидаемого результата и были прекращены.

В публикации 1872 г. это предложение начинается с фразы: «Кстати будет здесь упомянуть...» (ВЕ. С. 311).

[29] Гудович Иван Васильевич (1732–1820) – граф (с 1797 г.), генерал-фельдмаршал, в 1809–1812 гг. – главнокомандующий в Москве до Ф.В. Ростопчина.

[30] Толстой Николай Александрович (1765–1816) – граф, президент Придворной конторы. В 1812 г. – обергофмаршал.

[31] Свербеев далее цитирует близко к тексту по публикации: «Из воспоминаний о селе Грузине, имении графа Аракчеева в 1826 году / Подгот. публ. А. Языков // РА. 1869. Вып. 9. Стб. 1466–1467.

[32] *...дал прожектеру что-то делать...* – В «Русском архиве» и публикации 1872 г.: «...дал прожектеру средства что-то делать» (РА. 1869. Вып. 9. Стб. 1467; ВЕ. С. 313).

[33] *...Для народа...* – В «Русском архиве» и публикации 1872 г. начало предложения следующее: «Тогда только мне все прояснилось: для народа...» (РА. 1869. Вып. 9. Стб. 1467; ВЕ. С. 313).

[34] Свербеев цитирует с небольшими искажениями, пропусками и комментариями по: [*Изарн Ф.Ж. де*]. Воспоминания московского жителя о пребывании французов... Стб. 1423–1424.

[35] *...губернатором...* – Краткое (1846–1847) губернаторство в Костроме Константина Никифоровича Григорьева ознаменовалось большим пожаром в сентябре 1847 г. Превышение полномочий при расследовании причин пожара стоило ему должности (Дело о пожаре 1847 года // Губернский дом (Кострома). 1998. № 5/6. С. 97–100).

[36] *...вперемешку с тогдашними нигилистами.* – В публикации 1872 г. эта фраза отсутствует (ВЕ. С. 315).

[37] *О симбирском пожаре...* – Очевидно, имеется в виду крупнейший пожар в Симбирске в 1864 г. (упоминание его мемуаристом выше под 1839 г. – ошибка) и произведенное по нему следствие, окончившееся лишь в 1869 г. (см.: *Мартынов П.Л.* Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898. С. 339–344).

[38] *Повторяя первые слова... вопроса.* – Этот абзац в публикации 1872 г. отсутствует. Далее в ней следует заметка о московском духовенстве в 1812 г. как прямое продолжение статьи о пожарах Москвы. Заметка о духовенстве отделена лишь фразой «Еще одно обстоятельство» (ВЕ. С. 315).

МОСКОВСКОЕ ДУХОВЕНСТВО И МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН
В СЕНТЯБРЕ 1812 ГОДА

[1] Очерк публикуется по изданию 1899 г. с указанием разночтений с писарской рукописью, хранящейся в РГАЛИ (Ф. 472. Д. 11), со сверкой по публикации в «Вестнике Европы» (ВЕ. 1872. Т. VI. Нояб. С. 315–320; далее – ВЕ).

Он был написан в конце 1869 г. (с кратким дополнением, прибавленным в начале 1870 г.) почти одновременно с заметкой о московских пожарах 1812 г. и выслан из Парижа в Москву, однако для публикации в «Русском архиве», как другие очерки, не предполагался (см. примеч. 1 к «Заметке о московских пожарах в 1812 г.»). Текст был предложен П.И. Бартеневу и близким знакомым лишь для ознакомительного чтения, поскольку содержал слишком много полемических рассуждений о духовенстве в 1812 г. и о так называемом русском вопросе – идеях расширения пределов Российской империи (вместе с критикой работ Р.А. Фадеева).

В конце октября 1870 г. Свербеев писал об этом П.И. Бартеневу: «…опасаясь поднять против себя страшную брань всех духов злобы, населяющих темное русское царство, и не изготовивши к таковой борьбе все оружия, я решительно отказываюсь поместить в Вашем журнале мой первый весьма легенький вызов, тем более, что и упоминаемые в нем статьи Фадеева известны мне стали только по недавно прочитанному указанию на них “Вестника Европы”. А об восточном вопросе, за который у нас даже и теперь стоят так многие, поверхностно говорить невозможно. На Вас как на редактора опрокинутся непременно все» (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 562. Л. 466–466 об.). Взамен, извиняясь в своей «несостоятельности», Свербеев предлагал какой-нибудь отрывок из своих «Записок» «поневиннее» – для второго ноябрьского номера журнала, каковым стала заметка об отношении императора Александра I к католичеству (см. с. 533–536 наст. изд.). В итоге заметка о московском духовенстве была впервые издана в 1872 г. как часть «Воспоминаний о московских пожарах 1812 г.» в «Вестнике Европы» (ВЕ. С. 315–320), размещенная сразу после основного текста о пожарах.

[2] *…до 15 000 человек) могли иметь христианское утешение в молитве…* – В публикации 1872 г. вместо этого: «от 5 [т.е. от 5000] до 15 000 человек) могли иметь утешение в пастырском слове…». Следующее предложение («Или эта святая потребность…») в публикации 1872 г. отсутствует (ВЕ. С. 315).

[3] Грацианский Михаил Андреевич – протоиерей Кавалергардского полка.

[4] Лессепс (Lesseps) Жан Батист Бартелеми (1766–1834) – французский дипломат, путешественник, генеральный комиссар по торговым делам в России (1802–1812), генерал-интендант Москвы при Наполеоне I (1812).

[5] Свербеев пересказывает близко к тексту по кн.: *Богданович М.И.* История Отечественной войны 1812 года. СПб., 1859. Т. 2. С. 329 (и далее).

[6] *…в «Сборнике XVIII века»* – Сборник документов «Осмнадцатый век», в котором была помещена «Записка митрополита московского Филарета о сохранности церковных древностей» (М., 1868. Кн. 1. С. 453–464; приводимая следом цитата – С. 457).

[7] Свербеев цитирует тут и далее близко к тексту и приводит данные из публикации: Московские монастыри во время нашествия французов: [Записка для представления министру духовных дел кн. А.Н. Голицыну] // РА. 1869. Вып. 9. Стб. 1387–1399.

[8] Вместо этой фразы в публикации 1872 г. напечатано: «Все это мало согласно с духом христианской церкви» (ВЕ. С. 317).

[9] В рукописи Свербеевым добавлено: «Восхвалим доброго пастыря, готового положить душу свою за овцы, и возскорбим о том, что старость вместе с изнурением сил и все обстоятельства тяжелого времени довели его до необходимости изменить себе» (ФС. Д. 11. Л. 35 об.).

[10] В рукописи Свербеев продолжает рассуждения: «Да снимется с него нарекание, выраженное в одном слове владыки Филарета, и еще горшее осуждение за неуразумение великих намерений архипастыря Платона. Поступок Платона взят мною из его жизнеописания, составленного И.М. Снегиревым. Автор не останавливался ни на каких предшествовавших прибытию Платона в столицу подробностях, и только из недавно доступного синодского архива можем мы узнать окончательно, был ли от Синода разрешен выезд духовенству. Во всяком случае, может казаться непонятным, на каком основании управляющий московской паствой оставил место не только архиерейской своей кафедры, но и всю свою епархию, тогда как он мог бы перенести свое управление в один из уездных городов, не подверженных близкой опасности быть занятыми неприятелем. Подобное распоряжение было бы и понятнее, и прямее. Вот почему нам кажется, что тогдашнее смутное время может служить не только извинением, но даже и полным оправданием Платона; в самом деле, что бы вышло, если бы митрополит остался один, а викарий его и все священники предались бегству. Одиночное его пребывание в городе становилось бы в одно и то же время и страшным, вечным упреком всему московскому клиру, начиная от его архипастыря-наместника митрополита, и как можно предполагать, явным противодействием со стороны высшей духовной, но уже бездействующей власти высшему гражданскому правительству; сверх того – митрополит мог оставаться в совершенном неведении, было ли на удаление его викария высочайшая воля и не было ли разрешения на то от самого Синода. Продолжим далее наши предположения. Что могло бы последовать с митрополитом, когда бы он предстал лицом к лицу пред властолюбивым Наполеоном? Настроение тогдашнего общественного мнения нам хорошо известно: все и вся оправдывало общее бегство от неприятеля» (ФС. Д. 11. Л. 36).

[11] *...выслан... графом П.А. Толстым...* – Петр Александрович Толстой был в 1812 г. командующим войсками в нескольких губерниях России (в том числе Нижегородской, где жил под надзором в имении М.М. Сперанский).

[12] Этот абзац в публикации 1872 г. отсутствует (ВЕ. С. 319).

[13] *...статью под заглавием «Из архива Шишкова»...* – Точное название публикации: «Письмо гр. Н.П. Румянцова и ответ императора» (РС. 1870. Т. I. С. 474–477), в примечании есть указания на принадлежность писем А.С. Шишкову. Ниже Свербеев приводит цитаты из публикации с большими пропусками и незначительными искажениями текста.

[14] *...великобританскому у нас послу...* – Уильям Шоу Кэткарт (Cathcart) (1755–1843), граф, генерал, английский посол в России (1805–1806, 1812–1820).

[15] *...нужных мер.* – Здесь оканчивается публикация заметок о пожарах и московском духовенстве в 1812 г. в «Вестнике Европы» (ВЕ. С. 320). Проставленное здесь же указание: «Октябрь, 1869 г., Веве» относится к основному тексту заметок, тогда

как последнее дополнение о пожертвованиях англичан от 1870 г. было, очевидно, выслано позже.

[16] В рукописи продолжено: «Слишком полвека после появления некоего Орлая и встречи его с хозяйкой одного дома напоминали мне Полева» (ФС. Д. 11. Л. 36). Имеется в виду Яков Анисимович Ошмянцев (Орел-Ошмянцев, Орля-Ошмянец) (1828–1893), библиофил, секретарь Славянского комитета, член-сотрудник Общества древнерусского искусства (1865), публикатор писем к А.С. Пушкину и воспоминаний В.Ф. Одоевского в «Русском архиве».

Интересно сравнить мнение Свербеева с яркими впечатлениями Ольги Владимировны Демидовой-Даль: «Замешается еще какой-нибудь Орел-Ошмянцев, пройдоха, который, чтобы снискать благоволение славянофилов, начал составлять карту славянских земель, за неимением в себе другого славянского материала. Исподволь, однако, он был повытеснен отовсюду и только пользовался милостями кн. Одоевской, которую он снабжал книгами и был готов на разные прочие услуги. Самой неприятной наружности… Он перебывал во всех домах: Кошелевых, Вельтманов, Погодиных, Аксаковых, Одоевских. Везде было время, когда он царствовал и затем исчезал, иногда с историей, а иногда и тихо» (Записки О.В. Демидовой-Даль, неизданная часть – ОР РНБ. Ф. 1141. № 395–402; цит. по: *Одоевский В.Ф.* Дневник. Переписка. Материалы: К 200-летию со дня рождения / Вступ. ст. и коммент. О.П. Кузина, М.П. Рахманова. М., 2005. Примеч. 98).

[17] *…к отрывку из «Записок» Чичагова…* – Это публикация: *Чичагов П.В.* Из записок адмирала Чичагова: Дела Турции в 1812 году. 2-е изд. // РА. 1870. М., 1871. Стб. 1522–1551.

[18] Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист.

[19] Каразин Василий Назарович (1773–1842) – ученый, просветитель, основатель Харьковского университета, учредитель «филотехнического общества» (1810–1819).

[20] Головин Николай Александрович (1779–1831) – статский советник и кавалер, брат Е.А. Головина.

[21] *…Долгорукий…* – Григорий Алексеевич Долгоруков (1740-е–1812), князь, капитан 1-го ранга русского флота (1792), масон.

[22] *…племянник его, теперешний петербургский сенатор, женатый на Давыдовой…* – Упомянуты: князь Юрий Алексеевич Долгоруков (1807–1882), сенатор, виленский (1838–1840) и воронежский (1853–1857) губернатор, и его супруга: Елизавета Петровна (урожд. Давыдова) (1805–1878).

[23] *эбраист…* – т.е. гебраист – ученый, изучающий иврит и тексты на нем.

ЗАМЕТКА О СМЕРТИ ВЕРЕЩАГИНА

[1] Заметка публикуется по изданию 1899 г. Текст сверялся с писарской рукописью воспоминаний, в которой он следует сразу за описанием событий 1812 г. и называется «Рассказ о смерти Верещагина» (ФС. Д. 11. Л. 36 об. и далее).

Впервые «Заметка о смерти Верещагина» увидела свет в «Русском архиве» (РА. 1870. Т. I. Вып. 2. Стб. 517–522). Она была задумана как добавление и поправки к сообщению М.А. Дмитриева, помещенному в его воспоминаниях. Тема гибели

юноши Верещагина затрагивалась в мемуаристике того времени неоднократно, об этом писали, например: П.А. Вяземский: Воспоминания о 1812 годе // Вяземский П.А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 293–296), А.Ф. Брокер: Записки // РА. 1868. Вып. 9. С. 1430–1431), А.Д. Бестужев-Рюмин: 1812-й год: Краткое описание происшествий в столице Москве в 1812 году // РА. 1910. Кн. 2. Вып. 5. С. 98.

[2] *...в его книге «Мелочи из запаса моей памяти»...* – Названные воспоминания М.А. Дмитриева были первоначально напечатаны в журнале «Москвитянин» в 1853–1854 гг., а в 1869 г. вышли отдельной книгой (на с. 238 которой ссылается Свербеев). В рукописи мемуарист указывает сперва другой источник – публикацию статьи М.А. Дмитриева в «Московских ведомостях», оставляя отточие для точных выходных данных газеты (ФС. Д. 11. Л. 36 об.).

[3] В рукописи этот рассказ В.А. Обрескова передан Свербеевым не от первого, а от третьего лица – т.е. от лица пересказчика-мемуариста. В остальном рассказы совпадают (см.: ФС. Д. 11. Л. 36 об.).

[4] *...или расстреливающие по приговору военного суда рядовые...* – Этой фразы нет в рукописи Свербеева (ФС. Д. 11. Л. 37).

[5] В рукописи Свербеев снабжает этот очерк пространной ссылкой на упомянутую публикацию об истории с поваром в «Русском архиве» (вместо краткого примечания на с. 484): «Справедливость моих выводов подтверждается весьма недавно напечатанным рассказом в “Рус[ском] арх[иве]” о том же Растопчине: “За несколько дней до вступления французов в Москву француз Турне, графский повар, однажды утром спешил готовить завтрак графу; один из его помощников, небрежно и неохотно исполняя его приказания, рассердил его; он в это время рубил ножом говядину. «Вот, погоди, – закричал Турне на поваренка, – пусть только придет наш император, вот что он сделает с вами», и в это время продолжал свое многозначительное занятие. Один из лакеев пошел тотчас же к грозному градоначальнику и донес ему об этом. Когда Турне позвали вслед за тем к графу и спросили о словах и жестах, приписываемых ему, он отвечал следующее: «Граф, я сказал, что приедет наш император, подразумевая имп. Александра». Его сиятельство не обратил никакого внимания на такое объяснение, сурово упрекнул его в измене своему новому отечеству и велел ему дожидаться в передней распоряжения, которое не замедлил сделать. По приказанию графа Турне вывели на двор и посадили в телегу, потом его привезли на Красную площадь, положили на позорную скамью и дали 25 ударов розгами; по окончании казни его бросили полумертвого в тележку и, не позволив даже заехать домой, отправили прямо по дороге в Сибирь в белой холстинной куртке. Доехав до Перми, он остался там и прожил 7 лет. Жена его после многих просьб получила разрешение приехать к нему в Казань, куда перевели его на жительство; там завел он впоследствии кондитерскую и жил себе припеваючи”.

Наказание растопчинского повара, совершенное гораздо прежде казни Верещагина, сделалось тотчас же известным московским жителям и, без сомнения, им нравилось. Гр. Растопчин сам рассказывал об этом поступке и им хвастался. В то же время все это дошло и до меня вместе с иронической фразой московского градоправителя, сказанной им в доме Обресковых: “Aujourd’hui j’ai fait naturaliser russe mon cher cuisinier” [“Сегодня я принял в русское подданство моего дорогого повара” (*фр.*)].

Личность Растопчина, одна из замечательнейших современных нам в России, к сожалению, далеко не вполне известна; она сто́ит, чтобы ее разработали» (ФС. Д. 11. Л. 37об.). Свербеев цитирует с некоторыми пропусками и незначительными искажениями текста примечания к публикации: [*Изарн Ф.Ж. де*]. Воспоминания московского жителя о пребывании французов в Москве... Стб. 1448–1449.

В тексте упоминается повар Растопчина, бельгиец по происхождению, Теодор Арно Турне (Tournay) (1770–1842).

НЕКРОЛОГ [М.П. ДОХТУРОВОЙ И А.П. ОБОЛЕНСКОГО]

[1] Некролог публикуется по изданию 1899 г. со сверкой по черновой рукописи Д.Н. Свербеева (ФС. Д. 3). Впервые он был опубликован в 1852 г. в газете «Московские ведомости» (№ 36. 22 марта. С. 369). Затем включен в публикацию «Записок» 1899 г. Очерк-некролог высоко оценил М.П. Погодин, назвавший его «прекрасным»: «ничего нельзя собрать и сказать вернее, лучше, к сердцу – успешнее» (Москвитянин. 1852. № 7. Отд. VII. С. 114).

[2] Дохтурова (урожд. кнж. Оболенская) Мария Петровна (1771–1852) – кавалерственная дама, жена Д.С. Дохтурова, сестра А.П. Оболенского, соседка Свербеевых по имению.

[3] Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1759–1816) – генерал от инфантерии (с 1810 г.), герой Отечественной войны 1812 г.

[4] *...сперва... дочери, а потом и двух сыновей...* – Это умершие раньше матери Дохтуровы: Варвара Дмитриевна (1808–1848), Петр Дмитриевич (1806–1843), отставной штаб-ротмистр, и Сергей Дмитриевич (1809–1851), каширский уездный предводитель дворянства (1847–1848), мемуарист.

[5] *...двух родных внуков его...* – Имеются в виду Дохтуровы: Дмитрий Петрович (1838–1905), генерал от кавалерии (1898) и Дмитрий Сергеевич (1839–?).

[6] В черновой рукописи здесь следует малоразборчивый фрагмент текста, посвященный кончине Н.В. Гоголя (последовавшей через три дня после смерти А.П. Оболенского), приковавшей к себе все внимание общества. Это обстоятельство помешало раньше «почтить публично память князя ⟨...⟩ и показать то место, то значение, какое могла иметь его долгая жизнь ⟨...⟩ в русской общей жизни» (ФС. Д. 3. Л. 2). Именно с этим фрагментом была связана задержка в публикации некролога Оболенского: от начальника III отделения е.и.в. канцелярии А.Ф. Орлова в Москву поступило указание не печатать в «Московских ведомостях» ничего о скончавшемся Н.В. Гоголе. Как писал И.С. Аксаков в письме родителям, редактор газеты М.Н. Катков «изъявил затруднение» Д.Н. Свербееву напечатать некролог А.П. Оболенского, «потому что в нем несколько слов есть о Гоголе (по случаю одновременности смерти и похорон), сказанных с уважением» (см.: *Аксаков И.С.* Письма к родным (1849–1856) / Подг. изд. Т.Ф. Пирожковой. М., 1994. С. 230). Это объясняет и позднее появление некролога А.П. Оболенскому в печати: он вышел через месяц после смерти князя, и был совмещен с некрологом М.П. Дохтуровой (князь скончался 19 февраля 1852 г.).

[7] *Жена, сыновья, дочь, зятья и братья...* – Оболенские: Софья Павловна (урожд. кнж. Гагарина) (1785–1860), княгиня, вторая жена А.П. Оболенского; сыновья:

Михаил Андреевич (1811–1866), Владимир Андреевич (1814–1877), Василий Андреевич (1818–1883), Иродион Андреевич (1820–1891), Николай Андреевич (1822–1867); зятья: Николай Аполлонович Волков (см. о нем примеч. 24, с. 869), Василий Васильевич Давыдов (1809–1858). Можно предположить, что из двух переживших отца дочерей А.П. Оболенского Свербеев имеет в виду Софью Андреевну Давыдову (1810–1871), так как вторая, Наталья Андреевна Озерова (1812–1901), жила с супругом, генералом Сергеем Петровичем Озеровым (1809–1884), не в Москве. Упомянутые братья покойного, князья Оболенские: Иван Петрович, Сергей Петрович (1784–1871) и Александр Петрович (1782–1855), калужский губернатор, сенатор. О последнем, участнике войны 1812 г., Д.Н. Свербеев оставил краткий очерк-некролог, сохранившийся в черновиках (ФС. Д. 4. Л. 1–2).

[8] В рукописи продолжена цитата из некролога С.А. Маслова: «В течении 8 лет своего попечительства ему не представилось случая огорчить кого-либо из гг. профессоров или студентов и чиновников» (ФС. Д. 3. Л. 2 об.).

[9] Оболенский Петр Александрович (1743(1742)–1822), князь, надворный советник, отец А.П. Оболенского. Слова Свербеева о патриархальной семье Оболенских перекликаются с очерком другого их родственника П.А. Вяземского «Московское семейство старого быта» (РА. 1877. Вып. 3. С. 305–314).

[10] *...четырьмя сестрами.* – уже упоминавшиеся Оболенские: теща мемуариста Варвара Петровна (в замуж. кн. Щербатова), Мария Петровна (в замуж. Дохтурова), а также Елизавета Петровна (1778–1837) и Наталья Петровна (в замуж. Михайлова) (1770-е–1856)

[11] Оболенская (урожд. кнж. Вяземская) Екатерина Андреевна (1741–1811) – княгиня, мать А.П. Оболенского и М.П. Дохтуровой.

[12] *...80 человек во втором поколении и до 150 человек в третьем...* – В черновой рукописи вместо цифры «80» стоит «60», исправленная затем на «70», а подсчет членов семьи в третьем поколении отсутствует (ФС. Д. 3. Л. 3).

Н.И. ТУРГЕНЕВ

[1] Очерк публикуется по изданию 1899 г. со сверкой по рукописи, хранящейся в РГАЛИ (ФС. Д. 37). Рукопись представляет собой черновой вариант и наброски статьи о Н.И. Тургеневе, записанные со слов Д.Н. Свербеева его дочерью, С.Д. Свербеевой, с большими вставками и правкой рукой самого мемуариста.

Впервые этот очерк, написанный 9 ноября 1871 г., был опубликован как некролог скончавшегося 29 октября Н.И. Тургенева в «Русском архиве» (РА. 1871. Вып. 11. Стб. 1962–1984). О нем Свербеев писал Бартеневу: «Вы сейчас узнаете о смерти Тургенева. Предупреждаю Вас, что я к концу недели пришлю Вам коротенький некролог для Архива. Распорядитесь, если Вам будет угодно, принять от меня этот грустный подарок, чтобы не задержать статьи, чтобы Вас и меня другие не предупредили. Не знаю, понравится ли Вам мое беспристрастие к покойному и ко всем его современникам...» (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 563. Л. 376–377). За статьей о Н.И. Тургеневе последовало и письмо со спешной правкой, в том числе с исправлением мест, касающихся доклада Следственной комиссии (Там же. Л. 391–392 об.). О работе

над этим очерком Свербеев замечал и в рукописи «Записок», поясняя ход своих мыслей от Н.И. Тургенева к декабристам и далее к событиям 1825 г. в своей жизни (см. примеч. 191, с. 797).

[2] *...видевший, как старец Симеон, своими очима...* – евангельский Старец, которому было явлено, что он не умрет, пока не увидит своими глазами Спасителя Мира.

[3] Тургенев Иван Петрович (1752–1807) – директор Московского университета (1796–1803), масон.

[4] *...Андрея...* – Андрей Иванович Тургенев (1781–1803) – поэт, переводчик.

[5] Штейн (Stein) Генрих Фридрих Карл, фон (1757–1831), барон, прусский государственный деятель и реформатор, премьер-министр Пруссии. В 1812–1813 гг. – на русской службе; в 1813–1814 гг. был руководителем Центрального управления освобожденных территорий в Германии.

[6] *...общества, известного под именем Tugendbund'a.* – Тугенбунд – «Союз доблести», патриотическое общество в Пруссии в начале XIX в. (1808–1810 гг.).

[7] Муравьев Никита Михайлович (1796–1843) – капитан гвардии (1825), декабрист.

[8] *...сочинения Богдановича...* – Свербеев ссылается на издание: *Богданович М.И.* История царствования императора Александра I и России в его время: В 6 т. СПб., 1871. Т. 6. С. 430.

[9] *...на дочери Пиемонтского изгнанника генерала Виариса...* – Женой Н.И. Тургенева в 1833 г. стала маркиза Клара Виарис (Viaris) (1814–1891), дочь сардинского маркиза Гастона Виариса (Viaris)

[10] *...подозревал в Сергее признаки помешательства, что видно из письма Жуковского к Е.Г. Пушкиной из Лейпцига в апреле 1827 года...* – Свербеев упоминает письмо к Елене Григорьевне Пушкиной (урожд. Воейковой) (1778–1833), ссылку на которое в сборнике «Девятнадцатый век» дает следом. Однако, в самом письме упоминаний о болезни С.И. Тургенева нет, Жуковский пишет лишь о том, что «Сергей был во всю дорогу спокоен». О болезни говорится в примечании П.И. Бартенева к письму: «В нем оказались в это время признаки умственного расстройства. Брат Александр и Жуковский везли его теперь лечиться в Париж, и оттуда в Эмс» (Девятнадцатый век. М., 1872. Кн. 1. С. 411).

[11] *...Свечина и графиня Разумовская...* – Софья Петровна Свечина (урожд. Соймонова) (1782–1857) и графиня Генриетта Разумовская (урожд. бар. фон Мальсен (Malsen)) (ок. 1770–1827) – хозяйки католических салонов в Париже.

[12] *...посещали в Эдинбурге Вальтера Скотта в его историческом замке.* – Английский писатель-романист В. Скотт построил в 1811–1824 гг. в своем поместье Эбботсфорд недалеко от Эдинбурга своеобразный замок-музей средневекового прошлого Шотландии. Известно, что посещал английского писателя только один из братьев – А.И. Тургенев. Подробнее о встрече А.И. Тургенева и В. Скотта см.: Русско-английские литературные связи: XVIII в. – первая половина XIX в. / Исслед. М.П. Алексеева. М., 1982. Гл. 5 (ЛН. Т. 91) (в том числе примеч. 183 с поправкой к сообщенному Д.Н. Свербеевым).

[13] *...по изгнании из Франции законного ее короля...* – Роялисты-легитимисты считали законными королями Франции представителей династии Бурбонов. Карл X Бурбон в 1830 г. был вынужден отречься от престола и отправиться в Англию, а на французский трон взошел герцог Орлеанский Луи-Филипп, представитель младшей линии Бурбонов.

[14] *Из жизнеописания Александра, составленного по его журналу...* – Свербеев имеет в виду подробные дневники А.И. Тургенева, знакомые ему в рукописи (см.: *Тургенев А.И.* Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.) / Подг. изд. М.И. Гиллельсон. М.; Л., 1964. С. 475–476).

[15] *...в примечаниях Богдановича...* – Авторские примечания к шеститомной монографии М.И. Богдановича «История царствования Императора Александра I и Россия в Его время». См. о Н.И. Тургеневе: Т. 6. С. 429, 430 и др.

[16] Орлов Алексей Федорович (1786–1861) – граф (с 1825 г.), с 1856 г. князь, начальник III отделения Собственной е.и.в. канцелярии, шеф жандармов (1844–1856).

[17] В рукописи Свербеев называет имя «друга»: «Блудовым» (ФС. Д. 37. Л. 7). Это Д.Н. Блудов, конфликт с которым был основан на его участии в составлении итогового «Донесения следственной комиссии» по делу декабристов. См.: *Тургенев А.И.* Хроника русского.... С. 467.

[18] *Из ненапечатанных еще Записок одного из самых добродушных декабристов, назвать которого я поэтому и не имею права...* – Д.Н. Свербеев имеет в виду декабриста Николая Ивановича Лорера (1797(1798)–1873), «Записки» которого он читал в рукописи. Н.И. Лорер с 1856 г. бывал в доме Свербеевых, он приходился им дальним родственником: дядей мужа их старшей дочери, Варвары (в замуж. Арнольди). Свербеев довольно точно пересказывает ч. IV главы «Записок». Над «Записками моего времени» Лорер работал в 1862–1867 гг. В 1874 г. фрагмент «Записок» о службе на Кавказе был опубликован в «Русском архиве», начало воспоминаний увидело свет в 1904 г. в журнале «Русское богатство». Полное издание «Записок» было подготовлено в 1931 г. М.В. Нечкиной. На рукописи «Записок» сохранились пометы читавших мемуары до их пубикации знакомых Лорера, в том числе П.И. Бартенева и Д.Н. Свербеева (последнего – совсем незначительные). См.: *Лорер Н.И.* Записки декабриста / Подг. изд. М.В. Нечкиной. Иркутск, 1984; Мемуары декабристов / Сост., коммент. А.С. Немзера. М., 1988. С. 313–545, 564–573.

[19] Ланфре (Lanfrey) Пьер (1828–1877) – французский историк, посланник в Швейцарии (1871–1873), автор неоконченной фундаментальной «Истории Наполеона I» (Т. 1–5. Париж, 1867–1875), которой Свербеев противопоставляет восторженную «Историю консульства и империи» А. Тьера (Т. 1–21. Париж, 1845–1862).

[20] *...двоюродный его брат...* – Тургенев Борис Петрович (1792 – до 1840) – полковник, с 1827 г. в отставке; двоюродный брат А.И. и Н.И. Тургеневых по отцу, купивший в 1837 г. имение Тургенево. О родне братьев Тургеневых, участвовавшей в покупке семейных имений см. в кн.: *Беспалова Е.К., Рыкова Е.К.* Симбирский род Тургеневых. Ульяновск, 2011. С. 33, 43–45 и др.

[21] Нефедьева Александра Ильинична (1782–1857) – двоюродная сестра братьев Тургеневых (по матери).

[22] *...дан был орден Станислава 1-й степени, тогда как он более 20 лет носил уже Владимирскую звезду 2-го класса.* – В иерархии российских орденов (принятой последовательности награждения) орден Св. Станислава 1-й степени был ниже ордена Св. Владимира 2-й степени.

[23] *...с сыном и дочерью...* – Дочь Н.И. Тургенева Фанни Тургенева (1835–1890) и, очевидно, старший сын – Александр (Альберт) (1843–1892) – юрист, художник, историк искусства. Второй сын, Петр (1853–1912), впоследствии скульптор, был тогда, вероятно, слишком мал для путешествий с отцом.

[24] *...известных рескриптов генерал-адъютанту Назимову еще не было.* – 20 ноября 1857 г. Александр II направил рескрипт виленскому и гродненскому генерал-губернатору Владимиру Ивановичу Назимову (1802–1874), в котором одобрялись намерения литовского дворянства по освобождению крестьян. Этот рескрипт стал первым официальным опубликованным документом, указывавшим на намерение правительства провести крестьянскую реформу, которая и совершилась в 1861 г.

[25] *...манифест 19 февраля 1861 года...* – манифест, провозглашавший отмену крепостного права в России.

[26] Киселев Павел Дмитриевич (1788–1872) – граф (с 1839 г.), министр государственных имуществ (1837–1856), посол во Франции (1856–1862), в отставке жил в Париже.

[27] Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865) – князь, генерал-майор; декабрист.

[28] *...выхлопотал себе дворянскую грамоту...* – Н.И. Тургенев в 1826 г. был лишен дворянского достоинства как осужденный (заочно) по делу декабристов.

[29] *...мятежом Польши...* – Польское восстание в 1863–1864 гг., направленное на отделение Царства Польского от России.

[30] *...Пресансе... академик Моль с женой...* – Пастор Эдмонд де Пресансе (de Pressencé) (1824–1891), французский богослов и политик, сенатор (1883); Юлиус Моль (Mohl) (1800–1876), немецкий ориенталист и археолог, живший с 1834 г. в Париже, президент парижского Азиатского общества, и его жена Мери (урожд. Кларк (Clark)) (1793–1883), хозяйка литературного салона.

[31] Боншоз (Bonnechose) Эмиль (Франсуа Поль Эмиль) де (1801–1875) – французский историк, автор ряда книг, в том числе упомянутой «Реформаторы до Реформации: XV век: Ян Гус и Констанцский собор» (1844).

[32] Ташар (Tachard) Альберт (1826–1920) – французский политик, полномочный министр в Бельгии (1870–1871), член Национального собрания Франции (1871).

[33] Баро (Barrot) Одильон (1791–1873) – французский государственный деятель, в 1848–1849 гг. премьер-министр и министр юстиции Франции.

[34] *...возникла междуусобная война.* – Имеются в виду времена Парижской коммуны, о которой Свербеев писал: «чудовищная коммуна» (с. 500 наст. изд.).

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ А.И. ГЕРЦЕНЕ

[1] Очерк публикуется по изданию 1899 г. Статья «Воспоминание об А.И. Герцене» была написана Д.Н. Свербеевым в Париже сразу после смерти Герцена – примерно через три дня после похорон – и отправлены в Москву по почте П.И. Бартеневу для его журнала. Они были напечатаны в ноябрьской книжке «Русского Архива» (1870. Вып. 3. Стб. 673–686). Еще до публикации с текстом воспоминаний были познакомлены члены семьи Свербеевых и ближайшие друзья семейства. Некоторые из них, например, А.П. Елагина, предлагали некоторую правку к статье, уточняя подробности событий 1840-х годов. История подготовки и выхода этой публикации, а также некоторые стороны взаимоотношений Герцена и Свербеева освещены в статье М.П. Мироненко (*Мироненко М.П.* Материалы о Герцене в журнале «Русский архив» // Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев и «Русский архив». М., 2013. С. 427–433; см. также: *Она же.* Журнал «Русский архив» и его роль в

освещении освободительного движения в России. Дис. … канд. ист. наук. М., 1979. С. 186–189; *Медведева Т.В.* «Возлюбленный о Русском архиве Петр Иванович…» // Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев… С. 408–426).

Наиболее яркие и трагичные свидетельства о последних днях А.И. Герцена, не предназначавшиеся Свербеевым к публикации, были изложены в письмах кому-то из близких (вероятнее всего, к жене), следовавших за статьей. Полный текст этих трех отрывков – см. Фрагмент 30.

2 *…великосветских юношей, о коих Пушкин говорит в своем «Онегине»…* – Свербеев имеет в виду «архивных юношей», о которых А.С. Пушкин упоминает в 49-й строфе VII главы «Евгения Онегина», – знатных молодых людей, записанных на необременительную службу в московский архив Министерства иностранных дел.

3 *…Шеллинга… Гегеля…* – Немецкие философы: Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (Schelling) (1775–1854) и Георг Вильгельм Фридрих Гегель (Hegel) (1770–1831).

4 *…«Европейцем»…* – В «Европейце» И.В. Киреевского сотрудничал и сам Свербеев – здесь был помещен один из первых его трудов: перевод с французского статьи А.Ф. Вильмена «Император Иулиан» (1832. № 1. С. 38–47).

5 *…надели поддевки…* – Изначально в рукописи Свербеева было слово «костюмировались», однако его дочь, Екатерина Дмитриевна Свербеева, передавая текст Бартеневу, попросила заменить резкость отца более нейтральной фразой (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 562. Л. 107).

6 *…ввел его, кажется, в 39 году в это общество.* – Уже после отправки текста о Герцене в Москву Свербеев обнаружил неверно написанный год знакомства с Герценом в литературном кружке: 1835-й вместо 1842-го – «после чаадаевского письма» – как ему помнилось, и просил (в письме, через дочь Екатерину) внести исправление (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 562. Л. 98–99). В публикации в итоге оказалась отсылка к 1839 г.

7 *Отцом Герцена с левой стороны был тот Иван Алексеевич Яковлев, который отчасти сделался известным по своему свиданию с Наполеоном…* – Свербеев имеет в виду, что А.И. Герцен был незаконнорожденным сыном И.А. Яковлева. Последний, не успевший выехать из Москвы в 1812 г., был принят Наполеоном и после краткого разговора согласился передать послание Наполеона Александру I, получив возможность покинуть горящий город.

8 *…бывшего Искандера…* – псевдоним А.И. Герцена.

9 *…женат на своей двоюродной сестре…* – Первой женой А.И. Герцена была Наталья Александровна Захарьина (1817–1852), дочь А.А. Яковлева.

10 Бонапарт (Bonaparte) Жером (Иероним) (1784–1860) – король Вестфалии (1807–1813), младший брат Наполеона I Бонапарта.

11 Хованская (урожд. Яковлева) Мария Алексеевна (? – 1847) – княгиня, тетка А.И. Герцена.

12 Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – ученый, литературный критик, издатель журнала «Телескоп» (1831–1836).

13 *…были переданы мной в некролог Чаадаева.* – Здесь в публикации 1899 г. отсылка к статье о Чаадаеве в «Русском архиве» и в изд. 1899 г. См.: «Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве» (С. 518–532 наст. изд.), составленные в 1856 г.

[14] *...печатный акафист римскому папе.* – Свербеев так называет «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, опубликованное в журнале «Телескоп» в 1836 г.

[15] *...брат поэта Языкова, ученый геолог...* – Петр Михайлович Языков (1798–1851), геолог, палеонтолог, собиратель рукописей, брат поэта Н.М. Языкова.

[16] *...разразился ругательными стихами на Чаадаева и всех его единомышленников.* – Имеются в виду стихи Н.М. Языкова «К не нашим» (1844), «К Чаадаеву» и др. О них Свербеев эмоционально писал А.И. Тургеневу в 1845 г.: «Не буду также говорить вам о стихах Языкова, а еще менее готов сообщать их вам. У меня же их и нет, и не будет. Эта площадная брань на людей достойных заслуживает одно отвращение. Жаль, что все это ругательство высказано в сильных прекрасных стихах, достойных таланта поэта, но по чувству, в них выраженному, недостойных поэзии» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 5). Однако это резкое мнение Свербеев не стремился высказать автору стихов, своему давнему приятелю, а тот, раздраженный такой сдержанностью, писал брату Александру 11 декабря 1844 г.: «С теми моими стихами... вышла и еще продолжается история. Противная сторона находит в них много личностей, а непротивная – неприятствует этим стихам потому, что в них-де явно мечено на Чаадаева. Чаадаев особа священная! Дм[итрий] Ник[олаевич] до такой степени держит ничью, что о сю пору не читал этих стихов и со мною не говорит ни о чем, до них касающемся, конечно, думая, что я предложу ему прочесть их: а он боится и этого!! Дипломат наитончайший!» (*Языков Н.М.* Свободомыслящая лира. М., 1988. С. 299).

[17] *...во все время издания им «Колокола»...* – Первая русская бесцензурная газета «Колокол» выпускалась А.И. Герценым и Н.П. Огаревым в 1857–1867 гг.

[18] *...намекнул обо мне... не называя имени.* – Подробности этого конфликта с Герценом в 1862–1863 гг., связанного с публикацией Вольной русской типографией записок С.П. Трубецкого (на дочери которого был женат старший сын Д.Н. Свербеева; мемуарист представлял, таким образом, интересы наследников декабриста), подробно изложены в статье: *Мироненко М.П.* Материалы о Герцене в журнале «Русский архив»... с. 430–432. Здесь же говорится и о короткой заметке Герцена «Личное объяснение», появившейся в «Колоколе» от 10 июня 1863 г. (Колокол. Факс. изд. М., 1963. Вып. VI. С. 1364). Сам конфликт, связанный с правами на публикацию записок незадолго до этого умершего С.П. Трубецкого и возможными последствиями такой публикации для здравствующих его родственников, был, несомненно, усилен непрямым общением Свербеева с Герценом через третьих лиц, обилием домыслов и слухов.

[19] *...рассказал нам... о своем свидании... и... напечатал к нему свое письмо,..* – Эта встреча 1865 г. была описана в погодинских «Дорожных записках 1865 года» в его газете «Русский» (1867. 10 апр. № 9–10). А письмо к Герцену с предложением возвращения и «покаяния» от 7 августа 1867 г. вместе с ответом на письмо Герцена публиковалось в составе воспоминаний Погодина о Герцене вскоре после смерти последнего в журнале «Заря» (1870. № 2. С. 78–80).

[20] *Последнею осенью...* – Свербеев имеет в виду осень 1869 г.

[21] *Продолжительная болезнь одной из его дочерей...* – Нервная болезнь дочери Таты, Натальи Александровны Герцен (1844–1936), осенью 1869 г.

[22] *...найти у себя одного из моих сыновей...* – Старший сын мемуариста, Н.Д. Свербеев (уже будучи зятем С.П. Трубецкого), встречался с Герценом в Лондоне во время поездки за границу в 1858 г. и выполнял ряд его поручений (*Коваль С.Ф.* Из архи-

ва Н.Д. Свербеева: Письма А.И. Герцена // Сибирь и декабристы. Иркутск, 1985. Вып. 4. С. 203–216).

[23] *...женевская книжка «Народное дело»...* – Революционный журнал «Народное дело» издавался в 1868–1870 гг. в Женеве. Всего вышло 17 номеров.

[24] *...по смертоубийству, совершенному принцем Наполеоном.* – Убийство французского журналиста Виктора Нуара (Noir) (наст. имя Иван Сальмон (Salmon)) (1848–1870) принцем Пьером Наполеоном Бонапартом (1815–1881) 10 января 1870 г.

[25] *...у его дочерей. Их три, и две из них от первой жены.* – Это дочери от брака Герцена с Н.А. Захарьиной: Наталья Александровна и Ольга Александровна (в замуж. Моно) (1850–1953), и дочь Н.А. Огаревой Елизавета Александровна Герцен (Огарева) (1858–1875).

[26] *...за братом во Флоренцию, где он, женатый на итальянке, профессором физиологии.* – Александр Александрович Герцен (1839–1906), физиолог, профессор физиологии европейских университетов (с 1877 г.), и его жена итальянка Терезина Феличе (1851–1927).

[27] *...Sainte Beuve'ом...* Шарль Огюстен де Сент-Бёв (Sainte-Beuve) (1804–1869), французский литературовед и критик.

[28] *...юноши, убитого принцем Наполеоном...* – Виктор Нуар, см. примеч. 24 выше.

К МОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ О ШИШКОВЕ

[1] Очерк публикуется по изданию 1899 г. Впервые он был напечатан под названием «Первая и последняя моя встреча с А.С. Шишковым» в «Русском архиве» (1871. Вып. 1. Стб. 162–182). Он начинался с дерзкого высказанного А.С. Шишкову мнения юного Д.Н. Свербеева, напитавшегося либеральных идей от друзей по университету. Этот эпизод с предысторией вошел затем в основной текст первой части «Записок» (с. 148–150 наст. изд.: от слов: «Семейные мои читатели...» и до конца раздела).

Ответ молодого Свербеева звучал довольно резко и в либеральном 1871 г., и Бартенев опасался при публикации неприятностей со стороны цензуры. Для мемуариста же, известного своей умеренностью во взглядах, этот эпизод был, напротив, дорог именно радикализмом юности, поэтому он отказался писать предложенное Бартеневым «смягчающее» предисловие к этому эпизоду.

Каким образом и почему менялась статья, включенная в рукопись при подготовке к публикации, можно отчасти судить по переписке Д.Н. Свербеева с П.И. Бартеневым. Следы полемики можно найти в письме от 2 декабря 1870 г. Свербеев пишет: «Милостивый государь Петр Иванович, желаемое вами от меня предисловье к эпизоду из моих записок считаю я не нужным. Статья сама говорит за себя. В ней необходимо удержать два слова буйного моего ответа Шишкову; если бы их не было – я бы и об нем ничего не писал в моих "Записках". В продолжении всей моей жизни я удалялся от всех возможных крайностей и стоял твердо между ними... Если по зависящим или не зависящим от вас причинам вы не можете удержать двух роковых для меня слов, не печатайте ничего и возвратите мне все мной написанное. Искренне преданный вам Д. Свербеев. Само Перо от себя просит выключаемый анекдот Кикина с П[оповы]м списать, чтобы его сохранить в

самих “Записках”» (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 562. Л. 549–550. «Пером» Д.Н. Свербеев называл свою дочь, С.Д. Свербееву, писавшую последние годы жизни под диктовку отца его письма и мемуары).

В итоге эпизод с ответом Шишкову вошел в журнал без изъятий, но Бартенев счел необходимым сделать осторожное примечание: «Удерживаем в печати заносчивый отзыв 18-летнего юноши единственно как яркую черту той эпохи. Образ мысли многоуважаемого автора слишком известен, чтобы потребовались какие-либо объяснения» (РА. 1871. Вып. 11. Стб. 165). Однако еще один острый эпизод, входивший в этот очерк и относящийся к А.С. Шишкову, все-таки был исключен при печати – это обсуждение императора с П.А. Кикиным обвинений в адрес мистика В.М. Попова.

В рукописи очерк помещен сразу после эпизода, повествующего о смелом ответе Шишкову юного Свербеева (см. с. 149 наст. изд.) в редакции, значительно отличающейся от опубликованного текста (ФС. Д. 11. Л. 113–113 об.; Д. 12. Л. 1–5). Вариант текста, найденный в рукописи, и комментарии к нему – см. Фрагмент 31.

[2] Имеется в виду изд.: *Шишков А.С.* Записки, мнения и переписка адмирала Шишкова. / Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Берлин; Прага, 1870. Т. 1–2. Далее у Свербеева ссылки на страницы этого издания даны в тексте очерка.

[3] *...моя выходка, мой ответ Шишкову.* – Свербеев имеет в виду эпизод из первого тома его «Записок», в котором говорится о его вольнодумстве в беседе с А.С. Шишковым (см. с. 149).

[4] Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1754–1829) – статс-секретарь Екатерины II, министр уделов (1802–1806), министр юстиции (1814–1817).

[5] Голенищев-Кутузов Иван Логгинович (1729–1802) – адмирал (с 1782 г.), директор Морского кадетского корпуса, писатель.

[6] *...сын екатерининского победоносного адмирала.* – Имеется в виду П.В. Чичагов, сын Василия Яковлевича Чичагова (1726–1809), мореплавателя, адмирала (с 1782 г.).

[7] *...за свой смелый поступок с Павлом, о чем слегка упоминает и Шишков в своих Записках...* – Обида П.В. Чичагова на императора за «низкий» орден Св. Анны 4-й степени (как одна из версий конфликта) была описана в упомянутых «Записках» А.С. Шишкова, изданных в 1870 г.

[8] Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – граф (с 1846 г.), министр народного просвещения (1833–1849), президент Императорской академии наук (1818–1855).

[9] *...рескрипт... Салтыкову...* – Рескрипт главе Государственного совета и Комитета министров Н.И. Салтыкову о начале войны с Францией, опубликованный 18–22 июня в центральных газетах. Именно в нем звучат ранее цитированные Свербеевым слова Александра I о его готовности сражаться до полной победы (с. 466 наст. изд.).

[10] Трубецкой Василий Сергеевич (1776–1841) – князь, генерал-адъютант при Александре I (в 1812 г.), генерал от кавалерии (1826).

[11] *...с фельдмаршалом князем Смоленским...* – Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов, с 1812 г. – светлейший князь Смоленский.

[12] *...с матерью своей марк-графиней...* – Фридерика Амалия Гессен-Дармштадтская (1754–1832), наследная принцесса Баденская. Свербеев неточен – она не стала марк-графиней, так как ее супруг умер, не успев вступить на баденский трон.

[13] Добровский (Dobrovský) Йозеф (1753–1829) – чешский филолог, историк и просветитель, основоположник славистики.

[14] Здесь примеч. в изд. 1899 г.: «Р. Архив» 1870, стр. 194 – Свербеев обращается к публикации писем Сперанского к Цейеру в «Русском архиве» (РА. 1870. Вып. 1. Стб. 174–200). Франц Иванович Цейер (1780 – не ранее 1835) – чиновник, действительный статский советник (с 1820 г.), друг и помощник М.М. Сперанского.

[15] Паисий (Петр Иванович Величковский) (1722–1794) – архимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии, церковный писатель и переводчик; канонизирован в 1988 г. Свербеев имеет в виду подготовленную И.В. Киреевским публикацию о жизни и писаниях Паисия Величковского в журнале «Москвитянин» (1845. № 4).

[16] Голубинский Федор Александрович (1797–1854) – протоиерей; теолог, профессор философии Московской духовной академии (с 1822 г.).

[17] Григорий Палама (1296–1359) – византийский богослов и церковный деятель, архиепископ Солунский, православный святой.

[18] *...гг. Вестник и Меркурий...* – Т.е. издатели журналов «Вестник Европы» и «Московский Меркурий» М.Т. Каченовский и Петр Иванович Макаров (1765–1804).

[19] *...история Госнера, перевод его книги... Поповым...* – Свербеев имеет в виду историю директора (в 1817–1824 гг.) Департамента народного просвещения Василия Михайловича Попова (1771–1842), участвовавшего в переводе книги баварского проповедника, мистика Иоанна Евангелиста Госнера «Жизнь и учение Иисуса Христа в Новом Завете: Евангелие от Матфея» (СПб., 1824). Книга была запрещена, а В.М. Попов, в числе других участников издания, уволен с должности.

[20] Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1768–1851) – писатель, государственный деятель; сенатор (с 1824 г.).

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТРЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ ЧААДАЕВЕ

[1] Очерк был написан Д.Н. Свербеевым вскоре после смерти П.Я. Чаадаева, а впервые был опубликован в «Русском архиве» в 1868 г. (Вып. 6. Стб. 976–1001). При подготовке настоящей публикации печатный текст сверялся с единственной известной рукописной версией очерка – писарским списком, созданным для распространения среди знакомых, хранящимся в фонде близкого друга Д.Н. Свербеева Ф.В. Чижова в НИОР РГБ (Ф. 332. П. 51. Д. 25).

В рукописи этот очерк предваряется вступительным словом автора, обращенным к сыну Александру: «Тебе, милый Саша, передаю эту тетрадь. Возьми ее на память о П.Я. Чаадаеве, которого ты знал, а я уважал и любил, – и в память обо мне – здесь высказались почти все мои сочувствия и убеждения. Это писалось, когда ты только что начинал готовиться к последнему твоему испытанию для перехода в настоящую жизнь. Это писалось, лишь только прошло наше общее тяжкое испытание и начался наш переход в другую эпоху, авось, Бог даст, лучшую. Распоряжайся рукописью полномочно. Читай и давай ее читать кому хочешь. Пусть приятели Петра Яковлевича лишний раз вспомнят о нем с любовью. Пусть недруги призадумаются и простят ему его слабости во имя многого доброго, которое лежало у него в

сердце глубже, нежели все выставлявшиеся мелочи. 11-го мая 1856 года. Москва» (Там же. Л. 1 об.) Кроме того, этот список «Воспоминаний» дополнен Словом, «произнесенным у гроба Чаадаева духовником его» (Там же. Л. 24–24 об.). Это «Слово» духовника Чаадаева Николая Александровича Сергиевского (1827–1892), тогда настоятеля Петропавловской церкви на Новой Басманной ул., позднее – профессора богословия Московского университета (1858), сопровождало и публикацию воспоминаний Свербеева в «Русском архиве».

Некоторые подробности о публикации этого очерка в «Русском архиве» и других высказываний Свербеева о Чаадаеве помещены в статье: *Медведева Т.В.* «Возлюбленный о Русском архиве Петр Иванович…» С. 412, 415–416.

Важным источником по истории взаимоотношений Свербеевых и П.Я. Чаадаева является и их переписка с «басманным философом». Часть писем была опубликована в работе Н.В. Голицына: П.Я. Чаадаев и Е.А. Свербеева (Из неизданных бумаг Чаадаева) // Вестник Европы. 1918. Кн. 1–4. С. 233–254.

Позднее переписка Свербеевых с Чаадаевым публиковалась в 1991 г.: десять писем Чаадаева к Е.А. Свербеевой («прекрасной кузине»), одно письмо к Д.Н. Свербееву и письмо юного Н.Д. Свербеева Чаадаеву были помещены и снабжены развернутыми комментариями В.В. Сапова в кн.: *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма: В 2 т. / Отв. ред. З.А. Каменский. М., 1991 (Т. 2, по указат.). Сюда в том числе вошли переводы писем, хранящихся в копиях в архиве Д.И. Шаховского в РО ИР ЛИ (Ф. 334. Д. 379–389, 397 и др.).

Кроме того, копии 19 писем Чаадаева к Свербеевым хранятся в фонде А.Д. Свербеева в РО ИРЛИ в составе комплекса материалов, подготовленных к публикации Н.В. Голицыным (Ф. 598. Оп. 1. Д. 891).

2 *…в одной газетной статье г[осподина] Бартенева, в тех же «Ведомостях»…* – Работа П.И. Бартенева «Александр Сергеевич Пушкин: Материалы для его биографии» (Московские ведомости. 1854. № 71, 117, 119; 1885. № 142, 144), где была рассмотрена жизнь Пушкина до 1820 г.

3 *…статью Чаадаева… напечатанную в «Телескопе»…* – Первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, опубликованное в московском журнале «Телескоп» (1836. Ч. 34. № 15. С. 275–310), за что журнал был закрыт, его издатель Н.И. Надеждин выслан, а автор письма подвергнут психиатрическому освидетельствованию.

4 В рукописи продолжено: «а потому и не для печати, по многим отношениям, не столько цензурным, сколько чисто общественным» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 2 об.).

5 Васильчиков Илларион Васильевич (1776–1847) – граф (с 1825 г.), впоследствии князь (с 1839 г.), командир Отдельного гвардейского кавалерийского корпуса (1817–1822), председатель Государственного совета и Комитета министров (с 1838 г.).

6 *…конгресс в Троппау.* – Конгресс держав Священного союза в горном поселке в Силезии состоялся в октябре–декабре 1820 г. для обсуждения революционных событий в Неаполитанском королевстве.

7 *…император австрийский и прусский король.* – Франц I (1768–1835), австрийский император из династии Габсбургов, последний император Священной Римской им-

перии (в 1792–1806 гг.) под именем Франца II, один из вождей Священного союза; и Фридрих-Вильгельм III, король Пруссии.

[8] *...без следующего чина, даже без мундира, а он мечтал... о вензелях на эполеты.* – Уходящему в отставку заслуженному офицеру обычно давался следующий чин, а также высоко ценившееся право носить мундир. Вензель императора на эполетах носили флигель-адъютанты.

[9] *...перенесли заседания конгресса... в Лайбах...* – Речь идет о конгрессе в Лайбахе (26 января – 12 мая 1821 г.), ставшем продолжением конгресса в Троппау.

[10] *...король обеих Сицилий...* – Фердинанд I, см. примеч. 15, с. 869.

[11] Здесь в рукописи добавлено: «сделанный находившимся при Н.Н. Новосильцове нынешним товарищем министра просвещения» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 6 об.). Речь идет о «Государственной уставной грамоте Российской империи», разработанной Н.Н. Новосильцевым к 1820 г. и опубликованной в Варшаве в 1830 г. Перевод был сделан П.А. Вяземским (впоследствии товарищем министра народного просвещения (1855–1858)).

[12] В рукописи продолжено: «Это был Криднер, сын знаменитой мечтательницы» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 7 об.), имея в виду барона П.А. Крюднера, своего начальника по швейцарской миссии, и его мать, баронессу В.-Ю. Крюднер.

[13] В рукописи: «...не увлекся, однако, до преступной крайности» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 8 об.).

[14] В рукописи: «...всегда был верен долгу и чести, потому что...» (Там же.)

[15] *В 1827 г. на пути в Россию...* – Свербеев неточен: П.Я. Чаадаев вернулся в Россию в середине 1826 г.

[16] Панова (урожд. Улыбышева) Екатерина Дмитриевна (1804 – после 1858) – адресат «Философских писем» Чаадаева.

[17] *«Россия образовалась... успехи цивилизации».* – Свербеев кратко пересказывает (а не цитирует) наиболее существенные, по его мнению, мысли первого «Философического письма» Чаадаева.

[18] В рукописи: «...оно не было еще тогда у нас в такой моде, как теперь» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 10 об.).

[19] *Цензор статьи Чаадаева был отставлен и лишен профессорства.* – Цензором статьи был Алексей Васильевич Болдырев (1780–1842) – ректор Московского университета (1832–1837), профессор-ориенталист.

[20] *...статью г. Неверова в «Отечественных записках»...* – Очевидно, речь идет о статье педагога и писателя Януария Михайловича Неверова (1810–1893) «Взгляд на историю русской литературы», опубликованной в «Отечественных записках» (1840. Т. IX. Март. Отд. II. С. 35–50) и ставшую полемическим ответом на «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, с которым автор сходился в общей оценке развития допетровской Руси.

[21] *...журнал «Москвитянин». За ним появился в Петербурге «Маяк»...* – Упомянуты: литературный и политический журнал «Москвитянин», издававшийся в Москве в 1841–1856 гг. М.П. Погодиным, и ежемесячный литературный журнал «Маяк современного просвещения и образованности», выходивший в 1840–1845 гг. в Петербурге, усилиями П.А. Корсакова и С.А. Бурачка.

[22] *...вот начались печататься разные сборники: «Симбирский», «Исторический», «Московский», «Детская библиотека», новый «Москвитянин» нового издателя...* –

Упомянуты издания: «Синбирский сборник» (М., 1844) Д.А. Валуева; «Русский исторический сборник» (М., 1837–1844) М.П. Погодина; «Московский литературный и ученый сборник» Д.А. Валуева и братьев Аксаковых, выходивший в 1846, 1847, 1852 гг. в Москве, и, вероятно, журнал «Библиотека для воспитания» (М., 1843–1846), основанный Д.А. Валуевым, а также краткий период издания «Москвитятина» И.В. Киреевским в 1845 г.

23 *...23-летний Валуев.* – Историк-славянофил Д.А. Валуев. Свербеев неточно указывает его возраст – он умер от туберкулеза в 25 лет.

24 *О Кошихине, о грамоте князя Пожарского к австрийскому эрцгерцогу, о письмах царя Алексея Михайловича к Никону, о новых источниках истории Троицкой осады, открытых... Голохвастовым, о темной стороне Домостроя говорить не любили, а Флетчера запретили...* – Свербеев бегло перечисляет источники по отечественной истории второй половины XVI–XVII вв., запечатлевшие негативные стороны русской политической и общественной жизни или противоречившие официальной историографии тех лет. Им названы: Григорий Карпович Котошихин (Кошихин) (ок. 1630–1667), подъячий Посольского приказа, дипломат; в 1664 г. бежал в Швецию, где создал по заказу шведского правительства сочинение о России, подробно, точно и часто нелицеприятно описав русскую жизнь середины XVII в. (О России в царствование Алексея Михайловича... СПб., 1859); грамота, отправленная в 1612 г. князем Пожарским императору Священной Римской империи, австрийскому эрцгерцогу Рудольфу II (1552–1612) с просьбой о поддержке против поляков (сопровождавшаяся приглашением на российский престол государя из Европы). Говоря о письмах царя Алексея Михайловича к своему наставнику патриарху Никону (1605–1681), впоследствии опальному, Свербеев, вероятно, имеет в виду те немногие, полные личных переживаний царя, относящиеся к 1652 г., что были изданы П.И. Бартеневым в «Собрании писем царя Алексея Михайловича...» (М., 1856. С. 148–215, ранее опубликованные Археографической экспедицией). О трудах Д.П. Голохвастова по изданию «Домостроя» и материалов об осаде Троице-Сергиевой лавры Свербеев уже рассказывал в т. I (см.: с. 89–90 наст. изд. и примеч. 298–301). Также упомянут Джильс (Джайлс) Флетчер (Fletcher) (1548–1611), английский дипломат, посол в Москве (1588–1589), автор сочинения «О государстве Русском» (1591), резко отзывавшийся о нравах и управлении в России. В 1848 г. сочинение Флетчера запретили печатать в «Чтениях Общества истории и древностей российских».

25 *... последняя война...* – Речь идет о Крымской войне 1853–1856 гг.

26 *...разразиться на него проклятиями в стихах... уже болезненного в то время Языкова.* – Об этом подробнее см. в примеч. 16 к очерку об А.И. Герцене.

27 *...в доме почетного гражданина Шульца, принадлежавшем прежде... семейству Левашовых.* – Речь идет о доме Якова Шульца, которым прежде владели знакомые Чаадаева супруги Левашовы (Левашевы): отставной гвардии поручик Николай Васильевич (1790 – после 1842) и Екатерина Гавриловна (урожд. Решетова) (?–1839) Указанный дом находился на месте нынешнего Сада им. Н.Э. Баумана на Новой Басманной ул.

28 *Кюстин, Моген (Mauguin), Мармье, Сиркур, Мериме, Лист, Берлиоз, Гакстгаузен...* – Здесь названы посещавшие Чаадаева французы: маркиз Адольф де Кюстин

(Custine) (1790–1857), писатель и публицист, в 1839 г. путешествовавший по России; Франсуа Моген (Mauguin) (1785–1854), оппозиционный политик, член Палаты депутатов (с 1827 г.), в 1840 г. посещавший Москву; писатель и путешественник Ксавье Мармье (Marmier) (1809–1892), в 1842 г. приезжавший в Москву. А также чета Сиркур: граф Адольф Мария Пьер де Сиркур (Circourt) (1801–1879), французский дипломат и публицист, женатый на Анастасии Семеновне Хлюстиной (1808–1863), ставшей хозяйкой литературного салона в Париже. Супруги в 1830–1840-е годы бывали в России, были знакомы с Чаадаевым и переписывались с ним.

О встречах этих лиц с Чаадаевым можно прочесть в изд: *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма: В 2 т. М., 1991.

Также Свербеевым названы: французский писатель и переводчик Проспер Мериме (Mérimée) (1803–1870), хорошо знавший русский язык и ценивший русскую литературу; венгерский композитор и пианист Ференц Лист (Liszt) (1811–1886), приезжавший с концертами в Россию в 1840-е годы; французский композитор и дирижер Гектор Берлиоз (Berlioz) (1803–1869), в 1847 г. выступавший в Москве; немецкий экономист барон Август Гакстгаузен (Haxthausen) (1792–1866), в 1843 г. путешествовавший по России с целью изучения поземельных отношений.

[29] В рукописи продолжено: «Говоря о ней со мной откровенно, он называл эту войну безбожной, наказанием за нарушение заповеди: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 18 об.).

[30] В рукописи следует примечание: «П.Я. Чаадаев, как мы уже сказали, не был участником в обеде, данном гр. О[стен-]Сакену, меня тоже на этом торжестве не было; следовательно, впечатление, сделанное на Чаадаева речью г. Погодина, было так резко потому только, что неверно пересказана была сама речь. Тоже случилось и со мною. Прочитав ее в «Моск[овских] вед[омостях]» от 24 мая, я должен теперь сознаться, что намек, написанный мной гораздо прежде со слов Чаадаева, несправедлив. В этой речи соблюдено все должное приличие. Предполагать же какое бы то ни было в печати изменение или отступление я не смею, это значило бы с моей стороны подозревать людей порядочных в том, что они отказываются от своих собственных слов» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 19–19 об.). В этом примечании Свербеев упоминает обед, данный в марте 1856 г. в честь генерала Дмитрия Ерофеевича Остен-Сакена (1789–1881), графа (с 1855 г.), начальника севастопольского гарнизона (1854–1855). В отношении речи Погодина на этом обеде, не зная ее точного текста, Свербеев также, вслед за Чаадаевым, высказывался достаточно резко, о чем затем, в письме к К.С. Аксакову, сожалел (ФС. Д. 45. Л. 1–2).

[31] В рукописи Свербеев дает ссылку: «(См. статью о Пушкине Бартенева, глава 3)» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 20 об.). Имеется в виду названная выше публикация в «Московских ведомостях» (см. примеч. 2).

[32] *...обедывал... у Шевалье.* – Свербеев имеет в виду обеды в ресторане при роскошной гостинице «Шевалье», называвшейся так по фамилии владельцев здания (современный адрес: Камергерский пер., д. 4, стр. 1).

[33] В рукописи фраза о плохом самочувствии Чаадаева отсутствует: «Чаадаев еще накануне, в страстную пятницу, обедал у Шевалье» (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 21 об.).

[34] *...от Петра и Павла в Новой Басманной.* – Церковь, построенная в 1705–1728 гг., сохранившаяся до сих пор (Новая Басманная, д. 11).

[35] Далее в рукописи история встреч и бесед Чаадаева со священником, о. Николаем Сергиевским, изложена короче, с иными акцентами: «...года тому за два, сказав и ему, что боится холеры, и главное – боится умереть от нее без покаяния. Чувствуя себя слабым, он пожелал в этот же вечер исповедаться и причаститься. Священник его успокоил, но навестил опять на другой день, в Великую Субботу после обедни. Чаадаев был гораздо слабее, но покойнее и собирался выехать. Священник, предвидя конец, предсказанный медиками, убедил его не откладывать последнего, святого долга, и тотчас его исповедывал и сообщил Св. Тайнам. Чаадаев стал пить чай и разговаривал с хозяином своей квартиры...» – далее рукописный и печатный тексты совпадают (НИОР РГБ. Ф. 332. П. 51. Д. 25. Л. 22).

ЗАМЕТКА ОБ ОТНОШЕНИИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА К КАТОЛИЧЕСТВУ

[1] Заметка публикуется по изданию 1899 г. Первая публикация ее состоялась в «Русском архиве» (РА. 1870. Вып. 10. Стб. 1811–1818). «Посылаю Вам для Вашего архива, любезнейший Петр Иванович, еще одну небольшую статью, – писал Свербеев П.И. Бартеневу об этой заметке. – Поместите, если найдете приличным. В ней опровергаю я одно место из большой брошюры о России о. Гагарина, перепечатанной им из журнала Correspondant ⟨...⟩ Я не называю автора, подарившего мне свою брошюрку, потому что его уважаю и нахожусь с ним в самых дружеских сношениях. Но обвинение Александра Благословенного в симпатии к католичеству и в желании перейти в латинство требует с нашей стороны опровержения...» (ФС. Оп. 1. Д. 47. Л. 6 об.). «В ней нет ничего нового или особенно занимательного, но для летних месяцев может пригодиться», – замечал в другом письме мемуарист (РГАЛИ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 563. Л. 262). Вместе с заметкой о католичестве Свербеев писал Бартеневу и о своих впечатлениях от Первого Ватиканского собора, рассуждая на близкие темы и обсуждая необходимость утверждения неограниченной свободы совести в России.

[2] *...брошюрку: «О стремлениях к католицизму русского общества»...* – Речь идет о статье И.С. Гагарина «Tendances catholiques dans la société russe» (Correspondant. Paris, 1860; отд. изд.: Paris, 1860).

[3] *...о последнем... посещении им схимника...* – Речь идет об иеросхимонахе Александро-Невской лавры Алексие (в миру Алексей Константинович Шестаков) (1752(1754)–1826).

[4] Агафангел (Типальдо) (1773 – не ранее 1856) – митрополит (с 1808 г.), настоятель Балаклавского Георгиевского монастыря (1824–1854 г.).

[5] Мишо (де-Боретур) (Michaud de Beau-Retour) Александр Францевич (1771–1841) – граф (с 1814 г.), полковник русской службы (1811–1813), генерал от инфантерии (с 1840 г.).

[6] Лев XII (1760–1829) – папа римский (1823–1829).

[7] ...*Мавра-Капеллари...* – Мауро Бартоломео Альберто Капеллари (Cappellari) (1765–1846), аббат римского Камальдульского монастыря, кардинал (1825–1831), позже – папа римский Григорий XVI (1831–1846).

[8] Морони (Moroni) Гаэтано (1802–1883) – итальянский писатель, издатель, секретарь папы Григория XVI; автор документального «Историко-церковного словаря» («Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica») (Venice, 1840–1861. Т. 1–103).

[9] Ориоли (Orioli) Антонио Франческо (1778–1852) – монах-францисканец, профессор богословия (1817), позднее кардинал (с 1838 г.).

[10] ...*разрабатывали мнимое завещание Петра Великого...* – Речь идет о документе, который во французской публицистике начала XIX в. приписывался перу Петра I (в книге Ш. Лезюра: *Lesur Ch.* Des progrès de la puissance Russe, depuis son origine jusqu'au commencement du XIX-e siècle. Paris, 1812). В «Завещании» разрабатывался план европейского господства для России. С середины XIX в. о «Завещании» писали многие авторы, пришедшие к мнению, что они имеют дело с исторической фальшивкой, сфабрикованной с политическими целями.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕКАБРЬСКОМ МЯТЕЖЕ 1825 г.

[1] Текст публикуется по печатному изданию 1899 г. В рукописи сохранился вариант воспоминаний о декабрьском восстании, существенно отличный от опубликованного текста (ФС. Д. 21). Он записан со слов отца рукой С.Д. Свербеевой и имеет следы редакторской правки самого Дмитрия Николаевича (вставлены имена и заменены некоторые слова). Это не самостоятельный очерк, а фрагмент общего текста воспоминаний (скорее даже – не вполне законченный набросок воспоминаний), логически связанный с рассказом о швейцарском периоде жизни мемуариста – см. Фрагмент 32.

[2] ...*четвертый от Петра Великого император...* – Свербеев, очевидно, считает российских правителей мужского пола (Петра II, Петра III и Павла I), пропуская малолетнего Иоанна Антоновича и не принимая в счет правительниц-женщин (Екатерину I, Анну Иоанновну, Елизавету Петровну, Екатерину II).

[3] ...*Строганов, Новосильцев...* – Павел Александрович Строганов (1772–1817), граф, генерал-лейтенант (1814), и Николай Николаевич Новосильцев (1768–1838), граф (с 1833 г.), государственный деятель, председатель Государственного совета и Кабинета министров (с 1832 г.).

[4] Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) – граф (1799), князь (с 1831 г.), министр внутренних дел России (1802–1807, 1819–1823).

[5] ...*оплакивал умерщвленную свою любовницу Настасью...* – В 1825 г. крестьяне села Грузино за жестокость убили любовницу Аракчеева Анастасию (Настасью) Федоровну Минкину (Шумскую) (1785–1825), которая полновластно управляла имением.

[6] *О... намерении Пестеля пишет ...в... своих «Записках» Николай Иванович Лорер...* – О «Записках» Н.И. Лорера, виденных Свербеевым в рукописи и пересказе им слов Пестеля – см. примеч. 18 к очерку «Н.И. Тургенев» и с. 494 очерка.

[7] *...Якушкин выразил в своих «Записках», изданных за границей...* – Иван Дмитриевич Якушкин (1793–1857), капитан в отставке, декабрист. Начало его записок (до 1826 г.) было напечатано в Лондоне А.И. Герценом (Полярная звезда. 1862, а также отд. изд. в серии «Записки декабристов» (Лондон, 1862)), а затем перепечатано в Лейпциге в 1874 г. Окончание (за 1826–1836 гг.) появилось впервые в «Русском архиве» (1870. № 8–9. Стб. 1566—1633).

[8] *...основной закон, данный Павлом о порядке престолонаследия...* – Речь идет об «Акте о наследовании... престола», утвержденном Павлом I в 1797 г. По этому документу российский престол переходил от царствовавшего императора к его старшему сыну, затем в порядке старшинства к другим его сыновьям. Если таковых не имелось, престол переходил к второму по старшинству брату царствовавшего императора и его потомкам мужского пола.

[9] *...министра юстиции князя Лобанова...* – Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский (1758–1838), князь, генерал от инфантерии, министр юстиции (1815–1827).

[10] Шеншин Василий Никанорович (1784–1831) – генерал-майор, в 1825 г. командир 1-й гвардейской пехотной бригады, одним из первых привел своих солдат к присяге Николаю I, за что был пожалован в генерал-адъютанты. Во время восстания он был лишь ранен, а не убит.

[11] *...провозглашать конституцию, во имя супруги нового законного государя...* – Свербеев имеет в виду рассказы о том эпизоде восстания, когда солдат мятежных полков призывали выступать с лозунгом «За конституцию!», объясняя им при этом, что Конституция – это имя супруги законного государя Константина Павловича.

[12] *...поступку князя Трубецкого.* – Князь С.П. Трубецкой, намеченный восставшими в диктаторы, 14 декабря 1825 г. не вышел на Сенатскую площадь и участия в восстании не принимал.

[13] *...на Петровской площади...* – Сенатскую площадь называли иногда Петровской по стоящему на ней памятнику Петру I.

[14] *...в Василькове...* – В этом городе стоял Черниговский пехотный полк, который взбунтовался под влиянием подполковника Сергея Ивановича Муравьева-Апостола в поддержку выступления в Петербурге.

[15] *Такими изменниками... считают они... Мих. Фед. Орлова и живущего еще престарелого воина Грабе...* – М.Ф. Орлов, благодаря заступничеству брата, А.Ф. Орлова, близкого к Николаю I, был избавлен от суда и всего лишь отстранен от службы. Павел Христофорович Граббе (1789–1875) – граф (с 1866 г.), генерал от кавалерии, член Государственного совета (с 1866 г.); член «Союза благоденствия». На допросе Верховной комиссии он заявил, что указывал членам «Союза благоденствия» на незаконность и опасность тайного общества; по высочайшему повелению был посажен на 4 месяца в крепость, потом освобожден.

[16] Левашов Василий Васильевич (1783–1848) – граф (с 1833 г.), генерал-адъютант (1817), 14 декабря 1825 г. находился при особе Николая I, за отличие при подавлении восстания произведен в генерал-лейтенанты (1826), член Следственной комиссии по делу декабристов, председатель Государственного совета и Комитета министров (1847–1848).

[17] Трубецкой Петр Петрович (1793–1840) – князь, статский советник, начальник Одесского таможенного округа (1824), член «Союза благоденствия».

[18] *На сестре Николевой был женат... князь Егор Александрович Грузинский* – Князь Георгий Александрович Грузинский (1762–1852), камергер, был женат на Варваре Николаевне Бахметевой (1777–1817), сестре А.Н. Николевой.

[19] *...князя Петра, отца Оболенской, Урусовой, Толстой и Клушиной.* – Свербеев имеет в виду дочерей П.П. Трубецкого: княгиню Дарью Петровну Оболенскую (1821–1905); княгиню Елизавету Петровну Урусову (1825–1905); графиню Варвару Петровну Толстую (ок. 1820–1900); Агафоклею Петровну Клушину (1824–1905).

[20] Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809–1881) – граф (с 1858 г.), генерал-губернатор Восточной Сибири (1847–1861), руководитель экспедиций по Амуру (1854–1855), начальник по службе Н.Д. Свербеева и хороший знакомый Д.Н. Свербеева – мемуарист замечает в письме сыну в 1856 г. о прибавлении слова «Амурский» к его фамилии: «Мы его назвали так, чтобы отличить от двойника его, Карсского» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 222).

[21] Свербеева (урожд. Трубецкая) Зинаида Сергеевна (1837–1924) – жена Н.Д. Свербеева, дочь С.П. Трубецкого.

[22] *...в доме австрийского посланника Лебцельтерна, женатого на сестре его жены.* – Людвиг Лебцельтерн (1774–1854), граф, австрийский полномочный министр в Петербурге (1815–1826), был женат на графине Зинаиде Ивановне Лаваль (1801–1873), сестре Екатерины Ивановны Лаваль (в замужестве кн. Трубецкой) (1800–1854).

[23] Кетчер Николай Христофорович (1809–1886) – врач, писатель-переводчик.

[24] *...князя В. Черкасского...* – Очевидно, князь Владимир Александрович Черкасский, либеральный общественный деятель; московский городской голова (1869–1871).

КОНЧИНА И ПОХОРОНЫ КНЯЗЯ В.Ф. ОДОЕВСКОГО И МОИ О НЕМ ВОСПОМИНАНИЯ

[1] Очерк о В.Ф. Одоевском публикуется по черновой рукописи (список с обильной правкой и вставками Д.Н. Свербеева), хранящейся в РГАЛИ (ФС. Д. 29. 9 л.). В РО ИРЛИ находится машинописная версия этого текста, подготовленная к публикации в 1917 г. и снабженная несколькими комментариями, составленными, очевидно, Н.В. Голицыным (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 3. Ед. хр. 5. Л. 5–15). Тексты этих двух очерков не идентичны – вероятно, это связано с тем, что очерк был переписан для знакомых Свербеева и машинопись делалась с одной из таких переписанных версий текста. Разночтения, выявленные при подготовке публикации, указаны в примечаниях к наст. изд. Кроме того, к машинописному очерку была приложена копия письма Д.Н. Свербеева к дочери, С.Д. Свербеевой, дополняющего текст. Это письмо приводится в примечаниях к публикации.

Очерк предполагалось опубликовать вместе с другими дополнительными статьями в издании 1899 г.: на с. 188 т. I «Записок» даже стоит примечание, связывающее имя В.Ф. Одоевского с отдельным текстом из «Приложений» (предполагавшийся № V, между очерками о А.И. Герцене и А.С. Шишкове), однако реально

очерк не вошел в публикацию и дополнительные материалы были перенумерованы С.Д. Свербеевой.

[2] Свербеев по памяти неточно приводит «Воспоминание» В.А. Жуковского (1821).

[3] *...мы его похоронили на кладбище Донского монастыря.* – Князь В.Ф. Одоевский умер 27 февраля 1869 г. Похороны состоялись 2 марта.

[4] *...отца...* – князь Федор Сергеевич Одоевский (1771–1808), директор Московского отделения Государственного ассигнационного банка (1797), статский советник.

[5] Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – писатель, критик и историк литературы, один из организаторов журналов «Московский вестник» и «Московский наблюдатель», профессор Московского университета (с 1837 г.), ординарный академик.

[6] Титов Владимир Павлович (1807–1891) – литератор, сотрудник «Московского вестника», поверенный в делах, затем посланник в Константинополе (1840–1853) и Штутгарте (1855–1858), член Государственного совета (с 1865 г.).

[7] Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846) – поэт, писатель, декабрист. В 1823–1825 гг. издавал вместе с В.Ф. Одевским литературный альманах «Мнемозина, собрание сочинений в стихах и прозе».

[8] *...уже женатым...* – Свербеев пишет о событиях 1832 г. Тогда Одоевский уже был женат на Ольге Степановне Ланской (1797–1872).

[9] Елагина (урожд. Юшкова, по первому мужу Киреевская) Авдотья (Евдокия) Петровна (1789–1877) – хозяйка литературного салона, мать братьев Киреевских.

[10] Рожалин Николай Матвеевич (1805–1834) – писатель, переводчик.

[11] Мельгунов Николай Александрович (1804–1867) – писатель, публицист, переводчик, музыкальный критик.

[12] Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) – поэт, переводчик, критик.

[13] *...у своей тещи.* – Мария Васильевна Ланская (урожд. Шатилова) (1767–1842).

[14] *Меня же знал князь Одоевский... более по рассказам... друзей, чем сам по себе.* – Сближению Свербеева и Одоевского в Санкт-Петербурге способствовал их общий московский друг И.В. Киреевский, который в письме к В.Ф. Одоевскому от 17 мая 1833 г. рекомендовал тому супругов Свербеевых. См.: *Сакулин П.Н.* Из истории русского идеализма: Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 1. С. 615.

[15] Это предложение, вставленное в текст машинописи, отсутствует в рукописи РГАЛИ (см.: РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 3. Д. 5. Л. 6; РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Д. 29).

[16] *Жена моя с двумя старшими дочерьми...* – Е.А. Свербеева и ее дочери: Варвара Дмитриевна (в замуж. Арнольди) и Екатерина Дмитриевна.

[17] Елена Павловна (принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская) (1807–1873) – великая княгиня, супруга великого князя Михаила Павловича; благотворительница.

[18] *...Румянцевского музеума, им же устроенного.* – В.Ф. Одоевский был назначен в 1846 г. заведующим Румянцевского музея (учрежденного в 1828 г. и основанного в 1831 г.) и много заботился о его процветании.

[19] Панаев Иван Иванович (1812–1862) – русский писатель, литературный критик и журналист, издатель журнала «Современник» (с 1847 г., совместно с Н.А. Некрасовым), где печатал свои фельетоны о петербургской жизни, автор литературных воспоминаний.

[20] Сахаров Иван Петрович (1807–1863) – этнограф-фольклорист, археолог и палеограф.

[21] Нэпир (Непир) (Napier) Френсис (1819–1889) – лорд, английский посол в России (1861–1864).

[22] Молчанов Иван Евстратьевич (1809–1881) – певец, музыкальный педагог, собиратель и исполнитель русских народных песен и романсов.

[23] Иннокентий (И.Е. Попов-Вениаминов) (1797–1879) – епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки; митрополит Московский и Коломенский (с 1868 г.). В 1977 г. причислен к лику святых Русской православной церкви.

[24] Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) – композитор, один из основателей российской классической музыкальной традиции.

[25] *...праправнук составителя Уложения...* – Имеется в виду князь Никита Иванович Одоевский (1605–1689), ближний боярин и воевода, глава комиссии по составлению Соборного уложения (1649), свода законов, составленного при царе Алексее Михайловиче.

[26] В варианте РО ИРЛИ здесь продолжено: «Таким ненавистником и завистником аристократии был у нас один из самых выдающихся людей отжившего поколения, Сперанский. Во всех его действиях заметно было, что он не забывал своего низкого происхождения и никогда не прощал ни себе, ни другим, как в дни своей юности поступил в учителя и каштеляны к кн. Куракину; он на первых порах предпочитал обедать с его дворецким, камердинером и лакеями, а не за столом родовитого боярина, своего начальника» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 3. Д. 5. Л. 12).

[27] В варианте РО ИРЛИ здесь продолжено: «...в духе религиозной разнородной разнославной терпимости» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 3. Д. 5. Л. 14).

[28] В варианте из РО ИРЛИ здесь дается примечание-добавление к тексту, сделанное, вероятно, Н.В. Голицыным:

«В письме Д.Н. Свербеева к дочери его Софии Дмитриевне от 28 февраля – 1 марта 1869 г. находятся еще следующие подробности о кончине кн. Одоевского: “В три дня болезнь унесла милого нашего Одоевского. До глубокой ночи просидел я с ним вечер в пятницу. В субботу был он в концерте, в воскресенье на двух чтениях, в ночь занемог; никто, кроме меня, не видел явной опасности; вчера в четверг умер. Накануне еще беседовал, и уже с бредом, о своей старинной музыке и о церковных нотных крюках. Княгиня вряд ли долго переживет его. [Княгиня Ольга Степановна Одоевская, рожд. Ланская, умерла 3 года спустя после смерти мужа, 18 мая 1872 г. – *примеч. рукописи*]. Часто беседовал я с ним, всегда с любовью, никогда с раздражением, о самых серьезных предметах, как равно и о тревожащих всех ежедневных, о злобе каждого дня. Весь он проникнут был чувствами благоволения. Как-то в середине этой зимы наедине, с обеда до ночи, мы с ним пробеседовали, и, расходясь, пожал я ему руку; сказав: «Не мне, конечно, пережить вас, но вот вам от меня эпитафия, знаменитый стих Теренция: Homo sum et nihili humani a me alienum puto [Я человек и ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*)]». Жаль, что латинская надпись на памятниках у нас невозможна как еретичество, а ничто лучше не может определить милого моего покойника. *1 марта*. Случившееся вчера внезапное, незадуманное, так сказать, невольное примирение мое с Ю. Самариным стоит быть записанным в хронике, ибо оно есть утешительное событие в его

и моей жизни. Глубоко настроенный кончиною кроткого Одоевского, я подошел к нему, входящему на панихиду, и крепко пожал ему руку. Вместе с ним и другими близкими мы положили в гроб незлобивого, как младенец, усопшего. После обеда подали мне письмо Самарина «В виду воплощенной кротости, которую мы положили сегодня в гроб, – пишет он мне, – прошу забыть прошлое». Вечером, тоже на панихиде, я опять подошел к нему, сказав: «Я бы вас обнял, если бы не было так народно»".

Упомянутое письмо Ю.Ф. Самарина к Д.Н. Свербееву после примирения их на панихиде по кн. Одоевском сохранилось в копии, писанной Е.А. Свербеевой. Приводим полный текст этого письма: "М[илостивый] г[осударь] Дмитрий Николаевич. В виду воплощенной кротости, которую мы сегодня положили во гроб, мне стало совестно и стыдно моей неуместной обидчивости. Вы давно исполнили все то, чего я только мог ожидать от вас, и теперь остается мне перед вами повиниться и попросить вас забыть прошлое. Глубоко вас уважающий и искренно вам преданный Юрий Самарин. 28 февраля (1869 г.)"» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 3. Д. 5. Л. 14–15).

Похожие ощущения испытывали и другие свидетели смерти и похорон В.Ф. Одоевского. Историк и издатель П.И. Бартенев, хорошо знавший и Одоевского, и семью Свербеевых, писал о похоронах князю П.А. Вяземскому: «На лице его было значительное умное выражение и ничего страшного. Что-то кроткое постоянно примешивается к воспоминанию об этом человеке. ...Похоронами распоряжался гр. Толь. Молодые Свербеевы не отходили от гроба» (См.: *Соболев Л.* Из переписки П.А. Вяземского и П.И. Бартенева // И время, и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М., 2008. С. 391–392). Под «молодыми Свербеевыми» здесь подразумеваются дети Д.Н. Свербеева: Александр Дмитриевич (1835–1917), впоследствии самарский губернатор (1878–1891), и названная ранее дочь Екатерина. Упомянутый распорядитель похорон: друг Одоевского граф Константин Карлович Толь (1817–1884).

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ

[1] Этот мемуарный набросок о событиях 1837 г. в Серпухове публикуется по черновой рукописи Д.Н. Свербеева из РГАЛИ (ФС. Д. 15. Л. 1–8). Впервые он был опубликован в журнале «Подмосковный летописец» (2012. № 2. С. 73–77. Подг. публ.: М.В. Батшев, Т.В. Медведева).

[2] *...о почившей недавно...* – великая княгиня Елена Павловна скончалась 9 января 1873 г.

[3] *...царствующая императрица с вел[икой] к[няжной] Марьей Николаевной...* – Императрица Александра Федоровна и великая княжна Мария Николаевна (1819–1876), старшая дочь императора Николая I, в первом браке (1839–1852) супруга Максимилиана Лейхтенбергского, во втором (с 1854 г.) графа Григория Александровича Строганова.

[4] *...герцог Лейхтенбергский, сын Евгения Богарне ...* – Максимилиан Богарне, герцог Лейхтенбргский (1817–1852), второй сын Евгения Богарне (1781–1824), пасынка Наполеона Бонапарта; будущий супруг вел. кнж. Марии Николаевны.

[5] *...новооткрытым мощам святителя Митрофана...* – Митрофан (1623–1703), епископ Воронежский; в 1832 г. причислен к лику святых.

[6] Небольсин (Неболсин) Николай Андреевич (1785–1846) – камергер, московский гражданский губернатор (1829–1838).

[7] Небольсина (урожд. Муромцева) Авдотья Сельверстовна – Известная московская барыня. Современник писал о ее именинах: «Вероятно, весь город, по обыкновению, будет у ней. Нельзя не поздравить хромую, ласковую соседку, которая в такой связи со всеми боярами» (*Жихарев С.П.* Записки современника: Воспоминания старого театрала: В 2 т. Л., 1989. Т. 1. С. 55).

[8] Фридрих Карл Август Вюртембергский (1808–1870) – принц, отец Вильгельма II, короля Вюртемберга.

[9] *...Анна Матвеевна Толстая, вышедшая потом за Голицына, мать нынешней константинопольской Игнатьевой...* – А.М. Толстая (1809–1897) была замужем за князем Леонидом Михайловичем Голицыным (1806–1860), их дочь, княжна Екатерина (1842–1917), была супругой Н.П. Игнатьева, посла в Константинополе (1864–1877).

[10] Вешняков Иван Петрович (1791–1841) – генерал-майор, гофмаршал двора великого князя Михаила Павловича.

[11] Мандт Мартин (1800–1858) – врач, с 1840 г. лейб-медик императора Николая I.

[12] Гудович Андрей Иванович (1782–1867) – участник наполеоновских войн, уволен в отставку в 1816 г. в чине генерал-майора. В 1832–1841 гг. московский предводитель дворянства

[13] Новосильцева (урожд. гр. Орлова) Екатерина Владимировна (1770–1849) – подмосковная помещица, управлявшая имением племянника В.П. Давыдова «Отрада».

[14] Коншин Николай Максимович (1798–1853) – купец, владелец текстильной фабрики; городской голова Серпухова.

[15] *...церкви Мироносиц...* – Церковь Жен Мироносиц в Серпухове – пятиглавая церковь в монастырской слободе Высоцкого монастыря. Построена в конце XVII в. Снесена в 1930-е годы.

[16] Щербатов Николай Александрович (1800–1863) – штабс-ротмистр, адъютант Д.В. Голицына; впоследствии московский гражданский губернатор (1857–1859); шурин Д.Н. Свербеева.

[ВОСПОМИНАНИЯ О СМЕРТИ Н.В. ГОГОЛЯ]

[1] Этот мемуарный отрывок без начала и окончания публикуется по черновой рукописи Д.Н. Свербеева, хранящейся в РГАЛИ (ФС. Д. 20. Л. 1–2). При «расшифровке» этого автографа, написанного беглым плохо читаемым почерком мемуариста, были привлечены копии начала XX в., сделанные для публикации предположительно Н.В. Голицыным, по этому автографу (ФС. Д. 20. Л. 3–6; РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 204–207; Оп. 3. Д. 5. Л. 1–4). Одна из этих копий, черновая, хранит

следы сверки с автографом Свербеева и уточнения сложных в прочтении мест, вторая, беловая, была снабжена рукописными послесловием и примечаниями публикатора, кратко пояснявшими упомянутых в тексте лиц (в данной публикации примечания публикатора начала XX в. не воспроизводятся, так как названные лица уже были раскрыты в примечаниях книги). Приведем здесь краткое пояснение к воспоминаниям о смерти Гоголя, сделанное, очевидно, Н.В. Голицыным для предполагавшейся публикации (оно являлось началом более общей статьи о смерти Гоголя, сохранившейся в черновых набросках): «Настоящее воспоминание, начало и конец коего не сохранились, было по-видимому вызвано появлением какой-то заметки о смерти Гоголя в "Современной летописи" (прибавлении к Моск[овским] ведомостям), выходившей с 1863 по 1871 г. Воспоминание написано крайне неразборчиво (в скобках вставлены слова, по смыслу подходящие к тексту, но не соответствующие начертанию в подлиннике); некоторые фразы, впрочем, немногие, опущены за полной невозможностью их разобрать, неотделанность слога свидетельствует о том, что это воспоминание – черновой отрывок, не проредактированный автором» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 1. Д. 891. Л. 207).

Часть этой заметки Свербеева о Гоголе была опубликована в сборнике «Литературное наследство» (Т. 58: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Л., 1952. С. 748–750), наиболее резкие фрагменты были исключены, а сама запись характеризовалась как «выдержанная в иронически-недоброжелательном по отношению к Гоголю тоне». Фрагменты, повторяющие «уже известные подробности о последних днях жизни писателя», были опущены (Там же. С. 750). Публикаторы в этом издании также сочли черновой автограф Свербеева «малоразборчивым, местами совсем не поддающимся расшифрованию» (Там же. С. 748).

Почти одновременно с настоящим изданием воспоминания о смерти Гоголя увидели свет в фундаментальной антологии: Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников / Подг. изд.: И.А. Виноградов: В 3 т. М., 2013. Т. 3. С. 849–852.

Для оценки этого текста, местами резкого, но написанного искренне и прямо, нужно понимать, что Свербеев очень высоко ценил Гоголя как писателя, неоднократно приглашал его в свой дом (о чем писали в воспоминаниях современники и дети мемуариста), ссужал деньгами самого писателя и впоследствии его семью. При этом, будучи человеком, безусловно, религиозным, искренне принадлежащим к православию, он не разделял религиозных убеждений Гоголя в последние дни его жизни и, как следует из описанной ниже дискуссии вокруг памятника Гоголю (а также из замечаний Свербеева на «Избранные места из переписки с друзьями»), отдавая должное Гоголю-писателю, не стремился превозносить Гоголя-христианина.

Впечатления Д.Н. Свербеева от последних дней и кончины Гоголя, противоречивые чувства и общая скорбь подробно были описаны и в его письме к жене, жившей в это время в Дрездене из-за болезни одной из очерей Свербеевых. 26 февраля 1852 г. муж писал Екатерине Александровне сразу о нескольких утратах: о смерти ее дяди, всеми любимого князя А.П. Оболенского, о кончине М.П. Дохтуровой (о них см. с. 486–489 наст. изд.) и о смерти Гоголя, которая произвела на всех очень сильное

впечатление: «Ох, если бы это была моя последняя весть тебе об утратах этого времени. На беду, нет. Ты еще лишилась человека, которого много любила и которого чтили все. Гоголя не стало. Я писал тебе слегка о его болезни. Долго я не верил этому: думаю, хандрит, да и в самом деле было что-то очень похоже. Я его встречал часто у Хомякова; казалось, был весел. Вдруг слышу – болен, не принимает никого. Я к нему заезжал два раза, в последний с Языковым. Он никого не пускал. Слышу, что после свидания с каким-то аскетом, священником из Тверской губ., Гоголь вдруг говеет на масленице и держит, как оказалось после, самый строжайший пост. Потом, говорят, изнемогает он от самой скудной пищи, просто от голода, который производит в нем сильное ослабление и, наконец, воспаление в кишках. Больной противится всем убеждениям и не принимает никакого лекарства, не пьет даже бульона. Хомяков к нему вломился, Шевырева и Погодина он прогнал, Иноземцева тоже. Овер объявляет ему, что будет лечить его как сумасшедшего. Гоголь, говорят, начинает принимать лекарства, но было уже поздно; он умирает 21 февраля в 8 часов утра. Еще до кончины узнали, что за день или два он ночью тайно ото всех сжигает все свои сочинения и тут же «Мертвые души»; после не осталось ни строки, кроме чужих к нему писем. Университет, говорят, по предложению Грановского, переносит на руках сперва попечителя и профессоров, потом студентов, тело славного покойного в свою церковь, которая не запирается совсем до погребения его в Даниловом монастыре рядом с Языковым. Все приходят толпами проститься с великим писателем; друзья, приятели оплакивают и доброго человека. Третьего дня, 24 февраля в воскресенье, похоронили его.

Я не имел силы написать тебе об этих двух потерях, так близких по времени и так по всему далеких. Не знаю, однако, кого мне было более жаль. Я так горевал о кн. Андрее Петровиче, что даже совсем не занялся состоянием и ходом болезни Гоголя, не верил близкой его кончине и узнал ее вдруг, ехав на одну из панихид на Рождественку. Все это вместе потрясло меня сильно. Я мог быть только на одной панихиде у Гоголя еще в доме и у обедни и отпевания в университете, проводить тела не мог. Берег и берегу себя, и теперь опять бодр и здоров. Почести, возданные университетом праху знаменитого писателя, делают честь Назимову, который принимал самое искреннее участие в этом общем горе. К стыду и сожалению, наши общие приятели Хомяков, Кошелев и другие, т.е. Самарин, Аксаковы, вздумали было оспаривать желание университета и настоятельно требовать, чтобы Гоголя отпевали в приходской церкви. По обыкновению, кричали, спорили, шумели, многих рассердили, тех, которые поумнее, насмешили и не успели ни в чем. Решительно их раздражение доходит до крайности и к великому несчастью вносится в общественную и частную жизнь. К несчастью, этот новый печальный случай лучше всего доказывает, что общение с ними невозможно. Я не спорю с Хомяковым, уважая его собственную скорбь, вследствие которой он сделался еще раздражительнее и нелепее; но не могу простить другим, особливо Кошелеву, которого нарочно избегал все эти дни, а вчера, приглашая к себе, сказал Ольге Федоровне, чтобы она как-нибудь предупредила мужа не начинать при мне и со мною разговора о похоронах Гоголя, чтобы нам о том не спорить. Ты не можешь себе представить, какой невыгодный для себя произвели все они говор по городу; я только и прошу

везде, где бываю, не вмешивать меня во все эти толки… Благодарим Бога, что вас здесь нет это время: что бы было с вами все это время? Хороним да хороним. И окончательно как бы раздражил тебя этот спор приятелей, напомнивший мне бранные стихи Н.М. Языкова и это бурное время. Смотри же, поплачь, поплачь да и перестань, а Варе не давай много плакать и постарайся поскорее рассеять ее горе, а она, думаю, как я: горевать больше будет о нашем милом старичке» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 2. Д. 80. Л. 39–39 об. (автограф); Д. 82. Л. 3–5 (копия)). Здесь Свербеевым упомянуты: Владимир Иванович Назимов (1802–1874), попечитель Московского университета, и Ольга Федоровна Кошелева (урожд. Петрово-Соловова) (1816–1893), жена А.И. Кошелева.

[2] *…отце Матвее…* – Протоиерей Матвей Александрович Константиновский (1791–1857), священник Успенского собора во Ржеве, проповедник, духовный наставник нескольких известных лиц, в том числе Н.В. Гоголя и обер-прокурора Синода А.П. Толстого. Об этом человеке и его неоднозначной оценке современниками говорилось довольно много: биографы Гоголя часто пишут о нем неодобрительно, тогда как историки Церкви находят немалое число противоположных отзывов современников.

[3] *…вскоре по кончине Хомяковой…* – Е.М. Хомякова (урожд. Языкова), жена А.С. Хомякова, умерла 26 января 1852 г. Гоголь сильно переживал эту потерю.

[4] *…доктора Мол…* – Иван Иванович Молнар (1802–1872), врач, двоюродный брат Ю. Венелина (Гуцы), издатель трудов Венелина, хранивший его труды.

[5] *Одновременно с Гоголем тяжко заболел …кн. А.П. Оболенский…* – Князь Оболенский умер 19 февраля 1852 г. Статью-некролог о нем Д.Н. Свербеева см. в наст. изд. С. 486–489.

[6] *…к констипациям…* – т.е. к запору (от *лат.* constipatio).

[7] Овер Александр Иванович (1804–1864) – врач, гоф-медик (1849), хирург, директор терапевтической клиники Московского университета (с 1842 г.).

[8] Толстой Александр Петрович (1801–1873) – граф, обер-прокурор Синода (1856–1862), владелец усадьбы на Никитском бульваре (соврем. д. 7а, где помещается ныне музей «Дом Гоголя»).

[9] Лопухин Алексей Александрович (1813–1872) – московский чиновник, камергер, муж племянницы А.П. Оболенского.

[10] *…и тут встретило меня другое неожиданное смущение…* – В этом месте текст обрывается. Здесь, очевидно, речь идет о спорах вокруг места отпевания Гоголя и дискуссии вокруг памятника писателю, развернутой славянофилами, о чем подробнее пишет Свербеев в письме от 29 февраля 1852 г. к жене: «Приятели наши, взволнованные своей неудачей похоронить Гоголя как им хотелось, не вдруг успокоились и вздумали было новое средство сердить мнимую противную себе партию: дня четыре тому получил я вечером при Чижове подписку на памятник Гоголю с надписью из псалма, изобретенной Хомяковым: “Возлюбих любящих Тя, возненавидех ненавидящих Тя”. Я тотчас отвечал, что не соглашаюсь с этой надписью, а потому не подписываюсь; я отвечал, что готов участвовать в памятнике Гоголя как писателя, а не как христианина, тем более, что такая надпись придавала бы ему религиозное направление, ревностное не по разуму. Говорят, теперь они соглашаются изменить надпись… Самарина видел всего два раза, у Чаадаева и у Хомякова, у последнего с

Ханыковым, уехавшим на губернаторство в Уфу. Самарин сильно горюет о Гоголе. Чижов уехал в Киев… Жаль мне Хомякова, что он, вместо того чтобы смирить себя бедою, стал от нее раздражительнее. Это не я один замечаю, но и Чижов, и Елагина. Покойная жена его все-таки находила способ его успокаивать; а теперь все его приятели, кроме меня, ему уступают, говоря и действуя по его направлению, и тогда, когда действия эти не совсем согласны с их собственным убеждением. Буду делать, что могу, дабы удалить от него и от них те неприятные толки и столкновения, которым все они подвергаются. Ищут, ищут повсюду, нет ли где какого списка со 2-го тома "Мертвых Душ", сожженных самим автором, и нигде не находят. Пронесся слух, будто Гоголь отдал список вел. кн. Ольге Николаевне или Жуковскому; об этом можешь узнать сама. Я списал для себя в художественном классе портрет Орлова, теперь списывают для меня у Хомякова портрет Гоголя…» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 2. Д. 80. Л. 40; Д. 82. Л. 5).

Здесь упоминаются Свербеевым: географ Яков Владимирович Ханыков (1818–1862), оренбургский губернатор (1851–1856), неточно названный здесь «уфимским»; великая княгиня Ольга Николаевна (1822–1892), впоследствии королева Вюртембергская (с 1864 г.), и граф Михаил Федорович Орлов, портрет которого списал Свербеев.

Екатерина Александровна отвечала мужу из Дрездена 5/17 марта, разделяя его скорбь о потерях: «Мой друг, письмо твое поразило меня грустью: добрый дядюшка скончался. Я ожидала этой печальной вести. Должны мы плакать о нем, он всех нас так милостиво любил. Но кончина Гоголя меня более тронула и поразила; ты знаешь, как я любила его; он был добрым нам всем приятелем. Много в нем было благодати, я не говорю – таланта; я не имею слов сказать, что я чувствую. Бедная его мать и сестры! …Гоголь наш! мир ему! Славная его душа. Сколько добра он сделал мне; нынче летом ни разу не говорил он со мной, чтобы не дать мне добрый, строгий, любящий совет; не раз я помяну его и погорюю об нем. Итак, Москва приняла прах его; он любил Москву; помнишь, как он нам в последний раз говорил о Москве? Как же "Мертвые души"? Он сжег их! Не найдутся ли они где-нибудь? Это потеря большая. Давно виделось, что он близок [к смерти]. Он смотрел на эту жизнь как человек, который не живет земным. Летом я еще глядела на него с беспокойством. Но жаль Гоголя, и ты это скажешь; как нам всем не сказать того же? Мир душе его! Теперь Данилов монастырь для нас всех дорог; мне очень грустно, а какой это грех! – им хорошо. Он был такой высокой жизни, он и за нас помолится. Его никто не мог понять. Бедная его мать! узнай, кто же ей напишет. Он ехал домой, да воротился. Пожалуйста, что узнаешь об матери его, напиши мне. Поцелуй детей, поцелуй Митю. Гоголь у него на рожденье еще обедал у нас. Я здорова, слава Богу; буду беречь себя и детей. Невольно слезы льются из глаз моих, но это легче, нежели горе без слез…» (РО ИРЛИ. Ф. 598. Оп. 2. Д. 6. Л. 1). Упоминаемый здесь день рождения сына Мити, Дмитрия Дмитриевича Свербеева, праздновали 27 августа (предыдущего, 1851 г.).

ФРАГМЕНТЫ,
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ПУБЛИКАЦИИ 1899 г. И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ПО РУКОПИСЯМ

ФРАГМЕНТ 1

[1] Свербеев Ефим Петрович (?–1739) – драгун Нижегородского полка, помещик сельца Опаркина Бежецкой пятины. Д.Н. Свербеев неточно указывает год сделки между двоюродными братьями. Вероятно, сделка состоялась немного раньше, накануне смерти Е.П. Свербеева. Подробные генеалогические сведения об этом поколении Свербеевых, а также о предыдущих и последующих поколениях см.: НИОР РГБ. Ф. 751 (В.И. Саитов). К. 2. Д. 63. Л. 2–3.

[2] *...Имп. Анна, прохаживаясь с Волынским...* – Анна Иоанновна (1693–1740), российская императрица (с 1730 г.); Артемий Петрович Волынский (1689–1740), астраханский и казанский губернатор (1719–1730), кабинет-министр Анны Иоанновны (1738–1740).

ФРАГМЕНТ 2

[1] *...его жена...* – Наталья Григорьевна Скарятина (урожд. кнж. Щербатова) (?– не ранее 1851).

[2] *...гвардии офицере, Гардани...* – Очевидно, это Евсей Степанович Гарданов (Горданов, Гордонов) (1777–1859), кавалергард (до 1801 г.), курский дворянин, один из участников заговора против Павла I. Он вынужден был выйти в отставку в 1802 г. и прожил в своем имени в Курской губернии до своей кончины.

Возможно, его фамилию неверно разобрал переписчик рукописи «Записок».

ФРАГМЕНТ 3

[1] *...Анненков, единственный сын богатой и знатной барыни...* – Можно лишь предположить, что это один из двух сыновей известной московской барыни Анны Ивановны Анненковой (урожд. Якобий) (ок. 1760–1842), посещавший университет слушателем, поскольку в числе студентов его имя не встречается. Известно, что лекции 1817–1819 гг. посещал Иван Александрович Анненков (1802–1878), будущий офицер и декабрист; однако, возможно, в числе слушателей был и его брат Григорий (ок. 1800–1824), впоследствии убитый на дуэли.

[2] *...Бахтиным и Гофманом...* – товарищи Свербеева по службе (см. примеч. 302, 386).

[3] Грузинская (в замужестве гр. Толстая) Анна Георгиевна (1798–1889) – княжна, дочь князя Г.А. Грузинского, жена А.П. Толстого.

ФРАГМЕНТ 4

[1] *...Киселевым, братом бывшего нашего посла в Париже, и с Гессе...* – Имеются в виду, очевидно: Сергей Дмитриевич Киселев (1793–1851), полковник лейб-гвардии Егерского полка (с 1821 г. в отставке), впоследствии московский вице-губернатор (1837–1838), и его брат Павел Дмитриевич Киселев, государственный деятель.

Следом Свербеев упоминает, вероятно, Павла Ивановича Гессе (1801–1880), знакомого ему по Московскому университету, впоследствии генерал-лейтенанта, киевского губернатора.

[2] *...в доме своих родителей...* – Великолепный особняк Киселевых на Большой Никитской (д. 44, строен. 2, 3) сохранился до сих пор.

ФРАГМЕНТ 6

[1] *...в Коломенском уезде... князь Гагарин...* – Очевидно, князь Петр Иванович Гагарин, действительный статский советник (в 1826 г.), коломенский уездный предводитель дворянства (1788–1800, 1807–1823, 1826–1829).

[2] *Дом московских купцов Мазуриных страшно обогатился...* – Вероятно, Свербеев неточно пересказывает историю, по рассказам, происшедшую около 1830 г. с купцом Алексеем Алексеевичем Мазуриным (1772–1834), московским городским головой (в 1828–1831 гг.): ему, отрицавшему получение драгоценностей на хранение от компаньона, как и Н.А. Норову, пришлось давать торжественную клятву в Казанском соборе (см.: *Варенцов Н.А.* Слышанное. Виденное. Пережитое. М., 2011. С. 57–62).

ФРАГМЕНТ 7

[1] *...одного из... князей Гагариных...* – Имеется в виду князь Федор Федорович Гагарин (1788–1863), полковник (с 1815 г.), командир Клястицкого гусарского полка; с 1827 г. генерал-майор; с 1835 г. в отставке. А также вскользь упомянут его брат, князь Василий Федорович Гагарин (1787–1829), штабс-капитан, с 1811 г. в отставке.

[2] *...старушек княгини Вяземской и Четвертинской.* – Сестры-долгожительницы: княгиня Вера Федоровна Вяземская (урожд. кнж. Гагарина) (1790–1886), жена П.А. Вяземского, и упомянутая уже Н.Ф. Четвертинская.

[3] *Сын его...* – Алексей Васильевич Голицын (1832–1901), князь, статский советник, камер-юнкер.

[4] *...прозваны были другие Голицыны «Куликами»...* – Имеются в виду представители третьей ветви князей Голицыных (преимущественно потомство князя Сергея Ивановича (1766–1831)). Время появления этого прозвища относят к 1820–1830-м годам. «Оно вызвано было просто желанием отметить особо... множество представителей третьей отрасли, преимущественно потомства князя Ивана Алексеевича и князя Сергея Федоровича... Надо также заметить еще, что “куликами” называли вообще малоизвестных представителей рода» (Род князей Голицыных / Сост. Н.Н. Голицын. СПб., 1892. С. 358–359; см. также с. 268–269).

[5] *...«Моська» Голицын...* – Об этом князе Голицыне пишет и П.А. Вяземский в «Записных книжках» (см.: *Вяземский П.А.* Старая записная книжка: 1813–1877. М., 2003. С. 493–494). Имя этого князя и свидетельства о нем обсуждается в кн.: Род князей Голицыных... С. 359.

ФРАГМЕНТ 8

[1] *...с двумя братьями Киселевыми...* – Можно лишь предположить, что это Сергей и Павел Дмитриевичи Киселевы, уже упоминавшиеся мемуаристом.

ФРАГМЕНТ 9

[1] Пукалова (урожд. Крекшина) Варвара Петровна (1784–?) – жена И.А. Пукалова, любовница А.А. Аракчеева. Другие мемуаристы называют ее урожденной Мордвиновой, Крекшиной во втором браке (*Яковлев А.А.* Записки… М., 1915. С. 27; *Никифоров Д.И.* Москва в царствование имп. Александра II. М., 1904. С. 36–37).

ФРАГМЕНТ 10

[1] *…генерал-губернатор…* – Иван Николаевич (Магнус Густав) Эссен (1758–1813), генерал-лейтенант русской службы, военный губернатор Риги с 1810 г.

[2] *…Бирона, его жены и детей.* – Имеется в виду: Эрнст Иоганн Бирон (von Biron) (1690–1772), фаворит императрицы Анны Иоанновны, герцог Курляндии и Семигалии (1737), регент Российской империи (в 1740 г.). Его женой с 1723 г. была Бенигна Готлиба Тротта-Трейден (Trotta, genannt Treyden) (1703–1782). У супругов были дети: Петр (1724–1800), последний герцог Курляндии (1769–1795), Карл Эрнст (1728–1801) и Гедвига Елизавета (1727–1797), в замужестве баронесса Екатерина Ивановна Черкасова, гофмейстерина императрицы Елизаветы Петровны. Из детей Э.И. Бирона достоверно известно о погребении с отцом лишь дочери, Г.Е. Черкасовой, умершей в Митаве.

[3] Алопеус Давид Максимович (1769–1831) – граф Царства Польского (с 1820 г.), российский дипломат, посланник в Берлине (1815–1831).

[4] *…был представлен королю…* – Речь идет о прусском короле Фридрихе Вильгельме III.

[5] *…в знаменитой тогдашней ресторации Ягора, или Егорова…* – Берлинский ресторан, знаменитый в 1820–1840-х годах, упоминавшийся в «Письмах из Берлина» Г. Гейне, в «Дневниках» В.А. Жуковского (*Жуковский В.А.* Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 2004. Т. 13. С. 145 и др.) и в «Путевых записках» П.В. Анненкова (М., 1983).

[6] *…на первом представлении Фрейшица.* – Речь идет о наиболее известной опере немецкого композитора Карла фон Вебера «Вольный стрелок» (Der Freischütz – «Фрейшютц», в русском переводе также: «Волшебный стрелок»). Ее премьера состоялась 18 июня 1821 г. в Берлинском драматическом театре.

[7] *…романс: «Partant pour la Syrie», сочиненный королевой Гортензией…* – Песня «Отбывающий в Сирию», вдохновленная событиями египетской экспедиции Наполеона Бонапарта, была создана в 1807 г. Свое авторство мелодии подтверждала в мемуарах Гортензия Богарне (1783–1837), падчерица Наполеона I и жена его младшего брата, голландского короля. Автор текста – политик и историк маркиз Александр де Лаборд (de Laborde) (1773–1842). В 1850–1860-х годах песня была неофициальным французским гимном.

[8] *…новость о кончине Наполеона I на острове Св. Елены.* – Наполеон умер 5 мая 1821 г.

[9] Шлецер (Schlöezer) Карл Августович (Карл-Август) (1780–1859) – российский консул в Любеке (1810–1851), пианист и композитор; сын А.-Л. Шлецера, младший брат Х. Шлецера.

[10] Шлецер (Schlöezer) Нестор Карлович (1808–1899) – чиновник консульства в Любеке (1831–1844), консул в Штетине (1844–1859); сын К. Шлецера.

[11] *...открытый... англичанином Ченселором порт города Архангельска во времена королевы Елизаветы...* – Свербеев неточен: путешествие Ричарда Ченслера (Chancellor) (?–1556), проложившего путь в Россию через Северный Ледовитый океан, трагически окончилось за два года до восшествия на английский престол в 1558 г. Елизаветы I (1533–1603).

ФРАГМЕНТ 13

[1] *...внука первого тамошнего богача...* – Очевидно, имеется в виду родство Гвидо Липгарда с Рейнгольдом Вилемом фон Липгардом (von Liphart) (1750–1829), известным лифляндским аристократом, дедом Г. Липгарда по отцу.

[2] *...перед фонтаном-памятником, собственное имя которого мое перо считает неудобным написать.* – Свербеев деликатно намекает на известный брюссельский фонтан «Писающий мальчик», расположенный неподалеку от ратуши и готического собора Св. Михаила и Гудулы, упомянутых мемуаристом выше.

[3] Виллем (Вильгельм) I (1772–1843) – первый король Нидерландов (1815–1840). На его правление пришлось соединение Бельгии с Нидерландами в 1815 г. и ее отделение после революции 1830 г.

[4] *...Бельгия избрала своим королем мудрейшего из всех современных государей...* – Имеется в виду избрание в 1831 г. Национальным конгрессом Леопольда Саксен-Кобургского (1790–1865) первым бельгийским королем (после провозглашения независимости страны) Леопольдом I.

ФРАГМЕНТ 14

[1] *...Генриха V.* – Генрих Шарль д'Артуа, герцог Бордо, граф де Шамбор (1820–1883) – сын герцога Беррийского, формально считавшийся королем 2–9 августа 1830 г.

[2] *...Римского короля...* – Этот титул получил Наполеон II (Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт, герцог Рейхштадский), сын Наполеона I Бонапарта.

ФРАГМЕНТ 15

[1] Парадол (Paradol) Анна Катерина Люсинда (1798–1843) – французская актриса, переживавшая в описываемое время пик своей популярности.

[2] *...легюм...* – от légumes (*фр.*) – овощи.

[3] Воронцов Семен Романович (1744–1832) – граф (с 1797 г.), посол в Великобритании (1784–1806), отец М.С. Воронцова.

[4] Пембрук (Пемброк) (Pembroke) (урожд. гр. Воронцова) Екатерина Семеновна (1783–1856) – графиня, фрейлина, супруга (с 1808 г.) лорда Джорджа Огастеса Герберта графа Пембрука (1759–1827).

ФРАГМЕНТ 16

[1] *...Орлеанского герцога и вместе с банкиром Лафиттом, публицистом Бенжаменом Констан, сердечным другом госпожи Сталь ...* – Титул герцога Орлеанского носил до вступления на престол в 1830 г. французский король Луи-Филипп I (1773–1850).

Далее названы: французский банкир и государственный деятель Жак Лафит (Laffitte) (1767–1844), министр в правительстве Луи-Филиппа в 1830–1831 гг.; французский писатель Бенжамен Констан (см. примеч. 1 к Фрагменту 28) и его гражданская жена в 1795–1807 гг. писательница баронесса де Сталь.

[2] *...маркизой дю-Кела...* – Зоэ Талон (Talon), графиня дю Келя (du Cayla) (1785–1852), приближенная Людовика XVIII.

[3] *...и с его женой...* – Мария Тереза Шарлотта Французская (1778–1851), старшая дочь короля Людовика XVI, с 1799 г. герцогиня Ангулемская (и невестка графа д'Артуа).

[4] *...свободу галликанской церкви против ультрамонтизма, завоеванную Франции в 1682 г. великим Боссюэтом...* – Жак Бенинь Боссюэ (Bossuet) (1627–1704), французский богослов, епископ Мо, в 1682 г. предложивший декларацию, утверждавшую определенную независимость галликанской (французской) церкви от папского престола. Ультрамонтантство явилось ответом сторонников папы на принятие этой декларации.

[5] *В 1822 году провозглашен был... г. Равезом... аббат или епископ Грегуар...* – Описываемые события происходили осенью 1819 г. Французский католический епископ, деятель Великой французской революции Анри Грегуар (Grégoire) (1750–1831), избранный в парламент, был по настоянию роялистов выведен из числа парламентариев. Президентом Палаты депутатов в это время был граф Огюст Равез (Ravez) (1770–1849), французский политик, занимавший эту должность в 1818–1827 гг. (с небольшим перерывом).

[6] Фуше (Fouché) Жозеф (1759–1820) – французский политический и государственный деятель; четырежды назначался министром полиции: при Наполеоне I (1799–1802, 1804–1810, в период «100 дней» в 1815 г.) и при Людовике XVIII (1815–1816).

[7] Мануэль (Manuel) Жак Антуан (1775–1827) – французский политик-либерал, неоднократно избиравшийся в парламент в 1815–1823 гг. Его изгнание из Палаты депутатов, описанное мемуаристом, произошло в 1823 г. и было связано с его выступлением по вопросу о французской экспедиции в Испанию. Здесь Свербеев смешивает два ярких разновременных события из истории французского парламентаризма, совмещая историю аббата Грегуара и изгнание депутата Мануэля.

ФРАГМЕНТ 17

[1] Острожский Константин (Василий) Константинович (1526–1608) – князь, воевода Киевский; основатель славянской типографии в г. Остроге, пригласивший к себе печатника Ивана Федорова для напечатания так называемой «Острожской библии» (1581), первой полной библии на славяно-русском языке.

[2] Блудова Антонина Дмитриевна (1813–1891) – графиня, благотворительница, основательница в г. Острог Кирилло-Мефодиевского братства (1865) и женского высшего училища (1866); камер-фрейлина (с 1863 г.).

[3] *...Кохановская...* – Псевдоним Надежды Степановны Сохановской (1823–1884), писательницы-славянофилки.

ФРАГМЕНТ 18

[1] Ешевский Степан Васильевич (1829–1865) – историк, специалист по истории позднеримской империи и раннего Средневековья. Свербеев упоминает собрание его

трудов: *Ешевский С.В.* Сочинения. М., 1870. Ч. 1–3, куда вошла и работа «Очерки язычества и христианства» (1867).

[2] Августин Блаженный Аврелий (354–430) – христианский святой, теолог и философ, один из Отцов церкви.

[3] Эпиктет (ок. 50–138) – древнегреческий философ-стоик.

[4] Зенон из Китиона (ок. 334 – ок. 264 до н.э.) – древнегреческий философ, основатель стоической школы.

[5] Сенека Луций Анней (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.) – древнеримский философ, политический деятель, писатель.

[6] Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 – после 220) – христианский богослов и писатель.

[7] Иероним Стридонский (ок. 342–420) – христианский богослов и писатель.

ФРАГМЕНТ 19

[1] Васильчиков Николай Иванович (1792–1855) – генерал-майор (1824), серпуховский уездный предводитель дворянства (1832–1838, 1844–1847).

[2] *...от жены моей...* – Мария Петровна Васильчикова (урожд. Ланская) (?–1879).

ФРАГМЕНТ 20

[1] Демидов (Антуфьев) Никита Демидович (1656–1725) – кузнец, родоначальник династии горнозаводчиков.

[2] Хитрово Богдан (Иов) Матвеевич (ок. 1615–1680) – боярин, начальник приказа Большого дворца (с 1663 г.).

ФРАГМЕНТ 23

[1] Кокошкин Федор Федорович (1773–1838) – драматург, театральный деятель, первый директор Императорских московских театров (1823–1831); камергер.

[2] *...Кошелева, старшая сестра Александра Ивановича...* – Имеются в виду: Александр Иванович Кошелев (1806–1883), публицист, общественный деятель, славянофил, близкий знакомый Д.Н. Свербеева, и, очевидно, его сестра, княгиня Елена Ивановна Горчакова (урожд. Кошелева) (1790–1872). О ее участии в этих домашних спектаклях трогательно писал сам И.М. Долгоруков в своих мемуарах (*Долгоруков И.М.* Повесть о рождении моем... Т. 2. С. 346).

[3] *...Фифочки...* – Очевидно, Федор Михайлович Дмитриев, сын М.А. Дмитриева, впоследствии профессор (см. о нем примеч. 598 к т. I).

[4] Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) – писатель, драматург, автор исторических романов; директор Императорских московских театров (1837–1842) и Московской оружейной палаты (с 1842 г.); автор исторического романа «Юрий Милославский» (1829).

[5] *...второй женой Долгорукова, урожденной Пожарской...* – Имеется в виду Агриппина (Аграфена) Алексеевна Долгорукова (урожд. Безобразова, в первом браке кн. Пожарская) (1766–1848), вторая жена (с 1807 г.) И.М. Долгорукова.

[6] *прочесть занимательную биографию этого кн. Долгорукова, недавно изданную Михаилом Александровичем Дмитриевым...* – Имеется в виду, очевидно, изд.: *Дмитриев М.А.* Князь Иван Михайлович Долгорукой и его сочинения. 2-е изд., обраб., вновь испр. и значит. доп. М., 1863 (1-е, краткое, изд.: М., 1851 г.).

ФРАГМЕНТ 24

[1] Речь в этом фрагменте идет о выделении доли в наследстве сыну Владимиру Дмитриевичу Свербееву (1836–1886), подпоручику, участнику боев на Кавказе в 1857–1860 гг., кавалеру ордена Св. Станислава III степени с мечами и бантом. Владимир, единственный из пяти сыновей Свербеевых, с юности был предметом постоянных душевных переживаний отца: легкомыслие и склонность к развлечениям не позволили ему хорошо окончить Московский университет, определение в военную службу (единственного из сыновей, против воли родителей стремившегося на Кавказ в 1855 г.) в какой-то мере повлияло на него положительно, но карьеры в армии он не сделал: в 1863 г., выйдя в отставку, он добился получения от отца имения в Нижегородской губернии, где зажил весьма разгульно. Через несколько лет, к началу 1870-х, у него уже были огромные долги. Вместе с долгами копились и другие проблемы: неисполнение обязательств по ведению чужих дел и, в конечном счете, в 1873 г. бывший мировой посредник В.Д. Свербеев был объявлен в розыск по обвинению в мздоимстве (Санкт-Петербургские ведомости. 1873. 29 янв.). Для отца, Дмитрия Николаевича, всегда придававшего порядочности в денежных делах исключительное значение, это стало личной болью и причиной изменения завещания. Считая, что по дарственной на нижегородское имение Владимир уже получил свою долю, Д.Н. Свербеев распорядился в завещании выплачивать Владимиру ежегодную ренту в 1200 руб. (причем, выплачивать лично, а не бесчисленным кредиторам, которые обращались к семье Свербеевых) и более ничем его не наделил. Это противоречило статье 11.28 т. IX Свода законов, и впоследствии Владимир долго (и безуспешно) судился с родными за получение доли в имениях покойного отца (см.: ФС. Д. 663). Тяжба закончилась лишь со смертью В.Д. Свербеева в 1886 г.

Подробно и с душевной теплотой писал о В.Д. Свербееве его старший брат Александр Дмитриевич в своих воспоминаниях, воздерживаясь от изложения семейных неурядиц с завещанием (*А.Д. Свербеев.* Мои воспоминания. ФС. Д. 103. Л. 22–31).

ФРАГМЕНТ 25

[1] *...любимица императора Анна Петровна, не знаю, – Лопухина, или уже по мужу княгиня Гагарина...* – Имеется в виду Анна Петровна Гагарина (урожд. Лопухина) (1777–1805), княгиня, фаворитка императора Павла I.

[2] *...старуха мать и его братья...* – Это уже упомянутые П.М. Раевская (урожд. Кропотова) и ее сыновья М.И. и А.И. Раевские (см. примеч. 49 к т. I, 143 к т. II).

ФРАГМЕНТ 26

[1] *...оставив по себе распутного молодого сына...* – Речь идет о Петре Петровиче Нащокине.

[2] Тарновский Константин Августович (1826–1892) – драматург и музыкант; театральный критик. Он был женат с 1852 г. на Елизавете Петровне Нащокиной (1836–1903), дочери П.А. Нащокина и писал, в том числе под псевдонимом Семен Райский – по названию имения Рай Семеновское, полученного от тестя.
[3] *...сын его...* – общественный деятель Виктор Васильевич Еропкин (1848–1908).
[4] Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (1790–1849) – писатель, почитатель творчества Н.М. Карамзина, помещик с. Рудины Серпуховского уезда.

ФРАГМЕНТ 27

[1] Новиков Евгений Петрович (1826–1903) – посланник в Греции (1865–1870), посланник, затем посол в Австрии (1870–1879), посол в Османской империи (1879–1882).
[2] *Герцог Saint Simon...* – Луи де Рувруа Сен-Симон (Saint-Simon) (1675–1755), герцог, автор мемуаров о жизни двора Людовика XIV.
[3] Бутенёв Аполлинарий Петрович (1787–1866) – член Государственного совета, дипломат, поверенный в делах, затем посол в Османской империи (1829–1843), посланник в Тоскане и Ватикане (1843–1855).
[4] *...барон Строганов, отец гр. Сергея Григорьевича...* – Имеются в виду дипломат Г.А. Строганов (см. примеч. 590 к т. I) и его сын С.Г. Строганов (1794–1885), граф, археолог, коллекционер, московский генерал-губернатор (1859–1860).

ФРАГМЕНТ 28

[1] *...d'Argenson'a, Бенжамен Констан...* – Марк-Рене де Войе маркиз д'Аржансон (de Voyer d'Argenson) (1771–1842), французский политик, член Палаты депутатов от Верхнерейнского департамента (1815–1829); Бенжамен Анри Констан де Ребек (Constant de Rebecque) (1767–1830), французский писатель, публицист, государственный деятель; председатель Государственного совета Франции (1830).
[2] *...христиносы и карлисты...* – Враждующие с середины 1830-х годов испанские политические партии, названные по именам наследников трона, которых они поддерживали: регентши принцессы Изабеллы (1830–1904) Марии Кристины де Бурбон (1806–1878) и дона Карлоса Старшего (1788–1855).
[3] Раморино (Ramorino) Джироламо (1792–1849) – итальянский генерал, участник Польского восстания 1830 г.; командир дивизии в пьемонтской армии (1849).
[4] *...принцем Кариньянским...* – Карл Альберт (1798–1849) – принц Савойско-Кариньянский, с 1831 г. король Сардинии. В 1848–1849 гг. выступал против Австрии.
[5] Карл Феликс (1765–1831) – король Сардинии (1821–1831).
[6] Радецкий (Radetzky) Йоган Йозеф (1766–1858) – граф, чешский военачальник, австрийский фельдмаршал (1836); главнокомандующий австрийской армией в Северной Италии и генерал-губернатор австрийских владений в Северной Италии (1849–1857).
[7] *...история Зондербунда...* – Объединение семи католических кантонов Швейцарии, созданное в 1843 г. (от нем. *Sonderbund* – особый союз).
[8] Евгения (урожд. Евгения Мария, графиня де Монтихо де Теба (de Montijo de Teba) (1826–1920) – французская императрица (императрица-консорт), жена Наполеона III (с 1853 г.).

ФРАГМЕНТ 29

[1] *...отсылаю я к «Записке гр. Иоанна Каподистрия о его служебной деятельности», переданной из Женевы имп. Николаю под таким заглавием: «Aperçu de ma carriére politique depuis 1798–1822» и к запискам Александра Скарлатовича Стурдзы, напечатанным в «Трудах Московского исторического общества».* – «Записка» Каподистрия была опубликована в «Сборнике РИО» (СПб., 1868. Т. 3. С. 163–297), ее точное название: «Aperçu de ma carriére publique depuis 1798 jusque 1822». Записки А.С. Стурдзы были изданы в 1864 г. в «Чтениях ОИДР» (именно этот сборник имел в виду Свербеев) и называются «Воспоминания о жизни и деяниях графа И.А. Каподистрии, правителя Греции» (ЧОИДР. 1864. Кн. 2, ч. II. С. 1–192). Записки сопровождает «Краткое сведение об А.С. Стурдзе» Диктиадиса (ЧОИДР. 1864. Кн. 2. С. 193–205). Эти два источника, повествующие о жизни Каподистрии, Свербеев кладет в основу своего рассказа о судьбе графа.

[2] В архиве Д.Н. Свербеева сохранились личные письма к нему графа Каподистрия за 1825–1826 гг., дополняющие рассказ мемуариста (ФС. Д. 61).

[3] Штакельберг (Стакельберг) фон Отто-Магнус (1736–1800) – граф, русский посланник при Испанском и Польском дворах, в Швеции, отец Г.О. Штакельберга.

[4] *...при бывшем ее любимце, последнем польском короле...* – Имеется в виду Станислав Август Понятовский (1732–1798) – граф, последний польский король и великий князь Литовский (1764–1795), фаворит будущей Екатерины II.

[5] *...нашего недавнего посла в Париже...* – Имеется в виду Э.-Г. Штакельберг.

[6] Генц (Gentz) Фридрих (1764–1832) – австрийский политик, публицист; доверенное лицо К. Меттерниха.

[7] *...великобританским посланником Страдфод-Каннингом, впоследствии лордом Редклифом...* – Чарльз Стратфорд-Каннинг (Stratford Canning), виконт Редклиф (1786–1880), лорд, английский дипломат, чрезвычайный посланник в Швейцарии (1814–1819); посол в Турции (1825–1827, 1841–1858).

[8] *...сохранено было министерство...* – Эта фраза в черновике продолжена: «...сохранено было министерское в Швейцарии жалованье 60 000 р. ассиг. и бывший при нем его сотрудник барон Крюднер назначен был начальником миссии на его место в звании поверенного в делах» (ФС. Д. 21. Л. 27).

[9] *...эфорам...* – наблюдателям, кураторам.

[10] *...В начале 1817 г. один молодой грек, по имени Галатти...* – Николаос Галатис (1789–1818), активный участник греческого народно-освободительного общества «Филики Этерия». Галатис прибыл в Петербург в конце 1816 г., а в феврале 1817 г. уже был арестован.

[11] Мейтленд (Maitland) Томас (1759–1824) – генерал-лейтенант, верховный комиссар английского протектората семи Ионических островов (1815–1823).

[12] *...сулиотов и румелиотов...* – группы населения Греции: из горного региона Сули и Центральной Греции (Румелии).

[13] *...Колокотрони, Боцарис...* – Теодорос Колокотронис (Колокотрони) (1770–1843), один из лидеров греческого национально-освободительного движения, руководитель греческих национальных сил; Маркос Боцарис (1790–1823), деятель греческого национально-освободительного движения.

[14] Али-Паша Тепеленский (Янинский) (ок. 1744–1822) – правитель (с 1787 г.) части албанских и греческих земель, номинальный вассал Османской империи.

[15] *...неаполитанский король...* – Имеется в виду Фердинанд I (1751–1825), король Неаполя (как Фердинанд IV) до 1816 г., затем – король Обеих Сицилий.

[16] *...к Castlereagh и Веллингтону...* – Роберт Стюарт Каслри (Castlereagh) (1769–1822), английский политик, министр иностранных дел Великобритании (1812–1822); Артур Уэсли Веллингтон, главный начальник союзных войск во Франции (1815–1818), участник конгрессов в Ахене (1818) и Вероне (1822), где представлял Англию; в 1826 г. подписал в Петербурге т. наз. «Греческий протокол» о позиции по Греции.

[17] *...Деказ (Decaz)...* – Неточно передано французское написание фамилии. Эли Деказ (Decazes) (1780–1860), герцог (с 1820 г.), министр внутренних дел (1818–1820), председатель Совета министров Франции (1819–1820).

[18] *...княгиня Ливен, урожденная Бенкендорф, которой муж в то время был нашим послом в Англии.* – Дарья Христофоровна Ливен (урожд. Доротея фон Бенкендорф) (1785–1857), графиня, затем княгиня (с 1826 г.), хозяйка салонов в Лондоне и Париже, сестра А.Х. Бенкендорфа. Ее супруг – Христофор Андреевич Ливен, посол в Лондоне.

[19] *...прусский король Вильгельм, нынешний император...* – германский император Вильгельм I (см. примеч. 708 к т. I).

[20] *...своего брата...* – Свербеев имеет в виду Фридриха Вильгельма IV.

[21] Александр II Николаевич (1818–1881) – российский император (с 1855).

[22] Катков Михаил Никифорович (1818(1817)–1887) – публицист, литературный критик, издатель; редактор журнала «Русский вестник» (с 1856 г.) и газеты «Московские ведомости» (с 1863 г.).

[23] *...от бывшего тогда симбирским губернским предводителем Николая Тимофеевича Аксакова, родного брата и дяди трех знаменитых писателей этой семьи.* – Аксаков Николай Тимофеевич (1797–1882), симбирский губернский предводитель дворянства (1850–1859), младший брат С.Т. Аксакова и дядя его сыновей, писателей и славянофилов, близких знакомых семьи Свербеевых – Константина Сергеевича Аксакова (1817–1860) и Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886).

[24] Волков Николай Аполлонович (1795–1858) – полковник (с 1816 г.), с 1820 г. – в отставке; московский уездный предводитель дворянства (1847–1850).

[25] *Сергею Павловичу Фон-Визину, коего сын недавно был здешним гражданским губернатором...* – Сергей Павлович Фонвизин (1783–1858), клинский предводитель дворянства (1814–1826, 1835–1858), надворный советник, отец Ивана Сергеевича Фонвизина (1822–1889), московского губернатора (1868–1870). Труды С.П. Фонвизина на выборных должностях Д.Н. Свербеев охарактеризовал в кратком неопубликованном очерке-некрологе, сохранившемся в черновой рукописи в личном архиве мемуариста (ФС. Д. 8). Он знал Фонвизина с детства как приятеля отца по масонским делам, недолго служил вместе с ним в Клину и отдавал должное его «благоразумному и спокойному безстрастию», «снисходительной ко всем любви», способности изо дня в день долгие годы неутомимо делать свое небольшое, но нужное дело вплоть до самой смерти (ФС. Д. 8. Л. 1).

[26] Георгий Петрович «Карагеоргий» (1768(1762)–1817) – руководитель Первого сербского восстания против Османской империи (1804–1813).

[27] *В 1820 г. он скрытно явился в Сербию, управляемую Милошем, в надежде снова возмутить ее. Милош приказал арестовать и умертвить Георгия Черного (Милош был сын Карагеоргия – Милош убил отца). Этот Георгий Черный, основатель нынешней сербской династии, есть дед нынешнего самостоятельного кн. Милана и при нем, по модели нашего русского художника, Сербия воздвигает в Белграде памятник Карагеоргию, деду нынешнего князя, умерщвленного сыном Георгия и отцем юного владетеля Сербии…* – События сербской истории излагаются с рядом существенных неточностей:

Милош Обренович (1780–1860), сербский князь (1815–1839, 1858–1860), участник Первого и руководитель Второго сербских восстаний против турок, был не сыном, а соратником Карагеоргия и впоследствии соперником в борьбе за престол. Карагеоргий был убит по приказу Милоша не в 1820, а в 1817 г. Милан IV Обренович (1854–1901), сербский князь (1868–1882), правивший в 1882–1889 гг. как король Милан I, не был внуком Карагеоргия. Он являлся родственником Милоша Обреновича – его двоюродным внучатым племянником (а не сыном).

Русский скульптор и живописец Михаил Осипович Микешин (1835–1896) в 1860-е годы составил проекты памятников Карагеоргию и Михаилу III Обреновичу (1823–1868), младшему сыну Милоша Обреновича, сербскому князю (в 1839–1842, 1860–1868 гг.). Только один проект памятника Михаилу III (из двух) был реализован в 1882 г. в центре Белграда. Памятник Карагеоргию по проекту Микешина поставлен не был.

[28] *Поверенный Петра Бея, вождя спартанцев, Кабаринос…* – Имеется в виду Петро Мавромихали, известный под именем Петробей (1765–1848), представитель влиятельной греческой семьи, примкнувший к восстанию против турок; президент временного правительства (с 1823 г.), затем противостоявший правительству Каподистрия и посаженный им в тюрьму. Кириакос Камаринос (?–1819) – купец, участник греческого национально-освободительного движения.

[29] *…Майнот Бей Мавромихали…* – Имеется в виду Петр Бей Мавромихали, майнот (маниат) по происхождению (житель местности Майны в Пелопонесе).

[30] *…от его братьев…* – Упомянуты братья И.А. Каподистрия: Виаро Каподистрия (1770–1842), греческий политический и государственный деятель, и Августинос Каподистрия (1778–1857), греческий государственный деятель, временный президент Греции (1831–1832).

[31] *…новый наш посланник в Вене гр. Татищев.* – Имеется в виду Д.П. Татищев. Графский титул ему приписан ошибочно – Дмитрий Павлович к графской ветви Татищевых не принадлежал, о чем сам Свербеев писал выше (с. 321).

[32] Нарышкина (урожд. кн. Четвертинская) Мария Антоновна (1779–1854) – фрейлина (с 1794 г.), хозяйка салона в Петербурге (до 1813 г.), в 1801–1814 гг. была открытой возлюбленной Александра I.

[33] Феленберг (Fellenberg) фон Филипп Эмануил (1771–1844) – швейцарский педагог-теоретик, основатель училища в Гофвиле (Hofwyl) (в 1799 г.), где основу образования составляли сельскохозяйственные дисциплины.

[34] *…гусарский храбрый полковник, лифляндец барон Бок, которого внезапно по высочайшей воле лично взял под арест маркиз Паулучи…* – Тимотеус Эбергард (Тимофей Егорович) фон Бок (1787–1836), барон, флигель-адъютант, полковник;

был арестован в 1818 г. за «Записку» к Александру I с предложениями по конституции для Лифляндии. Филипп Осипович Паулуччи (Paulucci) (1779–1849), маркиз, генерал-адъютант; рижский военный губернатор (с 1812 г.), затем – генерал-губернатор Лифляндии, Эстляндии и Курляндии (до 1829 г.); с 1829 г. государственный министр короля Сардинии.

[35] Паррот (Parrot) Егор Иванович (Георг-Фридрих) (1767–1852) – физик-изобретатель, первый ректор Дерптского университета и профессор физики в нем (1802–1826); академик Петербургской академии наук (с 1826 г.).

[36] «*Что карлом я, иль великаном… И оных чтить не принужден»*. – Цитируется стихотворение Г.Р. Державина «Видение мурзы» (1783–1784(?), опубл. в 1791 г.). Первая строка у Державина звучит иначе: «Что карлой он и великаном…»

ФРАГМЕНТ 30

[1] Эти фрагменты из писем Д.Н. Свербеева, написанных вскоре после смерти Герцена кому-то из близких, сохранились в виде писарских копий среди материалов журнала «Русский архив», очевидно, оставленных «про запас» П.И. Бартеневым (ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 204. Стр. 262–265).

Хотя эти письма не имеют подписи, авторство Д.Н. Свербеева можно установить из текста (там есть прямые отсылки к фразам статьи). Имя адресата писем установить сложнее. Можно лишь с уверенностью сказать, что это не П.И. Бартенев, к которому Свербеев всегда обращался в письмах «на вы» и не был в столь близких отношениях, как о том свидетельствуют письма. Скорее всего, это письма жене, Екатерине Александровне Свербеевой, находившейся в Москве, к которой супруг писал из-за границы нередко и всегда подробно. Но вполне возможно, что письма адресованы кому-то из детей Д.Н. Свербеева (например, дочери Екатерине или сыну Александру).

Исследователи уже упоминали об этих письмах Д.Н. Свербеева в связи с материалами «Русского архива», однако полностью публикуются они впервые (см.: *Зайцев А.Д.* Петр Иванович Бартенев и «Русский архив». М., 2013. С. 60–61; *Мироненко М.П.* Журнал «Русский Архив» и его роль в освещении освободительного движения в России. Дис. … канд. ист. наук. М., 1979. С. 186–189; *Она же.* Материалы о Герцене в журнале «Русский архив» // Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев... С. 432–433; *Афанасьев А.К.* Материалы редакции «Русского архива» в ОПИ ГИМ // Там же. С. 336 (А.К. Афанасьев предполагает, что письма Свербеева адресованы П.И. Бартеневу); *Медведева Т.В.* «Возлюбленный о Русском архиве Петр Иванович…» // Там же… С. 416).

[2] *…Огарева, т.е. бывшая Тучкова…* – Наталья Алексеевна Огарева (урожд. Тучкова) (1829–1913), мемуаристка, жена Н.П. Огарева, затем гражданская жена А.И. Герцена; мать Елизаветы Герцен.

[3] *…старшие дочери покойной его первой жены и сын его профессор…* – Уже упоминавшиеся дети от брака А.И. Герцена с Н.А. Захарьиной: дочери Наталья и Ольга, сын Александр.

[4] *Уступивший свою жену Герцену Огарев…* – Николай Платонович Огарев (1813–1877), поэт, публицист, общественный деятель, вместе с Герценом руководивший

«Вольной русской типографией». Его вторая жена Н.А. Тучкова с 1857 г. стала фактически женой Герцена, что было официально объявлено лишь в 1869 г. Их дочь Елизавета, родившаяся в 1858 г., первоначально считалась дочерью Огарева.

[5] Ханыков Николай Владимирович (1819–1878) – востоковед, историк, дипломат; член-корреспондент Петербургской Академии наук (1852); с 1860 г. жил в Париже, был близко знаком с Герценом и содействовал сохранению его материалов и писем.

[6] *...на Вселенском соборе в Риме, где папу теснят адресами.* – Имеется в виду дискуссия на I Ватиканском соборе (1869–1870), созванном папой Пием IX, развернувшаяся вокруг догмата о непогрешимости папы.

ФРАГМЕНТ 31

[1] Этот вариант очерка, обнаруженный в рукописи основного текста воспоминаний (ФС. Д. 11, 12), был помещен после эпизода, повествующего о смелом ответе Шишкову юного Свербеева (см. с. 150 наст. изд.), и значительно отличается от опубликованного как степенью освещения тех или иных фактов, так и эмоциональностью оценок и характеристик.

Кроме сокращений повторов (особенно в пространных пересказах Свербеевым литературно-охранительной концепции Шишкова с собственными интерпретациями и оценками) и смягчения хлестких характеристик, в текст при публикации статьи в «Русском архиве» (перепечатанной в издании 1899 г.) были добавлены увеличившие его на треть многочисленные факты о службе Шишкова, о литературной деятельности в «Беседе любителей русского слова», и, наоборот, убраны из текста пересказанные в рукописи подробности дела В.М. Попова.

Большинство лиц, названных в связи с биографией Шишкова, уже упоминались Свербеевым в «Записках» и, в частности, в статье о Шишкове, поэтому далее не поясняются.

[2] Брискорн Александр Максимович (1773 (1769)–1823) – инженер-генерал-майор (1805), участвовавший в издании книги Госнера и ее переводе.

[3] *...к жене...* – Здесь имеется в виду первая жена А.С. Шишкова Дарья Алексеевна Шельтинг (? – 1825).



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* В указатель включены имена лиц, прямо или косвенно упомянутых в текстах Д.Н. Свербеева. Мифологические и литературные персоналии не учитывались.

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ*

---

* Первым дается название топонима так, как оно указано в тексте мемуаров, а в скобках приводится современное либо иное название (например: Ревель (Таллин), Дерпт (Тарту)). По возможности указывается принадлежность населенных пунктов к административным единицам, существовавшим в XIX в.

Достопримечательности, находящиеся в городах, даны в указателе по алфавиту на название города. Для крупных достопримечательностей (как Московский Кремль) отдельные их составляющие (соборы, колокольня и т.п.) не выделялись.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи Министерства иностранных дел РФ

ВЕ – «Вестник Европы»

ЖМНП – «Журнал Министерства народного просвещения»

ЛН – «Литературное наследство»

НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки

ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного Исторического музея

ОРК НБ МГУ – Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского государственного университета

ПКНО – «Памятники культуры, новые открытия»

РА – «Русский архив»

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства

РО ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН

РС – «Русская старина»

Сборник РИО – Сборник Русского исторического общества

Тр. ГИМ – Труды Государственного Исторического музея

ФС – Фонд Свербеевых: РГАЛИ. Ф. 472 (Свербеевы). Оп. 1

ЦГА Москвы – Центральный государственный архив г. Москвы

ЦХД до 1917 г. – Центр хранения документов до 1917 года

ЧОИДР (Чтения ОИДР) – Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Свербеев Д.Н.

Мои записки / Д.Н. Свербеев ; изд. подг. М.В. Батшев, Т.В. Медведева ; [отв. ред. С.О. Шмидт]. – М. : Наука, 2014. – 942 с. – (Литературные памятники). IBSN 978-5-02-039062-1

Дмитрий Николаевич Свербеев (1799–1874), дворянин, отставной дипломат, радушный хозяин московского салона, известен прежде всего своими мемуарами, созданными в последние годы жизни. В них ярко и подробно описывает он события XIX в. и своих многочисленных современников, живших в это время, сопровождая воспоминания экскурсами в историю XVIII столетия. Мемуарист особое значение придает характеристике людей своей эпохи, и потому перед читателем предстает галерея прекрасно выполненных словесных портретов современников: семейства Обресковых, Кикиных, Языковых, Норовых, Голохвастовых, И. Каподистрия, Ф.Ц. Лагарпа, А.И. Герцена, В.Ф. Одоевского, Н.И. Тургенева, А.С. Шишкова и мн. др. Мемуары дополнены материалами из личного архива Свербеевых.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей России XVIII–XIX вв.

Научное издание

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СВЕРБЕЕВ

МОИ ЗАПИСКИ

Утверждено к печати
редколлегией серии
«Литературные памятники»

Редактор *А.Н. Торопцева*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *И.Ю. Духовская*
Технический редактор *З.Б. Павлюк*
Корректоры *А.Б. Васильев, Р.В. Молоканова*

Иллюстрации воспроизведены в соответствии
с представленными архивными оригиналами

Подписано к печати 31.10.2014
Формат 70 × $90^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 70,3. Усл.кр.-отт. 72,5. Уч.-изд.л. 72,2
Тираж 230 экз. Тип. зак. 2074

Издательство «Наука»
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

ППП «Типография “Наука”»
121099, Москва, Шубинский пер., 6







НАУКА

Д.Н. СВЕРБЕЕВ *Мои записки*

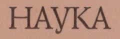
Д.Н. СВЕРБЕЕВ

Мои записки

Дмитрий Николаевич Свербеев (1799–1874), дворянин, отставной дипломат, радушный хозяин московского салона, известен прежде всего своими мемуарами, созданными в последние годы жизни. В них ярко и подробно описывает он события первой четверти XIX в. и своих многочисленных современников, живших в эти годы, сопровождет воспоминания экскурсами в историю XVIII столетия.

Мемуарист рассказывает о жизни Московского университета, краткой службе в Петербурге, путешествиях по Европе и о службе в дипломатической миссии в Швейцарии, придавая особое значение характеристике людей своей эпохи, и потому перед читателем предстает галерея прекрасно выполненных словесных портретов: семейств Обресковых, Кикиных, Языковых, Норовых, Голохвастовых, И. Каподистрия, Ф.С. Лагарпа, А.И. Герцена, В.Ф. Одоевского, Н.И. Тургенева, А.С. Шишкова и многих других. Мемуары дополнены материалами из личного архива Свербеевых.

При оформлении суперобложки использованы:
фотопортрет Д.Н. Свербеева (1860-е годы) из личного архива князей Голицыных
и гравюра Огюста-Антуана Кадоля «Тверской бульвар в Москве» (1825)



Д.Н. СВЕРБЕЕВ

Мои записки

Д.Н. СВЕРБЕЕВ

